

А. И. ГЕРЦЕНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ И ПИСЕМЪ.

Подъ редакціей М. К. Лемке

Томъ VI

1850—1851 гг.

(№№ 492—546)

Издание наследниковъ автора

А. И. ГЕРЦЕНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ и ПИСЕМЪ.

Подъ редакціей М. К. Лемке

Томъ VI

1850—1851 гг.

(№№ 492—546)

Издание наследниковъ автора



Оглавленіе.

1850.

№№	СТР.
492.	Письма изъ Франціи и Италіи.
	Письмо пятое 1
	» шестое. 21
	» седьмое 36
	» восьмое 49
	» девятое 57
	» десятое 76
	» одиннадцатое. 97
	» двѣнадцатое 108
	» тринадцатое 117
	» четырнадцатое 125
*492 bis.	Письмо къ неизвѣстному. 691
**493.	Письмо къ Іоганну Якоби 132
*494.	Письмо къ Н. А. Герценъ 136
495.	Письмо къ Джузеппе Маццини. 140
496.	Письмо къ гр. А. Ѳ. Орлову 145
**497.	Письмо къ русскому консулу въ Ниццѣ. 148
*498.	Приписка къ М. К. Рейхель 149

1851.

*499.	Письмо къ Эммѣ Гервегъ 153
*500.	Надпись для А. Х. Энгельсонъ. 155
**501.	Письмо къ Т. Н. Грановскому, Н. Х. Кетчеру, Е. Ѳ. Коршу и др. 155
*501 bis.	Письмо къ Каппу 693

№№	СТР.
*502. Письмо къ П.-Ж. Прудону	181
*503. Письмо къ женѣ	182
**504. То же	183
*505. То же	184
*506. То же	186
*507. То же	189
*508. Письмо къ А. А. Герцену	191
*509. Письмо къ женѣ	192
*510. Письмо къ Н. А. Герценъ	195
*511. Письмо къ женѣ	195
*512. Письмо къ А. А. Герцену	196
**513. Du développement des idées révolutionnaires en Russie	197
Introduction	197
I. La Russie et l'Europe	205
II. La Russie avant Pierre I.	209
III. Pierre I	222
IV. 1812—1825	240
V. La littérature et l'opinion publique après le 14 décembre 1825	253
VI. Panslavisme moscovite et européisme russe	271
Epilogue	286
Annexe sur la commune rurale en Russie	293
О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи	
Введение	298
I. Россія и Европа	307
II. Россія до Петра I.	311
III. Петръ I.	325
IV. 1812—1825	346
V. Литература и общественная мысль послѣ 14 де- кабря 1825 г.	360
VI. Московскій pansлавизмъ и русскій европеизмъ	379
Послѣсловіе	395
Приложеніе. О сельской общинѣ въ Россіи	403
*514. Письмо къ женѣ	411
*515. Письмо къ А. А. Герцену	413
*516. Письмо къ Н. А. Герценъ	414
*517. Письмо къ А. А. и Н. А. Герценамъ	414
*518. Письмо къ женѣ	415
*519. То же	416

№№	СТР.
*520.	Письмо къ женѣ 418
*521.	Письмо къ Н. А. Герценъ 419
*522.	Письмо къ А. А. Герцену 420
*523.	Письмо къ Н. А. Герценъ 420
*524.	Письмо къ женѣ 421
*525.	Письмо къ А. А. Герцену 423
*526.	Письмо къ М. К. Рейхель 423
**527.	Письмо къ женѣ 424
*528.	Письмо къ А. А. Герцену 424
**529.	Письмо къ женѣ 425
**530.	То же 426
*531.	Письмо къ А. А. Герцену 426
*532.	Приписка къ Н. А. Герценъ 426
*533.	Письмо къ А. А. Герцену 427
**534.	Письмо къ А. А. Чумикову 427
**535.	То же 428
*536.	Приписка къ М. К. Рейхель 432
537.	Русскій народъ и социализмъ. Письмо къ Ж. Мишле 433
*538.	Приписка къ М. К. Рейхель 462
**539.	Письмо къ Ж. Мишле 463
**540.	Michel Bakounine 466
	Михаилъ Бакунинъ 475
**541.	Pétrachevsky 487
	Петрашевскій 502
**542.	Письмо къ Ж. Мишле 520
*543.	Письмо къ женѣ 523
*544.	Письмо къ А. и М. К. Рейхелямъ 529
**545.	Письмо къ Ж. Мишле 530
*546.	Письмо къ П.-Ж. Прудону 533
	Библиографическій комментарий 540
	Опечатки и дополненія 689

492. ПИСЬМА

ИЗЪ

Франціи и Италіи.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Римъ. Декабрь 1847 г.

Къ осени сдѣлалось невыносимо тяжело въ Парижѣ; я не могъ сладить съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое меня окружало; я чувствовалъ, что въ мою душу забирается то самоотверженіе, тотъ холодъ и то «все равно», которое вносится утраченными надеждами, разрывомъ съ дѣйствительностью, презрѣніемъ къ настоящему; я черствѣлъ и только иногда по негодованію чувствовалъ молодость силъ и прежнее одушевленіе.

Смерть въ литературѣ, смерть въ театрѣ, смерть въ политикѣ, смерть на трибунѣ, ходячій мертвецъ Гизо, съ одной стороны, и гускій лепетъ сѣдой оппозиціи—съ другой, это ужасно! Тамъ, гдѣ до внизу, вдали раздавались иногда сильныя стенанія; казалось, они выходили изъ могучей и здоровой груди, но снаружи Парижъ представлялъ остынувшій кратеръ, превратившійся въ грязь и слякоть. Франція выздоровѣетъ,—какъ я сказалъ въ прошломъ письмѣ,—безъ радикальныхъ средствъ, небснаго огня и морской воды; но мнѣ вовсе не хотѣлось быть сидѣлкой у ея изголовья, пока она ломается въ припадкѣ безумія, сдерживаемая грязными и циническими руками цырюльниковъ и больничныхъ сидѣлокъ.—«Въ Италію, въ Италію!» Мнѣ хотѣлось отдохнуть, хотѣлось моря, теплаго воздуха, пышной зелени и людей, не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца. Я рѣшился ѣхать въ половинѣ октября. А,

признаюсь, когда пришлось разставаться съ Парижемъ, мнѣ сдѣлалось страшно; вся моя задорная храбрость покинуть Парижъ исчезла. Парижъ—центр: выѣзжая изъ него, выѣзжаешь изъ современности. Я былъ бы радъ, если-бъ какой-нибудь непредвидѣнный случай меня остановилъ; но ось не сломилась, колесо не разсыпалось, и мы покатились. «Ну, а какъ въ Италіи будетъ еще хуже? померанцевыхъ деревьевъ и синяго неба, все-таки, мало для жизни»,—думалъ я, переѣзжая мостъ, построенный изъ камней, наломанныхъ при разрушеніи Бастиліи, и прощаясь съ удивительной панорамой обоихъ береговъ Сены. Огромные почернѣлые дома и новые дворцы въ Quai d'Orsay; капризная, разнообразная архитектура парижскихъ построекъ, исполненная жизни и движенія; мрачныя стѣны Консьержери и величавая масса собора, Тюльери, Лувръ, Cité, врѣзывающееся баркой въ Сену,—все это еще разъ проходило передъ моими глазами, двигалось, мѣнялось, уходило за дома, становилось смутнѣе, совсѣмъ исчезло...

На станціи я высунулъ голову. Дождь лился ливнемъ. «Какъ называется эта станція?»—«Шарантонъ!» отвѣчалъ почтальонъ, стоя въ лужѣ и съ досадой откладывая мокрыхъ лошадей. Я вспомнилъ мою свѣтлую квартиру въ Avenue Marigny, вспомнилъ друзей, приходившихъ по вечерамъ вмѣстѣ сердиться, и мнѣ показалось естественнымъ и справедливымъ, что меня привезли въ Шарантонъ за то, что я выѣхалъ изъ Парижа ¹⁾. Парижъ, что тамъ ни толкуй—единственное мѣсто въ гибнущемъ Западѣ, гдѣ широко и удобно гибнуть.

О дорогѣ разсказывать нечего. Ѣздить во Франціи на почтовыхъ лошадахъ скучно: точно машина—ни разговоровъ, ни спора, ни станціонныхъ смотрителей, ни книгъ, ни подорожныхъ. Закладываютъ въ одинъ мигъ, лошади вездѣ *есть*; дорога, какъ скатерть; почтальонъ скачетъ отъ станціи до станціи, — вся поэзія нашихъ дорогъ не существуетъ. Даже сложная исторія и вѣчные споры о «водкѣ» опрощены до удивительной степени. На первой станціи почтальонъ, касаясь рукой до шляпы, васъ спрашиваетъ, сколько вы платите на водку, присовокупляя, что, по закону, ему слѣдуетъ получать полтора франка съ мириаметра, но что обыкновенно порядочные люди прибавляютъ десять су. Вы, разумѣется, хотите быть порядочнымъ человѣкомъ и соглашаетесь на прибавку тринадцати копѣекъ серебромъ на десять верстъ,—тѣмъ дѣло и оканчивается на всю дорогу. Никто нигдѣ не проситъ ничего больше, никакой «прибавочки».

До Ліона мы доѣхали, не замѣтивъ пути. Ліонъ сдѣлалъ на меня сильное впечатлѣніе: я не могъ довольно нарадоваться въ немъ

¹⁾ Въ Шарантонѣ былъ самый извѣстный во Франціи домъ для умышленныхъ.

успѣхамъ инженернаго и фортификаціоннаго искусства во Франціи. Представьте себѣ, этотъ огромный, сжатый, биткомъ набитый городъ, въ которомъ постоянно болѣе двухсотъ тысячъ жителей, можно уничтожить въ полчаса, благодаря укрѣпленіямъ, поставленнымъ послѣ 1834 года. Ліонъ прислоненъ къ двумъ горамъ и разрѣзанъ двумя рѣками; на всѣхъ высотахъ, скромно и не очень выставляясь, притаились небольшія укрѣпленія: тамъ пушекъ пять-шесть, тутъ три-четыре; эти фортификаціонные образчики растутъ, умножаются и тянутся къ огромной крѣпости по другую сторону Соны въ старомъ римскомъ городѣ, которая вѣнкомъ своихъ форттовъ окружаетъ гору и кладбище, — мертвые сберегутся, т. е. тѣ, которые успѣютъ переѣхать до перваго «пли!». Между отдѣльными крѣпостцами есть художественный ensemble, такъ что, въ случаѣ перестрѣлки, весь городъ покроется ядрами и картечью; нѣтъ точки, на которую не могло бы упасть ядро, остальное додѣлаютъ бомбы. Середь города тоже разбросаны пушки; вовсе неожиданно идешь какимъ-нибудь переулкомъ и вдругъ натолкнешься на два, на три жерла, обращенныя на два, на три переулка и осѣненные трехцвѣтнымъ знаменемъ съ иронической надписью: «Liberté et ordre public!»¹⁾ Главная часть укрѣпленій обращена противъ фабричной части города, расположенной по горѣ съ другой стороны Соны. У меня закружилось въ головѣ, когда я съ крѣпостной стѣны посмотрѣлъ въ трубочку на шести-семиэтажные дома въ Croix Rousse²⁾, прислоненные къ утесамъ, на улицы, кишашія отъ многолюдія, и вообразилъ себѣ два-три залпа, — одинъ сверху утесовъ, другой изъ крѣпости... Мнѣ представилась груда каменьева, теплыхъ отъ чело-вѣческой крови и переложенныхъ трупами дѣтей, женщинъ, стариковъ. Со мною былъ valet de place³⁾. «Тринадцать лѣтъ прошло послѣ 34 года, — сказалъ онъ мнѣ, — а теперь вспомню, что тогда было, такъ становится страшно. Видите эту террасу? сюда загнали солдаты и національная гвардія работниковъ; какъ они столпились тамъ, вдругъ открылся пушечный огонь изъ-за Соны; сойти имъ было некуда, назадъ двинуться невозможно, дороги узкія и вездѣ штыки; ну, тутъ ихъ и покончили картечью».

Я взглянулъ на древнюю стѣну, построенную еще во время римскаго владычества; она была вся рябая отъ пушечныхъ выстрѣловъ. Страшное событіе, великая жертва въ нашъ образованный вѣкъ, принесенная министерствомъ, составленнымъ изъ газетчиковъ и филантроповъ, изъ историковъ и либераловъ! Чего, я чай, стоило

¹⁾ Свобода и общественный порядокъ.

²⁾ Предмѣстье Ліона; въ 1834 г. тамъ происходило возстаніе рабочихъ.

³⁾ Проводникъ при гостиницѣ (лонлакей).

ихъ нѣжному сердцу дать такіе приказы? А дѣлать было нечего, надобно было успокоить буржуазію, надобно было дать залогъ, снятъ всякое сомнѣніе, скрѣпить связь между новымъ порядкомъ и ею. Ліонское усмирение и бойня въ Cloître St.-Méry громко высказывали, какъ разрѣшается министерствомъ вопросъ о платѣ за работу, о голодѣ и о прочихъ беспорядкахъ, словомъ, это были сентябрьскіе дни du juste milieu ¹⁾, которые отрѣзывали, съ одной стороны, всѣ надежды и сжигали, съ другой стороны, всѣ корабли. «Послѣ двухдневной стрѣльбы, — продолжалъ мой рассказчикъ, — стало потише; тутъ взошла армія торжественнымъ маршемъ, съ барабаннымъ боемъ, съ зажженными фтилями; герцогъ Орлеанскій и маршалъ Сультъ ѣхали впереди». — «Ну, что же, они дали праздникъ?» спросилъ я. — «Нѣтъ, что-то не помню», добродушно отвѣчалъ онъ.

У городовъ, какъ у людей, бываетъ иногда трагическая судьба. Ліонъ, который теперь живетъ подъ Дамокловымъ мечемъ укрѣпленій, усѣянный тысячами труповъ въ 34 году, былъ театромъ страшнаго наказанія въ 93 г. Ліонъ никогда не блисталъ своей аристократіей, но съ давнихъ лѣтъ въ немъ было богатое купечество и сильное духовенство. Это придавало жителямъ, съ одной стороны, характеръ жесткій, корыстный, завистливый, съ другой — угрюмый, нетерпящій, сосредоточенный, скрыто страстный, террористическій, іезуитскій, и купцы въ Ліонѣ, какъ вездѣ, были рады переменамъ 89 года; всякое приобрѣтеніе правъ средняго состоянія было дѣйствительнымъ приобрѣтеніемъ ліонскихъ фабрикантовъ и торговцевъ; но прежде, нежели гдѣ-нибудь, обличилась въ Ліонѣ иная борьба, — борьба работниковъ съ хозяевами, съ фабрикантами. Приобрѣтая новыя права себѣ, буржуазія хотѣла оставить работниковъ въ состояніи прежняго илотства. А потому ліонская буржуазія, рукоплескавшая первымъ мѣрамъ народнаго собранія, подняла знамя междоусобной войны противъ конвента. Она это сдѣлала въ самую критическую минуту для Франціи. Непрiятель былъ въ двухъ шагахъ, съ трехъ сторонъ; Ліонъ, близкій къ Эльзасу, къ Швейцаріи, къ Піемонту, въ надеждѣ на непріятельскую помощь, защищался храбро противъ республиканскихъ полчищъ; но и тѣ, какъ извѣстно, были не трусы: городъ былъ взятъ. Мечь конвента объяснялась степенью опасности, въ которой была Франція. Онъ произнесъ громовый приговоръ: «Срыть съ лица земли крамольный городъ, упразднить его». Комитетъ общественнаго спасенія послалъ одного изъ членовъ своихъ, Кутона ²⁾, исполнить страшную казнь. Хромой,

¹⁾ Политической середины.

²⁾ Жоржъ, товарищъ Робеспьера и членъ фактическаго триумvirата (Робеспьеръ, Сенъ-Жюсть и Кутонъ), который одно время управлялъ Франціею.

нервный Кутонъ,—одно изъ чистѣйшихъ лицъ великой драмы,—не былъ ни тѣмъ германскимъ императоромъ, который срылъ до основанія Миланъ и посыпалъ землю солью, ни инженеромъ доктринерскихъ временъ; онъ не хотѣлъ выполнять буквально свирѣпый приговоръ, а придумалъ средство, совершенно обратное доктринерскимъ обычаямъ: вмѣсто того, чтобы скрыть половину грозныхъ мѣръ и втихомолку замучить и передушить враговъ, онъ ихъ удвоилъ на словахъ; чтобы поразить умы, онъ самъ съ молоткомъ въ рукѣ во главѣ всей черни отправился разрушать богатѣйшія зданія; онъ самъ давалъ первый ударъ домамъ, назначеннымъ на сломку; по большей части этотъ первый ударъ былъ съ тѣмъ вмѣстѣ и послѣднимъ. Захвативши главныхъ зачинщиковъ, остававшихся въ городѣ, Кутонъ далъ знать подъ рукою второстепеннымъ участникамъ, чтобы они удалились; нѣсколько тысячъ человекъ были спасены такимъ образомъ; казалось, что дѣло окончится нѣсколькими казнями, но Кутонъ ошибся въ расчетѣ. Главный врагъ возставшихъ ліонцевъ не былъ ни конвентъ, ни якобинцы, а ліонская чернь, которую они морили съ голоду, унижали, тѣснили въ продолженіе цѣлыхъ поколѣній, которой фанатическаго представителя они казнили самымъ страшнымъ образомъ. Работники имѣли, сверхъ выстраданной ненависти и злобы, ту неумолимую свирѣпость, которую развиваетъ нужда, невѣжество; у нихъ были свои частные счеты, имъ хотѣлось мести личной, кровавой; они вѣрили въ нее, ждали ея, наслаждались ею впередъ; надѣясь на нее, служили вѣрой и правдой конвенту и обманулись; съ бѣшеной злобой и съ упреками обратились клубисты къ Кутону, требуя крови; трагическая обстановка не скрыла въ ихъ глазахъ мысль конвентскаго посланника. Дѣлать было нечего, надобно было усугубить казни. Кутонъ не могъ вынести и просилъ комитетъ общественнаго спасенія отозвать его; чернь, съ своей стороны, требовала болѣе энергическихъ исполнителей, то есть болѣе свирѣпыхъ. На этотъ разъ конвентъ угодилъ имъ: онъ послалъ Карье ¹⁾ и Фуше; Карье, которымъ гнушался комитетъ общественнаго спасенія, и Фуше, которымъ не гнушались ни Наполеонъ, ни реставрація. Все, что не успѣло спастись при Кутонѣ, пало подъ ударами гильотины, кровь струилась по площади передъ Hôtel de-Ville ²⁾, гильотину перенесли на мостъ, и Рона уносила обезглавленные трупы; толпа осужденныхъ была разстрѣляна en masse ³⁾. Карье и Фуше смотрѣли изъ окна на эту казнь...

¹⁾ Жанъ-Батистъ, членъ конвента.

²⁾ Городская ратуша.

³⁾ Массами.

Что они думали? Кто ихъ знаетъ! Чернь была удовлетворена, месть ея удалась, но она не предвидѣла, что кровь даромъ не проходитъ, что и на улицѣ буржуазіи будетъ праздникъ, что черезъ сорокъ лѣтъ буржуазія отмститъ черни,—и какъ!

Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости: юнѣешь, хочется пѣть, плясать, плакать,—все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Провансъ—начало благодатной полосы въ Европѣ; отсюда начинаются лѣса маслинъ, небо синѣетъ, въ теплые дни чувствуется сирокко. Недалеко отъ Авиньона надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ-за утренняго тумана, лучъ солнца освѣтилъ вдали ослѣпительныя снѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью. Воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ; наши слова, пѣніе птичекъ раздавались громче обыкновеннаго. Съ каждымъ шагомъ внизъ виды мѣнялись: то новая цѣпь горъ откроется, то небольшое озеро внизу, то ѣдешь берегомъ пропасти, то роскошной лужайкой, то у подошвы огромныхъ скалистыхъ пластовъ, точно накладенныхъ какими-нибудь титанами, вмѣсто которыхъ теперь прыгаютъ козы. И вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги, какъ кайма около горъ, блеснуло и зажглось Средиземное море. Сколько пустоты, скуки, скорби и, главное, пошлости выкупаютъ такое утро! Въѣздъ въ Италію дѣлается для человѣка какимъ-то благодатнымъ событіемъ, свѣтлой чертой въ воспоминаніи.

Отъ Эстреля до Ниццы не дорога, а аллея въ роскошномъ паркѣ: прелестные загородные дома, плетни, украшенные плющемъ, миртами, цѣлые заборы, обсѣянные розовыми кустами, наши оранжевые цвѣты на воздухѣ, померанцевыя и лимонныя деревья, тяжелыя отъ плодовъ, съ своимъ густымъ благоуханіемъ, а вдали съ одной стороны Альпы, съ другой—море,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht... ¹⁾

Одно оскорбляетъ глазъ и щемитъ славянскую душу: высокія каменныя ограды, посыпанныя битымъ стекломъ, отдѣляютъ сады, огороды, иногда даже поля; онѣ представляютъ какое-то увѣковѣчиваніе исключительнаго владѣнія, какую-то нахальную дерзость

¹⁾ Съ голубого неба вѣетъ нѣжный вѣтеръ.

права собственности; для бѣдняка дорога пыльная, жесткая и оскорбительная стѣна, напоминающая ему непрерывно, что онъ нищій, что для него нѣтъ даже вида вдаль. Нельзя себѣ представить, какой угрюмый характеръ придають полямъ и землѣ эти стѣны; деревья, какъ узники, посматриваютъ черезъ нихъ, прелестнѣйшіе ландшафты испорчены. Русскаго села въ Европѣ нѣтъ. Смыслъ деревенской коммуны въ Европѣ только полицейскій. Что общаго между этими разбросанными домами, огороживающимися другъ отъ друга? У нихъ все особое, они связаны только общей межой. Что можетъ быть общаго между голодными работниками, которымъ коммуна предоставляетъ *le droit de glaner* ¹⁾, и богатыми домохозяевами? Да здравствуетъ, господа, русское село! Будущность его велика.

Объ Ниццѣ говорить нечего,—все хорошо внѣ ея, то есть въ ея окрестностяхъ. Ницца—даже вовсе не итальянскій городъ, а скорѣе провинціальный французскій. Ницца живетъ и процвѣтаетъ большими, туристами. Сначала, когда мы пріѣхали, я не могъ найти въ Ниццѣ «*Journal des Débats*», запрещенный іезуитами, ни одной тосканской газеты, запрещенной королемъ. Это меня послѣ Парижа столько же удивило въ Ниццѣ, какъ рѣка безъ воды (единственная достопримѣчательность сего города). Словомъ, для того, чтобъ жить въ Ниццѣ, надобно изсушить свое тѣло излишнимъ воздержаніемъ или излишней невоздержанностью, какъ всѣ англичане, павшіе на ноги, и всѣ англичанки съ попорченнымъ спиннымъ мозгомъ, которые составляютъ главное населеніе Ниццы. Или, наконецъ, можно въ ней жить *rag dépit* ²⁾, на смѣхъ всей Европѣ, какъ девяностолѣтній Сержанъ ³⁾, умершій здѣсь мѣсяца три тому назадъ. Сержанъ будировалъ Францію, недовольный *умѣренностью* конвента. Закоснѣлый террористъ умеръ, сильно опечаливши іезуитовъ. Они хотѣли воспользоваться апоплексіей и предсмертной слабостью, чтобъ обратить его и заставить отречься отъ прежней жизни своей. Такое обращеніе на путь истины было бы очень казисто. Но Сержанъ такъ же мало испугался паралича и іезуитовъ, какъ нѣкогда гильотины и палачей; онъ приподнялся и, собравши послѣднія силы, сказалъ стоявшимъ возлѣ его постели, что если-бъ ему пришлось снова повторить свою жизнь, то онъ снова игралъ бы ту же роль въ событіяхъ, что совѣсть его покойна,—а Сержанъ участвовалъ въ сентябрьскихъ дняхъ!

¹⁾ Право собирать зерна и колосья, оставшіеся послѣ жатвы.

²⁾ Съ досады.

³⁾ Антуанъ-Франсуа, французскій граверъ и рисовальщикъ, бывшій членъ конвента.

Въ Ниццѣ я встрѣтился только съ югомъ, съ Италией встрѣтились мы въ Генуѣ. Мы приплыли въ Геную прелестнѣйшимъ ноябрьскимъ днемъ, на разсвѣтѣ. Что это за удивительная красота! Гора покрытая мраморными дворцами, которые глядятся въ морѣ и надъ которыми зеленѣются сады! Съ какой охотой я бы вамъ рассказалъ что-нибудь объ этихъ домахъ вышиною съ наши колокольни, объ этихъ узкихъ переулкахъ, покрытыхъ народомъ, который тутъ работаетъ, шумитъ, ѣстъ, поетъ, безпрестанно кричитъ и размахиваетъ руками, да все это столько разъ сказано, что стыдно повторять.

Лигуры мнѣ очень понравились; въ нихъ есть что-то свободное, республиканское, и я вообще думаю, что характеристика генуэзцевъ, сдѣланная правовѣрнымъ нѣмцемъ Лео ¹⁾ въ его итальянской исторіи, ошибочна; а, впрочемъ, съ точки зрѣнія католицизма и самодержавія Генуя можетъ и не понравиться: Маццини—генуэзецъ.

Мнѣ кажется, что вообще итальянцы сильно оклеветаны; люди, принадлежащіе къ *общей европейской* цивилизаціи, т. е. принявшіе ея понятія, формы, мѣры, вѣсы, безъ всякаго разбора прикидываютъ все на французскій и англійскій аршинъ или на абсолютный вершокъ нѣмецкой философіи. Эта односторонность выказывается иногда въ смѣшномъ удивленіи *образованныхъ* людей при видѣ фактовъ, которые стояли споконъ вѣка передъ ними, но которыхъ понять они не могли именно отъ образованія. Говорятъ, что итальянцы лѣнны, обманываютъ, что они рабы, политическіе невѣжды и пр. Эти качества принадлежатъ всѣмъ народамъ въ разныхъ степеняхъ; сверхъ того, говоря о лѣни, нельзя не замѣтить, что работа вообще не есть наслажденіе, особенно въ жаркихъ странахъ; но этого мало,—англичане въ Манчестерѣ, французы въ Ліонѣ, кажется, не лѣнны, а хлѣба насущнаго еще не заработали. Какая же польза быть очень ретивымъ? Работа въ Италиі такъ дорога, что индустрія не цвѣтетъ, что хозяева дорожатъ работниками.

Кто не забылъ исторію послѣднихъ трехъ вѣковъ, тотъ знаетъ, какъ долго Франція, Австрія и папство работали, чтобъ убить политическую жизнь Италиі. Наконецъ, утомленный неровнымъ боемъ, итальянецъ сдѣлался равнодушень къ политикѣ, теперь онъ воскресаетъ. Сверхъ того, и тутъ нельзя сказать, чтобъ народъ въ Италиі въ самомъ дѣлѣ такъ далеко отсталъ отъ другихъ. Франція была очень неравнодушна къ политикѣ,—что же, она свободна? Или вы, можетъ, вѣрите, что Англія свободна?—Ну, такъ и здѣсь всѣ

¹⁾ Генрихъ, авторъ «Geschichte der italienischen Staaten».

(Corsini, Colonna, Torlonia ¹⁾) и др. по-своему свободны. Въ итальянцахъ особенно развито уваженіе къ себѣ, къ личности; они не представляютъ, какъ французы, демократію,—она у нихъ въ нравахъ, и подъ равенствомъ они не разумѣютъ равномѣрное рабство. Мелкія плутни итальянцевъ, о которыхъ столько накричали туристы, бросающіе горстями золота и усчитывающіе байокко ²⁾, когда дѣло идетъ о *buona mano* ³⁾, скорѣе смѣшны, нежели отвратительны, и вертятся всегда около гривенника.

Мы застали Геную торжествующею, нарядною. Карлъ-Альбертъ былъ тутъ, городъ пировалъ реформу и примиреніе. Генуя, съ самаго присоединенія къ Сардиніи, жила въ мрачномъ отчужденіи отъ Піемонта, она смирялась, но съ нахлобученнымъ челомъ; ея аристократы держали себя вдали отъ Турина, піемонтскіе чиновники были иностранцы для лигуровъ. Реформа нѣсколько примирила двухъ сосѣдей, которыхъ сочеталъ бракомъ вѣнскій конгрессъ. Перемиреніе и права, данныя Карломъ-Альбертомъ, чрезвычайно скромны: они стараются исправить вещи, вопіющая несправедливость которыхъ бросалась въ глаза, мѣняютъ устарѣвшія учрежденія, обезсиленные самимъ временемъ; они были неминуемы, неотлагаемы послѣ реформы Пія IX и тосканскаго герцога; Карлъ-Альбертъ съ ловкостью исполнилъ то, чего отложить не могъ. Увлекающійся характеръ итальянцевъ не зналъ предѣла радости; въ самомъ дѣлѣ, какъ реформа ни была бѣдна, она свидѣтельствовала о сильномъ толчокѣ, о томъ, что государство двинулось, сошло съ мели, это было официальное сознаніе пробужденія, *del risorgimento!* ⁴⁾

Я бѣжалъ изъ Франціи, отыскивая покоя, солнца, изящныхъ произведеній и сколько-нибудь человѣческой обстановки, да и всего этого я ждалъ не подъ отеческимъ скипетромъ эксъ-карбонаро Карла-Альберта. И только-что я поставилъ ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая, вливающая силу и здоровье. Я нравственно выздоровѣлъ, переступивъ границу Франціи; я обязанъ Италіи обновленіемъ вѣры въ свои силы и въ силы другихъ; многія упованія снова воскресли въ душѣ; я увидѣлъ одушевленные лица, слезы, я услышалъ горячія слова. Безконечная благодарность судьбѣ за то, что я попалъ въ Италію въ такую торжественную минуту ея жизни, исполненную тѣмъ изящнымъ величіемъ, которое присуще всему итальянскому: дворцу и хижинѣ, нарядной женщинѣ и нищему въ лохмотьяхъ.

¹⁾ Корсини, Колонна, Торлонія—знатныя и очень богатые фамиліи.

²⁾ Итальянская монета = 3 к.

³⁾ «На чай».

⁴⁾ Политическаго возрожденія.

Кому изъ васъ не случилось проѣзжать по селу въ свѣтлый праздникъ,—все нарядно, радостно; мужичокъ выпилъ стаканчикъ и разсѣялъ думу объ оброкѣ; баба надѣла новый сарафанъ и забыла о барщинѣ; парни гуляютъ, какъ будто нѣтъ рекрутства; дѣвки не думаютъ о насильственномъ бракѣ; дѣти играютъ въ чистыхъ рубашонкахъ,—«они воскресли тоже», какъ говоритъ Фаустъ, «изъ душныхъ мастерскихъ, изъ низенькихъ домовъ». Представьте же себѣ не село, а цѣлую страну въ торжественномъ нарядѣ, стѣзну, празднующую свѣтлое воскресеніе свое, и представьте себѣ, что эту страну называютъ Италіей!

А давно ли было то время, въ которое Гейне говорилъ, что въ письмахъ изъ Италіи можно говорить обо всемъ, кромѣ Италіи? И всѣ находили, что онъ правъ, и весь талантъ Диккенса не спасъ его пустого разсказа. Въ Италіи вновь ничего не происходило, а что было прежде, то было все высказано съ геніемъ Гете и съ негодованіямъ леди Морганъ ¹⁾, съ огненнымъ словомъ Байрона и съ плоскостью Фюльширона ²⁾. Казалось, что нѣтъ предмета, болѣе исчерпаннаго, какъ Италія;—она лѣтъ двѣсти, даже больше ничего не дѣлала, какъ будто нарочно для того, чтобъ дать полное время описать себя со всѣхъ сторонъ; она позировала—великая красавица, великая куртизанка между народами:

— o tu cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza!.. ³⁾

Но, tempora mutantur ⁴⁾,—время тяжелаго сна для Италіи прошло; она, уставшая отъ двухъ великихъ прошедшихъ, захваченная во внутреннемъ раздорѣ внѣшними врагами, покорилась имъ, у ней не было больше силъ противостоятъ; можетъ, она и нашла бы еще въ своей груди отвагу и мощь, но эту грудь разъѣдалъ изнутри ядовитый ракъ папства. Теперь Италія забыла старыя притязанія и семейныя ссоры, теперь она плохо вѣрится въ папство, она спаялась горемъ и слезами и требуетъ государственнаго единства и гражданской свободы.

Въ Ливорно я увидѣлъ первую «чивику» ⁵⁾, il popolo armato ⁶⁾. Я вообще не люблю ни орудій, ни солдатъ, но если ужъ есть необходимость въ вооруженной силѣ, то внутренняя стража, соста-

¹⁾ Сидней, англ. писательница, авторъ книги «Italy».

²⁾ Жанъ, франц. писатель, авторъ сочиненій объ Италіи.

³⁾ «О ты, которой судьба дала гибельный даръ красоты!»

⁴⁾ Времена мѣняются.

⁵⁾ Civica—гражданская (національная) гвардія.

⁶⁾ Вооруженный народъ.

вленная изъ гражданъ и не одѣтая въ шутовской мундиръ, всего менѣе оскорбляетъ. По счастью, тосканская чивика еще не успѣла нашить себѣ мундиры; люди, одѣтые кто во что попало,—въ бархатныхъ и суконныхъ курткахъ, въ блузахъ всѣхъ цвѣтовъ, въ пальто всѣхъ покровевъ, съ круглыми шляпами и въ фуражкахъ, съ перевязью черезъ плечо и съ ружьемъ,—занимали всѣ караулы. Вы не можете представить себѣ, до какой степени это отсутствіе мундира облагораживаетъ часового. Мундиръ отрѣзываетъ человѣка отъ людей,—для солдатъ существуетъ полкъ, знамя, военная честь, а не честь гражданина, не городъ, не семья; это—человѣкъ иного міра, его ремесло— - - - - - , и потому онъ одѣтъ иначе, и потому онъ противопоставленъ au requin, фрачнику, мужику. Мундиръ — риза, облаченіе; солдатъ — не мірянинъ, онъ жрецъ смерти, человѣческихъ жертвоприношеній. Надѣвать мундиръ на національную гвардію—нелѣпость или желаніе изъ нея сдѣлать такое же покорное орудіе въ рукахъ власти, какъ арміи. Цѣль эта во Франціи достигнута. Глядя на чивику въ Ливорно, признаюсь, я не могъ удержаться, чтобъ не подумать, что было бы съ нашимъ другомъ Сергѣемъ Сергѣевичемъ Скалозубомъ, если-бъ онъ вдругъ— не въ Ливорно, а на Литейномъ или на Морской—увидѣлъ такихъ часовыхъ.

Изъ Ливорно мы съѣздили на нѣсколько часовъ въ Пизу. Всѣ эти мѣста остались въ моей памяти свѣтлыми точками, воспоминанія объ нихъ всякій разъ отрадны для меня. И, не странное ли дѣло, при словѣ «отрадныхъ воспоминаній» моего путешествія мнѣ представился—что вы думаете?—Кёнигсбергъ. Есть города, съ которыми встрѣчаешься особенно тепло, подъ особенно счастливымъ созвѣздіемъ. Кёнигсбергъ былъ первый городъ, въ которомъ я отдохнулъ отъ двѣнадцатилѣтнихъ преслѣдованій; тамъ я почувствовалъ, наконецъ, что я на волѣ, что меня не отошлютъ въ Вятку, если я скажу, что полицейскіе чиновники имѣютъ такъ же слабости, какъ и всѣ смертные, и не отдадутъ въ солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякаго честнаго человѣка дѣлать доносы на друзей.

Въ Тосканѣ политическое движеніе мнѣ показалось еще сильнѣе, нежели въ Піемонтѣ. Въ Ливорно на улицахъ стояли группы людей, съ жаромъ толковавшихъ объ политикѣ; всѣ принимали участіе въ разговорахъ и спорахъ: таможенные смотрителя, факины ¹⁾ и лодочники. Во всѣхъ лавкахъ были вывѣшаны трехцвѣтные фуляры съ *зажигательными* надписями, съ воззваніями, съ портретомъ Пія IX;

¹⁾ Носильщики.

на шляпахъ были огромныя кокарды, женщины носили трехцвѣтные банты, дѣти распѣвали гимнъ Пію IX.

Кстати, расскажу вамъ, какъ я *не слышалъ* въ первый разъ этотъ гимнъ. Однимъ добрымъ утромъ читаю я въ Парижѣ, читаю тамъ, гдѣ обыкновенно приклеиваютъ афиши,—на тѣхъ выдолбленныхъ каменныхъ памятникахъ, назначенныхъ съ одной стороны для величайшей гласности, а съ другой—для глубочайшаго *aparte* ¹⁾,—что въ Château des Fleurs будутъ пѣть гимнъ Pio попо ²⁾. Château des Fleurs—садъ, отдѣланный въ ультра-мѣщанскомъ вкусѣ, возлѣ Arc de Triomphe, съ декораціями на холстинѣ, съ искусственными развалинами, съ маленькими фонтанчиками и разноцвѣтными шкаликами. Бѣгу туда, беру билетъ и przygotowляюсь слушать; играютъ кадрили, играютъ Штраусовы вальсы, поютъ «Чувствительную Перрету», играютъ отрывокъ изъ «Сороки-воровки»,—гимна все нѣтъ; наконецъ, затрещалъ жалкій фейерверкъ,—мѣщанки испугались, ихъ мужья показали храбрость Нея и Мюрата и съ твердостью духа смотрѣли на полетъ ракетъ. Фейерверкъ—учтивое и огненное напоминовение, что пора итти вонъ; я въ отчаяніи отправляюсь къ капельмейстеру съ афишей въ рукѣ и требую Pie Neuf ³⁾. «Это не наша вина,—отвѣчаетъ капельмейстеръ—префектъ запретилъ; мы, съ своей стороны, сдѣлали все, что могли, nous vous avons donné pour le Pie Neuf un morceau de la Pie voleuse!» ⁴⁾ И это запрещеніе никого не поразило, никого не удивило, кромѣ меня. Глубоко оскорбленный, шель я домой по Елисейскимъ полямъ и грустно посматривалъ на Place de la Révolution, съ которой грозился черный и печальный обелискъ, поставленный на мѣстѣ страшной гильотины 21 января ⁵⁾; я обернулся,—добродѣтельные мѣщане шли такъ мирно, такъ покойно домой, хохотали, курили, и вдали исчезалъ Arc de Triomphe, на которомъ мастерской рѣзецъ такъ славно вырѣзалъ громовую Марсельезу. Журналы едва помянули объ этомъ... Вотъ вамъ Франція въ 1847 году. Мишле, начиная курсъ второго семестра, сказалъ: «Господа, прошедшій годъ для насъ—нравственное Ватерлоо: глубже упасть нельзя, мы дотронулись до дна срама и позора». Мишле забылъ, что есть у фокусниковъ ящики съ двумя, съ нѣсколькими днами.

Не могу сказать, чтобъ Римъ съ перваго раза сдѣлалъ на меня особенно пріятное впечатлѣніе. Въ Римъ надобно вжиться,

¹⁾ Особнякомъ.

²⁾ Пію IX.

³⁾ Пія Девятаго.

⁴⁾ Мы вмѣсто Пія Девятаго дали отрывокъ изъ «Сороки-воровки».

⁵⁾ 1793 года,—день казни Людовика XVI.

его надобно изучить; хорошія стороны его не бросаются въ глаза, въ наружности города есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачныя улицы, его угрюмыя дворцы и некрасивые дома печальны; въ немъ все почернѣло, все будто послѣ покойника, все пахнетъ затхлымъ, такъ, какъ въ Петербургѣ все лоснится, все пахнетъ известью, сырымъ, необжитымъ. Всего болѣе поражаетъ въ новомъ Римѣ отсутствіе величія, т. е. именно ширины, того, что мы привыкли сопрягать со словомъ Римъ. Не возмущайтесь тѣмъ, что я говорю, а дайте объясниться,—дѣло идетъ теперь объ общемъ впечатлѣніи новаго Рима, а не о двухъ прошедшихъ, которые оставили свои великіе памятники среди него.

«Вѣчный» городъ нѣсколько разъ мѣнялъ свою броню; слѣды разныхъ одеждъ его остались, по нимъ можно судить, какова была его жизнь. Римъ—величайшее кладбище въ мірѣ, величайшій анатомическій театръ; здѣсь можно изучать бывшее существованіе и смерть во всѣхъ ея фазахъ. Прошедшее здѣсь легко возстановляется по одной колоннѣ, по нѣсколькимъ камнямъ.

Первое, что поражаетъ человѣка, не свихнувшего свой умъ мистическими бреднями, это—слѣды жизни смутной, дикой, отталкивающей, исключительной, которою смѣняется широкая, могучая, раскрытая жизнь древняго Рима. Въ древне-христіанскомъ Римѣ не видать ни малѣйшаго понятія объ искусствѣ, никакого чувства изящнаго; застроенныя въ стѣны колонны, порталы стоятъ вѣчными свидѣтелями благочестиваго безвкусія того печальнаго міра, который замѣнилъ міръ Пантеона и Колизея. Древній Римъ палъ, какъ могучій гладиаторъ,—его колоссальный остовъ внушаетъ благоговѣніе и страхъ; онъ и теперь гордо и торжественно борется противъ разрушенія, время не могло сокрушить его костей; его остатки, ушедшіе въ землю, разваливающіеся, покрытые плющемъ и мохомъ, величественнѣе и благороднѣе всѣхъ храмовъ Браманте ¹⁾ и Бернини ²⁾. Каковъ былъ мощный духъ, умѣвшій такъ отпечатлѣть себя на этихъ каменныхъ ребрахъ, что полустертый слѣдъ его подавляетъ собою два, три Рима, выстроенные возлѣ и строившіеся вѣка! Когда я первый разъ вышелъ на Капитолійскую гору и вдругъ очутился надъ Форумомъ и Колизеемъ, я остановился, смущенный и взволнованный. Вотъ онъ—остовъ великаго дѣятеля. Въ гигантскомъ скелетѣ сохранилось царственное выраженіе; Forum Romanum ³⁾—великія свѣтскія мощи міра чисто свѣтскаго; вѣчный Римъ *тутъ*,—по этимъ развалинамъ легко понять, кто были римляне.

¹⁾ Извѣстный итал. архитекторъ.

²⁾ Джіовано, знаменитый итал. скульпторъ, художникъ и архитекторъ.

³⁾ Римская площадь.

Рядомъ съ костями полубога, героя, возлѣ нихъ, около нихъ, а частію на нихъ замерла другая жизнь, жизнь средневѣковая; печальная, суровая мумія его наводитъ уныніе, смерть сохранила изнуренныя постомъ и молитвой формы, образъ монашескій и болѣзненный. Въ Римѣ нѣтъ ни одного замѣчательнаго памятника среднихъ вѣковъ; весь этотъ византизмъ и готизмъ былъ не по натурѣ итальянцамъ, всего менѣе—римлянамъ. Они не настолько южны, чтобъ предаваться сладострастію аскетизма, и не настолько сѣверны, чтобъ млѣть въ мечтательномъ мистицизмѣ. Климатъ Италіи слишкомъ свѣтелъ для истомы плотоумерщвленія. Итальянца тянетъ изъ-подъ готической стрѣлки къ спокойному куполу, онъ не стремится вмѣстѣ съ теряющимися колокольнями... туда, туда, — ему и здѣсь хорошо. Онъ, какъ Миньона: *dahin, dahin!* ¹⁾ у него значитъ—въ Италію. Жизнь средневѣковая для Рима была не цвѣтеніе, какъ для Бельгіи, напримѣръ, а болѣзнь, искупленіе старыхъ грѣховъ, изнеможеніе отъ избытка жизни и страстей. Какъ только онъ собрался съ силами, онъ снова ринулся къ свѣтской жизни при цезарѣ Львѣ X, Юліи II. Языческая закваска никогда не проходила въ Италіи,—ей равно не прививались ни учрежденія благоустройства и тишины, о которыхъ такъ старались Гибелины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь міръ, за исключеніемъ Италіи.

Возстановленный Римъ дебютировалъ громадно, — закладкой св. Петра, но прежде, нежели папа Павелъ V и Карлъ Мадерни ²⁾ достроили и испортили храмъ, заложенный Браманте, по Италіи прошло дыханіе смерти и оцѣпенѣнія. Карлу V положительно и Мартину Лютеру отрицательно принадлежитъ эта печальная слава.

Реформація нанесла Риму страшный ударъ—финансовый, политическій, религіозный, нравственный; она, освободившая долею мысль въ Германіи, остановила ея развитіе въ Италіи; она испугала совѣсть ересью, она поразила умы возможностью паденія католицизма, она ожесточила духовенство, построила его въ боевой порядокъ, раздула инквизицію и вызвала иезуитизмъ. Александръ Борджіа ³⁾, — этотъ Тиверій въ тиарѣ, — *борется* съ Савонаролой; послѣ Лютера борьба невозможна; пытка, вѣчное заточеніе, казнь—отвѣтъ на всякое разномысліе, на всякое высказанное сомнѣніе. Доминиканцы трепещутъ за существованіе церкви и іерархіи, папы

¹⁾ Туда, туда!

²⁾ Знаменитый итальян. архитекторъ.

³⁾ Родриго Ленсуоли Борджіа, занималъ папскій престолъ подъ этимъ именемъ.

отрачиваютъ бороду и не снимаютъ монашеской рясы. Испуганные міряне начинаютъ снова поститься, исполнять внѣшніе обряды,— католицизмъ упроченъ на вѣка.

Между тѣмъ, борьба Франціи и Испаніи на итальянской землѣ добила Италію. Она мученически вынесла свои тысячелѣтнія междоусобія, но дикія орды разбойниковъ и вольнонаемыхъ убійць она вынести не могла. Города были лишены укрѣпленій, ограблены, стада угнаны, поля потоптаны, никакого обезпеченія не существовало.

Римъ еще нѣсколько щадили изъ уваженія, изъ благочестія, изъ необходимости имѣть Римъ, но онъ оцѣпенѣлъ въ своемъ одиночествѣ, и отсюда начинается для него новая эра. Мы ее можемъ считать съ Карла V,—онъ убилъ прошлую жизнь Италиі такъ, какъ убилъ ее въ Испаніи мертвящимъ, бездушнымъ сосредоточеніемъ всѣхъ властей. Съ него началось нѣмое управленіе, угнетеніе всего самобытнаго, мѣстнаго, индивидуальнаго; пошлость и повиновеніе замѣнили средневѣковую вѣрность и честь. Въ эту эпоху, сѣрую и глухую, сложился тотъ Римъ, который стоитъ теперь. Онъ въ концѣ XVI и въ XVII вѣкѣ лѣпилъ домъ къ дому, церковь къ дому, портилъ площади, все предоставлялъ случайности и строилъ въ самомъ дурномъ стилѣ de la renaissance ¹⁾. Широкая жизнь тѣхъ вѣковъ текла не въ Римѣ,—она шла тамъ, гдѣ строились Версали да Лувры. Римъ вовсе не зналъ изящества новыхъ городовъ съ ихъ удобнымъ щегольствомъ, съ ихъ широкими улицами, съ ихъ большими площадями. Новые города, полные силъ и свѣжести, непрерывно *строятся*, дѣятельный духъ, живущій въ нихъ, требуетъ перемѣны, расширенія, роскошной обстановки; на слабомъ и оставленномъ Римѣ лежалъ вампиръ, который высасывалъ всю кровь его. Гдѣ ему было перестраиваться? его дворцы чернѣли, его виллы заростали, его граждане приучались къ лишеніямъ,—онъ остался Римомъ XVII вѣка, ожидая новой жизни, и дождался ея.

Римъ бѣденъ. Его доходы были искусственны, реформація отрѣзала ему Англию и большую часть Германіи, просвѣщеніе—почти все остальное; у него все уменьшалось, кромѣ расходовъ; нищенствующая братія все также жила «*per la cheta*» ²⁾; огромныя достоянія монастырей и духовныхъ корпорацій все также служили для поддержки скудельнаго тѣла отказавшихся отъ міра сего. Римъ обнищаль, и настоящій итальянецъ сидитъ въ лохмотьяхъ, а похожъ на царя и не думаетъ о томъ, какъ горю помочь. Римъ, какъ всѣ вѣнчанныя главы, не привыкъ заботиться о матеріальныхъ нуждахъ.

¹⁾ Возрожденія.

²⁾ Подаяніемъ.

Онъ увѣренъ, что онъ по-прежнему первый городъ во вселенной, что торговля всего міра стремится на его рынки, что онъ—нравственный центръ христіанства, и что Европа лучше ничего не просить, какъ прислать ему все, что нужно: отъ восковыхъ свѣчей и ладона до драгоценныхъ каменьевъ и слитковъ золота.

Чѣмъ долѣе живешь въ Римѣ, тѣмъ больше исчезаетъ его мелкая сторона, и тѣмъ больше вниманіе сосредоточивается на предметахъ безконечнаго изящества; грязныя сѣни, отсутствіе удобствъ, узкія улицы, нелѣпыя квартиры, пустыя лавки становятся все меньше и меньше замѣтны, и другія стороны римской жизни вырѣзываются, какъ пирамиды или горы изъ-за тумана, яснѣе и яснѣе. Такова самая *Camagna di Roma* ¹⁾. Сначала она поражаетъ пустыннымъ видомъ, отсутствіемъ обдѣланныхъ полей, отсутствіемъ лѣсовъ; все бѣдно, угрюмо, будто вовсе не въ средоточіи Италіи,—такіе пустыри найдутся, кажется, и на берегахъ Истры; но мало-по-малу человѣкъ знакомится съ этой вѣчной пустыней, съ этой дикой рамой Рима. Ея безмолвіе, ея опаловая даль, синія горы на горизонтѣ становятся все роднѣе. Тамъ медленно двигается осель, постукивая бубенчиками; черноволосый пастухъ, съ фартукомъ изъ бараньей кожи, сидитъ пригорюнившись и смотритъ; женщина несетъ какой-нибудь овощъ; въ яркомъ нарядѣ и съ бѣлымъ сложеннымъ платкомъ на головѣ, она останавливается отдохнуть, граціозно поддерживая рукой свою ношу на головѣ, и смотритъ вдаль, и черные глаза ея выражаютъ такую тоску, такую задумчивость, о которой она и не подозреваетъ,—и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на безконечное поле и горы, на пропадающую въ неопредѣленной дали зубчатую линію акведуковъ, идущую цѣлыя мили, на пастуха и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, *Camagna* имѣетъ одну веселую минуту, это—захожденіе солнца; тутъ она облита яркимъ свѣтомъ, который мѣняется каждая двѣ-три минуты; и вдругъ поднимается роса, пурпуръ смѣненъ ночью, и даль исчезла, — и ничего не видать, кромѣ теперь только замѣтнаго огонька пастуховъ и двухъ-трехъ ближнихъ развалинъ.

Разъ ночью сидѣлъ я съ однимъ молодымъ итальянцемъ на полуобрушившемся сводѣ Термъ Каракаллы, точно на высокой горѣ. Что за размахъ, что за своды, что за необычайные размѣры, какая могучая фантазія, дерзость замысловъ, упорность въ исполненіи! Совы и летучія мыши шныряли на мѣсячномъ свѣтѣ, вдали былъ слышенъ одинокій протяжный лай собаки на Тибрѣ,—Байронъ слышалъ подобный лай изъ Колизея.

¹⁾ Римская Кампанья.

— Безъ рабовъ римлянамъ было бы невозможно строить такия колоссальныя зданія; они — равно свидѣтели ихъ силы и ихъ тиранства,—сказалъ мой товарищъ.

Я не вытерпѣлъ и отвѣчалъ ему:

— Да въ томъ-то и величіе ихъ, что руками невольниковъ они умѣли воздвигать великое, что, грабя міръ, они кладъ не зарывали въ землю, а расчищали достойную арену для своего царскаго разгула. Рабы были не у однихъ римлянъ: есть страны, имѣющія рабовъ въ девятнадцатомъ столѣтіи, да что-то объ ихъ постройкахъ мало слышно. Признаюсь, что касается до меня, я склоняюсь передъ остовомъ этого колосса: каждая арка, каждая колонна говорятъ о силѣ, о шири, объ этомъ стремленіи къ раздолью, которое свидѣтельствуешь, что римляне, дѣйствительно, пожили, въ полномъ значеніи слова.

— А какая въ нихъ польза?

— Вамъ ли, итальянцу, это говорить? Вся поэзія жизни состоитъ изъ ненужностей. Рафаэль рисовалъ ненужныя картинки, Микель Анджеоло дѣлалъ каменные куклы, а Данте писалъ вирши вмѣсто того, чтобъ дѣлать дѣло.

— Вы правы,—сказалъ, расхохотавшись, нео-либераль, увлеченный анти-итальянскими теоріями тщедушнаго утилитаризма.

...Вторая великая сторона Рима, это—обиліе изящныхъ произведеній, той геніальной оконченности, той вѣчной красоты, передъ которой человѣкъ останавливается съ благоговѣніемъ, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тѣмъ, что видѣлъ, и примиренный со многими,—такъ, какъ это было со всѣми *людьми въ саомъ дѣль*, приходившими со всѣхъ концовъ міра на поклоненіе изящному въ Ватиканѣ, въ Капитоліи... и такъ, какъ это будетъ со всѣми людьми грядущихъ вѣковъ до тѣхъ поръ, пока время пощадитъ эти великіе залоговъ человѣческой мощи. Когда мучительное сомнѣніе въ жизни точитъ сердце, когда перестаешь вѣрить, чтобъ люди могли быть годны на что-нибудь путное, когда самому становится противно и совѣстно жить,—я со вѣтую итти въ Ватиканъ. Тамъ человѣкъ успокоится и снова что-нибудь благословитъ въ жизни. Ватиканъ не похожъ на всѣ прочія галлерей, это—пышныя палаты, украшенныя изящными произведеніями, а не выставка картинъ и статуй.

Галлерей вообще очень утомительны и больше полезны, нежели изящны; каждая статуя имѣетъ свое назначеніе, требуетъ свою обстановку и вовсе не нуждается въ цѣломъ баталіонѣ другихъ статуй; всякая картина дѣйствуетъ сильнѣе, когда она на своемъ мѣстѣ, когда она одна. Посмотрите, какъ фрески Микель

Анджело хороши въ своемъ одиночествѣ на одной изъ стѣнъ Сикстинской капеллы; его Моисей въ церкви—просто дома; пусть будутъ картины на каждой стѣнѣ, но лишь бы эти стѣны не были для картинъ. Въ галлерей чловѣкъ черезъ часъ чувствуетъ, что онъ не въ состояніи понимать, и, все-таки, смотритъ, по обжорливости своей натуры. Я увѣренъ, что много превосходныхъ произведеній утоплены, затеряны въ большихъ галлерейхъ, во многомъ множествѣ другихъ картинъ, гдѣ еще къ тому они задавлены двумя-тремя *chefs d'oeuvre*'ами. Добро бы еще картины располагались въ строгомъ историческомъ порядкѣ,—такого размѣщенія я нигдѣ не знаю, кромѣ въ берлинскомъ музеѣ, зато тамъ, кромѣ историческаго порядка, ничего нѣтъ. Я обыкновенно ходилъ къ двумъ-тремъ картинамъ, къ двумъ-тремъ статуямъ, а съ прочими встрѣчался, какъ съ незнакомыми на улицѣ,—можетъ, они и хорошіе люди, можетъ, дойдетъ чередъ и до знакомства съ ними, ну, а пока пусть себѣ идутъ мимо.

Чѣмъ больше приглядываешься къ великому произведенію, тѣмъ меньше удивляешься ему; это-то и необходимо,—удивленіе мѣшаетъ наслаждаться. Пока картина или статуя поражаетъ, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, не возвысились до нея, не сладили съ нею, она васъ подавляетъ, а быть подавленному величіемъ—не высокое эстетическое чувство. Пока чловѣкъ еще поработенъ великимъ произведеніемъ, произведенія болѣе легкія доставляютъ болѣе наслажденія, потому что они соизмѣримѣе, даются безъ труда, въ какомъ бы расположеніи чловѣкъ ни былъ,—что труднаго понять, оцѣнить головки Карло Дольчи ¹⁾, Маратта ²⁾? Онѣ такъ милы, такъ изящны, что нѣтъ возможности ихъ не понять. Великія картины, напротивъ, часто сначала притѣсняють; иногда являются порывы взбунтоваться противъ нихъ, но когда вы однажды ознакомились съ такимъ произведеніемъ, тогда только вы оцѣните разницу того наслажденія, которое вы приобрѣли отъ Карло Дольчи или Кановы и, съ другой стороны, отъ Буонаротти, Лаокоона, Аполлона Бельведерскаго и др. Я очень долго не могъ сколько-нибудь отчетливо сладить съ «Страшнымъ судомъ»: меня ужасно расцѣвали частныя группы; къ тому же картина довольно почернѣла, и я все попадалъ въ капеллу въ туманные дни. Какъ-то на дняхъ, выходя вонъ изъ капеллы, я остановился въ дверяхъ, чтобъ посмотрѣть еще разъ на картину. Первое, что меня остановило на этотъ разъ, было лицо и поло-

¹⁾ Флорентинскій художникъ XVII вѣка.

²⁾ Карло, итальянскій художникъ и граверь, оставившій прелестныхъ Мадоннъ.

женіе Богородицы. Христокъ является торжествующимъ, мощнымъ, непреклоннымъ; синій свѣтъ остановавшейся молніи освѣщаетъ его; давно умершіе поднялись, все ожило,—начинается судъ, кара, и въ это время существо кроткое, испуганное окружающимъ, робко прижимается къ нему, глядитъ на него, и въ ея глазахъ видна мольба, не желаніе справедливости, а желаніе милосердія.

Какъ глубоко понялъ Буонаротти христіанскій смыслъ Дѣвы. Вотъ она, всѣхъ скорбящихъ заступница, готовая своей робкой рукой остановить поднятую руку сына, и когда отъ этой группы я сталъ переходить къ окружающему, огромная картина сплавилась въ нѣчто единое, безконечное; множество фигуръ со стороны, по бокамъ получили смыслъ, котораго я прежде не могъ понять, который теперь начинаю подозрѣвать,—и съ этого дня я пересталъ анализировать каждую фигуру, пересталъ удивляться знанію остеологии и міологии Микель Анджело.

Но я себѣ далъ слово не утомлять васъ описаніемъ изящныхъ произведеній; кого интересуеетъ *читать* картины, тотъ найдетъ источники.

Въ слѣдующемъ письмѣ мы поговоримъ о современномъ состояніи Рима, о его *risorgimento*.

Теперь въ заключеніе скажу нѣсколько словъ объ моихъ прежнихъ письмахъ. До меня дошли слухи, что ихъ дурно приняли въ печати. Одни вступились за французскую буржуазію, за нѣмецкую кухню, всѣ—за неуважительный тонъ, за легкость и поверхностность, за фамиллярность съ предметами почтенными и уважаемыми, за недостатокъ достодолжной скромности въ обращеніи со старшими братьями, за недомолвки, наконецъ, которыя тоже поставили на мой счетъ. Мнѣ кажется, что «Письмамъ изъ Avenue Marigny» придали больше значенія, нежели они въ самомъ дѣлѣ имѣли, и разсердились на нихъ за то, что они не оправдали ожиданія. Письма эти—нѣсколько помѣченныхъ впечатлѣній, нѣсколько набросанныхъ замѣтокъ на скорую руку, середь иныхъ занятій, при недосугѣ, при новости явленій, при оглушительномъ громѣ событій, подъ вліяніемъ досады, которую назвать и опредѣлить было гораздо труднѣе, нежели кажется. Письма эти—вовсе не отчетъ о путешествіи, не результатъ, выведенный изъ посильнаго изученія Европы, не послѣднее слово, не весь собранный плодъ; ничего подобнаго у меня не было въ помышленіи: мнѣ просто хотѣлось передать первое столкновеніе съ Европой; въ нихъ вылились мѣстами рядомъ съ шуткой и вздоромъ, негодованіе, горечь, которая поневолѣ переполняла душу, иронія, къ которой мы столько же привыкли, какъ Эзопъ, рабъ Ксанѳа,—къ аллегоріи. У меня не было

задней мысли, не было заготовленной теоріи ничему не удивляться или всему удивляться, а было желаніе уловить мелькающія, летучія впечатлѣнія откровенно, добросовѣстно,—вотъ и все. Что касается до неуважительнаго тона, то я не вижу никакой необходимости говорить съ почтеніемъ о вещахъ, которыя мнѣ кажутся презрительными, хотя бы мы ихъ и привыкли уважать издали, по старымъ воспитаніямъ. Недостаточно найти страну, въ которой все еще хуже, чтобъ находить хорошимъ то, что дѣлается здѣсь. Всѣ кумиры долой,—голая, обнаженная истина лучше приведетъ къ дѣлу, нежели лганье съ доброй цѣлью ¹⁾. Наконецъ, я долженъ признаться, что не только въ моихъ письмахъ, во и въ сердцѣ недостаетъ этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склоняться, «принижаться», какъ говорятъ славянофилы, для которой поклоненіе необходимо, чему бы то ни было — золотому теленку или серебряному барану, русскимъ древностямъ или парижскимъ новостямъ. Мнѣ одинъ френологъ, до боли надавивши пальцемъ черепъ, объявилъ, что у меня недостаетъ *la bosse de la vénération* ²⁾: противъ физическаго недостатка и суда нѣтъ. Изъ всѣхъ преступленій я всего дальше отъ идолопоклонства и противъ второй заповѣди никогда не согрѣшу. Человѣкъ тогда только свободно смотритъ на предметъ, когда онъ не гнетъ его въ силу своей теоріи и самъ не гнется передъ нимъ. Уваженіе къ предмету, не произвольное, а обязательное, ограничиваетъ человѣка, лишаетъ его свободнаго размаха. Предметъ, говоря о которомъ, человѣкъ не можетъ улыбнуться, не впадая въ кощунство, не боясь угрызений совѣсти,—фетишь, и человѣкъ подавленъ имъ, онъ боится его смѣшать съ *простою* жизнью. Такъ египетское ваяніе и наша дикая иконопись давали неестественныя позы и неестественный колоритъ, чтобъ отдѣлиться отъ презрѣннаго міра земной красоты и теплой, живой карнаціи ³⁾.

Мнѣ въ Италиі ни надъ чѣмъ не хочется смѣяться; помнится, я въ Парижѣ тоже не смѣялся надъ «*Франціей, за цензоромъ стоящей*»; въ плѣсени, покрывающей общество въ Парижѣ, въ притязаніи мѣщанъ на образованность, на либерализмъ,—все вызывало презрительный смѣхъ, все дразнило меня. Я былъ откровененъ въ обоихъ случаяхъ.

¹⁾ Дѣйствительно, смѣхъ имѣетъ въ себѣ нѣчто революціонное. Пока люди вѣрили въ христіанство, не было смѣха. Въ церкви и во дворцѣ никогда не смѣются,—по крайней мѣрѣ, открыто. Крѣпостные люди лишены права улыбки въ присутствіи помѣщиковъ. Одни равные смѣются между собой. Смѣхъ Вольтера разрушилъ больше плача Руссо.—А. И. Г.

²⁾ Шишка почтительности.

³⁾ Carnation—тѣлесность.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Римъ, 4 февраля 1848 г.

Я видѣлъ нѣсколько разъ Пія IX; мнѣ очень хотѣлось прочесть на лицѣ этого человѣка, поставленнаго во главу не только итальянскаго движенія, но европейскаго, какую-нибудь мысль, словомъ—чтонибудь, и я ничего не прочелъ, кромѣ добродушной вялости и безстрастнаго спокойствія. Всѣ портреты его, всѣ бюсты похожи; къ нимъ надобно добавить бѣлый, нѣжный цвѣтъ лица, католическую, клерикальную полноту, прозрачную мясистость и небольшіе глаза, выражающіе... что выражающіе?—какую-то безпечную сытость. Я увѣренъ, что Пій IX не способенъ ни къ жестокости, ни къ преслѣдованіямъ ¹⁾, но онъ можетъ допустить и то и другое; и я еще болѣе увѣренъ въ томъ, что какія бы обстоятельства ни пришли, его пищевареніе не разстроится, онъ тихо погрузится и успокоится.

Первый разъ я видѣлъ его въ квиринальской капеллѣ, гдѣ онъ служилъ. Его окружали всѣ кардиналы, находившіеся на-лицо въ Римѣ,—что это за вѣющія несчастьемъ лица, напоминающія инквизицію и ауто-да-фе. Какъ ясно выражалась въ каждой чертѣ, въ каждомъ движеніи этихъ безсемейныхъ стариковъ жизнь, проведенная въ двоедушіи и домогательствахъ, ненависть ко всему свободному, властолюбіе, зависть, готовность мести, отсутствіе всего человѣческаго, теплаго. Каждый, въ свою очередь, подходилъ къ папѣ, кланялся ему съ колѣнопреклоненіемъ; онъ каждого накрывалъ руками; и въ томъ числѣ былъ Ламбускини ²⁾ съ видомъ стараго шакала; я ждалъ, что онъ укуситъ св. отца, но они расцѣловались преспокойно.

Во второй разъ я видѣлъ св. отца во всемъ блескѣ понтификата въ церкви Santa Maria Maggiore, гдѣ онъ прогуливался nella sedia gestatoria ³⁾. Это было гораздо смѣшнѣе Квиринала; Пія IX носили по церкви въ креслахъ, подъ разноцвѣтными опахалами. Этотъ индійскій видъ совсѣмъ не шелъ къ нему. Въ церкви была жара страшная, папу закачало, какъ на лодкѣ, и онъ блѣдный, отъ

¹⁾ Это писано въ началѣ 1848 года. Да простить мнѣ св. Петръ, что я такъ дурно понялъ его представителя: онъ очень способенъ!—А. И. Г.

²⁾ Луиджи, кардиналъ, получившій при избраніи папы въ 1846 г. наибольшее число голосовъ по первой баллотировкѣ и уступившій первенство Пію IX при второй.

³⁾ На носилкахъ.

приближавшейся морской болѣзни, съ закрытыми глазами благо-
словлялъ направо и налево. По дорогѣ стояли съ обѣихъ сторонѣ
солдаты,—красная *guardia nobile* ¹⁾ и пестрые *svizzeri* ²⁾, въ средневѣ-
ковой одеждѣ. Офицеры командовали при приближеніи кортежа
«А-гмил!», и ружья брякали на-карауль середь церкви; офицеры
командовали «*Ginocchio*» ³⁾, и солдаты становились по темпамъ на
колѣни. Я не могу привыкнуть къ военной обстановкѣ предметовъ
по преимуществу мирныхъ,—ружья, мечи, штыки, сабли, кивера,
пики и шлемы оскорбляютъ въ церкви; прибавьте къ этому не-
приятное кастратское пѣніе, толпу откормленныхъ монсиньоровъ,
сытыхъ канониковъ, переваливающихся съ какою-то отвратитель-
ной фамиллярностью съ ноги на ногу, рядомъ съ сухими и жел-
тыми иезуитами и полудикими монахами изъ дальнихъ монастырей,—
и вы поймете, каково должно быть впечатлѣніе.

Странная вещь! Католицизмъ, умѣвшій создать такіе храмы,
умѣвшій украсить ихъ такими фресками, такими картинами и ста-
туями, не умѣлъ уладить торжественнѣе, поэтичнѣе свой ритуаль
въ самомъ Римѣ. Разумѣется, время всѣхъ ритуаловъ вообще про-
шло, и они дѣйствуютъ не болѣе, какъ - - - - - процессіи,—самая
толпа смотритъ съ любопытствомъ, а не съ благоговѣніемъ на всѣ
эти ненужности,—но тѣмъ не менѣе постановка могла быть худо-
жественнѣе и ближе къ духу религіи. Ритуаль восточной церкви
несравненно изящнѣе и величественнѣе.

Наконецъ, третій разъ я видѣлъ папу болѣе въ трагической
роли, нежели въ комической, какъ прежде. Для того, чтобъ вамъ
было понятно, надобно рассказать, что было наканунѣ новаго года.
Вечеромъ 31 декабря дождь лилъ проливной, сильные удары грома
и непрерывныя молніи, кромѣ всего остального, напоминали, что
это не русскій новый годъ; между тѣмъ *Piazza del Popolo* покры-
лась народомъ и зажженные *torci* ⁴⁾, невесело потрескивая и дымясь,
зажигались тамъ и сямъ. Я смотрѣлъ въ окно на это приготовленіе.
Толпа построилась правильной колонной и, грянувъ *scuoti la polvere* ⁵⁾,
пошла по Корсо къ Квириналу. Анжелло Брунетти, т. е. Чичеро-
ваккіо, велъ римскій народъ поздравить св. отца съ новымъ го-
домъ, прокричать ему «*evviva*» ⁶⁾ такъ, какъ ему одному кричатъ,

¹⁾ Дворянская гвардія.

²⁾ Швейцарцы-солдаты.

³⁾ На колѣни!

⁴⁾ Факелы.

⁵⁾ Отряхнемъ прахъ—начало извѣстной пѣсни: «Отряхнемъ прахъ отъ
нашихъ ногъ».

⁶⁾ «Да здравствуетъ!»

и напомнить, что римляне ожидаютъ въ этомъ году исполненіе тѣхъ упованій, на которыя онъ дозволилъ надѣяться, но которыя еще не удовлетворены консультой. Савелли, римскій губернаторъ, открытый врагъ движенія, отправился къ Пію и увѣрилъ его, что мятежная толпа народа собирается посѣтить его на monte Cavallo. Папа, который лично зналъ Чичероваккіо, котораго Чичероваккіо спасъ отъ ламбускиніевскаго заговора, повѣрилъ и перепугался. Онъ велѣлъ созвать чивикку и не вдаль отъ Квиринала приготовить полкъ берсальеровъ. Между тѣмъ въ двѣнадцатомъ часу ночи, по дождю и грязи, спокойно и стройно пришла колонна съ факелами къ monte Cavallo, съ крикомъ «viva Pio popo, e viva sempre!»¹⁾ Народъ звалъ папу на балконъ, папа не вышелъ, а выслалъ сказать, чтобъ народъ расходился. Отношенія, образовавшіяся между народомъ и папой, избаловали римлянъ; они нѣсколько разъ вмѣстѣ плакали и клялись во взаимной любви. Отказъ папы удивилъ всѣхъ. Люди, промокнувшіе до костей, не ждали такого пріема, они стали еще громче и настоятельнѣе требовать появленія папы; тогда губернаторъ объявилъ имъ, что если они не пойдутъ сейчасъ же по домамъ, то онъ, по приказанію св. отца, ихъ разгонитъ солдатами и чивиккой. Народъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что въ самомъ дѣлѣ солдаты подъ ружьемъ. Еслибъ Григорій XVI пустилъ ядро вдоль по Корсо во время moscoletti²⁾, это не удивило бы, не оскорбило бы такъ глубоко римлянъ, какъ грубый отвѣтъ Пія IX.

Тактъ римлянъ въ этихъ случаяхъ удивителенъ. Вдругъ все перемѣнилось; факелы погасли; ни одного крика, мрачно, безмолвно; свернувши свое знамя, народъ пошелъ домой. На другой день нигдѣ ни толпы, ни веселья; праздника нѣтъ, городъ оскорбленъ, чивика громко ропщетъ; двое сенаторовъ приняли сторону народа и отправились къ Пію IX. Пій IX расплакался, сказалъ князю Корсини, что его ввели въ заблужденіе, и объявилъ, что для вознагражденія римлянъ онъ самъ поѣдетъ ихъ благословлять на новый годъ и для этого подѣдетъ ко всѣмъ главнымъ кордегардіямъ чивики.

Часовъ въ двѣнадцать, 2 января Корсо покрылся людьми. Правильная масса народа двигалась съ Piazza Colona; Чичероваккіо шелъ впереди со знаменемъ, на которомъ былъ написанъ слѣдующій упрекъ, кроткій, простой и полный смысла: «S. P. Giustizia al popolo chi è con voi!»³⁾ Процессія остановилась на перекресткѣ Corso и via Condotti. Папѣ нельзя было миновать которой-нибудь изъ

¹⁾ Да здравствуетъ Пій девятый и да здравствуетъ вѣчно!

²⁾ Праздничное шествіе во время карнавала съ короткими, но толстыми свѣчами.

³⁾ Святѣйшій отецъ, будьте справедливы къ народу, который за васъ!

улиць; народа было, по крайней мѣрѣ, тысячь двадцать; ни хохоту ни крику, никто не толпился, не давилъ; ни одного карабинера, ни одного полицейскаго не было видно (они вообще здѣсь гдѣ-то прячутся, особенно, когда есть демонстрація). Явилась чивика безъ ружей и стала въ ряды народа. Порядокъ былъ удивителенъ; только по временамъ поднимался крикъ, который распространялся далѣе и далѣе, разрастаясь, какъ кругъ въ водѣ отъ брошеннаго камня. Крики были выразительнѣе, нежели прежде: «Abasso i gesuiti, abasso il pallazzo madama!»¹⁾ (тутъ живетъ Савелли), «Viva la stampa libera i fratelli Bandiera! abasso i oscurantisti!»²⁾, и потомъ «viva Pio nono, ma solo, solissimo!»³⁾ Кто-то прокричалъ «viva i Piemontesi»⁴⁾, народъ подхватилъ; при этомъ вдругъ продирается сквозь густую толпу сѣдой, но здоровый старикъ и начинаетъ благодарить римлянъ отъ имени Генуи; словъ его я не разслышалъ, но по мимикѣ можно было догадаться: лицо у него разгорѣлось, онъ плакалъ; въ концѣ рѣчи онъ закричалъ: «viva la liberta!»⁵⁾ бросилъ свою шапку вверхъ и самъ бросился обнимать солдата національной гвардіи, потомъ другого, третьяго. Это была сцена изъ первыхъ дней французской революціи. Народъ бѣшено рукоплескалъ генуэзцу... Часа въ два раздалось: «Ѣдетъ, Ѣдетъ». Папа ѣхалъ шагомъ, сопровождаемый четырьмя драгунами и каретой, въ которой сидѣлъ кто-то изъ министровъ. Онъ былъ взволнованъ и очень блѣденъ. Народъ его встрѣтилъ громкимъ, безконечнымъ привѣтствіемъ. Чичероваккіо поднялъ знамя къ его окошку, и двадцать тысячь человекъ пошли провожать Пія IX. На первую минуту миръ былъ заключенъ. Конечно, не вина народа, если съ тѣхъ поръ онъ еще дальше сталъ съ папой, нежели былъ въ новый годъ.

Пій IX, какъ всѣ слабые люди, упрямъ; онъ сдѣлаетъ, что требуютъ, да послѣ, раздраживши прежде отказомъ, и тогда, когда ужъ хотятъ чего-нибудь другого. Такъ, онъ испортилъ дѣйствіе 2 января, но день этотъ для него былъ торжествененъ, грозно торжествененъ... По морю весело прокатиться, а чувствуешь, что уютно можно. Балконы были усыпаны дамами, всѣ окна раскрыты,

¹⁾ Долой иезуитовъ, долой дворецъ!

²⁾ Да здравствуетъ свободная печать, братья Бандіера! долой обскурантовъ. Аттіліо и Амиліо Бандіера—сыновья австрійскаго контръ-адмирала; чтутся въ Италіи, какъ мученики за свободу; были арестованы въ Калабріи, гдѣ хотѣли поднять возстаніе, и разстрѣляны съ другими. При разстрѣлѣ громко крикнули: «Да здравствуетъ Италія!»

³⁾ Да здравствуетъ Пій IX, но одинъ, только одинъ!

⁴⁾ Да здравствуютъ піемонтцы!

⁵⁾ Да здравствуетъ свобода!

отовсюду махали платками, карета папы двигалась шагъ за шагомъ, всадники были смяты, народъ держался за построжки, за лошадей, за колеса; кучера и лакеи не препятствовали, потому что невозможно было ничего сдѣлать. Чичероваккіо влѣзъ на вторую карету и сѣлъ со знаменемъ на имперіалѣ; жалкая фигура какого-то кардинала выглядывала, испуганная изъ подъ его ногъ, покрытая пылью. Часовъ, до семи продолжалось это шествіе, текла эта живая рѣка отъ *via Condotti* до *monte Cavallo*; съ переулковъ и площадей раздавались привѣтствія и крики, повторяемые всякій разъ нѣсколькими тысячами человѣкъ возлѣ ушей папы: «*Abasso i mascheri, Viva Ganganelli!*» (Климентъ XVI, изгнавшій іезуитовъ изъ Рима) «*Viva l'indipendenza, abasso i gesuiti!*»¹⁾. Когда процессія пришла къ Квириналу, смерклось; обширная площадь, на которой стоятъ знаменитые Фидіасовы лошади, была полна народомъ, ожидавшимъ возвращенія св. отца и его благословенія. Но онъ изнемогъ; блѣдный, онъ опустилъ благословляющую руку, и голова его склонилась на подушку: онъ лишился чувствъ. Драгунъ, ѣхавшій возлѣ кареты, сказалъ что-то Чичероваккіо; Чичероваккіо далъ знакъ рукой, и мало-по-малу водворилась тишина, прерываемая время отъ времени крикомъ встрѣчавшихся, которымъ тотчасъ показывали, чтобъ они молчали. Тишина придала еще больше торжественности зрѣлищу. Молча проводилъ народъ папу до воротъ, никто не требовалъ, чтобъ онъ вышелъ на балконъ, его повели подъ руки на лѣстницу. «*A casa, a casa!*»²⁾ закричали передніе ряды, и толпы народа молча и съ поднятыми знаменами пошли,—а полицейскихъ все не было.

Еще разъ, народныя движенія въ Римѣ носятъ на себѣ особый характеръ величаваго порядка, мрачной поэзіи, какъ ихъ развалины, какъ ихъ Самрагна. Лица, фигуры этихъ людей сохранили античныя черты,—черты доблести и благородства; католицизмъ имъ придалъ, вмѣстѣ съ бѣдствіемъ, съ неволей, видъ угрюмый, печальный, который еще болѣе поражаетъ въ соединеніи съ страстнымъ выраженіемъ и съ племенной красотой. Эти люди, которые смѣются разъ въ годъ, на карнавалѣ, терпѣли вѣка и, наконецъ, спокойно сказали: «Довольно!»

Папа былъ потрясенъ, плакалъ, занемогъ, и—ничего не сдѣлалъ. Онъ не умѣлъ воспользоваться этимъ днемъ и совершенно лишился народной любви. Всѣ ждали новое министерство, увольненіе Савелли. Савелли остался, и ни одной льготы: народъ оби-

¹⁾ Долой маски! Да здравствуетъ Ганганелли! Да здравствуетъ независимость! Долой іезуитовъ!

²⁾ Домой, домой!

дѣлся второй разъ и врядъ помирится-ли. Пустыя и бесполезныя полицейскія мѣры внесли больше горечи въ эту размолвку, нежели бы могли сдѣлать дѣйствительныя притѣсненія. Римляне привыкли всякое утро читать маленькій листокъ «Pallade», приклеенный по стѣнамъ на улицахъ. Можете себѣ представить, какъ должна быть дорога нѣкоторая свобода книгопечатанія для народа, жившаго вѣка подъ гнетомъ самой варварской цензуры. Папа запретилъ приклеивать «Паллалу» по стѣнамъ, запретилъ даже продавать на улицахъ. Редакція объявила афишами на всѣхъ углахъ объ этомъ запрещеніи и увѣдомляла читателей, что она перенесла сбытъ своего журнала во всѣ табачныя лавки, во всѣ кофейныя и что, не имѣя права носить «Палладу» по улицамъ, ни приклеивать къ стѣнамъ, они поставятъ столы и положатъ на нихъ свой журналъ для чтенія. Савелли побоялся запретить, — и римскій «Шаривари» надъ ними же нахохотался досыта.

Въ концѣ декабря дѣлали демонстрацію швейцарскому послу, поздравляя его съ разбитіемъ Зондербунда. Вдругъ черезъ двѣ недѣли св. отецъ надумался и повелѣлъ всѣмъ участникамъ анти-католической демонстраціи три дня поститься, предоставляя исполненіе этой полезной мѣры на собственную совѣсть тѣхъ, которые были на демонстраціи. Римъ расхохотался отъ одного конца до другого, прочитавъ въ официальной газетѣ эту шалость будирующаго намѣстника св. Петра.

Но, въ сущности, Римъ былъ далекъ отъ смѣха. Мрачная тишина и тяжелое расположеніе духа становились очевидны съ половины января. Сомнѣніе въ св. отцѣ, недовѣріе къ нему работало во всѣхъ умахъ,—въ аристократическомъ *Circolo Romano* ¹⁾ и въ народномъ *Circolo Popolare* ²⁾, основанномъ на-дняхъ Чичероваккіо. Пій IX хмурился и давалъ созрѣть этимъ мыслямъ. Его поведение, дѣйствительно, было непонятно. Всякій день приносилъ какую-нибудь потрясающую вѣсть—то изъ Милана, то изъ Павіи, Неаполя, Сициліи. На Монте-Кавалло, въ Квириналѣ царила тишина недомнѣнія: ни слова успокоенія, ни слова утѣшенія. Римляне боятся Людовика-Филиппа, боятся короля Альберта, ненавидятъ Австрію и спрашиваютъ, съ кѣмъ св. отецъ, противъ кого?.. Глаза всѣхъ обращаются на Пія IX, на человѣка эпохи,—а Пій IX притихъ, какъ будто его нѣтъ, хотя, впрочемъ, и разрѣшилъ торжественную панихиду по убіеннымъ ломбардцамъ, несмотря на протестъ австрійскаго посланника.

¹⁾ Римскій клубъ.

²⁾ Народный клубъ.

Такъ проходилъ январь: тревожно внутри и тихо снаружи, при отвратительной мокрой погодѣ, что уже само по себѣ въ Италіи составляетъ общественное несчастье. Какъ вдругъ, вслѣдъ за сбивчивыми слухами пришли достовѣрныя вѣсти не токмо о возстаніи Палермо, но и о геройской защитѣ города. Съ этого дня Римъ вступилъ въ новую фазу пробужденія, онъ еще *больше* проснулся. Уступки неаполитанскаго короля, которыя за мѣсяць были бы приняты рукоплесканіемъ всей Италіи, были приняты презрѣніемъ: онѣ выражали страхъ и безсиліе. Неаполь молчалъ, осыпая сарказмами римскихъ и флорентинскихъ журналовъ. Наконецъ, 28 января двинулся и онъ; король попробовалъ усмирить народъ, не сладилъ и, скрѣпя сердце, обѣщалъ конституцію и амнистію. Вѣсть эта дошла до Рима на другой день. Толпы народа бѣгали по главнымъ улицамъ съ крикомъ. «Lumi! Lumi!» ¹⁾, — и всѣ окна освѣтились. Сенатъ и шатающееся министерство поняли, что тутъ распасться съ народомъ значило погубить себя, а потому подъ завѣтными буквами S. P. Q. R. ²⁾ они объявили al popolo romano ³⁾, что 3 февраля назначается молебствіе и торжествованіе «возстановленія *мира* въ королевствѣ обѣихъ Сицилій». Снова ошибка, снова слабость въ обѣ стороны и, слѣдственно, неудача въ обѣ стороны. Корсо горѣлъ огнями, демонстрація была величественна и колоссальна; вся чивика, все народонаселеніе Рима принимало участіе, но для Пія IX горекъ былъ этотъ день: національная гвардія сняла его кокарду (желтую съ бѣлымъ) и надѣла трехцвѣтную. Ликующій народъ прошелъ по всему Риму, посѣтилъ Форумъ и Капитолій, но миновалъ Monte Cavallo: Пій IX былъ исключенъ изъ торжества. Правительство лишилось всякой моральной силы. Папа снова готовится къ уступкамъ и снова дразнить народъ. Начальникъ національной гвардіи велѣлъ снять трехцвѣтную кокарду, его не послушались; на другой день вышелъ приказъ, разрѣшавшій трехцвѣтныя кокарды! 3 февраля къ крику «Viva Pio popolo!» прибавляли всякій разъ: «e la costituzione, e la liberta!» ⁴⁾. Замѣчательно, что во все время ликованій ни одному чловѣку не пришло въ голову или никто не осмѣлился, по крайней мѣрѣ, прокричать какое-нибудь привѣтствіе неаполитанскому королю.

Завтра отправляюсь посмотреть своими глазами на Неаполь въ революціи, на Неаполь не только изящный, но и свободный. Пока,

¹⁾ Иллюминацію, иллюминацію!

²⁾ Сокращеніе девиза древней римской республики: Senatus Populus Que Romanus—сенатъ и народъ римскій.

³⁾ Римскому народу.

⁴⁾ И конституція, и свобода!

пользуясь дождемъ, я намѣренъ сказать еще нѣсколько словъ объ итальянскихъ дѣлахъ.

Какъ это случилось, что страна, потерявшая три вѣка тому назадъ свое политическое существованіе, униженная всевозможными униженіями, завоеванная, раздѣленная иноплеменниками, полтора вѣка разоряемая, и, наконецъ, совсѣмъ сошедшая съ арены народовъ, какъ дѣятельная мощь, вліяющая сила, страна воспитанная іезуитами, отставшая, обойденная, облѣнившаяся,—вдругъ является съ энергіей и силой, съ притязаніемъ на политическую независимость и гражданскія права, съ притязаніемъ на новое участіе въ европейской жизни?

Судьба полуострова шла въ послѣдніе три вѣка не торной дорогой исторіи, и оттого его современное состояніе на первый взглядъ не совсѣмъ понятно; можетъ, одинъ западный народъ и есть, котораго быть народный еще непонятнѣе, это—испанцы.

Мы легко привыкаемъ, по умственной лѣни, къ шаблонамъ и нормамъ, къ исторической алгебрѣ; алгебра эта составлена по тремъ типамъ: по англійскому, французскому и нѣмецкому. Италія шла инымъ путемъ. Когда весь міръ забылъ древній Римъ, память о немъ хранилась въ Италіи. Когда же, напротивъ, вся сѣверо-западная Европа стремилась къ государственной централизаціи, къ римской монархіи, Италія продолжала быть феодальной, была побѣждаема, притѣсняема, но не дѣлалась монархическою, кромѣ Піемонта и Неаполя. Въ Италіи не было періода индустріи, не было революціи въ пользу средняго сословія; ея горожане—не освобожденные рабы, не буржуазія, а вольные люди, утратившіе всѣ права, кромѣ муниципальныхъ.

Въ XVI вѣкѣ Италія накрыта внѣшнимъ гнетомъ, захвачена иноплеменными войсками и оставлена при своемъ мѣстномъ, муниципальномъ правѣ. Мертвая, какъ государство, она жила въ городскихъ коммунахъ, вся жизнь ея притекла къ этимъ сердцамъ народнаго существованія. Гнетъ, тяготѣвшій надъ Италіей до ломбардо-венеціанскаго королевства, не былъ ни равномѣренъ и ни всеобщъ; онъ не имѣлъ принятой, проведенной во всѣ стороны системы. Есть части Италіи, которыя со временъ греческихъ императоровъ и до нынѣшняго дня едва по наслышкѣ знали о правительствѣ, платили подать, давали солдатъ и внутри управлялись своими обычаями и законами; такова Калабрія, Базиликата, Абруца, цѣлыя части Сициліи. Съ другой стороны, напримѣръ, Тоскана никогда не выносила того лишенія всѣхъ человѣческихъ правъ, какъ ея сосѣди.

Территориальныя раздѣленія Италіи мѣнялись на тысячу ла-

довъ; народъ ихъ переносилъ, рѣдко былъ доволенъ и никогда не переносилъ ихъ за нѣчто истинное, прочное, а за грубый фактъ насилія. Всѣ усилія Гогенштауфеновъ и ихъ наслѣдниковъ развитъ въ Италіи монархическое начало остались тщетными, и собственно теорія гибелиновъ, о которой писали тяжелые трактаты ученые легисты и которую они старались представить послѣднимъ словомъ и органическимъ развитіемъ римскаго права, никогда не прививались итальянскому народу; философію права и государственныя понятія итальянцевъ надобно искать въ сочиненіяхъ Маккиавелли и въ ихъ историкахъ. Народъ былъ всегда гвельфомъ и только по ссорѣ съ папой или съ сосѣдними городами бросался къ стопамъ императоровъ, предоставляя себѣ право при первой возможности возстать и отдѣлиться. Методическое, холодное, безнадежное управленіе, вводимое нѣмцами, было невыносимо для итальянцевъ. Древній Римъ могъ переносить цезарей со всѣмъ ихъ тиранствомъ, потому что ихъ управленіе болѣе походило на беззаконную диктатуру, на какое-то личное, случайное исключеніе; ихъ владычество было сочетаніемъ деспотизма съ анархіей; однообразный, систематическій гнетъ германизма совершенно противоположенъ итальянцу, и онъ больше ненавидитъ Барбароссу, нежели своего Еццелино ¹⁾).

Совсѣмъ напротивъ, власть папская была совершенно національная, потому что она была неопредѣленна. Римъ, Романья едва слушались папъ,—они дома были цари тайкомъ; чѣмъ дальше отъ центра, тѣмъ власть папская становилась сильнѣе и, наконецъ, достигала страшной мощи уже внѣ Италіи. Папы дѣйствовали совсѣмъ обратно императорамъ; они опирались на мѣстныя различія и поддерживали муниципальную жизнь. Григорій VII, съ своей геніальной проницательностью, понялъ элементъ, который спасетъ Италію отъ императоровъ, и городская жизнь, ободренная и двинутая имъ, переросла германизмъ, плохо дающій корни въ почвѣ, въ которой былъ сохраненъ языческій Римъ. Италія жила и развивалась всѣми точками: города ея цвѣли, она была самое образованное и самое торговое государство въ XIV столѣтіи, и, между тѣмъ, десяти лѣтъ не проходило безъ того, чтобъ она не покрывалась кровью и пепломъ. Города становились роскошнѣе послѣ пожара, сильнѣе послѣ разоренія. Шутка одного стариннаго историка: «война — миръ для Генуи», можетъ относиться ко всему полуострову. Необыкновенно живучая страна! Жизнь, развитіе, подавленные въ одномъ мѣстѣ, ускользали, какъ ящерица въ травѣ, и являлись во всемъ блескѣ.

¹⁾ Ненавидимый народомъ тиранъ Вероны и Падуи XIII вѣка, глава гибелиновъ, намѣстникъ герм. императора Фридриха II.

на другомъ мѣстѣ. Въ сѣверной Европѣ давнымъ-давно централизація задавила средневѣковую жизнь, и сильныя государства образовались, опираясь на постоянныя арміи и служебное дворянство; въ Италіи продолжалась прежняя жизнь нѣсколькихъ городовъ на первомъ планѣ и множества другихъ, не столько важныхъ въ политическомъ отношеніи, но свободныхъ, независимыхъ и образованныхъ—на второмъ и третьемъ. Такъ она дожила до страшной години, когда Карль V и Францискъ II выбрали прекрасныя поля ея для кровавой войны,—для войны, продолжавшейся болѣе столѣтія. Эта война сокрушила страну. Италія крѣпилась, крѣпилась, наконецъ, силъ ея не стало противостоять войскамъ, непрерывно усиливавшимся свѣжими толпами изъ Франціи, Германіи, Испаніи и вольнонаемными шайками изъ Швейцаріи. Можетъ быть, если бѣ идея народнаго единства, идея государства была развита въ Италіи, она отстояла бы себя, но этой идеи не было.

Врагъ имѣлъ всегда дѣло съ частью. Города сражались, какъ львы, крестьяне составляли вооруженныя толпы, нападавшія на непріятеля нежданно, между горъ, въ тѣснинахъ, въ домахъ, но вся отвага ихъ погибла по-пустому; ихъ подавили числомъ. Типъ итальянской войны, такъ же, какъ и гражданскаго устройства,—отдѣльность, дробность, городское возстаніе, партизанская война, война отдѣльными вооруженными дружинами. Государство, требующее поглощенія городовъ, армія, требующая поглощенія личностей,—для итальянцевъ противны; нѣтъ народа, менѣе способнаго къ дисциплинѣ, къ полицейскому устройству, къ монархическому порядку. Съ другой стороны, отсутствіе единства столько же спасло Италію, сколько погубило ее на время. Жизнь Италіи не была связана ни съ Римомъ, ни съ Венеціей, ни съ Флоренціей. Задавленная въ большихъ городахъ, она вдругъ являлась въ Феррарѣ, въ Болоньѣ; вытѣсняемая въ Неаполѣ, она переплывала въ Палермо, Мессину; въ Генуѣ она сохранилась до революціи. Италія — гидра лернская; задушить такую многоголовую жизнь невозможно.

Побѣжденная Италія, уступая мало-по-малу политическую жизнь, является во главѣ художественнаго и умственнаго развитія; она воскрешаетъ греческую философію, она создаетъ живопись и, вѣрная своей федеральной натурѣ даже въ искусствѣ, рисуетъ на три типа, рисуетъ такъ, что вы узнаете города по школамъ; художественный періодъ итальянской жизни совпалъ съ дѣйствительнымъ возрожденіемъ мысли послѣ скучнаго теологическаго схоластицизма. Итальянскіе представители новаго движенія вышли съ отроческимъ увлеченіемъ и съ необыкновенной отвагой на арену, на которой ихъ ужъ ждали не апопееозъ, какъ Петрарку, а плаха и

костерь. Преслѣдованіе мысли во имя религіи нанесло новый ударъ Италіи, убило послѣднюю сферу, въ которой она могла развивать избытокъ своихъ силъ. Ей позволяли рисовать, ваять и строить, но запретили думать, но Галилея свели въ тюрьму за астрономію, Ваніни и Бруно казнили за метафизіку. Время доблестныхъ, гуманнхъ папъ прошло; реформація внесла ужасъ въ Ватиканъ, начальники инквизиціи надѣвали тіару; вопреки вѣку, нравамъ, странѣ, эти люди снова возвращались къ суровому и дикому монашеству. Лукавый и злой характеръ католицизма развернулся до конца реформацией; доминиканцы подняли знамя крестоваго похода противъ мысли; іезуиты, янычары церкви, были недовольны кротостью инквизиціи и папъ,—папъ, которые въ Ватиканѣ, въ сѣняхъ Сикстинской капеллы велѣли на стѣнахъ нарисовать фрески, представляющія сцены изъ варѣоломеевской ночи и которыя я видѣлъ.

Силы страны, наконецъ, такъ же сочтены, какъ силы лица. Италія, обиженная во всемъ человѣческомъ, занятая чужими солдатами, связанная по рукамъ и ногамъ, казнямая за мысль, отдалась своей судьбѣ—такъ, какъ преслѣдуемая несчастная женщина отдается старческимъ объятіямъ,—не изъ любви, а отъ усталости, отъ отчаянія, и, однажды отдавшись, падаетъ глубже и глубже.

Прошли двѣсти томныхъ лѣтъ; и въ двѣсти лѣтъ всѣ эти вампиры въ коронѣ и въ тіарѣ не могли высосать ея крови,—удивительный народъ!

Люди не даютъ себѣ труда оцѣнивать несчастія. Гете, который такъ глубоко понималъ природу Италіи и ея искусство, бросилъ ея народу нѣсколько стиховъ злого укора, въ которомъ нигдѣ нѣтъ ни упованія, ни утѣшенія. Тяжелый сонъ Италіи, ея паденіе, ея слабую сторону онъ схватилъ мѣтко, но пробужденія не предвидѣлъ. «Такъ это-то Италія?» говоритъ онъ и отвѣчаетъ: «Нѣтъ: это *ужс* не Италія».

Pilgrime sind wir Alle, die wir Italien suchen,
Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und froh ¹⁾.

Гете, который, по превосходному выраженію Боратынскаго, умѣлъ слушать, какъ трава растеть, и понимать шумъ волнъ, былъ тугъ на ухо, когда дѣло шло о подслушиваніи народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся офиціальнымъ языкомъ. Онъ не могъ совсѣмъ не видать жизни, прорывавшейся странными и неустроенными проявленіями; для этого достаточно

¹⁾ Мы всѣ пилигримы, стремящіеся къ Италіи, но чтимъ довѣрчиво и радостно лишь разсѣянные кости мертвецовъ.

было посмотрѣть на народныя игры, на лица и глаза, послушать пѣсни... Онъ видѣлъ и слушалъ, но знаете ли, какъ оцѣнилъ?..

Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht! 1).

Если-бъ въ половинѣ XVIII столѣтія въ Италіи были Ordnung и Zucht, какъ въ Веймарѣ, то навѣрное не было бы risorgimento въ половинѣ XIX столѣтія. Если-бъ можно было привести итальянцевъ въ *порядокъ* и покорить ихъ нѣмецкой дисциплинѣ, то они превратились бы въ лацарони, въ монаховъ, т. е. въ лакеевъ, въ воровъ и тунеядцевъ, а при помощи іезуитовъ, тедесковъ и дипломатическихъ вліяній впали бы въ варварство, уничтожились бы, какъ народъ. Неуловимая беспорядочность спасла итальянцевъ.

Несмотря на всѣ дѣйствія, на чужеземный гнетъ, на нравственную неволю, итальянецъ никогда не былъ до того задавленъ, какъ французъ и нѣмцы. Не надобно забывать, что правительства итальянскія прескверно организованы, что ихъ государственные люди такъ же безпечны, какъ земледѣльцы. Но главная причина въ томъ, что итальянецъ не всю свою жизнь связывалъ съ государствомъ; для него государство всегда было формой, условіемъ, а не цѣлью, какъ для француза; оттого паденіе государства не могло совсѣмъ раздавить человѣка. Крестьянинъ средней Италіи такъ же мало похожъ на задавленную чернь, какъ русскій мужикъ — на собственность. Нигдѣ не видалъ я, кромѣ Италіи и Россіи, чтобъ бѣдность и тяжелая работа такъ безнаказанно проходили по лицу человѣка, не исказивъ ничего въ благородныхъ и мужественныхъ чертахъ. У такихъ народовъ есть затаенная мысль или, лучше сказать, не мысль, а *непечатаемая сила*, непонятная имъ самимъ до поры, до времени, которая даетъ возможность переносить самыя подавляющія несчастія, даже крѣпостное состояніе.

Послѣ Гете французы попробовали завести *свои порядки* въ Италіи. Французы поступали такъ, какъ они всегда поступаютъ, — насильственно освобождая. Они выдумали нѣсколько республикъ въ Италіи и устроили ихъ по образу и подобию своего директоріальнаго правленія. Не принимая въ расчетъ ничего индивидуальнаго, они гнули итальянцевъ въ формы, выдуманныя въ Парижѣ и которыя французы добросовѣстно считали равно годными для Отаити и для Исландіи. При всѣхъ недостаткахъ новыхъ республикъ онѣ были лучше смѣненныхъ правительствъ, онѣ покончили нелѣпыя феодальныя права, секуляризовали бездну имѣній, дали нѣкоторую свободу мысли и слова. Несмотря на это, народъ смотрѣлъ враждебно и не-

1) Здѣсь есть *жизнь* и *движеніе*, но нѣтъ *порядка* и *надзора*.

довѣрчиво на новыя правительства; онъ не вѣрилъ въ республики, заводимыя такими республиканцами, какъ Бонапартъ и Массена. Время доказало, кто былъ правъ: народъ ли, принявшій освобожденіе за новую фазу рабства, или среднее состояніе, бросившееся въ объятія Наполеону для того, чтобы тотъ могъ ихъ дарить брату Іосифу, зятю Іоахиму, пасынку Евгенію, сестрѣ Полинѣ, собственному сыну и прочимъ сродникамъ изъ Аяціо. Состояніе Италіи послѣ наполеоновскаго періода ухудшилось. Реакція во всей Европѣ была чудовищна; удушливое время отъ 1815 года до 1830 не вполне оцѣнено, — я совѣтую почитать, на примѣръ, исторію Волабеля ¹⁾, чтобы узнать, что такое было *terreur blanche* ²⁾ во Франціи.

Замѣчательно, что въ Италіи реакція дѣйствовала такъ же не національно, какъ революція. Піемонтъ и Неаполь вздумали пробовать въ двадцатыхъ годахъ у себя заальпійскую монархію съ притѣснительной бюрократіей и съ готовностью войсками подавлять всякій ропотъ. Австрія учреждала Ломбардію на австрійскій манеръ. Противъ реакціи возсталъ оппозиція въ духѣ Лафайета и Бенжамена Констана. Оппозиція была побѣждена, Италія стояла одной ногой въ гробу. Меттернихъ съ улыбкой повторялъ, что «Италія—географическій терминъ»; все энергическое, благородное, не попавшее въ Шпильбергъ, С.-Эльмъ или С.-Анджело ³⁾, бѣжало, экспатрировалось. Въ задавленной литературѣ если что-нибудь прорывалось, то это былъ вопль и стонъ безнадежнаго отчаянія Леопарди ⁴⁾, доходящій до люциферскаго, мрачнаго смѣха. Но были люди, вѣровавшіе въ будущее Италіи, и Маццини, начавшій работать темной ночью для разсвѣта, вполне оправданъ теперь. Вы помните благородныя попытки,—безумныя до величія, самоотверженныя до безумія,—кончавшіяся страшными казнями, новыми залогами; онѣ свидѣтельствовали, что народъ этотъ «не умеръ, а спитъ».

Мрачная эпоха преслѣдованій и казней достигла полной высоты своей избраніемъ Григорія XVI. Людовикъ-Филиппъ и Меттернихъ съ любовью подали ему руку и его министру, Ламбускини. Король французовъ посылалъ доносы папѣ римскому, папа римскій посылалъ доносы Меттерниху, кардиналъ Ламбускини помогаль русской дипломатіи. Тюрьмы въ папскихъ владѣніяхъ къ концу *святительства* Григорія XVI были до того полны, что во всѣхъ публичныхъ зданіяхъ начали помѣщать *i politici* ⁵⁾. Наконецъ, Ро-

¹⁾ Ашиль, франц. политическій дѣятель; «Histoire des deux Restaurations».

²⁾ Бѣлый терроръ.

³⁾ Крѣпости и тюрьмы.

⁴⁾ Джіакомо, итал. поэтъ.

⁵⁾ «Политическихъ».

манья подала голосъ; наконецъ, стонъ Болоньи былъ услышанъ,—этотъ стонъ, этотъ голосъ шли изъ другого начала, нежели голосъ оппозиціи, о которой мы говорили; это не былъ отголосокъ французскаго либерализма, а негодованіе народа, которому, наконецъ, нельзя дышать. Григорій XVI понялъ опасность и рѣшился, во что бы то ни стало, задушить народъ. Чтобы не распространяться объ этомъ тупомъ и пьяномъ злодѣѣ и объ его мѣрахъ, я скажу одно, но это одно важнѣе цѣлаго тома *in folio*. Австрійскій кабинетъ, долго, съ умиленіемъ смотрѣвшій на дѣла 'св. отца, не могъ, наконецъ, вынести и закричалъ: «*basta, Santo Padre!*»¹⁾ Меттернихъ послалъ ноту въ защиту романьоловъ, въ которой напоминалъ представителю Христа, что есть же, наконецъ, мѣра притѣсненіямъ. Объ немъ во французской камерѣ пэровъ С.-Олеръ²⁾ сказалъ на дняхъ: «Григорій XVI былъ святой человѣкъ!»

Наконецъ, «святой человѣкъ» умеръ отъ старости и отъ марсалы. Конклавъ избралъ кардинала Мастаи-Феретти. Въ избраніи Феретти, кроткаго, благороднаго римлянина, участвовало, съ одной стороны, желаніе дать вздохнуть странѣ, опустить натянутые поводья, съ другой стороны, въ его избраніи было славянское желаніе выдвинуть личность, ничѣмъ не выдающуюся, «не выскочку, не указчика міру». Конклавъ считалъ на слабость Пія IX и ошибся, именно потому, что былъ правъ. Кардиналы, какъ и слѣдуетъ имъ, не взяли въ расчетъ духа времени, эпохи; зная мягкій и слабый характеръ Пія, они не подумали, что положеніе народа и всей Италіи вообще будетъ на него дѣйствовать, что найдутся люди, которые молчали при Григоріи XVI, потому что знали его неблагородную и ограниченную душу, и которые будутъ искать вліянія на Пія, душа котораго была раскрыта любви народной и патріотизму. Пій IX, въ самомъ дѣлѣ, былъ одушевленъ желаніемъ добра, когда сѣлъ на престолъ,—первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой.

Удивленный народъ не зналъ, вѣрить или не вѣрить такому странному явленію,—народныя рукоплесканія и восторженные крики привѣтствія понравились папѣ. Онъ предложилъ святой коллегіи объявить всепрощеніе политическихъ преступниковъ; кардиналы съ негодованіемъ подали голоса противъ. «*Coraggio, Santo Padre!*»³⁾ кричалъ ему народъ на улицахъ, и Пій IX объявилъ, что по власти, данной ему свыше «вязать и разрѣшать»; онъ объявляетъ амнистію.

¹⁾ Довольно, Святой Отецъ!

²⁾ Графъ Луи, франц. посланникъ въ Римѣ.

³⁾ «Мужество, Святой Отецъ».

Крикъ истиннаго восторга раздался не только въ Церковной области, но во всей Италиі; все, уповавшее лучшей будущности, окружило Пія IX; они сдѣлали изъ добраго, благонамѣреннаго человѣка великаго понтифа, освободителя Италиі, величайшаго вѣнценосца въ Европѣ.

Кардиналы содрогнулись отъ досады и сдѣлали вторую ошибку. вмѣсто того, чтобъ нѣсколько обождать, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать на религіозность Пія и испугать его, они выдумали заговоръ подъ начальствомъ Ламбрускини; въ немъ участвовалъ австрійскій посланникъ, неаполитанскій король, — начальникъ шпионовъ Григорія XVI, — и, разумѣется, іезуиты. Они хотѣли силою заставить папу отречься отъ всего имъ сдѣланнаго и были готовы не только свергнуть его съ престола, если онъ не согласится, но даже убить его, предоставляя себѣ удовольствіе свалить потомъ злодѣйство на либеральную партію. Для этого имъ нужно было народное волненіе, уличный шумъ. Приготовленія къ этому движенію узналъ Чичероваккіо и съ хитростью итальянца добрался до главныхъ заговорщиковъ. Мысль объ опасности, которой подвергался Пій IX, наполнила ужасомъ римлянъ: они всѣми мѣрами старались ему показать свою любовь и готовность защищать его своею кровью; Пій еще болѣе сблизился съ своимъ народомъ и разрѣшилъ составленіе народной внутренней стражи, чивики. Имена заговорщиковъ явились опубликованными на улицахъ; часть ихъ бѣжала, часть ихъ переловилъ Чичероваккіо, и они до сихъ поръ сидятъ въ крѣпости Сантъ-Анджело, и ихъ не судятъ, потому что папа не можетъ рѣшиться посадить съ ними кардинала Ламбрускини.

Съ этого заговора начинается важная роль Чичероваккіо во всѣхъ римскихъ движеніяхъ. И *gran popolo*¹⁾, простой, честный римскій плебей, знаемый всѣми въ Римѣ и знающій всѣхъ, идолъ черни, трибунъ питейныхъ домовъ и народныхъ сходокъ, онъ давно пріобрѣлъ вліяніе въ Римѣ, къ нему ходили совѣтоваться о семейныхъ и торговыхъ дѣлахъ, онъ судилъ и разбиралъ ссоры, отдавалъ послѣднія деньги товарищамъ и былъ въ страшномъ почетѣ между ними. Съ избраніемъ папы Чичероваккіо бросился на политическую арену; онъ принесъ свое вліяніе въ опору меньшинству, работавшему съ Піемъ IX въ пользу Рима. Значеніе его съ тѣхъ поръ возросло; упорный защитникъ народныхъ требованій, неутомимый представитель народныхъ нуждъ, онъ тѣмъ больше пріобрѣталъ авторитетъ, что былъ совершенно чистъ характеромъ, не хотѣлъ никакой общественной перемѣны своего положенія и оста-

1) Великій сынъ народа.

вался тѣмъ же плебеємъ, какъ былъ, по платью, по нравамъ, по языку. Отправляясь къ лорду Минто ¹⁾, онъ по дорогѣ игралъ съ его кучеромъ въ *мору* ²⁾ и, выходя отъ папы, шелъ въ кабакъ съ какимъ-нибудь солдатомъ. Со дня открытія заговора полиція, замѣшанная въ немъ, исчезаетъ, порядокъ въ городѣ увеличивается. Чичероваккіо исправляетъ, такъ сказать, должность полицмейстера, — ему помогаютъ факино, дровосѣки и весь народъ. Губернаторъ приказываетъ выслать изъ Рима неаполитанскаго изгнанника; Чичероваккіо отправляется къ губернатору и говоритъ, что онъ ѣдетъ его провожать, сыскать ему мѣсто и что онъ не отвѣчаетъ за то, что народъ, оскорбленный этимъ грубымъ поступкомъ, сдѣлаетъ безъ него въ Римѣ; губернаторъ беретъ назадъ приказъ. Порядокъ и тишина въ Римѣ во все послѣднее время — блестящій результатъ муниципальной жизни, это — *self government* ³⁾ своего рода. Пію IX сначала понравилось такое легкое управленіе. Теперь онъ спохватился, захотѣлъ нѣсколько притянуть вожжи. *Troppo tardi!* ⁴⁾

На сей разъ довольно.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Неаполь, 25 февраля 1848 г.

Я думаю, если-бъ вездѣ былъ такой воздухъ, такой климатъ и такая природа, то было бы гораздо меньше святыхъ и мудрецовъ и гораздо больше счастливыхъ и беззаботныхъ грѣшниковъ. Съ религіозной точки зрѣнія нельзя допустить, чтобъ люди жили на этомъ сладострастномъ берегу и, — почемъ знать, — можетъ, усердныя молитвы первыхъ христіанъ много способствовали къ изверженію Везувія, погубившему Помпею и Геркуланумъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь, въ тепломъ, влажномъ вулканическомъ воздухѣ дыханіе, жизнь — нѣга, наслажденіе, что-то ослабляющее, страстное. Самый сильный человѣкъ дѣлается здѣсь Сампсономъ, остриженнымъ подъ гребенку, готовымъ на всякое увлеченіе и неспособнымъ ни на какое дѣло. Бѣда, если къ тому же кто-нибудь докажетъ, что именно

¹⁾ Графъ Джорджъ-Элліотъ, англійскій дипломатъ, командированный въ Римъ.

²⁾ Игра, состоящая въ отгадываніи общаго числа внезапно раскрываемыхъ двумя игроками пальцевъ рукъ.

³⁾ Самоуправленіе.

⁴⁾ Слишкомъ поздно!

увлечение-то и есть жизнь, а дѣла — вздоръ, что ихъ совѣмъ и *дѣлать* не нужно...

Переходъ отъ римской природы къ неаполитанской до того поразителенъ, до того рѣзокъ, что я хочу сказать нѣсколько словъ о маленькомъ переѣздѣ нашемъ. Печальная Кампанья съ своими водопроводами и голубыми горами, пропадающими на горизонтѣ, смѣняется еще болѣе печальными Понтинскими болотами; ихъ все торопится миновать, боясь маляріи; сырая почва этихъ потныхъ полей испаряетъ изнурительныя и трудно излѣчимыя лихорадки; даже стада становятся рѣдки. И въ то же время возлѣ нихъ степенные на видъ и заброшенные города Веллетри, Альбано удивляютъ своимъ населеніемъ; это—цвѣтъ романскаго племени: каждая женщина—типъ правильной, классической красоты; каждый мужчина можетъ служить моделью для художника, и что за грація въ движеніяхъ, въ позахъ, что за стройность! Вы этихъ людей знаете, напр., по гравюрамъ Робертовыхъ ¹⁾ картинъ. Вы, можетъ, даже согрѣшили передъ живописцемъ, находя нѣкоторую театральность въ положеніи лицъ; намъ это кажется оттого театральностью, что мы во вседневной жизни не привыкли видѣть такія изящныя формы, такую аристократическую породу людей, которымъ ловкость и грація врождены такъ, какъ русскому парню врождена удалъ, такъ, какъ нашему ямщику — страсть скакать. Робертъ, совѣмъ напротивъ, удивительно вѣрно поймалъ въ своихъ «жнецахъ» характеръ романскихъ крестьянъ; онъ не забылъ подернуть легкой дымкой задумчивости и печали всѣ лица, даже тѣхъ, которыя пляшутъ. Какъ легко можно изучать характеръ народовъ по картинамъ: посмотрите на робертовскихъ жнецовъ, рыбаковъ и на крестьянъ Теньера.

Дикая полоса продолжается до Террачины. Небольшой городъ угрюмъ; Средиземное море безпокойно бьется за старинными воротами; огромная и совершенно одинокая скала стоитъ у выѣзда. На скалѣ этой жилъ нѣкогда грозный кондотьеръ, о которомъ народъ теперь еще рассказываетъ легенды; около нея жили очень недавно толпы разбойниковъ, уничтоженныя при Львѣ XII. Скала эта превосходно заключаетъ папскія владѣнія, это—точка, поставленная послѣ римскихъ развалинъ, Кампаньи и болотъ.

За скалой начинается природа веселая, смѣющаяся, совѣмъ иная; населеніе гораздо менѣ красивое, но больше движущееся, шумливое; одичалыя черты лацарони и подобострастныя манеры неаполитанской черни начинаютъ показываться; серьезный и гордый

¹⁾ Леопольдъ Робертъ, франц. живописецъ, извѣстный изображеніемъ народной итальянской жизни.

видъ крестьянина, нищаго, пастуха Кампаньи замѣняется насмѣшливымъ выраженіемъ и движеніями пульчинеллы ¹⁾, на мѣсто величавой, правильной красоты романьольской женщины, внушающей уваженіе, встрѣчаются дерзкіе, зовущіе взгляды, милая вертлявость, неправильныя черты, внушающія чувства, вовсе не похожія на уваженіе. Въ неаполитанскомъ населеніи есть что-то фавновское и пріапическое, — здѣсь никто и не подозрѣваетъ нѣмецкаго изобрѣтенія платонической любви.

Всю эту разницу двухъ странъ, двухъ природъ, двухъ населеній вы видите на самомъ рубежѣ ихъ, переѣзжая отъ Террачины до Гаэты. Эта рѣзкость предѣловъ, опредѣленность характеровъ, самобытная личность всего: горъ, долинъ, страны, города, растительности, населенія каждаго мѣстечка, — одна изъ главныхъ чертъ и особенностей Италіи. Неопредѣленные цвѣта, неопредѣленные характеры, туманныя мечты, сливающіеся предѣлы, пропадающіе очерки, смутныя желанія, это — все принадлежность сѣвера. Въ Италіи все опредѣленно, ярко; каждый клочекъ земли, каждый городокъ имѣетъ свою фізіономію, каждая страсть — свою цѣль, каждый часъ — свое освѣщеніе; тѣнь, какъ ножемъ, отрѣзана отъ свѣта; нашла туча — темно до того, что становится тоскливо; свѣтитъ солнце — такъ обливаешь золотомъ всѣ предметы, и на душѣ становится радостно. Федеральность въ самой землѣ, въ самой природѣ итальянской. Какая огромная разница въ характерѣ Піемонта и Генуи, Піемонта и Ломбардіи; Тоскана нисколько не похожа ни на сѣверную Италію, ни на южную; переѣздъ изъ Ливорно въ Чивитавеккію не меньше рѣзокъ, какъ переѣздъ изъ Террачины въ Фонди. Ливорно кипитъ народомъ, — городъ шумный, оппозиціонный, дѣятельный и торговый столько же выражаетъ цвѣтущую и нѣсколько распущенную Тоскану, какъ пустая и безлюдная крѣпость съ высокими, старинными стѣнами, которыя нехотя полощеть море, выражаетъ не торговый, мрачный, монашескій Римъ.

Но самая рѣзкая противоположность, самый крутой антитезисъ составляетъ Римъ и Неаполь; они столько же похожи другъ на друга, какъ строгая и величавая матрона на рѣзвую, легкомысленную гетеру, какъ Римъ временъ пуническихъ войнъ на Римъ временъ Тиверія и Нерона, искавшій по сочувствію неаполитанскаго неба. Римъ напоминаетъ о бренности вещей, о минувшемъ, о смерти, это — вѣчное *temento mori*; Неаполь — объ упоительной прелести настоящаго, о жизни, о *carpe diem* ²⁾. Римъ, какъ вдова, вѣрная

¹⁾ Шутъ, полишинель.

²⁾ Используй день сегодняшній!

прошедшему, не отрывается отъ кладбища, не забываетъ утраченнаго; его развалины ему больше необходимы, нежели Квириналь. Неаполь вѣренъ наслажденію, вѣренъ настоящему; онъ бѣснуется и пляшетъ на Геркуланумѣ, т. е. на гробовой доскѣ; дымящій Везувій напоминаетъ ему, что надобно пользоваться жизнью, пока до лавы. Философія Анакреона и Горація сдѣлалась его кодексомъ, перешла въ нравы.

Поживши въ Римѣ, невозможно его не уважать, но отъ Рима устаешь,—устаешь такъ, какъ отъ людей, съ которыми непрерывно надобно говорить о важныхъ предметахъ. Римъ дѣйствуетъ на нервы, поддерживаетъ натянутое состояніе восторженности,—можетъ, оттого-то у него и было столько героевъ и столько фанатиковъ. Неаполь нельзя не любить, и если-бъ вы только пробыли въ немъ одинъ день, всю жизнь стали бы вспоминать со вздохомъ объ этомъ днѣ.

Мы пріѣхали вечеромъ. Солнце садилось, пурпуровымъ свѣтомъ освѣщая море, синее, темно-синее, и гору, застроенную домами, на которой стоитъ Камалдулинскій монастырь и крѣпость С.-Эльмъ. По мѣрѣ того, какъ садилось солнце, дымъ надъ жерломъ Везувія краснѣлъ, и струйка каленой и растопленной лавы медленно стекала по горѣ. Улицы кипѣли народомъ; пѣсни, органы, разные инструменты раздавались со всѣхъ сторонъ; маріонетки и пуччинеллы плясали, сыпали скороговорками; на балконахъ стояли дамы между цвѣтовъ, въ окнахъ начали показываться огоньки... Я ничего подобнаго и не подозрѣвалъ. Просто упиваешься, забываешь все на свѣтѣ, тѣлесно наслаждаешься собой и природой. *Sta viator!* ¹⁾—лучшаго ты не увидишь. «Посмотри на Неаполь—и потомъ умри»—какъ это глупо! Посмотри на Неаполь—и возненавидь смерть!

Тутъ-то бы, кажется, и развиться челоувѣчеству; такъ нѣтъ,—судьба этого удивительнаго края самая жалкая. Неаполь лишень даже тѣхъ блестящихъ и яркихъ воспоминаній, которыми себя утѣшали другіе города Италіи во время невзгоды. Онъ имѣлъ эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имѣлъ. Старый Римъ бѣжалъ умирать въ его объятія и, разлагаясь въ его упоительномъ воздухѣ, онъ заразилъ, онъ развратилъ весь этотъ берегъ. А потомъ одинъ врагъ за другимъ являлись его тормашить и мучить; Неаполь служилъ приманкой всѣмъ дикимъ завоевателямъ: сарацинамъ и Гогенштауфенамъ, норманнамъ и испанцамъ, Анжуйцамъ и Бурбонамъ. Ограбивши его, не оставляли его въ покоѣ, какъ другіе города,—въ немъ жили, потому что въ немъ хорошо жилось. Какъ же было не образоваться такой черни, какъ лацарони,—по-

¹⁾ Стой, путникъ!

мѣсь всѣхъ рабствѣ, низшій слой всего побитаго, осадокъ десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся.

Соперница Неаполя—Палермо, и вся Сицилія перенесла многое, но иначе; замкнутый характер островитянъ, другой закалъ и менѣе чужого постоа позволили Сициліи хоть сколько-нибудь дышать; Сицилія—отечество, Палермо—ея столица; Неаполь, если хотите, не принадлежитъ ни къ чему, это—городъ и больше ничего; развѣ прибавимъ къ нему его окрестности да небольшую морскую полосу; онъ ничего не имѣетъ общаго съ другими частями, никто не любитъ его, кромѣ тѣхъ, которые въ немъ. Что за дѣло Абруцѣ и Калабрії до Неаполя; до Палермо—дѣло всей Сициліи; оттого Палермо подставило въ январѣ свою грудь ядрамъ и приобрѣло Неаполю представительное правительство.

Въ первые дни послѣ моего прїѣзда я увидѣлъ, что неаполитанцы не довѣряютъ обѣщанію Фердинанда II и ждутъ съ трепетомъ 9 февраля, въ которое назначено было объявить новое уложеніе. Король сидѣлъ на заперти въ своемъ дворцѣ, окруженномъ солдатами и пушками. Министры, чтобъ дать залогъ народу, велѣли, въ силу амнистіи, освободить политическихъ арестантовъ изъ С.-Эльма, *castel del'Ovo* и другихъ мѣстъ заключенія. Народъ толпился у тюремъ въ день ихъ освобожденія. Выходя изъ воротъ, они встрѣтили своихъ друзей и либеральную часть населенія; ихъ окружили и повели торжественнымъ шествіемъ по улицѣ Толедо; въ *café del'Eugora* былъ приготовленъ для нихъ пышный обѣдъ. Народъ толпился у оконъ кафе. Бывало, *la goture* ¹⁾ ходила смотрѣть въ щелочку, какъ пируютъ ея господа; теперь граждане тѣснились, чтобъ увидѣть блѣдныя, истомленныя лица колодниковъ, давно отвыкнувшихъ отъ надеждъ, давно сдружившихся съ мыслью о палачѣ, о галерахъ. Для нихъ, вѣроятно, все казалось сномъ: улица Толедо, богатый кафе, пышный столъ, цвѣты, бокалы, яркое освѣщеніе,—и это черезъ часъ послѣ темныхъ казематовъ. Ромео, котораго голова была оцѣнена, спокойно пьетъ за независимость Италіи въ *café del'Eugora*! Имъ жмутъ руки, привѣтствуютъ, а вчера боялись произнести ихъ имена, какъ будто въ самомъ звукѣ уже слышалась бѣда, соприкосновенность къ дѣлу, пытка...

Послѣ обѣда ихъ повели въ *S. Carlo*, окруженныхъ цѣлымъ легиономъ людей, которые несли факелы; дирекція вышла настрѣчу и просила эксъ-каторжныхъ занять безденежно первыя мѣста въ сталяхъ ²⁾ оркестра.

¹⁾ Разночинцы, простонародье.

²⁾ *Stalle*—нумерованное мѣсто въ партерѣ, «кресло».

Конечно, это очень хорошо, а все же жаль, что, выпуская их, не посадили на их мѣста другихъ... Дѣло-то было бы попрочнѣе.

Одиннадцатаго февраля, часа въ три передъ обѣдомъ, Санта Лучія покрылась народомъ, который бѣжалъ на дворцовую площадь съ крикомъ: «На firmato!» ¹⁾). Пошелъ и я. Si, si,—сказалъ мнѣ мой сосѣдъ, пожилой человѣкъ,—ha firmato stamatina ²⁾). Eccolo,—прибавилъ онъ и снялъ свою шляпу,—santo nome di Dio, e per la prima volta, per la prima volta ³⁾), добавилъ онъ извиняясь. «Eviva il re costituzionale!» ⁴⁾)—раздалось и не умолкало минутъ десять, шляпы летѣли на воздухъ, народъ сошелъ съ ума отъ радости. Король съ открытой головой, въ длинномъ зеленомъ пальто, кланялся на балконѣ народу низко, очень низко. Возлѣ меня стоялъ римлянинъ, который ѣхалъ съ нами въ дилижансѣ и котораго я зналъ за рѣшительнаго революціонера. «А что,—сказалъ я ему на ухо,—вѣдь, молодой-то человѣкъ ближе, нежели на пистолетный выстрѣлъ».—«Ближе»,—отвѣчалъ С.—«Чего же зѣваютъ?»—«Поми-луйте, въ такой день, когда онъ даетъ конституцію?»—«Въ другой день зато онъ не подойдетъ и на пушечный выстрѣлъ, вѣдь, мы и въ Неаполѣ sape diem». С. улынулся ⁵⁾). Толпа хлынула отъ дворца на Толедо. Что тутъ было въ этотъ вечеръ—невозможно описать: представьте себѣ оргію, въ которой участвуетъ цѣлый городъ; это была политическая Walpurgisnacht, безумная сатурналія, имѣвшая совершенно другой характеръ, нежели римскія демонстраціи. На этотъ разъ не кучка героическихъ арестантовъ праздновала свое освобожденіе, а цѣлое народонаселеніе. Люди съ восторгомъ въ глазахъ, съ разгорѣвшимся лицомъ, со слезами бросались другъ другу въ объятія; незнакомые останавливали незнакомыхъ и поздравляли; дома освѣтились на Толедо, Кіаіѣ и Санта Лучіи; нарядныя дамы ѣхали, стоя въ коляскахъ съ факелами въ рукахъ и съ крикомъ: «viva la libertà!». Полуголые мальчишки прыгали середь улицы и распѣвали во всю глотку гимнъ въ честь Masaniello ⁶⁾) на голосъ извѣст-

¹⁾ Подписалъ!

²⁾ «Да, да. Онъ подписалъ сегодня утромъ».

³⁾ «Вотъ,—свято имя Господне,—это въ первый разъ, въ первый разъ».

⁴⁾ «Да здравствуетъ конституціонный король!»

⁵⁾ Въ 1850 году въ Женевѣ я встрѣтилъ С. изгнанникомъ; долго говорили мы о всемъ, что было послѣ моего отъѣзда изъ Италіи. С. вспомнилъ нашъ короткій разговоръ передъ дворцомъ и съ глубокимъ вздохомъ сказалъ мнѣ: «Какъ вы были правы!»—А. И. Г.

⁶⁾ Настоящее, не сокращенное имя Томазо Аниелло, предводителя возстанія въ Неаполѣ въ 1647 г. противъ испанцевъ.

ной народной пѣсни «Perche t'ingriffi com'un gatto» ¹⁾, которую пальцы поютъ по улицамъ съ самой уморительной декламацией. Живость и комизмъ неаполитанцевъ не могли не отразиться на такомъ праздникѣ: они съ хохотомъ и кривляніемъ, бросая башмакъ на воздухъ и лоя его ногой, кричали «viva la costituzione e i massaroni!»

Toledo съ утра кипитъ народомъ, мальчишки пристають съ политическими памфлетами и карриатурами такъ, какъ прежде приставали съ предложеніемъ *цветовъ* (обоихъ царствъ—растительнаго и *животнаго*)... Какое же тутъ писанье...

Прибавлю только, что я видѣлъ, какъ король присягалъ новому уложенію въ соборѣ S. Francesco di Paolo. Онъ формулу присяги прочелъ громко, но лицо его имѣло скверное выраженіе. Въ чертахъ его есть дальнее сходство съ Людовикомъ-Филиппомъ, со всѣми Бурбонами и еще больше съ римскими бюстами императорскихъ временъ, съ бюстами Гальбы, Вителлія ²⁾. Лицо его толсто, выражаетъ животную чувственность и лукавую жестокость; нижняя часть особенно развита, взглядъ лишенъ всякой привѣтливости, бакенбарды en collier ³⁾ придають всѣмъ чертамъ что-то не благородное.

Когда онъ вышелъ изъ собора и сталъ садиться на лошадь, онъ потихоньку перекрестился: трусь и ханжа,—какъ же ему не быть тираномъ.—Прощайте. ¹

Черезъ недѣлю.

Завтра мы ѣдемъ опять въ Римъ. Расскажу вамъ теперь, что за происшествіе случилось здѣсь со мной.

Разъ возвращаясь домой, я не нашелъ портфель; въ немъ были ломбардные билеты, векселя, кредитивное письмо и къ тому же мой пассъ: словомъ, все мое состояніе. Что было дѣлать? Я бросился къ Ротшильду, къ графу Феретти, двоюродному брату Пія IX, къ которому имѣлъ рекомендательное письмо. Феретти ничего не сдѣлалъ, только нюхалъ какъ-то не по-людски и очень противно табакъ; Ротшильдъ велѣлъ написать рекомендательное письмо къ префекту, графу Тофано.

Отправляясь къ нему, я встрѣтилъ Спины, редактора «Эпохи».

Спины предложилъ прежде префекта итти къ Микеле Вальпузо; это былъ революціонный начальникъ неаполитанской черни, въ родѣ

¹⁾ Зачѣмъ ты царапаешься, какъ кошка.

²⁾ Римскіе императоры I в.

³⁾ Въ видѣ ошейника.

Чичероваккіо. 15 мая 1848 г. онъ палъ мертвый на улицѣ Толедо, геройски защищая баррикаду. Вальпузо сказалъ, что если портфель цѣлъ и въ Неаполѣ, то его доставить, и совѣтовалъ, между прочимъ, объявить афишами, что я даю сто скудо ¹⁾ тому, кто найдетъ *потерянный* портфель. На слово «потерянный» онъ особенно налегалъ, говоря, что если будетъ сказано «украденный», то никто не принесетъ.

Префектъ принялъ меня очень внимательно, обѣщалъ всевозможную помощь со стороны полиціи, хотѣлъ мнѣ дать агента, двухъ даже, знающихъ городъ, какъ свои карманы, и совершенно одобрилъ предложеніе Микеля Вальпузо.

Измученные возвратились мы съ Т. ²⁾ мимо огромнаго S. Carlo, возлѣ котораго стоятъ лошади съ Аничкина моста, подаренныя Николаемъ своему другу, королю.

— Неужели, — сказалъ я Т., — оттого и въ театръ не ѣхать, что меня обокрали?

Въ этотъ день король являлся въ театръ мириться съ публикой; аристократическій Неаполь собирался сдѣлать ему въ С. Карло овацію за подпись уложенія.

Т., какъ настоящій русскій, нашель, что дѣйствительно нѣтъ достаточной причины, чтобы не ѣхать въ театръ. У меня въ кошелькѣ были четыре золотыхъ, — на ту минуту это составляло все мое достояніе; два съ половиной я отдалъ за полъ-ложи.

Между тѣмъ прошло дня три, о портфелѣ не было ни слуху, ни духу; я сообщилъ всѣмъ главнымъ банкирамъ въ Европѣ, сообщилъ въ московскій опекунскій совѣтъ. Всякій день таскался я отъ префекта въ остерію ³⁾, гдѣ Вальпузо, завтракая, давалъ аудіенціи, отъ Вальпузо — къ Феретти, который все такъ же гадко нюхалъ табакъ и утѣшалъ меня тѣмъ, что теперь все управленіе новое, честное, но непривычное и, стало, для него открытъ трудно. Вальпузо повторялъ свое: «портфель принесутъ, *если* онъ въ Неаполѣ».

Наконецъ, рѣшился я ѣхать въ русское посольство; тогда еще мнѣ не была заперта дверь нашихъ миссій, но я никогда не пробовалъ ее отворять.

Я безъ отвращенія не могу входить вообще ни въ какое присутственное мѣсто, ни въ какую канцелярію, но въ особенности въ русскую. Тутъ нѣтъ ничего личнаго, я не могу пожаловаться.

¹⁾ Около 200 руб.

²⁾ А. А., Е. А. и Н. А. Тучковы.

³⁾ Трактиръ.

ни на одного посольскаго чиновника, но мысль, что тамъ русскіе дипломаты, чиновники, дѣлаютъ на меня нервное вліяніе, которое на многихъ производятъ тараканы и мыши. Нѣтъ человѣка, который бы боялся таракана изъ-за вреда, который онъ можетъ причинить... это чувство невольное и трудно побѣждаемое. Я изъ Россіи выѣхалъ за тѣмъ, чтобъ не видать офицерства и чиновничества, чтобы не видать всѣхъ этихъ Ноздревыхъ и Хлестаковыхъ,— что же за радость видѣть ихъ на Кіаіѣ, на Санта Лучіи въ виду Везувія и Кастелла-Маре...

Нужда солону ломить... Отправился я въ посольство. Сначала кучеръ меня завезъ въ австрійское,—такъ въ понятіяхъ неаполитанцевъ нераздѣльны двѣ имперіи съ своими пернатыми Рита-Христинами на флагѣ.

Когда я сказалъ швейцару мою фамилію, онъ вдругъ такъ мнѣ обрадовался, какъ будто я былъ его родной дядя, возвратившійся съ кулями золота изъ Батавіи; онъ засуетился, подаль мнѣ стулъ,—кажется, два—и послѣ какихъ-то несвязныхъ учтивостей спросилъ меня:

— Такъ это вы, графъ, потеряли портфель? — Ну, хотя я и не графъ, а портфель дѣйствительно потерялъ.—Очень радъ, очень радъ, oh, que je suis content! ¹⁾.

Я думалъ, что это изъ особой тонкой политики министерія для русскихъ посольствъ беретъ швейцаровъ изъ сумасшедшаго дома.

— Видите,—сказалъ онъ,—этого человѣка?

Я оглянулся и увидѣлъ больше, нежели нужно, потому что человѣкъ, на котораго онъ указывалъ, былъ совершенно нагой и только на плечѣ въ должности альмавивы болтался клокъ паруса. Это былъ худой, оливковаго цвѣта, лѣтъ 17, породистый лацарони, съ плоскимъ лбомъ, съ хищными зубами, весь изъ мускуловъ, весь обожженный солнцемъ. Онъ лежалъ у посольскихъ воротъ и, казалось, нисколько не заботился о томъ, что дождь накрапывалъ.

— Вижу.

— Ну, онъ-то и нашелъ вашъ портфель.

— Какъ нашелъ?

— Онъ тутъ уже часа три лежитъ; ждетъ, чтобъ за вами послали!

— Гдѣ же портфель?

— У посланника.

— Доложите ему, что я здѣсь...

— Его дома нѣтъ. Совѣтникъ посольства тутъ, пожалуйста къ

¹⁾ О, какъ я доволенъ!

нему, но,—сказаль швейцарь тихо и выразительно, отворяя дверь и поглядывая на меня страстнымъ и нѣжнымъ взглядомъ,—но графъ не забудеть, что первую вѣсть о портфель онъ получилъ отъ меня?

— Не забудеть,—отвѣчалъ я и взошелъ въ канцелярію.

Вскорѣ явился человекъ въ шитомъ мундирѣ; зачѣмъ онъ былъ въ шитомъ мундирѣ, я не знаю.

Ни швейцарь, ни Вальпузо, ни Тофано не сомнѣвались, что я — я. Шитый мундиръ сомнѣвался; я началъ съ нимъ говорить по-русски, далъ ему записку всего находящагося въ портфель, разсказаль ему содержаніе писемъ.

Онъ держаль портфель въ рукахъ и разсматриваль бумаги.

— Я не думаю сомнѣваться, но всѣ эти дѣла должны быть подвергнуты нѣкоторымъ формамъ,—сказаль онъ.—Не угодно ли вамъ написать въ посольство письмо о потерѣ вашего портфеля и просить содѣйствія императорской миссіи объ отысканіи. Мы вамъ тогда вашъ портфель и выдадимъ со свидѣтельствомъ и возьмемъ съ васъ расписку.

— Я полагаю, что съ этого бы можно начать.

— Невозможно; у насъ свой заведенный порядокъ, отъ котораго не отступаемъ безъ крайности: дѣла должны быть подвергнуты нѣкоторымъ формамъ. Вамъ все равно.

— Позвольте листъ бумаги, я здѣсь напишу.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ.

Итакъ, въ виду портфеля я попросилъ посольство сыскать его, а чиновникъ велѣлъ другому чиновнику написать мнѣ отвѣтъ, что, де, миссія съ удовольствіемъ извѣщаетъ, что, вслѣдствіе ея сношеній съ полиціей, портфель отысканъ!!

Я далъ расписку и портфель взялъ. Раскрывая его, я увидѣлъ, что русскіе билеты и пассъ были налицо, но что недоставало двухъ векселей тысячъ на тридцать и кредитивнаго письма.

Я позваль лацарони и просилъ швейцара растолковать ему, что я не дамъ *ста* скудо, пока онъ не принесетъ всего. Онъ бормоталь свое.

— Я такъ нашель, я вечеромъ нашель, я что нашель, то и принесь.

— Да гдѣ же портфель былъ четыре дня?

— Тутъ у старичка, гдѣ мы живемъ,—тутъ и былъ.

— Да гдѣ же этотъ старичокъ?

— За Dogana di sale.

— Поѣдемъ къ нему.

Смертельно не хотѣлось мальчику ѣхать, однако, онъ помѣстился на козлы съ кучеромъ. Сцена эта была неподражаема: онъ

свой парусъ надѣлъ, какъ русскіе попы носятъ ризу, чтò его очень мало покрывало, между тѣмъ дождь ливня лилъ; онъ раза два хотѣлъ сойти, но кучеръ изъ нашего отеля, зная въ чемъ дѣло, не пускалъ его.

Лацарони думалъ, что я его отдамъ въ полицію, и совершенно, какъ звѣрь, косился и посматривалъ на меня. Дома я засталъ Спины и, поручивъ ему моего однопаруснаго пріятеля, котораго убѣдилъ, что въ полицію не отдамъ, поѣхалъ къ Тофано.

Тофано былъ очень радъ, что портфель нашелся, и тотчасъ предложилъ схватить лацарони.

Я отказался.

— Мы ему ничего не сдѣлаемъ, а только пугнемъ тюрьмой: онъ завтра все расскажетъ. Полиція теперь не такъ страшна, какъ вы думаете; мы начинаемъ бояться народа, а не народъ насъ...— прибавилъ префектъ смѣясь.

— Я ему обѣщаль, графъ, что не отдамъ его.

Тофано не настаивалъ, но сказалъ, что если мнѣ покажется что-нибудь подозрительнымъ въ домѣ старика или онъ откажется отдать, то что онъ тотчасъ распорядится, а пока лацарони оставить въ покоѣ.

Спины, я и молодой человѣкъ отправились къ старичку за Dogana di sale; онъ указалъ въ ворота большого полуразвалившагося дома; мы въѣхали на вонючій и нечистый дворъ. Въ окнахъ болтались грязныя рубашки, тряпье; домъ былъ похожъ на запущенныя казармы, на оставленную фабрику.

Мы взошли въ довольно темныя сѣни; на площадкѣ и въ коридорѣ лежали на камняхъ, по которымъ текла какая-то темная, непрозрачная и подозрительнаго свойства жидкость, нѣсколько лацарони; все лежало на голыхъ камняхъ, и все было одѣто въ родѣ моего юноши, который отправился за старикомъ, сказавъ намъ, чтобъ дожидаться его тутъ.

Хилый мальчишка лѣниво всталъ съ полу и, почесывая голову, подошелъ ко мнѣ, растопырилъ ноги и сталъ разсматривать меня съ величайшей подробностью.

Старикъ, лежавшій неподлеку, толкнулъ мальчишку ногой такъ, что тотъ отскочилъ шага на три; старикъ грубо прикрикнулъ:

— Пошелъ къ чорту! ну, что лѣзешь?! è un padrone! ¹⁾

Но изъ угла послышался сиплый голосъ другого старика: «Sia mo anche noi padroni—viva l'ugualianza!» ²⁾

¹⁾ Баринъ какой!

²⁾ И мы также господа.—Да здравствуетъ равенство!

— Viva!—отвѣчалъ я демократу.

— А что, нѣтъ ли съ вами сигаръ?

— Есть,—и пять-шесть. человѣкъ бросились на меня.

Сигаръ было три.

Явился старикъ. Его фізіономію, его рѣчь, его движенія я никогда не забуду. Это—типическое лицо. Во-первыхъ, онъ былъ довольно чисто одѣтъ, въ родѣ итальянскаго моряка; низенькій, плечистый, съ небольшими, сверкавшими волчьими глазами, онъ какъ-то смотрѣлъ и не смотрѣлъ, мало говорилъ и все наблюдалъ, что дѣлается. По его недовѣрчивому, пытливому взгляду, по безднѣ морщинъ на лбу и щекахъ, по обдуманности, съ которой онъ говорилъ, по огню, который иногда прорывался изъ глазъ, можно было догадаться, сколько страстей кипѣло тутъ и сколько борьбы, постоянной борьбы съ обществомъ, борьбы отчаянной онъ вынесъ изъ-за куска хлѣба, изъ-за крова.

Старикъ началъ говорить на неаполитанскомъ нарѣччі, которое и итальянцамъ трудно понимать; говорилъ, что молодой человѣкъ вечеромъ на улицѣ, въ углѣ нашель портфель, что они, было, такъ его оставили, но увидѣли объявленіе и послали его въ посольство.

— Можетъ, — говорилъ онъ, — и были другія бумаги, кто ихъ знаетъ.

Лица наши ободрили его. Онъ сталъ говорить на чистомъ итальянскомъ нарѣччі.

— Двадцать пять скудо я прибавлю,—сказалъ я;—къ тому же по векселямъ денегъ получить невозможно. я уже писалъ, и кто явится съ ними, будетъ непременно арестованъ.

— Разумѣется, съ такими векселями арестуютъ и подѣломъ,—какъ же можно, грѣхъ какой... Мнѣ не нужно вашихъ 25 скуди,—за рюмку хорошаго коньяку я отдалъ бы вамъ. Да гдѣ же взять бумаги? знаете, какое дѣло: тутъ ребятишки... Братцы, — продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ товарищамъ, посланнымъ на грязномъ полу,—а, слышите? 25 скуди прибавки! чтѣ не поискать ли гдѣ? видите, какой добрый баринъ.

— Гдѣ искать черезъ пять дней,—отвѣчалъ подземный хоръ, какъ въ «Робертѣ».

— Негдѣ искать,—сказалъ старикъ.

Спини разсердился и замѣтилъ:

— Мой другъ съ вами церемонится; вотъ я сейчасъ отправлюсь къ префекту; я знаю теперь вашъ вертепъ,—непремѣнно надобно повальный обыскъ сдѣлать, тогда и не то отыщется...

Старикъ отвѣчалъ ему смиренно:

— Что же, мудроно ли обидѣтъ бѣдныхъ людей? siamo misera-

bile gente ¹⁾), беззащитные. Воля начальства,—и повальный обыскъ можно сдѣлать,—мы люди маленькіе.

Это была самая торжественная минута старика: говоря смиренно эти слова, у него было въ лицѣ больше, нежели иронія,—презрѣніе къ намъ. Въ переводѣ его слова значили: сунься, сунься съ полиціей, много найдешь.

Товарищи его начали что-то поговаривать межъ собой. Спины попробовалъ, съ нимъ ли пистолетъ, пистолета не было; мы были довольно далеки отъ двери, и между нами и дверями было еще человѣкъ пять вновь взошедшихъ лацарони. Спины посмотрѣлъ на меня, я ему отвѣтилъ сквозь зубы: «у меня ничего нѣтъ».

Легкая улыбка пробѣжала по лицу старика, и волчьи глаза сверкнули.

— Что вы это, въ самомъ дѣлѣ, толпитесь!—сказалъ онъ. Люди пришли толковать о дѣлѣ, всякому своего жаль. Видите, какая бѣда: векселя пропали... Что тутъ лѣзть! искали бы лучше вмѣсто того, чтобъ болтаться. Ce sont de braves gens,—замѣтилъ онъ мнѣ *по-французски*,—*mais des paresseux*» ²⁾).

Старикъ торжествовалъ: онъ видѣлъ минуту нашей робости послѣ угрозы. Ахъ, эти волчьи глаза!

— Ну, окончимте,—сказалъ я ему.—Вы можете быть увѣрены, что денегъ по векселямъ не получите; это одно упорство, что вы не отдаете. Я даю сто скудо молодому человѣку и 25 вамъ, если принесете. Если нѣтъ, вы не пеняйте на меня: дѣло это извѣстно полиціи. Я даю вамъ срокъ подумать до завтрашняго дня.

Старикъ кланялся, увѣрялъ, что не знаетъ, что и дѣлать, проводилъ насъ до коляски, жалѣлъ и ничего не обѣщалъ.

Путь до Санта Лучіи былъ довольно далекъ; домъ префекта на дорогѣ; я вышелъ на одну минуту изъ коляски, чтобъ рассказать, что было, секретарю префекта, и прямо поѣхалъ домой.

Представьте себѣ мое удивленіе, когда первое лицо, встрѣтившее меня у отеля, былъ мой старикъ; на тротуарѣ и на мраморныхъ ступеняхъ лежало человѣка четыре, сильно плечистыхъ лацарони. На сей разъ къ костюму старика прибавились большіе серебряные очки. Онъ подошелъ ко мнѣ и съ видомъ шестилѣтняго ребенка сказалъ:

— А я вотъ пришелъ къ вамъ; послѣ васъ мы всѣ углы перешарили, нашли еще какія-то бумажонки, уже не эти ли? я хотѣлъ, было, прочитать, да глаза слабы.

¹⁾ Мы бѣдные, презрѣнные люди.

²⁾ Это славные парни, но лѣнтяи.

Эти бумажонки были два векселя, каждый въ 15.000 франковъ.

— Вотъ давно бы такъ, старикъ. Ну, зачѣмъ тратили слова?

— А вы все не вѣрите: вотъ въ углу лежали, за кроватью,— ты, вѣдь, за кроватью нашель, Беппо?

— За кроватью,—отвѣчалъ Беппо, лежа на брюхѣ и отогрѣвая спину каленымъ солнцемъ.

— Хорошо, хорошо,— вамъ двадцать пять и ему сто; да я, было, забылъ: вы хотѣли рюмку хорошаго коньяку,— пойдемте, я вамъ отдамъ деньги и выпьемъ вмѣстѣ отличнаго коньяку.

— Ну, коли вамъ все равно,—отвѣчалъ старикъ,—такъ ужъ прикажите слугѣ сюда вынести рюмку,—я старъ, поясница болить по лѣстницамъ ходить.

Я расхохотался. Онъ намъ платилъ той же монетой и не очень довѣрялся.

Этимъ дѣло и кончилось. Но для полноты картины надобно себѣ представить семнадцатилѣтняго дикаго мальчика, одѣтаго въ парусъ, когда я ему далъ сто скуди серебромъ. Онъ не зналъ, куда ихъ дѣтъ: у него не было ни кармана, ни тряпки. Старикъ, отечески улыбаясь, сказалъ ему: «ты все растеряешь, дай-ка я тебѣ донесу до дому».

Я увѣренъ, что мальчику больше десяти скуди не досталось. ²

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Римъ, 3 марта 1848.

Мы поспѣли и здѣсь къ концу карнавала. Онъ шелъ вяло, плохо; всѣ заняты другимъ, вниманіе всѣхъ обращено на иное, печальныя вѣсти изъ Ломбардіи мѣшаютъ маскамъ, *mascoletti* совсѣмъ не были. Сегодня заходилъ ко мнѣ редакторъ «Эпохи» ¹⁾ съ вѣстью, что Парижъ вспомнилъ, что онъ Парижъ, что строятъ баррикады и дерутся.

4 марта, утромъ.

Ночью я былъ на маскарадѣ въ Торъ-ди-Ноне. Часу во второмъ въ одной ложѣ какой-то челоуѣкъ махалъ платкомъ и подавалъ знакъ, что онъ хочетъ говорить; всѣ обратились къ нему. «*Roman!* ²⁾—закричалъ онъ,—сейчасъ получена вѣсть изъ Чи-

¹⁾ Вѣроятно, Спини.

²⁾ Римляне!

виты, что парижане выгнали Людовика-Филиппа, республика провозглашена!».

«Viva la republica francese!», «Viva la Francia libera! — закричали въ залѣ, — morte al caduto malgoverno, viva, viva sempre la republica!» ¹⁾.

Во снѣ это или на яву? Событія съ каждымъ днемъ густѣютъ, становятся энергичнѣе и важнѣе, усиленный пульсъ исторіи постукиваетъ лихорадочно, личные взгляды и ощущенія теряются въ величинѣ совершающагося. Писать нѣтъ ни малѣйшей охоты. А потому прощайте.

20 апрѣля.

Удивительное время. У меня дрожить рука, когда я принимаю за газеты: всякій день какая-нибудь неожиданность, какой-нибудь громовой раскатъ: или свѣтлое воскресенье или страшный судъ возлѣ. Новыя силы пробудились въ душѣ, старыя надежды воскресли, и какая-то мужественная готовность на все снова взяла верхъ.

На-дняхъ я оставляю Римъ. Расскажу наскоро, что здѣсь было въ продолженіе послѣдняго мѣсяца. Вѣсть о провозглашеніи французской республики сильно потрясла всю Италію. Римъ явнымъ образомъ становился республиканскимъ городомъ. А Пій IX въ это время издавалъ тощую и уродливую конституцію,—*troppo tardi, St. Padre, troppo tardi!* ²⁾. Она была принята холодно, она не удовлетворяла ни прогрессистовъ, ни іезуитовъ. Григоріанцы кричали противъ нея такъ же громко, какъ друзья Маццини. Одна золотая посредственность была довольна,—я говорю о либералахъ,—о тѣхъ либералахъ, которые, какъ выразился одинъ берлинскій депутатъ, любятъ одинъ *умѣренный* прогрессъ и въ немъ — больше умѣренность, нежели прогрессъ.

Конституція Пія хуже неаполитанской,—уродливая смѣсь католической теократіи съ англійскимъ представительствомъ. Папа и святой коллегіумъ могутъ отвергать всякое предложеніе двухъ камеръ, инквизиція и доминикальные суды остались; дозволялось печатать *все свѣтское* безъ цензуры, но рѣшеніе вопроса, что свѣтское, что духовное, предоставлялось цензурѣ; раздѣленіе очень трудное тамъ, гдѣ министры—кардиналы, гдѣ папа—царь, гдѣ финансовыя мѣры—чуть не догматы, и полицейскія распоряженія оканчи-

¹⁾ «Да здравствуетъ французская республика!» «Да здравствуетъ свободная Франція!! Смерть павшему дурному правительству! да здравствуетъ, да здравствуетъ вѣчно республика!».

²⁾ Слишкомъ поздно, Святой Отецъ, слишкомъ поздно!

ваются эпитимією. Самое лучшее въ конституціи было то, что она доказала міру *возможность* конституціоннаго папы; впрочемъ, она доказала это въ то время, какъ міръ, съ своей стороны, сталъ догадываться, что *никакого* папы не нужно.

Пій IX былъ очень недоволенъ пріемомъ уложенія; онъ видѣлъ, что теряетъ послѣднюю популярность, а для человѣка, испытывающаго любовь народную, не легко ее потерять. Одно могло примирить папу съ народомъ и загладить все сдѣланное, — ему слѣдовало объявить войну за Ломбардію и послать папскаго гонфалоньера ¹⁾ во главѣ новаго крестоваго похода. Но поступить смѣло, сказать рѣзкое слово войны — это было несомнѣнно съ женскимъ характеромъ Пія. Все, что Пій IX дѣлалъ послѣ амністіи и закона о чивикѣ, было дѣлано днемъ позже, нежели надобно, и поэтому не имѣло никакой цѣли. Далъ бы онъ конституцію тотчасъ послѣ неаполитанскаго возстанія, она была бы принята съ восторгомъ; Пій IX медлилъ, ждалъ и дождался 24 февраля, — всѣ конституціи въ мірѣ поблѣднѣли передъ республикой во Франціи. Въ самую яркую минуту политическаго увлеченія въ Римѣ онъ обнародовалъ свою дрянную конституцію, да еще прибавилъ въ манифестѣ, что онъ ее издалъ, «побуждаемый быстротою несущихся событій».

Точно то же сдѣлалъ онъ въ отношеніи къ войнѣ. Новости изъ Ломбардіи были мрачны; австрійцы, видя неминуемое возстаніе Милана, душили его; во всей Италіи былъ одинъ крикъ — итти на помощь Милану; всякій разъ, когда на римскихъ торжествахъ являлось знамя Ломбардіи, покрытое чернымъ крепомъ, его привѣтствовали съ изступленіемъ. Всѣ люди послѣдовательные, люди, не шутя хотѣвшіе независимости Италіи и не удовлетворившіеся кокардами и демонстраціями, требовали войны, ожидали ея. Слухи о томъ, что въ Миланѣ все готово къ возстанію, о новыхъ мѣрахъ австрійцевъ, ясно доказывали, что часть войны пробилъ. Пій IX молчалъ.

Размолвка съ папой была внутри душъ: его щадили, его выносили на своихъ плечахъ; теперь радикальная партія поняла, что съ нимъ не сладишь и что легче дѣлать безъ него, нежели съ нимъ; теперь она отняла свою руку и предоставила его судьбѣ. Когда папа замѣтилъ, что волна, его подхватившая, не покоряется ему, когда онъ увидѣлъ, что языкъ, которымъ съ нимъ говорили римляне, измѣнился, онъ растерялся, у него закружилось въ головѣ, онъ хотѣлъ остановиться и не дѣлать шагу впередъ. Политическому дѣятелю остановиться и съ тѣмъ вмѣстѣ остаться на своемъ мѣстѣ невозможно, тутъ выбора нѣтъ: или надобно совсѣмъ отойти отъ

¹⁾ Хоругвеносецъ, знаменосецъ.

несущихся событій, или безславно удариться о землю и быть раздавленнымъ или увлекаемымъ противъ воли.

Послѣднее случилось съ Піемъ. Сначала попробовали іезуиты и кардиналы увлечь его въ полную реакцію; они его увѣрили, что Римъ наканунѣ возстанія; бѣдный папа издалъ приказъ чивикѣ, которой поручалъ жизнь и собственность своихъ римлянъ, въ то время, какъ въ городѣ все было такъ же спокойно, какъ теперь. Одно,—и это одно,—я ставлю въ великое достоинство Пію: сколько ни старались іезуиты, папа не хотѣлъ прибѣгнуть къ дикимъ средствамъ насилія, тюремныхъ заключеній, преслѣдованій силою. Папа хотѣлъ все уладить дипломатически и увѣщаніями; но есть событія, есть эпохи, въ которыя всякая хитрость, всякая дипломатія ломается силою стремящагося потока. Пока іезуиты приготавливали толпу къ тому, чтобъ вырѣзать особенно вліятельныхъ людей радикальной партіи, пока они наущничали папѣ и стращали его, совершилось событіе, котораго никто не ждалъ—вѣнская революція.

Вѣсть эта, пришедшая въ Римъ почти вмѣстѣ съ вѣстью о возстаніи въ Миланѣ, произвела больше волненія, нежели самая вѣсть о 24 февраля. Народъ требовалъ, чтобъ ударили въ колокола, и праздничный звонъ раздался въ Римѣ; онъ требовалъ, чтобъ крѣпость S.-Angelo привѣтствовала пушечной пальбой паденіе австрійскаго правительства и возстаніе Ломбардіи, и пушечный громъ раздался. Кажется, всѣ власти въ Римѣ въ этотъ день забыли, что есть другой господинъ, кромѣ народа; объ другомъ господинѣ никто не думалъ, а волю того, который приказывалъ пятидесятью тысячами голосовъ, исполняли безпрекословно.

Корсо, всѣ большія улицы и площади были покрыты народомъ. Кто-то предложилъ итти къ Palazzo Venezia и снять австрійскій гербъ, уничтожить эту ненавистную двуглавую птицу на домѣ посла—*questo ucello grifagno* ¹⁾; всѣ ринулись туда. Достали лѣстницы, влѣзли—и пошла работа; снять тяжелые гербы, прибитые очень высоко, было не легко. Плечистый работникъ съ длинной бородой залѣзъ на гербъ и исчезъ; по временамъ раздавались удары топора, трое молодыхъ людей помогали ему; наконецъ, огромный щитъ, гремя цѣпами, которыми былъ прикрѣпленъ, рухнулъ на землю, работникъ привязалъ на его мѣсто ломбардское знамя. Народъ бросился съ остервенѣніемъ на гербъ; все наболѣвшее на душѣ, все накопившееся противъ Австріи выразилось въ злобѣ, съ которой топтали, ломали ненавистный гербъ притѣсненія, деспотизма. и мертвячаго *statu quo*.

¹⁾ Эту хищную птицу.

Но этимъ еще не кончилась казнь in effigie ¹⁾. Гербъ привязали къ хвосту осла, и отправились торжественнымъ шествіемъ по Корсо; свистъ и крикъ встрѣчалъ и провожалъ бѣдную двуглавую птицу; мальчишки бѣжали за ней, подстегивая и бросая грязью; на Piazza del popolo щитъ сожгли на огромномъ кострѣ, и музыка чивики протрубила ему вѣчную память.

Папа медлилъ и тутъ. Допустивши колокольный звонъ и пушечную пальбу, не сдѣлавъ даже вида противодѣйствія оскорбленію австрійскаго герба, онъ обсылался теперь съ посломъ въ то время, какъ «Эпоха» вечеромъ печатала: «la guerra è dichiarata all’Austria, non dal governo, ma dal popolo Romano» ²⁾. На другое утро почта изъ Милана не пришла, — волненіе усилилось. На третій день разнесся слухъ, что австрійцы одолѣваютъ... Тогда раздался новый крикъ: «all’armi, all’armi!» ³⁾.

Народъ хотѣлъ начать свои военные подвиги съ римскаго арсенала; тутъ въ первый разъ сталъ онъ обвинять папу въ томъ, что онъ дѣйствуетъ заодно съ Австріей. Министры, особенно Галлетти ⁴⁾, убѣдили Пія IX уступить народному желанію и дать ему оружіе; они ему доказали, что правительство рѣшительно не имѣетъ средствъ противодѣйствовать. Папа все сдѣлалъ нехотя, безъ теплаго слова, уклончиво.

Галлетти прискакалъ на первомъ извозчикѣ, который ему попался на Piazza del popolo, съ вѣстью и объявилъ, что распоряженіе сдѣлано насчетъ раздачи оружія. Вѣсть эта, разумѣется, была принята съ восторженными криками. Вслѣдъ за Галлетти показалась у фонтана, возлѣ обелиска толстая, но довольно красивая, фигура священника; онъ требовалъ рѣчи. «Римляне, — сказалъ онъ, — въ Колизей! Въ Колизеѣ васъ ждутъ ломбарды: тамъ приготовлена книга, въ которую желающіе итти на войну могутъ записываться, — времени терять нечего. За мной, въ Колизей!» Народъ разступился, чтобъ дать пройти отцу Гавацци ⁵⁾, и пошелъ за нимъ въ Колизей мѣрнымъ и важнымъ шагомъ, гордо забрасывая край грязной шинели на плечо.

Зрѣлище въ Колизеѣ было поразительное. Дѣло шло къ вечеру, заходящее солнце яркими полосами входило въ арки; несмѣт-

¹⁾ Изображенія.

²⁾ Австріи объявлена война не правительствомъ, а народомъ римскимъ.

³⁾ Къ оружію! Къ оружію!

⁴⁾ Джузеппе, главный начальникъ карабинеровъ.

⁵⁾ Александръ, противникъ римской куріи, военный священникъ, возбуждавшій народъ къ борьбѣ за самостоятельность родины и гражданскія и политическія права. Очень хорошо характеризованъ Н. А. Добролюбовымъ.

ная толпа народа покрывала середину; на аркахъ, на стѣнахъ, въ полусобвалившихся ложахъ, — вездѣ сидѣли, стояли, лежали люди. Въ одной изъ выдающихся ложъ былъ *pater Gavazzi*, усталый, обтирая потъ, но готовый снова говорить. Тутъ я слышалъ его рѣчь слово отъ слова; это—настоящій народный ораторъ: простота, энергія, сильный голосъ, рѣзкіе жесты и притомъ добродушный видъ.

«Есть время,—говорилъ онъ,—когда Богъ мира становится Богомъ войны; на груди моей, возлѣ распятія трехцвѣтная кокарда освобожденія. Клянусь передъ этимъ распятіемъ итти впередъ, дѣлать всѣ ваши труды, всѣ опасности,—раненый найдетъ меня для помощи, умирающій для послѣдняго утѣшенія, для молитвы объ немъ; даже тотъ, кто оробѣетъ, найдетъ мой ободряющій взглядъ, мой примѣръ».

Въ этомъ родѣ онъ говорилъ больше часу; его рѣчь электризовала массы: онъ зналъ свою аудиторію, инья фразы его покрывались криками восторга.

— Юноши Рима, вамъ я чуть, было, не забылъ сообщить радостную вѣсть: мы предложили начальникамъ вольныхъ отрядовъ васъ поставить въ первые ряды. Вы первые сразитесь за свободу Италіи и, падая, будете думать о томъ, что защищаете собою отцовъ семейства; но падутъ нѣсколько чистыхъ и великихъ жертвъ, остальные изъ васъ первые взойдутъ на непріятельскія стѣны съ хоругвию освобожденія,—мы тамъ увидимся, до свиданія!

Вслѣдъ за Гавацци явился Чичероваккіо; онъ держалъ за руку прелестнаго отрока, лѣтъ пятнадцати, снялъ свою шляпу, поклонился народу съ своей простонародной граціей, велѣлъ мальчику снять шляпу и сказалъ:

— Мнѣ очень хотѣлось итти въ Ломбардію...

Гавацци и другіе, стоявшіе на трибунѣ, перебили его словами:

— Анжело Брунетти долженъ остаться здѣсь: намъ легче будетъ тамъ, когда онъ будетъ здѣсь.

— Да,—продолжалъ *il popolano*,—я не могу итти... Ну, что же я сдѣлаю для войны, *Romani*? У меня есть сынъ, *è mio sangue* ¹⁾, я его отдаю отечеству, пусть онъ идетъ въ первыхъ рядахъ.—Онъ обнялъ юношу. Гавацци пожалъ руку Чичероваккіо и утеръ слезу. Народъ грянулъ «*Viva Cicerovacchio!*». Раздраженный и взволнованный съ утра, я не вытерпѣлъ, слезы катились у меня градомъ—и вѣрите ли?—теперь, вспоминая, я плачу. Это одна изъ лучшихъ минутъ того времени.

Подъ одной изъ арокъ сидѣли нѣсколько человекъ за сто-

¹⁾ Онъ — моя кровь.

ломъ, покрытымъ сукномъ и осѣненнымъ знаменами Ломбардіи и Италіи; тутъ толпилась молодежь записываться; каждому давали для отмѣтки кокарду; на дворѣ смерклось, зажгли факелы около этого страннаго *рекрутскаго набора*; народъ остался въ полутемнотѣ, вѣтеръ качалъ знамена, испуганныя птицы, не привычныя къ такимъ посѣщеніямъ, кружились надъ головой,—и все это обнятое исполинской рамой Колизея...

Многія матери не дочлись въ этотъ день своихъ сыновей. Одинъ изъ редакторовъ «Эпохи» рассказывалъ мнѣ, что, когда онъ воротился въ редакцію, онъ нашелъ на столѣ письмо къ одному изъ собственниковъ журнала; нисколько не подозрѣвая содержанія, редакторъ занесъ ему его; письмо было отъ семнадцатилѣтняго молодого человѣка къ своему отцу; онъ писалъ: «Любезные родители, вашъ Титъ записался въ ополченіе; простите меня, я чувствовалъ, что не нашелъ бы силы разстаться съ вами, если-бъ я пришелъ проститься и увидѣлъ ваши слезы,—я поступилъ въ ломбардскій отрядъ, который нынче отправляется на почтовыхъ».

На третій день, часу въ четвертомъ утра меня разбудилъ барабанный бой; я открылъ окно: первые вольные отряды выступали; разумѣется, объ мундирахъ никто и не думалъ: ранецъ, ружье, тесакъ, патронташъ и большая кокарда на шляпѣ составляли всю форму. Народъ провожалъ ихъ; ополченцы, вѣроятно, гуляли всю ночь, у нѣкоторыхъ были еще зажженные факелы; патеръ Гавацци шелъ впередъ. На Piazza del popolo ударили сборъ, построили ратниковъ въ колонну, полковникъ объѣхалъ верхомъ ряды. Все вмѣстѣ было что-то не весело и сумрачно, небо было покрыто тучами, рѣзкій холодный утренній вѣтеръ дулъ передъ восхожденіемъ солнца, женщины плакали, мужчины жали руки, цѣловались.

Трррр-рамъ-тамъ, тамъ, тррррр-рамъ... колонна двинулась, а жители стали расходиться; у всѣхъ было тяжело на душѣ, всѣ приуныли, всѣ думали, сколько-то воротится изъ этихъ свѣжихъ, молодыхъ людей и кто именно воротится. Война—свирѣпое, отвратительное доказательство безумія людскаго, а человѣчеству еще придется подрагаться прежде возможности мира!

На всѣхъ площадяхъ выставлены большіе столы для приношенія вещей и денегъ; приносятъ бездну, я видѣлъ золотыя и серебряныя вещи, мѣдные байокки и груды скуди на Piazza Colona.

Пій IX *дозволялъ* отправиться волонтерамъ, но не *приказывалъ* (какъ объясняла офиціальная газета), ибо святой отецъ не считаетъ *совмѣстнымъ со своимъ званіемъ объявить войну*. Странное явленіе въ исторіи — этотъ Пій IX: два-три благородныхъ порыва, два-три человѣческія дѣйствія поставили его во главу итальян-

скаго движенія, окружили его любовью, ему стоило только продолжать, по крайней мѣрѣ, не мѣшать; нѣтъ, слабыя плечи его ломаются подъ тяжестью великаго призванія. Онъ стоитъ на рубежѣ двухъ сильныхъ потоковъ, и то одинъ уноситъ его съ собою, то другой. Великая судьба его преслѣдуетъ, навязываетъ ему свои дары, а онъ упорно отказывается, вредитъ дѣлу и себѣ. Пусть бы онъ удалился куда-нибудь! Изъ благодарности за свѣтлыя минуты начальнаго *risorgimento*, память его осталась бы не запятанною, не осмѣянною. Пора, наконецъ, понять, что невозможно быть папой и человѣкомъ, царемъ и гражданиномъ, что тутъ есть неразрѣшимый антагонизмъ.

Я былъ на площади св. Петра, когда папа глубочайшимъ образомъ оскорбилъ ополченіе, отказываясь благословить знамя ихъ. Есть въ жизни торжественныя минуты, требующія такой полноты и такого сочетанія всѣхъ элементовъ,—минуты, въ которыя такъ натянуты всѣ нервы, всѣ чувства, что малѣйшая неудача, малѣйшій несозвучный тонъ, который въ обыкновенное время прошелъ бы едва замѣченнымъ, страшно дѣйствуетъ, огорчаетъ, сердитъ. Именно въ такую-то минуту св. отецъ и оскорбилъ римлянъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что благословеніе украли: начальники колонны подошли подъ благословеніе Пія, когда онъ выходилъ изъ кареты, у нихъ въ рукахъ были знамена; Пій благословилъ *ихъ*, а не знамена!

Я смотрѣлъ на всю эту комедію и отъ души желалъ этому благонамѣренному старику, или этой старой бабѣ, называемой *Pio* попо, не только честной, но и скорой кончины для того, чтобъ онъ могъ дать добрый отвѣтъ на страшномъ судилищѣ исторіи.

Послѣ выхода волонтеровъ, въ числѣ которыхъ ушла доля чивики, Римъ опустѣлъ, сдѣлался еще угрюмѣе; весна поддерживала нервное раздраженіе столько же, сколько ломбардскія новости. Сообщенія были отрѣзаны войною; ожиданіе, страхъ волновали всѣхъ; на улицахъ вслухъ читались журналы, мальчики бѣгали съ новостями и кричали: «*la disfatta di Radetzky — un baiocco — un baiocco per la distatta degli Austriachi — la fugitta del arciduca Raniero — un baiocco e mezzo! la republica proclamata in Venezia, e viva il leone di S. Marco! due, due baiocchi!*»¹⁾. Съ утра бѣжишь на Корсо слушать выдуманная и не выдуманная новости—и вѣришь, и не вѣришь; а тутъ каждая иностранная газета приноситъ одну вѣсть

¹⁾ Пораженіе Радецакаго—одинъ байокко; одинъ байокко за пораженіе австрійцевъ; бѣгство эрцгерцога Ранiero — полтора байокко; республика, провозглашенная въ Венеціи, и да здравствуетъ Левъ св. Марка! — два байокко!

мудренѣе другой. Такимъ взволнованнымъ, оживленнымъ и ждущимъ необыкновеннаго ѣду изъ Рима.

Что-то будетъ изъ всего? Прочно ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупъ, запахъ прошедшаго; историческая Трамонтана сильна, но что бы ни было,—благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано, то останется въ душѣ, и всего совершеннаго не сдуетъ же реакція!

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ.

Парижъ, 10 іюня 1848 г.

Снова, любезные друзья, настаетъ время воспоминаній о быломъ, гаданій о будущемъ... Небо опять покрыто тучами, въ душѣ злора и негодованіе... Мы обманулись, мы обмануты. Трудно признаваться въ этомъ, будучи тридцати пяти лѣтъ.

Пятнадцатое мая сняло съ моихъ глазъ повязку,—даже мѣста сомнѣнію не осталось: революція побѣждена; вслѣдъ за нею будетъ побѣждена и республика. Трехъ полныхъ мѣсяцевъ не прошло послѣ 24 февраля, «башмаковъ еще не успѣли износить» ¹⁾, въ которыхъ строили баррикады, а ужъ Франція напрашивается на работу, свобода ей тягостна. Она опять совершила шагъ для себя, для Европы и опять испугалась, увидѣвши на дѣлѣ то, что знала на словахъ, за что готова была проливать кровь.

Я былъ пятнадцатаго мая съ утра до ночи на улицѣ; я видѣлъ первую колонну народа, пришедшую къ камерѣ; я видѣлъ, какъ ликующая толпа отправилась изъ собора къ ратушѣ; я видѣлъ Барбеса въ окно Hôtel de Ville; я видѣлъ кровожадную готовность національной гвардіи начать рѣзню и торжественное шествіе побѣдоноснаго Ламартина и побѣдоноснаго Ледрю-Роллена изъ ратуши въ собраніе. Спасители отечества, изъ которыхъ одинъ подъ рукой помогалъ движенію, а другой кокетничалъ съ монархистами, ѣхали верхами безъ шляпъ, провожаемые благословеніями буржуазіи. Барбесъ и его товарищи отправились въ то же время, осыпаемые проклятіями, въ тюрьму. Собраніе побѣдило, монархическій принципъ побѣдилъ. Часовъ въ девять вечера я пришелъ домой. Горько мнѣ было. Дома я засталъ одного горячаго республиканца ²⁾, онъ тогда завѣдывалъ меріей XII округа.

¹⁾ Гамлетъ объ своей матери.—А. И. Г.

²⁾ Жанъ-Батистъ Боке.

— Республика ранена на смерть, ей остается теперь умереть,— сказалъ я ему.

— Allons donc! ¹⁾ — замѣтилъ мой демократъ съ тѣмъ французскимъ легкомысліемъ, которое въ инныя минуты бываетъ возмутительно.

— Ну, такъ ступайте за вашимъ ружьемъ и стройте баррикады!

— Nous n'en sommes pas encore là ²⁾, придетъ время, построимъ и баррикады. Собраніе ничего не осмѣлится сдѣлать.

Мой пріятель могъ на досугѣ взвѣсить истину своихъ словъ: его схватили, когда онъ шелъ домой, и отправили въ Консьержери ³⁾.

Когда я въ Римѣ читалъ списокъ членовъ временнаго правленія, меня разбиралъ страхъ: имя Ламартина не предвѣщало ничего добраго; Маррастъ былъ прежде извѣстенъ за большого интригана; потомъ эти адвокаты, эти неизвѣстности... Одинъ Ледрю-Ролленъ будто что-то представлялъ; Луи Бланъ и Альберъ стояли особо,—что было общаго между этими людьми? Потомъ огромность событій заслонила лица. Вдругъ они напомнили о себѣ; одни тайной измѣной, другіе явной слабостью. Отдавая обстоятельствамъ то, что имъ принадлежитъ, мы не покроемъ, однако, ими людей: люди—тоже факты и пусть несутъ отвѣтственность за свои дѣла. Кто ихъ заставлялъ выйти на сцену, взяться своими слабыми руками за судьбы міра? гдѣ ихъ призваніе, гдѣ помазаніе? Если они и уйдутъ отъ желѣзнаго топора, то не уйти имъ отъ топора исторіи.

Съ какимъ восторгомъ летѣлъ я снова въ Парижъ! Какъ было не вѣрить въ событіе, отъ котораго потряслась вся Европа, въ событіе, на которое отвѣчали Вѣна, Берлинъ, Миланъ. Но Франція назначена всякій разъ излѣчивать меня отъ надеждъ и заблужденій.

Въ Марсели я прочелъ о страшномъ усмирении руанскаго возстанія; это была первая кровь послѣ 24 февраля, она пророчила дурное...

Пятаго мая мы приѣхали въ Парижъ.

Онъ много измѣнился съ октября мѣсяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатыхъ экипажей, больше народнаго движенія на улицахъ; въ воздухѣ носилось что-то рѣзкое и возбужденное, со всѣхъ сторонъ вѣяло девяностыми годами, чувствовалось, что революція вчера пронеслась по этимъ улицамъ.

¹⁾ Вотъ еще!.

²⁾ Ну, до этого дѣла еще не дошло!

³⁾ Въ 1851 году онъ былъ еще въ С. Пелажи.—А. И. Г.

Толпы работниковъ окружали своихъ ораторовъ подъ тѣнью каштановъ въ Тюльерійскомъ саду; деревья свободы на всѣхъ перекресткахъ; часовые въ блузахъ и пальто; коssidьеровскіе монтаньяры съ большими красными отворотами и съ сильно республиканскими, театрално воинственными лицами ¹⁾), расхаживали по улицамъ; стѣны были облѣплены политическими афишами; изъ оконъ Тюльери выглядывали раненые герои баррикадъ въ больничныхъ шинеляхъ и съ трубкой въ зубахъ; на бульварахъ и большихъ улицахъ толпы мальчиковъ и дѣвочекъ продавали съ крикомъ и съ разными шалостями журналы, прокламаціи. Знаменитый крикъ: «Demandez la grrr-ande colère du Père Duchêne,—un sou— il est bigrrr-ement en colère le père Duchêne, un sou— cinq centimes!» ²⁾); раздавался между сотнею новыхъ. Мелкая торговля, отталкиваемая въ дальніе кварталы и переулки чопорной полиціей Дюшателя ³⁾), разсыпалась по бульварамъ и Елисейскимъ полямъ, придавая имъ цыганскую пестроту и удвоенную жизнь. При всемъ этомъ не было слышно ни о какихъ беспорядкахъ, и середь ночи можно было ходить по всему Парижу съ величайшей безопасностью.

Собраніе открылось наканунѣ моего пріѣзда; это не было торжественное, полное надеждъ открытіе 89 года. Народъ парижскій и клубы встрѣтили его съ недовѣріемъ, правительство презирало его въ душѣ; всѣ оттѣнки политическихъ партій, не соглашаясь ни въ чемъ, были согласны, что это собраніе ниже обстоятельствъ; нравственное 15 мая было совершено въ совѣсти у всѣхъ за десять дней. Горестна судьба собранія, которое было ненавидимо прежде, нежели успѣло сказать слово; для того, чтобъ компрометировать представителей, генераль Куртэ, кажется, заставилъ ихъ выйти на перистиль и передъ народомъ провозгласить республику.

Начальныя засѣданія, ожидаемая съ страшнымъ нетерпѣніемъ, поразили всѣхъ своей необычайной безцвѣтностью; характеръ собранія ярко обозначался при этомъ первомъ пріемѣ за дѣло: оно

¹⁾ Игра въ солдаты и страсть рядиться въ мундиръ и придавать себѣ видъ свирѣпыхъ «трупье» обща всѣмъ французамъ. Ледрю-Ролленъ, отдавая разъ приказаніе генералу Куртэ о сборѣ національной гвардіи на смотръ, прибавлялъ: «Употребите ваше содѣйствіе, чтобъ офицеры штаба не скакали непрерывно во весь опоръ, взадъ и впередъ, по улицамъ, придавая Парижу видъ города, осаждаемаго непріятельскимъ войскомъ». Отчасти все это — остатки уродливой имперіи, сильно исказившей старую Францію и Францію революціонную, но отчасти эти наклонности принадлежатъ самому народу.—А. И. Г.

²⁾ Требуите стрррашный гнѣвъ «Дяди Дюшена» — одинъ су, пять сантимовъ — онъ стрррашно сердитъ «Дядя Дюшень!» — одинъ су, пять сантимовъ!

³⁾ Шарль-Мари, министръ внутреннихъ дѣлъ.

бросилось въ подробности, занялось вопросами второстепенными; адвокатскій, прокурорскій и доктринерскій тонъ прежнихъ камеръ остался въ національномъ собраніи. Положимъ, что вопросы, которыми собраніе занималось, были дѣльны, но мало ли на свѣтѣ дѣльнаго: попавши на эту дорогу, можно работать года два-три до поту лица и не разрѣшить ни одного изъ тѣхъ вопросовъ, которые даютъ рѣзкій тонъ, дѣлаютъ переворотъ и впередъ рѣшаютъ тысячу второстепенныхъ вопросовъ.

Національное собраніе, слѣдуя благородной поговоркѣ *charité bien ordonnée* ¹⁾, тотчасъ вотировало своему президенту право призывать національную гвардію, не только парижскую, но и изъ департаментовъ, на защиту собранія. Оно боялось. Трусость — одна изъ самыхъ выдающихся сторонъ его; собраніе чувствовало ложность своего положенія, оно видѣло, что не представляетъ ни народъ, ни революцію, ни даже реакцію; что дѣйствительной почвы у него нѣтъ; что Парижъ, народъ и роялисты не за него; что за него часть мѣщанъ, прѣсные реакціонеры, помѣшанные на идеѣ внѣшняго порядка, и больше никого; что въ немъ уважаютъ не его, а первый результатъ всеобщей подачи голосовъ...

Ламартинъ явился передъ собраніемъ временнаго правительства съ отчетомъ; онъ велъ подъ руку честнаго, но выжившаго изъ ума Дюпонъ де л'Ера ²⁾, показывая, что онъ только подставъ преклоннаго и уважаемаго старца. Ламартинъ говорилъ своимъ извѣстнымъ напыщеннымъ слогомъ; его рѣчи похожи на взбитыя сливки: кажется, берешь полную ложку въ ротъ, а выйдетъ нѣсколько капель молока съ сахаромъ; для меня онъ несносенъ на трибунѣ, французы удивляются ему, — стало, онъ оправданъ вполнѣ. Ламартинъ смирялся передъ собраніемъ, льстилъ ему, называлъ его владыкой и самодержцемъ. Собраніе было довольно и предложило вотировать, что временное правительство заслуживаетъ благодарность отечества; оно терпѣть не могло временнаго правительства, особенно трехъ членовъ его: Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера, но хотѣло заплатить за учтивость учтивостью и на починѣ сказать спасибо правительству за его смиренный видъ. Казалось, это пройдетъ безъ спора, — вышло не такъ.

Барбесъ потребовалъ рѣчи. Его появленіе на трибунѣ сдѣлало сильное впечатлѣніе; всѣ ждали съ нетерпѣніемъ, что онъ скажетъ: такіе люди даромъ не говорятъ. Барбесъ, котораго остро-

¹⁾ Хорошо упорядоченная любовь.

²⁾ Жакъ-Шарль, членъ временнаго правительства и предсѣдатель совѣта министровъ; пользовался репутаціей безукоризненно-честнаго труженика.

умная «Сѣверная Пчела» не иначе называетъ, какъ «каторжникъ и убійца», пользуется огромнымъ преимуществомъ людей, которыхъ твердость и чистота выше всякаго подозрѣнія; его убѣжденія были ненавистны собранію,—его личность, его прошедшее, его извѣстность, его долгія страданія, такъ героически вынесенныя, внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уваженіе. Барбесь считалъ нужнымъ прежде, нежели собраніе покроетъ своей благодарностью всѣ дѣйствія правительства, потребовать у него отчета во многомъ. «Я протестую,—говорилъ онъ,—противъ ряда дѣйствій, вслѣдствіе которыхъ оно лишилось народности. Вы помните руанскія... *убійства?*..» При словѣ «убійства» неистовый крикъ «l'ordre!» ¹⁾ перебилъ оратора. Дальше мѣщане не могли слушать: кровь убитыхъ ими или ихъ товарищами подымалась имъ въ голову не какъ угрызеніе совѣсти, а какъ ободреніе продолжать, если не дѣломъ, то симпатіей, то оправданіемъ. Ораторъ выждалъ окончанія бури и продолжалъ, спокойно и гордо глядя на парламентскую чернь: «я говорю объ *убійствахъ*, сдѣланныхъ національной гвардіей въ Руанѣ». Снова шумъ... «Я напомнимъ вамъ колонны поляковъ, бельговъ, нѣмцевъ, преданныхъ на истребленіе. Когда эти вопросы уяснятся, будемъ благодарить правительство, но не прежде; до тѣхъ поръ, я протестую противъ этой благодарности *во имя народа*».

Въ послѣднихъ словахъ лежало много смысла для тѣхъ, кто зналъ авторитетъ Барбеса на клубы и на весь революціонный Парижъ, но увлеченное собраніе хотѣло, однако, наказать смѣлаго республиканца: оно вотировало тотчасъ и почти единогласно благодарность децемвирамъ.

Барбесь остался съ десяткомъ своихъ друзей противъ всего собранія; грустно и задумчиво качая головой, сѣлъ онъ на свое мѣсто и замолчалъ до 15 мая ²⁾. Отблагодаривши временное правительство, собраніе назначило исполнительную комиссію изъ пяти человекъ; комиссія составила министерство изъ журнальныхъ поденщиковъ «Националя», прибавивъ къ нимъ знаменитаго стенографа Флокона ³⁾, какъ образчикъ «Реформы». Луи Бланъ и

¹⁾ Къ порядку!

²⁾ Барбесу отвѣчалъ Сенаръ ⁰⁾, защищая руанскую бойню; онъ этой рѣчью рекомендовался Парижу и остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ; ему принадлежитъ большая часть въ юньскихъ злодѣйствахъ.—А. И. Г.

³⁾ Фердинандъ, съ 11 мая 1848 г. министръ земледѣлія и торговли; одинъ изъ редакторовъ «La Réforme».

⁰⁾ Антуанъ, юристъ, президентъ національнаго собранія, потомъ министръ внутреннихъ дѣлъ.

Альберъ были отстранены отъ правительства; слово «соціализмъ» дѣлалось уже клеймомъ, которымъ обозначали людей, отверженныхъ мѣщанскимъ обществомъ и преданныхъ на всѣ полицейскія преслѣдованія. Собраніе не хотѣло слышать о министерствѣ работъ. Члены исполнительной комиссіи потеряли всякое довѣріе искреннихъ республиканцевъ выборомъ министровъ: на нихъ смотрѣли, какъ на ренегатовъ или какъ на орудіе интригъ Марраста, который, сидя у себя въ меріи, передергивалъ людей и подсовывалъ своихъ корректоровъ и батырщиковъ.

Четвертаго мая открылось собраніе, десятаго оно было ненавидимо всѣмъ Парижемъ, исключая партіи «Насіоналя» и тупорожденныхъ либераловъ. Демократическіе клубы вотировали поздравленія Луи Блану и Альберу. Самыя случайности дѣлали несчастное собраніе еще болѣе нелюбимымъ и смѣшнымъ; такъ, напр., упорное отвращеніе Беранже отъ званія представителя, его вольтеровскія письма объ этомъ, его мольбы пощадить его сѣдины унизили собраніе всею славою любимаго народнаго поэта. Послѣ десятаго мая всѣ ожидали чего-то, всѣмъ казалось невозможнымъ, чтобъ эта торговая баня, чтобъ этотъ толкучій рынокъ могъ стоять во главѣ Франціи и Парижа. Журналы были полны укора; въ кафе, на улицахъ всѣ говорили съ жаромъ противъ собранія; на площадяхъ и углахъ улицъ собирались всякій день группы; въ клубахъ дѣлались (какъ говорятъ роялисты) *зажигательныя* предложенія, произносились судорожныя рѣчи. Такъ подошло *пятнадцатое мая*.

Пятнадцатое мая было великимъ протестомъ Парижа противъ устарѣлаго притязанія законодательныхъ собраній на самодержавіе, за которымъ всегда и вездѣ пряталась монархія, реакція и весь дряхлый общественный порядокъ. Чего не осмѣлился сдѣлать Робеспьеръ 8 термидора, передъ чѣмъ онъ, передовой челоуѣкъ революціи 93 года, остановился и лучше хотѣлъ снести голову на плаху, и снесъ ее, нежели рѣшился спастись противно своимъ началамъ, въ силу которыхъ самодержавіе принадлежало одному конвенту,— то сдѣлалъ парижскій народъ 15 мая.

Вотъ отчего консерваторы и либералы на старый лады опрокинулись съ такой яростью на Барбеса, Бланки, Собріе, Распайля; вотъ отчего въ этотъ день собраніе и исполнительная комиссія, ненавидѣвшія другъ друга, бросились другъ другу въ объятія. *Роялисты* схватились за оружіе для того, чтобъ спасти республику и національное собраніе. Спасая собраніе, они спасали монархическое начало, спасали безответную власть, спасали конституціонный порядокъ дѣль, злоупотребленіе капитала, а, наконецъ, и претендентовъ. По ту сторону виднѣлась не ламартиновская рес-

публика, а республика Бланки, т. е. республика не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ; по ту сторону представлялась революціонная диктатура, какъ переходное состояніе отъ монархіи къ республикѣ; suffrage universel ¹⁾, не нелѣпо и бѣдно приложенный къ одному избранію деспотическаго собранія, а ко всей администраціи; освобожденіе человѣка, коммуны, департамента отъ подчиненія *сильному* правительству, убѣждающему пулями и цѣпями. Собраніе, опертое на національную гвардію, побѣдило, но нравственно оно было побѣждено 15 мая; оно держится, какъ всѣ отжившія учрежденія, единственно силою штыковъ, и не дошло даже до того, чтобъ журналисты говорили объ немъ безъ явнаго презрѣнія.

Для того, чтобъ сдѣлать понятнымъ пятнадцатое мая и странное положеніе республики, которая пятится назадъ съ половины апрѣля, т. е. черезъ семь недѣль послѣ революціи, необходимо бросить взглядъ на предшествовавшія обстоятельства, которыя потрясли всю Европу. Революція 24 феврала вовсе не была исполненіемъ приготовленнаго плана; она была геніальнымъ вдохновеніемъ парижскаго народа; она, какъ Паллада, вышла разомъ вооруженная и грозная изъ народнаго негодованія; это—ударъ грома, внезапно осуществившій давно скопившіяся, но далеко незрѣлыя стремленія. Феврала двадцать третьяго ни Людовикъ-Филиппъ, ни Гизо, ни министры, ни «Реформа», ни «Насіональ», ни оппозиція, ни даже люди, построившіе первыя баррикады, не предвидѣли, чѣмъ окончится 24 феврала. Хотѣли реформы—сдѣлали революцію, хотѣли прогнать Гизо—прогнали Людовика-Филиппа, хотѣли провозгласить право банкетовъ—провозгласили республику; утромъ мечтали о министерствѣ Тьера или Одилона Барро, вечеромъ Одилонъ Барро больше отсталъ, нежели Гизо. Какъ-же это случилось? De l'audace ²⁾, говорилъ С. Жюсть; да, дерзкая смѣлость, отвага—тайна переворотовъ, особенно парижскихъ. Горсть людей, принадлежавшихъ къ тайнымъ обществамъ, мужественно дравшаяся на баррикадахъ, опираясь на благородные инстинкты парижскихъ работниковъ, провозгласила республику и дала такой толчокъ всей Европѣ, что теперь еще нельзя предвидѣть, чѣмъ кончится это повсюдное броженіе. Разумѣется, республиканская партія существовала; она, обманутая 30 іюля, пережила бойню въ Cloître St. Méry, рѣзню въ улицѣ Трансноненъ, потерю всѣхъ своихъ корифеевъ, отъ Барбеса и Бланки до Алибо ³⁾, записывая въ свою печальную

¹⁾ Всеобщая подача голосовъ.

²⁾ Дерзанія!

³⁾ 25 іюня 1836 г. стрѣлялъ въ Людовика-Филиппа, 11 іюля казненъ.

хронику одни удары, несчастія, открытыя гоненія и судебные приговоры. Она имѣла мало надеждъ. Арманъ Каррель качалъ головой во время битвы, Годфруа Кавеньякъ говорилъ передъ смертью, съ мрачнымъ отчаяніемъ: «это правительство *износитъ* насъ всѣхъ, мы состаримся въ бесплодной и неравной борьбѣ!»

Съ 1840 года, дѣйствительно, прекращается открытая борьба. До 1840 года у правительства былъ еще стыдъ или, если не стыдъ, то осторожность; оно боялось прибѣгать ко всѣмъ средствамъ, оно не было совершенно увѣрено въ полномъ, безграничномъ сочувствіи. Оно убѣдилось, наконецъ, что маска не нужна; дѣйствующая часть народа, т. е. та часть, которая имѣла гражданскія права, была достаточно развращена, чтобъ дѣйствовать за-одно съ правительствомъ. Выборы, съ малыми изъятіями, были въ рукахъ министровъ, подкупы дѣлались открыто, половина камеры состояла изъ чиновниковъ, остальная часть была втянута въ разныя финансовыя операціи, для успѣха которыхъ надобно было не распадаться съ правительствомъ. Достаточная буржуазія давала свои голоса правительству, правительство давало ей свои штыки на защиту всѣхъ злоупотребленій капитала. У нихъ былъ одинъ общій врагъ— пролетарій, работникъ; они соединились противъ него; при этомъ союзѣ были пожертвованы республиканцы и національная гордость. Пониженіе электоральнаго ценза послѣ 1830 года заставило всплыть страшную дрянъ въ камеру. Пониженіе ценза остановилось на границѣ народа и буржуазіи, оно не ввело въ камеру элемента чисто народнаго, а подняло въ нее всю чернь средняго сословія. Гизо понималъ круговую поруку буржуазіи съ правительствомъ, онъ понималъ, что она гораздо больше боится народа, нежели власти; вооруженный Тьеровыми сентябрьскими законами, онъ пошелъ прямѣе къ цѣли. Методическій, холодный, притѣснительный по характеру и властолюбивый до-нельзя, Гизо посвятилъ себя на уничтоженіе доли пріобрѣтеннаго Франціей съ 89 года; Гизо былъ кальвинистскій попъ, трезвый, желчевой, безчувственный фанатикъ. Задавленному трудомъ и нуждой работнику онъ сказалъ съ высоты трибуны: «работа вамъ необходима: это единственная узда, на которой васъ можно держать».

Семь лѣтъ постоянныхъ удачъ развили болѣе увѣренности въ Гизо, нежели въ самомъ королѣ; они забылись. Умѣй Гизо остановиться во-время, онъ сдѣлалъ бы гораздо больше вреда, онъ отдалилъ бы 24 февраля, онъ успѣлъ бы еще больше пріучить къ подкупамъ, къ симоніи всѣхъ родовъ, еще глубже растлить все нравственное въ общественномъ мнѣніи, но онъ слишкомъ рано принялъ тонъ побѣдителя, онъ не хотѣлъ даже хранить благопри-

стойнаго вида, увлекаясь желчевымъ характеромъ и мелкими личностями. Часть буржуазіи испугалась, видя петербургскія замашки министровъ. Брошюра Дювержье-де-Горанна ¹⁾ выражаетъ очень хорошо партію умѣреннаго прогресса. Министерство ея не боялось; надобно было видѣть своими глазами презрительный тонъ Гизо, его видъ, его отрывистую рѣчь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, онъ противопоставлялъ свою талантливую дерзость бездарной горячности Одилона-Барро.

Другого рода протестація порядку вещей слышалась иногда какъ будто изъ-подъ земли... Какой-то тяжелый стонъ раздавался по временамъ — не въ камерѣ, не въ «Насіоналѣ», не въ «Реформѣ», а въ мастерской, у изголовья умирающихъ отъ нужды, а иногда въ ассизахъ; «Gazette des Tribunaux» ²⁾ записывала его, не понимая, что дѣлаетъ. На лавкѣ подсудимыхъ часто слышались страшныя признанія и страшныя обвиненія безобразному общественному устройству отъ людей, которые, отправляясь на галеры, въ тюрьмы, бросали страшныя слова на прощанье; но кто же ихъ слушалъ?...

Таково шли дѣла передъ революціей; такъ засталъ я ихъ, пріѣхавши въ Парижъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1847 года.

Не могу вамъ выразить тяжелаго, болѣзненнаго чувства, которое овладѣло мною, когда я нѣсколько присмотрѣлся къ міру, окружавшему меня. Мы привыкли съ словомъ «Парижъ» сопрягать воспоминанія великихъ событій, великихъ массъ, великихъ людей, 1789 и 1793 годы,—воспоминанія колоссальной борьбы за мысль, за права, за человѣческое достоинство,—борьбы, продолжавшейся послѣ площади то на полѣ битвы, то въ парламентскомъ преніи. Имя Парижа тѣсно соединено со всѣми лучшими упованіями современнаго человѣка; я въ него вѣхалъ съ трепетомъ сердца, съ робостью, какъ нѣкогда вѣзжали въ Іерусалимъ, Римъ. И что же я нашелъ?—Парижъ, описанный въ ямбахъ Барбье ³⁾, въ романѣ Сю ⁴⁾, и только. Я былъ удивленъ, огорченъ; я былъ испуганъ, потому что за тѣмъ ничего не оставалось, какъ сѣсть въ Гаврѣ на корабль и плыть въ Нью-Йоркъ, въ Техасъ. Невидимый Парижъ тайныхъ обществъ, работниковъ, мучениковъ идеи и мучениковъ жизни, задвинутый пышными декораціями искусственнаго покоя и богатства, не

¹⁾ Просперъ, активный участникъ либеральной оппозиціи, авторъ «La réforme parlementaire et la réforme électorale».

²⁾ Судебная газета.

³⁾ Анри-Огюсть, франц. поэтъ, авторъ нашумѣвшей книги «Ямбы».

⁴⁾ Эжень, плодовитый романистъ, авторъ «Вѣчнаго жида» и романовъ съ социалистическою тенденціею.

существовалъ для иностранца. Видимый Парижъ представлялъ край нравственнаго растлѣнія, душевной усталы, пустоты, мелкости; въ обществѣ царило совершенное безучастіе, ко всему, выходящему изъ маленькаго круга пошлыхъ ежедневныхъ вопросовъ.

У французовъ средняго состоянія мы встрѣчаемъ, кромѣ исключеній, какое-то образованное невѣжество.—видъ образованія при совершенномъ отсутствіи его; этотъ видъ обманываетъ сначала, но вскорѣ начинаешь разглядывать невѣроятную узкость понятій; ихъ умъ такъ неприхотливъ и такъ скоро удовлетворяемъ, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенціи Вольтера или Шато-бриана, Ламартина или Тьера, или того и другого вмѣстѣ, чтобъ довольствоваться ими и покойно учредить нравственный бытъ свой лѣтъ на сорокъ; къ этому у него прибавляются практическія нравоученія, взятая изъ подслащенной морали à la Жанлисъ ¹⁾, кой-какія преданія, которыя онъ уважаетъ, не разсуждая, и кодексъ, котораго онъ боится.

У французовъ нѣтъ потребности итти далѣе, итти въ глубь, никакой смѣлости мысли, никакой истинной инициативы; они достигаютъ большой ловкости навыкомъ, они рутинисты по преимуществу, всѣ эти *goués* изъ *goués* ²⁾, Тьеры, Маррасты ничего *не понимаютъ* въ социальномъ вопросѣ. Они умны и ловки въ своемъ извѣстномъ кругѣ, за предѣлами его они пошлы и глупы. Посмотрите ихъ возраженія, — смѣшно читать; они знаютъ, что социализмъ—враждебная имъ партія, что ее надо уничтожить; мастерски подведутъ *guet-apens* ³⁾, но не поймутъ, въ чемъ дѣло. *Одна* господствующая страсть поглощала всѣ мысли и досуги средняго состоянія—стяжаніе, нажива, ажіотажъ; эта страсть вмѣстѣ съ національной скупостью французовъ вытравливаетъ въ ихъ сердцахъ не только любовь къ ближнему, къ истинѣ, но уваженіе къ себѣ. Изданіе журнала, выборъ депутата, голосъ въ камерѣ,—все это было торговымъ оборотомъ, едва прикрытымъ условными фразами. Сила банкировъ во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ была чрезвычайная; министерство боялось больше всѣхъ золъ распадаенія съ капиталистами.

Англичанинъ тоже расчетливъ: онъ купецъ, для него пріобрѣтеніе выгоды составляетъ цѣль оборота, онъ въ него вноситъ всю свѣтлость своего пракческаго ума, это—его дѣло, его занятіе, но, закрывая бухгалтерскую книгу, онъ дѣлается, въ свою очередь, потребителемъ, охотно бросаетъ свои гинеи, хочетъ пожить на свой

¹⁾ Стефанія, франц. приторная моралистка-писательница, бывшая популярно и въ Россіи.

²⁾ Безпринципнѣйшіе изъ безпринципныхъ.

³⁾ Засаду.

ладъ,—онъ имѣеть свои капризы, которые не подчиняетъ деньгамъ. Французъ, увлеченный въ денежныя дѣла, дѣлается лишеннымъ всѣхъ страстей и желаній: онъ ни въ какомъ случаѣ не забудетъ финансовой стороны вопроса, онъ впередъ подкупленъ опасеніемъ денежной утраты. Можетъ быть, это свидѣтельствуетъ, что французамъ не свойственна исключительно коммерческая дѣятельность,—они въ ней, словно, теряютъ тактъ и мѣру, потому что это не ихъ дѣло; можетъ, оно и пройдетъ, какъ временное зло, какъ уродливое и послѣднее проявленіе буржуазіи, можетъ,... но такимъ я засталъ среднее состояніе въ Парижѣ.

Прибавте къ страсти стяжанія страсть власти, жажду мѣсть, которою заражены всѣ политическіе люди, къ какой бы партіи они ни принадлежали. Мы видѣли въ послѣднее время, съ какою яростью редакторы «Насіоналя» и «Реформы» бросились на мѣста и какъ важно подняли они потомъ свой демократическій носъ, замаранный голландской сажей. При такомъ нравственномъ паденіи буржуазіи, при невѣжествѣ крестьянъ, при подозрительной чистотѣ оппозиціи и либеральной партіи, при страшныхъ средствахъ административной централизаціи, министры Людовика-Филиппа могли смѣло поступать, какъ хотѣли, храня наружный видъ законности. Но послѣднее опять не въ духѣ французовъ,—я это вмѣняю имъ въ достоинство. Французъ не можетъ остановиться на фарисейскомъ толкованіи буквы, какъ англичанинъ, не можетъ довольствоваться существенной выгодой побѣды, онъ хочетъ еще внѣшняго торжества, униженія противника.

Противникъ, съ своей стороны, точно также перенесъ бы поражение, но возстаетъ противъ оскорбленія. Сверхъ дерзкаго тона, министры впали въ вѣчную ошибку всѣхъ консерваторовъ,—они не умѣли оцѣнить своего врага, они не знали этой несокрушимой упорности небольшой кучки республиканцевъ, готовыхъ, выходя изъ тюрьмы, въ тотъ же день продолжать заговоръ и начинать новую попытку; эти исключительныя явленія во французской жизни приводятъ въ удивленіе своей твердостью, своимъ героическимъ постоянствомъ. Къ тому же люди правительства слишкомъ презирали работниковъ послѣ Ліона, Cloître St. Méry и Трансноненской улицы: они были увѣрены, что армія и національная гвардія задавятъ ихъ,—и ошиблись. Людовикъ-Филиппъ не даромъ толковалъ, качая головой, о Парижѣ et ses aimables faubourgs ¹⁾. Старый король видѣлъ les sections ²⁾ первой революціи,—онъ самъ стоялъ дежурнымъ при

¹⁾ Любезныя предмѣстья.

²⁾ Секціи.

входѣ въ якобинское собраніе, а Гизо началъ, собственно, знать французовъ послѣ взятія Парижа союзными войсками. Сверхъ всего, не надобно забывать, что семнадцатилѣтняя проповѣдь самаго грубаго эгоизма и самаго нечистаго поклоненія матеріальнымъ выгодамъ и спокойствію не могла образовать особенно преданныхъ и самоотверженныхъ защитниковъ іюльскому трону...

Въ октябрѣ 47 г. я уѣхалъ въ Италію, оставивъ Парижъ въ самомъ мрачномъ состояніи; надежды на 24 февраля никакой не было. Воровство, продажа пѣрства и крестовъ, подкупы министровъ, убійства въ герцогскихъ комнатахъ, крапленныя карты въ Тюльери, кража лѣсовъ королемъ, министръ юстиціи, пойманный въ публичномъ домѣ, сынъ короля, выброшенный изъ дому почтеннымъ генераломъ за неприличное поведеніе, — вотъ чѣмъ были полны журналы и разговоры. Депутаты отвѣчали на обвинительные документы, — вотируя спасибо министрамъ, уличеннымъ въ плутняхъ.

Вы помните рядъ событій, который привелъ къ 23 и 24 февраля, — я намѣренъ только слегка ихъ коснуться: время исторіи этого переворота еще не настало, мы еще мало знаемъ его закулисную сторону, а его официальную сторону мы еще помнимъ изъ газетъ и брошюръ.

Вы знаете, въ какое положеніе Гизо поставилъ Францію къ концу 1847 года. Все вліяніе на Европу было утрачено изъ-за мелкихъ династическихъ интересовъ; всѣ симпатіи народа были пожертвованы для того, чтобъ простили испанскіе браки и революціонное начало іюльскаго трона. Франція не могла держаться даже на той высотѣ, на которой была за десять лѣтъ, — она дѣлалась второстепеннымъ государствомъ. Правительства перестали ее бояться, народы начинали ненавидѣть. Узкая, эгоистическая, мѣщанская политика, ставившая миръ выше всего и невозможную теорію *de la non intervention* ¹⁾ ключемъ свода, не мѣшала Гизо запятнать Францію явнымъ вмѣшательствомъ въ дѣла Португаліи и тайнымъ — въ дѣла Швейцаріи. Въ обоихъ случаяхъ Франція играла ту самую роль, которую реставрація, столько проклиная, принимала на себя въ 1822 относительно Испаніи, — роль военной экзекуціи, полицейскаго усмиренія. Португалія была задавлена изъ учтивости къ королевѣ Викторіи Пальмерстономъ, и изъ учтивости къ Пальмерстону — Франціей. Въ Люцернѣ выставили на площади пушки французской артиллеріи, потихоньку присланныя Зондербунду.

Для довершенія благородной политики недоставало одного, — союза съ Австріей противъ Италіи. Дѣйствительно, всѣ симпатіи

¹⁾ Невмѣшательства.

кабинета были въ пользу *statu quo*. Гизо непрерывно унималъ Пія IX, — даже Карла-Альберта, мѣры котораго онъ находилъ слишкомъ либеральными. Французскій посланникъ въ Туринѣ протестовалъ противъ дозволенія *печатать* въ Генуѣ пѣсни, въ которыхъ говорятъ оскорбительно объ австрійцахъ. Союзъ съ Россіей было одно изъ пламенныхъ желаній Гизо; Бакунина выслали изъ Парижа по требованію русскаго посланника; князю Чарторижскому ¹⁾ не позволили праздновать своихъ именинъ.

При всемъ этомъ нельзя было не замѣтить характеръ мѣщанина во дворянствѣ, который принимало правительство, вышедшее изъ баррикадъ, и министръ изъ профессоровъ. Аристократическія симпатіи англійскаго министерства-тори естественны и потому просты. Поспѣшность, съ которой Гизо протягивалъ руку всему аристократическому, стараніе прикрыть революціонное происхожденіе трона 1830, отречься даже отъ 1789 года и выдать себя за страшнаго тори, за страстнаго консерватора, было очень смѣшно. Французскому министерству, какъ всѣмъ *parvenus* ²⁾, при всѣхъ стараніяхъ не удавалось стать на одну ногу съ аристократически-монархическою Европой. Россія имѣла повѣреннаго въ дѣлахъ, которому въ концѣ 1847 дала названіе посланника... Зато съ какой радостью, съ какой благодарностью Гизо протянулъ руку Меттерниху, когда тотъ ему дозволилъ это. Мишле былъ правъ, говоря, что глубже пасть невозможно.

Камера 1847 — 1848 собралась. Большинство оказалось еще плотнѣе за министерство, нежели въ прежней. Гизо вмѣсто отвѣта указывалъ оппозиціи рукою на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство. Появленіе Ламартина на трибунѣ было событіемъ; долгое время онъ держалъ себя въ сторонѣ; его «Жирондисты» ³⁾ были новымъ знакомъ жизни; вслѣдъ за тѣмъ рѣчь въ Маконѣ, — глаза многихъ обратились на него, его считали чистымъ человѣкомъ, потому что онъ ничего не дѣлалъ. Рѣчь его потрясла министерство наравнѣ съ другою рѣчью, хотя втораго оратора, совсѣмъ наоборотъ, никто не уважалъ. Тьеръ произнесъ нѣчто въ родѣ смертнаго приговора политикѣ Гизо. Дерзкій Гизо сломился подъ тяжестью этихъ рѣчей. Забывая свою матеріальную силу большинства, лично уязвленный, онъ сдѣлалъ опытъ побѣдить своимъ талантомъ; ему это удавалось, но отвѣтъ его былъ неловокъ, блѣденъ. Униженный, какъ дипломатъ и поли-

1) Адамъ, извѣстный польскій патріотъ.

2) Выскочки.

3) «Исторія жирондистовъ», 1847 г.

тикъ, оскорбленный, какъ ораторъ, гибнущій отъ ударовъ сладкоглаголиваго стихотворца ¹⁾ и политическаго афериста ²⁾, онъ спасся бы еще какой-нибудь парламентской штукой, но ему пришлось выпить до конца униженіе и горечь: онъ долженъ былъ еще потерять въ это засѣданіе послѣдній вѣнокъ, который такъ шелъ къ его квакерскому челу, — вѣнокъ безкорыстія. Многіе, не любя Гизо, считали его человѣкомъ правдивымъ, но увлекшимся доктринаризмомъ, системой, — маленькимъ Страффордомъ ³⁾ и не смѣшивали его съ людьми въ родѣ Дюшателя и Эбера. И что же? Ограниченнѣйшій изъ смертныхъ, Одилонъ Барро, сорвалъ съ него этотъ вѣнокъ, доказавши, что Гизо семь лѣтъ не только терпѣлъ продажу мѣсты, но бралъ отеческое участіе въ распоряженіяхъ, условіяхъ...

Законъ, уничтожающій право собираться на общественные банкеты, былъ вотированъ. Торжество большинства, впрочемъ, было не весело; трусливое и купленное стадо депутатовъ начинало подозрѣвать, что это даромъ не пройдетъ; оно готово было оставить министерство на томъ условіи, чтобъ оппозиція оставила банкеты. Такое примиреніе было невозможно, — скорѣе *coup d'état*. «Если-бъ и у насъ, — сказалъ — и кто же? Кобденъ ⁴⁾ послѣ 24 февраля въ парламентѣ, — нашлось министерство настолько глупое или преступное, что осмѣлилось предложить законъ противъ мирнаго собранія гражданъ, и мы бы взяли за оружіе».

Ропотъ сдѣлался всеобщъ. Министерство соглашалось, было, дозволить банкетъ, но уже Одилонъ Барро думалъ объ отступленіи. Тьеръ рѣшался не итти на него... Видя эту слабость, полиція заперла залу, въ которой приготавлился банкетъ; Делессеръ объявлялъ городу нелѣпымъ циркуляромъ о причинахъ; министерство сзывало войска и готовилось. Мѣра эта, дѣйствительно, возмутила Парижъ, волненіе распространилось по всему городу. Правительство, не совсѣмъ увѣренное въ національной гвардіи, не било сбора; одни муниципалы свирѣпствовали, какъ всегда, на улицахъ; войска собиравшіяся были печальны.

Національная гвардія, созданная, наконецъ, собиралась съ крикомъ: «да здравствуетъ реформа! долой министерство!». Король рѣшился уступить. Переменна министровъ успокоила, было, народъ, но люди, видѣвшіе далѣе, не хотѣли потерять такой случай, они

¹⁾ Ламартинъ.

²⁾ Тьеръ.

³⁾ Томасъ Вэнтвортъ, графъ, англійскій политическій дѣятель приверженецъ Карла I, казненъ въ 1641 г.

⁴⁾ Ричардъ, англ. политическій дѣятель, знаменитый сторонникъ свободы торговли.

поняли, что не скоро опять взволнуешь весь Парижъ и что не скоро найдешь такой поводъ къ возстанію, въ которомъ національная гвардія стояла бы заодно съ народомъ. Они устроили знаменитую прогулку по бульварамъ, которая кончилась залпомъ у Hôtel des Capucines и баррикадами во всемъ Парижѣ 24 февраля.

Утромъ 24 февраля немудрено было понять, что правительство не устоитъ; напрасно Тьеръ уступилъ мѣсто Одилону Барро, напрасно Одилонъ Барро, въ синихъ очкахъ, верхомъ ѣздилъ на баррикады и самъ поздравлялъ народъ съ назначеніемъ такого славнаго министерства. Реформы было недостаточно, и на баррикадахъ тамъ-сямъ поговаривали о республикѣ.

Король отказывался отъ престола въ пользу внука. Бюжо просилъ дозволенія бомбардировать Парижъ и, не получивъ его, выругался и вышелъ вонъ отъ короля, надѣвъ въ дверяхъ шляпу. Эмиль Жирарденъ шумѣлъ въ кабинетѣ Людовика-Филиппа; народъ приближался къ Тюльери; событія неслись съ страшной быстротою.

Бюро «Реформы» и «Насіоналя» кипѣли охотниками царствовать. По мѣрѣ того, какъ народъ побѣждалъ, они росли въ предпріимчивости. У нихъ тѣмъ больше было досуга обдумать и приготовить планъ, какъ завладѣть движеніемъ, чѣмъ меньше они участвовали въ томъ, что происходило на площади. Они, отойдя въ сторону, предложили себѣ вопросъ, на который не только никто не отвѣчалъ, но который еще не былъ поставленъ: «Что же теперь?». «Реформа» хотѣла провозгласить республику, «Насіональ» довольствовался регентствомъ; онъ во имя регентства отправилъ уже Гарнье-Пажеса ¹⁾ въ ратушу, но обойденный обстоятельствами Маррастъ тотчасъ согласился на республику и составилъ свой листъ временнаго правительства. Листъ этотъ онъ отправилъ въ «Реформу» для взаимнаго соглашенія; «Реформа» возстала противъ имени Одилона Барро, который не отличился храбростію въ дѣлѣ банкета XII округа; его вычеркнули и потомъ согласились въ главныхъ лицахъ. «Реформа» ввела трехъ своихъ: Ледрю-Роллена, Флокона и Луи Блана.

Король, которому отказалъ отъ мѣста Эмиль Жирарденъ, какъ будто бы онъ былъ фельетонистомъ въ «Прессѣ», уже садился въ карету, и первыя колонны народа подступали къ Карузельской рѣшеткѣ; а двѣ спасающія отечество редакціи продолжали еще толковать *объ именахъ*, не согласившись рѣшительно ни въ чемъ, кромѣ въ объявленіи республики. Онѣ были такъ заняты лицами, что даже не подумали объ афишахъ: работниковъ не было; Пру-

¹⁾ Луи-Антуанъ, мэръ Парижа, потомъ министръ финансовъ.

донъ, не принадлежавшій ни къ какому приходу и пришедшій узнать, что дѣлается въ «Реформѣ», набралъ афишку, отпечаталъ ее и отдалъ Торэ, который бросился на баррикады отыскивать Альбера, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ раздавать афиши.

Между тѣмъ побѣда народа становилась полною. Вслѣдъ за королемъ исчезло все правительство. Людовикъ-Филиппъ такъ мало понялъ, такъ плохо зналъ народъ, которымъ правилъ 17 лѣтъ, что счелъ нужнымъ для такого позора обречь свои сѣдые бакенбарды и надѣть пальто англійскаго шкипера, чтобъ скрыться отъ погони, которой за нимъ не было! Misère! Онъ удалился одинокій, безъ преданныхъ людей. Правда, и министры бѣжали, но не для того, чтобъ раздѣлить судьбу короля, а боясь галеръ.

Камера сидѣла, повѣся носъ; она боялась очень справедливо народной мести. Но народъ, побѣдившій почти безъ боя, не успѣлъ разсердиться и, покричавши немного «à la mort Guizot» ¹⁾, вовсе забылъ о мелкихъ плутахъ, помогавшихъ ему. Столько ли это было благоразумно, какъ великодушно, не знаю, но скорѣе думаю противное. Прибѣжалъ Тьеръ, растерянный, безъ шляпы, сказалъ: «la marée monte—monte—monte» ²⁾ и замолчалъ.—«Вы министръ?»—спросили его. Онъ покачалъ головою и ушелъ. Министерскія лавки были пусты; предсѣдатель совѣта, Одилонъ Барро, забавлялся въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, самъ извѣщая Францію телеграфомъ о своемъ назначеніи.

Послѣ отъѣзда короля явилась герцогиня Орлеанская съ Немурскимъ и съ графомъ парижскимъ ³⁾; на дворѣ камеры была припрятана маленькая лошадка разукрашенная, на ней долженъ былъ маленькій король проѣхаться по большому городу. Камера готова была провозгласить регентство; Дюпенъ ⁴⁾ уже со слезами на глазахъ просилъ записать въ журналъ, что герцогиню встрѣтилъ народъ на мосту съ восторгомъ,—какъ, по несчастію, онъ самъ, т. е. народъ, ворвался при этихъ словахъ въ камеру и далъ ему полнѣйшее démenti ⁵⁾.

Мари ⁶⁾ предложилъ учредить временное правленіе, основываясь на *необходимости взять сильныя мѣры для того, чтобъ остановить растущее зло и обуздать безначаліе*. Эту рѣчь, дикто-

¹⁾ Смерть Гизо!

²⁾ «Приливъ поднимается, поднимается, поднимается».

³⁾ Внуку Луи-Филиппа, котораго король предназначалъ своимъ наслѣдникомъ.

⁴⁾ Андрэ, членъ комиссіи по составленію конституціи.

⁵⁾ Опроверженіе въ рѣзкой формѣ.

⁶⁾ Пьеръ-Тома, радикаль, потомъ членъ временнаго правительства.

ванную страхомъ и желаніемъ занять мѣсто въ правительствѣ, вмѣнили Мари въ достоинство; кровь еще текла по улицамъ, а благо-разумные люди принимали ужъ мѣры противъ побѣдителей и составляли правительство не для нихъ, не изъ нихъ, но противъ нихъ. Въ томъ же смыслѣ предлагалъ временное правительство и Ламартинъ. Одилонъ Барро отстаивалъ регентство. Ларошжакленъ ¹⁾ иронически замѣтилъ, что разсуждать о регентствѣ—вовсе не дѣло камеры, что вообще депутаты «теперь ничего не значатъ, совершенно ничего». Эта выходка взбѣсила центры, — они думали, что тронъ можетъ упасть, а они таки останутся на своихъ мѣстахъ. Созэ ²⁾ сдѣлалъ замѣчаніе оратору, — это былъ его послѣдній *appel à l'ordre!* ³⁾ Онъ вскорѣ вовсе пропалъ, прочитавши, впрочемъ, народу параграфъ устава, которымъ запрещается говорить постороннимъ въ камерѣ. Новыя толпы взошли середь елейной рѣчи Ламартина; эти были съ баррикадъ, вооруженныя и готовыя на все. Кто-то прицѣлился изъ ружья въ Созэ; Созэ спрятался за трибуну и съ тѣхъ поръ исчезъ изъ парламентской исторіи.

Послѣ энергической рѣчи Ледрю-Роллена, при шумѣ и крикѣ прибывающей толпы, привели старика Дюпонъ де-л'Ера и заставили его провозглашать имена временнаго правительства. Народъ подтверждалъ крикомъ, *par acclamation* ⁴⁾.

Почему именно этимъ людямъ въ руки попалась судьба народа, освободившагося за минуту до того? Знали ли они что-нибудь о желаніяхъ, о нуждахъ этого народа, подвергались ли они за него смерти, они ли побѣдили? или, можетъ, у нихъ была мысль новая, плодovitая? поняли ли они лучше другихъ современное зло, придумали ли они средства ему помочь?..

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Они заняли мѣсто потому, что нашлись люди довольно смѣлые, чтобъ выбирать не на баррикадахъ, а въ бюро журнала, чтобъ провозглашать ихъ имена не на мѣстѣ битвы, а въ побитой камерѣ. Народу не дали опомниться, временное правительство явилось передъ нимъ совсѣмъ не кандидатами, а готовымъ правительствомъ. Ламартинъ и люди «Насіоналя» во главѣ движенія были великимъ несчастіемъ для Франціи. И что могло выйти изъ двуглаваго правительства, руководимаго Ламартиномъ и Ледрю-Ролленомъ? Ледрю-Ролленъ хотѣлъ во что-бъ ни стало утвердить республику, Ламартинъ—обуздать революцію. Ледрю-Ролленъ шелъ въ правительство для того, чтобъ двигать впередъ, Ла-

¹⁾ Анри-Огюстъ, маркизь, роялистъ.

²⁾ Предсѣдатель палаты депутатовъ передъ революціей 1848 г.

³⁾ Призывъ къ порядку.

⁴⁾ Голосованіе безъ баллотировки.

мартинъ—для того, чтобъ подставлять ногу, чтобъ тормазить движеніе; Ледрю-Ролленъ хотѣлъ нести революцію въ Бельгію и Германію, Ламартинъ въ мартѣ мѣсяцѣ писалъ въ Швейцарію, чтобъ не очень настаивать на признаніи республики: «мы, де, не знаемъ, прочна ли она?»

Ламартинъ и люди «Насіоналя» были испуганы успѣхомъ. Они привыкли къ мелкой парламентской оппозиціи, къ безопасно-революціоннымъ тостамъ на банкетахъ, къ удали журнальныхъ статейъ и къ безкровному задору краснорѣчивыхъ отвѣтовъ съ бокаломъ въ рукѣ,—а вдругъ побѣдили королевство, сѣли на тронъ. Они никогда не уважали себя настолько, чтобъ считать себя достойными побѣды. Первая мысль, пришедшая имъ въ голову, была противъ революціи. Они хотѣли *обуздать* народъ, они хотѣли скорѣе порядка, скорѣе выйти изъ революціоннаго состоянія... — Зачѣмъ они торопились? Затѣмъ, что чувствовали слабость своихъ плечъ, затѣмъ, что въ нихъ было чисто буржуазное, оскорбительное недовѣріе къ народу. А между тѣмъ народъ велъ себя эти дни удивительно. Я не стану повторять пошлыя похвалы за то, что не крали въ Тюльери, ни хвалить глупцовъ, которые разстрѣляли какихъ-то бѣдняковъ за то, что они взяли что-то изъ королевскихъ вещей,—эти регуловскія черты буржуазной добродѣтели меня не трогаютъ; но нельзя не упомянуть о порядкѣ во всемъ городѣ, о безопасности для людей, извѣстныхъ народу банкировъ, какъ Тьеръ, какъ всѣ банкиры, какъ всѣ судьи, полицейскіе... вмѣсто спасибо этому народу, люди, втѣснившіе себя въ правительство, расточая ему лесть, убаюкивая его, какъ льва, втайнѣ ковали ему оковы, замѣняя на нихъ королевскій штемпель словомъ «республика» съ ея громовымъ девизомъ.

Дѣйствительно, участники движенія были въ ратушѣ. Они, не успѣвъ перевести духа послѣ битвы, собирались въ этомъ Эскуріалѣ революцій съ той же цѣлью—избрать правительство, какъ вдругъ разнесся слухъ, что правительство выбрано въ камерѣ и идетъ къ нимъ, сопровождаемое толпами народа. Никто не спросилъ,—кѣмъ выбрано, когда, по какому праву?.. Всѣ торопились узнать имена новыхъ господъ. Изъ этого ясно, что демократическая партія была не зрѣла, что у ней не было ничего готоваго, что народъ вообще до такой степени привыкъ быть управляемъ другими, что сейчасъ удовольствовался правителями, взятыми въ рядахъ парламентской и журнальной оппозиціи, не сообразивъ, что край буржуазнаго радикализма противъ Гизо становился ретрограднымъ въ отношеніи къ социализму и пролетаріату.

Когда новое правительство явилось въ Hôtel de Ville, оно до-

гадалось пустить Ледрю-Роллена впередъ. Ему кричали со всѣхъ сторонъ: «знаетъ ли онъ, что его избраніе ничего не значитъ, и хочетъ ли онъ провозгласить республику?» Ледрю-Ролленъ отвѣчалъ, что онъ не признаетъ никакого избранія, кромѣ избранія народомъ, что вся цѣль его желаній—провозглашеніе республики. Народъ тотчасъ призналъ его за члена временнаго правительства. Ламартину предложили тѣ же вопросы; онъ смѣшался, отвѣчалъ, что вся нація должна рѣшить, какую форму правительства она принимаетъ. Ему кричали изъ толпы: «Какое воззваніе къ народу? развѣ мы для того подвергали грудь нашу пулямъ? Если возвратится король, мы воротимся на баррикады». Эти отвѣты удвоили крики негодованія, многіе кричали «долой его!». Ламартинъ нехотя провозгласилъ республику, и народъ, точно пораженный слѣпотой, призналъ его членомъ. Многіе роптали; чтобъ ихъ успокоить, представили имъ Луи Блана, котораго работники уважали и любили. Другіе члены правительства проскользнули какъ-то незамѣтно. И вотъ какъ совершился великій актъ водворенія новаго правительства!

Давно было замѣчено, что люди чрезвычайно обстоятельны, благоразумны во всѣхъ мелкихъ дѣлахъ, но какъ только дойдетъ до чего-нибудь важнаго, рѣшительнаго, они поступаютъ, очертя голову. То же можно сказать о цѣлыхъ народахъ.

Прежде появленія временнаго правительства въ ратушу мѣсто мэра занялъ Гарнье-Пажесь. Онъ, не зная еще, будетъ ли регентство или республика, раздавалъ мѣста по назначенію Марраста. Разсчетъ былъ вѣренъ: не дать мѣсто тому или другому не трудно, но взять назадъ однажды данное вовсе не легко. «Реформа», чтобъ не отставать отъ «Насіоналя», отправила Этьенна Араго ¹⁾ завоевать почту, а Коссидьера—префектуру полиціи; они оба дрались на баррикадахъ. Коссидьеръ пришелъ пѣшкомъ съ своимъ ружьемъ на плечѣ въ префектуру, вошелъ въ кабинетъ, изъ котораго только-что вышелъ Делессеръ, поставилъ ружье въ уголъ и объявилъ, что онъ назначается именемъ французскаго народа префектомъ полиціи. Секретарь ему поклонился, — и дѣла пошли своимъ чередомъ.

Передовые люди баррикадъ, члены общества *des droits de l'homme* ²⁾ были недовольны; баррикады еще стояли 25 февраля и къ нимъ подвезли пушки; на баррикадахъ, на общественныхъ зданіяхъ развѣвалось красное знамя. Мрачныя толпы народа были съ

¹⁾ Жакъ-Этьеннъ, братъ знаменитаго физика, путешественникъ, писатель, журналистъ, республиканецъ; въ 1848 министръ почты.

²⁾ Правъ челоуѣка.

раннего утра на площади Hôtel de Ville; онъ какъ будто спохватились, что вчера упустили изъ рукъ побѣду. Но за ночь временное правительство окрѣпло, и Ламартинъ, какъ вы знаете, подвергая свою жизнь опасности, отстоялъ трехцвѣтное знамя. Знамя народа, знамя, водруженное подъ пулями, знамя демократіи, республики грядущей, было отринуто; знамя прошедшей республики, прошедшей въ имперію, знамя Наполеона, обидное для всей Европы, обогренное кровью всѣхъ народовъ, знамя, семнадцать лѣтъ осѣнявшее Людовика-Филиппа, знамя, изъ-подъ котораго стрѣляли муниципалы въ народъ, знамя буржуазіи было принято хоругвией новой республики. Новая республика объявляла себя *мъщанскою*, она не разрывалась съ прошедшимъ и, слѣдственно, необходимо должна была встрѣтиться съ республикой ожидаемой, и встрѣтиться злѣе, нежели монархія, потому что между монархіей и социализмомъ именно стояла еще политическая, формальная республика. Какъ только буржуазія узнала о трехцвѣтномъ знамени, лавки открылись, у нея отлегло на сердцѣ. За эту уступку и она, съ своей стороны, дѣлала не меньшую,—она соглашалась признать республику.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

Парижъ, 1 сентября 1848 г.

Больше двухъ мѣсяцевъ прошло послѣ моего послѣдняго письма. Трудно продолжать начатое,—рѣки крови протекли между тѣмъ письмомъ и этимъ. Вещи, которыя я никогда не считалъ возможнымъ въ Европѣ, даже въ минуты ожесточенной досады и самаго чернаго пессимизма, сдѣлались обыкновенны, ежедневны, не удивительны. Глубоко огорченный, я остался досматривать преступленіе *осаднаю положенія*, ссылокъ безъ суда, тюремныхъ заключеній внѣ всякихъ правъ, военно-судныхъ комиссій... Вѣроятно, чѣмъ-нибудь да окончится это тяжелое состояніе, кто-нибудь явится воспользоваться учрежденнымъ порядкомъ: Генрихъ V, Людовикъ-Наполеонъ, или этотъ несчастный солдатъ, который добродушно пошелъ изъ воиновъ въ палачи и добросовѣстно казнить улицы, жителей, мысли, слова ¹⁾).

Усталый народъ приметъ всякаго съ рукоплесканіемъ: ему хочется сколько-нибудь покоя; онъ все на жертву принесъ въ іюньскіе дни и все утратилъ; онъ хочетъ залѣчить раны, оплакать

¹⁾ Кавеньякъ.

жертвы и заработать кусокъ хлѣба. Бѣдный героическій народъ, въ какія предательскія руки ни попались бы судьбы его,—изъ моей груди онъ не услышитъ упрека.

Если-бъ вы видѣли, какой онъ сталъ грустный, печальный послѣ юньскихъ дней. По улицамъ ходитъ страшно: тамъ, гдѣ кипѣла жизнь, гдѣ громкая марсельеза раздавалась среди другихъ пѣсенъ съ утра до ночи, тамъ теперь тишина, — разносчикъ газетъ не смѣетъ кричать, блѣдный блузникъ сидитъ передъ дверью пригорюнившись, женщина въ слезахъ возлѣ него, они разговариваютъ въ полслуха, осматриваясь. Къ ночи все исчезаетъ, улица пуста, и мрачный патруль подозрительно обходитъ свой кварталъ съ заряженными ружьями; блуза почти исчезла на бульварахъ, національная гвардія пыталась ее не пускать въ Тюльерійскій садъ—такъ, какъ это было при Людовикѣ-Филиппѣ. Народъ терпитъ,—онъ побѣжденъ и знаетъ своего побѣдителя; онъ знаетъ, что мѣщанинъ ни передъ чѣмъ не остановится, что казаки и кроаты въ сравненіи съ буржуазіей—агнцы кротости, когда она побѣдоносна, когда она защищаетъ права капитала, неприкосновенность собственности. Народъ терпитъ, но въ душѣ его собирается мрачная злоба, тоска; невыносимость положенія до того велика, что толпы работниковъ просятъ въ Алжиръ, а вы знаете, что нѣтъ народа, который бы имѣлъ больше нелюбви къ переселенію, какъ французы.

Никогда терроръ 93 года не доходилъ до того, до чего дошелъ терроръ теперь. Не говоря уже о томъ, что характеръ, обстановка, причины,—все разное, я держусь за матеріальный фактъ насилія и мѣру его. Много головъ пало на гильотинѣ, много невинныхъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія,—мы знаемъ ихъ поименно. А кого разстрѣливали у фортвъ, на Карузельской площади, на Марсовомъ полѣ, въ подвалахъ Тюльерійскаго дворца? — Мы знаемъ Фукье-Тениля, Сержана и другихъ членовъ революціоннаго суда. А этихъ кто судилъ, кто призналъ виноватыми, и въ чемъ состояла необходимость этихъ кровавыхъ злодѣйствъ? Зачѣмъ эта тайна? Зачѣмъ украли у народа право знать своихъ мучениковъ? Развѣ комитетъ общественнаго спасенія скрывалъ свои мѣры? Самая рѣзня въ сентябрьскіе дни дѣлалась бѣлымъ днемъ, и списки разсматривались довольно внимательно, какъ свидѣтельствуешь оставшійся въ живыхъ писарь Бисетрской тюрьмы. Ну, а въ этихъ ночныхъ и глухихъ казняхъ кто разсматривалъ списки, да и кто составлялъ ихъ? Кто осмѣлился взять на себя такую кровавую отвѣтственность? Алжирскіе генералы были палачами, исполнителями собранія, дѣйствовавшаго подъ вліяніемъ Сенара и Марраста, а Сенаръ и Маррастъ выражали волю буржуазіи,—вотъ виноватый. Нѣтъ, почтен-

ные мѣщане, полно говорить о *красной* республикѣ и о кровожадности; когда она лила кровь, она вѣрила въ невозможность иначе поступать, она обрекала себя на эту трагическую долю, а вы только мстили,—мстили подло, безопасно, втихомолку! Шесть тысячъ семействъ должны ждать депортаціи и окончанія военныхъ судовъ, чтобы узнать, разстрѣляны или нѣтъ ихъ братъ, сынъ, отецъ...

Терроръ 93 года былъ величествененъ въ своей мрачной безпощадности: вся Европа ломилась во Францію наказать революцію, отечество, дѣйствительно, было въ опасности. Конвентъ завѣсилъ на время статую свободы и поставилъ гильотину стражей «правъ человѣческихъ». Европа съ ужасомъ смотрѣла на этотъ вулканъ и отступала передъ его дикой, всемогущей энергіей; терроръ хотѣлъ спасти Францію, — и вмѣсто этого побѣдилъ Европу. Когда миновало его время, тѣ, которые обрекли себя на страшную долю судей, положили, въ свою очередь, голову на плаху: ихъ надобно было казнить, это своего рода *lex talionis* ¹⁾, головы ихъ пали, и оставленный топоръ заржавѣлъ.

Теперь всякую недѣлю префектъ полиціи объявляетъ, что Франція цвѣтетъ, что торговля снова идетъ впередъ, что довѣренность возвратилась... Кого же спасаютъ эти лавочники съ этими алжирцами? Со стороны Европы бояться нечего: послѣ июньскихъ дней цари наперерывъ торопятся признать новое правительство; они спасаютъ порядокъ вещей, потрясенный, но далеко не разрушенный 24 февраля, и они мстятъ за испытанный страхъ, за дерзкое притязаніе черни быть людьми послѣ того, какъ ихъ философы и либералы только объ этомъ и писали цѣлый вѣкъ.

Какой страшный урокъ,—это трехмѣсячное осадное положеніе! Вотъ вамъ Франція, такъ любящая свободу, страна пропаганды, революціи;... она всего лишена, жизнь остановлена въ самомъ сердцѣ; у Парижа завязанъ ротъ, связаны руки; онъ лишенъ права собираться въ клубахъ, — коварный законъ, позволяя, убилъ его; онъ лишенъ свободы книгопечатанія; его дѣти отправляются сотнями на понтоны,—и все это для спасенія общества, *pour le salut public* ²⁾... Если-бъ это было такъ, то пропадай государство, которое надобно спасать такими средствами, пусть оно гибнетъ,—туда ему и дорога. Народъ не погибнетъ съ государствомъ,—хуже ему не можетъ сдѣлаться; погибнуть нелѣпыя учрежденія, погибнуть тѣ, которые изъ республиканскихъ формъ умѣли сдѣлать казарменный деспотизмъ и покорились ему, лишь бы погубить работника,—чего же ихъ жалѣть!

¹⁾ Законъ возмездія.

²⁾ Для общественнаго спасенія.

Чѣмъ и какъ разрѣшится все это, мудрено предвидѣть: насиліе, самоуправство приходитъ мало-по-малу въ порядокъ, къ нимъ привыкаютъ; кто можетъ отвѣчать за то, что Франція не двинется не только за 1830, но и за 1789 годъ?

Народъ долго не поднимется послѣ такого возстанія и такого пораженія; ему надобенъ отдыхъ, онъ лишился всѣхъ друзей своихъ, всѣхъ вожатыхъ; при малѣйшемъ движеніи возобновятся ужасы іюньскихъ дней удесятенные; кто знаетъ предѣлъ злодѣйства, до котораго могутъ дойти защитники порядка? До сихъ поръ они ни передъ чѣмъ не останавливались. Лишь бы достало терпѣнія великому парижскому народу,—пусть онъ сойдетъ теперь со сцены, облитой его кровью, пусть не смотритъ на событія, не слушаетъ оскорбленій и въ тиши собираетъ свои силы. Не знаю, придется ли ему водрузить хоругвь социализма на парижской биржѣ, но знаю, что онъ отмститъ за іюньскіе дни, за апрѣльскую измѣну, за обманъ въ ратушѣ, за ложное воззваніе Кавеньяка. Войну, начатую іюньскими днями, остановить невозможно. Вся Европа вовлечена въ нее. Трудно переродиться старому Адаму,—социализмъ слишкомъ широкъ для изношенныхъ людей и слишкомъ несовмѣстенъ съ обветшалыми формами, въ которыхъ держится старая жизнь западной Европы.

Жалкіе, дрянные люди! Передо мною теперь лежитъ страшная книга — «Донесеніе» слѣдственной комиссіи о 15 мая и объ іюньскихъ дняхъ. Въ этомъ болотѣ грязи, ябеды и доносовъ потонули децемвиры республики 48 года. Посмотрите на этихъ гордыхъ республиканцевъ, такъ смѣло вышедшихъ изъ рядовъ гражданъ, чтобъ сдѣлаться правителями; посмотрите, какъ они теперь жалко торопятся дѣлать доносы въ свою очистку, какъ они боятся того, чѣмъ хвастались нѣсколько мѣсяцевъ... Частные разговоры, дружескія изліянія, — все предано, даже *жесты* не забыты. Иронія, иронія! Ретроградное собраніе хотѣло отмстить республиканцамъ и съ злою насмѣшкой назначило предсѣдателемъ слѣдственной комиссіи Одилона Барро, и этотъ тупорожденный либераль времени реставраціи, обойденный, выброшенный революціей 24 февраля, важно развалясь на президентскихъ креслахъ, позвалъ къ отвѣту Ламартина и его товарищей. И Ламартинъ, какъ ученикъ, пойманный гувернеромъ и желающій оправдаться, боясь, что поставятъ на горохъ, началъ битой фразой изъ хрестоматіи и кончилъ доносомъ, что у нихъ во временномъ правительствѣ не было ладу... И никто изъ этихъ господъ не смѣлъ сказать, что они отводятъ такого слѣдователя, открытаго врага республики, министра Людовика-Филиппа, и никто не пожалѣлъ революціи 24 февраля. вмѣсто того, чтобы ужаснуться

посягательству судить ее, они ее притащили передъ инквизиціей Одилона Барро, они позволили рту Бошара прочесть ей обвинительный вердиктъ,—это ужасно!

И такіе люди стояли во главѣ республики, и если въ числѣ ихъ нашлись два человѣка, которые не хотѣли наушничать, губить доносами обвиняемыхъ,—зато ни *одинъ* не нашелъ твердости сказать *всю истину*; ни въ комъ не нашлось настолько мужественнаго состраданія, чтобъ сказать слово въ пользу восьми тысячъ жертвъ и половину ихъ вины отбросить на собраніе и на самихъ себя. Куда! точно въ дѣлѣ Роганова ожерелья: всѣ знали, кто обвиняемая, но никто не смѣлъ ее назвать ¹⁾, такъ и тутъ, никто не смѣлъ заикнуться о причинахъ 15 мая и 23 іюня; даже тѣ, которые желали разогнать собраніе, желали побѣды возстанію, не удержались, чтобъ не бросить жесткаго слова въ казематы этимъ несчастнымъ жертвамъ вѣры во Францію. Чувства собственнаго достоинства, уваженія къ себѣ настолько, чтобъ не отвѣчать на дерзкіе вопросы, не нашлось у этихъ людей. Они оправдываются повиновеніемъ закону. Кто же облекъ собраніе такимъ самодержавіемъ, кто далъ ему право безъ суда осуждать, назначать инквизиціи и дѣлать слѣдствіе надъ цѣлыми переворотами, надъ исторіей? Какое тутъ повиновеніе закону? Это — рабство, это — малодушіе; испуганные своими связями съ побѣжденными, *горцы* допустили роялистовъ взять страшныя мѣры, молчали, не протестовали. Пусть идутъ теперь оправдываться передъ Одилономъ Барро, кланяться ему, предавать своихъ друзей... Можетъ, онъ и собраніе помилуютъ ихъ...

...Республика была провозглашена робко, нехотя, со стороны временнаго правительства: оно уступило народу, вооруженному и готовому на бой. Самый актъ провозглашенія былъ страненъ и носилъ въ себѣ что-то, напоминающее ту дипломатію, которая должна была исчезнуть въ республикѣ и которая, напротивъ, развилась въ ней. «Временное правительство,—сказано въ первой прокламаціи,—*желаетъ* республику, если народъ французскій ее утвердить». Какая осторожность и неувѣренность! Говоритъ ли кто-нибудь этимъ языкомъ черезъ часъ послѣ битвы, послѣ побѣды? На другой день временное правительство объявило, что оно «республиканское»; вслѣдъ за тѣмъ явилась третья прокламація, въ которой сказано: «Королевская власть уничтожена, республика провозглашена!». О народномъ согласіи на этотъ разъ ни слова.

Революція 24 февраля сдѣлалась слишкомъ нечаянно, это былъ

¹⁾ Скандальный процессъ объ ожерельи королевы Маріи-Антуанетты (см. энциклопед. словарь Ефрона, «Ожерелье королевы»).

сoup d'état¹⁾, 18 брюмера со стороны республиканцевъ. Во Франціи такія перемѣны бывали часто и удавались, но не надобно забывать, что 18 брюмера гораздо легче дѣлать въ пользу власти, нежели въ пользу свободы. Власти надобно только признаніе, формы, орудія,—свобода ничего не значить, пока не проникла въ убѣжденіе, пока не сдѣлалась вѣрой, мыслью, мнѣніемъ. Республика была сюрпризомъ для всѣхъ: для тѣхъ, которые пламенно желали ея, для тѣхъ, которые еще пламенно ее отталкивали. «N'est-ce pas un rêve?»²⁾ спросилъ тронутый Кремье³⁾, послѣ рѣчи, сказанной имъ адвокатамъ въ первые дни республики. Да, гражданинъ министръ, это былъ сонъ,—въ томъ-то вся и бѣда; теперь мы не спимъ, и уже вы не спросите, сонъ ли это или нѣтъ,—мы сладко спали, но проснулись, какъ послѣ опиума: грудь разбита, голова болитъ, глубокое отвращеніе къ жизни и къ людямъ наполняетъ душу. Мнѣ все кажется, что король уѣхалъ на время, правленіе безъ него ослабилось; но вотъ передъ его возвращеніемъ слуги говорятъ громче и начинаютъ процессъ февральскому возмущенію точно такъ, какъ начинали всѣ остальные политическіе процессы въ камерѣ пэровъ. Загулявшая дворня перепугалась,—она защищается тѣмъ, что она все ждала его, и, въ самомъ дѣлѣ, она благоговѣйно оставила запертыми его дворцы, его сады, его отдѣльные парки—для кого? Такъ, по тому чувству, по которому слуга, отпущенный на волю, все-таки, считаетъ бывшего барина своимъ господиномъ.

Всѣ люди, всплывшіе послѣ 24 февраля, были попорчены египетскимъ плѣненіемъ фараона орлеанскаго; они образовались въ политику оппозиціи, въ парламентскія козни, expédients⁴⁾ и не могли быть ни просты, ни откровенны. Отчасти лица не виноваты: они родились подъ тяжелымъ фатумомъ, они образовались изъ негодной среды, они воспитались на гнилой почвѣ. Люди, кромѣ исключительныхъ явленій, служатъ невольными и по большей части искаженными проводниками тѣхъ началъ, которыя уже даны; тѣмъ не менѣе, мнѣ бы не хотѣлось ихъ освободить отъ всякой отвѣтственности. Освобождать людей отъ отвѣтственности значить ихъ не уважать, не принимать ихъ за серьезное. Покрыть всѣ дѣйствія человѣческія широкой амнистіей исторической необходимости очень легко, но съ тѣмъ вмѣстѣ это значить утратить достоинство личности и лишить исторію всего драматическаго интереса.

1) Государственный переворотъ.

2) Не сонъ ли это?

3) Исаакъ-Адольфъ, франц. еврей, адвокатъ, министръ юстиціи въ 1848 г., впослѣдствіи (1870) членъ государственной обороны во Франціи.

4) Уловки.

Мнѣ жаль людей временнаго правленія,—я такъ привыкъ слышать ихъ имена въ свѣтлое время, которое теперь кажется мечтой, невозможностью по сравненію съ безобразнымъ настоящимъ, съ этой незаконной диктатурой, начавшейся по горло въ крови и продолжающейся по горло въ позорѣ. Но именно эта кровь, этотъ позоръ и вызываютъ беспощадное осужденіе; мы не можемъ отказаться отъ обнаружившихся послѣдствій, намъ нельзя отречься отъ настоящаго, сквозь которое это недавно прошедшее представляется инымъ. Временное правительство, разсматриваемое сквозь штыки осаднаго положенія, не находитъ отпущенія въ душѣ нашей.

Франція не была готова для республики... Но временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Парижъ, могло, дѣйствительно, стать во главу движенія и вести народъ, воспитывая его учрежденіями, а не подвергая кровавымъ потрясеніямъ, которыми онъ вырабатывается теперь. Для этого надобно было имѣть вѣру и энергію комитета общественнаго спасенія, и замѣтите—только вѣру его и его преданность; обстоятельства были таковы, что временному правительству вовсе не нужно было обречь себя на строгую карающую роль, которая окружила кровавымъ облакомъ диктатуру 93 года. Я увѣренъ въ нѣкоторомъ желаніи добра почти всѣхъ членовъ, особенно въ первые дни, въ которые надобно было быть уродомъ или извергомъ, чтобъ не раздѣлить общаго увлеченія; кромѣ Ледрю-Роллена, Луи Бланъ и Альберъ были не только республиканцы, но и социалисты. Да и у нихъ недоставало нерва революціоннаго, который былъ у роялиста Мирабо и у монтаньяра Дантона; въ нихъ не было того безпокойнаго духа, подрывающаго старое, ломающаго безъ оглядки, дерзкаго въ отношеніи къ прошедшему, сердящагося и находящаго удовольствіе въ разрушеніи. Луи Бланъ радикальнѣе Ледрю-Роллена, но онъ, удалившись въ Люксембургъ, сдѣлался проповѣдникомъ социализма и утратилъ вліяніе на правительство.

Ледрю-Ролленъ встрѣтилъ противодѣйствіе въ товарищахъ; можетъ, онъ и сладилъ бы съ ними, но въ ихъ главѣ стоялъ авторитетъ—Ламартинъ. Характеръ Ламартина по преимуществу женскій, примиряющій, бѣгущій крайностей; онъ стремился примирить, соединить противоположныя направленія, потому что ни съ чѣмъ не справился внутри себя; въ его умѣ, въ его рѣчахъ отсутствіе всего рѣзкаго, опредѣленнаго; онъ былъ рефлектёръ въ поэзіи и сдѣлался рефлектёромъ въ политикѣ. Ламартинъ развился подъ странными вліяніями и остался вѣренъ эпохѣ своего цвѣтенія, тому времени, когда отсталая Франція измѣнила собственному генію своему, ясному въ отвлеченіяхъ, опредѣленному во всемъ; фран-

цузская мысль и французская фраза приняли что-то туманное, не вполне высказываемое, стремящееся «все обнять, ничего не отвергая»,—таинственная пустота Шатобриана и спутанный эклектизм Кузена могут служить представителями этой эпохи.

Въ Ламартинѣ есть именно нѣчто шатобриановское и нѣчто эклетическое. Онъ не догадывался, что это колебаніе между крайностями, эта высшая, обнимающая справедливость безъ внутренняго начала, безъ установившейся мысли, представляетъ или высшее бездушіе (какъ вся философія Кузена), или эгоистическій эпикуреизмъ, распушенность. Ламартинъ находилъ въ сердцѣ своемъ звуки и бѣлымъ лиліямъ, и служителямъ алтаря, и Наполеону, и... и ничему не предавался въ самомъ дѣлѣ; Ламартинъ-диктаторъ полюбилъ республику, народъ,—онъ на этой высотѣ хотѣлъ наслаждаться общимъ миромъ; находилъ сочувствіе съ голоднымъ работникомъ, любилъ роскошь богатаго, имѣлъ слезу для герцогини Орлеанской ¹⁾, рыцарское великодушіе къ политическимъ врагамъ; онъ съ однимъ не могъ сочувствовать—съ революціей: онъ думалъ, что ея не нужно послѣ провозглашенія республики! И такой-то человѣкъ стоялъ во главѣ возникающей демократіи, осредотворяя мягкостью своей души два бурные потока, уступая обоимъ и обезсиливая тотъ и другой.

Временное правительство приняло за главный вопросъ успокоить среднее состояніе во Франціи и встревоженныхъ правительства въ Европѣ. Оно не вѣрило въ свое собственное дѣло и оттого погубило его. Оно хотѣло *какъ-нибудь* уладить республику, *какъ-нибудь* удержать миръ и достигло цѣли. Оно боялось разорваться съ прежнимъ порядкомъ; новой, государственной, строящей мысли у него не было; отсюда это непріятное, нестройное колебаніе между разными направленіями: то является законъ, основанный на социализмѣ, то чисто монархическое распоряженіе; въ однѣхъ мѣрахъ видно блѣдное подражаніе комитету общественнаго спасенія, въ другихъ остался весь характеръ конституціоннаго королевства. Люди, судившіе и рядившіе Францію,—а съ ней вмѣстѣ и всю Европу,—ни разу не подумали, чѣмъ собственно должна отличаться новая республика отъ старой монархіи.

Они себя принимали за такую случайность, за такое проходящее, что они ни въ чемъ не шли дальше формы и поверхности; они обходили всѣ важныя задачи; имъ предстояло бросить первыя основы демократическаго и социальнаго пересозданія; вмѣсто того

¹⁾ Мать графа Парижскаго и вдова герцога Орлеанскаго, сына Людовика-Филиппа.

они смиренно указывали республиканцамъ на будущее собраніе, социалистамъ — на Люксембургскую комиссію; они боялись взять революцію на свою отвѣтственность, они одного хотѣли: уличной тишины и полицейскаго порядка,—ихъ слабые нервы не могли выносить республиканскаго шума.

«Всеобщая подача голосовъ, организація работы» — вотъ чего хотѣла февральская революція и чего не осмѣливалось оспаривать у народа временное правительство. Но грубое непониманіе вопроса и механическое, холодное разрѣшеніе его привели къ тому, что всеобщая подача голосовъ убила организацію работъ.

Всеобщая подача голосовъ, при монархическомъ устройствѣ государства, при нелѣпомъ раздѣленіи властей, которыми такъ хвастались приверженцы конституціонныхъ формъ, при религіозномъ понятіи о представительствѣ, при полицейской централизаціи всего государства въ рукахъ министерства,—такой же оптической обманъ, какъ равенство, которое проповѣдывало христіанство. Тупость консерваторовъ, ихъ привычки къ цензу заставляли ихъ трепетать передъ всеобщей подачей голосовъ въ то время, какъ оно не опаснѣе всякаго другого избранія представителей. Дѣло вовсе не въ томъ, чтобъ разъ въ году собраться, выбрать депутата и снова воротиться къ страдательной роли управляемаго; надобно было основать всю общественную іерархію на выборахъ, надобно было предоставить общинѣ избрать свое правительство, департаменту — свое; надобно было уничтожить всѣхъ проконсуловъ, получающихъ священный санъ отъ министерскаго помазанія; тогда только народъ могъ бы дѣйствительно воспользоваться правами и, сверхъ того, дѣльно избрать своихъ центральныхъ депутатовъ. Объ этомъ и не думали наши децемвиры,—они хотѣли оставить города и общины въ ихъ полнѣйшей зависимости отъ исполнительной власти и демократическую мысль всеобщей подачи голосовъ приложили къ одному гражданскому акту.

Ледрю-Ролленъ понялъ опасность и нелѣпость предстоящихъ выборовъ. Что за результатъ могли дать голоса нѣсколькихъ милліоновъ человѣкъ, первый разъ избирающихъ—безъ приготовленія, безъ образованія, подъ вліяніемъ духовенства, богатыхъ собственниковъ, нотаріусовъ, чиновниковъ,—людей враждебныхъ республикѣ по общественному положенію? Ничего не могло быть естественнѣе, какъ мысль послать объясниться съ народомъ посредниковъ между нимъ и революціоннымъ правительствомъ; еще естественнѣе было напутствовать циркулярами комиссаровъ. Чему удивились консервативные журналы, члены правительства, откуда этотъ вопль буржуазіи, эти проклятія Ледрю-Роллену, когда онъ послалъ комиссаровъ

и обнародовалъ свои циркуляры? Буржуазія покорилась горькой необходимости и признала республику на условіи, что республика будетъ шутка; она надѣялась на не устроенную всеобщую подачу голосовъ, какъ на каменную гору; а тутъ является человѣкъ, у котораго въ рукахъ была страшная власть министра внутреннихъ дѣлъ и который вздумалъ призранные выборы сдѣлать дѣйствительными. Прочтите эти знаменитые циркуляры: вы увидите, что вся его цѣль состояла въ томъ, чтобъ преимущественно выбирали республиканцевъ, а не роялистовъ, для того, чтобъ представлять и устроить республику. «Да Франція вовсе не хочетъ республики!» Это другой вопросъ; тогда надобно было обратиться не къ Ледрю-Роллену, а ко всему правительству, ко всему парижскому народу и спросить у нихъ отчета, почему послѣ Людовика-Филиппа они не провозгласили Генриха V? Республика была фактъ; она была провозглашена, ея министры должны были дѣйствовать въ духѣ республиканскомъ. Если-бъ всѣ шли дружно и по одной дорогѣ съ Ледрю-Ролленомъ, если-бъ, сверхъ того, и самъ Ледрю-Ролленъ не сбился съ нея, мы не сидѣли бы третій мѣсяць въ осадномъ положеніи и не видѣли бы улицы Парижа, устланныя трупами.

Роковая неловкость временнаго правленія вела его отъ ошибки къ ошибкѣ, чтобъ не сказать—отъ измѣны къ измѣнѣ. Если-бъ выборы назначены были немедленно, можно было бы ожидать, что подъ вліяніемъ недавней революціи изберутъ республиканцевъ; если-бъ выборы были отложены на долгій срокъ, можно было бы нѣсколько приготовить народъ, особенно крестьянъ. Правительство не сдѣлало ни того, ни другого: оно дало ровно столько времени, сколько было нужно, чтобъ одушевленіе остыло и чтобъ реакція ободрилась. Оно употребило одну *réclame électorale* ¹⁾, это—надбавочный налогъ сорока пяти сантимовъ. Нелѣпость этой мѣры превышаетъ всякое человѣческое пониманіе; она оскорбила земледѣльцевъ, она ихъ возстановила противъ республики; сорокъ пять сантимовъ сдѣлались знаменемъ реакціи. Крестьяне, собственно, черезъ налогъ узнали о республикѣ: она имъ рекомендовалась прибавкой тяжести. Да откуда было взять деньги? Откуда угодно, только не съ бѣдныхъ людей, задавленныхъ и безъ того общественной несправедливостью. Откуда бралъ деньги Камбонъ ²⁾?—Тогда былъ терроръ.—Хорошо, откуда въ концѣ 1795 года достала директорія 600 милліоновъ? Наконецъ, сэръ Робертъ Пиль, конечно, не революціонеръ, прибѣгнулъ же къ *income tax* ³⁾.

¹⁾ Избирательное требованіе.

²⁾ Юсифъ, управлявшій финансами при конвентѣ.

³⁾ Подоходный налогъ.

Клубъ Бланки понялъ гибельное дѣйствіе, которое произведетъ надбавочный налогъ,—онъ послалъ депутацію къ правительству. Гарнье-Пажесь отвѣчалъ делегатамъ клуба, что само правительство видитъ неловкость этой мѣры и постарается поправить ее. Какъ же оно поправило? Оно велѣло не взыскивать 45 сант. съ людей, которымъ мѣры выдадутъ свидѣтельство, что имъ нечѣмъ заплатить. Если это была увертка, то Гарнье-Пажесь—дурной шутникъ; если же онъ это сдѣлалъ по убѣжденію, то мы имѣемъ право усомниться, не поврежденный ли онъ? Не только во Франціи, гдѣ, по чрезвычайно развитому чувству гордости, никто не признается въ бѣдности, но гдѣ угодно, объявите налогъ съ такимъ оскорбительнымъ изъятіемъ для неимущихъ,—его или всѣ заплатятъ или никто. Такъ и случилось: тамъ, гдѣ не заплатили, правительство приняло военныя мѣры!..

Парижскій народъ и клубы съ ужасомъ видѣли, что правительство сбилось съ дороги; они подозрительно смотрѣли на всѣхъ членовъ, исключая Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера. Клубы давали совѣты, указывали зло, ошибки, черезъ журналы, черезъ делегатовъ; правительство и не думало перемѣнить линіи поведенія. Они говорили, напр., что невозможно оставить судьями людей, занимавшихся лѣтъ двадцать пять преслѣдованіемъ республиканцевъ,—правительство ихъ оставило.

Вмѣстѣ съ паденіемъ электоральнаго ценза пало исключительно-буржуазное устройство національной гвардіи; каждый гражданинъ, получая голосъ, получалъ ружье. Вооруженный Парижъ представлялъ огромную силу: онъ дѣлался не только столицей демократіи, но ея великой дружиной (войскъ въ Парижѣ тогда не было и не могло быть, пока народъ имѣлъ голосъ и волю). Вооруживши весь Парижъ, временное правительство ввело новую массу въ старыя кадры легіоновъ національной гвардіи; вновь взошедшіе въ легіоны, естественно, подчинились прежнимъ членамъ, приняли большею частью ихъ направленіе и духъ. Кабэ десять разъ въ своемъ клубѣ говорилъ о необходимости распустить національную гвардію и потомъ вновь ее составить, онъ сильно возставалъ противъ мундира и былъ правъ. Мундиръ—вообще вещь превредная: онъ отдѣляетъ человѣка отъ другихъ; но онъ нигдѣ не вреденъ до такой степени, какъ во Франціи; Франція со временъ Наполеона заражена солдатизмомъ. Правительство дальшаго уничтоженія мѣховыхъ шапокъ не пошло, оно оставило прежніе мундиры и дозволило вновь поступившимъ остаться въ обыкновенномъ платьѣ; люди въ мундирахъ, само собою разумѣется, тотчасъ составили аристократію въ легіонахъ.

Что касается до устройства работъ, правительство и не думало серьезно заняться этимъ вопросомъ, оно не имѣло никакого

плана, никакого мнѣнія объ этой важнѣйшей задачѣ современности. Чтобъ отдѣлаться отъ нея, оно назначило Луи Блана и Альбера председателями комиссіи о работникахъ и отослало ихъ на другой край Парижа, въ Люксембургскій дворецъ. Сверхъ того, оно, не ожидая ея рѣшенія, основало національныя мастерскія, въ родѣ убѣжища для работниковъ, лишенныхъ работы, вслѣдствіе революціи. Эти знаменитыя ateliers nationaux ¹⁾, поставленныя на счетъ социалистамъ, были изобрѣтены консерваторами временнаго правительства не изъ желанія добра, а изъ страха передъ двумястами тысячъ человѣкъ, не имѣвшихъ ни насущнаго хлѣба, ни занятія. Много ли, мало ли сдѣлала Люксембургская комиссія,—важность ея не подлежитъ сомнѣнію: социальный вопросъ сдѣлался государственнымъ. Такія вещи народъ не забываетъ, какъ ни разстрѣливай его, какъ ни депортируй. Временное правительство было вынуждено работниками назначить для нихъ комиссіи; это — первая церковь, данная христіанамъ въ древнемъ Римѣ; Луи Бланъ былъ первосвященникъ и проповѣдникъ новаго храма. Рѣчи, полныя любви, Луи Блана раздавались глубоко въ сердцахъ настрадавшихся не только отъ нужды, но отъ оскорбленій. Слова симпатіи и братства слышались ими съ высоты той самой трибуны, на которой за нѣсколько дней тому назадъ кашлялъ сгорбившійся старикъ Пакье ²⁾, бездушный и лукавый представитель отходящаго и дряхлаго міра. Въ засѣданіяхъ комиссіи мало дѣлали дѣла, но они иногда оканчивались слезами; это были торжественныя литургіи отроческаго социализма, дружескія бесѣды, значительно дѣйствовавшія на развитіе работниковъ. Однажды, передъ окончаніемъ засѣданія пришелъ Ламартинъ. Луи Бланъ закрылъ уже бесѣду, народъ сталъ расходиться; вдругъ крошечный Луи Бланъ бѣжитъ снова на трибуну, шумитъ, звонитъ, проситъ пріостановиться; работники останавливаются; Луи Бланъ говоритъ имъ: «Друзья мои, сейчасъ товарищъ мой, гражданинъ Ламартинъ, получилъ вѣсть, что вѣнскій народъ одержалъ побѣду; Меттернихъ бѣжалъ, революція торжествуетъ; я васъ остановилъ, чтобъ подѣлиться съ вами хорошей новостью. Да здравствуетъ всеобщая республика!»

Между тѣмъ реакція торжествовала; она до того была увѣрена въ побѣдѣ, что маршалъ Бюжо ³⁾ предлагалъ правительству

¹⁾ Національныя мастерскія.

²⁾ Pasquier, герцогъ Этьеннъ-Дени, консерваторъ, председатель судебныхъ засѣданій палаты пэровъ.

³⁾ Герцогъ Томъ-Робертъ, побѣдитель племенъ Алжира и Марокко; долго былъ алжирскимъ губернаторомъ. Извѣстенъ жестокимъ усмиреніемъ возстанія въ Парижѣ и рѣзней народа на улицѣ Трансноненъ.

свою трансноненскую шпагу, а Тьеръ ожидалъ выборовъ. Гордясь смѣшнымъ великодушiемъ, правительство не брало никакихъ мѣръ противъ закаленныхъ интригановъ и давало имъ полную волю сбивать съ толку избирателей. Я въ глубинѣ сердца ненавижу всѣ свирѣпыя мѣры, тѣмъ больше ненавижу, что считаю ихъ за роскошь, за месть. Но въ чемъ же состояла бы свирѣпость отстранить нѣсколько сотъ человекъ, богатыхъ по большей части, отъ участiя въ дѣлахъ, заставить ихъ удалиться изъ Франціи до тѣхъ поръ, пока новое правительство окрѣпло бы, пока республика учредилась бы? (Люди эти были извѣстны; они извѣстны теперь: это—знаменитые *satisfaits* ¹⁾ камеры депутатовъ, это—бывшіе министры, публичные защитники иезуитизма). Я думаю, что эта мѣра была бы гораздо кротче и гораздо полезнѣе, нежели каннибальскія депортациі, продолжающіяся третiй мѣсяць. Ледрю-Ролленъ, который думалъ, что надобно было оставить всѣхъ префектовъ, оставилъ въ то же время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ Карлье. Шпіоны, которыхъ число было весьма значительно при Людовикѣ-Фидиппѣ, имѣли дерзость предложить свои услуги временному правительству, ссылаясь, между прочимъ, на то, что они лишились всѣхъ средствъ существованiя съ 24 февраля, и правительство вмѣсто того, чтобъ депортировать это гнѣздо разврата, приняло ихъ услуги. Изъ нихъ и изъ всякихъ плутовъ разныхъ партій составились *три тайныхъ полиціи*. Одна была при префектурѣ, другая при министрѣ внутреннихъ дѣлъ, третья при Маррастѣ! Суммы потрачены на содержаніе этихъ доносчиковъ, которые были совершенно не нужны,—все дѣлалось открыто, на улицѣ. Шпіоны Марраста окружали Коссидьера, Ледрю-Роллена и Луи Блана въ то время, какъ Коссидьеръ зналъ каждое слово Марраста. Вотъ чѣмъ забавлялись децемвиры. Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ—то же самое: Ламартинъ употреблялъ секретарей Гизо и ввѣрялъ людямъ самой подозрительной репутациі важныя дипломатическія порученія.

Вы помните, какъ вѣсть о провозглашеніи республики потрясла всю Европу, — даже Англія покачнулась на своихъ средневѣковыхъ основанiяхъ; народы подняли голову и протягивали руку симпатіи республикѣ; Франція естественно становилась главою всемірнаго движенія. Какая разница съ республикой, провозглашенной 21 сентября 1792 года! Тогда въ Европѣ едва нашлась небольшая горсть людей, какъ Кантъ, Фихте, Форстеръ, Фоксъ, симпатизировавшихъ съ движеніемъ; теперь депутація за депутаціей являлась къ временному правительству съ рѣчами симпатіи и братства. По-

1) Удовлетворенные.

ляки, итальянцы, нѣмцы, сѣверо-американцы, ирландцы, англійскіе демократы и чартисты наперерывъ заявляли свою дружбу и удивленіе. Это не были праздныя рѣчи и пустыя слова, — вспомните, что происходило тогда въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Миланѣ, Римѣ, въ южной Германіи и Познани, и въ самой Бельгіи. Ни въ какую эпоху имперіи Франція не имѣла такого вліянія на всю Европу, какъ въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцѣ; правительства были деморализованы, сбиты съ толку, народы—за Францію; испугъ былъ такъ великъ, что прусскій король и австрійскій императоръ соглашались на демократическія уложенія и обѣщали возстановить Польшу. Чтобъ разомъ выразить слабость старой политики 1815 года, стоитъ вспомнить, что маленькій уголокъ—Монако и Невшательскій кантонъ—сдѣлали свои революціи, и никто не думалъ имъ мѣшаты!

Какъ воспользовалась французская республика этимъ удивительнымъ стеченіемъ обстоятельствъ? Она дала время пройти страху, ободрила всѣ правительства и убила все европейское движеніе. Манифестъ Ламартина былъ уже довольно слабъ и водянь, но дѣйствія его дипломатіи были гораздо слабѣе. Онъ говоритъ въ манифестѣ, что Франціи нечего искать прощенія за революцію, ни спрашивать о признаніи республики; на дѣлѣ онъ именно искалъ, чтобъ европейскія государства отпустили Франціи грѣхъ освобожденія. Ламартинъ столько же боялся коалиціи монарховъ, сколько монархи боялись союза народовъ. Можно безъ смѣха себѣ представить человѣка, который боится другого, но представьте, что они оба другъ друга боятся, и вы непременно расхохочетесь.

Старая дипломатія европейскихъ дворовъ была догадливѣе и хитрѣе Ламартина; она поняла, съ какимъ республиканскимъ првленіемъ имѣеть дѣло. Ей было досадно, что она поддалась мнимому страху, она отмстила народамъ за свою слабость. Реакція, открытая и дерзкая, началась вездѣ и продолжается во всей красѣ; чудовищное изобрѣтеніе осаднаго положенія на цѣлые мѣсяцы нашло подражателей.

Но что же дѣлала демократическая партія, что дѣлали социалисты, какія мѣры были взяты ими, когда они увидѣли, въ какихъ искусныхъ рукахъ правительство и на какой гибельной дорогѣ? Нельзя сказать, чтобъ демократія показала себя ловкой или искусной; она умѣетъ только мужественно драться, геройски умирать и гордо выносить тюрьму и галеры. Три раза могла демократія побѣдить монархическую республику и три раза упустила изъ рукъ побѣду.

Мученики временъ Людовика-Филиппа,—Барбесъ и Бланки,—были главами двухъ мощныхъ клубовъ; Собріе, Распайль, Кабэ

имѣли свои клубы, цѣль у нихъ была общая, но единства, но плана не было. Барбесъ и Бланки были во враждѣ; вражда эта, основанная на совершеннѣйшей противоположности характеровъ, была раздуваема людьми, находившими выгоды во взаимномъ отдаленіи двухъ корифеевъ демократіи. Барбесъ и Бланки, возвратившись изъ Mont S. Michel, протянули руку Ламартину, тѣмъ болѣе, что Барбесъ считалъ себя обязаннымъ благодарностью: Ламартинъ упросилъ Людовика-Филиппа не исполнять смертнаго приговора, къ которому Барбесъ былъ осужденъ въ 1840 году. Помощь такихъ людей была неоцѣненна для правительства,—они приносили совѣтъ закаленныхъ демократовъ, авторитетъ, основанный на большихъ заслугахъ, на героическомъ мужествѣ одного и на глубокомысленномъ, многообъемлющемъ взглядѣ другого. Недѣли черезъ двѣ оба отошли, качая головой; они увидѣли, что съ этими людьми ничего не сдѣлаешь, что они погубятъ революцію. Барбесъ,—полковникъ XII легіона, представитель,—отходя отъ правительства, по своему положенію оставался съ нимъ въ сношеніяхъ. Къ тому же присовокуплялись у него дружескія воспоминанія,—въ правительствѣ были его прежніе товарищи по заговорамъ. Довѣрчивый, всегда готовый отдать за республику послѣднюю каплю крови, онъ многого не видалъ; чистый душою, онъ вѣрилъ въ чистоту другихъ, онъ надѣялся на людей тамъ, гдѣ ихъ надобно было презирать.

Не таковъ былъ Бланки. Разрывая связи съ правительствомъ, онъ разрывалъ ихъ окончательно; онъ никого и прежде не любилъ изъ этихъ слабыхъ людей; теперь онъ ихъ ненавидѣлъ и подозрѣвалъ. Бланки, человѣкъ сосредоточенный, нервный, угрюмый, изнуренный и больной отъ страшнаго тюремнаго заключенія, сохранилъ невѣроятную энергію духа; Бланки—революціонеръ нашего вѣка; онъ понялъ, что поправлять нечего, онъ понялъ, что первая задача теперь—разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальнымъ краснорѣчіемъ, онъ потрясалъ массы; каждое слово его было обвиненіе стараго міра. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше. Правительство было испугано этимъ безпощаднымъ человѣкомъ; что бы оно ни дѣлало, злой и ироническій взглядъ Бланки былъ у нихъ передъ глазами, и они блѣднѣли. Извести его старались всѣ: Ледрю-Ролленъ и Коссидьеръ такъ же, какъ другіе; съ Барбесомъ они надѣялись поладить.

Въ мартѣ мѣсяцѣ правительство еще не смѣло и думать объ арестаціяхъ,—оно ограничивалось клеветою. Бланки и клубы напомнили ему 17 марта свою силу по поводу глупой демонстраціи мѣховыхъ шапокъ. Они прошли торжественной прогулкой по главнымъ улицамъ Парижа въ числѣ ста тысячъ человѣкъ. Несмотря

на величайшій порядокъ и тишину, буржуазія до того была испугана прогулкой и выраженіемъ лицъ, что опять присмирѣла на цѣлый мѣсяць и продолжала свою мелкую работу за стѣной.

Въ этотъ день, въ этотъ мѣсяць можно было надѣлать чудеса,—демократія не умѣла имъ воспользоваться. Люди, имѣющіе возможность прогуливаться колоннами, которыя наполняютъ бульвары, не могли, не должны были допустить той реакціи, которая, наконецъ, собрала свои силы и побѣдила вполнѣ въ іюньскіе дни. Демократія 17 марта ограничилась ободреніемъ правительства; народъ обѣщалъ поддержать его противъ козней реакціи, но кто же сказалъ, что правительство боялось реакціи? оно именно боялось народа. Ламартинъ за день передъ тѣмъ выдалъ Ледрю-Роллена и косвенно снялъ съ части правительства отвѣтственность за его циркуляры; народъ принималъ теперь эту солидарность и кричалъ: «vive Ledru-Rollin», и Ледрю-Ролленъ не догадался, что ему слѣдовало захватить диктатуру и спасти революцію. Народъ пошелъ по домамъ, ничего не сдѣлавши,—онъ усилилъ только временное правительство, и оно отвѣчало народу на другой день въ «Монитеръ»: «Правительство, провозглашенное на мѣстѣ битвы, получило новое утвержденіе своей власти двумястами тысячъ гражданъ, которые принесли намъ своими рукоплесканіями нравственную силу и царственную санкцію». Поблагодаривъ такимъ образомъ народъ, правительство стало приготовляться къ новому приему царственного гостя,—на этотъ разъ съ военной почестью...

Ровно черезъ мѣсяць, 16 апрѣля клубы и работники, убѣжденные теперь, что правительство ничего не хочетъ дѣлать для народа, что выборы идутъ скверно, собрались безъ оружія на Champ de Mars ¹⁾. Вдругъ раздался сборъ національной гвардіи по всему Парижу,—вооруженные мѣщане бѣжали отовсюду, банльё ²⁾ входила во всѣ заставы, въ меряхъ раздавали боевые патроны, около ста тысячъ штыковъ тѣснились у Hôtel de Ville и у Люксембургскаго дворца. Люди, не знавшіе ничего прежде, съ безпокойствомъ спрашивали, гдѣ возстаніе, гдѣ врагъ? Собріе схватилъ свое ружье и выбѣжалъ на улицу, увѣренный, что роялисты сдѣлали какое-нибудь возстаніе. Эти штыки, эти пули были приготовлены тому самому народу, передъ которымъ преклонялось мѣсяць тому назадъ временное правительство. Въ этотъ день неосторожный Ледрю-Ролленъ принялъ на себя большую отвѣтственность,—онъ приказалъ бить сборъ; Маррастъ предложилъ мэрамъ парижскихъ округовъ

¹⁾ Марсово поле.

²⁾ Banlieue — пригороды.

крикъ: «à bas les communistes» ¹⁾),—отъ того было недалеко до «mort aux communistes» ²⁾), которое повторялось въ рядахъ хранителей порядка. Подъ словомъ «коммунистовъ» разумѣли теперь всѣхъ республиканцевъ, не вѣрящихъ, что республика значитъ отсутствіе Людовика-Филиппа и больше ничего. Если-бъ не добрый и благородный старикъ Куртэ, который начальствовалъ національной гвардіей, дѣло не обошлось бы безъ кровопролитія. Хорошо ли это? Трудно сказать. Побѣда была возможна для народа, войскъ не было, не было бы и столько жертвъ, какъ въ іюнѣ, а іюньскія жертвы—все же не послѣднія.

Оскорбленные работники требовали у правительства объясненія, правительство путалось, благодарило національную гвардію за ея готовность, благодарило работниковъ за то зло, которое они не сдѣлали и котораго никто не хотѣлъ. Маррасть увѣрялъ, что вся цѣль правительства «окончить эксплуатацію человѣка человѣкомъ». Народъ расходился мрачно, недовѣріе и злоба распространялись, двѣ республики помирились; «oh, que l'avenir est menaçant, писалъ Пьеръ Леру къ Кабэ, puisqu'il y a dès aujourd'hui deux Républiques en présence!» ³⁾.

Черезъ два дня или три послѣ 17 апрѣля, на какомъ-то смотрѣ національной гвардіи генераль Шангарнье,—открытый роялистъ, извѣстный интриганъ, человѣкъ предприимчивый, бездушный, честолюбивый и чрезвычайно завистливый,—объявилъ, что нѣсколько линейныхъ полковъ готовы вступить въ Парижъ для облегченія національной гвардіи; это былъ, такъ сказать, запросъ мѣщанамъ, хотя ли они, чтобъ войско вошло въ Парижъ. «Vive la ligne!» ⁴⁾ прокричали первые легіоны (т. е. изъ богатыхъ и аристократическихъ частей города),—и черезъ нѣсколько часовъ солдаты вошли съ барабаннымъ боемъ въ Парижъ,—первые солдаты послѣ 24 февраля. Съ ихъ вступленіемъ республика находилась подъ Дамокловымъ мечемъ; Кавеньякъ отрѣзалъ шнурокъ, и мечъ, занесенный временнымъ правительствомъ, сдѣлалъ свое дѣло. Солдаты могутъ производить возмущенія преторіанскія, янычарскія, лейбъ-гвардейскія, но съ народной свободой ихъ присутствіе несовмѣстно, или они должны перестать быть солдатами. Эмиль Жирарденъ очень справедливо повторялъ въ «Прессѣ», что 24 февраля армія побѣждена, не какъ армія, а отвергнута, какъ институтъ («elle a été condamnée

¹⁾ Долой коммунистовъ!

²⁾ Смерть коммунистамъ!

³⁾ «О, какъ будущее грозно,—уже теперь двѣ республики налицо».

⁴⁾ Да здравствуетъ пѣхота!

comme institution») ¹⁾, и тупая «Реформа» возставала противъ него. Однако, вводъ войскъ сильно взволновалъ гражданъ; клубъ Бланки явился требовать у правительства отчета; Ламартинъ съ своимъ краснорѣчивымъ лукавствомъ отвѣчалъ, что войска зошло четыре тысячи для того, чтобъ примирить гражданъ-солдатъ съ ихъ братьями; «мы не думаемъ,—говорилъ онъ,—не думали и никогда не будемъ думать о томъ, чтобъ противодѣйствовать войсками народу; республика внутри не требуетъ другихъ защитниковъ, кромѣ вооруженнаго народа. И что можетъ сдѣлать эта горсть воиновъ, когда 80.000 человекъ подъ начальствомъ Бюжо ничего не сдѣлали?» Это было великое преступленіе временнаго правительства, и Ледрю-Ролленъ согласился на эту мѣру и той же рукой, которой подписывалъ свои бюллетени и циркуляры, подписалъ смерть революціи. Власть развращаетъ или пьянитъ.

Послѣ этихъ событій правительство удалялось далѣе и далѣе отъ народа; народъ чувствовалъ, что онъ обмануть, и жался около клубовъ; въ клубахъ была бездна рѣчей, шумныхъ засѣданій, предложеній,—и никакого плана, какъ остановить реакцію: все представлялось случаю; народъ былъ готовъ. Французамъ удавались много разъ такія неожиданныя вспышки,—они думали, что и теперь удастся. А между тѣмъ выборы гнулись явно на сторону реакціи и монархіи, комиссаровъ временнаго правительства выгоняли, сажали въ тюрьму, лишали возможности дѣйствовать, духовенство помогало буржуазіи и легитимистамъ. Работники, потерявъ всякую надежду видѣть свои интересы представленными, взбунтовались въ Лиможѣ, Руанѣ и Эльбефѣ. Въ Лиможѣ народъ одержалъ верхъ,—и дѣло обошлось безъ убійствъ; въ Руанѣ побѣдила буржуазія,—и кровь обагрила улицы древняго города. Теперь, черезъ четыре мѣсяца, реакція готовится судить возмутителей общественной тишины. Положимъ, что, съ полицейско-юридической точки зрѣнія, народъ былъ неправъ, возражая насиліемъ противъ выборовъ, но есть другая, высшая справедливость, и она за него: народъ чувствовалъ, что онъ обмануть; не находя другого средства, запутанный формализмомъ, онъ возставалъ, врывался въ собранія, бросалъ въ огонь урны. Народъ—не судебное мѣсто, не частное лицо, онъ не можетъ, кромѣ Англіи, итти легальными путями. Въ Англіи законность равно куетъ въ цѣпи народъ и правительство; правительство въ Англіи никогда не выступитъ изъ закономъ опредѣленныхъ формъ. А былъ-ли примѣръ, чтобъ во Франціи какое-нибудь правительство остановилось на легальности въ политическомъ вопросѣ?

¹⁾ Она была осуждена, какъ учрежденіе.

Всѣ правительства имѣли здѣсь свои сентябрьскіе дни, свои lettres de cachet ¹⁾, свои фруктидоризаціи ²⁾, и разстрѣлянный герцогъ Ангіенскій ³⁾ стоитъ Эбертовой complicité morale ⁴⁾ и нынѣшнихъ депортацій. Французскія правительства съ 9 термидора 1794 г. не вѣрятъ ни въ свою законность, ни въ свою прочность, — имъ все мерещится гильотина, и они защищаются, чѣмъ попало. Что касается до хваленой судебной власти во Франціи, до ея независимости, это—одинъ изъ самыхъ вопіющихъ предрассудковъ. Судебная власть во Франціи служитъ каждому правительству поочередно для отсылки его враговъ въ каторжную работу или на плаху.

Сверхъ этого, легальность не можетъ быть обязательна для цѣлаго народа; когда онъ возстаетъ, онъ носитъ въ себѣ живой источникъ справедливости и законности данной минуты,—онъ идетъ не по параграфу кодекса, а творитъ новый законъ. Народъ протестуетъ баррикадами, какъ 24 февраля, врывается въ собраніе, чтобъ заявить свое презрѣніе къ представительству, избранному *законно по формѣ*, но не имѣющему довѣрія, какъ 15 мая. Въ такія минуты народъ сознаетъ себя самодержавнымъ и поступаетъ въ силу этого сознанія. Нелѣпныя преслѣдованія за политическія движенія, особенно во время выборовъ, послѣ революціи, доказываютъ одно: что республика — ложь, пустое слово. Къ *безпорядкамъ и нарушеніямъ тишины* надобно въ республикахъ привыкать, — дѣлать нечего; оно же въ сущности и не безпорядокъ, и не такъ страшно, какъ кажется. Въ - - - - - казармахъ и тюрьмахъ несравненно спокойнѣе: тамъ всякій шумъ, всякое нарушеніе дисциплины считается измѣной, оскорбленіемъ - - - - - но въ этой тишинѣ одно не хорошо, — что человѣкъ не можетъ быть увѣренъ въ томъ, что съ нимъ будетъ черезъ часъ. Въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ выборы почти никогда не обходятся безъ шума: правительство обыкновенно исчезаетъ въ это время, и въ этомъ его высокая честность; здѣсь нѣту ни столько такта, ни столько пониманія. Монархическое устройство у французовъ не выбьешь изъ головы, — у нихъ страсть къ полиціи и къ власти; каждый французъ въ душѣ полицейскій комиссаръ, онъ любитъ фронтъ и дисциплину; все независимое, индивидуальное его бѣситъ, онъ равенство понимаетъ

¹⁾ Приказы объ арестѣ.

²⁾ 18 фруктидора, т. е. 4 сентября, 1797 г. директорія, послѣ успѣховъ монархистовъ на общихъ выборахъ, произвела государственный переворотъ, направленный противъ Совѣта Старѣйшинъ и «Совѣта Пятисотъ».

³⁾ Принцъ изъ рода князей Кондэ, казненный Наполеономъ I.

⁴⁾ «Нравственное соучастіе» — одинъ изъ обвинительныхъ доводовъ Эбера (Hébert), товарища прокурора коммуны первой франц. революціи.

только нивеллировкой и покоряется произволу полиціи, лишь бы только и другіе покорялись. Дайте французу галунъ на шляпу, и онъ сдѣлается притѣснитель, и онъ начинаетъ тѣснить простаго человѣка, т. е. человѣка безъ галуна; онъ потребуеъ уваженія передъ властью. Французы любятъ терроръ, оттого они такъ легко переносятъ осадное положеніе. Все это не мѣшаетъ вспомнить, говоря объ ужасахъ 93 года, для того, чтобъ національную вину не ставить на счетъ лицъ.

«Мониторъ» толковалъ черезъ два мѣсяца послѣ 24 февраля объ *cris séditieux* ¹⁾, объ сборищахъ *безоружныхъ* людей; правительство никогда и не подумало, отчего же и не кричать человѣку, что хочется, и что какъ же можетъ народъ принимать дѣятельное участіе въ общественныхъ дѣлахъ, если онъ не будетъ собираться; клубы, общественныя залы, площади—все это кабинеты народа. Да хоть бы они протвердили краткую афинскую и римскую исторію...

Между тѣмъ, въ Парижъ наѣзжали со всѣхъ сторонъ представители. Народъ и республиканцы съ негодованіемъ и краснѣя до ушей, смотрѣли на эти ограниченныя лица, на эти скупые глаза пропріетеровъ, на эти черты, искаженныя любовью къ барышу и къ порядку, на жирные носы и узкіе лбы провинціаловъ-стяжателей, шедшихъ теперь передъ лицомъ міра устраивать судьбы Франціи, создавать республику, имѣя критеріумомъ аршинъ лавочника и разновѣсъ эписъе ²⁾. И вы отдали будущность вашей прекрасной Франціи имъ, вы ихъ допустили, вы позволили имъ, — несите же горькій плодъ!

Странная судьба Франціи—быть великой въ болѣзни и пошлой въ здоровьи, быть великой одинъ день и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладаетъ этой силой стряхивать время отъ времени съ себя грязь, что она не можетъ долго оставаться въ покоѣ, что ей необходимо новое, перемѣна, движеніе, но, тѣмъ не меньше, ея невыдержка поразительна. Французскій народъ внезапно возстаетъ: неотразимый и грозный, вступаетъ въ отчаянный бой съ общественнымъ зломъ; противостоять ему въ эти минуты невозможно: онъ беретъ Бастилію, онъ беретъ Тюльери, онъ отражаетъ цѣлую армію,—ихъ надобно переждать. По мѣрѣ того, какъ онъ одолеваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что проливалъ кровь. Пока республика и Франція въ девяностыхъ годахъ

¹⁾ Мятежные крики.

²⁾ Бакалейщикъ.

висѣла на волоскѣ, пока Европа, Вандея, духовенство, дворянство, федералисты, претенденты, эмигранты, англійскіе гиней шли войной со всѣхъ сторонъ: снизу, сверху, извнѣ, изнутри,—Парижъ и конвентъ отстояли Францію и республику. Побитый непріятель не успѣлъ добѣжать до своихъ домовъ, а уже республика слабѣла не по днямъ, а по часамъ. Десять лѣтъ дравшись за свободу, Франція обидѣлась, что у нея нѣтъ сильнаго правительства, что ея никто не тѣснитъ. Уродливая бездушная конституція сухого Сіэйеса съ казарменными варіаціями генерала Бонапарта была принята съ восторгомъ; никто не замѣтилъ, или не хотѣлъ замѣтить, что конституція VIII года—организованный деспотизмъ, что правительственная гласность въ ней убита, что избирательная система превращена въ шалость, что о свободѣ книгопечатанія въ ней даже не упомянуто. Нѣтъ въ мірѣ народа, который сдѣлалъ бы столько подвиговъ, который бы пролилъ столько крови за свободу, какъ французы, и нѣтъ народа, который бы менѣе понималъ ее, менѣе искалъ бы осуществить ее на самомъ дѣлѣ, на площади, въ судѣ, въ своемъ домѣ; они довольствуются словами, они издають прокламаціи тамъ, гдѣ надобно измѣнять бытъ. Французы—самый абстрактнѣйшій и самый религіозный народъ въ мірѣ; фанатизмъ къ идеѣ идетъ у нихъ объ руку съ неуваженіемъ къ лицу, съ пренебреженіемъ ближняго; у французовъ все превращается въ идолъ,—и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Французъ дерется геройски за свободу и, не задумываясь, тащитъ васъ въ тюрьму, если вы не согласны съ нимъ въ мнѣніи. Людовикъ XIV говорилъ: «l'état c'est moi» ¹⁾; республика на дѣлѣ показала, что она правительство считаетъ за государство, и тиранническое *salus populi* ²⁾, и инквизиторское, кровавое *pereat mundus et fiat justitia* ³⁾ равно написано въ сознаніи роялистовъ и демократовъ. Это происходитъ, между прочимъ, оттого, что французы всякую истину возводятъ въ догматъ; ихъ считали не религіозными, не христіанами, оттого что они вѣтрены и привыкли къ вольтеровскому кощунству; но развѣ рядомъ съ Вольтеромъ не стоитъ Руссо, котораго каждое слово религіозно, который перевелъ Евангеліе съ церковно-латинскаго языка на ново-французскій. Французы нисколько не освободились отъ религіи: читайте Ж. Сандъ и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле,—вы вездѣ встрѣтите христіанство и романтизмъ, переложенные на наши нравы; вездѣ дуализмъ, абстракція, отвлеченный долгъ, обязатель-

¹⁾ Государство, это—я!

²⁾ Спасенье народа.

³⁾ Да погибнетъ міръ и свершится правосудіе!

ныя добродѣтели, официальная, риторическая нравственность безъ соотношенія къ практической жизни. Посмотрите, съ какимъ ужасомъ слушаютъ здѣсь Прудона, оттого что онъ смѣло и открыто говоритъ вещи, сказанныя за нѣсколько лѣтъ тому назадъ Фейербахомъ.

Свобода мысли, слова у французовъ—скорѣе благородный капризъ, а не истинная потребность, и я такъ же мало отвѣчаю за свободу книгопечатанія, если овладѣютъ властью демократы, какъ теперь. Ихъ спасаетъ отъ продолжительнаго рабства ихъ подвижная натура. Утративъ девять десятыхъ пріобрѣтеннаго кровью, они лѣтъ черезъ пятнадцать снова строятъ баррикады, усѣиваютъ трупами улицы, удивляютъ міръ геройствомъ для того, чтобъ опять потерять завоеванное. Этотъ отроческій, легкомысленный характеръ, эта политическая *gaminerie* ¹⁾ французовъ, полная отваги и благородства, долго нравилась Европѣ и увлекала ее,—нравилась особенно, пока она сама не смѣла открыть рта, а исподтишка перемигивалась съ Парижемъ. Теперь народы повзросли: въ Берлинѣ, въ Вѣнѣ были баррикады; народы, поднявшіе голову послѣ революціи 1830 года, уже громко негодовали на французскую реакцію; они отпрянули съ досадой отъ Франціи послѣ 24 февраля, которое такъ много обѣщало и такъ ничего не сдѣлало. Еще подобный взрывъ и такое паденіе,—и вы увидите: европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей бесплодно рѣзаться сколько угодно, не достаивая ее ни симпатіей, ни участіемъ. Эта старая басня волка и мальчика, дѣлавшаго напрасную тревогу; возмужалое человѣчество не позволитъ себя непрерывно надувать и станетъ равнодушно смотрѣть на страну, которая, какъ русскіе крестьяне до Годунова, имѣетъ одинъ день свободы въ году и триста шестьдесятъ четыре дня рабства!

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ.

Парижъ, 1 іюня 1849 г.

Наше время, мои друзья, при всей своей тягости, полно глубокаго поученія. Послѣдній годъ довоспиталъ насъ. Мы лучше знаемъ нашъ станъ, наши силы, мы стали гораздо бѣднѣе, но зато ближе къ пониманію. Оставаться съ нами становится труднѣе,—все слабое, неопредѣленное, хрупкое торопится отстать. Даже многіе изъ откровенныхъ и преданныхъ людей,—людей, которые всю жизнь ра-

¹⁾ Проявленіе задора и мальчишеской шалости.

ботали для революціи, жаждали ея, разглядѣвши теперь, куда она идетъ, приостановились; иные не покидаютъ насъ только отъ стыда, отъ привычки; другіе составляютъ особые легіоны — въ ожиданіи, пока какой-нибудь Кавеньякъ ихъ поведетъ по-своему...

Года за два было дешево либеральничать: стоило толковать о прогрессѣ, о самодержавіи народа, о демократическихъ симпатіяхъ, сидѣть въ лѣвомъ центрѣ, пугнуть иногда мѣщанъ воспоминаніемъ о конвентѣ, травить министровъ *par force* ¹⁾ невозможными вопросами,—и все это, оставаясь не только защитникомъ правъ, но и порядка, т. е. существующаго.

Все перемѣнилось и серьезно теперь нельзя быть революціонеромъ не только по двумъ-тремъ фразамъ, рѣчамъ, но и по благороднымъ воспоминаніямъ о прошлыхъ бояхъ, строивши и защищая баррикады. Ни личная храбрость, ни доблестный нравъ не могутъ сдѣлать человѣка революціонеромъ, если онъ не революціонеръ въ смыслѣ современной эпохи.

Революціонеры XVIII вѣка были велики и сильны именно потому, что они такъ хорошо поняли, въ чемъ имъ слѣдовало быть революціонерами, и, однажды понявши, безбоязненно и беспощадно шли своей дорогой. Быть теперь революціонерами въ смыслѣ конвента было бы почти то же, что явиться въ конвентъ гугенотомъ. Въ XVIII столѣтіи достаточно было быть республиканцемъ, чтобъ быть революціонеромъ; теперь можно очень легко быть республиканцемъ и отчаяннымъ консерваторомъ. Но социалисту въ наше время нельзя не быть революціонеромъ.

Никакой нѣтъ обязанности быть революціонеромъ, но тотъ, кто поднимаетъ знамя, кто добровольно становятся въ ряды, тотъ долженъ знать, что *революція обязываетъ*, что нельзя по капризу итти до того мѣста или до другого.

По счастью, въ послѣднее время революція и консерватизмъ такъ раздвинулись, что какимъ колоссомъ Родоскимъ ни будь, но все невозможно стоять разомъ на обоихъ берегахъ,—въ этомъ любимомъ положеніи людей *сильныхъ*, какъ Ламартинъ. Время политическаго эклектизма прошло,—надобно стоять на томъ берегу или на этомъ.

Кто желаетъ сохранить что бы то ни было изъ основаній христіанскихъ, феодальныхъ, римскихъ, у того въ душѣ дремлетъ консерватизмъ и реакція; обстоятельства непремѣнно его обойдутъ. Дѣло очень просто: революціонная идея нашего времени *несовмѣстна* съ европейскимъ государственнымъ устройствомъ; они

¹⁾ Натискомъ, неустанно.

другъ къ другу идутъ такъ, какъ англійскіе законы къ Японіи или бранденбургское право къ древней Греціи. Чисто политическіе агитаторы въ сущности, все-таки, ближе къ Гизо, нежели къ намъ.

Все въ Европѣ стремится съ необычайной быстротой къ коренному перевороту или къ коренной гибели; нѣтъ точки, на которую бы можно опереться; все горитъ, какъ на огнѣ—преданія и теоріи, религія и наука, новое и старое. Въ одинъ годъ Франція износила блестящую мечту политической республики, а Германія— всѣ остальные мечтанія.

Но гдѣ предѣлы? Кто ихъ проведетъ, начертитъ? Гдѣ оканчивается политическая республика, гдѣ начинается соціальная?

Политическая республика не оканчивается въ соціальной, а переходитъ въ нее; соціальная республика есть исполненіе, осуществленіе политической; онѣ противоположны только въ антитетическомъ смыслѣ, и это не значитъ смутность понятій,—таково все движущееся, живое, развивающееся. Гдѣ предѣлы между растеніями и животными, между химизмомъ и организмомъ? Разница между розой и медвѣдемъ страшная, бросается въ глаза, а углубитесь въ міръ зоофитовъ и криптогамій, и вы увидите, что животное царство смѣшивается съ растительнымъ, что одно переходитъ въ другое едва замѣтными тропинками... Соціализмъ предполагаетъ республику, какъ необходимо уже пройденный путь. Республика имѣетъ идеалъ, стремленіе; она не есть дѣйствительность, пока она ограничивается *представительствомъ* народнаго самодержавія. Она можетъ при хорошихъ условіяхъ быть свободнѣе конституціонной монархіи, но она не можетъ быть совершенно свободна до тѣхъ поръ, пока она принимаетъ неизмѣнными основы существующаго историческаго, общественнаго устройства. А въ ту минуту, въ которую она ихъ переступитъ, она становится соціальной,—названіе условное и присвоенное именно для означенія этого перехода.

Обыкновенно думаютъ, что соціализмъ имѣетъ исключительною цѣлью разрѣшеніе вопроса о капиталѣ, рентѣ и заработной платѣ, т. е. объ уничтоженіи людоѣдства въ его образованныхъ формахъ. Это не совсѣмъ такъ. Экономическіе вопросы чрезвычайно важны, но они составляютъ одну сторону цѣлаго воззрѣнія, стремящагося, наравнѣ съ уничтоженіемъ злоупотребленій собственности, уничтожить на тѣхъ же основаніяхъ и все монархическое, религіозное—въ судѣ, въ правительствѣ, во всемъ общественномъ устройствѣ, и всего болѣе,—въ семьѣ, въ частной жизни, около очага, въ поведеніи, въ нравственности.

Республика, остающаяся при монархическомъ устройствѣ и съ монархическими нравами, всегда можетъ сдѣлаться монархіей

или, еще хуже, попасть подъ деспотическую власть плута или солдата, подъ самовластіе предательскаго, но самодержавнаго собранія, подъ гнетъ продажнаго министерства и его агентовъ.

Для того, чтобъ еще яснѣе представить, въ чемъ состоитъ разница истинной, дѣйствительной, соціальной республики въ самомъ дѣлѣ отъ переходной, представительной, монархической, представимъ во всей чистотѣ, въ послѣднемъ выраженіи его идеаль общественаго устройства, къ которому стремится современный человекъ, и посмотримъ, въ чемъ его существенная разница съ идеаломъ - - - - -, который весь раскрытъ и исчерпанъ исторіей.

Въ - - - - - народъ управляется, въ - - - - - онъ управляетъ своими дѣлами. Типъ - - - - —отецъ, пекущійся о дѣтяхъ хозяинъ, занимающій своихъ работниковъ, опекунъ, защищающій своихъ питомцевъ. Типъ - - - - —свободная артель, братья, имѣющіе общее дѣло и одинакое участіе.

- - - - - непремѣнно должна быть основана на священномъ, неприкосновенномъ авторитетѣ; этотъ авторитетъ идетъ, спускаясь до самаго народа, сообщая каждой степени общественной іерархіи долю высочайшей власти. - - - - -

- - - - - необходимы торжественность и блескъ; величественная представительность и пурпуръ такъ же нужны - - -, какъ риза—священнику. - - - - - власть должна на каждомъ шагу заявлять себя, быть очевидной, встрѣчаться, мѣшать; она должна безпрестанно напоминать, что - - - несостоятельно противъ нея, что оно - - - - - и обязано жертвовать ей лучшей частью своей и, главное, во всемъ покоряться.

Уничтоженіе авторитета—начало - - - - - . Первое условіе ея—свободные и самобытные люди; авторитетъ убиваетъ независимость разума. - - - - - нѣтъ нужды въ другихъ началахъ, какъ въ необходимыхъ началахъ всякаго общежитія; она основана на тѣхъ существенныхъ, всеобщихъ и необходимыхъ условіяхъ, безъ которыхъ всякое общество дѣлается невозможнымъ. Эти условія не потому обязательны, что люди живутъ въ - - - - - , а потому, что они живутъ вмѣстѣ, потому, что ихъ *разумно* нельзя отвергнуть.

Разумъ, дѣйствительно, обязательенъ, и логика вовсе не зависитъ отъ капризовъ и, несмотря на это, нѣтъ ничего противоположнѣе авторитету, какъ логика. Республика, которая требуетъ больше этихъ неоспоримыхъ, необходимыхъ условій, перестаетъ быть республикой или еще находится въ развитіи; такая республика должна имѣть инициативу въ правленіи, а не въ людяхъ, что именно составляетъ начало монархіи. Оттого въ монархіяхъ управленіе такъ трудно и сложно; оно представляетъ не форму для общей дѣятель-

ности, а самую дѣятельность; - - - - -
 - - - - - . Чѣмъ
 свободнѣе лицо, община, городъ, провинція, тѣмъ меньше дѣла го-
 сударству; три четверти труда, обременяющаго нынѣ правительства,
 будутъ дѣлаться сами собой, безъ всякаго участія и вѣдѣнія цен-
 тральнаго управленія. Монархическая власть принимаетъ добровольно
 эту ношу на свои плечи, она этимъ хранитъ и упрочиваетъ свою
 власть надъ подданными.

Монархія основана на дуализмѣ. Правительство никогда не
 должно, не можетъ совпасть съ народомъ. Правительство—прови-
 дѣніе, священный чинъ, творящій духъ; народъ—страдательная масса,
 послушное стадо добраго пастыря. Монархія—по преимуществу тео-
 кратія: она держится на божественномъ правѣ, она всегда поддер-
 живала религію, и религія всегда поддерживала монархію. Безъ
 Іеговы, Юпитера—нѣтъ царя, земной царь предполагаетъ небеснаго.
 И отчего же, въ самомъ дѣлѣ, людямъ не повиноваться одному,
 когда природа, когда вся вселенная повинуется Богу?

- - - - -
 - - - - - повиновеніе, снимая отвѣтственность, снимаетъ съ тѣмъ
 вмѣстѣ и нравственность; авторитетъ отрицаетъ человѣческое до-
 стоинство и самобытность такъ, какъ вѣрованіе отрицаетъ мыш-
 леніе. Въ - - - - - одно лицо государя нравственно, потому что
 оно одно свободно.

Внутреннее начало - - - - - —совокупность, имманенція, а
 не дуализмъ; у нея нѣтъ духовныхъ и мірянъ, высшихъ и низшихъ,
 надъ ней ничего нѣтъ; ея религія—человѣкъ, ея Богъ—человѣкъ,
 и нѣту Бога развѣ его. Потому-то она и предполагаетъ человѣка
 нравственнымъ, т. е. способнымъ къ общежитію. Свободному че-
 ловѣку никто не даетъ велѣній, онъ самодержавенъ такъ, какъ
 и всѣ другіе самодержавны. Отсутствие высшаго порядка, тяготя-
 щаго авторитетомъ, сильнаго властью,—начало человѣческой нрав-
 ственности, отвѣтственности за дѣла. Нравственность тутъ стано-
 вится естественной формой человѣческой воли, фізіологическимъ
 единствомъ между человѣческимъ желаніемъ и наружнымъ міромъ,
 обществомъ. Ей не нужно - - - - - пальца, который указываетъ
 дорогу, грозитъ, унижаетъ. Въ этомъ отношеніи - - - - - по-
 хожа на природу. Покорность природы законамъ часто приводятъ
 въ примѣръ, забывая, что въ природѣ законъ нераздѣленъ съ
 исполненіемъ, что она сама—осуществленный законъ; законъ, какъ
 отвлеченіе, существуетъ только въ человѣческомъ умѣ.

Въ природѣ все независимо и все въ соотношеніи, все само
 по себѣ и все соединено; природа вовсе не ищетъ исполнять за-

коны; напротивъ, гдѣ только можетъ, минуетъ ихъ; о природѣ можно сказать то, что Прудонъ сказалъ объ исторіи: *c'est la révolution en permanence* ¹⁾). Въ природѣ такъ, какъ въ - - - - - , правительство спрятано, его не видать, правительство—ensemble, его нѣтъ отдѣльно, оно безпрестанно становится и распускается. Идея правительства, отдѣльнаго отъ народа, стоящаго выше народа и имѣющаго призваніе вести его—идея духа, устраниющаго грубую матерію; это—егова, это - - - - - , символъ провидѣнія на землѣ—именно то, противъ чего борется - - - - - .

- - - - - —не школа, не символика; ей не нужно представлять себя правительствомъ, такъ какъ разуму это не нужно; его существованіе и дѣйствіе не представляетъ его, а заявляетъ. Мысль переноса своего самодержавія на избранныхъ—мысль монархическая - - - - - . Свободный человѣкъ не можетъ отдѣлаться отъ своего - - - - - , какъ отъ своего дыханія, ни быть рабомъ своего голоса. Представительство—тоже монархія, но - - - - - . Въ - - - - - есть повѣренные, делегаты; они необходимы по чисто матеріальнымъ причинамъ разстояній, занятій и пр. Но совокупность ихъ не можетъ представлять верховной власти: они творятъ волю пославшихъ, они не выше народа, надъ головою свободныхъ людей ничего нѣтъ, ни даже какого-нибудь окаменѣлаго уложенія законовъ, охраняемыхъ черными левитами паркета и пестрыми кшатріасами казармъ.

Управленіе въ - - - - - , это—волостное правленіе, народная контора, канцелярія общественныхъ дѣлъ, регистратура народной воли, полицейскій распорядокъ, исполненіе...

Монархія не можетъ существовать безъ сильной централизаціи; республикѣ централизація совсѣмъ не нужна, республиканское единство основано на общей выгодѣ, на общемъ развитіи, на соплеменности, на нравахъ, на крови, а если она не имѣетъ этихъ основаній, то и нѣтъ нужды въ искусственномъ единствѣ, въ неестественной централизаціи. Случайно соединенныя части могутъ распасться, взойти въ составъ иныхъ соединеній, болѣе родственныхъ, или остаться самобытными. Всѣ искусственныя соединенія ни къ чему не ведутъ,—они отвѣчаютъ временнымъ потребностямъ. Развѣ Пруссія и Австрія составляютъ дѣйствительно націи, единства?

Насъ пугаетъ большая воля, оттого что мы боимся людей, мы ихъ считаемъ несравненно хуже, нежели они есть— - - - - . Мы спимъ спокойно, зная, что есть сильное правительство, т. е. такая власть, которая, - - - - -

¹⁾ Это—безпрерывная революція.

 Человѣкъ, по преимуществу,—«животное общественное», какъ выразился Аристотель: ему общественность легка. Мы знаемъ, какъ у насъ крестьяне распоряжаются въ общинѣ, какъ работники ведутъ свои артели: у нихъ нѣтъ никакихъ дѣлъ, доходящихъ до полиціи, оттого что все дѣлается *просто*, безъ перьевъ, протоколовъ, чиновниковъ, квартальныхъ.

Надобно имѣть нѣкоторое довѣріе къ людямъ и не требовать отъ нихъ невозможнаго и вздора, ни натянутыхъ добродѣтелей, ни неестественнаго самоотверженія, и они будутъ и любить и не дѣлать зла.

Если вы думаете, что въ предшествующемъ есть доля истины, то я спрашиваю васъ, можетъ ли *наружная* республика удовлетворять внутреннему смыслу ея, не переходя въ ту *внутреннюю*, дѣйствительную республику, которую называютъ соціальной?

Съ мѣсяць тому назадъ въ засѣданіи прудоновскаго банка были произнесены замѣчательныя слова, тѣмъ болѣе замѣчательныя, что ихъ произнесъ не негодующій юноша, не оскорбленный реакціей французъ, а спокойный гражданинъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ. «Я гражданинъ республики, — сказалъ Брисбенъ, — существующей болѣе семидесяти лѣтъ при самыхъ блестящихъ условіяхъ; но я скажу вамъ откровенно, потому что вамъ это нужно знать,—республика вамъ не поможетъ (онъ говорилъ работникамъ). Все, что политическая республика можетъ дать, она дала въ Америкѣ, но она безсильна осуществить то общественное состояніе, къ которому стремится современный человѣкъ».

Согласитесь разъ навсегда, что - - - - - —неминуемое начало освобожденія народовъ; это—первый шагъ, безъ котораго *не можетъ быть* второго. Какъ бы - - - - - ни была хорошо устроена она тѣснѣе ограничиваетъ кругъ развитія; стало быть, когда рѣчь идетъ о - - - - - , ее никто и не сравниваетъ съ - - - - - ; она надъ - - - - - имѣетъ уже то преимущество, что ей присущъ элементъ движенія, перемѣны и, слѣдственно,—надежды.

----- . Оттолкнувъ всякое сравненіе съ - - - - - и для человѣческаго достоинства, мы, однако, должны знать, что само-

по-себѣ слово «республика» чрезвычайно неопредѣленно и тягуче; говоря «республика», мы еще ничего не сказали, кромѣ отрицанія наслѣдственной власти и признанія *какою-нибудь* участія народа въ общественныхъ дѣлахъ.

Именно такая республика теперь во Франціи: она освободила государство отъ орлеанской династіи, но не освободила лицо отъ государства; она, напротивъ, оставила лицо слабымъ и безпомощнымъ передъ призракомъ репрезентации, облеченной въ царскую порфиру. Она можетъ сдѣлаться сносною, оставаясь при томъ же монархическомъ принципѣ; но дойти до «истиннаго равенства, до свободы», какъ говоритъ Брисбенъ, не можетъ. Все, что могла дать конституціонная республика въ разумнѣйшемъ развитіи своемъ, все осуществилось по ту сторону океана. Сѣверо-Американскіе Штаты, что ни толкуютъ болѣзненно романтическія души, которымъ все простое и здоровое противно,—государство возмужалое, трезвое, умное. Политическая республика, къ которой стремился либерализмъ XVIII столѣтія, тамъ водворена; права, о которыхъ столько говорили французы, тамъ пріобрѣтены. Вы можете быть оскорблены въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ общественнымъ мнѣніемъ, ихъ образомъ жизни, но не властью; тамъ никогда не считали правительственное святымъ; тамъ почти нѣтъ бюрократіи—этого позорнаго бича, обмокнутаго въ чернила, которымъ на дняхъ хвастался спяна король прусскій; тамъ нѣтъ шпіонства, нѣтъ марсоманіи и бѣшенства къ мундирамъ; тамъ не понимаютъ, что такое стѣсненія книгопечатанія,—и при всемъ томъ гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ говоритъ работникамъ: «Республика, существующая на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ она существуетъ, не имѣетъ средствъ помочь вамъ; тутъ предѣлъ, далѣе котораго она не идетъ».

Въ XVIII столѣтіи республика была пламеннымъ вѣрованіемъ, религіей; ея имя тогда была цѣлая революція. Въ 92 году республика являлась на горизонтѣ свѣтлою и торжественною вѣстью освобожденія, какъ нѣкогда царство небесное. Разумѣется, ни царство небесное, ни мечтаемая республика не могли осуществиться такъ, какъ ихъ ожидали современники; въ самомъ водвореніи церкви и ниспроверженіи трона лежало освобожденіе людей отъ доли прошедшихъ узъ; но скоро люди наткнулись на предѣлъ.

Бабѣфъ ¹⁾ прежде, нежели сложилъ голову на плаху, сказалъ

¹⁾ Франсуа-Эмиль, прозванный *Гракхомъ*; яркій республиканецъ-коммунистъ (Бабувизмъ); присужденъ директоріей къ смертной казни, но до нея самъ закололъ себя кинжаломъ.

Франціи, что ея революція—только начало, l'avant-coureur ¹⁾ другого переворота и что этотъ грядущій переворотъ дотронется не до формъ, а до сущности, до нервной пульпы гражданскихъ обществъ. Его не поняли да и тогда не время было понимать его: развитія силы первымъ освобожденіемъ были еще такъ велики, что разгуль ихъ чуть не разбилъ всю старую Европу и что двадцать лѣтъ безпрерывныхъ войнъ едва могли привести Францію въ русло. Съ наполеоновской эпохи прошли вѣка,—безуміе Бабѣфа, безуміе Сень-Симона и Фурье выросли, съ своей стороны, въ религію.

Революція двадцать четвертаго фѣвраля была, дѣйствительно, соціальная; отсталые люди, люди тупые и злонамѣренные свели ее на политическую; она вышла блѣдною, потому что была ниже обстоятельствъ, потому что была копіей, а не оригиналомъ. Вотъ отчего сказанія о времени первой революціи при двадцатомъ повтореніи все также захватываютъ душу, отчего въ понятіи каждаго изъ насъ навѣки врѣзались пластическія лица, событія, слова, взятіе Бастиліи, отвѣтъ Мирабо, 10 августа, Дантонъ, Робеспьеръ и всѣ эти гиганты войны и гиганты цивилизма. Вспомните рядомъ съ ними эти стертые, блѣдныя половинчатые, осторожныя личности Ламартина и К^о,—вамъ сдѣлается смѣшно. Не думайте, чтобъ одно отдаленіе придало тѣмъ ихъ величіе; нѣтъ, этого не объяснишь стихомъ «что пройдетъ, то будетъ мило»; черезъ сто лѣтъ члены временнаго правительства будутъ болѣе забыты, нежели второстепенные дѣятели девяностыхъ годовъ; въ то время, какъ личность Сантерра ²⁾, Эксельмана ³⁾ будетъ жива для дальнѣйшаго потомства, имена прошлогоднихъ львовъ революціи едва останутся въ памяти какого-нибудь компилятора. Событія бывають велики, когда они совпадаютъ съ высшей потребностью своего вѣка; тогда люди приносятъ на совершеніе всю силу свою,—ихъ дѣяніе до того исчерпываетъ на ту минуту всю сознанную возможность дѣйствованія, что за предѣлами его ничего не видать, что душа удовлетворена. Апостолы и якобинцы вѣровали, что они спасаютъ міръ, что ихъ спасеніе есть единое возможное, и оттого, дѣйствительно, спасли его. Разумѣется, съ абсолютной точки зрѣнія они не были правы, они увлекались, ошибались въ размѣрѣ дѣлаемаго, но это увлеченіе и эти ошибки находятся во всемъ геніальномъ и великомъ. Для того, чтобъ быть дѣятелемъ въ исторіи, скорѣе надобно нѣсколько моманіи, сумасшествія, нежели холоднаго безпристрастія; люди, за-

¹⁾ Предвѣстникъ.

²⁾ Антуанъ-Жозефъ, главнокомандующій парижской національной гвардіей въ великую революцію.

³⁾ Гр. Реми-Жозефъ, храбрый франц. маршалъ.

хватившіе власть послѣ 24 февраля, конечно, не были сумасшедшіе; они заслуживаютъ премію за умѣренность и благоразуміе, но за это не дается лавровыхъ вѣнковъ, а много-много — Владиміра въ петлицу.

Провозглашеніе республики было необходимо. Соціализмъ предполагалъ, ставилъ, требовалъ республику, какъ необходимую гражданскую ступень, и шелъ далѣе въ критикѣ, въ отрицаніи существующаго и въ довѣрїи къ будущему, къ человѣку, къ жизни; его протестъ было пророчество. Обвиненіе, что соціализмъ не выработалъ своего воззрѣнія, не развилъ своихъ ученій, а принялся ихъ осуществлять, школьно и пусто; общественные перевороты никогда не бывають готовы передъ борьбою; готово бываетъ отрицаніе стараго; борьба — дѣйствительное рожденіе на свѣтъ общественныхъ идей: она ихъ дѣлаетъ живыми изъ абстракціи, учрежденіями изъ теоретическихъ мыслей; готовы и выработаны являются утопіи — Платонова республика, Томаса Мора, царство небесное, весь божїя христіанъ. Напротивъ, Церковь вовсе не была готова въ Евангелїи, а развилась временемъ, борьбою, соборами. Пока соціализмъ былъ теоретическою мыслью, онъ дѣлалъ окончательныя построенія (фаланстеръ), выдумывалъ формы и костюмы; какъ скоро онъ сталъ осуществляться, сенъ-симонизмъ и фурьеризмъ исчезли, и явился соціализмъ коммунизма, т. е. борьбы на смерть, соціализмъ Прудона, который самъ недавно сказалъ, что у него не система, а критика и негачія.

Зачѣмъ, — говорятъ люди очень добросовѣстные, — зачѣмъ соціализмъ усложнилъ вопросъ? Надобно было дать время упрочиться республикѣ, а потомъ начать пропаганду соціализма. Онъ многихъ испугалъ, отстращалъ отъ республики. Съ другой стороны, работники не хотять драться просто за республику. Можно быть очень добросовѣстнымъ человѣкомъ и плохимъ историкомъ, еще худшимъ психологомъ. У человѣчества другая экономія, нежели у кухарокъ: оно починаетъ всѣ круги сыра разомъ, а не ждетъ, чтобъ первый былъ съѣденъ; оно паритъ со всѣхъ концовъ. Когда является въ сознаніи новая великая мысль и поражаетъ сильнѣйшія разумѣнія своего времени, ее остановить или задержать невозможно; массы какъ будто предчувствуютъ ее; каждое слово, которое въ другое время прошло бы незамѣченнымъ, беспокоитъ, волнуетъ. И кто же, въ самомъ дѣлѣ, можетъ сказать людямъ, какъ Гамлетъ говорилъ себѣ: «Сердце, погоди, не бейся; я выжду, что скажетъ Горацио»? Развѣ мысль не такой же фактъ, какъ всѣ другіе факты? Развѣ она не имѣетъ своего необходимаго рожденія и развитія, непреложнаго, неотвратимаго? Соціализмъ долженъ былъ поднять свое знамя

при первомъ кликъ республики и заявить свое существованіе; обманутый два раза временнымъ правительствомъ, обманутый собраніемъ, онъ потребовалъ сначала словомъ, потомъ баррикадами исполненія обѣщаннаго. Ему отвѣчали четырехдневной канонадой; онъ былъ побѣжденъ, и посмотрите, республика не можетъ держаться, сохраненіе *такой* республики не имѣетъ больше интереса для народа. Да и республика эта, сама по себѣ, не имѣетъ мысли, или укажите ее въ конституціи 48 г., въ засѣданіяхъ собранія, въ журналахъ не соціальныхъ... Я ничего въ мірѣ не знаю жалче положенія «Реформы»:

И сбылись, мой другъ, пророчества
Пылкой юности ея...

и ей нечего сказать..... Тамъ, гдѣ-то борьба, великія сомнѣнія, работа будущаго, а тутъ въ камерѣ, правительствѣ, въ журналахъ жуютъ себѣ жвачку, пережевывая ее въ сотый разъ. Прудонъ, Пьеръ Леру, Консидеранъ не идутъ въ примѣръ, потому что ихъ не слушаютъ, они—иностранцы въ собраніи, ихъ слова вызываютъ только вопль негодованія.

«Да республика организовала бы свободу»... Что такое свобода, господа Горы? — Не та ли эта свобода, которая, по предложенію Паскаля Дюпра ¹⁾, отдала Парижъ въ осадное положеніе? Нѣтъ, время либеральной партіи и политическихъ республиканцевъ прошло: имъ нечего сказать, имъ нечего дѣлать, ихъ республика оттого и не стоитъ, что не можетъ стоять,—она обойдена, народу до нея нѣтъ дѣла.

Работникъ, отчаянно дравшійся 24 февраля, ждалъ не того. Это былъ своего рода *journée des dupes* ²⁾. Какъ только хмель торжества прошелъ, всѣ проснулись удивленные, испуганные; люди, хотѣвшіе ронять тронъ, вспомнили, что они его уронили; люди, хотѣвшіе политической республики, вспомнили, что они лепетали всенародно о социализмѣ; красные республиканцы бѣсились, что выпустили изъ рукъ власть, что допустили правительство слабое и ретроградное; работники оплакивали свое знамя, оскорбленное Ламартиномъ для удовольствія мѣщанъ. Словомъ, никто не видалъ исполненія своей мысли, никто не былъ доволенъ; одни съ досадой вспоминали, что надѣлали, другіе—съ ужасомъ, на чемъ остановились. Смѣшеніе понятій росло и дошло, наконецъ, до того, что въ

¹⁾ Франц. политическій дѣятель и писатель; умѣренный республиканецъ, членъ учредительнаго собранія.

²⁾ День обманутыхъ, «проведенныхъ».

июньскіе дни враги нападали другъ на друга съ ожесточенной злобой и при крикѣ «Vive la République!». Съ обѣихъ сторонъ это было страшнымъ доказательствомъ, что слово «республика» не могло удовлетворять новой борьбѣ, что борьба и вопросъ перешли за предѣлы этого слова.

Это слѣдовало понять прежде кровавыхъ событій временному правительству, но, лишенное инициативы и энергіи, оно было похоже не на диктатора, а на цѣломудренного человѣка, который на-шелъ корону и держитъ ее въ рукахъ, спрашивая каждаго встрѣча-наго, не онъ ли обронилъ ее и не имѣетъ ли онъ надлежащіе до-кументы, чтобъ взять ее назадъ. Это было честно, но очень глупо. Два мѣсяца реакція не вѣрила своимъ глазамъ; люди биржи и интригъ были побѣждены наивностью Ламартина, они не могли понять, какъ можно, имѣя такую власть, никуда не употребить ее. Когда же они убѣдились, что власть эта только и употребляется на удержаніе источника, который ее питалъ, тогда, заглушая внутренній хохотъ, они прокричали 4 марта свое «Vive la République!». Люди положи-тельные, они поняли, что хлопотать о той или другой династии не стоитъ труда и что съ такой республикой первенство буржуазіи не погибло.

ПИСЬМО ДВѢНАДЦАТОЕ.

Sei Republica tu, Gallica greggia?..

Alfieri (Misogallo) ¹).

Ницца, 10 іюля 1850 г.

Наконецъ, я опять въ Ниццѣ,—въ Ниццѣ теплой, благоухан-ной, тихой и теперь совершенно пустой. Два года съ половиной тому назадъ я едва обратилъ вниманіе на нее. Тогда я еще искалъ людей, большіе центры движенія, дѣятельности,—многое было мнѣ ново, многое занимало. Полный негодованія, я еще примирялся; пол-ный сомнѣній, я находилъ еще надежды въ моей груди и торопился оставить маленькій городокъ, едва бросивъ разсѣянный взглядъ на его красивыя окрестности. Торжественный гуль итальянскаго *про-бужденія* пробѣгалъ тогда по всему полуострову,—я рвался въ Римъ.

Это было въ концѣ 1847 г... А теперь я прихожу въ Ниццу съ потупленной головой «голубя-путешественника», прося одного

¹) Республика ли ты, галльская масса?.. Альфіери (Мизогалло).

покою въ ея безмятежной пустотѣ, удаляясь отъ трескучей дѣятельности большихъ городовъ, такъ же ни къ чему не ведущей на Западѣ, какъ безпечная праздность на Востокѣ.

Долго думая, куда укрыться, гдѣ найти отдыхъ, я избралъ Ниццу не только за ея кроткій воздухъ, за ея море, а за то, что она не имѣетъ никакого значенія,—ни политическаго, ни ученаго, ни даже художественнаго. Мнѣ менѣе не хотѣлось ѣхать въ Ниццу, нежели всюду, и я доволенъ ею. Это — мирная обитель, въ которую я отхожу отъ міра сего, пока мы не нужны другъ другу. Счастливымъ ему путь! Онъ довольно меня мучилъ, я не сержусь на него, онъ не виноватъ, но не имѣю больше ни силъ, ни охоты дѣлать его свирѣпыя игры, его пошлый отдыхъ.

Это вовсе не значить, что я совсѣмъ посхимился, далъ обѣтъ, зачатіе: я вышелъ изъ тѣхъ лѣтъ,—да и родъ человѣческой вышелъ изъ нихъ,—когда такія шутки были въ ходу; я не считаю себя въ правѣ кабалить мое будущее... Нѣтъ, я поступилъ гораздо проще: я отошелъ въ сторону отъ непогоды и долгаго ненастья, не видя средствъ остановить его.

И было отчего уйти въ лѣсъ, безъ распоряженій Бароша и Карлье. Когда я подумаю, что за жизнь влачилъ я въ Парижѣ въ послѣднее время, мной овладѣваетъ тоскливое безпокойство и страхъ. Я вспоминаю объ ней, какъ объ недавней хирургической операціи, и мнѣ кажется, что снова чувствую приближеніе кривыхъ ножницъ и зонда къ наболѣвшему мѣсту. Съ утра до ночи всѣ стороны души были оскорбляемы грубо, нагло, дерзко. Одинъ взглядъ на журналы и пренія въ собраніи отравлялъ цѣлый день.

Нѣтъ, это не роялизмъ и не консерватизмъ довелъ этихъ людей до такого растлѣнія всякаго нравственнаго чувства, всякаго человѣческаго достоинства. Совсѣмъ напротивъ, эти люди довели роялизмъ и консерватизмъ до такого безстыднаго цинизма. Роялизмъ—своего рода общественная религія: онъ не исключаетъ ни доблести, ни благородства; его вина—въ ограниченности и несовременности; консерватизмъ—политическая теорія, старческой образъ мыслей, но далеко не лишенный чувства стыда, чести. Ни Страффордъ, ни Малербъ ¹⁾, ни англійскіе тори нисколько не были похожи на нынѣшнихъ орлеанистовъ и елисейцевъ. Депутаты, литераторы, журналисты «великой партіи порядка» такъ перемѣшались съ грязными орудіями власти, которыхъ нельзя уже оскорбить не только сло-

¹⁾ Вѣроятно, описка — нужно Мальзербъ (Malesherbes) — бывший министръ Людовика XVI и официальный защитникъ короля во время суда его конвентомъ.

вомъ, но и рукой, что не знаешь ни разу, имѣешь ли дѣло съ человекомъ или со шпиономъ.

Большинство камеры и консервативные журналы—вѣрные органы не роялизма, а того поколѣнія французовъ, которое, родившись подъ казарменнымъ гнетомъ имперіи, вполнѣ расцвѣло подъ зонтикомъ короля-гражданина. Оно не вѣритъ въ христіанство, оно не вѣритъ въ королевскую власть, но оно знаетъ опасность свободы, но оно хочетъ наслаждаться, хоть одно десятилѣтіе еще. И вотъ отчего журналисты порядка представляютъ доносчиковъ ангелами, хранящими порядокъ и спасающими общество. И вотъ отчего одинъ изъ опричниковъ порядка наивно защищался въ своей брошюрѣ тѣмъ, что онъ ходилъ на революціонеровъ, какъ на охоту, и бралъ хитростью, гдѣ нельзя было взять силой; а рецензентъ, воспѣвшій его, уговариваетъ схватить вилы и серпы и избивать социалистовъ по домамъ и полямъ. Въ то же время органъ, болѣе порядочный—«Journal des Débats», умиляется предъ самоотверженной службой доблестнаго корпуса жандармовъ, а Assemblée Nationale называетъ императора Николая Агамемнономъ и страстно зоветъ его итти на Европу.

Защитники порядка съ какой-то болѣзненной горячностью напрашиваются на самый грубый деспотизмъ, лишь бы власть обезпечила неприкосновенность стяжанія. Они изъ-за этого протянули руку всѣмъ правительствамъ, ненавидящимъ Францію; они изъ-за этого отдали дѣтей своихъ на воспитаніе іезуитамъ, которыхъ сами терпѣть не могутъ; они изъ-за этого дошли до того героизма подлости, что хвастаются публично доносами такъ, какъ ихъ публичныя сестры хвастаются своимъ развратомъ.

Образованность не обяываетъ французскихъ консерваторовъ ни къ чему; съ этой стороны они совершенно свободны; при своихъ риторическихъ, учтиво стереотипныхъ и чувствительно моральныхъ фразахъ они свирѣпы, безжалостны и безраскаянны. Французы вообще любятъ тѣснить. Вы знаете, какъ они въ прошломъ вѣкѣ «освободили» Италію и какую ненависть возбудили въ Испаніи. Но это ничего передъ тѣмъ, каковы они дома въ междоусобіи; тутъ они дѣлаются кровожадными звѣрями, мясниками вареоломеевской ночи, сентябрьскихъ дней, іюньскими застрѣльщиками.

Я съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ любопытствомъ,—съ тѣмъ любопытствомъ, съ которымъ мы смотримъ, какъ кормятъ гіену или какъ *boa constrictor* глотаешь живыхъ кроликовъ,—слѣдилъ за преніями о депортации.

Не думайте, что я хочу говорить о нелѣпости осуждать людей

на вѣчную тюрьму за поступки, сдѣланные черезъ нѣсколько дней послѣ переворота, когда умы еще волнуются, а учрежденія не установились,—нѣтъ. Я знаю, какъ враги судятъ и осуждаютъ своихъ враговъ,—чего тутъ ожидать лучшаго? Но колоссально то, что собраніе, состоящее изъ семисотъ человѣкъ, возвращается черезъ два года въ казематы, въ которыхъ гибнутъ ихъ противники, для того, чтобъ удесятерить наказаніе.

Прежде всего надобно знать, что такое французскія тюрьмы. Одно позволеніе видаться съ другими арестантами и вмѣстѣ гулять дѣлаетъ ихъ сносно Шпильберга, Шпандау или Бобруйска. Въ центральной тюрьмѣ Клерво люди мерли съ голоду, въ Монъ-Сенъ-Мишелѣ, въ Дулансѣ, въ Бель-Илѣ бросаютъ за вздорныя провинности заключенныхъ съ связанными руками въ кануру безъ оконъ; знаменитый Бланки былъ однажды избитъ въ тюрьмѣ. Шильонская темница, построенная савойскими герцогами въ среднихъ вѣкахъ, покажется танцевальной залой передъ château d'Iff, возлѣ Марселя, гдѣ содержались юньскіе инсургенты. Но если французскія тюрьмы стоятъ Шпильберга, то Нука-Гива ¹⁾ далеко превосходитъ Сибирь. Въ Сибири климатъ свирѣпый, но не убійственный; ссылаемые на поселеніе (на депортацію), а не на каторжную работу, не принуждены къ поурочному труду, какъ въ французскихъ пенитенціарныхъ колоніяхъ въ Алжирѣ.

Но министрамъ и представителямъ было мало Нука-Гивы, они выдумали на этомъ болотистомъ островѣ, обожженномъ тропическимъ солнцемъ, покрытомъ тучами москитовъ, построить экваторіальную Бастилію. И это не все: они хотѣли подвести всѣхъ прежде осужденныхъ подъ этотъ законъ, вопреки здравому смыслу и начальнымъ понятіямъ уголовного права.

Когда остатокъ совѣсти Одилона Барро возсталъ противъ этой неслыханной нелѣпости, когда раскаяніе за юньскую кровь вызвало Ламорисьера ²⁾ на трибуну, чтобъ предложить укрѣпленное мѣсто вмѣсто тюрьмы,—тогда надобно было видѣть этихъ ирокезовъ порядка, этихъ каннибаловъ религіи, этихъ шакаловъ добродѣтели и семейной жизни! Звѣриные звуки злобы вырывались изъ груди этихъ безчувственныхъ стариковъ, этихъ бездушныхъ адвокатовъ во время собиранія голосовъ. Потерявши два пункта, они съ бѣшенствомъ схватились за третій и отстояли его. Семьи не имѣютъ права итти въ депортацію; осужденный долженъ просить, *какъ ми-*

¹⁾ Одинъ изъ Маркизскихъ острововъ.

²⁾ Луи, франц. генераль, отличившійся въ Алжирѣ, и политической дѣятель.

лости, объ этомъ; министръ имѣетъ право отказать. «У политическихъ преступниковъ, у враговъ общества нѣтъ семьи», сказалъ одинъ изъ ораторовъ.

Какъ языкъ человѣческій нашель столько силы, чтобъ всенародно сказать это, какъ безстыдство могло воспитаться до этой поэзіи бездушія въ странѣ, гдѣ послѣдовательно въ полстолѣтіе всѣ партіи перебивали въ тюрьмѣ,—это тайна французскаго воспитанія...

Все это дѣлается для защиты общества, религіи, семьи.

Хорошо должно быть общество, защищаемое такими средствами. Общество, защищаемое Тьеромъ; религія, защищаемая Тьеромъ; семейство, защищаемое Тьеромъ!

Thierus salvator mundi, redemptor usuriæ et defensor proprietatis—ora pro nobis! ¹⁾

Бѣдный - - - - - —до чего тебѣ пришлось дожить!
Тьеръ сталъ твоимъ - - - - - !

А впрочемъ, Тьеръ—полнѣйшій представитель современнаго большинства, дерзкаго на видъ и смиреннаго на дѣлѣ, которое, остря и помирая со смѣху, ссылаетъ на поселеніе, сажаетъ на цѣпь, которое имѣетъ одного Бога—капиталъ и не имѣетъ боговъ развѣ его. Кто лучше можетъ представлять французскую партію порядка, какъ не Тьеръ—острякъ, сѣдой gamin, шалунъ, болтунъ, либераль, облитый ліонской кровью, вольнодумъ, продиктовавшій сентябрьскіе законы? Самая наружность Тьера—малорослаго старичишки, съ кругленькимъ брюшкомъ, на тоненькихъ ножкахъ, съ видомъ плута-дворецкаго, Фигаро,—типически выражаетъ буржуазную Францію.

Скорѣе отлейте его статую, статую въ очкахъ и въ полуфракѣ, и поставьте ее на іюньскую колонну,—пусть она переглядывается съ своимъ императоромъ на вандомской колоннѣ. Наполеонъ и Тьеръ—героическая эпоха восходящаго мѣщанства и эпоха ея тучнаго преуспѣянія!

...«Все это печально, дурно», говорили мнѣ демократы, страдающіе хронической надеждой и застарѣлымъ оптимизмомъ, «но не надобно временную остановку принимать за болѣе важное, нежели она есть. Наша побѣда близка, безумцы хотятъ коснуться до всеобщей подачи голосовъ... За свой голосъ народъ встанетъ, какъ одинъ человѣкъ».

Отняли всеобщую подачу голосовъ,—ни одинъ человѣкъ не

¹⁾ Тьеръ, спаситель міра, искупитель ростовщичества и защитникъ собственности,—молись за насъ!

двинулся, народъ остался въ томъ «торжественномъ и величавомъ покоѣ», о которомъ ему такъ натолковали и въ которомъ остается человѣкъ, когда его ограбятъ, довольный, что не изуродовали. Странная борьба: всякій разъ одинъ и тотъ же побить, и мы знаемъ о его существованіи только потому, что онъ кричитъ отъ боли; это не борьба, а побѣда. Но чающіе воскресенія мертвыхъ демократы не унываютъ. «Это-то и прекрасно, говорятъ они, теперь-то правительство и сломить себѣ шею». Разумѣется, правительство когда-нибудь упадетъ,—все имѣетъ конецъ, особенно во Франціи...—да вы-то во всемъ этомъ что? Народъ не за правительство,—зачѣмъ клепать на него,—да и не за васъ.

Народъ не съ вами, потому что въ вашей свободѣ онъ не находитъ своей, потому что ваша борьба, борьба двухъ правительственныхъ формъ, не его борьба... Вы воображаете, что приобрѣли дѣло, когда произнесли слово, а народу дѣла нѣтъ до словъ. Народъ не съ вами, наконецъ, потому что вы должны быть съ нимъ. Вы должны изучить его стремленія, его желанія, а не онъ—давать свою кровь на ваши теоретическія попытки, на вашъ курсъ экспериментальной революціи. Вы видите, что прежней дорогой итти нельзя... Если же вы не хотите новыхъ путей, если же не можете переродиться, то сознайтесь откровенно, что вы—прошедшее, и доживайте спокойно вашъ вѣкъ, какъ историческая рѣдкость, какъ образчикъ иного времени, не усиливаясь ходить и мутить міръ послѣ смерти, какъ легитимисты, іезуиты, піэтисты.

Они называли это озлобленіемъ, отчаяніемъ; они находили доблестнымъ выдерживать свою роль и пытаться ставить на своемъ, хотя явнымъ образомъ не было мѣста, гдѣ ставить...

...Трудно издали вообразить себѣ, что дѣлается въ Парижѣ. Никакихъ гарантій,—этихъ бѣдныхъ небольшихъ гарантій, данныхъ притѣснительнымъ *code civil* ¹⁾, не существуетъ болѣе. Терроръ сальный, скрывающійся за угломъ, подслушивающій за дверью, тяготитъ какимъ-то чаднымъ туманомъ надо всѣмъ. Всякій мерзавецъ, который донесетъ на васъ какую-нибудь политическую небылицу, можетъ быть увѣренъ, что на другой день полицейскій комиссаръ съ двумя шпіонами явится къ вамъ осматривать бумаги. Семейныя тайны, дружескія сообщенія,—все перерыто рукою лакеевъ свѣтской инквизиціи, половина унесена и никогда не возвратится къ вамъ. Люди, имѣющіе или имѣвшіе политическое значеніе, не спятъ дома, прячутъ бумаги, запасаются визированными пассами. Всѣ боятся дворниковъ, комиссіонеровъ, трехъ четвертей знакомыхъ; письма при-

¹⁾ Гражданское уложеніе.

ходятъ подпечатанныя, на углахъ улицъ постоянно бродятъ подозрительныя фигуры въ сюртукахъ не по мѣркѣ, въ потертыхъ шляпахъ, съ подло-военнымъ видомъ и съ палкой въ рукѣ. Они прожогаютъ глазами прохожихъ и передаютъ ихъ своимъ партнерамъ.

Вечеромъ шайки шпионовъ отправляются на ловлю запрещенныхъ для продажи журналовъ; они всякими обманами выманиваютъ какой-нибудь номеръ «Événement»; городовые сержанты, спрятанные въ засадѣ, бросаются тогда на бѣдную лавчонку или столъ, единственное достояніе какой-нибудь старухи, пропитывающей семью. Сержанты хватаютъ старуху, старуха плачетъ, ее толкаютъ, ругаютъ и ведутъ къ префекту вмѣстѣ съ какимъ-нибудь обтерханымъ мальчикомъ 8 лѣтъ, который до вечера не ѣлъ и продалъ тайкомъ «Эстафету». Прохожіе видятъ и идутъ своей дорогой, не смѣя поднять голоса—будто въ Петербургѣ или въ Варшавѣ.

Въ тиранствѣ безъ тирана есть что-то отвратительнѣйшее нежели въ - - - власти. Тамъ знаешь, кого ненавидѣть, а тутъ—анонимное общество политическихъ шулеровъ и биржевыхъ торгашей, опертое на общественный развратъ, на сочувствіе мѣщанъ, опертое на полицейскихъ пиратовъ и на армейскихъ кондотьеровъ, душитъ безъ увлеченья, гнететъ безъ вѣры, изъ-за денегъ, изъ страха,—и остается неуловимымъ, анонимнымъ. У этой Вестъ-Гальской компаниі есть комиссаръ центральной полиціи ¹⁾, получившій шесть милліоновъ голосовъ въ память того, что его дядя тѣснилъ лѣтъ шестнадцать тотъ же народъ и усѣялъ поля всей Европы французскими трупами для того, чтобъ сдѣлать возможнымъ возвращеніе Бурбоновъ!

Кто онъ такое самъ?—Сколько я ни смотрѣлъ на его заспанное лицо, на его колоссальный носъ, на его мутные, пухлые глазки, на опустившіяся черты..., я только могъ высмотрѣть отрицательныя качества, но поэтому-то онъ и будетъ великъ, поэтому-то онъ и современенъ.

Дѣйствительно, нашему вѣку принадлежитъ честь производить такихъ прѣсныхъ, безхарактерныхъ, бесплодныхъ, стертыхъ людей, какъ Пій IX, король прусскій, Людовикъ-Наполеонъ и ихъ douen d'âge ²⁾ отставной австрійскій императоръ ³⁾.

...На самой границѣ Франціи еще разъ мнѣ припомнились всѣ черныя стороны ея.

Случайно взялъ я на желѣзной дорогѣ изъ Авиньона въ Мар-

¹⁾ Людовикъ-Наполеонъ.

²⁾ Старшій по возрасту.

³⁾ Фердинандъ I.

сель книгу одного изъ спутниковъ и, прочитавши страницъ двадцать, остановился. Я—не нервная женщина, вообще довольно читалъ и видѣлъ, чтобъ впередъ знать, что нѣтъ звѣрства, что нѣтъ злодѣйства, на которое люди не были бы способны... Но безъ преувеличенія, безъ фразъ: я положилъ книгу отъ внутренняго волненія. Это была какая-то новая исторія о «бѣломъ ужасѣ» (*terreur blanche*) въ 1815.

Въ Марсели роялисты вырѣзали, избили всѣхъ мамелюковъ съ ихъ женами и дѣтьми. Въ другомъ мѣстѣ католики напали на протестантовъ, выходящихъ изъ церквей, часть ихъ перебили и, раздѣвши до нага, таскали ихъ дочерей голыхъ по улицамъ... И все это дѣлалось подъ покровительствомъ центральныхъ комитетовъ, имѣвшихъ сношенія съ графомъ Артуа и получавшихъ свои приказанія изъ Марсанскаго павильона ¹⁾.

«Но развѣ якобинцы лучше поступали въ департаментахъ?» Нѣтъ, не лучше. Но это не только не утѣшительно, а напротивъ, это-то и приводитъ въ отчаяніе, тутъ-то и лежитъ неотразимое доказательство кровожадности французовъ. Съ которой бы стороны побѣда ни была, «оставьте всякую надежду»: они безжалостны и не великодушны, они рукоплещутъ каждому успѣху, каждой кровавой мѣрѣ; они всякій разъ идутъ далѣе самого правительства.

Schiavi or siam, si; ma schiavi almen frementi,
Non quali, o Galli, e il fosti et il siete vui,
Schiavi, al poter qual ch'ei pur sia, plaudenti ²⁾.

Марсель—одинъ изъ самыхъ противныхъ, прозаическихъ городовъ на югѣ. Лѣтомъ, если мистраль не сшибаетъ съ ногъ и не душитъ пылью, жаръ нестерпимый; гнилое испареніе поднимается отъ стоячей воды канала. Мнѣ хотѣлось, какъ можно скорѣе ухъхать, особенно послѣ прочтенной главы... Мнѣ все казалось, что я встрѣчаю на улицахъ актеровъ гнусныхъ сценъ: вотъ этотъ нищій, старикъ съ дикимъ лицомъ, непримѣтно ходилъ изъ дома въ домъ убивать бонапартистовъ; вотъ этотъ портной, кривой, нечистый и съ узкимъ лбомъ, вѣрно, рѣзалъ мамелюковъ или, можетъ, примется, во имя порядка, семьи и религіи, рѣзать *con amore* ³⁾ социалистовъ.

¹⁾ Гр. д'Артуа, потомъ франц. король Карлъ X; Pavillon Marsan—павильонъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ.

²⁾ Мы рабы теперь, да; но рабы, которые, по крайней мѣрѣ, не такіе галлы, какими вы были и есть. Содрогаются рабы, рукоплещущіе власти, какая бы она ни была!

³⁾ Съ любовью.

Когда я переѣхалъ Варскій мостъ ¹⁾, и пиѣмонтскій карабинеръ принялся записывать мой пассъ, мнѣ стало легче на душѣ. Я стыжусь, краснѣю за Францію и за себя, но признаюсь: я свободнѣе вздохнулъ—такъ, какъ во время оно вздохнулъ, переѣзжая русскую границу. Наконецъ, я вышелъ изъ этой среды нравственной пытки, постоянного раздраженія, бѣшенства, негодованія. По эту сторону я буду чужой всѣмъ, я не знаю и не дѣлю ихъ интересовъ, мнѣ дѣла до нихъ нѣтъ и имъ до меня. Здѣсь я могу быть отрицательно независимымъ, здѣсь я могу отдохнуть... до тѣхъ поръ, пока святая Германдада всемірной полиціи не начнетъ и въ Пиѣмонтѣ свой крестовый походъ.

Карабинеръ отдалъ мнѣ пассъ, я взглянулъ на визу — «visto da R. carab. al Ponte Varole il 23 Giugno» ²⁾. Итакъ, я оставлялъ Францію въ страшную годовщину 23 іюня. Я посмотрѣлъ на часы,—три-четверти пятаго. Два года тому назадъ въ этотъ часъ приготовлялась великая, роковая борьба. Я стоялъ подъ дождемъ, прислонясь къ дому, и смотрѣлъ на оканчивавшуюся огромную баррикаду на place Maubert,—сердце билось страшно и я думалъ, to be or not to be ³⁾...

Not to be, рѣшала судьба. Революція была побѣждена. Авторитетъ восторжествовалъ надъ свободой; вопросъ, потрясавшій Европу съ 1789 года, разрѣшился отрицательно. Стыдъ взятія Бастиліи смытъ канонадой на ея мѣстѣ, и на этотъ разъ взято предмѣстье св. Антонія. Послѣ іюньскихъ дней оставалось дѣлать частныя усмиренія, воспользоваться побѣдой, смѣло проложить ея послѣдствія. Главное было сдѣлано: монархическая республика защитила монархическій принципъ и смѣшала всѣ понятія.

Революція была побѣждена не въ Вѣнѣ, не въ Берлинѣ, а въ Парижѣ; не Англійей и Россіей, не эмигрантами и Бурбонами, а республиканцами во имя *порядка*. Какое порядка?—Того варшавскаго порядка, который стремилась завести правительственная редакція «Насіоналя», того, который окончился избраніемъ Людовика-Наполеона, взятіемъ Рима, осаднымъ положеніемъ, уничтоженіемъ всѣхъ свободъ и всѣхъ правъ... Итакъ, да здравствуетъ порядокъ! Іюньская кровь—новое помазаніе всѣмъ монархамъ, всѣмъ властямъ.

Съ бомбардированія парижскихъ улицъ, съ обмана инсургентовъ предмѣстья св. Антонія, съ разстрѣливанія гуртомъ, съ депортацийъ безъ суда не только начинается побѣдоносная эра порядка,

¹⁾ Рѣка Варъ отдѣляла Францію отъ Пиѣмонта.

²⁾ Визировано Р. карабинеромъ, у Варскаго моста, 23 іюня.

³⁾ Слова Гамлета: «быть или не быть».

но и опредѣляется весь характеръ предсмертной болѣзни дряхлой Европы. Она умереть рабствомъ, застоємъ, византійской болѣзью... она умерла бы и свободой, но оказалась недостойной этого. Донской казакъ въ свое время придетъ разбудить этихъ Палеологовъ и Порфирогенетовъ, если ихъ не разбудитъ трубный гласъ послѣдняго суда, суда народной Немезиды, который будетъ надъ нимъ держать социализмъ мести—коммунизмъ и на который аппелляцію не найдешь ни у Тьера, ни у Марраста,—да врядь тогда найдешь ли самихъ Марраста и Тьера. Коммунизмъ близокъ душѣ французскаго народа, такъ глубоко чувствующаго великую неправду общественнаго быта и такъ мало уважающаго личность челоуѣка.

Послѣ юньскихъ дней ни разу лучъ близкой надежды не проникаль въ мою грудь. Сколько мнѣ приходилось спорить съ друзьями! Они не хотѣли видѣть, что произошло,—они требовали, чтобъ я дѣлилъ ихъ упованія. Я готовъ былъ дѣлить съ ними опасности, гоненія, готовъ былъ даже погибнуть, не столько изъ мужества и самоотверженія, сколько отъ скуки и по пословицѣ: «на людяхъ и смерть красна», но добровольно заблуждаться, но остановиться передъ истиной и отвернуться отъ нея, потому что она безобразна, я не могъ.

И гдѣ тѣ, съ которыми я спорилъ? Всѣ разсѣяны, всѣ гонимы; кто не въ тюрьмѣ, тотъ давно переплылъ океанъ, другой удалился въ Каиръ, третій спрятался въ Швейцаріи, четвертый скитается въ Лондонѣ... Кто же былъ правъ?

...Но довольно! Передъ моимъ окномъ стелется Средиземное море, я стою на святомъ итальянскомъ берегу. Мирно вхожу я въ эту гавань и начерчу на порогѣ своего дома древнюю пентаграмму въ отжененіе всякаго духа тревоги и людскаго безумія... ¹⁾

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ.

Ницца, 1 іюня 1851 г.

Я исполнилъ свое намѣреніе и прожилъ въ моей пустынѣ годъ цѣлый, не только не писавши длинныхъ посланій, но и не читая писанныхъ другими. Смирненно сидѣлъ я у Средиземнаго моря и ждалъ погоды, но не дождался ничего хорошаго,—все стало еще хуже, суровый мистраль дуетъ и сильнѣе и холоднѣе. Напрасно

¹⁾ Знакъ пентаграммы на дверяхъ въ средніе вѣка выражалъ желаніе спастись отъ вѣдьмы и злыхъ духовъ.

радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ я пентаграмму: я не нашелъ желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ; отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ,—развѣ только квадратъ целлюлярной тюрьмы.

Скучное, тяжелое время и чрезвычайно пустое, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852; новаго ничего, развѣ какое личное несчастье доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни разсыпется, шина лопнетъ...

Впрочемъ, до іюня мѣсяца 1851 г. дотацились,—и то хорошо. Ну, друзья! ну, шагъ за шагомъ, дорога больно глиниста, песчана,—да, вѣдь, дѣлать нечего,—не останется же ночевать, чтобъ сократить ее; давайте снова перебирать старое.

Хотя перебирать его не легко.

Трудно говорить откровенно въ наше время и это вовсе независимо отъ полицейскихъ преслѣдованій, а оттого, что большинство людей, стоявшихъ съ нами на одномъ берегу, расходится болѣе и болѣе; мы идемъ, они не двигаются и становятся все раздражительнѣе отъ лѣтъ, отъ несчастія, и составляютъ *демократическое православіе*.

У нихъ учреждена своя радикальная инквизиція, свой цензъ для идей; идеи и мысли, удовлетворяющія ихъ требованіямъ, имѣютъ права гражданства и гласности,—другія объявляются еретическими и лишены голоса; это—пролетаріи нравственнаго міра: они должны молчать или брать свое мѣсто грудью, возстаніемъ. Противъ бунтующихъ идей является демократическая цензура, несравненно болѣе опасная, чѣмъ всякая другая, потому что не имѣетъ ни полиціи, ни подтасованныхъ присяжныхъ, ни судей въ маскарадныхъ беретахъ, ни тюремъ, ни штрафовъ. Цензура реакціи насильственно вырываетъ книгу изъ рукъ, и книгу всѣ уважаютъ; она преслѣдуетъ автора, запираетъ типографію, ломаетъ станки, и гонимое слово переходитъ въ вѣрованіе. Цензура демократическая губитъ нравственно,—обвиненія ея раздаются не изъ сѣѣзжей, не изъ прокурорскаго рта, а изъ дали ссылки, изгнанія, изъ мрака заточенія; приговоръ, писанный рукой, на которой виденъ слѣдъ цѣпи, отзывается глубоко въ сердцахъ, что вовсе не мѣшаетъ ему быть несправедливымъ.

У нашихъ старовѣровъ образовалось свое обязывающее преданіе, идущее съ 1789 г., своя связующая религія,—религія исключительная, притѣснительная. Они хранятъ ее въ изгнаніи, несмотря на преслѣдованія и гоненія,—это прекрасно, но мало способствуетъ къ развитію. Несчастье останавливаетъ, вѣрность былому мѣшаетъ

настоящему; гонимое преданіе, съ своимъ терновымъ вѣнкомъ на головѣ, ограничиваетъ сердце, мысль, волю.

Демократы-формалисты, точно Бурбоны, ничему не научились въ бѣдственную годину, начавшуюся на другой день послѣ февральской революціи. Оттого они такъ упорны въ своихъ мнѣніяхъ, не могутъ надивиться, откуда произошли всѣ ихъ неудачи, и добродушно объясняютъ ихъ частными ошибками, измѣнами.воротись они завтра изъ тюремъ и ссылки въ правительство, они будутъ продолжать свою невозможную *несоціальную* республику такъ, какъ эмигранты послѣ 1815 г. продолжали свою невозможную монархію-рококо.

Все то, что останавливается и оборачивается назадъ, каменьетъ, какъ жена Лота, и покидается на дорогѣ. Исторія принадлежитъ постоянно одной партіи—партіи движенія.

Революціонный консерватизмъ дошелъ въ послѣднее время до того, что хранительное начало въ немъ перевѣшиваетъ революціонное, и какъ ни парадоксально это покажется, а разрушеніе старыхъ общественныхъ формъ идетъ впередъ, благодаря реакціонерамъ и дѣйствительнымъ консерваторамъ.

Видя грозящую опасность, реакціонеры вышли за предѣлы, поставленные законами, и укрѣпились внѣ падающихъ стѣнъ собственной крѣпости, подтверждая тѣмъ самымъ и ускоряя близость ихъ паденія, а наши старовѣры изъ этихъ-то стѣнъ, готовыхъ рухнуть, и собираются построить свою республику.

Вотъ почему брошюра Ромье ¹⁾ гораздо революціоннѣе прокламацій центрального комитета.

Брошюра Ромье—крикъ ужаса, раздавшійся у гуляки, невзначай увидавшего въ окно столовой, гдѣ онъ такъ привольно пировалъ съ Верономъ, *красный призракъ*; увидавъ Медузу въ фригійской шапкѣ, ему показалось, что своды треснули, что столбы качались, изъ-за трещинъ ему мерещился огонь отъ поджога, головы на пикахъ, люди съ топорами, съ заскорузлыми руками, и онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, сталъ звать на помощь.

«Забудьте,—кричалъ онъ, ломая руки,—забудьте формальности легистовъ, *право ваше* всегда было пустое слово, а особенно теперь, когда надобно спастись и спасти свое послѣднее достояніе. Бейте на улицахъ, рѣжьте по домамъ, зовите на помощь русскія пушки, вѣнчайте цезаремъ того сержанта, который своимъ тесакомъ убьетъ послѣдняго социалиста»; «ваши теперешнія средства

¹⁾ Огюсть, франц. писатель; «Le spectre rouge» написано было противъ второй республики.

остановить катаклизмъ смѣшны (депортація, разстрѣливаніе, тюрьма, гильотина....), онѣ напоминають тѣхъ двухъ жандармовъ, поставленныхъ начальствомъ во время разлива Луары, съ приказомъ ѣздить шагомъ назадъ и впередъ по берегу и подаваться назадъ по мѣрѣ того, какъ вода будетъ понимать луга. То ли надобно теперь... Давайте боевые патроны—и грудью впередъ: у побѣдителя не спросятъ о правахъ!»

Народныя массы, вѣчно реальныя по инстинкту,—а, можетъ, и потому, что онѣ-то и составляютъ реальность,—не слушаютъ старовѣровъ. Онѣ смотрять имъ черезъ голову. Какъ, гдѣ научился народъ,—трудно сказать, только не изъ книгъ, народъ мало читаетъ. Онѣ не прочь иной разъ послушать демократическія рѣчи на банкетѣ такъ, какъ прежде любилъ слушать проповѣдниковъ; онѣ даже соглашается съ тѣми и съ другими отъ непривычки къ слову и увлекаясь фразой, но на его жизнь, на поведеніе это не имѣетъ никакого вліянія.

Народъ, какъ женщины, понимаетъ вещи особымъ процессомъ и особенно развитымъ тактомъ: до чего мы дорабатываемся длиннымъ теоретическимъ трудомъ, то онѣ схватываетъ вдругъ цѣликомъ и, повидимому, даромъ. Новая истина, поражающая его, если онѣ ее пойметъ, переходитъ не въ разсужденіе, а въ непосредственное дѣйствіе; его пониманіе больше страстное и художественное, нежели логическое. Долго дремлетъ народъ, тупо слѣдуя обычаю отцовъ, привычкѣ, повторяя принятое предшествовавшими поколѣніями; онѣ склоняется передъ духовной и свѣтской властью, не разбирая ее; онѣ ее принимаетъ за роковой фактъ, за неотвратимую и не подвластную ему силу такъ, какъ принимаетъ природу и ея явленія. У него мало досуга на отвлеченную работу, онѣ работаетъ непрерывно руками для завоеванія матеріальныхъ условій жизни. Иногда душу его волнуютъ темныя стремленія и неопредѣленная тоска, онѣ чувствуетъ возможность лучшей жизни и гнетущую несправедливость, но поколѣнія идутъ за поколѣніями, и онѣ все остается при неясной тоскѣ, при одномъ стремленіи; онѣ ничего не дѣлаетъ *повидимому*, но грудь его разѣдена и готова. Одно слово, одно событіе,—и онѣ рветъ, какъ Сампсонъ, свои путы; ринувшись впередъ, онѣ становится въ уровень революціонному вопросу своего времени.

Массы французскаго народа ничего не знали о политикѣ передъ 1789 г., но онѣ давно были недовольны; пробужденныя парижскимъ набатомъ, онѣ стали революціонными, особенно, въ городахъ; онѣ взяли Бастилю, а потомъ Тюльери, а потомъ Ліонъ, а потомъ всю Европу и, побѣжденные въ свою очередь, вовсе не

усмирились. Каждое поколѣніе имѣло свой юбилейный день революціи: 30 іюля 1830, 24 февраля 1848 года.

Но съ іюньскихъ дней народъ разстается съ революціонерами именно потому, что остается вѣренъ революціи. Призрачный міръ политики и внѣшнихъ перестроекъ тюрьмы вдругъ исчезъ для него и утратилъ весь интересъ свой. Людовикъ-Наполеонъ могъ десять разъ провозгласить себя императоромъ, легитимисты могли выписать своего Шамбора ¹⁾, орлеанисты—короновать графа Парижскаго ²⁾,—народъ не сказалъ бы ни слова. Трусость династовъ помѣшала имъ успѣть. А давно ли этотъ самый парижскій народъ бѣжалъ за ружьемъ, оскорбленный приказами Полиньяка, запрещавшими печатать книги, которыхъ онъ никогда бы не прочелъ, приказами Дюшателя, запрещавшими банкетъ, на который его никто не звалъ,—и арміи блѣднѣли передъ нимъ, и короли бѣжали. А теперь онъ сидитъ и, не двигаясь, смотритъ на гнусности, которыми явно подкапываютъ всѣ пріобрѣтенныя имъ права. Онъ далъ свои *три мѣсяца* голода,—его обманули, онъ не вѣритъ больше въ тѣхъ, которые оставили его въ день его возстанія.

Но революція не остановилась. вмѣсто неосторожныхъ попытокъ и заговоровъ, работникъ думаетъ крѣпкую думу и ищетъ связи не съ цеховыми революціонерами, не съ редакторами журналовъ, а съ *крестьянами*. Съ тѣхъ поръ, какъ грубая рука полиціи заперла клубы и электоральныя собранія, трибуна работниковъ перенеслась въ деревни. Эта пропаганда неуволима и глубже захватываетъ, нежели клубная болтовня.

Въ груди крестьянина собирается тяжелая буря. Онъ ничего не знаетъ ни о текстѣ конституціи, ни о раздѣленіи властей, но онъ мрачно посматриваетъ на богатаго собственника, на нотаріуса, на ростовщика, но онъ видитъ, что сколько ни работай, барышъ идетъ въ другія руки, и слушаетъ работника. Когда онъ его дослушаетъ и хорошенько пойметъ съ своей упорной твердостью хлѣбопашца, съ своей основательной прочностью во всякомъ дѣлѣ, тогда онъ сочтетъ свои силы, а потомъ смететъ съ лица земли старое общественное устройство. И это будетъ настоящая революція народныхъ массъ.

Всего вѣроятнѣе, что дѣйствительная борьба богатаго меньшинства и бѣднаго большинства будетъ имѣть характеръ рѣзко коммунистическій.

¹⁾ Графъ Шамборскій, или герцогъ Бордосскій, внукъ Карла X, былъ претендентомъ бурбонской династіи и назывался Генрихомъ V съ 1830 г. до самой смерти; въ 1883 г. умеръ бездѣтнымъ.

²⁾ Внукъ Людовика-Филиппа, претендентъ орлеанской династіи съ 1848 года, умеръ въ 1894 г.

Слово это пугаетъ старыхъ революціонеровъ такъ, какъ слово «якобинець» пугало вольнодумовъ-дворянъ и слово «іезуитъ» — полукатоликовъ. Они проповѣдывали всю жизнь равенство и братство, теперъ они хотятъ отпрянуть, когда народъ беретъ ихъ за слово, и все еще воображаютъ, что они идутъ съ нимъ за-одно и представляютъ во всей чистотѣ его стремленія.

Въ сущности, они и не съ народомъ, и не изъ него,—они изъ книгъ, изъ школъ, изъ римскихъ преданій, изъ образованнаго меньшинства, изъ того общественнаго устройства, которое развилось противъ народа и которое должно погибнуть для того, чтобъ народъ былъ свободенъ.

Какой, практически смѣшной и щемящій сердце, образъ складывается для будущаго поэта, образъ Донъ-Кихота революціи. Наши рыцари временъ конвента и старой *Горы*, вскормленные исторіей девяностыхъ годовъ и тогдашнимъ «Мониторомъ», видятъ въ настоящемъ одно временное отклоненіе отъ истинныхъ началъ; они стараются возвратить человѣчество къ 9 термидора и къ конституціи Сень-Жюста... Они повторяютъ слова, потрясавшія нѣкогда сердца, не замѣчая, что они уже давно задвинуты другими словами, они все еще толкуютъ о цивилизмѣ и тиранніи, о коалиціи и англійскомъ вліяніи, о протестаціяхъ и петиціяхъ, о неотъемлемыхъ правахъ человѣка, о нарушеніи конституціи и, наконецъ, о святомъ *правѣ возстанія!*

Какъ работнику не улыбаться и не качать головой, когда ему въ осадномъ положеніи, возлѣ военныхъ судовъ и партій ссылаемыхъ толкуютъ о правѣ возстанія, прибавляя къ нему вновь изобрѣтенную нелѣпость «право работы». Кому онъ предъявить эти права, кто обязанъ ихъ признать и на что они ему, когда сила не съ его стороны? И на что они ему, когда сила съ его стороны? По крайней мѣрѣ, Людовикъ XVII былъ признанъ десятию нѣмецкими календарями и однимъ русскимъ...

Наши Донъ-Кихоты вышли на поле, ничего не приготовивъ ни въ себѣ, ни внѣ себя; они вышли съ ненавистью къ царямъ и внѣшнимъ формамъ самодержавія, но съ уваженіемъ къ власти; они не хотѣли поповъ, но алтарь хотѣли, они называли монархію республикой и перевели на римскую номенклатуру феодальныя постановленія, въ сущности не коснувшись до нихъ. Цѣль ихъ прекрасна — уничтоженіе тиранства, водвореніе всеобщаго братства, всемірной свободы, но, такъ какъ эти общія мѣста безъ ряда объясненій и развитій расплываются въ какомъ-то пріятно-окрашенномъ туманѣ, то и не удивительно, что практической прилагаемости имъ не нашлось.

Они дерутся ржавыми оружіями своихъ враговъ на изнуренной почвѣ; ихъ бьютъ, разумѣется, оттого что противники лучше владѣютъ своимъ оружіемъ и что они дома. И въ то же время, въ довершеніе бѣдствій, они столько же теряютъ и на своемъ полѣ. Ихъ средства устарѣли, ихъ знамена истаскались, и не всегда въ бояхъ, а больше на банкетахъ и демонстраціяхъ.

Пора бы, кажется, остановиться и призадуматься, а пуще всего—изучить поглубже современность и перестать съ легкомысленной суетностью увѣрять себя и другихъ въ фактахъ, которыхъ нѣтъ, и отворачиваться отъ тѣхъ, которые есть, да намъ не нравятся; пора не принимать больше толпы на демонстраціяхъ за готовое войско, искать гласъ народный въ газетныхъ статьяхъ, писанныхъ самими нами или нашими друзьями, и общественное мнѣніе—въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей, собирающихся ежедневно для того, чтобъ повторять одно и то же.

Какъ это ни ясно, но горе тому, кто въ печальномъ стану побѣжденныхъ поднимаетъ такую рѣчь. Маститые революціонеры и ихъ ставленники увидятъ обиду, личность, измѣну въ такой рѣчи и проглядятъ трагическій характеръ скорбныхъ признаній, которыми человѣкъ отдираетъ свое сердце отъ среды, въ которой жилъ, которую любилъ, но въ несвоевременности которой убѣжденъ. Они не оцѣнятъ лиризмъ ироніи и злобы, вырывающійся изъ груди человѣка, увидѣвшаго, что онъ часть жизни шелъ по ложной дорогѣ и не знаетъ, услѣдетъ ли своротить на ту, которая его приведетъ къ цѣли. Они называютъ «дилетантами» мятежныя личности, не дѣляція ихъ возрѣнія, неучтивыми гостями, которые не хотятъ дѣлить тяжелой пригготовительной работы, а спокойно пересуживаютъ сдѣланное.

Донъ-Кихоть тоже трудился очень много и совершенно безкорыстно. Пригготовительные труды всѣхъ эмиграцій состояли въ ссорахъ между собой, въ составленіи комитетовъ, въ которыхъ повторяли, что побѣда близка, наканунѣ всякаго пораженія и на другой день послѣ всякаго пораженія...

Многимъ кажется, что *они*, напротивъ, живутъ въ совершенной праздности, даже въ праздности мысли,—они не хотятъ подумать о томъ, что объ нихъ говорятъ ихъ друзья и что объ нихъ говорятъ ихъ враги. Они довольны собой. Что это за умственная лѣнь, за *Vornehmthuerei* ¹⁾, за *morgue aristocratique* ²⁾, что за сознание своей папской непогрѣшимости!

¹⁾ Важничанье.

²⁾ Аристократическая надменность.

Но какая же необходимость говорить именно съ этими закоснѣлыми старовѣрами, тугими на ухо, приросшими, какъ полипы, къ скалѣ? Они сдѣлали свое, они люди почтенные, у нихъ мѣсто въ исторіи, но не сдѣлаться же намъ столпниками изъ учтивости къ нимъ.

Какъ ни возставай, какъ ни досадуй, но мы сами принадлежимъ по жизни, по привычкамъ, по языку къ той же литературно-ученой и политической средѣ, отъ которой мы отрекаемся. Теоретическій разрывъ нашъ съ нею сдѣлать практически не въ нашей волѣ,—мы слишкомъ далеко зашли въ этой жизни, чтобъ остановить ее. Мы сняли нашу рясу, какъ Гафизъ ¹⁾,—посѣдѣвши въ ней, и оттого намъ, какъ Гафизу, непрерывно хочется говорить объ этомъ. Оно не удивительно. Наше дѣяніе, это—именно этотъ разрывъ, и мы остановились на немъ, онъ намъ стоилъ много труда и усилій.

Разумѣется, намъ казалось, что это освобожденіе себя—первый шагъ, что за нимъ-то и начнется наша полная, свободная дѣятельность: безъ этого мы бы его не сдѣлали. Но, въ сущности, актъ нашего возмущенія и есть наше дѣяніе, на него мы потратили лучшія силы, о немъ раздалось наше лучшее слово, мы и теперь можемъ быть сильны только въ борьбѣ съ книжниками и фариसेями консервативнаго и революціоннаго міра ²⁾.

Оставить рѣчь съ ними и обратиться къ народу—великое дѣло, но мы не сумѣемъ.

Народу не то надобно, что мы можемъ сказать, что намъ хочется сказать; наши слова—отвѣты, подмостки, разработываніе понятій, оскорбленіе, исповѣдь, критика, сомнѣніе, коррозивный ³⁾ ядъ разрушенія. Народъ едва знаетъ привидѣнія, противъ которыхъ мы боремся, его не занимаетъ нашъ бой, у него не та злоба. Народъ много страдаетъ, ему тяжела жизнь, онъ многое ненавидитъ и страстно догадывается, что скоро будетъ переменна, но онъ ждетъ не приготовленныхъ трудовъ, а *откровенія* того, что

¹⁾ Знаменитый персидскій поэтъ.

²⁾ Письмо это доле было вызвано нѣсколькими статьями, помѣщенными въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ подъ заглавіемъ «Литература паденія» (Untergangs Literatur), въ которыхъ сильно нападали на «Vom andern Ufer» и на статью «Omnia mea tecum porto», помѣщенную въ томъ же журналѣ. Нѣсколько намековъ на эти статьи—кстати тогда, не годились теперь,—я ихъ выпустилъ ³⁾—А. И. Г.

³⁾ Corrosif—разъѣдающій, ѣдкій.

⁴⁾ Статья Р. Зольгера «Das Untergangsthum» помѣщена въ XII кн. «Deutsche Monatsschrift» etc. 1850 г.

закрѣто бродить въ его душѣ; онъ ждетъ не книгъ, а апостоловъ, людей, у которыхъ вѣра, воля, убѣжденіе и сила совпадаютъ воедино, людей, никогда не разрывавшихся съ нимъ, людей, не выходящихъ изъ него, но дѣйствующихъ въ немъ и съ нимъ съ откровенной, не потрясаемой вѣрой и съ ничѣмъ не развлекаемой преданностью.

Кто чувствуетъ, что онъ такъ близокъ съ народомъ, такъ освободился отъ среды искусственной цивилизаціи и такъ переработалъ и побѣдилъ ее, кто до того окончилъ съ собою, что ему остается одно дѣйствіе, и кто достигъ цѣлости и единства, о которой мы говоримъ,—тому принадлежитъ рѣчь, тотъ пусть говоритъ народу да онъ и будетъ непремѣнно говорить; мы склонимся передъ нимъ.

Ощущаете ли вы что-нибудь подобное въ груди?—Сомнѣваюсь. Мы вмѣстѣ — трупъ, убійцы, болѣзнь и прозекторы стараго міра: вотъ наше призваніе.

Я долго думалъ, что можно, по крайней мѣрѣ, лично начать новую жизнь, отступить въ себя, удалиться отъ толкучаго рынка. Невозможно: будь хоть одинъ человѣкъ возлѣ васъ, съ которымъ вы не порвали всѣ отношенія, черезъ него воротится старый міръ, порочный и распутный, лукавый и предательскій. Мы похожи на того раба во французскихъ колоніяхъ, котораго, — рассказываетъ Шельхеръ ¹⁾,—господинъ за наказаніе связалъ на-глухо съ трупомъ имъ убитаго вола и такъ оставилъ умирать.

Смерть отжившаго міра захватить и насъ: спастись нельзя, наши испорченныя легкія не могутъ дышать другимъ воздухомъ, кромѣ зараженнаго. Мы влечемся съ нимъ въ неминуемую гибель; она законна, необходима; мы чувствуемъ, что насъ скоро будетъ не нужно, но исчезая съ нимъ, но чувствуя роковую необходимость, связавшую насъ, мы нанесемъ ему еще самые злые удары и, погибая въ разгромѣ и хаосѣ, радостно будемъ привѣтствовать новый міръ—міръ не нашъ—нашимъ «Умирающіе привѣтствуютъ тебя, Кесарь!».

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Ницца, 31 декабря 1851 г.

Vive la mort ²⁾, друзья, и съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія,

¹⁾ Викторъ, франц. политическій дѣятель и писатель, энергично борвшійся съ рабствомъ негровъ и посвятившій ему много работъ.

²⁾ Да здравствуетъ смерть!

до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и стоимъ за наши убѣжденія.

Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаяваться, ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ: намъ надобно ее поднять,—мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, ободреніемъ уstraшенныхъ событіями въ Парижѣ.

Когда люди, стоявшіе во главѣ движенія, шутили надъ своей слабостью; когда они принимали предсмертную болѣзнь за минутный сонъ, за мимолетную усталъ; когда эмпирики и шарлатаны увѣряли, что болѣзнь пройдетъ, и тратили лучшія силы на врачеваніе трупа; когда они ждали, что больной возьметъ одръ и пойдетъ по ихъ приказанію,—тогда было необходимо проповѣдывать, что «у воротъ ихъ стоитъ не Катилина, а смерть», какъ это и дѣлалъ Прудонъ изъ своего заточенія. Теперь она ихъ растворила, взошла; теперь ошибиться трудно... Вотъ она между нами косить направо, косить налево... Подрѣзанная трава такъ и валится.

Рухнулся, наконецъ, этотъ міръ, призрачный, дряхлый, пережившій самого себя, міръ распадающійся, двуначальный, не откровенный, дошедшій до лжи и смѣшенія всѣхъ понятій, какъ все живающее изъ ума, остановившійся на невозможныхъ сочетаніяхъ, на несомвѣстныхъ перемиріяхъ, на слабодушныхъ уступкахъ. Все, что онъ лѣпилъ, придумывалъ, выстроилъ изъ прошедшаго и выбѣлилъ новой краской, всѣ произведенія его старческаго ребячества,—все разсыпалось, какъ карточный домъ. Противныя сумерки пропали. Нѣтъ больше двусмысленныхъ недоговорокъ, поддерживавшихъ пустыя надежды съ обѣихъ сторонъ. Темная ночь, которую ждали, настала,—мы шагомъ ближе къ утру.

Все кончено: представительная республика и конституціонная монархія, свобода книгопечатанія и неотъемлемая права человѣка, публичный судъ и избранный парламентъ. Дыханіе становится легче, воздухъ чище; все стало страшно просто, рѣзко... Куда ни помотришь, отовсюду вѣетъ варварствомъ,—изъ Парижа и изъ Петербурга, снизу и сверху, изъ дворцовъ и мастерскихъ. Кто покончитъ, довершитъ? Дряхлое ли варварство скипетра, или буйное варварство коммунизма? кровавая сабля или красное знамя?...

Варварствомъ новая цивилизація насильственно вводится во владѣніе старой почвой или отрывается отъ нея, если она неспо-

собна и истощена. Это—безпорядокъ похоронъ, грубая опека надъ малолѣтними. Идею грядущаго переворота нельзя подавить ни римскимъ деспотизмомъ, ни византійской республикой, ни анархическимъ варварствомъ, ни варварствомъ иноплеменныхъ ордъ. Ее никто не можетъ подавить, кромѣ геологическаго переворота. Она не привязана ни къ какой странѣ, въ этомъ-то ея великая сила. Кто знаетъ, гдѣ она будетъ торжествовать свою побѣду—по эту ли сторону океана, или по ту? во Франціи или въ Россіи, въ Нью-Йоркѣ или въ томъ же Парижѣ?

Христіанство было сильно своимъ вселенскимъ значеніемъ. Это значеніе еще болѣе принадлежитъ социализму. Пространства исчезли, пути сообщенія—легче, и исключительный патріотизмъ первый долженъ быть перечисленъ изъ добродѣтелей въ пороки при переходѣ въ новый міръ.

Реакція оттого и кажется намъ такой всемогущей и страшной, что мы лѣпимся на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и упорно держимся за нихъ, какъ будто родъ человѣческой исключительно существуетъ отъ Парижа до Берлина. Пересозданіе быта, къ которому стремится современный человѣкъ, его революціонная мысль не только не приросла ни къ какой странѣ, но ни къ какой общественной формѣ, основанной на старыхъ началахъ. Оттого республика можетъ пасть, Франція можетъ пасть, а революція продолжается. Она ускользаетъ, какъ ртуть отъ давленія, и собирается по другую сторону.

Намъ жаль теперешнее паденіе народа, который такъ славно жилъ, который мы такъ любили,—можетъ, больше, нежели сознаемъ. Мы чувствуемъ, по выраженію Мишле, что съ паденіемъ Франціи температура земного шара понизилась.

Трудно было свыкаться съ мыслию, что Франція разошлась съ революціей. Второе декабря, несмотря на то, что всѣ его ждали, поразило всѣхъ. Предвидитъ ли человѣкъ несчастіе или нѣтъ,—оно все приходитъ врасплохъ. Горестъ наша искренняя, она—наше право, наше личное участіе въ современномъ дѣлѣ. Но сверхъ связи съ настоящимъ, мы имѣемъ связь и съ будущимъ.

Теперь, когда мы пережили первыя минуты безсильной злобы, стыда, состраданія, тревожной неизвѣстности, пора изъ-за развалинъ и труповъ взглянуть вдаль. Если сердцу мало одного пониманія, то и пониманію мало одной грусти. Мысль всходитъ, какъ луна на кладбищѣ, и ищетъ своимъ свѣтомъ привести въ ясность совершившееся, связываетъ порванные концы и указываетъ красную нитку революціи, идущую черезъ императорскій скипетръ, черезъ весь шаръ земной—вмѣстѣ съ телеграфической проволокой.

Мы не бѣжали ни отъ опасности, ни отъ печали; случайно остались мы цѣлы, но теперь нечего больше дѣлать: сраженіе кончено, падшіе зарыты,—не жить же намъ у ихъ кургана, не довольствоваться же одной скорбью объ утраченномъ. *Жизнь обязываетъ!*

Въ груди нашей, еще здоровой послѣ всѣхъ ударовъ, есть титаническій голосъ непокорности, даже ироніи надъ побѣдителемъ. Они побѣдили насъ,—покажемъ, что они намъ побѣдили. У насъ отняли настоящее,—отнимемъ у нихъ будущее, отравимъ нашимъ пророчествомъ ихъ ликующую радость.

Конечно, потери станутъ яснѣе отъ разбора, несомнѣннѣе,—кто боится знанія, тотъ пропасть, тотъ консерваторъ.

«Оставьте мертвымъ погребать мертвыхъ», говорилъ Христосъ. Дѣйствительно, весь вопросъ при такихъ переворотахъ въ томъ только и состоитъ, мертвецы ли мы, принадлежащіе прошедшему и повторяющіе съ воплемъ «совершилось», или люди будущаго, которые, съ умиленіемъ задергивая царскій покровъ, говорятъ «le roi est mort—vive le roi!» ¹⁾

Горе тому, кто теперь съ насмѣшливой улыбкой бросить холодное слово Франціи,—пора укора и упрековъ прошла, для нея настаетъ прошедшее. Парижъ останется въ памяти вѣковъ Іерусалимомъ революціи. Религія будущаго родилась среди потоковъ французской крови, въ груди французскихъ мыслителей, среди страданія французскаго пролетаріата.

Да не посмѣтъ ни одинъ народъ радоваться ея паденію. Съ опущеннымъ взоромъ пусть они преклонятся передъ ея несчастіемъ. Они такъ не падутъ,—пусть будутъ довольны этимъ. Посредственность имѣетъ великія льготы, но она обязываетъ къ скромности. Если Франція во многомъ виновата,—она много наказана.

...То, что не удалось революціонерамъ 15 мая, бѣлымъ днемъ, во имя свободы, то удалось Людовику-Наполеону и полицейскимъ сыщикамъ темной ночью, во имя насилія. Республика пала, зарѣзанная по-корсикански, по-разбойничьи, обманомъ, изъ-за угла.

Бланки оправданъ Бонапартомъ.

Собраніе разогнали, какъ хотѣлъ его разогнать Гюберъ ²⁾.

Вмѣсто диктатуры революціонной водворилась диктатура управы благочинія,—и все пало передъ ней, потому что все было шатко, не глубоко, не истинно, потому что въ каждомъ новомъ учрежденіи былъ оставленъ старый, отравлявшій его элементъ.

¹⁾ «Король умеръ—да здравствуетъ король!»

²⁾ Крайній республиканецъ, первый ворвавшійся 15 мая 1848 г. съ толпою въ національное собраніе съ цѣлью низверженія правительства и врученія всей власти рабочимъ.

Чего же намъ-то удивляться, что нашлись добровольные палачи для того, чтобъ казнить осужденное нами? Второе декабря, лишенное всякой творческой силы, всякаго живого начала, подъ предлогомъ спасенія разрушаетъ государство, противъ котораго борется социализмъ.

Франція традиціонная, историческая, монархическая, была казнена во время террора. Съ тѣхъ поръ является рядъ не устоявшихся формъ правленія, рядъ переложеній и сочетаній незрѣлыхъ мыслей съ отжившими формами.

Дикій деспотизмъ Наполеона такъ же мало могъ удержаться, какъ царства двухъ хартій. Представительная система была цѣла во Франціи, пока исполнительная власть и революціонеры ее терпѣли. Не только Людовикъ-Филиппъ, но и Людовикъ XVIII и Карлъ X были настолько люди прошлаго вѣка, что боялись открыто изорвать хартію: они вѣрили въ нее.

Республиканское изданіе хартіи, сдѣланное въ 1848 году, отличалось отъ прежнихъ тѣмъ, что въ него никто не вѣрилъ, а всѣ употребляли, какъ маску или какъ щитъ. Прудонъ не хотѣлъ его вотировать, социалисты презирали его, роялисты ненавидѣли, республиканцы находили недостаточнымъ и нелѣпымъ. Одинъ Людовикъ-Наполеонъ присягалъ ему и былъ обязанъ вѣрностью,—онъ-то ему и измѣнилъ, но онъ не измѣнилъ своему избранію.

Его избраніе, *совершенно свободное*, въ 1848 г. было плебисцитомъ, которымъ Франція отреклась отъ свободы.

Онъ исполнилъ волю народную. Интриганъ по семейному преданію, онъ исполнилъ ее исподтишка въ то время, какъ могъ то же сдѣлать открыто. Человѣка этого ничего не связывало. Иностранецъ, выросшій внѣ Франціи, онъ не дѣлилъ ни хорошихъ, ни дурныхъ качествъ французовъ, онъ ихъ подсматривалъ и хладнокровно помѣчалъ. Постоянно изучая жизнь своего дяди, онъ въ ней не могъ найти ничего, кромѣ безпредѣльнаго презрѣнія къ французамъ и къ людямъ вообще. Терять этому человѣку было нечего, ожидать—всего. Три года присматривался онъ и рискнулъ навѣрное.

Ему удалось, потому что его *суп д'ѣтат* отвѣчалъ необходимой потребности выйти куда бы то ни было, хоть въ полную гибель, но не оставаться въ ложномъ положеніи. Второе декабря лишено всякаго другаго нравственнаго смысла. Это былъ выходъ. Парижскій народъ, хорошо понимая это, не защищалъ баррикадъ, потому что онъ былъ радъ перемѣнѣ, но скоро увидѣлъ, что онъ ничего не выигралъ. Умные консерваторы, съ своей стороны, поняли также, что побѣда не ихъ.

Но кто же побѣдилъ?

Переворотъ второго декабря, какъ юнскіе дни, не имѣть знамени; онъ имѣть только собственное имя, бунтующую полицію, пьяныхъ солдатъ, подкупленныхъ генераловъ. Смерть явилась, какъ всегда въ острыхъ болѣзняхъ, бессмысленно, съ видомъ случайности, безъ разумнаго слова.

Говорятъ, что побѣдилъ *порядокъ*. Нѣтъ идеи бѣднѣе, жалче, слабѣе, какъ идея порядка *quand mѣme* ¹⁾, порядка—въ смыслѣ полицейской тишины. Полиція идетъ впередъ и на первомъ мѣстѣ, только тогда, когда ведутъ кого-нибудь на казнь.

Цезарь полиціи, исполнитель ея власти, представитель порядка называется палачемъ.

И, дѣйствительно, Людовикъ-Наполеонъ долженъ все переказывать для того, чтобъ остаться на мѣстѣ; онъ не можетъ иначе удержаться. Что, вы думаете, онъ оставитъ въ покоѣ орлеанистовъ, синихъ и красныхъ республиканцевъ?... Литература, поэзія, журналистика,—все будетъ убито, словоохотливая Франція замолчитъ... Далѣе, ему необходима война; война, это—казнь гуртомъ, это—основное разрушеніе. На войну надобно много денегъ,—гдѣ ихъ взять, пока контрибуціи не разорили цѣлыхъ племенъ?.. Гдѣ? У капиталистовъ! И тутъ начнется цезарскій коммунизмъ!

А, господа, вы продали ваши человѣческія права за блюдо чечевицы и воображаете, что вамъ его оставятъ? Нѣтъ! Куда вы пойдете жаловаться? Развѣ есть гласность, судъ, защита? Нѣтъ! *Порядокъ* слишкомъ хорошо торжествуетъ: за крамолу—въ тюрьму, за возраженіе—въ Нука-Гиву, въ Кайенну.

На этой стремнинѣ, при войнѣ, будетъ труднѣе удержать Францію, нежели взять корону изъ рукъ префекта полиціи. Но какое дѣло, спасется она или нѣтъ, побѣдитъ она или нѣтъ? Кто бы ни побѣдилъ, — отъ монархическо-христіанской Европы, отъ старыхъ формъ не уцѣлѣетъ и половины.

Вся Европа выйдетъ изъ фугъ своихъ, будетъ втянута въ общій разгромъ; предѣлы странъ измѣнятся, народы соединятся другими группами, національности будутъ сломлены и оскорблены. Города, взятые приступомъ, ограбленные, обѣднѣютъ, образованіе падетъ, фабрики остановятся, въ деревняхъ будетъ пусто, земля останется безъ рукъ, какъ послѣ Тридцатилѣтней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизмъ замѣнитъ всякую законность и всякое управленіе. Тогда побѣдители начнутъ драку за добычу. Испуганная цивилизація, индустрія побѣгутъ въ

¹⁾ Во что бы то ни стало.

Англию, въ Америку, унося съ собой отъ гибели—кто деньги, кто науку, кто начатый трудъ. Изъ Европы сдѣлается нѣчто, въ родѣ Богеміи послѣ гусситовъ.

И тутъ, на краю гибели и бѣдствій начнется другая война, домашняя—своя расправа *неимущихъ съ имущими*.

Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Развѣ вамъ этого не предсказалъ Ромье? «Или безвыходный цезаризмъ, или красное привидѣніе». Онъ только не договорилъ одного, что цезаризмъ приведетъ къ коммунизму, если же нѣтъ, то въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ не только правительства и общественныя формы умерли, но и народы.

И чѣмъ эта война несправедливѣе войны мѣщанъ противъ дворянъ, либерализма противъ феодальной и монастырской собственности?

Мѣщане заработали свое достояніе трудомъ, дворяне—кровью, оба—насиломъ, потому что тѣмъ и другимъ помогало правительство. Революціонное правительство поможетъ третьимъ.

Да и какая тутъ справедливость! Мы видимъ, куда несется потокъ; доказывать юридически водопаду, чтобъ онъ не разливался, не топилъ бы чужихъ береговъ, ни къ чему не ведетъ.

...Вооруженный коммунизмъ приподнялъ слегка, полусхутилъ, свою голову въ южныхъ департаментахъ, онъ едва взялъ нѣсколько аккордовъ, но характеръ своей музыки заявилъ. Пролетарій будетъ мѣрить въ ту же мѣру, въ которую ему мѣрили. Коммунизмъ пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Среди грома и молній, при заревѣ горящихъ дворцовъ, на развалинахъ фабрикъ и присутственныхъ мѣстъ, явится новый декалогъ¹⁾, крупно набросанныя черты новаго символа вѣры.

Онѣ сочетаются на тысячу ладовъ съ историческимъ бытомъ, но какъ бы ни сочетались онѣ, — основной тонъ будетъ принадлежать социализму. Современный государственный бытъ съ своей *цивилизацией* погибнуть, будутъ, какъ учтиво выражается Прудонъ, *ликвидированы*.

Вамъ жаль цивилизаціи?

Жаль ея и мнѣ.

Но ея не жаль массамъ, которымъ она ничего не дала, кромѣ слезъ, нужды, невѣжества и униженія.

Смирение передъ неотвратимыми судьбами,—и гордымъ шагомъ взойдемъ въ новый годъ!

¹⁾ Десятисловіе, заповѣди.

◆◆ 1. Нѣсколько штриховъ о пребываніи Герцена въ Неаполѣ сообщаетъ М. К. Рейхель.

Останавливались въ отелѣ Chiaia. Ѣздили съ Тучковыми въ Сорренто и Капри, по дорогѣ заѣзжали въ Геркуланумъ. На Капри Ѣздили въ большой лодкѣ съ парусомъ и нѣсколькими гребцами. Входили на Везувій въ сопровожденіи чичероне и охранной стражи. Ѣздили въ Помпею («Отрывки изъ воспоминаній», 56—58).

2. По разсказу М. К. Рейхель и Н. А. Тучковой-Огаревой, портфель пропалъ на улицѣ изъ кармана Н. А—ны, 11 февраля, въ день описанной Герценомъ неапольской демонстраціи. Съ утра Герценъ былъ на улицѣ, потомъ вскорѣ возвратился домой, передалъ Н. А—нѣ портфель и ушелъ. «Вечеромъ въ городѣ ликованіе, экипажи съ факелами, радостные крики, улицы полны народа. Герценъ бѣжитъ домой, торопитъ насъ, говоря: «собирайтесь, вамъ надобно это видѣть». Мы идемъ, сейчасъ является коляска, возлѣ кучера сидитъ индивидуумъ съ факеломъ, и мы въѣзжаемъ въ ряды экипажей... Послѣ этой восторженной ночи мы возвратились наэлектризованные. Утромъ Герценъ спрашиваетъ жену, гдѣ находится его бумажникъ; она идетъ къ комоду, ищетъ, выдвигаетъ всѣ ящики... бумажникъ исчезъ. Когда наканунѣ Герценъ далъ бумажникъ женѣ, она положила его въ карманъ съ намѣреніемъ запереть въ комодъ, а когда Герценъ пришелъ за нами, она второпяхъ не вспомнила, что бумажникъ все еще въ карманѣ. Выронила ли она его на улицѣ, или его вытащили изъ кармана,—осталось неизвѣстнымъ... Это былъ пробный камень характера Герцена. Ни упрековъ, ни недовольной мины,—все тотъ же человѣкъ, не потерявшій головы, ни веселаго расположенія духа. Онъ все затаилъ въ себѣ, чтобы никого не обезкуражить» («Отрывки изъ воспоминаній», 58—60; Огарева, «Воспоминанія», 47—48).

493. Письмо къ Іоганну Якоби.

24 avril 1850.
Paris.

Voilà, cher Monsieur Jacoby, une occasion que je ne veux pas faire passer sans me rappeler à vos souvenirs, sans vous dire franchement et de tout mon coeur que je vous aime et vous estime.

Depuis votre départ de Genève beaucoup de choses se sont accomplies mais le fond est toujours le même—réaction féroce, démocratie stupide. Oui, c'est la mort d'une forme sociale, tout dégénère,

tout tombe. Depuis le mois de décembre je suis à Paris; plus je vois d'hommes, plus je m'approche des partis—plus je reste seul, je m'éloigne.

C'est le temps où l'individu doit briser son coeur ou tous les liens qui l'attachent à ses contemporains. Sauvons-nous mêmes, au lieu de vouloir sauver le monde. Ce qui se prépare ici, c'est difficile à dire,—ou un despotisme dégradant, ou le communisme pas moins arbitraire. De tous les côtés «Borniertheit», petitesse et violence.

Je ne reste ici que pour mes affaires. On m'a séquestré mes biens en Russie, je travaille pour sauver les beaux restes. Vous pouvez m'aider d'une manière très efficace en me procurant quelque moyen d'envoyer deux ou trois lettres (d'affaires et non de politique) à Moscou sans qu'on les ouvre. Ecrivez moi un mot concernant celà, adressez la lettre à Paris «aux soins de Mess. les frères de Rothschild».—Si on pouvait arranger l'affaire dont j'ai parlé avec le porteur de cette lettre, Mr. Kapp (frère de Kapp qui a été instituteur de mon fils et qui est à présent à New-York)—le jeune homme va à Memel en qualité de commis d'une librairie, voilà une occasion magnifique pour envoyer des livres en Russie. La propagande est la seule chose qui me reste, aidez-moi en celà.

Je vous envoie 2 ex. de mes deux brochures, et ma réponse à Donoso-Cortès. Vous pouvez, si vous le désirez, avoir encore quelques exempl. «Vom andern Ufer».—Je prépare la continuation.

Les lettres de l'Italie sont bien mal traduites; je les ai dictées à Kapp et nous n'avons pas eu les épreuves, Kapp a été un excellent citoyen, mais il avait un style peu goûtable pour tout homme qui ne soit westphalien.

Donnez votre main, cher Monsieur Jacoby, écrivez-moi, vous me consolerez beaucoup, lorsqu'on se rencontre dans le désert et on peut maintenir les relations individuelles. Ma femme vous salue amicalement, elle a outre celà prié Kapp de vous dire combien nous nous souvenons avec sympathie de la courte rencontre au bord du Léman.—Mazzini regrette beaucoup de ne pas vous avoir rencontré—il m'en a parlé plus d'une fois. A propos je tremble pour Mazz., il me semble qu'encore un pas et lui restera non en avant comme il a été toujours—mais en arrière. Il pense que les choses sont encore éternellement les mêmes comme du temps des frères Bandiera. Noble individualité, pauvre.... mais pas progressive.

Vous savez que Proudhon a été envoyé dans la prison de Doullens.—Quel progrès depuis Galilée!

Les boulevards sont couverts de mouchards et de sergents de ville qui font la chasse aux journaux; le soir à 9 h. on traîne de pauvres femmes, on jette par terre les boutiques portatives—et on se

demande quelle est donc cette ville barbare. L'exaspération est grande mais on laisse faire.

Après avoir terminé mes affaires, j'irai à Nice. Je suis rompu, fatigué, dégoûté—on peut beaucoup travailler, mais il faut avoir devant soi un but, une espérance, il faut avoir une foi quelconque.

A l'instant même je reçois un ordre de quitter la France.—Vive la liberté!

Ecrivez toujours à l'adresse de Rotschild. Salut fraternel.

A. Herzen.

Переводъ.

24 апрѣля 1850.

Парижъ.

Вотъ, дорогой г. Якоби, случай, котораго я не хочу упустить, чтобы напомнить вамъ о себѣ и сказать искренно, отъ всего сердца, что я васъ люблю и уважаю.

Со времени вашего отъѣзда изъ Женева произошло много событій, но суть осталась прежняя: та же звѣрская реакція, та же тупая демократія. Да, это—смерть соціальной формы: все вырождается, все падаетъ. Съ декабря я въ Парижѣ, и чѣмъ больше я вижу людей, чѣмъ больше приближаюсь къ партіямъ, тѣмъ чувствую себя болѣе одинокимъ, тѣмъ больше удаляюсь.

Вотъ время, когда человѣкъ долженъ разбить свое сердце или порвать всѣ связи со своими современниками. Ужъ лучше сами спасемся, чѣмъ спасать сразу весь міръ. Трудно сказать, что готовится здѣсь—позорный ли деспотизмъ, или не менѣе произвольный коммунизмъ. Со всѣхъ сторонъ—ограниченность, мелочность и насиліе.

Я остаюсь здѣсь только для устройства своихъ матеріальныхъ дѣлъ. Наложили запрещеніе на мои имѣнія въ Россіи—я стараюсь спасти, по крайней мѣрѣ, остатки ¹⁾). Вы можете мнѣ весьма существенно помочь, если доставите способъ отправить въ Москву два-три письма (дѣловыхъ, а не политическихъ) такъ, чтобы ихъ не распечатали. Напишите мнѣ словечко объ этомъ; письмо адресуйте въ Парижъ съ надписью: «заботамъ гг. братьевъ Ротшильдъ». Если бы удалось устроить дѣло, о которомъ я говорилъ съ подателемъ этого письма, г. Каппомъ (это—братъ того Каппа, который былъ учителемъ моего сына, а теперь живетъ въ Нью-Йоркѣ), то, такъ какъ этотъ молодой человѣкъ

¹⁾ Объ этомъ подробно въ XXXIX гл. «Былого и думъ».

ѣдетъ въ Мемель въ качествѣ довѣреннаго одного книжнаго магазина, то былъ бы великолѣпный случай послать книги въ Россію. Пропаганда—единственное дѣло, которое мнѣ остается; помогите мнѣ въ этомъ.

Посылаю вамъ 2 экз. двухъ своихъ брошюръ ¹⁾ и отвѣтъ Доносо-Кортесу. Вы можете получить, если хотите, еще нѣсколько экзempl. «Съ того берега». Я готовлю продолженіе.

«Письма обѣ Италіи» переведены довольно плохо; я диктовалъ ихъ Каппу, но мы не имѣли корректуры. Каппъ былъ прекрасный гражданинъ, но стиль его мало «вкушаемъ» для всякаго, кто только не вестфалець.

Дайте мнѣ вашу руку, дорогой г. Якоби, напишите мнѣ; вы меня очень утѣшите,—когда встрѣчаешься въ пустынь и имѣешь возможность поддерживать личныя отношенія. Жена дружески кланяется вамъ; она, кромѣ того, просила Каппа сказать вамъ, съ какимъ сочувствіемъ мы оба вспоминаемъ нашу короткую встрѣчу на берегу Лемана ²⁾.—Маццини очень сожалѣетъ, что не встрѣтился тогда съ вами,—онъ это повторялъ не разъ. Кстати, я боюсь за Мацц.: мнѣ кажется, что еще шагъ — и онъ будетъ не впереди, какъ былъ всегда, а позади. Онъ думаетъ, что положеніе вещей вѣчно прежнее, какъ во времена братьевъ Бандіера. Благородная личность.... ³⁾, но не прогрессирующая.

Вы знаете, что Прудонъ отправленъ въ Дулленскую тюрьму. Какой прогрессъ со временъ Галилея!

Бульвары покрыты шпионами и полицейскими, которые охотятся за газетами; въ 9 ч. вечера тащатъ бѣдныхъ женщинъ, валятъ на землю переносныя лавочки,—спрашиваешь себя, что это за дикій городъ? Наблюдается чрезвычайное раздраженіе, но никто не противодѣйствуетъ.

Устроивъ свои дѣла, я поѣду въ Ниццу. Я чувствую себя разбитымъ, усталымъ, все мнѣ такъ противно—можно много работать, но надо имѣть передъ собой какую-нибудь цѣль, надежду, надо имѣть какую-нибудь вѣру.

Какъ разъ въ эту минуту получаю приказъ покинуть Францію.—Да здравствуетъ свобода! ⁴⁾

Пишите, все-таки, по адресу Ротшильдовъ. Братскій привѣтъ.

А. Герценъ.

¹⁾ «Съ того берега» и «Письма изъ Франціи и Италіи».

²⁾ Они познакомились лѣтомъ 1849 г. въ Женевѣ.

³⁾ Майеромъ слово не разобрано.

⁴⁾ Подробности описаны въ гл. XXXIX «Былого и думъ».

494. Письмо къ Н. А. Герценъ.

(1850).

Таточка, здѣсь, въ Елисейскихъ поляхъ, ѣздитъ какой-то чело-
вѣкъ въ маленькой телѣжкѣ, запряженной 8 собаками, небольшими,
и ѣздитъ такъ скоро, что едва поспѣешь за нимъ бѣжать, а сзади
за нимъ еще собакъ восемь. Мы съ Э. ¹⁾ утѣшаемся этимъ. Цѣлую
тебя за твои милыя письма; я тебя часто вижу во снѣ. ²

◆◆ 1. Въ октябрѣ 1844 г. генераль-губернаторъ Кавелинъ со-
общилъ шефу жандармовъ, гр. Орлову, что два молодые чело-
вѣка, выпущенные изъ Лицея, нигдѣ не служащіе, просятъ въ чужіе края:
Владиміръ Аристовичъ Энгельсонъ, 23 лѣтъ, и Николай Алексѣевичъ
Спѣшневъ, 24. Такъ какъ, по закону 15 марта 1844 г., они не
могли свободно получить заграничныхъ отпусковъ, то о нихъ требо-
валось получить справки. Николай I приказалъ узнать, «что онѣ
за люди, какихъ качествъ, нравственности и чѣмъ занимаются».

Петербургскій жандармскій штабъ-офицеръ донесъ Дубельту
27 и 28 октября 1844 г., что названные молодые люди живутъ
вмѣстѣ; родители Энгельсона имѣютъ въ Петербургской и Новго-
родской губ. до 400 душъ, а родители Спѣшнева—въ Щигровскомъ
уѣздѣ Курской губ.—до 500 д.; оба выпущены изъ Лицея въ 1839 г.;
не служатъ по болѣзни и просятъ въ Германію для поправки здо-
ровья; «они оба нравственности тихой и скромной». Спѣшневъ уже
былъ за границей въ 1842 г., 8 октября 1844 г. пріѣхалъ въ
Спб. изъ имѣнія и остановился у Энгельсона, жившаго съ братомъ
и сестрой на Вознесенской ул. «Сколько я могъ узнать, оба мо-
лодые люди, какъ Спѣшневъ, такъ и Энгельсонъ, вообще нравствен-
ности самой хорошей, ведутъ очень скромно и большею частью
занимаются науками, чтеніемъ книгъ и иногда бываютъ въ театрѣ,
гдѣ держатъ себя весьма прилично».

31 октября шефъ жандармовъ представилъ всеподданнѣйшій
докладъ, на которомъ Николай I положилъ резолюцію: «можидъ
и здѣсь въ университетѣ учится, а въ ихъ лѣта шататься по бѣ-
лому свѣту, вмѣсто службы и стыдно и не достойно благороднаго
званія; за симъ ѣхать могутъ ежели хотятъ».

¹⁾ Владиміръ Аристовичъ Энгельсонъ. ¹

На 1 ноября Энгельсонъ и Спѣшневъ были приглашены къ гр. Орлову для выслушанія высочайшей резолюціи. На другой день Энгельсонъ писалъ Орлову: «Ваше Сіятельство, Въ слѣдствіе совѣта, которымъ Ваше Сіятельство вчера меня удостоили, и послѣ консультаціи съ докторомъ, спѣшу объявить, что я оставилъ намѣреніе ѣхать за границу, желая какъ можно скорѣе поступить на государственную службу. Позвольте мнѣ, Ваше Сіятельство, увѣрить Васъ въ томъ, что я никогда не позабуду благосклонность, оказанную мнѣ Вашимъ Сіятельствомъ. Съ глубочайшимъ почтеніемъ и неизмѣнною преданностью имѣю честь пребыть Вашего Сіятельства всепокорнѣйшимъ слугою Владиміръ Энгельсонъ».

Дубельтъ написалъ на этомъ письмѣ: «Тому дать, а этотъ вонъ что». Это значило: Спѣшневу дать заграничный паспортъ, а Энгельсонъ удивилъ генерала... 7 ноября гр. Орловъ просилъ Спб. генераль-губернатора выдать Спѣшневу паспортъ, въ виду его глазной болѣзни, требовавшей лѣченія за границею. Спѣшневъ уѣхалъ и вернулся въ Россію въ 1846 г.

20 декабря 1844 г. Энгельсонъ писалъ гр. Орлову по-французски:

«Ваше Сіятельство. По поводу просьбы о заграничномъ паспортѣ я имѣлъ уже честь представляться Вашему Сіятельству вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ, Спѣшневымъ, 1 сего ноября. Вы изволили тогда сказать намъ, съ истинно-отеческой добротой, что мы поступили бы въ собственныхъ интересахъ, если бы отказались отъ путешествія и немедля поступили бы на службу. Когда я пришелъ на слѣдующій день и сказалъ Вамъ, что рѣшилъ послѣдовать совѣту Вашего Сіятельства, Вы смутили меня своей добротой, предложивъ мнѣ свое высокое покровительство. Боясь, что, ободренный Вашимъ расположеніемъ, я позволю себѣ злоупотреблять имъ, я тогда же поставилъ себѣ за правило беспокоить Васъ только въ случаѣ крайней необходимости.

«Вотъ почему я не смѣлъ прибѣгать къ помощи Вашего Сіятельства и не просилъ дать мнѣ должность, пока имѣлъ хоть малѣйшую надежду добиться этого собственными усиліями. Но теперь я осмѣливаюсь просить Васъ, Графъ, видя, что безъ Вашего высокаго покровительства я не смогу найти себѣ должность въ Петербургѣ, гдѣ долженъ заботиться о младшей сестрѣ и братѣ. Будьте снисходительны и простите мнѣ мою дерзость! Вы — единственный сильный покровитель, котораго Богъ послалъ мнѣ въ жизни.

«Не буду говорить о томъ, какъ бы я былъ признателенъ Вашему Сіятельству за исполненіе моей просьбы, зная, что, если Вы соблаговолите дать мнѣ должность, то сдѣлаете это по добротѣ,

а не для того, чтобы снискать признательность такого незначительнаго человѣка, какъ я. Единственно, что я могу удостовѣрить— это то, что, приглашая меня на службу, Ваше Сіятельство не включите въ число государственныхъ чиновниковъ человѣка легкомысленнаго и съ претензіями».

Орловъ принялъ эту просьбу очень милостиво, а Дубельтъ написалъ съ его словъ на прошеніи: «Надо ему что нибудь здѣлать. Спросить, куда хочетъ?»,— и немедленно послалъ и самый запросъ.

22 декабря 1844 г. Энгельсонъ доставилъ отвѣтъ Дубельту: «Почелъ бы за особенное счастье быть опредѣленнымъ въ III Отдѣленіе С. Е. И. В. канцеляріи, такъ какъ оно состоитъ подъ начальствомъ благосклоннаго ко мнѣ Его Сіятельства и Высочайше ввѣрено управленію Вашего Превосходительства, о которомъ подчиненные отзываются, какъ о рѣдкомъ, по добротѣ своей, начальникѣ». «Но если я не могу быть удостоенъ этой чести, то я желалъ бы служить въ одномъ изъ департаментовъ министерства иностр. дѣлъ». Въ заключеніе Энгельсонъ выражалъ надежду выдержать экзаменъ на степень кандидата, дававшую право на чинъ X класса.

28 декабря Орловъ просилъ канцлера, К. В. Нессельроде, взять Энгельсона на службу, «въ уваженіе его похвальнаго поступка». 4 января 1845 г. министръ иностранныхъ дѣлъ отвѣтилъ, что ему очень пріятно сдѣлать любезность шефу жандармовъ, и дѣйствительно, тогда же принялъ Энгельсона канцелярскимъ служителемъ въ департаментъ внѣшнихъ сношеній, но безъ чина и безъ жалованья.

8 апрѣля 1846 г. Энгельсонъ снова адресовался къ шефу жандармовъ:

«Графъ! Награды, которыми правительство почтило меня за мою службу, являются въ моихъ глазахъ доказательствомъ того, что я не оказался недостойнымъ Вашего высокаго покровительства. По ходатайству графа де-Лаваль и благодаря милостивому посредничеству Его Сіятельства канцлера, Государь даровалъ мнѣ чинъ XIV класса, считая чинопроизводство со дня моего вступленія въ службу. Кромѣ того, я получилъ денежное вознагражденіе въ 300 рубл. сер. и жалованье въ 350 рубл. сер. Я былъ бы счастливъ рассказать Вамъ объ этомъ и выразить Вамъ, мой благодѣтель, свою живѣйшую и глубочайшую признательность, если бы не боялся обнаружить недостаточное почтеніе къ Вашему Сіятельству, осмѣливаясь надѣяться на Васъ со своими дѣлами. Примите это изліяніе моей благодарности, а также разрѣшите выразить и поздравленія, которыхъ я не могъ вчера лично принести Вамъ».

Дубельтомъ со словъ Орлова на письмѣ написано: «Стараться взять къ намъ» (Архивъ III Отд. С. Е. И. В. канцеляріи 1844 г., 1 эксп., дѣло № 182).

3 августа 1849 г. Дубельтъ предписалъ поручику Спб. жандармскаго дивизіона, Канано, по распоряженію секретной слѣдственной комиссіи, отправиться 4 августа, въ 6 ч. утра на квартиру служащаго въ министерствѣ иностр. дѣлъ, Владиміра Аристовича Энгельсона, арестовать его и всѣ бумаги, не трогая денегъ, и доставить въ III Отдѣленіе; приказывалось быть при этомъ очень осторожнымъ и внимательнымъ и захватить съ собой чиновника полиціи и нѣсколькихъ жандармовъ.

4 августа арестъ былъ совершенъ, окна и двери квартиры были запечатаны печатью полицейскаго и Энгельсона; вещи принадлежали вдовѣ голландскаго консула, Гедвигѣ Исаксенъ, привезшей ихъ изъ Копенгагена. Въ тотъ же день Энгельсонъ былъ отправленъ въ крѣпость. Потомъ оказалось, что еще 6 мая 1848 г. онъ былъ вовсе уволенъ отъ службы (Архивъ III Отд. С. Е. И. В. канцеляріи 1849 г., 1 эксп., дѣло № 214, ч. 91).

Вотъ никому неизвѣстныя данныя изъ біографіи Энгельсона, которому Герценъ посвятилъ цѣлую главу въ «Быломъ и думаяхъ» и о которомъ упорно молчатъ наши лучшіе біографическіе и энциклопедическіе словари.

2. Герценъ выѣхалъ изъ Парижа до 22 іюня, такъ какъ въ этотъ день Тургеневъ писалъ ему, что очень досадовалъ, не заставъ Герцена въ Парижѣ, куда пріѣхалъ часъ спустя послѣ его отъѣзда. «Ты можешь быть увѣренъ, что всѣ твои письма и бумаги будутъ мною доставлены въ цѣлости, и, хотя ты не удостоилъ меня даже извѣщеніемъ о мѣстѣ твоего пребыванія, я исполню всѣ свои обѣщанія, буду высылать тебѣ книги и журналы на имя дѣвицы Эрнъ, какъ мы условились, къ Ротшильду. Я сегодня же зайду къ нему и извѣщу его объ этомъ... Въ случаѣ какого-нибудь важнаго обстоятельства, ты можешь извѣстить меня помѣщеніемъ въ объявленіяхъ «Journal des Débats» que M—r Louis Morisset de Caen, и т. д. Я буду читать этотъ журналъ и пойму, что ты захочешь мнѣ сказать. Прощай, милый Герценъ; желаю тебѣ всѣхъ возможныхъ благъ; я отъ твоего имени обниму всѣхъ твоихъ друзей. Мы много будемъ говорить о тебѣ съ ними. Постараюсь также по тому же адресу доставить тебѣ свѣдѣнія объ Огаревѣ и пр. Будь здоровъ и дѣйствуй по возможности. Крѣпко жму руку твоей женѣ и цѣлую твоихъ дѣтей» («Письма Кавелина и Тургенева къ Герцену», Женева, 89). Условенное извѣщеніе помѣщено не было.

495. Письмо къ Джузеппе Маццини.

13 Sept. 1850.
Nice.

Votre lettre m'a fait beaucoup de bien, il y a tant d'expressions sympathiques, amicales, et on est si heureux de les entendre d'une personne qu'on aime et qu'on estime. Oui, je vous estime de tout mon coeur et je n'ai aucune crainte de vous dire franchement ma pensée concernant les publications dont vous me parlez dans votre lettre. Vous m'écoutez avec indulgence, n'est ce pas?

Vous êtes le seul acteur politique du dernier temps dont le nom est resté entouré de respect, de gloire, de sympathie; on peut être en désaccord avec vous, il est impossible de ne pas vous estimer. Votre passé, Rome de 1849, vous obligent à porter haut le grand veuvage—jusqu'à ce qu'un nouvel avenir viendra inviter le combattant.

Eh bien, c'était triste pour moi de voir ce nom ensemble avec les noms de ces hommes incapables qui ont compromis une position admirable, que ne nous rapellent rien que les désastres amenés par eux.

Ce n'est pas une organisation—c'est la confusion. Ni vous, ni l'histoire n'ont plus besoin d'eux, tout ce qu'on peut faire pour eux—c'est de les amnistier. Vous voulez les couvrir de votre nom, vous voulez partager avec eux votre influence, votre passé,—ils partageront avec vous leur impopularité et leur passé.

Regardez le résultat. Quelle est *la bonne nouvelle* qui nous est apportée par «le Proscrit» et par la proclamation? Où est l'enseignement grave et douloureux qui nous a été imposé par les terribles événements, depuis la journée de—le 24 Février? C'est la continuation du vieux libéralisme et non le commencement de la nouvelle liberté, ce sont des épilogues, et non des prologues. Pourquoi ces hommes ne peuvent s'organiser comme vous le désirez—parce qu'on s'organise non sur la base d'une sympathie vague, mais d'une pensée profonde, active—où est-elle? Où est le progrès depuis la montagne de 92? Ces hommes sont les bourbons de la révolution, ils n'ont rien appris.

D'un autre coté, la première pièce devrait avoir un grand caractère de sincérité; et bien, qui pourra lire sans un sourire ironique le nom d'Arnold Rouge (que je connais beaucoup et que j'estime) sous une proclamation qui parle au nom du Dieu et de la providence—de Rouge, qui a prêché depuis 1838 dans les «Hallischen Jahrbücher»

l'athéisme, pour lequel l'idée de la providence (s'il est logique) doit être toute la réaction en germe.

Cette concession, c'est de la diplomatie, de la politique—moyens de nos ennemis. Malheureusement cette concession était inutile; la partie théologique de la proclamation est du luxe, elle n'ajoute rien ni à la popularité, ni à l'entendement. Les peuples ont une religion positive, une église. Le déisme n'appartient qu'aux rationalistes, c'est le régime constitutionnel dans la Théologie, c'est une religion entourée d'institutions athées.

Vous avez jeté un coup d'oeil sur mes deux brochures, faites en autant pour un assez long article qui a paru dans le journal de Koltchek sous le titre «Omnia mea mecum porto». Vous verrez qu'il m'était impossible de vous parler un autre langage. Ce que je demande, ce que je prêche, c'est la rupture complète avec les révolutionnaires incomplets,—ils sentent la réaction à deux cent pas. Après avoir accumulé faute sur faute, ils tâchent encore de les justifier,—meilleure preuve qu'ils les feront encore une fois. Prenez le «Nouveau Monde» — quel vacuum horrendum, quelle triste rumination des aliments verts et secs—et qui restent toujours mal digérés.

Ne pensez pas que c'est une manière de dire pour ne pas travailler. Je ne reste pas les bras croisés, j'ai encore trop de sang dans les veines et trop d'énergie dans le coeur pour me complaire dans le rôle de spectateur passif. Depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 38 j'étais au service d'une seule idée, j'avais un seul drapeau: guerre à toute autorité, à tout esclavage au nom de l'indépendance absolue de l'individu. Je continuerai cette petite guerre de partisan, en véritable cosaque, «auf eigene Faust»—comme disent les allemands,—attaché à la grande armée révolutionnaire, mais sans me mettre dans les cadres réguliers—jusqu'à ce qu'elle ne soit complètement réorganisée, c'est à dire révolutionnée.

En attendant j'écris; peut-être cette attente durera plus longtemps, que nous ne le pensons,—peut être,—mais cela ne dépend pas de moi de changer le développement capricieux de l'espèce humaine. Mais parler, convertir—cela dépend de moi, et je le fais en m'y donnant entièrement.

Quant aux articles sur la Russie, dès que j'aurais quelque chose—je vous l'enverrai. Je signe à présent tous mes articles de mon pseudonyme russe «Isclander»—j'ai un long article sur la Russie, mais je l'ai déjà promis pour le journal de Kolatschek qui devient un organe très avancé de l'Allemagne.

En Allem. et nommément en Autriche la propagande va avec une rapidité incroyable; le ministre actuel,—par politique et par opposition au régime dégoûtant de la Prusse—tolère beaucoup plus la liberté de

la presse, il pense que lorsque le temps viendra, on mettra un bail-
lon,—mais ce qui sera dit sera dit.

Quant à la Russie, les nouvelles sont tristes. On se *résigne*, on désespère, la tyrannie est atroce, on a arrêté des individus soupçonnés d'avoir été en correspondance avec moi, on fait des perquisitions domiciliaires. Le mécontentement pourtant est grand, les paysans, et plus encore les schismatiques, murmurent; je ne crois en Russie à aucune autre révolution qu'à une guerre des paysans. Celui qui saura réunir les paysans schismatiques comme Pougatscheff a réuni les cosaques de l'Oural—frappera à mort le despotisme glacial de Pétersbourg.

Vous me pardonnerez et la franchise, et la *longueur* d'une franchise; vous ne cesserez pas de m'aimer, de me compter parmi les hommes qui vous sont dévoués mais qui sont aussi dévoués à leurs convictions.

Je me trouve bien dans ma solitude—l'isolement le plus complet, une manière de vivre de Mont Athos et une nature admirable,—je me purifie. Loin des hommes on se concentre, on comprend mieux, on devient plus soi-même.

Ma femme remercie pour votre salut par le sien. Le climat est très bon pour elle, je pense rester ici encore une dizaine de mois.

Salut, sympathies, amitiés et respect sans bornes.

Переводъ.

13 сент. 1850.

Ницца.

Ваше письмо принесло мнѣ много хорошаго: въ немъ такъ много сочувственныхъ, дружескихъ выраженій, и такъ отрадно слышать ихъ отъ человѣка, котораго любишь и уважаешь. Да, я Васъ уважаю всѣмъ сердцемъ и нисколько не боюсь откровенно высказать Вамъ свое мнѣніе относительно печатныхъ воззваній, о которыхъ Вы говорите въ своемъ письмѣ. Вы меня выслушаете снисходительно,—не правда ли?

Вы—единственный политическій дѣятель послѣдняго времени, имя котораго осталось окруженное уваженіемъ, славою и сочувствіемъ. Можно не соглашаться съ Вами, но не уважать Васъ невозможно. Ваше прошедшее, Римъ 1849 года,—обязываютъ Васъ гордо нести великое вдовство, пока новое будущее не призоветъ бойца.

Поэтому-то мнѣ было больно видѣть Ваше имя вмѣстѣ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ превосходное положеніе дѣлъ, съ именами, напоминающими намъ лишь бѣдствія, которыя они навлекли на насъ.

Это не новая организація, это — хаосъ. Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны; все, что можно для нихъ сдѣлать, это—амнистировать ихъ. Вы ихъ хотите прикрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними ваше вліяніе, ваше прошлое, — они надѣлятся васъ своею непопулярностью, своимъ прошедшимъ.

Посмотрите на результатъ. Что за *благая вѣсть*, которую принесъ намъ «Изгнанникъ» и воззваніе? Гдѣ серьезное, болѣзненное поученіе, которое дали намъ страшныя событія, послѣдовавшія послѣ 24 февраля? Вы даете продолженіе стараго либерализма, а не начало новой свободы, это—эпиплоги, а не прологи. Почему эти люди не могутъ организовать, какъ вы желаете? Потому что нельзя организовать на основаніи неопредѣленнаго сочувствія: необходима глубокая и активная мысль,—гдѣ она? Гдѣ прогрессъ со времени «Горы» 1792 года? Эти люди—Бурбоны революціи: они ничему не научились...

Съ другой стороны, первый документъ долженъ бы отличаться великою искренностью и правдивостью. Но кто же прочтетъ безъ иронической улыбки имя Арнольда Руге (я хорошо его знаю и уважаю) подъ прокламаціей, взывающей къ Богу и къ божественному провидѣнію, — того самаго Руге, который съ 1838 года исповѣдывалъ философскій атеизмъ въ «Hallischen Jahrbücher», для котораго идея провидѣнія (если онъ логиченъ) должна представлять собою въ зародышѣ всѣ виды реакціи!

Эта уступка — дипломатія, политика, средства нашихъ враговъ. Къ несчастью, такой компромиссъ былъ совершенно лишній; богословская часть прокламаціи — роскошь: она ничего не прибавляетъ ни къ разумѣнію дѣла, ни къ популярности. Народы имѣютъ положительную религію и опредѣленную церковь. Деизмъ — религія только для рационалистовъ, это — конституціонная система въ богословіи, это — религія, окруженная атеистическими учрежденіями.

Вы просмотрѣли обѣ мои брошюры ¹⁾, пересмотрите также и довольно длинную статью, появившуюся въ журналѣ Колачека подъ заглавіемъ: «Omnia mea mecum porto». Вы увидите, что иной рѣчи невозможно мнѣ было Вамъ держать. То, что я требую, что я проповѣдую, это — полный разрывъ съ неполными революціонерами: отъ нихъ на двѣсти шаговъ несетъ реакціею. Нагромоздивъ цѣлый рядъ ошибокъ, они еще стараются оправдать ихъ, и это — лучшее доказательство, что они ихъ снова повторяютъ. Возьмите «Nouveau Monde» — что за ужасающая пустота, какое пережевываніе пищи, не

¹⁾ «Съ того берега» и «Письма изъ Франціи и Италіи».

дозрѣвшей, но уже высохшей; и которая всегда остается плохо переваренной.

Не думайте, что съ моей стороны это—предлогъ отказа отъ дѣла. Я не сижу сложа руки, у меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ сердцѣ, чтобы мнѣ нравилась роль пассивнаго зрителя. Съ 13-ти лѣтъ и до 38-ми я служилъ одной и той же идеѣ, имѣлъ одно только знамя: война противъ всякой установленной власти, противъ всѣхъ видовъ рабства во имя безусловной независимости личности. Я буду продолжать эту мелкую партизанскую войну, какъ настоящій казакъ «съ помощью моего собственнаго кулака»,—какъ говорятъ нѣмцы,—связанный съ великой революціонной арміей, но не вступая въ ея правильные кадры, пока она не будетъ вполне реорганизована, т. е. пока не станетъ вполне революціонною.

Въ ожиданіи я пишу; можетъ, это ожиданіе продолжится больше, чѣмъ мы думаемъ,—быть можетъ—но не отъ меня зависитъ измѣнить капризный ходъ развитія рода человѣческаго. Говорить же, убѣждать, обращать въ свою вѣру, это отъ меня зависитъ и я это дѣлаю, всецѣло отдаваясь.

Что касается статей о Россіи, я вамъ пришлю, какъ только буду имѣть что-нибудь. Я подписываю теперь всѣ свои статьи русскимъ псевдонимомъ «Искандеръ». У меня есть большая статья о Россіи ¹⁾, но я ее уже обѣщаль для журнала Колачека, который дѣлается весьма передовымъ органомъ Германіи.

Въ Германіи, и именно въ Австріи, пропаганда идетъ съ невѣроятной быстротой; теперешній министръ,—изъ политическихъ соображеній и въ видѣ оппозиціи отвратительному прусскому режиму,—обнаруживаетъ гораздо болѣе терпимости къ свободѣ печати. Онъ думаетъ, что когда настанетъ время, всегда можно будетъ заткнуть ротъ печати,—но, вѣдь, что будетъ высказано, то и останется высказаннымъ.

Что касается Россіи, то извѣстія печальны. Всѣ *покоряются* судьбѣ, приходятъ въ отчаяніе, тираннія ужасна; арестовали нѣсколько человѣкъ, заподозрѣнныхъ въ перепискѣ со мною ²⁾; сдѣлали нѣсколько домашнихъ обысковъ. Однако, недовольство велико: крестьяне, и, особенно, раскольники ропшутъ. Я не вѣрю ни въ какую революцію - - - - , кромѣ крестьянской. Тотъ, кто сумѣетъ

¹⁾ См. № 513.

²⁾ Вѣроятно, Герценъ подразумѣваетъ арестъ Тучкова, Огарева, Сатина и Селиванова. О другихъ арестахъ лицъ, имѣвшихъ къ нему какое нибудь отношеніе, ничего неизвѣстно.

объединить - - - - - , какъ Пугачевъ уральскихъ казачковъ,—тотъ ударитъ на смерть ледяной - - - - - деспотизмъ.

Простите мнѣ и откровенность, и *длину* этой откровенности. Вы не перестанете меня ни любить, ни считать однимъ изъ тѣхъ, которые Вамъ преданы, но которые также сильно преданы своимъ убѣжденіямъ?

Я чувствую себя хорошо въ своемъ одиночествѣ, — совершенная изолированность отъ людей, образъ жизни, въ родѣ того, какъ на Аѳонѣ, и кругомъ дивная природа,—я очищаюсь. Вдали отъ людей углубляешься въ себя, лучше понимаешь, больше становишься самимъ собою.

Моя жена благодаритъ Васъ за поклонъ своимъ поклономъ. Климатъ здѣсь очень для нея хорошъ, и я думаю тутъ остаться еще мѣсяцевъ десять.

Привѣтъ, сочувствіе, дружба и безграничное уваженіе. ¹

◆◆ 1. Обстоятельства, при которыхъ писалось это письмо, рассказаны въ гл. XL «Былого и думъ»; тамъ же оно приведено по-русски, но не точно.

496. Письмо къ гр. А. Ѳ. Орлову. ¹

23 сентября 1850.

Ваше Сіятельство Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ, Императорскій консулъ въ Ниццѣ сообщилъ мнѣ Высочайшую волю о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить оную, не приведя въ ясность моего положенія.

Прежде всякаго вызова, болѣе года тому назадъ, наложено было запрещеніе на мое имѣніе, отобраны дѣловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги высланные мнѣ изъ Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мѣры противъ меня показываютъ мнѣ, что я не только въ чемъ то обвиняемъ, но что прежде всякаго вопроса и всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ лишеніемъ части средствъ моихъ.

Я не могу надѣяться, чтобъ одно возвращеніе мое могло меня спасти отъ печальныхъ послѣдствій политическаго процесса. Мнѣ легко объяснить каждое изъ моихъ дѣйствій, но въ процессахъ этого рода судятъ мнѣнія, теоріи и на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу?

Ваше Сіятельство оцѣните простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на Высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ несмотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.

Съ чувствомъ искренней преданности и глубочайшаго почтенія честь имѣю пребыть Вашего Сіятельства покорнѣйшимъ слугою

Александръ Герценъ. ²

◆◆ 1. 9 іюня 1850 г. министерство иностранныхъ дѣлъ сообщило гр. Орлову, что лондонскому посланнику и миссіямъ при швейцарскомъ союзѣ и въ Парижѣ предписано было установить, наконецъ, мѣсто пребыванія Герцена, и въ случаѣ нахождения его—предъявить ему Высоч. повелѣніе о немедленномъ возвращеніи въ Россію. Но въ Лондонѣ ровно ничего не знаютъ, а въ Швейцаріи не нашли. «Впрочемъ, бернская центральная полиція сообщила посланнику, по извѣстіямъ, полученнымъ ею изъ Франціи, что одинъ русскій демократъ, именемъ Герценъ, былъ недавно высланъ изъ Парижа, но есть ли это лицо надвор. сов. Герценъ или другой, это неизвѣстно». Изъ Парижа отвѣтъ все еще не полученъ. Черезъ мѣсяцъ изъ Парижа донесли, что Герцена не нашли и что, вѣроятно, онъ не во Франціи.

Рѣшили обратиться къ Ключареву и вскорѣ имѣли отъ него указаніе, полученное имъ, въ свою очередь, отъ Егора Ивановича, что въ концѣ мая 1850 г. Герценъ собирался выѣхать изъ Парижа въ Піемонтъ, а оттуда въ Ниццу, гдѣ и долженъ быть теперь, въ августѣ 1850 г.

Адресовались къ консулу въ Ниццѣ, и тому, наконецъ, удалось объявить Герцену Высочайшее повелѣніе 1849 года.

20 сентября консулъ донесъ, что Герценъ «обѣщалъ представить, по прошествіи двухъ дней, письменный отзывъ по сему предмету», котораго онъ и ожидаетъ. Черезъ два дня, 23 сентября консулъ донесъ министру иностр. дѣлъ, что Герценъ вновь явился въ консульство и возобновилъ свое первое заявленіе о невозможности для него немедленно возвратиться въ Россію, прибавивъ, что самъ напишетъ объ этомъ шефу жандармовъ. «Такимъ образомъ, увѣщанія, которыя я счелъ долгомъ сдѣлать г. Герцену, не произвели никакого дѣйствія и мнѣ оставалось, лишь побудить его заявить о принятомъ имъ рѣшеніи письменно, каковое и имѣю честь представить при семъ въ оригиналѣ» (приложено это письмо).

2. Герценъ рассказываетъ, что консулъ явился къ нему на квартиру и при томъ одинъ разъ, а консулъ говоритъ о двухъ

явкахъ Герцена въ консульство. Я думаю, что дѣло было такъ: на вызовъ консула Герценъ не явился, тогда первый самъ отправился къ нему, но предпочелъ скрыть это передъ начальствомъ, потому что зналъ, какъ министерство не любило подобныхъ визитовъ и за короткое время воспрещало ихъ дважды,—въ 1848 и 1850 гг.,—особыми циркулярами.

Представивъ оба эти документа Николаю I, гр. Орловъ написалъ на одномъ изъ нихъ: «Не прикажете ли поступить съ симъ дерзкимъ преступникомъ по всей строгости существующихъ законовъ?» Государь помѣтилъ: «разумѣется. Варшава. 3 октября 1850 г.»

25 октября министерство юстиціи сообщило гр. Орлову, что сенату предложено поступить съ Герценомъ по силѣ высочайшаго повелѣнія.

18 декабря петербургскій надворный уголовный судъ мнѣніемъ положилъ: «Согласно Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелѣнія и руководствуясь ст. 355 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, подсудимаго Герцена, лишивъ всѣхъ правъ состоянія, признать за вѣчнаго изгнанника изъ предѣловъ Россійскаго государства». (Ст. 355: «Кто, отлучась изъ отечества, не явится въ оное обратно по вызову правительства, тотъ за сіе ослушаніе приговаривается къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ вѣчному изгнанію изъ предѣловъ государства, если въ назначенный по усмотрѣнію суда срокъ онъ не докажетъ, что сіе учинено имъ по независѣвшимъ отъ него или, по крайней мѣрѣ, уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ, а дотолѣ почитается безвѣстно отсутствующимъ, и имѣніе его берется въ опекуновское управленіе на основаніи постановленныхъ для сего гражданскими законами правилъ»).

Изъ надворнаго уголовного суда дѣло перешло на заключеніе с.-петербургской палаты уголовного суда, состоявшееся 6 февраля 1851 года и вполнѣ совпадавшее съ уже приведеннымъ. Петербургскій губернаторъ 12 марта препроводилъ все дѣло въ Правительствующій Сенатъ при рапортѣ съ указаніемъ, что «онъ согласенъ съ рѣшеніемъ уголовной палаты». 22 марта 1851 года Сенатъ утвердилъ заключеніе надворнаго суда и палаты и постановилъ: Герцена лишить всѣхъ правъ состоянія и считать изгнаннымъ навсегда изъ Россіи, а съ имѣніемъ поступить по законамъ. Всеподданнѣйшій докладъ Сената 27 іюля былъ препровожденъ государственному секретарю.

Соединенные департаменты Государственнаго Совѣта (гражданскій и законовъ) рассмотрѣли докладъ Сената 1 сентября, и 4 сентября 1851 г. государственная канцелярія писала министру юстиціи: «Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департамен-

тахъ гражданскомъ и законовъ, постановивъ свое заключеніе по всепод. докладу Правительствующаго Сената 5 департамента о надв. сов. Герценъ, сужденномъ за невозвращеніе изъ-за границы по вызову правительства,—прежде подписанія журнала по сему дѣлу, положилъ: проектъ онаго, на основ. 46 ст. учрежд. Госуд. Совѣта, препроводить къ Вашему Сіятельству».

Панинъ проектъ утвердилъ. Рѣшено было: «сего подсудимаго, согласно съ приговоромъ сената, лишивъ всѣхъ правъ и состоянія, считать изгнаннымъ навсегда изъ предѣловъ государства, на точномъ основаніи 355 ст. Улож. о нак., и имѣніе, какое у него окажется, отдать законнымъ по немъ наслѣдникамъ».

26 сентября 1851 г. на мнѣніе Госуд. Совѣта послѣдовала резолюція: «быть по сему» (Архивъ III Отдѣленія С. Е. И. В. Канцеляріи, 1834 г., I экс., дѣло № 239, ч. 10).

Обстоятельства, при которыхъ писалось это письмо, рассказаны въ XL главѣ «Былого и думъ».

497. Письмо къ русскому консулу въ Ниццѣ.

23 septembre 1850.
Nice.

Monsieur le Consul, j'ai l'honneur de Vous prévenir que j'ai expédié aujourd'hui la lettre à Monsieur le comte Orloff, dans laquelle j'ai exposé les motifs qui ne me permettent pas de retourner immédiatement en Russie.

Agréez l'assurance de mes hommages respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être

Monsieur le consul
Votre serviteur dévoué
Alexandre Herzen.

Переводъ.

23 сентября 1850.
Ницца.

Г. Консулъ, имѣю честь предупредить Васъ, что я отправилъ сегодня письмо гр. Орлову, въ которомъ представилъ мотивы, не позволяющіе мнѣ возвратиться немедленно въ Россію.

Примите увѣреніе въ моихъ почтительныхъ чувствахъ, съ которыми имѣю честь быть Вашъ преданный слуга

Александръ Герценъ.

498. Приписка къ М. К. Рейхель.

(Декабрь 1850).

Полчаса тому назадъ я сдѣлалъ то же, что Madame Herzen, т. е. получилъ ваше письмо и собираюсь на него отвѣчать со всѣми тонкостями англійскаго выговора.

— Здры, Кол. превсдно вѣт, отъ меня не отходтъ и не шлить ¹⁾.—Маменькѣ сдѣлайте напоминовеніе о напоминовеніи Боткину при просьбѣ о пальто-макинтошѣ,—здѣсь показались чудесные, но чтобъ онъ выбралъ эlegantный и широкій.

Всѣмъ кланяюсь и очень благодарю за письма.



¹⁾ Здоровы, Коля превосходно ведетъ, отъ меня не отходить и не шалить.

1851

499. Письмо къ Эммѣ Гервегъ. ¹

21 janvier (1851).

Madame, M-r Vogt part pour Gènes. Tout le monde connaît la rupture, *personne*—le véritable état des choses.

Vos confidences concernant votre mari dans nos entretiens de Paris, m'ont montré que V. ne ménagez pas vos prochains: Vous me permettez donc de V. rendre responsable si quelque chose d'attentatoire à l'honneur de ma famille sera ébruité.

Vous me ferez encore une grâce, c'est de cesser toute correspondance avec moi. Je n'ai absolument rien à Vous dire, ni Vous à moi—les choses blessantes peuvent très bien être sousentendues. Dans votre dernière lettre, il V. a plu par exemple de vous moquer de ma position en la trouvant égale à la vôtre. Et en quoi, s'il vous plait? Vous étiez du secret, Madame, comme Vous me l'avez avoué V. même, Vous pressiez tous les jours la main d'un ami, aidant à le perdre, en perdant votre propre dignité.

Vous avez pris part à rendre malheureux un homme après avoir entretenu toute votre famille à ses frais, et avoir payé vos dettes avec son argent.

Car Vous, Madame, vous connaissez trop le monde pour ne pas croire à la plaisanterie des 200 frs que Vous m'avez payés par mois.

Non, Madame, la différence est immense même en celà que de ma bouche il n'est jamais sorti une parole contre N; je ne l'ai pas trainée dans la boue comme Vous faisiez avec votre mari en parlant avec moi.—J'ai bonne mémoire, Madame, et aucune parole ne sortira de cette bouche, car je l'aime d'un amour digne et fier, car je sais qu'elle a un grand amour pour moi—*et qu'elle reste.*

Tandis que Vous n'êtes pas gâtée sous ce rapport.

Madame, c'est dur, mais c'est l'honneur outragé qui parle. Recevez mes désirs sincères de ne plus continuer de correspondance hors le cas où Vous aurez une *véritable* nécessité d'argent que je me donnerai le plaisir de V. envoyer.

P. S. Je ne répondrai plus, Madame, à aucune lettre, je n'en recevrai pas même; pour les petites affaires il vaut beaucoup mieux de V. adresser par l'intermédiaire de M-r Vogt.

Переводъ.

21 января (1851).

Милостивая Государыня, г. Фогтъ ¹⁾ уѣзжаетъ въ Геную. Всѣ знаютъ о разрывѣ, *никто*—дѣйствительнаго положенія вещей.

Ваши рассказы, касающіеся вашего мужа, во время нашихъ парижскихъ бесѣдъ, показали мнѣ, что Вы не щадите своихъ ближнихъ. Позвольте мнѣ поэтому считать Васъ отвѣтственной, если будетъ разглашено что-нибудь, позорящее честь моей семьи.

Вы еще окажете мнѣ большую милость, если прекратите всякую переписку со мной. Мнѣ совершенно нечего говорить вамъ, ни вамъ—мнѣ; оскорбительныя вещи могутъ отлично оставаться незамѣчаемыми. Въ вашемъ послѣднемъ письмѣ Вы, напимѣръ, изволите смѣяться надъ моимъ положеніемъ, находя его одинаковымъ съ вашимъ. Въ чемъ же, позвольте Васъ спросить? Вы участвовали въ заговорѣ, какъ сами признались мнѣ въ этомъ; Вы каждый день пожимали руку другу, помогая его гибели и губя ваше собственное достоинство.

Вы приняли участіе въ томъ, чтобы сдѣлать несчастнымъ чловѣка, послѣ того, какъ содержали на его средства всю свою семью и заплатили свои долги его деньгами.

Ибо Вы, сударыня, Вы слишкомъ хорошо знаете свѣтъ и людей, чтобы повѣрить шуткѣ о 200 фр., которые Вы, будто бы, платили мнѣ ежемѣсячно.

Нѣтъ, сударыня, разница огромна—даже въ томъ, что изъ моихъ устъ никогда не вырвалось ни одного слова противъ Н. ²⁾; я не втапывалъ ее въ грязь, какъ это Вы дѣлали со своимъ мужемъ въ разговорахъ со мной.—У меня хорошая память, сударыня, и ни одного слова не вырвется изъ этихъ устъ, потому что я люблю ее любовью высокой и гордой, потому что знаю, что ея любовь ко мнѣ велика и что *она остается*.

¹⁾ Карлъ.

²⁾ Н. А—на.

Вы же не были избалованы въ этомъ отношеніи.

Сударыня, это жестко, но говоритъ оскорбленная честь. Примите мои искреннія желанія не продолжать переписки, кромѣ случая, если у васъ будетъ *дѣйствительная* нужда въ деньгахъ,—я доставлю себѣ удовольствіе вамъ ихъ послать.

P. S. Я не буду больше отвѣчать, сударыня, ни на какія письма, я даже не буду принимать ихъ; по неважнымъ дѣламъ гораздо лучше обращаться черезъ посредство г. Фогта.

◆◆ 1. Это первое письмо, касающееся тѣхъ семейныхъ и интимныхъ отношеній Герцена, которыя нашли себѣ полное освѣщеніе въ пятой части «Былого и думъ» и въ весьма пространныхъ къ ней комментаріяхъ. Чтобы не повторять сказаннаго тамъ, я воздерживаюсь здѣсь и дальше, въ предѣлахъ 1850—1852 г., отъ частичнаго комментирования и отсылаю интересующихся къ указанному источнику.

500. Надпись для А. Х. Энгельсонъ.

Александрѣ Христіановнѣ Энгельсонъ, русской по сердцу, отъ русскаго. Ницца. 1851. 31/19 января.

501. Письмо къ Т. Н. Грановскому, Н. Х. Кетчеру, Е. Ө. Коршу и др.

2 февраля 1851 г.
Ницца.

Итакъ, наконецъ, случай писать къ вамъ. Я писалъ къ вамъ въ августѣ, но мое письмо воротилось ко мнѣ черезъ два мѣсяца. Оно цѣло, но я его не пошлю. Скажу коротко и добрѣе то, что въ немъ пространно и исполнено горечи или, лучше, сердечной боли. Ваши послѣднія письма удивили меня. Это—старчество, резонерство; вы заживо соборуетесь масломъ и дѣляетесь нетерпимыми не хуже нашихъ враговъ. У васъ было одно благо: маленькій дружескій кружокъ,—онъ распался. Тонъ, съ которымъ вы пишете объ «гнусной исторіи», объ грязной исторіи, «объ омутѣ, въ которомъ вы не хотите купаться», возмутителенъ; вы этакъ говорите о лучшемъ

другъ ¹⁾), говорите *мнѣ* и не прибавляете въ доказательство ничего, кромѣ словъ дурака Закревскаго ²⁾). Зачѣмъ вы согласны съ нимъ? и что вамъ за дѣло до мнѣнія «порядочныхъ людей», т. е. Бербендовскаго и Перхуновскаго ³⁾? И чѣмъ же вы будете дорожить въ жизни, если вы не дорожили такою связью?—подумайте!

Дурно сдѣлаете вы, если разсердитесь за эти строки. Я васъ люблю; еще больше—я знаю, что вы лучше вашихъ писемъ; я не такъ опрометчивъ, чтобъ вѣрить вамъ на слово, но нехорошо то, что вы привыкли съ такимъ цинизмомъ судейскимъ говорить о другѣ. Я не могъ не высказать вамъ всего этого: моей независимой натуры и откровенной перемѣнить нельзя. Отбросьте эту дрянь, отбросьте вашу безутѣшную мораль, которая вамъ не къ лицу, это—начало консерватизма... этимъ путемъ вы не уйдете дальше Каченовскихъ, Дальмановъ и Венедеевъ.

Ну, давайте ваши руки и согласитесь, что вы жестоко поступили, по крайней мѣрѣ, жестоко выразались. ¹

Объ себѣ я могу мало сказать. 1850 годъ былъ годомъ тягчайшихъ испытаній; да, друзья мои, я уцѣлѣлъ отъ всевозможныхъ единоборствъ, я уцѣлѣлъ... но я не тотъ. Жизнь моя, дѣйствительно, окончилась, потому что у меня нѣтъ ни одного вѣрованія больше: не я, а люди развили мой скептицизмъ, кругомъ обманъ, ни на что нельзя опереться... и если я буду писать, то это единственно съ цѣлью заявить людямъ, что я сколько-нибудь ихъ знаю и не вѣрю ни въ ихъ будущее, ни въ ихъ настоящее. Индивидуально, для себя я жду одного—*свиданія съ вами*; при малѣйшей возможности я примчался бы въ Москву. Проѣздъ нашего пріятеля ⁴⁾) оживилъ меня... Неужели никто не пріѣдетъ? вѣдь, такъ откладывать въ долгій ящикъ,—пожалуй, самъ прежде попадешь въ ящикъ. Еслибъ вы могли передать Nat. и ему ⁵⁾), что я жажду, какъ послѣдняго утѣшенія, поговорить съ ними,—какія препятствія? чего нельзя желающему? Отчего, если нужно, не взять денегъ у Филиппыча ⁶⁾)? Кстати о деньгахъ, не мѣшало бы напомнить ему и Михайловичу ⁷⁾), что пусть они платятъ, хоть по 6 проц.,—мнѣ здѣсь деньги очень нужны, и не на одинъ вздоръ. Проц. заплач. до *осени 1849*. Между прочимъ, возьмите сейчасъ 200 руб. сер. и отошлите Егору Ив. для отпра-

¹⁾ Н. П. Огаревъ.

²⁾ Арсеній Андреевичъ, московскій генераль-губернаторъ.

³⁾ Персонажи Гоголя въ «Мертвыхъ душахъ».

⁴⁾ Н. П. Боткинъ.

⁵⁾ Огаревъ и Н. А. Тучкова.

⁶⁾ Н. Ф. Павловъ.

⁷⁾ Сатинъ.

вленія въ Тамбовъ Аксинѣ Иван. ¹⁾). Все это необходимо и писать случается такъ рѣдко, что прошу васъ не ждаты повторенія. Да велите сказать Егору Ив., что онъ можетъ для того же употребленія и еще взять изъ процентовъ. Если же хотять проц. прислать сюда, то чего же лучше, какъ на имя маменьки и на адресъ Avigdor'a, здѣшняго банкира, обяжавъ Цепнера или Редлиха ²⁾ отвѣчать за доставку; вексель можетъ быть на Парижъ, на Марсель, — все равно. (Оставить второй вексель у себя). Ну, довольно по части министерства финансовъ.

Жизнь европейская огадила мнѣ до невозможности. Все мелко, все развратно, все гнило; толкуютъ о томъ, чтобъ насиловать, а у самихъ impuissance ³⁾, и знаютъ, что какъ до дѣла дойдетъ—не тутъ-то было, а все ярятся. Наконецъ, нравственное растлѣніе всего образованнаго, дѣйствительно, доходитъ до чудовищнаго. Въ одной Англии есть порядочные люди. И, странное дѣло, чѣмъ больше меня здѣсь начинаютъ признавать, чѣмъ больше мнѣ уступаютъ мѣсты и правъ въ ихъ дѣлахъ, тѣмъ больше я съ ними расхожусь, тѣмъ меньше у меня довѣрія. Я счастливъ, что живу въ такомъ захолюстыи, какъ Ницца. Кстати, я сижу день и ночь за испанской грамотой и ѣду около конца нынѣшняго мѣсяца въ Барселону и оттуда до Кадикса по литоралю ⁴⁾,—прошу объявить маросейскому андалузцу ⁵⁾. Дѣти и домъ остаются здѣсь, также и маменька.

Прощайте, друзья; мнѣ казалось, что я ужасно много напишу, но духъ сталъ коротокъ, прощайте. Любите меня да пришлите, хоть по жеребью, одного изъ васъ сюда. ² Передайте непременно въ Саранскъ ⁶⁾ мою просьбу... грѣхъ будетъ, если не сумѣютъ сладить. Мое путешествіе въ Испанію продолжится не больше, какъ до конца мая. И денежную комиссію справьте.

Ахъ, гдѣ эти острова,
Гдѣ росла трынъ-трава,
Братцы! ⁷⁾

◆◆ 1. Августовское письмо (1850 г.) Герцена къ друзьямъ не сохранилось, поэтому нѣтъ возможности знать точно, что имѣли:

¹⁾ Захарьина, мать Н. А.—ны.

²⁾ Московскіе банкиры.

³⁾ Импотенція.

⁴⁾ Littoral—прибрежье, приморье.

⁵⁾ В. П. Боткинъ.

⁶⁾ Огареву.

⁷⁾ Невѣрная передача начала извѣстнаго стихотворенія К. О. Рылѣва. «Ахъ, гдѣ тѣ острова».

противъ Огарева московскіе друзья, но ясно, что отношенія ихъ къ нему были далеко не прежнія,—ясно не только изъ сказаннаго Герценомъ, но и по другимъ указаніямъ.

Грановскій писалъ Огареву въ 1849—1850 г., между прочимъ: «Придетъ пора,—я крѣпко держусь за эту надежду,—мы сойдемся безъ объясненій и безъ оправданій, такъ же близкіе одинъ другому, какъ въ лучшіе годы нашей дружбы. Теперь это невозможно. Скажу одно: здѣсь никто не обвиняетъ тебя. Даже имя твое и имя Н. А. не произносятъ на нашихъ бесѣдахъ не потому, что тебя забыли, а потому что въ настоящую минуту тяжело всѣмъ говорить о тебѣ. Въ этомъ молчаніи много любви» («Грановскій и его переписка», II, 449—450).

Изъ другихъ писемъ Грановскаго къ разнымъ лицамъ видно, что до 1849 г. друзья были вполнѣ по-старому близки съ Огаревымъ (напр., стр. 273 и 294); а въ 1854 г. есть такое замѣчаніе: «съ Огаревымъ Сатинъ почти не видится болѣе, хотя и не въ ссорѣ, но Н. А. становится хуже и противнѣе съ каждымъ днемъ». Это, конечно, послѣ 1850 года, но до нѣкоторой степени еще разъ указываетъ на отношенія друзей къ Н. А. Тучковой-Огаревой.

Послѣдняя и сама дала одно важное указаніе въ своихъ «Воспоминаніяхъ», относящееся къ февралю 1850 г. Когда она пріѣхала въ Москву, гдѣ жила Сатина, и попробовала черезъ С. И. Астракова узнать отъ Кетчера и Грановскаго, не опасно ли для здоровья сестры свиданіе съ нею, при которомъ неминуемо ей стало бы извѣстно объ арестѣ ихъ отца, то, «едва Астраковъ произнесъ мое имя, какъ полились враждебныя рѣчи: «Она погубила своего отца и Огарева да и Сатина тоже, а теперь ей мало, пріѣхала сюда, чтобы убить сестру!»—вскричалъ одинъ изъ нихъ» (стр. 80). Ясно, что обстоятельства совмѣстной жизни Огарева съ Н. А. Тучковой, любовь его къ ней и дѣло съ имѣніемъ и Сатинымъ были именно той почвой, на которой выросли указанные Герценомъ отношенія.

Здѣсь я считаю вполнѣ умѣстнымъ дать подробное описаніе фактовъ изъ жизни Огарева, Сатина и Тучкова въ 1849—50 годахъ.

Въ 1849 г. создано было шумное дѣло «петрашевцевъ», которымъ правительство обязано извѣстному сыщику Липранди. Само по себѣ значительное въ смыслѣ числа непосредственно къ нему привлеченныхъ лицъ, дѣло это было источникомъ массы другихъ дѣлъ. Въ числѣ этихъ послѣднихъ, между прочимъ, находятся дѣла объ Огаревѣ, Сатинѣ, А. А. Тучковѣ и И. В. Селивановѣ. Пользуясь подлинными «дѣлами» III Отдѣленія С. Е. И. В. Канцеляріи, я и расскажу ихъ постольку, поскольку они имѣютъ отношеніе къ друзьямъ и близкимъ Герцена.

Началось все съ рапорта жандармскаго полковника Юрасова отъ 22 іюля 1849 г., посланнаго имъ изъ Тамбова шефу жандармовъ. Юрасовъ познакомился съ управляющимъ имѣніемъ Огарева, Пятовымъ, и получилъ отъ него свѣдѣнія, что Огаревъ «всю зиму занимался какими-то сочиненіями въ духѣ революціонномъ, читалъ нѣкоторые изъ нихъ Пятову, который сообщилъ ему это и какъ Пятовъ жилъ у Огарева безъ контракта и, слѣд., безъ прямого назначенія жалованья, а при продажѣ имѣнія лишается мѣста, теряетъ надежду на удовлетвореніе его тѣмъ жалованьемъ, которое обѣщалъ ему Огаревъ, опасается еще начета, то рассказывая мнѣ описанное выше выразился такъ: «конечно я жилъ у Тучкова прежде, одинъ другого знаемъ хорошо; но если онѣ меня будутъ обижать, то я ихъ революціонистовъ открою правительству» и хотя я старался убѣдить его дѣйствовать неупустительно, но онъ отозвался: нужно подождать, впрочемъ не отказывался сдѣлать услугу присовокупивъ притомъ, что бумаги важныя, т. е. революціонныя, Огаревъ всегда возитъ съ собою и что ихъ всегда можно у него найти. Пятовъ человекъ бойкій.

«Было бы излишнимъ удостовѣриться по мѣсту теперешняго пребыванія Огарева въ Трубчевскомъ уѣздѣ (Орловской губ.), и я знаю его лично, былъ даже съ нимъ знакомъ, когда онъ жилъ съ отцомъ своимъ въ Пензѣ — удостовѣриться въ томъ: точно ли дочь Тучкова съ нимъ, Огаревымъ, и внезапно взять все находящіяся при немъ бумаги. Пятовъ увѣрялъ, что много можетъ открыться. Излишнимъ было бы еще видиться съ Пятовымъ, но онъ живетъ въ Инсарскомъ уѣздѣ, гдѣ я кончилъ осмотръ магазейновъ и быть въ этомъ уѣздѣ вторично и особенно въ проданномъ уже имѣніи нахожу безъ особеннаго разрѣшенія неумѣстнымъ» (Архивъ III Отд. С. Е. И. В. Канцеляріи, дѣло о Петрашевскомъ, 1849, ч. II).

Шефъ жандармовъ немедленно запросилъ пензенскаго жандармскаго штабъ-офицера Родивановскаго по существу донесенія Юрасова, приказавъ ему дать отвѣтъ послѣ наведенія основательныхъ справокъ.

Пока Родивановскій ихъ собиралъ, отецъ Маріи Львовны, Рославлевъ, 6 сентября 1849 г. писалъ гр. Орлову изъ Саратова: «Ваше Сіятельство! Извѣстная всѣмъ справедливость Вашего Сіятельства, даетъ мнѣ смѣлость искать Вашего покровительства! Дѣло вотъ какого рода: дочь моя, въ замужествѣ за пензенскимъ дворяниномъ Н. П. Огаревымъ, по болезни два года находится за границею; между тѣмъ, Огаревъ, попавши въ дружбу Тучкова, Пензенской губ. Инсарскаго уѣзда, предводителя, какъ видно по фактамъ, вступилъ подъ руководствомъ Тучкова, въ секту коммунистовъ. Я

убѣдился въ томъ не молвою; но дѣлами: Тучкова, Огарева и Сатина друга его. Сіи послѣднія два еще обучавшись, вмѣстѣ въ университетѣ, были уже въ подозрѣніи, а потомъ долго подъ надзоромъ. Огаревъ, оставивши жену, будучи ей долженъ по крѣпостнымъ актамъ, значительную сумму, которую конечно и заплатилъ бы онъ, если бы не попалъ въ коммунисты, подъ руководство Тучкова, какъ видно, старѣйшаго секты настоятеля. Вотъ какимъ образомъ все свѣрилось: Тучковъ, отдалъ свою дочь Огареву, какъ отдаютъ несчастныхъ дѣвъ, въ домахъ зазорныхъ. Огаревъ насладившись своею находкою по чему не знаю, разсудилъ передать ее Сатину, другу своему уже въ жены, давши ей четыре ста душъ, родового имѣнія въ приданое. Невыходя изъ круга дѣйствій, онъ принялъ отъ Тучкова и другую дочь его дѣву. Господа коммунисты хлопотали неутомимо, обобратъ несчастнаго, въ чемъ и успѣли, пустя его съ барышней наслаждаться въ Крымъ. Ясно доказали мнѣ такими поступками и ограбленіемъ Огарева, что у нихъ все было подготовлено, выпроводить его за границу, а настоящую жену его, дочь мою, оставить безъ заплатъ. Будьте милостивы, Ваше Сіятельство! вступитесь въ защиту невинныхъ. Я старъ и не имѣю другого утѣшенія, кромѣ дочери моей—прикажете задѣржать, Огарева въ Россіи и расплатиться съ дочерью моею,—возстановите возможность ея существованія, какъ и возможность, возвратиться въ отечество. Остается у него еще изъ четырехъ тысячъ душъ, доставшихся ему послѣ отца, одно имѣніе въ Орловской губ., да и то едва ли не входитъ въ руки сихъ коммунистовъ, если не будутъ приняты скорыя мѣры, къ огражденію того имѣнія. Я, какъ отецъ, скорбящій душою, объ участи дочери моей, рѣшилъ высказать Вашему Сіятельству все это съ откровенностью семидесятилѣтняго старика, предоставляя правительству раскрыть, можетъ быть, и далѣе разлившееся зло такого рода».

12 октября Родивановскій донесъ шефу жандармовъ что слухи о принадлежности Тучкова и Сатина къ сектѣ коммунистовъ «совершенно ничѣмъ не подтверждаются, тѣмъ болѣе, что гг. Тучковъ и Сатинъ видимо стараются единственно о собственной пользѣ, для которой тотъ и другой пренебрегли даже законы, установленные св. церковью, ибо, сколько мнѣ по частнымъ слухамъ извѣстно, первый изъ нихъ пожертвовалъ своею дочерью, а послѣдній изъ корыстолюбія вступилъ въ бракъ». Объ Огаревѣ сообщалъ пензенскій губернаторъ Панчулидзевъ, 25 октября, что неблагоприятные слухи до него доходятъ, но ихъ надо провѣрить, чѣмъ онъ и займется.

12 ноября Родивановскому было предписано имѣть за Огаревымъ строгое наблюденіе.

30 января 1850 г. Николаю I былъ сдѣланъ докладъ, въ которомъ шефъ жандармовъ писалъ:

«Въ началѣ 1849 г. пензенскій гражд. губернаторъ, находясь въ С.-Петербургѣ, лично объяснялъ, что предводитель дворянства Инсарскаго у., поручикъ А. А. Тучковъ, возвратившись изъ Парижа, носилъ бороду и обнаруживалъ передъ молодыми людьми вольный и противорелигіозный образъ мыслей. Тайн. сов. Панчулидзевъ точно также отзывался и о другомъ помѣщикѣ Пензенской губ., кол. ассесорѣ, И. В. Селивановѣ. Надъ Тучковымъ и Селивановымъ немедленно учрежденъ былъ надзоръ какъ по части жандармской, такъ и со стороны мин. внутр. дѣлъ, равно потребованы были свѣдѣнія отъ находящагося въ Пензен. губ. подполковника корпуса жандармовъ Родивановскаго. Послѣдній донесъ, что на счетъ Тучкова дѣйствительно были слухи, будто бы онъ опровергалъ религію, таинство брака, посты и другіе обряды церкви, разсуждая вольно о правительствѣ; подтверждались же слухи эти тѣмъ, что Тучковъ въ домѣ одного помѣщика говорилъ о разстройствѣ финансовъ Россіи, происшедшемъ будто бы отъ покойнаго министра, гр. Канкринна, о необходимости уменьшить войско, о неправильномъ основаніи опекунскихъ совѣтовъ, о разореніи нашихъ помѣщиковъ и проч., но какъ одинъ изъ находившихся при этомъ нѣсколько разъ останавливалъ Тучкова, стараясь внушить ему, что безчестно судить такимъ образомъ о правительствѣ, которому мы всѣмъ обязаны, то это заставило Тучкова умолкнуть и перемѣнить разговоръ. Относительно же Селиванова Родивановскій отозвался, что помѣщикъ сей всегда остороженъ въ разговорахъ.

«Въ сентябрѣ мѣсяцѣ получено было новое неблагопріятное свѣдѣніе о Тучковѣ и еще о двухъ дворянахъ, жительствующихъ въ Пензенской губ., Николаѣ Огаревѣ и Николаѣ Сатинѣ, изъ которыхъ послѣдніе двое уже были на замѣчаніи правительства. (Далѣе приводится уже извѣстное читателю изъ бумагъ, писанныхъ Рославлевымъ и Родивановскимъ). Обо всемъ этомъ въ декабрѣ мѣсяцѣ было лично передано министру внутр. дѣлъ, который вошелъ въ переписку съ пензенскимъ гражд. губернаторомъ. Нынѣ я отнесся къ гр. Перовскому, дабы увѣдомилъ меня, получено ли имъ и, если получено, то какое именно донесеніе о выше означенныхъ лицахъ».

Николай I, прочитавъ докладъ, побесѣдовалъ съ гр. Орловымъ и отъ резолюціи временно воздержался.

10 февраля 1850 г. шефъ жандармовъ представилъ второй всеподданнѣйшій докладъ. Послѣ повторенія всего, сказаннаго въ первомъ, гр. Орловъ писалъ, что Перовскій прислалъ ему донесеніе

Панчулидзева, подтверждающее всѣ сообщенія о безнравственныхъ поступкахъ Тучкова и Огарева, что короткія ихъ отношенія начались по возвращеніи Огарева изъ-за границы, ибо Огаревъ чувствовалъ за собою силу, когда узналъ, что Тучковъ недобросовѣстно управлялъ его имѣніемъ и пр. Кромѣ того, Тучковъ обвиняется въ возстановленіи казенныхъ крестьянъ противъ начальства, въ подбитіи крестьянъ къ подачѣ неосновательныхъ жалобъ, въ скрытіи у себя бѣглеца двороваго одной сосѣдки и въ сидѣніи рядомъ за столомъ съ своимъ мужикомъ—бурмистромъ. Селивановъ съ Тучковымъ былъ на парижскихъ баррикадахъ и вообще велъ жизнь, неблагонадежную и развратную. Панчулидзева оговорилась въ рапортѣ Перовскому, что, хотя все имъ сообщаемое и не подкрѣпляется формальными доказательствами, но изложено «съ строгою справедливостью и основано на убѣжденіяхъ совѣсти». Тучкова, по его мнѣнію, нельзя оставить въ губерніи; Перовскій же, съ своей стороны, находитъ, что Тучкова и Огарева надо арестовать и опечатать ихъ бумаги. Гр. Орловъ присоединяется къ такому предложенію съ распространеніемъ того же на Селиванова и Сатина, для чего и предлагаетъ отправить немедленно на мѣсто генераль-маіора Куцынскаго.

Резолюція государя записана Орловымъ: «1. Высочайше повелѣно исполнить по нашему съ министромъ внутр. дѣлъ мнѣнію, объявленіе Высоч. повелѣнія о исключеніи Тучкова изъ предводителей двор. должно быть объявлено вмѣстѣ съ арестованіемъ его бумагъ; Огарева, Сатина и Селиванова бумаги должны быть опечатаны и также рассмотрѣны въ Спб., само по себѣ разумѣется съ чиновниками отъ мин. вн. дѣлъ. 2. Переговоримъ о томъ, должно ли виновныхъ доставить вмѣстѣ съ бумагами въ Спб., мнѣ кажется, что это будетъ вѣрнѣе. 3. Послѣ нашего совѣщанія я нахожу необходимымъ всѣхъ четырехъ привести сюда съ ихъ бумагами прямо въ III Отдѣленіе».

Всѣ эти переговоры и совѣщанія Орловъ велъ съ Дубельтомъ.

13 февраля онъ предписалъ генералу Куцынскому взять двухъ офицеровъ изъ петербургскаго жандармскаго дивизіона и немедленно отправляться въ Пензу,—Сатина арестовать въ Москвѣ долженъ ген.-губ. Закревскій. Тамъ Куцынскому слѣдовало явиться къ ген.-губернатору и взять у него двухъ чиновниковъ для присутствованія при арестѣ. Аресты всѣ произвести въ одно время, а если Сатинъ не въ Москвѣ, то, арестовавъ его, отправить съ нимъ состоящаго при Родивановскомъ штабс-капитана Корфа.

Изъ особой записки Куцынскаго видно, что онъ выѣхалъ изъ Спб. вечеромъ 14 февраля, въ Москву прибылъ 17-го утромъ. Въ тотъ же день былъ арестованъ Сатинъ и съ штабс-капитаномъ

Панаевымъ отправленъ въ Спб. Въ 11 ч. генераль былъ у Закревскаго и отправился въ Пензу съ состоящими при немъ офицерами дивизиона, Ланге и Эккомъ. 21 февраля, въ 3 ч. дня онъ прибылъ въ Пензу, узналъ, что Огаревъ уѣхалъ въ Симбирскую губ. и послалъ за нимъ Родивановскаго и Ланге. 24 февраля Огаревъ былъ арестованъ въ Симбирскѣ и тогда же отправленъ съ Ланге въ Спб. Вечеромъ Куцынскій уѣхалъ въ Инсарскій уѣздъ съ губернаторскимъ чиновникомъ Карауловымъ, а Экка отправилъ въ Саранскій уѣздъ къ Селиванову. Тучковъ арестованъ въ 11 ч. утра 22 февраля; Селиванова не захватили,—онъ оказался въ Москвѣ, куда уѣхалъ по подорожной отъ 8 декабря 1849 г. Эккъ отправленъ впередъ, чтобы сообщить московскому окружному жандармскому генералу Перфильеву о Селивановѣ, котораго и удалось арестовать въ 6 ч. дня 27-го; 3 марта Куцынскій съ чиновниками прибылъ въ Спб., а 4-го или 5-го надо ждать Ланге съ Огаревымъ. Они и прибыли 5 марта ночью, остановившись у чиновника Мансурова.

Въ «Воспоминаніяхъ» Н. А. Огаревой объ арестѣ ея отца, А. А. Тучкова, не рассказано ничего такого, что могло бы опровергать или существенно дополнить извѣстное изъ офиціального дѣла (ср. стр. 73—76, 78); Куцынскаго она очень хвалитъ и приводитъ нѣсколько штриховъ, доказывающихъ, что онъ не былъ склоненъ довѣрять всѣмъ доносамъ Рославлева, Пятова, Юрасова и Родивановскаго. Объ арестѣ Огарева она рассказываетъ интересныя подробности (ср. стр. 76—78), изъ которыхъ видно, что предупрежденный ею черезъ нарочнаго, посланнаго изъ имѣнія Тучкова въ Симбирскъ, Огаревъ успѣлъ приготовиться къ аресту и уничтожить кое-какія бумаги, что и не ускользнуло отъ жандармовъ. Относительно ареста Сатина подробности для насъ мало интересны (ср. стр. 80, 82).

Арестованные сидѣли врозь; Сатинъ и Огаревъ пользовались каждый по одной комнатѣ, а Тучкова помѣстили отдѣльно въ двухъ хорошо меблированныхъ комнатахъ. Н. А. Тучковой разрѣшили переписку съ отцомъ и затѣмъ Сатинымъ. Огаревъ не зналъ о томъ, что она съ домашними пріѣхала въ Спб.

Изъ доклада Куцынскаго отъ 5 марта видно, что отличительной чертой 52-лѣтняго Тучкова онъ считалъ «безграничное самолюбіе». «Весьма удовлетворительное образованіе, состояніе независимое (имѣетъ около 800 душъ и два завода—сахарный и винокуренный, послѣдній въ большемъ размѣрѣ), связи родства, поѣздка за границу и продолжительное тамъ пребываніе внушили ему какую-то самоувѣренность и право на первенство въ губерніи. Хотя основательнаго ума въ немъ незамѣтно, но въ его сужденіяхъ много есть

сарказма, остроты и даже болтливости. Рѣзко выражается о дѣйствіяхъ мѣстной власти (Панчулидзева), которая, по его словамъ, увлекается корыстными видами; не общежителенъ, живетъ уединенно, строго и добросовѣстно исполнялъ свою должность; за свою заносчивость большинствомъ дворянъ не любимъ, но нельзя допустить, чтобъ не пользовался уваженіемъ, иначе не былъ бы избираемъ въ предводители въ продолженіе пяти трехлѣтій. Крестьяне его въ весьма хорошемъ состояніи. Въ числѣ бумагъ, взятыхъ у Тучкова, есть его мнѣнія *объ освобожденіи крестьянъ*. Этою идеей онъ достаточно проникнутъ. Жена его, урожденная Жемчужникова, кроткая и добрая женщина, впрочемъ, въ семьѣ не имѣетъ никакого голоса; таковъ, по крайней мѣрѣ, общій отзывъ о ней. При нихъ живетъ дочь, Наталія, дѣвица 21 года, повидимому, очень бойкая и съ рѣзкими мужскими замашками».

Селивановъ, коллежскій ассесоръ, 40 лѣтъ, помѣщикъ Пензенской губерніи, бывший саранскимъ уѣзднымъ судьей, аттестованъ такъ: «Умомъ и способомъ выражать свои мысли гораздо выше Тучкова. Пишетъ романы и повѣсти въ сатирическомъ духѣ, но неудачно. Жилъ нѣкоторое время за границей. Въ сужденіяхъ своихъ о злоупотребленіяхъ въ губерніи нисколько не стѣсняется. Тайн. сов. Панчулидзевъ смотритъ на него, какъ на человѣка опаснаго. Селивановъ имѣетъ хорошее состояніе, заключающееся въ недвижимомъ имѣніи въ Саранскомъ у. и домѣ въ Москвѣ, купленномъ имъ недавно за 100,000 р. асс. Женатъ, имѣетъ двоихъ дѣтей».

Объ Огаревѣ сказано: «Лично его не знаю, но слышалъ о немъ, какъ о человѣкѣ, безпредѣльно кроткомъ, добромъ и самаго слабого характера. Женатъ на Рославлевой, родной племянницѣ Панчулидзева, безнравственной женщинѣ, проживающей нынѣ въ чужихъ краяхъ. Огаревъ хлопочетъ о разводѣ. Между тѣмъ пріютился въ семействѣ Тучкова и находится подъ непосредственнымъ его вліяніемъ и въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ его дочерью, дѣвицею Наталіей».

«Николай Сатинъ, 30 лѣтъ, неслужащій. Женатъ на старшей дочери Тучкова, Еленѣ, живетъ въ Москвѣ. Послѣ его арестованія, 17 февраля, жена родила преждевременно, съ 25 на 26 февраля, но мать и ребенокъ здоровы, въ чемъ я удостовѣрился въ Москвѣ. Сатинъ слыветъ добрымъ малымъ, но онъ почти неизвѣстенъ въ Пензенской губ.».

«Тучковъ и Селивановъ особенно на дурномъ замѣчаніи у Панчулидзева, пользующагося довѣріемъ высшаго начальства, губернатора весьма умнаго, дѣльнаго, съ большими связями и огромнымъ родствомъ въ подвѣдомственной ему губерніи, въ которой, однако,

онъ не считается человѣкомъ нравственнымъ и безкорыстнымъ. Нѣкоторыя служебныя столкновенія у Тучкова и Селиванова съ начальникомъ губерніи, во время бытности перваго предводителемъ, а послѣдняго судьей, еще болѣе дали поводъ видѣть въ нихъ людей опасныхъ, зараженныхъ западными идеями и вредныхъ правительству».

Одновременно съ арестованіемъ Сатина гр. Закревскій офиціально сообщилъ гр. Орлову что взяты всѣ его бумаги и запечатана одна комната въ его квартирѣ съ библіотекой, а не офиціально писалъ: «По полученіи отъ тебя отношенія о Сатинѣ любезный другъ Алексей Федоровичъ, я тотчасъ послалъ его взять и посадить въ секретную, и опечатанные бумаги представить комне, котораго съ оными сейчасъ отправилъ съ жандармскимъ офицеромъ симъ подателемъ. Сатинъ женатъ на дочери Тучкова Инзарскаго предводителя дворянства и жена Сатина беременна и осталась здѣсь родить. Генералъ твой (Куцынскій — *М. Л.*) вручивши мне твое отношеніе тотчасъ поехалъ въ Пензу. Графине тебя попрошу отъ мене поклонится. Будь здоровъ вернѣйшій навсегда твой другъ графъ *А. Закревскій*».

20 февраля Сатинъ былъ сданъ штабу корпуса жандармовъ и помѣщенъ въ камерѣ № 5. Запрещенныя книги изъ его библіотеки гр. Орловъ потребовалъ въ III Отдѣленіе.

Изъ описи сатинскихъ бумагъ, составленной служащими въ III Отдѣленіи д. ст. сов. М. М. Поповымъ, д. ст. сов. Гедерштерномъ и надв. сов. Барабинымъ и скрѣпленной «уполномоченнымъ г-жею Сатиной штабъ-лѣкаремъ надворн. совѣтникомъ, Николаемъ Яковлевичемъ Кетчеромъ», видно, что у него, между прочимъ, находились: 1) нѣсколько печатныхъ листовъ, вырѣзанныхъ изъ «*Revue Indépendante*» и заключающихъ въ себѣ статью Фейербаха, «извѣстнаго германскаго социалиста», «*L'essence du christianisme*»; 2) тетрадь выписокъ «объ основаніяхъ системъ экономистовъ, социалистовъ, сенсуалистовъ и фурьеристовъ»; 3) стихи Сатина «Памяти Боратынскаго»; 4) выписка изъ книги «*Du système pénitencier aux Etats Unis*» съ прибавкой разныхъ философскихъ мыслей относительно новѣйшихъ системъ. «Бумага эта обратила вниманіе по слѣдующей въ концѣ оной припискѣ неизвѣстнаго лица: «*Vous garderez tout cela pour vous; l'idée que Vous pourriez le communiquer à qui que ce fût, me cause des battements de coeur et oppression de poitrine, je l'exige absolument, ne trahissez pas ma confiance*»¹⁾. 5) Письмо къ Сатину изъ Царскаго Села безъ подписи,

¹⁾ Вы все это сохраните для себя; мысль, что вы можете сообщить это кому бы то ни было, причиняетъ мнѣ сердцебіеніе и удушье въ груди; я требую безусловно, не обманите моего довѣрія.

въ которомъ сказано: «Надобно намъ повидаться, съѣхаться, не какъ мечтаніе о какихъ-то отдаленныхъ благахъ, но какъ выраженіе необходимой потребности мысли и сердца. Другія извѣстія твои не хороши. Какъ окончится вся эта исторія? Для мысли, правда, можетъ быть здѣсь работа, но не безъ боя, не безъ усилій, и тутъ что-нибудь симпатическое должно поддерживать, а потомъ... все это болѣе перескажемъ когда-нибудь. Весьма желалъ бы даже теперь, сейчасъ ѣхать повидаться съ (тутъ двухъ именъ нельзя разобрать) въ Москвѣ». 6) «Письмо безъ подписи къ Сатину, въ которомъ говорится о документѣ на 500,000 р., данныхъ Огаревымъ, и что этими деньгами можно его спасти, когда онъ совершенно разорится». 7) «Два письма литератора Бѣлинскаго (вполнѣдствіи умершаго) къ Сатину, писанныя еще въ 1837 г. Письма эти наполнены ложными и безнравственными умствованіями. Въ одномъ мѣстѣ Бѣлинскій пишетъ: «Отчаянный развратникъ и даже злодѣй лучше *добраго чловѣка*, который изъ своего поведенія или своей пошлости, или своихъ тугихъ обстоятельствъ сдѣлалъ себѣ правила жизни. Дай Богъ, чтобы тебѣ не довелось быть ни тѣмъ, ни другимъ, но, если надо быть чѣмъ-нибудь изъ этого, будь первымъ: по крайней мѣрѣ, толпа будетъ тебя ненавидѣть, а не хвалить, а похвала толпы, которая кричитъ: «онъ остепенился, онъ сталъ солиденъ, онъ пересталъ заноситься и почитать себя умнѣе всѣхъ», — ты самъ знаешь, что такое подобная похвала». 8) Программа народной энциклопедіи въ популярномъ изложеніи. 9) Рукопись черновика статьи о Швейцаріи въ «Современникѣ»; 10) тоже объ Англіи; 11) черновая же статья о бѣдности въ Парижѣ и о томъ, какъ этотъ вопросъ хорошо рѣшенъ правительствомъ въ Спб.

Когда все было разсмотрѣно и изучено, Сатину предложили «вопросы», составленные Дубельтомъ. Онъ отвѣчалъ на нихъ 21 февраля.

1. «В. Опишите во всей подробности всю вашу жизнь, отъ начала вашего воспитанія и до нынѣшняго времени.

«О. Я воспитывался сперва дома, у матери моей, тамбовской помѣщицы и маіорши Сатиной, а потомъ въ Москов. университетѣ, но, не кончивши тамъ курса, за причастіе къ дѣлу о пѣніи дерзкой пѣсни въ 1834 г., былъ посланъ въ Симбирскъ, на службу въ канцелярію тамошняго гражд. губернатора. Мнѣ было тогда 18 лѣтъ, и я смѣю надѣяться, что проступокъ безумнаго юноши, какъ бы ни былъ великъ онъ, не будетъ служить удручающимъ обстоятельствомъ для чловѣка въ 35 лѣтъ, давно остепенившагося и заботящагося нынѣ исключительно о спокойствіи своей семейной жизни.

Въ 1840 г., получавъ постоянно хорошія аттестаціи отъ мѣстныхъ начальниковъ, я былъ переведенъ, по Высоч. повелѣнію, на службу въ Москву, но тутъ я продолжать службу долго не могъ: здоровье мое было сильно разстроено простудой, сдѣланной мною въ Симбирскѣ; я уже нѣсколько лѣтъ ходилъ на костыляхъ, я просилъ отставку и дозволеніе ѣхать лѣчиться за границу, ибо кавказскія воды, къ которымъ я былъ прежде отпускаемъ, не приносили мнѣ желаемой пользы. Дозволеніе это послѣдовало въ 1841 г.; за границей, только послѣ четырехлѣтняго почти постоянного лѣченія и операціи, сдѣланной въ Берлинѣ, я былъ поставленъ на ноги и получилъ возможность возвратиться въ Россію. Въ началѣ 1846 г. я пріѣхалъ въ Москву, думалъ вступить въ службу, но, имѣя уже 30 лѣтъ и находясь еще въ чинѣ кол. регистратора, нашелъ желаніе свое не исполнимымъ. Такимъ образомъ я безъ всякаго опредѣленнаго занятія жилъ зимою въ Москвѣ, лѣтомъ на дачѣ, ежегодно ѣздилъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ Спб., гдѣ постоянно жилъ у зятя моего, генераль-маіора Сабурова, и снова возвращался въ Москву. Бездѣятельная жизнь давно тяготила меня, и цѣлью моихъ стремленій сдѣлалось встрѣтить дѣвушку, на которой бы я могъ жениться, и найти имѣніе, въ которомъ бы я могъ выгодно помѣстить капиталъ, какъ тотъ, который достался мнѣ по наслѣдству отъ матери моей, такъ и тотъ, который я составилъ себѣ, ведя отъ бездѣятельности постоянную и довольно счастливую игру въ московскихъ клубахъ. Желанія мои исполнились въ прошломъ, 1849 году. Я купилъ часть имѣнія г. Огарева, сперва небольшую деревню одинъ, а потомъ главное пензенское имѣніе пополамъ съ ст. сов. К. И. Янишемъ (тестъ Н. Ф. Павлова — *М. Л.*), ибо капитала моего недоставало на покупку одному столь значительнаго имѣнія, и почти въ то же время женился на старшей дочери г. Тучкова, инсарскаго предводителя дворянства. Вскорѣ послѣ свадьбы моей, а именно 24 іюня я отправился съ женой въ купленное имѣніе и, найдя его страшно разстроеннымъ, посвятилъ 6 мѣсяцевъ на приведеніе его хотя въ нѣкоторый порядокъ и остался бы тамъ всю зиму, ежели бы не былъ призываемъ въ Москву беременностью жены моей, которая должна родить въ началѣ марта. Въ Москву я пріѣхалъ 15 декабря. Жизнь тамъ велъ обыкновенную: днемъ бывалъ у немногихъ знакомыхъ и родныхъ своихъ или сидѣлъ дома съ больною женой, вечеромъ посѣщалъ клубы».

2. «В. На комъ и когда вы женились? Какія были причины къ вашей женитьбѣ, и не было ли къ тому причинъ сокровенныхъ?»

«О. Женился я, какъ сказано выше, на дѣвицѣ Еленѣ Тучко-

вой, 27 мая 1849 г., въ церкви Іоанна Предтечи, что въ Старой Конюшенной. Причины къ моей женитьбѣ были: 1) что мнѣ былъ уже 35 годъ и что мнѣ сильно надоѣла холостая, праздная жизнь и 2) что я встрѣтилъ дѣвушку добрую, милую, которая мнѣ нравилась и которой я нравился. Сокровенныхъ же причинъ къ моей женитьбѣ,—клянусь всѣмъ, что для меня свято и дорого,—не было никакихъ».

3. «В. Какое и отъ кого вы получили приданое за вашу женою; ежели въ числѣ приданого было такое имѣніе, которое поступило къ вамъ отъ лицъ постороннихъ, а не отъ вашего тестя, то что могло побудить лицо постороннее обезпечить будущее состояніе вашей супруги?

«О. За мою женою я до сихъ поръ ни отъ кого и никакого приданого не получалъ, за исключеніемъ самыхъ незначительныхъ вещей по части туалета и домашней жизни. Никакое постороннее лицо будущности моей жены не обезпечивало. Тесть мой имѣетъ 800 душъ и только двухъ дочерей; часть этого имѣнія—вотъ все, что я со временемъ надѣюсь получить за женою моею. Изъ намека, сдѣланнаго въ этомъ вопросѣ, я догадываюсь, что до правительства дошли толки, которые носились по Пензенской губ., что будто бы Тучковъ продалъ вторую дочь свою Огареву за часть его имѣнія и отдалъ это имѣніе въ приданое мнѣ за старшею дочерью своею, но я повторяю клятву мою, что женитьба моя и покупка имѣнія у Огарева были дѣйствительно совершенно другъ отъ друга независимыми и что при покупкѣ имѣнія Тучковъ былъ лицомъ совершенно постороннимъ: онъ даже и не зналъ о покупкѣ главнаго имѣнія, сдѣланной мною пополамъ со ст. сов. Янишемъ, ибо покупка эта совершилась въ то время, когда онъ былъ уже въ деревнѣ, а я оставался съ женою въ Москвѣ».

4 вопросъ и отвѣтъ не имѣютъ значенія.

5. «В. Не имѣлъ ли тесть вашъ какихъ-либо сокровенныхъ причинъ къ скорѣйшему замужеству старшей его дочери, и при этомъ случаѣ опишите свойства вашего тестя, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, вамъ извѣстны во всей подробности.

«О. Или я не понимаю пятаго вопроса, или намекъ, сдѣланный въ немъ, слишкомъ оскорбителенъ для чести жены моей, но обязанный отвѣчать, я отвѣчаю: Нѣтъ! тесть мой не имѣлъ и не могъ имѣть никакихъ сокровенныхъ причинъ къ скорѣйшему замужеству его старшей дочери, а моей теперешней жены! Единственная причина, по которой мы поспѣшили свадьбой, была та, что тестю моему нужно было ѣхать въ деревню, а мнѣ нужно было оставаться въ Москвѣ, а между тѣмъ подходилъ петровскій постъ

и мнѣ не хотѣлось разставаться съ моей невѣстой и откладывать свадьбу еще болѣе, чѣмъ на мѣсяць. Съ тестемъ моимъ ни до свадьбы моей, ни послѣ свадьбы я никогда не былъ въ очень близкихъ отношеніяхъ, но зналъ его давно за человѣка умнаго, благо-роднаго, нѣсколько вспылчиваго и самолюбиваго».

б. «В. Какимъ образомъ и когда вы свели знакомство съ Огаревымъ? Какія были ваши съ нимъ сношенія? Какія его были сношенія съ тестемъ вашимъ и съ другими лицами, къ семейству вашего тестя принадлежащими?

«О. Съ Огаревымъ я знакомъ съ университетской лавки, потомъ я встрѣчался съ нимъ за границей и вмѣстѣ возвратился въ Россію. Отношенія мои съ нимъ всегда были самыя пріятельскія. Огаревъ, возвратившись изъ-за границы, довольно долго жилъ въ деревнѣ и, будучи сосѣдомъ Тучкова, сблизился съ нимъ и семействомъ его; отношенія ихъ были самыя дружескія до тѣхъ поръ, пока дружба Огарева ко второй дочери Тучкова и ея къ Огареву не превратилась въ любовь. Это открытіе, какъ я узналъ послѣ, произвело не малое безпокойство въ семействѣ и поколебало дружескія отношенія Тучкова съ Огаревымъ. Огаревъ желалъ жениться на меньшей Тучковой, но не могъ исполнить этого, ибо его первая жена жива и живетъ за границей. Онъ имѣлъ надежду получить разводную, мотивированную тѣмъ, что жена его уже нѣсколько лѣтъ живетъ безвыѣздно за границей, и при немъ, и безъ него вела и ведетъ тамъ жизнь неприличную замужней женщинѣ; но ему сказали, что безъ ея согласія и ясныхъ доказательствъ ея проступковъ разводъ невозможенъ. Тогда онъ обратился къ ней, не знаю достовѣрно: письменно или чрезъ кого-либо, но она отвѣчала ему подачею ко взысканію его заемныхъ писемъ, выданныхъ имъ ей на 300,000 руб. асс. безденежно, въ обезпеченіе ея будущности, въ то время, когда она, казалось, питала къ нему привязанность и увѣряла, что принимаетъ эти деньги единственно для того, чтобы со временемъ возвратить ихъ ему. Вотъ все, что мнѣ извѣстно изъ частныхъ дѣлъ Огарева и отношеній его къ меньшей дочери Тучкова,—дѣлъ и отношеній, впрочемъ, лично касающихся до Огарева и для меня совершенно постороннихъ. Къ несчастью, свадьба моя со старшей дочерью Тучкова и покупка части имѣнія Огарева совпали съ этими печальными, но чуждыми для меня обстоятельствами, и все вмѣстѣ подало поводъ къ толкамъ, столь оскорбительнымъ для чести моей и которые довели меня до тюрьмы, оторвавъ меня отъ одра больной жены, готовой сдѣлать отцомъ меня, который ни о чемъ ужъ болѣе не помышляетъ, какъ о семейномъ спокойствіи».

Изъ 7-го отвѣта видно, что упоминаемый ниже купецъ Маршевъ—побочный братъ Огарева, что Сатинъ послѣ женитьбы купилъ у Огарева сначала небольшое имѣніе въ Инсарскомъ у., въ 240 душъ, а большое, купленное съ Янишемъ, должно было быть откуплено у послѣдняго къ 1 іюля 1850 г.; на 1 декабря 1849 г. Сатинъ былъ долженъ Янишу всего 12,000 руб. сер.

22 февраля 1850 г. Сатину былъ сдѣланъ второй письменный допросъ—уже по поводу отобранныхъ у него книгъ и рукописей. Онъ показалъ, что выписки дѣлалъ исключительно для памяти, что «вниманіе его эти статьи привлекли не тѣми системами, которыя въ послѣдствіи имѣли столь гибельное вліяніе на Западѣ Европы, а критикою этихъ самыхъ системъ». Выписка 4-я сдѣлана докторомъ Мейеромъ, его знакомымъ, для любимой имъ женщины, Мансуровой,—потомъ подарена Сатину. Выписка 5-я—изъ письма Н. Г. Фролова, пріѣхавшаго изъ-за границы и писавшаго самыя обыкновенныя вещи о Москвѣ и пр. «Съ Бѣлинскимъ я познакомился въ бытность его на Кавказѣ въ 1837; я никогда не былъ близокъ съ этимъ человѣкомъ, никогда не раздѣлялъ его мнѣній, рѣзкость которыхъ, не взирая на мою тогдашнюю молодость, всегда оскорбляла меня. Послѣ двухъ или трехъ писемъ, видя, что мы совершенно не сходимся, переписка наша прекратилась и болѣе никогда не возобновлялась; не возобновлялись болѣе и личныя наши сношенія, и до самой смерти Бѣлинскаго мы остались другъ другу совершенно чужды. Объяснять словъ Бѣлинскаго, отмѣченныхъ въ письмѣ его, я не берусь,—они необъяснимы по своей нелѣпости».

1 марта Сатину сдѣлали третій допросъ, изъ котораго интересно только показаніе относительно № 6 приведенной выше описи. Письмо это писано къ нему М. Л. Огаревой, когда Огаревъ пожелалъ обмѣнять бывшую у нея закладную на одно изъ имѣній въ 500,000 руб., потому что она была недѣйствительна въ виду залога имѣнія въ москов. опекуномъ совѣтѣ. Онъ хотѣлъ быть честенъ и дать вмѣсто той закладной заемное письмо на 300,000 руб. Марія Львовна сперва не соглашалась, но потомъ, посовѣтовавшись съ людьми дѣловыми, пошла на предложеніе и заявила, что капитала требовать не будетъ, а хочетъ получать съ него лишь по 6⁰/₀, т. е. по 18,000 руб. въ годъ.

Теперь вернемся къ Огареву.

Среди взятыхъ у него бумагъ ничего не оказалось, кромѣ счетовъ, памятныхъ записокъ и пр., касавшихся исключительно семейныхъ и хозяйственныхъ дѣлъ. Въ III Отдѣленіи недоумѣвали: гдѣ же письма, получаемыя имъ «отъ лицъ образованныхъ и ученыхъ»?

5 марта Огареву былъ сдѣланъ письменный допросъ съ предупрежденіемъ въ началѣ о необходимости дать вѣрныя показанія, на которое Огаревъ написалъ: «Всѣ мои отвѣты я пишу совершенно откровенно, чувствуя себя къ тому обязаннымъ высочайшею волею государя императора, съ полнымъ упованіемъ повергаю на высочайшее разсмотрѣніе поступки мои».

1. «В. Опишите во всей подробности всю вашу жизнь, отъ начала вашего воспитанія и до нынѣшняго времени.

«О. Я воспитывался дома при отцѣ моемъ, д. ст. сов. Платонѣ Богдановичѣ Огаревѣ. Осьмнадцати лѣтъ я поступилъ на службу въ Московскій архивъ мин. ин. дѣлъ. Въ то же время посѣщаль лекціи И. Московскаго университета на правахъ вольнослушателя, сперва по физико-математическому, потомъ по юридическому факультету. Въ 1834 г. я находился подъ слѣдствіемъ. Положа руку на сердце, я и теперь скажу, что никогда не участвовалъ въ пѣніи какой-либо пѣсни противъ августѣйшихъ особъ. Но тѣмъ не менѣе я тогда былъ молодъ и увлеченъ германскою матафизикой и французскими писателями тридцатыхъ годовъ. Въ 1839 г. Государь Императоръ соизволилъ даровать мнѣ Высочайшее прощеніе. Смиренно уповаю, что мое прошедшее кануло въ забвеніе.

«Въ 1834 г. я былъ отправленъ въ г. Пензу на службу и подъ надзоръ г. гражданскаго губернатора,—вмѣстѣ съ тѣмъ и подъ надзоръ моего отца. Въ Пензѣ въ 1836 г. я женился на дочери Льва Яковлевича Рославлева, Марьѣ (племянницѣ г. гражд. губ. Панчудидзева). Супружество мое не долго было счастливо. Когда я былъ въ 1839 переведенъ на службу въ Москву въ правит. сенатъ, уже домашняя жизнь моя была рядомъ мелкихъ ежедневныхъ несогласій, которыя, несмотря на тихость моего нрава, возрастали ежедневно. Въ 1841 г. я отправился съ женою за границу для поправленія здоровья. Бывши передъ этимъ отъѣздомъ въ Спб., жена моя, не терпя моихъ родственниковъ и не пользуясь ихъ расположеніемъ, просила меня обезпечить ее, въ случаѣ моей смерти, какимъ-нибудь актомъ на мое имѣніе, чтобы наслѣдники мои, т. е. родная сестра моя, Анна, жена полковника Сергѣя Федоровича Плаутина, не стѣснила ее, предоставивъ *только* седьмую часть наслѣдства. Я думалъ, что было бы невеликодушно не согласиться на это требованіе, тѣмъ болѣе, что предвидѣлъ нашъ конечный разводъ. За женою же моей я не получилъ ни копѣйки приданого, потому что отецъ ея промоталъ все свое состояніе. Итакъ, въ 1841 г. я далъ женѣ моей запродажную запись на 750 душъ въ Пензенской губ. въ томъ смыслѣ, что будто я у ней занялъ подаренныя мною ей деньги, пятьсотъ (500,000) тысячъ на ассигнаціи и если не выплачу ихъ

въ теченіе извѣстнаго срока, то обязанъ дать купчую на помянутыя 750 душъ ¹⁾). За границей мои отношенія къ женѣ моей становились часъ отъ часу невыносимѣй. Наконецъ, 1843 г. я рѣшился развѣхаться съ нею, но и тутъ сказалъ ей, что, если она будетъ имѣть во мнѣ нужду, готовъ къ ея услугамъ. Съ тѣхъ поръ она имѣла связь съ артистомъ Сократомъ Воробьевымъ. Въ 1844 г. я находился въ Парижѣ, она—въ Италіи. Она меня вызвала къ себѣ, говоря, что имѣетъ крайнюю во мнѣ нужду. Мы свидѣлись въ Пизѣ. Она мнѣ объявила, что находится беременною отъ Воробьева и просила скрыть это обстоятельство. Я тутъ же писалъ письма ко всѣмъ роднымъ ея и моимъ, что мы живемъ вмѣстѣ, и готовъ былъ въ угожденіе моей женѣ признать ребенка моимъ, намѣреваясь, однако, оградить права моихъ законныхъ наслѣдниковъ. Но младенецъ родился въ Берлинѣ мертвымъ. Кажется, я тутъ дѣлалъ для моей жены болѣе, нежели она могла требовать. Въ 1846 г. я возвратился совершенно изъ-за границы (въ 1841 я возвращался на короткое время). Въ томъ же году пріѣзжала Марья Львовна,—и по моей просьбѣ, такъ какъ я не въ состояніи былъ бы подарить ей 500,000 и не желалъ разрознивать моихъ пензенскихъ имѣній, составлявшихъ односложное хозяйство,—согласилась уничтожить совершенное между нами запродажное условіе и взять отъ меня векселей на 300,000 р. ассигн., которые мною и были ей выданы съ тѣмъ, что я обѣщался платить ей по 6⁰/₁₀₀, т. е. 18,000 ассигн. ежегодно, изъ коихъ 13,000 ей, а 5,000 ея отцу, и по возможности, уплачивать капиталъ. Я думалъ расплатиться въ 1852 или 1853 г. Проценты же я уплачивалъ до іюня 1849 г., на что имѣются документы, а въ 1849 г. прекратилъ платежъ по причинамъ, которыя изложу впослѣдствіи.

«Въ 1846 г. я жилъ въ моемъ имѣніи Пензенской губ., Инсарскаго у., селѣ Старомъ-Акшинѣ, въ сосѣдствѣ г. Тучкова. Дѣти его, такъ сказать, росли на моихъ глазахъ. Теперь я нашелъ ихъ уже взрослыми. Младшая дочь его, Наталья, сдѣлала на меня сильное впечатлѣніе. Я полюбилъ ее страстно, но никогда не говорилъ ей объ этомъ. Она меня тоже любила; я едва смѣлъ замѣчать это. Поѣздка ихъ за границу не разсѣяла нашей взаимной, но скрытой, любви, а по возвращеніи Тучковыхъ изъ-за границы, мы уже не могли скрывать другъ отъ друга нашей взаимной,—впрочемъ, платонической—привязанности. Видя безвыходность этого положенія, я, наконецъ, рѣшился просить у Тучкова руки его дочери на томъ

¹⁾ Одинъ изъ документовъ этой сдѣлки см. на стр. 389—390 «Образовъ прошлаго» М. О. Гершензона.

основаніи, что, хотя жену мою, Марью Львовну, я и почитаю за существо совершенно взбалмошное, но тѣмъ не менѣе благородное, и полагалъ, что она, не питая и не имѣя причины питать ко мнѣ вражду, согласится прислать мнѣ свидѣтельство о неизлѣчимой женской болѣзни, вслѣдствіе чего я, нисколько не вредя ея репутаціи, могъ бы просить о разводѣ. Дѣйствительно, мы тогда пріѣзжали съ Тучковыми въ Спб. Я писалъ къ моей женѣ, но получилъ чрезъ ея повѣренную, г-жу А. Я. Панаеву, сердитый отказъ. Мы поѣхали обратно въ деревню. Но ни я, ни Наталья Тучкова не въ силахъ были бы вынести разлуку, которую, конечно, долгъ предписывалъ. Мы уѣхали вдвоемъ противъ воли отца ея и хотѣли скрыться гдѣ-нибудь на югѣ Россіи отъ всякихъ знакомствъ, уединяясь отъ всякаго общества, до тѣхъ поръ, пока жена моя не смягчится и не пришлетъ просимаго мной свидѣтельства. Между тѣмъ, жена моя не удовлетворяясь отказомъ, представила мои заемныя письма ко взысканію чрезъ свою повѣренную, г-жу Панаеву, и ея повѣреннаго, г-на Шамшіева. Я рисковалъ, что все мое имѣніе продается за безцѣнокъ, и я останусь безъ гроша. Тогда мое имѣніе Пензенской губ., 1600 душъ было наскоро продано г-ну Н. Ф. Павлову и Сатину за 600 руб. асс. за душу. Купчая совершена въ Москв. гражд. палатѣ въ то самое время, когда Шамшіевъ представлялъ мои векселя ко взысканію и просилъ о наложеніи на все мое имѣніе запрещенія. Этимъ я себя оставилъ, по крайней мѣрѣ, возможность получать % на капиталъ. Искъ же моей жены не находится въ обидѣ (она обезпечена остающимся у меня имѣніемъ). По оному, подъ запрещеніемъ остаются еще 8,000 руб. сер., должныхъ мнѣ отпущенными мною въ свободные хлѣбопашцы крестьянами села Бѣлоомута Рязанской губ. Зарайскаго у., и еще остаются 550 душъ Орловской губ., Трубчевскаго у. въ с. Уручьѣ съ деревнями при 4.000 дес. земли.

«Знающіе это имѣніе говорятъ что при должномъ хозяйствѣ оно можетъ дать слишкомъ 20,000 ассигн. дохода. Самъ же я въ этомъ имѣніи, такъ какъ оно оброчное, никогда не бывалъ. Отчего же Марья Львовна не могла бы пріѣхать получить и деньги, и орловское имѣніе, и заняться его устройствомъ вмѣсто того, чтобы попусту тратить деньги въ Парижѣ? Я же со времени иска прекратилъ производимый мною ей и отцу ея платежъ процентовъ. Да будетъ прежде искъ рѣшенъ добровольною сдѣлкой или по суду, какъ повелѣваютъ законы гражданскіе.

«Между тѣмъ, Тучковъ находился въ отчаяніи по моемъ отъѣздѣ съ его дочерью, Натальей. Онъ вызвалъ насъ къ себѣ, не перенеся разлуки съ дочерью. Мы пріѣхали въ октябрѣ мѣсяцѣ

1849 г., и съ тѣхъ поръ я жилъ то въ деревнѣ Тучкова, то на общекупленной мною съ купцомъ Маршевымъ писчебумажной фабрикѣ Симбир. губ., Корсунскаго у. Тяжело мнѣ было жить у Тучкова. Онъ не говорилъ мнѣ ни слова о моихъ отношеніяхъ къ его дочери, Натальѣ, но я его видѣлъ убитымъ; наше присутствіе, видимо, было для него больно, а если бы мы вздумали уѣхать, ему было бы вдвое больнѣе. А разстаться мы не имѣли силы.

«Вотъ мое положеніе. Вотъ въ чемъ я откровенно каюсь, вотъ въ чемъ я виноватъ. Наказаніе, опредѣленное Государемъ Императоромъ, я перенесу съ полнымъ смиреніемъ. Но умоляю Монарха взглянуть на мою участь съ тѣмъ милосердіемъ, съ какимъ онъ взираетъ на судьбу cadaго изъ своихъ подданныхъ; умоляю Монарха дозволить мнѣ просить Св. Синодъ о расторженіи моего несчастнаго брака. Несмотря ни на какія трудности жизни, я тогда могъ бы еще имѣть надежду на мирное семейное счастье и на успокоеніе людей, черезъ меня страждущихъ и близкихъ моему сердцу».

2. «В. Справедливо ли, что отстав. поручикъ Тучковъ, во время отсутствія вашего изъ Россіи, управляя по вашему довѣрію имѣніемъ вашимъ, дѣйствовалъ недобросовѣстно и вслѣдствіе этого по возвращеніи вашемъ изъ-за границы снисходительно смотрѣлъ на непопозволенную связь вашу съ младшею его дочерью, Наталіей?

«О. Во время моего пребыванія за границую Тучковъ управлялъ моимъ имѣніемъ по довѣренности, но управлялъ онъ имъ добросовѣстно, какъ бы своимъ, и сдалъ мнѣ его въ совершенномъ порядкѣ. Связи же между мною и его дочерью Наталіей въ это время не существовало.

3. «В. Правда ли, что Тучковъ послѣ упрековъ вамъ, убѣждалъ васъ жениться на дочери его, Наталіи, и для этого пріѣзжалъ съ вами въ Спб., но какъ вы, бывъ уже женатымъ на другой, не могли этого исполнить, то онъ отдалъ вамъ по прежнему упомянутую дочь свою съ тѣмъ условіемъ, чтобы вы устроили судьбу старшей его дочери?

«О. Не Тучковъ убѣждалъ меня жениться на дочери своей Натальѣ, а я убѣждалъ его позволить этотъ бракъ и хлопотать о моемъ разводѣ. Онъ не только не убѣждалъ меня, но даже неохотно согласился и только потому, что не могъ противиться скорби своей дочери. Дочери же своей онъ мнѣ не отдавалъ и, конечно, никогда не просилъ меня устроить судьбу своей старшей дочери. Тучковъ—слишкомъ безкорыстный человѣкъ, чтобы могъ сдѣлать такой низкій поступокъ.

4. «В. Справедливо ли, что вы вслѣдствіе означеннаго условія, убѣдили дворянина Сатина жениться на старшей дочери Тучкова,

Еленѣ, и при этомъ дали Сатину въ приданое за дочерью Тучкова около 400 душъ крестьянъ въ Пензенской губ. и послѣ того безденежно продавали Сатину же еще часть имѣнія вашего въ Орловской губ.?

«О. Сатинъ женился на Еленѣ Тучковой по любви и не получалъ отъ меня ни копѣйки, а купилъ часть моего пензенскаго имѣнія по 600 руб. за душу. Орловскаго моего имѣнія онъ вовсе не покупалъ, и оно находится подъ запрещеніемъ по иску Марьи Львовны.

5. «В. Справедливо ли еще другое свѣдѣніе, что вы были въ связяхъ прежде со старшею дочерью Тучкова, а потомъ, когда Сатинъ женился на ней, Тучковъ передалъ вамъ младшую дочь свою?

«О. Вѣсть о томъ, будто я прежде находился въ связи съ Еленой Тучковой, а потомъ съ сестрой ея, поражаетъ меня горестью и удивленіемъ. Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! и тысячу разъ нѣтъ! Никогда я не былъ въ связи съ Еленой Тучковой и, клянусь честью, клянусь Богомъ, и готовъ присягать всякую присягу, что ни я, ни Тучковъ, ни Сатинъ не способны на подлые поступки, означенные въ пятомъ вопросномъ пунктѣ. Это — злая клевета какихъ-то неизвѣстныхъ мнѣ враговъ, ибо, въ самомъ дѣлѣ, я никого не обижалъ и не могу понять, кто и по какой причинѣ могъ очернить меня подобной клеветой?

6. «В. Не были ли таковыя поступки ваши слѣдствіемъ принадлежности вашей къ сектѣ коммунистовъ, и, если это справедливо, то кто вовлекъ васъ въ означенную секту и кто еще, кромѣ васъ, принадлежитъ къ оной?

«О. Семейная драма, задушевная и вмѣстѣ мучительная, несколько не носить на себѣ характера абстрактныхъ политическихъ фантазій. Я никогда не былъ никакимъ сектаторомъ и, тѣмъ менѣе, коммунистомъ, и ни самъ никого и меня никто не вовлекалъ ни въ какую секту. Я не сектаторствовалъ, я любилъ и искалъ моего личнаго счастья, и поступками моими жестоко оскорбилъ Тучкова, и въ этомъ я много виноватъ и каюсь, но разстаться съ Натальей Тучковой для меня было бы смертельнымъ приговоромъ.

7. «В. Исчислите подробно всѣ ваши недвижимыя имѣнія и капиталы, какіе находились у васъ до связей вашихъ съ Тучковымъ и Сатинымъ; сколько именно нынѣ осталось у васъ изъ этого имѣнія, къ кому, по какимъ случаямъ перешли всѣ тѣ части имѣнія вашего, которыми нынѣ владѣютъ другіе, и правда ли, что вы изъ богатыхъ помѣщиковъ сдѣлались владѣльцемъ не болѣе 600 или 700 душъ крестьянъ, отъ корыстолюбивыхъ происковъ Тучкова и Сатина?

«О. У меня было 1800 душъ Рязанской губ., Зарайскаго у., въ селѣ Бѣлоомутѣ, которыхъ я отпустилъ въ свободные хлѣбопашцы за 500,000 р. ассигн. Изъ оныхъ 500,000 много тысячъ—до 200,—признаюсь, бесплодно истрачено, большею частью за границей и до поѣздки за границу. Тысячъ 100 подарены мною сестрѣ моей, Аннѣ Платоновнѣ Плаутиной, и около 200,000 употреблены мною на покупку и устройство писчебумажной фабрики въ Симбирской губ., которая, хотя и имѣетъ блестящую будущность, но по дѣйствительно недобросовѣстному управленію моего товарища, купца Маршева, втянула меня въ долги и въ убытки. Имѣніе Пензенской губ. продано мною Сатину и Павлову по 600 руб. асс. за душу по купчимъ, совершеннымъ въ московской гражд. палатѣ. Я еще не сдѣлался бѣднымъ человѣкомъ и имѣю надежду, кромѣ % съ капитала, получать съ одной фабрики, какъ скоро приведу къ концу расчеты съ купцомъ Маршевымъ, тысячъ до 200 асс. руб. ежегоднаго дохода. Но на эту минуту мои дѣла разстроены не по проискамъ Тучкова, который ничѣмъ отъ меня не пользовался, и не проискамъ Сатина, которому я обязанъ спасеніемъ моего достоянія, а только вслѣдствіе иска, поданнаго моей женой по подареннымъ мною ей вексялямъ, ибо безъ этого иска я никогда не продалъ бы съ дѣтства любимыя мною помѣстья.

8. «В. Объясните, сверхъ того, все, что вамъ извѣстно о вольнодумствѣ и другихъ противозаконныхъ дѣйствіяхъ Тучкова, равно и о дѣйствіяхъ Сатина.

«О. Почти съ тѣхъ поръ, какъ я знаю Тучкова, онъ былъ дворянскимъ предводителемъ Инсарскаго у. Все, что я знаю, есть то, что онъ съ неутомимою дѣятельностью и благородной справедливостью занимался дѣлами своей службы. Иногда возникали между имъ и другими властями губерніи несогласія, при чемъ онъ всегда держался—или думалъ, что держится,—правды и закона, но вольнодумства я за нимъ никакого не знаю. Сатинъ же, съ которымъ я знакомъ около 20 лѣтъ, примѣрно тихій, кроткій и благородный человѣкъ. Вотъ все, что я могу сказать, вотъ все, что я знаю, все, въ чемъ я виновенъ передъ людьми и закономъ. Но все же я могу ручаться честью, что ни низкая шалость, а дѣйствительная долговременная и мучительная привязанность увлекла меня. Каюсь и съ упованіемъ на милосердіе Государя Императора повергаю мою судьбу на Его Высочайшую волю».

6 марта Огареву былъ предложенъ еще дополнительный вопросъ: «почему въ бумагахъ вашихъ находятся одни, самыя незначительныя, письма и записки и нѣтъ ни одного письма ни отъ Тучкова, ни отъ Сатина, ни отъ дочерей Тучкова, съ которыми вы всегда

были въ близкихъ отношеніяхъ, также нѣтъ никакихъ собственныхъ вашихъ записокъ и сочиненій; не остались ли важнѣйшія бумаги ваши въ имѣніи Тучкова или въ другихъ мѣстахъ, и гдѣ именно?» Огаревъ на это показалъ: «Я не имѣю привычки сохранять письма, не касающіяся до какого-нибудь положительнаго дѣла. Самъ же я переписываться лѣнивъ и пишу большею частью по необходимости, когда дѣла того требуютъ. Съ Тучковымъ и его семействомъ я тѣмъ менѣе имѣлъ причинъ переписываться, что былъ почти всегда вмѣстѣ. Нѣкогда я подвизался на литературномъ поприщѣ, но уже нѣсколько лѣтъ, какъ прекратилъ занятія сего рода, и не только никакихъ сочиненій, но даже не имѣю списка стихотвореній, напечатанныхъ мною въ разныхъ журналахъ. Я уже нѣсколько лѣтъ, по склонности, занимался исключительно естественными науками и медициной, ласкавъ себя надеждой, что со временемъ явлюсь не совсѣмъ бесполезнымъ человѣкомъ на этомъ поприщѣ. Важныхъ бумагъ, кромѣ дѣловыхъ, т. е. счетныхъ книгъ и тому подобныхъ, я никакихъ нигдѣ не имѣю».

9 марта Огареву былъ сдѣланъ третій допросъ и предложены еще новые вопросныя пункты.

1. «В. Гдѣ жили вы съ младшей дочерью Тучкова по выѣздѣ вашемъ съ нею изъ Пензенской губ. до возвращенія въ эту губернію?»

«О. Мы уѣхали въ послѣднихъ дняхъ мая или началѣ іюня и жили близъ города Ялты (Таврической губ.) на наемной дачѣ.

2. «В. Изъ проданнаго вами Павлову и Сатину имѣнія сколько именно душъ крестьянъ продано Сатину и сколько Павлову и что означаетъ выраженіе въ прежнемъ вашемъ показаніи, что вы обязаны Сатину спасеніемъ вашего имѣнія?»

«О. Имѣніе мое продано вообще пополамъ Сатину и Павлову или, лучше сказать, г-ну Янишъ, тестю г. Павлова. Я сказалъ, что Сатинъ спасъ мое достояніе потому, что, хотя я, боясь злобы моей жены, и оставилъ на всякій случай довѣренность на продажу моего имѣнія, но не думалъ продавать его, надѣясь, что жена моя не захочетъ преслѣдовать меня. Когда же пришелъ искъ, я былъ въ Крыму, и если-бъ не участіе Сатина, то не было бы и покупателейъ на мое имѣніе, и оно продалось бы за безцѣнокъ съ публичнаго торга для удовлетворенія иска, и я бы остался безъ гроша при одной фабрицѣ, которую нашель въ состояніи не дохода, а дефицита.

3. «В. Между бумагами Тучкова находится письмо ваше къ нему, въ которомъ вы, прочитавъ, по совѣту его, статьи, излагаете мысли насчетъ улучшенія въ Россіи судопроизводства въ низшихъ инстанціяхъ, учрежденіемъ судей изъ дворянъ. Объясните, какія

статті читали ви по совѣту г. Тучкова, якія предположенія ви имѣли объ уллучшеніі судопроизводства и что означаютъ выраженія ваши: «прочъ продавцовъ юстиціи (нынѣшнихъ судей), мы можемъ много ожидать отъ нашихъ помѣщиковъ».

«О. Письмо мое къ Тучкову, сколько могу судить по его содержанию, писано мною еще во время моего пребыванія въ г. Пензѣ, еще при жизни моего покойнаго и для меня незабвеннаго отца; слѣдственно, не позже 1837 или 1838 года. Я теперь совершенно не помню, якія статті мнѣ совѣтовалъ прочесть Тучковъ. Смутно припоминаю мою тогдашнюю мысль объ учрежденіи совѣстныхъ судовъ, кажется, и земскихъ судовъ. Помнится, что я полагалъ слѣдующее: если бы уѣзды судебно были раздѣлены на нѣсколько округовъ (подобно, какъ въ административномъ отношеніи—станы) и судьи были бы избираемы при дворянскихъ выборахъ, то такой должности стали бы искать лучшіе дворяне губерніи. Такіе судьи присутствовали бы каждый въ своемъ округѣ и при тяжбныхъ и уголовныхъ слѣдствіяхъ, налагая, по окончаніи оныхъ, свое судебное рѣшеніе на основаніи законовъ; въ томъ и другомъ случаѣ ихъ судъ былъ бы, кромѣ собственныхъ разысканій, основанъ на показаніяхъ понятыхъ, какъ оныя существуютъ по положенію. Отсюда ихъ рѣшеніе поступало бы въ палаты гражданскаго или уголовного суда по существующему апелляціонному порядку. Такую организацію низшихъ судебныхъ инстанцій я основывалъ именно на томъ, что теперь, по сродной лѣни, хорошій помѣщикъ рѣдко соглашается принять званіе уѣзднаго судьи, потому что надо жить въ уѣздномъ городѣ, а не въ своемъ помѣстьѣ, и большею частью помѣщикъ говоритъ: «какое мнѣ дѣло?», а тогда, не будучи обязаны перемѣщаться изъ своихъ деревень, помѣщики состоятельные и добросовѣстные искали бы званія окружнаго совѣстнаго судьи, какъ почета. Даже если бы выборы ихъ были опредѣлены съ утвержденія Государя Императора, то могли бы быть безошибочны. Что касается до выраженія: «продавцы юстиціи», то не могу, и не желаю умолчать (тѣмъ болѣе, что откровенность считаю за священную обязанность), что,—исключая рѣдкихъ случаевъ, лихоимство изобилуетъ въ нашихъ низшихъ судебныхъ инстанціяхъ. Вотъ какъ мнѣ представляется теперь эта мысль. Но, признаюсь, письмо мое къ Тучкову такъ давно писано, что эта мысль, о которой я забылъ среди личныхъ волненій и занятій наукою, гораздо болѣе спеціальной, эта мысль является даже для меня самого совершенно новою».

Въ «Воспоминаніяхъ» Н. А. Огаревой сказано, что послѣ арестовъ по дѣлу Петрашевскаго и отъѣзда Тучковыхъ изъ Петербурга въ Москву, А. А. Тучковъ уже самъ требовалъ, чтобы Ога-

ревъ и она обвѣнчались, хотъ тайно. Сатинъ и Огаревъ почти все и устроили для этого, но Н. Алексѣевна, испуганная возможной судебной отвѣтственностью, отъ такого брака отказалась. Послѣ этого они уѣхали сначала въ Одессу, а оттуда—въ Крымъ. Въ Одессѣ Огаревъ тщетно приискивалъ какой-нибудь заграничный пароходъ, на которомъ они могли бы уѣхать къ Герценамъ (ср. стр. 71—73).

При всей откровенности Огаревъ, разумѣется, не сообщилъ всей правды, скрывъ свои политическія и соціальныя убѣжденія и умолчавъ о томъ, что имѣніе было передано Сатину и Янишу совершенно безденежно, лишь бы спасти его отъ продажи по иску Маріи Львовны. Огаревъ совсѣмъ не хотѣлъ путать сюда Сатина, зная, что это повлечетъ всякія сплетни, но, по совѣту Тучкова, не довѣрился на слово одного Яниша и не найдя никого, кто захотѣлъ бы ему помочь, долженъ былъ просить объ этомъ сначала упорно отказывавшагося Сатина. Тогда же онъ взялъ у Герцена 40,000 руб. сер. съ тѣмъ, что этотъ долгъ будутъ выплачивать Сатинъ и Павловъ изъ доходовъ съ имѣнія, которымъ они фактически и распоряжались.

Когда весь матеріалъ былъ полученъ, особая комиссія изъ генерала Дубельта и тайныхъ совѣтниковъ Лекса и Сагтынского разсмотрѣла дѣло и представила свой докладъ шефу жандармовъ. Послѣдній 15 марта 1850 г. вошелъ со всеподданнѣйшимъ докладомъ, гдѣ, удостовѣривъ большую строгость комиссіи, поддерживалъ всѣ ея предположенія, а именно: Селиванова отправить на службу въ Вятскую или Пермскую губ., а если будетъ вести себя хорошо, то потомъ разрѣшить ему служить и жить, гдѣ пожелаетъ; Тучкова, въ виду того, что доносъ на него сдѣланъ только теперь, а служить онъ 15 лѣтъ и за 25 лѣтъ жизни въ губерніи ничѣмъ не провинился,—лишить должности, удалить изъ губерніи и отдать подъ надзоръ, не запрещая ему жить въ столицахъ, гдѣ надзоръ еще дѣйствительнѣе; Огарева и Сатина опредѣлить на службу внѣ столицъ и Пензенской губ., подвергнуть ихъ надзору, воспретить выѣзжать за границу, а жить предоставить, гдѣ пожелаютъ; Селиванова и Тучкова тоже не пускать за границу. Резолюція Николая I—«исполнить».

Послѣ этого съ Огарева была взята слѣдующая подписка: «Я нижеподписавшійся даю сію подписку въ томъ, что не буду никому открывать о тѣхъ вопросахъ, которые мнѣ были дѣлаемы въ III Отдѣленіи С. Е. И. В. Канцеляріи, и всѣ обстоятельства, по коимъ я былъ вытребованъ въ Петербургъ, сохраню въ непроницаемой тайнѣ; обязываюсь присвокупить, что жительство имѣть я буду въ Пен-

зенской и Симбирской губ. Выѣду изъ Спб. черезъ три дня». Сатинъ далъ такую же подписку, означивъ, что жить будетъ въ Москвѣ и Пензенской губ. Трое получили подорожныя и по 51 р. 21 коп. сер. прогонныхъ, а Селивановъ — 95 р. 20 коп. сер. Объ освобожденіи ихъ Н. А. Огарева не сообщаетъ ничего особенно интереснаго (ср. стр. 84—85), кромѣ предупрежденія Орловымъ Сатина и Огарева—не поддерживать никакихъ сношеній съ Герценомъ.

Прошло три мѣсяца, и вдругъ министръ внутр. дѣлъ, гр. Л. Перовскій, 29 іюня 1850 г. сообщилъ гр. Орлову, что по его, министра, приказанію, въ домахъ Огарева, Сатина и Тучкова снова былъ произведенъ тщательный обыскъ и найдено много вполне подтвердившаго прежнее сообщеніе о нихъ губернатора Панчулидзева. Поэтому министръ находилъ необходимымъ отдать Тучкова и Огарева подъ строгій полицейскій надзоръ. Орловъ согласился съ этимъ 4 іюля 1850 г. Очевидно, Панчулидзевъ, понявъ, что Куцынскій узналъ о немъ кое-что компрометирующее и не сталъ вполне на его сторону, рѣшилъ дѣйствовать черезъ министра и, произведя обыскъ, написалъ всякихъ страшныхъ вещей...

15 іюля Сатинъ уѣхалъ въ Нижній-Новгородъ для закупки на ярмаркѣ винъ для дома, а оттуда пріѣхалъ въ имѣніе. По аттестаціи московскаго жандармскаго генерала, Перфильева, онъ «ведетъ себя, какъ слѣдуетъ», знакомъ съ Грановскимъ, Кетчеромъ, П. К. Боткинымъ и его сыномъ, Василиемъ.

Въ день двадцатипятилѣтія царствованія Николая I, 12 декабря 1850 г. Огаревъ, и Сатинъ «по маловажности ихъ преступлений» были освобождены отъ надзора и отъ всѣхъ другихъ ограниченій, въ числѣ 283 человекъ (Архивъ III Отдѣленія С. Е. И. В. Канцеляріи, 1849 г., 1 экс., дѣло № 67, ч. 4).

Съ особымъ дѣломъ о Селивановѣ я не ознакомился; интересующіеся найдутъ кое-какія подробности въ VI т. «Русской Старины» 1880 года.

Для насъ интересна передача тамъ характеристики Герцена, сдѣланной Дубельтомъ во время допроса Селиванова. «Я позволилъ себѣ замѣтить, что Герцена съ Бакунинымъ ставить на одну доску нельзя. Мой Дубельтъ вспыхнулъ, какъ порохъ; губы его затряслись, на нихъ показалась даже пѣна. «Герценъ! — закричалъ онъ съ неистовствомъ.—У меня три тысячи десятинъ жалованнаго лѣса, и я не знаю такого гадкаго дерева, на которомъ бы я его не повѣсилъ! Довольно, ступайте!» (стр. 309).

2. 5 января 1851 г. Грановскій писалъ женѣ: «Не говорю о Коршахъ, которые обрадовались моему пріѣзду такъ, какъ я обрадовался бы пріѣзду Герцена» («Грановскій и его переписка», II, 283).

502. Письмо къ Жозефу Прудону.

23 Mars 1851.
Nice.

Il y a bien longtemps que je désire me rappeler à votre souvenir, mais il y a un tel vacuum horrendum dans mon âme, je suis tellement malade et, si non découragé, au moins dégoûté de la vie, que je ne trouvais rien de digne de vous être communiqué.

Notre temps appartient en effet à ces époques écrasantes, dont l'histoire ne dit rien, dans lesquelles il ne se passe rien, mais pendant lesquelles l'année se compose de 365 jours et le coeur de l'homme fait ses 60 pulsations par minute. Ce sont les époques des souffrances subjectives dont le lyrisme s'évapore sans même pouvoir atteindre une mention sèche et honorable dans une chronique. Heureusement la bonne nouvelle sur la petite de notre ami Edmond nous a galvanisé pour quelques heures et j'en veux profiter pour vous serrer la main — et vous remercier de notre part votre secours amical; car, ma femme et moi, nous avons aussi nos droits sur la petite Marie. Elle va s'installer chez nous et j'espère que vous ne viendrez pas nous la prendre avec M-r C . . . , que j'embrasse de tout mon coeur, et, appuyé sur la force armée, sur la majesté des lois et autorités au maire de Nanterre, plus héroïque que B... le détenteur, je déclare que je ne la livrerai pas... au moins avant son mariage.

Vous changez bientôt de prison. Dieu veuille que la grande ne vous paraisse pas plus dégoûtante que la petite. Le Piémont est encore le meilleur coin de l'Europe.—Peut-être aurons nous le plaisir de vous voir ici?

Je vous salue de tout mon coeur.

A. Herzen.

Переводъ.

23 марта 1851 г.
Ницца.

Давно уже я желаю напомнить вамъ о себѣ, но въ моей душѣ такое *vacuum horrendum* ¹⁾, я такъ боленъ и, если не впалъ въ разочарованіе, то, по меньшей мѣрѣ, жизнь мнѣ такъ противна, что я не находилъ ничего, что стоило бы сообщить вамъ.

¹⁾ Ужасная пустота.

Наше время принадлежитъ къ тѣмъ подавляющимъ эпохамъ, о которыхъ исторія ничего не говоритъ, въ которыя ничего не случается, но въ нихъ годъ, все-таки, состоитъ изъ 365 дней, и человѣческое сердце дѣлаетъ свои 60 ударовъ въ минуту. Это—эпохи субъективныхъ страданій, лиризмъ которыхъ испаряется, не заслуживая даже сухого и почетнаго упоминанія въ какой-нибудь хроникѣ. Къ счастью, отрадное извѣстіе о малюткѣ нашего друга Эдмонда ¹⁾ наэлектризовало насъ на нѣсколько часовъ, и я пользуюсь этимъ, чтобы пожать вамъ руку и поблагодарить также съ нашей стороны за вашу дружественную помощь, потому что и мы съ женой имѣемъ нѣкоторыя права на маленькую Марію... Она поселится у насъ, и надѣюсь, что вы не придете къ намъ за нею съ г. К., котораго я обнимаю отъ всей души, и, опираясь на вооруженную силу, величіе законовъ и авторитетныя полномочія Нантеррскаго ²⁾ мэра, болѣе герой, чѣмъ Б..., владѣлецъ, я объявляю, что не выдамъ ее... по крайней мѣрѣ, до ея замужества.

Вы скоро перемѣняете тюрьму. Дай Богъ, чтобы большая не показалась вамъ болѣе омерзительной, нежели маленькая. Пиемонтъ, все-таки,—лучшій уголокъ Европы. Можетъ мы будемъ имѣть удовольствіе видѣть васъ здѣсь?

Привѣтствую васъ отъ всей души.

А. Герцень.

503. Письмо къ женѣ.

5 іюня 1851
Марсель.

Все какъ слѣдуетъ, и Марсель на мѣстѣ; пріѣхали сюда такъ себѣ, ничего, въ пять часовъ утра; въ 12 отъѣзжаемъ въ Ліонъ, и утромъ 7-го будемъ въ Парижѣ. Жаръ на дорогѣ былъ страшный, къ тому же за нами сидѣлъ вонючій и больной жидъ въ шубѣ. Паспорта спрашивали 4 раза. Здѣсь мы умылись и разодѣлись; ничего еще не потеряно изъ несессера, но, надѣюсь, къ Ліону окажется. Я, вѣроятно, не остановлюсь въ Hôtel Mirabeau. Впрочемъ, мнѣ все сдается, что я ѣду на два, на три дня въ Парижъ; можетъ, даже махнемъ въ Лондонъ или въ Фрейбургъ, смотря по погодѣ, а, ка-

¹⁾ Charles Edmond — псевдонимъ Эдмонда Хоецкаго, польскаго публициста и драматурга, писавшаго больше по-французски; въ 1844 г. выѣхалъ изъ Польши во Францію.

²⁾ Nanterre—деревня подъ Парижемъ, откуда происходила гражданская жена Хоецкаго; она оставила его и требовала дочь къ себѣ.

жется, она не отличная. Наконецъ, всего бы лучше опять въ Ниццу, хоть на время; каковъ-то отвѣтъ отъ министра? ¹

Ты знаешь, другъ мой, неприятную пустоту головы послѣ дороги; хотѣлось бы сказать и то, да послѣ. Послѣдніе пять-шесть дней я былъ покойнѣе; мнѣ стало мерещиться, что будущее все покрыто одной черной пеленой,—я такъ привыкъ себя считать подъ какимъ-то фатумомъ, что даже принимаю и свѣтлое. Объ этомъ послѣ и послѣ, а теперь прощай.

Сашѣ, какъ сказано, будетъ большое письмо особо. Поцѣлуй всѣхъ дѣтей, особенно несчастную Олю съ видомъ грудной вдовы ¹).

Александрѣ Христіановнѣ ²) (ей Богу, нельзя такое длинное имя носить) жму руку; вѣрно, ея здоровье лучше отъ моря, отъ того, что мы за моремъ, отъ того, что нѣтъ ни дразнителей, ни свидѣтелей.

Ну, а Татѣ будетъ тоже со временемъ особое письмо, а теперь только

ПАПА КЛАНЯЕТСЯ.

Полковникъ ³) велъ себя всю дорогу превосходно, т. е. мы оба молчали, спали и нюхали жида. Онъ, т. е. не жидъ, а полковникъ, здоровъ.

NB. Я оставилъ въ спальнѣ №№, списанные съ сардинскихъ фондовъ,—спрячь эту записочку.

◆◆ 1. Какимъ образомъ отъѣздъ Герцена въ Парижъ совпалъ съ необходимостью, т. е. съ высылкой его изъ Ниццы, подробно рассказано въ гл. XL «Былого и думъ».

504. Письмо къ женѣ.

6 іюня (1851). Пятница.

Au bord du «Bourdon» ⁴) на Ронѣ.

12 часовъ пополудни и мы уже отобѣдали.

Видите, какъ дѣло: господина везутъ два жандарма и не выпускаютъ изъ глазъ; онъ, было, заснулъ въ каютѣ, тогда жанд. пришелъ и сѣлъ тихо, какъ словно мать родная, возлѣ, и арестантъ,

¹) Дочь Ольга родилась 20 ноября 1850 г.; больная, Н. А.—на не могла сама кормить ее грудью.

²) Жена В. А. Энгельсона.

³) Прозвище В. А. Энгельсона.

⁴) На борту «Бурдона».

должно быть, видѣлъ во снѣ жену, дѣтей и прочій вздоръ; лицо его стало печально, и полковникъ взглянулъ на солдата; тотъ покраснѣлъ, сконфузился и посмотрѣлъ въ окно.

А дальше путь идетъ такъ: изъ Парижа ѣдемъ мы въ Нью-Йоркъ и Калифорнію. И обо всемъ слѣдующій разъ. А, впрочемъ, хотя полковникъ и говоритъ, что одна тряска, однако, онъ, будучи не пьянъ, тоже и нетерезъ (sic).

Дѣтямъ и всѣмъ:

Тата, представь себѣ, что корабль на которомъ я ѣхалъ, называется «Bourdon» — bourdonnons, bourdonpons ¹⁾. — Поцѣлуй же Колю и Олю.

505. Письмо къ женѣ.

6 іюня 1851.

Ліонъ.

Вчера нельзя было отослать письма, и мы посылаемъ оба вмѣстѣ. Все идетъ хорошо, но переѣздъ отъ Марселя до Ліона устроенъ варварски, а потому, если вамъ придется ѣхать, я напишу цѣлую инструкцію, какъ брать мѣста и куда.

Полковникъ вчера къ вечеру, наконецъ-таки, поприусталъ; я его обмылъ тепленькой водой, попоилъ винцомъ и уложилъ въ десять спать; теперь онъ всталъ и прыгаетъ. Мы могли бы сегодня къ вечеру быть въ Парижѣ, но думаемъ остаться, — въ хорошемъ городѣ можно остаться, отъ чего же въ хорошемъ городѣ не остаться, т. е. до пяти вечера. Видишь ли, какъ теперь быстро идетъ: отъ Шалона прямо желѣзная дорога черезъ чудовищный туннель въ 4500 метровъ, и мы, стало, завтра утромъ рано въ Шалонѣ, въ 7 по желѣзной дорогѣ и въ 3 часа пополудни въ объятіяхъ M-elle Cousin ²⁾).

Путь нашъ былъ далеко отравленъ арестантомъ, о которомъ я писалъ съ лодки: молодой человекъ, недавно женатый, богатый; какъ французъ, показывалъ онъ видъ совершеннаго безпечья, но глядя пристально, такъ и видны были когти кошекъ, которыя скреблись на душѣ. Взгрустнулось намъ отъ этого зрѣлища, — нѣтъ, въ Парижѣ намъ, кажется, не жить. Mais comme tout est compensé dans le meilleur des mondes possibles ³⁾ — вотъ и забавная часть

¹⁾ «Шмель». Жужжимъ, жужжимъ.

²⁾ Содержательница отеля.

³⁾ «Но такъ какъ все компенсировано въ наилучшемъ изъ возможныхъ міровъ» — извѣстный афоризмъ Панглосса въ «Кандидѣ» Вольтера.

пути. На дорогѣ изъ Марселя мы сидѣли въ купэ, а внутри помѣстилась англичанка съ братомъ, очень недурная; мы подумали: отчего же это намъ судьба не дала въ сосѣди? Ёдемъ мы станцію, другую, садится въ дилижансъ чловѣкъ,—можетъ, очень почтенный, но безъ носа. Англичанка пристрадала два, три реле ¹⁾ и стала умолять, чтобъ ее пустили въ купэ (осмотрѣвши прежде, есть ли у насъ два носа и при томъ не два вкупѣ, а у каждого по носу); съ нами ѣхалъ демос. ²⁾ и тотчасъ уступилъ мѣсто. Ну, мы ее закутали и такъ приголубили, что довели вмѣстѣ до самаго hôtel d'Europe, гдѣ она черезъ коридоръ отъ насъ.

Что я тебѣ скажу о себѣ? Здоровъ я до противности, такъ что полковнику дѣлается тошно, какъ Шпонькѣ при видѣ индѣекъ своей тетушки. Хлопоты и тракаси ³⁾ не даютъ ни малѣйшаго мѣста сосредоточиться. Не скажу, впрочемъ, чтобъ очень было хорошо на душѣ... ⁴⁾ да не морю, а кислосладкому хлѣбу и, право, я—одинъ изъ самыхъ печальныхъ шутовъ въ мірѣ. Я иду въ какое-то новое будущее, похожее на этотъ туннель въ пять верстъ; цѣлаго,—я это чувствую,—ничего не осталось въ душѣ, но много дорогого, и я еще разъ повторяю, что въ послѣднее время мнѣ казалось возможнымъ счастье—не счастье, а свѣтлая, хотя и трагическая, симпатія... Но дальше не пойду сегодня: какъ только издали коснусь, то у меня кипятки въ груди и слезы на глазахъ... Къ тому же у меня сдѣлались *физиологическія* воспоминанія, въ родѣ безумія: совершенно спокойно засыпаю я, и вдругъ во снѣ что-нибудь изъ чернѣйшихъ дней былого—и, конечно, я не могу быть ни свѣтлѣе, не могу даже свыкнуться, какъ мало, какъ мало была... ⁵⁾ сторона сердца во мнѣ.

Пожить одному мнѣ хорошо, опомниться... А это, впрочемъ, вздоръ; зачѣмъ же привыкать къ утратѣ, къ несчастью, привыкать къ пустой жизни, къ холодному старчеству! Нѣтъ, пусть рана не заживаетъ, пусть мучить, унижаетъ, давитъ—лѣченье одно и можетъ быть: воскреснувшая изъ гроба любовь,—и Христось былъ три дня въ аду послѣ смерти и прежде воскресенья. Прощай. Хотѣлось бы плакать, а потому довольно.

Сашѣ кланяюсь ужъ не какъ маленькому, а какъ молодому другу ⁶⁾ и прошу его въ память мою не терять времени и даже не забывать, какъ мнѣ были неприятны нѣкоторыя манеры его.

1) Станція (на почтовыхъ лошадяхъ).

2) Вмѣсто демократа.

3) Tracasseries—мелкія хлопоты.

4) Два слова не разобраны.

5) Слово не разобрано.

6) Скоро ему исполнялось 12 лѣтъ.

Что Александра Христ.? Два или восемь? Я думаю, вы живете славно, и я всего болѣе хочу возвратиться въ Ниццу или возлѣ. Книги въ Парижѣ отправлены. Если не позволятъ намъ въ Ниццѣ, наймемъ у принца Монаки ¹⁾,—не шутя, это было бы отлично.

Маменькѣ земно кланяюсь.

Пишите лучше на адресъ Мар. Каспар. ²⁾, р. г. à M. Alexandre.

506. Письмо къ женѣ.

9 іюня 1851.

Парижъ.

Вчера, другъ мой, въ 8 вечера пріѣхали мы безостановочно изъ Ліона; теперь эта дорога просто ничего,—мы были въ 24 часа въ Парижѣ, новой желѣзной дорогой отъ Шалона.

Самый въѣздъ въ Парижъ былъ скученъ, прозаиченъ; освѣщеніе мутно послѣ Италіи, и какая-то тяжесть ломила душу; были въ пяти отеляхъ,—все занято; наконецъ, помѣстились въ маленькомъ «Prince Régent» на улицѣ Hyacinthe S. Honoré, но писать туда не нужно, а лучше на Мар. Касп.,—буду же къ ней пилигримствовать.

Сейчасъ записалъ бѣлье:

1 paletot,

1 pantalon,

3 chemisettes ³⁾ и пр.

для прачки и замѣтилъ ей, что надо крахмалить. Помнишь, какъ я съ удивленіемъ и хохотомъ писалъ изъ Перми, что хозяйка предлагала мнѣ корову? Тогда шло въ гору, въ гору—и именно оттого ничего не было видно впереди; теперь съ тормазомъ шагаемъ подъ гору,—и все видно; теперь не смѣшно и бѣлье записывать...

Получилъ твою записку отъ M-elle Cousin. ¹ Благодарю за нее, она писана такъ, какъ надобно; она меня много утѣшила и Оленькинъ дагеротипъ ⁴⁾; я не знаю отчего, но онъ какъ-то на меня дѣйствуетъ, какъ salmant ⁵⁾. Полков. живетъ въ другомъ этажѣ... Совершенное одиночество, тишина, ни одного знакомаго лица; я искалъ этого, но на душѣ все же не хорошо. Не знаю какъ, но я перемѣнился совершенно въ послѣдніе полгода. Меня постоянно

¹⁾ Въ княжествѣ Монако.

²⁾ М. К. Эрнъ, тогда по мужу—Рейхель.

³⁾ 1 пальто (верхняя одежда—пиджакъ), 1 брюки, 3 манишки и пр.

⁴⁾ Дагеротипъ, на которомъ изображена Н. А.—на съ Ольгой.

⁵⁾ Успокаивающее лѣкарство.

разъѣдаетъ какая-то злоба и какая-то тоска. Я въ 40 лѣтъ могу à la Гретхенъ сказать:

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr ¹⁾.

Въ 14 лѣтъ это было больно, но съ тѣмъ вмѣстѣ хорошо къ росту, а сердцу сложившемуся трудно. Сегодня утромъ я сидѣлъ, думалъ, и вдругъ слезы полились градомъ... Все это новое, а святое равнодушіе ко всему, что бы ни случилось: въ Англію, въ Америку, куда угодно,—лишь вы были бы живы, лишь бы я зналъ, что это не торжество для гнуснаго эгоизма. Желаніе мести у меня развивается болѣе и болѣе. Ты называла это самолюбіемъ; я тутъ вижу то же чувство, которое проводило меня черезъ всю жизнь, наполнило всѣ артеріи, всѣ волосные сосуды и которое только такъ казалось слабымъ, оттого что оно мнѣ было естественно, что я въ немъ жилъ; теперь оно стало latent ²⁾, оттого что оно больное чувство, оттого что оно теперь столько же отравляетъ меня, сколько живить.

Мнѣ что-то сомнительно, можно ли здѣсь поселиться, очень сомнительно, а гораздо скорѣе можно вообразить, что отсюда ни за что ни про что выгонять. Что у васъ Боѳфисъ ³⁾, какой отвѣтъ даетъ? Засимъ Англія. Въ Швейцаріи я не могу жить,—развѣ одинъ. Не въ Ниццѣ, такъ въ Туринѣ, въ Генуѣ можно помѣститься. Только очень скоро всего этого не узнаешь. Мы съ полков. не на шутку собираемся въ Лондонъ: 12 часовъ пути.

Марія Касп. встрѣтила съ распростертыми объятіями и была просто внѣ себя отъ радости. Они живутъ очень мило,—маленькая: квартирка, деревья и bal Mabilie возлѣ.

Нынче отправляюсь къ Ротшильду и къ Пальмье.

Если наша Офелія ⁴⁾ въ духѣ, т. е. весела, что къ ней такъ удивительно идетъ, то скажи, что мы въ дорогѣ безпрестанно вспоминали и веселье, и изгонянье, и пр., хотя говоримъ мы мало. Какъ все сердило и бѣсило, что дѣлалось! Полков. всю дорогу везъ дагеротипъ Офеліи при себѣ и иногда посматривалъ, даже украдкою.

1) Улетѣлъ мой покой,
Тяжело на душѣ;
Никогда не найду
Я покой, никогда.

2) Скрытое.

3) Докторъ въ Ниццѣ.

4) А. Х. Энгельсонъ.

отъ меня (меня завѣдомо считаютъ врагомъ всего нѣжнаго); въ силу этого и взявъ въ расчетъ ихъ нервность, я начинаю обдумывать, нельзя ли ихъ, какъ эти escargots ¹⁾, телеграфически приладить для быстрыхъ сношеній; напр., ты что хочешь передать,—скажи Ал. Хр., она подумаетъ, а полковникъ съ дагеротипомъ прямо мнѣ и скажетъ.

Маменькѣ я напишу особо, потому что нечего писать. Марія Каспар. ее ждетъ; я нашелъ лицо Маріи Касп. измѣнившимся отъ ея положенія ²⁾. Рейхель ³⁾ гордъ и значительно посматриваетъ на плоды своихъ музыкальныхъ занятій. Все у нихъ, какъ кажется, хорошо. Чего же лучше? Колѣ припишу. Въ письмахъ, скажи всѣмъ, чтобъ были осторожны, а если есть о Гаврил. ⁴⁾, то сперва прочти и, если сально, оставь дома.

Получено ли наше письмо изъ Ліона? Это—третье послѣ отъѣзда. Я буду номеръ ставить.

Обнимаю тебя, Саша, и цѣлую. Когда будетъ больше досуга, напишу цѣлое письмо. Мы ѣхали новой желѣзной дорогой; возлѣ Дижона туннель въ 4,200 метровъ—это значитъ 4 съ половиною версты. Энгельсонъ смотрѣлъ на часы: ровно шесть минутъ. Возлѣ Тонерра машина остановилась, и мы ждали часъ и 17 минутъ.

◆◆ 1. Вотъ эта записка Н. А—ны:

«Если тебѣ нельзя сюда, пиши скорѣе, не пріѣхать ли мнѣ къ тебѣ. Если-бъ ты только былъ спокоенъ. Раскайня у меня нѣтъ, мой другъ,—въ чемъ же? Это счастье мое, что моя способность любить не по силамъ пришла пришла ни мнѣ самой, ни другимъ... Я горда, но гордость не такъ безумна, чтобъ затмить вполне совѣсть,—въ каждомъ поступкѣ сужу я себя строго и не требую, не желаю даже признанія другихъ; тебѣ говорю теперь, думая успокоить тебя этимъ сколько-нибудь,—я чувствую себя совершенно чистою, я не могла быть иначе, я поступала всегда отъ всей полноты души; теперь я та же, та же, и каждый мой шагъ, слово—я сама. Несчастье мое въ томъ, что и другимъ я вѣрила, какъ себѣ.

«Другъ мой, успокойся, умоляю тебя, умоляю... Скажи, что я могу сдѣлать для тебя?»

¹⁾ Улитка.

²⁾ Была беременна.

³⁾ Адольфъ.

⁴⁾ Вѣроятно—Гавриловичъ, т. е. И. Г. Головинъ.

507. Письмо къ женѣ.

10 іюня 1851.

Парижъ.

Ну, писать вы довольно скупы: вчера ничего не было, сегодня—еще не знаю. Солнца нѣтъ, небо сѣрое, а, впрочемъ, я уже теперь начинаю чувствовать всю разницу съ климатомъ Ниццы: нѣтъ той усталости, чувствуешь себя свѣжѣе. Вчера мы были въ театрѣ,—глупо. Здѣсь такой сумбуръ и хаосъ, что надобно жить, закрывши глаза; понять нельзя ничего, все предсказываетъ грозу, но какую, трудно сказать.

11 іюня.

Письмо твое отъ 5 принесли еще вчера. Я думаю, ты права: мы должны были сплавиться, сдѣлаться необходимостью другъ для друга, я всегда такъ думалъ; страшный опытъ показалъ иное, но, можетъ, онъ побѣдитъ. Иногда кажется, что и этотъ опытъ долженъ выработаться въ новую силу, что тутъ-то и—завершеніе развитія, потеря послѣдней религіозной мечты, т. е., что слѣдуетъ сдѣлаться независимѣе, свободнѣе, умнѣе. Да. Но почему это? Съ такой премудростью.—прощай поэзія въ жизни; равнодушіе старости,—это и безъ того съ лѣтами придетъ,—я, вѣдь, былъ ужасно молодъ, чистъ, даже по-дѣтски во многомъ, до этой страшной осени; тутъ я переродился и сталъ вовсе не такъ простъ и прямъ, какъ прежде; я чувствую, что я сталъ золъ, скрытенъ; постоянно присутствующее чувство великаго оскорбленія, какъ дрожжи, бродитъ и мучить... Ты скажешь, что я опять все говорю о себѣ да о себѣ. Да о чемъ же, другъ мой, говорить мнѣ съ тобою, какъ не объ насъ? Разлука наша теперь должна быть время *pour se recueillir* ¹⁾; она чрезвычайно на мѣстѣ. Еслибъ только дойти мнѣ до простой грусти, и тебѣ—до того, чтобы понять, что все это не было заслуженной, какъ ты говоришь, и не имѣло того характера, который, я понимаю, отчего ты придаешь,—тогда съ склоненной головой мы наружно забудемъ прошедшее, тогда не нужно говорить, тогда свяжутся порванные концы, и гармонія возстановится вполнѣ; тогда и воспоминанія объ нашихъ первыхъ годахъ не будутъ тебѣ ка-

1) Чтобы сосредоточиться въ мысляхъ и чувствахъ.

заться такъ бѣдны, тогда послѣдніе остатки демоническаго, лихорадочнаго и сильнаго чувства изсякнутъ. О, еслибъ это было!

Воспитаніе дѣтей дастъ огромный шагъ впередъ — и нашихъ дѣтей; я вчера еще долго съ Мар. Касп. смотрѣлъ дагеротипы ихъ.

Должно быть, Мар. Касп. многое знаетъ. Я это замѣчаю по тому, какъ она тщательно избѣгаетъ малѣйшей... ¹⁾, малѣйшаго воспоминанія. Я ей душевно благодаренъ за эту пощадку, особенно въ первые дни: я былъ такъ не спокоенъ, взволнованъ. Ну, прощай, мой другъ, дай руку, обними меня, — моей любви «ни вѣтеръ не разнесъ, ни время не убило», это—чувство мое... ²⁾ оно проводитъ меня (что бы ни было) до гроба.

Мы съ полковникомъ собираемся завтракать. Онъ кланяется; до сихъ поръ все идетъ недурно, сегодня хотимъ слушать Альбони ³⁾. Ёдимъ мы съ изяществомъ невѣроятнымъ, — мало, но все съ перышкомъ и съ шничкомъ.

Какъ только Бармень получитъ мои бумаги изъ Фрейбурга, я начну дѣйствовать, а именно, чтобъ получить дозволеніе полѣчиться въ южной Франціи; превельми хвалятъ Бордо, а не то—въ Монпелье. Переѣздъ вамъ будетъ легкой. Но прежде я, все же, побываю въ Фрейбургѣ и хотѣлось бы, хоть на смѣхъ Панину ⁴⁾, возвратиться въ Ниццу.

Маменькѣ, Луизѣ ⁵⁾ и дѣтямъ, — всѣмъ поклоны и поцѣлуи. Писать что-то не хочется. Александрѣ Хр. посылаю отрывокъ изъ «Прессы»: вотъ, молъ, какіе сногшибающіе есть въ Парижѣ.

Спроси Фока ⁶⁾, какъ адресъ того вюртембергскаго чиновника, которому слѣдуетъ послать деньги за маменьку.

Ну, что вашъ Рокъ ⁷⁾, хорошо ли кормить? Кормилицѣ ⁸⁾ почтенье.

Шпильману ⁹⁾ спасибо за его письмецо; да для чего же онъ извиняется?

Narum, bitsch karum, bim, bum, br!

Aschengraus, dunkelblau ¹⁰⁾—это все Шпильману.

¹⁾ Слово не разобрано.

²⁾ Тоже.

³⁾ Знаменитая итальянская пѣвица.

⁴⁾ Министръ юстиціи.

⁵⁾ Горничная.

⁶⁾ ?

⁷⁾ Рокка, поваръ Герцена, очень преданный всей семьѣ.

⁸⁾ Кормилица Ольги.

⁹⁾ Учитель и гувернеръ Коли.

¹⁰⁾ Нѣмецкая студенческая пѣсня на товарищескихъ пирушкахъ.

508. Письмо къ А. А. Герцену.

(12 юня 1851).

Любезный Саша, въ ожиданіи твоего рапорта о твоихъ занятіяхъ за прошлую недѣлю, я хочу написать тебѣ нѣсколько словъ. Ты входишь теперь въ тотъ возрастъ, когда дѣти бѣдныхъ людей начинаютъ уже работать и серьезно заниматься, а потому я тебѣ расскажу не о Цюрихѣ, не о ипподромѣ, а о томъ, что здѣсь было въ судѣ.

Ты слыхаль о знаменитомъ французскомъ мыслителѣ, Викторѣ Гюго; вчера судили его сына за то, что онъ написалъ въ журналѣ статью, въ которой говорилъ, что казнить людей отвратительно. Отецъ его самъ сталъ защищать сына и, предвидя, что его сына все же обвинятъ и посадятъ въ тюрьму, вотъ чѣмъ онъ кончилъ свою рѣчь:

«Сынъ мой, тебѣ дѣлаютъ сегодня великую честь: тебя считаютъ достойнымъ страдать за правду. Съ сегодняшняго дня ты вступаешь въ дѣйствительную жизнь. Ты можешь гордиться, что въ твоихъ лѣтахъ ты уже на той скамьѣ, на которой сидѣли Беранже и Шатобрианъ, — будь твердъ и незыблемъ въ твоихъ убѣжденіяхъ, ты ихъ принесъ въ крови, ты имъ научился у твоего отца».

Сына Гюго осудили на шесть мѣсяцевъ. Когда они съ отцомъ вышли изъ суда, народъ ожидавшій ихъ, окружилъ карету и кричалъ: «Да здравствуетъ Гюго!» Гюго отвѣчалъ: «Да здравствуетъ республика!»

Ты видишь, дружокъ Саша, что какъ ни больно отцу, что онъ долженъ сына отдать въ тюрьму, но что для него этотъ день останется, какъ одинъ изъ лучшихъ въ жизни. Вспомни маленькаго Грибуля ¹⁾: и онъ пострадалъ за правду и за желаніе, чтобъ всѣмъ было хорошо. Тѣ, которые гонятъ, осуждаютъ за это, тѣ хотятъ, чтобъ только имъ было хорошо.

Надобно быть или Грибулемъ, или Бурбономъ: надобно бороться, собою жертвовать или приносить себя на жертву друзей и враговъ. Но быть Грибулемъ не только выше, но и веселѣе. Помнишь, какъ онъ въ тюрьмѣ приучилъ мышей, лягушекъ и пѣлъ пѣсни? на совѣсти у него ничего не было, онъ сдѣлалъ свое дѣло, а какой-ни-

¹⁾ Герой произведенія Ж. Сандъ.

будь Бурбонъ, отравивши жизнь другимъ, мучится, завидуетъ, боится, стыдится.

Такъ-то и я хочу со временемъ видѣть тебя, идущаго по дорогѣ, по которой я шелъ 25 лѣтъ. Не думай, чтобъ нужно было наткаться самому на бѣды—нѣтъ, надобно быть готовому на всякую борьбу. Не придетъ она,—можно другое дѣлать. Но если придетъ,—что бы ни было, стой за свою истину, за то, что ты любишь, а тамъ что бы ни вышло.

Цѣлую тебя крѣпко.

Мамашѣ скажи, что я вчера получилъ головинс. ¹⁾, письмо. Скажи еще, чтобъ мамаша послала у Visconti ²⁾ взять № «Прессы» отъ 12 іюня и прочла бы весь процессъ Гюго, но только въ «Прессѣ».

Кланяйся Александрѣ Христіановнѣ. Занимайся, какъ можно больше, русскимъ языкомъ. Ты никогда не забывай, что ты долженъ быть русскій.

Татѣ и Колѣ будутъ слѣдующія письма. Скажи только Татѣ, что ей кланяется Palmier, у котораго я вчера обѣдалъ.

Энгельсонъ кланяется.

А ты не забудь поцѣловать руку у бабушки, пожать у Луизы и Шпильмана.

Кланяйся Роккѣ и всѣмъ.

Вчера мы слушали Alboni.

509. Письмо къ женѣ.

13 іюня 1851.

Парижъ.

Парижъ рѣшительно утратилъ способность меня веселить, я скучаю, и тутъ, душа моя, я забываю о другихъ внутреннихъ причинахъ, а говорю просто такъ, что онѣ не разсѣиваются,—удивительно, какъ все мѣняется, когда мы мѣняемся. Вотъ—лучшее доказательство, что школьники напрасно ищутъ *истинную* истину,—есть только *человѣческая* истина. Мы были въ театрѣ Montausier; я хохоталъ, но мнѣ было скучно; вчера водилъ я полковника въ Мабиль; онъ никогда не видалъ, его ужасно электризовалъ шикъ танцевъ; я только и веселился имъ, а въ сущности пропадалъ со

¹⁾ Отъ И. Г. Головина.

²⁾ Книгопродавецъ въ Ниццѣ.

скуки. Улицы, журналы, разговоры,—все скучно, ни одного живого слова, все газетныя разсужденія, битыя мѣста, сѣдья отъ неисполненія надежды, и какъ-то все это поверхностно... Нѣтъ, не хотѣлъ бы я поселиться въ Парижѣ.

Многіе говорятъ, что югъ Франціи для насъ возможенъ. Пальмье совѣтуетъ поселиться не въ Марсели, а въ окрестностяхъ; совѣтуетъ, если безъ моря, то выбрать Бордо или Нимъ (Саша пусть тебѣ покажетъ все это по картѣ). Я думаю тоже, что это не дурно; на первый случай мы могли бы съѣхаться въ Марсели,—пусть тебѣ легкой.

Я готовъ бы былъ ѣхать, хоть сегодня,—я сытъ Парижемъ. Меня держитъ вотъ что: Шиллеръ писалъ мнѣ, что мои бумаги окончены будутъ къ 15; стало, къ 20 придутъ сюда,—я только этого и жду, чтобъ начать мои демарши.

1-е. Если можно будетъ остаться въ Піемонтѣ, я возвращусь черезъ Фрейбургъ, и развѣ,—развѣ только съ полковникомъ сбѣгаемъ на выставку, что займетъ не больше десяти дней.

2-е. Если нѣтъ, то переѣдете вы въ іюль въ Марсель, а я прямо отсюда поѣду васъ устроить.

3. Если, наконецъ, и это нельзя, то остается forcément ¹⁾ Англія. Жаль, очень жаль, что для меня Швейц. отравлена присутствіемъ этого Каина de la bessonnière ²⁾. Жаль что и мерзавка эта ³⁾ въ Ріемонт'ѣ;—ну, да противъ судьбы прать нельзя.

Все это надобно рѣшить скорѣе,—иногда какія-то грозныя предчувствія тревожатъ, неопредѣленные, но страшныя. А, впрочемъ, кто перенесъ то, что я перенесъ, тотъ перенесетъ все, что попадетъ на плечи. Но это значить: старость, равнодушная, безчувственная,—только ея нѣтъ еще въ главномъ; кровь еще льется огнемъ, и въ душѣ у меня тоже два противоположные потока, два кровообращенія: любовь и ненависть, любовь съ состраданіемъ и ненависть съ раскаяніемъ,—да, да, съ раскаяніемъ самымъ лучшимъ, что я не раздавилъ эту змѣю. Я презираю себя за эту слабость.

Кстати, въ утѣшеніе тѣмъ, кто думаетъ о бѣдности этихъ господъ ⁴⁾: Гуманъ, портной, мнѣ сказывалъ, что онъ на-дняхъ отпавилъ, по ея заказу, платья... Величественно и поэтически несутъ судьбу, а ты пишешь, т. е. писывала, о сумѣ и милостынѣ, о помѣшательствѣ и вертерствѣ... О, какъ невыразимо хорошо именно

¹⁾ По необходимости.

²⁾ Изъ гнѣзда близнецовъ. Г. Гервегъ упорно называлъ себя «близнецомъ» Герцена.

³⁾ Эмма Гервегъ.

⁴⁾ Гервеги.

такое скрупулезно-мелко-мѣщанское существо, полное эгоизма и lâcheté ¹⁾, отправить dahin, dahin ²⁾). Какъ я былъ слѣпъ! я слушаю теперь, что говорятъ посторонніе о ихъ характерѣ вообще, и рву себѣ волосы... Ну, да и наказанъ за ошибку. Много ли было писемъ съ моего отъѣзда оттуда?

Тат. Алекс. ³⁾ тотчасъ по полученіи письма отослалъ 350 фр. да еще черезъ Мар. Каспар. велѣлъ ей взять у С—на ⁴⁾ въ Москвѣ 100 р. серебр.

Пришли на адресъ Мар. Касп. газету, въ которой будетъ интерpellация Valerio ⁵⁾ и попроси Шпильмана послать sous bande ⁶⁾ 1 экз. въ Туринъ М. Valerio, 1 въ редакцію de «l'Opinione», одинъ въ редакцію «Progresso» и, если еще есть такіе же листы,—журналамъ,—это можетъ сказать Фокъ. Головинъ ⁷⁾ еще спокойно въ Туринѣ, какъ же книги возвратились? Пусть онъ спроситъ у Висконти, послалъ ли онъ въ Геную, а то и туда въ редакцію какого-нибудь оппозиціоннаго журнала можно послать. Все это изъ тѣхъ №№, которые были посланы къ Голов. Да, кстати, я Дельену остался долженъ, кажется, 6 или 7 фр.,—ему слѣдуетъ отдать.

14 іюня 1851.

Небо вѣчно сѣро, почти никогда нѣтъ солнца, — тоска по Италіи, но климатъ здѣшній для меня несравненно здоровѣе, я теперь уже чувствую перемѣну: нѣтъ этой усталости и тяжести. Но жить, все же, кажется противно, по крайней мѣрѣ, до перемѣны. Полковникъ, кажется, проклинаятъ, на чемъ свѣтъ стоитъ, за то, что поѣхалъ: я, какъ ни желаю, не могу быть веселымъ собесѣдникомъ, и чѣмъ бы разговоръ ни завязался (или онъ пустъ), оканчивается за упокой. Твое присутствіе еще наполняло всѣ пропасти, одинъ взглядъ дѣтей дѣйствовалъ лѣкарственно, но въ этомъ клаустральномъ ⁸⁾ одиночествѣ, въ этой жизни въ сторону нѣтъ ничего смягчающаго. Писать я рѣшительно не могу, все кажется такъ неловко, такъ не нужно. Все это, можетъ, и послужитъ на что-нибудь, но все это тяжело. И ты, другъ мой, не сердись за печальные

¹⁾ Подлость.

²⁾ Туда, туда.

³⁾ Астракова.

⁴⁾ Н. М. Сатинъ.

⁵⁾ Лоренцо Валеріо, госуд. дѣятель Италіи, депутатъ піемонтской палаты, выступившій съ запросомъ по поводу высылки Герцена изъ Піемонта.

⁶⁾ Подъ бандеролью.

⁷⁾ Иванъ Гавриловичъ.

⁸⁾ Claustralis—замкнутый, монастырскій.

звуки, которые примѣшиваются ко всему. Представь иногда себя на моемъ положеніи, и ты простишь это оханье или этотъ стонъ. Какъ далеко отъ меня желаніе мучить тебя моими словами,—да они и не мучительны, если любовь воскресла, а, вѣдь, въ это-то мнѣ и необходимо вѣрить, чтобъ жить.

Если письмо изъ Ліона не пришло, требуйте; оно было отправлено 7 числа.

Въ заключеніе скажу, что я рѣшительно не пью водки.

Жму дружески руку Алекс. Христ. Ну что, какъ ведетъ себя Фокъ № 47?

510. Письмо къ Н. А. Герценъ.

(Іюнь) 1851.

Здравствуй, Таточекъ! думаешь ли ты часто о старичкѣ-папашѣ? а папаша объ тебѣ часто думаетъ и ему жаль, что Таточка не приходитъ здороваться. Маша ¹⁾ тебя цѣлуетъ и спрашиваетъ, не ссоришься ли съ Колей; я сказалъ: «Тата теперь большая и умная, Коля тоже и не ссорятся».

511. Письмо къ женѣ.

15 іюня 1851, воскресенье.

Пишу сегодня, другъ мой, оттого что вчера Маша опоздала за меня отправить свое письмо. Думаю, что скоро разрѣшатся всѣ вопросы; мнѣ хочется всего болѣе опять въ Ниццу или въ Піемонтъ. Здѣсь въ воздухѣ примѣшано что-то оскорбительное и раздражающее. Ни меня, ни полковника, въ сущности, ничто не веселитъ, мы натягиваемъ всѣ силы. Представь себѣ, что мы вчера были въ Château Rouge ²⁾ на балѣ втроемъ. Кто же третій?—отгадай... Бернацкій, который свѣжъ, уменъ, откалываетъ комплименты, ну, словомъ, моложе полковника.

Въ одинокой жизни моей я еще болѣе вижу, какъ я мало имѣю способности къ фамелизму. Мнѣ нравится эта совершенная тишина,—цѣлое утро душа человѣческая не взойдетъ, кромѣ мальчика съ кофеемъ; мнѣ нравится совершенное безучастіе—самобыт-

¹⁾ М. К. Рейхель.

²⁾ Кафе-шантанъ.

нѣе стоишь, умирай себѣ, порти себя, никому нѣтъ дѣла. Думая объ этомъ вчера, я съ горькой улыбкой вспомнилъ, что ты меня упрекала когда-то за то, что, взятое поглубже, должно было служить лучшимъ доказательствомъ, какъ сильна моя любовь. Было время, въ которое ты не хотѣла ее видѣть, и это—своего рода крикъ совѣсти. Ты упрекала, что я говорилъ съ предилекціей о жизни въ трактирѣ одному. Да что же удивительнаго, что человекъ, который ищетъ семейной жизни, живетъ въ ней? тутъ нѣтъ сильнаго чувства, это—*та* форма жизни, которая ему сообразна. Но когда люди по внутреннему влеченію имѣютъ на столько дикости, довольства собой, независимости и общихъ интересовъ, когда такіе люди не могутъ безъ страданій и боли оставить семью на недѣлю или на двѣ, когда всѣ мелкія невыгоды этой жизни покрываются однимъ присутвіемъ существа, которое сдѣлалось необходимо, какъ кислородъ для жизни,—тогда врядъ упрекъ обдуманъ ли. Если-бъ наши отношенія были бы на одну степень слабѣе съ моей стороны,—я началъ бы новую жизнь, съ моей энергіей, съ моей силой,—анъ, нѣтъ: я сижу съ стиснутыми зубами, я боюсь своихъ сновъ, я боюсь воспоминаній, мнѣ больно глубоко внутри и, хоть много добра ты сдѣлала мнѣ въ послѣдніе дни и первой запиской, но, вѣдь, боль, какъ ты пишешь, и въ отрѣзанномъ мнѣ чувствуется.

Сейчасъ получилъ отъ Гол. ¹⁾ вырѣзку изъ газеты; да я желалъ бы имѣть,—мнѣ это нужно,—тотъ № «Gazetta piemontese», гдѣ помѣщена *torcata* ²⁾ камеры 10-го іюня, когда были интерпелляціи; пришли его на имя Мар. Каспар., если же нельзя скоро достать, то сохрани до приѣзда или до свиданія.

Мнѣ кажется, что можно будетъ воротиться. Дѣтей обнимаю.

512. Письмо къ А. А. Герцену.

(Іюнь 1851).

Саша, тебѣ особенно поручаю расцѣловать Колю и Тату.

Напиши мнѣ, какъ они себя ведутъ и поминаютъ ли объ старикѣ-папашѣ, который думаетъ объ васъ и день, и ночь.

Папа.

Краски отличнѣйшія тоже пришлю или привезу.

¹⁾ И. Г. Головинъ.

²⁾ Отчетъ о засѣданіи.

DU
DÉVELOPPEMENT
DES
IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES
EN RUSSIE.

A notre ami

Miche! Bakounine.

Mes amis de la Centralisation Démocratique Polonaise veulent bien faire une seconde édition de mon ouvrage: «Sur le développement des idées révolutionnaires en Russie».

J'attache une importance toute particulière à ce fait. Cette édition sera un nouveau témoignage public de l'alliance fraternelle de la Pologne révolutionnaire avec les révolutionnaires russes.

A. H.

Introduction.

Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Gæthe.

. Je quittai la Russie au milieu d'un hiver froid, neigeux, par une petite route de traverse, peu fréquentée et qui ne sert qu'à relier le gouvernement de Pskow à la Livonie. Ces deux contrées qui se touchent, ayant peu de rapports entre elles, éloignées de toute influence extérieure, offrent un contraste qui ne se présente nulle autre part avec tant de nudité, nous dirons même—avec tant d'exagération.

C'est un défrichement à côté d'un enterrement, c'est la veille touchant le lendemain, c'est une germination pénible et une agonie difficile. D'un côté tout sent la chaux, rien n'est terminé, rien n'est encore habitable, partout des bois de construction, des murs nus; de l'autre, tout sent le moisi, tout tombe en ruines, tout devient inhabitable, partout fentes, débris et décombres.

Entre les bois de sapin saupoudrés de neige, dans de grandes plaines, apparaissaient les petits villages russes; ils se détachaient brusquement sur un fond d'une blancheur éblouissante. L'aspect de ces pauvres communes rurales a quelque chose de profondément touchant pour moi. Les maisonnettes se pressent l'une l'autre, aimant mieux brûler ensemble que de s'éparpiller. Les champs, sans haies ni clôtures, se perdent dans un lointain infini derrière les maisons. La petite cabane pour l'individu, pour la famille; la terre à tout le monde, à la commune.

Le paysan qui habite ces maisonnettes est resté dans le même état où les armées nomades de Gengis-Khan le surprisent. Les événements des derniers siècles ont passé au-dessus de sa tête, sans même éveiller son insouciance. C'est une existence intermédiaire entre la géologie et l'histoire, c'est une formation qui a un caractère, une manière d'être, une physiologie—mais non une biographie. Le paysan rebâtit, au bout de deux ou trois générations, sa maisonnette en bois de sapin qui dépérit peu à peu, sans laisser plus de traces que le paysan lui-même.

Parlez lui cependant et vous verrez de suite, si c'est le déclin ou l'enfance, la barbarie qui suit la mort ou la barbarie qui précède la vie. Mais d'abord parlez lui sa langue, rassurez-le, montrez-lui que vous n'êtes pas son ennemi. Je suis bien loin de blâmer la crainte du paysan russe à l'endroit de l'homme civilisé. L'homme civilisé qu'il voit est ou son seigneur, ou un employé du gouvernement. Eh bien, le paysan se méfie de lui, le regarde d'un œil sombre, le salue profondément et s'éloigne de lui, mais il ne l'estime pas. Il ne craint pas en lui une nature supérieure, mais une force majeure. Il est vaincu, mais il n'est point laquais. Sa langue rude, démocratique et patriarcale, n'a pas reçu l'éducation des antichambres. Ses traits d'une beauté mâle ont résisté au double servage du tzar et du seigneur. Le paysan de la Grande et de la Petite Russie a un esprit très délié et cette vivacité presque méridionale qu'on s'étonne de trouver au Nord. Il parle bien et beaucoup; l'habitude d'être toujours avec ses voisins l'a rendu communicatif.

. . . . Arrivés à l'un des derniers relais russes, nous attendions les chevaux de poste dans une petite pièce, chauffée comme une serre.

La femme du maître de poste, sale, mal-peignée et criarde, nous forçait de prendre du thé. Fatigué de contempler une gravure—très intéressante—qui ornait le mur au-dessus d'un sofa en cuir, je fus enchanté d'entendre du bruit devant la maison.

Pourtant, avant de quitter la gravure, j'en dois faire connaître le sujet qui est très caractéristique. Apparemment elle appartenait aux temps qui suivirent le règne de Pierre I^{er}. C'était lui, assis devant une table couverte de mets et de flacons. Le prince Mentchikoff, s'inclinant profondément, lui présentait et lui offrait une jeune personne—la future impératrice Catherine I. L'inscription disait: «Le bon sujet cède ce qu'il a de plus précieux à son Tzar bien-aimé».

Je me repens encore aujourd'hui de n'avoir pas acheté cette gravure...

Je sortis pour m'enquérir de ce qui excitait le tumulte. Un officier se démenait devant un groupe de yamstchiks (postillons), injuriant tout le monde, criant à tue-tête. Les yamstchiks le regardaient faire avec cette ironique impassibilité qui est le propre des paysans russes. Derrière l'officier se tenait le maître de poste, fortement aviné; il criait aussi, mais en même temps il faisait, des yeux, des signes d'intelligence aux paysans.

— Où est le Starosta? où est le Starosta?,—criait l'officier écumant de rage.

— Où est le Starosta?....—répétaient quelques paysans avec une tranquillité apathique qui ferait endiabler un saint.—Mais voilà que le Starosta n'y est pas,—trois hommes sont allés le chercher.—Au cabaret, il n'y est pas, chez sa marraine, non plus.—Où peut-il être, le Starosta? c'est étonnant!

Il était certain que le Starosta était présent, qu'il était là, dans le groupe.

— Les brigands, —criait le maître de poste.— Ah! les brigands, ils ne veulent pas chercher le Starosta!

— Et vous,—répliqua l'officier,—quel maître de poste êtes-vous donc? C'est ainsi qu'on vous obéit? Vous représentez bien l'autorité! Je ferai un rapport, j'écrirai moi-même au comte Adlerberg (ministre de la poste), je le connais personnellement.

— Epargnez un père de famille: vingt-trois ans de services, médaille pour la prise de Varna, deux blessures, une balle d'outre en outre, décoration pour un service irréprochable de vingt ans,—répétait machinalement le maître de poste, sans être trop effrayé.

Comme l'affaire n'avancait pas, l'officier s'en prit à un jeune garçon de seize à dix-sept ans.—«Comment,—dit-il,—tu me ris au nez, tu me ris au nez! Je t'apprendrai à ne pas respecter les épauettes»—et

il s'élança sur le jeune homme; celui-ci, esquivant le coup de poing dont l'officier le menaçait, se mit à courir; l'officier voulut le poursuivre, mais la neige était si profonde qu'il s'enfonça jusqu'aux genoux. Les paysans éclatèrent de rire.—«Mais c'est une révolte!—c'est une révolte!» criait l'officier, et il ordonnait impérieusement au jeune garçon, qui grimpaît comme un écureuil à la cime d'un arbre, de descendre.—«Non,—répondit l'autre,—je ne descendrai pas,—tu me battras...» —«Descends, mauvais garnement, descends!—ajoutait le maître de poste.—Le jeune homme secouait la tête.

— Voilà!—continua le maître de poste, parlant à l'officier,—Votre Grâce, vous pouvez juger par vous-même maintenant à quels hommes nous avons à faire depuis le matin jusqu'au soir—pires que des Turcs!—Quand est-ce que Dieu me délivrera de cet enfer? je n'y reste qu'à cause des trois années qui me manquent pour la pension. Mais, votre Grâce, soyez tranquille: je viendrai à bout de ces brigands-là, et ils vous mèneront même sans argent. J'enverrai de suite chercher le commissaire du district, il ne demeure pas loin: huit lieues d'ici, pas même—sept et demi. En attendant, si votre Grâce voulait prendre un peu de thé?..

— Mais est-ce que vous êtes fou par hasard?—lui dit l'officier d'un ton de désespoir.—Comment voulez-vous que je perde mon temps à attendre le commissaire? Donnez-moi des chevaux, donnez-moi des chevaux!...

Ma voiture était attelée, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée. Mais on peut être sûr que l'officier a été floué. Mon postillon souriait tout le long de la route. L'histoire de l'officier lui trottait dans la tête.—«C'est une tête chaude, l'officier», lui dis-je.—«Celà ne fait rien. Il n'est pas le premier; nous avons bien vu, dès le commencement, qu'il se fatiguerait bientôt».

. Il suffit d'un trajet de deux heures pour entrer dans un autre monde. C'est comme un changement à vue au théâtre. Le terrain devient plus accidenté, même légèrement montagneux, le chemin serpente,—ce n'est plus cette ligne droite, infinie, tracée sur un océan de neige que Miçkéwicz a si bien décrit.

La première maison de poste livonienne était située sur une montagne. J'entrai dans la «Passagier Stube». Il régnait autant de propreté, autant d'ordre dans cette chambre, que si on l'eût peinte la veille, ou qu'on attendit une visite le lendemain. Du sable sur le parquet, des géraniums et des rosmarins sur les fenêtres, un piano de quatre octaves et demi dans un coin, une bible luthérienne sur une table, couverte d'une nappe blanche. Parmi quelques lithographies et dans un cadre un peu plus riche il y avait un imprimé. C'était «An

meinen lieben Fritz»,—une espèce de testament idyllique, écrit par Frédéric-Guillaume III pour son fils.

Le maître de poste, vieillard débonnaire, avec cet air d'une naïveté béate qui n'appartient qu'aux Allemands, avait endossé pour moi son habit gris, orné de boutons en nacre. Voyant que je lisais le testament, il s'approcha et commença respectueusement un entretien, me donnant à chaque instant les titres de «baron, de freyherr, de hochwolgeborn». Il me dit, entr'autres choses, «qu'il n'avait jamais pu lire, sans avoir des larmes aux yeux, les touchantes paroles du bon roi défunt!»

Comme le maître de poste disait que le vent faisait pressentir une nuit très orageuse et me conseillait de rester jusqu'au matin, je voulus voir ce qui en était et je sortis dans la rue. Une bise forte et glacée soufflait entre les rameaux dénudés des arbres, les secouant avec violence. De temps à autre, les nuages chassés par le vent découvraient le croissant d'une lune pâle, et on voyait alors une tour à demi-ruinée, reste d'un château tombé en ruines. Sous une porte écrasée qui menait autrefois au château, étaient assis une dizaine de Finnois, petits de taille, rabougris, chétifs, les cheveux blond de lin. Leur langue, pour nous complètement étrangère, étonnait mes oreilles d'une manière désagréable. Au-dessus de la porte était cloué un aigle empaillé. Un jeune homme, blond et svelte, la moustache retroussée, le fusil derrière le dos, apparut et disparut en un instant. Il était dans un petit traîneau qu'il conduisait lui-même. L'attelage de son cheval, au lieu de se parer de l'arc en bois russe, faisait résonner une vingtaine de clochettes; un levrier courait après le traîneau, flairant la terre gelée.

En Livonie, en Courlande il n'y a pas de villages pareils à ceux de la Russie. Ce sont des fermes disséminées autour d'un château. Les cabanes des paysans sont éparées; la commune russe n'existe pas ici. Un pauvre peuple, bon, mais peu doué, évidemment sans avenir, écrasé par une servitude séculaire, débris d'une population fossile qui est submergée sous les flots des autres races, habite ces fermes. La distance entre les Allemands et les Finnois est immense; la civilisation germaine, il faut le dire, était bien peu communicative. Les Finnois de ces contrées sont restés à demi-sauvages, après tant de siècles de co-existence et de rapports continuels avec les Allemands. C'est l'empereur Nicolas qui a pensé le premier à leur éducation—à sa manière, bien entendu—il en a fait des Grecs orthodoxes.

Mais c'est à Riga, dans ces rues sombres et étroites, dans cette ville de privilèges, de corps de métiers, de «Zünfte», d'esprit hanséatique et luthérien, où le commerce lui-même est arriéré et stationnaire, où la population russe appartient aux dissidents rétrogrades, qui se sont expatriés il y a deux siècles, trouvant le régime du tzar Alexis

trop révolutionnaire, et le patriarche Nicon novateur trop audacieux; c'est là que j'ai compris toute la différence entre le monde que je venais de quitter et celui dans lequel j'entrais.

Des Juifs décharnés, couverts d'une calotte en velours noir, aux jambes fines, en culottes courtes, chaussés de bas de coton et de souliers découverts au plus fort d'un hiver baltique; des négociants allemands avec un air de majesté sénatoriale qui vous engage à prendre un autre chemin, pour ne pas les rencontrer... On ne parle au casino, au club, que de] monopoles concédés à la ville en 1600, de franchises octroyées en 1450, de dernières innovations faites en 1701...

Les Allemands de la Baltique, fils d'une civilisation ancienne, se sont, il y a des siècles, détachés du grand mouvement historique; ils prirent alors un pli invariable, ils s'arrêtèrent à ce qu'ils étaient, sans rien acquérir depuis; ils mirent l'ordre, la règle, la mesure dans leurs idées et dans leurs affaires pour n'en jamais dévier. Il est évident dès lors qu'ils doivent détester le vague, l'exagération, le désordre qui règnent, non seulement dans les lois, mais même dans les moeurs russes.

Nous ne sommes point parvenus à une stabilité déterminée, nous la cherchons, nous aspirons à un ordre social plus conforme à notre nature et nous restons dans un provisoire arbitraire, le détestant et l'acceptant, voulant nous en défaire et le subissant à contre coeur. Eux, au contraire, ils sont de véritables conservateurs, ils ont beaucoup perdu et ils craignent de perdre le reste. Nous n'avons qu'à gagner, nous n'avons rien à perdre. Nous obéissons par contrainte, nous prenons les lois qui nous régissent pour des prohibitions, pour des entraves et nous les enfreignons lorsque nous le pouvons ou l'osons; sous ce rapport point de scrupule. Chez eux, au contraire, une partie de la loi est prise au sérieux; l'enfreindre serait un crime à leurs propres yeux. Cette partie soutient l'autre dont l'absurdité est évidente pour tous.

Ils ont une moralité fixe—nous, un instinct moral.

Ils ont sur nous l'avantage d'avoir des règles positives, élaborées; ils appartiennent à la grande civilisation européenne. Nous avons sur eux l'avantage des forces robustes, d'une certaine latitude d'espérances. Là où ils sont arrêtés par leur conscience, nous sommes arrêtés par un gendarme. Arithmétiquement faibles, nous cédon; leur faiblesse est une faiblesse algébrique, elle est dans la formule même.

Nous les froissons profondément par notre laisser-aller, par notre conduite, par le peu de ménagement des formes, par l'étalage de nos passions, demi-barbares et demi-corrompues. Ils nous ennuient mortellement par leur pédantisme bourgeois, par leur purisme affecté, par leur conduite irréprochablement mesquine.

Chez eux enfin un homme qui dépense plus de la moitié de ses

revenus est taxé de fils prodigué, de dissipateur. Un homme qui se borne chez nous à ne manger que ses revenus est considéré comme un monstre d'avarice...

Cette antithèse si tranchée, presque exagérée, comme nous l'avons dit nous-mêmes, entre la Russie et les provinces baltiques, se retrouve, quant au fond, entre le monde slave et l'Europe.

Il y a pourtant cette différence, c'est que dans le monde slave il y a un élément de civilisation occidentale à la surface, et dans le monde européen un élément complètement barbare à la base, tandis que les paysans de Pskow n'ont absolument rien de civilisé et que les allemands baltiques recouvrent, non pas une population barbare et homogène, mais une population en décadence et complètement hétérogène.

Les peuples germano-latins ont produit deux histoires, ont créé deux mondes dans le temps et deux mondes dans l'espace. Ils se sont usés deux fois. Il est très possible qu'ils aient assez de sève, assez de puissance pour une troisième métamorphose—mais elle ne pourra se faire par les formes sociales existantes, ces formes étant en contradiction flagrante avec la pensée révolutionnaire. Nous avons déjà vu que, pour que les grandes idées de la civilisation européenne se réalisent, il leur faut traverser l'Océan et chercher un sol moins encombré de ruines.

Au contraire, toute l'existence passée des peuples slaves porte un caractère de commencement, d'une prise de possession, de croissance et *d'aptitude*. Ils ne font qu'entrer dans le grand fleuve de l'histoire. Ils n'ont jamais eu un développement conforme à leur nature, à leur génie, à leurs aspirations. Quelles sont ces aspirations? Nous le verrons dans la suite. Je me borne à dire qu'elles ne sont pas formulées comme théories, mais qu'elles existent dans la vie populaire, dans ses chants et ses légendes, qu'elles préexistent dans *le habitus* de toutes les races slaves. C'est un instinct, un entraînement naturel, constant, fort, mais confus, mêlé à des élucubrations nationales et religieuses plutôt qu'une conception raisonnée, arrêtée.

L'histoire des Slaves est pauvre.

A l'exception de la Pologne, les Slaves appartiennent plus à la géographie qu'à l'histoire.

Il y a un peuple slave qui n'a vraiment existé que durant une lutte—la guerre des Taborites.

Il y en a un autre qui n'a fait que tracer ses limites, que poser des jalons, que préparer sa place et relier par une unité forcée, provisoire la sixième partie du globe terrestre qu'il a fièrement prise pour son arène.....

. . . . Ces peuples, si peu remarqués dans leur passé, si peu connus dans leur présent, n'ont-ils pas quelques droits sur l'avenir?

Nous sommes loin de penser que l'avenir appartienne à toutes les races qui n'ont rien fait et qui n'ont que beaucoup souffert.

Mais il peut bien appartenir à celles d'entre elles qui, sans titre et sans y être invitées, prennent hardiment leur place dans le grand concile des nations actives, qui forcent l'entrée de l'histoire, qui se mêlent de toutes les affaires, poussées par une activité dévorante, qui occupent toutes les imaginations et se précipitent à corps perdu dans le courant de l'aorte historique.

Il y a dans l'apparition de certains peuples quelque chose qui arrête le penseur, le fait méditer, le rend inquiet comme s'il sentait une nouvelle mine souterraine, une nouvelle force, une fermentation sourde qui cherche à soulever la croûte, à déborder, comme s'il entendait dans un lointain inconnu des pas de géants qui se rapprochent de plus en plus.

Tel est le rôle de la Russie depuis Pierre 1^{er}.

Il y a moins d'un siècle, la France contestait encore le titre d'empereur aux tzars, et maintenant il ne s'agit plus *du titre* mais bien *du fait* de la domination Russe qui s'étend jusqu'au Rhin ¹⁾, qui descend jusqu'au Bosphore et qui recule d'un autre côté jusqu'à l'Océan Pacifique.

Quel est le sens de ces prétentions arrogantes, de ces concessions pitoyables?

Sont-ce des Huns qui accourent pour en finir avec Rome et se perdre ensuite parmi les cadavres? Ou des Osmanlis qui veulent essayer encore une fois, si la chrétienté occidentale est mûre pour la tombe?

Est-ce enfin une catastrophe, un cataclysme, une nuée de saute-elles, un incident terrible survenu pendant l'entre-acte qui sépare deux mondes, une de ces apparitions lugubres qui précipitent le dénouement? Ou est-ce déjà le commencement même d'un ordre de chose nouveau, et les Slaves ne sont-ils pas les anciens Germains, par rapport au monde qui s'en va?

Il suffit de la possibilité de poser une question pareille, pour que tout ce qu'on pourra dire sur ce sujet soit d'un très grand intérêt. Et

¹⁾ L'Allemagne n'existe que de nom. Ce sont des provinces *baltiques*, auxquelles on a laissé quelques droits illusoires, par exemple celui, d'être non seulement sujets de Nicolas, mais en même temps sujets de leurs petits princes. Ces jours derniers, les journaux annonçaient l'arrivée «de la grande duchesse Olga—avec son mari, le prince royal de Wurtemberg». Personne ne s'étonna de voir cette phrase anti-salique.—A. H.

si on avait la témérité d'aller jusqu'à affirmer qu'au milieu de ces aspirations vagues des peuples slaves, il y en a qui se rencontrent avec les aspirations révolutionnaires des masses en Europe, que dans ces choeurs lointains résonnent les mêmes accords qu'on entend retentir dans les profondeurs souterraines du vieux monde? Si on allait prouver que les barbares du Nord et les barbares «de la maison» ont, sans le savoir, un ennemi commun—le vieil édifice féodal, - - - - - et une espérance commune—la révolution sociale?...

L'empereur Nicolas peut, exécuteur des hautes oeuvres dont le sens lui échappe, humilier à sa volonté l'arrogance stérile de la France et la majestueuse prudence de l'Angleterre; il peut déclarer la Porte russe et l'Allemagne moscovite — nous n'avons pas la moindre pitié pour tous ces invalides. Mais ce qu'il ne peut pas, c'est empêcher une autre ligue qui se formera derrière son dos; ce qu'il ne peut pas, c'est empêcher que l'intervention russe ne soit le coup de grâce pour tous les monarques du continent, pour toute la réaction, le commencement de la lutte sociale armée, terrible, décisive.

Le pouvoir - - - - - ne survivra pas à cette lutte. Vainqueur ou vaincu, il appartient au passé; il n'est pas russe, il est profondément allemand, allemand-byzantinisé. Il a donc deux titres à la mort.

Et nous, deux titres à la vie—l'élément socialiste et la jeunesse.

— Les jeunes gens meurent aussi quelquefois—me disait, à Londres, un homme très distingué, avec lequel nous parlions de la question slave.

— C'est certain,—lui répondis-je,—mais ce qui est beaucoup plus certain, c'est que les vieillards meurent toujours.

Londres, 1 Août 1853.

I.

La Russie et l'Europe.

Il y a deux ans, nous avons publié une lettre sur la Russie, dans une brochure intitulée: «*Vom andern Ufer*» ¹⁾). Comme notre manière de voir n'a pas changé depuis, nous croyons devoir en extraire les passages suivants:

«C'est une pénible époque que la nôtre; tout autour de nous se dissout, tout s'agite dans un vertige, dans une fièvre maligne. Les plus noirs pressentiments se réalisent avec une effrayante rapidité...

¹⁾ Hambourg, Hoffman et Campe, 1849. — A. H.

«Un homme libre qui refuse de se courber devant la force n'aura bientôt d'autre refuge en Europe que le pont d'un vaisseau faisant voile pour l'Amérique.

«Ne devons-nous pas nous poignarder à la manière de Caton, parce que notre Rome succombe et que nous ne voyons rien ou ne voulons rien voir hors de Rome?..

«On sait pourtant ce que fit le penseur romain qui sentait profondément toute l'amertume de son temps; accablé de tristesse et de désespoir, comprenant que le monde auquel il appartenait allait crouler, — il jeta ses regards au-delà de l'horizon national et écrivit un livre: *«De moribus Germanorum»*. Il eut raison, car l'avenir appartenait à ces peuplades barbares.

«Nous ne prophétisons rien, mais nous ne croyons pas non plus que les destins de l'humanité soient cloués à l'Europe occidentale. Si l'Europe ne parvient pas à se relever par une transformation sociale, d'autres contrées se transformeront; il y en a qui sont déjà prêtes pour ce mouvement, d'autres s'y préparent. L'une est connue, les États de l'Amérique du Nord; l'autre est pleine de vigueur, mais aussi pleine de sauvagerie, on la connaît peu ou mal.

«L'Europe entière, sur tous les tons, dans les parlements et dans les clubs, dans les rues et dans les journaux a répété le cri du *Kra-kehler* berlinois: *«Les Russes viennent, les Russes viennent!»* Et, en effet, non seulement ils viennent, mais ils sont venus, grâce à la maison de Habsbourg, et peut-être vont-ils s'avancer encore plus, grâce à la maison de Hohenzollern. Personne, cependant, ne sait au juste ce que sont *ces Russes, ces barbares, ces Cosaques*; l'Europe ne connaît ce peuple que par une lutte dont il est sorti vainqueur. César connaissait mieux les Gaulois que l'Europe moderne ne connaît la Russie. Tant qu'elle avait foi en elle-même, tant que l'avenir ne lui apparaissait que comme une suite de son développement, elle pouvait ne pas s'occuper d'autres peuples,—aujourd'hui les choses ont bien changé. Cette ignorance superbe ne sied plus à l'Europe.

«Et chaque fois qu'elle reprochera aux Russes d'être esclaves, les Russes auront le droit de demander: *Et vous, êtes-vous libre?*

«A dire vrai, le XVIII^{me} siècle accordait à la Russie une attention plus profonde et plus sérieuse que ne le fait le XIX^{me}, peut-être parce qu'il la redoutait moins.

«Des hommes comme Müller, Schlosser, Ewers, Lévesque, consacèrent une partie de leur vie à l'étude de l'histoire de la Russie, d'une manière tout aussi scientifique que s'en occupèrent, sous le rapport physique, Pallas et Gmelin. De leur côté, des philosophes et des publicistes observaient avec curiosité le phénomène d'un gouvernement

despotique et révolutionnaire à la fois. Ils voyaient que le trône, fondé par Pierre I, avait peu d'analogie avec les trônes féodaux et traditionnels de l'Europe.

«Les deux partages de la Pologne furent la première infâmie qui souilla la Russie. L'Europe ne comprit pas toute la portée de cet événement, car elle était alors distraite par d'autres soins. Elle assistait, respirant à peine, aux grands événements par lesquels s'annonçait déjà la Révolution française. L'impératrice de Russie tendit naturellement sa main toute - - - - - de sang polonais à la réaction. Elle lui offrit l'épée de Souvoroff, de - - - - - féroce de Prague. La campagne que Paul fit en Suisse et en Italie n'eut absolument aucun sens, elle ne pouvait que soulever l'opinion publique contre la Russie.

«L'extravagante époque de ces guerres absurdes que les Français nomment encore aujourd'hui la période de leur gloire finit avec leur invasion en Russie; ce fut une aberration de génie, comme la campagne d'Égypte. Il plut à Bonaparte de se montrer à l'univers debout sur un monceau de cadavres. A l'ostentation des Pyramides, il voulut ajouter celle de Moscou et du Kremlin. Cette fois il ne réussit pas; il souleva contre lui tout un peuple qui saisit résolument les armes, traversa l'Europe derrière lui et prit Paris.

«Le sort de cette partie du monde fut, pendant quelques mois, entre les mains de l'empereur Alexandre, mais il ne sut profiter ni de sa victoire, ni de sa position; il plaça la Russie sous le même drapeau que l'Autriche, comme si entre cet empire pourri et mourant et le jeune état qui venait d'apparaître dans sa splendeur, il y eût quelque chose de commun, comme si le représentant le plus énergique du monde slave pût avoir les mêmes intérêts que l'oppresser le plus ardent des Slaves.

«Par cette monstrueuse alliance avec la réaction européenne, la Russie, à peine grandie par ses victoires, fut abaissée aux yeux de tous les hommes pensants. Ils secouèrent tristement la tête en voyant cette contrée qui venait, pour la première fois, de prouver sa force offrir aussitôt après sa main et son aide à tout ce qui était rétrograde et conservateur, et cela, contrairement même à ses propres intérêts.

«Il ne manquait que la lutte atroce de la Pologne pour soulever décidément toutes les nations contre la Russie. Lorsque les nobles et malheureux restes de la Révolution polonaise, errant par toute l'Europe, y répandirent la nouvelle des horribles cruautés des vainqueurs, il s'éleva de toutes parts, dans toutes les langues européennes, un éclatant anathème contre la Russie. La colère des peuples était juste...

«Rougissant de notre faiblesse et de notre impuissance, nous comprenions ce que notre gouvernement venait d'accomplir par nos

mains, et nos coeurs saignaient de douleur, et nos yeux s'emplissaient de larmes amères.

«Chaque fois que nous rencontrions un Polonais, nous n'avions pas le courage de lever sur lui nos regards. Et cependant je ne sais s'il est juste d'accuser tout un peuple et de le rendre seul responsable de ce qu'a fait son gouvernement.

«L'Autriche et la Prusse n'y ont-elles pas aidé? La France, dont la fausse amitié a causé à la Pologne autant de mal que la haine déclarée d'autres peuples, n'a-t-elle donc pas, dans le même temps, par tous les moyens, mendié la faveur de la cour de Pétersbourg; l'Allemagne, alors déjà, n'était-elle pas volontairement, à l'égard de la Russie, dans la situation où se trouvent aujourd'hui forcément la Moldavie et la Valachie? n'était-elle pas alors, comme maintenant, gouvernée par les chargés d'affaires de la Russie et par ce proconsul du tzar qui porte le titre de roi de Prusse?

«L'Angleterre seule se maintint noblement sur le pied d'une amicale indépendance, mais l'Angleterre ne fit rien non plus pour les Polonais: elle songeait peut-être à ses propres torts envers l'Irlande. Le gouvernement russe n'en mérite par moins de haine et de reproches; je prétends seulement faire aussi retomber cette haine sur tous les autres gouvernements, car on ne doit pas les séparer l'un de l'autre: ce ne sont que les variations d'un même thème.

«Les derniers événements nous ont beaucoup appris; l'ordre rétabli en Pologne et la prise de Varsovie sont relégués à l'arrière-plan, depuis que l'ordre règne à Paris et que Rome est prise, depuis qu'un prince prussien préside aux fusillades, et que la vieille Autriche, dans le sang jusqu'aux genoux, essaie d'y rajeunir ses membres paralysés.

«C'est une honte en l'an 1849, après avoir perdu tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait acquis, à côté des cadavres de ceux que l'on a fusillés, étranglés, à côté de ceux qu'on a jetés dans les fers, déportés sans jugement; à l'aspect de ces malheureux chassés de contrée en contrée, à qui on donne l'hospitalité, comme aux Juifs du moyen-âge, à qui l'on jette, comme aux chiens, un morceau de pain, pour les obliger de continuer leur chemin — en l'an 1849, c'est une honte de ne reconnaître le tzarisme que sous le 59 degré de latitude boréale. Injuriez tant qu'il vous plaira et accablez de reproches l'absolutisme de Pétersbourg et la triste persévérance de notre résignation, mais injuriez le despotisme partout et reconnaissez-le sous quelque forme qu'il se présente. L'illusion optique, au moyen de laquelle on donnait à l'esclavage l'aspect de la liberté, s'est évanoui.

«Encore une fois: s'il est horrible de vivre en Russie, il est tout aussi horrible de vivre en Europe. Pourquoi ai-je donc quitté la Russie?

Pour répondre à cette question, je traduirai quelques paroles de ma lettre d'adieux à mes amis: «Ne vous y trompez pas! Je n'ai trouvé ici ni joie, ni distractions, ni repos, ni sécurité personnelle; je ne puis même imaginer que personne aujourd'hui puisse trouver en Europe ni repos, ni joie.

«Je ne crois ici à rien qu'au mouvement; je ne plains rien que les victimes; je n'aime rien que ce que l'on persécute, et je n'estime rien que ce que l'on supplicie, et cependant je reste. Je reste pour souffrir doublement de notre douleur et de celle que je trouve ici, peut-être pour succomber dans la dissolution générale. Je reste, parce qu'ici la lutte est ouverte, parce qu'ici elle a une voix.

«Malheur à celui qui est vaincu ici! mais il ne succombe pas sans avoir fait entendre sa voix, sans avoir éprouvé sa force dans le combat, et c'est à cause de cette voix, à cause de cette lutte ouverte, à cause de cette publicité, que je reste.

«Voilà ce que j'écrivais le 1^{er} Mars 1849. Les choses, depuis lors, ont bien changé. Le privilège de se faire entendre et de combattre publiquement, s'amoindrit chaque jour d'avantage, devient semblable à Pétersbourg; il y a même des contrées qui ressemblent plus à Pétersbourg que la Russie même.

«Et si l'on en vient, en Europe aussi, à nous mettre un bâillon sur la bouche, et que l'oppression ne nous permette pas même de maudire, à haute voix, nos oppresseurs, nous nous en irons alors en Amérique, sacrifiant tout à la dignité de l'homme et à la liberté de la parole».

II.

La Russie avant Pierre I^{er}.

L'histoire russe n'est que l'embryogénie d'un état slave, la Russie n'a fait que s'organiser. Tout le passé de ce pays, depuis le IX^{me} siècle, doit être considéré, comme l'acheminement vers un avenir inconnu qui commence à poindre.

La véritable histoire russe ne date que de 1812—antérieurement il n'y avait que l'introduction.

Les forces essentielles du peuple russe n'ont jamais été effectivement absorbées par son développement, comme l'ont été celles des peuples germano-romains.

Au IX^{me} siècle ce pays se présente comme un état organisé d'une toute autre manière que les états d'Occident. Le gros de la population appartenait à une race homogène, disséminée sur un territoire très vaste et très peu habité. La distinction qu'on trouve partout ail-

leurs entre la race conquérante et les races conquises ne s'y rencontrait point. Les peuplades faibles et infortunées des Finnois, clairsemées et comme perdues parmi les Slaves, végétaient hors de tout mouvement, dans une soumission passive ou dans une sauvage indépendance; elles étaient de nulle importance pour l'histoire russe. Les Normands (Variagues), qui dotèrent la Russie de la race princière qui y régna, sans interruption, jusqu'à la fin du XVII^me siècle, étaient plus organisateurs que conquérants. Appelés par les Novgorodiens, ils s'emparèrent du pouvoir et l'étendirent bientôt jusqu'à Kiew ¹).

Les princes variagues et leurs compagnons perdirent à la fin de quelques générations le caractère de leur nationalité et se confondirent avec les Slaves, après avoir imprimé toutefois une impulsion active et une nouvelle vie à toutes les parties de cet État à peine organisé.

Le caractère slave présente quelque chose de féminin; cette race intelligente, forte, remplie de dispositions variées, manque d'initiative et d'énergie. On dirait que la nature slave, ne se suffisant pas à elle-même, attend un choc qui la réveille. Le premier pas lui coûte toujours, mais la moindre impulsion met chez lui en jeu une force de développement extraordinaire. Le rôle des Normands a été pareil à celui qu'a rempli plus tard Pierre le Grand, par la civilisation occidentale.

La population était partagée en petites communes rurales, les villes étaient rares et ne se distinguaient en rien des villages, excepté par leur plus grande étendue et par l'enceinte en bois qui les entourait, (le mot russe *gorod*, ville, provient de *gorodite*, enclore). Chaque commune représentait, pour ainsi dire, la descendance d'une famille qui possédait ses biens sans partage individuel, en commun, sous l'autorité patriarcale exercée par un des chefs de famille, reconnu pour *l'ancien*. Ce régime tout monarchique était corrigé par l'autorité de *tout le monde* (*wess mir*), c'est-à-dire par l'unanimité des habitants. Et, comme l'organisation sociale des villes était la même que celle des campagnes, il est évident que le pouvoir princier était contrebalancé par la réunion générale des citoyens (*vétché*).

Il n'y avait aucune distinction entre les droits des citoyens et ceux des paysans. En général, nous ne rencontrons dans la vieille Russie aucune classe distincte, privilégiée, isolée. Il n'y avait que le *peuple* et une race, ou plutôt une famille princière, souveraine, la descendance de Rurik, le Variague, qui était complètement distincte du peuple. Les

¹) On a beaucoup discoursu sur la manière dont les Variagues se sont établis en Russie, question tout historique qui ne nous intéresse que médiocrement. La grande importance de la version de Nestor consiste à faire voir la manière dont on envisageait l'invasion variague au XII-e siècle, et il faut avouer qu'elle seule met au jour le rôle véritable des Normands.—A. H.

membres de la famille princière partageaient entre eux toute la Russie, selon l'ancienneté généalogique des branches auxquelles ils appartenaient et leur propre ancienneté. L'état était divisé en apanages, qui n'avaient rien de fixe et qui étaient gouvernés chacun par son prince sous la suprématie du plus ancien de la famille, qui s'appelait *grand prince* et avait pour apanage Kiew, plus tard—Wladimir et Moscou. Le pouvoir du grand prince sur les autres princes était très-restreint. Ceux-ci reconnaissaient la suprématie de Kiew, mais il n'y avait presque aucune dépendance réelle, aucune centralisation administrative. Les apanages n'étaient point envisagés comme des propriétés individuelles des princes, ils ne pouvaient l'être, car les princes passaient souvent d'un apanage à un autre, en réunissant plusieurs à la fois, par voie d'héritage, ou bien faisaient de leur lot autant de parts qu'ils avaient de fils et d'héritiers mâles; ou bien encore ils devenaient grands princes selon l'ancienneté (ce n'était pas le fils aîné qui succédait au grand prince, mais le frère de celui-ci). On peut s'imaginer, sans peine, à quelles luttes sanglantes, à quelles contestations éternelles donnait lieu une hérédité si compliquée. Les guerres entre le grand prince et les princes apanagés n'ont pas discontinué jusqu'à l'établissement de la centralisation moscovite.

Nous trouvons autour des princes un cercle très restreint de leurs compagnons d'armes, amis ou dignitaires, qui forme quelque chose dans le genre d'une aristocratie très difficile à caractériser, parce qu'elle n'avait rien de défini ou de bien prononcé. Le titre de *boyard* était honoraire, il ne donnait aucun droit positif et n'était pas même héréditaire. Les autres titres ne représentaient que des fonctions, en sorte que l'échelle des dignités aboutissait imperceptiblement à la grande classe des paysans. Aussi toute cette couche supérieure de la société fut-elle recrutée par le peuple; les descendants des guerriers variagues qui vinrent avec Rurik, apportèrent, à ce qu'il paraît, l'idée d'une institution aristocratique, mais l'esprit slave la mutila selon ses notions patriarcales et démocratiques. La *drougina*, espèce de garde permanente du prince, était trop peu nombreuse pour former une classe à part. Le pouvoir princier était bien loin d'être illimité, comme il le fut plus tard à Moscou. Le prince n'était en réalité que l'*ancien* d'un grand nombre de villes et de villages qu'il gouvernait conjointement avec les *réunions générales*, mais il avait l'immense avantage de ne pas être électif et de partager les droits souverains de la famille à laquelle il appartenait. En outre, le grand prince était le grand juge du pays, le pouvoir judiciaire n'était pas séparé du pouvoir exécutif. Cette fédéralisation étrange, dont l'unité s'exprimait par l'unité de la race régnante et ne se perdait point dans la divisibilité des parties et le manque de centralisation,—

cette fédéralisation, avec sa population homogène, sans classes, sans distinctions entre les villes et villages, avec ses propriétés territoriales sous le régime *communiste*, ne ressemble en rien aux autres états de la même époque. Mais si cet état différait si essentiellement des autres états de l'Europe, on n'est point autorisé à supposer qu'il leur fût inférieur avant le XIV^{me} siècle. Le peuple russe d'alors était plus libre que les peuples de l'Occident féodal. D'autre part, cet état slave ne ressemblait pas non plus aux états asiatiques, ses voisins. S'il y entraient quelques éléments orientaux, le caractère européen dominait. La langue slave appartient, sans aucune contestation, aux langues indo-européennes et non pas aux langues indo-asiatiques; en outre, les Slaves n'ont ni ces élans soudains qui réveillent le fanatisme des populations entières, ni cette apathie qui prolonge la même existence sociale au travers des siècles entiers et de générations en générations. Si l'indépendance individuelle est aussi peu développée chez les peuples slaves que chez les peuples d'Orient, il y a cependant cette différence à établir, que l'individu slave a été absorbé par la commune dont il était un membre actif, tandis que l'individu de l'Orient a été absorbé par la race ou l'état auxquels il n'avait qu'une participation passive.

La Russie paraissait asiatique, vue de l'Europe,—européenne, vue de l'Asie, et ce dualisme convenait parfaitement à son caractère et à sa destinée qui consiste, entre autres, à devenir le grand caravan-sérail de la civilisation entre l'Europe et l'Asie.

La religion même continua cette double influence. Le christianisme est européen, c'est la religion de l'Occident; la Russie en l'acceptant s'éloignait de l'Asie, mais le christianisme qu'elle adopta fut oriental: il venait de Bysance.

Le caractère slavo-russe a une grande affinité avec celui de tous les Slaves, en commençant par les Illyriens et les Monténégrins et en terminant par les Polonais avec lesquels les Russes luttèrent si longtemps. Ce qui distingue le plus les Slavo-Russes, (outre l'influence étrangère qu'ont subie les diverses races slaves), c'est une tendance non interrompue, persévérante, à s'organiser en un état indépendant et fort. Cette plasticité sociale manquait plus ou moins aux autres races slaves, même aux Polonais. L'idée de vouloir organiser et étendre l'état, se réveille du temps des premiers princes qui vinrent à Kiew, de même, qu'après mille ans elle se retrouve dans Nicolas. On la reconnaît dans l'idée fixe de conquérir Bysance et dans l'entraînement avec lequel le peuple s'est levé en masse (en 1612 et 1812), lorsqu'il a craint pour son indépendance nationale. Instinct ou legs des Normands, ou tous les deux ensemble, c'est là un fait incontestable et la cause pour laquelle la Russie a été le seul pays slave qui se soit organisé

avec une telle puissance. L'influence étrangère même a aidé de diverses manières à ce développement, en facilitant la centralisation et en prêtant au gouvernement les moyens qu'il n'avait pas.

Le premier élément étranger, après l'élément normand, que nous voyons se mêler à la nationalité russe, fut l'élément bysantin. Tandis que les successeurs de Swiatoslaw ne rêvaient que la conquête de la Rome *orientale*, celle-ci enreprit et accomplit leur soumission spirituelle. La conversion de la Russie à l'orthodoxie grecque est un de ces événements graves dont les suites ne peuvent être calculées, qui se développent durant des siècles, et changent parfois la face du monde. Il n'y a pas de doute qu'un demi-siècle ou un siècle plus tard, le catholicisme n'eût pénétré en Russie et n'en eût fait une seconde Croatie ou une seconde Bohême.

L'acquisition de la Russie fut une immense victoire pour l'empire expirant à Byzance et pour l'église humiliée par sa rivale. Le clergé de Constantinople, avec cette astuce qui le caractérise, le comprit fort bien; il entourait ses princes de moines et désignait les chefs de la hiérarchie cléricale. L'héritier, le défenseur, le vengeur de tout ce que l'église grecque avait souffert ou avait à souffrir, fut trouvé, non en Anatolie, non en Antiochie, mais dans un peuple qui touchait d'un côté à la mer Noire et d'un autre à la mer Blanche.

L'orthodoxie grecque forma un lien inséparable entre la Russie et Constantinople; elle affermit l'attraction naturelle des Slavo-Russes vers cette ville, et prépara par sa conquête religieuse la conquête future de la métropole orientale par le seul peuple puissant qui professât l'orthodoxie grecque.

L'Église se jeta aux pieds des princes russes lorsque Mahomet II entra en vainqueur à Constantinople, et, depuis ce temps, le clergé ne cessa de leur montrer du doigt le croissant sur l'église de Sainte-Sophie. M. Fallmerayer raconte dans ses *Fragments de l'Orient*, comme le clergé grec était électrisé lorsqu'on entendait la canonnade de Pas-kéwitch à Trébisonde, et comme les moines d'Haygyon-Horos et d'Athos attendaient leur libérateur orthodoxe. La domination turque aura été beaucoup plus favorable que contraire au dénouement que nous prévoyons. L'Europe catholique n'aurait pas laissé le Bas-Empire en repos pendant les quatre derniers siècles. Une fois déjà les Latins avaient régné sur l'empire d'Orient. On aurait probablement relégué les empereurs dans quelque coin de l'Asie-Mineure et converti la Grèce au catholicisme. La Russie d'alors n'aurait pu rien faire contre les empiétements des Occidentaux; les Turcs ont donc sauvé, par leur conquête, Constantinople de la domination papale. Le joug des Osmanlis a été dur, impitoyable, sanguinaire au commencement, mais lorsqu'ils n'eurent

plus rien à craindre, ils laissèrent les peuples conquis jouir en repos de leur religion, de leurs mœurs, et c'est ainsi que s'écoulèrent les quatre derniers siècles. La Russie devint virile depuis ce temps, l'Europe vieillit, et la Sublime-Porte elle-même a déjà subi l'émancipation de la Morée et un sultan réformateur.

A l'influence byzantine se joignit bientôt une influence encore plus étrangère à l'esprit occidental, l'influence mongole. Les Tartares passèrent sur la Russie comme une nuée de sauterelles, comme un ouragan démolissant tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Ils saccaquaient les villes, brûlaient les villages, s'entre-pillaient les uns les autres, et, après toutes ces horreurs, ils disparaissaient derrière les bords de la mer Caspienne, en envoyant de temps à autre des hordes féroces pour rappeler leur domination à la mémoire des peuples conquis. Quant à l'organisation intérieure de l'état, à son administration et à son gouvernement, ces conquérants nomades n'y touchaient pas. Non seulement ils laissaient une pleine liberté à l'exercice de la religion grecque, mais ils bornaient leur domination sur les princes russes à exiger d'eux de venir chercher leur investiture chez les khans, de reconnaître leur souveraineté et de payer l'impôt prescrit. Le joug mongol néanmoins porta un coup terrible au pays; le fait matériel des dévastations renouvelées à plusieurs reprises avait exténué le peuple; il fléchit sous une misère accablante. Il désertait les villages, errait dans les bois; il n'y avait plus de sécurité pour les habitants; les charges s'accrurent de l'impôt que venaient percevoir, au moindre retard, des baskaks avec des pleins-pouvoirs et des milliers de Tartares et de Calmouks. C'est à partir de ces temps néfastes qui durèrent près de deux siècles, que la Russie de laissa devancer par l'Europe. Le peuple persécuté, ruiné, toujours intimidé, acquit l'astuce et la servilité des opprimés; l'esprit public s'avilit. L'unité même de l'état était prête à se rompre, de grandes crevasses se faisaient de tous côtés: le Sud de la Russie commençait de plus en plus à se détacher de la Russie centrale, une partie penchait vers la Pologne, une autre était sous la domination des Lithuaniens. Les grands princes de Moscou ne s'inquiètent plus de Kiev. L'Ukraine se couvre de Cosaques indépendants, de ces hordes armées formant des républiques militaires, se recrutant de déserteurs et d'émigrants de toutes les parties de la Russie qui ne reconnaissent aucune souveraineté. Novgorod et Pskow, protégés des Mongols par les distances et les marais, cherchaient à se rendre indépendants de la Russie centrale ou à la dominer. Au centre de l'état, dans la partie la plus dévastée, on voyait une nouvelle ville, sans autorité, sans nom populaire, lever la tête avec la prétention orgueilleuse au titre de la capitale de la Russie. Il semblait que cette ville, perdue au fond des bois

de sapin, n'avait aucun avenir, mais ce fut là justement que se noua le noeud central de la vie russe.

Le pouvoir des grands princes changea de caractère dès qu'ils eurent quitté Kiew. A Wladimir ils devinrent plus absolus. Les princes commencèrent à considérer leur apanage comme leur propriété; ils se crurent inamovibles, héréditaires. A Moscou les princes changèrent l'ordre de la succession: ce ne fut plus le frère aîné, mais le fils aîné qui succéda. Ils diminuèrent de plus en plus les apanages des autres membres de la famille. L'élément populaire ne pouvait être fort dans une ville jeune, sans traditions, sans coutumes. C'est là ce qui attachait le plus les princes à Moscou. L'idée d'une réunion de toutes les parties de l'état fut la pensée dirigeante de tous les princes de Moscou, depuis Ivan Kalita, type du souverain de cette époque, politique fourbe, astucieux, adroit, cherchant à s'assurer la protection des Mongols par la plus grande soumission, et en même temps s'emparant de tout et profitant de tout ce qui pouvait accroître sa puissance. Moscou progressait avec une célérité inouïe. Aux persévérances de ses princes se joignit sa position géographique. Moscou fut le véritable centre de la Grande-Russie, ayant en son pouvoir, à de petites distances de cent cinquante à deux cents kilomètres, les villes de Tver, Wladimir, Jaroslaw, Riazagne, Kalouga, Orel, et, dans une périphérie un peu plus étendue, Novgorod, Kostroma, Woronège, Kursk, Smolensk, Pskow et Kiew.

La nécessité d'une centralisation était évidente; sans elle on ne pouvait ni secouer le joug mongol, ni sauver l'unité de l'état. Nous ne croyons pas cependant que l'absolutisme moscovite ait été le seul moyen de salut pour la Russie.

Nous n'ignorons pas quelle place pitoyable occupent les hypothèses dans l'histoire, mais nous ne voyons pas de motif pour rejeter sans examen toutes les probabilités en se renfermant dans les faits accomplis. Nous n'admettons nullement ce fatalisme qui voit une nécessité absolue dans les événements, idée abstraite, théorique que la philosophie spéculative a importée dans l'histoire comme dans la nature. Ce qui a été, a certainement eu des raisons d'être, mais cela ne veut nullement dire que toutes les autres combinaisons aient été impossibles; elles le sont devenues par la réalisation de la chance la plus probable, c'est là tout ce qu'on peut admettre. L'histoire est beaucoup moins fixe qu'on ne le pense ordinairement.

Au XV^{me}, même au commencement du XVI^{me} siècle, il y avait encore dans la marche des événements en Russie une fluctuation telle qu'il n'était point décidé lequel des deux principes formant la vie populaire et politique aurait le dessus: le prince ou la commune, Moscou

ou Novgorod. Novgorod, libre du joug mongol, grande et forte, mettait toujours les droits des communes au dessus des droits des princes, cité habituée à se croire souveraine, métropole ayant de vastes ramifications coloniales en Russie,—Novgorod était riche par le commerce actif qu'elle entretenait avec les villes hanséatiques. Moscou, fidèle fief de ses princes, s'élevant sur les ruines des anciennes villes par la grâce des Mongols, ayant une nationalité exclusive, n'ayant jamais connu la véritable liberté communale de la période de Kiew, Moscou l'emporta; mais Novgorod aussi a eu des chances pour elle, ce qui explique la lutte acharnée entre ces deux villes et les cruautés exercées à Novgorod par Jean *le terrible*. La Russie pouvait être sauvée par le développement des institutions communales ou par l'absolutisme d'un seul. Les événements prononcèrent en faveur de l'absolutisme, la Russie fut sauvée; elle est devenue forte, grande, mais à quel prix? C'est le pays le plus malheureux du globe, le plus asservi; Moscou a sauvé la Russie, en étouffant tout ce qu'il y avait de libre dans la vie russe.

Les grands princes de Moscou échangèrent leur titre contre celui de tzars de toutes les Russies. L'humble titre de grand prince ne leur suffit plus, il leur rappelait trop l'époque de Kiew et les Vétchés. Vers le même temps, le dernier empereur de Byzance tomba percé de coups sous les murs de Constantinople. Ivan III épousa Sophie Paléologue; l'aigle à deux têtes - - - de Constantinople, apparut sur le pavillon des tzars moscovites. Les moines grecs prophétisaient dans tout l'Orient chrétien que la vengeance n'était pas loin et qu'elle viendrait du Nord; le clergé bysantin craignait, comme le plus grand malheur, de voir les *Latins* venir à leur secours, et n'avait d'espoir qu'en l'aide des tzars. Ce fut alors qu'il commença avec une nouvelle ardeur à *bysantiniser* le gouvernement. Le clergé devait nécessairement désirer d'organiser la Russie selon la manière des Comnènes et des Paléologues, d'en faire un empire muet, obéissant à une foi aveugle, dénué de lumières, et au-dessus duquel planerait - - - divinisé, mais - - - par la puissance cléricale.

Remis peu à peu des ravages des Mongols, le peuple russe se trouva face à face avec le tzar, avec une monarchie illimitée, devenue accablante par le poids qu'elle avait acquis à l'ombre du Khanat. Le tzar avait déjà réuni une grande partie des apanages et les avait incorporés au domaine de Moscou. Il était devenu beaucoup plus puissant que les autres princes réunis et le peuple des villes. S'il trouvait des *rebelles*, il les soumettait, princes ou villes, avec une férocité sanguinaire. Novgorod tint bon, mais elle finit par succomber; la grande cloche qui appelait le peuple sur la place publique, la cloche dite des

Vétchés fut transportée, comme un trophée, à Moscou, cette ville qui naguère encore avait été méprisée des Novgorodiens. Les ambassadeurs de Novgorod dirent à Ivan III: «Tu nous ordonnes de nous conformer aux lois de Moscou, mais nous ne *connaissons pas les lois* de Moscou, apprends-nous à les connaître». Ivan IV n'oublia pas cette ironie. Après le sac de Novgorod, après la prise de Pskow, après l'asservissement de Twer, les autres villes ne purent même pas penser à une résistance sérieuse, d'autant plus qu'elles avaient beaucoup souffert des invasions soit des Mongols, soit des Polonais, ou des Lithuaniens. Les *Vétchés* s'éteignaient les uns après les autres, un silence profond gagnait tout l'état, les tzars devenaient autocrates, omnipotents...

Le bysantinisme inoculé par le clergé au pouvoir restait pourtant plus à la surface qu'il ne dépravait le fond de la nation. Il n'était en rapport ni avec le caractère national, ni même avec le gouvernement. Le bysantinisme, c'est la vieillesse, la fatigue, la résignation de l'agonie; le peuple russe était ruiné, abaissé, il n'avait pas assez d'énergie pour se relever, mais il était jeune, et en réalité, il n'y avait pas en lui de désespoir: il avait plutôt déserté le champ de bataille qu'il n'avait été vaincu; perdant ses droits dans les villes, il les conservait au sein des communes rurales. Comment pouvait-il donc descendre vivant au cercueil, comme l'a fait Charles V, et se borner aux funérailles pompeuses et solennelles d'après le rite bysantin?

Ceci est tellement vrai, que chaque individualité énergique qui occupa le trône de Moscou, s'efforça de rompre le cercle étroit de formalisme dans lequel se trouvait placé son pouvoir. Ivan IV, Boris Godounoff, le Pseudo-Démétrius travaillèrent, avant Pierre I^{re}, à changer l'atmosphère soporifique et lourde du palais de Kremlin: ils suffoquaient eux-mêmes. Ils voyaient que, sous ce régime de formalités puériles et d'esclavage réel, le pays se démoralisait de plus en plus, que rien ne progressait, que l'administration provinciale devenait toujours plus onéreuse pour les sujets, sans aucun profit pour l'état. Ils voyaient que les prières du patriarche de Moscou et les images miraculeuses venant du mont Athos ne suffisaient pas pour les tirer de cet état de torpeur précoce.

Ivan le Terrible osa appeler à son aide les institutions communales; il rédigea son code dans le sens des anciennes franchises: il laissa la perception des impôts et toute l'administration des provinces à des fonctionnaires électifs, il agrandit les attributions du jury en lui soumettant les procès criminels et en exigeant son assentiment pour tout emprisonnement. Il voulut même abolir la charge des intendants des provinces et laisser à celles-ci pleine liberté de se gouverner elles-mêmes sous la direction d'une chambre *ad hoc*. Cependant la liberté commu-

nale, frappée par ses prédécesseurs, ne renaissait pas à l'invitation d'un tzar omnipotent et féroce. Tous ses projets furent contrecarrés et sont restés stériles, — telle a été vers la fin du XVI^me siècle la désorganisation et l'apathie générale. Furieux de désespoir, Ivan multiplia ses exécutions d'une cruauté raffinée, par haine et par dégoût. «Je ne suis pas Russe, je suis Allemand», — a-t-il dit un jour à son orfèvre d'origine étrangère.

Boris Godounoff pensa sérieusement à se rapprocher de l'Europe, à introduire les arts et les sciences de l'Occident, à établir des écoles, mais, sous ce dernier rapport, il trouva une opposition décidée de la part du clergé. Celui-ci se soumettait à tout, mais il craignait les lumières qui n'avaient point leur source dans l'orthodoxie. Il n'était pas facile aussi de faire venir des étrangers, attendu que les peuples baltiques leur barraient la route. On eût dit que, presentant l'asservissement actuel de leur descendants par la Russie, ils interceptassent chaque rayon de lumière venant d'Occident en Moscovie.

Ce que Boris n'a osé faire, le faux Démétrius le tenta. Homme instruit, civilisé, chevaleresque, il obtint le trône par une guerre civile, faite au nom de la légitimité et soutenue par la Pologne et les Cosaques. Démétrius attaqua plus directement que son prédécesseur les anciennes coutumes et les mœurs stationnaires de la Russie. Il ne cachait ni ses plans de réforme, ni ses prédilections pour les mœurs polonaises et l'Église romaine.

Le peuple de Moscou, soulevé par les boyards rebelles au nom de l'orthodoxie et de la nationalité en danger, envahit le palais, massacra le jeune tzar, profana son cadavre, le brûla, et, après avoir bourré un canon de ses cendres, les dispersa au vent.

La fermentation, surexcitée par ces événements, répandit une activité fébrile dans tout l'état. La Russie s'agita de Kasan jusqu'à la Néva et la Pologne... Était-ce un effort instinctif du peuple pour se constituer d'une autre manière, ou bien la dernière convulsion du désespoir, après laquelle il devint passif et laissa faire, jusqu'à nos jours, le gouvernement?..

La confusion, l'irritation furent grandes, le sang coula partout. Après la mort du pseudo-Démétrius on produisit un second prétendant, puis un troisième... L'un d'eux se tenait à quelques lieues de Moscou, dans un camp retranché, entouré de corps-francs russes, de Polonais et de Cosaques. Les provinces s'armaient, les unes pour aller au secours de Moscou, les autres pour aider aux prétendants; le palais du Kremlin restait vide, il n'y avait pas de tzar, pas même de gouvernement régulier. Le roi Sigismond de Pologne voulait imposer à la Russie son fils Wladislas; une armée suédoise occupait le Nord de la Russie et voulait faire monter un de ses princes sur le trône russe; le

peuple opta pour les princes Chouïski, tandis que les provinces ne voulaient pas en entendre parler. L'interrègne, la guerre civile, la guerre avec les Polonais, les Cosaques et les Suédois, l'absence de tout gouvernement durèrent quatre ans. Les dernières forces du peuple furent épuisées dans la défense de l'indépendance politique, aucun sacrifice ne lui coûta. Le boucher de Nijni, Minine, et le prince Pojarski sauvèrent la patrie, - - - - - des étrangers. Le peuple, las de troubles, de prétendants, de guerre, de pillage, voulait le repos à tout prix. Ce fut alors qu'on fit une élection hâtive - - - - - on proclama le jeune Romanoff tzar de toutes les Russies. Le choix tomba sur lui, parce que, en vertu de son âge, il n'inspirait d'ombrage à aucun parti. - - - - -

Le règne des Romanoff, avant Pierre 1^{er}, fut la fleuraison - - - - - le peuple était comme mort ou ne donnait des signes de vie qu'en formant des bandes de brigands qui parcouraient les rives de la Samara et du Volga. Les rouages lourds d'une administration mal entendue écrasaient le peuple; le gouvernement entrevoyait son incapacité, faisait venir des étrangers, ne pouvait se tirer d'affaires sans l'exemple de l'Europe, et, par une absurde contradiction, il continuait pourtant à se renfermer dans une nationalité exclusive et professait une haine sauvage pour toute innovation.

Il faut lire les récits des mœurs moscovites de ce temps faits par un diplomate russe qui s'est réfugié, vers la fin du XVII^{me} siècle, à Stockolm, *Koschikhine*. On recule avec horreur devant l'asphyxie sociale de ce temps, devant ces mœurs qui n'étaient qu'une parodie de mauvais goût du Bas-Empire. Les dîners, les processions, les vêpres, les messes, les réceptions d'ambassadeurs, les changements de costumes, trois ou quatre fois par jour, formaient toute l'occupation des tzars. Autour d'eux se rangeait une oligarchie sans dignité, sans culture. Ces fiers aristocrates, vaniteux des fonctions qu'avaient occupées leurs pères, étaient fustigés dans les écuries du tzar, même knoutés sur la place publique sans en ressentir l'offense. Il n'y avait rien d'humain dans cette société ignorante, stupide et apathique. Il fallait nécessairement sortir de cet état, ou pourrir avant d'avoir été mûr.

Mais comment sortir, d'où attendre le salut? Certes, il ne pouvait venir du clergé qui était alors à l'apogée de sa grandeur et de son influence. Le peuple courbait la tête et se tenait à l'écart; étaient-ce donc ces boyards flagellés qui pouvaient lui indiquer le chemin? Évidemment non, mais lorsqu'une exigence se fait sentir, les moyens pour la réaliser ne manquent jamais.

La révolution qui devait sauver la Russie sortit du sein même de la famille, jusque là apathique, des Romanoff.

Avant d'aller plus loin, il nous faut aborder une des questions les plus embrouillées de l'histoire russe: le développement du servage. Aucune histoire, ni ancienne, ni moderne ne nous présente rien d'analogue à ce qui s'est produit en Russie au XVII^me siècle, et à ce qui s'est établi définitivement au XVIII^me par rapport aux paysans. Par une série de simples mesures de police, par les empiétements des seigneurs qui possédaient des terres habitées, par la tolérance du gouvernement et par l'inertie des paysans, ceux-ci devinrent, de libres qu'ils étaient, de plus en plus *fermes* à la terre (*krépki*), propriétés inséparables du sol. Il semble que toutes les libertés de l'état naturel que les Slaves avaient conservées devaient passer par le terrible creuset - - - - - pour être reconquises par des souffrances et des révolutions.

La commune rurale était restée intacte, pendant que - - - - - minaient les franchises des villes et des campagnes. Son tour vint, mais ce ne fut point la commune, ce fut le paysan qu'on écrasa. Nous rencontrons au commencement du XVII^me siècle une loi du tzar Godounoff qui règle et limite les droits du paysan de passer des terres d'un seigneur sur les terres d'un autre. Cette loi ne mettait même pas en doute les droits de migration, encore moins la liberté individuelle des paysans; elle ne fut motivée que par des raisons économiques assez plausibles au point de vue gouvernemental. Les paysans abandonnaient les terres des pauvres propriétaires et affluaient sur les terres des seigneurs riches; les contrées fertiles étaient encombrées, tandis que les terrains stériles manquaient de bras. Le tzar Godounoff, usurpateur adroit et détesté des grands seigneurs, flattait en outre par cette loi les petits propriétaires. Tel a été le premier pas vers le servage.

Bientôt, le même prince fit une autre loi à peine concevable; pour la rendre intelligible, il faut dire qu'anciennement le nombre des serfs en Russie était très restreint: c'étaient ou des prisonniers de guerre, ou des esclaves achetés en pays étrangers (*khology*), ou enfin des hommes qui se vendaient eux-mêmes avec leurs descendants (*kabalny ludi*). Ces gens n'avaient rien de commun ni avec les paysans, ressortissant de la commune et cultivant la terre seigneuriale, ni avec les serviteurs libres des boyards. Ces derniers étaient souvent renvoyés en grand nombre par les maîtres et allaient se répandre en mendiants ou voleurs de grande route, ou bien joignaient les brigands du Volga et les cosaques du Don, ces recéleurs de tous les vagabonds et de tous les gens en guerre avec la société. Boris, toujours en garde, craignait cette masse mécontente et affamée; pour mettre fin à ces inconvénients et pour être sûr que ces hommes fussent nourris pendant la famine et ne se dispersassent pas, il décréta que les domestiques

qui resteraient un temps donné chez leurs maîtres, seraient leurs serfs et ne pourraient ni les quitter, ni être renvoyés. C'est ainsi que des milliers d'hommes tombèrent dans l'esclavage presque sans s'en apercevoir. Les désertions et les fuites ne diminuèrent pas; il serait difficile de préciser combien de soldats cette loi procura aux bandes de Démétrius, de Gonsewski, de Jolkiewski, du hetman des Zaporogues et de tous les condottieri qui dévastaient la Russie au commencement du XVII^me siècle. Depuis le règne de Boris jusqu'à Catherine II un mouvement sourd et sombre agita le peuple des campagnes, et la révolte de Pougatcheff est aujourd'hui encore vivante dans sa mémoire.

Chaque seigneur répéta en petit le rôle du grand prince de Moscou, et, de même que les villes avaient perdu leurs libertés parce qu'elles restaient dans le vague des usages, la commune dans sa lutte avec le seigneur eut le dessous contre le principe de l'autorité et de l'individualisme, plus énergique et plus égoïste qu'elle. Le tzarisme, basé lui-même sur un pouvoir illimité, devait nécessairement protéger les attentats des seigneurs, en anéantissant les défenseurs naturels des paysans, les jurés, en soutenant le seigneur dans toutes ses contestations avec le paysan. Cependant la loi ne précisait et ne sanctionnait rien, il n'y avait qu'abus de la part du gouvernement et passiveté de la part du peuple.

Ce fut dans cet état des choses que le premier recensement ordonné par Pierre I^{er}, en 1710, fournit un terrain légal à ces abus monstrueux, et ce fut lui, le civilisateur de la Russie qui les sanctionna. Il serait difficile de déterminer les raisons qui le firent agir de la sorte. Fut-ce une faute, une rancune ou bien un fait providentiel? Ainsi que Pierre I^{er} fut le représentant du tzarisme et de la révolution, de même le seigneur devint le représentant d'un pouvoir inique en même temps que le véritable levain révolutionnaire. Pierre I^{er} a entraîné l'état dans le mouvement, et le seigneur entraînera directement ou indirectement la commune indolente et passive dans la révolution. Ce ferment sera dissous, sans nul doute, mais ce ne sera qu'après avoir consommé la perte de l'absolutisme. La commune, ce produit du sol, assouplit l'homme, absorbe son indépendance; elle ne peut ni s'abriter du despotisme, ni émanciper ses membres; pour se conserver, elle doit subir une révolution.

Toutes les libertés communales périssaient de fait devant l'individualité prononcée des tzars de Moscou, mais par bonheur, la lignée des tzars aboutit à Pierre qui fut le véritable représentant du principe révolutionnaire latent dans le peuple russe. Pierre I^{er}, ainsi que l'a dit un jeune historien, fut la première individualité russe qui osât se poser d'une manière indépendante. Un rôle semblable revient à la noblesse

russe: elle représente le principe individuel en regard de la commune, et partant, l'opposition à l'absolutisme.

Elle ne brisera pas la commune, elle l'opprimera jusqu'à ce qu'elle se soulève. La commune qui s'est maintenue à travers des siècles est indestructible. Pierre I^{er}, en détachant complètement la noblesse du peuple et en la dotant d'un pouvoir terrible à l'égard des paysans, déposa au fond de la vie populaire un antagonisme qui ne s'y trouvait point, ou qui ne s'y trouvait qu'à un faible degré. Cet antagonisme aboutira à une révolution sociale, et il n'y a pas de - - - - - qui puisse détourner cette coupe de la destinée de la Russie.

III.

Pierre I^{er}.

Le désir de sortir de la situation lourde dans laquelle se trouvait l'état s'accroissait de plus en plus, lorsque, vers la fin du XVII^{me} siècle, il parut sur le trône des tzars un révolutionnaire audacieux doué d'un génie vaste et d'une volonté inflexible.

Pierre I^{er} ne fut ni un tzar oriental ni un *dynaste*, ce fut un despote, à l'instar du Comité du Salut public, despote en son propre nom et au nom d'une grande idée qui lui assurait une supériorité incontestable sur tout ce qui l'entourait. Il s'arracha au mystère dont s'entourait la personne du tzar, et jeta avec dégoût loin de lui la défroque bysantine dont se paraient ses prédécesseurs. Pierre I^{er} ne pouvait se contenter du - - - - rôle d'un Dalaï-Lama - - - - orné d'étoffes dorées et de pierres précieuses, qu'on montrait de loin au peuple, lorsqu'il se transportait avec gravité de son palais à la cathédrale de l'Assomption, et de la cathédrale de l'Assomption à son palais. Pierre I^{er} paraît devant son peuple en simple mortel. On le voit, ouvrier infatigable, depuis le matin jusqu'à la nuit, en simple redingote militaire, donner des ordres et enseigner la manière dont il faut les exécuter; il est maréchal-ferrant et menuisier, ingénieur, architecte et pilote. On le voit partout sans suite, tout au plus avec un aide-de-camp, dominant la foule par sa taille. Pierre le Grand, comme nous l'avons dit, fut le premier individu émancipé en Russie, et, par cela même, révolutionnaire couronné.

Il soupçonnait ne pas être - - - - - du tzar Alexis. Un soir il demanda naïvement, au souper, au comte Jagouinski, s'il n'était pas son père?—Je n'en sais rien, répondit Jagouinski pressé par lui - - -
- - - - - Voilà pour - - - - - Quant aux intérêts dynastiques, vous savez que Pierre, se trouvant à Pruth

dans une position désespérée, écrivit au sénat de choisir pour son successeur le plus digne, croyant son fils incapable de lui succéder. Il le fit juger et exécuter ensuite dans la prison. Pierre I^{er} couronna

 ----- de son favori prince Menchikoff, ci-devant garçon pâtis-
 sier. Les circonstances, au milieu desquelles le métropolitain Théophile
 et le prince Menchikoff proclamèrent la dernière volonté de Pierre I^{er},
 laissent beaucoup de doutes, mais le fait est que -----
 ----- fut proclamée, à sa mort, impéra-
 trice—sans que personne songeât à contester ses droits.

Pierre I^{er} cachait à peine son indifférence ----- pour
 l'église grecque qui devait nécessairement partager la disgrâce de l'an-
 cien ordre des choses. Il défendit de créer de nouvelles reliques et
 interdit les miracles. Il remplaça le patriarche par un synode à la no-
 mination du gouvernement, et il y plaça comme procureur de la cou-
 ronne un officier de cavalerie. Le patriarche n'avait jamais eu des
 droits souverains et une position entièrement indépendante du tzar,
 mais il imprimait une certaine unité à l'église, Ce fut pour cela que
 Pierre I^{er} abattit son trône qui, habituellement, était placé à côté de
 celui des tzars. Pourtant Pierre I^{er} ne fut rien moins que le chef de
 l'église, son pouvoir était tout-à-fait temporel. Ce fut même là le ca-
 ractère distinctif qu'il imprima à l'impérialisme de Pétersbourg; son
 but, ses moyens étaient pratiques, mondains, laïques, il ne sortait pas
 de l'actualité, et, après avoir neutralisé l'action de l'église, il ne songea
 plus ni à l'église, ni à la religion. Il avait d'autres fantaisies, il rêvait
 une Russie colossale, un état gigantesque qui pût étendre ses branches
 jusqu'au fond de l'Asie, être maître de Constantinople et du sort de
 l'Europe.

En général, l'Europe a une idée exagérée de la puissance spiri-
 tuelle des empereurs russes. Cette erreur a sa source, non dans l'histoire
 russe, mais dans les chroniques du Bas-Empire. L'église grecque avait
 toujours eu une soumission passive à l'état et faisait tout ce que le
 pouvoir voulait, mais le pouvoir, de son côté, ne se mêlait jamais
 directement des intérêts de la religion ou du clergé. L'église russe
 avait sa propre juridiction basée sur le Nomocanon grec. Croit-on
 qu'il suffisait de se proclamer chef de l'église, à la place de son chef
 naturel, pour acquérir un véritable pouvoir religieux? S'il se fût agi
 des tzars de Moscou, d'un Ivan IV, par exemple, qui avait en lui quelque
 chose de Constantin Copronime et de Henri VIII et s'occupait de l'exé-
 gèse quand il n'avait personne à tuer, cette supposition aurait été en-
 core admissible, mais les successeurs de Pierre le Grand, au nombre
 desquels il y eut quatre femmes, dont une seule fut russe, rendent

cette opinion insoutenable. L'idée de se faire chefs de l'église fut loin de leur pensée, pendant un siècle entier. L'honneur de l'avoir exhumée appartient à Paul I^{er}. Jaloux peut-être de Robespierre, il se fit faire, pour son couronnement, un habit moitié de soldat et moitié de prêtre, parla de sa suprématie spirituelle et voulut même officier dans la cathédrale de Kasan; on le détourna cependant - - - - - On sait que ce même Paul I^{er}, schismatique et marié, obtint le titre de grand maître de l'ordre de Malte, et l'on n'ignore guère qu'en tous points ce fut - - - - -

Pour rompre complètement avec l'ancienne Russie, Pierre I^{er} abandonna Moscou et le titre oriental de tzar, pour habiter un port de la Baltique où il prit le titre d'empereur. La période de Pétersbourg qui s'ouvrit ainsi ne fut pas la continuation de la monarchie historique, ce fut le commencement d'un despotisme jeune, actif, sans frein, prêt aux grandes choses, comme aux grands crimes.

Il n'y eut qu'une seule pensée qui reliât la période de Pétersbourg à celle de Moscou,—la pensée d'agrandissement de l'état. Tout lui fut sacrifié: la dignité des souverains, le sang des sujets, la justice envers les voisins, le bien-être du pays entier... A part cette ressemblance, Pierre le Grand fut une protestation continuelle contre la vieille Russie. Nous l'avons vu, dans les questions dynastiques et religieuses, agissant en homme émancipé; il se trouvait, par son genre de vie, dans une contradiction plus complète encore avec les mœurs du pays. Ami des plaisirs bruyants, il les étalait au grand jour. Que de fois Pétersbourg vit, dès l'aube du jour, son empereur sortant d'un repas copieux, sous l'influence du vin de Hongrie et de l'anisette, prendre un tambour et battre le rappel, au milieu de ses ministres plus ou moins chancelants sur leurs jambes. D'autres fois on le voyait courir dans les rues avec des masques, costumé lui-même. Les vieux boyards, avec leur air grave et solennel qui couvrait un abîme d'ignorance et de vanité, regardaient avec horreur les fêtes que le tzar donnait aux marins anglais ou hollandais, où Sa Majesté - - - - - se livrait sans frein à ses goûts d'orgie. Une pipe de terre cuite à la bouche, une cruche de bière à la main, il donnait le ton à ses convives et ne leur cédait pas en jurons. L'indignation des boyards fut à son comble, lorsqu'il ordonna à leurs femmes et à leurs filles, enfermées comme dans l'Orient, de prendre part à ces mêmes fêtes. Le révolutionnaire perçait dans Pierre I^{er} partout sous la pourpre impériale. Tandis qu'un siècle après, Napoléon couvrait chaque année de quelque nouveau lambeau royal son origine bourgeoise, Pierre I^{er} se débarrassait chaque jour de quelque lambeau - - - - - pour rester lui-même, avec sa grande pensée appuyée sur une volonté inflexible, sur la cruauté d'un terroriste.

La révolution opérée par Pierre I^{er} divisa la Russie en deux parties: d'un côté restèrent les paysans des communes libres et seigneuriales, les paysans des villes et les petits bourgeois; c'était la vieille Russie, la Russie conservatrice, traditionnelle, communale, strictement orthodoxe ou bien schismatique, toujours religieuse, portant le costume national et n'ayant rien accepté de la civilisation européenne. Cette partie de la nation, comme cela arrive dans les révolutions victorieuses était regardée par le gouvernement comme malcontente, presque comme insurgée. Elle était en disgrâce, suspendue, mise hors la loi et livrée à la merci de l'autre partie de la nation. La nouvelle Russie se composait de la noblesse formée par Pierre le Grand, de tous les descendants des boyards, de tous les employés civils, et enfin de l'armée. La précipitation avec laquelle ces différentes classes se dépouillèrent de leurs mœurs fut surprenante. Elles abdicèrent leur passé sans aucune opposition; les strélitzy seuls tentèrent de résister. C'est là une preuve de la mobilité du caractère russe, et, en même temps, de l'extrême opportunité de la révolution de Pierre le Grand. On était enchanté de quitter les formes lourdes et accablantes du régime moscovite. D'où venait donc la récalcitrance du paysan russe? Les paysans forment la partie la moins progressiste de toutes les nations; en outre, les paysans russes des communes restaient hors du mouvement et des atteintes du gouvernement. La centralisation politique n'était pas soutenue par une centralisation administrative. Les mesures prises pour entraver la migration des paysans n'intéressaient que ceux d'entre eux qui étaient établis sur les terres seigneuriales, ou plutôt la minorité remuante qui se déplaçait. La réforme de Pierre se présenta à eux non seulement comme un attentat à leurs traditions et à leur manière de vivre, mais encore comme une immixtion de l'état dans leurs affaires, comme une tracasserie bureaucratique, comme une aggravation vague et indéfinie de leur servitude. Ils se résignèrent dès lors à cette opposition tacite et passive qui continue de nos jours, et qui est complètement justifiée par les mesures prises contre le peuple par Pierre I^{er} et ses successeurs. Le village est resté en dehors de la réforme; il est impossible d'être paysan russe lorsqu'on abandonne les anciennes mœurs; le paysan peut s'affranchir de la commune, devenir domestique ou employé du gouvernement, ou même noble, mais il doit dans tout ces cas et avant tout quitter la commune ¹⁾. Le membre de la commune rurale ne peut être que paysan, et, comme tel, il doit porter la barbe et le costume national. Cela n'est réglé par aucune loi, l'usage seul le veut ainsi et ne le rend que plus vivace. De cette façon, les paysans restent purs de

¹⁾ Voir aux annexes la note relative à la Commune russe.

toute participation au gouvernement, ils sont gouvernés, mais ils n'ont rien sanctionné par leur adhésion. Ils voient de mauvais œil notre genre de vie, persistent dans leurs usages et sont en même temps plus religieux que nous par opposition à notre indifférence, et sectaires, par opposition à l'église officielle qui pactise avec la civilisation *allemande*.

C'est sous ce point de vue qu'on peut apprécier toute l'importance des ordres de Pierre I^{er} prescrivant de raser la barbe et de se vêtir à l'allemande. La barbe et le costume forment une distinction tranchée entre la Russie humiliée sous un triple joug et sauvegardant sa nationalité, et la Russie qui a accepté la civilisation européenne avec le despotisme impérial. Entre l'homme à la barbe qui porte la chemise par dessus la culotte, qui n'a rien de commun avec le gouvernement, et l'homme rasé, habillé à l'allemande, qui est étranger à la commune, il n'y avait qu'un seul lien vivant — le soldat. Le gouvernement s'en aperçut, et, craignant que le soldat ne redevînt paysan, il eut recours à des mesures terribles: il fixa un terme monstrueux au service — 22 ans au commencement de ce siècle, et 15 à 17 ans de nos jours. Sous prétexte d'élever les enfants de troupe, il créa une véritable caste de kchatrias indiens en les enchaînant à l'état militaire, et, comme si ce n'était pas assez, il obligea les vétérans, sous l'intimidation de graves peines, de raser la barbe et de ne jamais porter le costume national. Le peuple russe resta ainsi isolé et hors de tout mouvement, dans une expectative douloureuse; s'il ne périt pas, ce fut grâce à son naturel et à la commune, mais il n'a rien gagné non plus. Aucune idée politique n'a pénétré jusqu'à lui, mais il y a des intérêts qui ne manqueront pas d'agiter la commune russe.

La question de l'émancipation des serfs n'est pas comprise en Europe. On pense généralement qu'il ne s'agit que de la liberté individuelle qui est d'une importance nulle sous le despotisme de Pétersbourg, tandis qu'il s'agit d'affranchir les paysans avec la terre. Ce problème occupe le gouvernement qui ne fera rien, la noblesse qui n'osera rien faire, et le peuple qui est fatigué, qui murmure et qui peut-être fera quelque chose.

En attendant, tout le mouvement intellectuel et politique s'est borné à la noblesse. L'histoire de la Russie, depuis la réforme de Pierre le Grand, à l'exception de l'épisode de Pougatcheff et le réveil du peuple en 1812, n'est que l'histoire du gouvernement russe et de la noblesse russe. Si l'on se faisait une idée de la noblesse russe à l'analogie de l'aristocratie omnipotente de l'Angleterre ou de l'aristocratie mesquine de l'Allemagne, on n'arriverait jamais à s'expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Russie.

Il ne faut pas perdre de vue que la noblesse organisée par Pierre I^{er}

n'est pas une caste close; au contraire, elle absorbe incessamment tout ce qui sort du sol démocratique, et se renouvelle par sa base. Le soldat, en obtenant le rang d'officier, devient noble *héréditaire*; un clerc, un scribe qui a été employé pendant quelques années par l'état, devient noble *personnel*; s'il obtient un grade plus élevé, il acquiert la noblesse héréditaire. Le fils d'un paysan, affranchi de la commune ou du seigneur, après avoir achevé ses études dans un collège, est ennobli. Un individu décoré, un artiste admis à l'Académie, deviennent nobles. Il faut donc comprendre, sous le nom de noblesse en Russie, quiconque ne fait pas partie de la commune rurale ou municipale et qui est fonctionnaire public. Les droits et privilèges sont exactement les mêmes pour les descendants des princes médiatisés et des boyards, que pour les fils d'un employé subalterne investi de la noblesse héréditaire.

La noblesse russe est un état qui pèse sur un autre état, qui a été vaincu sans avoir combattu.

Il serait absurde de chercher une unité quelconque dans une classe qui renferme, à partir des soldats, des clercs et des fils de prêtres jusqu'à des propriétaires de centaines de mille paysans.

Mais passons aux temps qui suivirent le règne de Pierre I^{er}. L'anarchie gouvernementale la plus complète éclata après sa mort, et pendant vingt années le nouvel ordre des choses chancelait sur sa base, la main de fer de Pierre I^{er} une fois disparue; la tradition populaire était rompue, il n'y avait pas de foi dynastique. Le peuple qui se soulevait pour le fils prétendu de Jean VI, ne connaissait même pas de nom tous ces *Romanoff* de Braunschweig-Wolfenbüttel et de Holstein-Gottorp qui glissaient comme des ombres sur les marches du trône et disparaissaient dans les neiges de l'exil, au fond des cachots ou dans le sang...

La haute noblesse qui n'avait aucun intérêt général, se servait des soldats de la garde impériale pour perpétuer ces révolutions de sérail. Les soldats, de leur côté, ne connaissaient d'autre morale que l'obéissance à celui qui avait la force en main, et cela seulement autant qu'il la conservait. L'idole, une fois tombée, était immédiatement abandonnée de tout le monde. Le progrès qu'a fait la corruption politique de ce temps, surpasse tout ce qu'on peut imaginer. - - - - -
 - - - - - un tas de grands seigneurs et une poignée de janissaires conduisaient en triomphe un prince étranger, une femme, un enfant, un parent éloigné de quelque parent de Pierre I^{er}, et l'élevaient au trône, l'adoraient et distribuaient des coups de knout à ceux qui trouvaient à y redire. Mais à peine l'élu avait-il eu le temps de s'enivrer de toutes les jouissances d'un pouvoir exorbitant, que la vague suivante de dignitaires et de prétoriens l'entraînait avec tout son entourage dans

l'abîme. Les ministres et les généraux du jour allaient le lendemain, chargés de fers, sur la place d'exécution, ou étaient traînés en Sibérie. Ces revers s'opéraient si vite que le maréchal Munich qui avait exilé Biron le rejoignit, banni à son tour, au passage du Volga, où Biron avait été retenu quelques jours par le débordement du fleuve. Dans cette *bufera infernale* qui emportait les personnes avec une telle vitesse qu'on n'avait seulement pas le temps de s'habituer à leurs traits, pour comble d'ironie nous ne voyons se maintenir qu'un seul individu, ce fut le chef de la chancellerie secrète, Bestougeff; cet honorable dignitaire a conservé son poste, nonobstant toutes les révolutions, et de cette manière, il a eu l'occasion de questionner, de torturer et d'exécuter tous ses amis, tous ses bienfaiteurs et tous ses ennemis.

Peut-on croire après cela que le peuple ait vu dans ses chefs temporels des chefs de l'église orthodoxe?

Outre les intrigues politiques, il ne faut pas oublier que le ton licencieux, que Pierre I^{er} avait introduit et qui lui allait si bien, passa à la cour impériale et se changea bientôt - - - - -
 - - - - - . Elisabeth, la fille de Pierre I^{er}, étant encore grande-duchesse, passait - - - - - avec les grenadiers de la garde et se promenait avec eux au *jardin d'été*. Elle contracta, dans ce commerce, l'habitude - - - - - devenue impératrice, elle - - - - - tous les jours. Les affaires les plus importantes s'arrêtaient, les ambassadeurs ne pouvaient obtenir d'audience pendant des semaines entières - - - - -
 L'impératrice Anne - - - - - son ci-devant écuyer Biron qu'elle avait fait duc de Courlande. La régente Anne de Braunschweig - - - - - l'été - - - - - sur un balcon éclairé du palais...

Au milieu de cette épopée scandaleuse d'avénements et de chutes: du trône, de cette orgie d'un despotisme féroce, aux prises avec une oligarchie servile qui disposait de la couronne, comme les eunuques du Bas-Empire, il y eut une seule lueur politique, ce fut lorsqu'on dicta les conditions à l'acceptation de la couronne à l'impératrice Anne. Anne prêta serment, consentit à tout, mais de suite, soutenue par le parti allemand qui avait Biron pour chef, elle déchira la charte et fit périr tous ceux qui avaient voulu limiter le pouvoir de la couronne. Il y avait une ancienne animosité entre les Allemands et leurs adhérents d'une part, et les dignitaires russes qui entouraient le trône de l'autre. La haine des Allemands facilita à Elisabeth l'avènement au trône. Cette - - - - - se rendit populaire en flattant le parti national.

Il ne faut pas cependant s'abuser sur la valeur de ces partis. Le parti allemand ne représentait pas la civilisation, ni le parti russe—l'igno-

rance. Le dernier ne voulait pas sérieusement le retour à l'ancien ordre des choses. Les essais du prince Dolgorouky, du temps de Pierre II, n'ont abouti à rien du tout. Les Allemands, de leur côté, étaient loin de représenter le progrès; sans aucun lien avec le pays qu'ils ne se donnaient pas la peine d'étudier et qu'ils méprisaient comme barbare, arrogants jusqu'à l'insolence, ils étaient les instruments les plus serviles de l'autorité impériale. N'ayant d'autre but que de se maintenir en faveur, ils servaient la personne du souverain et non la nation. En outre, ils apportaient aux affaires des manières antipathiques aux Russes, un pédantisme de bureaucratie, d'étiquette et de discipline tout-à-fait contraire à nos mœurs.

L'hostilité des Slaves et des Germains est un fait triste, mais connu. Chaque conflit entre eux révélait la profondeur de leur haine. La domination allemande a contribué beaucoup, par sa nature, à étendre cette haine chez les Slaves occidentaux et les Polonais. Les Russes n'ont jamais eu à subir leur oppression. Si leurs possessions du littoral de la Baltique ont été conquises par les chevaliers de l'ordre teutonique, elles étaient habitées par des populations finnoises et non russes. Mais bien qu'entre tous les Slaves, les Russes sont ceux qui haïssent le moins les Allemands, le sentiment de répugnance naturelle qui existe entre eux ne peut s'effacer. Cette répugnance a pour fondement une incompatibilité d'humeur qui se montre aux moindres choses.

La préférence que le gouvernement donnait aux Allemands, après Pierre le Grand, n'était pas de nature à les réconcilier avec les Russes. Encore si ce n'eussent été que des Munich et des Ostermann qui fussent venus en Russie, mais il y eut toute une nuée d'originaires des trente-six, ou je ne sais combien de principautés qui forment l'Allemagne *une et indivisible*, qui s'abattirent sur les bords de la Néva.

Le gouvernement russe n'a pas, jusqu'à présent, de serviteurs plus dévoués que les gentilshommes de Livonie, d'Esthonie et de Courlande. «Nous n'aimons pas les Russes,—nous disait un jour une notabilité de la Baltique, à Riga,—mais de tout l'empire nous sommes les sujets les plus fidèles de la famille impériale». Le gouvernement n'ignore pas ce dévouement, et encombre d'Allemands les ministères et les administrations centrales. Ce n'est ni faveur, ni injustice. Le gouvernement russe trouve dans les officiers et les fonctionnaires allemands juste ce qu'il lui faut: la régularité et l'impassibilité d'une machine, la discrétion des sourds et muets, un stoïcisme d'obéissance à toute épreuve, une assiduité au travail qui ne connaît pas la fatigue. Ajoutez à cela une certaine probité (que les Russes ont très rarement) et juste tant d'instruction qu'exigent leur emplois, jamais assez pour comprendre qu'il n'y a point de mérite à être les instruments honnêtes et incorruptibles du

despotisme; ajoutez y l'indifférence complète pour le sort des administrés, le mépris le plus profond pour le peuple, une complète ignorance du caractère national, et vous comprendrez pourquoi le peuple déteste les Allemands et pourquoi le gouvernement les aime tant.

Si nous passons des ministères et des chancelleries aux ateliers, nous rencontrons le même antagonisme. L'ouvrier russe, chez un maître russe, est presque un membre de la famille; ils ont les mêmes habitudes, les mêmes idées morales et religieuses; ils mangent ordinairement à la même table et s'entendent fort bien entre eux. Il arrive quelquefois au maître de frapper l'ouvrier qui reçoit les coups avec trop de résignation chrétienne, parfois l'ouvrier riposte, mais ni l'un ni l'autre ne va se plaindre à la police. Le dimanche est fêté de la même manière par le maître que par l'ouvrier, tous les deux rentrent avinés chez eux. Le lendemain, le maître comprenant que l'ouvrier ne peut être assidu au travail, lui laisse perdre quelques heures, car il sait, qu'en cas de besoin, il travaillerait pour lui une partie de la nuit. Très-souvent le maître avance de l'argent à l'ouvrier, comme d'autre part l'ouvrier attend des mois entiers le paiement du salaire, lorsqu'il voit que son maître est gêné. Le maître allemand n'est pas l'égal de l'ouvrier russe, il se croit son chef plus que son maître; méthodique par caractère et conservant les usages de son pays, l'Allemand transforme les rapports élastiques et vagues de l'ouvrier russe avec son maître en rapports juridiques sévèrement déterminés, du sens desquels il ne s'écarte jamais d'une syllabe. Une exigence perpétuelle, une rigueur étudiée, un despotisme froid offensent l'ouvrier d'autant plus que le maître ne descend jamais jusqu'à lui. Les mœurs paisibles même de l'Allemand, la préférence qu'il donne à la bière sur l'eau-de-vie ne font qu'ajouter au dégoût qu'il inspire à l'ouvrier russe. Ce dernier a beaucoup plus de dextérité que de diligence, de capacité que de savoir. Il peut beaucoup faire en une fois, mais il n'a pas d'assiduité au travail et il ne peut se faire à la discipline uniforme et méthodique de l'Allemand. Le maître allemand ne souffre pas que l'ouvrier vienne une heure plus tard, ou qu'il le quitte une heure plus tôt. La migraine des lundis, le bain du samedi ne sont pas des excuses à ses yeux. Il note chaque absence pour la déduire du salaire, avec la plus grande justice, peut-être, mais l'ouvrier russe voit en lui un exploiteur monstrueux, de là des discussions et des querelles sans fin. Le maître irrité court à la police—ou chez le seigneur de l'ouvrier, s'il est serf,—et appelle sur sa tête tous les malheurs que son état comporte. Le maître russe, sans motifs extraordinaires, n'ira ni chez le *kvartalny* (commissaire de police) ni chez le seigneur; la police et la noblesse sont les ennemis communs du maître à barbe et de l'ouvrier non rasé.

Mais revenons à notre récit.

Le long règne de Catherine II procura une grande stabilité au gouvernement de Pétersbourg. Ce fut la continuation du règne de Pierre I^{er}, après une interruption de trente-cinq ans. Catherine apporta avec elle au palais impérial un élément de grâce, d'urbanité et de bon goût qui n'existait point avant elle et qui exerça une influence salutaire sur les régions élevées de la société.

Catherine II ne connaissait pas le peuple et ne lui a fait que du mal; son peuple à elle c'était la noblesse, et elle comprenait merveilleusement bien son terrain. Elle releva la noblesse, en lui confiant l'élection de presque toutes les charges *judiciaires* et *administratives* dans les provinces, où elle l'organisa en corps et réunions discutant leurs intérêts, contrôlant l'emploi des fonds destinés aux besoins des localités.

Elle dota de même la bourgeoisie et les paysans de droits électifs, qui sont pourtant plus importants comme principe qu'en réalité. Ces concessions pâlisent toutefois à côté du crime qu'elle a commis envers les paysans, en consacrant par - - - - - dilapidation la servitude; elle distribuait à ses favoris et - - - - - des terres habitées d'une étendue immense. Non seulement - - - - - les couvents au profit de ses grands, mais elle leur distribua les paysans de la Petite Russie où l'on ne connaissait pas encore le servage. On conçoit *qu'étant philosophe*, comme Frédéric II et Joseph II, elle put prendre part au partage criminel de la Pologne. La raison d'état, le désir d'augmenter ses possessions territoriales expliquent ce fait, s'ils ne peuvent l'excuser; mais aliéner à l'état des terres habitées, rendre serfs des cultivateurs libres sans même penser à imposer des conditions aux nouveaux propriétaires,—c'est - - - - - .

Peut-être l'impératrice Catherine se rappelait-elle l'enthousiasme farouche avec lequel les paysans de quatre provinces avaient couru au devant de Pougatcheff que pendait tous les nobles qu'il prenait; peut-être aussi avait elle trop présente à la mémoire cette scène qui s'était également passée sous son règne, où le peuple de Moscou, après avoir tué un archevêque derrière l'autel, avait traîné dans les rues son cadavre revêtu des insignes pontificaux. D'un autre côté, elle voyait la noblesse si reconnaissante, si fière de son dévouement, qu'elle se vit entraînée à épouser sa cause.

Chose étrange, de tous les souverains de la maison Romanoff,

aucun n'a rien fait pour le peuple. Le peuple ne se souvient d'eux que par le nombre de ses malheurs, par l'accroissement du servage, du recrutement, de charges de toute espèce, par les colonies militaires, par toutes les horreurs de l'administration policière, par une guerre, aussi sanglante qu'insensée, qui dure vingt cinq ans dans des montagnes inexpugnables.

La civilisation se répandit avec une grande célérité dans les couches supérieures de la noblesse, elle était tout exotique et n'avait de national qu'une certaine rudesse qui se mêlait étrangement aux formes de la politesse française. A la cour, on ne parlait que le français, on imitait Versailles. L'impératrice donnait le ton, elle correspondait avec Voltaire, passait des soirées avec Diderot et commentait Montesquieu: les idées des encyclopédistes s'infiltraient dans la société de Pétersbourg. Presque tous les vieillards de ces temps que nous ayons connus, étaient voltairiens ou matérialistes, s'ils n'étaient pas francs-maçons. Cette philosophie s'inoculait avec d'autant plus de facilité aux Russes, que leur esprit est à la fois réaliste et ironique. Le terrain que la civilisation gagnait en Russe était perdu pour l'église. - - - - - n'a de force sur l'âme slave que tant qu'elle y trouve de l'ignorance. La foi y pâlit à mesure que la lumière y pénètre, et le fétichisme extérieur fait place à l'indifférence la plus complète. Le bon sens, l'esprit pratique du Russe repousse la coexistence de la pensée lucide avec le mysticisme. Il peut rester longtemps pieux jusqu'à la bigoterie, sans jamais penser à la religion, mais à cette condition seulement; il lui est impossible de devenir rationaliste; pour lui l'émancipation de l'ignorance coïncide avec l'émancipation - - - - - . Les tendances mystiques que nous rencontrons chez les francs-maçons n'étaient en réalité qu'un moyen de neutraliser les progrès d'un épicurisme brutal qui se répandait avec rapidité. Quant au mysticisme du temps de l'empereur Alexandre, ce fut un produit de la franc-maçonnerie et de l'influence allemande, sans base réelle, une affaire de mode chez les uns, d'exaltation d'esprit chez les autres. Il n'en fut plus question après 1825. La discipline - - - - - relevée par la police de l'empereur Nicolas de parle pas en faveur de la piété des classes civilisées.

L'influence de la philosophie du XVIII^me siècle eut un effet en partie pernicieux à Pétersbourg. En France, les encyclopédistes émancipant l'homme des vieux préjugés, lui inspiraient des instincts moraux plus élevés, le faisaient révolutionnaire. Chez nous, en brisant les derniers liens qui retenaient une nature demi-sauvage, la philosophie voltairienne ne mettait rien à la place des vieilles croyances, des devoirs moraux, traditionnels. Elle armait le Russe de tous les instruments de

la dialectique et de l'ironie propres à le disculper à ses yeux de son état d'esclave par rapport au souverain, et de son état de souverain par rapport à l'esclave. Les néophytes de la civilisation se jetèrent avec avidité dans les plaisirs du sensualisme. Ils comprirent très bien l'appel à l'épicuréisme, mais le son du tocsin solennel qui appela les hommes à une grande résurrection,—n'allait pas à leur âme.

Entre la noblesse et le peuple il y avait une tourbe d'employés personnellement annoblis, classe corrompue et dénuée de toute dignité humaine... Voleurs, tyrans, dénonciateurs, ivrognes et joueurs, ce furent et ce sont encore les hommes les plus rampants de l'empire. Cette classe a été le produit de la réforme brusque de la juridiction du temps de Pierre I^{er}.

Le procès oral fut alors aboli et remplacé par le procès inquisitorial. Des formalités minutieuses introduites à l'instar des chancelleries allemandes, compliquèrent la procédure et fournirent des armes terribles à la chicane. Les *tchinovniks*, complètement libres de *préjugés*, torturaient les lois à leur guise et avec un art infini. Ce sont les plus forts rabulistes du monde; ils n'ont jamais autre chose en vue que leur responsabilité personnelle; lorsqu'ils la croient à couvert, ces gens osent tout, et le paysan, comme le tchinovnik, n'a aucune foi dans les lois. Le premier les respecte par crainte, le second y voit une mère nourricière. La sainteté des lois, les droits imprescriptibles, les notions d'une justice immuable, sont des termes qui n'existent pas dans leur langue. Et toute la force impériale ne suffit pas pour arrêter, pour paralyser l'action malfaisante de ces vipères d'encre, de ces ennemis embusqués qui guettent le paysan pour l'entraîner dans des procès ruineux.

Après nous être formé ainsi une idée approximative de la société néo-européenne du siècle de Catherine II, jetons un coup d'œil sur les débuts littéraires de l'État nouvellement formé.

L'Église byzantine avait horreur de toute culture mondaine. Elle ne connaissait d'autre science que la controverse théologique; elle inventa une peinture conventionnelle, faisant de l'opposition à la beauté charnelle de l'antiquité (*iķonopis*). Elle abhorrait tout mouvement indépendant de l'intelligence, elle ne voulait qu'une foi soumise. Il n'y avait pas de prédicateurs en Russie. Le seul évêque qui soit connu dans les anciens temps pour ses sermons, fut persécuté à cause de ces sermons. Pour savoir ce que c'est que l'éducation que l'Église orientale donnait à son fidèle troupeau, il suffit de connaître les peuplades chrétiennes de l'Asie-Mineure, et ce fut là l'Église qui présida à la civilisation de la Russie depuis le X^{me} siècle. Les guerres continues des princes apanagés et le joug mongol lui furent d'un immense secours.

L'Église greco-russe retint une langue à part formée de divers dialectes des Slaves du sud, la langue vulgaire n'était pas encore élaborée. Les chroniques, les actes diplomatiques et civils se rédigeaient dans un idiome qui tenait le milieu entre la langue ecclésiastique et la langue populaire et se rapprochait plus de l'une ou de l'autre suivant la position sociale de l'auteur. Il n'y eut aucun mouvement littéraire jusqu'au XVIII^e siècle. Quelques chroniques, un poème de XII^e siècle (*Campagne d'Igor*), un assez grand nombre de contes et de chants populaires, pour la plupart oraux, voilà tout ce qu'ont produit dix siècles dans le domaine littéraire.

Sans égard à cette pénurie, il est important de remarquer que la langue de la Bible, comme celle des annales de Nestor et du poème mentionné, est non seulement d'une grande beauté, mais qu'elle porte des traces évidentes d'un long usage et d'un développement antérieur de beaucoup de siècles.

Les traducteurs de la Bible, Cyrille et Méthode, réglèrent la langue, fixèrent un alphabet, calquèrent les formes grammaticales d'après les règles grecques, mais ils trouvèrent une langue riche et élaborée probablement par les Slaves qui habitaient la Macédoine et la Thessalie. Il faut connaître les difficultés que trouvent les Anglais en traduisant l'Évangile dans les langues sauvages, par exemple dans celle des Cafres: les mots leur manquent, les images, les notions, les expressions, tout doit être rendu par des périphrases approximatives. Tandis que la traduction slave égale en concision, en beauté mâle et en fidélité celle de Luther.

Tous les éléments poétiques qui fermentaient dans l'âme du peuple russe s'exhalèrent dans des chants extrêmement mélodieux. Les peuples slaves sont par excellence des peuples chanteurs. Les chroniqueurs du Bas-Empire racontent que dans une invasion des Slaves, les Grecs les ont surpris, car les sentinelles qui chantaient toujours, s'endormirent peu à peu eux-mêmes par leurs chants. Le paysan russe trouvait dans ses chants l'unique épanchement à ses souffrances. Il chante continuellement, en travaillant, en conduisant ses chevaux ou en se reposant au seuil de sa porte. Ce qui distingue ces chansons de celles des autres Slaves et même des Malo-Russes, c'est une tristesse profonde. Les paroles ne sont qu'une plainte qui se perd dans les plaines sans limites, comme son malheur, dans les bois lugubres de sapin, dans les steppes infinis, sans rencontrer d'écho ami. Cette tristesse n'est pas un élan passionné vers quelque chose d'idéal, elle n'a rien de romantique, rien de ces aspirations malades et monacales ¹⁾,

¹⁾ Il est de même à remarquer que les héros des contes—Ilia Mourometz, Ivan Tzarewitch etc., ont beaucoup plus de rapports avec les héros homériques,

comme les chants allemands: c'est la douleur de l'individu écrasé par la fatalité, c'est un reproche à la destinée «destinée marâtre, sort amer»; c'est un désir comprimé qui n'ose se manifester autrement, c'est le chant d'une femme opprimée par son mari, du mari opprimé par son père, par l'ancien du village, de tous enfin opprimés par le seigneur ou le tzar; c'est l'amour profond, passionné, malheureux, mais terrestre et réel ¹). Au milieu de ces chants mélancoliques vous entendez tout-à-coup les sons d'une orgie, d'une gaîté sans frein; des cris passionnés et fous, des mots dénués de sens, mais enivrants, entraînant à une danse effrénée qui est tout autre chose que la danse *dramatique* et gracieuse en chœurs.

Tristesse ou orgie, esclavage ou anarchie, le Russe passait sa vie en vagabond, sans foyer ni domicile, ou absorbé par la commune, perdu dans la famille ou libre au milieu des forêts, le coutelas à la ceinture. Dans les deux cas, le chant exprimait la même plainte, les mêmes déceptions: c'était une voix sourde qui disait que les forces innées ne trouvaient pas assez d'essor, qu'elles étaient mal à l'aise dans la vie resserrée par l'ordre social.

Il y a une catégorie entière de chants russes, les chants des brigands. Ce ne sont plus des élégies plaintives: c'est le cri téméraire, c'est l'excès de joie d'un homme qui se sent enfin libre, cri de menace, de colère et de défi. «Nous viendrons boire votre vin, patience; nous viendrons caresser vos femmes, piller vos richards»... «Je ne veux plus travailler dans les champs; qu'ai-je gagné en labourant la terre? je suis pauvre et méprisé; non, je prendrai pour compagnon la nuit sombre, un couteau affilé, je trouverai des amis dans les bois touffus, je tuerai le seigneur et je pillerai le marchand sur la grande route. *Au moins tout le monde me respectera*; et le jeune voyageur passant sur mon chemin, et le viellard assis devant sa maison me salueront».

Le couvent, la cosaquerie, les bandes de brigands étaient les seuls moyens de se rendre libre en Russie. Le peuple appelait poliment les brigands *polissons (chalouny)* ou *licencieux (volnitsa)*. Dans les temps anciens, la seule ville de Novgorod fournissait des bandes armées qui descendaient le Volga et l'Oka jusqu'aux bords de la Kama, «allant à l'aventure chercher le bonheur». Des Cosaques, brigands persécutés par Jean IV, firent, pour se réhabiliter, la conquête de la Sibérie, sous les ordres de Yermak. Le vagabondage et le brigandage s'accrurent d'une manière prodigieuse pendant l'interrègne et au com-

qu'avec ceux du moyen-âge; le «Bogaty» n'est pas un chevalier, comme Achille n'en est pas un. — A. H.

¹) Voyez la dissertation magnifique de Mme Talvi sur les chants slaves, dans son ouvrage imprimé en 1846 à New-York. — A. H.

mencement du XVII^{em} siècle. La mémoire de Stenka Razine s'est conservée chez le peuple dans une quantité de chansons composées en son honneur. La tradition de ces brigandages ne discontinua pas jusqu'à Pougatcheff, et il est probable qu'ils n'ont acquis une si grande proportion que grâce à une lutte sourde engagée par les paysans protestant contre leur asservissement. Il est notoire que, dans les chansons, le beau rôle revient au brigand, les sympathies sont pour lui et non pour ses victimes; c'est avec une joie secrète qu'on vante ses prouesses et sa bravoure. Le chansonnier populaire paraissait comprendre que son plus grand ennemi n'était pas le brigand.

Un mouvement intellectuel d'un autre genre, mais non moins important, fut le mouvement des idées religieuses chez les sectaires. Ce que l'orthodoxie grecque n'a jamais su faire: intéresser l'homme du peuple, développer en lui une foi active, un intérêt véritable, — les sectaires surent l'accomplir. Chez eux, point d'indifférentisme; la commune y est plus développée que chez les paysans orthodoxes, l'esprit de corps est on ne peut plus vivace; il y a des sectes dont la dogmatique est absurde, mais la conduite pleine d'énergie et d'honnêteté. Il y en a d'autres, très-répandues même, qui professent les doctrines communistes les plus avancées, entremêlées d'un christianisme mystique dans le genre des herrenhuts et même des anabaptistes. Persécutés par le gouvernement, des milliers de sectaires se sont expatriés en Livonie, en Turquie, où il y a des bourgs entiers habités par leurs descendants. Les sectaires en général sont les ennemis les plus acharnés de la réforme de Pierre I^{er}. Pour eux Pierre et ses successeurs sont des antichrists. Par contre, le gouvernement y voit des rebelles et les poursuit comme tels. Les sectaires tiennent bon, leur propagande s'accroît à mesure qu'augmente la persécution, ils ont des affidés sur tous les points de l'empire, une publicité clandestine. Il serait possible que d'un des *skïtes* ¹⁾ (communauté schismatique) sortît un mouvement populaire qui embrasât des provinces entières, dont le caractère serait certainement national et communiste et qui irait à la rencontre d'un autre mouvement dont la source est dans les idées révolutionnaires de l'Europe. Peut-être ces deux mouvements s'entrechoqueront-ils sans comprendre leur affinité, au grand plaisir du tzar et de ses amis.

La littérature russe européisée ne commence à obtenir une certaine signification que du temps de Catherine II. Avant son règne, on voit un travail préparatoire; la langue se forme aux nouvelles conditions de l'existence, elle fourmille de mots allemands et latins; l'esprit d'imitation s'empare de tout, au point qu'on essaie d'introduire dans

¹⁾ Pougatcheff et ses collègues ont appartenu aux «Starovery». — A. H.

notre langue métrique et sonore la versification syllabique. Revenue de ces exagérations, la langue commença à s'assimiler les flots des mots étrangers, à devenir plus naturelle et plus conforme au génie de la nation. Le premier Russe qui mania avec talent la langue ainsi faite, fut Lomonossoff. Ce savant célèbre fut le type du Russe par son encyclopédisme, autant que par la facilité de son entendement. Il écrivit en russe, en allemand et en latin. Il était mineur, chimiste, poète, philologue, physicien, astronome et historien. Il composait en même temps une dissertation météorologique sur l'électricité, et une autre sur l'arrivée des Variagues en Russie, en réponse à l'historiographe Muller, ce qui ne l'empêchait pas de terminer ses odes triomphales et ses poèmes didactiques. Toujours lucide, plein du désir inquiet de tout comprendre, il jetait un sujet pour s'emparer d'un autre avec une facilité de conception étonnante.

La civilisation qui commençait à s'épanouir sous l'égide protectrice du gouvernement, restait encore sur les marches du trône, avec son admiration pour Pierre le Grand et avec son adulation sincère pour tout souverain. Le gouvernement continuait à marcher à la tête de la civilisation. Cette affinité de la littérature avec le gouvernement devient plus palpable du temps de Catherine II. Elle a son poète, poète d'un grand talent, qui, par entraînement et amour lui adresse des épîtres, des odes, des hymnes et des satyres, qui est à genoux devant elle, à ses pieds, sans être toutefois vil ou esclave. Derjavine ne craint pas l'impératrice, il plaisante avec elle, la nomme «Félicie» «la tzarine de Kirgis-Kaïssak». Sa muse trouve parfois des sons qui ne sont guère ceux d'un serf chantant son souverain.

Néanmoins, cette poésie apologétique avec toute sa sincérité et toute la beauté d'une langue plastique, n'était ni goûtée ni admirée, si ce n'est d'un petit nombre, du clergé et des savants. La haute société ne lisait rien en russe, la société inférieure ne lisait rien du tout. La première production russe qui ait eu une popularité immense ne fut ni une épître adressée à l'impératrice, ni une ode inspirée par les ravages inhumains et les massacres glorieux de Souvoroff, mais une comédie, une satire mordante contre les gentillâtres de la province. Tandis que Derjavine ne voyait à travers les rayons de la gloire qui entouraient le trône que l'impératrice, Von-Wizine, esprit caustique, voyait le côté opposé; il riait amèrement de cette société demi-barbare, de ses allures de civilisation. Ce fut le premier auteur dans les écrits duquel perçât le principe démonique de sarcasme et d'indignation, qui devait dès lors traverser toute la littérature russe et s'en rendre l'esprit dominant. Dans cette ironie, dans cette flagellation, où rien n'est ménagé, pas même la personne de l'auteur, il y a pour nous une joie.

de vengeance, de consolation maligne; par ce rire nous rompons la solidarité qui existe entre nous et ces amphibiens qui ne savent ni garder la barbarie, ni acquérir la civilisation et qui seuls surnagent à la surface officielle de la société russe. Une protestation infatigable suivit pas à pas cette anomalie. Elle fut ardente, incessante.

L'autopsie pathologique forma le caractère dominant de la littérature moderne. Ce fut une nouvelle négation de l'ordre des choses existant qui surgit en dépit de la volonté impériale du fond de la conscience réveillée, cri d'horreur de chaque génération qui craignait de se voir confondue avec ces êtres dégradés.

La littérature russe, au XVIII^{me} siècle, ne fut au fond qu'une noble occupation de quelques esprits, sans influence sur la société. La première influence sérieuse qui imprima de suite un autre caractère au dilettantisme littéraire, vint de la franc-maçonnerie. Celle-ci était très-répandue en Russie vers la fin du règne de Catherine II. Son chef, Novikoff, était un de ces grands personnages dans l'histoire qui font des prodiges sur une scène qui doit nécessairement rester dans les ténèbres, un de ces guides d'idées souterraines dont l'œuvre ne se manifeste qu'au moment de l'éclat. Novikoff était imprimeur de son état, il fonda des librairies et des écoles dans plusieurs villes, il édita la première revue russe. Il faisait faire des traductions et les publiait à ses frais. C'est ainsi qu'on vit de son temps paraître la traduction de *l'Esprit des Lois*, d'*Émile*, de divers articles de l'Encyclopédie, ouvrages que la censure de notre époque ne permettrait certainement pas d'imprimer. Dans toutes ces entreprises Novikoff fut puissamment aidé par la franc-maçonnerie dont-il était grand-maître. Quelle œuvre immense, que la pensée hardie de réunir dans un intérêt moral, dans une famille fraternelle, tout ce qu'il y avait intellectuellement de mûr, depuis le grand seigneur de l'empire, tel que le prince Lopoukhine, jusqu'au pauvre précepteur d'école et au chirurgien de district.

L'impératrice Catherine fit jeter Novikoff dans la citadelle de Pétersbourg et l'exila ensuite. Ce fut dans les dernières années de son règne, où son caractère commençait à s'altérer. Avec Potemkine disparaît la poésie des favoris, une débauche grossière remplace une volupté brillante et splendide. Les petites soirées de l'Ermitage, pétillantes d'esprit, firent place aux orgies sauvages des Zoritch. En attendant, la révolution française atteignait son apogée. Le tonnerre révolutionnaire troublait le sommeil des monarques, sur le Danube comme sur la Néva. Catherine en vieillissant devenait inquiète, soupçonneuse même à l'égard de son fils. Elle voyait avec défiance la franc-maçonnerie acquérir une force nouvelle, indépendante de sa volonté; on parlait beaucoup de la part que les illuminés et les martinistes avaient prise à la révolution, et au

milieu de ces bruits, elle apprit que le grand-duc Paul était initié à la franc-maçonnerie par Novikoff. Dix ans auparavant, Catherine aurait fait chercher Novikoff et aurait vu que ce n'était point un obscur conspirateur dynastique, mais alors elle aima mieux le châtier qu'à l'entretenir.

Cet homme infatigable forma avant sa chute le dernier grand écrivain de cette période, Karamzine. L'influence de ce dernier sur la littérature peut être comparée à l'influence de Catherine sur la société: il l'a humanisée. Il y avait en lui quelque chose de S^t Réal, de Florian et d'Ancillon, un point de vue philosophique et moral, des phrases philanthropiques, des larmes toujours acquises au malheur, une répulsion pour tout abus de forces, beaucoup d'amour pour la civilisation, un patriotisme tant soit peu rhétorique, le tout sans unité, sans pensée dirigeante, sans une seule conviction profonde. Il y eut quelque chose d'indépendant et de pur dans ce jeune littérateur, entouré d'un monde d'ambitions subalternes et d'un crasse matérialisme. Karamzine fut le premier littérateur russe lu des dames.

C'est un grand avantage pour notre littérature que nos premiers auteurs ont été des hommes du monde. Ils firent passer dans la littérature une certaine élégance de bonne compagnie, une sobriété de paroles, une noblesse d'images qui distinguent la conversation des hommes bien élevés. L'élément grossier et vulgaire qui se rencontre parfois dans la littérature allemande n'a jamais pénétré dans les livres russes.

La grande œuvre de Karamzine, le monument qu'il a élevé à la postérité, sont les douze volumes de son histoire russe. Œuvre consciencieuse de la moitié de son existence et dont l'analyse n'entre pas dans notre plan, son histoire a beaucoup contribué à tourner les esprits vers l'étude de la patrie. Si l'on songe au chaos qui a précédé Karamzine dans l'histoire russe, et au travail qu'il a dû employer pour le débayer et pour donner une exposition claire et véridique du sujet, l'on comprendra qu'il y aurait de l'injustice à ne pas reconnaître ses services.

Ce qui manquait à Karamzine, ce fut cet élément sarcastique qui de Von Wizine s'étendit à Kryloff et même à Dmitrieff, l'ami intime de Karamzine. Il y avait quelque chose d'allemand dans le tendre et bénévole Karamzine. On pouvait prédire que Karamzine tomberait avec sa sentimentalité dans les filets impériaux, comme le fit plus tard le poète Joukovsky.

L'histoire de la Russie rapprocha Karamzine de l'empereur Alexandre. Il lui lisait les pages *audacieuses* où il flétrissait la tyrannie de Jean le Terrible et jetait des immortelles sur la tombe de la république de Novgorod. Alexandre l'écoutait avec attention et émotion et pressait doucement le main de l'historiographe. Alexandre était trop

bien élevé pour trouver bon que Jean fit parfois scier ses ennemis en deux et pour ne pas soupirer sur le sort de Novgorod, sachant bien que le comte Araktchéïeff y introduisait déjà les colonies militaires. Karamzine, plus ému encore, restait épris des charmes de la bonté impériale. Mais où l'ont conduit ses pages audacieuses, ses indignations, ses condoléances? Qu'a-t-il appris dans l'histoire russe, quel résultat a-t-il tiré de ses recherches, lui qui, dans la préface de son histoire, dit que l'histoire du passé est l'enseignement de l'avenir? Il n'y puisa qu'une seule idée: «Les peuples sauvages aiment la liberté et l'indépendance, les peuples civilisés l'ordre et la tranquillité» — un seul résultat: «la réalisation de l'idée de l'absolutisme» devant le développement duquel il reste en extase et qu'il poursuit depuis Monomakh jusqu'aux Romanoff.

L'idée de la grande autocratie, c'est l'idée du grand esclavage. Peut-on se figurer qu'un peuple de soixante millions n'existe que pour réaliser... l'esclavage absolu?

Karamzine mourut dans les bonnes grâces de l'empereur Nicolas.

Comme on le voit, la période que nous avons parcourue n'est que l'adolescence de la civilisation et de la littérature russes. La science florissait encore à l'ombre du trône et les poètes chantaient leurs tzars sans être leurs esclaves. On ne trouve presque pas d'idées révolutionnaires, la grande idée révolutionnaire était encore la réforme de Pierre. Mais le pouvoir et la pensée, les oukases impériaux et la parole humaine, l'autocratie et la civilisation ne pouvaient plus aller ensemble. Leur alliance même au XVIII^{me} siècle frappe d'étonnement. Mais comment aurait-il pu en être autrement lorsque l'héritier des tzars, le dynaste, le successeur d'Alexis, enfin l'autocrate de toutes les Russies, de la Blanche et de la Rouge, de la Grande et de la Petite, Pierre I^{er}, était, en même temps, un jacobin anticipé et un terroriste révolutionnaire?

IV.

1812—1825.

La guerre de 1812 termina la première partie de la période de Pétersbourg. Jusque là le gouvernement avait été en tête du mouvement; dès lors la noblesse se mit au pas avec lui. Jusqu'en 1812 on doutait des forces du peuple et l'on avait une foi inébranlable dans la toute-puissance du gouvernement: Austerlitz était loin, on prenait Eylau pour une victoire et Tilsit pour un évènement glorieux. En 1812 l'ennemi passa Memel, traversa la Lithuanie et se trouva devant Smo-

lensk, cette «clef» de la Russie. Alexandre terrifié accourut à Moscou pour implorer le secours de la noblesse et du négoce. Il les invita au palais délaissé du Krémolin pour aviser au secours de la patrie. Depuis Pierre I^{er} les souverains de la Russie n'avaient pas parlé au peuple; il fallait supposer le danger grand, à la vue de l'empereur Alexandre au palais et du métropolitain Platon à la cathédrale, parlant du péril qui menaçait la Russie.

La noblesse et les négociants tendirent la main au gouvernement et le tirèrent de l'embarras. Le peuple, oublié même dans ce temps de malheur général, ou trop méprisé pour qu'on eût voulu lui demander le sang qu'on se croyait en droit de répandre sans son assentiment, le peuple se levait en masse, sans attendre un appel, dans sa propre cause.

Depuis l'avènement de Pierre I^{er} cet accord tacite de toutes les classes se produisait pour la première fois. Les paysans s'enrôlaient sans murmurer dans les rangs de la milice, les nobles donnaient le dixième serf et prenaient les armes eux-mêmes; les négociants sacrifiaient la dixième partie de leur revenu. L'agitation populaire gagnait tout l'empire; six mois après l'évacuation de Moscou parurent sur la frontière d'Asie des bandes d'hommes armés qui accouraient du fond de la Sibérie, à la défense de la capitale. La nouvelle de son occupation et de son incendie avait fait tressaillir toute la Russie car, pour le peuple, Moscou était la vraie capitale. Elle venait d'expié par son sacrifice le régime assoupissant - - - - ; elle se relevait entourée d'une auréole de gloire; la force de l'ennemi s'était brisée dans ses murs; le conquérant avait commencé au Krémolin sa retraite qui ne devait s'arrêter qu'à S^{te} Hélène. Au premier réveil du peuple, Pétersbourg était éclipsé, et Moscou, capitale sans empereur, qui s'était victimée pour la patrie commune, obtint une nouvelle importance.

D'ailleurs, après ce baptême de sang, la Russie entière entra dans une nouvelle phase.

Il était impossible de passer immédiatement de l'agitation d'une guerre nationale, de la promenade glorieuse à travers l'Europe, de la prise de Paris, au calme plat du despotisme de Pétersbourg. Le gouvernement lui-même ne pouvait retourner tout de suite à ses anciennes allures. Alexandre fit le libéral, en cachette du prince Metternich, perfla les projets ultra-monarchiques des Bourbons et joua le rôle de roi constitutionnel en Pologne.

Quant au pauvre paysan, il retourna à sa commune, à sa charrue et à son servage. Pour lui, rien ne changea, on ne lui concéda aucune franchise, pour prix de la victoire achetée par son sang. Alexandre préparait pour le récompenser le projet monstrueux des colonies militaires.

Bientôt après la guerre, un grand changement se manifesta dans l'esprit public. Les officiers de la garde et des régiments de ligne après avoir bravement exposé leur poitrine aux balles de l'ennemi, devinrent moins soumis et moins souples qu'autrefois. Des sentiments chevaleresques d'honneur et de dignité personnelle, inconnus jusque-là dans l'aristocratie russe, d'origine plébéienne, tirée du peuple par la grâce des souverains, se répandirent dans la société. En même temps la mauvaise administration, la vénalité des employés, les vexations policières excitaient des murmures unanimes. On voyait que le gouvernement, tel qu'il était organisé, ne pouvait, avec le meilleur vouloir, parer à ces abus, qu'il n'y avait aucune justice à attendre d'une infirmerie de vieillards qu'on appelait du nom pompeux de sénat dirigeant, corps d'une docilité ignare, qui servait au gouvernement de garde-meuble, pour y reléguer les fonctionnaires usés qui ne méritaient ni de rester dans l'administration, ni d'en être chassés. Des hommes d'état d'une grande autorité, comme le vieil amiral Mordvinoff, parlaient hautement de l'urgence de nombreuses réformes. Alexandre lui-même désirait des améliorations, mais il ne savait comment s'y prendre. Karamzine, l'historien absolutiste, et Spéranski, éditeur du code de Nicolas, travaillaient à un projet de constitution d'après ses ordres.

Des hommes énergiques et sérieux n'attendirent pas le terme de ces projets imaginaires, ils ne se contentèrent pas du mécontentement vague et cherchèrent à l'utiliser d'une autre manière. Ils conçurent l'idée d'une grande association secrète. Elle devait faire l'éducation politique de la jeune génération, propager les idées de liberté et approfondir la question compliquée d'une réforme radicale et complète du gouvernement russe. Loin de s'en tenir à la théorie, ils s'organisaient en même temps de manière à profiter de la première circonstance favorable pour ébranler le pouvoir impérial. Tout ce qu'il y avait de distingué dans la jeunesse russe: de jeunes militaires, comme Pestel, Von Wisine, Narychkine, Iouchnevsky, Mouravieff, Orloff; les littérateurs les plus aimés, comme Ryléieff et Bestougeff; des descendants des familles les plus illustres, comme les princes Obolensky, Troubetzkoï, Odoïevsky, Wolkhonsky, le comte Tchernycheff, s'enrolèrent avec empressement dans cette première phalange de l'émancipation russe. Cette société prit d'abord le nom *d'Alliance du Bien-Etre*.

Chose étrange: en même temps que ces jeunes gens ardents, pleins de foi et de vigueur, juraient de renverser l'absolutisme à Pétersbourg, l'empereur Alexandre jurait de river la Russie aux monarchies absolutistes de l'Europe. Il venait de former la célèbre *Sainte-Alliance*, alliance mystique, inutile, impossible, quelque chose dans le genre d'un Grutly absolutiste, d'un Tugendbund formé par trois

étudiants couronnés, parmi lesquels Alexandre jouait le rôle de tête chaude.

Les uns et les autres ont tenu leurs serments; les uns en allant mourir au gibet ou aux travaux forcés pour leurs idées, Alexandre en laissant la couronne à son frère Nicolas.

Les dix années qui s'écoulèrent depuis la rentrée des troupes jusqu'en 1825, forment l'apogée de l'époque de Pétersbourg. La Russie de Pierre I^{er} se sentait forte, jeune, pleine d'espérance. Elle pensait que la liberté pouvait s'inoculer avec la même facilité que la civilisation, et oubliait que celle-ci n'avait pas encore dépassé la surface et n'appartenait qu'à une très-petite minorité. Cette minorité était en vérité développée au point qu'elle ne pouvait rester dans les conditions *provisoires* du régime impérial.

C'était la première opposition, véritablement révolutionnaire qui se formait en Russie. L'opposition qu'avait rencontrée la civilisation, au commencement du XVIII^{me} siècle, était conservatrice. Celle même que faisaient quelques grands seigneurs, tel que le comte Panine, sous l'impératrice Catherine II, ne sortait pas du cercle des idées strictement monarchiques; elle était parfois énergique, mais toujours soumise et respectueuse. La direction qui s'empara des esprits après 1812, fut une tout autre. La collision entre - - - - - protecteur et la civilisation protégée devint imminente. Le premier combat qu'elles se livrèrent fut le 14 (26) décembre. L'absolutisme resta vainqueur; il montra alors quelle force il possédait - - - - -

Le mot *provisoire* que nous avons appliqué aux conditions du régime impérial, a pu paraître étrange, et pourtant il exprime le caractère qui frappe le plus, lorsqu'on envisage de près les actes du gouvernement russe. Ses institutions, ses lois, ses projets, tout en lui est évidemment temporaire, transitoire, sans être déterminé et sans forme définitive. Ce n'est pas un gouvernement conservateur, dans le sens du gouvernement autrichien,—entre autres,—parce qu'il n'a rien à conserver, à l'exception de sa force matérielle et de l'intégrité du territoire. Il a débuté par une destruction tyrannique des institutions, des traditions, des mœurs, des lois, des coutumes du pays, et il continue par une série de bouleversements, sans acquérir de la stabilité et de la régularité. Chaque règne met en question la majeure partie des droits et des institutions; on défend aujourd'hui ce qu'on ordonnait hier, on modifie, on varie, on abroge les lois; le code publié par Nicolas est la meilleure preuve du manque de principes et d'unité dans la législation impériale. Ce code présente la réunion de toutes les lois existantes, c'est une juxtaposition d'ordonnances, de dispositions, d'oukases, plus ou moins contradictoires, qui expriment beaucoup mieux le

caractère du prince ou l'intérêt du moment que l'esprit d'une législation unitaire. Le code du tzar Alexis sert de base; les ordonnances de Pierre I^{er}, conçues dans une tout autre tendance, servent de continuation; une loi de Catherine, dans l'esprit de Beccaria et de Montesquieu, s'y trouve à côté des ordres du jour de Paul I^{er} qui surpassent tout ce qu'on peut trouver de plus - - - et de plus arbitraire dans les édits des empereurs romains. Le gouvernement russe, comme tout ce qui n'a pas de racine historique, non seulement n'est pas conservateur mais, tout au contraire, il aime les innovations jusqu'à la folie. Il ne laisse rien en repos et s'il améliore rarement, il change continuellement. C'est l'histoire des uniformes qu'on modifie sans cesse et sans motif, pour les civils comme pour les militaires, passe-temps qui ne manquent pas de coûter des sommes immenses. C'est l'histoire du rabadigeonage de vieux bâtiments, preuve de bon goût et du degré de la civilisation du gouvernement russe. Quelquefois on fait des révolutions entières en Russie, sans qu'on s'en aperçoive à l'étranger, grâce au manque de publicité et au mutisme général. C'est ainsi qu'en 1838 on changea radicalement l'administration de toutes les communes rurales de l'empire. Le gouvernement s'immitça dans les affaires de la commune, il plaça chaque village sous une double surveillance de la police, il commença une organisation forcée des travaux agricoles, il dépouilla des communes et en enrichit d'autres, il établit enfin une administration nouvelle pour 17.000.000 d'hommes, sans que cet évènement qui a cependant presque toutes les dimensions d'une révolution, ait seulement transpiré en Europe.

Les paysans, craignant les cadastres et les interventions des agents publics qu'ils connaissaient pour des pillards privilégiés et uniformés, s'insurgèrent dans beaucoup d'endroits. Dans quelques districts des gouvernements de Kasan, Viatka et Tambow, on est allé jusqu'à les mitrailler, et *le nouvel ordre fut maintenu.*

Un état pareil ne peut durer longtemps, et ce fut pour la première fois depuis 1812 qu'on commença à le sentir.

Le temps d'une association politique et secrète était parfaitement bien choisi, sous tous les rapports. La propagande littéraire était très-active; le célèbre Ryléieff en était l'âme; lui et ses amis, ils ont imprimé à la littérature russe ce caractère d'énergie et d'entrain qu'elle n'a jamais eu ni avant, ni après. Ce n'étaient pas seulement des paroles, c'étaient des actes. On voyait une résolution prise, un but certain, on ne s'abusait pas sur le danger, mais on marchait d'un pas ferme et la tête haute vers une solution irrévocable.

La littérature chez un peuple qui n'a point de liberté publique,

est la seule tribune, du haut de laquelle il puisse faire entendre le cri de son indignation et de sa conscience.

L'influence de la littérature dans une société ainsi faite acquiert des dimensions que celles des autres pays de l'Europe ont perdues depuis longtemps. Les poésies révolutionnaires de Ryléieff et de Pouchkine se trouvent entre les mains des jeunes gens dans les provinces les plus éloignées de l'empire. Il n'y a point de demoiselle bien-élevée qui ne les connaisse par cœur, d'officier qui ne les porte dans son havresac, pas de fils de prêtre qui n'en eût fait une douzaine de copies. Ces dernières années, cette ardeur s'est de beaucoup refroidie, parce qu'elles ont produit leur impression; toute une génération a subi l'influence de cette propagande jeune et ardente.

La conjuration se répandait avec célérité à Pétersbourg, à Moscou, dans la Petite-Russie, parmi les officiers de la garde et de la 2^{me} armée. Les Russes, indolents tant qu'ils ne trouvent pas d'impulsions, sont faciles à se laisser entraîner. Une fois entraînés, ils vont aux dernières conséquences sans chercher d'accomodement.

Depuis Pierre 1^{er} on a beaucoup parlé de la faculté d'imitation que les Russes poussaient jusqu'au ridicule. Quelques savants allemands prétendaient que les Slaves fussent dénué de tout caractère propre, que leur qualité distinctive se bornât à l'acceptivité. En effet la nationalité slave a une grande élasticité; une fois sortie de l'exclusivisme patriotique, elle ne trouve plus d'obstacle infranchissable pour comprendre les autres nationalités. La science allemande qui ne passe pas le Rhin, et la poésie anglaise qui s'altère en traversant le Pas-de-Calais, ont acquis, il y a longtemps, le droit de cité chez les Slaves. Il faut ajouter à cela, qu'au fond de cette acceptivité des Slaves, il y a quelque chose d'original qui, tout en se prêtant aux influences extérieures, conserve son propre caractère.

Nous retrouvons ce trait de l'esprit russe dans la marche de la conjuration qui nous occupe. Au commencement, elle eut une tendance constitutionnelle, libérale dans le sens anglais. Mais à peine cette opinion fut-elle acceptée que l'association se transforma, elle devint plus radicale, à la suite de quoi beaucoup de membres l'abandonnèrent. Le noyau des conjurés se fit républicain et ne voulut plus se contenter d'une monarchie représentative. Ils pensaient - - - - - que s'ils avaient assez de force pour limiter l'absolutisme, ils en auraient assez pour l'anéantir. Les chefs ds l'union du Sud avaient en vue une fédéralisation républicaine des Slaves, ils travaillaient à une dictature révolutionnaire qui devait organiser les formes républicaines.

Il y avait plus; lorsque le colonel Pestel vint en visite à la Société du Nord, il plaça la question sur un autre terrain. Il pensa que

la proclamation de la république n'avancerait rien si l'on n'entraînait pas la propriété foncière dans la révolution. N'oublions pas qu'il s'agit ici des faits qui se sont passés entre 1817 et 1825. Les questions sociales n'occupaient alors personne en Europe. Gracchus Babœuf, «le fou, le sauvage» était déjà oublié, St. Simon écrivait ses traités mais personne ne les lisait, Fourier était dans le même cas, les essais d'Owen n'intéressaient pas davantage. Les plus grands libéraux de ces temps, les Benjamin Constant, les P. L. Courier auraient jeté des cris d'indignation en entendant les propositions de Pestel, propositions qui ne se faisaient pas dans un club composé de prolétaires, mais devant une grande association totalement formée de la noblesse la plus riche. Pestel lui proposait d'arriver, au prix de leur vie, à l'expropriation de leurs biens. On ne s'accordait pas avec lui, ses opinions bouleversaient trop les principes de l'économie politique qu'on venait à peine d'apprendre. Mais on ne l'accusait pas de vouloir le pillage et le massacre; Pestel restait néanmoins le véritable chef de l'association du Sud, et il est plus que probable, qu'en cas de succès, il serait devenu dictateur, lui qui était socialiste avant le socialisme.

Pestel n'était ni rêveur, ni utopiste; tout au contraire, il était complètement dans la réalité,—il connaissait l'esprit de sa nation. En laissant les terres à la noblesse, on aurait obtenu une oligarchie, le peuple n'aurait même pas compris son affranchissement, le paysan russe ne voulant être libre qu'avec sa terre.

Ce fut encore Pestel qui pensa le premier à faire participer le peuple à la révolution. Il était d'accord avec ses amis que l'insurrection ne pouvait réussir sans l'appui de l'armée, mais il voulait aussi entraîner à toute force les sectaires religieux, projet profond dont - - - - -
- - - - - seront prouvées par l'avenir.

Après coup, nous pouvons dire que Pestel se faisait illusion: ni ses amis ne pouvaient travailler à une révolution sociale, ni le peuple faire cause commune avec la noblesse; mais il n'est donné qu'aux grands hommes de se tromper de la sorte en anticipant sur le développement des masses.

Il se trompait en pratique, de date, mais théoriquement, il faisait une révélation. Il était prophète, et toute l'association fut une immense école pour la génération présente.

Le 14 (26) décembre a réellement ouvert une nouvelle phase à notre éducation politique, et ce qui peut paraître étrange, la grande influence que cette œuvre a eue et qui a agi plus que la propagande et plus que les théories, fut le soulèvement même, la conduite héroïque des conjurés sur la place publique, pendant le procès, dans les fers, en présence de l'empereur Nicolas, dans les mines, en Sibérie. Ce qui

manquait aux Russes, ce n'étaient ni les tendances libérales, ni la conscience des abus, il leur manquait un précédent qui leur donnât l'audace de l'initiative. Les théories inspirent des convictions, l'exemple forme la conduite. Nulle part un pareil exemple n'est plus nécessaire que là où l'homme n'est pas habitué à poursuivre sa volonté, à se mettre en évidence, à compter sur lui-même et à estimer ses forces, où au contraire il a toujours été mineur, sans voix et sans opinion, abrité derrière la commune, comme derrière une enceinte infranchissable, absorbé par l'état dans lequel il était comme perdu. Avec la civilisation les idées de liberté s'étaient développées nécessairement, mais le mécontentement passif était trop entré dans les habitudes; on voulait sortir du despotisme, mais personne ne voulait être le premier à le faire.

Eh bien, les premiers se présentèrent avec une grandeur d'âme et une force de caractère telles que le gouvernement, dans son rapport officiel, n'osa ni les abaisser, ni les flétrir; Nicolas se borna à les punir avec férocité. Le silence, la passivité muette étaient rompus; du haut
 - - - - - ces hommes réveillèrent l'âme de la nouvelle génération, un bandeau tomba des yeux.

L'action du 14 décembre sur le gouvernement même ne fut pas moins décisive: de Pierre à Nicolas, le gouvernement avait tenu haut le drapeau du progrès et de la civilisation; dès l'année 1825, rien de pareil; le pouvoir ne songe qu'à ralentir le mouvement intellectuel, ce n'est plus le mot de progrès qu'on inscrit sur la bannière impériale, mais les mots: «autocratie, orthodoxie, nationalité», ce *mane fare takel*
 - - - - - et de plus les deux derniers mots n'étaient là que pour la forme. Religion, patriotisme, ce n'étaient que des moyens pour raffermir l'autocratie;

Peu avant le sombre - - - qui commença dans le sang russe et qui continua dans le sang polonais, parut le grand poète russe Pouchkine, et dès qu'il parut, il devint nécessaire, comme si la littérature russe ne pouvait se passer de lui. On a lu les autres poètes, on les a admirés,—Pouchkine est dans les mains de chaque Russe civilisé, qui le relit toute sa vie. Sa poésie n'est plus ni un essai, ni une étude, ni un exercice: c'était sa vocation, et elle devint un art mûr; la partie civilisée de la nation russe trouva en lui, pour la première fois, le don de la parole poétique.

Pouchkine est on ne peut plus national et, en même temps, intelligible aux étrangers. Il contrefait rarement la longue populaire des chansons russes; il exprime sa pensée, telle qu'elle surgit dans son esprit. Comme tous les grands poètes, il est toujours au niveau de son lecteur: il grandit, devient sombre, orageux, tragique, son vers mugit comme la mer, comme la forêt agitée par une tempête, mais il est en même temps serein, limpide, pétillant, avide de plaisirs, d'émotions. Partout le poète russe est réel, rien en lui de maladif, rien de cette pathologie psychologique exagérée, de ce spiritualisme chrétien abstrait qu'on voit si souvent dans les poètes allemands. Sa muse n'est pas un être pâle, aux nerfs attaqués, roulé dans un linceuil, c'est une femme ardente, entourée de l'aurole de la santé, trop riche de sentiments véritables pour en chercher de factices, assez malheureuse pour ne pas inventer des malheurs artificiels. Pouchkine avait la nature panthéiste, épicurienne des poètes grecs, mais il y avait encore dans son âme un élément tout moderne. En se repliant sur lui-même, il trouvait au fond de son âme la pensée amère de Byron, l'ironie corrosive de notre siècle.

On a cru voir dans Pouchkine un imitateur de Byron. Le poète anglais a en effet exercé une grande influence sur le poète russe. On ne sort jamais du commerce d'un homme fort et sympathique sans subir son influence, sans mûrir à ses rayons. La confirmation de ce qui vit dans notre cœur, par l'assentiment d'un esprit qui nous est cher, nous donne un élan et une portée nouvelle. Mais il y a loin de cette action naturelle à l'imitation. Après les premiers poèmes de Pouchkine où l'influence de Byron se fit sentir puissamment, il devint à chaque nouvelle production de plus en plus original; toujours plein d'admiration pour le grand poète anglais, il ne fut ni son client, ni son parasite, «ni *traduttore*, ni *traditore*».

Pouchkine et Byron s'écartent complètement l'un de l'autre vers la fin de leur carrière, et cela par une cause bien simple: Byron était profondément anglais et Pouchkine—profondément russe, russe de la période de Pétersbourg. Il connaissait toutes les souffrances de l'homme civilisé, mais il avait une foi dans l'avenir que l'homme de l'Occident n'avait plus. Byron, la grande individualité libre, l'homme qui s'isole dans son indépendance et qui s'enveloppe de plus en plus dans son orgueil, dans sa philosophie fière et sceptique, devient de plus en plus sombre et implacable. Il ne voyait aucun avenir prochain; accablé de pensées amères, dégoûté du monde, il va livrer ses destinées à un peuple de pirates slavo-hellènes qu'il prend pour des Grecs de l'ancien monde. Pouchkine, au contraire, se calme de plus en plus, il se plonge dans l'étude de l'histoire russe, rassemble des matériaux pour une

monographie de Pougatcheff, il compose un drame historique, *Boris Godounoff*, il a une foi instinctive dans l'avenir de la Russie; les cris de triomphe et de victoire qui l'ont frappé enfant encore, en 1813 et 1814, retentissaient dans son âme; il a été même entraîné pendant quelque temps par un patriotisme pétersbourgeois qui se vante du nombre de baïonnettes, qui s'appuie sur les canons. Sans doute cette morgue est aussi peu pardonnable que l'aristocratism poussé à l'excès de lord Byron, mais la cause en est évidente. Il est douloureux à dire, mais Pouchkine avait un patriotisme exclusif; de grands poètes ont été courtisans, témoins Goëthe, Racine etc.; Pouchkine n'a été ni courtisan, ni gouvernemental, mais la force brutale de l'état lui plaisait par instinct patriotique, ce qui fit qu'il partagea le vœu barbare de répondre aux raisonnements par des boulets. La Russie est en partie esclave, parce qu'elle trouve de la poésie dans la force matérielle et voit de la gloire à être l'épouvantail des peuples.

Ceux qui disent qu'*Onéguine*, poème de Pouchkine, est le *don Juan* des mœurs russes, ne comprennent ni Byron, ni Pouchkine, ni l'Angleterre, ni la Russie: ils s'en tiennent à la forme extérieure. *Onéguine* est la production la plus importante de Pouchkine, elle a absorbé la moitié de son existence. Ce poème sort même de la période qui nous occupe, il a été mûri par les tristes années qui ont suivi le 14 décembre, et l'on irait croire qu'une œuvre pareille, une autobiographie poétique serait une imitation!

Onéguine, ce n'est ni Hamlet, ni Faust, ni Manfred, ni Obermann, ni Trennmor, ni Charles Moor: *Onéguine* est un Russe, il n'est possible qu'en Russie, là il est nécessaire et on l'y rencontre à chaque pas. *Onéguine*, c'est un fainéant parce qu'il n'a jamais eu d'occupation, un homme superflu dans la sphère où il se trouve, sans avoir assez de force de caractère pour en sortir. C'est un homme qui tente la vie jusqu'à la mort et qui voudrait essayer de la mort pour voir si elle ne vaut pas mieux que la vie. Il a tout commencé sans rien poursuivre, il a pensé d'autant plus qu'il a moins fait, il est vieux à l'âge de vingt ans et rajeunit par l'amour en commençant à vieillir. Il a toujours attendu, comme nous tous, quelque chose, parce que l'homme n'a pas assez de folie pour croire à la durée de l'état actuel de la Russie... Rien n'est venu, et la vie s'en allait. Le personnage d'*Onéguine* est si national qu'il se rencontre dans tous les romans et dans tous les poèmes qui ont eu quelque retentissement en Russie, non pas qu'on ait voulu le copier, mais parce qu'on le trouve continuellement autour de soi ou en soi-même.

Tchatchki, le héros d'une comédie célèbre de Griboïédoff, est un *Onéguine* raisonneur, son frère aîné.

Le Héros de nos jours, par Lermontoff, est son frère cadet. Même dans les productions secondaires, Onéguine reparait, outré ou incomplet, mais reconnaissable. Si ce n'est lui, c'est au moins sa copie. Le jeune voyageur, dans le *Tarantass* du C^{te} Sollogoub, est un Onéguine borné et mal élevé. Le fait est que tous nous sommes plus ou moins Onéguine, à moins que nous n'aimions mieux être *tchinounik* (employés) ou *pométschik* (propriétaires).

Le civilisation nous perd, nous désoriente, c'est elle qui fait que nous sommes à charge aux autres et à nous-mêmes, désœuvrés, inutiles, capricieux; que nous passons de l'excentricité à la débauche, dépensant sans regret notre fortune, notre cœur, notre jeunesse, et cherchant des occupations, des sensations, des distractions, comme les chiens d'Aix-la-Chapelle de Heine qui demandent aux passants, comme une grâce, un coup de pied pour les désennuyer. Nous faisons tout: de la musique, de la philosophie, de l'amour, de l'art militaire, du mysticisme, pour nous distraire, pour oublier le vide immense qui nous opprime.

Civilisation et esclavage, sans même qu'il y ait «un chiffon» entre les deux, pour empêcher que nous ne soyons pas broyés intérieurement ou extérieurement entre ces deux extrêmes forcément rapprochés!

On nous donne une éducation large, on nous inocule les désirs, les tendances, les souffrances du monde contemporain, et l'on nous crie: «Restez esclaves, muets, passifs, ou vous êtes perdus». En récompense, on nous laisse le droit d'écorcher le paysan et de dissiper sur le tapis vert ou au cabaret l'impôt de sang et de larmes que nous prélevons sur lui.

Le jeune homme ne rencontre aucun intérêt vivace dans ce monde de servilisme et d'ambition mesquine. Et pourtant, c'est dans cette société qu'il est condamné à vivre, car le peuple est encore plus éloigné de lui. «Ce monde» est au moins composé d'êtres déçus de la même espèce, tandis qu'il n'y a rien de commun entre lui et le peuple. Les traditions ont été si bien rompues par Pierre I^{er} qu'il n'y a pas de force humaine capable de les réunir, au moins quant à présent. Reste l'isolement ou la lutte, et nous n'avons pas assez de force morale ni pour le premier, ni pour la seconde. C'est ainsi qu'on se fait Onéguine, si l'on ne périt pas dans les maisons publiques ou dans les casernes d'une forteresse.

Nous avons volé la civilisation, et Jupiter veut nous punir avec le même acharnement qu'il a mis à tourmenter Prométhée.

À côté d'Onéguine, Pouchkine a placé Wladimir Lenski, autre victime de la vie russe, le *vice versa* d'Onéguine. C'est la souffrance aiguë, à côté de la souffrance chronique. C'est une de ces natures vir-

ginales, pures, qui ne peuvent s'acclimater dans un milieu corrompu et fou, qui ont accepté la vie, mais ne peuvent rien accepter de plus du sol immonde, si ce n'est la mort. Victimes expiatoires, ces adolescents passent jeunes, pâles, marqués au front par la fatalité, comme un reproche, comme un remords et laissent encore plus noire la nuit triste dans laquelle « nous nous mouvons et sommes ».

Pouchkine a tracé le caractère de Lenski avec cette tendresse qu'on a pour les rêves de sa jeunesse, pour les réminiscences de ce temps où l'on a été si plein d'espérance, de pureté, d'ignorance. Lenski est le dernier cri de conscience d'Onéguine, car c'est lui-même, c'est son idéal de jeunesse. Le poète a vu qu'un tel homme n'avait rien à faire en Russie, il l'a tué de la main d'Onéguine, d'Onéguine qui l'aimait et qui, en le visant, ne voulait pas le blesser. Pouchkine s'est effrayé lui-même de cette fin tragique, il se presse de consoler le lecteur, en lui traçant la vie banale qui attendait le jeune poète.

A côté de Pouchkine se place aussi un Lenski — ce fut Vénévitinoff, âme candide et poétique, écrasée par les mains grossières de la vie russe, à vingt-deux ans.

Entre ces deux types, entre l'enthousiaste dévoué, entre le poète, et de l'autre côté, l'homme fatigué, aigri, inutile; entre la tombe de Lenski et l'ennui d'Onéguine, se traîne le fleuve profond et bourbeux de la Russie civilisée, avec ses aristocrates, bureaucrates, officiers, gendarmes, - - - - - masse informe et muette de bassesse, de servilisme, de férocité et d'envie qui entraîne et engloutit tout, « ce gouffre, comme dit Pouchkine, où, cher lecteur, nous nous baignons avec vous ».

Pouchkine a débuté par des poésies révolutionnaires d'une grande beauté. Alexandre l'a exilé de Pétersbourg sur les confins méridionaux de l'Empire; nouvel Ovide, il passa l'époque de sa vie de 1819 à 1825 dans la Khersonèse taurique. Séparé de ses amis, loin du mouvement politique, au centre d'une nature magnifique, mais sauvage, Pouchkine, poète avant tout, se concentra dans son lyrisme; ses pièces lyriques sont les phases de sa vie, la biographie de son âme; on y trouve les vestiges de tout ce qui émouvait cette âme de feu, la vérité et l'erreur, l'entraînement passager d'un moment et les sympathies profondes et éternelles.

Nicolas rappela Pouchkine de l'exil quelques jours après avoir fait pendre les héros du 14 décembre. Il voulut le perdre dans l'opinion publique par sa grâce, le réduire par ses bontés.

Pouchkine rentra et ne reconnut plus ni la société de Moscou, ni la société de Pétersbourg. Il ne trouva plus ses amis, on n'osait même pas proférer leur nom, on ne parlait que d'arrestations, de vi-

sites domiciliaires, d'exil; tout était sombre et terrifié. Il rencontra un instant Miçkiewicz, cet autre poète slave; ils se tendirent la main, comme au milieu d'un cimetière. L'orage grondait sur leurs têtes: Pouchkine revenait de l'exil, Miçkiewicz s'y rendait. Leur entrevue fut lugubre, mais ils ne se comprirent pas. Le cours de Miçkiewicz, au Collège de France, a mis au jour le dissentiment qui existait entre eux; pour un Polonais et un Russe le temps de se comprendre n'était pas encore arrivé.

Nicolas, continuant - - - - - , nomma Pouchkine gentilhomme de la chambre. Celui-ci saisit le trait et ne vint pas à la cour. On lui présenta alors l'alternative de se rendre au Caucase ou de revêtir l'habit de cour. Il était déjà marié à une femme qui a causé ensuite sa perte, un second exil lui paraissait plus pénible que le premier, — il opta pour la cour. On reconnaît le mauvais côté du caractère russe dans ce manque de fierté, de résistance, dans cette souplesse douteuse.

Le grand-duc héritier le complimentant un jour à l'occasion de sa promotion, «Altesse»,—lui répondit Pouchkine,—«vous êtes le premier qui me félicitez à ce sujet».

En 1837, Pouchkine fut tué en duel par un de ces spadassins étrangers qui, comme les mercenaires du moyen-âge ou les Suisses de nos jours, vont mettre leur épée au service de tout despotisme. Il tomba au milieu de la plénitude de ses forces, sans avoir achevé ses chants, sans avoir dit ce qu'il avait à dire.

Tout Pétersbourg, à l'exception de la cour et de son entourage, pleura; ce fut alors seulement qu'on vit quelle popularité il avait acquise. Pendant son agonie, une foule compacte se pressait autour de sa maison pour avoir des nouvelles de sa santé. Comme c'était à deux pas du palais d'hiver, l'empereur put, de ses fenêtres, contempler la foule; il en conçut de la jalousie et confisqua au public les funérailles du poète: on transporta furtivement, par une nuit glaciale, le corps de Pouchkine, entouré de gendarmes et d'agents de police, dans une tout autre église que celle de sa paroisse; là, un prêtre lut hâtivement la messe des morts, un traîneau emporta le corps du poète dans un couvent du gouvernement de Pskow, où se trouvaient ses terres. Lorsque la foule ainsi trompée se porta à l'église où avait été déposé le défunt, la neige avait déjà effacé toute trace du convoi.

Un sort terrible et sombre est réservé chez nous à quiconque ose lever la tête au-dessus du niveau tracé - - - - - poète, citoyen, penseur, une fatalité inexorable les pousse dans la tombe. L'histoire de notre littérature est un martyrologue ou un registre des bagnes. Ceux même que le gouvernement a épargnés, périssent, à peine éclos, se pressant de quitter la vie.

Là sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente a cui il morir non duole.

Ryléieff pendu par Nicolas.

Pouchkine tué dans un duel, à trente-huit ans.

Griboïédoff assassiné à Téhéran.

Lermontoff tué dans un duel, à 30 ans, au Caucase.

Vénévitinoff tué par la société, à vingt-deux ans.

Koltzoff tué par sa famille, à trente-trois ans.

Bélinsky tué, à trente-cinq ans, par la faim et la misère.

Polejaeff mort dans un hôpital militaire, après avoir été forcé de servir, comme soldat, au Caucase pendant huit années.

Boratynsky mort après un exil de douze ans.

Bestujeff succombé au Caucase, tout jeune encore, après les travaux forcés en Sibérie...

«Malheur»,—dit l'écriture,—«aux peuples qui lapident leurs prophètes!» mais le peuple russe n'a rien à craindre, car il n'y a rien à ajouter à son malheureux sort.

V.

La littérature et l'opinion publique

après le 14 décembre 1825.

Les vingt-cinq années qui suivent le 14 (26) décembre sont plus difficiles à caractériser que toute l'époque écoulée depuis Pierre I^{er}. Deux courants en sens inverse, l'un à la surface, l'autre à une profondeur où on le distingue à peine, embrouillent l'observation. A l'apparence, la Russie restait immobile, elle paraissait même reculer; mais, au fond, tout prenait une face nouvelle, les questions devenaient plus compliquées, les solutions moins simples.

A la surface de la Russie officielle, «de l'empire des façades», on ne voyait que des pertes, une réaction féroce, des persécutions inhumaines, un redoublement - - - - - . On voyait Nicolas entouré de médiocrités, de soldats de parades, d'Allemands de la Baltique et de conservateurs sauvages, lui-même méfiant, froid, obstiné, - - - - -
- - - - - comme son entourage. Immédiatement au-dessous de lui se rangeait la haute société qui, au premier coup de tonnerre qui éclata sur sa tête après le 14 décembre, avait perdu les notions à peine acquises d'honneur et de dignité. L'aristocratie russe ne se releva plus sous le règne de Nicolas, sa fleuraison était

passée; tout ce qu'il y avait de noble et de généreux dans son sein était aux mines ou en Sibérie. Ce qui restait ou se maintint dans les bonnes grâces - - - - tomba à ce degré d'abjection ou de servilisme qu'on connaît par le tableau qu'en a tracé M. de Custine.

Venaient ensuite les officiers de la garde; de brillants et civilisés ils devinrent de plus en plus des sergents encroûtés. Jusqu'à l'année 1825, tout ce qui portait l'habit civil reconnaissait la supériorité des épaulettes. Pour être *comme il faut*, il fallait avoir servi une couple d'années à la garde, ou au moins dans la cavalerie. Les officiers étaient l'âme des réunions, les héros des fêtes et des bals, et, pour dire la vérité, cette prédilection n'était pas dénuée de fondement. Les militaires étaient plus indépendants et se tenaient sur un pied plus digne que les bureaucrates rampants et pusillanimes. Les choses prirent une autre face, la garde partagea le sort de l'aristocratie; les meilleurs officiers étaient exilés, un grand nombre d'autres abandonnèrent le service, ne pouvant supporter le ton grossier et impertinent introduit - - - - . On se hâtait de remplir les places vides par de bons troupiers ou des piliers de caserne et de manège. Les officiers tombèrent dans l'estime de la société, l'habit noir prit le dessus, et l'uniforme ne domina que dans les petites villes de province et à la cour, - - - - . Les membres de la famille impériale, de même que son chef, marquent, pour les militaires, une préférence outrée - - - - dans leur position. La froideur du public pour l'uniforme n'allait cependant pas jusqu'à l'admission des employés civils dans la société. Même dans les provinces, on avait une répulsion invincible pour eux, ce qui n'empêcha pas du reste que l'influence des bureaucrates ne s'accrût. Toute l'administration devint, d'aristocratique et d'ignorante qu'elle était, rabuliste et mesquine après 1825. Les ministères se changèrent en bureaux, leurs chefs et les fonctionnaires supérieurs devinrent des hommes d'affaires ou des scribes. Ils étaient par rapport au civil ce que les troupiers désespérants étaient à la garde. Connaisseurs consommés de toutes les formalités, exécuteurs froids et dépourvus de raisonnement des ordres supérieurs, ils étaient dévoués au gouvernement par amour de concussion. Il fallait - - - - de tels officiers et de tels administrateurs.

La caserne et la chancellerie étaient devenues les pivots de la science politique de Nicolas. Une discipline aveugle et dénuée de sens commun, accouplée au formalisme inanimé des buralistes autrichiens, tels sont les ressorts de l'organisation célèbre du pouvoir fort en Russie. Quelle pauvreté de pensée gouvernementale, quelle prose - - - - et quelle pitoyable banalité! C'est la forme la plus simple et la plus brutale du despotisme.

Ajoutons à cela le C^{te} Benckendorf, chef du corps des gendarmes, formant une inquisition armée, une maçonnerie policière qui avait ses frères *écouteurs* et *écoutants* dans tout les coins de l'empire, de Riga à Nertchinsk; président de la 3^{me} section de la chancellerie de Sa Majesté (telle est la dénomination du bureau central de l'espionnage), jugeant tout, cassant les décisions des tribunaux, se mêlant de tout et surtout des délits politiques. Devant ce bureau-tribunal se voyait traduite de temps à autre la civilisation, sous les traits de quelque littérateur ou étudiant qu'on exilait ou enfermait dans la forteresse, et qui était bientôt remplacé par un autre.

En un mot, à la vue de la Russie officielle, on n'avait que le désespoir au cœur; d'un côté, la Pologne disséminée, martyrisée avec une ténacité épouvantable; de l'autre, - - - - - d'une guerre qui n'a pas discontinué pendant tout le règne et qui engloutit des armées sans avancer d'un pas notre domination au Caucase; au centre avilissement général et incapacité gouvernementale.

Mais à l'intérieur il se faisait un grand travail, un travail sourd et muet, mais actif et non interrompu: le mécontentement croissait partout, les idées révolutionnaires ont plus gagné de terrain dans ces vingt-cinq années que durant le siècle entier qui les a précédées, et pourtant, elles ne pénétraient pas jusqu'au peuple.

Le peuple russe continuait à se tenir éloigné des sphères politiques; il n'avait guère de raisons pour prendre part au travail qui s'opérait dans les autres couches de la nation. Les longues souffrances obligent à une dignité de son genre; le peuple russe a trop souffert pour avoir le droit de s'agiter pour une petite amélioration de son état: il vaut mieux rester franchement un mendiant en haillons que de revêtir un habit rapiécé. Mais s'il ne prenait aucune part dans le mouvement des idées qui occupait les autres classes, cela ne signifie nullement qu'il ne se passât rien dans son âme. Le peuple russe respire plus lourdement que jadis, son regard est plus triste; l'injustice du servage et le pillage des fonctionnaires publics deviennent pour lui plus insupportables. Le gouvernement a troublé le calme de la commune par l'organisation forcée des travaux; on a emprisonné et restreint le repos du paysan dans sa cabane par l'introduction de la police rurale (*stanovyé pristavà*) dans les villages mêmes. Les procès contre les incendiaires, les meurtres des seigneurs, les insurrections de paysans s'augmentèrent dans une grande proportion. L'immense population des dissidents murmure; exploitée, opprimée par le clergé et la police, elle est bien loin de se rallier, et l'on entend parfois dans ces mers mortes et inaccessibles pour nous des sons vagues qui présagent des tempêtes terribles. Ce mécontentement du peuple russe dont nous

parlons n'est point visible au regard superficiel. La Russie paraît toujours si tranquille qu'on a de la peine à croire qu'il s'y passe quelque chose. Peu de gens savent ce qui se fait derrière le linceul dont le gouvernement couvre les cadavres, les taches de sang, les exécutions militaires, disant avec hypocrisie et arrogance qu'il n'y a ni sang ni cadavres derrière ce linceul. Que savons-nous des incendiaires de Simbirsk, du massacre des seigneurs, organisé simultanément par un nombre de villages? Que savons-nous des révoltes partielles qui ont éclaté lors de l'introduction de la nouvelle administration par Kisseleff, que savons-nous des insurrections de Kazan, de Viatka, de Tambow, où l'on a dû avoir recours aux canons?....

Le travail intellectuel dont nous parlions ne se faisait ni au sommet de l'état, ni à sa base, mais entre les deux, c'est-à-dire en majeure partie entre la petite et la moyenne noblesse. Les faits que nous citerons ne paraissent pas avoir une grande importance, mais il ne faut pas oublier que la propagande, comme toute éducation, a peu d'éclat, surtout lorsqu'elle n'ose même pas paraître au grand jour.

L'influence de la littérature s'accroît notablement et pénètre beaucoup plus loin que jadis; elle ne trahit pas sa mission et reste libérale et propagandiste, autant que cela est possible avec la censure.

La soif de l'instruction s'empare de toute la nouvelle génération; les écoles civiles ou militaires, les gymnases, les lycées, les académies regorgent d'élèves; les enfants des parents les plus pauvres se pressent aux différents instituts. Le gouvernement qui alléçait encore en 1804 par des privilèges les enfants à l'école, arrête par tous les moyens leur affluence; on crée des difficultés à l'admission, aux examens; on impose les élèves; le ministre de l'instruction publique limite par une ordonnance l'instruction des serfs. Cependant l'université de Moscou devient la cathédrale de la civilisation russe; - - - - - , la boude; il exile chaque année une fournée de ses élèves, il ne l'honore pas de ses visites en passant à Moscou, mais l'université fleurit, gagne en influence; mal vue, elle n'attend rien, poursuit son travail et devient une véritable puissance. L'élite de la jeunesse des provinces avoisinant Moscou, se porte à son université, et chaque année une phalange de licenciés se répandent dans tout l'état en fonctionnaires, médecins ou précepteurs.

Au fond des provinces, et principalement à Moscou, s'augmentait à vue d'œil une classe d'hommes indépendants, n'acceptant aucun service public et s'occupant de la gestion de leurs biens, de science, de littérature; ne demandant rien au gouvernement, si ce n'est de les laisser tranquilles. C'était tout le contraire de la noblesse de Pétersbourg, attachée au service public et à la cour, dévorée d'une ambi-

tion servile qui attendait tout du gouvernement et ne vivait que par lui. Ne rien solliciter, rester indépendant, ne pas chercher de fonctions, cela s'appelle, sous un régime - - - - - faire de l'opposition. Le gouvernement voyait d'un mauvais œil ces *fainéants* et en était mécontent. Ils formaient en effet un noyau d'hommes civilisés et mal disposés à l'égard du régime pétersbourgeois. Les uns passaient des années entières en pays étrangers, important de là des idées libérales; les autres venaient pour quelques mois à Moscou, s'enfermaient le reste de l'année dans leurs terres où ils lisaient tout ce qui paraissait de nouveau et se tenaient au courant de la marche intellectuelle en Europe. La lecture devint un objet de mode parmi les nobles de la province. On se piquait d'avoir des bibliothèques, on faisait venir au moins les nouveaux romans français, le *Journal des Débats* et la *Gazette d'Augsbourg*; posséder des livres prohibés formait le suprême bon genre. Je ne connais pas une seule maison bien tenue où il n'y ait eu l'ouvrage de M. de Custine sur la Russie, spécialement défendu - - - - - . Privée de toute action, placée sous la menace incessante de la police secrète, la jeunesse se plongeait avec d'autant plus de ferveur dans la lecture. La masse d'idées en circulation s'augmentait.

Mais quelles furent les nouvelles pensées, les tendances qui se produisirent après le 14 décembre? ¹⁾

Les premières années qui suivirent 1825, furent terribles. Il fallait une dizaine d'années avant de se retrouver dans cette malheureuse position d'asservissement et de persécution. Un désespoir profond et un abattement général s'étaient emparés des hommes. La haute société se hâtait, avec un empressement lâche et vil, de renier tous les sentiments humains, toutes les pensées civilisées. Il n'y avait presque pas de famille aristocratique qui n'eût de proche parents au nombre des exilés, et presque aucune d'elles n'osa porter le deuil ou laisser percer des regrets. Et lorsqu'on se détournait de ce triste spectacle de servilisme, lorsqu'on se concentrait dans la méditation pour y trouver un conseil ou un espoir, on rencontrait une pensée terrible qui faisait glacer le cœur.

Plus d'illusion possible: le peuple resta spectateur indifférent du 14 décembre. Tout homme consciencieux voyait le résultat terrible du divorce complet d'entre la Russie nationale et la Russie européisée.

¹⁾ Ce n'est pas sans une certaine frayeur que j'aborde cette partie de ma revue. On comprendra qu'il m'est impossible de tout dire, de nommer les personnes; dans beaucoup de cas, pour parler d'un Russe, il faut le savoir sous terre ou en Sibérie. Je ne me suis même décidé à cette publication qu'après de mûres réflexions: le mutisme soutient - - - - - les choses qu'on n'ose pas dire *n'existent qu'à demi.*—A. H.

Tout lien actif était rompu entre les deux partis, il fallait le renouer, mais de quelle manière? C'était là une grande question. Les uns pensaient qu'on n'arriverait à rien en laissant la Russie à la remorque de l'Europe; ils fondaient leurs espérances, non sur l'avenir, mais sur le retour au passé. Les autres ne voyaient dans l'avenir que malheur et désolation. Ils maudissaient la civilisation hybride et le peuple apathique. Une tristesse profonde s'empara de l'âme de tous les hommes pensants.

Le chant sonore et large de Pouchkine résonnait seul dans les plaines de l'esclavage et du tourment; ce chant prolongeait l'époque passée, remplissait de ses sons mâles le présent et envoyait sa voix à l'avenir lointain. La poésie de Pouchkine était un gage et une consolation. Les poètes qui vivent dans les temps de désespoir et de décadence, n'ont pas de chants pareils; ils ne conviennent guère aux enterrements.

L'inspiration de Pouchkine ne l'a pas trompé. Le sang qui avait afflué au cœur frappé de terreur, ne pouvait s'y arrêter: il recommença bientôt à se manifester à l'extérieur.

Déjà on voyait un publiciste élever courageusement la voix pour rallier les timorés. Cet homme qui avait passé toute sa jeunesse en Sibérie, sa patrie, s'occupant de commerce qui ne tarda pas à le dégoûter, s'adonna à la lecture. Dénué de toute instruction, il apprit sans maître le français et l'allemand et vint se fixer à Moscou. Là, sans collaborateurs, sans connaissances, sans nom dans la littérature, il conçut l'idée de rédiger une revue mensuelle. Il étonna bientôt les lecteurs par la variété encyclopédique de ses articles. Il écrivait hardiment sur la jurisprudence et sur la musique, sur la médecine et sur la langue sanscrite. L'histoire russe était une de ses spécialités, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire des nouvelles, des romans et enfin des critiques, dans lesquelles il obtint bientôt un grand succès.

Dans les écrits de Polevoï on chercherait en vain une grande érudition, une profondeur philosophique, mais il savait, dans chaque question, relever le côté humanitaire; ses sympathies étaient libérales. Sa revue, *Le Télégraphe de Moscou*, a eu une grande influence, et nous devons d'autant plus reconnaître le service qu'elle a rendu, qu'elle se publiait dans le temps le plus sinistre. Que pouvait-on écrire le lendemain de l'insurrection, la veille des exécutions? La position de Polevoï était très-difficile. Son obscurité d'alors le sauva des persécutions. On écrivait peu à cette époque; une moitié des hommes de lettres était en exil, l'autre se taisait. Un petit nombre de rénégats, comme les frères siamois Gretch et Boulgarine, s'étaient ralliés au gouvernement, après avoir couvert leur participation au 14 décembre par des dénonciations

contre leurs amis et par la *suppression* d'un prote qui avait composé sous leurs ordres, à l'imprimerie de Gretch, des proclamations révolutionnaires. Ils dominaient à eux seuls alors le journalisme de Pétersbourg. Ils y faisaient de la police, et non de la littérature. Polevoï *sut* se maintenir contre toute réaction jusqu'en 1834, sans trahir la cause; nous ne devons pas l'oublier.

Polevoï a commencé à démocratiser la littérature russe, il la fit descendre de ses hauteurs aristocratiques et la rendit plus populaire ou, au moins, plus bourgeoise. Ses plus grands ennemis étaient les autorités littéraires qu'il attaqua avec une ironie impitoyable. Il avait complètement raison de penser que tout anéantissement d'autorité est un acte révolutionnaire et que l'homme qui a su s'émanciper de l'oppression des grands noms et des autorités scholastiques, ne peut rester entièrement esclave religieux, ni esclave civil. Avant Polevoï, les critiques se hasardaient quelquefois, au milieu d'une quantité de réticences et d'excuses, à de légères observations sur Derjavine, Karamzine ou sur Dmitrieff, tout en reconnaissant que leur grandeur était incontestable. Polevoï se mit, dès le premier jour, sur un pied de parfaite égalité, et commença à s'en prendre aux figures graves et dogmatiques de ces grands maîtres. Le vieillard Dmitrieff, poète et ci-devant ministre de la justice, parlait avec tristesse et effroi de l'anarchie littéraire qu'introduisait Polevoï par son manque de respect pour les hommes dont les services étaient reconnus par le pays entier.

Polevoï n'attaqua pas seulement les autorités littéraires, mais encore les savants; il osait douter de leur science, lui, le petit négociant sibérien qui n'avait pas fait d'études. Les savants *ex officio* se lièrent avec les littérateurs émérites aux cheveux blancs et commencèrent une guerre en règle contre le journaliste insurgé.

Polevoï, connaissant le goût du public, anéantissait ses ennemis par des articles mordants. Il répondait par une plaisanterie aux observations savantes et par une impertinence qui faisait rire aux éclats, à une dissertation ennuyeuse. On ne peut se faire une idée de la curiosité avec laquelle le public suivait la marche de cette polémique. On eût dit qu'il comprenait qu'en attaquant les autorités littéraires, Polevoï avait en vue d'autres autorités. Il profitait en effet de chaque occasion pour toucher les questions les plus épineuses de la politique et il le faisait avec une adresse admirable. Il disait presque tout, sans qu'on pût jamais s'en prendre à lui. Il faut le dire, la censure contribue puissamment à développer le style et l'art de maîtriser sa parole. L'homme, irrité par un obstacle qui l'offense, veut le vaincre et y parvient presque toujours. La périphrase porte en elle les traces de l'émotion, de la lutte; elle est plus passionnée que le simple énoncé. Un mot sous-entendu

est plus fort sous son voile, toujours transparent pour celui qui veut comprendre. La parole comprimée concentre plus de sens, elle est aigrie; parler de la manière que la pensée soit lucide, mais que les mots viennent au lecteur lui-même, c'est la meilleure manière de convaincre. Les sous-entendus augmentent la force de la parole, la nudité comprime l'imagination. Le lecteur qui sait combien l'écrivain doit se tenir en garde, lit avec attention; un lien secret s'établit entre lui et l'auteur: l'un cache ce qu'il écrit, l'autre—ce qu'il comprend. La censure aussi est une toile d'araignée qui prend les petites mouches, et que les grandes déchirent. Les personnalités, les allusions meurent sous *l'encre rouge*; les pensées énergiques, la poésie véritable passent avec mépris à travers ce vestiaire, en se laissant tout au plus un peu brosser ¹⁾.

Avec le *Télégraphe*, les revues commencent à dominer dans la littérature russe. Elles absorbent tout le mouvement intellectuel. On achetait peu de livres, les meilleures poésies et nouvelles voyaient le jour dans les revues, et il fallait quelque chose d'extraordinaire, un poème de Pouchkine ou un roman de Gogol, pour attirer l'attention d'un public, aussi clairsemé que l'est celui des lecteurs en Russie. Dans aucun pays, l'Angleterre exceptée, l'influence des revues n'a été aussi grande. C'est en effet la meilleure forme pour répandre la lumière dans un pays vaste. *Le Télégraphe*, *le Messenger de Moscou*, *le Télescope*, *la Bibliothèque de lecture*, *les Annales patriotiques* et leurs fils naturel, *le Contemporain*, sans égard à leurs tendances très-diverses, ont répandu une quantité immense de connaissances, de notions, d'idées pendant les dernières vingt-cinq années. Elles mettaient les habitants des gouvernements d'Omsk et de Tobolsk dans la possibilité de lire les romans de Dickens ou de George Sand, deux mois après leur apparition à Londres ou à Paris. Leur périodicité même avait l'avantage de réveiller les lecteurs paresseux.

Polevoï a trouvé le moyen de continuer le *Télégraphe* jusqu'en 1834. Et pourtant la persécution de la pensée redoubla après la révolution de Pologne. - - - - - vainqueur perdit toute fausse honte, toute pudeur. On punissait les espiègleries d'écoliers, comme des révoltes à main armée, on exilait des enfants de 15 à 16 ans, on les faisait soldats à vie. Un étudiant de l'université de Moscou, Poléjaïeff,

¹⁾ Après la révolution de 1848, la censure est devenue la monomanie - - - - . Non content de la censure ordinaire et des deux censures qu'il a établies hors de ses états, à Jassy et à Bukharest, où l'on n'écrit pas en russe, il a créé une seconde censure à Pétersbourg; nous sommes disposés à espérer que cette double censure sera plus utile que la censure simple. On arrivera à imprimer les livres russes hors de la Russie, on le fait déjà, et c'est à savoir qui sera plus adroit, de la parole libre ou - - - - - .—A. H.

déjà connu par ses poésies, fit quelques vers libéraux. Niçolas, sans le faire juger, le fit venir chez lui, lui ordonna de lire ses vers à haute voix, *l'embrassa* et l'envoya, comme simple soldat, dans un régiment, peine absurde qui ne pouvait surgir - - - - -
 - - - - - qui prend l'armée russe pour une maison de correction ou pour un bagne. *Huit ans* après, le soldat Poléjaieff mourut à l'hôpital militaire. Un an plus tard, les frères Kritzki, également étudiants de Moscou, allaient aux colonies disciplinaires pour avoir, si je ne me trompe pas, cassé le buste de l'empereur. Depuis, personne n'a entendu parler d'eux. En 1832, sous le prétexte d'une société secrète, on arrêtait une douzaine d'étudiants qu'on envoyait ensuite aux garnisons d'Orenbourg où on leur adjoignait le fils d'un ministre luthérien, Jules Kolreïf, qui n'a jamais été sujet russe, qui ne s'est jamais occupé que de musique, mais qui avait osé dire qu'il ne voyait pas de devoir à dénoncer ses amis. En 1834, on nous jeta, mes amis et moi, dans les prisons, et, après huit mois, on nous exila en qualité de scribes aux chancelleries des provinces éloignées. On nous accusait de *l'intention* de former une société secrète et de vouloir faire de la propagande St.-Simonienne; on nous lut, par forme de mauvaise plaisanterie, la sentence de mort et l'on nous annonça que l'empereur, avec la bonté - - - - - qui le caractérise, n'avait ordonné contre nous qu'une peine correctionnelle—l'exil. Cette punition a duré plus de cinq ans.

Le *Télégraphe* fut suspendu le même an 1834. Polevoï, en perdant son journal, se trouva dérouté. Ses essais littéraires ne marchèrent plus; aigri et désappointé, il quitta Moscou pour aller vivre à Pétersbourg. Un étonnement douloureux accueillit les premiers numéros de sa nouvelle revue (*Le Fils de la Patrie*). Il devint soumis, flatteur. C'était triste de voir ce lutteur audacieux, cet ouvrier infatigable, qui avait su traverser les temps les plus difficiles sans désertier son poste, transiger avec ses ennemis, dès qu'on eut suspendu sa revue. C'était triste d'entendre le nom de Polevoï accouplé aux noms de Gretch et de Boulgarine, triste aussi d'assister à la représentation de ses pièces dramatiques applaudies par les agents secrets et les laquais officiels.

Polevoï sentait sa chute, il en souffrait, il devint abattu. Il voulait même sortir de sa fausse position, se justifier, mais il n'en avait pas la force et il se compromettait ainsi auprès du gouvernement sans rien gagner vis-à-vis du public. Sa nature, plus noble que sa conduite, ne pouvait supporter longtemps cette lutte. Il mourut bientôt, laissant ses affaires dans un désarroi complet. Toutes ses concessions ne lui ont rien apporté.

Il y eut deux continuateurs de l'œuvre de Polevoï: Sénkowsky et Bélinsky.

Sénkowsky, Polonais russifié, orientaliste et académicien, a été un écrivain plein d'esprit, grand travailleur, sans aucune opinion, à moins d'appeler opinion un profond mépris des hommes et des choses, des convictions et des théories. Sénkowsky fut le véritable représentant du *pli* que l'esprit public avait pris depuis 1825, un vernis brillant mais glacé, un sourire de dédain qui cachait souvent un remords, une soif de jouissance aiguillonnée par l'incertitude qui planait sur le sort de chaque homme, un matérialisme moqueur et pourtant triste, des plaisanteries gênées d'homme en prison.

Bélinsky fut l'antithèse de Sénkowsky, c'était un type de la jeunesse studieuse de Moscou, martyr de ses doutes et de ses pensées, enthousiaste, poète dans la dialectique; froissé par tout ce qui l'entourait, il se consumait en tourments. Cet homme palpait d'indignation et frémissait de rage au spectacle éternel - - - - - russe.

Sénkowsky fonda sa revue, comme on fonde une entreprise commerciale. Nous ne partageons pas cependant l'avis de ceux qui voyaient en elle une tendance gouvernementale. Elle fut lue avec avidité dans toute la Russie, ce qui n'est jamais arrivé à un journal ou à un livre écrit dans les intérêts du pouvoir. *L'Abeille du Nord* protégée par la police, n'a fait une exception à cette règle qu'en apparence: c'était la *seule* feuille politique et non officielle qui fût tolérée, ce qui explique sa vogue; mais dès que les journaux officiels ont eu une rédaction supportable, *L'Abeille du Nord* a été délaissée par ses lecteurs. Il n'y a pas de gloire, de réputation qui ait pu supporter le contact mortel et avilissant du gouvernement. Tous ceux qui lisent en Russie - - - - - le pouvoir; tous ceux qui l'aiment, ne lisent pas ou ne lisent que des futilités françaises. Pouchkine, la plus grande illustration russe, a été délaissé quelque temps pour un compliment qu'il a fait à Nicolas, après le choléra, et pour deux poésies politiques. Gogol, l'idole des lecteurs russes, tomba tout-à-coup dans le plus profond mépris pour une brochure servile. Polevoï s'éclipça le jour où il fit alliance avec le gouvernement. On ne pardonne pas en Russie à un renégat.

Sénkowsky parlait avec mépris du libéralisme et de la science, mais en revanche, il n'avait de respect pour rien. Il s'imaginait être éminemment pratique, parce qu'il prêchait un matérialisme théorique, et, comme tous les théoriciens, il a été dépassé par d'autres théoriciens beaucoup plus abstraits, mais qui avaient des convictions ardentes, ce qui est infiniment plus pratique et plus près de l'action que la *practologie*.

Ridiculisant tout ce qu'il y a de plus sacré pour l'homme, Sénkowsky, sans le vouloir, détruisait dans les esprits le monarchisme. Prêchant le confort, les joies sensuelles, il amenait les hommes à la

pensée très simple qu'il est impossible de jouir en pensant continuellement aux gendarmes, aux dénonciations et à la Sibérie, que la peur n'est pas confortable, et qu'il n'y a pas d'homme qui puisse bien dîner s'il ne sait pas où il couchera. .

Sénkowsky était de son temps; en balayant à l'entrée d'une nouvelle époque, il mêlait des objets de valeur avec la poussière, mais il déblayait le terrain pour un autre temps qu'il ne comprenait pas. Il le sentait lui-même, et, dès que quelque chose de nouveau et d'énergique eut percé dans la littérature, Sénkowsky plia ses voiles et s'effaça bientôt complètement.

Sénkowsky avait été entouré d'un cercle de jeunes littérateurs qu'il perdait en corrompant leur goût. Ils introduisirent un genre qui paraissait brillant à la première vue et frelaté à la seconde. Poésie de Pétersbourg, ou mieux encore de Wassili-Ostrov¹⁾, il n'y avait rien de vivant, de réel dans les images hystériques qu'évoquaient les Koukolnik, les Bénédiktoff, les Timoféïeff, etc. De pareilles fleurs ne pouvaient s'épanouir qu'aux pieds - - - - - et à l'ombre de la forteresse de Pierre et Paul.

A Moscou, la revue qui remplaça le *Télégraphe* supprimé, fut le *Télescope*; cette revue n'a pas eu autant de longévité que celle qui l'avait précédée, mais sa mort fut des plus glorieuses. Ce fut elle qui inséra la célèbre lettre de Tchaadaïeff. La revue fut immédiatement supprimée, le censeur mis à la retraite, le rédacteur en chef exilé à Ouste-Syssolsk. La publication de cette lettre fut un évènement des plus graves. Ce fut un défi, un signe de réveil, elle rompit le glace après le 14 décembre. Enfin, il vint un homme dont l'âme débordait d'amertume; il trouva une langue terrible pour dire avec une éloquence funèbre, avec un calme accablant tout ce qui s'était accumulé d'acerbe, en dix années, dans le cœur du Russe civilisé. Cette lettre fut le testament d'un homme qui abdique ses droits, non par amour pour ses héritiers, mais par dégoût; sévère et froid, l'auteur demande compte à la Russie de toutes les souffrances dont elle abreuve ua homme qui ose sortir de l'état de brute. Il veut savoir ce que nous achetons à ce prix, par quoi nous avons mérité cette situation; il l'analyse avec une profondeur désespérante, inexorable, et après avoir terminé cette vivisection, il se détourne avec horreur, en maudissant le pays dans son passé, dans son présent et dans son avenir. Oui, cette sombre voix ne se fit entendre que pour dire à la Russie qu'elle n'a jamais existé humainement, qu'elle ne représente «qu'une lacune de l'intelligence

¹⁾ Une sorte de quartier Latin, centre d'habitation des hommes de lettres et d'artistes, *inconnus* dans les autres parties de la ville.—A. H.

humaine, qu'un exemple instructif pour l'Europe». Il dit à la Russie que son passé a été inutile, que son présent est superflu et qu'elle n'a aucun avenir.

Sans être d'accord avec Tchaadaïeff, nous comprenons parfaitement la voie qui l'a conduit à ce point de vue noir et désespéré; d'autant plus, que jusqu'à présent les faits parlent pour lui et non contre lui. Nous croyons, et lui,—il n'a qu'à montrer du doigt,—nous espérons, et il lui suffit d'ouvrir un journal pour prouver qu'il a raison. La conclusion à laquelle arrive Tchaadaïeff, ne peut soutenir aucune critique, et ce n'est point là qu'il faut chercher l'importance de cette publication; c'est par le lyrisme de son indignation austère qui secoue l'âme et la laisse longtemps sous une impression pénible, qu'elle conserve sa signification. On a reproché à l'auteur sa dureté, mais c'est elle qui fait son plus grand mérite. On ne doit pas nous ménager; nous oublions trop vite notre position, nous sommes trop habitués à nous distraire entre les murs d'une prison.

Un cri de douleur et de stupéfaction accueillit cet article; il effraya, il blessa même ceux qui en partageaient les sympathies, et pourtant il n'avait fait qu'énoncer ce qui agitait vaguement l'âme de chacun de nous. Qui de nous n'a pas eu ces moments de colère, dans lesquels il haïssait ce pays qui n'a que des tourments pour réponse à toutes les aspirations généreuses de l'homme, qui se hâte de nous réveiller pour nous appliquer la torture? Qui de nous n'a pas désiré de s'arracher à tout jamais de cette prison qui occupe le quart du globe terrestre, à cet empire monstre où chaque commissaire de police est un souverain - - - - - ?

Qui de nous ne s'est pas livré à tous les entraînements pour oublier cet enfer frappé à la glace, pour obtenir quelques moments d'ivresse et de distraction? Nous voyons maintenant les choses d'une autre face, nous envisageons l'histoire russe d'une autre manière, mais il n'y a pas de raison pour nous rétracter ou pour nous repentir de ces moments de désespoir: nous les avons payés trop cher pour les céder, ils ont été notre droit, notre protestation, ils nous ont sauvés.

Tchaadaïeff se tut, mais on ne le laissa pas tranquille. Les aristocrates de Pétersbourg, ces Benkendorff, ces Kleinmichel s'offensèrent pour la Russie. Un grave allemand, Wigel, chef probablement protestant du département des cultes, se gendarma pour l'orthodoxie russe. L'empereur fit déclarer Tchaadaïeff atteint d'aliénation mentale. Cette farce de mauvais goût ramena à Tchaadaïeff même ses ennemis; son influence à Moscou s'en accrut. L'aristocratie même baissa la tête devant cet homme de la pensée et l'entoura de respect et d'attention. donnant ainsi un démenti éclatant à la plaisanterie - - - - .

La lettre de Tchaadaïeff résonna comme une trompette d'appel; le signal fut donné, et de tous côtés partirent de nouvelles voix; de jeunes lutteurs entrèrent dans l'arène, témoignant du travail silencieux qui s'était fait pendant ces dix années.

Le 14 (26) décembre avait trop profondément tranché le passé, pour qu'on eût pu continuer la littérature qui l'avait précédé. Le lendemain de ce grand jour pouvait venir encore un jeune homme plein des fantaisies et des idées de 1825, Vénévitinoff. Le désespoir, comme la douleur après une blessure, ne vient pas immédiatement. Mais à peine eut-il prononcé quelques nobles paroles, qu'il disparut comme les fleurs d'un ciel plus doux qui meurent au souffle glacé de la Baltique.

Vénévitinoff n'était pas né viable pour la nouvelle atmosphère russe. Pour pouvoir supporter l'air de cette époque sinistre, il fallait une autre trempe, il fallait être habitué dès l'enfance à cette bise âpre et continue, il fallait s'acclimater aux doutes insolubles, aux vérités les plus amères, à sa propre faiblesse, aux insultes de tous les jours; il fallait prendre l'habitude, dès la plus tendre enfance, de cacher tout ce qui agitait l'âme et de ne rien perdre de ce qu'on y avait enseveli— au contraire, de mûrir dans une colère muette tout ce qui se déposait au cœur. Il fallait savoir haïr par amour, mépriser par humanité, il fallait avoir un orgueil sans bornes pour porter la tête haute, les menottes aux mains et aux pieds.

Chaque chant d'*Onéguine* qui paraissait après 1825, était de plus en plus profond. Le premier plan du poète avait été léger, serein; il l'avait tracé dans un autre temps, il avait été entouré alors d'un monde qui se plaisait à ce rire ironique, mais bienveillant, enjoué. Les premiers chants d'*Onéguine* nous rappellent beaucoup le comique caustique, mais cordial, de Griboïédoff. Les larmes et le rire, tout se changea.

Les deux poètes auxquels nous pensons et qui expriment la nouvelle époque de la poésie russe, sont Lermontoff et Koltzoff. C'étaient deux voix fortes venant de deux côtés opposés.

Rien ne peut démontrer avec plus de clarté le changement opéré dans les esprits, depuis 1825, que la comparaison de Pouchkine et de Lermontoff. Pouchkine, souvent mécontent et triste, froissé et plein d'indignation, est pourtant prêt à faire la paix. Il la désire, il n'en désespère pas; une corde de réminiscence des temps de l'empereur Alexandre, ne cessait de vibrer dans son cœur. Lermontoff était tellement habitué au désespoir, à l'antagonisme, que non seulement il ne cherchait pas à en sortir, mais qu'il ne concevait la possibilité ni d'une lutte, ni d'un accommodement. Lermontoff n'a jamais appris à espérer; il ne se dévouait pas, parce qu'il n'y avait rien qui sollicitât ce dé-

voûment. Il ne portait pas sa tête avec fierté au bourreau, comme Pestel et Ryléïeff, parce qu'il ne pouvait croire à l'efficacité du sacrifice; il se jeta de côté et périt pour rien.

Le coup de pistolet qui avait tué Pouchkine, réveilla l'âme de Lermontoff. Il écrivit une ode énergique dans laquelle, flétrissant les viles intrigues qui avaient précédé le duel, intrigues tramées par des ministres littérateurs et des journalistes espions, il s'écria avec une indignation de jeune homme: «Vengeance, empereur, vengeance!» Le poète expia cette seule inconséquence par un exil au Caucase. Cela se passa en 1837; en 1841, le corps de Lermontoff descendit dans une fosse aux pieds des monts du Caucase.

И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый.
...Твоихъ послѣднихъ словъ
Глубокое и горькое значеніе
Потеряно...

«Et ce que tu as dit avant ta fin, personne ne l'a compris de ceux qui t'écoutèrent. Le sens profond et amer de tes dernières paroles est perdu» ¹⁾.

Par bonheur, nous n'avons pas perdu ce que Lermontoff a écrit durant les quatre dernières années de sa vie. Il appartient entièrement à notre génération. Nous tous, nous étions trop jeunes pour prendre part au 14 décembre. Réveillés par ce - - - - - , nous ne vîmes que des exécutions et de banissemens. Réduits à un silence forcé, étouffant nos pleurs, nous avons appris à nous concentrer, à couvrir nos pensées,—et quelles pensées? Ce n'étaient plus les idées du libéralisme civilisateur, les idées du progrès, c'étaient des doutes, des négations, des pensées de rage. Habitué à ces sentiments, Lermontoff ne pouvait se sauver dans le lyrisme, ainsi que l'avait fait Pouchkine. Il traînait le boulet du scepticisme dans toutes ses fantasies, dans toutes ses jouissances. Une pensée mâle et triste ne quittait jamais son front, elle perce dans toutes ses poésies. Ce n'était pas une pensée abstraite qui cherchait à s'orner des fleurs de la poésie; non, la réflexion de Lermontoff—c'est sa poésie, son tourment, sa force ²⁾. Il avait des sympathies plus profondes pour Byron que n'en a eu Pouchkine. Au malheur

¹⁾ Vers que Lermontoff a adressés à la mémoire du prince Odoïeffsky mort au Caucase, comme soldat, un des condamnés du 14 décembre.—A. H.

²⁾ Les poésies de Lermontoff sont parfaitement traduites en allemand par M. Bodenstæt. Il y a une traduction française de son roman «Le héros de nos jours» par M. Chopin.—A. H.

d'une trop grande perspicacité il ajoutait un autre, l'audace de dire beaucoup de choses sans fard, ni ménagement. Les êtres faibles, froissés ne pardonnent jamais cette sincérité. On parlait de Lermontoff comme d'un enfant gâté de maison aristocratique, comme d'un de ces désœuvrés qui périssent dans l'ennui et la satiété. On n'a pas voulu voir combien a lutté cet homme, combien il a souffert avant d'oser exprimer ses pensées. Les hommes supportent avec beaucoup plus d'indulgence les injures et la haine qu'une certaine maturité de la pensée, que l'isolement qui ne veut partager ni leurs espérances, ni leurs craintes et qui ose avouer ce divorce. Lorsque Lermontoff quittait Pétersbourg pour se rendre au Caucase, exilé pour la seconde fois, il était bien las, et disait à ses amis qu'il allait chercher au plus vite la mort. Il a tenu sa parole.

Quel est donc enfin ce monstre qui s'appelle Russie, auquel il faut tant de victimes et qui ne laisse à ses enfants que la triste alternative de se perdre moralement, dans un milieu antipathique à tout ce qu'il y a d'humain, ou de mourir au début de leur vie? Abîme sans fond, où périssent les meilleurs nageurs, où les plus grands efforts, les plus grands talents, les plus grandes facultés s'engloutissent avant d'avoir réussi en rien.

Et pourtant comment douter de l'existence des forces en germe, lorsqu'on voit s'élever du plus bas fond de la nation une voix comme celle de Koltzoff?

Pendant un siècle, même un siècle et demi, le peuple n'a chanté que les vieilles chansons ou des monstruosité fabriquées vers le milieu du règne de Catherine II. Il y a bien eu quelques essais d'imitation assez heureux au commencement de notre siècle, mais ces productions artificielles manquaient de vérité; c'étaient des efforts et des caprices. C'est du sein même de la Russie villageoise que partirent les nouvelles chansons. Un bouvier conduisant ses troupeaux à travers les steppes, les composa d'inspiration. Koltzoïf était complètement un enfant du peuple. Né à Voronège, il a été à une école paroissiale avant dix ans, il n'y a appris qu'à lire et à écrire sans ortographe. Son père, marchand de bétail, lui fit embrasser son métier. Il conduisait les troupeaux, au travers de centaines de verstes, et prit ainsi l'habitude de la vie nomade qui se reflète dans la meilleure partie de ses chansons. Le jeune bouvier aimait la lecture et relisait continuellement quelque poète russe qu'il prenait pour modèle, ses essais d'imitation faussaient son instinct poétique. Son véritable talent perça enfin, il fit des chansons populaires en petit nombre, mais qui sont autant de chef-d'œuvres. Ce sont bien là les chansons du peuple russe. On y retrouve cette mélancolie qui en fait le trait caractéristique, cette tristesse navrante,

ce débordement de la vie (*oudale molodétzkaïa*). Koltzoff a montré combien il y a de poésie cachée dans l'âme du peuple russe, et qu'après un long et profond sommeil, il y avait quelque chose qui s'agitait dans sa poitrine. Nous avons d'autres exemples de poètes, d'hommes d'état, d'artistes qui sont sortis du peuple, mais ils en sont sortis dans le sens littéral du mot, en brisant tout lien commun avec lui. Lomonossoff a été le fils d'un pêcheur de la mer Blanche. Il prit la fuite de la maison paternelle pour s'instruire, entra dans une école ecclésiastique et se rendit ensuite en Allemagne où il cessa d'être du peuple. Il n'y a rien de commun entre lui et la Russie agricole, si ce n'est le lien qui unit les individus de la même race. Koltzoff resta au milieu des troupeaux et des affaires de son père qui le détestait et qui, secondé de ses autres parents, lui rendit la vie si dure qu'il en mourut en 1842. Koltzoff et Lermontoff ont débuté et sont morts vers la même époque. Après eux, la poésie russe devint muette.

Mais en prose l'activité redoubla et prit une autre direction.

Gogol, sans être du peuple comme Koltzoff par sa condition, l'est par ses goûts et par la tournure de son esprit. Gogol est complètement indépendant de l'influence étrangère; il ne connaissait aucune littérature, lorsqu'il s'était déjà fait un nom. Il sympathisait plutôt avec la vie du peuple qu'avec celle de la cour, ce qui est naturel de la part d'un Petit-Russien.

Le Petit-Russien, même annobli, ne rompt jamais aussi brusquement avec le peuple que le fait un Russe. Il aime son pays, son idiome, les traditions de la Cosaquerie et des Hetmans. L'indépendance de l'Ukraine, sauvage et guerrière, mais républicaine et démocratique, s'était maintenue à travers les siècles jusqu'à Pierre I^{er}. Les Petits-Russiens tracassés par les Polonais, les Turcs et les Moscovites, entraînés dans une guerre éternelle contre les Tartares de la Crimée, n'ont jamais succombé. La Petite-Russie, en s'unissant volontairement à la Grande, stipula des droits considérables en sa faveur. Le tzar Alexis jura de les observer. Pierre I^{er}, prétextant la trahison de Mazeppa, ne laissa debout qu'un simulacre de ces privilèges; Élisabeth et Catherine y introduisirent le servage. Le pauvre pays protestait, mais comment pouvait-il s'opposer à cette avalanche fatale qui roulait du Nord jusqu'à la mer Noire, et couvrait tout ce qui portait le nom russe du même linceuil d'un esclavage uniforme et glacé? L'Ukraine subit le sort de Nowgorod, de Pskow mais beaucoup plus tard, et un seul siècle de servitude n'a pu effacer tout ce qu'il y avait d'indépendant et de poétique dans ce brave peuple. Il y a là plus de développement individuel, plus de teinte locale que chez nous; chez nous, un malheureux uniforme couvre indistinctement toute la vie populaire. Les

hommes naissent pour se courber devant une fatalité injuste, et meurent sans traces, laissant leurs enfants recommencer la même vie désespérante. Notre peuple ne connaît pas son histoire, tandis que chaque village en Petite-Russie a sa légende. Le peuple russe ne se souvient que de Pougatcheff et de 1812.

Les nouvelles par lesquelles débuta Gogol, forment une série de tableaux de mœurs et de paysages de la Petite-Russie d'une beauté réelle, pleine de gaîté, de grâce, de mouvement et d'amour. Des nouvelles pareilles sont impossibles dans la Grande-Russie, faute de sujet, d'original. Chez nous, les scènes populaires prennent de suite une face sombre et tragique qui oppresse le lecteur; je dis tragique, seulement dans le sens de Laocoon. C'est le tragique d'un destin auquel l'homme succombe sans lutte. La douleur se change en rage et en désolation, le rire en ironie amère et haineuse. Qui peut lire sans frémir d'indignation et de honte le roman magnifique «*Antone Goremyka*», et le chef-d'œuvre de J. Tourgueneff «*Récits du Chasseur?*»

A mesure que Gogol sort de la Petite-Russie et s'approche de la Russie centrale, les images naïves et gracieuses disparaissent. Plus de héros demi-sauvage dans le genre de *Tarass Boulba* ¹⁾, plus de vieillard débonnaire et patriarcal qu'il a si bien dépeint dans les *Gens d'autrefois*. Sous le ciel moscovite, tout en lui devient sombre, brumeux, hostile. Il rit toujours, il rit même plus qu'auparavant, mais c'est d'un autre rire, et il n'y a que les gens d'une grande dureté de cœur ou d'une grande simplicité d'âme qui se soient laissé prendre à ce rire. Passant de ses Petits-Russiens et Cosaques aux Russes, Gogol laisse de côté le peuple, et s'arrête à ses deux ennemis les plus acharnés: le fonctionnaire et le seigneur. Jamais personne n'a fait avant lui, sur le *tchinounik* russe, un cours si complet d'anatomie pathologique. Le rire sur les lèvres, il pénètre sans ménagement dans les replis les plus cachés de cette âme impure et maligne. La comédie de Gogol *Le Réviseur*, son roman *Les Ames Mortes*, sont une terrible confession de la Russie contemporaine et qui font pendant aux révélations de Kochikhine au XVII^{me} siècle ²⁾.

L'empereur Nicolas se pâmait de rire en assistant aux représentations du *Réviseur!!!*

Le poète, désespéré de n'avoir produit que cette auguste hilarité

¹⁾ *Tarass Boulba*, *Les Gens d'autrefois* et encore quelques nouvelles de Gogol sont traduites en français par M. Viardot. Il y a une traduction allemande des «*Ames mortes*».—A. H.

²⁾ Un diplomate russe du temps d'Alexis, père de Pierre I, qui avait émigré en Suède craignant les persécutions du tzar et qui a été décapité à Stockholm pour un assassinat.—A. H.

et le rire suffisant des employés, parfaitement identiques avec ceux qu'il a représentés, quoique plus protégés par la censure, crut devoir expliquer, dans une introduction, que sa comédie est non seulement très risible mais encore très triste, — «qu'il y a des larmes chaudes derrière son sourire».

Après le *Réviseur* Gogol se tourna vers la noblesse campagnarde, et mit au grand jour cette population inconnue qui se tient derrière les coulisses, loin des chemins et des grandes villes, enfouie au fond des campagnes, cette Russie de gentillâtres, qui, sans bruit, tout au soin de leurs terres, couvent une corruption plus profonde que celle de l'Occident. Nous les vîmes, enfin, grâce à Gogol, quitter leurs manoirs, leurs maisons seigneuriales, et défiler devant nous sans masque, sans fard, toujours ivres et voraces, esclaves du pouvoir sans dignité et tyrans de leurs serfs sans compassion, suçant la vie et le sang du peuple avec le naturel et la naïveté de l'enfant qui se nourrit du sein de sa mère.

Les Ames Mortes secouèrent toute la Russie.

Une pareille accusation était nécessaire à la Russie contemporaine. C'est l'histoire de la maladie faite de main de maître. La poésie de Gogol est un cri de terreur et de honte que pousse un homme, dégradé par la vie banale, et qui voit tout-à-coup dans une glace ses traits abrutis. Mais pour qu'un cri pareil puisse s'échapper d'une poitrine, il faut qu'il y ait des parties saines et une grande force de réhabilitation. Celui qui avoue franchement ses faiblesses et ses défauts, sent qu'ils ne forment pas la substance de son être, qu'ils ne l'absorbent pas entièrement, qu'il y a encore en lui quelque chose qui échappe et résiste à la chute, qu'il peut encore racheter le passé, et, non seulement relever la tête, mais devenir, comme dans la tragédie de Byron, Sardanapale héros de Sardanapale efféminé.

Là, nous nous trouvons derechef face à face avec cette grande question: où sont les preuves que le peuple russe puisse se relever et quelles sont les preuves du contraire? Cette question, ainsi que nous l'avons vu, avait préoccupé tous les hommes pensants, sans qu'aucun d'eux eût trouvé une solution.

Polevoï qui encourageait les autres, ne croyait en rien: se serait-il autrement laissé décourager si vite et aurait-il passé à l'ennemi, au premier revers? *La Bibliothèque de lecture* sauta à pieds joints par-dessus ce problème, tourna la question sans faire un effort pour la résoudre. La solution de Tchaadaïeff n'en est pas une.

La poésie, la prose, l'art et l'histoire nous montrent la formation et le développement de ce milieu absurde, de ces mœurs blessantes, de ce pouvoir monstrueux, mais personne ne faisait voir d'issue.

Fallait-il donc s'acclimater, comme le fit plus tard Gogol, ou courir au-devant de sa perte, comme Lermontoff? Il était impossible de nous acclimater, il nous répugnait de périr; quelque chose disait au fond de notre cœur qu'il était trop tôt de s'en aller, il semblait qu'il y avait encore des âmes vivantes derrière *Les Ames Mortes*.

Et les questions reparaissaient avec plus d'intensité, tout ce qui espérait encore demandait une solution à tout prix.

Après l'année 1840, deux opinions absorbèrent l'attention publique. De la controverse scholastique elles passèrent bientôt dans la littérature, et de là, dans la société.

Nous parlons du panslavisme moscovite et de l'européisme russe.

La lutte entre ces deux opinions est close par la révolution de 1848. Ce fut la dernière polémique animée qui eût occupé le public, et par cela même elle a une certaine gravité. Nous lui consacrerons en conséquence le chapitre suivant.

VI.

Panslavisme moscovite

et européisme russe.

Le temps de la réaction contre la réforme de Pierre I^{er} était venu, non seulement pour le gouvernement qui reculait devant son propre principe et reniait la civilisation occidentale au nom de laquelle Pierre I^{er} avait foulé aux pieds la nationalité, mais encore pour les hommes que le gouvernement avait détachés du peuple, sous prétexte de civilisation, et qu'il commença à pendre lorsqu'ils furent civilisés.

Le retour aux idées nationales conduisait naturellement à une question dont le simple énoncé contenait déjà la réaction contre la période de Pétersbourg. Ne faut-il pas chercher une issue à la déplorable situation dans laquelle nous nous voyons, en nous rapprochant du peuple que nous méprisons sans le connaître? Ne fallait-il pas revenir à un ordre de choses plus conforme au caractère slave et quitter la voie de la civilisation exotique et forcée? Question grave et d'un intérêt actuel. Mais à peine fut-elle posée, qu'il se trouva un groupe d'hommes qui, donnant de suite une solution positive, formèrent un système exclusif dont ils firent, non seulement une doctrine, mais une religion. La logique de la réaction est rapide comme celle des révolutions.

La plus grande erreur des *Slavophiles* fut d'avoir vu une réponse dans la question même, et d'avoir confondu la possibilité avec la réalité. Ils pressentaient qu'ils étaient sur le chemin qui mène à de grandes vérités et qui doit changer notre manière d'envisager les événements contemporains. Mais, au lieu d'aller en avant et de travailler, ils s'en tenaient à ce pressentiment. De cette manière, en faussant les faits, ils ont faussé leur propre entendement. Leur jugement n'était plus libre, ils ne voyaient plus de difficultés, tout leur paraissait résolu, tranché. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais de objections à leurs antagonistes.

Les passions se mêlèrent à la polémique. Les *Slavophiles* exaltés se ruèrent avec acharnement sur toute la période de Pétersbourg, sur tout ce qu'a fait Pierre le Grand, et enfin, sur tout ce qui était européisé, civilisé. On peut comprendre et justifier cet entraînement, comme un acte d'opposition, mais par malheur, cette opposition alla trop loin et se vit alors, d'une manière étrange, placée du côté du gouvernement contre ses propres aspirations à la liberté.

Après avoir décidé *à priori* que tout ce qui était venu *des Allemands*, ne valait rien, que tout ce qui avait été introduit par Pierre I^{er} était détestable, les *Slavophiles* revinrent à l'admiration des formes étroites de l'état moscovite et, abdiquant leur propre raison et leurs propres lumières, ils coururent s'abriter avec ferveur sous la croix de l'église grecque. Nous autres ne pouvions leur concéder de pareilles tendances, d'autant plus que les Slavophiles s'abusaient étrangement sur l'organisation de l'état moscovite et prêtaient - - - - - grecque une importance qu'elle n'a jamais eue. Remplis d'indignation contre le despotisme, ils arrivaient à un esclavage politique et moral; avec toutes les sympathies pour la nationalité slave, ils sortaient, par une porte opposée, de cette même nationalité. - - - - - grecque les entraînait vers le bysantisme, et, en effet, ils se dirigeaient rapidement vers cet abîme de stagnation dans lequel ont disparu les vestiges du monde ancien. Si les formes et l'esprit de l'Occident ne convenaient pas à la Russie, qu'y avait-il de commun entre elle et l'organisation du Bas-Empire? Où le lien organique entre les Slaves, barbares par jeunesse, et les Grecs, barbares par décrépitude, s'est-il manifesté? Et enfin qu'est-ce que cette Bysance si ce n'est Rome, la Rome de la décadence, Rome sans réminiscences glorieuses, sans remords? Quels nouveaux principes Bysance a-t-elle apportés à l'histoire? Est-ce - - - - - grecque? Mais elle n'est que le catholicisme apathique; les principes sont tellement les mêmes, qu'il a fallu sept siècles de controverses et de dissensions pour faire croire à des différences de principes. Est-ce l'organisation sociale? Mais elle était basée dans l'empire

oriental sur l'autorité absolue, sur l'obéissance passive, sur l'absorption complète de l'individu par l'état, de l'état par l'empereur.

Est-ce qu'un tel état pouvait communiquer une vie nouvelle à un peuple jeune? Les Slaves occidentaux du Midi ont été dans un contact prolongé avec les Grecs du Bas-Empire, qu'est-ce qu'ils y ont gagné?

On a déjà oublié ce qu'étaient ces troupeaux d'hommes, parqués par les empereurs grecs, sous la bénédiction des patriarches de Constantinople. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les lois de lèse-majesté, récemment si bien imitées - - - - - juriconsulte Hube, pour apprécier cette casuistique de la servitude, cette philosophie de l'esclavage. Et ces lois ne concernaient que le temporel: venaient ensuite les lois canoniques qui réglaient les mouvements, la forme des habits, la nourriture et le rire. On se figure ce que devenait l'homme, pris dans le double filet - - - - - , continuellement tremblant et menacé,—ici par le juge sans appel et le bourreau obéissant, là—par le prêtre agissant - - - - - et par les *épithémies* qui liaient dans - - - - - et dans l'autre.

Où voit-on l'influence bienfaisante - - - - - ? Quel est le peuple qu'elle ait civilisé ou émancipé parmi tous ceux qui l'ont acceptée, depuis le IV^{me} siècle jusqu'à nos jours? Est-ce l'Arménie, la Géorgie, sont-ce les peuplades de l'Asie-Mineure, les pauvres habitants de Trébisonde? Est-ce enfin la Morée? On nous dira peut-être que l'église ne pouvait rien faire de ces peuples usés, corrompus, sans avenir. Mais les Slaves, race saine de corps et d'âme, y ont-ils gagné quelque chose? L'église orientale s'introduisait en Russie à l'époque florissante et sereine de Kiew, sous le grand prince Wladimir. Elle l'a conduite au temps triste - - - - - décrit par Kochikhine, elle - - - et sanctionné toutes les mesures prises contre la liberté du peuple. Elle a enseigné - - - - - prescrit au peuple une obéissance aveugle, même lorsqu'on l'attachait à la glèbe et qu'on le courbait au servage. Pierre le Grand paralysa l'influence du clergé, ce fut un de ses actes les plus importants; et l'on voudrait la ressusciter?

Le slavisme qui n'attendait le salut de la Russie que de la réhabilitation du régime bysantino-moscovite n'émancipait pas, mais liait, n'avancait pas, mais reculait. Les *Européens*, ainsi que les appelaient les Slavophiles, ne voulaient pas échanger un collier d'esclavage allemand contre un collier slavo - - - - - , ils voulaient se libérer de tous les colliers possibles. Ils ne s'efforçaient pas de rayer les temps qui s'étaient écoulés depuis Pierre I^{er}, les efforts d'un siècle si dur, si rempli de fatigues. Ce qu'on avait obtenu par tant de souffrances, par

des torrents de sang, ils ne voulaient pas l'abdiquer pour revenir à un ordre de choses étroit, à une nationalité exclusive, à une église stationnaire. Les Slavophiles avaient beau dire, comme les légitimistes, qu'on pouvait en prendre le bon côté et laisser le mauvais. C'était une erreur fort grave; ils en commettaient une autre qui est commune à tous les réactionnaires. Adorateurs du principe historique, ils oubliaient constamment que tout ce qui s'était passé depuis Pierre I^{er}, était aussi de l'histoire, et qu'aucune force vivante, pour ne pas parler de revnants, ne pouvait effacer les faits accomplis, ni éliminer leurs suites.

Tel est le point de vue duquel partit une vive polémique contre les Slavophiles. A côté d'elle, les autres intérêts qui se débattaient dans les journaux, descendirent au second rang. La question, en effet, était palpitante d'intérêt.

Sénkowsky lança une nuée de ses flèches les plus acerbes dans le camp des Slavophiles avec une adresse parfaite. Satisfait des éclats de rire qu'il provoqua contre ses victimes, ils se retira avec orgueil. Il n'était pas fait pour une polémique sérieuse. Mais un autre journaliste releva *la mitaine* ¹⁾ des Slaves jetée à Moscou, et déroula bravement le drapeau de la civilisation européenne contre la lourde bannière, à l'image - - - - - bysantine que portaient les Slavophiles.

Ce lutteur qui parut à la tête des *Annales patriotiques*, ne prédisait pas de grands succès aux Slavophiles. C'était un homme de talent et d'énergie, qui avait, lui aussi, des convictions fanatiques, un homme audacieux, intolérant, irascible et nerveux: Bélinsky.

Son propre développement est très-caratéristique pour le milieu dans lequel il a vécu. Né dans la famille d'un pauvre fonctionnaire d'une ville de province, il n'en emporta aucun souvenir consolant. Ses parents étaient durs, incultes, comme tous les gens de cette classe dépravée. Bélinsky avait dix ou onze ans, lorsque un jour son père rentrant à la maison, se mit à le gronder. L'enfant voulut se justifier. Le père furieux le frappa, le renversa par terre. Le garçon se leva métamorphosé: l'offense, l'injustice avaient brisé en lui à la fois tous les liens de parenté. La pensée de la vengeance l'occupa longtemps, mais le sentiment de sa propre faiblesse la changea en cette haine contre toute autorité de famille qu'il conserva jusqu'à la mort.

C'est ainsi qu'a commencé l'éducation de Bélinsky. La famille l'émancipa par les mauvais procédés, la société par la misère. Jeune homme nerveux et maladif, peu préparé pour les études académiques, il ne fit rien à l'Université de Moscou, et, comme il y fut élevé aux frais de la couronne, on l'en exclut en disant: «Facultés faibles et point

¹⁾ Gants à un doigt (*roukawitza*) que portent les paysans. — A. H.

d'application». Avec cette note humiliante, le pauvre jeune homme entra dans la vie, c'est-à-dire, fut mis à la porte de l'Université au milieu d'une grande ville, sans un morceau de pain et sans le moyens d'en gagner. Il fit alors la rencontre de Stankéwitch et de ses amis qui le sauvèrent.

Stankéwitch, mort jeune il y a une dizaine d'années en Italie, n'a rien fait de ce qu'on inscrit dans l'histoire, et pourtant il y aurait de l'ingratitude à le passer sous silence, lorsqu'on parle du développement intellectuel en Russie.

Stankéwitch appartenait à ces natures larges et sympathiques, dont l'existence seule exerce une grande action sur tout ce qui les entoure. Il a répandu, parmi la jeunesse de Moscou, l'amour de la philosophie allemande, introduite à l'Université de cette ville par un professeur distingué, Pavloff. C'est Stankéwitch qui dirigea les études d'un cercle d'amis, qui reconnut le premier les facultés spéculatives de notre ami Bakounine et qui le poussa à l'étude de Hegel; c'est lui aussi qui rencontra Koltzoff dans le gouvernement de Voronège, l'amena à Moscou et l'encouragea.

Stankéwitch apprécia à sa juste valeur l'esprit ardent et original de Bélsky. Bientôt la Russie entière rendit justice au talent audacieux du publiciste taxé d'incapacité par le curateur de l'Université de Moscou.

Bélsky se mit avec acharnement à l'étude de Hegel. Son ignorance de la langue allemande, loin de former un obstacle, ne fit que faciliter ses études: Bakounine et Stankéwitch se chargèrent de lui faire part de ce qu'ils savaient sur ce sujet et le firent avec tout l'entraînement de la jeunesse et toute la clarté de l'esprit russe. Il ne lui fallait au reste que des indices pour atteindre ses amis. Une fois maître du système de Hegel, il s'insurgea le premier entre ses adeptes moscovites, sinon contre Hegel lui-même, au moins contre la manière de l'entendre.

Bélsky était complètement libre des influences que nous subissons, lorsque nous ne savons pas nous en défendre. Séduits par la nouveauté nous acceptons dans notre première jeunesse une foule de choses de mémoire, sans les vérifier par l'entendement. Ces réminiscences que nous prenons pour les vérités acquises, lient notre indépendance. Bélsky commença ses études par la philosophie, et cela à l'âge de vingt-cinq ans. Il aborda la science avec des questions sérieuses et une dialectique passionnée. Pour lui, les vérités, les résultats n'étaient ni des abstractions, ni des jeux d'esprit, mais des questions de vie ou de mort; libre de toute influence étrangère, il entra dans la science avec plus de sincérité; il ne chercha à rien sauver du feu de l'analyse

et de la négation, et, tout naturellement, il se révolta contre les demi-solutions, les conclusions timides et les lâches concessions.

Tout cela n'est plus nouveau, après le livre de Feuerbach et la propagande faite par le journal d'Arnold Rughè, mais il faut se rapporter au temps antérieur à 1840. La philosophie hégélienne était alors sous le charme de ces tours de passe-passe dialectiques qui faisaient reparaître la religion, dissoute et démolie par la *Phénoménologie* et la *Logique*, dans la *Philosophie de la Religion*. C'était le temps où l'on était encore enchanté que la langue philosophique eût atteint une telle perfection que les initiés voyaient l'athéisme là, où les profanes trouvaient la foi.

Cette obscurité préméditée, cette retenue circonspecte ne pouvaient manquer de provoquer une opposition acharnée de la part d'un homme sincère. Béliński, étranger à la scholastique, libre de la pruderie protestante et des convenances prussiennes, était indigné de cette science pudique qui mettait une feuille de vigne sur ses vérités.

Un jour, après avoir combattu pendant des heures entières le panthéisme timoré des Berlinoï, Béliński se leva en disant de sa voix palpitante et convulsive: «Vous voulez me faire accroire que le but de l'homme soit d'amener l'esprit absolu à la conscience de lui-même, et vous vous contentez de ce rôle; quant à moi, je ne suis pas assez imbécile pour servir d'organe involontaire à qui que ce soit. Si je pense, si je souffre, c'est pour moi-même. Votre esprit absolu, s'il existe, est pour moi un étranger. Je n'ai pas à le connaître, car je n'ai avec lui rien de commun».

Nous ne citons ces paroles que pour montrer encore une fois la tournure de l'esprit russe. Dès qu'on avait commencé à prêcher l'absurdité du dualisme, le premier homme de talent en Russie qui s'occupât de la philosophie allemande, s'aperçut qu'elle n'était réaliste que sur parole, qu'elle restait au fond une religion terrestre, une religion sans ciel, un couvent logique où on fuyait le monde pour se plonger dans les abstractions.

L'activité publique de Béliński ne date que de 1841. Il s'empara alors de la direction des *Annales patriotiques* de Pétersbourg et domina le journalisme pendant six années. Il tomba, comme un guerrier, avec le journalisme russe. Il est mort en 1848, exténué de fatigue, abreuvé de dégoûts et en proie à la plus grande misère.

Béliński a beaucoup fait pour la propagande. Toute la jeunesse studieuse se nourrissait de ses articles; il forma le goût esthétique du public, il donna de la vigueur à la pensée. Sa critique pénétrait plus avant que celle de Polevoï, soulevant d'autres questions et d'autres doutes. On l'a peu apprécié; il y avait, lui vivant, trop d'amour-propres.

blessés, trop de vanités froissées; après sa mort le gouvernement défendit d'écrire à son sujet, et c'est ce qui m'a déterminé à m'étendre sur lui plus que sur un autre.

Son style était souvent anguleux, mais toujours plein d'énergie. Il communiquait sa pensée, comme il la concevait, avec passion. On sent dans chaque mot que cet homme écrit avec son sang, on sent combien il dépense et comme il se consume; maladif, irascible, il ne connaissait de limites ni à l'amour, ni à la haine. Il était souvent entraîné, parfois même très-injuste, mais il resta toujours saintement sincère.

Une collision entre Béliusky et les Slavophiles était inévitable.

Nous l'avons dit, c'était un des hommes les plus libres, n'étant lié ni par les croyances, ni par les traditions, ne dépendant pas de l'opinion publique et n'acceptant aucune autorité, ne craignant ni la colère des amis, ni l'épouvante des *belles âmes*. Il était toujours, en sentinelle de la critique, prêt à dénoncer, à flétrir tout ce qu'il croyait réactionnaire. Comment pouvait-il donc laisser en paix les Slavophiles orthodoxes et ultra-patriotes, lui qui voyait de lourdes chaînes dans tout ce que les Slavophiles prenaient pour les liens les plus sacrés?

Parmi les Slavophiles il y eut des hommes de talent, des érudits, mais pas un seul publiciste; leur revue (*Le Moscovite*) n'avait guère de succès. Les hommes de talent de ce parti n'écrivaient presque pas, les hommes incapables écrivaient toujours.

Les Slavophiles avaient sur les *Européens* un grand avantage, mais les avantages de ce genre sont pernicieux; ils défendaient l'orthodoxie et la nationalité, tandis que les *Européens* attaquaient l'une et l'autre; ils pouvaient donc dire presque tout, sauf à recevoir une décoration, une pension, une place de précepteur à la cour ou de gentilhomme de la chambre. Béliusky, au contraire, ne pouvait rien dire; un mot trop transparent, une parole imprudente pouvaient le mener dans une casemate, compromettre le journal, le rédacteur et le censeur. Mais ce fut là même une raison pour laquelle toutes les sympathies furent acquises à l'écrivain téméraire qui, en face de la forteresse de Pierre et Paul, défendait l'indépendance, et les antipathies furent pour ses adversaires qui montraient le poing, abrités par le Krémolin et la cathédrale de l'Assomption, si bien protégés par les «Allemands» de Pétersbourg. Tout ce que Béliusky et ses amis ne disaient pas, on le devinait, on le suppléait. Tout ce que disaient les Slaves paraissait ou peu délicat, ou peu généreux.

Hâtons-nous d'ajouter que les Slavophiles n'ont cependant jamais été les partisans du gouvernement. Il y a certainement, à Pétersbourg, des panslavistes impériaux et, à Moscou, des Slavophiles *ralliés*, comme

il y a des patriotes russes parmi les Allemands de la Baltique et des Circassiens pacifiés au Caucase, mais on ne parle pas de telles gens. Ce sont des amateurs de la servitude qui prennent l'absolutisme pour la seule forme civilisée d'un gouvernement, qui prêchent la supériorité des vins du Don sur les vins de la Côte-d'Or et le *russicisme* aux Slaves occidentaux, en remplissant leur âme de cette noble haine des Allemands et des Magyars qui a si bien servi les Windischgraetz et les Haïnaou. Le gouvernement, sans reconnaître leur doctrine officiellement, paie leurs frais de voyage et envoie à leurs amis tchèkhes et croates les croix - - - - - de Sainte-Anne, préparant pour eux ces embrassements fraternels dans lesquels - - - - - la Pologne.

Quant aux véritables Slavophiles, leur bon rapport avec le gouvernement était plutôt un malheur qu'un fait désiré. Mais telles sont les conséquences de toute doctrine basée sur l'autorité. Elle peut être révolutionnaire dans un sens, mais elle est nécessairement conservatrice dans un autre, et se trouve par conséquent dans la triste alternative de s'allier à son ennemi ou d'abandonner son principe. Une connivence avec son ennemi suffit pour réveiller la conscience.

Bélinsky et ses amis n'ont opposé aux Slaves ni une doctrine, ni un système exclusif, mais une vive sympathie pour tout ce qui agitait l'homme contemporain: un amour sans bornes pour la liberté de penser et une haine, tout aussi forte, contre tout ce qui l'entrave — l'autorité, la force ou la foi. Ils envisageaient la question russe et la question européenne d'un manière tout-à-fait opposée aux Slavophiles.

Il leur semblait qu'une des causes les plus graves de l'esclavage où se trouvait la Russie, était le manque de l'indépendance personnelle; de là l'absence complète du respect de l'individu du côté du gouvernement, et d'opposition, du côté des personnes; de là le cynisme du pouvoir et la longanimité du peuple. L'avenir de la Russie sera d'un grand danger pour l'Europe et plein de malheurs pour elle-même, s'il n'entre des ferments émancipateurs dans le droit personnel. Un siècle encore - - - - - actuel, et toutes les bonnes qualités du peuple russe seront anéanties.

Par bonheur, la Russie avait une position extraordinaire, par rapport à cette grave question de l'individualité.

Pour l'homme de l'Occident, un des plus grands malheurs qui maintiennent l'esclavage, le paupérisme des masses et l'impuissance des révolutions, c'est l'asservissement moral; ce n'est pas un manque du sentiment de l'individualité, mais le manque de clarté dans ce sentiment, faussé qu'il est par les antécédents historiques qui limitent l'indépendance individuelle. Les peuples de l'Europe ont donné tant d'âme et tant de sang pour les révolutions passées, qu'elles sont toujours pré-

sentes, et que l'individu ne peut faire un pas sans heurter des souvenirs, des *fueros* plus ou moins obligatoires et reconnus par lui-même; toutes les questins ont déjà été résolues à demi: les mobiles, les relations des hommes entre eux, les devoirs, les moralités et les crimes, tout est déterminé, et cela, non par une force majeure, mais en partie par l'assentiment des hommes. Il s'en suit que l'individu, au lieu de conserver sa liberté d'action, n'a qu'à se soumettre ou qu'à s'insurger. Ces normes sans appel, ces notions toutes faites traversent l'Océan et s'introduisent dans le pacte fondamental d'une république toute nouvelle; elles survivent au roi guillotiné et se placent tranquillement sur les bancs des Jacobins et à la Convention. On a longtemps pris cette masse de demi-vérités et de demi-préjugés pour des fondements solides et absolus de la vie sociale, pour des résultats immuables et supérieurs au doute. En effet, chacun d'eux a été un véritable progrès, une victoire pour son temps, mais de leur ensemble s'élevèrent peu à peu les murs d'une nouvelle prison. Les hommes pensants s'en aperçurent au commencement de notre siècle, mais ils virent en même temps toute l'épaisseur de ces murs et tout ce qu'il fallait d'efforts pour les ébrécher.

La Russie est dans une toute autre position. Les murs - - - - - sont en bois; élevés par la force brutale, ils céderont au premier choc. Un partie du peuple, reniant tout son passé avec Pierre I^{er}, a montré quelle puissance de négation elle possède; l'autre, restée étrangère à l'état actuel, a fléchi, mais n'a pas accepté le régime nouveau qui paraît être un bivouac temporaire. - - - - -

Il était évident que ni l'Europe occidentale, ni la Russie actuelle ne pouvaient aller plus loin dans leurs voies sans rejeter complètement leurs manières d'être politique et morale. Mais l'Europe, comme Nicodème, était trop riche pour sacrifier son grand avoir pour une espérance; les pêcheurs de l'Évangile n'avaient rien à regretter, il leur était facile de changer leurs filets contre une besace. Ce qu'ils avaient, c'était une âme vivante pouvant comprendre le Verbe.

Ce rapport à son passé et à celui de l'Europe dans lequel la Russie était placée, tout était nouveau, et paraissait très favorable au développement de l'indépendance personnelle. Au lieu d'en profiter, on vit paraître une doctrine qui dépouillait la Russie du seul avantage que son histoire lui avait légué. Haïssant, comme nous, le présent de la Russie, les Slavophiles voulaient emprunter au passé des liens dans le genre de ceux qui brident la marche de l'Européen. Ils confondaient l'idée de l'individualité libre avec celle de l'égoïsme retréci; ils la prenaient pour une idée *européenne*, occidentale, et, pour nous confondre

avec les adorateurs aveugles de la lumière de l'Occident, ils nous présentaient continuellement le tableau terrible de la dissolution européenne, du marasme des peuples, de l'impuissance des révolutions, de l'approche d'une crise sombre et fatale. Tout cela était vrai, seulement ils avaient oublié de nommer ceux dont ils avaient appris toutes ces vérités.

L'Europe n'avait attendu ni la poésie de M. Khomiakoff, ni la prose des rédacteurs du *Moscovite* pour comprendre qu'elle était à la veille d'un cataclysme, d'une palingénésie ou d'une dissolution complète. La conscience du dépérissement de la société actuelle, c'est le Socialisme, et certes, ni St-Simon, ni Fourier, ni ce Samson moderne qui, du fond de sa prison ¹⁾, fait trembler l'édifice européen, n'ont puisé leurs sentences foudroyantes contre l'Europe dans les écrits de Schaffarick, de Kolar ou de Miçkiewicz. Le saint-simonisme a été connu en Russie une dizaine d'années avant qu'il eût été question des Slavophiles.

Il n'est pas facile à l'Europe, disions-nous aux Slavophiles, de se défaire de son passé; elle le conserve contrairement à ses intérêts, parce qu'elle sait à quel prix on achète les révolutions, et parce qu'il y a beaucoup de choses, dans son état actuel, qui lui sont chères et qui sont difficiles à remplacer. Il est facile de faire la critique de la réformation et de la révolution en lisant leur histoire, mais l'Europe les a dictées et les a écrites avec son propre sang. Elle s'est élevée dans ces grandes luttes par ses protestations, au nom de la liberté de la pensée et des droits de l'homme, à cette hauteur de conviction qu'elle ne sait peut-être pas réaliser. Nous autres, nous sommes plus libres du passé,—c'est un grand avantage, mais il oblige à plus de modestie. C'est une vertu par trop négative pour être méritoire, et il n'y a que l'ultra-romantisme pour élever l'absence des vices au rang de bonnes actions. Nous sommes libres du passé parce que notre passé est vide, pauvre, étroit. Il est impossible d'aimer des choses telles que - - - - - moscovite ou - - - - - pétersbourgeois. On peut les expliquer, on peut trouver, au milieu d'eux, les germes d'un autre avenir, mais il faut avoir la tendance de leur échapper, comme à des langes. Reprochant à l'Europe de ne pas savoir dépasser ses institutions, les Slavophiles non seulement ne disaient pas comment ils entendaient résoudre la grande antinomie de la liberté individuelle et de l'état, mais ils évitaient même d'entrer dans les détails de cette organisation politique slave, dont ils parlaient sans cesse. Sous ce rapport, ils se renfermaient dans la période de Kiew et s'en tenaient à la commune ru-

¹⁾ Proudhon était alors à Ste-Pélagie.—A. H.

rale. La période de Kiew n'a pas empêché celle de Moscou, ni la perte de toutes les libertés. La commune n'a pas sauvé le paysan du servage; loin de nier l'importance de la commune, nous tremblons pour elle, car, au fond, il n'y a rien de stable sans la liberté individuelle. L'Europe ne connaissant pas cette commune, ou l'ayant perdue dans les vicissitudes des siècles passés, l'a comprise, et la Russie qui la possède depuis mille ans, ne la comprenait pas, tant que l'Europe n'était pas venue lui dire quel trésor elle récérait dans son sein. On a commencé à apprécier la commune slave lorsque le socialisme a commencé à se répandre. Nous défions les Slavophiles de nous prouver le contraire.

L'Europe n'a pas résolu l'antinomie entre l'individu et l'état, mais au moins elle en a posé la question. La Russie s'approche du problème d'un côté opposé, mais elle non plus ne l'a pas résolu. C'est en présence de cette question que commence notre égalité. Nous avons plus d'espérances, car nous ne faisons que commencer, mais une espérance n'est une espérance, que parce qu'elle peut ne pas se réaliser.

Il ne faut pas trop se fier à l'avenir, ni dans l'histoire, ni dans la nature. Chaque fœtus n'atteint pas l'âge adulte, tout ce qui se meut dans l'âme ne se réalise pas, quoique tout aurait pu se développer dans d'autres circonstances.

Peut-on s'imaginer que les facultés qu'on trouve dans le peuple russe, puissent se développer par la servitude, par l'obéissance passive, par - - - - - pétersbourgeois? Une longue servitude n'est pas un fait accidentel, elle correspond naturellement à quelque élément du caractère national. Cet élément peut être absorbé, vaincu par les autres, mais il peut vaincre ausst. Si la Russie peut s'accommoder avec l'ordre des choses existant, elle n'aura pas l'avenir que nous espérons. Si elle continue la route de Pétersbourg, ou si elle retourne à la tradition de Moscou, elle n'aura d'autre vocation que de se ruer sur l'Europe, comme une horde demi-barbare et demi-corrompue, de dévaster les pays civilisés et de périr au milieu de la destruction générale.

Ne fallait-il donc pas chercher par tous les moyens à rappeler le peuple russe à la conscience de sa funeste position, ne fût-ce qu'en forme d'essai, pour se convaincre de l'impossibilité? Et qui donc devait le faire si ce n'est ceux qui représentaient l'intelligence du pays, ces organes du peuple par lesquels il cherchait à comprendre sa propre position? Que leur nombre soit grand ou petit, cela ne change rien. Pierre I^{er} était seul, les Décembristes—une poignée d'hommes. L'influence des individus n'est pas aussi minime qu'on est tenté de le croire; l'individu est une force vive, un ferment puissant dont l'action n'est même pas toujours paralysée par la mort. Que de fois ne voit on pas un mot,

dit à propos, faire pencher la balance des peuples, déterminer ou clore des révolutions?

Au lieu de cela, que faisaient les Slavophiles? Ils prêchaient la soumission, cette première vertu - - - - grecque, cette base - - - - - - - moscovite. Ils prêchaient le dédain de l'Occident qui seul pouvait encore éclairer l'abîme de la vie russe; ils prônaient enfin le passé dont il fallait se défaire, au contraire, pour un avenir désormais commun à l'Orient et à l'Occident.

Il est évident qu'il fallait s'opposer à une pareille direction des esprits; la polémique se développa, en effet, de plus en plus. Elle dura jusqu'à l'année 1848 et atteignit son point culminant vers la fin de 1847, comme si l'on pressentait que, dans quelques mois, on ne pourrait discuter sur rien en Russie, et que cette lutte devait pâlir devant la gravité des événements.

Deux articles surtout exprimèrent les deux opinions contradictoires. L'un, sous le titre de «Développement juridique de la Russie», fut publié dans le *Contemporain*, à Pétersbourg. L'autre fut une longue réponse d'un Slavophile, insérée dans le *Moscovite*. Le premier article était un exposé clair et énergique, basé sur une étude approfondie du droit russe; il développait la pensée que le droit personnel en Russie n'avait jamais atteint une détermination juridique, que l'individu avait été toujours absorbé par la famille, par la commune, et plus tard, par l'état et par l'église. La position indéfinie de la personne menait, suivant l'auteur, au même vague dans les autres sphères de la vie politique. L'état profitait de ce manque de détermination pour empiéter sur les libertés, de sorte que l'histoire russe fut l'histoire du développement de l'autocratie et de l'autorité, comme l'histoire de l'Occident est l'histoire du développement de la liberté et des droits.

Le danger du slavisme devient évident dans la réplique du *Moscovite* qui a puisé ses arguments dans les chroniques slaves, le catéchisme grec et le formalisme hégélien. L'auteur slavophile croit que le principe personnel était bien développé dans l'ancienne Russie, mais que la personne, éclairée par l'église grecque, possédait le don sublime de la résignation et transportait volontairement sa liberté sur la personne du prince. Le prince exprime la compassion, la bienveillance et l'individualité libre. Chacun abdiquait son autonomie personnelle et la sauvait en même temps dans le représentant du principe individuel, le souverain.

Ce don d'abnégation et le don, encore plus grand, de ne pas en abuser, formaient, selon l'auteur, un accord harmonieux entre le prince, la commune et l'individu, accord admirable qui ne trouve d'autre explication chez l'auteur que la présence extraordinaire - - - - - dans - - - - - bysantine.

Si les Slavophiles veulent représenter une opinion sérieuse, un côté réel de la conscience publique, une force enfin qui tend à se réaliser dans la vie russe, s'ils veulent quelque chose de plus que des disputes archéologiques et des controverses théologiques, nous avons le droit d'exiger d'eux l'abandon de cet abus immoral de mots, de cette dialectique dépravée. Nous disons «abus immoral», parce qu'il se commet avec une parfaite connaissance de cause.

Que signifient ces solutions métaphoriques qui ne représentent que l'inverse de la question même? Pourquoi ces images, ces symboles, au lieu des choses? Est-ce que les Slavophiles ont étudié les annales du Bas-Empire pour s'inoculer cette lèpre byzantine? Nous ne sommes pas des Grecs du temps des Paléologues pour disputer de l'*opus operans* et de l'*opus operatum*, dans un temps, où un avenir inconnu et immense frappe à notre porte.

Leur méthode philosophique n'est pas nouvelle: le côté droit des hégéliens parlait de la même manière, il y a une quinzaine d'années; il n'y a pas d'absurdité qu'on ne puisse faire entrer dans le moule d'une dialectique vide, en lui donnant un aspect profondément métaphysique. Il faut seulement ne pas savoir, ou oublier, que le contenu et la méthode ont un autre rapport que le plomb et le moule aux balles, et que le dualisme seul ne comprend pas la solidarité qui les lie. L'auteur en parlant du prince n'a fait que paraphraser la définition très connue que Hegel donne de l'esclavage, dans la *Phénoménologie (Herr und Knecht)*. Mais il a oublié avec préméditation comment Hegel sort de ce degré inférieur de la conscience humaine. Il est à remarquer que ce jargon philosophique qui appartient par la forme à la science et par le contenu à la scolastique, se retrouve chez les jésuites. M. Montalembert, en répondant à une interpellation sur les cruautés commises par le gouvernement papal dans les prisons de Rome, a dit: Vous parlez des cruautés du pape, mais il ne peut pas être cruel, sa position le lui défend: lui, le vicaire de Jésus-Christ ne peut que pardonner, qu'être miséricordieux, et effectivement les papes pardonnent toujours. Le St. Père peut être attristé, il peut prier pour le coupable, mais il ne peut être implacable, etc.—A la demande si l'on applique la torture à Rome, l'on répond que le pape est clément; au raisonnement que nous sommes tous esclaves, que le droit personnel n'est pas développé en Russie, l'on répond «nous l'avons sauvé en le plaçant - - - - -». Dérision qui provoque le mépris de la parole humaine! S'appuyer sur la religion n'est guère convenable, mais s'appuyer sur une religion obligatoire l'est encore moins. Chaque auteur a le droit incontestable de croire ce que bon lui semble, mais avoir recours aux preuves théologiques dans une discussion scientifique avec un homme qui tait sa

religion, c'est manquer de convenances. Pourquoi s'abriter derrière un fort inexpugnable, contre lequel la moindre attaque mène au cachot?

D'ailleurs, il est impossible de comprendre comment les Slavophiles, si leur religion leur est vraiment chère, n'ont pas de dégoût pour la méthode hypocrite de la *Philosophie de la religion*, cette réhabilitation faible et sans foi, ce plaidoyer froid et pâle, où la science orgueilleuse, après avoir mis au tombeau sa sœur, lui jette un sourire de condoléance? Comment ont-ils le courage de traîner ce qu'ils ont de plus sacré, dans des disputes, où l'on ne l'estime pas et où l'on ne le tolère que par respect pour la police!

Ce n'est pas tout; l'auteur de l'article s'en prend à ses adversaires d'une manière étrange pour leur manque de patriotisme, pour leur peu d'amour de la nation. Comme c'est un trait général parmi les Slavophiles, il faut en dire quelques mots. Ils prétendent au monopole du patriotisme, ils se croient plus russes que quiconque, ils nous reprochent continuellement notre indignation contre l'état actuel de la Russie, notre peu d'affection pour le peuple, nos paroles amères et pleines de colère, notre franchise qui consiste à faire voir le côté sombre de la vie russe.

Il semblerait pourtant qu'un parti qui s'expose à la potence, aux mines, à la confiscation des biens, à l'émigration, ne manquait ni de patriotisme, ni de conviction. Le 14 décembre n'a pas été, que nous sachions, l'œuvre des Slavophiles: toutes les persécutions ont été réservées à nous, le sort a jusqu'ici épargné les Slavophiles.

Eh bien, oui, il y a de la haine dans notre amour; nous sommes indignés, nous reprochons au peuple autant qu'au gouvernement l'état où nous nous trouvons; nous ne craignons pas de dire les vérités les plus dures, mais nous les disons parce que nous aimons. Nous ne fuyons pas du présent dans le passé, car nous savons que la dernière page de l'histoire est l'état actuel. Nous ne fermons pas les oreilles aux cris de douleur du peuple, et nous avons le courage de constater, le cœur navré, combien l'esclavage le déprave; cacher ces tristes résultats, ce n'est pas de l'amour, c'est de la vanité. Nous avons sous les yeux le servage, et l'on nous accuse de calomnie, et l'on ne veut pas que le triste tableau du paysan pillé par la noblesse et le gouvernement, vendu presque au poids, dégradé par les verges, mis hors la loi, nous poursuive nuit et jour comme un remords, comme une accusation? Les Slavophiles aiment mieux lire les légendes du temps de Vladimir, ils veulent qu'on leur représente Lazare couvert non de plaies, mais d'étoffes de soie. Il faut élever pour eux, comme pour Catherine, des villages en carton et des jardins de coulisse le long des routes, de Pétersbourg jusqu'à la Crimée.

Le grand acte d'accusation que la littérature russe dresse contre

la vie russe, cette négation complète et ardente de nos propres fautes, cette confession qui a horreur de notre passé, cette ironie amère qui fait rougir du présent,—c'est notre espérance, c'est notre salut, l'élément progressif de la nature russe.

Et quelle est la signification des écrits de Gogol que les Slaves admirent avec tant d'exagération? Quelque autre a-t-il placé plus haut que lui le pilori auquel il a attaché la vie russe?

L'auteur de l'article du *Moscovite* dit que Gogol «descendit comme un mineur dans ce monde sourd sans tonnerre ni secousses, immobile et égal, marais sans fond, qui entraîne doucement, mais sans retour, *tout ce qu'il y a de frais* (c'est un Slavophile qui parle); il descendit comme un mineur qui a trouvé sous terre une veine qui n'a pas encore été entamée». Oui, Gogol a senti cette force, cette mine vierge sous la terre inculte. Peut-être même l'eût-il entamée, mais malheureusement il crut avant le temps avoir atteint le fond, et au lieu de continuer à déblayer, il se mit à chercher l'or. Qu'en est-il résulté? Il commença à défendre ce qu'il avait démolì, à justifier le servage, et finit par se jeter aux pieds du représentant de la «bienveillance et de l'amour».

Que les Slavophiles méditent la chute de Gogol! Ils y trouveront plus de logique peut-être que de faiblesse. De l'humilité - - - - , de l'abnégation qui place son individualité dans celle - - - - , à l'adoration - - - - - , il n'y a qu'un pas.

Et que peut-on faire pour la Russie quand on est - - - - - ? Les temps de Pierre, le grand tzar, sont passés; Pierre, le grand homme n'est plus - - - - - , *il est en nous*.

Il est temps de comprendre cela et, quittant enfin une lutte désormais puérole, de nous réunir au nom de la Russie, mais au nom aussi de l'indépendance.

Chaque jour peut renverser le vieil édifice social de l'Europe, entraîner la Russie dans le courant orageux d'une immense révolution. Est-ce le temps de prolonger une querelle de famille et d'attendre que les évènements nous dépassent, parce que nous n'avons préparé ni les conseils, ni les paroles qu'on attend peut-être de nous?

Et n'avons-nous pas un champ ouvert à notre conciliation?

Le socialisme qui partage si définitivement, si profondément l'Europe en deux camps ennemis, n'est-il pas accepté des Slavophiles comme de nous? C'est le pont sur lequel nous pouvons nous donner la main.

Épilogue.

Pendant les sept ou huit dernières années avant la révolution de Février, les idées révolutionnaires allaient s'accroissant, grâce à la propagande et au travail interne qui prenait un essor de plus en plus considérable. Le gouvernement paraissait las de poursuites.

La grande question qui dominait toutes les autres et qui commençait à agiter le gouvernement, la noblesse et le peuple, c'était la question de l'émancipation des paysans. On sentait bien qu'il était impossible d'aller plus loin avec le carcan du servage au cou.

L'oukase du 2 avril 1842 qui *invitait* la noblesse à céder quelques droits aux paysans, en retour des redevances et des obligations qu'on avait stipulées de part et d'autre, prouve assez clairement que le gouvernement voulait l'émancipation.

La noblesse des provinces s'en émut, se divisa en partis, prenant cause pour ou contre l'affranchissement. On se hasardait à parler de l'émancipation dans les réunions électorales. Le gouvernement permit à la noblesse, dans deux ou trois chefs-lieux, de nommer des comités pour aviser aux moyens d'affranchir les serfs. Une partie des seigneurs étaient exaspérés, ils ne voyaient dans cette grande question sociale qu'une attaque de leurs privilèges et de la propriété, et s'opposaient à toute innovation, se sachant appuyés - - - - - . La jeune noblesse voyait plus clair et calculait mieux. Ici, nous ne parlons pas de ces quelques individus pleins de dévoûment et d'abnégation, qui sont prêts à sacrifier leurs biens, pour effacer le mot dégradant de servage du front de la Russie et pour expier l'ignoble exploitation du paysan. Les enthousiastes ne peuvent jamais entraîner une classe entière, si ce n'est en pleine révolution, comme la noblesse française a été entraînée le 4 août 1792 par une généreuse minorité. La grande majorité des émancipateurs désiraient l'émancipation, non seulement parce qu'ils en comprenaient la justice, mais aussi parce qu'ils en voyaient la nécessité. Ils voulaient régler l'émancipation à temps pour réduire au minimum les pertes. Ils voulaient prendre l'initiative pendant qu'ils avaient le pouvoir. S'opposer et rester les bras croisés, était le moyen le plus sûr de voir l'empereur ou le peuple entrer dans la voie pour ne s'arrêter qu'à l'expropriation.

Le ministre des domaines publics, Kisséléff, le représentant de l'émancipation dans le sein du gouvernement, et le ministre de l'intérieur Pérovsky qui a tué l'oukase du 2 avril par ses commentaires,

recevaient des projets de toutes les parties de l'empire. Bons ou mauvais, ces projets décélaient une grande préoccupation du pays.

A travers toute la divergence d'opinions et de vues, à travers toute la différence de position, d'intérêts de localité, un principe était admis sans contestation. Ni le gouvernement, ni la noblesse, ni le peuple ne pensaient à émanciper les paysans, *sans leurs terres*. On variait infiniment dans l'appréciation de la quote-part à concéder aux paysans, des condtions à leur imposer, mais personne ne parlait sérieusement d'une émancipation *dans le prolétariat*, si ce n'est quelques incurables adeptes de la vieille économie politique.

Créer une vingtaine de millions de prolétaires, c'était une perspective qui faisait, et pour cause, pâlir le gouvernement et les seigneurs. Et pourtant, du point de vue *de la religion de la propriété*, du droit absolu et imprescriptible de la possession et de l'usage illimité, il n'y avait aucun moyen de résoudre la question sans une insurrection en masse des paysans, sans un ébranlement forcé de la possession territoriale, puisque les mutations des propriétés faites à main armée, sont acceptées comme des faits accomplis, dûment légalisés par l'économie politique.

Au prime abord, il paraît étrange que dans un pays dans lequel l'homme est presque *chose*, où il appartient au sol, où il fait partie de la propriété et se vend avec elle, l'idolâtrie de la propriété ait été le moins développée. On la défend avec ténacité chez nous, comme une proie, mais non comme un droit. Il était difficile d'enraciner une foi dans l'infaillibilité et la justice d'un droit dont les absurdités étaient évidentes pour les deux parties: pour le seigneur qui *possédait* ses paysans, comme pour le paysan serf qui n'était pas le propriétaire de sa *possession*. On savait que l'origine des droits seigneuriaux était assez obscure; on savait bien qu'une série de mesures arbitraires, mesures de police, avaient peu à peu asservi la Russie agricole à la Russie nobiliaire; on pouvait donc s'imaginer une autre série de mesures qui l'émancipassent.

Le manque même de notions juridiques bien arrêtées, le vague dans les droits, ne permettaient pas non plus aux idées de propriété de se consolider, de prendre corps. Le peuple russe n'a vécu que de la vie communale, il ne comprend ses droits et ses devoirs que par rapport à la commune. Hors d'elle il ne reconnaît pas de devoirs et ne voit que la violence. En s'y soumettant, il ne se soumet qu'à la force; l'injustice flagrante d'une partie de la législation l'a amené au mépris de l'autre. L'inégalité complète devant le tribunal a tué en lui le germe du respect pour la légalité. Le Russe, à quelque classe qu'il appartienne, enfreint la loi, partout où il peut le faire impunément; le

gouvernement agit de même. C'est pénible et triste pour le moment, mais il y a un avantage immense pour l'avenir.

En Russie, derrière l'état visible, il n'y a pas d'état invisible, qui ne soit que l'apothéose, la transfiguration de l'ordre de choses existant, il n'y a pas d'idéal impossible qui ne coïncide jamais avec la réalité, tout en la promettant toujours. Il n'y a rien derrière les palissades, où une force supérieure nous tient en état de siège. - - - - -

C'est ce qui fait de ce pays, sans les autres causes que celles que nous avons mentionnées, le sol le mieux préparé pour une régénération sociale.

Nous avons dit que, dès l'apparition du st-simonisme, après 1830, le socialisme fit une grande impression sur les esprits à Moscou. On voyait dans cette doctrine l'expression d'un sentiment plus intime que dans les doctrines politiques, habitué qu'on était aux communes, aux partages des terres, aux associations ouvrières. Témoins de l'abus le plus exorbitant du droit de propriété, nous étions moins froissés par le socialisme que le bourgeois occidental.

Peu à peu les productions littéraires se pénétraient de tendances et d'inspirations socialistes. Les romans et les nouvelles, même les écrits des Slavophiles protestaient contre la société actuelle, d'un point de vue qui était plus que politique. Il suffit de citer le roman de Dostoïevski, *Les pauvres gens*.

A Moscou le socialisme marchait de front avec la philosophie de Hegel. L'alliance de la philosophie moderne et du socialisme n'est pas difficile à concevoir, pourtant ce n'est que dans ce dernier temps que les Allemands ont accepté la solidarité entre la science et la révolution, non qu'ils ne la comprissent pas auparavant, mais parce que le socialisme, comme tout ce qui est pratique, ne les intéressait pas. Les Allemands pouvaient être profondément radicaux dans la science en restant conservateurs dans leurs actions, poètes sur papier et bourgeois dans la vie. Le dualisme nous est, au contraire, antipathique. Le socialisme nous paraissait être le syllogisme le plus naturel de la philosophie, l'application de la logique à l'état.

Il est à remarquer qu'à Pétersbourg le socialisme revêtait un autre caractère. Là les idées révolutionnaires ont toujours été plus pratiques qu'à Moscou; leur fanatisme froid est celui des mathématiciens; à Pétersbourg on aime la régularité, la discipline, l'application. Pendant qu'on dispute à Moscou, on s'associe à Pétersbourg. La franc-maçonnerie et le mysticisme avaient leurs adeptes les plus ardents dans cette dernière ville, c'est là que se publiait le *Messenger de Sion*, organe de la société biblique. La conjuration du 14 décembre a mûri à Péters-

bourg, elle ne se serait jamais assez développée à Moscou pour descendre sur la place publique. A Moscou, il est très-difficile de s'entendre; les individualités sont trop capricieuses et trop épanouies. A Moscou il y a plus d'éléments poétiques, plus d'érudition et avec cela plus de nonchalance, de laisser-aller, plus de paroles inutiles, plus de divergence d'opinions. Le st-simonisme vague, religieux et en même temps analytique, allait merveilleusement bien aux Moscovites. Après l'avoir étudié, ils passaient tout naturellement à Proudhon, comme de Hegel à Feuerbach.

Le fouriérisme plus que le st-simonisme, convient à la jeunesse studieuse de Pétersbourg. Le fouriérisme qui ne tendait qu'à une réalisation immédiate, qui voulait l'application pratique, qui rêvait, lui aussi, mais qui appuyait ses rêves sur des calculs arithmétiques, qui cachait sa poésie sous le titre d'industrie et son amour de liberté sous l'embrigadement des ouvriers, le fouriérisme devait trouver un écho à Pétersbourg. La phalanstère n'est autre chose qu'une commune russe et une caserne de travailleurs, une colonie militaire sur le pied civil, un régiment industriel. On a remarqué que l'opposition, qui lutte de front avec un gouvernement, a toujours quelque chose de son caractère, mais en sens inverse. Et je crois bien qu'il y a quelque fond de vérité dans la crainte que le gouvernement russe commence à avoir du communisme: le communisme, c'est - - - - - russe renversée.

Pétersbourg devancera Moscou au nom de ces opinions tranchées, bornées peut-être, mais actives et pratiques. L'honneur de l'initiative lui appartiendra avec Varsovie, mais si - - - - - , le centre de la liberté sera dans le cœur de la nation, à Moscou.

L'avortement complet de la révolution en France, la malheureuse issue de la révolution de Vienne et la fin comique de celle de Berlin, furent en Russie le commencement d'une réaction redoublée. Tout fut paralysé de nouveau, le projet de l'émancipation des serfs abandonné et remplacé par celui de fermer toutes les universités; on créa une double censure et de nouvelles difficultés à la remise des passeports pour les pays étrangers. On poursuivit les journaux, les livres, les paroles, les costumes, les femmes et les enfants.

En 1849 une nouvelle phalange de jeunes gens héroïques est allée en prison, et de là aux travaux forcés et en Sibérie ¹⁾. Une

¹⁾ Nous faisons allusion à la société de Pétrachewsky. De jeunes gens se réunissaient chez lui pour débattre des questions sociales. Ce club avait existé quelques années déjà, lorsque, au début de la campagne de Hongrie, le gouvernement résolut à lui donner les proportions d'une vaste conjuration et fit multiplier les arrestations. Il ne trouva que des opinions là, où il cherchait

terreur accablante abattit tous les germes, fit courber toutes les têtes; la vie intellectuelle se cacha de nouveau ou ne laissa percer que la frayeur, qu'une désolation muette, et, depuis, chaque nouvelle qui venait de la Russie, remplissait l'âme de désolation et d'une profonde tristesse.

Nous ne nous arrêterons point à ce tableau lugubre d'une lutte - - - où chaque fois la pensée est écrasée par la force. Il n'y a là rien de nouveau: c'est ce procès interminable qui traverse toute l'histoire et qui aboutit de temps en temps à la ciguë, à la croix, aux autodafés, aux fusillades, aux pendaisons et aux déportations.

Quoiqu'on dise, les moyens que le gouvernement emploie, moyens cruels, ne sont pas cependant de force à étouffer tous les germes du progrès. Ils font périr beaucoup de personnes dans des souffrances morales terribles, mais nous devons nous y attendre, et certes ces mesures réveillent plus de gens qu'ils n'en désarment.

Pour étouffer réellement en Russie le principe révolutionnaire la conscience de la position et la tendance d'en sortir, il faudrait que l'Europe entrât encore plus avant dans les principes et dans les voies du gouvernement de Pétersbourg, que son retour à l'absolutisme fut plus complet. Il faudrait effacer le mot de «*République*» du frontispice de la France, ce mot terrible, lors-même qu'il est un mensonge et une dérision. Il faut arracher à l'Allemagne le droit imprudemment concédé de la parole libre. Le lendemain de la journée où un gendarme prussien, aidé d'un Croate, aura cassé les dernières presses sur le piédestal de la statue de Guttemberg traînée dans la boue par des frères ignorantins; ou, à Paris, sur la place de la Révolution, un bourreau, béni par le Pape, aura brûlé les œuvres des philosophes français,—le lendemain de cette journée, l'omnipotence - - - aura atteint son apogée.

Ceci est-il possible?

Qui peut dire de nos jours ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? Le combat n'est pas fini, la lutte continue.

L'avenir de la Russie n'a jamais été plus étroitement uni à l'avenir de l'Europe qu'il ne l'est aujourd'hui. On a vu nos espérances—mais nous ne voudrions répondre de rien, non par vanité puérile, de crainte que l'avenir ne nous donnât un démenti,—mais par impossibilité de prévoir quelque chose dans une question dont la solution ne dépend pas exclusivement des données intérieures.

des complots, ce qui ne l'empêcha pas de faire condamner *tous* les accusés à la peine de mort, afin de se donner la gloire de la Grâce. Le tzar commua leur peine en celle des mines, de l'exil ou de soldat. On cite parmi eux Spéchneff, Grigorieff, Dostoïevsky, Kachkine, Golovinsky, Monbelli, etc.—A. H.

D'un côté, le gouvernement russe - - - - - , mais en général - - - - - et rétrograde. - - - - - comme le disent les Slavophiles, et c'est là ce qui explique la sympathie et l'amour avec lequel les autres gouvernements se tournent vers lui. Pétersbourg, c'est la nouvelle Rome, la Rome - - - - - universel, la métropole - - - - - , voilà pourquoi - - - - - fraternise - - - - - et lui aide à opprimer les Slaves. Le principe de - - - pouvoir n'est pas national, et l'absolutisme est plus cosmopolite que la révolution.

D'un autre côté, les espérances et les aspirations de la Russie - - - - - coïncident avec les espérances et les aspirations de l'Europe - - - - - et anticipent sur leur alliance dans l'avenir. L'élément national que la Russie apporte, c'est la fraîcheur de la jeunesse et une tendance naturelle vers les institutions socialistes.

L'impasse où sont arrivés les états de l'Europe, est manifeste. Il leur faut nécessairement s'élancer vigoureusement en avant ou reculer plus qu'ils ne le font. Les anthithèses sot trop inexorables, les questions trop tranchées et trop mûries par les souffrances et les haines, pour pouvoir s'arrêter à des demi-solutions, à des transactions paisibles entre l'autorité et la liberté. Mais s'il n'y a pas de salut pour les états dans la forme dans laquelle ils existent, le genre de leur mort peut être bien différent. La mort peut venir par la palingénésie ou par la putréfaction, par la révolution ou par la réaction. Le conservatisme qui n'a d'autre but que la conservation d'un *statu quo* usé, est aussi destructif que la révolution. Il anéantit le vieil ordre, non pas par le feu ardent de l'inflammation, mais par le feu lent du marasme.

Si le conservatisme a le dessus en Europe, - - - - - en Russie non seulement écrasera la civilisation, mais il anéantira toute la classe d'hommes civilisés, et puis...

Et puis, nous voilà devant une question toute nouvelle, devant un avenir mystérieux. - - - - - après avoir triomphé de la civilisation, se trouvera face à face - - - - - . La moitié de la force du gouvernement de Pétersbourg est basée sur la civilisation et sur la profonde division, qu'il a fomentée entre les classes civilisées et les paysans. Le gouvernement s'appuie constamment sur les premières, c'est dans le sein de la noblesse qu'il prend les moyens, les hommes et les conseils. En brisant dans ses mains un instrument si essentiel, - - - - - , mais il ne suffira pas pour cela de laisser pousser la barbe et de revêtir le *zipoune*. - - - - - , trop pédantesque, trop apprise pour se jeter franchement dans les bras d'un nationalisme à demi-sauvage,

pour se mettre à la tête d'un mouvement populaire qui ne voudra au commencement que régler ses comptes avec la noblesse, qu'étendre les institutions de la commune rurale à toutes les propriétés, aux villes, à l'état entier.

Nous avons vu une monarchie entourée d'institutions républicaines, mais notre imagination se refuse à concevoir - - - - -
- - - - entouré d'institutions communistes.

Avant que cet avenir éloigné se réalise, il s'accomplira bien des choses, et l'influence - - - - - ne sera pas moins funeste pour l'Europe réactionnaire que l'influence de cette dernière le sera pour la Russie. C'est elle, c'est - - - - - qui veut, par les baïonnettes, mettre une fin aux questions qui agitent le monde. C'est elle qui mugit et gronde comme la mer aux portes du monde civilisé, toujours prête à déborder, toujours frémissante du désir d'envahir; comme si elle n'avait rien à faire chez elle, comme si des remords et des vertiges troublaient l'esprit - - - - -.

La réaction seule peut ouvrir ces portes. Ce sont les Habsbourg et les Hohenzollern qui solliciteront l'aide fraternelle de l'armée russe et la guideront au cœur de l'Europe.

C'est alors que le grand parti de l'ordre verra ce que c'est qu'un *gouvernement fort*, ce que c'est que le respect de l'autorité. Nous conseillons aux petits princes de l'Allemagne d'étudier dès à présent le sort des princes royaux de la Géorgie, auxquels on a donné à Pétersbourg un peu d'argent, le titre d'Altesse et le droit d'avoir une couronne royale sur leur voiture. L'Europe révolutionnaire, au contraire, ne peut être vaincue - - - - -. Elle sauvera la Russie d'une crise affreuse et elle se sauvera elle-même de la Russie.

Le gouvernement russe, après avoir travaillé vingt ans, est parvenu à allier d'une manière indissoluble la Russie à l'Europe révolutionnaire.

Il n'y a plus de frontières entre la Russie et la Pologne.

Or donc, l'Europe sait ce que c'est que la Pologne, cette nation abandonnée de tout le monde dans une lutte inégale, qui, depuis, a versé à flots son sang sur tous les champs de bataille, où il s'est agi de conquérir la liberté d'un peuple quelconque. On connaît ce peuple qui, après avoir succombé sous le nombre, a traversé l'Europe en triomphateur plutôt qu'en vaincu, et s'est dispersé dans les autres peuples pour leur enseigner, malheureusement sans succès, l'art de succomber sans fléchir, sans s'avilir et sans perdre la foi. Eh bien, on peut anéantir la Pologne, mais non pas l'asservir, on peut exécuter la menace - - - - - de ne laisser sur la place de Varsovie qu'une inscription et un tas de pierres, mais la rendre esclave, à l'instar des provinces paisibles de la Baltique, c'est impossible.

Confondant la Pologne avec la Russie, le gouvernement a élevé un pont immense pour le passage solennel des idées révolutionnaires, un pont qui commence à la Vistule et finit à la Mer Noire.

La Pologne est censée morte, mais à chaque appel elle répond «Présente», comme l'a dit, en 1848, l'orateur d'une députation polonaise. Elle ne doit pas bouger, sans être sûre de ses voisins occidentaux, car elle en a assez de la sympathie de Napoléon et des célèbres paroles de Louis-Philippe: «La nationalité polonaise ne périra pas».

Ce n'est pas de la Pologne, ce n'est pas de la Russie que nous doutons, c'est de l'Europe. Si nous avons quelque foi dans les peuples d'Occident, avec quel empressement eussions-nous dit aux Polonais:

«Votre sort, frères, est pire que le nôtre; vous avez beaucoup souffert, patience encore: un grand avenir est au bout de vos malheurs! Vous tirerez une vengeance sublime, vous aiderez à l'émancipation de ce peuple par les mains duquel on a rivé vos fers. Dans vos ennemis, - - - - - vous reconnaîtrez vos frères, au nom de l'indépendance et de la liberté».

Annexe

sur la commune rurale en Russie.

La commune rurale russe subsiste de temps immémorial, et les formes s'en retrouvent, assez semblables, chez toutes les tribus slaves. Là, où elle n'existe pas, elle a succombé sous l'influence germanique. Chez les Serbes, les Bulgares et les Monténégrins, elle s'est conservée plus pure encore qu'en Russie. La commune rurale représente pour ainsi dire l'unité sociale, une personne morale; l'état n'a jamais dû aller au-delà; elle est le propriétaire, la personne à imposer; elle est responsable pour tous et pour chacun, et par suite elle est autonome en tout ce qui concerne ses affaires intérieures.

Son principe économique est l'antithèse parfaite de la célèbre maxime de Malthus: elle laisse chacun sans exception prendre place à sa table. La terre appartient à la commune et non à ses membres en particulier; à ceux-ci appartient le droit inviolable d'avoir autant de terre que chaque autre membre en possède au-dedans de la même commune; cette terre lui est donnée, comme possession, sa vie durant; il ne peut et n'a pas besoin non plus de la léguer par héritage. Son fils, aussitôt qu'il a atteint l'âge d'homme, a le droit, même du vivant de son père, de réclamer de la commune une portion de terre. Si le

père a beaucoup d'enfants, ils reçoivent après avoir atteint la majorité chacun une portion de terre; d'un autre côté, à la mort de chacun des membres de la famille, la terre revient à la commune.

Il arrive fréquemment que des vieillards très-âgés rendent leur terre et acquièrent par là le droit de ne point payer d'impôts. Un paysan qui quitte pour quelque temps sa commune, ne perd pas pour cela ses droits à la terre; ce n'est que par l'exil, prononcé par la commune (ou le gouvernement), qu'on peut la lui retirer, et la commune ne peut prendre part à une pareille décision que par un vote unanime; elle n'a cependant recours à ce moyen que dans les cas extrêmes. Enfin, un paysan perd aussi ce droit dans le cas où, sur sa demande, il est affranchi de l'union communale. Il est alors autorisé seulement à prendre avec lui son bien mobilier; rarement lui permet-on de disposer de sa maison ou de la transporter. De cette sorte, le prolétariat rural est chose impossible.

Chacun de ceux qui possèdent une terre dans la commune, c'est-à-dire chaque individu majeur et imposé, a voix dans les intérêts de la commune. L'ancien du village et ses adjoints sont choisis dans une réunion générale. On procède de même pour décider les procès entre les différentes communes, pour partager la terre et pour répartir les impôts. (Car c'est essentiellement la terre qui paie et non la personne. Le gouvernement compte seulement les têtes; la commune fait sa distribution de la somme totale en prenant pour unité le travailleur actif, c'est-à-dire le travailleur qui a une terre à son usage).

L'ancien (le *starosta*) a une grande autorité sur chaque membre, mais non sur la commune: pour peu que celle-ci soit unie, elle peut très-bien contrebalancer le pouvoir de l'ancien, l'obliger même à renoncer à sa place, s'il ne veut pas se plier à leurs vœux. Le cercle de son activité est d'ailleurs exclusivement administratif; toutes les questions qui ne sont pas purement de police, sont résolues, ou d'après les coutumes en vigueur, ou par le conseil des pères de famille, des chefs de maison ou enfin par la réunion générale. M. Haxthausen ¹⁾ a commis une grande erreur en disant que le président administre despotiquement la commune. Il ne peut agir despotiquement que si toute la commune est pour lui.

Cette erreur a conduit Haxthausen à voir dans ce *starosta* l'image de l'autorité impériale. L'autorité impériale, résultat de la centralisation moscovite et de la réforme de Pétersbourg, n'a pas de contre-poids, tandis que l'autorité du *starosta* dépend de la commune.

¹⁾ Dans un ouvrage très-intéressant, mais frénétiquement réactionnaire, sur la *Russie agricole* qu'il a publié, en 1847, en allemand et en français.—A. H.

Que l'on considère maintenant que chaque russe qui n'est point citadin ou noble, doit appartenir à une commune, et que le nombre des habitants des villes, par rapport à la population des campagnes, est extrêmement restreint, et l'impossibilité d'un prolétariat nombreux devient évidente. Le plus grand nombre des travailleurs des villes appartient aux communes rurales pauvres, surtout à celles qui ont peu de terre; mais, comme il a été dit, ils ne perdent pas leurs droits dans la commune; aussi les fabricants doivent nécessairement payer aux travailleurs un peu plus que ne leur rapporterait le travail des champs.

Souvent ces travailleurs se rendent dans les villes pour l'hiver seulement, d'autres y restent pendant des années; ces derniers forment entre eux de grandes associations de travailleurs; c'est une sorte de commune rurale mobilisée. Ils vont de ville en ville (les métiers sont presque libres), et leur nombre réuni dans la même association, s'élève souvent jusqu'à plusieurs centaines, quelque fois même jusqu'à mille; il en est ainsi, par exemple, des charpentiers et des maçons à Pétersbourg et à Moscou, et des voituriers sur les grandes routes. Le produit de leur travail est administré par des directeurs choisis et partagé, d'après l'avis de tous, dans des assemblées générales.

Le seigneur peut réduire la terre concédée aux paysans; il peut choisir pour lui le meilleur sol; il peut agrandir ses bien-fonds, et, par là, le travail du paysan; il peut augmenter les impôts, mais il ne peut pas refuser aux paysans une portion de terre suffisante, et la terre, une fois appartenant à la commune, demeure complètement sous l'administration communale, la même en principe que celle qui régit les terres libres; le seigneur ne se mêle jamais dans ses affaires.

On a vu des seigneurs qui voulaient introduire le système européen du partage parcellaire des terres et la propriété privée. Ces tentatives provenaient pour la plupart de la noblesse des provinces de la Baltique; mais elles échouèrent toutes, et finirent généralement par le massacre des seigneurs ou par l'incendie de leurs châteaux, car tel est le moyen national auquel le paysan russe a recours pour faire connaître qu'il proteste ¹⁾.

L'effroyable histoire de l'introduction des colonies militaires a montré ce que c'est que le paysan russe, quand on l'attaque dans sa dernière forteresse. Le *libéral* Alexandre fit emporter les villages d'assaut; l'exaspération des paysans grandit jusqu'à la fureur la plus tra-

¹⁾ Par les documents que publie le ministère de l'intérieur, on voit que généralement chaque année, déjà avant la dernière révolution de 1848, 60 à 70 seigneurs fonciers furent massacrés par leurs paysans. N'est-ce pas là une protestation permanente contre cette autorité illégale? — A. H.

gique; ils égorgèrent leurs enfants pour les soustraire aux institutions absurdes qui leur étaient imposées par la baïonnette et la mitraille. Le gouvernement, furieux de cette résistance, poursuivit ces hommes héroïques; il les fit battre de verges jusqu'à la mort, et, malgré toutes ces cruautés et ces horreurs, il ne put rien obtenir. La sanglante insurrection de la Staraja-Roussa, en 1831, a montré combien peu ce malheureux peuple se laisse dompter.

On dit que tous les peuples sauvages ont aussi commencé par une commune analogue, qu'elle a existé chez les Germains et les Celtes dans son complet développement, qu'on la trouve aux Indes, mais on ajoute que partout elle a dû disparaître avec les commencements de la civilisation.

La commune germaine et celtique sont tombées devant deux idées sociales, complètement opposées à la vie communale: la féodalité et le droit romain. Nous, par bonheur, nous nous présentons avec notre commune, à une époque où la civilisation anti-communale aboutit à l'impossibilité absolue de se dégager, par ses principes, de la contradiction entre le droit individuel et le droit social.

Mais, dit-on, par ce partage continu du sol, la vie communale trouvera sa limite naturelle dans l'accroissement de la population. Quelque grave en apparence que soit cette objection, il suffit, pour l'écarter, de répondre que la Russie possède encore des terres pour tout un siècle, et que, dans cent ans, la brûlante question de possession et de propriété sera résolue d'une façon ou d'autre.

Beaucoup d'écrivains, et parmi eux Haxthausen, disent que, suite de cette instabilité dans la possession, la culture du sol ne s'améliore point; cela peut bien être, mais les amateurs agronomes oublient que l'amélioration de l'agriculture, dans le système occidental de la possession, laisse la plus grande partie de la population dans une profonde misère, et je ne crois pas que la fortune croissante de quelques fermiers et le progrès de l'agriculture, comme art, puissent être considérés, par l'agronomie elle-même, comme un juste dédommagement de l'horrible situation du prolétariat affamé.

La Russie agreste se pliant à tout en apparence, n'a réellement rien accepté de la réforme de Pierre I^{er}. Il sentait cette résistance passive; il n'aimait pas le paysan russe et n'entendait rien non plus à sa manière de vivre. Il fortifia, avec une légèreté coupable, les droits de la noblesse et resserra la chaîne du servage; dès lors, le paysan se renferma plus étroitement que jamais au sein de sa commune, et ne s'en écartait qu'en jetant autour de lui des regards défiants; il voit dans l'officier de police et le juge un ennemi, il voit dans le seigneur terrien une puissance brutale, contre laquelle il ne peut rien faire.

Il commença dès lors à désigner, par le mot *malheureux*, tout condamné par la loi, à mentir sous le serment et à nier tout, quand il était interrogé par un homme qui se présentait en uniforme et qui lui semblait le représentant du gouvernement allemand. Cent cinquante ans, loin de le réconcilier avec le nouvel ordre de choses, l'en ont encore éloigné davantage.

Le paysan russe a beaucoup supporté, beaucoup souffert; il souffre beaucoup à cette heure, mais il est resté lui-même. Quoique isolé dans sa petite commune, sans liason avec les siens, tous dispersés sur cette immense étendue du pays, il a trouvé dans une résistance passive et dans la force de son caractère, les moyens de se conserver; il a courbé profondément la tête, et le malheur a passé souvent au-dessus de lui sans le toucher; voilà pourquoi, malgré sa position, le paysan russe possède tant d'agilité, tant d'intelligence et de beauté, qu'à cet égard il a excité l'étonnement de Custine et d'Haxthausen.

О РАЗВИТІИ
РЕВОЛЮЦІОННЫХЪ ИДЕЙ
ВЪ РОССІИ.

—●—
*Нашему другу,
Михаилу Бакунину.¹*

Мои друзья изъ Польской Демократической Централизаціи очень хотятъ выпустить второе изданіе моей работы: «О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи».

Я придаю этому факту большое значеніе: изданіе это будетъ новымъ открытымъ свидѣтельствомъ братскаго союза между революціонной Польшей и русскими революціонерами.

А. Г.

ВВЕДЕНІЕ.

«Тебѣ въ живое время не тревожатъ душу ни безполезныя воспоминанія, ни напрасные споры».

Гете.

...Я покинулъ Россію въ срединѣ холодной, снѣжной зимы маленькою, проселочною дорогою, которая рѣдко посѣщается и служитъ только для соединенія Псковской губерніи съ Лифляндіей. Эти двѣ сосѣднія области, имѣющія мало сношеній между собою, удаленныя отъ всякаго внѣшняго вліянія, представляютъ контрастъ, который нигдѣ больше не встрѣчается съ такой степенью обнаженности, съ такою,—скажемъ даже,—преувеличенностью.

Это—распахиваніе цѣлины рядомъ съ похоронами, это — канунъ, соприкасающійся съ завтрашнимъ днемъ, это—тяжкое проро-

станіе и трудная агонія. Съ одной стороны, все пахнетъ известью, ничто не dokonчено, ничто еще не обитаемо, вездѣ лѣсные материалы, голая стѣны; съ другой—все отдаетъ плѣсенью, все обращается въ развалины, все становится нежилымъ, вездѣ щели, обломки, мусоръ.

Среди еловыхъ лѣсовъ, посыпанныхъ снѣгомъ, на обширныхъ равнинахъ появлялись русскія деревушки; онѣ быстро и рѣзко выдѣлялись на фонѣ ослѣпительной бѣлизны. Видѣ этихъ бѣдныхъ сельскихъ общинъ имѣетъ нѣчто, глубоко трогательное для меня. Домики жмутся одинъ къ другому, предпочитая вмѣстѣ сгорѣть, чѣмъ разбрасываться. Поля безъ изгородей и заборовъ теряются въ безпредѣльной дали позади домовъ. Избушка—для человѣка, для семьи; земля—для всѣхъ, для общины.

Крестыанинъ, живущій въ этихъ домишкахъ, остался въ томъ же положеніи, въ какомъ застали его кочующія полчища Чингизъ-хана. Событія послѣднихъ вѣковъ прошли надъ его головою, даже не разбудивъ его беззаботной мысли. Это—существованіе, промежуточное между геологіей и исторіей, это—формація, у которой есть собственный характеръ, образъ существованія, физиологія, но нѣтъ біографіи. По прошествіи двухъ-трехъ поколѣній крестыанинъ вновь строитъ свой домишко изъ еловаго лѣсу, который мало-по-малу разрушается, не оставляя по себѣ слѣдовъ болѣе, чѣмъ самъ крестыанинъ.

Поговорите, однако, съ нимъ и вы сейчасъ увидите, закатъ ли это жизни, или дѣтство, варварство послѣ смерти или варварство передъ жизнью. Но только говорите съ нимъ его языкомъ, успокойте его, покажите ему, что вы не врагъ его. Я далекъ отъ того, чтобы порицать русскаго крестыанина за боязнь, которую онъ проявляетъ къ культурному человѣку. Культурный человѣкъ, котораго онъ видитъ,—или его помѣщикъ, или чиновникъ. И крестыанинъ остерегается его, смотритъ на него мрачнымъ взглядомъ, отвѣшиваетъ ему глубокіе поклоны и удаляется, — онъ его не уважаетъ. Онъ боится въ немъ не высшей природы, а непреодолимой силы. Онъ побѣжденъ, но онъ вовсе не лакей. Его жесткій языкъ, демократическій и патріархальный, не получилъ образованія переднихъ. Его черты мужественной красоты устояли передъ двойнымъ закрѣпощеніемъ — - - и помѣщика. У крестыанина Великой и Малой Россіи очень пронизательный умъ и такая, почти южная, живость, что удивляешься, находя ее на сѣверѣ. Онъ говоритъ хорошо и много; привычка быть всегда съ сосѣдями сдѣлала его общительнымъ.

...Пріѣхавъ на одну изъ послѣднихъ русскихъ станцій, мы ждали

почтовыхъ лошадей въ маленькой комнатѣ, натопленной, какъ теплица. Жена станціоннаго смотрителя, грязная, плохо причесанная и крикливая, заставляла насъ пить чай. Соскучившись разсматривать гравюру,—очень интересную,—украшавшую стѣну надъ кожанымъ диваномъ, я обрадовался, услыжавъ шумъ противъ дома.

Но раньше, чѣмъ оставить гравюру, я долженъ сообщить объ очень характерномъ содержаніи ея. Вѣроятно, она принадлежала къ временамъ, слѣдовавшимъ за царствованіемъ Петра I. То былъ онъ, усѣвшійся за столомъ, уставленнымъ кушаньями и винною посудю. Князь Меншиковъ съ глубокимъ поклономъ представляетъ и предлагаетъ ему молодую особу — будущую императрицу Екатерину I. Надпись гласила: «Примѣрный подданный уступаетъ своему возлюбленному монарху то, что имѣетъ самаго драгоцѣннаго».

Я до сихъ поръ раскаиваюсь, что не купилъ этой гравюры...

Я вышелъ, чтобъ справиться, отчего происходитъ шумъ. Передъ кучкой ямщиковъ бѣсновался офицеръ, ругая всѣхъ, крича во все горло. Ямщики смотрѣли на него съ той иронической безстрастностью, которая составляетъ отличительную черту русскихъ крестьянъ. Позади офицера стоялъ станціонный смотритель, сильно выпившій; онъ тоже кричалъ, но въ то же время дѣлалъ глазами какіе-то знаки крестьянамъ.

— Гдѣ староста?! гдѣ староста?! — кричалъ офицеръ съ пѣною у рта отъ бѣшенства.

— Гдѣ староста?..—повторяли нѣсколько крестьянъ съ вялымъ спокойствіемъ, которое могло бы вывести изъ себя святого...—Но вотъ старосты нѣтъ; три человѣка пошли его искать.—Въ кабакѣ его нѣтъ, у крестной также.—Гдѣ можетъ быть староста? удивительно!»

Ясно было, что староста былъ тутъ же, въ кучкѣ крестьянъ.

— Разбойники,—кричалъ станціонный смотритель.—Ахъ, разбойники! не хотятъ искать старосту.

— А вы,—возразилъ офицеръ,—какой вы станціонный смотритель? Такъ-то вамъ повинуются? Хорошо же вы представляете начальство! Я отрапортую, я самъ напишу графу Адлербергу (министру почтъ), я его лично знаю.

— Пожалѣйте отца семейства: двадцать три года военной службы, медаль за взятіе Варны, двѣ раны, пуля навывлетъ, пряжка за двадцать лѣтъ безпорочной службы,—машинально повторялъ станціонный смотритель, не казавшійся слишкомъ испуганнымъ.

Такъ какъ дѣло не подвигалось, то офицеръ придрался къ мальчику, лѣтъ шестнадцати или семнадцати.

— Какъ,—сказалъ онъ,—ты мнѣ смѣешься въ глаза! ты мнѣ

смѣешься въ глаза! Ты узнаешь, какъ не уважать эполеты,—и онъ бросился на парня; тотъ, увернувшись отъ удара кулакомъ, которымъ офицеръ ему угрожалъ, кинулся бѣжать; офицеръ хотѣлъ его преслѣдовать, но снѣгъ былъ такъ глубокъ, что онъ завязъ въ немъ по колѣно.

Мужики расхохотались...

— Да это бунтъ! это бунтъ!—кричалъ офицеръ и повелительно приказывалъ парню, который взлѣзъ, какъ бѣлка, на вершину дерева, спуститься внизъ...

— Нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ,—не слѣзу; ты меня побьешь.

— Слѣзай, скверный парнишка, слѣзай!—добавлялъ станціонный смотритель.

Парень качалъ головой.

— Ну, вотъ,—продолжалъ станціонный смотритель, обращаясь къ офицеру,—ваша милость, сами можете теперь судить, съ какимъ народомъ намъ приходится имѣть дѣло съ утра до вечера,—хуже турокъ! Когда только Господь освободитъ меня отъ этого ада! Я здѣсь остаюсь только изъ-за не достающихъ до пенсіи трехъ лѣтъ. Но, ваша милость, будьте спокойны, я справлюсь съ этими разбойниками, и они отвезутъ васъ даже безъ прогонныхъ денегъ. Я сейчасъ пошлю за комиссаромъ; онъ живетъ тутъ недалеко,—версть 30, даже меньше. А пока, можетъ, ваша милость желаетъ выпить чаю?

— Да что вы? Не сошли вы съ ума случайно?—сказалъ ему офицеръ тономъ отчаянія.—Какъ, вы хотите, чтобы я терялъ время въ ожиданіи комиссара? Дайте мнѣ лошадей, дайте мнѣ лошадей!..

Мой экипажъ былъ готовъ, и я не знаю, чѣмъ кончилась исторія. Но можно быть увѣреннымъ, что офицера надули. Мой ямщикъ улыбался всю дорогу. Исторія съ офицеромъ не выходила у него изъ памяти.

— Горячая голова, этотъ офицеръ!—сказалъ я ему.

— Это ничего. Не онъ первый; мы сразу увидали, что онъ скоро устанетъ...

...Достаточно проѣхать два часа, чтобы попасть въ другой міръ. Точно перемѣна декораций безъ спуска занавѣса. Поверхность земли болѣе неровная, даже немножко гористая, дорога извиивается,—это уже не та прямая, безконечная линія, проведенная по океану снѣга, которую Мицкевичъ такъ хорошо описалъ.

Первая лифляндская почтовая станція была расположена на горѣ. Я взошелъ въ «Passagier Stube» ¹⁾. Въ этой комнатѣ была

¹⁾ Комната для пріѣзжающихъ.

такая чистота, такой порядокъ, какъ будто ее только наканунѣ покрасили или ждали на другой день чьего-либо посѣщенія. Полъ посыпанъ пескомъ, на окнахъ герани и розмарины, въ одномъ изъ угловъ фортепіано въ четыре съ половиною октавы; на столѣ, покрытомъ бѣлой скатертью, лютеранская библія. Между немногими литографіями и въ рамкѣ, нѣсколько болѣе цѣнной, находилось печатное произведеніе. То было «An meinen lieben Fritz» ¹⁾ — нѣчто въ родѣ идиллическаго завѣщанія, написаннаго Фридрихомъ Вильгельмомъ III для своего сына.

Станціонный смотритель, благодушный старикъ съ тѣмъ видомъ набожной наивности, которая свойственна только нѣмцамъ, надѣлъ для меня свой сѣрый фракъ, украшенный перламутровыми пуговицами. Видя, что я читаю завѣщаніе, онъ подошелъ и почтительно началъ разговоръ, титулуя меня поминутно то *baron*'омъ, то *freiherr*'омъ ²⁾, то *hochwohlgeboren*'омъ ³⁾. Онъ сказалъ мнѣ, между прочимъ, что никогда не могъ прочесть безъ слезъ трогательныя слова добраго покойнаго короля!

Такъ какъ станціонный смотритель говорилъ, что, судя по вѣтру, можно ожидать очень бурную ночь, и совѣтовалъ мнѣ остаться до утра, я захотѣлъ увидѣть, въ чемъ дѣло, и вышелъ на улицу. Рѣзкій морозный вѣтеръ дулъ между обнаженными вѣтвями деревьевъ, сильно ихъ встряхивая. Отъ времени до времени гонимыя вѣтромъ облака открывали серпъ блѣднаго мѣсяца, и тогда была видна полуразрушенная башня, — остатокъ развалившагося замка. Подъ низкими воротами, которые когда-то вели въ замокъ, сидѣлъ десятокъ финновъ, маленькихъ ростомъ, невзрачныхъ, жалкихъ, съ свѣтлыми волосами цвѣта льна. Языкъ ихъ, для насъ совершенно чуждый, неприятнымъ образомъ поражалъ мой слухъ. Надъ воротами былъ прибитъ оплетенный соломой орелъ. Молодой человекъ, стройный блондинъ, съ закрученными усами, съ ружьемъ за плечами, появился и исчезъ въ одно мгновеніе. Онъ сидѣлъ въ маленькихъ саняхъ, которыми самъ правилъ. Упряжь его лошади вмѣсто того, чтобы украшаться русской дугой, звонила двумя десятками колокольчиковъ; за санями бѣжала борзая собака, обнюхивая мерзлую землю.

Въ Лифляндіи и Курляндіи нѣтъ деревень, подобныхъ русскимъ. Тамъ фермы, разсѣянныя около замковъ. Крестьянскія хижины стоятъ врозь, русской общины здѣсь нѣтъ. Въ этихъ фермахъ живетъ народъ

¹⁾ «Моему любезному Фрицу».

²⁾ Баронъ.

³⁾ Высокоблагородный.

бѣдный, добрый, но весьма мало одаренный, очевидно безъ будущаго, подшибленный вѣковымъ поработченіемъ, остатокъ ископаемой расы, потопленной волнами другихъ расъ. Разстояніе между нѣмцами и финнами громадно; германская цивилизація, надо сказать, очень мало сообщительна. Финны этихъ мѣстъ остались полудикими, послѣ многихъ вѣковъ сосуществованія и постоянныхъ сношеній съ нѣмцами. Первымъ объ ихъ образованіи позаботился императоръ Николай,—по своему, конечно,—и сдѣлалъ изъ нихъ православныхъ восточной церкви.

Но, особенно, въ Ригѣ,—въ этихъ темныхъ, узкихъ улицахъ, въ этомъ городѣ привилегій, цеховъ, *Zünfte* овъ¹⁾, съ ганзейскимъ и лютеранскимъ духомъ, гдѣ сама торговля отстала и неподвижна, гдѣ русское населеніе принадлежитъ къ ретрограднымъ раскольникамъ, которые оставили отечество двѣсти лѣтъ тому назадъ, находя порядки царя Алексѣя слишкомъ революціонными, а патріарха Никона черезчуръ смѣлымъ новаторомъ, — понялъ я всю разницу между тѣмъ міромъ, который только что оставилъ, и тѣмъ, куда вѣзжалъ.

Исхудалые евреи, съ ермолками изъ чернаго бархата на головѣ, съ тонкими ногами, въ короткихъ штанахъ, въ самый разгаръ балтійской зимы обутые въ бумажные чулки и низкіе башмаки; нѣмецкіе коммерсанты съ видомъ сенаторскаго величія, которое заставляетъ васъ пойти по другому пути, чтобы ихъ не встрѣтить... Въ казино и клубѣ говорятъ только о монополіяхъ, уступленныхъ городу въ 1600 году, о вольностяхъ, данныхъ въ 1450 году, о послѣднихъ нововведеніяхъ, сдѣланныхъ въ 1701...

Балтійскіе нѣмцы, сыны древней цивилизаціи, уже много вѣковъ тому назадъ нѣсколько отдѣлились отъ главнаго историческаго движенія; съ того времени они точно застыли, остановились на томъ, чѣмъ были, ничего съ тѣхъ поръ не пріобрѣтая; они завели порядокъ, правила, мѣру въ идеяхъ и дѣлахъ, чтобы никогда отъ нихъ не уклоняться... А потому, очевидно, они должны ненавидѣть все неопредѣленное, преувеличенное, безпорядокъ, которые царствуютъ не только въ русскихъ законахъ, но даже въ нравахъ.

Мы не достигли до опредѣленной устойчивости,—мы ее ищемъ, стремимся къ общественному строю, болѣе подходящему къ нашей природѣ, и остаемся при какомъ-то произвольномъ временномъ состояніи, ненавидя его и принимая его, желая отъ него отдѣлаться и терпя его противъ желанія. Они же, напротивъ,—настоящіе консерваторы: они много потеряли и боятся потерять осталь-

¹⁾ Цехъ, гильдія.

ное. Мы можемъ только выиграть и не можемъ ничего проиграть. Мы повинемся по принужденію; законы, которые нами управляютъ, мы считаемъ за запрещенія, за преграды и нарушаемъ ихъ, когда можемъ или смѣемъ; въ этомъ отношеніи—никакого безпокойства со стороны совѣсти. У нихъ, напротивъ, одна часть закона принята серьезно и нарушить ее было бы преступленіемъ въ ихъ собственныхъ глазахъ. Эта часть поддерживаетъ другую, нелѣпость которой очевидна для всѣхъ.

У нихъ опредѣленные понятія о нравственности, а у насъ—нравственный инстинктъ.

Они предъ нами имѣютъ то преимущество, что у нихъ есть положительныя, выработанныя правила; они принадлежатъ къ великой европейской цивилизаціи. Мы же имѣемъ предъ ними преимущество въ здоровыхъ силахъ, въ нѣкоторой широтѣ надеждъ. Тамъ, гдѣ ихъ останавливаетъ совѣсть, насъ останавливаетъ жандармъ. Ариѳметически слабые, мы уступаемъ, ихъ же слабость—слабость алгебраическая, заключающаяся въ самой формулѣ.

Мы ихъ глубоко шокируемъ нашимъ разгильдяйствомъ, нашимъ поведеніемъ, малымъ соблюденіемъ приличій, выставленіемъ нашихъ полу-варварскихъ, полу-развращенныхъ страстей. Они намъ смертельно надоѣдаютъ своимъ буржуазнымъ педантизмомъ, своимъ преувеличеннымъ, дѣланымъ пуризмомъ, своимъ поведеніемъ, безусловно скряжническимъ.

Наконецъ, у нихъ человѣкъ, тратящій болѣе половины своихъ доходовъ, считается блуднымъ сыномъ, расточителемъ. У насъ человѣкъ, который проживаетъ только свои доходы, считается чудовищемъ скупости...

Эта антитеза,—рѣзкая, почти преувеличенная, какъ мы сами это сказали, между Россіей и балтійскими провинціями,—существуетъ, въ основѣ своей, между славянскимъ міромъ и Европой.

Есть, однако, и разница: въ славянскомъ мірѣ, на его поверхности имѣется элементъ западной цивилизаціи, а въ мірѣ европейскомъ, въ его основаніи,—элементъ, вполне варварскій; тогда какъ псковскіе крестьяне не имѣютъ абсолютно ничего цивилизованнаго, балтійскіе нѣмцы прикрываютъ не варварское, однородное населеніе, а населеніе въ упадкѣ и совершенно разнородное.

Германо-латинскіе народы произвели двѣ исторіи, создали два міра во времени и два міра въ пространствѣ. Они износились два раза. Очень возможно, что у нихъ есть достаточно соковъ, достаточно силы для третьей метаморфозы, но она не можетъ совершиться при существующихъ общественныхъ формахъ, такъ какъ эти формы въ явномъ противорѣчій съ революціонною мыслью. Мы

уже видѣли, что для того, чтобы великія идеи европейской цивилизаціи могли осуществиться, онѣ должны переправиться черезъ океанъ и искать земли, менѣе загроможденной развалинами.

Напротивъ того, всё прошлое существованіе славянскихъ народовъ носить характеръ начала, завладѣванія, роста и *способности*. Они только что вошли въ великую рѣку исторіи. Они никогда не имѣли развитія, сообразнаго ихъ природѣ, ихъ генію, ихъ стремленіямъ. Какія же ихъ стремленія? Мы это увидимъ впослѣдствіи. Ограничусь тѣмъ, что скажу, что они не формулированы, какъ теорія, а существуютъ въ народной жизни, въ его пѣсняхъ и легендахъ, предсуществуютъ въ *habitus*'ѣ ¹⁾ всѣхъ славянскихъ расъ. Это—инстинктъ, влеченіе естественное, постоянное, сильное, но смутное, къ которому скорѣе примѣшиваются трудныя потуги, національныя и религиозныя, чѣмъ обоснованная, законченная мысль.

Исторія славянъ скудна.

За исключеніемъ Польши, славяне входятъ больше въ вѣдѣніе географіи, чѣмъ исторіи.

Есть славянскій народъ, который дѣйствительно пожилъ въ продолженіе одной только борьбы—войны таборитовъ.

Есть другой, который только очертилъ свои границы, только поставилъ вѣхи, только приготовилъ себѣ мѣсто и объединилъ въ себѣ,—насильственно, предварительно,—шестую часть земного шара, которую онъ гордо принялъ за поле своей дѣятельности...

...Имѣютъ ли нѣкоторыя права на будущее эти народы, столь мало замѣтные въ ихъ прошломъ и столь мало извѣстные въ настоящемъ?

Мы далеки отъ мысли, что будущее принадлежитъ всѣмъ расамъ, которыя ничего не сдѣлали и лишь много страдали.

Но оно можетъ принадлежать тѣмъ изъ нихъ, которыя не по титулу и безъ приглашенія смѣло заняли свое мѣсто на великомъ соборѣ дѣйствующихъ націй, которыя форсируютъ входъ исторіи, которыя вмѣшиваются во всѣ дѣла, подталкиваемыя пожирающей жаждой дѣятельности, которыя занимаютъ собою умъ и воображеніе всѣхъ и бросаются, очертя голову, въ потокъ исторической аорты.

Есть въ появленіи извѣстныхъ народовъ нѣчто, что останавливаетъ мыслителя, заставляетъ его размышлять, вселяетъ въ него безпокойство, точно онъ предчувствуетъ подъ землей новую руду, новую силу, глухое броженіе, стремящееся приподнять кору, вы-

¹⁾ Наружный видъ.

литься,—точно онъ слышитъ въ невѣдомой дали шаги гигантовъ, все болѣе и болѣе приближающіеся.

Такова роль Россіи со времени Петра I.

Менѣе вѣка тому назадъ Франція еще оспаривала у царей титулъ императора, теперь же дѣло идетъ уже не о *титуль*, но о *фактъ* русскаго господства, простирающагося до Рейна ¹⁾, спускающагося до Босфора и отступающаго съ другой стороны до Тихаго океана.

Въ чемъ же смыслъ этихъ высококомѣрныхъ претензій,—этихъ жалкихъ уступокъ?

Гунны ли это, сбѣгающіеся, чтобы покончить съ Римомъ и затѣмъ исчезнуть среди труповъ? Или же османлисы, желающіе еще разъ попробовать, созрѣло ли западное христіанство для могилы?

Или же, наконецъ, это—катастрофа, катаклизмъ, туча саранчи, страшное происшествіе, случившееся во время антракта, отдѣляющаго два міра, одно изъ тѣхъ ужасныхъ привидѣній, которыя ускоряютъ развязку? Или же это начало новаго порядка вещей, и не представляютъ ли собою славяне древнихъ германцевъ по отношенію къ отходящему міру?

Достаточно возможности поставить подобный вопросъ, чтобы все, что можно сказать объ этомъ предметѣ, стало чрезвычайно интересно. А если имѣть смѣлость дойти до утвержденія, что въ смутныхъ стремленіяхъ славянскихъ народовъ есть такія, которыя встрѣчаются съ революціонными стремленіями народныхъ массъ въ Европѣ, что въ этихъ отдаленныхъ хорахъ звучать тѣ же аккорды, что раздаются изъ подпольныхъ глубинъ стараго міра? А если доказать, что сѣверные варвары и варвары «домашніе» имѣютъ, сами того не зная, общаго врага—старое феодальное, - - - - - зданіе, и общую надежду—соціальную революцію?..

Императоръ Николай, исполнитель правосудія, смыслъ котораго отъ него ускользаетъ, можетъ, сколько ему угодно, унижать бесплодное высококомѣріе Франціи и величественное благоразуміе Англии; онъ можетъ объявить Порту русскою, а Германію москов-

¹⁾ Германія существуетъ только по имени. Это—*балтійскія* провинціи, которымъ оставили нѣкоторыя мнимыя права, напримѣръ, право быть вѣрно-подданными не только Николаю, но въ то же время вѣрноподданными ихъ князьковъ. На этихъ дняхъ газеты объявляли пріѣздъ «великой княгини Ольги *св ея мужемъ*, наслѣднымъ принцемъ виртембергскимъ». Никто не удивился, увидя эту антисалическую ^{о)} фразу.—А. И. Г.

^{о)} По салическому закону, царствовать имѣютъ право только мужчины.

скою,—и мы не почувствуемъ ни малѣйшей жалости ко всѣмъ этимъ инвалидамъ. Но чего онъ не можетъ, это—помѣшать другому союзу, который образуется у него за спиною; чего онъ не можетъ, это—помѣшать, чтобы русское вмѣшательство не нанесло послѣдняго удара всѣмъ монархамъ материка, всей реакціи,—помѣшать началу вооруженной соціальной борьбы, ужасной, рѣшительной.

----- власть не переживетъ этой борьбы. Побѣдительница или побѣжденная, она принадлежитъ прошедшему, она не русская, она въ глубокой степени нѣмецкая: обвизантившаяся нѣмецкая. Она, слѣдовательно, имѣетъ два права на смерть. А мы—два права на жизнь: соціалистическій элементъ и молодость.

— Молодые люди тоже умираютъ иногда, — сказалъ мнѣ въ Лондонѣ одинъ очень почтенный человѣкъ, съ которымъ мы говорили о славянскомъ вопросѣ.

— Вѣрно,—отвѣтилъ я ему,—но что еще вѣрнѣе, это то, что старики умираютъ всегда.

Лондонъ, 1 августа 1853 года.

I.

Россія и Европа.

Два года тому назадъ мы напечатали письмо о Россіи въ брошюрѣ, озаглавленной «Съ того берега»¹⁾. Такъ какъ наши взгляды съ тѣхъ поръ не измѣнились, то считаемъ нужнымъ извлечь изъ нея слѣдующія мѣста:

«Тяжелое наше время; все кругомъ насъ разлагается, все волнуется въ какомъ-то круженіи, въ какой-то злокачественной лихорадкѣ. Самыя мрачныя предчувствія осуществляются съ ужасающей быстротой...

«Свободный человѣкъ, который отказывается покориться насилію, скоро не найдетъ въ Европѣ иного пристанища, какъ на палубѣ корабля, отплывающаго въ Америку.

«Не заколотъ ли намъ кинжаломъ, подобно Катону, изъ-за того, что нашъ Римъ умираетъ, а мы ничего не видимъ или не хотимъ видѣть внѣ Рима?..

1) Гамбургъ, Гоффманъ и Кампе, 1849 °)—А. И. Г.

°) См. № 486, «La Russie».

«Извѣстно, однако, что сдѣлалъ римскій мыслитель, который глубоко чувствовалъ всю горечь своего времени: удрученный грустью и безнадежностью, понимая, что міръ, къ которому онъ принадлежалъ, находится наканунѣ крушенія,—онъ бросилъ взглядъ за національный горизонтъ и написалъ книгу: «О нравахъ германцевъ». Онъ оказался правъ, потому что будущее принадлежало этимъ варварскимъ племенамъ.

«Мы ничего не пророчимъ, но мы также не думаемъ, что судьбы человѣчества пригвождены къ Западной Европѣ. Если Европѣ не удастся подняться путемъ общественнаго преобразованія, то преобразуются другія страны; есть уже такія, которыя готовы къ этому движенію, а другія къ нему готовятъ. Одна извѣстна,—Сѣверо-Американскіе Штаты; другая полна силъ, но также и дикости,—ее мало или плохо знаютъ.

«Вся Европа, на всѣ лады, въ парламентахъ и клубахъ, на улицахъ и въ газетахъ повторяла крикъ берлинскаго «Krakehler»: *Русскіе идутъ, русскіе идутъ!* И, въ самомъ дѣлѣ, они не только идутъ, они уже пришли, благодаря габсбургскому дому и, можетъ, продвигнутся еще болѣе, благодаря дому Гогенцоллернскому. Никто, однако, точно не знаетъ, что такое *эти русскіе, эти варвары, эти казаки*. Европа знаетъ этотъ народъ только по борьбѣ, изъ которой онъ вышелъ побѣдителемъ. Цезарь лучше зналъ галловъ, чѣмъ современная Европа знаетъ Россію. Пока она вѣрила въ самоѣ себя, пока будущее ей представлялось лишь продолженіемъ ея развитія, она могла не заниматься другими народами; теперь же положеніе вещей очень измѣнилось. Это величественное невѣдѣніе не идетъ болѣе Европѣ.

«И каждый разъ, какъ Европа упрекнетъ русскихъ, что *они рабы*, русскіе будутъ въ правѣ спросить: *«а вы, развѣ вы свободны?»*

«Правду сказать, восемнадцатый вѣкъ удѣлялъ Россіи вниманіе, болѣе глубокое и болѣе серьезное, чѣмъ XIX вѣкъ,—можетъ, потому что онъ менѣе боялся ея.

«Такіе люди, какъ Миллеръ, Шлоссеръ, Эверсъ, Левекъ посвятили часть своей жизни изученію исторіи Россіи, и столь же научному, какимъ занимались Россією, въ физическомъ отношеніи, Палласъ и Гмелинъ. Съ своей стороны, философы и публицисты съ любопытствомъ наблюдали фактъ существованія деспотическаго и въ то же время революціоннаго правительства. Они видѣли, что престоль, основанный Петромъ I, представлялъ мало аналогіи съ феодальными, традиціонными престолами Европы.

«Два раздѣла Польши были первымъ позоромъ, который запятналъ Россію. Европа не поняла всего значенія этого событія,

потому что она была тогда отвлечена другими заботами: она присутствовала, еле дыша, при великихъ событіяхъ, которыми уже проявлялась французская революція. Разумѣется, русская императрица протянула реакціи свою руку, — всю запачканную въ польской крови. Она ей предложила мечъ Суворова, этого свирѣпаго - - - - - Праги ¹⁾. Кампанія, которую Павелъ предпринялъ въ Швейцаріи и Италіи, не имѣла рѣшительно никакого смысла; она могла только возбудить общественное мнѣніе противъ Россіи.

«Сумасбродная эпоха нелѣпыхъ войнъ, которую французы и до сихъ поръ называютъ временемъ своей славы, окончилась вмѣстѣ съ ихъ нашествіемъ въ Россію: это было заблужденіе генія, какъ и египетская кампанія. Бонапарту благоугодно было явить себя міру стоящимъ на грудѣ труповъ. Къ чванству пирамидами онъ захотѣлъ еще добавить похвальбу Москвою и Кремлемъ. На этотъ разъ онъ не имѣлъ успѣха; онъ поднялъ противъ себя цѣлый народъ, который рѣшительно схватился за оружіе, перешелъ за нимъ слѣдомъ черезъ Европу и взялъ Парижъ.

«Судьба этой части свѣта была нѣсколько мѣсяцевъ въ рукахъ императора Александра, но онъ не сумѣлъ воспользоваться ни своей побѣдой, ни своимъ положеніемъ; онъ поставилъ Россію подъ то же знамя, что и Австрію, точно у этой гнилой и умирающей имперіи было что-нибудь общее съ молодымъ государствомъ, которое только-что явило себя во всемъ своемъ великолѣпіи, точно самый энергичный представитель славянскаго міра могъ имѣть тѣ же интересы, что и самый ярый угнетатель славянъ.

«Этимъ чудовищнымъ союзомъ съ европейской реакціей Россія, лишь только-что возвеличившаяся своими побѣдами, унизилась въ глазахъ всѣхъ мыслящихъ людей. Они печально покачали головами, увидѣвъ, что страна, которая въ первый разъ показала свою силу, предлагаетъ тотчасъ же свою руку и помощь всему тому, что было самага консервативнаго и реакціоннаго, и это — въ противность своимъ интересамъ.

«Недоставало только жестокой борьбы Польши, чтобы возстановить рѣшительно всѣ націи противъ Россіи. Когда благородные и несчастные остатки польской революціи, скитаясь по всей Европѣ, распространили извѣстія объ ужасныхъ жестокостяхъ побѣдителей, со всѣхъ сторонъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ раздались проклятія противъ Россіи. Гнѣвъ народовъ былъ справедливъ...

«Краснѣя за нашу слабость и безсиліе, мы понимали, что наше правительство только-что сдѣлало нашими руками, и наши

¹⁾ Предмѣстье Варшавы.

сердца источали кровь отъ боли, и наши глаза наполнялись горькими слезами.

«Каждый разъ, какъ мы встрѣчали поляка, у насъ не было мужества поднять на него глаза. Однако, я не знаю, справедливо ли обвинять цѣлый народъ и считать его одного отвѣтственнымъ за то, что совершило его правительство.

«Развѣ Австрія и Пруссія не помогали ей въ этомъ? Развѣ Франція, фальшивая дружба которой причинила Польшѣ столько же зла, сколько явная ненависть другихъ народовъ, не выпрашивала въ то же время всѣми способами благосклонность петербургскаго двора? А Германія—не находилась ли уже тогда, добровольно, по отношенію къ Россіи, въ томъ же положеніи, въ какомъ насильно поставлены теперь Молдавія и Валахія? не управлялась ли она тогда, какъ и теперь, русскими уполномоченными и тѣмъ проконсуломъ царя, который носитъ титулъ короля Пруссіи?

«Одна Англія благородно себя держитъ на ногѣ дружественной независимости, но и она ничего не сдѣлала для поляковъ: можетъ, она думала о собственныхъ своихъ несправедливостяхъ передъ Ирландіей. Не менѣе ненависти и упрековъ заслужило и русское правительство; однако, я утверждаю, что эта ненависть должна пасть и на всѣ остальные правительства, потому что не надо ихъ отдѣлять одно отъ другого: это лишь варіаціи одной и той же темы.

«Послѣднія событія насъ многому научили; порядокъ, возстановленный въ Польшѣ, и взятіе Варшавы уже отодвинулись на задній планъ съ тѣхъ поръ, какъ порядокъ царствуетъ въ Парижѣ, и Римъ взятъ, съ тѣхъ поръ, какъ прусскій принцъ завѣдуетъ разстрѣлами, и старая Австрія, по колѣно въ крови, пытается омолодить въ ней свои парализованные члены.

«Стыдно, вѣдь, въ 1849 г., потерявъ все, на что надѣялись, все, что было пріобрѣтено, рядомъ съ трупами тѣхъ, которыхъ разстрѣляли, задушили, рядомъ съ тѣми, которыхъ заковали въ цѣпи, сослали безъ суда, при видѣ несчастныхъ, гонимыхъ изъ страны въ страну, которымъ оказываютъ гостепріимство, какъ евреямъ среднихъ вѣковъ, которымъ бросаютъ, какъ собакамъ, кусокъ хлѣба, чтобъ заставить продолжать ихъ путь—стыдно, говорю я, въ 1849 году признавать царизмъ только подъ 59-мъ градусомъ сѣверной широты. Ругайте, сколько вамъ угодно, осыпайте упреками петербургское - - - - - , печальное постоянство нашей безропотности, но ругайте деспотизмъ повсюду и узнавайте его, подъ какой бы формой онъ ни являлся. Зрительный обманъ, посредствомъ котораго рабству придавали видъ свободы, исчезъ.

«Скажу еще разъ: если ужасно жить въ Россіи, то такъ же

ужасно жить въ Европѣ. Зачѣмъ же я покинулъ Россію? Чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, я переведу нѣсколько словъ изъ моего прощальнаго письма къ друзьямъ: «Не ошибитесь! Я не нашель здѣсь ни радости, ни развлеченій, ни покоя, ни личной безопасности; я даже не могу себѣ представить, чтобы въ настоящее время кто-нибудь могъ найти въ Европѣ отдыхъ и радость.

«Я ни во что не вѣрю здѣсь, кромѣ движенія; я никого не жалѣю здѣсь, кромѣ жертвъ; я никого не люблю здѣсь, кромѣ тѣхъ, кого преслѣдуютъ, и никого не уважаю, кромѣ тѣхъ, кого казнятъ, и, однако, я остаюсь. Остаюсь страдать вдвойнѣ—отъ нашего горя и горя, которое я нахожу здѣсь,—погибнуть, можетъ быть, при всеобщемъ разрушеніи... Остаюсь затѣмъ, что борьба здѣсь открытая, что здѣсь она гласная.

«Горе тому, кто здѣсь побѣжденъ!—но онъ не погибаетъ безъ того, чтобъ не заставить услышать свой голосъ, безъ того, чтобы не испытать свою силу въ бою; и вотъ изъ-за этого голоса, изъ-за этой открытой борьбы, изъ-за этой гласности я остаюсь».

«Вотъ что я писалъ 1 марта 1849 г. Дѣла съ тѣхъ поръ значительно измѣнились. Привилегія быть услышанными и открыто бороться уменьшается съ каждымъ днемъ. Европа съ каждымъ днемъ становится все болѣе похожей на Петербургъ; есть даже страны, которыя болѣе похожи на Петербургъ, чѣмъ сама Россія.

«И если и здѣсь дойдетъ до того, что намъ заткнуть ротъ, и гнетъ не позволить намъ даже громко проклинать нашихъ угнетателей,—мы отправимся тогда въ Америку, жертвуя всѣмъ достоинству человѣка и свободѣ слова».

II.

Россія до Петра I.

Исторія Россіи—не что иное, какъ эмбриологія славянскаго государства: Россія до сихъ поръ только устраивалась. Все прошлое этой страны, начиная съ IX-го вѣка, нужно разсматривать, какъ путь къ невѣдомому будущему, которое лишь обозначается.

Истинная исторія Россіи начинается только съ 1812 года,—до того было лишь предисловіе къ ней. Существенныя силы русскаго народа никогда не поглощались его развитіемъ, какъ силы германороманскихъ народовъ.

Въ IX-мъ столѣтіи Россія представляется государствомъ совершенно иного строя, чѣмъ государства Запада. Большинство на-

селенія принадлежало къ однородной расѣ, разсѣянной по весьма обширной и очень мало населенной территоріи. Различій, какъ вездѣ въ другихъ мѣстахъ, между племенемъ завоевателей и племенами завоеванными здѣсь не встрѣчалось. Слабыя и несчастныя племена финновъ, рѣдко разбросавшіяся и точно потерянные между славянами, прозябали внѣ всякаго движенія, въ бездѣятельномъ подчиненіи или въ дикой независимости; они не имѣли никакого значенія для русской исторіи. Норманны (варяги), надѣлившіе Россію княжескимъ родомъ, который правилъ безъ перерыва до конца XVI столѣтія, явились скорѣе организаторами, чѣмъ завоевателями. Призванные новгородцами, они захватили власть и скоро распространили ее до Кіева ¹⁾.

Варяжскіе князья и ихъ дружины, спустя нѣсколько поколѣній, потеряли свои національныя черты и смѣшались со славянами, прививъ, однако, дѣятельный импульсъ и новую жизнь всѣмъ частямъ этого, только-что устроившагося, государства.

Славянскій характеръ представляетъ нѣчто женское: этой расѣ, смышленной, сильной, обильно надѣленной разнообразными способностями, недостаетъ инициативы и энергіи,—точно славянская природа, не довлѣющая себѣ, ждетъ Толчка, который будилъ бы ее. Первый шагъ всегда для нея труденъ, но малѣйшій толчокъ приводитъ въ движеніе силу, способную къ необыкновенному развитію. Роль норманновъ подобна той, какую выполнилъ позднѣе Петръ Великій посредствомъ западной цивилизаціи.

Населеніе дѣлилось на маленькія сельскія общины; города были рѣдки и ничѣмъ не отличались отъ деревень, за исключеніемъ ббльшаго протяженія и деревянной, окружавшей ихъ, ограды (русское слово *городъ* происходитъ отъ слова *городить*). Каждая община представляла, такъ сказать, потомство одной семьи, владѣвшей имуществомъ безраздѣльно, сообща, подъ патріархальной властью одного изъ главъ семьи, признаваемого за *старѣйшину*. Въ этотъ строй, совершенно монархическій, вносила поправки власть «*всею міра*», то есть всей совокупности жителей. А такъ какъ общественная организація городовъ была та же самая, что и организація деревень, то, очевидно, и княжеская власть уравнивалась общимъ собраніемъ горожанъ (*вѣче*).

¹⁾ Много разсуждали о томъ, какимъ образомъ варяги утвердились въ Россіи,—вопросъ чисто историческій, мало насъ интересующій. Великое значеніе Несторовой версіи заключается въ томъ, что она указываетъ, какъ смотрѣли на нашествіе варяговъ въ XII столѣтіи, и, надо признаться, что лишь она выясняетъ истинную роль варяговъ.—А. И. Г.

Между правами горожанъ и правами крестьянъ не было никакого различія. Вообще, въ древней Россіи мы не встрѣчаемъ никакого отдѣльнаго, привилегированнаго, обособленнаго класса. Былъ только *народъ* и особое племя или, вѣрнѣе, княжеская владѣтельная фамилія, потомство Рюрика-варяга, которое совершенно отличалось отъ народа. Члены княжеской фамиліи раздѣляли между собою всю Россію, сообразно генеалогической древности линій, къ которымъ они принадлежали, и ихъ собственной древности. Государство было подраздѣлено на удѣлы, не отличавшіеся опредѣленностью, и управлялись каждый своимъ княземъ подъ главенствомъ старѣйшаго изъ фамиліи, называвшагося *великимъ княземъ* и имѣвшаго своимъ удѣломъ Кіевъ, а впослѣдствіи—Владиміръ и Москву. Власть великаго князя надъ другими князьями была очень ограничена. Послѣдніе признавали главенство Кіева, но почти не было никакой дѣйствительной зависимости, никакой административной централизаціи. Удѣлы не разсматривались, какъ личная собственность князей,—они и не могли ею быть, такъ какъ князья часто переходили отъ одного удѣла къ другому, соединяли вмѣстѣ нѣсколько удѣловъ путемъ наслѣдства или же раздѣляли свою долю на столько частей, сколько у нихъ было сыновей и наслѣдниковъ мужского пола; кромѣ того, они иногда становились великими князьями, согласно старшинству (не старшій сынъ наслѣдовалъ великому князю, а его братъ). Легко себѣ вообразить, къ какимъ кровопролитнымъ схваткамъ и непрерывнымъ, вѣчнымъ спорамъ приводилъ столь сложный порядокъ наслѣдованія. Войны между великимъ княземъ и удѣльными князьями не прекращались до самаго установленія московской централизаціи.

Мы находимъ около князей кружокъ, весьма ограниченный, ихъ товарищей по оружію, ихъ друзей или служилыхъ лицъ,—сановниковъ тѣхъ временъ,—нѣчто, въ родѣ аристократіи, которую, впрочемъ, очень трудно точно установить, потому что въ ней не было ничего опредѣленнаго или рѣзко обозначившагося. Титуль боярина былъ только почетнымъ; онъ не давалъ никакихъ положительныхъ правъ и не былъ даже наслѣдственнымъ. Другіе титулы представляли собою лишь должности, такъ что лѣстница чиновъ незамѣтно примыкала къ массѣ горожанъ и крестьянъ. Поэтому весь этотъ высшій слой общества набирался изъ народа; повидимому, потомуки варяжскихъ воиновъ, прибывшихъ съ Рюрикомъ, принесли съ собою идею аристократическаго установленія, но славянскій духъ искажилъ ее согласно своимъ патріархальнымъ и демократическимъ понятіямъ. *Дружина*,—нѣчто въ родѣ постоянной гвардіи князя,—была слишкомъ малочисленна, чтобъ образовать отдѣльный классъ.

Княжеская власть была далеко не неограниченна, какою она сдѣлалась въ послѣдствіи въ Москвѣ. Въ дѣйствительности, князь являлся лишь *старѣйшиною* большого числа городовъ и деревень, которыми онъ управлялъ совмѣстно съ *общими собраніями*, но его громадное преимущество заключалось въ томъ, что онъ не былъ выборнымъ и обладалъ верховными правами, принадлежавшими его роду. Кромѣ того, великій князь былъ высшимъ судьей страны,—судебная власть не была отдѣлена отъ исполнительной. Эта странная федерація, единство которой выражалось въ единствѣ господствующей расы и не терялось въ раздробленіи страны на части и въ недостаткѣ централизаціи,—со своимъ однороднымъ населеніемъ, безъ сословій или классовъ, безъ различій между городами и деревнями, со своей земельной собственностью коммунистическаго строя,—ни въ чемъ не похожа на другія государства той же эпохи. Но если это государство столь существенно и отличалось отъ другихъ государствъ Европы, то ничто не даетъ права предполагать, чтобы оно стояло ниже ихъ до XIV столѣтія. Тогда русскій народъ былъ болѣе свободенъ, чѣмъ народы феодальнаго Запада. Съ другой стороны, это славянское государство тоже не похоже было на сосѣднія азіатскія государства. Если въ него и входили какіе-либо восточные элементы, то все же преобладалъ характеръ европейскій. Славянскій языкъ безспорно принадлежитъ къ языкамъ индо-европейскимъ, а не къ азіатскимъ; кромѣ того, у славянъ нѣтъ ни тѣхъ внезапныхъ взрывовъ, которые будятъ фанатизмъ всего населенія, ни той апатіи, благодаря которой одна и та же социальная форма тянется изъ поколѣнія въ поколѣніе въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ. Если личная независимость столь же мало развита у славянскихъ народовъ, какъ и у народовъ Востока, то все же можно установить слѣдующее различіе: личность славянина поглощалась общиной, которой онъ былъ дѣятельный членъ, тогда какъ на Востокѣ личность человѣка поглощалась племенемъ или государствомъ, въ которомъ она принимала лишь пассивное участіе.

Изъ Европы Россія казалась азіатской, изъ Азіи — европейской, и этотъ дуализмъ вполне соответствовалъ ея характеру и ея судьбѣ, которая, между прочимъ, заключается въ томъ, чтобы стать великимъ караванъ-сараемъ между Азіей и Европой.

Даже въ религіи тотъ же дуализмъ вліяній. Христіанство—европейская религія, это—религія Запада; принявъ его, Россія отдалась отъ Азіи, но христіанство, принятое ею, было восточное: оно шло изъ Византіи.

Характеръ русскихъ славянъ имѣетъ большое сродство съ характеромъ всѣхъ славянъ, начиная съ иллирійцевъ и черногорцевъ

и кончая поляками, съ которыми русскимъ приходилось такъ долго бороться.

Чѣмъ отличаются болѣе всего русскіе славяне (кромѣ иностраннаго вліянія, которому подвергались различныя славянскія племена), это—не прекращавшимся, настойчивымъ стремленіемъ устроиться въ независимое и сильное государство. Этой соціальной пластичности болѣе или менѣе недоставало другимъ славянскимъ расамъ, даже полякамъ. Стремленіе устроить и расширить государство пробуждается со временъ первыхъ князей, прибывшихъ въ Кіевъ, точно такъ же, какъ тысячу лѣтъ спустя оно проявляется у Николая. Ее узнаешь въ неотступной идеѣ покорить Византію и въ томъ всеобщемъ увлеченіи, съ какимъ русскій народъ массами возсталъ (въ 1612 и 1812 гг.), когда онъ устранился за свою національную независимость. Инстинктъ ли то, или норманское наслѣдіе, или и то и другое вмѣстѣ, но это—фактъ несомнѣнный и причина, почему Россія оказалась единственной славянской страной, столь могущественно организовавшейся. Даже само иностранное вліяніе послужило разными способами этому развитію, облегчивъ централизацію и ссудивъ правительство средствами, которыхъ у него не было.

Первый иностранный элементъ, послѣ норманскаго, который примѣшался къ русской національности, былъ элементъ византійскій. Въ то время, какъ наслѣдники Святослава только и думали, что о завоеваніи *восточнаю* Рима, Римъ этотъ предпринялъ и совершилъ ихъ духовное покореніе. Обращеніе Россіи въ греческое православіе является однимъ изъ тѣхъ важныхъ событій, послѣдствія которыхъ не могутъ быть исчислены, которыя развиваются въ теченіе вѣковъ и измѣняютъ иногда карту земного шара. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что полстолѣтія или столѣтіе позже въ Россію проникъ бы католицизмъ и обратилъ бы ее во вторую Польшу или вторую Чехію.

Приобрѣтеніе Россіи явилось громадною побѣдой для восточной имперіи, умиравшей въ Византіи, и для восточной церкви, униженной своею западною соперницею. Константинопольское духовенство, со свойственной ему хитростью, поняло это очень хорошо: оно окружало своихъ князей монахами и рекомендовало начальниковъ духовной іерархіи. Наслѣдникъ, защитникъ, мститель за все то, что греческая церковь претерпѣла или что ей предстояло претерпѣть, былъ найденъ, но не въ Анатолиіи или Антіохіи, а въ народѣ, который занялъ пространство отъ Чернаго моря до Бѣлаго.

Греческое православіе образовало тѣсную связь между Россіей и Константинополемъ; оно укрѣпило естественное притяженіе русскихъ славянъ къ этому городу и приготовило своимъ религіознымъ

завоеваніемъ будущее завоеваніе восточной метрополиі единственнымъ могущественнымъ народомъ, исповѣдующимъ греческое православіе.

Церковь упала къ ногамъ русскихъ князей, когда Магометъ II вошелъ побѣдителемъ въ Константинополь, и съ тѣхъ поръ духовенство не переставало указывать имъ пальцемъ на полумѣсяцъ надъ храмомъ св. Софіи. Г. Фальмерайеръ описываетъ въ своихъ «Восточныхъ отрывкахъ», какъ греческое духовенство было наэлектризовано, когда слышна была пальба Паскевича въ Трапезунтѣ, и какъ монахи Наугуон-Ногос и аѳонскіе ожидали православнаго освободителя. Турецкое господство было, вѣроятно, гораздо болѣе благопріятно, чѣмъ неблагопріятно для развязки, которую мы предвидимъ. Католическая Европа не оставила бы восточной римской имперіи въ покоѣ въ продолженіе послѣднихъ четырехъ столѣтій. Если бы латиняне господствовали надъ нею, императоровъ, вѣроятно, перевели бы въ какое-нибудь захолустье Малой Азіи, а Грецію обратили бы въ католичество. Тогдашняя Россія не могла бы ничего подѣлать противъ захватовъ западныхъ народовъ; турки своимъ завоеваніемъ спасли, слѣдовательно, Константинополь отъ папскаго владычества. Иго османлисовъ сначала было суровое, безжалостное, кровавое, но, когда нечего уже было бояться, они разрѣшили покореннымъ народамъ исповѣдывать въ покоѣ свою религію и имѣть свои обычаи, и такимъ образомъ прошли послѣднія четыре столѣтія. Съ тѣхъ поръ Россія возмужала, Европа состарилась, а блистательная Порта сама пережила освобожденіе Мореи и одного султана-реформатора.

Къ византійскому скоро прибавилось вліяніе, еще болѣе чуждое западному духу,—вліяніе монгольское. Татары пронеслись надъ Россіей, какъ туча саранчи, какъ ураганъ, все разрушавшій на своемъ пути. Они разорили города, сжигали деревни, грабили другъ друга и, послѣ всѣхъ этихъ ужасовъ, исчезали за Каспійскимъ моремъ, посылая отъ времени до времени свирѣпья полчища, чтобы напоминать покореннымъ народамъ о своемъ господствѣ. Что же касается внутренняго устройства государства, его администраціи и правительства, то кочевники-побѣдители этого не трогали. Они не только предоставили побѣжденнымъ полную свободу исповѣдывать греческую религію, но господство ихъ надъ русскими князьями ограничивалось тѣмъ, что они требовали явки ихъ къ ханамъ за инвеститурою, признанія татарскаго владычества и установленной дани. Тѣмъ не менѣе монгольское иго нанесло страшный ударъ странѣ; не разъ повторявшіяся опустошенія фактически истощили народъ, и онъ покорился подъ гнетомъ тяжелой нищеты. Народъ

бѣжалъ изъ деревень, бродилъ по лѣсамъ, въ странѣ исчезла личная безопасность; подати увеличились данью, которую при малѣйшемъ опозданіи пріѣзжали взимать баскаки съ неограниченными полномочіями и съ тысячами татаръ и калмыковъ. Съ этого злосчастнаго времени, длившагося около двухъ столѣтій, Россія и позволила Европѣ обогнать себя. У преслѣдуемаго, разореннаго, вѣчно застрашеннаго народа явился коварный и холопскій характеръ угнетенныхъ; общественный духъ запечатлѣлся униженіемъ. Даже единство государства было готово рушиться; со всѣхъ сторонъ показывались большія трещины: югъ Россіи начиналъ все болѣе и болѣе отдѣляться отъ центральной Россіи, часть ея склонялась къ Польшѣ, а другая находилась подъ владычествомъ литовцевъ. Московскіе великіе князья перестаютъ заботиться о Кіевѣ. Украина заселялась вольными казаками, вооруженными скопищами, которыя образовали военныя республики, пополняясь дезертирами и эмигрантами со всѣхъ концовъ Россіи, не признававшими ничьей верховной власти. Новгородъ и Псковъ, защищенные отъ монголовъ большими расстояніями и болотами, старались оставаться независимыми отъ центральной Россіи или господствовать надъ ней. Въ центрѣ государства, въ наиболѣе разоренной его части, началъ выдѣляться новый городъ, не имѣвшій ни авторитета, ни популярнаго имени, предъявляя спесивую претензію на титулъ столицы Россіи. Казалось, что этотъ городъ, затерянный въ глубинѣ еловыхъ лѣсовъ, не имѣлъ никакой будущности, но тутъ-то, именно, и завязался центральный узелъ русской жизни.

Власть великихъ князей измѣнила свой характеръ, когда они оставили Кіевъ. Во Владимірѣ они стали болѣе самодержавны. Князья начали смотрѣть на свои удѣлы, какъ на свою собственность, они вообразили себя несмѣняемыми, наслѣдственными. Въ Москвѣ князья измѣнили порядокъ наслѣдованія: сталъ наслѣдовать уже не старшій братъ, а старшій сынъ. Они все болѣе и болѣе уменьшали удѣлы остальныхъ членовъ княжескаго рода. Народный элементъ не могъ быть силенъ въ молодомъ городѣ, безъ преданій, безъ обычаевъ. Это-то и привязывало болѣе всего князей къ Москвѣ. Идея собиранія всѣхъ частей государства была направляющей мыслью всѣхъ московскихъ князей, начиная съ Ивана Калиты,—типа государя той эпохи: политичнаго, плутоватаго, лукаваго, ловкаго, старавшагося заручиться покровительствомъ монголовъ своимъ чрезвычайнымъ смиреніемъ передъ ними и въ то же время захватывавшаго все и пользовавшагося всѣмъ, что могло увеличить его власть. Москва развивалась съ неслыханною быстротою. Къ настойчивости князей присоединилось и ея географическое положеніе.

Москва явилась настоящимъ центромъ Великороссіи: на небольшихъ разстояніяхъ отъ нея, въ полуторасти или двухстахъ километрахъ, находились: Тверь, Владиміръ, Ярославль, Рязань, Калуга, Орель, а на разстояніяхъ, немного болѣе дальнихъ, — Новгородъ, Кострома, Воронежъ, Курскъ, Смоленскъ, Псковъ и Кіевъ.

Необходимость централизаціи была очевидна: безъ нея нельзя было бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства. Мы не думаемъ, однако, что московское самодержавіе оставалось для Россіи единственнымъ средствомъ спасенія.

Извѣстно, какое жалкое мѣсто занимаютъ въ исторіи гипотезы, но не находимъ причины, чтобы отбросить безъ разсмотрѣнія всякія вѣроятности, ограничившись областью совершившихся фактовъ. Мы совершенно не допускаемъ того фатализма, который въ событіяхъ усматриваетъ абсолютную ихъ необходимость, идею абстрактную, теоретическую, которую умозрительная философія внесла въ исторію, какъ и въ естествознаніе. То, что было, имѣло, конечно, свои причины на существованіе, но это нисколько не значитъ, что невозможны были инныя комбинаціи; онѣ стали таковыми вслѣдствіе осуществленія комбинаціи, наиболѣе вѣроятной, — вотъ все, что можно допустить. Исторія гораздо менѣе зафиксирована, чѣмъ обыкновенно думаютъ.

Въ XV столѣтіи, даже въ началѣ XVI-го, ходъ событій въ Россіи подвергался такимъ колебаніямъ, что оставалось еще не рѣшеннымъ, который изъ двухъ принциповъ народной и политической жизни одержитъ верхъ: князь или община, Москва или Новгородъ. Новгородъ, свободный отъ ига монгольскаго, великій и могучій, гдѣ права общинъ во всѣ времена становились впереди правъ князей, городъ, привыкшій считать себя «господиномъ», метрополія, имѣвшая обширныя развѣтвленія колоній по Россіи, былъ богатъ, благодаря дѣятельной торговлѣ, которую онъ велъ съ ганзейскими городами. Москва, — удѣлъ, вѣрный своимъ князьямъ, — поднявшаяся милостью монголовъ на развалинахъ древнихъ городовъ изъ совершенно особеннаго племени, никогда не знавшаго истинной общинной свободы кіевскаго періода, — Москва одержала верхъ, но Новгородъ тоже имѣлъ шансы на своей сторонѣ, чѣмъ и объясняется ожесточенная борьба между этими двумя городами и жестокости, совершенныя въ Новгородѣ Иваномъ *Грознымъ*. Россія могла быть спасена или развитіемъ общинныхъ учреждений, или самодержавіемъ одного лица. Событія сложились въ пользу абсолютизма. Россія была спасена; она стала сильною, великою, но какой цѣною? Это — страна самая несчастная на всемъ земномъ

шарѣ, самая - - - - - . Москва спасла Россію, задушивъ все, что было свободнаго въ русской жизни.

Московскіе великіе князья обмѣнили свой титулъ на титулъ *царя всея Россіи*. Скромный титулъ великаго князя ихъ болѣе не удовлетворялъ,—онъ имъ напоминалъ кievскую эпоху и вѣче. Около того же времени палъ послѣдній византійскій императоръ, исколотый оружіемъ, подъ стѣнами Константинополя. Иванъ III женился на Софіи Палеологъ; тогда двуглавый орелъ, - - - - - изъ Константинополя, появился на флагѣ царей московскихъ. Греческіе монахи пророчествовали по всему христіанскому Востоку, что недалеко возмездіе и придетъ оно съ сѣвера; византійское духовенство боялось, какъ самаго большаго несчастія, какъ бы *латиняне* не пришли къ нему на помощь, и надѣялось только на русскихъ царей. Тогда же оно съ новымъ рвеніемъ направило свои старанія, чтобы *овизантійствовать* правительство. Духовенство неизбѣжно должно было желать устроить Россію по образцу Комненовъ и Палеологовъ, сдѣлать изъ нея государство нѣмое, повинующееся вѣрѣ слѣпой, лишенной просвѣщенія, и надъ которымъ виталъ бы - - - - , обоготворяемый, но - - - - - могуществомъ духовенства.

Оправившись понемногу отъ монгольскихъ опустошеній, русскій народъ очутился лицомъ къ лицу съ царемъ, съ неограниченной монархіей, ставшей удручающею отъ того вѣса, который она пріобрѣла подъ сѣнью ханской власти. Царь собралъ уже ббльшую часть удѣловъ и включилъ ихъ въ московскую вотчину. Онъ сталъ гораздо болѣе могущественнымъ, чѣмъ всѣ остальные князья вмѣстѣ съ городскимъ населеніемъ. Встрѣчая *кромольниковъ*, онъ ихъ, князей или города, укрощалъ съ кровавымъ звѣрствомъ. Новгородъ крѣпко держался, но подъ конецъ палъ; великій колоколъ, сзывавшій народъ на площадь, такъ называемый, *вѣчевой* колоколъ, былъ перевезенъ, въ видѣ трофея, въ Москву, въ тотъ городъ, который нѣкогда презирали новгородцы. Послы новгородскіе сказали Ивану III: «Ты намъ велишь приноровиться къ московскимъ законамъ, но мы *не знаемъ московскихъ законовъ*,—научи насъ, какъ ихъ знать.» Иванъ IV не забылъ этой насмѣшки. Послѣ разграбленія Новгорода, взятія Пскова и подчиненія Твери остальные города не могли даже и думать о серьезномъ сопротивленіи, тѣмъ болѣе, что они сильно претерпѣли отъ нашествій—то монгольскихъ, то польскихъ или литовскихъ. Вѣча закрывались одно за другимъ, глубокая тишина распространялась по всему государству, цари дѣлались самодержцами, всемогущими.

Византизмъ, привитый власти духовенствомъ, оставался, од-

нако, болѣе на поверхности, чѣмъ развращалъ ядро націи. Онъ не подходилъ ни къ національному характеру, ни даже къ правительству. Византизмъ, это—старость, усталость, покорность, смиреніе агоніи; русскій народъ былъ разоренъ, приниженъ; у него не хватало энергіи, чтобы подняться, но онъ былъ молодъ, и на самомъ дѣлѣ не проникнуть отчаяніемъ: скорѣе онъ ушелъ съ поля сраженія, чѣмъ былъ побѣжденъ; потерявъ свои права въ городахъ, онъ ихъ сохранилъ въ глубинѣ сельскихъ общинъ. Какъ же могъ бы онъ живой сойти въ гробницу, подобно Карлу V, и ограничиться пышными и торжественными похоронами по обряду византийской церкви!

Это настолько вѣрно, что каждая энергичная личность, занимавшая московскій престолъ, пыталась прорвать узкій кругъ формализма, въ которомъ была заключена ея власть. Иванъ IV, Борисъ Годуновъ, Лжедмитрій старались, еще до Петра I, измѣнить снотворную и тяжелую атмосферу кремлевскаго дворца,—они сами въ ней задыхались. Они видѣли, что при этомъ строѣ мелочныхъ формальностей и дѣйствительнаго рабства страна все болѣе и болѣе теряла нравственную силу; отсутствовалъ всякій прогрессъ; провинціальная администрація на мѣстахъ становилась все болѣе обременительной для подданныхъ безъ всякой выгоды для государства. Они видѣли, что молитвъ московскихъ патріарховъ и чудотворныхъ иконъ съ Аѳонской горы недостаточно, чтобы вытащить ихъ изъ этого состоянія преждевременнаго оцѣпенѣнія.

Иванъ Грозный дерзнулъ призвать къ себѣ на помощь общинныя учрежденія; онъ издалъ сводъ законовъ ¹⁾ въ духѣ старинныхъ вольностей: онъ предоставилъ взиманіе податей и всю областную администрацію выборнымъ чиновникамъ, увеличилъ права и обязанности присяжнаго, подчинивъ ему уголовныя дѣла, и даже для заключенія въ тюрьму требовалъ согласія цѣловальниковъ. Онъ хотѣлъ даже уничтожить должность областныхъ управителей и предоставить областямъ полную свободу управляться самимъ, подъ руководствомъ палаты *ad hoc* ²⁾. Однако, общинная свобода, пораженная его предшественниками, не возрождалась по призыву всемогущаго и свирѣпаго царя. Всѣ его проекты встрѣтились съ препятствіями и остались безплодными—до такой степени дошли къ концу XVI вѣка разстройство общества и повсемѣстная апатія. Свирѣпый съ отчаянія, Иванъ увеличивалъ число утонченно-жестокихъ казней, изъ ненависти и отвращенія. «Я—не русскій, я—нѣмецъ», сказалъ онъ разъ ювелиру иностраннаго происхожденія.

¹⁾ Судебникъ.

²⁾ Спеціально для этого учрежденной.

Борисъ Годуновъ серьезно думалъ о сближеніи съ Европою, о введеніи искусствъ и наукъ съ Запада, объ устройствѣ школъ, но въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ встрѣтилъ рѣшительное противодѣйствіе со стороны духовенства. Духовенство всему подчинялось, но боялось всякаго просвѣщенія, которое не вытекало бы изъ православія. Не легко также было приглашать иностранцевъ, въ виду того, что балтійскіе народы заграждали путь въ Россію. Можетъ показаться, что, точно предчувствуя подчиненіе ихъ потомковъ Россіи, они перехватывали каждый лучъ свѣта, шедшій съ Запада въ московское государство.

Чего Борисъ не осмѣлился сдѣлать, на то рискнулъ Лжедмитрій. Человѣкъ образованный, цивилизованный, съ рыцарскимъ характеромъ, онъ получилъ престолъ при помощи междоусобной войны, начатой во имя законности и поддержанной Польшей и казаками. Дмитрій напалъ болѣе рѣшительно, чѣмъ его предшественникъ, на древніе обычаи и недвижимые нравы Россіи. Онъ не скрывалъ ни плановъ своихъ реформъ, ни своего предпочтенія польскихъ нравовъ и римской церкви.

Московскій народъ, поднятый взбунтовавшимися боярами во имя православія и народности, которыя тѣ объявили въ опасности, ворвался во дворецъ, умертвилъ молодого царя, поиздѣвался надъ его трупомъ, сжегъ его и, набивъ пушку его прахомъ, разсѣялъ его по вѣтру.

Броженіе, чрезмѣрно возбужденное этими событіями, вызвало лихорадочную дѣятельность по всему государству. Россія взволновалась отъ Казани до Невы и Польши... Было ли то инстинктивное стремленіе народа устроиться какимъ-нибудь другимъ способомъ, или послѣдняя вспышка отчаянія, послѣ которой онъ сталъ окончательно бездѣятельнымъ, предоставивъ правительству поступать по своему произволу до самыхъ нашихъ дней?

Велика была смута, озлобленіе, всюду лилась кровь. Послѣ смерти Лжедмитрія созданъ былъ второй претендентъ и затѣмъ третій... Одинъ изъ нихъ держался въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Москвы, въ укрѣпленномъ лагерѣ, окруженный вольными русскими дружинами, поляками и казаками. Области вооружались: однѣ, чтобъ итти на помощь Москвѣ, другія, чтобъ помогать претендентамъ; Кремлевскій дворецъ оставался пустой, не было въ немъ ни царя, ни даже правильнаго правительства. Польскій король Сигизмундъ хотѣлъ навязать Россіи своего сына Владислава; шведская армія занимала сѣверъ Россіи и желала возвести на русскій престолъ одного изъ своихъ принцевъ; московскій народъ сталъ на сторону князей Шуйскихъ, тогда какъ области не хотѣли о нихъ и слы-

шать. Междуцарствіе, междоусобная война, война съ поляками, казаками и шведами, отсутствіе какого бы то ни было правительства продолжались четыре года. На эту защиту политической независимости ушли послѣднія силы народа—онъ не жалѣлъ никакихъ жертвъ. Нижегородскій мясникъ Мининъ и князь Пожарскій спасли отечество - - - - - отъ иностранцевъ. Народъ, утомившійся отъ раздоровъ, отъ претендентовъ, отъ войны, отъ грабежа, хотѣлъ отдыха, во что бы то ни стало. Тогда-то устроены были поспѣшно выборы, - - - - - провозгласили молодого Романова царемъ всей Россіи. Выборъ палъ на него, потому что, благодаря юному возрасту, онъ не внушалъ подозрѣнія ни одной партіи. - - - - -

Царство Романовыхъ, до Петра I, явилось расцвѣтомъ - - - - - ; народъ былъ, какъ мертвый, или проявлялъ признаки жизни только тѣмъ, что изъ него выходили шайки разбойниковъ, носившіяся по берегамъ Волги и Самары ¹⁾. Тяжелый механизмъ неспособной администраціи давилъ народъ; правительство убѣждалось въ своей бездарности, выписывало иностранцевъ, не могло справиться безъ позаимствованія примѣровъ съ Европы и, по нелѣпому противорѣчію, продолжало, однако, замыкаться въ національную исключительность и питало дикую ненависть ко всякому нововведенію:

Нужно почитать рассказы о московскихъ нравахъ того времени, написанные русскимъ дипломатомъ Кошихинымъ, укрывшимся въ концѣ XVII столѣтія въ Стокгольмъ. Съ ужасомъ пятишься отъ соціального угара того времени, отъ картины нравовъ, являвшихся лишь безвкусной пародіей на восточную римскую имперію. Обѣды, процессіи, вечерни, обѣдни, приемы посланниковъ, перемѣны костюмовъ три или четыре раза въ день составляли все занятіе царей. Около нихъ держалась не культурная, лишенная всякаго достоинства олигархія. Эти надменные аристократы, чванившіеся должностями своихъ предковъ, были биты на царскихъ конюшняхъ плетью или даже кнутомъ на площади и не чувствовали въ томъ оскорбленія. Не было ничего человѣческаго въ этомъ невѣжественномъ, тупомъ и апатическомъ обществѣ. Разумѣтся, государству необходимо было выйти изъ этого состоянія или ему пришлось бы сгнить, не созрѣвши.

Но какъ выйти, откуда ждать спасенія? Спасеніе, конечно, не могло прійти отъ духовенства, которое достигло тогда апогея своего

¹⁾ Лѣвый притокъ Волги, протяженіемъ около 500 верстъ.

величія и вліянія. Народъ поникъ главою и стоялъ въ сторонѣ; ужъ не сѣченые ли бояре могли бы указать ему путь? Очевидно, нѣтъ. Но когда даетъ себя чувствовать какая-нибудь потребность, средства для ея удовлетворенія всегда найдутся.

Революція, которая должна была спасти Россію, вышла изъ среды дотолѣ апатичнаго дома Романовыхъ.

Прежде чѣмъ итти далѣе, нужно приступить къ одному изъ самыхъ запутанныхъ вопросовъ русской исторіи—къ развитію крѣпостнаго права. Никакая исторія,—ни древняя, ни новая,—не представляетъ ничего подобнаго тому, что произошло въ Россіи XVII столѣтія, ни тому, что окончательно утвердилось въ XVIII вѣкѣ по отношенію къ крестьянамъ. Рядомъ простыхъ полицейскихъ мѣръ, захватами помѣщиковъ, владѣвшихъ населенными землями, терпимостью правительства и косностью крестьянъ, крестьяне изъ свободныхъ, какими они были, становились все болѣе и болѣе *крѣпкими* землѣ, неотдѣлимою собственностью самой земли. Повидимому, всѣ вольности свободнаго состоянія, которыя сохранили славяне, должны были пройти чрезъ страшное горнило - - - - - , чтобы снова быть отвоеванными путемъ страданій и революціями.

Въ то время, какъ - - - подкапывались подъ вольности городовъ и деревень, сельская община оставалась не тронутою. Пришла и ея очередь, но она придушила не общину, а крестьянина. Мы встрѣчаемъ въ началѣ XVII столѣтія законъ царя Годунова,—законъ, устанавливавшій и ограничивавшій права крестьянъ переходить съ земель одного помѣщика на земли другого. Этотъ законъ не подвергалъ никакому сомнѣнію право переселенія и, еще менѣе,—личную свободу крестьянъ. Онъ былъ обоснованъ исключительно экономическими мотивами, достаточно благовидными съ правительственной точки зрѣнія. Крестьяне покидали земли бѣдныхъ собственниковъ и притекали на земли богатыхъ; плодородныя области были переполнены, тогда какъ на бесплодныхъ земляхъ не хватало рукъ. Царь Годуновъ, ловкій узурпаторъ и ненавидимый богатыми помѣщиками, угождалъ этимъ закономъ мелкимъ собственникамъ. Таковъ былъ первый шагъ къ крѣпостному состоянію.

Вскорѣ тотъ же государь издалъ другой законъ, едва постижимый; чтобы сдѣлать его понятнымъ, нужно сказать, что въ старину число крѣпостныхъ въ Россіи было очень ограничено: это были или военноплѣнные, или купленные за границу рабы (*холопы*) или, наконецъ, люди, продававшіе самихъ себя съ потомками (*кабальные люди*). Такіе люди не имѣли ничего общаго ни съ крестьяниномъ, зависимымъ отъ общины и обрабатывавшимъ помѣщицью

землю, ни съ свободными слугами бояръ. Эти свободные часто увольнялись хозяевами въ большомъ числѣ и расходились по дорогамъ въ качествѣ нищихъ или воровъ или же присоединялись къ волжскимъ разбойникамъ, къ донскимъ казакамъ,—этимъ укрывателямъ всякаго рода бродягъ, воевавшихъ съ благоустроеннымъ обществомъ. Борисъ, всегда насторожѣ, боялся этого недовольнаго и голоднаго народа; чтобы прикончить такое положеніе и быть увѣреннымъ, что эти люди будутъ накормлены во время голода и не разбѣгутся, онъ издалъ указъ, гласившій, что если слуги останутся извѣстное время у своихъ хозяевъ, то они станутъ ихъ крѣпостными и лишатся права ихъ покинуть, хозяева же потеряютъ право ихъ отпустить. Такимъ именно образомъ тысячи людей впали въ рабство, почти не замѣтивъ того. Дезертирства и побѣги не уменьшились; было бы трудно опредѣлить, сколько солдатъ этотъ законъ доставилъ шайкамъ Дмитрія, Гонсѣвскаго, Жолкевскаго, запорожскаго гетмана и всѣмъ тѣмъ кондотьерамъ, которые опустошали Россію въ началѣ XVII вѣка. Со времени царствованія Бориса до Екатерины II глухое и темное движеніе не переставало волновать деревню и народъ, и пугачевскій бунтъ до сихъ поръ еще живъ въ народной памяти.

Каждый помѣщикъ повторялъ въ маломъ масштабѣ роль великаго князя московскаго и, подобно тому, какъ города теряли свои вольности, оставаясь при прежнемъ неопредѣленномъ положеніи господства обычая,—община въ своей борьбѣ съ помѣщикомъ потерпѣла пораженіе отъ принциповъ власти и эгоизма, оказавшихся болѣе нея сильными. Царизмъ, самъ основанный на неограниченной власти, долженъ былъ по необходимости покровительствовать покушеніямъ помѣщиковъ, уничтожая всѣхъ естественныхъ защитниковъ крестьянъ,—цѣловальниковъ и выборныхъ,—поддерживая помѣщика во всѣхъ его спорахъ съ крестьяниномъ. Однако, законъ ничего точно не опредѣлялъ, ничего не санкціонировалъ: было только злоупотребленіе со стороны правительства и пассивность со стороны народа.

При такомъ порядкѣ вещей первая перепись, произведенная, по приказу Петра I, въ 1710 году, дала законную почву этимъ чудовищнымъ злоупотребленіямъ, и то былъ онъ, цивилизаторъ Россіи, который ихъ санкціонировалъ. Было бы трудно опредѣлить причины, заставившія его такъ поступить. Была ли то ошибка, месть или же предопредѣленный фактъ? Подобно тому, какъ Петръ I былъ представитель царизма и революціи, помѣщикъ сталъ представителемъ несправедливой власти и, въ то же время, истинной революціонной закваской. Петръ I вовлекъ государство въ движеніе, помѣщикъ же

увлечетъ, прямо или косвенно, лѣнливую и пассивную общину въ революцію. Этотъ ферментъ разложится,—въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія,—но только послѣ того, какъ погибнетъ абсолютизмъ. Община, этотъ продуктъ земли, усыпляетъ человѣка, поглощаетъ его независимость: она не можетъ ни укрыться отъ деспотизма, ни освободить своихъ членовъ; чтобы сохраниться, она должна перенести революцію.

Всѣ общинныя вольности фактически погибали передъ сильными личностями московскихъ царей, но, по счастью, царская линия дошла до Петра, который былъ истиннымъ представителемъ революціоннаго принципа, скрытаго въ русскомъ народѣ. Петръ I,—какъ сказалъ одинъ молодой историкъ,—былъ первой русскою личностью, дерзнувшей встать въ независимое положеніе. Такая же роль подобааетъ и русскому дворянству: оно въ виду общины представляетъ индивидуальный принципъ, а, слѣдовательно, и оппозицію самодержавію.

Оно не сломитъ общины, оно будетъ давить ее до тѣхъ поръ, пока она поднимется. Община, продержавшаяся въ теченіе вѣковъ, несокрушима. Петръ I, совершенно отдѣлилъ дворянство отъ народа и, надѣливъ его страшной властью по отношенію къ крестьянамъ, заложилъ въ нѣдра народной жизни антагонизмъ, котораго прежде вовсе не было или же, хотя и былъ, но въ слабой степени. Такой антагонизмъ приведетъ къ соціальной революціи, и нѣтъ въ - - - - - такого бога, который могъ бы отвести эту чашу отъ судьбы Россіи.

III.

Петръ I.

Желаніе выйти изъ тяжелаго положенія, въ которомъ находилось государство, возростало все болѣе и болѣе, и къ концу XVII вѣка на престолѣ царей появился смѣлый революціонеръ, одаренный обширнымъ геніемъ и непреклонной волей.

Петръ I не былъ ни восточнымъ царемъ, ни династомъ: это былъ деспотъ, по образцу комитета общественнаго спасенія,—это деспотъ во имя собственное свое и великой идеи, обеспечивавшей ему неоспоримое превосходство надъ всѣмъ, что его окружало. Онъ порвалъ съ таинственностью, которою окружали себя цари, и съ чувствомъ отвращенія далеко отшвырнулъ византійское старье, въ которое облекались его предшественники. Петръ I не

могъ удовлетвориться - - - - - ролью - - - - - Далай-Ламы, украшеннаго парчей и драгоцѣнными камнями, котораго показывали народу издали, когда онъ съ важностью передвигался изъ своего дворца въ Успенскій соборъ и изъ Успенскаго собора во дворецъ. Петръ I является передъ своимъ народомъ, какъ простой смертный. Его видѣли неутомимымъ труженикомъ, съ утра до ночи, въ простомъ военномъ сюртукѣ, отдававшимъ приказанія и обучавшимъ, какъ ихъ исполнять; онъ былъ кузнецъ, столяръ, инженеръ, архитекторъ и штурманъ. Его видѣли вездѣ безъ свиты, самое бдѣльшее—съ однимъ адъютантомъ, возвышаясь своимъ ростомъ надъ толпой. Петръ Великій былъ, какъ мы сказали, первой эмансипированной личностью въ Россіи и, тѣмъ самымъ, коронованнымъ революціонеромъ.

Онъ подозрѣвалъ, что онъ - - - - - царя Алексѣя. Однажды вечеромъ, за ужиномъ, онъ наивно спросилъ графа Ягужинскаго, не отецъ ли онъ его? «Я не знаю,—отвѣчалъ Ягужинскій на настоянія царя, — - - - - !» Такъ обстояло съ вопросомъ о - - - - - . Что же касается династическихъ интересовъ, то вы знаете, что, находясь на Прутѣ въ безнадежномъ положеніи, онъ предписалъ сенату выбрать ему въ преемники достойнѣйшаго, считая своего сына неспособнымъ ему наследовать. Затѣмъ онъ приказалъ его судить и казнить въ тюрьмѣ. Петръ I короновалъ - - - - - его любимца, князя Меншикова, бывшаго мальчишкою - пирожникомъ. Обстоятельства, при которыхъ митрополитъ Теофанъ и князь Меншиковъ объявили послѣднюю волю Петра I, внушаютъ много сомнѣній, но все же остается фактъ, что - - - - - , была провозглашена послѣ его смерти императрицею, и никто не подумалъ даже оспаривать ея права.

Петръ I едва скрывалъ свое равнодушіе - - - - - къ греческой церкви, которая необходимо должна была раздѣлить опалу стараго порядка. Онъ запретилъ открывать новыя мощи и творить чудеса. Онъ замѣнилъ патріарха синодомъ по назначенію правительства и опредѣлилъ туда кавалерійскаго офицера, въ качествѣ прокурора отъ короны. Патріархъ никогда не имѣлъ верховныхъ правъ и совершенно независимаго отъ царя положенія, но онъ придавалъ русской церкви печать нѣкотораго единства. Потому-то Петръ I и разрушилъ его престолъ, который обыкновенно ставился рядомъ съ царскимъ престоломъ. Однако, Петръ I былъ менѣе всего главою церкви,—его власть оставалась совершенно

свѣтскою. Это даже было отличительною чертой, которую онъ придалъ петербургскому имперіализму; его цѣль, его средства были практическія, мірскія, свѣтскія; онъ не выходилъ за предѣлы интересовъ современной ему дѣйствительности и, нейтрализовавъ дѣятельность церкви, пересталъ и думать какъ о церкви, такъ и о религіи. У него были другія фантазіи: онъ мечталъ о колоссальной Россіи, о гигантскомъ государствѣ, которое могло бы раскинуть свои вѣтви до глубинъ Азіи, — мечталъ быть хозяиномъ Константинополя и судьбы Европы.

Вообще у Европы преувеличенное понятіе о духовной власти русскихъ императоровъ. Эта ошибка имѣетъ свое начало не въ русской исторіи, но въ лѣтописяхъ восточной римской имперіи. Греческая церковь всегда отличалась пассивнымъ подчиненіемъ государству и дѣлала все то, что хотѣла власть, а власть, съ своей стороны, никогда непосредственно не вмѣшивалась въ интересы религіи или духовенства. Русская церковь имѣла свою собственную юрисдикцію, основанную на греческомъ Номоканонѣ. Развѣ достаточно объявить себя главою церкви на мѣсто ея естественнаго главы, чтобы пріобрѣсти настоящую религіозную власть? Если бы дѣло шло о московскихъ царяхъ, — о какомъ-нибудь Иванѣ IV, напри- мѣръ, въ которомъ было нѣчто отъ Константина Копронима и Генриха VIII, — онъ занимался богословіемъ, когда не кого было казнить, — то это предположеніе было бы допустимо, но преемники Петра Великаго, въ числѣ которыхъ было четыре женщины, — и между ними одна только русская, — ниспровергаютъ такое мнѣніе. Идея сдѣлаться главою церкви была далека отъ мыслей въ теченіе цѣлаго вѣка. Честь открытія ея принадлежитъ Павлу. Завидуя, можетъ, Робеспьеру, онъ велѣлъ сдѣлать себѣ, для своей коронаціи, одежду, наполовину солдатскую, наполовину поповскую, говорилъ о своемъ духовномъ главенствѣ и хотѣлъ даже служить въ Казанскомъ соборѣ; его, однако, отговорили отъ этой - - - - выходки. Извѣстно также, что этотъ самый Павелъ I, — раскольникъ и женатый, — получилъ титулъ великаго мастера мальтійскаго ордена, и вовсе не секретъ, что то былъ человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ

Чтобы совершенно порвать съ древней Россіей, Петръ I оставилъ Москву и восточный титулъ царя, переселился въ одинъ изъ портовъ Балтійскаго моря, гдѣ принялъ титулъ императора. Открывшійся такимъ образомъ петербургскій періодъ, не былъ продолженіемъ исторической монархіи: то было начало деспотизма молодого, дѣятельнаго, безъ какого бы то ни было тормазы, готово- ваго какъ на великія дѣла, такъ и на большія преступленія.

Только одна мысль связывала петербургскій періодъ съ московскимъ, это — мысль о расширеніи государства. Все было ей пожертвовано: достоинство государей, кровь подданныхъ, справедливость къ сосѣдямъ, благосостояніе всей страны... Помимо этого сходства, Петръ Великій явился непрерывнымъ протестомъ противъ старой Россіи. Мы видѣли, какъ онъ въ вопросахъ династическихъ и религіозныхъ дѣйствовалъ, какъ свободомыслящій человѣкъ; своимъ же образомъ жизни онъ оказался въ еще болѣе полномъ противорѣчій съ нравами страны. Любя шумныя удовольствія, онъ выставялъ ихъ на показъ. Сколько разъ видѣлъ Петербургъ, какъ на зарѣ императоръ, плотно поѣвши, выходилъ на улицу и, подъ вліяніемъ венгерскаго вина и анисовки, бралъ барабанъ и начиналъ бить сборъ среди своихъ болѣе или менѣе шатавшихся на нетвердыхъ ногахъ министровъ. Въ другіе раза видѣли, какъ онъ бѣгалъ по улицамъ съ масками, самъ замаскированный. Старые бояре, съ ихъ серьезнымъ и торжественнымъ видомъ, которымъ прикрывалась пропасть невѣжества и чванства, съ ужасомъ смотрѣли на праздники, которые царь давалъ англійскимъ и голландскимъ морякамъ, гдѣ его - - - - - величество безъ удержу предавалось своей наклонности къ кутежу. Съ глиняной трубкой во рту, съ кувшиномъ пива въ рукѣ, онъ давалъ тонъ своимъ собутыльникамъ и не уступалъ имъ въ крѣпкихъ словахъ. Негодованіе бояръ дошло до крайности, когда Петръ приказалъ ихъ женамъ и дочерямъ, запертымъ, какъ на Востокѣ, принимать участіе въ этихъ самыхъ праздникахъ. Революціонеръ въ Петрѣ просвѣчивалъ вездѣ сквозь порфиру. Наполеонъ каждый годъ прикрывалъ какимъ-нибудь новымъ королевскимъ лоскуткомъ свое мѣщанское происхожденіе, а Петръ I каждый день освобождался отъ того или иного лоскута - - - - , чтобъ остаться самимъ собою, со своей великой мыслью, опиравшейся на непреклонную волю, доходившую до жестокости.

Революція, совершенная Петромъ I, раздѣлила Россію на двѣ части: съ одной стороны остались крестьяне свободныхъ и помѣщичьихъ общинъ, крестьяне городскіе и мѣщане; то была старая Россія, Россія консервативная, жившая по преданіямъ, общинная, строго православная или раскольническая, всегда набожная, носившая національный костюмъ и ничего не принявшая изъ европейской цивилизаціи. Эта часть націи, — какъ это бываетъ при побѣдоносныхъ революціяхъ, — считалась правительствомъ недовольною, почти мятежною. Она оставалась въ опалѣ, въ неопредѣленномъ положеніи, внѣ закона и отданною на произволъ другой части націи. Новая Россія составлялась изъ дворянства, образованнаго Петромъ Великимъ, изъ всѣхъ потомковъ бояръ, изъ всѣхъ чиновни-

ковъ и, наконецъ, изъ арміи. Быстрота, съ которою всѣ эти различные классы освободились отъ своихъ нравовъ, была поразительна. Они отреклись отъ своего прошлаго безъ всякаго противодѣйствія,—одни стрѣльцы пытались сопротивляться. Это—доказательство подвижности русскаго характера и въ то же время крайней своевременности революціи Петра Великаго. Многіе съ восторгомъ разставались съ тяжелыми и угнетавшими формами московскаго строя. Откуда же взялось упорство русскаго крестьянина? Крестьяне образуютъ наименѣе прогрессивную часть всѣхъ націй; кромѣ того, русскіе крестьяне общинъ оставались внѣ движенія и непосредственнаго касательства къ правительству. Политическая централизація не поддерживалась централизаціей административной. Мѣры, принятыя, чтобы тормазить переселеніе крестьянъ, интересовали только тѣхъ изъ нихъ, которые были поселены на помѣщичьихъ земляхъ, или, точнѣе, подвижное меньшинство, склонное къ перемѣщеніямъ. Реформа Петра представлялась имъ не только, какъ покушеніе на преданія и на ихъ образъ жизни, но еще какъ вмѣшательство государства въ ихъ дѣла, какъ бюрократическія придирки, какъ смутное, лишенное опредѣленности ухудшеніе ихъ положенія. Съ тѣхъ-то поръ они и перешли въ ту безмолвную и пассивную оппозицію, которая продолжается до нашихъ дней и вполнѣ оправдывается мѣрами, принятыми противъ народа Петромъ I и его преемниками. Деревня осталась внѣ реформы; невозможно быть русскимъ крестьяниномъ, когда оставляются старые нравы: крестьянинъ можетъ освободиться отъ общины, стать слугою или чиновникомъ или даже дворяниномъ, но во всѣхъ этихъ случаяхъ онъ долженъ прежде всего разстаться съ общиною ¹⁾. Членомъ сельской общины можетъ быть только крестьянинъ и, какъ таковой, онъ долженъ носить бороду и національный костюмъ. Это не установлено никакимъ закономъ,—лишь обычай такъ хочетъ,—и это дѣлаетъ его еще болѣе живучимъ. Такимъ образомъ, крестьяне остаются чистыми отъ всякаго соучастія съ правительствомъ: ими управляютъ, но они ничего не санкціонировали своимъ согласіемъ. Они косятся на нашъ образъ жизни, упорствуютъ въ своихъ обычаяхъ; они болѣе религіозны, чѣмъ мы, въ противодѣйствіе нашей индифферентности и становятся сектантами въ противность официальной церкви, которая мирится съ *нѣмецкой* цивилизаціей.

Съ этой-то точки зрѣнія и можно оцѣнить всю важность приказовъ Петра I о бритьѣ бороды и одѣваніи по-нѣмецки. Борода и костюмъ составляютъ рѣзкое отличіе между Россіей, униженной

¹⁾ См. приложение о русской общинѣ.—А. И. Г.

подъ тройнымъ игомъ и защищавшей свою національность, и Россіей, принявшей европейскую цивилизацію вмѣстѣ съ - - - - - деспотизмомъ. Между человѣкомъ съ бородою, который носитъ рубашку поверхъ штановъ и не имѣетъ ничего общаго съ правительствомъ, и человѣкомъ бритымъ, одѣтымъ по-нѣмецки, чуждымъ общинѣ, оставалась только одна живая связь—солдатъ. Правительство замѣтило это и, опасаясь, какъ бы солдатъ не сдѣлался снова крестьяниномъ, оно прибѣгло къ ужаснымъ мѣрамъ, назначивъ чудовищный срокъ службы: 22 года въ началѣ настоящаго столѣтія и въ наши дни отъ 15 до 17 лѣтъ. Подъ предлогомъ воспитанія солдатскихъ дѣтей, оно создало настоящую касту индійскихъ кшатріевъ, прикрѣпивъ ихъ къ военному состоянію, и,—какъ будто, всего этого мало,—обязало ветерановъ, подъ страхомъ тяжелыхъ наказаній, брить бороду и никогда не носить національнаго костюма. Русскій народъ остался такимъ образомъ обособленнымъ, внѣ всякаго движенія, въ скорбномъ ожиданіи; если онъ не погибъ, то только благодаря своей природѣ и общинѣ, но онъ также ничего не выигралъ. Къ нему не проникло ни одной политической идеи, но остались интересы, которые не преминутъ взволновать русскую общину.

Вопросъ объ освобожденіи крѣпостныхъ не былъ понятъ въ Европѣ. Обыкновенно думаютъ, что дѣло идетъ только о личной свободѣ, которая не имѣетъ никакого значенія при петербургскомъ деспотизмѣ, тогда какъ дѣло идетъ объ освобожденіи крестьянъ съ землею. Эта задача занимаетъ правительство, которое ничего не сдѣлаетъ, дворянство, которое ничего не посмѣетъ сдѣлать, и народъ, который усталъ, ропщетъ и, можетъ, сдѣлаетъ что-нибудь.

Пока что, все умственное и политическое движеніе сосредоточилось въ дворянствѣ. Исторія Россіи со времени реформы Петра Великаго, за исключеніемъ пугачевского эпизода и народнаго пробужденія въ 1812 году, является исторіею лишь русскаго правительства и русскаго дворянства. Если о дворянствѣ русскомъ составить себѣ понятіе по всемогущей англійской и жалкой нѣмецкой аристократіи, то никогда не удалось бы объяснить, что теперь происходитъ въ Россіи.

Не надо терять изъ виду, что дворянство, учрежденное Петромъ I,—не замкнутая каста; напротивъ того, оно безпрестанно вбираетъ въ себя все, что выходитъ изъ демократической почвы, и возобновляется въ своемъ основаніи. Солдатъ, получающій офицерскій чинъ, становится *потомственнымъ* дворяниномъ; подьячій, писарь, прослужившій нѣсколько лѣтъ государству, становится *личнымъ* дворяниномъ, а если получитъ болѣе высокій чинъ,

то приобретають и потомственное дворянство. Сынъ крестьянина, освобожденный общиною или помѣщикомъ, по окончаніи курса въ гимназіи, становится благороднымъ. Лицо, получившее орденъ, артистъ принятый въ академію художествъ, дѣлаются дворянами. Слѣдовательно, подъ дворянствомъ въ Россіи, надо разумѣть всѣхъ и cadaго, кто не входитъ въ составъ сельской или городской общины или является должностнымъ лицомъ. Права и привилегіи совершенно одни и тѣ же, какъ для потомковъ присоединенныхъ князей и бояръ, такъ и для сыновей маленькихъ чиновниковъ, пожалованныхъ потомственнымъ дворянствомъ. Русское дворянство есть словіе, дающее на другое сословіе, которое было побѣждено, хотя и не сражалось.

Было бы нелѣпо искать какого бы то ни было единства въ классѣ, включающемъ въ себя и бывшихъ солдатъ, подьячихъ и поповскихъ сыновей до собственниковъ сотенъ тысячъ крестьянъ.

Но перейдемъ къ временамъ, послѣдовавшимъ за царствованіемъ Петра I. Послѣ его смерти настала полнѣйшая правительственная анархія, и съ исчезновеніемъ желѣзной руки Петра I новый порядокъ вещей еще лѣтъ двадцать колебался въ самомъ своемъ основаніи, народная традиція была нарушена, не было династическаго культа. Народъ, поднимавшійся за мнимаго сына Ивана IV, не зналъ даже по имени всѣхъ - - - - - , которые двигались, какъ тѣни, - - - - - и исчезали въ снѣгахъ ссылки, въ глубинѣ тюремъ или въ крови...

Высшее дворянство, лишенное какихъ бы то ни было общихъ интересовъ, пользовалось солдатами императорской гвардіи для безпрестаннаго исполненія этихъ дворцовыхъ революцій. Солдаты, съ своей стороны, не знали иной морали, какъ послушаніе тому, у кого была сила въ рукахъ, и то только, пока она была въ рукахъ. Разъ кумиръ падалъ, его тотчасъ же оставляли всѣ.

Успѣхи, сдѣланные политическою порчею того времени, превосходятъ все, что можно себѣ представить. - - - - - , кучка сановниковъ и горсть янычаръ съ торжествомъ приводили иностраннаго принца, женщину, ребенка, дальняго родственника какого-нибудь родственника Петра I и - - - - - , поклонялись ему и били кнутомъ тѣхъ, кто отваживался на это возражать. Но едва избранный успѣвалъ опьяниться всѣми прелестями чудовищной власти, какъ слѣдующая волна сановниковъ и преторіанцевъ сносила его со всѣми его приближенными въ пропасть. Сегодняшніе министры и генералы шли завтра, закованные въ цѣпи, на мѣсто казни или же уводи-

лись въ Сибирь. Эти превратности перемежались такъ быстро, что фельдмаршалъ Минихъ, сославшій Бирона, скоро догналъ его,—въ свою очередь, въ качествѣ ссыльнаго,—при переправѣ черезъ Волгу, гдѣ Биронъ былъ задержанъ нѣсколько дней разливомъ рѣки. Въ этой *bufera infernale* ¹⁾, которая уносила людей съ такой быстротой, что даже не было времени привыкнуть къ чертамъ ихъ лицъ, въ довершеніе ироніи удержалась одна только личность,—то былъ Бестужевъ, начальникъ тайной канцеляріи; этотъ достойный сановникъ сохранилъ свой постъ, несмотря ни на какія революціи, и такимъ образомъ онъ имѣлъ случай допрашивать, пытать и казнить всѣхъ своихъ друзей, всѣхъ своихъ благодѣтелей и всѣхъ своихъ враговъ ²⁾.

Можно ли послѣ этого думать, чтобы народъ въ своихъ свѣтскихъ начальникахъ видѣлъ главъ православной церкви?

Кромѣ политическихъ интригъ, не надо забывать, что тотъ вольный тонъ, который ввелъ Петръ I и который ему былъ такъ къ лицу, перешелъ въ императорскій дворъ и вскорѣ измѣнился
 - - - - - . Елизавета, дочь Петра I, будучи еще великой княжной, проводила - - - - - съ гвардейскими гренадерами и гуляла съ ними въ Лѣтнемъ саду. Она усвоила въ этомъ обществѣ привычку къ - - - - -
 - - - - , что, сдѣлавшись императрицей, каждый день - - - - - ;
 - - - - - ; останавливались дѣла самая важныя; посланники не могли получить аудіенціи въ теченіе цѣлыхъ недѣль, пока - - - - -
 - - - - - . Императрица Анна - - - - - своимъ бывшимъ конюхомъ, Бирономъ, котораго она сдѣлала герцогомъ курляндскимъ. Регентша Анна Брауншвейгская спала лѣтомъ - - - - -
 - - - - - на освѣщенномъ балконѣ дворца...

Среди этой - - - - - эпопеи восшествій и паденій съ престола, среди этой оргіи свирѣпаго деспотизма, въ схваткахъ съ хлопотвующей олигархіей, которая располагала - - - - , какъ внухи восточной римской имперіи,—былъ единственный политическій просвѣтъ, когда императрицѣ Аннѣ продиктовали условія принятія ею престола. Анна присягнула, согласилась на все, но тотчасъ же, поддерживаемая нѣмецкой партіей съ Бирономъ во главѣ, разорвала хартію и погубила всѣхъ, кто хотѣлъ ограничить власть короны. Была старинная непріязнь между нѣмцами и ихъ сторонниками, съ одной стороны, и русскими сановниками, окружавшими престоль,—съ другой. Ненависть къ нѣмцамъ облегчила восшествіе

¹⁾ Адская буря.

²⁾ Роль и судьба гр. Алексѣя Петровича Бестужева-Рюмина характеризованы здѣсь и разсказаны не точно.

на престоль Елизаветѣ. Эта - - - - - женщина стала популярною, лъстя національной партіи.

Не надо, однако, заблуждаться относительно значенія этихъ партій. Нѣмецкая партія не представляла цивилизацію, а русская—невѣжество. Послѣдняя не хотѣла серьезно возвращенія къ иному укладу. Попытки князя Долгорукаго, въ царствованіе Петра II, не привели ни къ чему. Нѣмцы, съ своей стороны, были далеки отъ изображенія собою прогресса; безъ всякой связи со страной, которую они не трудились изучать и презирали, какъ варварскую, высокомѣрные до наглости, они были самыми раболѣпными орудіями императорской власти. Не имѣя иной цѣли, какъ лишь удержаться въ монаршемъ благорасположеніи, они служили особѣ государя, а не націи. Кромѣ того, они вносили въ дѣла антипатичныя русскимъ манеры, бюрократическій, формалистскій и дисциplinарный педантизмъ, совершенно противный нашимъ нравамъ.

Враждебность славянъ и германцевъ—фактъ печальный, но установленный. Каждая ссора между ними открывала глубину ихъ взаимной ненависти. Нѣмецкое господство много содѣйствовало своимъ характеромъ распространенію этой ненависти у западныхъ славянъ и поляковъ. Русскимъ никогда не приходилось терпѣть отъ нихъ угнетенія. Если ихъ прибрежныя владѣнія на Балтійскомъ морѣ были завоеваны рыцарями тевтонскаго ордена, то они были заселены финнами, а не русскими. Но, хотя среди всѣхъ славянъ, русскіе меньше всѣхъ ненавидятъ нѣмцевъ, существующее между ними чувство естественнаго отвращенія не можетъ стереться. Это отвращеніе имѣетъ своимъ основаніемъ несходство характеровъ, которое проявляется даже въ ничтожныхъ мелочахъ.

Предпочтеніе, которое правительство оказывало нѣмцамъ послѣ Петра Великаго, не было такого рода, чтобы примирить ихъ съ русскими. Если бы еще одни только Минихи и Остерманы пріѣхали въ Россію, но, вѣдь, на берега Невы обрушилась цѣлая туча уроженцевъ тридцати шести или,—я не знаю, сколькихъ,—герцогствъ, составляющихъ Германію *единую и нераздѣльную*.

У русскаго правительства до сихъ поръ нѣтъ болѣе преданныхъ слугъ, чѣмъ лифляндскіе, эстляндскіе и курляндскіе дворяне. «Мы не любимъ русскихъ»,—говорило намъ однажды одно почетное лицо Прибалтійскаго края въ Ригѣ,—«но изо всей имперіи мы—самые вѣрные подданные царской фамиліи».—Правительству небезызвѣстна эта преданность, и оно наводняетъ нѣмцами министерства и центральныя управленія. Это—и не благоволеніе, и не несправедливость. Въ нѣмецкихъ офицерахъ и чиновникахъ правительство русское находитъ именно то, что ему нужно: правильность и без-

страстность машины, скромное безмолвіе глухихъ и нѣмыхъ, стоицизмъ послушанія, способнаго выдержать всякое испытаніе, усидчивость въ трудѣ, не знающую усталости. Прибавьте къ этому извѣстную честность (которою русскіе служащіе рѣдко обладаютъ) и ровно столько образованія, сколько нужно для ихъ службы и совѣмъ не достаточно, чтобы понять, что нѣтъ заслуги въ томъ, чтобы быть честными и неподкупными орудіями деспотизма; прибавьте полное равнодушіе къ участи управляемыхъ, глубочайшее презрѣніе къ народу, полное незнаніе національнаго характера—и вы поймете, почему народъ ненавидитъ нѣмцевъ и почему наше правительство такъ любитъ ихъ.

Если мы перейдемъ отъ министерствъ и канцелярій къ мастерскимъ, мы встрѣтимъ тотъ же антагонизмъ. Русскій рабочій у русскаго хозяина—почти членъ семейства; у нихъ однѣ и тѣ же привычки, однѣ и тѣ же нравственныя и религіозныя идеи; они обыкновенно ѣдятъ за однимъ столомъ и очень хорошо ладятъ другъ съ другомъ. Случается иногда, что хозяинъ ударитъ рабочаго, который терпитъ побои съ черезчуръ большою христіанскою покорностью; иногда рабочій отвѣтитъ тѣмъ же, но ни тотъ, ни другой не пойдутъ жаловаться въ полицію. Воскресенье празднуется одинаково и хозяиномъ и рабочимъ, и оба возвращаются домой пьяные. На другой день хозяинъ, понимая, что рабочій не можетъ быть усидчивъ къ труду, позволяетъ ему прогулять нѣсколько часовъ, такъ какъ знаетъ, что, въ случаѣ надобности, тотъ будетъ работать для него и ночью. Очень часто хозяинъ даетъ рабочему денегъ впередъ, но, съ другой стороны, и рабочій ожидаетъ цѣлые мѣсяцы своего жалованья, когда видитъ, что хозяинъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Хозяинъ же нѣмецъ не равенъ русскому рабочему: онъ считаетъ себя скорѣе начальникомъ, чѣмъ хозяиномъ; методичный по своему характеру, сохранившій обычаи своей страны, нѣмецъ преобразуетъ упругія и неопредѣленныя отношенія русскаго рабочаго къ хозяину въ строго опредѣленныя юридическія, отъ которыхъ онъ никогда не отклонится ни на іоту. Постоянная требовательность, изученная строгость, холодный деспотизмъ оскорбляютъ рабочаго тѣмъ болѣе, что хозяинъ никогда до него не спустится. Самые мирныя нравы нѣмца, отдаваемое имъ предпочтеніе пиву передъ водкой только увеличиваютъ отвращеніе, внушаемое имъ русскому рабочему. У послѣдняго больше ловкости, чѣмъ прилежанія, даровитости, чѣмъ знанія. Онъ много можетъ сдѣлать сразу, но у него нѣтъ усидчивости въ трудѣ, и онъ не можетъ приспособиться къ однообразной и методической дисциплинѣ нѣмца. Хозяинъ-нѣмецъ не терпитъ, чтобы рабочій приходилъ часомъ позже

или чтобы онъ уходилъ часомъ раньше. Понедѣльничная головная боль и субботняя баня, въ его глазахъ,—не извиненія. Онъ отмѣчаетъ каждый прогуль, чтобъ вычестъ его изъ жалованья,—съ величайшей справедливостью, можетъ быть, но русскій рабочій видитъ въ немъ чудовищнаго эксплуататора, откуда безконечные споры и ссоры. Разозленный хозяинъ бѣжитъ въ полицію,—или къ помѣщику рабочаго, если тотъ крѣпостной,—и призываетъ на его голову всѣ бѣды, допустимыя его состояніемъ; русскій же хозяинъ безъ чрезвычайныхъ поводовъ не пойдетъ ни къ квартальному, ни къ помѣщику; полиція и дворянство—общіе враги бородатаго хозяина и не бритаго рабочаго.

Но возвратимся къ нашему разсказу.

Долгое царствованіе Екатерины II придало петербургскому правительству большую устойчивость. Это было продолженіе царствованія Петра I послѣ перерыва въ тридцать пять лѣтъ. Екатерина привезла съ собою въ императорскій дворецъ граціозность, вѣжливость и хорошій вкусъ, чего до нея не доставало, и это оказало хорошее вліяніе на высшіе слои общества.

Екатерина II не знала народа и сдѣлала ему только одно зло: народомъ ея было дворянство, и она чудесно понимала свою почву. Она возвысила дворянство, довѣривъ ему выборы почти на всѣ *судебныя и административныя* должности въ провинціяхъ, гдѣ она организовала его въ сословіе и собранія, обсуждающія свои интересы и контролирующія расходование суммъ, предназначенныхъ на мѣстныя нужды.

Она дала также мѣщанству и крестьянамъ избирательныя права, болѣе важныя, впрочемъ, въ принципѣ, чѣмъ въ дѣйствительности. Эти уступки, во всякомъ случаѣ, блѣднѣютъ рядомъ съ тѣмъ преступленіемъ, что она совершила по отношенію къ крестьянамъ, узаконивъ по - - - - расточительности крѣпостное состояніе; она раздавала своимъ - - - - - населенныя земли въ огромныхъ размѣрахъ. Она не только - - - - - монастыри въ пользу своихъ вельможъ, но также раздала имъ крестьянъ Мало-россіи, гдѣ не было еще крѣпостнаго состоянія. Понятно, что *будучи философомъ*, на подобіе Фридриха II и Юсифа II, она могла принять участіе въ преступномъ раздѣлѣ Польши. Этотъ фактъ

можетъ быть, если и не оправданъ, то объясненъ соображеніями о пользѣ для государства, желаніемъ увеличить его территорію, но отчуждать отъ государства населенныя земли, сдѣлать крѣпостными свободныхъ хлѣбопашцевъ, не подумавъ даже обязать новыхъ владѣльцевъ какими бы то ни было условіями, это — - - - .

Можетъ, императрица Екатерина помнила тотъ дикій восторгъ, съ какимъ крестьяне четырехъ областей бѣжали на встрѣчу Пугачеву, вѣшавшему всѣхъ попадавшихся ему дворянъ; можетъ, у нея была слишкомъ свѣжа въ памяти и та сцена, которая также произошла въ ея царствованіе, когда московскій народъ, убивъ позади престола архіерея, влачилъ по улицамъ его трупъ въ архіерейскомъ облаченіи. Съ другой стороны, она видѣла дворянство столь признательнымъ, столь гордившимся своей преданностью, что оказалась вынужденною принять его сторону.

Странное дѣло, - - - - - никто ничего не сдѣлалъ для народа. Народъ вспоминаетъ о нихъ только по числу своихъ несчастій, по разрастанію крѣпостного состоянія, рекрутскихъ наборовъ, разнаго рода повинностей, по военнымъ поселеніямъ, по всѣмъ ужасамъ полицейской администраціи, по войнѣ, настолько же кровопролитной, насколько и безумной, которая длится двадцать пять лѣтъ въ неодолимыхъ горахъ.

Цивилизація распространилась съ большою быстротою въ высшихъ слояхъ дворянства; она была вполне экзотическою, — національнаго въ ней осталась только извѣстная грубость, которая страннымъ образомъ переплеталась съ формами французской вѣжливости. При дворѣ говорили только по-французски, подражали Версалю. Тонъ давала императрица: она переписывалась съ Вольтеромъ, проводила вечера съ Дидро и комментировала Монтескье; въ петербургское общество впитывались идеи энциклопедистовъ. Почти всѣ старики того времени, которыхъ только мы знали, были вольтеріанцы или матеріалисты, если не франкмасоны. Такая философія прививалась къ русскимъ съ тѣмъ большей легкостью, что ихъ умъ въ одно и то же время — и реалистическій, и насмѣшливый. Почва, завоеванная цивилизаціей въ Россіи, была проиграна для церкви. - - - - -

- - - имѣетъ власть надъ славянскою душою, лишь поскольку находится въ ней невѣжество. Вѣра въ ней блѣднѣетъ по мѣрѣ того, какъ проникаетъ въ нее свѣтъ, и внѣшній фетишизмъ уступаетъ мѣсто самому полному равнодушію. Здравый смыслъ, практическій умъ русскаго отвергаетъ совмѣстное существованіе ясной мысли и мистицизма. Русскій долго можетъ оставаться благочестивымъ до ханжества, никогда не думая о религіи, но лишь при этомъ условіи; ему невозможно сдѣлаться рационалистомъ: для него освобожденіе

отъ невѣжества совпадаетъ съ освобожденіемъ - - - - . Мистическія стремленія, которыя мы встрѣчаемъ у франкмасоновъ, были въ дѣйствительности только средствомъ остановить успѣхи грубаго эпикуреизма, быстро распространявшагося. Что касается до мистицизма эпохи императора Александра, то это былъ продуктъ франкмасонства и нѣмецкаго вліянія, безъ реальной основы,—дѣло моды у однихъ, экзальтація духа у другихъ. Послѣ 1825 года объ немъ не было болѣе и рѣчи. - - - - - дисциплина, возстановленная полиціей императора Николая, не говоритъ въ пользу благочестія цивилизованныхъ классовъ.

Идеи философіи XVIII вѣка оказали отчасти вредное вліяніе въ Петербургѣ. Энциклопедисты во Франціи, освобождая человѣка отъ старыхъ предрасудковъ, внушали ему болѣе возвышенные нравственные инстинкты, дѣлали его революціонеромъ. У насъ же, порывая послѣднія узы, удерживавшія полудикую природу, вольтеріанская философія ничего не ставила на мѣсто старинныхъ вѣрованій и традиціонныхъ нравственныхъ обязанностей. Она вооружала русскаго всѣми орудіями ироніи и діалектики, годными для оправданія, въ его собственныхъ глазахъ, его рабскаго состоянія по отношенію къ государю и его господскаго состоянія по отношенію къ рабу. Неофиты цивилизаціи съ жадностью бросались на чувствennыя удовольствія. Они очень хорошо поняли призывъ къ эпикуреизму, но звукъ грандіознаго набата, призывавшаго людей къ великому воскрешенію, не доходилъ до ихъ души.

Между дворянствомъ и народомъ стоялъ презрѣнный сбродъ чиновниковъ изъ личныхъ дворянъ,—классъ, нравственно испорченный и лишенный всякаго человѣческаго достоинства... Вору, тирану, доносчику, пьянице, игроку—такими были и таковы еще и теперь эти самые пресмыкающіеся люди имперіи. Этотъ классъ былъ продуктомъ быстрой реформы судовъ при Петрѣ I.

Тогда словесное судопроизводство было уничтожено и замѣнено судопроизводствомъ инквизиторскимъ. Мелочныя формальности, введенныя по образцу нѣмецкихъ канцелярій, усложнили судопроизводство и доставили страшное оружіе крючкотворству. *Чиновники*, совершенно свободные отъ *предрасудковъ*, искажали законы по своему произволу и съ чрезвычайнымъ искусствомъ. Русскіе чиновники—самые цѣпкіе крючкотворы на свѣтѣ; они имѣютъ въ виду только свою личную отвѣтственность; когда эти люди думаютъ, что она въ безопасности, они осмѣливаются на все, и, какъ мужикъ, такъ и чиновникъ, не имѣютъ никакой вѣры въ законъ. Первый ихъ почитаетъ изъ страха, второй въ нихъ видитъ дойную корову. Святость законовъ, неотъемлемыя права личности, понятія о непреложной

справедливости,—все это термины, не существующіе на ихъ языкѣ. И вся императорская власть недостаточна, чтобы остановить, чтобы парализовать зловредное дѣйствіе этихъ чернильныхъ гадюкъ, этихъ скрытыхъ въ засадѣ враговъ, подстерегающихъ мужика, чтобы втянуть его въ разорительныя тяжбы.

Составивъ себѣ приблизительное понятіе о ново-европейскомъ обществѣ вѣка Екатерины II, бросимъ взглядъ на литературныя дебюты вновь образовавшагося государства.

Византійская церковь питала отвращеніе и ужасъ къ свѣтской культурѣ. Она не знала иной науки, кромѣ богословскихъ пререканій; она выдумала условную живопись (иконопись) въ противодѣйствіе тѣлесной красотѣ древности. Она гнушалась всякаго независимаго умственнаго движенія, она хотѣла только покорной вѣры. Въ Россіи не было проповѣдниковъ. Единственный епископъ, который прославился въ древнія времена своими проповѣдями, поплатился именно за нихъ. Чтобы понять, въ чемъ заключалось воспитаніе, которое восточная церковь давала своему вѣрному стаду, достаточно знать христіанскіе народцы Малой Азіи: тамъ-то была та церковь, которая стояла во главѣ цивилизаціи Россіи, начиная съ X столѣтія. Постоянныя войны удѣльныхъ князей и монгольское иго явились огромною для нея помощью.

Греко-русская церковь удержала особый языкъ, составившійся изъ разныхъ славянскихъ нарѣчій; народный языкъ не былъ еще выработанъ. Лѣтописи, дипломатическіе и гражданскіе акты излагались языкомъ, занимавшимъ средину между церковнымъ языкомъ и языкомъ народнымъ, и приближались больше то къ одному, то къ другому, смотря по общественному положенію автора. Не было никакого литературнаго движенія до XVIII вѣка. Нѣсколько лѣтописей, поэма XII вѣка (Походъ Игоря ¹⁾), довольно большое число сказокъ и народныхъ пѣсенъ, по большей части устныхъ,—вотъ все, что произвели десять вѣковъ въ области русской литературы.

Подчеркивая эту скудость, важно, однако, отмѣтить, что языкъ Библіи, а равно лѣтописи Нестора и упомянутой поэмы отличается не только большой красотой, но еще носить очевидныя слѣды долгаго обращенія и многовѣковаго предшествовавшаго развитія.

Переводчики Библіи, Кириллъ и Меѳодій, привели въ порядокъ языкъ, установили азбуку и переняли грамматическія формы съ греческихъ образцовъ, но они нашли, по всей вѣроятности, языкъ, богатый и выработанный славянами, жившими въ Македоніи и Тес-

¹⁾ «Слово о полку Игоревѣ».

салии. Нужно знать затрудненія, встрѣчаемыя англичанами при переводахъ Библии на языки дикарей,—на кафрскій, на примѣръ: не достаётъ у нихъ словъ; образы, понятія, выраженія, все это — приходится передавать приблизительными перифразами. Между тѣмъ славянскій переводъ, по сжатости, мужественной красотѣ и точности, равняется переводу Лютера.

Всѣ поэтическіе элементы, бродившіе въ душѣ русскаго народа, изливались въ пѣсняхъ, чрезвычайно мелодичныхъ. Славянскіе народы—пѣвцы по преимуществу. Византійскіе лѣтописцы рассказываютъ, что во время одного нашествія славянъ, грекамъ удалось напасть на нихъ врасплохъ, благодаря тому, что часовые все пѣли и мало-по-малу заснули подъ свое пѣніе. Русскій мужикъ находилъ въ своихъ пѣсняхъ единственное изліяніе для своихъ страданій. Онъ поетъ постоянно: когда работаетъ, когда ведетъ свою лошадь, когда отдыхаетъ у порога своей двери. Эти пѣсни отличаются отъ пѣсенъ другихъ славянъ и даже малороссовъ глубокой грустью. Слова ихъ—сплошная жалоба, которая теряется, какъ и его горе, въ безпредѣльныхъ равнинахъ, въ мрачныхъ хвойныхъ лѣсахъ, въ безконечныхъ степяхъ, не встрѣчая дружескаго отзвука. Эта печаль — не страстное стремленіе къ чему-нибудь идеальному; въ ней нѣтъ ничего романтическаго, не слышится болѣзненныхъ монашескихъ стремленій¹⁾, какъ въ нѣмецкихъ пѣсняхъ; это—горе задавленной рокомъ личности, это—упрекъ «судьбѣ-мачехѣ, горькой судьбинѣ», это—сдавленное желаніе, не осмѣливающееся проявиться въ иной формѣ, это—пѣснь женщины, угнетенной своимъ мужемъ, мужа, угнетеннаго своимъ отцомъ или старшимъ, всѣхъ, наконецъ, угнетенныхъ помѣщикомъ - - - - - ; это — любовь глубокая, страстная, несчастная, но земная и реальная²⁾. Среди этихъ меланхолическихъ пѣсенъ вы вдругъ слышите звуки оргіи, безудержнаго веселья, страстные и безумные крики, слова, лишеныя смысла, но которыя опьяняютъ, увлекаютъ въ бѣшеной пляскѣ — совсѣмъ не то, что *драматическій* и граціозный хороводъ.

Въ горѣ или въ кутежахъ, въ рабствѣ или среди безвластія, русскій крестьянинъ проводилъ жизнь въ бродяжничествѣ, безъ очага и крова, или былъ поглощенъ общиною, терялся въ семьѣ или гулялъ свободный въ лѣсахъ съ ножомъ за поясомъ.

1) То же слѣдуетъ замѣтить и о герояхъ пѣсенъ: Илья Муромецъ, Иванъ Царевичъ и пр. имѣютъ гораздо больше сходства съ героями Гомера, чѣмъ съ героями среднихъ вѣковъ; «богатырь», это — не рыцарь, какъ не рыцарь и Ахиллъ.—А. И. Г.

2) См. великолѣпное изслѣдованіе г-жи Тальви о славянскихъ пѣсняхъ въ ея трудѣ, опубликованномъ въ 1846 г. въ Нью-Йоркѣ.—А. И. Г.

Въ обоихъ случаяхъ пѣсня выражала одну и ту же жалобу, одни и тѣ же разочарованія: то былъ глухой голосъ, который вѣщалъ, что врожденныя силы не находили достаточнаго выхода, что онѣ чувствовали себя не по себѣ въ жизни, стѣсненной общественнымъ строемъ.

Есть цѣлый разрядъ русскихъ пѣсенъ,—разбойничьи пѣсни. Это уже не жалобныя элегіи; это—смѣлый крикъ, избытокъ веселья человѣка, чувствующаго себя, наконецъ, свободнымъ; это—крикъ угрожающій, гнѣвный и вызывающій. «Мы придемъ пить ваше вино, погодите; мы придемъ ласкать вашихъ женъ, грабить вашихъ богачей»... «Я не хочу больше работать въ полѣ; что заработалъ я, пахавши землю? Я бѣденъ и въ презрѣнии у всѣхъ; нѣтъ, я въ товарищи возьму себѣ ночь темную, ножъ отточенный, я найду друзей въ темномъ лѣсу, я убью барина и ограблю купца на большой дорогѣ. *По крайней мѣрѣ, всѣ будутъ меня почитать:* и молодецъ, встрѣтившійся мнѣ на дорогѣ, и старикъ, сидя передъ своимъ домомъ, мнѣ поклонится».

Уходъ въ монастырь, въ казачество, въ шайку разбойниковъ были единственнымъ средствомъ стать свободнымъ въ Россіи. Народъ называлъ разбойниковъ вѣжливо-мягко: *шалунами* или *вольницей*. Въ старыя времена одинъ Новгородъ выпускалъ цѣлыя вооруженныя шайки, которыя убѣгали на Волгу и на Оку, до береговъ Камы, «бродя наудачу искать счастья». Преслѣдуемые Иваномъ IV, казаки, подъ начальствомъ Ермака, завоевали Сибирь, чтобы испривить свою худую славу. Бродяжничество и разбойничество страшнымъ образомъ разрослись во время самозванцевъ и въ началѣ XVII вѣка. Память о Стенькѣ Разинѣ сохранилась у народа во множествѣ пѣсенъ, сочиненныхъ въ его честь. Преданіе объ этихъ грабежахъ не прекращалось до Пугачева, и представляется вѣроятнымъ, что широкое развитіе разбойничества объясняется глухою борьбою крестьянъ, протестовавшихъ противъ закрѣпощенія. Надо отмѣтить, что въ этихъ пѣсняхъ благодарная роль дается разбойнику: симпатіи на его сторонѣ, а не на сторонѣ его жертвъ; его подвиги и храбрость превозносятся съ затаенною радостью. Народный пѣвецъ, казалось, понималъ, что самый главный его врагъ—не разбойникъ.

Умственнымъ движеніемъ другого рода, но не менѣе важнымъ, явилось движеніе религіозныхъ идей у сектантовъ. Чего греческое православіе никогда не умѣло сдѣлать—заинтересовать простолюдина, развитъ въ немъ дѣятельную вѣру, истинный интересъ къ религіи,—то сумѣли сектанты. У нихъ нѣтъ индифферентизма, общинная жизнь у нихъ болѣе развита, чѣмъ у православныхъ, общій

духъ у нихъ до-нелзя силенъ; есть секты съ нелѣпою догматикою, но поведеніе ихъ членовъ полно энергіи и честности. Есть другія, и даже очень распространенныя, которыя исповѣдуютъ самыя передовыя коммунистическія ученія, перемѣшанныя съ мистическимъ христіанствомъ, въ родѣ гернгутеровъ и даже анабаптистовъ. Преслѣдуемые правительствомъ, тысячи сектантовъ бѣжали въ Лифляндію и въ Турцію, гдѣ есть цѣлыя городки, заселенныя ихъ потомками. Сектанты—вообще, самыя ожесточенныя враги реформы Петра I. Для нихъ Петръ и его преемники—антихристы. И наоборотъ: правительство видитъ въ нихъ крамольниковъ и преслѣдуетъ ихъ, какъ таковыхъ. Сектанты крѣпко держатся, ихъ пропаганда разрастается по мѣрѣ усиленія преслѣдованія; у нихъ есть приверженцы во всѣхъ пунктахъ имперіи, есть и подпольная печать. Возможно, что изъ какого-нибудь *скита* ¹⁾ выйдетъ народное движеніе, которое охватитъ цѣлыя области; характеръ его будетъ, конечно, національный и коммунистическій, и оно пойдетъ на встрѣчу другому движенію, источникъ котораго въ революціонныхъ идеяхъ Европы. Можетъ, эти два движенія столкнутся, не понявъ своего духовнаго родства, къ великому удовольствію - - - и его друзей.

Объевропеившаяся русская литература начинаетъ пріобрѣтать нѣкоторое значеніе лишь со времени Екатерины II. До ея царствованія замѣчается подготовительная работа; языкъ приспособляется къ новымъ условіямъ существованія, въ немъ кишатъ нѣмецкія и латинскія слова, духъ подражанія захватываетъ все до такой степени, что въ нашъ метрической и звучный языкъ покушаются ввести силлабическое стихосложеніе. Опомнившись отъ этихъ преувеличеній, языкъ началъ усваивать массу иностранныхъ словъ, становился болѣе естественнымъ и болѣе соотвѣтствующимъ духу націи. Первый русскій, который съ талантомъ овладѣлъ сложившимся такимъ образомъ языкомъ, былъ Ломоносовъ. Этотъ знаменитый ученый былъ типомъ русскаго какъ по своей энциклопедичности, такъ и по остротѣ своего пониманія. Онъ писалъ по-русски, по-нѣмецки и по-латыни. Онъ былъ рудокопъ-минералогъ, химикъ, поэтъ, филологъ, физикъ, астрономъ и историкъ. Онъ въ одно и то же время составлялъ метеорологическую диссертацию объ электричествѣ и другую,—въ отвѣтъ исторіографу Миллеру—о пришествіи варяговъ въ Россію, и это не мѣшало ему кончать свои торжественныя оды и дидактическія поэмы. Всегда съ яснымъ умомъ, полный безпкойнаго желанія все понять, онъ бросался съ одного предмета на другой съ удивительной легкостью пониманія.

¹⁾ Пугачевъ и его товарищи принадлежали къ старовѣрамъ.—А. И. Г.

Начинавшаяся распускаться подъ эгидою правительства цивилизація оставалась еще у ступенекъ трона, съ искреннимъ поклоненіемъ передъ Петромъ Великимъ и всякимъ государемъ. Правительство продолжало итти во главѣ цивилизаціи. Сродство литературы съ правительствомъ стало еще болѣе явнымъ при Екатеринѣ II. У нея свой поэтъ,—поэтъ съ большимъ талантомъ,—онъ по влеченію и любви обращается къ ней съ посланіями, одами, гимнами и сатирами; онъ на колѣняхъ передъ нею, у ея ногъ, но онъ не низко въ душою, онъ не рабъ. Державинъ не страшится императрицы: онъ шутитъ съ нею, называетъ ее «Фелицей», «царицей киргизъ-кайсацкой». Его муза находитъ иногда звуки, которые вовсе не похожи на голосъ раба, воспѣвающего своего государя.

Тѣмъ не менѣе эта апологетическая поэзія со всей своей искренностью и со всей красотой гибкаго языка нравилась только немногимъ и то лишь въ средѣ духовенства и ученыхъ. Высшее общество ничего не читало по-русски, низшее же не читало ровно ничего. Первое русское произведеніе, получившее громадную популярность, было не посланіе, адресованное императрицѣ, не ода, внушенная безчеловѣчными опустошеніями и славными рѣзнями Суворова, но комедія, ѣдкая сатира на мелкихъ провинціальныхъ помѣщиковъ. Тогда какъ Державинъ видѣлъ черезъ окружавшіе тронъ лучи славы одну лишь императрицу, Фонъ-Визинъ, умъ язвительный, видѣлъ обратную сторону; онъ горько смѣялся надъ этимъ полу-варварскимъ обществомъ, надъ его манерами, будто бы цивилизованными. Это былъ первый авторъ, въ писаніяхъ котораго прорѣзывался демоническій принципъ сарказма и негодованія,—принципъ, который долженъ былъ съ тѣхъ поръ пройти черезъ всю русскую литературу и стать въ ней господствующимъ. Въ этой ироніи, въ этомъ бичеваніи, гдѣ ничто не пощажено, даже личность автора, слышится для насъ наслажденіе местию, утѣшеніе злорадствомъ; этимъ смѣхомъ мы порываемъ съ общностью между нами и этими пресмыкающимся, которыя не умѣютъ ни сохранить варварство, ни усвоить цивилизаціи и которыя одни только выплываютъ на официальную поверхность русскаго общества. Неутомимый протестъ шагъ за шагомъ обличаетъ эту аномалію. Протестъ былъ горячій, безостановочный.

Главную черту новѣйшей литературы составляло патологическое вскрытіе. Это явилось новымъ отрицаніемъ существующаго порядка, которое пробилось на зло императорской волѣ изъ глубины пробудившейся совѣсти,—крикъ ужаса каждаго новаго поколѣнія, опасавшагося, что его смѣшаютъ съ этими низменными людьми.

Русская литература въ XVIII вѣкѣ была, въ сущности, только-

благороднымъ занятіемъ немногихъ людей, безъ всякаго вліянія на общество. Первое серьезное вліяніе, которое тотчасъ же придало иной характеръ литературному дилетантизму, пришло со стороны франкмасонства. Оно было весьма распространено въ Россіи къ концу царствованія Екатерины II. Глава его, Новиковъ—одинъ изъ тѣхъ великихъ людей въ исторіи, которые дѣлають чудеса на сценѣ, неизбѣжно остающейся во мракѣ,—одинъ изъ тѣхъ подпольныхъ идейныхъ руководителей, работа которыхъ проявляется только въ моментъ огласки,—Новиковъ былъ по профессіи типографщикъ. Онъ во многихъ городахъ основалъ книжныя лавки и школы, онъ же издавалъ первый русскій журналъ. Онъ заказывалъ переводы и печаталъ ихъ на свой счетъ. Такимъ образомъ въ его время появились переводы «Духа законовъ»; «Эмиля», разныхъ статей изъ «Энциклопедіи»,—все вещи, которыхъ цензура нашего времени, конечно, не позволила бы напечатать. Во всѣхъ этихъ предпріятіяхъ Новикову сильно помогло франкмасонство, котораго онъ былъ «великимъ мастеромъ». Какое громадное дѣло,—эта смѣлая мысль соединить около одного нравственнаго интереса, въ братскую семью, всѣхъ, кто только былъ умственно зрѣль, начиная съ большихъ сановниковъ имперіи, въ родѣ князя Лопухина, до бѣднаго школьнаго учителя и уѣзднаго лѣкаря.

Императрица Екатерина приказала заточить Новикова въ петербургскую цитадель, а затѣмъ сослала. Это было въ послѣдніе годы ея царствованія, когда ея характеръ сталъ портиться. Съ Потемкинымъ исчезаетъ поэзія временщиковъ, грубый развратъ замѣняется блестящимъ, великолѣпнымъ сладострастіемъ. Скромные вечера въ Эрмитажѣ, сверкашіе остроуміемъ, замѣнилъ дикій разгулъ Зоричей. Въ это время французская революція достигала своей высшей точки. Революціонный громъ не давалъ спокойно спать монархамъ, какъ на Дунаѣ, такъ и на Невѣ. Екатерина къ старости становилась безпокойною и подозрительной даже по отношенію къ своему сыну. Она съ опасеніемъ смотрѣла, какъ франкмасонство пріобрѣтало новую силу, независимую отъ ея воли; много говорили о томъ участіи, какое принимали иллюминаты и мартинисты въ революціи, и среди этихъ слуховъ она узнала, что великій князь Павелъ былъ Новиковымъ пріобщенъ къ франкмасонству. Десять лѣтъ раньше Екатерина послала бы за Новиковымъ и лично убѣдилась бы, что онъ не темный заговорщикъ противъ династіи, но теперь она предпочла его покарать, чѣмъ съ нимъ разговаривать.

Этотъ неутомимый челоуѣкъ еще до своего паденія образовалъ послѣдняго великаго писателя этого періода—Карамзина. Вліяніе послѣдняго на русскую литературу можно сравнить съ вліяніемъ

Екатерины на общество: онъ ее сдѣлалъ гуманною. Въ немъ было нѣчто Сень-Реалевское, Флоріановское и Ансильоновское ¹⁾, философская и моральная точка зрѣнія, филантропическія фразы, всегда проливаемая надъ несчастьемъ слезы, отвращеніе къ злоупотребленію силой, много любви къ цивилизаціи, патріотизмъ, нѣсколько риторическій, напыщенный, но все это безъ единства, безъ руководящей мысли, безъ единаго глубокаго убѣжденія. Было нѣчто независимое и чистое въ этомъ молодомъ литераторѣ, окруженномъ массой второстепенныхъ честолюбцевъ и грязнымъ матеріализмомъ. Карамзинъ былъ первымъ русскимъ литераторомъ, котораго читали дамы.

Большое счастье для нашей литературы, что наши первые писатели были свѣтскіе люди. Они провели въ литературу нѣкоторое изящество хорошей компаніи, воздержанность въ словахъ, благородство образовъ, отличающее бесѣды хорошо воспитанныхъ людей. Грубый, вульгарный элементъ, встрѣчающійся иногда въ нѣмецкой литературѣ, никогда не проникалъ въ русскія книги.

Главный трудъ Карамзина, памятникъ, который онъ воздвигъ потомству, это—двѣнадцать томовъ его русской исторіи. Добросовѣстный трудъ половины его жизни, разборъ котораго не входитъ въ наши планы,—его исторія много содѣйствовала обращенію умовъ къ изученію отечества. Если подумать о томъ хаосѣ, который предшествовалъ Карамзину въ русской исторіи, и о томъ трудѣ, который нужно было потратить, чтобы расчистить его, дать ясное и правдивое изложеніе предмета, то будетъ понятно, что было бы несправедливо не признавать его заслуги.

Чего не хватало Карамзину, это того саркастическаго элемента, который отъ Фонъ-Визина перешелъ къ Крылову и къ Дмитріеву, задушевному другу Карамзина. Въ нѣжномъ и доброжелательномъ Карамзинѣ было кое-что нѣмецкое. Можно было предсказать, что Карамзинъ со своей чувствительностью попадетъ въ - - - - - сѣти, какъ это потомъ случилось съ поэтомъ Жуковскимъ.

Исторія Россіи приблизила Карамзина къ императору Александру. Онъ ему читалъ *смѣлыя* страницы, на которыхъ по-

¹⁾ Аббатъ Цезарь Сень-Реаль, выдающійся французскій историкъ и литераторъ XVIII столѣтія.

Флоріанъ (Жанъ-Пьеръ Кларисъ-де-Флоріанъ) извѣстенъ болѣе, какъ баснописецъ, превзойденный во Франціи только Лафонтеномъ; это былъ хорошей поэтъ съ сатирическою жилкою и моралистъ XVIII вѣка.

Шарль Ансильонъ, историкъ, адвокатъ, представитель французскихъ протестантовъ, хлопотавшихъ о возстановленіи Нантскаго эдикта, затѣмъ судья и директоръ французскихъ эмигрантовъ въ Германіи.

зориль тираннію Ивана Грознаго и бросалъ иммортели на могилу новгородской республики. Александръ слушалъ его со вниманіемъ, съ волненіемъ и слегка пожималъ руку исторіографа. Александръ былъ слишкомъ хорошо воспитанъ, чтобы одобрить приказы Ивана—распиливать своихъ враговъ на двѣ половины,—и чтобы не вздохнуть надъ судьбою Новгорода, хорошо зная въ то же время, что графъ Аракчеевъ вводилъ уже военныя поселенія въ Новгородскую губернію. Еще болѣе взволнованный Карамзинъ оставался очарованнымъ императорскою добротою. Но куда его привели его смѣлыя страницы, его негодованіе, его соболѣзнованія? Чему онъ научился изъ русской исторіи, какой результатъ извлекъ онъ изъ своихъ изслѣдованій,—онъ, который въ предисловіи къ своей исторіи говоритъ, что исторія прошедшаго есть поученіе будущему? Онъ въ ней почерпнулъ только одну идею: «Дикіе народы любятъ свободу и независимость, а народы цивилизованные—порядокъ и спокойствіе», и только одинъ выводъ: «осуществленіе идеи абсолютизма», передъ развитіемъ которой онъ восторгался и выслѣживалъ ее отъ Мономаха до Романовыхъ.

Идея великой, - - - - - , это—идея великаго порабощенія. Можно ли себѣ представить, что народъ въ шестьдесятъ милліоновъ существуетъ только для того, чтобы осуществитъ... абсолютное рабство?

Карамзинъ умеръ, пользуясь благосклонностью императора Николая.

Какъ видитъ читатель, прослѣженный нами періодъ представляетъ собою лишь юность русской цивилизаціи и литературы. Наука цвѣла еще подъ сѣнью престола, и поэты воспѣвали своихъ царей, не будучи ихъ рабами. Почти не встрѣчаешь революціонныхъ идей,—главною революціонною идеею оставалась еще реформа Петра. Но власть и мысль, - - - - указы и слово человѣческое, - - - - и цивилизація не могли болѣе итти вмѣстѣ. Ихъ союзъ, даже въ XVIII вѣкѣ, поражаетъ. Но какъ могло бы быть иначе, когда царскій наслѣдникъ, преемникъ Алексѣя, словомъ, самодержецъ всея Россіи, Бѣлой и Червонной, Великой и Малой, Петръ I, былъ, по существу, и якобинцемъ, когда еще не было якобинства во Франціи, и террористомъ-революционеромъ?

IV.

1812—1825.

Войной 1812 года закончилась первая часть петербургскаго періода. До этой поры правительство стояло во главѣ движенія; съ тѣхъ поръ дворянство пошло рядомъ съ нимъ. До 1812 года сомнѣвались въ силахъ народа и имѣли непоколебимую вѣру во всемогущество правительства: Аустерлицъ былъ уже давно, Эйлау принимали за побѣду, а Тильзитъ—за славное событіе. Въ 1812 году непріятель прошелъ Мемель, перешелъ черезъ Литву и очутился подъ Смоленскомъ, этимъ «ключемъ» Россіи. Пораженный ужасомъ, Александръ примчался въ Москву просить помощи у дворянства и купечества. Онъ ихъ пригласилъ въ оставленный Кремлевскій дворецъ, чтобы обсудить, какъ помочь отечеству. Со времени Петра I русскіе государи не говорили народу: должно быть, велика была опасность, если императоръ Александръ во дворцѣ, а митрополитъ Платонъ въ соборѣ, заговорили объ угрожавшей Россіи опасности.

Дворянство и купцы протянули руку помощи правительству и выручили его изъ затрудненія. Народъ, забытый даже въ это время всеобщаго несчастія или же слишкомъ презираемый, чтобы просили у него крови, которую считали въ правѣ проливать безъ его согласія,—народъ поднялся массами, не дожидаясь призыва въ своемъ дѣлѣ.

Въ первый разъ со времени восшествія Петра I произошло это безмолвное единеніе всѣхъ классовъ. Крестьяне безропотно вступали въ ряды ополченія; дворяне давали одного изъ десяти крѣпостныхъ и сами брались за оружіе; купцы жертвовали десятой частью своихъ доходовъ. Народное волненіе разлилось по всей имперіи; шесть мѣсяцевъ послѣ очищенія Москвы появились на азіатской границѣ шайки вооруженныхъ людей, прибывавшихъ изъ глубины Сибири на защиту столицы. Извѣстіе о занятіи Москвы и о пожарѣ ея потрясли всю Россію, ибо для народа Москва все время оставалась истинной столицей. Москва только-что искупила своей жертвой усыпавшій строй - - - ; она поднималась, окруженная лучами славы,—сила непріятели сломилась въ ея стѣнахъ; побѣдитель съ Кремля началъ свое отступленіе, которое должно было остановиться только на св. Еленѣ. При первомъ пробужденіи народа Петербургъ затмился, а Москва, столица безъ императора,

пожертвовавшая собою для общаго отечества, приобрѣла новое вліяніе.

Впрочемъ, послѣ этого кроваваго крещенія вся Россія вошла въ новую фазу.

Невозможно было непосредственно перейти отъ волненій національной войны, отъ славной прогулки черезъ всю Европу, отъ взятія Парижа къ плоскому штилю петербургскаго деспотизма. Само правительство не могло сразу вернуться къ своимъ былымъ пріемамъ. Александръ выставялъ себя либераломъ, втихомолку отъ князя Меттерниха осмѣивалъ ультра-монархическіе проекты Бурбоновъ и игралъ роль конституціоннаго короля Польши.

Что же касается до бѣднаго мужика, онъ вернулся въ свою общину, къ своей сохѣ и къ своему закрѣпощенію. Для него ничто не измѣнилось, ему не дали никакой вольности въ награду за побѣду, купленную его кровью. Чтобы вознаградить мужика, Александръ подготовлялъ чудовищный проектъ военныхъ поселеній.

Вскорѣ послѣ войны въ общественномъ мнѣніи совершилась большая перемѣна. Офицеры гвардіи и армейскихъ полковъ стали менѣ покорны, менѣ сговорчивы, чѣмъ прежде, послѣ того, какъ храбро подставляли грудь непріятельскимъ пулямъ. Въ обществѣ распространились рыцарскія чувства чести и личнаго достоинства, дотолѣ неизвѣстныя русской аристократіи,—происхожденія просто-народнаго, вышедшей изъ народа милостью государей. Въ то же время дурная администрація, продажность чиновниковъ, полицейскія прижимки стали возбуждать всеобщее неудовольствіе. Видно было, что правительство—такъ, какъ оно было организовано—не могло, при всемъ желаніи, оградить отъ этихъ злоупотребленій, что нельзя ждать никакой справедливости отъ богадѣлни для стариковъ, которую называли пышнымъ именемъ правительствующаго сената, состоявшаго изъ смиренныхъ невѣждъ и служившаго правительству кладовою, куда убирали старыхъ, подержанныхъ чиновниковъ, недостойныхъ ни оставаться въ администраціи, ни быть изъ нея выгнанными. Государственные люди съ большимъ авторитетомъ, какъ, на примѣръ, старый адмиралъ Мордвиновъ, громко говорили о неотложности многихъ реформъ. Самъ Александръ желалъ улучшеній, но не зналъ, какъ приняться за дѣло. По его приказу, Карамзинъ, историкъ русскаго абсолютизма, и Сперанскій, составитель Свода законовъ (Николая I), работали надъ проектомъ конституціи.

Энергичные и серьезные люди не стали дожидаться окончанія этихъ мнимыхъ проектовъ, они не удовлетворились смутнымъ неудовольствомъ, а постарались воспользоваться имъ инымъ способомъ.

Они задумали тайное общество, которое должно было заняться политическимъ воспитаніемъ молодого поколѣнія, распространять идеи свободы и разработать сложный вопросъ радикальной и полной реформы русскаго правительства. Далеко не ограничиваясь одной только теоріей, они въ то же время сорганизовались такъ, чтобы воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для потрясенія - - - - - власти. Все, что было отличнаго въ русской молодежи,—молодые военные, какъ Пестель, Фонъ-Визинъ, Нарышкинъ, Юшневскій, Муравьевъ, Орловъ; самые любимые литераторы, какъ Рылѣевъ и Бестужевъ; потомки самыхъ знаменитыхъ фамилій, какъ князя Оболенскій, Трубецкой, Одоевскій, Волконскій, графъ Чернышевъ,—поспѣшили войти въ ряды этой первой фаланги русскаго освобожденія. Это общество приняло сначала названіе *Союза благоденствія*.

Странная вещь: въ то же время, какъ эти горячіе молодые люди, полные вѣры и энергіи, клялись ниспровергнуть петербургскій абсолютизмъ, императоръ Александръ клялся скрѣпить Россію съ неограниченными монархіями Европы. Онъ только-что образовалъ знаменитый *Священный Союзъ*,—союзъ мистическій, бесполезный, невозможный, нѣчто въ родѣ абсолютистскаго Грютли, Тугенбунда, составленнаго изъ трехъ коронованныхъ студентовъ, между которыми Александръ игралъ роль горячей головы.

Тѣ и другіе сдержали свои клятвы: одни—идя умирать на висѣлицу или въ каторжныя работы за свои идеи, а Александръ—оставивъ корону своему брату Николаю.

Десять лѣтъ, протекшія со времени возвращенія войскъ и до 1825 года, составляютъ апогей петербургскаго періода. Россія Петра I чувствовала себя сильною, юною, полною надежды. Она думала, что свобода способна привиться съ такой же легкостью, какъ и цивилизація, и забывала, что цивилизація не проникла еще дальше поверхности и принадлежала только очень незначительному меньшинству. Это меньшинство, дѣйствительно, было настолько развито, что не могло оставаться при *временныхъ* условіяхъ - - - - -

Это была первая оппозиція, поистинѣ революціонная, которая образовалась въ Россіи. Оппозиція, которую встрѣтила цивилизація въ началѣ XVIII вѣка, была консервативна. Даже та, которую проявляли нѣкоторые большіе сановники, на примѣръ, графъ Панинъ въ царствованіе Екатерины II, не выходила изъ круга идей строго-монархическихъ; она отличалась иногда энергіею, но всегда оставалась покорною и почтительною. Настроеніе, охватившее умы послѣ 1812 года, было уже совершенно иное.

Столкновеніе между покровительствующимъ - - - - - и покровительствуемой цивилизаціей стало неминуемымъ. Первый бой между ними произошел 14 декабря. Побѣдителемъ вышелъ абсолютизмъ; онъ показалъ тогда, какую силою - - - онъ обладалъ.

Слово *временный*, примѣненное нами къ условіямъ императорскаго строя, могло показаться страннымъ, и, однако, оно всего характернѣе выражаетъ сущность дѣла, если ближе всмотрѣться въ дѣянія русскаго правительства. Учрежденія, законы, проекты,—все въ немъ несомнѣнно временное, преходящее, лишено опредѣленности и окончательной формы. Это не консервативное правительство, на примѣръ, въ смыслѣ правительства австрійскаго, потому что ему нечего сохранять, кромѣ матеріальной силы и цѣлости территоріи. Оно дебютировало тиранническимъ разгромомъ учреждений, преданій, нравовъ, законовъ, обычаевъ страны и продолжаетъ дѣйствовать рядомъ переворотовъ, не пріобрѣтая ни устойчивости, ни правильности. Каждое царствованіе ставитъ на очередь большую часть правъ и учреждений; сегодня воспрещаютъ то, что повелѣвалось вчера; смягчаютъ, измѣняютъ, отмѣняютъ законы. Сводъ законовъ, изданный Николаемъ,—лучшее доказательство отсутствія принциповъ и единства въ имперскомъ законодательствѣ. Этотъ сводъ представляетъ собою совокупность всѣхъ существующихъ законовъ; это—нагроможденіе повелѣній, приказовъ и указовъ, болѣе или менѣе противорѣчивыхъ, которые гораздо лучше выражаютъ характеръ государя или интересъ минуты, чѣмъ духъ законодательства. Основаніемъ ему служитъ уложеніе царя Алексѣя Михайловича, а продолженіемъ—повелѣнія Петра I, составленныя въ совершенно иномъ направленіи; рядомъ съ законами Екатерины, въ духѣ Беккариа и Монтескье, встрѣчаются дневные приказы Павла I, превосходящіе все то, что можно найти самаго - - - - - и самаго произвольнаго въ указахъ римскихъ императоровъ. Какъ все, что не имѣетъ историческихъ корней, русское правительство не только не консервативно, но, совершенно напротивъ, оно - - - - - любитъ нововведенія. Оно ничего не оставляетъ въ покоѣ, и если рѣдко что-либо улучшаетъ, зато непрерывно измѣняетъ. Такова исторія форменныхъ одеждъ, которыя безпрестанно и безъ причины измѣняются, какъ для чиновъ гражданскихъ, такъ и для военныхъ, — времяпрепровожденіе, которое стоило, конечно, громадныхъ суммъ. Такова исторія перестроекъ старыхъ зданій, доказательство хорошаго вкуса и степени цивилизаціи русскаго правительства. Иногда въ Россіи совершаются цѣлыя революціи, и это остается вовсе неизвѣстнымъ за границу, благодаря недостатку публичности и послѣдствіе всеобщей безгласности. Такъ, на примѣръ,

въ 1838 году была радикально измѣнена администрація всѣхъ сельскихъ общинъ имперіи. Правительство вмѣшалось въ дѣла общинъ; оно поставило каждую деревню подъ двойной надзоръ полиціи, начало принудительную организацію сельскихъ работъ, обездолило однѣ общины и обогатило другія; наконецъ, оно создало для 17.000.000 человѣкъ совершенно новую администрацію,—и это событіе, имѣвшее почти размѣры революціи, осталось даже не замѣченнымъ въ Европѣ.

Крестьяне, опасаясь кадастра и вмѣшательства въ ихъ дѣла чиновниковъ, которыхъ они знали за привилегированныхъ грабителей въ мундирахъ, во многихъ мѣстахъ взбунтовались. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Казанской, Вятской и Тамбовской губерній дѣло дошло до разстрѣливанія ихъ, и *новый порядокъ былъ сохраненъ*.

Такое положеніе долго не могло просуществовать, и это впервые почувствовалось послѣ 1812 года.

Время для тайнаго политическаго сообщества было выбрано во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно. Литературная пропаганда шла очень дѣятельно; душою ея былъ знаменитый Рылѣевъ; онъ и его друзья придали ей энергію и увлекательность, которой она никогда не имѣла ни раньше, ни позже. То были не только слова, но и дѣйствія. Чувствовалось опредѣленное принятое рѣшеніе, сознательная цѣль; не обманывались насчетъ опасности, шли твердымъ шагомъ, съ высоко поднятой головой къ безповоротно установленному исходу.

Литература у народа, не имѣющаго политической свободы,—единственная трибуна, съ высоты которой онъ можетъ заставить услышать крикъ своего негодованія и своей совѣсти.

Вліяніе литературы на общество, сложившееся такимъ образомъ, разрастается до размѣровъ, которые литература другихъ странъ Европы давно потеряла. Революціонныя стихотворенія Рылѣева и Пушкина можно было найти въ рукахъ молодыхъ людей въ самыхъ отдаленныхъ областяхъ имперіи. Не было ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы ихъ наизусть, ни одного офицера, который не носилъ бы ихъ въ своей сумкѣ, ни одного поповскаго сына, который не снялъ бы съ нихъ дюжину копій. Въ послѣдніе годы пылъ этотъ очень остылъ, потому что стихи эти уже произвели свое впечатлѣніе: цѣлое поколѣніе пережило вліяніе горячей юношеской пропаганды.

Заговоръ быстро распространялся въ Петербургѣ, Москвѣ, въ Малороссіи между офицерами гвардіи и 2-й арміи. Русскіе лѣнны, пока не наталкиваются на импульсъ, легко поддаются увлеченію. Разъ увлеченные, они идутъ до крайнихъ выводовъ, не ища сдѣлокъ.

Со времени Петра I много говорили о способности къ раздражанію, которую русскіе доводили до смѣшного. Нѣкоторые нѣмецкіе ученые утверждали, что славяне лишены всякой самобытности, свойственной только нѣмцамъ, что ихъ отличительное свойство ограничивается переимчивостью. На самомъ дѣлѣ, славянская національность обладаетъ большою упругостью: разъ она вышла изъ патріотической исключительности, она больше не находитъ непреодолимыхъ препятствій для пониманія другихъ національностей. Нѣмецкая наука, которая не переходитъ за Рейнъ, и англійская поэзія, которая искажается при переправѣ черезъ Па-де-Калэ, уже давно пріобрѣли право гражданства у славянъ. Къ этому надо прибавить, что въ основѣ такой славянской переимчивости есть нѣчто оригинальное, нѣчто такое, что хотя и поддается внѣшнимъ вліяніямъ, но сохраняетъ и свой собственный, самобытный характеръ.

Мы встрѣчаемъ эту черту русской души и въ ходѣ занимающаго насъ заговора. Вначалѣ онъ имѣлъ направленіе конституціонное и либеральное—въ англійскомъ смыслѣ. Но едва такое мнѣніе было принято, какъ союзъ преобразился; онъ сталъ болѣе радикальнымъ, вслѣдствіе чего многіе члены его покинули. Основное ядро заговорщиковъ сдѣлалось республиканскимъ и не захотѣло болѣе довольствоваться представительной монархіей. Они - - - - - думали, что если у нихъ будетъ достаточно силы, чтобы ограничить самодержавіе, то ея хватитъ и на то, чтобы вовсе его уничтожить. Главари Южнаго общества имѣли въ виду республиканскую федерацію славянъ; они вырабатывали революціонную диктатуру, которая должна была организовать республиканскія формы.

Болѣе того, когда полковникъ Пестель посѣтилъ Сѣверное общество, онъ поставилъ вопросъ на другую почву. Онъ полагалъ, что провозглашеніе республики ни къ чему не поведетъ, если не вовлечь въ революцію и земельную собственность. Не забудемъ, что дѣло идетъ о событіяхъ между 1817 и 1825 годами. Соціальные вопросы никого еще не занимали въ Европѣ. Гракхъ Бабефъ, «сумасшедшій, дикій», былъ уже забытъ. Сенъ-Симонъ писалъ свои трактаты, но ихъ никто не читалъ; съ Фурье было то же самое; опыты Оуэна интересовали не болѣе. Самые большіе либералы того времени, въ родѣ Бенжамена Констана и Поля-Луи Курье, испустили бы крики негодованія, если бы услышали предложенія Пестеля,—предложенія, которыя провозглашались не въ какомъ-нибудь клубѣ, состоявшемъ изъ пролетаріевъ, но передъ большимъ союзомъ, въ который входили исключительно лица изъ самаго богатаго дворянства. Пестель предлагалъ имъ добиться, хоть цѣною своей жизни, экспроприаціи ихъ же имѣній. Съ нимъ не соглашались,—его убѣжденія

слишкомъ колебали тѣ принципы политической экономіи, которые тогда только-что были усвоены. Но Пестеля не обвиняли въ томъ, что онъ хотѣлъ грабежа и рѣзни; онъ, тѣмъ не менѣе, оставался истиннымъ вождемъ Южнаго общества и болѣе чѣмъ вѣроятно, что, въ случаѣ успѣха, онъ сталъ бы диктаторомъ,—онъ, который былъ социалистомъ раньше, чѣмъ появился социализмъ.

Пестель не былъ ни мечтателемъ, ни утопистомъ; совсѣмъ напротивъ: онъ ни на шагъ не отходилъ отъ дѣйствительности, онъ зналъ духъ своей націи. Если оставить землю дворянству, то получилась бы олигархія, народъ даже не понялъ бы своего освобожденія, такъ какъ русскій крестьянинъ хочетъ быть свободнымъ только съ землей.

Тогда же Пестель первый подумалъ, какимъ образомъ привлечь народъ къ участию въ революціи. Онъ соглашался съ друзьями, что возстаніе не могло удасться безъ поддержки арміи, но онъ хотѣлъ еще увлечь, во что бы то ни стало, и сектантовъ,—глубокомысленный проектъ, - - - - - котораго докажетъ время.

Теперь, послѣ совершившихся событій, мы можемъ сказать, что Пестель заблуждался: друзья его не могли подготовить социальную революцію, народъ не могъ имѣть общаго дѣла съ дворянствомъ,—но только великимъ людямъ дано ошибаться такимъ образомъ, упреждая развитіе народныхъ массъ.

Практически, моментомъ онъ ошибался, но теоретически его мысль явилась - - - - - . Онъ былъ пророкомъ, и все тайное общество того времени—громადной школой для настоящаго поколѣнія.

14 декабря, дѣйствительно, открыло новую фазу нашему политическому воспитанію и,—что можетъ показаться страннымъ,—громадное вліяніе, которое имѣло это дѣло и которое сильнѣе дѣйствовало, чѣмъ пропаганда и теоріи, оказало само возстаніе, } геройское поведеніе заговорщиковъ на площади, во время суда, въ кандалахъ, въ присутствіи императора Николая, въ рудникахъ, въ Сибири./ Не либеральныхъ стремленій или сознанія злоупотребленій недоставало русскимъ, а прецедента, который далъ бы имъ смѣлость инициативы. Убѣжденія внушаются теоріею, поведеніе же образуется примѣромъ.

Нигдѣ подобный примѣръ до такой степени необходимъ, чѣмъ тамъ, гдѣ человѣкъ не привыкъ осуществлять свою волю, выставлять себя на видъ, разсчитывать на самого себя и оцѣнивать свои силы, гдѣ, напротивъ, онъ всегда оставался несовершеннolѣтнимъ, безъ голоса и мнѣнія, укрытый за общиною, какъ за непроходимой оградой, поглощенный государствомъ, въ которомъ онъ являлся

какъ бы затерявшимся. Вмѣстѣ съ цивилизаціей неизбежно развились идеи свободы, но бездѣятельное недовольство слишкомъ вошло въ привычки: всѣ желали - - - - - , но никто не хотѣлъ приступить къ этому первымъ.

И вотъ первые нашлись, и съ такимъ величіемъ души, съ такой силой характера, что правительство въ своемъ официальномъ донесеніи не посмѣло ни унижить, ни безчестить ихъ; Николай ограничился тѣмъ, что жестоко наказалъ ихъ. Безмолвіе, нѣмая пассивность были нарушены; съ высоты - - - - - эти люди разбудили душу у новаго поколѣнія — повязка спала съ его глазъ.

Не менѣе рѣшительно было дѣйствіе 14-го декабря на само правительство; отъ Петра до Николая правительство высоко держало знамя прогресса и цивилизаціи, а съ 1825 года—ничего подобнаго: власть только и думаетъ, что о замедленіи умственного движенія; уже не слово «прогрессъ» пишутъ на - - - - - , а слова: «самодержавіе, православіе и народность», это «*mane fares takel*» - - - - - и, кромѣ того, послѣднія два слова явились тамъ только для формы. - - - - -

Немного ранѣе того темнаго царства, которое началось въ русской крови и продолжалось въ польской, появился великій русскій поэтъ Пушкинъ, и какъ только появился, онъ сталъ необходимъ, какъ будто русская литература не могла безъ него обойтись. Читали другихъ поэтовъ, восторгались ими, но Пушкинъ—въ рукахъ каждаго цивилизованнаго русскаго, и онъ перечитывалъ его всю жизнь. Поэзія Пушкина уже не опытъ, не этюдъ, не упражненіе, это было его призваніемъ и стало зрѣлымъ искусствомъ; цивилизованная часть русской націи нашла въ немъ въ первый разъ даръ поэтическаго слова.

Пушкинъ, какъ нельзя болѣе, націоналенъ и въ то же время понятенъ для иностранцевъ. Онъ рѣдко поддѣлывается подъ народный языкъ русскихъ пѣсенъ, онъ выражаетъ свою мысль такъ, какъ она появляется у него въ умѣ. Какъ всѣ великіе поэты, онъ всегда на уровнѣ своего читателя: онъ растетъ, становится мраченъ, грозенъ, трагиченъ; его стихъ шумитъ, какъ море, какъ лѣсъ,

волнуемый бурей, но въ то же время онъ ясенъ, свѣтелъ, сверкающъ, жаждетъ наслажденій, душевныхъ волненій. Вездѣ русскій поэтъ реаленъ, — въ немъ нѣтъ ничего болѣзненного, ничего изъ той преувеличенной психологической патологии, изъ того абстрактнаго христіанскаго спиритуализма, которые такъ часто встрѣчаются у нѣмецкихъ поэтовъ. Его муза — не блѣдное существо, съ разстроенными нервами, закутанное въ саванъ, это — женщина горячая, окруженная ореоломъ здоровья, слишкомъ богатая истинными чувствами, чтобы искать искусственныхъ, достаточно несчастная, чтобы выдумывать несчастья искусственныя. У Пушкина натура была пантеистическая, эпикурейская греческихъ поэтовъ, но въ его душѣ явился еще элементъ совершенно новый. Углубляясь въ себя, онъ находилъ въ нѣдрахъ души горькую думу Байрона, разъѣдающую иронію нашего вѣка.

Нѣкоторые видѣли въ Пушкинѣ подражателя Байрону. Англійскій поэтъ, дѣйствительно, имѣлъ сильное вліяніе на русскаго. Изъ общенія съ сильнымъ и симпатичнымъ человѣкомъ никогда не выйдешь безъ того, чтобы не подвергнуться его вліянію, безъ того, чтобы не стать подъ его лучами болѣе зрѣлымъ. Подтвержденіе того, что таилось въ нашей душѣ, сочувствіе дорогого для насъ ума придаетъ намъ вдохновеніе и новое значеніе нашимъ мыслямъ. Но отъ этого естественнаго воздѣйствія далеко до подражанія. Послѣ первыхъ поэмъ Пушкина, въ которыхъ вліяніе Байрона сильно чувствовалось, онъ съ каждымъ новымъ произведеніемъ становится все болѣе и болѣе оригинальнымъ. Постоянно полный удивленія передъ великимъ англійскимъ поэтомъ, онъ не былъ ни его кліентомъ, ни его паразитомъ, ни *traduttore*, ни *traditore* ¹⁾.

Въ концѣ своей карьеры Пушкинъ и Байронъ совершенно отдаляются другъ отъ друга, и это по очень простой причинѣ: Байронъ былъ англичанинъ до глубины души, а Пушкинъ — до глубины души русскій, и русскій петербургскаго періода. Пушкинъ зналъ всѣ страданія цивилизованнаго человѣка, но у него была вѣра въ будущее, которой человѣкъ Запада уже лишился. Байронъ, великая свободная личность, человѣкъ, уединяющійся въ своей независимости и все болѣе и болѣе закутывающийся въ свое высокомеріе, въ свою гордую скептическую философію, становится все болѣе и болѣе мрачнымъ и непримиримымъ. Онъ не видѣлъ никакого близкаго будущаго; удрученный горькими думами, когда міръ ему противоплъ, онъ предалъ свою судьбу народу славяно-эллинскихъ морскихъ

1) Ни «переводчикомъ», ни «предателемъ» его.

разбойниковъ, которыхъ онъ принималъ за грековъ древняго міра. Пушкинъ, напротивъ, все болѣе и болѣе успокаивается, погружается въ изученіе русской исторіи, собираетъ матеріалы для монографіи о Пугачевѣ, создаетъ историческую драму «Борисъ Годуновъ» и проникается инстинктивною вѣрою въ будущность Россіи; въ его душѣ отдавались торжествующіе и побѣдные крики, поразившіе его еще въ дѣтствѣ, въ 1813 и 1814 годахъ; одно время онъ былъ даже увлеченъ тѣмъ петербургскимъ патріотизмомъ, который хвалится количествомъ штыковъ и опирается на пушки. Эта спесь, конечно, столь же непростительна, какъ и доведенный до крайности аристократизмъ Байрона, но причина ея очевидна. Грустно сознаться, но у Пушкина былъ исключительный патріотизмъ; великіе поэты были царедворцами, напримѣръ, Гёте, Расинъ и др.; Пушкинъ не былъ ни царедворцемъ, ни сторонникомъ правительства, но грубая сила государства ему нравилась по патріотическому инстинкту, вслѣдствіе чего онъ раздѣлялъ варварское пожеланіе отвѣчать на доводы ядрами. Россія—частью раба, потому что находитъ поэзію въ матеріальной силѣ и видитъ славу въ томъ, чтобы быть пугаломъ народовъ.

Тѣ, которые говорятъ, что поэма Пушкина «Онѣгинъ» есть «Донъ-Жуанъ» русскихъ нравовъ, не понимаютъ ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни Россіи: они судятъ по внѣшности. «Онѣгинъ», это — самое значительное произведеніе Пушкина, поглотившее половину его жизни. Эта поэма исходитъ именно изъ того періода, который насъ занимаетъ; она созрѣла въ тѣ грустные годы, которые слѣдовали за 14-мъ декабря, и можно ли повѣрить, что подобное произведеніе, поэтическая автобіографія — лишь простое подражаніе!

Онѣгинъ, это — ни Гамлетъ, ни Фаустъ, ни Манфредъ, ни Оберманъ, ни Тренморъ, ни Карлъ Мооръ; Онѣгинъ, это — русскій; онъ возможенъ только въ Россіи; въ ней онъ нуженъ и его встрѣчаютъ на каждомъ шагу. Онѣгинъ, это — бездѣльникъ, потому что онъ никогда ничѣмъ не занимался, человѣкъ лишній въ той сферѣ, въ которой находится, и не имѣющій достаточно характера, чтобы изъ нея выйти. Это — человѣкъ, испытывающій жизнь до самой смерти и который желалъ бы попробовать смерть, чтобы посмотреть, не лучше ли она жизни. Онъ все начиналъ и ничего не доводилъ до конца, онъ думалъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше дѣлалъ; онъ въ двадцать лѣтъ уже старъ, а, начиная старѣть, молодѣетъ черезъ любовь. Онъ всегда чего-то ожидалъ, какъ мы всѣ, потому что у человѣка нѣтъ достаточно безумія, чтобы вѣрить въ продолжительность теперешняго положенія въ Россіи... Ничто не пришло, а жизнь

уходила. Типъ Онѣгина до такой степени націоналенъ, что встрѣчается во всѣхъ романахъ и во всѣхъ поэмахъ, которые имѣли хоть нѣкоторую популярность въ Россіи, и не потому, что этотъ типъ хотѣли списывать, а оттого, что его постоянно видишь около себя или въ себѣ самомъ.

Чацкій, герой знаменитой комедіи Грибоѣдова, это—Онѣгинъ-резонеръ, его старшій братъ.

«Герой нашего времени» Лермонтова — его младшій братъ. Даже во второстепенныхъ произведеніяхъ Онѣгинъ появляется, хотя и утрированнымъ или неполнымъ, но узнаваемымъ. Если это не онъ, то, по крайней мѣрѣ, это его копія. Молодой путешественникъ въ «Тарантасѣ» графа Соллогуба — ограниченный и дурно воспитанный Онѣгинъ. Фактъ тотъ, что всѣ мы — болѣе или менѣе Онѣгины, разъ только мы не предпочитаемъ быть чиновниками или помѣщиками.

Цивилизація насъ губить, сбиваетъ съ привычнаго пути; она-то насъ ставитъ въ тягость другимъ и самимъ себѣ, дѣлаетъ праздными, бесполезными, капризными, переходящими отъ эксцентричности къ кутежу, безъ сожалѣнія растрачивающими наше состояніе, наше сердце, нашу юность и алчущими занятій, ощущеній, развлеченій, какъ тѣ ахенскія собаки у Гейне, которыя, отъ скуки, просятъ у прохожихъ, какъ милости, пинка для развлеченія. Мы всѣмъ занимаемся: музыкой, философійей, любовью, военнымъ искусствомъ, мистицизмомъ, чтобы только разсѣяться, чтобы забыться отъ гнетущей насъ громадной пустоты.

Цивилизація и рабство, даже безъ всякаго «лоскутка» между ними, который помѣшалъ бы, чтобы насъ размолото изнутри или внѣшнимъ образомъ между этими двумя крайностями, насильно сближенными!

Намъ даютъ обширное образованіе, намъ прививаютъ желанія, стремленія, страданія современнаго міра и намъ кричатъ: «Оставляйтесь рабами, нѣмыми, бездѣтельными—или вы погибли». Въ награду намъ оставляютъ право сдирать шкуру съ крестьянъ и спускать на зеленомъ сукнѣ или въ кабакѣ собираемымъ нами съ нихъ подати кровью и слезами.

Юноша не встрѣчаетъ никакого живого интереса въ этомъ мірѣ раболѣлія и мелочнаго честолюбія. И, однако, въ этомъ-то обществѣ онъ осужденъ жить, такъ какъ народъ еще болѣе отъ него отдаленъ. «Этотъ міръ», по крайней мѣрѣ, состоитъ изъ падшихъ существъ той же породы, тогда какъ нѣтъ ничего общаго между нимъ и народомъ. Преданія такъ хорошо были разрушены Петромъ I, что нѣтъ человѣческой силы, способной ихъ восстано-

вить,—по крайней мѣрѣ, въ настоящее время. Остается уединеніе или борьба, но мы не имѣемъ достаточно нравственной силы ни для того, ни для другого. Такимъ-то образомъ становятся Онѣгинскими, если не погибаютъ въ публичныхъ домахъ или въ казематахъ какой-нибудь крѣпости.

Мы украли цивилизацію, и Юпитеръ хочетъ наказать насъ съ тѣмъ же ожесточеніемъ, съ какимъ онъ мучилъ Прометея.

Рядомъ съ Онѣгинимъ Пушкинъ поставилъ Владиміра Ленскаго,—другую жертву русской жизни,—Онѣгинъ *vice versa* ¹⁾. Это—острое страданіе рядомъ со страданіемъ хроническимъ. Это—одна изъ тѣхъ дѣвственныхъ, чистыхъ натуръ, которыя не могутъ акклиматизироваться въ развращенной и безумной средѣ, которыя приняли жизнь, но не могутъ ничего болѣе принять отъ нечистой почвы, кромѣ смерти. Являясь искупительными жертвами, эти юноши проходятъ молодыми, блѣдными, отмѣченными рокомъ на челѣ, какъ упрекъ, какъ раскаяніе, и послѣ нихъ ночь, въ которой «мы движемся и существуемъ», остается еще болѣе мрачною.

Пушкинъ изобразилъ характеръ Ленскаго съ нѣжностью, какую человѣкъ питаетъ къ мечтамъ своей юности, къ воспоминаніямъ о томъ времени, когда человѣкъ полонъ надежды, чистоты и невѣдѣнія. Ленскій—последній крикъ совѣсти Онѣгина, потому что это онъ самъ, это—идеальнѣе его юности. Поэтъ видѣлъ, что такому человѣку нечего дѣлать въ Россіи, и онъ убилъ его рукою Онѣгина, который его любилъ и, цѣлясь въ него, не хотѣлъ даже ранить. Пушкинъ самъ испугался этого трагическаго конца: онъ спѣшитъ утѣшить читателя, изображая ту пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта.

Рядомъ съ Пушкинымъ также стоитъ другой Ленскій: то былъ Веневитиновъ, чистая поэтическая душа, задушенная въ двадцать два года грубыми тисками русской жизни.

Между этими двумя типами,—между преданнымъ энтузіастомъ и поэтомъ и, съ другой стороны, человѣкомъ усталымъ, ожесточеннымъ, бесполезнымъ,—между могилой Ленскаго и скукой Онѣгина,—тянется глубокая, тинистая рѣка цивилизованной Россіи съ ея аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, - - - - -
- - - - - ,—масса безформенная и нѣмая отъ низости, раболѣпія, звѣрства и зависти, которая увлекаетъ и поглощаетъ все, «эта пучина,—какъ говоритъ Пушкинъ,—гдѣ, дорогой читатель, мы съ вами купаемся».

Пушкинъ дебютировалъ революціонными стихами большой кра-

¹⁾ Наоборотъ.

соты. Александръ сослалъ его изъ Петербурга въ южныя окраины имперіи; новый Овидій провелъ время съ 1819 по 1825 годъ въ Херсонесѣ Таврическомъ. Разлученный со своими друзьями, далекій отъ политическаго движенія, среди великолѣпной, но дикой природы, Пушкинъ, поэтъ прежде всего, сосредоточился въ своемъ лиризмѣ; его лирическія вещи представляютъ фазы его жизни, біографію его души; въ нихъ находишь слѣды всего того, что волновало эту пламенную душу,—истину и заблужденіе, мимолетное, проходящее увлеченіе и глубокія, неизмѣнныя симпатіи.

Николай вернулъ Пушкина изъ ссылки черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ были повѣшены герои 14-го декабря. Онъ хотѣлъ погубить его въ общественномъ мнѣніи своею милостью, покорить его своимъ благорасположеніемъ.

Пушкинъ возвратился и не узналъ ни московскаго, ни петербургскаго общества. Онъ не нашелъ больше своихъ друзей, — не смѣли даже произносить ихъ имена; только и говорили, что объ арестахъ, обыскахъ и ссылкѣ; всѣ были мрачны и уstraшены. Онъ встрѣтилъ на минуту Мицкевича, этого другого славянскаго поэта; они протянули другъ другу руки, какъ на кладбищѣ. Надъ ихъ головами бушевала гроза: Пушкинъ возвращался изъ ссылки, Мицкевичъ отправлялся въ нее. Ихъ свиданіе было печально, но они не поняли другъ друга. Курсъ Мицкевича, читанный имъ въ Collège de France, показалъ существовавшее между ними разномысліе: время взаимнаго пониманія между поляками и русскими еще не настало.

Продолжая - - - , Николай произвелъ Пушкина въ камеръ-юнкеры. Тотъ понялъ стрѣлу и не пошелъ ко двору. Тогда ему предложили: или ѣхать на Кавказъ, или надѣтъ придворный мундиръ. Онъ уже былъ женатъ на женщинѣ, которая потомъ была причиною его гибели; вторая ссылка ему показалась болѣе тяжкою, чѣмъ первая,—и онъ избралъ дворъ. Въ этомъ отсутствіи гордости, сопротивленія, въ этой сомнительной гибкости узнаешь дурную сторону русскаго характера.

Когда Наслѣдникъ поздравилъ его какъ-то по поводу этого назначенія, Пушкинъ отвѣтилъ: «Ваше Высочество, вы первый поздравляете меня по этому случаю».

Въ 1837 году Пушкинъ былъ убитъ на дуэли однимъ изъ тѣхъ иностранныхъ драчуновъ-забіякъ, которые, какъ средневѣковые наемники или швейцарцы нашихъ дней, отдають свою шпагу за деньги къ услугамъ всякаго деспотизма. Онъ палъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ, не окончивъ своихъ пѣсенъ, не досказавъ того, что имѣлъ сказать.

За исключеніемъ двора и его приближенныхъ, весь Петербургъ плакалъ; только тогда стало видно, какую популярность приобрѣлъ Пушкинъ. Во время его агоніи, къ его дому тѣснилась плотная толпа, чтобы справляться о здоровьѣ. Такъ какъ это происходило въ двухъ шагахъ отъ Зимняго дворца, то императоръ могъ изъ своихъ оконъ видѣть толпу; онъ приревновалъ ее и конфисковалъ у публики похороны поэта: въ морозную ночь тѣло Пушкина, окруженное жандармами и полицейскими, тайкомъ перевезли не въ его приходскую, а въ совершенно другую церковь; тамъ священникъ поспѣшно отслужилъ заупокойную обѣдню, и сани увезли тѣло поэта въ монастырь Псковской губерніи, гдѣ находилось его имѣнье. Когда обманутая такимъ образомъ толпа направилась къ церкви, куда былъ отвезенъ покойникъ, снѣгъ уже замелъ всѣ слѣды погребальнаго вывоза.

Ужасная, черная судьба выпадаетъ у насъ на долю всякаго, кто осмѣлится поднять голову выше уровня, начертаннаго - - - - - ; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рокъ толкаетъ въ могилу. Исторія нашей литературы—или мартирологъ, или регистръ каторги. Даже тѣ, которыхъ правительство пощадило, погибаютъ, едва распустившись, слѣша оставить жизнь.

Là sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente a cui il morir non duolo ¹⁾.

Рылѣевъ повѣшенъ Николаемъ.

Пушкинъ убитъ на дуэли, тридцати восьми лѣтъ.

Грибоѣдовъ зарѣзанъ въ Тегеранѣ.

Лермонтовъ убитъ на дуэли, тридцати лѣтъ, на Кавказѣ.

Веневитиновъ убитъ обществомъ, двадцати двухъ лѣтъ.

Кольцовъ убитъ своей семьей, тридцати трехъ лѣтъ.

Бѣлинскій убитъ, тридцати пяти лѣтъ, голодомъ и нищетой.

Полежаевъ умеръ въ военномъ госпиталѣ, послѣ службы солдатомъ на Кавказѣ въ теченіе восьми лѣтъ.

Боратынскій умеръ послѣ двѣнадцатилѣтней ссылки.

Бестужевъ умеръ на Кавказѣ совсѣмъ еще молодымъ, послѣ каторжныхъ работъ въ Сибири.

«Горе,—говоритъ писаніе,—народамъ, которые побиваютъ камнями своихъ пророковъ!»—но русскому народу нечего бояться, такъ какъ ему нечего прибавлять къ своей несчастной судьбѣ.

¹⁾ «Тамъ, въ дни короткіе и туманные, рождается народъ, которому умирать—не горе».

V.

Литература и общественная мысль послѣ 14 декабря 1825 г.

Двадцать пять лѣтъ, слѣдовавшихъ за 14 декабря, труднѣе характеризовать, чѣмъ всю эпоху со времени Петра I. Два противоположныхъ теченія,—одно на поверхности, другое въ глубинѣ, гдѣ оно едва замѣтно, — спутываютъ наблюденія. Россія, повидимому, оставалась неподвижною; она, казалось даже, шла назадъ, но, въ сущности, все принимало новый видъ, вопросы становились болѣе сложными, рѣшенія ихъ—менѣе простыми.

На поверхности официальной Россіи, «фасадной имперіи», виднѣлись только однѣ потери, свирѣпая реакція, безчеловѣчныя преслѣдованія, усугубленіе - - - - - . Виднѣлся Николай, окруженный посредственностями, солдатами парадовъ, балтійскими нѣмцами и дикими консерваторами, — самъ недовѣрчивый, холодный, упрямый, безжалостный, съ душою, - - - - - высокимъ порывамъ, и - - - - - , какъ его приближенные. Непосредственно ниже его выставлялось высшее общество, которое при первомъ ударѣ грозы, разразившейся надъ головой послѣ 14 декабря, потеряло едва передъ тѣмъ пріобрѣтенныя понятія о чести и достоинствѣ. Русская аристократія уже не поднялась при Николаѣ,—она отцвѣла; все, что имѣлось въ ея средѣ благороднаго и великодушнаго, находилось въ рудникахъ или въ Сибири. Все, что оставалось или держалось въ благоволеніи - - - - - , пало до той степени низости или раболѣпія, которая извѣстна по картинѣ, нарисованной де-Кюстиномъ.

Затѣмъ слѣдовали гвардейскіе офицеры; изъ блестящихъ и образованныхъ членовъ общества они становились все болѣе и болѣе шаблонными, рутинными унтерами. До 1825 года все, что носило статское платье, признавало превосходство эполетъ. Считалось хорошимъ тономъ прослужить не менѣе двухъ лѣтъ въ гвардіи или, по крайней мѣрѣ, въ кавалеріи. Офицеры были душой общества, герои праздниковъ и баловъ и, правду говоря, это предпочтеніе не было лишено основанія: военные были болѣе независимы и держались болѣе достойно, чѣмъ пресмыкавшіеся и трусливые штатскіе чиновники. Обстоятельства измѣнились, гвардія раздѣлила участь аристократіи: лучшіе офицеры были сосланы, многіе оставили службу, не будучи въ состояніи выносить грубый и наглый тонъ - - - - - . Начальство торопилось заполнить пустыя мѣста хорошими солдатами или казарменными и манежными служаками. Офи-

церы упали во мнѣніи общества,—одолѣлъ фракъ, и мундиръ сохранилъ свое преобладаніе лишь въ маленькихъ провинціальныхъ городахъ да при дворѣ — . Члены императорской фамилии и самъ глава ея стали выказывать военнымъ преувеличенное и — — — — — предпочтеніе. Холодность публики къ мундиру не доходила, однако, до допущенія чиновниковъ въ высшее общество. Даже въ провинціи проявлялось непреодолимое отвращеніе къ нимъ, что, однако, не помѣшало усилению вліянія бюрократовъ. Послѣ 1825 года вся администрація изъ аристократической и невѣжественной, какою была раньше, сдѣлалась скудною и крючкотворною. Министерства превратились въ конторы, управляющіе ими и высшіе чиновники сдѣлались дѣльцами или писарями. Они по отношенію къ гражданской службѣ явились тѣмъ же, чѣмъ стали прежніе безнадежные армейскіе служаки по отношенію къ гвардіи. Совершеннѣйшіе знатоки всѣхъ формальностей, холодные и не разсуждающіе исполнители высшихъ приказаній, они были преданы правительству изъ любви къ взяткамъ. — — — — — нужны были такіе офицеры и такіе администраторы.

Казарма и канцелярія сдѣлались основаніями политической науки — — — . Слѣпая и бессмысленная дисциплина въ соединеніи съ мертвымъ формализмомъ австрійскихъ счетныхъ конторщиковъ, таковы—основы знаменитой организаціи сильной власти въ Россіи. Какая бѣдность правительственной мысли, какая проза — — — — — и — — — — — и какая жалкая пошлость! Это самая простая, самая грубая форма — — — — — .

Прибавимъ къ этому графа Бенкендорфа, шефа корпуса жандармовъ, олицетворявшаго вооруженную инквизицію, полицейское масонство, у котораго во всѣхъ концахъ имперіи, отъ Риги до Нерчинска, были свои братья, подслушивающіе и прислушивающіеся; онъ же былъ начальникомъ III Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи (таково названіе центральной шпіонской конторы), судившій всѣхъ, кассировавшій рѣшенія судовъ, вмѣшивавшійся во все и, въ особенности, въ политическіе проступки. Въ эту судебную контору привлекалась время отъ времени цивилизація въ видѣ, какого-нибудь литератора или студента, котораго ссылали или забирали въ крѣпость, но вскорѣ они замѣщались другими.

Однимъ словомъ, при взглядѣ на официальную Россію, душу охватывало только отчаяніе: съ одной стороны, Польша, развѣянная и мучимая со страшнымъ упорствомъ; съ другой— — — — — война, не прекращавшаяся во все царствованіе и поглотившая цѣлыя арміи, не приблизивъ ни на шагъ наше господство на Кавказѣ; въ центрѣ— всеобщее раболѣпіе и правительственная неспособность.

Но внутри совершалась великая работа,—работа глухая и безмолвная, но дѣятельная и непрерывная: всюду росло недовольство, революціонныя идеи за эти двадцать пять лѣтъ распространились сильнѣе, чѣмъ за цѣлое столѣтіе, которое имъ предшествовало, и все же онѣ не проникли до народа.

Русскій народъ продолжалъ держаться въ отдаленіи отъ политическихъ сферъ; у него не было основаній принимать участіе въ работѣ, совершавшейся въ другихъ слояхъ націи. Долгія страданія обязываютъ къ достоинству своего рода; русскій народъ слишкомъ много страдалъ, чтобы имѣть право волноваться изъ-за маленькаго улучшенія своего положенія: лучше откровенно остаться нищимъ въ лохмотьяхъ, чѣмъ нарядиться въ заплатанную одежду изъ лоскутковъ. Но изъ того, что онъ не принималъ никакого участія въ идейномъ движеніи другихъ классовъ, вовсе не слѣдуетъ, что ничего не происходило въ его душѣ. Русскій народъ дышитъ болѣе тяжело, чѣмъ прежде, взглядъ его болѣе печаленъ; несправедливость крѣпостничества и грабежъ чиновниковъ становятся для него все болѣе невыносимыми. Правительство нарушило спокойствіе общины принудительнымъ устройствомъ работъ; отдыхъ крестьянина въ избѣ сократили и подвергли надзору вновь учрежденной сельской полиціи (*становыхъ приставовъ*). Дѣла противъ поджигателей, убійства помѣщиковъ, крестьянскія возстанія размножились въ сильной пропорціи. Огромное раскольничье населеніе ропщетъ; угнетаемое и эксплуатируемое духовенствомъ и полиціей, оно вовсе далеко отъ присоединенія къ православію, и порою въ этихъ мертвыхъ и недоступныхъ для насъ моряхъ слышатся неопредѣленные звуки, предвѣщающіе страшныя бури. Недовольство русскаго народа, о которомъ мы говоримъ, совершенно незамѣтно для поверхностнаго взгляда. Россія кажется всегда такой спокойною, что трудно повѣ-

рить, будто въ ней что-нибудь происходитъ. - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

Что мы знаемъ о сибирскихъ поджигателяхъ, о рѣзнѣ помѣщиковъ, устроенной одновременно въ нѣсколькихъ деревняхъ? что мы знаемъ о разныхъ мѣстныхъ возстаніяхъ при введеніи новой администраціи Киселева? что мы знаемъ о возстаніяхъ въ Казани, Вяткѣ, Тамбовѣ, гдѣ власти должны были прибѣгнуть къ пушкамъ?

Умственная работа, о которой мы говорили, совершалась не на вершинѣ государства и не у его основанія, а между ними, то есть по большей части, въ средѣ мелкаго и средняго дворянства. Факты, которые мы приведемъ, кажутся не имѣющими большого

значенія, но не надо забывать, что пропаганда, какъ и всякое воспитаніе, лишена блеска, въ особенности, когда она не смѣетъ даже показаться на свѣтъ божій.

Вліяніе литературы замѣтно возрастаетъ и проникаетъ гораздо далѣе, чѣмъ прежде; она не измѣняетъ своему призванію и остается либеральной и просвѣтительной, насколько это возможно при цензурѣ.

Жажда образованія все захватываетъ новое поколѣніе; гражданскія и военныя школы, гимназіи, лицеи, академіи переполнены учащимися; дѣти самыхъ бѣдныхъ родителей стремятся въ различные институты. Правительство, которое еще въ 1804 году приманивало разными привилегіями дѣтей въ школы, теперь всевозможными средствами задерживаетъ ихъ приливъ; создаются препятствія къ принятію, къ допущенію къ экзаменамъ; ученики обложены платою за ученіе; министръ народнаго просвѣщенія простымъ приказомъ ограничиваетъ образованіе крѣпостныхъ. Тѣмъ не менѣе московскій университетъ становится соборомъ русской цивилизаціи; - - - - - его ненавидитъ, дуется на него, ежегодно отправляетъ въ ссылку цѣлую партію его воспитанниковъ, не удостоиваетъ его своими - - - - - , но университетъ процвѣтаетъ, выигрываетъ во вліяніи; находясь на дурномъ счету, онъ ничего не ожидаетъ, продолжаетъ свою работу и становится настоящей силой. Цвѣтъ молодежи окружающихъ Москву губерній направляется въ ея университетъ, и каждый годъ по всему государству разъѣзжается цѣлая фаланга окончившихъ курсъ, въ качествѣ чиновниковъ, докторовъ или учителей.

Въ глубинѣ провинцій и, главнымъ образомъ, въ Москвѣ замѣтно увеличивается слой людей независимыхъ, не идущихъ ни на государственную службу, ни при императорскомъ дворѣ, занимающихся управленіемъ своими имѣніями, наукой, литературой, ничего не требуя отъ правительства, кромѣ оставленія ихъ въ покоѣ. Это явленіе совершенно противоположно петербургскому дворянству, привязанному къ государственной службѣ и ко двору, снѣдаемому рабскимъ честолюбіемъ,—дворянству, которое все ожидало отъ правительства и жило только имъ. Ничего не просить, оставаться независимымъ, не искать мѣстъ называется, при - - - - - режимѣ, дѣлать оппозицію. Правительство подозрительно смотрѣло на этихъ *«бездѣльниковъ»* и было ими недовольно. Они, дѣйствительно, составляли ядро людей образованныхъ и дурно относившихся къ петербургскому режиму. Одни проводили цѣлые годы за границей, привозя оттуда либеральныя идеи; другіе пріѣзжали на нѣсколько мѣсяцевъ въ Москву, а остальную часть года скры-

вались въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ читали все, что выходило новаго, и держались въ курсѣ умственнаго развитія Европы. Чтеніе стало модою у провинціальныхъ дворянъ. Люди хвалились тѣмъ, что у нихъ есть бібліотека; выписывали, по крайней мѣрѣ, новые французскіе романы, «Journal des Débats» и «Аугсбургскую Газету»; имѣть запрещенныя книги считалось верхомъ хорошаго тона. Я не знаю ни одного дома, порядочно содержимаго, гдѣ бы не найти сочиненія Кюстина о Россіи, спеціально запрещеннаго Николаемъ. Лишенная всякой дѣятельности, находившаяся подъ непрерывной угрозой тайной полиціи, молодежь съ тѣмъ бѣльшимъ рвеніемъ погружалась въ чтеніе. Масса идей въ обращеніи все увеличивалась.

Но каковы были новыя мысли, стремленія, проявившіяся послѣ 14 декабря?.. ¹⁾

Первые годы, слѣдовавшіе за 1825, были ужасающіе. Только лѣтъ черезъ десять общество могло очнуться въ атмосферѣ пораженія и преслѣдованій. Имъ овладѣла глубокая безнадежность, общій упадокъ силъ. Высшее же общество съ подлымъ и низкимъ рвеніемъ поспѣшило отречься отъ всѣхъ гуманныхъ чувствъ, отъ всѣхъ цивилизованныхъ мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, не насчитывавшей близкихъ родственниковъ въ числѣ сосланныхъ, и почти ни одна изъ нихъ не осмѣлилась носить по нимъ трауръ или выказывать сожалѣніе. Когда же разбитые люди, отворачиваясь отъ этого печальнаго зрѣлища холопства, сосредоточивались въ размышленіи съ цѣлью найти въ немъ совѣтъ или надежду, они приходили къ мысли страшной, леденившей сердце.

Невозможны были никакія иллюзіи: народъ остался равнодушнымъ зрителемъ 14 декабря. Всякій добросовѣстно мыслящій видѣлъ ужасное послѣдствіе полнаго разрыва народной Россіи съ Россіей объевропеизованной. Между двумя лагерями порвалась всякая связь, — необходимо было ее возстановить, но какъ, какимъ образомъ? Въ этомъ былъ великій вопросъ. Одни думали, что ни къ чему не придешь, если оставить Россію на буксирѣ Европы; они полагали свои надежды не на будущее, а на возвратъ къ прошедшему. Другіе видѣли въ будущемъ только несчастіе и разореніе.

¹⁾ Не безъ страха я приступаю къ этой части моего обзорѣнія. — Понятно будетъ также, что мнѣ невозможно все сказать и во многихъ случаяхъ называть лицъ: чтобы говорить о какомъ-нибудь русскомъ, надо знать, что онъ подъ землей или въ Сибири. Я и на печатаніе этой книги рѣшился только послѣ зрѣлаго размышленія; нѣмота поддерживаетъ деспотизмъ; то, что не осмѣливаешься высказать, нужно считать лишь наполювину существующимъ.—А. И. Г.

Они проклинали ублюдочную цивилизацію и апатичный народъ. Душой всѣхъ мыслящихъ людей овладѣла глубокая грусть.

Одна лишь звонкая и широкая пѣснь Пушкина звучала въ долинахъ рабства и мученій; эта пѣснь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голосъ отдаленному будущему. Поэзія Пушкина была залогомъ будущаго и утѣшеніемъ. Поэты, живущіе во времена безнадежности и упадка, не поютъ подобныхъ пѣсень: онѣ не подходятъ къ похоронамъ.

Вдохновеніе Пушкина его не обмануло. Кровь, прилившая къ сердцу, пораженному ужасомъ, не могла остановиться: она скоро устремилась отъ сердца во-внѣ.

Уже въ то время можно было видѣть публициста ¹⁾, мужественно поднявшаго голосъ, чтобы собрать оробѣлыхъ союзниковъ. Этотъ человекъ, проведшій молодость на своей родинѣ, въ Сибири, занимаясь торговлей, которая не замедлила ему надоѣсть, отдался чтенію. Лишенный всякаго образованія, онъ выучилъ безъ учителя французскій и нѣмецкій языки и пріѣхалъ жить въ Москву. Тутъ безъ сотрудниковъ, безъ знаній, безъ имени въ литературѣ онъ возымѣлъ мысль издавать ежемѣсячный журналъ. Скоро онъ удивилъ публику энциклопедическимъ разнообразіемъ своихъ статей. Онъ смѣло писалъ о юриспруденціи и музыкѣ, о медицинѣ и санскритскомъ языкѣ. Одной изъ его спеціальностей была русская исторія, что не мѣшало ему писать рассказы, романы и, наконецъ, критическія статьи, которыми онъ скоро приобрѣлъ большой успѣхъ.

Въ писаніяхъ Полевого напрасно искать большой учености, философскаго глубокомыслія, но онъ въ каждомъ вопросѣ умѣлъ замѣтить его гуманитарную сторону; онъ сочувствовалъ всему либеральному. Его журналъ «Московскій Телеграфъ» имѣлъ большое вліяніе, и мы должны тѣмъ болѣе признать оказанную имъ услугу, что журналъ печатался въ самое мрачное время. Что можно было писать на другой день послѣ возстанія, наканунѣ казней? Положеніе Полевого было очень трудное; его тогдашняя неизвѣстность спасла его отъ преслѣдованій. Въ то время мало писали: половина литераторовъ была въ ссылкѣ, другая молчала. Немногіе, подобно сіамскимъ близнецамъ, Гречу и Булгарину, стали ренегатами и предались правительству, предварительно загладивъ свое участіе въ 14-мъ декабря доносами на друзей и *устраненіемъ* фактора типографіи, который, по ихъ приказаніямъ, набиралъ въ типографіи Греча революціонныя прокламаціи. Они одни господствовали тогда

¹⁾ Н. А. Полевой.

въ петербургской журналистикѣ. Они занимались полицейскимъ дѣломъ, а не литературнымъ. Полевой *сумѣлъ* удержаться противъ всякой реакціи до 1834 года, не измѣняя дѣлу; мы не должны этого забывать.

Полевой началъ демократизировать русскую литературу; онъ низвелъ ее съ аристократическихъ высотъ и сдѣлалъ болѣе народною или, по меньшей мѣрѣ, болѣе буржуазною. Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которыхъ онъ нападалъ съ безжалостной ироніей. Онъ былъ совершенно правъ, когда думалъ, что всякое уничтоженіе авторитета есть революціонный актъ и что человѣкъ, сумѣвшій освободиться отъ угнетенія великихъ именъ и схоластическихъ авторитетовъ, не можетъ всецѣло оставаться рабомъ въ смыслѣ религіозномъ или гражданскомъ. До Полевого критики лишь иногда отваживались,—да еще при множествѣ сознательныхъ умолчаній и извиненій,—на легкія критическія замѣчанія относительно Державина, Карамзина или Дмитріева, признавая вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ неоспоримое величіе. Полевой же съ перваго дня сталъ на совершенно равную ногу и принялся за эти важныя догматическія фигуры, за этихъ великихъ учителей-мастеровъ литературы. Старикъ Дмитріевъ, поэтъ и бывший министръ юстиціи, съ грустью и ужасомъ говорилъ о литературной анархіи, которую Полевой вводилъ своимъ непочтеніемъ къ людямъ, заслуги коихъ признавались всей страной.

Полевой напалъ не только на литературные авторитеты, но и на ученыхъ; онъ осмѣлился сомнѣваться въ ихъ наукѣ, — онъ, мелкій сибирскій торговецъ, не прошедшій никакой школы! Ученые ех *officio* соединились съ заслуженными сѣдыми литераторами и пошли формальною войною на мятежнаго журналиста.

Зная вкусы публики, Полевой уничтожалъ своихъ враговъ язвительными статьями. На ученыхъ замѣчанія онъ отвѣчалъ шуткой, а на скучную диссертацию—непочтительною дерзостью, вызывавшею громкій хохотъ. Нельзя себѣ представить, съ какимъ любопытствомъ публика слѣдила за ходомъ этой полемики. Казалось, что она понимала, что, нападая на литературные авторитеты, Полевой имѣлъ въ виду и другіе. Онъ, дѣйствительно, пользовался всякимъ случаемъ, чтобы затронуть самые щекотливые вопросы политики, и дѣлалъ это съ удивительною ловкостью. Онъ высказывалъ почти все, что ему было нужно, и притомъ не давая повода къ себѣ придраться. Надо сказать, что цензура сильно способствуетъ развитію искусства слога и умѣнья обуздывать свою рѣчь. Человѣкъ, раздраженный оскорбляющимъ его препятствіемъ, стремится его побѣдить и почти всегда въ этомъ успѣваетъ. Обинякъ сохраняетъ слѣды

волненія и борьбы: онъ болѣе страстенъ, чѣмъ простое изложеніе. Подразумѣваемое слово сильнѣе подъ своимъ флеромъ и всегда прозрачно для того, кто хочетъ понимать. Обузданная мысль заключаетъ въ себѣ больше смысла,—въ ней видно раздраженіе; говорить такъ, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова сами приходили къ читателю, это—лучшій способъ убѣждать. Подразумѣваемые слова увеличиваютъ силу рѣчи, нагота же обуздываетъ воображеніе. Читатель, знающій, насколько писатель долженъ стоять насторожѣ, читаетъ со вниманіемъ,—между нимъ и авторомъ устанавливается тайная связь: одинъ скрываетъ то, что онъ пишетъ, а другой—то, что понимаетъ. А потому цензура, это—паутина, которая запутываетъ лишь маленькихъ мухъ и которую большія прорываютъ. Подъ *красными чернилами* погибаютъ личности, намеки; энергичныя же мысли, истинная поэзія съ презрѣніемъ проходятъ черезъ это чистилище, допуская, самое большее, немножко почистить себя ¹⁾.

Съ «Телеграфа» начинается господство журналовъ въ русской литературѣ. Они впитываютъ въ себя все умственное движеніе. Тогда мало покупали книгъ; лучшія стихотворенія и повѣсти появлялись въ журналахъ, и нужно было нѣчто необыкновенное, — поэма Пушкина или романъ Гоголя, — чтобы привлечь вниманіе публики, разбросанной и рѣдкой, какъ читающая публика въ Россіи. Ни въ какой странѣ, кромѣ Англіи, вліяніе журналовъ не было такъ велико. Это, дѣйствительно,—лучшая форма для распространенія просвѣщенія въ обширной странѣ. «Телеграфъ», «Московскій Вѣстникъ», «Телескопъ», «Библиотека для Чтенія», «Отечественныя Записки», и ихъ побочный сынъ, «Современникъ», несмотря на очень различныя направленія, распространили въ послѣднія двадцать пять лѣтъ огромное количество знаній, множество понятій, идей. Они давали возможность жителямъ Омской или Тобольской губерніи читать романы Диккенса или Жоржъ-Санда черезъ два мѣсяца послѣ ихъ появленія въ Лондонѣ или Парижѣ. Даже ихъ періодичность имѣла то удобство, что пробуждала лѣнливыхъ читателей.

Полевой ухитрился довести «Телеграфъ» до 1834 года. И, однакожъ, преслѣдованіе мысли усугубилось послѣ польской революціи. Побѣдившее - - - - - потеряло всякій фальшивый стыдъ,

¹⁾ Послѣ революціи 1848 года цензура стала мономаніей - - - - -. Недовольный обычною цензурою и тѣми двумя цензурами, которыя онъ выдумалъ за предѣлами - - - - -, въ Яссахъ и Бухарестѣ, гдѣ не пишутъ по-русски, — онъ учредилъ еще новую цензуру въ Петербургѣ; мы склонны думать, что эта двойная цензура будетъ полезнѣе цензуры обыкновенной; будутъ печатать русскія книги внѣ Россіи, это уже дѣлается, и еще вопросъ, кто одолѣетъ, — свободное слово или - - - - -. — А. И. Г.

всякую стыдливость. Шалости учениковъ наказывались, какъ вооруженныя возстанія; дѣти 15, 16 лѣтъ приговаривались къ ссылкѣ или къ отдачѣ въ солдаты на всю жизнь. Студентъ московскаго университета Полежаевъ, уже извѣстный своими стихотвореніями, написалъ нѣсколько либеральныхъ стиховъ. Не отдавая его подъ судъ, Николай велѣлъ привести его къ себѣ, приказалъ громко прочесть стихи, *поцѣловалъ* его и отправилъ простымъ солдатомъ въ полкъ, — — — — — наказаніе, которое могло возникнуть — — — — —, принимающаго русскую армію за рабочій домъ или мѣсто каторги. *Восемь лѣтъ* спустя, солдатъ Полежаевъ умеръ въ военномъ госпиталѣ. Годъ спустя, братья Критскіе, тоже московскіе студенты, были отправлены въ дисциплинарные баталіоны за то,—если я не ошибаюсь,—что разбили бюстъ императора. Съ тѣхъ поръ никто о нихъ ничего не слышалъ. Въ 1832 году, подъ предлогомъ открытія тайнаго общества, была арестована дюжина студентовъ, которыхъ затѣмъ отправили въ оренбургскіе гарнизоны, и тамъ къ нимъ присоединили сына лютеранскаго пастора, Юлія Кольрейфа, который никогда не былъ русскимъ подданнымъ и ничѣмъ инымъ не занимался, кромѣ музыки, за то только, что онъ осмѣлился сказать, что не считалъ своимъ долгомъ доносить на друзей. Въ 1834 году бросили въ тюрьму моихъ друзей и меня, а черезъ восемь мѣсяцевъ насъ сослали, въ качествѣ писцовъ, въ канцелярію отдаленныхъ губерній. Насъ обвиняли въ *намѣреніи* образовать тайное общество и въ желаніи пропагандировать сенъ-симонистскія идеи; намъ прочли, въ видѣ скверной шутки, смертный приговоръ и затѣмъ объявили, что императоръ, по свойственной ему — — — — — добротѣ, приказалъ подвергнуть насъ только исправительнымъ наказаніямъ. Эти наказанія продолжались болѣе пяти лѣтъ ¹⁾.

Въ томъ же 1834 году былъ прекращенъ «Телеграфъ». Полевой, потерявъ свой журналъ, оказался выбитымъ изъ колеи. Его литературные опыты болѣе не шли; раздраженный и разочарованный, онъ покинулъ Москву, чтобы перебраться въ Петербургъ. Грустное удивленіе встрѣтило первые номера его новаго журнала («Сынъ Отечества»). Онъ сталъ покорнымъ и льстивымъ. Печально было смотрѣть на этого смѣлаго борца, на этого неутомимаго работника, сумѣвшаго пережить самыя трудныя времена, не покидая своего поста, пошедшаго на сдѣлки со своими врагами, какъ только прекратили его журналъ. Печально было слышать фамилію

¹⁾ Все сказанное, начиная съ бр. Критскихъ, подробнѣе и вѣрнѣе изложено въ другихъ сочиненіяхъ Герцена.

Полевого рядомъ съ фамиліями Греча и Булгарина, печально было также присутствовать на представленіяхъ его драматическихъ пьесъ, которымъ рукоплескали тайные агенты и официальные лакеи.

Полевой чувствовалъ свое паденіе; онъ страдалъ отъ него, чувствовалъ себя убитымъ. Онъ хотѣлъ даже выйти изъ своего ложнаго положенія, оправдаться, но не имѣлъ на то силы, и такимъ образомъ компрометировалъ себя передъ правительствомъ, ничего не выигравъ передъ публикой. Его натура, болѣе благородная, чѣмъ его поведеніе, не въ состояніи была долго вынести эту борьбу. Онъ скоро умеръ, оставивъ свои дѣла въ полномъ разстройствѣ. Всѣ его уступки ничего ему не принесли.

Было двое продолжателей труда Полевого,—Сенковскій и Бѣлинскій.

Сенковскій, обрусѣлый полякъ, ориенталистъ и профессоръ, былъ очень остроумный писатель, большой труженикъ, но безъ всякихъ убѣжденій, если не называть убѣжденіемъ полное презрѣніе къ людямъ и обстоятельствамъ, къ убѣжденіямъ и теоріямъ. Сенковскій настоящій представитель того *склада*, какой общественное мнѣніе приняло послѣ 1825 года: блестящій, но холодный лоскъ, улыбка презрѣнія, часто скрывавшая угрызения совѣсти, жажда наслажденій, подстрекаемая необезпеченностью, грозившей тогда судьбѣ каждаго человѣка въ Россіи, насмѣшливый, но тѣмъ не менѣе печальный, матеріализмъ, дѣланныя шутки человѣка, чувствующаго себя въ тюрьмѣ.

Бѣлинскій являлся противоположностью Сенковскаго; онъ былъ типичный представитель московской учащейся молодежи. Мученикъ своихъ сомнѣній и мыслей, энтузіастъ, поэтъ въ діалектикѣ, оскорбленный всѣмъ, что его окружало, онъ таялъ въ мукахъ. Этотъ человѣкъ трепеталъ отъ негодованія и содрогался отъ бѣшенства при безконечномъ зрѣлищѣ русскаго - - - - - .

Сенковскій основалъ свой журналъ подобно тому, какъ учреждаются коммерческія предпріятія. Мы не раздѣляемъ, однако, мнѣнія тѣхъ, которые находили въ немъ правительственное направленіе. Его читали съ жадностью во всей Россіи, чего никогда не случалось съ газетой или книгой, изданной въ интересахъ власти. Покровительствуемая полиціей «Сѣверная Пчела» составляла лишь кажущееся исключеніе изъ этого правила; это былъ *единственный* листокъ, политическій и, вмѣстѣ съ тѣмъ не официальный, который былъ терпимъ цензурою, что и объясняетъ его первоначальный успѣхъ, но какъ только официальные газеты получили сносную редакцію, «Сѣверная Пчела» была покинута ея читателями. Нѣтъ славы, нѣтъ репутаціи, которая могла бы вынести смертельное и

унизительное прикосновеніе - - - - - . Всѣ умѣющіе читать въ Россіи ненавидятъ - - - - - , всѣ же любящіе его не читають или же читають лишь французскіе пустячки. Пушкинъ, самая большая русская знаменитость, былъ одно время оставленъ публикой за сдѣланное имъ послѣ холеры привѣтствіе Николаю и за два политическихъ стихотворенія. Гоголь, кумиръ русскихъ читателей, возбудилъ глубочайшее презрѣніе къ себѣ за одну холопскую брошюру. Слава Полевого померкла, какъ только онъ заключилъ союзъ съ правительствомъ. Въ Россіи не прощаютъ ренегатамъ.

Сенковскій относился съ презрѣніемъ къ либерализму и наукѣ, но зато онъ и не высказывалъ ни къ чему уваженія. Онъ воображалъ себя въ высшей степени практичнымъ, такъ какъ проповѣдывалъ теоретическій матеріализмъ, и, какъ всѣ теоретики, онъ былъ превзойденъ другими теоретиками, гораздо болѣе абстрактными, но съ горячими убѣжденіями, что гораздо практичнѣе и ближе къ дѣйствию, чѣмъ *практологія*.

Издѣваясь надъ всѣмъ, что есть самага священнаго для чело-вѣка, Сенковскій, самъ того не желая, подрывалъ - - - - - . Проповѣдуя комфортъ, чувственныя удовольствія, онъ приводилъ людей къ весьма простой мысли, что невозможно наслаждаться, постоянно думая о жандармахъ, о доносахъ и Сибири, что страхъ не комфортабеленъ и что нѣтъ чело-вѣка, который могъ бы хорошо обѣдать, не зная, гдѣ онъ будетъ спать.

Сенковскій принадлежалъ къ своему времени; выметая при входѣ въ новую эпоху, онъ смѣшивалъ вещи цѣнныя вмѣстѣ съ пылью, но вмѣстѣ съ тѣмъ очищалъ почву для другого времени, котораго онъ не понималъ, для другихъ интересовъ, которыхъ у него не было. Онъ самъ это чувствовалъ, и, какъ только въ литературѣ выглянуло нѣчто новое и энергичное, Сенковскій спустилъ свои паруса и скоро совершенно стухевался.

Сенковскаго окружала группа молодыхъ литераторовъ, которыхъ онъ губилъ, развращая ихъ вкусъ. Они ввели такой родъ литературы, который съ перваго взгляда казался блестящимъ, но со втораго—поддѣланнымъ. Въ петербургской поэзіи, — или лучше сказать, въ василеостровской ¹⁾, — не было ничего живучаго, реальнаго въ тѣхъ истерическихъ образахъ, которые дали Кукольники, Бенедиктовы, Тимоѣевы и др. Такіе цвѣты могли распускаться только у подножія - - - - - и подъ сѣнію Петропавловской крѣпости.

¹⁾ Нѣчто въ родѣ Латинскаго квартала въ Парижѣ: мѣстожителство ученыхъ и артистовъ, *не извѣстныхъ* въ другихъ частяхъ города. — А. И. Г.

Журналомъ, замѣнившимъ «Телеграфъ» послѣ его прекращенія, явился въ Москвѣ «Телескопъ»; этотъ журналъ не имѣлъ долговѣчности ему предшествовавшаго, но смерть его была одна изъ самыхъ славныхъ. Это былъ тотъ журналъ, который напечаталъ знаменитое письмо Чаадаева. Журналъ былъ немедленно закрытъ, цензоръ уволенъ въ отставку, а редакторъ сосланъ въ Усть-Сысольскъ. Напечатаніе чаадаевского письма было однимъ изъ самыхъ важныхъ событій. Оно явилось вызовомъ, признакомъ пробужденія; оно «проломило ледъ» послѣ 14 декабря. Появился, наконецъ, человѣкъ съ душою, переполненною горечью; онъ нашель страшныя слова, чтобы сказать съ погребальнымъ краснорѣчіемъ, съ убійственнымъ спокойствіемъ все, что накопилось за десять лѣтъ горькаго на душѣ образованнаго русскаго. Это письмо было завѣщаніемъ человѣка, отрекающагося отъ своихъ правъ не изъ любви къ наслѣдникамъ, а изъ отвращенія; строгій и холодный, авторъ требуетъ отчета у Россіи о всѣхъ страданіяхъ, которыми она надѣляетъ всякаго, кто осмѣлился бы выйти изъ состоянія скотины. Онъ хочетъ знать, что мы эту цѣною покпаемъ, чѣмъ мы заслужили такое положеніе; онъ анализируетъ съ неумолимымъ, приводящимъ въ отчаяніе глубокомысліемъ и, покончивъ съ этимъ живосѣченіемъ, съ ужасомъ отворачивается, проклиная свою страну въ ея прошломъ, настоящемъ и будущемъ. Да, этотъ мрачный голосъ послышался только для того, чтобы сказать Россіи, что она никогда не жила по-человѣчески, что она представляетъ собою «лишь пробѣлъ въ человѣческомъ разумѣ, лишь поучительный примѣръ для Европы». Онъ высказалъ Россіи, что ея прошлое было бесполезно, ея настоящее излишне и что у ней нѣтъ никакой будущности.

Не соглашаясь съ Чаадаевымъ, мы отлично понимаемъ путь, которымъ онъ пришелъ къ этой мрачной и безнадежной точкѣ зрѣнія, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ факты гворятъ за него, а не противъ. Мы думаемъ, — а ему стоитъ лишь указать пальцемъ; мы надѣемся, — а ему достаточно раскрыть любую газету, — чтобы доказать, что онъ правъ. Заключение, къ которому приходитъ Чаадаевъ, не можетъ выдержать никакой критики, но не въ томъ надо искать значеніе этого печатнаго произведенія: свое значеніе оно сохраняетъ лиризмомъ суроваго негодованія, потрясающимъ душу и надолго оставляющимъ ее подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ. Автора обвиняли въ жесткости, но въ этомъ-то и заключается его главная заслуга. Намъ не надо щадить: мы слишкомъ легко забываемъ свое положеніе, мы слишкомъ привыкли развлекаться въ тюремныхъ стѣнахъ.

Крикъ скорби и изумленія встрѣтилъ эту статью; она испугала, оскорбила даже раздѣлявшихъ мнѣнія Чаадаева, и, однако, онъ только высказалъ то, что смутно волновало душу каждого изъ насъ. У кого изъ насъ не было такихъ минутъ гнѣва, когда онъ ненавидѣлъ страну, приносящую только одни мученія въ отвѣтъ на всѣ великодушныя стремленія человѣка, спѣшащую насъ разбудить, чтобъ подвергнуть пыткамъ? Кто изъ насъ не желалъ вырваться навсегда изъ этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, изъ этой чудовищной - - - - , гдѣ всякій околоточный надзиратель—верховный владыка, а - - - - - ? Кто изъ насъ не предавался всѣмъ страстямъ, чтобъ забыть этотъ замороженный адъ, чтобъ получить нѣсколько мгновений опьяненія или развлеченія? Мы смотримъ теперь на вещи съ другой стороны, мы разсматриваемъ русскую исторію иначе, но намъ нѣтъ основанія отречься или раскаяваться въ этихъ минутахъ отчаянія; мы за нихъ заплатили слишкомъ дорого, чтобъ уступить; онѣ были нашимъ правомъ, нашимъ протестомъ, онѣ насъ спасли.

Чаадаевъ замолкъ, но его не оставили въ покоѣ. Петербургскіе аристократы,—эти Бенкендорфы, эти Клейнмихели,—обидѣлись за Россію. Важный нѣмецъ Вигель,—вѣроятно, изъ протестантскаго духовнаго начальства департамента исповѣданій,—всталъ жандармомъ въ защиту русскаго православія. Императоръ приказалъ объявить Чаадаева одержимымъ умопомѣшательствомъ. Этотъ - - - - - вернулъ къ Чаадаеву симпатіи даже его враговъ; его вліяніе въ Москвѣ отъ этого усилилось. Сама аристократія преклонила голову передъ этимъ человѣкомъ мысли и окружила его почетомъ и вниманіемъ, давая такимъ образомъ блестящее опроверженіе - - - - - шуткѣ.²

Письмо Чаадаева раздалось, какъ звукъ призывной трубы; сигналъ былъ данъ, и со всѣхъ сторонъ слышались новые голоса; на арену выступили молодые борцы, обнаруживая молчаливую работу, свершившуюся въ послѣднія десять лѣтъ.

14 декабря слишкомъ глубоко отдѣлило прошедшее, чтобы можно было продолжать предшествовавшую ему литературу. Уже на другой день этого великаго дня могъ прійти молодой человѣкъ, полный фантазій и идей 1825 года, Веневитиновъ. Отчаяніе, какъ и боль отъ раны, наступаетъ не тотчасъ. Но едва только онъ произнесъ нѣсколько благородныхъ словъ, какъ исчезъ, подобно цвѣтамъ, подъ болѣе теплымъ небомъ, умирающимъ отъ мерзлаго дуновенія Балтійскаго моря.

Веневитиновъ не родился способнымъ къ жизни въ новой:

русской атмосферѣ. Нуженъ былъ другой закалъ, чтобы вынести воздухъ этой мрачной эпохи; нужно было съ дѣтства привыкнуть къ этому рѣзкому и непрерывному холодному вѣтру; надо было приспособиться къ неразрѣшимымъ сомнѣніямъ, къ горьчайшимъ истинамъ, къ собственной немощности, къ постояннымъ оскорбленіямъ каждаго дня; надо было съ самага нѣжнаго дѣтства пріобрѣсти навѣкъ скрывать все, что волнуетъ душу, и не растерять того, что хоронилось въ ея нѣдрахъ, — наоборотъ, надо было дать вырѣть въ нѣмомъ гнѣвѣ всему, что ложилось на сердце. Надо было умѣть ненавидѣть изъ любви, презирать изъ-за гуманности; надо было обладать безпредѣльною гордостью, чтобы высоко держать голову, имѣя цѣпи на рукахъ и ногахъ.

Каждая глава «Онѣгина», которая появлялась послѣ 1825 года, отличалась все большей и большей глубиной. Первый планъ поэта отличался легкостью и ясностью, — онъ его задумалъ въ другое время; поэтъ былъ тогда окруженъ обществомъ, которому нравился тотъ ироническій, но благосклонный и веселый смѣхъ. Первые главы «Онѣгина» сильно напоминаютъ язвительный, но сердечный комизмъ Грибоѣдова. Слезы и смѣхъ,—все перемѣнилось.

Два поэта, о которыхъ мы думаемъ и которые выражаютъ новую эпоху русской поэзіи, это — Лермонтовъ и Кольцовъ. То были два сильныхъ голоса, шедшихъ съ двухъ противоположныхъ концовъ.

Ничто не можетъ съ большей ясностью объяснить измѣненіе, происшедшее въ умахъ съ 1825 года, какъ сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ. Пушкинъ, часто недовольный и грустный, оскорбленный и полный негодованія, готовъ, тѣмъ не менѣе, примириться. Онъ стремится къ міру, онъ не пересталъ на него надѣяться; струна времени императора Александра не переставала дрожать въ его сердцѣ. Лермонтовъ же такъ привыкъ къ отчаянію, къ антагонизму, что не только не старался выйти изъ него, но даже не понималъ возможности ни борьбы, ни приспособленія. Лермонтовъ никогда не выучился надѣяться; онъ не проявлялъ ни къ чему самоотверженія, потому что не было ничего, что требовало бы самоотверженія. Онъ не отдавалъ съ гордостью своей головы палачу, какъ Пестель и Рылѣевъ, потому что не могъ вѣрить въ плодотворность жертвы; онъ бросился въ сторону и погибъ ни за что.

Пистолетный выстрѣлъ, убившій Пушкина, разбудилъ душу Лермонтова. Онъ написалъ энергичную оду, въ которой, клеймя низкія интриги, предшествовавшія дуэли, — интриги, веденныя министрами-писателями и журналистами-шпіонами, — съ юношескимъ негодованіемъ воскликнулъ: «мечь, - - - , мечь!» Поэтъ иску-

пилъ эту единственную непослѣдовательность ссылкой на Кавказъ. Это происходило въ 1837 году, а въ 1844 тѣло Лермонтова спускали въ яму у подножія Кавказскихъ горъ.

И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый...

.
...Твоихъ послѣднихъ словъ
Глубокое и горькое значенье
Потеряно... ¹⁾

Къ счастью, мы не потеряли того, что Лермонтовъ написалъ за послѣдніе четыре года своей жизни. Онъ всецѣло принадлежитъ къ нашему поколѣнію. Мы всѣ, наше поколѣніе, были слишкомъ юны, чтобы принимать участіе въ 14 декабря. Разбуженные этимъ - - - - - днемъ, мы видѣли только казни и ссылки. Принужденные къ молчанію, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточиваться, скрывать свои думы, — и какія думы! То не были уже идеи цивилизующаго либерализма, идеи прогресса, то были сомнѣнія, отрицанія, злобныя мысли. Привыкшій къ этимъ чувствамъ, Лермонтовъ не могъ спастись въ лиризмъ, какъ Пушкинъ. Онъ влачилъ тяжесть скептицизма во всѣхъ своихъ фантазіяхъ и наслажденіяхъ Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела,—она пробивается во всѣхъ его стихотвореніяхъ. То была не отвлеченная мысль, стремившаяся украситься цвѣтами поэзіи. нѣтъ, рефлексія Лермонтова, это — его поэзія, его мученіе, его сила ²⁾. У него было болѣе сочувствія къ Байрону, чѣмъ у Пушкина. Къ несчастью слишкомъ большой проницательности въ немъ прибавлялось другое—смѣлость многое высказывать безъ подкрашеннаго лицемѣрія и пощады. Люди слабые, задѣтые никогда не прощаютъ такой искренности. О Лермонтовѣ говорили, какъ объ избалованномъ аристократическомъ ребенкѣ, какъ о какомъ-нибудь бездѣльникѣ, погибающемъ отъ скуки и пресыщенія. Никто не хотѣлъ видѣть, сколько боролся этотъ человекъ, сколько онъ выстрадалъ, прежде чѣмъ рѣшился высказать свои мысли. Люди переносятъ ругательства и ненависть

¹⁾ Стихи, которые Лермонтовъ посвятилъ памяти князя Одоевскаго, умершаго на Кавказѣ солдатомъ (одинъ изъ приговоренныхъ по дѣлу 14 декабря).—А. И. Г.

²⁾ Стихотворенія Лермонтова прекрасно переведены на нѣмецкій языкъ Боденштедтомъ; есть французскій переводъ М. Шопена романа «Герой нашего времени».—А. И. Г.

съ гораздо большей снисходительностью, чѣмъ извѣстную зрѣлость мысли, чѣмъ отдаленіе отъ нихъ, не желающее раздѣлять съ ними ни ихъ надеждъ, ни ихъ опасеній и осмѣливающееся заявлять объ этомъ разрывѣ. Когда Лермонтовъ уѣзжалъ изъ Петербурга на Кавказъ во вторую ссылку, онъ чувствовалъ себя усталымъ и говорилъ друзьямъ, что постарается скорѣе умереть. Онъ сдержалъ свое слово.

Что же это, наконецъ, за чудовище, называемое Россіей, которому нужно столько жертвъ и которое дѣтямъ своимъ представляетъ печальный выборъ: или нравственно погибнуть въ средѣ, враждебной всему, что есть человѣческаго, или же умереть въ началѣ своей жизни? Бездонная пропасть, гдѣ гибнуть лучшіе пловцы, гдѣ величайшія напряженія, величайшіе таланты, величайшія способности поглощаются раньше, чѣмъ получить въ чемъ-либо успѣхъ.

И, однако, какъ сомнѣваться въ существованіи силъ въ зачаточномъ состояніи, когда изъ самой глубины націи поднимается такой голосъ, какъ голосъ Кольцова?

Въ теченіе столѣтія, даже полутора столѣтія, народъ пѣлъ лишь пѣсни или же чудовищныя гнусности, сфабрикованныя въ срединѣ царствованія Екатерины II. Правда, въ началѣ нашего вѣка было нѣсколько попытокъ, — и довольно удачныхъ, — подражать старымъ народнымъ пѣснямъ, но этимъ искусственнымъ произведеніямъ недоставало правды: то были потуги и причуды. Новыя пѣсни вышли изъ самыхъ нѣдръ деревенской Россіи. Прасоль, гонявшій своихъ воловъ черезъ степь, сочинялъ ихъ по вдохновенію. Кольцовъ былъ всецѣло сыномъ народа. Родившись въ Воронежѣ, онъ до десяти лѣтъ ходилъ въ приходскую школу, но выучился только читать и безграмотно писать. Отецъ его, скотопромышленникъ, заставилъ его заняться тѣмъ же дѣломъ. Онъ проводилъ стада сотни верстъ и привыкъ такимъ образомъ къ кочевой жизни, которая отразилась въ лучшей части его пѣсенъ. Молодой прасоль любилъ чтеніе и постоянно перечитывалъ какого-нибудь русскаго поэта, котораго принималъ за образецъ, и его опыты подражанія извращали его поэтической инстинктъ. Наконецъ, пробился истинный его талантъ; онъ написалъ народныя пѣсни, не много числомъ, но каждая изъ нихъ — образцовое произведеніе. Это, дѣйствительно, — пѣсни русскаго народа. Въ нихъ меланхолія, составляющая ихъ отличительное свойство, надрывающая душу грусть, удалъ молодецкая. Кольцовъ показалъ, сколько поэзіи скрыто въ душѣ русскаго народа и что послѣ долгаго и тяжкаго сна въ груди его что-то шевелится. У насъ есть другіе примѣры поэтовъ, государственныхъ людей, художниковъ, вышедшихъ изъ народа, но они

вышли въ буквальный смыслъ этого слова, порвавъ съ народомъ всякую связь. Ломоносовъ былъ сынъ бѣломорскаго рыбака. Чтобы учиться, онъ бѣжалъ изъ родительскаго дома, поступилъ въ духовное училище, а затѣмъ отправился въ Германію, гдѣ пересталъ принадлежать къ народу. Ничего не осталось общаго между нимъ и земледѣльческой Россіей, если не считать той связи, которая соединяетъ людей одной и той же расы. Кольцовъ остался среди стадъ и дѣлъ своего отца, который его ненавидѣлъ и съ помощью другихъ родственниковъ сдѣлалъ его жизнь такую тяжелою, что поэтъ скончался въ 1842 году. Кольцовъ и Лермонтовъ начали писать и умерли приблизительно въ одно и то же время. Послѣ нихъ русская поэзія стала нѣмой.

Но въ прозѣ дѣятельность усилилась и приняла другое направление.

Не будучи по происхожденію, подобно Кольцову, изъ народа, Гоголь принадлежалъ къ народу по своимъ вкусамъ и по складу своего ума. Гоголь совершенно независимъ отъ иностраннаго вліянія: онъ не зналъ никакой литературы, когда имѣлъ уже имя. Онъ больше сочувствовалъ народной жизни, чѣмъ придворной, что естественно со стороны малоросса.

Малороссъ, даже ставши дворяниномъ, никогда такъ быстро не порываетъ съ народомъ, какъ великороссъ. Онъ любитъ свою родину, свой языкъ, преданія о казачествѣ и гетманахъ. Дикая и воинственная, но республиканская и демократическая независимость Украйны прoderжалась цѣлые вѣка до Петра I. Малороссы, безпрестанно угнетаемые поляками, турками и москалями, втянутые въ безконечную войну съ крымскими татарами, никогда не падали. Малая Россія, добровольно присоединившись къ Великой, выговорила себѣ значительныя права. Царь Алексѣй поклялся ихъ соблюдать. Петръ I, подъ предлогомъ измѣны Мазепы, оставилъ одну лишь тѣнь отъ этихъ привилегій, а Елизавета и Екатерина ввели въ нее крѣпостное право. Бѣдная страна протестовала, но какъ могла она воспротивиться роковой лавинѣ, которая катилась съ сѣвера до Чернаго моря и покрывала все, что носило русское имя, однимъ и тѣмъ же саваномъ одного и того же ледяющаго порабощенія. Украйна претерпѣваетъ ту же судьбу, что Новгородъ и Псковъ, но гораздо позднѣе, и одно только столѣтіе крѣпостной зависимости не могло стереть всего, что было независимаго и поэтическаго у этого славнаго народа. У него больше индивидуальнаго развитія, больше мѣстной окраски, чѣмъ у насъ; у насъ злосчастныи мундиръ безразлично покрываетъ всю народную жизнь. Люди у насъ рождаются, чтобы гнуться передъ несправедливымъ ро-

комъ, и умирають безслѣдно, оставляя дѣтямъ продолжать ту же безнадежную жизнь. Нашъ народъ не знаетъ своей исторіи, тогда какъ у каждой деревни въ Малороссіи есть своя легенда. Русскій народъ только и помнитъ, что о Пугачевѣ да о 1812 годѣ.

Разсказы, которыми дебютировалъ Гоголь, составляютъ рядъ картинъ малороссійскихъ нравовъ и видовъ истинной красоты, полныхъ веселости, граціи, движенія и любви. Такія повѣсти невозможны въ Великороссіи за неимѣніемъ сюжета, оригинала. У насъ народныя сцены тотчасъ же принимаютъ мрачный и трагическій видъ, что угнетаетъ читателя,—я говорю «трагическій» только въ смыслѣ Лаокоона. Это—трагическое судьбы, передъ которымъ человекъ падаетъ безъ борьбы. Въ этихъ случаяхъ скорбь превращается въ бѣшеную злобу и отчаяніе, а смѣхъ—въ горькую и злобную иронию. Кто безъ негодованія и стыда способенъ прочесть замѣчательную повѣсть «Антонъ-Горемыка» или шедевръ Тургенева—«Записки охотника»?

По мѣрѣ того, какъ Гоголь выходилъ изъ Малороссіи и близился къ средней Россіи, исчезали наивные и прелестные образы. Нѣтъ болѣе полудикаго героя, въ родѣ «Тараса Бульбы»¹⁾; нѣтъ болѣе добродушнаго, патріархальнаго старика, какого Гоголь такъ хорошо изобразилъ въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Съ московскимъ небомъ все становится въ немъ мрачно, пасмурно, враждебно. Онъ все смѣется,—онъ смѣется даже больше, чѣмъ прежде,—но другимъ смѣхомъ, и только люди очень черствые или очень простодушные ошиблись въ оцѣнкѣ этого смѣха. Переходя отъ своихъ малороссовъ и казаковъ къ русскимъ, Гоголь оставляетъ въ сторонѣ народъ и сосредоточивается на двухъ своихъ самыхъ заклятыхъ врагахъ: на чиновникѣ и помѣщикѣ. Никто никогда до него не читалъ такого полного паталого-анатомическаго курса о русскомъ *чиновникѣ*. Съ хохотомъ на устахъ онъ безъ жалости проникаетъ въ самыя сокровенныя складки нечистой, злобной чиновнической души. Комедія Гоголя «Ревизоръ», его поэма «Мертвыя души» представляютъ собою ужасную исповѣдь современной Россіи, напоминающую разоблаченія Кошихина въ XVII вѣкѣ²⁾.

Императоръ Николай умиралъ со смѣху, присутствуя на представленіяхъ «Ревизора»!!!

¹⁾ «Тарасъ Бульба», «Старосвѣтскіе помѣщики» и нѣкоторыя другія повѣсти Гоголя переведены по-французски г. Віардо. На нѣмецкомъ языкѣ есть переводъ «Мертвыхъ душъ».—А. И. Г.

²⁾ Русскій дипломатъ временъ царя Алексѣя, отца Петра I; онъ бѣжалъ въ Швецію, опасаясь преслѣдованія царя, и былъ казненъ въ Стокгольмѣ за убійство.—А. И. Г.

Поэтъ въ отчаяніи, что вызвалъ только августѣйшій хохоть и самодовольный смѣхъ чиновниковъ, совершенно тождественныхъ съ тѣми, которыхъ онъ изобразилъ, но болѣе ограждаемыхъ цензурою,—считалъ своей обязанностью разъяснить, что его комедія не только очень смѣшна, но и очень печальна, «что за смѣхомъ кроются горячія слезы».

Послѣ «Ревизора» Гоголь обратился къ помѣстному дворянству и выставилъ на показъ этотъ неизвѣстный народъ, державшійся за кулисами вдали отъ дорогъ и большихъ городовъ, хоронившійся въ глуши своихъ деревень,—эту Россію дворянчиковъ, которые, хотя и живутъ безъ шума и кажутся совсѣмъ ушедшими въ заботы о своихъ земляхъ, но скрываютъ болѣе глубокое развращеніе, чѣмъ западное. Благодаря Гоголю, мы, наконецъ, увидѣли ихъ, выходящими изъ своихъ дворцовъ и домовъ безъ масокъ, безъ прикрасъ, вѣчно пьяными и обжираящимися: рабы власти безъ достоинства и тираны безъ состраданія своихъ крѣпостныхъ, высасывающіе жизнь и кровь народа съ тою же естественностью и наивностью, съ какой питается ребенокъ грудью своей матери.

«Мертвыя души» потрясли всю Россію.

Подобное обвиненіе необходимо было современной Россіи. Это—исторія болѣзни, написанная мастерской рукой. Поэзія Гоголя, это—крикъ ужаса и стыда, который испускаетъ человѣкъ, унижившійся отъ пошлой жизни, когда вдругъ онъ замѣчаетъ въ зеркалѣ свое оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крикъ могъ раздаться изъ чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровыя части, и большое стремленіе къ реабилитаціи. Кто откровенно сознается въ своихъ слабостяхъ и порокахъ, тотъ чувствуетъ, что они не составляютъ сущности его самого, что они еще не окончательно его поглотили, что есть еще въ немъ кое-что, спасающее отъ паденія и противящееся ему, что онъ способенъ еще искупить прошедшее и не только поднять голову, но стать, какъ въ трагедіи Байрона, изъ Сарданапала-обабившагося Сарданапаломъ-героемъ.

Тутъ мы снова встрѣчаемся лицомъ къ лицу съ такимъ великимъ вопросомъ: гдѣ доказательства, что русскій народъ можетъ подняться и каковы доказательства противнаго? Этотъ вопросъ, какъ мы видѣли, занималъ всѣхъ мыслящихъ людей, но никто не нашелъ рѣшенія.

Полевой, ободравшій другихъ, ни во что не вѣрилъ; иначе,—впалъ ли бы онъ такъ скоро въ уныніе и перешелъ ли на сторону непріятеля при первой неудачѣ? «Библиотека для Чтенія» перескочила черезъ эту задачу и повернула вопросъ, не сдѣлавъ

никакого усилія для его разрѣшенія. Рѣшеніе Чаадаева — вовсе не рѣшеніе.

Поззія, проза, искусство и исторія показали намъ образованіе и развитіе этой нелѣпой среды, этихъ оскорбительныхъ нравовъ, этой чудовищной власти, но никто не указалъ исхода. Нужно ли было приспособляться, какъ это сдѣлалъ впослѣдствіи Гоголь, или бѣжать навстрѣчу своей гибели, какъ Лермонтовъ?

Но приспособить насъ было невозможно, а гибнуть намъ не хотѣлось: что-то въ глубинѣ души говорило, что слишкомъ рано еще уходить; казалось, что позади «Мертвыхъ душъ» есть еще души живыя.

И вопросы вновь появлялись съ еще большей напряженностью: все, что еще надѣялось, требовало во что бы то ни стало рѣшенія.

Послѣ 1840 года два мнѣнія поглотили общественное вниманіе. Изъ схоластическихъ преній они вскорѣ перешли въ литературу, а оттуда въ общество.

Мы говоримъ о московскомъ панславизмѣ и русскомъ европеизмѣ.

Борьба между этими двумя мнѣніями закончилась послѣ революціи 1848 г. Это была послѣдняя оживленная полемика, которая занимала русскую публику, и тѣмъ самымъ она пріобрѣтаетъ извѣстное значеніе. Поэтому мы посвятимъ ей слѣдующую главу.

VI.

Московскій панславизмъ и русскій европеизмъ.

Время реакціи противъ реформы Петра I настало не только для правительства, отступавшаго отъ своего собственнаго принципа и отрекавшагося отъ западной цивилизаціи, во имя которой Петръ I попиралъ ногами національность, но также и для людей, которыхъ правительство оторвало отъ народа подъ предлогомъ цивилизаціи и которыхъ начало вѣшать, когда они сдѣлались цивилизованными.

Возвратъ къ національнымъ идеямъ естественно приводилъ къ вопросу, самая постановка котораго являлась уже реакціею противъ петербургскаго періода. Не слѣдуетъ ли искать выхода изъ печальнаго положенія, въ которомъ мы оказались, въ томъ, чтобы приблизиться къ народу, который мы, не зная его, презираемъ? Не слѣдуетъ ли возвратиться къ общественному строю, болѣе подхо-

дящему къ славянскому характеру, сойдя съ пути чужеземной, насильно навязанной цивилизації? Вопросъ, дѣйствительно, серьезный и современный. Какъ только онъ былъ поставленъ, нашлась группа людей, которая, тотчасъ же рѣшивъ его въ положительномъ смыслѣ, выработала исключительную систему, сдѣлавъ изъ нея не только положительное ученіе, но и религію. Логика реакціи такъ же быстра, какъ и логика революціи.

Наибольшее заблужденіе *славянофиловъ* заключалось въ томъ, что они въ самомъ вопросѣ увидѣли отвѣтъ и смѣшали возможность съ дѣйствительностью. Они предчувствовали, что находятся на пути, который ведетъ къ великимъ истинамъ и долженъ измѣнить нашу точку зрѣнія на современные событія. Но вмѣсто того, чтобы итти впередъ и работать, они остановились на этомъ предчувствіи. Такимъ образомъ, искажая факты, они исказили свое собственное пониманіе. Ихъ сужденіе не было уже свободно: они не видѣли болѣе затрудненій, имъ все казалось рѣшеннымъ окончательно, опредѣленно. Они не искали больше истину, а только возраженія противникамъ.

Къ полемикѣ примѣшались страсти. Экзальтированные славянофилы съ ожесточеніемъ напали на весь петербургскій періодъ, на все, что сдѣлалъ Петръ Великій и, наконецъ, на все, что было европеизовано, цивилизовано. Можно понять и оправдать это увлеченіе, какъ проявленіе оппозиціи, но, къ несчастію, эта оппозиція зашла слишкомъ далеко и увидѣла себя тогда страннымъ образомъ поставленной рядомъ съ правительствомъ противъ собственныхъ стремленій къ свободѣ.

Рѣшивъ а priori, что все, пришедшее *отъ нѣмцевъ*, ничего не стоило, что все, введенное Петромъ I, скверно, славянофилы дошли до восхищенія узкими формами московскаго государства и, отрекаясь отъ собственнаго разума и познаній, съ рвеніемъ устремились къ кресту греческой церкви. Мы, иного лагеря, не могли допустить такихъ стремленій, тѣмъ болѣе, что славянофилы страннымъ образомъ заблуждались относительно организациіи московскаго государства и приписывали - - - - - важность, какой оно никогда не имѣло. Исходя отъ полноты негодованія противъ деспотизма, они приходили къ политическому и моральному рабству; при всей симпатіи къ славянской національности, они очутились въ двери, противоположной этой національности. Греческое православіе увлекало ихъ къ византийству, и, въ самомъ дѣлѣ, они быстро устремились въ пропасть застоя, въ которой исчезли слѣды древняго міра. Если формы и духъ Запада не подходили къ Россіи, то что же было общаго между ею и организацией

восточной римской имперіи? Гдѣ показалась органическая связь между славянами, варварами по молодости, и греками, варварами по дряхлости? И, наконецъ, что такое Византія, если не Римъ,— Римъ времянь упадка, Римъ безъ славныхъ воспоминаній, безъ терзаній совѣсти? Какіе новые принципы принесла Византія исторіи? - - - - - ? Но, - - не что иное, какъ апатичный католицизмъ, принципы же до такой степени одинаковы, что нужно было семь вѣковъ пререканій и раздоровъ, чтобы заставить повѣрить въ разницу ученій. Не общественную ли организацію? Но она въ восточной имперіи основывалась на неограниченной власти, на пассивномъ послушаніи, на полномъ поглощеніи личности государствомъ, государства императоромъ. Развѣ такая страна могла влить новую жизнь молодому народу? Западные славяне южныхъ областей находились въ очень долгомъ соприкосновеніи съ греками восточной римской имперіи,—что же они отъ того выиграли?

Забылось уже, чѣмъ были эти стада людей, отгороженныя греческими императорами - - - - - константинопольскихъ патріарховъ. Достаточно бросить взглядъ на законы объ оскорбленіи - - - - - , столь хорошо перенятые недавно - - - - - и его юрисконсультomъ Губе ¹⁾, чтобы оцѣнить эту казуистику холопства, эту рабскую философію.

И эти законы относились лишь къ свѣтской власти; затѣмъ слѣдовали каноническіе законы, которые регламентировали движенія, покрой одеждъ, пищу и смѣхъ. Можно себѣ представить, чѣмъ становился человѣкъ, захваченный въ эту двойную сѣть государства и - - - -, которому приходилось постоянно дрожать, которому угрожалъ то судья, рѣшавшій безапелляціонно, то послушный палачъ, то - - -, дѣйствовавшій во имя - - - и *эпитемій*, связывавшихъ какъ на этомъ, такъ и на томъ свѣтѣ.

Гдѣ видно благотворное вліяніе - - - - - ? Гдѣ тотъ народъ, который она цивилизовала или эмансипировала изъ всѣхъ принявшихъ ея - - - съ IV вѣка и до нашихъ дней? Армения, Грузія, малоазіатскія племена, бѣдные жители Трапезунда? Наконецъ, не Морья ли? Намъ, можетъ, скажутъ, что - - - - ничего не могла сдѣлать съ этими народами, испорченными, развращенными, лишенными будущности. Но славяне—раса здоровая и тѣломъ, и душою,—они-то что выиграли? - - - - - проникла въ Россію въ цвѣтущую, ясную кіевскую эпоху, при великомъ князѣ Вла-

¹⁾ Ромуальдъ Михайловичъ, чиновникъ II Отд. С. Е. И. В. Канцеляріи и профессоръ польскаго права.

димірѣ. --- ее довела до печальнаго и - - - - - времени, описанаго Кошихинимъ; - - - - - и санкціонировала всѣ мѣры, принятыя противъ свободы народа. Она научила - - - - - ; она предписала народу слѣпое повиновеніе, даже когда его прикрѣпляли къ землѣ и пригибали къ крѣпостничеству. Петръ Великій парализовалъ вліяніе духовенства; это было однимъ изъ самыхъ важныхъ его дѣяній, и что же—хотятъ теперь это вліяніе воскресить?

Славянофильство, ожидавшее спасенія Россіи только при возстановленіи византійско-московскаго строя, не освобождало, а только связывало; шло не впередъ, а назадъ. *Западники*, какъ ихъ называли славянофилы, не хотѣли мѣнять нѣмецкій ошейникъ на ошейникъ - - - - - славянскій: они хотѣли освободиться отъ всевозможныхъ ошейниковъ. Они не силились вычеркнуть изъ исторіи всѣ періоды, протекшіе со времени Петра I, всѣ старанія цѣлаго вѣка, столь тяжкаго, столь преисполненаго утмленія. Они не соглашались на отреченіе отъ того, что было приобрѣтено при посредствѣ такого множества страданій, потоковъ крови, для того, чтобъ вернуться къ устарѣлому, узкому общественному строю, исключительной національности и неподвижной - - - -. Славянофилы могли сколько угодно твердить, подобно легитимистамъ, что можно изъ стараго взять лишь хорошее и не брать дурное. То была чрезвычайно серьезная ошибка, и въ то же время они дѣлали еще другую, общую всѣмъ реакціонерамъ. Будучи поклонниками историческаго принципа, они, однако, постоянно забывали, что все, что произошло послѣ Петра I—тоже исторія, и никакая живая сила, не говоря ужъ о выходцахъ съ того свѣта, не въ состояніи ни стереть совершившихся фактовъ, ни устранить ихъ послѣдствій.

Такова точка зрѣнія, съ которой завязалась живая полемика съ славянофилами. Рядомъ съ нею другіе вопросы, обсуждавшіеся въ газетахъ, отошли на второй планъ. Вопросъ былъ, дѣйствительно, полонъ животрепещущаго интереса.

Сековскій съ чрезвычайною ловкостью выпустилъ тучу самыхъ ядовитыхъ стрѣлъ въ лагерь славянофиловъ. Удовлетворенный взрывами смѣха, который онъ вызвалъ противъ своихъ жертвъ, онъ горделиво удалился. Сенковскій не былъ созданъ для серьезной полемики. Но другой журналистъ поднялъ *рукавицу* ¹⁾ славянъ, брошенную въ Москвѣ, и мужественно развернулъ знамя европейской цивилизаціи противъ тяжелой хоругви съ изображеніемъ византійской - - - -, которую носили славянофилы.

¹⁾ Перчатки съ однимъ пальцемъ, которыя носятъ крестьяне.—А. И. Г.

Этотъ борецъ, ставшій во главѣ «Отечественныхъ Записокъ», не предвѣщалъ большихъ успѣховъ славянофиламъ. То былъ талантливый, энергичный человѣкъ, также съ фанатическими убѣжденіями,—человѣкъ смѣлый, нетерпимый, раздражительный, нервный: Бѣлинскій.

Его развитіе очень характерно для той среды, въ которой онъ жилъ. Рожденный въ семьѣ бѣднаго чиновника провинціального города, Бѣлинскій не вынесъ изъ нея ни одного свѣтлаго воспоминанія. Его родители были жестоки и не образованы, какъ всѣ люди этого извращеннаго класса. Бѣлинскому было десять или одиннадцать лѣтъ, когда его отецъ, придя разъ домой, началъ его бранить. Ребенокъ хотѣлъ оправдаться. Разъярившійся отецъ удагилъ его и свалилъ на полъ. Мальчикъ всталъ совершенно преображенный: обида, несправедливость сразу порвали въ немъ всѣ родственныя связи. Долго его занимала мысль объ отмщеніи, но сознаніе собственной слабости претворило ее въ ненависть противъ всякой семейной власти, каковую онъ сохранилъ до самой смерти.

Такъ началось воспитаніе Бѣлинскаго. Семья эмансипировала его дурнымъ обращеніемъ, а общество—благодаря нищетѣ. Нервный, болѣзненный молодой человѣкъ, мало подготовленный къ высшему образованію, онъ въ московскомъ университетѣ ничего не дѣлалъ, а такъ какъ воспитывался тамъ на казенный счетъ, то былъ исключенъ съ аттестатомъ, гласившимъ: «способности слабыя и отсутствіе прилежанія». Съ этой унижительной отмѣткой бѣдный юноша вступилъ въ жизнь, т. е. былъ выгнанъ изъ университета на мостовую большого города, безъ куска хлѣба и безъ средствъ добыть его. Тогда онъ встрѣтился со Станкевичемъ и его друзьями, которые его спасли.

Станкевичъ, умершій молодымъ лѣтъ десять тому назадъ въ Италіи, ничего не сдѣлалъ такого, что записывается въ исторію, однако, было бы неблагодарно пройти его молчаніемъ, если зашла рѣчь объ умственномъ развитіи въ Россіи.

Станкевичъ принадлежалъ къ тѣмъ широкимъ и симпатичнымъ натурамъ, самое существованіе которыхъ производитъ сильное вліяніе на все, что ихъ окружаетъ. Онъ распространилъ въ средѣ московской молодежи любовь къ нѣмецкой философіи, введенной въ университетъ этого города выдающимся профессоромъ Павловымъ. Станкевичъ направилъ научныя занятія одного кружка друзей, онъ же первый открылъ умозрительныя способности нашего друга Бакунина и натолкнулъ его на изученіе Гегеля; онъ также встрѣтилъ Кольцова въ Воронежской губерніи, привезъ его въ Москву и ободрилъ.

Станкевичъ по достоинству оцѣнилъ пылкій и оригинальный умъ Бѣлинскаго. Вскорѣ вся Россія воздала должное смѣлому таланту публициста, получившаго аттестацію «неспособнаго» отъ куратора московскаго университета.

Бѣлинскій со страстностью принялся изучать Гегеля. Незнакомство съ нѣмецкимъ языкомъ не только не составило препятствія, но даже облегчило его занятія: Бакунинъ и Станкевичъ взяли подѣлиться съ нимъ своими знаніями и сдѣлали это со всѣмъ увлеченіемъ молодости и всей ясностью русскаго ума. Бѣлинскому, довольно было, впрочемъ, общихъ указаній, чтобы догнать своихъ друзей. Овладевъ системой Гегеля, онъ первый изъ его московскихъ адептовъ, возсталъ, если не противъ самого Гегеля, то, по крайней мѣрѣ, противъ обычнаго его толкованія.

Бѣлинскій былъ совершенно свободенъ отъ вліяній, которымъ мы поддаемся, когда не умѣемъ защититься отъ нихъ. Соблазненные новизною, мы въ юности принимаемъ множество вещей памятью, не провѣряя ихъ разумомъ. Эти воспоминанія, которыя мы считаемъ за пріобрѣтенныя истины, связываютъ нашу независимость. Бѣлинскій началъ свои занятія съ философіи, и то, лишь когда ему исполнилось двадцать пять лѣтъ. Онъ приступилъ къ наукѣ съ серьезными вопросами и со страстной діалектикой. Для него истины, выводы не были ни отвлеченностями, ни игрой ума, но вопросами жизни и смерти; свободный отъ всякаго посторонняго вліянія, онъ вступилъ въ науку съ большей искренностью; онъ не старался что-либо спасти отъ огня анализа и отрицанія и совершенно естественно возсталъ противъ половинчатыхъ рѣшеній, робкихъ заключеній и малодушныхъ уступокъ.

Все это не ново теперь, послѣ книги Фейербаха и пропаганды газеты Арнольда Руге, но нужно перенестись въ эпоху, предшествовавшую 1840 году. Гегелевская философія была тогда подъ обаяніемъ тѣхъ діалектическихъ фокусовъ, которые снова воскрешали религію, разсѣянную, разрушенную и «Феноменологіей», и «Логикой», и «Философіей религіи». То было время, когда еще восторгались, что философскій языкъ достигъ такого совершенства, что посвященные видѣли атеизмъ тамъ, гдѣ профаны находили вѣру.

Такая умышленная темнота, такая осторожность не могла не вызвать ожесточенной оппозиціи со стороны искренняго человѣка. Чуждый схоластикѣ, свободный отъ показной протестантской стыдливости и прусскихъ условностей, Бѣлинскій возмущался этою жеманною наукою, которая свои истины прикрывала фиговымъ листомъ.

Однажды, опровергая въ теченіе цѣлыхъ часовъ робкій пантеизмъ берлинцевъ, Бѣлинскій всталъ съ мѣста и своимъ трепещу-

щимъ, судорожнымъ голосомъ заявилъ: «Вы хотите меня увѣрить, что цѣль человѣка—привести абсолютный духъ къ его самосознанью, и довольствуетесь этой ролью; ну, а я не достаточно глупъ, чтобы служить невольнымъ органомъ кого бы то ни было. Если я думаю, если я страдаю, то самъ, для самого себя. Вашъ абсолютный духъ, если онъ существуетъ, мнѣ чуждъ. Мнѣ нечего его знать, такъ какъ у меня нѣтъ ничего съ нимъ общаго».

Мы приводимъ эти слова только затѣмъ, чтобы еще разъ показать складъ русскаго ума. Какъ только начали проповѣдывать о нелѣпости дуализма, первый же талантливый русскій человѣкъ, который занялся нѣмецкой философией, указалъ, что она была реалистична только на словахъ, а въ основѣ оставалась религіей земной, религіей безъ неба, логическимъ монастыремъ, въ который укрываются, чтобы погружаться въ міръ отвлеченностей.

Общественная дѣятельность Бѣлинскаго начинается лишь съ 1841 года. Онъ захватилъ тогда главенство въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» и господствовалъ въ русской прессѣ въ теченіе шести лѣтъ. Онъ палъ, какъ воинъ, вмѣстѣ съ русской журналистикой. Онъ умеръ въ 1848 году, изведенный усталостью, полный разочарованія и въ самой крайней бѣдности.

Бѣлинскій много сдѣлалъ для пропаганды. Вся учащаяся молодежь питалась его статьями: онъ образовалъ эстетическій вкусъ публики, придалъ русской мысли силу. Его критика проникала гораздо глубже, чѣмъ писанія Полевого, возбуждая иные вопросы и сомнѣнія. Современники мало его оцѣнили; при жизни онъ задѣлъ слишкомъ много самолюбій, оскорбилъ слишкомъ много честолюбивыхъ; послѣ его смерти правительство запретило писать о немъ; это именно и заставило меня распространиться о Бѣлинскомъ болѣе, чѣмъ о комъ-нибудь другомъ.

Его слогъ былъ часто угловатъ, но всегда полонъ энергіи. Онъ передавалъ свою мысль такъ, какъ она у него зачиналась, со страстью. Въ каждомъ словѣ чувствуешь, что онъ писалъ своей кровью, своими нервами, чувствуешь, сколько онъ ихъ растрчивалъ и какъ онъ себя сжигалъ; болѣзненный, раздражительный, онъ не зналъ границъ ни любви, ни ненависти. Часто онъ увлекался, иногда былъ даже очень несправедливъ, но всегда оставался глубоко, свято искреннимъ. Столкновеніе Бѣлинскаго со славянофилами было неизбѣжно.

Какъ мы уже сказали, онъ былъ одинъ изъ самыхъ свободныхъ людей, не связанный ни вѣрованіями, ни традиціею. Онъ не зависѣлъ отъ общественнаго мнѣнія и не признавалъ никакихъ авторитетовъ; онъ не боялся ни гнѣва друзей, ни ужаса прекраснодушія. Онъ всегда стоялъ на стражѣ критики, готовый обли-

чить, заклеить все то, что считалъ реакціоннымъ. Какъ же могъ онъ оставить въ покоѣ ортодоксальныхъ и ультрапатріотическихъ славянофиловъ,—онъ, который видѣлъ тяжелья цѣпи во всемъ томъ, что славянофилы считали за узы самыя священныя?

Между славянофилами были талантливые люди, ученые, но ни одного публициста; ихъ журналъ («Москвитянинъ») имѣлъ очень мало успѣха. Талантливые люди этой партіи почти никогда не писали, а неспособные писали постоянно.

Славянофилы передъ *западниками* пользовались большимъ преимуществомъ, но такое преимущество пагубно: они защищали православіе и народность, тогда какъ *западники* нападали на то и на другую; такимъ образомъ, славянофилы имѣли возможность высказывать почти все, не отнимая у себя возможности получать ордена, пенсіи, мѣста придворнаго наставника или камеръ-юнкера; Бѣлинскій же, напротивъ, не могъ вполнѣ ни въ чемъ высказаться; слишкомъ прозрачное слово, неосторожная фраза могли привести его въ казематъ, компрометировать журналъ, редактора и цензора. Но, именно благодаря этому, всѣ симпатіи очутились на сторонѣ смѣлаго писателя, который, въ виду Петропавловской крѣпости, защищалъ независимость, а всѣ антипатіи были направлены на его противниковъ, которые показывали кулакъ изъ-за Кремля и Успенскаго собора, и пользовались широкимъ покровительствомъ петербургскихъ нѣмцевъ. Все то, что Бѣлинскій и его друзья лишены были возможности высказать, читатели угадывали, пополняли сами. Все, что говорили славянофилы, казалось или мало деликатнымъ, или не великодушнымъ.

Поспѣшимъ добавить, что славянофилы никогда, однако, не были сторонниками правительства. Есть, конечно, въ Петербургѣ панслависты-имперіалисты и въ Москвѣ славянофилы *присоединившіеся*, какъ есть русскіе патріоты между балтійскими нѣмцами и усмирненными черкесами на Кавказѣ, но о такихъ людяхъ не говорятъ. Это—любители холопства, принимающіе абсолютизмъ за единственную цивилизованную правительственную форму, пропагандирующіе превосходство донскихъ винъ надъ французскими винами Коть-д'Ора, проповѣдующіе *руссификацію* западнымъ славянамъ и наполняющіе ихъ души той благородной ненавистью къ нѣмцамъ и мадьярамъ, которая сослужила такую хорошую службу разнымъ Гайнау и Виндишгрецамъ. Не признавая официально ихъ ученія, правительство оплачиваетъ ихъ путевыя издержки и посылаетъ ихъ чешскимъ и кroatскимъ друзьямъ гольштинскіе кресты св. Анны, подготавливая для нихъ такія братскія объятія, какими оно задушило Польшу.

Что же касается истинныхъ славянофиловъ, то ихъ хорошее отношеніе къ правительству было скорѣе несчастіемъ, чѣмъ желанною цѣлью. Но таковы бываютъ послѣдствія всякаго ученія, основаннаго на авторитетѣ. Въ извѣстномъ смыслѣ оно можетъ быть революціонно, но въ другомъ — оно неизбѣжнымъ образомъ консервативно и приходитъ, слѣдовательно, къ печальной альтернативѣ: или присоединиться къ своему врагу, или измѣнить своимъ принципамъ. Поблажка врагу — достаточная причина для пробужденія сознанія.

Бѣлинскій и его друзья не противопоставили славянамъ ни законченнаго ученія, ни исключительной системы, а только живую симпатію ко всему, что волнуетъ современнаго человѣка — безпрѣдѣльную любовь къ свободѣ мысли и такую же сильную ненависть ко всему, что ей препятствовало: къ власти, насилію и вѣрѣ. Они разсматривали русскій вопросъ и вопросъ европейскій съ совершенно противоположной точки зрѣнія, чѣмъ славянофилы.

Имъ казалось, что одной изъ самыхъ важныхъ причинъ рабства, въ которомъ коснѣла Россія, являлся недостатокъ личной независимости; отсюда — полное отсутствіе уваженія личности со стороны правительства и оппозиціи, со стороны отдѣльныхъ лицъ; отсюда — и цинизмъ власти, и долготерпѣніе народа. Будущность Россіи очень опасна для Европы и полна несчастій для нея самой, если въ права личности не проникнутъ освободительные ферменты. Еще вѣкъ такого деспотизма, какъ теперь, и всѣ хорошія качества русскаго народа исчезнуть.

Къ счастью, Россія по отношенію къ этому важному вопросу объ индивидуальности оказалась въ особомъ положеніи.

Одно изъ главныхъ несчастій человѣка Запада, которое поддерживаетъ рабство, пауперизмъ народныхъ массъ и безсиліе революцій, это — моральное порабощеніе: не недостатокъ чувства личнаго достоинства, но недостатокъ ясности въ этомъ чувствѣ, искаженномъ историческими примѣрами въ прошедшемъ, которые ограничиваютъ индивидуальную независимость. Народы Европы во время прошлыхъ революцій отдали столько души и столько крови, что онѣ всегда стоятъ передъ ними, и человѣкъ не можетъ сдѣлать ни шагу, чтобы не зацѣпить своихъ воспоминаній, *fueros*'овъ ¹⁾, болѣе или менѣе обязательныхъ и имъ признанныхъ; всѣ вопросы были уже наполовину рѣшены; побудительныя причины, отношенія людей между собою, обязанности, нравственныя понятія и преступленія, — все опредѣлено, и притомъ не какой-нибудь неодолимой си-

¹⁾ Старинныя привилегіи (испанскихъ провинцій).

лой, но частью по добровольному соглашенію людей. Отсюда слѣдуетъ, что человѣку вмѣсто того, чтобы сохранить независимость дѣйствій, приходится: или подчиниться или возмутиться. Это безапелляціонныя нормы, совершенно готовыя понятія, которыя переправляются черезъ океанъ и входятъ въ основной договоръ совершенно новой республики; онѣ переживаютъ гильотинированнаго короля и спокойно размѣщаются на скамьяхъ якобинцевъ и конвента. Долгое время эта масса полуистинъ и полупредрасудковъ принималась за прочныя, абсолютныя основы общественной жизни, за непреложныя и внѣ всякаго сомнѣнія выводы. И, въ самомъ дѣлѣ, каждый изъ нихъ былъ истиннымъ прогрессомъ, побѣдой для своего времени, но изъ ихъ совокупности мало-по-малу воздвиглись стѣны новой тюрьмы. Это замѣтили въ началѣ нашего вѣка люди мыслящіе, но въ то же время они увидѣли всю толщину этихъ стѣнъ и поняли, сколько надо усилій, чтобы ихъ пробить.

Россія совсѣмъ въ другомъ положеніи. Стѣны ея - - - - - деревянные; воздвигнутыя грубой силой, онѣ подадутся съ перваго удара. Часть народа, отрицая все свое прошлое съ Петромъ I, показала, какую она имѣетъ силу отрицанія, другая же, оставшаяся чуждой настоящему строю, покорилаь, но не приняла новаго режима, который кажется временнымъ бивакомъ: - - - - -

Было очевидно, что ни Западная Европа, ни современная Россія не могли итти далѣе, не отвергнувъ сполна свою политическую и моральную организацію. Но Европа, какъ Никодимъ, была слишкомъ богата, чтобы пожертвовать своимъ большимъ имуществомъ, ради какой-то надежды; евангельскимъ рыбакамъ нечего было сожалѣть: имъ легко было обмѣнить сѣти на суму; что у нихъ было, это—живая душа, способная понимать Слово.

Это отношеніе къ своему прошедшему и къ прошедшему Европы, въ которое стала Россія, было совершенно ново и казалось весьма благопріятнымъ для развитія личной независимости. Вмѣсто же того, чтобы этимъ воспользоваться, появилось ученіе, стремившееся лишить Россію единственнаго преимущества, которое исторія ей оставила въ наслѣдство. Ненавидя, какъ и мы, настоящее Россіи, славянофилы хотѣли занять у прошлаго узы въ родѣ тѣхъ, которыя тормазятъ ходъ европейца. Они смѣшали идею свободной индивидуальности съ идеей узкаго эгоизма; они ее приняли за *европейскую* идею, западную, и, чтобы насъ смѣшать съ слѣпыми поклонниками западнаго просвѣщенія, они намъ постоянно показывали ужасную картину европейскаго разложенія, глубокой апатіи всѣхъ народовъ, безсилія революцій, приближенія мрачнаго, роко-

вого кризиса. Все это было вѣрно, только они забыли назвать тѣхъ, отъ кого узнали всѣ эти истины.

Европа не дожидалась ни стиховъ Хомякова, ни прозы со-трудниковъ «Москвитянина», чтобы понять, что она накануне ка-таклизма, накануне или полного возрожденія или полного разло-женія. Сознаніе разрушенія современнаго общества, это—соціализмъ, и, конечно, ни С.-Симонъ, ни Фурье, ни этотъ новѣйшій Самсонъ, который изъ своей тюрьмы ¹⁾ заставляетъ дрожать европейское зданіе, не почерпнули свои грозные приговоры противъ Европы изъ писаній Шафарика, Коллара или Мицкевича. Сенъ-симонизмъ былъ извѣстенъ въ Россіи за десятокъ лѣтъ до появленія славянофиловъ.

Не легко Европѣ,—говорили мы славянофиламъ,—отдѣлаться отъ своего прошлаго: она его держится въ противность своимъ же интересамъ, потому что знаетъ, въ какую цѣну обходятся рево-люціи, и при теперешнемъ ея состояніи много есть такого, что ей дорого и трудно замѣнить. Легко критиковать реформацію и рево-люцію, читая ихъ исторію, но Европа внушила ихъ и написала своей собственной кровью. Она поднялась во время этихъ боль-шихъ столкновеній своими протестами во имя свободы мысли и правъ человѣка до такой высоты доказательствъ, которую она, можетъ, не въ состояніи осуществить. Мы же болѣе свободны отъ прошлаго, и это — большое преимущество, но оно обязываетъ къ большей скромности. Это—добродѣтель слишкомъ отрицательная, чтобы быть достохвальной, и одинъ только ультраромантизмъ спосо-бенъ вносить отсутствіе пороковъ въ разрядъ хорошихъ поступковъ. Мы свободны отъ прошедшаго, потому что наше прошедшее пусто, бѣдно, узко. Невозможно любить такія вещи, какъ московскій - - - - - или петербургскій - - - - - . Можно ихъ объяснить, можно въ нихъ найти зародыши инога будущаго, но необходимо избавиться отъ нихъ, какъ отъ пеленокъ. Упрекая Европу въ не-умѣнніи опередить свои учрежденія, славянофилы не только не го-ворили, какъ они-то думаютъ рѣшить великую антиномію между свободой личности и государствомъ, но даже избѣгали входить въ подробности той славянской политической организациі, о которой постоянно твердили. Въ этомъ отношеніи они ограничивались однимъ лишь кievскимъ періодомъ и держались сельской общины. Но кiev-скій періодъ не помѣшалъ появленію московскаго періода и потерѣ всѣхъ вольностей. Община не спасла крестьянина отъ закрѣпощенія; нисколько не отрицая важности общины, мы боимся за нее, такъ какъ, собственно говоря, безъ свободы личности ничего нѣтъ устой-

¹⁾ Прудонъ находился тогда въ тюрьмѣ S-te Pélagie.—А. И. Г.

чиваго. Европа, не знающая этой общины или же потерявшая ее во время превратностей прошлыхъ вѣковъ, теперь ее поняла, а Россія, которая имѣетъ общину уже тысячу лѣтъ, не понимала ее, пока Европа не пришла ей сказать, какое сокровище она скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ. Стали цѣнить славянскую общину, лишь когда началъ распространяться социализмъ. Пусть-ка славянофилы докажутъ противное.

Европа не разрѣшила антиномію между личностью и государствомъ, но, по крайней мѣрѣ, она поставила этотъ вопросъ. Россія подходитъ къ задачѣ съ противоположной стороны, но и она ее не рѣшила. При наличности этого вопроса и начинается наше равенство. У насъ больше надеждъ, потому что мы только-что начинаемъ, но надежда—только потому надежда, что можетъ не осуществиться.

Не надо особенно довѣряться будущему,—ни исторіи, ни природѣ: Не каждый зародышъ достигаетъ зрѣлаго возраста, не все, что шевелится въ душѣ, осуществляется, хотя при иныхъ обстоятельствахъ все могло бы развиться.

Можно ли себѣ представить, что способности, находимыя въ русскомъ народѣ, способны развиться при наличности рабства, пассивнаго послушанія, петербургскаго - - - - - ? Долгое рабство—не случайная вещь: оно, конечно, соотвѣтствуетъ какому-нибудь элементу національнаго характера. Этотъ элементъ можетъ быть поглощенъ, побѣжденъ другими элементами, но онъ способенъ также и побѣдить. Если Россія можетъ мириться съ существующимъ порядкомъ вещей, то она не будетъ имѣть будущности, на которую мы надѣемся. Если она будетъ и дальше слѣдовать по петербургскому пути, или если вернется къ московскому періоду, то она не будетъ имѣть другого призванія, чѣмъ набрасываться на Европу, какъ полуварварская, полуразвращенная орда, разорять цивилизованныя страны и, наконецъ, погибнуть среди всеобщаго разрушенія.

Не слѣдовало ли всѣми способами стараться призвать русскій народъ къ сознанию своего пагубнаго положенія, хотя бы въ видѣ опыта, чтобы убѣдиться въ невозможности? И кто же долженъ это сдѣлать, если не тѣ, которые представляютъ собою интеллигенцію страны, тѣ органы народа, посредствомъ которыхъ онъ старался понять свое собственное положеніе. Ихъ можетъ быть много или мало, но это существа дѣла не мѣняютъ. Петръ I былъ одинъ, декабристовъ—небольшая кучка. Вліяніе личностей не такъ ничтожно, какъ это склонны думать; личность есть живая сила, могучее бродило, дѣйствіе котораго не всегда уничтожается даже смертью. Развѣ мы

не знаемъ, развѣ мало было примѣровъ, что кстати сказанное слово склоняло чашу народныхъ вѣсовъ, начинало или прекращало революціи?

Вмѣсто этого, чтò сдѣлали славянофилы? Они проповѣдывали подчиненіе, — эту первую добродѣтель греческой - - - -, это основаніе московскаго - - - -. Они проповѣдывали презрѣніе къ Западу, который одинъ можетъ еще освѣтить пропасть русской жизни; они, наконецъ, восхваляли прошедшее, отъ котораго, напротивъ того, слѣдуетъ отдѣлаться ради будущаго, общаго Востоку и Западу.

Очевидно, слѣдовало противодѣйствовать подобному направленію умовъ, и, дѣйствительно, полемика разрослась все болѣе и болѣе. Она длилась до 1848 года, достигнувъ своей кульминаціонной точки около 1847 г.: какъ будто предчувствовалось, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Россіи нельзя будетъ разсуждать ни о чемъ и что эта полемика должна поблѣднѣть передъ важностью событій.

Двѣ статьи особенно ярко выразили оба противоположныхъ мнѣнія. Одна, подъ заглавіемъ «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» ¹⁾ была напечатана въ Петербургѣ, въ «Современникѣ». Другая—длинный отвѣтъ славянофила ²⁾, напечатанный въ «Москвитянинѣ». Первая статья была яснымъ и сильнымъ изложеніемъ русскаго права, основаннаго на тщательномъ его изученіи; она развивала мысль, что личное право въ Россіи никогда не достигало юридическаго опредѣленія, что личность всегда была поглощена семьей, общиной, а позднѣе — государствомъ и церковью. Неопредѣленное положеніе личности вело, по мнѣнію автора, къ такой же неопредѣленности и въ другихъ сферахъ политической жизни. Государство пользовалось этимъ отсутствіемъ опредѣленности, чтобы захватывать вольности; такимъ образомъ, русская исторія стала исторіею самодержавія и власти въ то время, какъ исторія Запада являлась исторіею развитія свободы и права.

Опасность славянофильства стала очевидною въ возраженіи «Москвитянина», который почерпалъ свои доказательства въ славянскихъ лѣтописяхъ, греческомъ катехизисѣ и гегеліанскомъ формализмѣ. Славянофильскій авторъ думаетъ, что личный принципъ былъ хорошо развитъ въ древней Россіи, но что личность, просвѣщенная греческой церковью, обладала высшимъ даромъ безропотности и добровольно переносила свою свободу на личность государя.

¹⁾ К. Д. Кавелина, въ I кн. «Современника» 1847 г.

²⁾ «О мнѣніяхъ «Современника», историческихъ и литературныхъ», Ю. О. Самарина подъ псевдонимомъ «М. З. К.», во II кн. «Москвитянина» 1847 г.

Государь выражалъ состраданіе, благорасположеніе и свободную индивидуальность. Остальные отрекались отъ своей личной самостоятельности и спасали ее въ то же время въ представителѣ индивидуальнаго принципа—въ государѣ.

Этотъ даръ самоотверженія и еще большій даръ—не злоупотреблять имъ, — образовали, по мнѣнію автора, гармоничное согласіе между княземъ, общиной и личностью. Удивительное согласіе, не находящее иного объясненія у автора, какъ необыкновенное присутствіе - - - - - въ византійской церкви!

Если славянофилы хотяють представлять серьезное мнѣніе, реальную сторону общественнаго сознанія, наконецъ, силу, стремящуюся осуществиться въ русской жизни, не посредствомъ археологическихъ споровъ и теологическихъ словопреній, то мы имѣемъ право требовать отъ нихъ оставленія этого безнравственнаго злоупотребленія пустыми словами, этой развращенной діалектики. Мы говоримъ «безнравственное» злоупотребленіе, потому что оно совершается вполнѣ сознательно.

Что означаютъ метафорическія рѣшенія, которыя представляютъ не что иное, какъ обратное самаго вопроса? Зачѣмъ образы, символы вмѣсто реальностей? Развѣ славянофилы изучали лѣтописи восточной римской имперіи, чтобы привить себѣ эту византійскую проказу? Мы не греки временъ Палеологовъ, чтобъ спорить объ *opus operans* и *opus operatum* ¹⁾ въ то время, какъ въ нашу дверь стучится неизвѣстное, необъятное будущее.

Ихъ философскій методъ не новъ: правая сторона гегеліанцевъ говорила точно также пятнадцать лѣтъ тому назадъ; нѣтъ такой нелѣпости, которую нельзя было бы втиснуть въ форму пустопорожней діалектики, придавъ ей видъ глубокомысленно метафизическій. Надо только не знать или забыть, что содержаніе и методъ имѣютъ совершенно иное отношеніе, чѣмъ свинець и форма къ пулямъ, и что одинъ лишь дуализмъ не понимаетъ связывающей ихъ солидарности. Говоря о князѣ, авторъ передалъ лишь своими словами очень извѣстное опредѣленіе, которое Гегель даетъ рабству въ «Феноменологіи» (*Herr und Knecht*). Но онъ забылъ,—съ умысломъ,—какъ Гегель выходилъ изъ этой низшей степени человѣческаго сознанія. Достойно еще примѣтить, что этотъ философскій жаргонъ, принадлежащій по формѣ къ наукѣ, а по содержанію—къ схоластикѣ, встрѣчается также у іезуитовъ. Монталамберъ, отвѣчая на запросъ о жестокостяхъ, совершенныхъ папскимъ правительствомъ въ римскихъ тюрьмахъ, сказалъ: «Вы говорите о жестокостяхъ

¹⁾ Дѣйствіе творящее и дѣйствіе сотворенное.

папы, но онъ не можетъ быть жестокъ: его положеніе ему это запрещаетъ; онъ, намѣстникъ Иисуса Христа, можетъ только прощать, проявлять милосердіе, и дѣйствительно, папы всегда прощаютъ. Св. отецъ можетъ быть опечаленъ, онъ можетъ молиться за грѣшника, но онъ не можетъ быть неумолимъ и т. д.» На вопросъ же, дѣйствительно ли въ Римѣ пытаются заподозрѣнныхъ, отвѣчаютъ, что папа милостивъ; на разсужденіе, что мы всѣ рабы, что право личности не развито въ Россіи, отвѣчаютъ: мы его спасли, возложивъ его на главу государя. Издѣвательство, возбуждающее презрѣніе къ человѣческому слову! Врядъ ли пристойно ссылатся на религію, а ссылатся на обязательную религію еще менѣе прилично. У всякаго автора неоспоримое право вѣрить во что ему угодно, но прибѣгать къ теологическимъ доводамъ въ научномъ разсужденіи съ человѣкомъ, который о своей религіи молчитъ, значитъ нарушать приличія. Къ чему прятаться за недоступную крѣпость, малѣйшее нападеніе на которую ведетъ въ карцеръ?

Съ другой стороны, невозможно понять, какъ славянофилы, если религія имъ дѣйствительно дорога, не чувствуютъ отвращенія къ лицемѣрному методу «Философіи религіи», этой слабой и лишенной вѣры реабилитаціи, этой защитительной рѣчи, блѣдной и холодной, въ которой гордая наука, уложивъ свою сестру въ могилу, награждаетъ ее сострадательной улыбкой. Какъ хватается у нихъ рѣшимости выставять самое для себя святое въ споры, въ которыхъ этому святому не выказывается никакого уваженія, и оно терпится только изъ уваженія къ полиціи!

Это еще не все: авторъ статьи страннымъ образомъ пристаеъ къ своимъ противникамъ, обвиняя ихъ въ недостаткѣ патріотизма, въ нелюбви къ народу. Такъ какъ это общая черта славянофиловъ, то о ней надо сказать нѣсколько словъ. Они считаютъ себя имѣющими исключительное право на патріотизмъ и болѣе русскими, чѣмъ кто бы то ни было; они постоянно упрекаютъ насъ за наше негодованіе противъ существующаго строя Россіи, за нелюбовь къ народу, за наши горькія и гнѣвные слова, за нашу откровенность, состоящую въ томъ, что мы выставаемъ на свѣтъ темныя стороны русской жизни.

Казалось бы, однако, что партія, каждый членъ которой подвергаетъ себя опасности быть повѣшеннымъ, сосланнымъ на каторгу, лишиться имущества или эмигрировать за границу,—не лишена ни патріотизма, ни убѣжденій. Насколько намъ извѣстно, 14 декабря не было дѣломъ славянофиловъ; всѣ преслѣдованія достались на нашу долю, а славянофиловъ судьба до сихъ поръ щадила.

Да, есть ненависть въ нашей любви: мы возмущены; мы упре-

каемъ народъ въ той же степени, какъ и правительство, за то состояніе, въ которомъ находимся; мы не боимся высказывать самую жесткую правду, но мы это дѣлаемъ, потому что любимъ. Мы не бѣжимъ отъ настоящаго въ прошедшее, потому что знаемъ, что послѣдняя страница исторіи есть наша современная дѣйствительность. Мы не закрываемъ ушей отъ стоновъ народнаго горя, и у насъ хватаетъ мужества признавать съ сокрушеннымъ сердцемъ, насколько рабство его развращаетъ; скрывать эти печальныя выводы, это—не любовь, а тщеславіе. У насъ передъ глазами крѣпостное состояніе, а насъ обвиняютъ въ клеветѣ; хотятъ, чтобы печальная картина мужика, ограбленнаго дворянствомъ и правительствомъ, продаваемаго почти на вѣсь, обезчещеннаго розгами, поставленнаго внѣ закона, не преслѣдовала насъ день и ночь, какъ угрызеніе совѣсти, какъ обвиненіе. Славянофилы предпочитаютъ читать легенды временъ Владиміра; они хотятъ, чтобы имъ представили Лазаря, покрытаго не язвами, а шелковыми матеріями. Для нихъ, какъ и для Екатерины, нужно воздвигать картонныя деревни и декорационныя сады вдоль дороги отъ Петербурга въ Крымъ.

Великій обвинительный актъ, который русская литература составляетъ противъ русской жизни, ея полное и горячее отреченіе отъ собственныхъ ошибокъ, ея исповѣдь, приходящая въ ужасъ отъ своего прошлаго, ея горькая иронія, заставляющая краснѣть отъ настоящаго, все это—наша надежда, это—наше спасеніе, прогрессивный элементъ русской натуры.

А каково значеніе писаній Гоголя, которымъ славяне такъ чрезмѣрно восхищаются? Развѣ кто-нибудь приподнялъ выше, чѣмъ онъ, позорный столбъ, къ которому онъ пригвоздилъ русскую жизнь?

Авторъ статьи «Москвитянина» говоритъ, что Гоголь «спустился, какъ горнорабочій, въ этотъ глухой міръ, гдѣ не слышится ни громовыхъ ударовъ, ни сотрясеній, неподвижный и ровный, въ бездонное болото, медленно, но безвозвратно, затягивающее *все, что есть свѣжаго* (это говоритъ славянофилъ); онъ спустился, какъ горнорабочій, нашедшій подъ землю жилу, еще не початую». Да, Гоголь почуялъ эту силу, эту не тронутую руду подъ не обработанной землей. Можетъ, онъ ее и почалъ бы, но, къ несчастію, раньше времени подумалъ, что достигъ дна, и вмѣсто того, чтобы продолжать расчистку, сталъ искать золото. Что же изъ этого вышло? Онъ началъ защищать то, что прежде разрушалъ, оправдывать крѣпостное право и кончилъ тѣмъ, что бросился къ ногамъ представителя «благоволенія и любви».

Пусть славянофилы подумаютъ о паденіи Гоголя. Они найдутъ въ немъ, можетъ, больше логики, чѣмъ слабости. Отъ - - - - -
 - - - смиренномудрія, отъ самоотреченія, относящаго свою индивидуальность въ индивидуальность государя, до обожанія - - - - -
 одинъ только шагъ.³

И что можно сдѣлать для Россіи, находясь на сторонѣ - - -
 - - - -? Времена Петра, великаго царя, прошли; Петра же, великаго
 человѣка, нѣтъ болѣе въ - - - - - , *онъ въ насъ*.

Пора это понять и, бросая наконецъ борьбу, отнынѣ пустую,
 соединиться во имя Россіи, но также и во имя независимости.

Каждый день можетъ опрокинуть старое соціальное зданіе
 Европы, увлечь Россію въ бурный потокъ громадной революціи.
 Время ли теперь тянуть семейную ссору и ожидать, чтобы событія
 насъ обогнали, потому что мы не приготовили ни совѣтовъ, ни
 предложеній, которыхъ, можетъ, отъ насъ ожидаютъ?

Да развѣ у насъ нѣтъ поля, открытаго для примиренія?

Соціализмъ, который такъ рѣшительно, такъ глубоко раздѣ-
 ляетъ Европу на два враждебныхъ лагеря, не принимается ли онъ
 славянофилами такъ же, какъ нами? Это мостъ, на которомъ мы
 можемъ подать другъ другу руку.

Послѣсловіе.

Семь или восемь послѣднихъ лѣтъ до февральской революціи
 революціонныя идеи въ Россіи все усиливались, благодаря пропагандѣ
 и внутренней работѣ, принимавшимъ все болѣе и болѣе широкое
 развитіе. Правительство, казалось, устало преслѣдовать.

Великій вопросъ, господствовавшій надъ всѣми другими и на-
 чинавшій волновать правительство, дворянство и народъ, былъ во-
 просъ объ освобожденіи крестьянъ. Ясно чувствовалось, что невоз-
 можно итти далѣе съ ошейникомъ крѣпостничества.

Указъ 2-го апрѣля 1842 года, *прилашавшій* дворянство усту-
 пить крестьянамъ нѣкоторыя права взаменъ оброковъ и обяза-
 тельствъ, установленныхъ обѣими сторонами, достаточно ясно до-
 казываетъ, что правительство хотѣло освобожденія.

Провинціальное дворянство заволновалось, раздѣлилось на пар-
 тіи, однѣ за, другія противъ освобожденія. Рисковали говорить
 въ дворянскихъ собраніяхъ объ эмансипаціи крестьянъ. Прави-
 тельство позволило дворянству, въ двухъ или трехъ губернскихъ го-
 родахъ, организовать комитеты для обсужденія способовъ освобо-
 жденія крѣпостныхъ. Часть помѣщиковъ выходила изъ себя отъ

гнѣва,—въ этомъ великомъ общественномъ вопросѣ они видѣли только нападеніе на ихъ привилегіи и на земельную собственность и возставали противъ всякаго нововведенія, зная, что ихъ поддержать приближенные царя. Молодое дворянство было болѣе дальнорочно и рассчитывало вѣрнѣе. Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ немногихъ, полныхъ преданности и самоотверженія, готовыхъ пожертвовать своими имѣніями, чтобы стереть унижительное слово «крѣпостничество» съ чела Россіи и искупить гнусную эксплуатацію мужика. Энтузіасты никогда не могутъ увлечь цѣлый классъ, если только они не дѣйствуютъ въ разгаръ революціи, какъ французское дворянство 4 августа 1792 года было увлечено великодушнымъ меньшинствомъ. Большая часть сторонниковъ освобожденія желала освобожденія не только потому, что понимала его справедливость, но также и потому, что видѣла его необходимость. Она хотѣла совершить освобожденіе въ-время, чтобы потери были наименьшія. Она хотѣла сдѣлать починъ, пока имѣлась возможность. Противиться и оставаться въ бездѣйствіи было самымъ вѣрнымъ средствомъ заставить императора или народъ вступить на освободительный путь, чтобы остановиться только на экспроприаціи.

Министръ государственныхъ имуществъ Киселевъ, сторонникъ освобожденія въ средѣ правительства, и министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій, убившій указъ 2 апрѣля своими разъясненіями, получали проекты изъ всѣхъ концовъ государства. Хорошіе или дурные, но эти проекты обнаруживали большую работу мысли въ странѣ.

При всемъ разнообразіи мнѣній и взглядовъ, при всемъ различіи положеній и мѣстныхъ интересовъ, одинъ принципъ былъ принятъ безъ споровъ: ни правительство, ни дворянство, ни народъ не думали объ освобожденіи крестьянъ *безъ земли*. Чрезвычайно различна была оцѣнка той доли, которую слѣдуетъ уступить крестьянамъ, и тѣхъ условій, которыя имъ слѣдовало поставить, но никто серьезно не говорилъ объ освобожденіи *въ пролетаріатъ*, развѣ только какой-нибудь неизлѣчимый сторонникъ старой политической экономіи.

Создать пятнадцать милліоновъ пролетаріевъ,—это была перспектива, заставлявшая блѣднѣть, и не безъ основанія, и правительство и помѣщиковъ. Но тѣмъ не менѣе, съ точки зрѣнія *религіи и собственности*, абсолютнаго и неотъемлемаго права собственности и неограниченнаго пользованія ею, не было никакого иного способа рѣшить вопросъ безъ возстанія крестьянскихъ массъ, безъ насильственнаго потрясенія землевладѣнія, потому что отчужденія земель, сдѣланныя съ оружіемъ въ рукахъ, принимаются,

какъ совершившіеся факты, должнымъ образомъ узаконенные политической экономіей.

Съ перваго взгляда кажется страннымъ, что въ странѣ, гдѣ человѣкъ считается почти *вещью*, гдѣ принадлежитъ землѣ, гдѣ составляетъ часть земельной собственности и продается вмѣстѣ съ нею, — идолопоклонство передъ собственностью наименѣе развито. У насъ ее защищаютъ съ упорствомъ, но какъ добычу, а не какъ право. Трудно было вкоренить вѣру въ непогрѣшимость и справедливость такого права, нелѣпости котораго очевидны для обѣихъ сторонъ, какъ для помѣщика, *владѣющаго* крестьянами, такъ и для крѣпостного крестьянина, который не собственникъ своихъ *владѣній*. Всѣмъ было извѣстно, что происхожденіе помѣщичьихъ правъ довольно темно; всѣ также хорошо знали, что цѣлый рядъ произвольныхъ мѣръ,—мѣръ полицейскихъ,—закрѣпостилъ понемногу земледѣльческую Россію власти Россіи дворянской; можно было, слѣдовательно, представить себѣ другой рядъ мѣръ, которыя бы ее освободили.

Самое отсутствіе строго опредѣленныхъ юридическихъ понятій, неопредѣленность въ правахъ,—все это также не давало идеямъ о собственности укрѣпиться, вылиться въ нѣчто цѣлое. Русскій народъ жилъ только общинной жизнью; онъ понималъ свои права и обязанности только по отношенію къ общинѣ. Въ ея онъ не признаетъ обязанностей и видитъ только насиліе. Подчиняясь ему, онъ подчиняется только силѣ; вопіющая несправедливость одной части законодательства привела его къ презрѣнію другой части. Полное неравенство передъ судомъ убило въ немъ уваженіе къ законности въ самомъ зародышѣ. Русскій, къ какому бы классу онъ ни принадлежалъ, нарушаетъ законъ вездѣ, гдѣ только можетъ это сдѣлать безнаказанно; правительство поступаетъ точно такъ же. Это тяжело и печально для настоящаго времени, но для будущаго тутъ огромное преимущество.

Въ Россіи позади видимаго состоянія нѣтъ невидимаго, которое было бы лишь апофеозомъ, преображеніемъ существующаго порядка вещей; нѣтъ невозможнаго идеала, который никогда не совпадалъ бы съ дѣйствительностью, хотя и постоянно обѣщая ее. Нѣтъ ничего позади забора, за которымъ высшая власть держитъ насъ въ осадномъ положеніи. - - - - - въ Россіи сводится къ вопросу о матеріальной силѣ. Это именно и дѣлаетъ эту страну, кромѣ другихъ упомянутыхъ нами причинъ, наилучше приготовленною почвою для общественнаго возрожденія.

Мы уже сказали, что съ появленіемъ сень-симонизма, послѣ 1830 года, социализмъ произвелъ сильное впечатлѣніе въ Москвѣ.

Въ этомъ общественномъ ученіи видѣли выраженіе болѣе искренняго чувства, чѣмъ въ ученіяхъ политическихъ, такъ какъ мы привыкли къ общинамъ, къ раздѣлу земель, къ рабочимъ ассоціаціямъ; въ виду злоупотребленія правомъ собственности, социализмъ насъ затрагивалъ менѣе, чѣмъ западнаго буржуа.

Мало-по-малу литературныя произведенія прониклись социалистическими стремленіями и настроеніями. Романы и рассказы, даже писанія славянофиловъ, протестовали противъ существующаго строя общества съ точки зрѣнія болѣе широкой, чѣмъ чисто-политической. Достаточно упомянуть романъ Достоевскаго «Бѣдные люди».

Въ Москвѣ социализмъ шелъ на ряду съ гегелевской философіей. Союзъ современной философіи съ социализмомъ не трудно понять; тѣмъ не менѣе только въ послѣднее время нѣмцы признали солидарность науки съ революціей, не потому, чтобы они раньше ее не понимали, но потому, что социализмъ, какъ все практическое, ихъ не интересовалъ. Нѣмцы могли быть глубоко радикальны въ наукѣ, оставаясь консерваторами въ своемъ поведеніи, поэтами на бумагѣ и мѣщанами въ жизни. Напротивъ, дуализмъ намъ, русскимъ, антипатиченъ. Социализмъ намъ казался самымъ естественнымъ силлогизмомъ философіи, примѣненіемъ логики къ государству.

Необходимо замѣтить, что въ Петербургѣ социализмъ принималъ другой характеръ. Тамъ революціонныя идеи всегда были болѣе практичными, чѣмъ въ Москвѣ; ихъ холодный фанатизмъ, это—фанатизмъ математиковъ; въ Петербургѣ любятъ правильность, дисциплину, примѣненіе на практикѣ. Въ то время, какъ въ Москвѣ спорятъ, въ Петербургѣ устраиваютъ тайные союзы. Франкмасонство и мистицизмъ имѣли самыхъ горячихъ сторонниковъ въ этомъ послѣднемъ городѣ, тамъ же печатался «Сіонскій Вѣстникъ», органъ библейскаго общества. Заговоръ 14 декабря созрѣлъ въ Петербургѣ: онъ никогда не развился бы достаточно въ Москвѣ, чтобы выйти на площадь. Въ Москвѣ очень трудно въ чемъ-либо согласиться; личности тамъ слишкомъ капризны и слишкомъ открыты. Въ Москвѣ больше поэтическаго элемента, больше учености и съ тѣмъ вмѣстѣ больше безопасности, беззаботности, больше бесполезныхъ словъ, большее разнообразіе мнѣній. Смутный, религіозный и въ то же время аналитическій сенъ-симонизмъ чудесно подходилъ къ москвичамъ. Изучивъ его, они совершенно естественно переходили къ Прудону, какъ отъ Гегеля къ Фейербаху.

Фурьеризмъ же болѣе, чѣмъ сенъ-симонизмъ, подходилъ къ петербургской учащейся молодежи. Фурьеризмъ, стремившійся къ немедленному осуществленію, хотѣвшій практическаго приложенія, тоже мечтавшій, но основывавшій свои мечты на ариѳметическихъ

вычисленіяхъ, прятавшій свою поэзію подъ именемъ промышленности и свою любовь къ свободѣ подъ вербовкой рабочихъ,—фурьеризмъ долженъ былъ найти отголосокъ въ Петербургѣ. Фаланстеръ—не что иное, какъ русская община и рабочая казарма, военная колонія на гражданскую ногу, промышленный полкъ. Было замѣчено, что у оппозиціи, которая открыто борется съ правительствомъ, всегда есть нѣчто изъ его характера, но въ обратномъ смыслѣ. И я думаю, что есть нѣкоторая правда въ томъ страхѣ, который русское правительство начинаетъ питать къ коммунизму: коммунизмъ, это—русское - - - - - навыворотъ.

Петербургъ опередитъ Москву во имя этихъ рѣзкихъ мнѣній,—быть можетъ, ограниченныхъ, но дѣятельныхъ и практичныхъ. Честь инициативы будетъ принадлежать ему вмѣстѣ съ Варшавой, но если - - - - - , центръ свободы будетъ въ сердцѣ націи, въ Москвѣ.

Полная неудача революціи во Франціи, несчастный исходъ революціи въ Вѣнѣ, комическій финалъ берлинской были началомъ усугубленной реакціи въ Россіи. Все снова было парализовано; оставленъ проектъ освобожденія крестьянъ и замѣненъ проектомъ закрытія всѣхъ университетовъ; ввели двойную цензуру и новыя затрудненія при выдачѣ заграничныхъ паспортовъ. Стали преслѣдовать газеты, книги, рѣчи, костюмы, женщинъ и дѣтей.

Въ 1849 году новая фаланга героическихъ молодыхъ людей отправилась въ тюрьму, а оттуда въ каторжныя работы и въ Сибирь¹⁾. Страшный терроръ уничтожилъ всѣ зародыши, заставилъ склониться всѣ головы; умственная жизнь снова спряталась или же проявляла лишь страхъ и нѣмое отчаяніе, и съ тѣхъ поръ всякое приходившее изъ Россіи извѣстіе наполняло душу отчаяніемъ и глубокой грустью.

Мы не станемъ останавливаться на этой печальной картинѣ - - - - - борьбы, гдѣ всякій разъ мысль сокрушается силой. Въ ней нѣтъ ничего новаго: это не прекращающійся процессъ, прохо-

¹⁾ Мы намекаемъ на общество Петрашевскаго. У него собирались молодые люди, чтобы обсуждать общественные вопросы. Этотъ клубъ существовалъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ вдругъ, въ началѣ венгерской кампаніи, правительство вздумало придать ему размѣры большого заговора и велѣло увеличить количество арестовъ. Оно нашло только мнѣнія тамъ, гдѣ искало заговоровъ, что не помѣшало ему приговорить *всѣхъ* обвиняемыхъ къ смертной казни, дабы затѣмъ съ легкостью прославиться *милостивымъ*. Царь замѣнилъ это наказаніе каторжной работой, ссылкой и солдатской службой. Между осужденными были: Кашкинъ, Спѣшневъ, Григорьевъ, Достоевскій, Головинскій, Монбелли и др.—А. И. Г.

Россіи совпадають съ надеждами и стремленіями - - - - - Европы и предрекають соединеніе ихъ въ будущемъ. Національный элементъ, который вноситъ Россія, это—свѣжестъ молодости и естественное стремленіе къ соціалистическимъ учрежденіямъ.

Извѣстенъ тупикъ, къ которому пришли европейскія государства. Имъ необходимо сильно броситься впередъ или же отступить болѣе, чѣмъ они отступили. Антитезы слишкомъ непреклонны, вопросы слишкомъ рѣшительны и слишкомъ созрѣли страданіемъ и ненавистью, чтобы возможно было остановиться на полурѣшеніяхъ, на мировыхъ сдѣлкахъ между властью и свободой. Но если для государствъ въ той формѣ, въ которой они существуютъ, нѣтъ спасенія, все же родъ смерти ихъ можетъ быть очень различенъ. Смерть можетъ прійти чрезъ возрожденіе или разложеніе, чрезъ революцію или реакцію. Консерватизмъ, у котораго нѣтъ другой цѣли, кромѣ сохраненія изношеннаго *statu quo*, такъ же разрушителенъ, какъ и революція. Онъ уничтожаетъ старый порядокъ не пылкимъ огнемъ возгоранія, но медленнымъ огнемъ истощенія.

Если въ Европѣ одолѣетъ консерватизмъ, - - - - - власть - - - - - раздавить не только цивилизацію, но и весь классъ образованныхъ людей, а потомъ...

А потомъ,—вотъ мы и стоимъ передъ совершенно новымъ вопросомъ, передъ таинственнымъ будущимъ. Восторжествовавъ надъ цивилизаціей, - - - - - окажется лицомъ къ лицу съ - - - - -

Половина силы петербургскаго правительства основана на цивилизаціи и на глубокомъ раздѣленіи, которое оно создало между образованными классами и крестьянами. Правительство постоянно опирается на первые; среди дворянства оно беретъ себѣ средства, людей и совѣты. Разбивъ въ своихъ рукахъ такое существенное орудіе, - - - - - снова сдѣлается - - - - , но для этого недостаточно будетъ отпустить бороду и надѣть *zipunъ*. - - - - - , слишкомъ педантичный, слишкомъ выученный, чтобы откровенно броситься въ объятія полудикаго націонализма, чтобы встать во главѣ народнаго движенія, которое вначалѣ захочетъ только свести свои счета съ дворянами и распространить общинные порядки на всѣ земли, на города, на все государство.

Мы видѣли монархію, окруженную республиканскими учрежденіями, но наше воображеніе отказывается представить себѣ - - - - - среди коммунистическихъ установленій.

Раньше, чѣмъ осуществится это отдаленное будущее, совер-

шится много всякихъ дѣлъ, и вліяніе - - - - - Россіи окажется не менѣ пагубнымъ для реакціонной Европы, чѣмъ вліяніе этой послѣдней на Россію. Это она, это - - - - - Россія, хочеть штыками положить конецъ волнуящимъ міръ вопросамъ. Это она реветъ и грохочеть, какъ море, у воротъ цивилизованнаго міра, всегда готовая затопить, всегда трепещущая желаніемъ заполнить, какъ будто ей нечего дѣлать дома, какъ будто угрызенія совѣсти и приступы помѣшательства разстраивали умы - - - - - .

Одна только реакція можетъ отворить эти ворота. То Габсбурги и Гогенцоллерны будутъ просить братской помощи русской арміи и поведутъ ее въ центръ Европы.

Тогда-то великая партія порядка увидитъ, что такое *сильное правительство* и уваженіе къ власти. Мы совѣтуемъ нѣмецкимъ князькамъ начать теперь же изучать судьбу тѣхъ грузинскихъ владѣтельныхъ князей, которымъ въ Петербургѣ дали немного денегъ, титулъ сіятельства и право имѣть корону на каретѣ. Революціонная Европа, напротивъ, не можетъ быть побѣждена - - - - - Россіей. Она спасетъ Россію отъ ужаснаго испытанія и сама спасется отъ Россіи.

Русское правительство, проработавъ двадцать лѣтъ, достигло того, что неразрывнымъ образомъ связало Россію съ - - - - - Европой.

Нѣтъ болѣе границъ между Россіей и Польшей.

А, вѣдь, Европа знаетъ, что такое Польша, эта всѣми въ неравной борьбѣ покинутая нація, проливавшая съ тѣхъ поръ ручьями свою кровь на всѣхъ поляхъ сраженія, гдѣ дѣло шло о завоеваніи свободы для какого-нибудь народа. Извѣстенъ этотъ народъ, не устоявшій передъ численнымъ превосходствомъ, но прошедшій черезъ всю Европу скорѣе съ видомъ побѣдителя, чѣмъ въ качествѣ побѣжденнаго, и разсѣявшійся среди другихъ народовъ, чтобы научить ихъ,—къ несчастью, безуспѣшно,—искусству падать, не смиряясь, не унижаясь и не теряя вѣры. Итакъ, можно уничтожить Польшу, но не поработить; можно исполнить угрозу - - - - - — оставить на мѣстѣ Варшавы одну только надпись и кучу камней, но сдѣлать ее рабой, на подобіе мирныхъ балтійскихъ провинцій,—невозможно.

Смѣшивая Польшу съ Россіей, правительство воздвигло громадный мостъ для торжественнаго прохода революціонныхъ идей, мостъ, начинающійся у Вислы и кончающійся у Чернаго моря.

Польша считается мертвою, но на каждой переключкѣ она отвѣчаетъ «здѣсь», какъ сказалъ въ 1848 году ораторъ одной польской депутаціи. Она не должна и шевельнуться, не будучи

увѣренною въ своихъ западныхъ сосѣдяхъ, такъ какъ знаетъ уже цѣну симпатіямъ Наполеона и знаменитымъ словамъ Луи-Филиппа: «Польская нація не погибнетъ!»

Не въ Польшѣ и не въ Россіи мы сомнѣваемся, а въ Европѣ. Если бы мы имѣли хоть сколько-нибудь вѣры въ народовъ Запада, съ какой поспѣшностью сказали бы мы полякамъ:

«Ваша участь, братья, хуже нашей; вы много страдали, потерпите еще: великое вамъ будущее послѣ вашихъ несчастій! Вы великолѣпно отмстите, — помогая освобожденію народа, руками котораго скованы были ваши кандалы. Въ вашихъ врагахъ, отъ имени — — — — —, —вы узнаете своихъ братьевъ во имя независимости и свободы.»

ПРИЛОЖЕНІЕ.

О сельской общинѣ въ Россіи.

Русская сельская община существуетъ съ незапамятныхъ временъ, и формы ея, довольно схожія, встрѣчаются у всѣхъ славянъ. Тамъ же, гдѣ ея нѣтъ, она пала подъ германскимъ вліяніемъ. У сербовъ, болгаръ и черногорцевъ она сохранилась въ еще болѣе чистомъ видѣ, чѣмъ въ Россіи. Сельская община представляетъ собою, такъ сказать, общественную единицу, моральную личность, и государство никогда не должно было проникать въ ея предѣлы; община—собственникъ, она—облагаемое повинностями цѣлое; она отвѣтственна за всѣхъ и каждого, и потому автономна во всемъ, что касается ея внутреннихъ дѣлъ.

Ея экономическій принципъ является совершенною антитезою знаменитаго афоризма Мальтуса: она каждому безъ исключенія даетъ мѣсто за своею трапезою. Земля принадлежитъ общинѣ, а не ея членамъ въ частности; ихъ же неотъемлемое право—имѣть столько земли, сколько ея во владѣніи каждого другого члена той же общины; земля дается ему для владѣнія на всю жизнь; онъ не можетъ,—да и не имѣетъ надобности,—завѣщать ее по наслѣдству. Сынъ его, какъ только достигнетъ совершеннолѣтія, имѣетъ право, даже при жизни отца, требовать отъ общины надѣлъ земли. Если у отца много дѣтей, то каждый, достигнувъ совершеннолѣтія, получаетъ отъ общины участокъ земли; съ другой стороны, при смерти общинника земля возвращается общинѣ.

Часто случается, что престарѣлые общинники отдаютъ свою землю и тѣмъ пріобрѣтаютъ право не платить податей. Крестьянинъ,

оставляющій на время свою общину, не теряетъ своихъ правъ на землю,—только ссылкой по приговору общины (или государства) можно ее отнять у него, но община можетъ постановить такой приговоръ только единогласно; однако, она прибѣгаетъ къ такому средству лишь въ крайнихъ случаяхъ. Наконецъ, крестьянинъ также теряетъ свое земельное право въ томъ случаѣ, когда, по собственному требованію, освобождается отъ связи съ общиной. Тогда ему позволяютъ взять лишь движимое имущество; иногда, но рѣдко, позволяютъ ему располагать и своимъ домомъ или перевезти его. Такимъ образомъ, сельскій пролетаріатъ невозможенъ.

Каждый изъ владѣющихъ землею въ общинѣ, то есть каждый совершеннолѣтній и обложенный податью, имѣетъ голосъ въ дѣлахъ ея. Деревенскій староста и его помощники выбираются на общемъ сходѣ. Такъ же поступаютъ съ разборомъ дѣлъ между разными общинами, съ дѣлежемъ земли и распредѣленіемъ податей. (Ибо, по существу, платитъ земля, а не лицо. Правительство считаетъ лишь души, община же принимаетъ за единицу дѣйствительнаго работника, то есть работника, у котораго есть земля въ пользованіи).

Староста имѣетъ большую власть надъ каждымъ общинникомъ, но не надъ общиной; если только она единодушна, то ей легко уравниваетъ власть старосты, даже заставить его отказаться отъ мѣста, если онъ не хочетъ подчиниться ея желаніямъ. Съ другой стороны, кругъ его дѣятельности совершенно административный: всѣ вопросы, кромѣ чисто полицейскихъ, рѣшаются или на основаніи дѣйствующихъ обычаевъ, или совѣтомъ главъ семействъ, или, наконецъ, общимъ сходомъ. Гакстгаузенъ ¹⁾ сдѣлалъ крупную ошибку, говоря, что староста деспотически управляетъ общиной. Онъ можетъ поступать деспотически только тогда, когда за него вся община.

Эта ошибка привела Гакстгаузена и къ тому, что онъ видитъ въ старостѣ образъ императорской власти. Императорская власть,—результатъ московской централизаціи и петербургской реформы,—не имѣетъ противовѣса, тогда какъ власть старосты зависитъ отъ общины.

Нужно теперь принять во вниманіе, что каждый русскій, если онъ не горожанинъ и не дворянинъ, долженъ принадлежать къ какой-нибудь общинѣ и что число городскихъ жителей, въ сравне-

¹⁾ Въ очень интересномъ, но дико-реакціонномъ трудѣ «О земледѣльческой Россіи», который онъ издалъ въ 1847 году по-нѣмецки и по-французски.—А. И. Г.

ніи съ населеніемъ деревни, чрезвычайно ограничено, и невозможность многочисленнаго пролетаріата становится очевидной. Наибольшее число работниковъ въ городахъ принадлежитъ къ бѣднымъ сельскимъ общинамъ, въ особенности къ такимъ, гдѣ мало земли, но, какъ уже было сказано, и такіе общинники не теряютъ своихъ правъ, поэтому фабриканты неизбѣжно должны платить рабочимъ немного больше, чѣмъ то, что они заработали бы своими полевыми работами.

Часто рабочіе отправляются въ города только на зиму, другіе же остаются тамъ цѣлыя годы; послѣдніе образуютъ между собою большія ассоціаціи, это — нѣчто, въ родѣ мобилизованной русской общины. Они идутъ изъ города въ городъ (ремесла почти свободны въ Россіи), и число ихъ часто поднимается до нѣсколькихъ сотъ, иногда даже до тысячи въ одной артели; такъ дѣло обстоитъ, на примѣръ, съ плотниками и каменщиками въ Петербургѣ и Москвѣ, съ ямщиками на большихъ дорогахъ. Общій ихъ заработокъ находится въ вѣдѣніи выборныхъ распорядителей и раздѣляется на основаніи рѣшеній «общихъ собраній».

Помѣщикъ можетъ урѣзать крестьянскія земли, можетъ отобрать себѣ самую лучшую землю, можетъ увеличить свое помѣстье и тѣмъ увеличить трудъ крестьянина; онъ также можетъ увеличить оброки, но не можетъ отказать крестьянамъ въ достаточномъ количествѣ земли, а земля, принадлежа общинѣ, находится всецѣло въ общинномъ управленіи, т. е. въ принципѣ, въ такомъ же, какимъ управляются свободныя земли; помѣщикъ никогда не вмѣшивается въ управленіе общины.

Бывали помѣщики, хотѣвшіе ввести европейскую систему раздѣла земли на участки и частную собственность. Эти покушенія исходили большею частью отъ дворянъ прибалтійскихъ губерній, но всѣ не удавались и обыкновенно кончались убійствомъ помѣщиковъ или поджогомъ ихъ замковъ: таково національное средство, къ которому прибѣгаетъ русскій мужикъ, чтобы заявить, свой протестъ ¹⁾.

Ужасная исторія введенія военныхъ поселеній показала, что такое русскій крестьянинъ, когда его атакуютъ въ его послѣдней крѣпости. *Либеральный* Александръ приказалъ брать деревни приступомъ; ожесточеніе крестьянъ дошло до самой трагической яро-

¹⁾ Изъ документовъ, печатаемыхъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, видно, что обыкновенно каждый годъ, еще до послѣдней революціи 1848 года, — отъ 60 до 70 помѣщиковъ убивались крестьянами. Не постоянный ли это протестъ противъ незаконной власти помѣщиковъ?—А. И. Г.

сти: они зарѣзали своихъ дѣтей, чтобы спасти ихъ отъ нелѣпыхъ учреждений, которыя навязывались имъ штыками и картечью. Правительство, взбѣшенное такимъ сопротивленіемъ, преслѣдовало этихъ героевъ; оно велѣло засѣкать ихъ до-смерти и, несмотря на всѣ эти жестокости и ужасы, ничего не могло добиться. Кровавое возстаніе Старой-Руссы, въ 1831 году показало, какъ мало этотъ несчастный народъ позволяетъ себя укрощать.

Говорятъ, что у всѣхъ дикихъ народовъ была вначалѣ подобная община, что она существовала у германцевъ и у кельтовъ въ своемъ полномъ развитіи, что ее находятъ въ Индіи, но добавляютъ, что вездѣ она должна была исчезнуть съ появленіемъ цивилизаціи.

Германская и кельтская община пала подъ влияніемъ двухъ социальныхъ идей, совершенно противоположныхъ общинной жизни: феодализма и римскаго права. Мы, къ счастью, появляемся съ нашей общиной въ такое время, когда противуобщинная цивилизація упирается въ абсолютную невозможность выпутаться при помощи своихъ принциповъ изъ противорѣчія между правомъ личности и правомъ общества.

Но, говорятъ намъ, чрезъ этотъ непрерывный раздѣлъ земли общинная жизнь найдетъ себѣ естественный предѣлъ въ увеличеніи населенія. Какъ бы ни казалось это возраженіе серьезнымъ, достаточно для его устраненія отвѣтить, что Россія обладаетъ землями, которыхъ хватить на цѣлое столѣтіе, а черезъ сто лѣтъ жгучій вопросъ о владѣніи и собственности будетъ такъ или иначе разрѣшенъ.

Многіе писатели, и между ними Гакстгаузенъ, говорятъ, что вслѣдствіе такой неустойчивости владѣнія, воздѣлываніе земли не улучшается; это очень можетъ быть, но агрономы-любители забываютъ, что улучшеніе земледѣлія при западной системѣ владѣнія оставляетъ бѣольшую часть населенія безъ куска хлѣба, и я не думаю, чтобы возрастающее богатство немногихъ фермеровъ и прогрессъ земледѣлія, какъ искусства, могли бы быть разсматриваемы, съ точки зрѣнія самой агрономіи, какъ справедливое вознагражденіе за ужасное положеніе голодающаго пролетаріата.

Деревенская Россія, всему, повидимому, подчиняющаяся, ничего на самомъ дѣлѣ не приняла изъ реформъ Петра I. Онъ чувствовалъ это пассивное сопротивленіе, не любилъ русскаго мужика и ничего не понималъ въ его образѣ жизни. Съ легкомысліемъ, достойнымъ осужденія, онъ усилилъ права дворянства и еще крѣпче затянулъ цѣпь крѣпостничества; съ тѣхъ поръ и русскій крестьянинъ еще глубже замкнулся внутри своей общины и не выходилъ изъ нея иначе, какъ недовѣрчиво озираясь по сторонамъ; въ по-

лицейскомъ и въ судьбѣ онъ видитъ врага, а въ помѣщикѣ—грубую силу, противъ которой ничего нельзя подѣлать.

Съ тѣхъ же поръ онъ началъ называть словомъ *несчастный* всякаго приговореннаго судомъ, лгать подъ присягой и отрицать все, когда его допрашиваетъ чловѣкъ въ мундирѣ,—чловѣкъ, кажуційся ему представителемъ нѣмецкаго правительства. Протекшія полтора ста лѣтъ не только не примирили его съ новымъ порядкомъ вещей, но еще больше отъ него отдалили.

Русскій крестьянинъ много перенесъ, много перестрадалъ; онъ много страдаетъ и сейчасъ, но остался самимъ собою. Уединенный въ своей маленькой общинѣ, безъ связей съ собратьями, разсѣянными по огромному протяженію страны, онъ все же нашелъ въ пассивномъ сопротивленіи и въ силѣ своего характера средства сохраниться; онъ низко наклонилъ голову, и несчастье проходило поверхъ ея, его не касаясь; вотъ почему, несмотря на свое положеніе, русскій крестьянинъ обладаетъ такою ловкостью, умомъ и красотой, что въ этомъ отношеніи возбудилъ удивленіе Кюстина и Гакстгаузена.⁴

◆◆ 1. Посвященіе Бакунину сдѣлано только на изданіи 1853 г., когда онъ былъ уже посаженъ въ Петропавловскую крѣпость безъ надежды когда-нибудь оставить ея казематъ. Герценъ хотѣлъ почитать своего друга, тѣмъ болѣе, что въ этомъ изданіи онъ выбросилъ страницы, посвященныя Бакунину въ изд. 1851 г., чтобы вовсе не упоминать о Головинѣ и Сазоновѣ, отношенія съ которыми за два года рѣзко измѣнились.

2. 26 іюля 1851 г. Чаадаевъ писалъ Герцену: «Слышу, что вы обо мнѣ помните и меня любите. Спасибо вамъ. Часто думаю также о васъ, душевно и умственно сожалѣя, что событія міра разлучили насъ съ вами, можетъ быть, навсегда. Хорошо бы было, если-бъ вамъ удалось сродниться съ какимъ-нибудь изъ народовъ европейскихъ и съ языкомъ его такъ, чтобы вы могли на немъ высказать все, что у васъ на сердцѣ. Всего бы, мнѣ кажется, лучше было усвоить вамъ себѣ языкъ французскій. Кромѣ того, что это дѣло довольно легкое, при чтеніи хорошихъ образцовъ, ни на какомъ иномъ языкѣ современные предметы такъ солидно не выговариваются. Тяжело, однако жъ, будетъ вамъ разстаться съ роднымъ словомъ, на которомъ вы такъ жизненно выражались. Какъ бы то ни было, я увѣренъ, что вы не станете жить сложа руки и зажавъ ротъ, а это—главное дѣло. Стыдно бы было, чтобы въ наше время русскій чловѣкъ стоялъ ниже Кошихина. Благодарю васъ за извѣстныя строки. Можетъ быть, придется вамъ скоро

сказать еще нѣсколько словъ о томъ же человѣкѣ, и вы, конечно, скажете не общія мѣста, а общія мысли. Этому человѣку, кажется, суждено было быть примѣромъ не угнетенія, противъ котораго возстаютъ люди, а того, которое они сносятъ съ какимъ-то трогательнымъ умиленіемъ и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнѣе перваго. *N'allez pas prendre cela pour un lieu commun* ¹⁾. Можетъ быть, дурно выразился. Мнѣ, вѣроятно, не долго остается быть земнымъ свидѣтелемъ дѣлъ человѣческихъ; но, вѣруя искренно въ міръ загробный, увѣренъ, что мнѣ и оттуда можно будетъ любить васъ такъ же, какъ теперь люблю, и смотрѣть на васъ съ тою же любовью, съ которою теперь смотрю. Простите» («Полярная Звѣзда», V, 221).

Публикуя это письмо, Герценъ не зналъ, да не узналъ, кажется, и потомъ, чтѣ написалъ Чаадаевъ шефу жандармовъ, гр. Орлову, услышавъ отъ него о выходѣ «*Du développement*» etc. и о томъ, что сказано тамъ о немъ. Даже если бы Герценъ зналъ, что Чаадаевъ сочувствовалъ политикѣ Николая I въ отношеніи къ революціонному движенію на западѣ и роли, занятой имъ въ подавленіи венгерскаго возстанія, то и тогда врядъ ли бы простилъ ему подобное письмо:

«М. Г. Графъ Алексѣй Федоровичъ, слышу, что въ книгѣ Герцена мнѣ приписываются мнѣнія, которыя никогда не были и никогда не будутъ моими мнѣніями. Хотя изъ словъ вашего сіятельства и вижу, что въ этой наглой клеветѣ не видите особенной важности, однако, не могу не опасаться, чтобы она не оставила въ умѣ вашемъ нѣкотораго впечатлѣнія. Глубоко благодаренъ бы былъ вашему сіятельству, еслибъ вамъ угодно было доставить мнѣ возможность ее опровергнуть и представить вамъ письменно это опроверженіе, а, можетъ быть, и опроверженіе всей книги. Для этого, разумѣется, нужна мнѣ самая книга, которой не могу имѣть иначе, какъ изъ рукъ вашихъ. Каждый русскій, каждый вѣрноподанный царя, въ которомъ весь міръ видитъ Богомъ призваннаго спасителя общественнаго порядка въ Европѣ, долженъ гордиться быть орудіемъ, хотя и ничтожнымъ, его высокаго священнаго призванія; какъ же остаться равнодушнымъ, когда наглый бѣглець, гнуснымъ образомъ искажая истину, приписываетъ намъ собственныя свои чувства и кидаетъ на имя наше собственный свой позоръ? Смѣю надѣяться, ваше сіятельство, что благосклонно примете мою просьбу и, если не заблагоразсудите ее исполнить, то сохраните мнѣ ваше благорасположеніе» (Вѣст. Европы» 1871, IX, 50—51).

¹⁾ Пожалуйста, не примите это за общую фразу.

Правда, Герценъ передалъ мысль Чаадаева не точно, вложилъ въ его уста свои мнѣнія; правда и то, что на упрекъ близкаго къ себѣ племянника Жихарева, зачѣмъ онъ сдѣлалъ такую «ненужную гадость», Чаадаевъ отвѣтилъ: «Mon cher, on tient à sa peau» ¹⁾, — но во всякомъ случаѣ письмо къ Орлову не могло бы произвести другого впечатлѣнія, чѣмъ то, какое мы испытываемъ, читая диѳирамбъ Муравьеву-вѣшателю, написанный Некрасовымъ.

3. И. С. Тургеневъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ: «Гоголь, вѣроятно, зналъ мои отношенія къ Бѣлинскому, къ Искандеру; о первомъ изъ нихъ, объ его письмѣ къ нему онъ не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но въ это время только-что появилась въ одномъ заграничномъ изданіи статья Искандера, въ которой онъ по поводу пресловутой «Переписки» упрекалъ Гоголя въ отступничествѣ отъ прежнихъ убѣжденій. Гоголь самъ говорилъ объ этой статьѣ» (Сочиненія, т. XII, 63).

4. 24 сентября 1851 г. въ № 208 «Вѣдомостей Московской Городской Полиціи» книгопродавецъ Степанъ Васильевъ напечаталъ объявленіе о продажѣ у него по дешевой цѣнѣ нѣсколькихъ изданій, въ томъ числѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1840, 1841 и 1843 г.г.

Это совпало съ рѣшеніемъ «Комитета 2 апрѣля 1848 года», по возможности, изъять изъ обращенія тѣ книжки этого журнала, въ которыхъ были напечатаны сочиненія Герцена. 12 ноября предсѣдатель комитета представилъ соотвѣтствующій всеподданнѣйшій докладъ; резолюція Николая I: «предоставить министру внутреннихъ дѣлъ распорядиться немедленно покупкою у книгопродавца Васильева, подъ рукою, чрезъ довѣренное лицо, всѣхъ этихъ книжекъ «Отеч. Записокъ» и доставленіемъ ихъ въ комитетъ 2 апрѣля».

Немедленно занялись скупкой.

26 марта 1852 г. предсѣдатель комитета 2 апрѣля обратился къ министру народнаго просвѣщенія со слѣдующимъ отношеніемъ: «Комитетъ, принявъ въ соображеніе: а) что въ числѣ 201 доставленныхъ изъ Москвы книжекъ «От. Зап.» только 15 оказались разрѣзанными, слѣдовательно, прочія пущены въ продажу, по всей вѣроятности, не подписчиками, а самую редакцію или же книжными торговцами, приобрѣвшими ихъ отъ редакціи дешевою цѣною, б) что наиболѣе замѣчательная по вредному направленію статья «Дилетантизмъ въ наукѣ» (Герцена) заключается въ №№ 1, 2 и 3 «От. Зап.» за 1843 годъ, а эти именно номера и были объявлены отъ книгопродавца Васильева въ отдѣльную продажу по 75 коп., — считалъ нужнымъ объявить редактору «Отеч. Зап.», что правитель-

¹⁾ «Дорогой мой, каждый дорожитъ своею шкурою».

ство, признавая умомянутыя выше книги этого журнала положительными, обратило на этотъ предметъ строгую свою бдительность и, если не имѣетъ еще теперь положительныхъ доказательствъ по обвиненію его, редактора, въ умышленномъ распространеніи именно этихъ книжекъ по дешевой цѣнѣ, то ожидаетъ, однако, что послѣ настоящаго предостереженія, онъ не только не позволитъ себѣ, подъ опасеніемъ всей законной отвѣтственности, выпускать вновь въ продажу могущіе еще оставаться въ редакціи экземпляры тѣхъ книжекъ, по какой бы цѣнѣ ни было, но, напротивъ, будетъ и съ своей стороны всемѣрно способствовать къ раскрытію и указанію тѣхъ экземпляровъ, которые обращаются уже въ продажѣ изъ прежде выпущенныхъ».

29 марта приглашенный въ цензурный комитетъ издатель «Отеч. Записокъ» А. А. Краевскій далъ слѣдующую подписку: «Вышеизложенное Высочайшее повелѣніе мнѣ объявлено. Экземпляровъ «От. Записокъ» за 1839 по 1848 гг. въ редакціи нынѣ не имѣется ни одного, и если бы мнѣ случилось гдѣ-нибудь найти экземпляръ 1843 года, то обязуюсь стараться изъять его изъ обращенія въ продажѣ».

10 іюля министръ внутр. дѣлъ предписалъ всѣмъ губернаторамъ, чтобы, если найдутъ гдѣ продажу «От. Зап.» 1840, 1841 и 1843 гг., немедленно скупали бы ихъ подъ рукой, а также исключили бы ихъ изъ казенныхъ библиотекъ, какъ уже исключены изъ частныхъ.

Со всей Россіи за все время въ министерство внутр. дѣлъ было прислано 117 различныхъ книгъ «Отеч. Записокъ», которыя и сжигались на дворѣ министерства (Архивъ министерства народнаго просвѣщенія, по главному управленію цензуры, дѣло № 149933). Разумѣется, гонимые номера сдѣлались сразу особенно цѣнными. По свидѣтельству современника, «статьи Герцена, напечатанныя въ Россіи до 1849 г., вырѣзались, покупались на вѣсъ золота, переплетались въ драгоцѣнные переплеты, читались съ чувствомъ, чуть не религіознымъ, переписывались друзьями счастливыхъ обладателей этого «священнаго преданія» (А. И. Герценъ. «Нѣсколько словъ отъ русскаго къ русскимъ», 5).

514. Письмо къ женѣ.

20 іюня 1851.

Ну вотъ, другъ мой, что: будто тише, и улеглось на сердцѣ. Вчера я писалъ въ Москву, и тѣма воспоминаній занимала цѣлый день... Теперь я жду твоего письма, и, если оно будетъ хорошо, то и нынче будетъ покойный день. Полков. скученъ и груститъ, онъ хочетъ на-дняхъ (когда я поѣду въ Фрейбургъ) изъ Ліона ѣхать прямо въ Марсель. Рѣшить еще ничего нельзя; одно яснѣе прочаго, что жить во Франціи скверно, и опять—Англія или Піемонтъ. Бумагъ все еще нѣтъ, ихъ-то я жду; во всякомъ случаѣ къ 1 іюля я уѣду отсюда. Здѣсь каменная плита на душѣ. Кажется, что въ Туринъ можно, отвѣтъ министра ободрителенъ. Полков. совѣтуетъ въ Эдинбургъ, я не прочь: вотъ будемъ вдали, вдали отъ всѣхъ. Если бы тебѣ было довольно меня, съ какимъ восторгомъ покатилъ бы я туда: мнѣ ничего не нужно, наконецъ; я хочу окончить жизнь съ возобновленной любовью. Но въ твоихъ ли это силахъ? Могу ли я дать столько?.. Я не вѣрю въ себя...

Итакъ, Сашѣ будетъ 12 лѣтъ. Святое, великое время 1839 года, — какъ я былъ счастливъ тогда! Зачѣмъ ты не скрыла отъ меня, какъ мало полноты ты нашла въ этомъ быломъ?—оно у меня носилось такимъ свѣтлымъ воспоминаніемъ, а теперь оно подернуто флеромъ, и я боюсь приподымать. Вѣдь, я оттого-то и былъ такъ счастливъ, что вѣрилъ столько же въ твое счастье, какъ въ свое. Еслибъ судьба утѣшила меня не во мнѣ, такъ въ Сашѣ, еслибъ, какъ я ему писалъ, я могъ бы преемственно передать мою не досказанную рѣчь и мое не додѣланное дѣло... Долею онъ получилъ это въ фибринѣ, вторая доля разовьется жизнью съ нами. Я не способенъ учить,—можетъ, со временемъ,—но къ пропагандѣ я способенъ. Ему раскрыта дорога ширины необъятной, j'ai tiré le cordon ¹⁾, стоитъ только итти.

Гранов. ждетъ еще, что я сдѣлаюсь великимъ писателемъ... Нѣтъ, моя будущность переломлена. ¹ Силь я принесъ много, оттого-то я и могъ выдержать, но на выдержку и защиту пошло все... И вотъ тутъ-то и призваніе дѣтей, рода продолжать личный трудъ, смѣнить уставшаго; тутъ дѣйствительная аристократія. Но, если и дѣти пойдутъ въ дурную сторону... это будетъ моя вина, именно оттого-то

¹⁾ «Я дернулъ шнурокъ», т. е. сдѣлалъ такъ, что отворилась дверь.

и будетъ это больнѣе, а, можетъ, и не доживу до этого — а, можетъ, переживу: несчастіе — не опиумъ, отъ котораго Шпильм. ¹⁾ не можетъ отдѣлаться, все мелеть жерновъ...

Вчера былъ у меня Абель ²⁾. Какой онъ отвратительный дуракъ, дуракъ-нѣмецъ: это не то, что дуракъ всѣхъ странъ,—подхалюзный дуракъ. Онъ мнѣ былъ противенъ: ни такта, ни деликатности, словомъ, нѣмецъ.

Письма, видно, не будетъ. Вчера тоже не было. ²

◆◆ 1. Незадолго до этого Герценъ получилъ письмо Грановскаго, гдѣ между прочимъ говорилось: «Если бы здѣшніе друзья твои могли отправиться en pélérinage ³⁾ къ тебѣ, они пошли бы и привели бы съ собою много лицъ, тебѣ неизвѣстныхъ. О тебѣ осталось исполненное любви воспоминаніе не у однихъ насъ, близкихъ тебѣ. Я долженъ былъ раздать всѣ бывшіе у меня портреты твои (кромя одного парижскаго) разнымъ юношамъ. Книги твои дошли до насъ. Я читалъ ихъ съ радостью и съ горькимъ чувствомъ. Какой огромный талантъ у тебя и какая страшная потеря для Россіи, что ты долженъ былъ оторваться отъ насъ и говорить чужимъ языкомъ. Но, съ другой стороны, я не могу помириться съ твоимъ воззрѣніемъ на исторію и на человѣка. Оно, пожалуй, оправдаетъ Гейнцена и tutti quanti. Для такого человѣчества, какое ты представляешь въ статьяхъ своихъ, для такого скуднаго и бесплоднаго развитія не нужно великихъ и благородныхъ дѣятелей. Все, что ты писалъ до сихъ поръ, безконечно умно, но оно обличаетъ какую-то усталость, отрѣшено отъ живого движенія событій. Ты стоишь одинокъ. Ты, скажу безъ увеличенія, значительный писатель; у тебя есть условія сдѣлаться великимъ писателемъ, но то, что было въ Россіи живого и симпатичнаго для всѣхъ въ твоемъ талантѣ, какъ будто исчезло на чужой почвѣ. Ты пишешь теперь для немногихъ, способныхъ понять твою мысль и не оскорбиться ею» («Грановскій и его переписка», II, 447).

2. На это письмо Н. А.—на отвѣчала 23 іюня:

«Въ Эдинбургъ, такъ въ Эдинбургъ! Изъ предыдущихъ писемъ моихъ ты могъ ужъ увѣриться, другъ мой, что я готова всюду; гдѣ будетъ хорошо вамъ, тамъ и мнѣ хорошо. Здоровье дѣтей сначала заботило меня очень, теперь они такъ здоровы и окрѣпли,

1) Шпильманъ.

2) ?

3) Пилигримами.

что Сашѣ Фогтъ дивится; стало, климатъ не будетъ имѣть много-призу надъ ними, а мы выучимся съ ними по-англійски.

«А, въ самомъ дѣлѣ, отчего не прожить нѣсколько лѣтъ въ Англій? Я желаю.

«Благодарю тебя за письмо твое Сашѣ: у него каждый разъ слезы на глазахъ. Сегодня ужъ ему некогда отвѣчать тебѣ. Жаль, не удастся мой планъ: для дня рожденія Саши я думала посадить всю молодежь въ одну коляску, — всѣхъ знакомыхъ мальчиковъ у Саши человѣкъ восемь,—шляпы съ цвѣтами, и потомъ двѣ коляски съ нашими дѣтьми и другими маленькими, да дождь и, кажется, на нѣсколько дней. Грустно, что тебя не будетъ.

«Въ Сашѣ тебѣ нечего сомнѣваться, другъ мой,—благородная натура, а потомъ близость съ тобою; я и въ себя вѣрую много въ этомъ отношеніи. Никогда мнѣ не придетъ въ голову такой страшный вопросъ: «но если и дѣти пойдутъ въ сторону?». Съ такимъ вопросомъ въ груди я бы жить не могла. Стоитъ только взглянуть на ихъ лица, и почувствуешь, что вопросъ этотъ—великій грѣхъ. Сегодня я прослѣдила цѣлый урокъ Коли,—неоцѣненный человѣкъ Шпильманъ; жаль, испортилъ себя,—все еще плохъ.

«Грустно и страшно безъ тебя, что ты тамъ одинъ. А тебѣ, можетъ, и недурно вовсе!»

«Головинъ собирается въ Лондонъ; не надо его туда, гдѣ мы будемъ; все, что онъ дѣлаетъ,—думаютъ, что по твоему внушенію, оттого, что, *де*, ты его содержишь.

«Вдемъ, ѣдемъ другъ мой, всюду, куда ты хочешь! Обнимаю тебя... Опять скажешь, что записочка, да что же сказать еще? и такъ поздно. Твое письмо принесли въ 6-мъ часу, — пора на почту».

515. Письмо къ А. А. Герцену.

20 іюня 1851.

Парижъ.

Любезный Саша, тебѣ черезъ пять дней будетъ двѣнадцать лѣтъ. Поздравляю тебя, мой другъ, ты становишься больше и больше человѣкомъ. Пора тебѣ продолжать начатое мною: я самъ былъ по-тринадцатому году, когда пошелъ по трудной дорогѣ, и вотъ двадцать пять лѣтъ шель я по ней; ни тюрьма, ни ссылка, ни даже вы всѣ не отклонили меня, я служилъ на пользу Россіи словомъ и дѣломъ... Теперь я усталъ, но тебѣ приготовилъ и мѣсто, и имя, которое ты можешь носить съ гордостью; ты будешь умѣть вос-

пользоваться ими, ты будешь продолжать спокойнѣе и дольше—я буду радоваться твоимъ успѣхамъ. Но для этого первое дѣло — образованіе: учись, учись и учись.

Я тебѣ привезу рельефныя карты географическія, — это мой подарокъ. А пока возьми у мамы 10 франковъ и истрать ихъ, какъ хочешь. Проведи этотъ день весело,—это будетъ второй разъ, что я этотъ день провожу не съ тобой: въ 1849 году я былъ въ Женевѣ,—это былъ дурной годъ.

Прощай, цѣлуй Тату, Олю и Колю, ein Gruss ¹⁾.

Также и бабушку.

Сегодня я иду смотрѣть оперу, сдѣланную изъ «Пикової дамы» Пушкина ²⁾.

Надѣюсь, что ты мои письма бережешь.

Обнимаю тебя.

Бду въ Лувръ. Сегодня второй день, что писемъ нѣтъ.

516. Письмо къ Н. А. Герценъ.

(Іюнь 1851).

Тата, поцѣлуй Колю и Олю.

Palmier ³⁾ свихнулъ себѣ послѣднюю ногу и лежитъ, — и писалъ ко мнѣ, чтобъ для развлеченія я прислалъ дагеротипъ Таты и Саши.

517. Письмо къ А. А. и Н. А. Герценамъ.

(Іюнь 1851).

Саша и Тата, папаша васъ цѣлуетъ много и много. Письмами Таты я очень доволенъ, также и Колиными, но ты, Саша, могъ бы писать побольше обо всѣхъ и о твоихъ занятіяхъ, какъ и гдѣ съ Женни ⁴⁾ гуляете. Поклонись ему. А ты, Тата, скажи Роккѣ, что я всякій день вспоминаю о его кофеѣ,—здѣсь прескверный. Оленькѣ поклонь.

¹⁾ Привѣтъ.

²⁾ Музыка Галеви, либретто Скриба, «La dame de pique»; впервые поставлена въ Парижѣ 28 декабря 1850 г.

³⁾ Докторъ въ Парижѣ.

⁴⁾ Учитель ботаники.

518. Письмо къ женѣ.

21 іюня 1851.

Судьба полковника и ихъ обоихъ ¹⁾ не такъ легко сложена, другъ мой, какъ ты думаешь. Есть люди, рожденные съ силой, съ свѣтлымъ взглядомъ, съ энергіей, натуры полныя надеждъ, лучезарныя; они не вырабатываютъ *изъ себя* яда, но страшно страдаютъ, когда имъ даютъ отраву. Они вѣрны себѣ, отражая боль страданіями и улыбкой — счастье. Долею я принадлежу къ такимъ натурамъ. Я юношей не искалъ ни Огар., ни тебя; встрѣтившись съ вами, я не сразу, а мало-по-малу я наполнялся любовью къ вамъ; мнѣ надобно было уѣхать въ Вятку, чтобъ отдать себѣ отчетъ. Тебя я полюбилъ всей способностью любви въ моей душѣ и вѣрилъ безпредѣльно, и безпредѣльно палъ потомъ, и безпредѣльно страдаю, даже не думаю, чтобъ когда-либо изгладился, излѣчился рубецъ, нанесенный прошлымъ годомъ. Полковникъ—совѣмъ напротивъ: онъ страданьемъ любитъ, онъ страданьемъ чувствуетъ, мыслить, для него жизнь не пиръ, не праздникъ, а болѣзнь; онъ слабъ тѣломъ, онъ не вѣритъ въ себя, онъ мучаетъ ее, потому что онъ самъ мучается. Онъ страшно привыкъ ко всему, что пугаетъ душу *et il a une certaine intempérance de style qui la lui fait non seulement avouer mais renchérir sur son scepticisme etc.* ²⁾. Я понялъ, что онъ ее ужасно любитъ, только въ ихъ пріѣздъ изъ Неаполя. Прежде я думалъ, что ихъ связь—связь дружбы, участія, привычки, потомъ увидѣлъ съ его стороны раздражающую страсть, а съ ея—раздражительную. Они влекутъ себя къ гибели, имъ надобно не такъ тѣсно жить вмѣстѣ: больше пространства, больше интересовъ, — горе строящимъ домъ свой не въ своей и не во всемірной груди. Но я скорѣе думаю, что все обрушится на немъ, а не на ней.

Теперь иду въ посольство швейцарское; кажется, бумаги пришли. Это дѣло окончено. Больше недѣли здѣсь не пробудемъ, а тамъ черезъ Фрейбургъ.

Вчера былъ у меня Мишле, — онъ вельми доволенъ брошюрой ³⁾.¹

¹⁾ Энгельсоны.

²⁾ И онъ обладаетъ нѣкоторою невоздержностью слога, которая заставляетъ его не только признаваться въ своемъ скептицизмѣ, но и преувеличивать его и т. д.

³⁾ «Du développement» etc., № 513.

Дѣтямъ сегодня не пишу. Записочку твою отъ 17 принесли. Прощай. Цѣлую дѣтей и вдову грудную ¹⁾).

Р. С. Добрый сынъ и злой интендантъ могутъ говорить что-угодно, я поѣду въ Туринъ черезъ Швейцарію и въ Ниццѣ буду.

22. Полковникъ собирается ѣхать прямо къ вамъ, онъ не можетъ жить безъ нея; я люблю и уважаю его любовь. Онъ нездоровъ. Пальмье находитъ, что онъ *мноіо* имѣетъ порчи въ организмѣ, — объ этомъ, разумѣется, не говори. Я полагаю, что онъ поѣдетъ 27 или 28. Итакъ, къ 4 будетъ дома: ровно мѣсяць. Я долго въ Фрейбургѣ не заживусь.

◆◆ 1. Мишле познакомился съ Герценомъ у Алоизія Бернацкаго 17 іюня; онъ искалъ этого знакомства въ цѣляхъ лучшаго изученія революціоннаго движенія въ Россіи и его главныхъ представителей въ прошломъ. Тогда онъ писалъ свои знаменитыя «Легенды» («Légendes démocratiques du nord»). Оба стали скоро близки другъ къ другу и оба высоко цѣнили эту дружбу; изъ послѣдующихъ писемъ Герцена и комментарий къ нимъ читатель увидить это полнѣе (G. Monod, «La Revue» 1907, №№ 10 и 11).

519. Письмо къ женѣ.

22 іюня 1851. Воскресенье.

Вотъ твое письмо отъ 18. Я до такой степени привыкъ быть откровеннымъ, другъ мой, что и теперь признаюсь, что, несмотря на глубокое чувство симпатіи къ тому, что ты пишешь о воспитаніи, все вмѣстѣ произвело на меня опять тягостное дѣйствіе. Я хочу невозможнаго: я хочу любви 1838 года, той, въ которую я вѣрилъ; я готовъ ревновать къ дѣтямъ, мнѣ что-то мало въ этомъ, мнѣ что-то кажется это удаленіемъ отъ меня, желаніемъ занять себя,—и снова ужасъ исполняетъ мою душу. Да, я молодъ, я жажду еще любви для себя, но ужъ ея не будетъ. Я долженъ абдикировать ²⁾, а какъ трудно скидается корона послѣ 11 лѣтъ... Зачѣмъ я не умѣлъ *дожить* себя въ эти 11 лѣтъ? Зачѣмъ воскресли мечты юности тогда, когда, ранену на-вылетъ, мнѣ осталось итти въ инвалиды...

¹⁾ Ольгу.

²⁾ Abdiquer — слагать съ себя, отречься отъ какого-нибудь званія или права.

Но не перетолкуй словъ моихъ. Да, соединимся на великомъ дѣлѣ воспитанія, — надгробная группа своего бывшего, поставленная въ поученіе юной жизни... да, да. Ты видѣла, мой дебютъ недуренъ; я буду писать для Саши; это мнѣ легче, нежели давать уроки. Но только я ему буду проповѣдывать не одну любовь, а и ненависть: кто никогда не ненавидѣлъ, тотъ еще не жилъ вполне; какое это живое, вѣчно присущее, вѣчно жгучее чувство. Въ моей жизни недоставало долго этой ненависти... она взошла. Не одну вѣру надобно проповѣдывать, но готовить къ сомнѣнію, готовить къ тому, что жизнь принесетъ потомъ изъ-за угла, à l'improviste ¹⁾).

Съ полковникомъ много толковали мы вчера; для него Ал. Хр. — его дитя, словомъ, вся сторона сердца. Боюсь я за него. И онъ-то на словахъ такъ бравировалъ и говорилъ, что женился для того, чтобъ ей было ѣхать съ нимъ, и радъ бы былъ новой встрѣчѣ... Я, можетъ, очень ошибаюсь, но не думаю, чтобъ она могла такъ любить: она порывиста, но скупа собой. Встрѣча съ ними весьма замѣчательна, я желалъ бы ее сдѣлать полезною, но трудно имѣть вліяніе на него.

Прощай! Гран. пророчить мнѣ судьбу великаго писателя, а я до того утратилъ всякій талантъ, всякую охоту писать, кромѣ писемъ къ тебѣ, что досадно: просто двухъ словъ не умѣю связать.

Теперь опять о проектахъ. Жить или не жить въ Нидцѣ зависитъ не отъ меня, не отъ интенданта, а отъ извѣстной тебѣ твари. Зачѣмъ *mir nichts, dir nichts* ²⁾ переѣзжать изъ города, гдѣ все есть для ученья? Въ южной Франціи для климата хорошо, но такъ, какъ дѣла идутъ, жить въ провинціи во время полицейскаго террора невозможно. Швейцарія вся открыта, но тамъ есть одно дыханіе лишнее, и въ этой близи можетъ прійти мнѣ желаніе приостановить его ³⁾). Можетъ, пустякъ и въ Парижѣ остаться, — это я узнаю черезъ Бернацкаго ⁴⁾), но все же нечего ѣхать теперь. Я не могу думать, чтобъ не пустили въ Пиемонтъ, — тогда успѣемъ перемѣнить планы. Теперь 20 іюля я въ Ниццѣ.

Что за полякъ былъ у васъ? будьте осторожны.

Письма до моего приказа адресуйте попрежнему Мар. Каспар.

«Мольеръ» Ж. Санда изъ рукъ вонъ плохъ, а могъ бы быть хорошъ.

¹⁾ Нежданно, врасплохъ.

²⁾ Мнѣ ничего, тебѣ ничего.

³⁾ Въ Цюрихѣ жили Гервеги.

⁴⁾ Алоизій, графъ, былъ маршаломъ дворянства одной польской губерніи; во время революціи 1831 г. — министръ финансовъ и папскій нунцій отъ польской діеты; послѣ конфискаціи его имѣній жилъ въ Парижѣ эмигрантомъ въ большой бѣдности.

520. Письмо къ женѣ.

24 іюня 1851.

Записочку твою отъ 19 вчера получилъ. Въ Лондонъ я не поѣду: у меня нѣтъ никакихъ любопытствъ, а что можно было узнать, я узналъ. Брайтонъ — городъ полуфранцузскій и возможный, въ Эдинбургѣ жить дешево. Сегодня Бернацкій спрашиваетъ позволенія, въ случаѣ нужды, проѣхать черезъ Францію. Все это въ предположеніи, что нельзя остаться въ Пиемонтѣ. На югѣ Франціи я раздумалъ селиться не по капризу, а потому что терроръ растеть со всякимъ днемъ; тамъ нельзя отвѣчать за одинъ часъ,— что это за жизнь.

Документы всѣ пришли. Барманъ выдалъ пассъ швейцарскій, Сардинское королевство визировало; слѣд., сообщенія нѣтъ. Завтра вечеромъ мы выѣзжаемъ, а 27 я оставляю полковника въ Ліонѣ и ѣду въ Фрейбургъ, куда буду 1 іюля. Письмо теперь можешь адресовать—à Fribourg (Suisse), poste restante.

Вчера у меня сидѣлъ часа три Мишле; успѣхъ моей брошюры въ серьезномъ кругу велий; вообще меня что-то здѣсь ласкаютъ— не понимаю, отчего. Я былъ вчера же у Ротшильда; онъ меня принялъ съ величайшимъ радушіемъ и, узнавши, что я собираюсь въ Лондонъ, велѣлъ безъ моей просьбы написать рекомендательное письмо къ Lionel Ротшильду. Онъ мнѣ сообщилъ, что О'Коннель Авидоръ ¹⁾ прибылъ въ здѣшнюю столицу; я его постараюсь увидѣть.

Франкъ ²⁾ отошлетъ три карты выпуклыя на Висконти: Европа, Швейцарія и Россія; другихъ, кромѣ Германіи (которую я Сашѣ позволяю не знать), нѣтъ: господинъ этотъ обанкротился. Я сейчасъ иду съ Мар. Касп. покупать всякую всячину.

Внутри я продолжаю мучиться на другую методу, но все такъ же: пустота, боль, страшныя воспоминанія. Вѣдь, ты все это понимаешь очень хорошо, что иначе быть не можетъ; ты только не ищи, насколько ты понимаешь! Того покойнаго довѣрія, о которомъ ты пишешь, нѣтъ; мнѣ все кажется, что ты изъ сожалѣнія, изъ ре-зигнаціи успокаиваешь. Благодарю и за это, но не того хотѣлось бы. Я смотрю на полковника и думаю: любовь истинная, это—анаѴема,

¹⁾ Банкиръ изъ Ниццы.

²⁾ Книгопродавецъ.

которая рано или поздно стащить челоѣка въ пропасть; надобно легче любить, тогда это чувство бросаетъ вѣнки изъ розъ; какъ онъ страдаетъ и въ разумѣ, и въ сознаниі того, что онъ *не такъ* любить. Я утѣшаю его, пользуясь тѣмъ, что имѣю два фунта стеарина въ день на собственное сожженіе, которыхъ у него нѣтъ. Мы даже ни разу весело не выпили бутылки вина, хоть пили много.

Какъ нелѣпо и бѣдно замышленъ «Мольеръ» Ж. Санда; посылаю тебѣ съ полков. экземпляръ; подумай, что бы можно было сдѣлать, если бъ она представила, что жена Мольера его прежде, въ самомъ дѣлѣ, любила. Впрочемъ, прочтите.

Въ «Республикѣ» и въ «Univers» было напечатано объ моей исторіи въ Сардиніи. По всему, стало, отсюда отправляться пора. Скажи... ¹⁾, что Шидеру 820 фр., т. е. 400 гульденовъ, послалъ.

Дѣтушки-мелкота,
Отворяйте ворота,
Скоро пріѣдетъ вашъ папаша.
Рады ли вы ему будете?
Умны ли вы?

Мнѣ полковникъ все напишетъ, онъ пріѣдетъ прежде меня.

А ты, милый Саша, пожалуйста, не пиши въ твоихъ письмахъ каламбуровъ—зачѣмъ перенимать одно дурное? Пиши просто, это всего лучше.

Сейчасъ письма отъ 19 и 20-го. Благодарю за нихъ. Что Ал. Хр. пишетъ насчетъ причинъ высылки,—это смѣшно мнѣ такъ, что я напечатаю все это въ позоръ дураку-интенданту.

Въ Туринъ ѣду и буду тамъ около 10-го.

Сейчасъ увижу Авигдора.

521. Письмо къ Н. А. Герцену.

(Іюнь 1851).

Ich küsse dich auch viel mal, lieber Коля, sei gesund und munter. Sage Spillmann, dass ich in einer Woche ihm mein neues Buch schicken werde.

¹⁾ Фамилія не разобрана.

Переводъ.

Цѣлую тебя также много разъ, милый Коля; будь здоровъ и бодръ. Скажи Шпильману, что я въ теченіе недѣли пошлю ему свою новую книгу.

522. Письмо къ А. А. Герцену.

25 іюня (1851).
Парижъ.

Для дня твоего рожденія, любезный Саша, я выѣзжаю отсюда и приближаюсь къ вамъ; для меня нѣтъ лучше средства праздновать этотъ день; безъ васъ, вдали отъ васъ мнѣ скучно.

Я привезу, сверхъ картъ, очень умную игрушку для тебя и Коли вмѣстѣ: два телеграфа со всѣми знаками большихъ телеграфовъ, такъ что ты можешь сообщать черезъ столъ Колѣ все, что хочешь. Но для этого надобно выучиться знакамъ. Я увѣренъ, что Коля пойметъ тотчасъ, а ты постарайся ему хорошенько объяснить.

Ѣдемъ мы сегодня вечеромъ, ночью будемъ въ Тонеррѣ, утромъ въ Дижонѣ, а ночью въ Ліонѣ. Тамъ мы отпразднуемъ именины бабушки, а 28 разъѣдемся; 29 къ ночи я приѣду въ Женеву, а 1 іюля буду въ Фрейбургѣ. Ты всякій день можешь, стало, по картѣ справляться.

Я выбралъ тебѣ матерію на платье, которое Мат. даритъ. Ну, а какъ не понравится? Я точно такое подарилъ Мар. Кас. и, чтобъ лучше его разглядѣть, прибавилъ зрительную трубочку.

Я радъ, что я ѣду; особенно буду радъ, когда уѣду. Что-то этотъ разъ я сдѣлался очень львомъ, въ модѣ; вчера получилъ письмо отъ одного профессора. Все это должно разрѣшиться полицейской гадостью; наконецъ, это надобно.

Пиши тотчасъ въ Фрейбургъ.

523. Письмо къ Н. А. Герценъ.

(Іюнь 1851).

Милая Тата,

Я вчера обѣдалъ у твоего стараго пріятели, у Пальмье, и мы поминали объ тебѣ и пили за здоровье мамы и васъ.—Обезьянокъ здѣсь нѣтъ, а я поищу что-нибудь другое. Ты только будь

умна; тотчасъ вставай съ постели, какъ проснешься. Цѣлуй тебя очень много и Оленьку.

Папа.

Сейчасъ была Элиза ¹⁾ и съ своей маленькой дочкой, на ней твоя шляпка. Элиза кланяется премного.

Поцѣлуй Сашу.

524. Письмо къ женѣ.

28 іюня 1851.
Женева. Кафе.

Что со мною и какъ, суди сама.

Онъ ²⁾ все рассказалъ Саз. ³⁾... Такія подробности, что я безъ дыханья только слушалъ. Онъ сказалъ, что «ему жаль меня, но что дѣло сдѣлано, что ты упросила молчать, что ты черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, *когда я буду покойнѣе*, оставишь меня»...

Другъ мой! Я не прибавлю ни слова. Саз. меня спросилъ, что это, будто ты больна. Я былъ мертвый, пока онъ говорилъ. Я требую отъ тебя отвѣта на послѣднее. Это все превзошло самую смѣлую мечту. Саз. рѣшительно все знаетъ... Я требую правды... Сейчасъ отвѣчай; каждое слово я взвѣшу. Грудь ломится... И ты называешь это связнымъ развитіемъ.

Бду я завтра въ Фрейб... Такъ глубоко я еще не падалъ. Письмо ко мнѣ въ отвѣтъ на это адресуй въ Туринъ, *poste restante*.

Неужели это о тебѣ говорятъ?.. О, Боже, Боже, какъ много мнѣ страданій за мою любовь... Что же еще... Отвѣтъ, отвѣтъ въ Туринъ! ¹⁾

◆◆ 1. До свиданія въ Туринъ, на которое Герценъ ѣхалъ изъ Фрейбурга, а Н. А.—на изъ дома (въ Ниццѣ), Герценъ писалъ къ ней еще, по крайней мѣрѣ, три раза; письма его не сохранились. Три письма Н. А.—ны сохранились; первое изъ нихъ—отвѣтъ, котораго такъ требовалъ мужъ.

3 іюля 1851: «Другъ мой, другъ мой, если бъ у меня были крылья!.. какъ бы полетѣла я къ тебѣ! Невыносимо.. Я не знаю,

¹⁾ Бывшая горничная.

²⁾ Гервегъ.

³⁾ Н. И. Сазоновъ.

что со мною послѣ твоего послѣдняго письма, и не умѣю сказать ничего. Знаю только, другъ мой, что люблю тебя всею способностью любви во мнѣ, что одна смерть можетъ оторвать меня отъ тебя. Послѣднее время доказало это еще яснѣе. И еще, — я тоже буду откровенна, — скажу тебѣ, что мнѣ страшно за мою любовь къ тебѣ: она слишкомъ хороша, она робка, мой другъ, у нея въ памяти еще слишкомъ живо страданіе быть не понятою, не оцѣненною, не нужною, быть любимою не такъ же... Ну пусть! Судьба моя вполнѣ рѣшена: жить и умереть для тебя... Дѣти... они тоже — ты. Ты сдѣлаешь изъ этого что хочешь.

«Обнимаю тебя, Александръ! Будь здоровъ и спокоенъ!»

4 июля: «Александръ, мой Александръ, будемъ страдать вмѣстѣ! другъ мой, какъ тяжело! Какъ мнѣ жаль тебя, тебя, мой другъ! и что же я могу сдѣлать? Да, я бы обняла тебя крѣпко... и такъ бы умерла съ тобою, если ты не хочешь болѣе жить или не вѣришь мнѣ, если я не могу ничего для тебя... Теперь мнѣ кажется и воспитаніе — пустяки: у дѣтей хорошая натура, она спасетъ ихъ... Тяжело жить, другъ мой, невыносимо, когда я знаю, что ты такъ страдаешь. Вчера я не могла болѣе выносить общества, поѣхала вечеромъ къ Ал. Хр. (Энгельсонъ — *М. Л.*), долго ѣздила... Страшно взойти въ домъ безъ тебя. Да, я не могу оставаться болѣе такъ, я поѣду къ тебѣ въ Туринъ 7-го или раньше, чтобъ 8-е быть тамъ; ты справишься въ Hôtel Feder. Грудь, всѣ кости точно переломаны, мозгъ что-то не коснѣетъ... Съ ужасомъ думаю, что еще два дня ждать 7-го да два дня на дорогѣ... Если нѣтъ меня въ Туринѣ 8-го, значитъ что-нибудь задержало здѣсь, — не жди и пріѣзжай; пишу тебѣ, что буду, можетъ быть, для того, чтобы не разѣхаться...

«Сейчасъ говорила съ Рокка, послала его взять мѣсто въ почтовой каретѣ на воскресенье, въ половинѣ пятаго пополудни; стало, къ утру вторника мы, можетъ, съѣдемся вмѣстѣ въ hôtel...

«Сердце бьется, бьется, перестаетъ биться, духъ захватываетъ... О, еслибъ я могла утѣшить тебя, другъ мой, успокоить!.. Обнимаю, обнимаю тебя».

7 июля: «Вчера получила твое письмо, гдѣ ты пишешь, что не прежде 10-го будешь въ Туринѣ; я отложила тоже ѣхать до завтра: два дня лишнихъ безъ дѣтей и ждать тебя — ужасно было бы.

«Наконецъ, другъ мой, я не знаю вовсе, что сказать на твои упреки послѣ всего того, что уже сказала. Мнѣ кажется, послѣ нихъ и ѣхать мнѣ не зачѣмъ... для тебя... Тата неутѣшна съ тѣхъ поръ, какъ знаетъ, что я ѣду. «Папа большой и одинъ пріѣдетъ».

или возьми меня, меня съ собой». Я говорю: «горы высокія, дѣтямъ опасно ѣздить тамъ». — «Лучше я умру съ тобою, чѣмъ останусь безъ тебя» — и все это такъ тихо, тайкомъ отъ другихъ. Вотъ ждуть страданія-то въ жизни такую натуру... Оно глупо, а сердце разрывается, слушавши ее, но не могу, на этотъ разъ поступлю эгоистически: если не для тебя, для себя поѣду; мнѣ нужно тебя видѣть и слышать, мой другъ, мнѣ такъ тяжело. Для Наташи, можетъ, много и хорошаго будетъ въ жизни, а для меня солнце на закатѣ и время на утратѣ.

«Итакъ, до свиданія, Александръ... Зачѣмъ я ѣду? Последнее письмо твое такое холодное»...

525. Письмо къ А. А. Герцену.

28 іюня (1851).

Здравствуй Саша! Часто ли ты думаешь обо мнѣ, маленькій другъ мой? думай: мнѣ отъ этого будетъ веселѣе, легче. Я, можетъ, приѣду скорѣе, нежели думалъ,—можетъ, около десятаго. Какъ бы я дорого далъ, еслибъ я могъ теперъ перейти къ вамъ, посмотрѣть, какъ ты и Тата спите.

Прощай, другъ мой.

Въ Фрейбургъ я приѣду 30 іюня, пробуду 5 дней; если 6 выѣду, то 8 буду въ Туринѣ.

Опиши мнѣ, какъ ты встрѣтилъ полковника ¹⁾).

526. Письмо къ М. К. Рейхель.

29 іюня (1851). Утро.
Женева.

Сегодня вечеромъ я ѣду въ Фрейбургъ и, слѣдственно, завтра буду тамъ; пробуду никакъ не долѣе 4 или 5 дней; стало, получивши это письмо, вы можете отправить, буде есть еще письма, просто въ Туринъ, *poste restante*.

Ступивши на швейцарскую землю, я почувствовалъ, дѣйствительно, себя свободнымъ; да, здѣсь до военнаго занятія всей страны опасности нѣтъ; сверхъ того, швейцарца, въ самомъ дѣлѣ, нельзя

¹⁾ В. А. Энгельсонъ.

изгнать изъ Пиемонта,—стало, съ этой стороны все хорошо ¹⁾. Съ другихъ сторонъ что вамъ сказать? я состарѣлся. Это писалъ я вамъ, это вы видѣли сами; минутами какъ будто я попадаю на старую колею, но нѣтъ того элемента лимпидности ²⁾, темная вода, мутно, туманно и очень не забавно. А, вѣдь, вы, Марья Каспаровна, очень добро меня встрѣтили и проводили. Дайте вашу руку, старые друзья; смотрите, чтобъ долгое отсутствіе, инья занятія не ослабили (вы не сердитесь,—натура человѣка слаба, измѣнчива, въ ней нѣтъ ничего завѣтнаго) въ васъ вашей дѣятельной дружбы. Можетъ, жизнь опять столкнетъ насъ—все можетъ быть, потому что все случайно.

Вѣроятно, вы отослали уже отвѣтъ Бернацкаго.

Прощайте, жму руку Рейхелю.

Доволенъ ли былъ Маврикій ³⁾ игрушками?

Полковникъ печальный поплелся изъ Ліона; онъ много страдаетъ, оттого что много любитъ; онъ сжегъ себя внутреннимъ огнемъ, и этотъ огонь не зальешь ваннами пальмовыми.

Еще разъ прощайте. Кланяйтесь Бернацкому.

527. Письмо къ женѣ.

(29—30 іюня 1851).

Дѣтей обнимаю, буду имъ писать изъ Фрейбурга, а теперь некогда: надобно кой-куда сходить. Я поздно вчера легъ и проспалъ сегодня.

Маменькѣ и всѣмъ, какъ слѣдуетъ.

Зачѣмъ заплатили за книги, которыя воротились? Гол. ⁴⁾ долженъ былъ ихъ требовать изъ Турина.

528. Письмо къ А. А. Герцену.

2 іюля (1851).
Фрейбургъ.

Любезный Саша,

Вчера ѣздилъ я съ здѣшнимъ канцлеромъ въ Мора ⁵⁾ и оттуда съ префектомъ въ деревню, которая насъ приняла: Бургъ,

¹⁾ Герценъ узналъ, что пиемонтскія власти должны будутъ считаться съ нимъ, какъ съ швейцарскимъ гражданиномъ.

²⁾ Limpidité—чистота, прозрачность.

³⁾ Морицъ—сынъ А. Рейхеля отъ перваго брака.

⁴⁾ И. Г. Головинъ.

⁵⁾ Morat (по-нѣмецки—Муртенъ).

а по-французски Шатель. Маленькая деревенька; жители вышли навстрѣчу, и синдикъ сказалъ мнѣ рѣчь на изломанномъ нѣмецкомъ языкѣ, на которую я отвѣчалъ, какъ умѣлъ; потомъ поднесли мнѣ огромный стаканъ вина, и учитель школы сказалъ свою рѣчь. Синдикъ извинялся, что не успѣли приготовиться и, главное, что не стрѣляли. Люди они всѣ добрые и простые, мной остались очень довольны и звали пріѣхать со всѣми на будущій годъ. Прощай, другъ мой.

Цѣлую Тату, Колю, Оленьку.

Бабушкѣ поцѣлуй руку.

529. Письмо къ женѣ.

5 іюля (1851). Суббота.
Женева.

Чась тому назадъ пріѣхалъ я сюда,—вотъ ужъ и ближе къ тебѣ, мой другъ; не знаю, какъ-то пойдетъ въ Піемонтѣ; думаю выѣхать послѣ-завтра въ 11 вечеромъ, а, если не найду мѣсто, то 8; стало, 10 буду въ Туринѣ и 13 могу быть дома; но это еще не вѣрно.

Праздникъ здѣсь колоссальный; я былъ, дѣйствительно, тронуть величіемъ приема федеральнаго знамени и депутаціи изъ Аргау. Да, что ни говори, а здѣсь республика.

Писать не могу: усталъ ужасно; въ часъ ночи сѣлъ я въ дилижансъ и пріѣхалъ, не выходя, почти въ четыре часа передъ обѣдомъ. Но усталъ мнѣ благодѣтельна, только рука не пишетъ, и мысли не вяжутся.

Я все разузналъ насчетъ воспитанія въ Вэвэ¹⁾—если нужно, можно и тамъ быть, а, сверхъ того, мы ни разу не думали объ итальянской Швейцаріи, т. е. о Тессинѣ; говорятъ, Лугано—очень милый городъ, и пока не будетъ европейской войны, тамъ жить можно.

Прощай, другъ мой, мнѣ нѣсколько лучше, но все это зависитъ отъ сновидѣнія, отъ воспоминанія, отъ ничего.

Дѣтей цѣлую.

Шамбери²⁾—вздоръ.

¹⁾ Vevey.

²⁾ Главный городъ Савойи, тогда въ Сардинскомъ королевствѣ.

530. Письмо къ женѣ.

(Юль 1851).

Еще дополненіе для полковника. Дядя Саз. ¹⁾ прислалъ ему сенатское и царское рѣшеніе объ немъ. Сенатъ приговорилъ къ ссылкѣ въ каторжную работу за ослушаніе Высочайш. повелѣнія, но госуд. совѣтъ смягчилъ, и Государь утвердилъ... *Risum teneatis* ²⁾. *Осудить ея, Сазонова, на вѣчное изинаніе изъ предѣловъ имперіи*,— вотъ наказаніе-то для эмигранта. Дядя ему прислалъ 6.000 фр., и онъ ѣдетъ въ Лондонъ.

Нѣмецъ, который видѣлъ въ Прагѣ Бакунина, говорилъ, что послѣднее время его держали *прикованнымъ* къ стѣнѣ!

531. Приписка къ А. А. Герцену.

10 іюля 1851.

Туринъ.

Мамаша тебѣ такъ много пишетъ, что меня прижала къ краю. Зато скоро, другъ мой, поговоримъ: я думаю, черезъ три дня мы можемъ отправиться.

532. Приписка къ Н. А. Герценъ.

13 іюля 1851.

Туринъ.

Ну, вотъ мы и ѣдемъ, и ѣдемъ; машина постукиваетъ, лошади фыркаютъ, бичъ хлопаеть, все ѣдемъ и вдругъ—пріѣхали. Франсуа бѣжить отворять ворота, Рокка жарить и печеть. А Тата-то—та бѣжить, кричитъ и—бухъ папашѣ на шею...

Смотри за Хоецкимъ, чтобъ онъ не шалилъ.

Александрѣ Христіановнѣ поклонись пониже да руку пожми покрѣпче. ¹

¹⁾ Н. И. Сазоновъ.

²⁾ Держитесь отъ смѣха. Изъ полной латинской поговорки опущено послѣднее ея слово—*amicis!* (друзья!)

◆◆ 1. Приписано къ слѣдующему письму Н. А—ны:

«Таточка, душечка, ласточка, звѣздочка, цвѣточекъ, радость ты моя! Я тороплюсь къ тебѣ. Скоро увижу тебя, и какъ намъ будетъ весело вмѣстѣ! Я расскажу тебѣ, какъ я ѣздила по горамъ, по доламъ. А пока до меня, крошечка моя, будь здорова и весела, и умна. Поцѣлуй Олю такъ, какъ я тебя цѣлую. Пупоньку обними. *Твоя мама*».

533. Письмо нъ А. А. Герцену.

13 іюля 1851.

Туринъ.

Можетъ быть, любезный Саша, мы успѣемъ пріѣхать во вторникъ, а въ среду почти навѣрное можешь ожидать въ дилижансѣ, который идетъ изъ Генуи; онъ останавливается, кажется, въ Hôtel York. Получилъ ли ты телеграфъ? Научи Колю играть,—это игрушка преумная и должна его много забавлять.

Я съ глубокимъ удовольствіемъ прочелъ въ письмѣ Энгельсона, что онъ доволенъ твоимъ поведеніемъ. Впрочемъ, тебѣ тринадцатый годъ и, еслибъ мы были люди бѣдные, ты долженъ бы былъ уже работой снискивать себѣ хлѣбъ и помогать семьѣ. Ты можешь самъ замѣтить, что дѣти работниковъ гораздо умнѣе, солиднѣе, особенно во всемъ практическомъ; они меньше боязливы и осторожнѣе. То, что съ ними дѣлаетъ необходимость, того намъ надобно достигать волею.

P. S. Сейчасъ принесли ваши письма отъ 11-го.

534. Письмо къ А. А. Чумикову.

27 іюля 1851.

Nice maritime.

Милостивый Государы! Письмо Ваше отъ 22 іюня я получилъ и спѣшу искренно поблагодарить Васъ за него. Мнѣ такъ рѣдко удается слышать симпатическое слово по-русски, хотя я и не сомнѣваюсь въ нѣкоторомъ сочувствіи къ моимъ трудамъ. Не сомнѣваюсь я потому, что источникъ ихъ — одна любовь къ Россіи, къ народу *будущаю*. Я никогда не чувствовалъ яснѣе, насколько я русскій, какъ въ послѣдніе годы.

Благодарю Васъ за предложеніе и принимаю его съ радостью. Если у васъ много матеріаловъ, т. е. тетрадь, то вручите ее просто Франку или его помощнику, Фивегу, написавши на мое имя. За эту тетрадь явится къ 10 августа одинъ господинъ съ запиской отъ меня. Если же свѣдѣнія Ваши помѣстятся на двухъ или трехъ листахъ, перешлите, не франкируя, сюда: М-г А. Herzen, *Nice marit* (Piémont). Maison Sue, au bord de la Mer.

Я на-дняхъ ѣду отсюда, буду въ Генуѣ или Спеціи, но адресуйте,—это вѣрнѣе,—и тотчасъ мнѣ доставится.

Si Vous désirez prendre avec Vous deux ou trois exempl. de ma brochure, j'en serai enchanté. Monsieur Frank aura l'obligeance de Vous la remettre gratis, si Vous me le permettez ¹⁾.

Жму Вашу руку.

Ал. Герценъ.

Р. S. Въ Парижѣ письма распечатываютъ, особенно на имена, извѣстныя Карлье; въ Пиѣмонтѣ не распечатываютъ, и потому лучше послать по почтѣ не изъ Парижа. Какъ бы я ни желалъ противнаго, но предоставляю Вамъ сохранить Ваше incognito.

Вотъ еще замѣчаніе: если Вы будете посылать не изъ Франціи, Англіи и Швейцаріи, то необходимо франкировать, иначе письмо не отправится. Пиѣмонтъ не имѣетъ почтоваго договора съ нѣмцами.

535. Письмо къ А. А. Чумикову.

Nice, 9 Aout 1851.

Письмо Ваше отъ 5 получилъ я вчера. За бумагами къ Франку уже послано; я опасуюсь почты за Васъ и за собственныя имена въ вашихъ бумагахъ; меня компрометировать невозможно: я открыто стою въ той кучкѣ людей, противъ которыхъ всемірная полиція идетъ крестовымъ походомъ, а потому посылайте все, что хотите, на мое имя изъ Парижа или Берлина и Россіи, но знайте, что, кромѣ Швейцаріи, Англіи и Пиѣмонта, письма будутъ прочтены. Я останусь въ Ниццѣ до конца мая, если не вышлютъ во второй разъ (полагаю, что этого не будетъ: первый разъ имъ обошлось солоно, благодаря энергическимъ интерпелляціямъ Валеріо въ камерѣ), и буду ждать Вашихъ присылокъ съ нетерпѣніемъ.

¹⁾ «Если желаете взять съ собою два или три экземпляра моей брошюры, то я буду отъ этого въ восхищеніи. Г-нъ Франкъ будетъ столь обязателенъ, что отдастъ ихъ Вамъ безвозмездно, если только Вы позволите».

Вы спрашиваете о надеждахъ, о демократіи. Мое мнѣніе о «европейской демократіи» Вы знаете; взгляните еще на мою статью «Omnia mea mecum porto» и «Lebe wohl»¹⁾—помѣщенные въ журналѣ *Колачека* прошлой осенью, кажется, въ октябрѣ и декабрѣ. Демократія стоитъ вся на старой монархической и христіанской почвѣ; она, какъ Бурбоны во время революціи, ничему не научилась въ грозные два года послѣ 1848; народъ, между тѣмъ, болѣе и болѣе переходитъ отъ симпатіи къ ней къ равнодушію. Въ іюньскіе дни 1848 онъ ее звалъ на площадь, но она спряталась. 13 іюня 49 она сошла на площадь, но народъ не пошелъ. Народъ, не съ ними, онъ ужасно много научился: массы, какъ женщины, учатся не школой, а несчастіями и разомъ узнаютъ какимъ-то инстинктомъ и созерцаніемъ конкретную истину. Когда я говорю «народъ», я, разумѣется, говорю объ одномъ народѣ, который существуетъ въ Европѣ, о *французскомъ* народѣ. Насколько вся образованная часть Франціи развращена, гнусна и не имѣетъ никакого будущаго, настолько велики пролетаріи и даже крестьянинъ, и это—важнѣйшая побѣда послѣ 1848 г. Раньше французскій крестьянинъ былъ консерваторомъ, теперь все же все возбуждено, — разумѣется, не по политическимъ вопросамъ, а по социальнымъ. Кто не социалистъ, тотъ легитимистъ (быть легитимистомъ глупо, но не подло; сверхъ того, легитимисты далеки отъ власти); реакціонный консерватизмъ начинается съ городской цивилизаціи; всѣ города заражены имъ, кромѣ тѣхъ, въ которыхъ много работниковъ; орлеанизмъ—самая позорная проказа и самая вредная, но сила. Въ цивилизованномъ классѣ есть меньшинство, офиціально революціонное; оно-то именно и стоитъ на одномъ мѣстѣ, обойденное реакціей и народною мыслью. Это критическое положеніе ждетъ своего Сервантеса: Донъ-Кихоть революціонныхъ круговъ стбитъ своего рыцарственнаго предшественника. Если бы реакція не была такъ невѣжественна и глупа, она давно бы подавила морально эту литературно-политическую партію съ ея полупониманіями, полумѣрами, съ ея «правомъ работы и правомъ инсуррекціи»²⁾. Работникъ съ своимъ тактомъ, чисто критическимъ, улыбается надъ правомъ работы и не вѣритъ въ право возстанія, когда не чувствуетъ себя въ силахъ, а когда силенъ, то не нуждается въ правѣ.

Отойти отъ литературно-либеральныхъ людей, отъ парламентскихъ привычекъ оппозиціонныхъ членовъ, отъ прежнихъ неисправимыхъ политическихъ республиканцевъ для меня казалось необхо-

1) «Эпилогъ 1849», № 491.

2) Insurrection—возстаніе.

димостью; я это говорилъ до тѣхъ поръ, пока озлобилъ противъ себя добрыхъ людей. Съ ними, я убѣжденъ, революція можетъ только погибнуть. Мѣха новые для вина новаго.

Еще нѣсколько словъ о французскомъ народѣ. Народъ вообще слишкомъ хвалятъ,—это революціонный jargon: французскій народъ вовсе не готовъ ни къ социализму, ни къ свободѣ, но онъ готовъ къ революціи; сознание общественной неправды, злоба и удивительное единство,—вотъ его сила. Французскій народъ—армія, армія не демократіи, какъ воображаютъ монтаньяры, а армія коммунизма.

Но, вѣдь, въ борьбѣ армія-то и нужна. И вотъ отчего французы теперь, какъ и прежде, стоятъ въ авангардѣ. Индивидуальность, уваженіе къ лицу больше развито въ Италіи (т. е. въ Римѣ и Романьи), даже въ Испаніи; вообще итальянецъ самобытенъ, больше любитъ независимость, но его силы разбросаны, не устроены; жить съ ними славно, они доблестны, благородны, чисты даже, но les faubouriens ¹⁾ Антонія и Марсо, но ліонскій Croix gousse ²⁾, но gamin и youou ³⁾ — вотъ истинныя надежды исторіи и челоуѣчества. Коммунизма бояться нечего, онъ же неотвратимъ, это будетъ истинная ликвидація стараго общества и введеніе во владѣніе новаго.

Переходя къ частному, я не могу Вамъ сказать, чего бы Вы не знали прежде. Все приостановлено до мая 1852, все едва дышитъ, ждетъ; вѣры въ торжество революціи я не имѣю, но она *можетъ* восторжествовать, особенно при помощи этого Елисейскаго шута ⁴⁾. Если реакція побѣдитъ, въ Европѣ будетъ страшно, побѣда можетъ продлиться на цѣлое поколѣніе, отъ 15 до 17 лѣтъ; надобно бѣжать въ Америку, борьба не будетъ возможна.

Если хотите, это вопросъ совершенно личный, потому что побѣда реакціи вызоветъ черезъ поколѣніе такой отпоръ и такой разгромъ, о какомъ мы и не мечтали.

Позвольте мнѣ теперь объяснить мое выраженіе «народъ будущаю». Я нахожу въ нашей русской душѣ, въ нашемъ характерѣ что-то болѣе мирное нежели въ западныхъ европейцахъ. Разумѣется, рѣчь о лицахъ; какъ народъ, мы еще страдательны. Нѣмцы, напр., при всей своей учености, при освобожденіи теоретической мысли не имѣютъ даже *притязанія* на то, чтобъ быть народомъ

¹⁾ Обитатели предмѣстій Парижа.

²⁾ Кварталь г. Ліона, гдѣ происходило возстаніе рабочихъ.

³⁾ Уличный мальчишка (уничижительная кличка).

⁴⁾ Луи-Наполеонъ Бонапартъ, тогда президентъ франц. республики.

будущаго, — и не правда ли, что фразу «Deutschland — Volk der Zukunft»¹⁾ безъ смѣха нельзя читать: «къ лицу ли вамъ эти вещи?» Про Россію говорить это до того не смѣшно, что французы (въ ней) чають соперника и не стыдятся сознавать, что тутъ есть сила, — вспомните, это говоритъ Кюстинъ; французы ненавидятъ Россію, потому что они ее смѣшиваютъ съ правительствомъ, но внѣ ненависти есть уваженіе. У Австріи и Пруссіи не меньше, а больше штыковъ, но ихъ французы презирають.

Кентъ говоритъ прогнанному Лиру: «въ тебѣ есть что-то, заставляющее меня называть тебя царемъ». Я вижу это помазаніе на нашемъ челѣ. Да, одна дерзость подумать о томъ есть или патентъ на китаизмъ, или великая надежда. Ну, мы не китайцы.

Но *будущаю нѣтъ*: о.ю дѣлается людьми, и, если мы будемъ продолжать гнить въ нашемъ захолустьи, можетъ изъ Россіи въ самомъ дѣлѣ выйти avortement²⁾. Тутъ-то и является наше дѣло, наше признаніе. Что можемъ мы дѣлать? Всякое слово человѣка преданнаго есть дѣло; я, по необходимости оставшійся на западномъ берегу, я только и желаю быть вашею безцензурною рѣчью; я, между прочимъ, для того и не старался о возвращеніи, чтобъ познакомить Европу съ Россіей и быть свободнымъ ея органомъ. Эмиграція очень полезна теперъ, но русскихъ дѣльныхъ очень мало; я могу назвать одного Сазонова, человѣка сильно даровитаго и имѣющаго вѣсъ въ европейскомъ движеніи. Подождите, чѣмъ окончится май 1852, и пріѣзжайте къ намъ. (Русскіе, желающіе оставаться въ Европѣ, никогда не берутъ никакихъ мѣръ и теряють свое имѣніе, — это благородно, но несовершеннолѣтне). Если побѣда съ нашей стороны, будемъ работать вмѣстѣ. До тѣхъ поръ пишите, говорите и посылайте мнѣ матеріалы. Какъ? это Вы придумаете: или черезъ книгопродавца, или черезъ банкировъ.

Прощайте, жму горячо Вашу руку. Спасибо Вамъ за письмо и за симпатію. Готовъ всегда писать, лишь бы было безопасно для Васъ.

Читали ли Вы послѣднюю книгу Прудона и его конфессіи³⁾, 3 изд.⁴⁾? Ему надобно простить ругательный тонъ противъ Руссо и революціи 93 года за огромныя достоинства послѣднихъ этюдовъ. Это — долею озлобленіе отъ тюрьмы, долею темная сторона этого огромнаго таланта. Какъ далеко оставилъ онъ за собою всѣхъ

1) Германія — народъ будущаго.

2) Неуспѣхъ, недоношенность.

3) Confession — исповѣдь. «Confessions d'un révolutionnaire», 3 edit. 1851 г.

4) Послѣдняя книга тогда была «Gratuité du crédit».

французовъ, напр., въ статьѣ «Justice»! Еще видѣлъ я объявленіе о книгѣ de Hott'a; книги я не имѣю, но жду отъ de Hott'a много хорошаго.

Желалъ бы я Вамъ послать мои «Brieft aus Italien und Frankreich», но не нашелъ ни одного экземпляра и не знаю, есть ли у Франка.

Прошу Васъ написать о полученіи письма.

Г.

Когда бы Вы вздумали что-либо послать безъ имени и очень вѣрно, то посылайте такъ, черезъ банкировъ: *Confié aux soins bienveillants de Mess. de Rotchild à Paris. Pour remettre à m-selle Olga* ¹⁾.

Но, если можно, пишите просто.

536. Приписка къ М. К. Рейхель.

12 августа 1851 г.

И отъ меня боковой поклонъ прошу принять прямо и за меня расцѣловать Колю. ¹

◆◆ 1. Коля отправился изъ Ниццы въ Парижъ къ Рейхель съ Луизой Ивановной и Шпильманомъ. Они пробыли въ Парижѣ до половины ноября.

¹⁾ «Довѣряется благожелательнымъ заботамъ гг. Ротшильдовъ въ Парижѣ, для передачи г-жѣ Ольгѣ».

537. Русскій народъ и соціализмъ.

ПИСЬМО КЪ Ж. МИШЛЕ.



Милостивый государы!

Вы стоите слишкомъ высоко въ мнѣніи всѣхъ мыслящихъ людей; каждое слово, вытекающее изъ вашего благороднаго пера, принимается европейскою демократіею съ слишкомъ полнымъ и заслуженнымъ довѣріемъ, чтобы въ дѣлѣ, касающемся самыхъ глубокихъ моихъ убѣжденій, мнѣ было возможно молчать, оставивъ безъ отвѣта характеристику русскаго народа, помѣщенную вами въ вашей легендѣ о Костюшкѣ ¹⁾).

Этотъ отвѣтъ необходимъ и по другой причинѣ: пора показать Европѣ, что, говоря о Россіи, говорятъ не объ отсутствующемъ, не о безотвѣтномъ, не о глухонѣмомъ.

Мы, оставившіе Россію только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконецъ, въ Европѣ, мы тутъ налицо и считаемъ долгомъ подать свой голосъ, когда человѣкъ, вооруженный огромнымъ и заслуженнымъ авторитетомъ, утверждаетъ, что «Россія не существуетъ, что русскіе не люди, что они лишены нравственнаго смысла».

Если вы разумѣете Россію официальную, царство-фасадъ, - - -
- - - - - правительствомъ, то вамъ и книги въ руки. Мы соглашаемся впередъ со всѣмъ, что вы намъ скажете, — не намъ

¹⁾ Въ фельетонѣ журнала «L'Événement», отъ 18 августа до 17 сентября 1851. Послѣ этого легенда о Костюшкѣ ^{o)} взшла въ особо изданный томъ сочиненій Мишле подъ заглавіемъ «Демократическихъ легендъ»—А. И. Г.

^{o)} Тадеушъ-Андрей, знаменитый предводитель польскаго возстанія 1794 г.

тутъ играть роль заступника. У русскаго правительства такъ много агентовъ въ прессѣ, что въ краснорѣчивыхъ апологіяхъ его дѣйствій никогда не будетъ недостатка.

Но не объ одномъ официальномъ обществѣ идетъ рѣчь въ вашемъ трудѣ, вы затрагиваете вопросъ болѣе глубокой: вы говорите о самомъ народѣ.

Бѣдный русскій народъ! Некому возвысить голосъ въ его защиту! Посудите сами: могу ли я, по совѣсти, молчать.

Русскій народъ, милостивый государь, живъ, здоровъ и даже не старъ,—напротивъ того, очень молодъ. Умираютъ люди и въ молодости, это бываетъ, но это не нормально.

Прошлое русскаго народа темно, его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Онъ не *върпитъ* въ свое настоящее положеніе, онъ имѣетъ дерзость тѣмъ болѣе ожидать отъ времени, чѣмъ менѣе оно дало ему до сихъ поръ.

Самый трудный для русскаго народа періодъ приближается къ концу. Его ожидаетъ страшная борьба; къ ней готовятся его враги.

Великій вопросъ: *to be or not to be* ¹⁾—скоро будетъ рѣшенъ для Россіи. Но грѣшно передъ борьбою отчаяваться въ успѣхѣ.

Русскій вопросъ принимаетъ огромные, страшные размѣры; онъ сильно озабочиваетъ всѣ партіи; но мнѣ кажется, что слишкомъ много занимаютъ Россіею императорскою, Россіею официальной и слишкомъ мало Россіею народной, Россіею безгласной.

Даже смотря на Россію только съ правительственной точки зрѣнія, не думаете ли вы, что не помѣшало бы познакомиться поближе съ этимъ неудобнымъ сосѣдомъ, который даетъ чувствовать себя во всей Европѣ—тутъ штыками, тамъ шпионами? Русское правительство простирается до Средиземнаго моря своимъ покровительствомъ Оттоманской Портѣ, до Рейна своимъ покровительствомъ нѣмецкимъ своякамъ и дядямъ, до Атлантическаго океана своимъ покровительствомъ *порядку* во Франціи.

Не мѣшало бы, говорю я, оцѣнить по достоинству этого всемірнаго покровителя, изслѣдовать, не имѣетъ ли это странное государство другого призванія, кромѣ отвратительной роли, принятой петербургскимъ правительствомъ,— роли преграды, безпрестанно возрастающей на пути человѣчества.

Европа приближается къ страшному катаклизму. Средневѣковый міръ рушится. Міръ феодальный кончается. Политическія и религіозныя революціи изнемогаютъ подъ бременемъ своего без-

¹⁾ «Быть или не быть».

силія; онѣ совершили великія дѣла, но не исполнили своей задачи. Онѣ разрушили - - - въ престолѣ и алтарь, но не осуществили свободу; онѣ зажгли въ сердцахъ желанія, которыхъ онѣ не въ силахъ исполнить. Парламентаризмъ, протестантизмъ,—все это были лишь отсрочки, временное спасеніе, безсильные оплоты противъ смерти и возрожденія. Ихъ время минуло. Съ 1849 г. стали понимать, что ни окостенѣлое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философія, ни безплодный религіозный рационализмъ не въ силахъ отодвинуть совершеніе судебъ общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. Въ этомъ соглашаются люди революціи и люди реакціи. У всѣхъ закружилась голова; тяжелый, жизненный вопросъ лежитъ у всѣхъ на сердцѣ и сдавливаетъ дыханіе. Съ возрастающимъ безпокойствомъ всѣ задаютъ себѣ вопросъ, достанетъ ли силы на возрожденіе старой Европѣ, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхомъ ждуть отвѣта, и это ожиданіе ужасно.

Дѣйствительно, вопросъ страшный!

Сможетъ ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглавъ въ это необозримое будущее, куда увлекаетъ ее необоримая сила, къ которому она несется безъ оглядки, къ которому путь идетъ, можетъ быть, черезъ развалины отцовскаго дома, черезъ обломки минувшихъ цивилизацій, черезъ погранныя богатства новѣйшаго образованія?

Съ обѣихъ сторонъ вѣрно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена въ глухой, душный мракъ наканунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы: вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи, вмѣсто законнаго порядка осадное положеніе. Одинъ нравственный двигатель управляетъ всѣмъ—страхъ, и его достаточно. Всѣ вопросы отступаютъ на второй планъ передъ всепоглощающимъ интересомъ реакціи. Правительства, повидимому, самая враждебныя, сливаются въ единую, вселенскую полицію. Русскій императоръ, не скрывая своей ненависти къ французамъ, награждаетъ парижскаго префекта полиціи; король неаполитанскій жалуется орденъ президенту республики. Берлинскій король, надѣвъ русскій мундиръ, спѣшитъ въ Варшаву обнимать своего врага, императора австрійскаго, въ - - - - - присутствіи Николая, въ то время, какъ онъ, - - - - - , предлагаетъ свою помощь римскому владыкѣ. Среди этихъ сатурналій, среди этого шабаша реакціи, ничто не охраняетъ болѣе личности отъ произвола. Даже тѣ гарантіи, которыя существуютъ въ неразвитыхъ обществахъ, — въ Китаѣ, въ

Персіи,—не уважаются болѣе въ столицахъ такъ называемаго образованнаго міра.

Едва вѣришь глазамъ. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англіи, «этого алмаза, оправленнаго въ серебро морей», какъ называетъ его Шекспиръ, если-бъ Швейцарія, какъ Петръ, убоявшись кесаря, отреклась отъ своего начала, если-бъ Піемонтъ, эта уцѣлѣвшая вѣтка Италіи, это послѣднее убѣжище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если-бъ и они увлеклись примѣромъ сосѣдей, если-бъ и эти страны заразились мертвящимъ духомъ, вѣющимъ изъ Парижа и Вѣны,—можно было бы подумать, что консерваторамъ уже удалось довести старый міръ до конечнаго разложенія, что во Франціи и Германіи уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахъ вокругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ востоку.

Тамъ, какъ темная гора, вырѣзывающаяся изъ-за тумана, виднѣется враждебное, грозное царство; порою кажется, что оно идетъ, какъ лавина, на Европу и, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвѣстное двѣсти лѣтъ тому назадъ, явилось вдругъ, безъ всякихъ правъ, безъ всякаго приглашенія, грубо и громко заговорило въ совѣтѣ европейскихъ державъ, и потребовало себѣ доли въ добычѣ, собранной безъ его содѣйствія.

Никто не посмѣлъ возстать противъ его притязаній на вмѣшательство во всѣ дѣла Европы.

Карлъ XII попытался, но его до тѣхъ поръ непобѣдимый мечъ сломился; Фридрихъ II захотѣлъ воспротивиться посягательствамъ петербургскаго двора,—Кенигсбергъ и Берлинъ сдѣлались добычею сѣвернаго врага. Наполеонъ проникъ съ полумилліономъ войска въ самое сердце исполина и уѣхалъ одинъ украдкою, въ первыхъ попавшихся пошевняхъ. Европа съ удивленіемъ смотрѣла на бѣгство Наполеона, на несущіяся за нимъ въ погоню тучи казаковъ, на русскія войска, идущія въ Парижъ и подающія по дорогѣ нѣмцамъ милостыню ихъ національной независимости. Съ тѣхъ поръ Россія налегла, какъ вампиръ, на судьбы Европы и стережетъ ошибки царей и народовъ. Вчера она чуть не раздавила Австрію, помогая ей противъ Венгріи, завтра она провозгласитъ Бранденбургъ русскою губерніею, чтобы успокоить берлинскаго короля.

Вѣроятно ли, что наканунѣ борьбы объ этомъ бойцѣ ничего

не знаютъ? А между тѣмъ онъ уже стоитъ, грозный, въ полномъ вооруженіи, готовый переступить границу по первому зову реакціи. И при всемъ томъ едва знаютъ его оружіе, цвѣтъ его знамени и довольствуются его официальными рѣчами и неопредѣленными разногласными рассказами о немъ.

Иные говорятъ только о всемогуществѣ царя, о правительственномъ произволѣ, о рабскомъ духѣ подданныхъ; другіе утверждаютъ, напротивъ, что петербургскій имперіализмъ не народенъ, что народъ, раздавленный двойнымъ деспотизмомъ правительства и помещиковъ, несетъ ярмо, но не мирится съ нимъ, что онъ не уничтоженъ, а только несчастенъ, и въ то же время говорятъ, что этотъ самый народъ придаетъ единство и силу колоссальному царству, которое давитъ его. Иные прибавляютъ, что русскій народъ—*презрѣнный сбродъ* пьяницъ и плутовъ, другіе же увѣряютъ, что Россія населена способною и богато одаренною порою людей.

Мнѣ кажется, есть что-то трагическое въ старческой разсѣянности, съ которою старый міръ спутываетъ всѣ свѣдѣнія объ своемъ противникѣ.

Въ этомъ сбродѣ противорѣчащихъ мнѣній проглядываетъ столько бессмысленныхъ повтореній, такая печальная поверхностность, такая закоснѣлость въ предразсудкахъ, что мы поневолѣ обращаемся за сравненіемъ къ временамъ паденія Рима.

Тогда, также наканунѣ переворота, наканунѣ побѣды варваровъ, провозглашали вѣчность Рима, безсильное безуміе назареевъ и ничтожность движенія, начинавшагося въ варварскомъ мірѣ.

Вамъ принадлежитъ великая заслуга: вы первый во Франціи заговорили о русскомъ народѣ, вы невзначай коснулись самага сердца, самага источника жизни. Истина сейчасъ бы обнаружилась вашему взору, если-бъ въ минуту гнѣва вы не отдернули протянутой руки, если-бъ вы не отвернулись отъ источника, потому что онъ показался мутнымъ.

Я съ глубокимъ прискорбіемъ прочелъ ваши озлобленныя слова. Печальный, съ тоскою въ сердцѣ, я, признаюсь, напрасно искалъ въ нихъ историка, философа и прежде всего любящаго человѣка, котораго мы всѣ знаемъ и любимъ. Спѣшу оговориться: я вполнѣ понялъ причину вашего негодованія,—въ васъ заговорила симпатія къ несчастной Польшѣ. Мы также глубоко испытываемъ это чувство къ нашимъ братьямъ полякамъ, и у насъ это чувство—не только жалость, а также стыдъ и угрызеніе совѣсти. Любовь къ Польшѣ! Мы всѣ ее любимъ, но развѣ съ этимъ чувствомъ необходимо сопрягать ненависть къ другому народу, столько же несчастному народу, который принужденъ былъ своими связанными

руками помогать - - - - - свирѣпаго правительства? Будемъ великодушны, не забудемъ, что на нашихъ глазахъ народъ, вооруженный всѣми трофеями недавней революціи, согласился на восстановление порядка въ Римѣ, а сегодня... Взгляните сами, что происходитъ вокругъ васъ... а, вѣдь, мы не говоримъ еще, чтобы французы *перестали быть людьми*.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нѣтъ побѣдителя. Польша и Россія подавлены общимъ врагомъ. Жертвы, мученики, и тѣ отворачиваются отъ прошлаго, равно печальнаго для нихъ и для насъ. Ссылаюсь, какъ вы, на вашего друга, на великаго поэта Мицкевича.

Не говорите о мнѣніяхъ польскаго пѣвца, что «это—милосердіе, святое заблужденіе». Нѣтъ, это плоды долгой и добросовѣстной думы, глубокаго пониманія судебъ славянскаго міра. Прощеніе враговъ—прекрасный подвигъ; но есть подвигъ еще болѣе прекрасный, еще больше человѣческой, это—пониманіе враговъ, потому что пониманіе—разомъ прощеніе, оправданіе, примиреніе!

Славянскій міръ стремится къ единству; это стремленіе обнаружилось тотчасъ послѣ наполеоновскаго періода. Мысль о славянской федераціи уже зарождалась въ революціонныхъ планахъ Пестеля и Муравьева. Многіе поляки участвовали въ тогдашнемъ русскомъ заговорѣ.

Когда вспыхнула въ Варшавѣ революція 1830 года, русскій народъ не обнаружилъ ни малѣйшей вражды противъ ослушниковъ - - - - - . Молодежь всѣмъ сердцемъ сочувствовала полякамъ. Я помню, съ какимъ нетерпѣніемъ ждали мы извѣстія изъ Варшавы: мы плакали, какъ дѣти, при вѣсти о поминкахъ, справленныхъ въ столицѣ Польши по нашимъ петербургскимъ мученикамъ. Сочувствіе къ полякамъ подвергало насъ жестокимъ наказаніямъ,—поневолѣ надобно было скрывать его въ сердцѣ и молчать.

Очень можетъ быть, что во время войны 1830 года въ Польшѣ преобладало чувство исключительной національности и весьма понятной вражды. Но съ тѣхъ поръ дѣятельность Мицкевича, историческіе и филологическіе труды многихъ славянъ, болѣе глубокое знаніе европейскихъ народовъ, купленное тяжелою цѣною изгнанія, дали мыслямъ совсѣмъ другое направленіе.

Поляки почувствовали, что борьба идетъ не между русскимъ народомъ и ими: они поняли, что имъ впредь можно сражаться не иначе, какъ *за ихъ и нашу свободу*, какъ было написано на ихъ революціонномъ знамени.

Конарскій, измученный и застрѣленный - - - - - въ Вильнѣ, призывалъ къ возстанію русскихъ и поляковъ безъ различія пле-

мени. Россія отблагодарила его одною изъ тѣхъ едва извѣстныхъ трагедій, которыми оканчивается у насъ всякое героическое проявленіе воли подъ давленіемъ нѣмецкихъ ботфортовъ.

Армейскій офицеръ, Караваевъ, рѣшился спасти Конарскаго. День его дежурства приближался; все было приготовлено для бѣгства, когда предательство одного изъ товарищей польскаго мученика разрушило его планы. Молодого человѣка арестовали, отправили въ Сибирь, и съ тѣхъ поръ объ немъ не было никогда слуховъ.

Я провелъ пять лѣтъ въ ссылкѣ въ отдаленныхъ губерніяхъ имперіи; много встрѣчалъ я тамъ ссыльныхъ поляковъ. Почти въ каждомъ уѣздномъ городѣ живетъ либо цѣлое семейство, либо одинъ изъ несчастныхъ воиновъ независимости. Я охотно сослался бы на ихъ свидѣтельство; конечно, они не могутъ пожаловаться на недостатокъ симпатіи со стороны мѣстныхъ жителей. Разумѣется, тутъ рѣчь идетъ не о полиціи и не о высшей военной іерархіи. Онѣ нигдѣ не отличаются любовью къ свободѣ, тѣмъ паче—въ Россіи. Я могъ бы сослаться также на польскихъ студентовъ, посылаемыхъ ежегодно въ русскіе университеты для удаленія отъ родныхъ вліяній; пусть они расскажутъ, какъ принимали ихъ русскіе товарищи. Они разставались съ нами со слезами на глазахъ.

Вы помните, что въ 1847 году въ Парижѣ, когда польскіе эмигранты праздновали годовщину своей революціи, на трибунѣ явился русскій, чтобы просить о дружбѣ и о забвеніи прошлаго. Это былъ нашъ несчастный другъ Бакунинъ... Впрочемъ, чтобъ не ссылаться на соотечественниковъ, выбираю между тѣми, которыхъ считаютъ нашими врагами, человѣка, котораго вы сами назвали въ вашей легендѣ о Костюшкѣ. Обратитесь за свѣдѣніями объ этомъ предметѣ къ одному изъ старѣйшинъ польской демократіи, къ Бернацкому, одному изъ министровъ революціонной Польши; я смѣло ссылаюсь на него,—долгое горе, конечно, могло бы ожесточить его противъ всего русскаго. Я убѣжденъ, что онъ подтвердитъ все сказанное мною.

Солидарность, связывающая Россію и Польшу между собою и со всѣмъ славянскимъ міромъ, не можетъ быть отвергнута: она очевидна. Еще болѣе: внѣ Россіи нѣтъ будущности для славянскаго міра; безъ Россіи онъ не разовьется,—онъ расплывается и будетъ поглощенъ германскимъ элементомъ; онъ сдѣлается австрійскимъ и потеряетъ свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнѣнію, его судьба, его назначеніе.

Слѣдуя за постепеннымъ развитіемъ вашей мысли, я долженъ вамъ признаться, что мнѣ невозможно согласиться съ вашимъ взгля-

домъ, по которому вся Европа представляетъ одну личность, въ которой каждая народность играетъ роль необходимаго органа.

Мнѣ кажется, что всѣ германо-романскія народности необходимы въ европейскомъ мірѣ, потому что онѣ существуютъ въ немъ вслѣдствіе какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличалъ предсуществующую необходимость отъ необходимости, вносимой въ послѣдствіи фактовъ. Природа покоряется необходимости совершившихся событій, но колебаніе между разнообразными возможностями очень велико. На томъ же основаніи славянскій міръ можетъ предъявлять свои права на единство, тѣмъ болѣе, что онъ состоитъ изъ единаго племени.

Централизація противна славянскому духу, федерализація гораздо свойственнѣе его характеру. Только сгруппировавшись въ союзъ свободныхъ и самобытныхъ народовъ, славянскій міръ вступить, наконецъ, въ истинно-историческое существованіе. На его прошлое можно смотрѣть только, какъ на ростъ, на приготовленіе, на очищеніе. Историческія государственныя формы, въ которыхъ жили славяне, не соотвѣтствовали внутренней національной потребности ихъ, потребности неопредѣленной, инстинктивной, если хотите, но тѣмъ самымъ заявляющей необыкновенную жизненность и много обѣщающей въ будущемъ. Славяне до сихъ поръ во всѣхъ фазахъ своей исторіи обнаруживали странное полувниманіе, даже удивительную симпатію. Такъ, Россія перешла изъ язычества въ христіанство безъ потрясеній, безъ возмущеній, единственно изъ покорности великому князю Владиміру, изъ подражанія Киеву. Старыхъ идоловъ безъ сожалѣнія бросили въ Волховъ и покорились новому богу, - - - - - .

Восемьсотъ лѣтъ спустя, часть Россіи точно также покори-лась выписной изъ-за границы цивилизаціи.

Славянскій міръ похожъ на женщину, никогда не любившую и по этому самому, повидимому, не принимающую никакого участія во всемъ происходящемъ вокругъ нея. Она вездѣ ненужна, всѣмъ чужая. Но за будущее отвѣчать нельзя: она еще молода, и уже странное томленіе овладѣло ея сердцемъ и заставляетъ его биться скорѣе.

Что касается до богатства народнаго духа, то намъ достаточно указать на поляковъ—единственный славянскій народъ, который бывалъ разомъ и силенъ, и свободенъ.

Славянскій міръ, въ сущности, не такъ разнороденъ, какъ кажется. Подъ внѣшнимъ слоємъ рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской - - - - - Россіи, подъ демократическимъ правленіемъ сербскаго воеводы, подъ бю-

рократическимъ ярмомъ, которымъ Австрія подавляетъ Иллирію, Далмацію и Банатъ, подъ патріархальною властью Османлисовъ и подъ благословіемъ черногорскаго владыки, живетъ народъ, фізіологически и этнографически тождественный.

Большая часть этихъ славянскихъ племенъ почти никогда не подвергалась поработенію вслѣдствіе завоеванія. Зависимость, въ которой такъ часто находились они, большею частью выражалась только въ признаніи чужого владычества и во взносѣ дани. Таковъ, напримѣръ, былъ характеръ монгольскаго владычества въ Россіи. Такимъ образомъ, славяне сквозь длинный рядъ столѣтій сохранили свою національность, свои нравы, свой языкъ.

По всему вышесказанному не имѣемъ ли мы право считать Россію зерномъ кристаллизаціи, тѣмъ центромъ, къ которому тяготѣетъ стремящійся къ единству славянскій міръ, и это тѣмъ болѣе, что Россія—покуда единственная часть великаго племени, сложившаяся въ сильное и независимое государство?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы совершенно ясенъ, если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось о своемъ національномъ призваніи, еслибы этотъ - - - - -
- - - - могъ ужиться съ какою-нибудь человѣческою мыслью. Но при настоящемъ положеніи дѣлъ какой добросовѣстный человѣкъ рѣшится предложить западнымъ славянамъ соединеніе съ имперією, находящеюся постоянно въ осадномъ положеніи, — - - - -
- - - - - ?

Императорскій панславизмъ, восхваляемый отъ времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумѣется, не имѣетъ ничего общаго съ союзомъ, основаннымъ на началахъ свободы.

Здѣсь логика необходимо приводитъ насъ къ вопросу перво-степенной важности.

Предположивъ, что славянскій міръ можетъ надѣяться въ будущемъ на болѣе полное развитіе, нельзя не спросить, который изъ элементовъ, выразившихся въ его зародышномъ состояніи, даетъ ему право на такую надежду? Если славяне считаютъ, что ихъ время пришло, то этотъ элементъ долженъ соответствовать революціонной идеѣ въ Европѣ.

Вы указали на этотъ элементъ, вы коснулись его, но онъ ускользнулъ отъ васъ, потому что благородное состраданіе къ Польшѣ отвлекло ваше вниманіе.

Вы говорите, что «основаніе жизни русскаго народа есть *коммунизмъ*», вы утверждаете, что «его сила лежитъ въ аграрномъ законѣ, въ постоянномъ дѣлежѣ земли».

Какое страшное «мане-факелъ» вылетѣло изъ вашихъ устъ!... Коммунизмъ въ основаніи! Сила, основанная на раздѣлѣ земель! И вы не испугались вашихъ собственныхъ словъ?

Не слѣдовало ли тутъ остановиться, подумать, углубиться въ вопросъ, оставить его не прежде, чѣмъ убѣдившись, мечта это или истина?

Развѣ въ XIX столѣтіи есть какой-нибудь серьезный интересъ, лежащій внѣ вопроса о коммунизмѣ, внѣ вопроса о раздѣлѣ земель?

Увлеченные вашимъ негодованіемъ, вы продолжаете: «У нихъ (у русскихъ) недостаетъ существеннаго признака человѣчности, — нравственнаго чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имѣютъ для нихъ смысла; заговорите о нихъ,—они молчатъ, улыбаются и не знаютъ, что значать эти слова». Кто же тѣ русскіе, съ которыми вы говорили? Какія понятія о правдѣ и истинѣ оказались для нихъ недоступными? Этотъ вопросъ не лишній. Въ наше глубоко-революціонное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всѣхъ значеніе.

Истина и правда старой Европы, въ глазахъ Европы рождающейся,—*неправда и ложь*.

Народы — произведенія природы; исторія — прогрессивное продолженіе животнаго развитія. Прилагая нашъ нравственный масштабъ къ природѣ, мы далеко не уйдемъ. Ей дѣла нѣтъ ни до нашей хулы, ни до нашего одобренія. Для нея не существуютъ приговоры и монтіоновскія преміи. Она не подпадаетъ подъ этическія категоріи, созданныя нашимъ личнымъ произволомъ. Мнѣ кажется, что народъ нельзя назвать ни дурнымъ, ни хорошимъ. Въ народѣ всегда выражается истина. Жизнь народа не можетъ быть ложью. Природа производитъ лишь то, что осуществимо при данныхъ условіяхъ: она увлекаетъ впередъ все существующее своимъ творческимъ броженіемъ, своею неутоимой жаждой осуществленія, эту жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившіе жизнью до-историческою,—другіе, живущіе жизнью внѣ-историческою; но, разъ вступивши въ широкій потокъ единой и нераздѣльной исторіи, они принадлежатъ *человѣчеству*, и, съ другой стороны, имъ принадлежитъ все прошлое человѣчества. Въ исторіи, т. е. въ дѣятельной и прогрессивной части человѣчества, мало-по-малу сглаживается аристократія лицевого угла, цвѣта кожи и другихъ различій. То, что не очеловѣчилось, не можетъ вступить въ исторію; поэтому нѣтъ народа, взошедшаго въ исторію, котораго можно было бы считать стадомъ животныхъ, какъ нѣтъ народа, заслуживающаго именоваться сонмомъ избранныхъ.

Нѣтъ человѣка довольно смѣлаго или довольно неблагодарнаго, чтобы отвергать огромное значеніе Франціи въ судьбахъ европейскаго міра; но позвольте мнѣ откровенно признаться, что я не могу согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, по которому участіе Франціи—условіе *sine qua* поп дальнѣйшаго хода исторіи.

Природа никогда не кладетъ весь свой капиталъ на одну карту. Римъ, вѣчный городъ, имѣвшій не меньше правъ на всемірную гегемонію, пошатнулся, разрушился, исчезъ, и безжалостное человѣчество шагнуло впередъ черезъ его могилу.

Съ другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безуміе, видѣть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сборъ существъ человѣческихъ только по порокамъ—въ народѣ, разраставшемся въ теченіе десяти столѣтій, упорно хранившемъ свою національность, сплотившемся въ огромное государство, вмѣшивавшемся въ исторію гораздо болѣе, можетъ быть, чѣмъ бы слѣдовало.

И все это тѣмъ труднѣе принять, что занимающій насъ народъ, даже по словамъ его враговъ, нисколько не находится въ застоѣ. Это вовсе не племя, дошедшее до общественныхъ формъ, приблизительно соотвѣтствующихъ его желаніямъ, и уснувшее въ нихъ, какъ китайцы,—еще менѣе народъ, пережившій себя и угадывающій въ старческой немощи, какъ индусы. Напротивъ того, Россія—государство совершенно новое, не оконченное зданіе, гдѣ все еще пахнетъ свѣжей известью, гдѣ все работаетъ и вырабатывается, гдѣ ничто еще не достигло цѣли, гдѣ все измѣняется,—часто къ худшему, но, все-таки, измѣняется. Однимъ словомъ, это народъ, по вашему мнѣнію, имѣющій основнымъ началомъ коммунизмъ, сильный раздѣломъ земель...

Въ чемъ, наконецъ, упрекаете вы русскій народъ? Въ чемъ состоитъ сущность вашего обвиненія?

«Русскій,—говорите вы,—лжетъ и крадетъ; постоянно крадетъ, постоянно лжетъ,—и это совершенно невинно, это въ его природѣ».

Я не останавливаюсь на чрезмѣрномъ обобщеніи вашего приговора, но обращаюсь къ вамъ съ простымъ вопросомъ: кого обманываетъ, кого обкрадываетъ русскій человѣкъ? Кого, какъ не помѣщика, не чиновника, не управляющаго, не полицейскаго, однимъ словомъ, заклятыхъ враговъ крестьянина, которыхъ онъ считаетъ за басурмановъ, за отступниковъ, за полунѣмцевъ? Лишенный всякой возможности защиты, онъ хитритъ съ своими мучителями, онъ ихъ обманываетъ и въ этомъ совершенно правъ. Хитрость, м. г., по словамъ великаго мыслителя ¹⁾,—иронія грубой власти.

¹⁾ Гегель, въ посмертныхъ сочиненіяхъ.—А. И. Г.

Русскій крестьянинъ, при своемъ отвращеніи отъ личной земельной собственности, такъ вѣрно подмѣченномъ вами, при своей беззаботной и лѣнливой природѣ, мало-по-малу и незамѣтно запутался въ сѣти нѣмецкой бюрократіи и помѣщичьей власти. Онъ подвергся этому унижающему злу съ страдательною покорностью, но онъ не повѣрилъ ни правамъ помѣщика, ни правдѣ судовъ, ни законности исполнительной власти. Вотъ уже почти двѣсти лѣтъ, какъ все его существованіе стало глухою, отрицательною оппозиціею противъ существующаго порядка вещей. Онъ покоряется притѣсненію, онъ терпитъ, но не причастенъ ничему, что происходитъ внѣ сельской общины.

Имя царя возбуждаетъ въ народѣ суевѣрное сочувствіе; не передъ царемъ Николаемъ благоговѣтъ народъ, но передъ отвлеченной идеею, передъ миѳомъ; въ народномъ воображеніи царь представляется грознымъ мстителемъ, осуществленіемъ правды, земнымъ провидѣніемъ.

Послѣ царя одно духовенство могло бы имѣть вліяніе на православную Россію. Оно одно представляетъ въ правительственныхъ сферахъ старую Русь; духовенство не бреетъ бороды и тѣмъ самымъ осталось на сторонѣ народа. Народъ съ довѣріемъ слушаетъ монаховъ. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые жизнью загробной, ни мало не заботятся объ народѣ. Попы же утратили всякое вліяніе, вслѣдствіе жадности, пьянства и близкихъ сношеній съ полиціей. И здѣсь народъ уважаетъ идею, но не личности.

Что до раскольниковъ, то они ненавидятъ и лицо, и идею,

Кромѣ царя и духовенства, всѣ элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянинъ находится, въ буквальномъ смыслѣ слова, внѣ закона. Судъ ему не заступникъ, и все его участіе въ существующемъ порядкѣ дѣлъ ограничивается двойнымъ налогомъ, тяготѣющимъ на немъ, и который онъ возноситъ трудомъ и кровью. Отверженный всѣми, онъ понялъ инстинктивно, что все управленіе устроено не въ его пользу, а ему въ ущербъ, и что задача правительства и помѣщиковъ состоитъ въ томъ, какъ бы вымучить изъ него побольше труда, побольше рекрутъ, побольше денегъ. Понявши это и одаренный смѣтливимъ и гибкимъ умомъ, онъ обманываетъ ихъ вездѣ и во всемъ. Иначе и быть не можетъ: если бы онъ говорилъ правду, онъ тѣмъ самымъ признавалъ бы надъ собою ихъ власть; если бы онъ ихъ не обкрадывалъ (замѣтите, что со стороны крестьянина считаютъ покражею утайку части произведеній собственнаго труда),

онъ тѣмъ самымъ признавалъ бы законность ихъ требованій, права помѣщиковъ и справедливость судей.

Надобно видѣть русскаго крестьянина передъ судомъ, чтобы вполне понять его положеніе; надобно видѣть его убитое лицо, его пугливый, испытующій взоръ, чтобы понять, что это военнопленныи передъ военнымъ совѣтомъ, путникъ передъ шайкою разбойниковъ. Съ перваго взгляда замѣтно, что жертва не имѣетъ ни малѣйшаго довѣрія къ этимъ враждебнымъ, безжалостнымъ, ненасытнымъ грабителямъ, которые допрашиваютъ, терзаютъ и обираютъ его. Онъ знаетъ, что если у него есть деньги, то онъ будетъ правъ, если нѣтъ—виноватъ.

Русскій народъ говоритъ своимъ старымъ языкомъ; судьи и подьячіе пишутъ новымъ бюрократическимъ языкомъ, уродливымъ и едва понятнымъ,—они наполняютъ цѣлыя in-folio грамматическими несообразностями и скороговоркой отчитываютъ крестьянину эту чепуху. Понимай, какъ знаешь, и выпутывайся, какъ умѣешь. Крестьянинъ видитъ, къ чему это клонится, и держитъ себя осторожно. Онъ не скажетъ лишняго слова, онъ скрываетъ свою тревогу и стоитъ молча, прикидываясь дуракомъ.

Крестьянинъ, оправданныи судомъ, плетется домой такой же печальный, какъ послѣ приговора: въ обоихъ случаяхъ рѣшеніе кажется ему дѣломъ произвола или случайности.

Такимъ образомъ, когда его призываютъ въ свидѣтели, онъ упорно отзывается невѣдѣніемъ, даже противъ самой неопровержимой очевидности. Приговоръ суда не мараетъ челоуѣка въ глазахъ русскаго народа: ссыльные, каторжные слывуть у него *несчастными*.

Жизнь русскаго народа до сихъ поръ ограничивалась общиною; только въ отношеніи къ общинѣ и ея членамъ признаетъ онъ за собою права и обязанности. Въ общины все ему кажется основаннымъ на насиліи. Роковая сторона его характера состоитъ въ томъ, что онъ покоряется этому насилію, а не въ томъ, что онъ отрицаетъ его по-своему и старается оградить себя хитростью. Ложь передъ судьей, поставленнымъ незаконною властью, гораздо откровеннѣе, чѣмъ лицемѣрное уваженіе къ присяжнымъ, подтасованнымъ купленнымъ префектомъ. Народъ уважаетъ только тѣ установленія, въ которыхъ отразились присущія ему понятія о законѣ и правѣ.

Есть фактъ, несомнѣнный для всякаго, кто близко познакомится съ русскимъ народомъ: крестьяне рѣдко обманываютъ другъ друга; между ними господствуетъ почти неограниченное довѣріе, они не знаютъ контрактовъ и письменныхъ условий.

Вопросы о размежеваніи полосъ по необходимости бывають очень сложны при безпрестанныхъ раздѣлахъ земель по числу тяголь, между тѣмъ дѣло обходится безъ жалобъ и процессовъ. Помѣщики и правительство жадно ищутъ случая для вмѣшательства, но этотъ случай не представляется. Мелкія несогласія повергаются на судъ старикамъ или міру, и ихъ рѣшеніе безпрекословно принимается всѣми. Точно также въ артеляхъ. Артели состояются часто изъ нѣсколькихъ сотенъ работниковъ, соединяющихся на опредѣленное время, напримѣръ, на годъ. По прошествіи года работники дѣлятъ между собою заработки по трудамъ каждаго и по общему соглашенію. Полиція никогда не имѣетъ удовольствія вмѣшиваться въ ихъ счеты. Почти всегда артель отвѣчаетъ за каждаго изъ артельщиковъ.

Еще тѣснѣе становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. Отъ времени до времени правительство устраиваетъ дикій набѣгъ на какую-нибудь раскольничью деревню. Крестьянъ сажаютъ въ тюрьму, ссылаютъ,— все это безъ всякаго плана, безъ послѣдовательности, безъ всякаго повода и нужды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованіямъ духовенства и дать занятіе полиціи. При этихъ-то охотахъ по раскольникамъ обнаруживается вновь характеръ русскихъ крестьянъ,—солидарность, связывающая ихъ между собою. Тогда-то надобно видѣть, какъ они успѣвають обманывать полицію, спасать своихъ братьевъ, скрывать священные книги и сосуды, какъ они претерпѣвають, не проговариваясь, самыя ужасныя муки. Пусть укажутъ мнѣ хоть одинъ случай, въ которомъ бы раскольничья община была выдана крестьяниномъ, хотя бы и православнымъ.

Это свойство русскаго характера дѣлаетъ полицейскія слѣдствія чрезвычайно затруднительными. Нельзя этому не порадоваться отъ души. У русскаго крестьянина нѣтъ нравственности, кромѣ вытекающей инстинктивно, естественно изъ его коммунизма; эта нравственность глубоко-народная; немногое, что извѣстно ему изъ Евангелія, поддерживаетъ ее; явная несправедливость помѣщиковъ привязываетъ его еще болѣе къ его правамъ и къ общинному устройству ¹⁾).

¹⁾ Крестьянская община, принадлежавшая кн. Козловскому ^{о)}, откупилась на волю. Землю раздѣлили между крестьянами сообразно суммамъ, внесеннымъ каждымъ изъ нихъ въ складчину для выкупа. Это распоряженіе, повидимому, было самое естественное и справедливое. Однакожъ, крестьяне нашли его столь неудобнымъ и несогласнымъ съ ихъ обычаями, что они

^{о)} Петръ Борисовичъ.

Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства и отъ - - - - - цивилизаціи, отъ выкрашенныхъ по-европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательства власти; она благополучно дожила *до развитія социализма въ Европѣ*.

Это обстоятельство безконечно важно для Россіи.

Русское - - - - - вступаетъ въ новый фазисъ. Выросшее изъ антинаціональной революціи, оно исполнило свое назначеніе; оно осуществило громадную имперію, грозное войско, правительственную централизацію. Лишенное дѣйствительныхъ корней, лишенное преданій, оно обречено на бездѣйствіе; правда, оно возложило, было, на себя новую задачу — внести въ Россію западную цивили-

рѣшили распредѣлить между собою всю сумму выкупа, какъ бы долгъ, лежащій на общинѣ, и раздѣлить земли по принятому обыкновению. Этотъ фактъ приводится г. Гакстгаузенемъ. Авторъ самъ посѣщалъ упомянутую деревню.

Г. Тенгоборскій говоритъ въ книгѣ, недавно вышедшей въ Парижѣ и посвященной императору Николаю ⁹), что эта система раздѣла земель кажется ему неблагопріятною для земледѣлія (какъ будто ея цѣль — успѣхи земледѣлія!), но, впрочемъ, прибавляетъ: «Трудно устранить эти неудобства, потому что эта система дѣленій связана съ устройствомъ нашихъ общинъ, до *котораю коснуться было бы опасно*: оно построено на ея основной мысли объ единствѣ общины и о правѣ каждого члена на часть общиннаго владѣнія, соразмѣрную его силамъ, поэтому оно поддерживаетъ общинный духъ,—этотъ надежный оплотъ общественнаго порядка. Оно въ то же время—самая лучшая защита противъ распространенія пролетаріата и коммунистическихъ идей». (Понятно, что для народа, обладающаго на дѣлѣ владѣніемъ сообща, коммунистическія идеи не представляютъ никакой опасности). «Въ высшей степени замѣчательнъ здравый смыслъ, съ которымъ крестьяне устраняютъ, гдѣ это нужно, неудобства своей системы; легкость, съ которою они соглашаются между собою въ вознагражденіи неровностей, лежащихъ въ достоинствахъ почвы, и довѣріе, съ которымъ каждый покоряется опредѣленіямъ старшинъ общины. — Можно было бы подумать, что безпрестанные дѣлежи подають поводы къ безпрестаннымъ спорамъ, а между тѣмъ вмѣшательство властей становится нужнымъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ. Этотъ фактъ, *весьма странный самъ по себѣ*, объясняется только тѣмъ, что эта система при всѣхъ своихъ неудобствахъ такъ срослась съ нравами и понятіями народа, что эти неудобства переносятся безропотно».

«Насколько, говоритъ тотъ же авторъ, идея общины природна русскому народу и осуществляется во всѣхъ проявленіяхъ его жизни, настолько противенъ его нравамъ корпораціонный муниципальный духъ, воплотившійся въ западномъ мѣщанствѣ» (*Тенюборскій*, «О производительныхъ силахъ Россіи», т. I).—А. И. Г.

⁹) L. Tengoborski, «Etudes sur les forces productives de la Russie», I—IV, Paris, 1852—1855.

зацію, и оно до нѣкоторой степени успѣвало въ этомъ, пока еще играло роль просвѣщеннаго - - - - - .

Эта роль теперь оставлена имъ.

Правительство, распавшееся съ народомъ во имя цивилизаціи, не замедлило отречься отъ образованія во имя - - - - - .

Оно отреклось отъ цивилизаціи, какъ скоро сквозь ея стремленія сталъ проглядывать трехцвѣтный признакъ либерализма; оно попыталось вернуться къ національности, къ народу. Это было невозможно. Народъ и правительство не имѣли ничего общаго между собою: первый отвыкъ отъ послѣдняго, а правительству чудился въ глубинѣ массъ новый призракъ, еще болѣе страшный призракъ — *краснаю* пѣтуха. Конечно, либерализмъ былъ менѣе опасенъ, чѣмъ новая пугачевщина, но страхъ и отвращеніе отъ либеральныхъ идей стали такъ сильны, что правительство не могло болѣе примириться съ цивилизаціею.

Съ тѣхъ поръ единственной цѣлью - - - - - остался - - - - - .
- - - властвуетъ, чтобъ властвовать. Громадныя силы употребляются на взаимное уничтоженіе, на сохраненіе искусственнаго покоя.

Но - - - - - напослѣдокъ становится невозможнымъ: это слишкомъ нелѣпо, слишкомъ бесплодно.

Оно почувствовало это и стало искать занятія въ Европѣ. Дѣятельность русской дипломатіи неутомима: повсюду сыплются ноты, совѣты, угрозы, обѣщанія, снуютъ агенты и шпіоны.

- - - - - считаетъ себя естественнымъ покровителемъ нѣмецкихъ принцевъ; - - - вмѣшивается во всѣ мелкія интриги мелкихъ германскихъ дворовъ; - - - рѣшаетъ всѣ споры: то побранить одного, то наградить другого - - - - - . Но этого недостаточно для - - - дѣятельности. - - - принимаетъ на себя обязанность перваго жандарма вселенной; - - - опора всѣхъ реакцій, всѣхъ гоненій. - - - играетъ роль представителя - - - - - начала въ Европѣ, позволяетъ себѣ аристократическія замашки, словно, - - - - - словно, - - - царедворцы — Глостеры или Монморанси.

Къ сожалѣнію, нѣтъ ничего общаго между феодальнымъ монархизмомъ съ его опредѣленнымъ началомъ, съ его прошлымъ, съ его соціальной и религіозной идеею, и наполеоновскимъ деспотизмомъ - - - - - , имѣющимъ за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающимся ни на какомъ нравственномъ началѣ.

И - - - - - , какъ вершина горы подъ конецъ осени, покрывается все болѣе и болѣе снѣгомъ и льдомъ. Жизненные соки, искусственно поднятые до этихъ правительственныхъ вер-

шинъ, мало-по-малу застываютъ; остается одна матеріальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напоръ революціонныхъ волнъ.

- - - - - генералами, министрами, бюрократами старается забыть свое одиночество, но становится часть отъ часу мрачнѣе, печальнѣе, тревожнѣе. - - - видитъ, что - - не любятъ; - - замѣчаетъ мертвое молчаніе, царствующее вокругъ - - , по явственно доходящему гулу далекой бури, которая какъ будто - - - приближается. - - - хочетъ забыться. - - - громко провозгласилъ, что его цѣль—увеличеніе - - - - - власти.

Это признаніе — не новость: вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ - - - безъ устали, безъ отдыха трудится для этой единственной цѣли; для нея - - - не пожалѣлъ ни слезъ, ни крови - - - - - - - - - - - .

Все - - удалось; - - - раздавилъ польскую народность, въ Россіи - - - подавилъ либерализмъ.

Чего, въ самомъ дѣлѣ, еще хочется - - ? отчего - - - такъ мраченъ?

- - - - - чувствуетъ, что Польша еще не умерла. На мѣсто либерализма, который онъ гналъ съ ожесточеніемъ, совершенно напраснымъ, потому что этотъ экзотическій цвѣтокъ не можетъ укорениться на русской почвѣ, встаетъ другой вопросъ, грозный, какъ громовая туча.

Народъ начинаетъ роптать подъ игомъ помѣщиковъ; безпре- станно вспыхиваютъ мѣстные возстанія; вы сами приводите тому страшный примѣръ.

Партія движенія, прогресса требуетъ освобожденія крестьянъ: она готова принести въ жертву свои права. Царь колеблется и мѣ- шаетъ, онъ хочетъ освобожденія и препятствуетъ ему.

Онъ понялъ, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ осво- божденіемъ земли; что освобожденіе земли, въ свою очередь,—на- чало соціальной революціи, провозглашеніе сельскаго коммунизма. Обойти вопросъ объ освобожденіи невозможно, отодвинуть его рѣшеніе до слѣдующаго царствованія, конечно, легче, но это мало- душно и, въ сущности, это только нѣсколько часовъ, потерянныхъ на скверной почтовой станціи безъ лошадей...

Изъ всего этого вы видите, какое счастье для Россіи, что сель- ская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европей- ской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ социализмъ до самоотрицанія.

Европа, —я это сказалъ въ другомъ мѣстѣ,—не разрѣшила антиноміи между личностью и государствомъ, но она поставила себѣ задачею это разрѣшеніе. Россія также не нашла этого рѣшенія. Передъ этимъ вопросомъ начинается наше равенство.

Европа на первомъ шагу къ соціальной революціи встрѣчается съ этимъ народомъ, который представляетъ ему осуществленіе полудикое, не устроенное,—но, все таки, осуществленіе—постояннаго дѣлежа земель между земледѣльцами. И замѣтите, что этотъ великій примѣръ даетъ намъ не образованная Россія, но самъ народъ, его жизненный процессъ. Мы, русскіе, прошедшіе черезъ западную цивилизацію, мы—не больше, какъ средство, какъ закваска, какъ посредники между русскимъ народомъ и революціонной Европой. Человѣкъ будущаго въ Россіи — *мужикъ*, точно такъ же, какъ во Франціи работникъ.

Но если такъ, не имѣетъ ли русскій народъ нѣкоторое право на снисхожденіе съ вашей стороны, м. г.?

Бѣдный крестьянинъ! На него обрушиваются всевозможныя несправедливости. - - - - - преслѣдуетъ его рекрутскими наборами, помѣщикъ крадетъ у него трудъ, чиновникъ—последній рубль. Крестьянинъ молчитъ, терпитъ, но не отчаивается: у него остается община. Вырвутъ ли изъ нея члена, община сдвигается еще тѣснѣе; кажется, эта участь достойна сожалѣнія, а между тѣмъ она никого не трогаетъ. Вмѣсто того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняютъ.

Вы не оставляете ему даже послѣдняго убѣжища, гдѣ онъ еще чувствуетъ себя человѣкомъ, гдѣ онъ любитъ и не боится; вы говорите: «его община — не община, его семейство — не семейство, его жена — не жена: прежде чѣмъ ему, она принадлежитъ помѣщику; его дѣти — не его дѣти: кто знаетъ, кто ихъ отецъ».

Такъ вы подвергаете этотъ несчастный народъ не научному разбору, но презрѣнію другихъ народовъ, которые съ довѣріемъ внимаютъ вашимъ легендамъ.

Я считаю долгомъ сказать нѣсколько словъ по этому поводу. Семейный бытъ у всѣхъ славянъ чрезвычайно сильно развитъ: это, можетъ быть, единственный консервативный элементъ ихъ характера, предѣлъ ихъ отрицанья.

Сельская семья неохотно дробится; нерѣдко три, четыре поколѣнія проживаютъ подъ однимъ кровомъ вокругъ патріархально властвующаго дѣда. Женщина, обыкновенно угнетенная, какъ это бываетъ вездѣ въ земледѣльческомъ сословіи, пользуется уваженіемъ и почетомъ, когда она вдова старшаго въ родѣ.

Нерѣдко вся семья управляется сѣдою бабушкой... Можно ли же сказать, что семья въ Россіи не существуетъ?

Перейдемъ къ отношеніямъ помѣщика къ крѣпостному семейству.

Но для большей ясности отличимъ норму отъ злоупотребленій, права отъ преступленій.

Jus primæ noctis ¹⁾ никогда не существовало въ Россіи.

Помѣщикъ не можетъ законно требовать нарушенія супружеской вѣрности. Еслибъ законъ исполнялся въ Россіи, изнасилованіе крѣпостной женщины наказывалось бы точно такъ же, какъ если бы она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкой въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ правъ. Таковъ законъ, обратимся къ фактамъ.

Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительствомъ помѣщикамъ, имъ очень легко насиловать дочерей и женъ своихъ крѣпостныхъ. Притѣсненіями и наказаніями помѣщикъ всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будутъ предоставлять ему дочерей и женъ точно такъ же, какъ тотъ достойный французскій дворянинъ въ «Запискахъ Пёшо», который въ XVIII столѣтіи просилъ, какъ объ особенной милости, о помѣщеніи своей дочери въ *Parc-aux-cerfs* ²⁾.

Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находятъ суда на помѣщика, благодаря прекрасному судебному устройству въ Россіи; они большею частью находятся въ положеніи того господина Тьерселена, у котораго Берье укралъ, по порученію Людовика XV, одиннадцатилѣтнюю дочь. Всѣ эти грязныя гадости возможны; стоитъ только вспомнить грубые и развращенные нравы части русскаго дворянства, чтобы въ этомъ убѣдиться. Но что касается до крестьянъ, то они далеко неравнодушно переносятъ развратъ своихъ господъ.

Позвольте мнѣ привести этому доказательство.

Половина изъ помѣщиковъ, убиваемыхъ своими крѣпостными (по статистическимъ даннымъ, ихъ число простирается отъ шести-десяти до семидесяти въ годъ), погибаетъ вслѣдствіе своихъ эротическихъ подвиговъ. Процессы по такимъ поводамъ рѣдки; крестьянинъ знаетъ, что суды не уважатъ его жалобъ, но у него есть топоръ, онъ имъ владѣетъ мастерски и знаетъ это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянахъ и прошу васъ выслушать еще нѣсколько словъ о Россіи образованной.

¹⁾ Право первой ночи.

²⁾ Мѣсто, гдѣ жилъ Людовикъ XV, предаваясь охотѣ и разврату съ своими многочисленными метрессами.

Вы смотрите такъ же не снисходительно на умственное движеніе Россіи, какъ и на народный характеръ; однимъ почеркомъ пера вы вычеркиваете всѣ труды, совершенные до сихъ поръ нашими скованными руками.

Одно изъ лицъ Шекспира, не зная, чѣмъ унижить презрѣннаго противника, говоритъ ему: «я сомнѣваюсь даже въ твоемъ существованіи!». Вы пошли далѣе,—для васъ несомнѣнно, что русская литература не существуетъ.

Привожу ваши собственные слова:

«Мы не станемъ придавать важности опытамъ тѣхъ немногихъ умныхъ людей, которые вздумали упражняться въ русскомъ языкѣ и обманывать Европу блѣднымъ призракомъ будто бы русской литературы. Еслибъ не мое глубокое уваженіе къ Мицкевичу и къ его заблужденіямъ святого, я бы, право, обвинилъ его за снисхожденіе, (можно даже сказать) за милость, съ которою онъ говоритъ объ этой шуткѣ».

Я напрасно доискиваюсь, м. г., причинъ этого презрѣнія, съ которымъ вы встрѣчаете первый болѣзненный крикъ народа, пронувшагося въ тюрьмѣ,—этотъ стонъ, сдавленный рукою тюремщика.

Отчего не захотѣли вы прислушаться къ потрясающимъ звукамъ нашей грустной поэзіи, къ нашимъ напѣвамъ, въ которыхъ слышатся рыданія? Что скрыло отъ вашего взора нашъ судорожный смѣхъ,—эту безпрестанную иронію, подъ которой скрывается глубоко измученное сердце, которая, въ сущности,—лишь роковое признаніе нашего безсилія?

О, какъ я хотѣлъ бы достойнымъ образомъ перевести вамъ нѣсколько стихотвореній Пушкина и Лермонтова, нѣсколько пѣсень Кольцова! Вы бы тогда намъ тотчасъ протянули дружескую руку, вы бы первый попросили насъ забыть сказанное вами!

Послѣ крестьянскаго коммунизма ничего такъ глубоко не характеризуетъ Россію, ничто не предвѣщаетъ ей столь великой будущности, какъ ея литературное движеніе.

Между крестьяниномъ и литературою поднимается чудовище официальной Россіи, «Россія-ложь, Россія-холера», какъ вы ее назвали.

Эта Россія начинается съ - - - - - и идетъ отъ жандарма до жандарма, отъ чиновника до чиновника, до послѣдняго полицейскаго въ самомъ отдаленномъ закоулкѣ имперіи. Каждая ступень этой лѣстницы пріобрѣтаетъ, какъ въ дантовскихъ *bolgia* ¹⁾, повсюду силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида изъ преступленій, злоупотребленій, подкуповъ полицей-

¹⁾ Ямы ада.

скихъ негодяевъ, нѣмецкихъ бездушныхъ администраторовъ, вѣчно голодныхъ, невѣждъ-судей, вѣчно пьяныхъ, аристократовъ, вѣчно подлыхъ: все это связано сообществомъ грабительства и добычи и опирается на шестьсотъ тысячъ органическихъ машинъ - - - - .

Крестьянинъ никогда не марается объ этотъ міръ правительственнаго цинизма; онъ терпитъ его существованіе,—въ этомъ его единственная - - .

Станъ враждебный Россіи официальной состоитъ изъ горсти людей, на все готовыхъ, протестующихъ противъ нея, борющихся съ нею, обличающихъ, подкапывающихъ ее. Этихъ одинокихъ бойцовъ отъ времени до времени запираютъ въ казематы, терзаютъ, ссылаютъ въ Сибирь, но ихъ мѣсто не долго остается пустымъ,—новые борцы выступаютъ впередъ; это наше преданіе, нашъ маюратъ.

Страшныя послѣдствія человѣческой рѣчи въ Россіи по необходимости придають ей особенную силу. Съ любовью и благоговѣніемъ прислушиваются къ вольному слову, потому что у насъ его произносятъ только тѣ, у которыхъ есть чтò сказать. Не вдругъ рѣшаешься передавать свои мысли печати, когда въ концѣ каждой страницы мерещится жандармъ, тройка, кибитка и въ перспективѣ—Тобольскъ или Иркутскъ.

Въ послѣдней моей брошюркѣ ¹⁾ я достаточно говорилъ объ русской литературѣ; ограничусь здѣсь нѣкоторыми общими замѣчаніями.

Грусть, скептицизмъ, иронія,—вотъ три главныя струны русской лиры.

Когда Пушкинъ начинаетъ одно изъ своихъ лучшихъ твореній ²⁾ этими страшными словами:

Всѣ говорятъ: нѣтъ правды на землѣ.

Но правды нѣтъ и выше! Для меня

Такъ это ясно, какъ простая гамма,—

не сжимаются ли у васъ сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствіе разбитое существованіе человѣка, уже при-
выкшаго къ страданію?

Лермонтовъ, въ своемъ глубокомъ отвращеніи къ окружавшему его обществу, обращается на тридцатомъ году къ своимъ современникамъ со своимъ страшнымъ:

Печально я гляжу на наше поколѣнье!

Его грядущее—иль пусто, иль темно;

¹⁾ «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».—А. И. Г.

²⁾ «Моцартъ и Сальери».

Я знаю только одного современнаго поэта, съ такою же мощью затрагивающаго мрачныя струны души человѣческой. Это также поэтъ, родившійся въ рабствѣ и умершій прежде возрожденія отечества. Это пѣвецъ смерти, Леопарди, которому мѣръ казался громаднымъ союзомъ преступниковъ, безжалостно преслѣдующихъ горсть праведныхъ безумцевъ.

Россия имѣетъ только одного живописца, приобрѣвшаго общую извѣстность,—Брюллова. Что же изображаетъ его лучшее произведеніе, доставившее ему славу въ Италіи?

Взгляните на это странное произведеніе.

На огромномъ полотнѣ тѣснятся въ безпорядкѣ испуганныя группы; онѣ напрасно ищутъ спасенія. Онѣ погибнуть отъ землетрясенія, вулканическаго изверженія, среди цѣлой бури катаклизмовъ. Ихъ уничтожаетъ дикая, бессмысленная, безпощадная сила, противъ которой всякое сопротивленіе невозможно. Это вдохновенія, навѣяныя петербургскою атмосферою.

Русскій романъ обращается исключительно въ области патологической анатоміи; въ немъ постоянное указаніе на грызущее насъ зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здѣсь не услышите голоса съ неба, возвѣщающаго Фаусту прощеніе юной грѣшницѣ,—здѣсь возвышаютъ голосъ только сомнѣніе и проклятіе. А между тѣмъ, если для Россіи есть спасеніе, она будетъ спасена именно этимъ глубокимъ сознаниемъ нашего положенія, правдивостью, съ которою она обнаруживаетъ это положеніе передъ всѣми.

Тотъ, кто смѣло признается въ своихъ недостаткахъ, чувствуетъ, что въ немъ есть нѣчто, сохранившееся среди отступленій и паденій; онъ знаетъ, что можетъ искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сдѣлаться изъ «Сарданапала-гуляки—Сарданапаломъ-героємъ».

«Русскій народъ не читаетъ». Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не поселяне, а дворяне и часть средняго сословія. Въ Россіи образованная часть средняго сословія примыкаетъ къ дворянству, которое состоитъ изъ всего того, что перестало быть народомъ. Существуетъ даже дворянскій пролетаріатъ, сливающійся съ народомъ, и пролетаріатъ вольноотпущенный, подымающійся къ дворянству. Эта флуктуація ¹⁾, это безпрестанное обновленіе придаетъ русскому дворянству характеръ, котораго вы не найдете въ привилегированныхъ классахъ отсталой Европы. Однимъ словомъ, вся исторія Россіи со временъ Петра I есть только исторія дво-

¹⁾ Fluctuation—зыбленіе, колебаніе.

рянства и вліяній просвѣщенія на него. Прибавлю, что русское дворянство числомъ равняется избирателямъ во Франціи, по закону 31 мая.

Въ продолженіе XVIII вѣка ново-русская литература вырабатывала тотъ звучный, богатый языкъ, которымъ мы обладаемъ теперь; языкъ гибкій и могучій, способный выражать и самыя отвлеченныя идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французскаго остроумія. Эта литература, возникшая по гениальному мановенію Петра I, имѣла, это правда, характеръ правительственный, но тогда знамя правительства былъ прогрессъ, почти революція.

До 1789 года императорскій тронъ самодовольно драпировался въ величественныя складки просвѣщенія и философіи. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманывали картонными деревьями и дворцами изъ раскрашенныхъ досокъ... Никто, какъ она, не умѣлъ ослѣплять зрителей величественной обстановкой. Въ Эрмитажѣ только и слышно было, что о Вольтерѣ, о Монтескьё, о Беккарии. Вамъ извѣстенъ, м. г., оборотъ медали.

Однакожъ, среди триумфальнаго хора придворныхъ пѣснопѣній, уже звучала одна странная, не ожидаемая нота. Это былъ звукъ той скептической, грозно насмѣшливой струны, передъ которымъ должны были скоро умолкнуть всѣ прочіе искусственные напѣвы.

Настоящій характеръ русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается въ полной силѣ по восшествіи на престолъ Николая. Отличительная черта этого направленія—трагическое освобожденіе совѣсти, безжалостное отрицаніе, горькая иронія, мучительное углубленіе въ самого себя. Иногда все это раздражается безумнымъ смѣхомъ, но въ этомъ смѣхѣ нѣтъ ничего веселаго.

Брошенный въ гнетущую среду, вооруженный яснымъ взглядомъ и неподкупной логикой, русскій быстро освобождается отъ вѣры и отъ нравовъ своихъ отцовъ.

Мыслящій русскій—самый независимый человѣкъ въ свѣтѣ. Что можетъ его остановить? Уваженіе къ прошлому?... Но что служить исходной точкой новой исторіи Россіи, если не отрицаніе народности и преданія?

Или, можетъ быть, преданіе петербургскаго періода? Это преданіе не обязываетъ насъ ни къ чему, этотъ «пятыи актъ кровавой драмы, происходящій въ - - - - - »¹⁾, напротивъ, развязываетъ насъ окончательно.

¹⁾ По прекрасному выраженію одного изъ сотрудниковъ журнала «Il Progresso» въ номерѣ отъ 1 августа 1851 года, въ статьѣ о Россіи.—А. И. Г.

Съ другой стороны, прошлое западныхъ народовъ служить намъ наученіемъ и только; мы нисколько не считаемъ себя душеприказчиками ихъ историческихъ завѣщаній.

Мы раздѣляемъ ваши сомнѣнія, но ваша вѣра не согрѣваетъ насъ. Мы раздѣляемъ вашу ненависть, но не понимаемъ вашей привязанности къ завѣщанному предками; мы слишкомъ угнетены, слишкомъ несчастны, чтобы довольствоваться полу-свободой. Васъ связываютъ скрупулы ¹⁾, васъ удерживаютъ заднія мысли. У насъ нѣтъ ни заднихъ мыслей, ни скрупуловъ, у насъ только недостаетъ силы...

Вотъ откуда въ насъ эта иронія, эта тоска, которая насъ точитъ, доводитъ насъ до бѣшенства, толкаетъ насъ впередъ, пока добьемся мы Сибири, истязанія, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуемъ собою безъ всякой надежды отъ желчи, отъ скуки... Въ нашей жизни, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то безумное, но нѣтъ ничего пошлаго, ничего коснаго, ничего мѣщанскаго.

Не обвиняйте насъ въ безнравственности, потому что мы не уважаемъ того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденыша за то, что онъ не уважаетъ своихъ родителей? Мы независимы, потому что начинаемъ жизнь сызнова. У насъ нѣтъ ничего законнаго, кромѣ нашего организма, нашей народности; это—наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающій авторитетъ. Мы независимы, потому что ничего не имѣемъ. Намъ почти нечего любить. Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали намъ на концѣ кнута.

Какое же намъ дѣло до вашихъ завѣтныхъ обязанностей, намъ, младшимъ братьямъ, лишеннымъ наслѣдства? И можемъ ли мы по совѣсти довольствоваться вашею изношенной нравственностью, не христіанскою и не человѣческою, существующею только въ риторическихъ упражненіяхъ и въ прокурорскихъ докладахъ? Какое уваженіе можетъ внушать намъ ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее зданіе безъ свѣта и воздуха, подновленное въ средніе вѣка, подбѣленное вольноотпущеннымъ мѣщанствомъ? Согласенъ, что дневной разбой въ русскихъ судахъ еще хуже, но изъ этого не слѣдуетъ, что у васъ есть справедливость въ законахъ и судахъ.

Различіе между вашими законами и нашими указами заключается только въ заглавной формулѣ. Указы начинаются подавляющею истиною: «царь соизволилъ повелѣть»; ваши законы начинаются возмутительною ложью: ироническимъ злоупотребленіемъ

¹⁾ Scrupule—безпокойство, недоумѣніе совѣсти.

имени французскаго народа и словами «свобода, братство и равенство». - - - - -

- - - - - . Наполеоновскій сводъ имѣтъ рѣшительно тотъ же характеръ. На насъ лежитъ слишкомъ много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли на себя еще новыя. Въ этомъ отношеніи мы стоимъ совершенно на ряду съ нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силѣ. Мы рабы, потому что не имѣемъ возможности освободиться, но мы не принимаемъ ничего отъ нашихъ враговъ.

Россія никогда не будетъ протестантскою.

Россія никогда не будетъ *juste-milieu* ¹⁾.

Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлью отдѣлаться отъ царя Николая и замѣнить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

Мы, можетъ быть, требуемъ слишкомъ много и ничего не достигнемъ; можетъ быть, такъ, но мы, все-таки, не отчаиваемся; прежде 1848 года Россіи не должно, невозможно было вступать въ - - - - - поприще, ей слѣдовало доучиться, и теперь она доучилась. - - - - - это замѣчаетъ и свирѣпствуетъ противъ университетовъ, противъ идей, противъ науки; онъ старается отрѣзать Россію отъ Европы, убить просвѣщеніе. - - - - -

- - - .

Успѣтъ ли онъ въ немъ?

Я уже сказалъ это прежде.

Не слѣдуетъ слѣпо вѣрить въ будущее; каждый зародышъ имѣтъ право на развитіе, но не каждый развивается. Будущее Россіи зависитъ не отъ нея одной. Оно связано съ будущимъ Европы. Кто можетъ предсказать судьбу славянскаго міра въ случаѣ, если реакція и абсолютизмъ окончательно побѣдятъ революцію въ Европѣ?

Быть можетъ, онъ погибнетъ?

Но въ такомъ случаѣ погибнетъ и Европа...

И исторія перенесется въ Америку...

Написавши предыдущее, я получилъ послѣдніе два фельетона вашей легенды. Прочитавши ихъ, первымъ моимъ движеніемъ было бросить въ огонь написанное мною. Ваше теплое, благородное сердце не дождалось, чтобы кто-нибудь другой поднялъ голосъ въ пользу непризнаннаго русскаго народа. Ваша любящая душа взяла верхъ надъ принятою вами ролью *неумолимаго* судьи, мстителя за

¹⁾ Золотая середина.

польскій народъ. Вы впади въ противорѣчіе, но такія противорѣчія благородны.

Перечитывая мое письмо, я, однако, подумалъ, что вы можете найти въ немъ новые взгляды на Россію и на славянскій міръ, и я рѣшился послать его вамъ. Я вполнѣ надѣюсь, что вы простите тѣ мѣста, гдѣ я увлекся своею скиѣскою горячностью. Кровь варваровъ не даромъ течетъ въ моихъ жилахъ. Мнѣ такъ хотѣлось измѣнить ваше мнѣніе о русскомъ народѣ; мнѣ было такъ грустно, такъ тяжело видѣть, что вы противъ насъ, что не могъ скрыть своей горести, своего волненія и далъ волю перу. Но теперь я вижу, что вы въ насъ не отчаиваетесь, что подъ грубымъ армякомъ русскаго крестьянина вы узнали человѣка, я это вижу и, въ свою очередь, признаюсь вамъ, что вполнѣ понимаю то впечатлѣніе, которое должно производить одно имя Россіи на всякаго свободнаго человѣка. Мы часто сами проклинаемъ наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите, что все, что вы сказали о нравственномъ ничтожествѣ Россіи, слабо въ сравненіи съ тѣмъ, что говорятъ сами русскіе.

Но и для насъ проходитъ время надгробныхъ рѣчей по Россіи, и мы говоримъ съ вами: «въ этой мысли таится искра жизни». Вы угадали ее, эту искру, силою вашей любви; но мы, мы ее видимъ, мы ее чувствуемъ. Эту искру не потушатъ ни потоки крови, ни сибирскіе льды, ни духота рудниковъ и тюремъ. Пусть разгорается она подъ золою! Холодное, мертвящее дуновеніе, которымъ вѣетъ отъ Европы, можетъ ее погасить.

Для насъ часъ дѣйствія еще не насталъ; Франція еще, по справедливости, гордится своимъ передовымъ положеніемъ. Ей до 1852 года принадлежитъ трудное право. Европа, безъ сомнѣнія, прежде насъ достигнетъ гроба или новой жизни. День дѣйствія, можетъ быть, еще далеко для насъ; день сознанія мысли, слова уже пришелъ. Довольно жили мы во снѣ и молчаніи; пора намъ рассказывать, что намъ снилось, до чего мы додумались.

И въ самомъ дѣлѣ, кто виноватъ въ томъ, что надобно было дожить до 1847 года, чтобы «нѣмецъ (Гакстгаузенъ) *открылъ*, какъ вы выражаетесь, народную Россію, столь же неизвѣстную до него, какъ Америка до Колумба?»

Виноваты, конечно, мы,—мы бѣдные, нѣмые, съ нашимъ мало-душіемъ, съ нашею бояливою рѣчью, съ нашимъ запуганнымъ во-ображеніемъ. Мы даже за границу боимся признаваться въ ненависти, съ которою мы смотримъ на наши оковы. Каторжники отъ рожденія, обреченные влачить до смерти ядро, прикованное къ нашимъ ногамъ, мы обижаемся, когда объ насъ говорятъ, какъ

о добровольныхъ рабахъ, какъ о мерзлыхъ неграхъ, а между тѣмъ мы не протестуемъ открыто.

Слѣдуетъ ли смиренно покориться этимъ нареканіямъ, или рѣшиться остановить ихъ, возвысивъ голосъ для свободной русской рѣчи? Лучше погибнуть подозрѣваемыми въ человѣческомъ достоинствѣ, чѣмъ жить съ позорнымъ знакомъ рабства на лбу, чѣмъ слушать, какъ насъ обвиняютъ въ добровольномъ порабощеніи.

Къ несчастію, въ Россіи свободная рѣчь удивляетъ, пугаетъ. Я попытался приподнять только край тяжелой завѣсы, скрывающей насъ отъ Европы, я указалъ только на теоретическія стремленія, на отдаленныя надежды, на органическіе элементы будущаго развитія; а между тѣмъ моя книга ¹⁾, о которой вы выразились такъ лестно, произвела въ Россіи неблагопріятное впечатлѣніе. Дружескіе голоса, уважаемые мною, порицаютъ ее. Въ ней видятъ обвиненіе на Россію. Обвиненіе!... въ чемъ же? Въ нашихъ страданіяхъ, въ нашихъ бѣдствіяхъ, въ нашемъ желаніи вырваться изъ этого ненавистнаго состоянія... Бѣдные, дорогіе друзья, простите мнѣ это преступленіе,—я снова впадаю въ него.

Тяжко, ужасно ярмо долгаго рабства безъ борьбы, безъ близкой надежды! Оно напослѣдокъ подавляетъ самое благородное, самое сильное сердце. Гдѣ герой, котораго, наконецъ, не сломила бы усталъ, который не предпочелъ бы на старости лѣтъ покой вѣчной тревогѣ бесплодныхъ усилій?

Нѣтъ, я не умолкну! Мое слово отмститъ за эти несчастныя существованія, разбитыя - - - - - , доводящимъ до нравственнаго уничтоженія, до духовной смерти.

Мы обязаны говорить: безъ этого никто не узнаетъ, сколько прекраснаго и высокаго эти страдальцы навсегда замыкаютъ въ груди своей, оно гибнетъ съ ними въ снѣгахъ Сибири, гдѣ даже на ихъ могилѣ не начертится ихъ *преступное* имя, которое ихъ друзья будутъ хранить въ сердцѣ своемъ, не смѣя произносить его.

Едва мы открыли ротъ, едва пролепетали два-три слова о нашихъ желаніяхъ, о нашихъ надеждахъ,—и уже хотятъ его зажать, хотятъ заглушить въ колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настаетъ время зрѣлости, въ которое ее не могутъ болѣе сковать ни цензурныя мѣры, ни осторожность. Тутъ пропаганда дѣлается страстью; можно ли довольствоваться шептаніемъ на ухо, когда сонъ такъ глубокъ, что его едва ли разсѣшь набатомъ?

¹⁾ «Du développement etc.».

Отъ возстанія стрѣльцовъ до заговора 14 декабря въ Россіи не было серьезнаго политическаго движенія. Причина тому понятна: въ народѣ не было ясно опредѣлившихся стремленій къ независимости. Во многомъ онъ соглашался съ правительствомъ, во многомъ правительство опережало народъ. Одни крестьяне, не причастные къ выгодамъ - - - - - , болѣе чѣмъ когда-нибудь угнетенные, попытались возстать. Россія, отъ Урала до Пензы и Казани, на три мѣсяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и генералъ Бибииковъ, посланный изъ Петербурга, чтобы принять команду войска, писалъ, если я не ошибаюсь, изъ Нижняго: «дѣла идутъ очень плохо; болѣе всего надобно бояться не вооруженныхъ полчищъ бунтовщиковъ, а духа народнаго, который опасенъ, очень опасенъ».

Послѣ неслыханныхъ усилій возстаніе, наконецъ, было подавлено. Народъ впалъ въ оцѣпненіе, умолкъ и покорился....

Между тѣмъ, дворянство развивалось, образованіе начинало оплодотворять умы, и, какъ живое доказательство этой политической зрѣлости нравственнаго развитія, необходимо выражающейся въ дѣятельности, явились эти - - - - личности, эти герои, какъ вы справедливо называете ихъ, которые «одни, въ самой - - - - - отважились на смѣлый ударъ 14 декабря».

Ихъ пораженіе, терроръ нынѣшняго царствованія подавили всякую мысль объ успѣхѣ, всякую преждевременную попытку. Возникли другіе вопросы; никто не хотѣлъ болѣе рисковать жизнью въ надеждѣ на конституцію; было слишкомъ ясно, что хартія, завоеванная въ Петербургѣ, разбилась бы о - - - - - : участь польской конституціи была передъ глазами.

Въ продолженіе десяти лѣтъ умственная дѣятельность не могла обнаружиться ни однимъ словомъ, и томительная тоска дошла до того, что «отдавали жизнь за счастье быть свободнымъ одно мгновенье» и высказать вслухъ хоть часть своей мысли.

Иные отказались отъ своихъ богатствъ съ тою вѣтреною беззаботностью, которая встрѣчается лишь у насъ да у поляковъ, и отправились на чужбину искать себѣ разсѣянія; другіе, неспособные переносить духоту петербургскаго воздуха, закопали себя въ деревняхъ. Молодежь вдалась, кто въ панславизмъ, кто въ нѣмецкую философію, кто въ исторію или въ политическую экономію; однимъ словомъ, никто изъ тѣхъ русскихъ, которые были призваны къ умственной дѣятельности, не могъ, не захотѣлъ покориться застою.

Исторія Петрашевскаго, приговореннаго къ вѣчной каторгѣ, и его друзей, сосланныхъ въ 1849 году за то, что они въ двухъ шагахъ отъ Зимняго дворца образовали нѣсколько политическихъ

обществъ, не доказываетъ ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успѣха, что время размышленій прошло, что волненія въ душѣ не удержишь, что вѣрная гибель стала казаться легче, чѣмъ нѣмая, страдательная покорность петербургскому порядку?

Очень распространенная въ Россіи сказка гласитъ, что царь, подозрѣвая жену въ невѣрности, заперъ ее съ сыномъ въ бочку, потомъ велѣлъ засмолить бочку и бросить въ море.

Много лѣтъ плавала бочка по морю.

Между тѣмъ царевичъ росъ не по днямъ, а по часамъ, и уже сталъ упираться ногами и головой въ донья бочки. Съ каждымъ днемъ становилось ему тѣснѣе да тѣснѣе. Однажды сказалъ онъ матери:

— Государыня-матушка, позволь протянуться въ волюшку.

— Свѣтикъ мой, царевичъ,—отвѣчала мать,—не протягивайся.

Бочка лопнетъ, и ты утонешь въ соленой водѣ.

Царевичъ смолкъ и, подумавши, сказалъ:

— Протянусь, матушка; лучше разъ протянуться въ волюшку да умереть.

Въ этой сказкѣ, м. г., вся наша исторія.

Горе Россіи, если въ ней переведутся смѣлые люди, рискующіе всѣмъ, чтобы хоть разъ протянуться въ волюшку.

Но этого бояться нечего....

Невольно приходитъ мнѣ при этихъ словахъ на мысль М. Бакунинъ. Бакунинъ далъ Европѣ образчикъ вольнаго русскаго чело-вѣка.

Я былъ глубоко тронутъ прекрасными словами, съ которыми вы обращаетесь къ нему. Къ несчастію, эти слова до него не дойдутъ.

Международное преступленіе совершилось: Саксонія выдала свою жертву Австріи, Австрія—Николаю. Онъ въ Шлиссельбургѣ, въ этой крѣпости зловѣщей памяти, гдѣ нѣкогда держался заперти, какъ дикій звѣрь, Иванъ Антоновичъ, внукъ царя Алексѣя, - - - - - Екатериною II, этою женщиною, которая, - - - - - , приказала сперва - - - - - узника, а потомъ казнить несчастнаго офицера, - - - - - ¹⁾).

Въ сыромъ казематѣ, у ледяныхъ водъ Ладожскаго озера нѣтъ мѣста ни для мечтателей, ни для надежды!

¹⁾ Когда подпоручикъ В. Я. Мировичъ захотѣлъ освободить Іоанна Антоновича и возвести его на престолъ, пристава крѣпости, слѣдуя разъ навсегда данному имъ на подобный случай приказу, умертвили арестанта. Мировичъ былъ казненъ.

Пусть же онъ спокойно заснетъ послѣднимъ сномъ, мученикъ, преданный двумя правительствами, у которыхъ на пальцахъ осталась его кровь...

----- И мы также погибнемъ на полпути, какъ онъ; но тогда вашимъ строгимъ и величавымъ голосомъ скажите еще разъ нашимъ дѣтямъ, что за ними остается долгъ...

Останавливаюсь на воспоминаніи о Бакунинѣ и жму вамъ крѣпко руку и за него, и за себя.

Ницца, 22 сентября 1851 г.

538. Приписка къ М. К. Рейхель.

(Октябрь 1851 г.).

Посылаю вамъ мѣсто о моей книгѣ Мишле такъ, какъ оно было передано Даметомъ¹⁾ въ «Avenir»,—онъ, т. е. Мишле, еще въ «Événement» раскомплиментилъ. Дайте эту штуку Мельгун.²⁾; еслибъ можно ее довести до Москвы, это былъ бы отвѣтъ. Письмо мое будетъ напечатано особо, я вамъ его доставлю къ 1 ноября. Скажу вамъ впередъ, что это—одна изъ самыхъ удачныхъ вещей; сначала я сердился на Мишле, а потомъ на нашихъ трамблеровъ³⁾,—это помогло. Какъ это они не поймутъ, что съ сумой нищаго лучше итти въ Европу и кричать о Россіи, нежели такъ жить, какъ они. А прогос, скажите Мельг., что я къ нему писалъ на дняхъ, адресуя во Франкф.; пусть онъ выпишетъ: v. N. Humbert im Humbertschen Hause. Да что же еще новаго о Русландѣ?

Былъ ли Рейхель у Бернацкаго? я его сильно прошу сообщить Мишле, что ему будетъ письмо, и сказать, что я очень буду радъ, если онъ велитъ его напечатать въ «Événement» съ отвѣтомъ или безъ...

Ужъ кутить, такъ кутить,—

Я пишу, такъ и быть...

Ну, сдѣлали же пользу они, хотѣвши мнѣ намордникъ надѣть ругательными письмами!

Александрю-Николаю⁴⁾ Рейхелю и его отцу-родителю почитаніе.

¹⁾ Одинъ изъ редакторовъ газеты «L'Avenir de Nice».

²⁾ Н. А. Мельгуновъ жилъ тогда въ Парижѣ.

³⁾ Trembleur—тотъ, кто постоянно дрожить (отъ страха).

⁴⁾ Имя перваго сына Рейхелей.

539. Письмо къ Ж. Мишле.

7 novembre 1851.

Nice.

Monsieur, Votre lettre m'a fait un bien immense; j'en étais profondément touché. Permettez-moi de serrer votre main, avec reconnaissance, avec vénération, avec amitié.

J'ai encore foi en 1852, et si j'ai parlé de notre perte à la fin de ma lettre, je n'ai pensé qu'à nous autres, Russes. Nous sommes à l'avant-garde de l'arrière-garde; pour nous, comme Russes, il n'y a rien que de servir d'exemple comme Pestel, Mouravieff, Bakounine.

Voilà les détails biographiques sur notre ami malheureux. Après demain je vous enverrai ceux concernant Pétrachevsky. Et je prendrai la liberté de vous adresser encore les exemplaires de ma lettre, craignant que Franck ne pourrait la recevoir que dans une semaine.

On critique ici ma langue française. J'avoue mon ignorance. Un Polonais de mes amis, M. Chojecki, a bien voulu corriger mon manuscrit; mais avec tout cela il y a des fautes; je n'ai qu'à demander votre indulgence. Lorsque j'écris le russe, je suis complètement libre, je me sens là dans mon élément, je me laisse entraîner, sans penser à l'arrangement des mots.

J'attends vos observations, elles me seront précieuses. Je vous dois beaucoup, car j'étais dans une apathie malade les derniers temps. Vous m'avez réveillé et, plus encore, votre dernière lettre, si sympathique, m'a réchauffé le cœur, grâce vous soit rendue.

Je vous salue de tout mon cœur.

A. Herzen.

Je tâcherai d'avoir le portrait de nos martyrs; ils existent, mais ce n'est pas facile de les faire venir de Moscou.

Переводъ.

7 ноября 1851 г.

Ницца.¹

Въ высшей степени благотворно было для меня ваше письмо ¹⁾; оно глубоко тронуло меня. Позвольте мнѣ позжать вашу руку съ благодарностью, глубокимъ почтениемъ и дружбой.

¹⁾ Отъ 3 ноября 1851 г.

Я еще вѣрю въ 1852 годъ, и если въ концѣ своего письма говорилъ о нашей гибели, то имѣлъ въ виду лишь насъ, русскихъ. Мы—авангардъ аріергарда: намъ, какъ русскимъ, не остается ничего другого, какъ служить примѣромъ, подобно Пестелю, Муравьеву ¹⁾, Бакунину.

Прилагаю біографическія свѣдѣнія о нашемъ несчастномъ другѣ ²⁾. Послѣзавтра пришло вамъ біографическія свѣдѣнія о Петрашевскомъ ³⁾. Позволю себѣ при этомъ адресовать вамъ еще нѣсколько экземпляровъ моего «Письма», такъ какъ боюсь, что Франкъ можетъ получить его только черезъ недѣлю.

Здѣсь критикуютъ мой французскій слогъ. Сознаюсь въ своемъ невѣдѣніи. Одинъ изъ моихъ польскихъ друзей, Хоецкій, былъ такъ добръ, что исправилъ мою рукопись; тѣмъ не менѣе въ ней есть ошибки; остается только просить васъ о снисхожденіи. Когда я пишу по-русски, я совершенно свободенъ, чувствую себя въ своей средѣ, даю себѣ волю, не думая о расположеніи словъ.

Жду вашихъ замѣчаній, они будутъ для меня драгоценны. Я много обязанъ вамъ, потому что послѣднее время находился въ болѣзненной апатіи. Вы меня разбудили, и, больше того,—ваше послѣднее, столь полное сочувствія, письмо согрѣло мнѣ сердце; спасибо вамъ.

Привѣтствую васъ отъ всего сердца. *А. Герценъ.*

Постараюсь достать портреты нашихъ мучениковъ; они есть, но добыть ихъ изъ Москвы не легко.

◆◆ 1. Переписка Герцена съ Мишле началась раньше, въ октябрѣ 1851 г., но письма Герцена уцѣлѣли не всѣ. Въ началѣ октября, выпустивъ «Pologne et Russie, Légende de Kosciusko», Мишле писалъ Герцену: «Я былъ счастливъ, по крайней мѣрѣ отчасти, выразить въ своихъ польскихъ и русскихъ легендахъ мое глубокое уваженіе къ вашему таланту и характеру. Надѣюсь при случаѣ поговорить о вашей книгѣ («Du développement» etc—*М. Л.*) обстоятельно и *по душѣ*. Пожалуйста, не судите этихъ легендъ по крайне неточному тексту, который появился въ газетѣ. Я собираюсь перепечатать ихъ книгою и не премину доставить ихъ вамъ очищенными отъ типографскихъ и многихъ собственныхъ ошибокъ. Я вычеркну особенно мой несправедливо-рѣзкій отзывъ о

¹⁾ Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостоль.

²⁾ Бакунинъ. См. № 540.

³⁾ См. № 541.

русской литературѣ. Мнѣ жаль сказаннаго мною о славныхъ патриотахъ, великая заслуга которыхъ заключалась въ томъ, что они своими головами приподняли этотъ страшный ледяной сводъ и открыли хоть малую щель, чтобы погребенный народъ могъ нѣсколько вздохнуть. Мнѣ говорили, что вы собираетесь напечатать нѣкоторыя замѣчанія на мои легенды. Если это такъ, то каковы бы они ни были, я буду вамъ благодаренъ за эту высокую честь и приложу всѣ старанія, чтобы дать вашей критикѣ возможно большее распространеніе. Вѣрьте, что узы, соединяющія меня съ вами, слишкомъ прочны, чтобы какое-нибудь внушеніе литературнаго тщеславія могло порвать или ослабить ихъ. Меня связываетъ съ вами и общность убѣжденій, и общность друзей, память Бакунина и всѣхъ великихъ патриотовъ, русскихъ и польскихъ, нашего времени. Вѣрна ли новость о смерти Бакунина?» (Подлинникъ въ архивѣ семьи Герцена, переводъ г. Гершензона заимствую изъ IV кн. «Былого» 1907 г.).

Очевидно, что Мишле еще не зналъ о томъ, что Герценъ уже написалъ № 537.

Затѣмъ Мишле пишетъ довольно часто и всегда пользуется случаемъ получить отъ Герцена какія-нибудь свѣдѣнія для своихъ работъ по составленію статей, въ которыхъ даетъ фигуры дѣятелей русскаго освободительнаго движенія или знакомить съ политической жизнью Россіи.

21 октября Мишле пишетъ, что если полученное имъ «письмо» Герцена не было бы напечатано, то это значило бы, что онъ не имѣетъ въ редакціи никакого вліянія. О какомъ письмѣ идетъ рѣчь, сказать очень трудно; думаю, во всякомъ случаѣ, что не о № 537, такъ какъ позже Мишле извѣщалъ, что онъ до него еще не дошелъ и, кромѣ того, появился въ Ниццѣ безъ участія Мишле. Тамъ же послѣдній проситъ краткихъ біографическихъ свѣдѣній о Бакунинѣ, которыя ему нужны въ виду новаго изданія его книги, и спрашиваетъ, вѣрно ли, что «Du développement» въ Ниццѣ конфисковано.

27 октября Мишле повторяетъ своей вопросъ о смерти Бакунина, говоритъ, что еще не получилъ критики Герцена (вѣроятно, № 537) обѣщаетъ представить ее сейчасъ же въ ту же газету, гдѣ писалъ вызвавшіе ее фельетоны («L'Événement») и проситъ достать портреты Пестеля, Рылѣва и Бакунина.

Получивъ рукопись-копію № 537, Мишле извѣщаетъ 3 ноября: «Каждое ваше слово — *дѣло*. На этотъ разъ ваша рѣчь тронула меня до слезъ. Нѣтъ, вы не погибнете. Мы спасемся всѣ вмѣстѣ. Франція воскреснетъ въ 52 году, а міръ еще будетъ жить. Вы, очевидно, — въ извѣстномъ смыслѣ, — авангардъ человѣчества.

Избави меня богъ спорить съ тѣми, кто занимаетъ этотъ почетный постъ! Еще до полученія вашихъ замѣчаній я исправилъ сказанное мною о русской литературѣ». Видно, что Мишле хлопочеть о разсылкѣ «Du développement» etc. по редакціямъ для отзыва или просто—цитирования. Снова просить свѣдѣній о Бакунинѣ, самыхъ краткихъ, которыя онъ могъ бы обработать на свой ладъ. Письмо кончается словами: «Не могу достаточно выразить, какъ люблю вашу новую книгу и изумляюсь ей».

7 ноября Мишле сообщаетъ, что уже поблагодарилъ Герцена въ тотъ же день, какъ получилъ его произведеніе, замѣчательное по силѣ и жизненности. «Я поблагодарю васъ публично въ концѣ новаго изданія легендъ о русскихъ мученикахъ, при чемъ, однако, представлю на вашъ судъ мои сомнѣнія по нѣкоторымъ пунктамъ». Получилъ также рукопись, которую будетъ предлагать газетамъ, а если тамъ не удастся, то въ журналы. Эта рукопись не Герцена, а лица, имя котораго составляло тайну,—повидимому, А. А. Чумикова (подлинники писемъ въ архивѣ семьи Герцена; напечатаны G. Monod въ «Revue» 1907). Содержаніе этой переписки передано г. Гершензономъ въ IV кн. «Былого» 1907 г., мѣстами полностью (и я иногда пользовался его переводомъ), но не безъ ошибокъ. Такъ, напр., никоимъ образомъ нельзя утверждать, что въ письмѣ отъ 21 октября рѣчь идетъ о какой-то статейкѣ Герцена въ защиту какого-то арестованнаго участника революціи 1848 года (стр. 84).

540. MICHEL BAKOUNINE.

Michel Bakounine est maintenant âgé de 37 à 38 ans.

Il est né d'une vieille famille aristocratique et dans une position également éloignée d'une grande richesse et d'une indigence gênante. C'est le milieu dans lequel il y a le plus de lumière et de mouvement en Russie. Pour vous donner, Monsieur, une idée de ce qui s'agite et fermente au fond de ces familles, si tranquilles à la surface, il me suffira d'énumérer le sort des oncles de Bakounine, des Mouravieff, auxquels il ressemblait beaucoup par sa haute taille un peu voûtée, par ses yeux bleu-clair, par son front large et carré, et même par sa bouche assez grande.

Une seule génération de la famille des Mouravieff donna trois individus magnifiques à l'insurrection du 14 décembre (deux étaient parmi les membres les plus influents; l'un fut pendu par Nicolas, l'autre

périt en Sibérie), un bourreau aux Polonais, un procureur général au Saint-Synode et enfin une épouse à l'un des ministres de S. M.

On peut se figurer l'harmonie et l'unité qui règnent dans des familles composées d'éléments aussi hétérogènes.

Michel Mouravieff, le gouverneur militaire de Vilna, aimait à répéter: «Je n'appartiens pas aux Mouravieff que l'on pend, mais à ceux qui font pendre».

Bakounine a passé son enfance dans la maison paternelle, à Twer, et près de cette ville dans les possessions seigneuriales de son père. Celui-ci qui passait pour un homme d'esprit et même pour un vieux conspirateur du temps d'Alexandre, ne l'aimait pas trop et se débarrassa de lui, dès qu'il l'a pu. Il le plaça dans une école d'artillerie à Pétersbourg.

Les écoles militaires en Russie sont - - - -: c'est là que l'on forme, sous les yeux mêmes de l'empereur, les officiers pour son armée. C'est là qu'on - - - - - aux enfants et qu'on les dresse à l'obéissance passive. L'esprit vigoureux et le corps robuste de Bakounine passèrent heureusement à travers cette rude épreuve. Il finit ses études et fut admis au service, comme officier d'artillerie. Son père voulant l'éloigner, fit, par l'intermédiaire des généraux avec lesquels il était lié, passer son fils de Pétersbourg dans un parc cantonné dans le triste pays de la Russie Blanche.

Le jeune homme dépérissait dans cette existence ennuyeuse; il devint triste, mélancolique, au point que ses supérieurs commençaient à avoir des craintes sérieuses sur l'état de sa santé, et grâce à cela, on ne s'opposa pas, lorsqu'une année plus tard il donna sa démission. Libre du service, contre le désir de son père, sans liaisons, sans appui, sans argent, il vint à Moscou. C'était en 1835. Il était comme perdu dans cette ville qui lui était inconnue; il cherchait à donner des leçons de mathématiques, seule science qu'il connaissait un peu, et n'en trouvait pas. Heureusement, quelque temps après, on le présenta à une dame que toute la jeunesse littéraire d'alors aimait et estimait beaucoup, à M^{me} C. Léwachoff (on peut bien nommer cette sainte femme: il y a plus de dix ans qu'elle n'existe plus). C'était une de ces existences pures, dévouées, pleines de sympathies élevées et de chaleur d'âme, qui font rayonner autour d'elles l'amour et l'amitié, qui réchauffent et consolent tout ce qui s'approche d'elles. Dans les salons de M^{me} Léwachoff on rencontrait les hommes les plus éminents de la Russie, Pouchkine, Michel Orloff (non le ministre de la police, mais son frère, le conspirateur), enfin, Tchaadaïeff, son ami le plus intime et qui lui a adressé ses célèbres lettres sur la Russie.

M^{me} Léwachoff devina par cette intuition sagace, particulière aux

femmes douées d'un grand cœur, la forte trempe du caractère et les facultés extraordinaires de l'ex-artilleur. Elle l'introduisit dans le cercle de ses amis. C'est alors qu'il rencontra Stankévitch et Béliusky, avec lesquels il se lia intimement.

Stankévitch ¹⁾ le poussa à l'étude de la philosophie. La rapidité avec laquelle Bakounine, qui ne connaissait alors que très peu la langue allemande, s'assimilait les idées de Kant et de Hegel et se rendait maître et de la méthode dialectique, et du contenu spéculatif de leurs écrits, a été étonnante. Deux années après son arrivée à Moscou, ses amis étaient tellement devancés par lui, qu'ils s'adressaient ordinairement à lui, lorsqu'ils trouvaient quelques difficultés. Bakounine avait un don magnifique pour développer les thèses les plus abstraites, avec une lucidité qui les mettait à la portée de chacun et sans rien perdre de leur profondeur idéaliste. C'est précisément le rôle que je prétends être celui qui est dévolu au génie slave par rapport à la philosophie: nous avons de grandes sympathies pour la spéculation allemande, mais nous aspirons encore plus vers la clarté française.

Bakounine pouvait parler des heures entières, disputer depuis le soir jusqu'au matin sans se fatiguer, sans perdre ni le fil dialectique de l'entretien, ni l'ardeur de la persuasion. Et il était toujours prêt à commenter, éclaircir, répéter, sans le moindre dogmatisme. Cet homme était né missionnaire, propagandiste, prêtre. L'indépendance, l'autonomie de la raison, telle était sa bannière alors, et, pour émanciper la pensée, il faisait la guerre à la religion, la guerre à toutes les autorités. Et comme chez lui l'ardeur de la propagande s'alliait à un très grand courage personnel, on pouvait dès lors prévoir que, dans une époque telle que la nôtre, il deviendrait un révolutionnaire fougueux, ardent, héroïque. Toute son existence n'était qu'une œuvre de propagande. Moine de l'Église militante de la révolution, il allait par le monde prêchant la négation du christianisme, l'approche du dernier jugement de ce monde féodal et bourgeois, prêchant le socialisme à tous et la réconciliation aux Russes et aux Polonais. Il n'avait pas d'autre vocation dans sa vie, ni d'autre intérêt; il était complètement indifférent aux conditions extérieures de son existence.

Quittant sa patrie, Bakounine ne s'est jamais soucié de ce qu'il abandonnait son héritage. Il n'a jamais pensé comment il ferait pour dîner le lendemain. Avait-il un peu d'argent.—il le dépensait, sans compter, follement; il le donnait à d'autres. N'en avait-il pas? cela n'abattait pas son courage: il en riait avec ses amis, il savait réduire sa vie à presque rien, il se refusait tout, et non seulement il ne s'en

¹⁾ J'ai parlé de ce jeune homme remarquable, mort en Italie, dans ma brochure: *Sur les idées révolutionnaires en Russie.*—A. H.

plaignait pas beaucoup, mais en effet il souffrait moins que les autres: il acceptait le manque d'argent, comme une maladie.

Il était jeune, beau, il aimait faire des prosélytes parmi les femmes; beaucoup étaient enthousiasmées de lui, et pourtant aucune femme n'a joué un grand rôle dans la vie de cet ascète révolutionnaire: son amour, sa passion étaient ailleurs.

J'ai fait la connaissance de Bakounine en 1839. Je revenais alors à Moscou d'un premier exil et commençais à travailler dans des écrits périodiques, dirigés par Bélinsky, ami intime de Bakounine. Nous passâmes ensemble une année. Bakounine me poussait de plus en plus dans l'étude de Hegel, je tâchais d'importer plus d'éléments révolutionnaires dans sa science austère.

L'automne de 1840 Bakounine quitta la Russie; il se rendit à Berlin pour terminer ses études. Seul de ses amis, j'allais le reconduire jusqu'à Cronstadt. A peine le bateau à vapeur fut-il sorti de la Néva, qu'un de ces ouragans baltiques, accompagnés de torrents d'une pluie froide, se déchaîna contre nous. Force fut au capitaine de retourner. Ce retour fit une impression extrêmement pénible sur nous deux. Bakounine regardait tristement comment le rivage de Pétersbourg, qu'il pensait avoir quitté pour des années, s'approchait de nouveau avec ses quais parsemés de sinistres figures de soldats, de douaniers, d'officiers de police et de mouchards, grelottant sous leurs parapluies usés.

Était-ce un signe, un avis providentiel?.. Une circonstance semblable retint Cromwell, lorsqu'il voulait s'embarquer pour l'Amérique. Mais Cromwell quittait l'Old England et il était, au fond, enchanté d'avoir trouvé un prétexte pour y rester. Bakounine quittait la nouvelle cité - - - - . Ah! Monsieur, il faut voir l'enthousiasme sans bornes, la joie, les larmes aux yeux, chaque fois qu'un Russe passe la frontière de sa patrie et pense qu'il se trouve maintenant hors du pouvoir - - - - - !

Je montrai à Bakounine l'aspect lugubre de Pétersbourg et je lui citai ces vers magnifiques de Pouchkine, où il jette les mots comme des pierres, sans les lier entre eux, en parlant de Pétersbourg:—«Cité splendide, cité pauvre, air de contrainte, aspect régulier, la voûte des cieux grisâtre et verte... Ennui, bise et granit». Bakounine ne voulut pas descendre sur le rivage, il préféra attendre dans la cabine du bateau l'heure du départ. Je le quittai, et je me rappelle encore sa haute et grande figure, enveloppée dans un manteau noir et battue par une pluie inexorable, comme il se tenait sur le devant du bateau et me saluait pour la dernière fois avec son chapeau, lorsque je m'enfonçais dans une rue de traverse...

Bakounine étonna d'abord par sa fougue, par ses talents et par la hardiesse des conséquences qu'il osait accepter, les professeurs de Berlin; mais bientôt il s'ennuya et rompit avec le quietisme de la science allemande. Bakounine ne voyait d'autre moyen de résoudre l'antinomie entre la pensée et le fait, que la lutte, et il devint de plus en plus révolutionnaire. Il fut au nombre des jeunes littérateurs qui protestèrent dans les *Annales de Halle*, dirigées par Arnold Roughe, contre la manière stérile, aristocratique et inhumaine des professeurs allemands de comprendre la science, contre leur fuite dans les sphères de l'*absolu*, contre leur abstention sans cœur qui ne voulait participer en rien aux peines et aux fatigues de l'homme contemporain.

Les articles de Bakounine, écrits avec beaucoup de verve et de hardiesse, étaient signés *Jules Elysard*. Au reste il écrivait très peu et travaillait difficilement quand il fallait recourir à la plume.

En 1843 Bakounine, poursuivi par les réactionnaires suisses, fut dénoncé par l'un d'eux, Blüntchli, et reçut aussitôt la sommation de rentrer en Russie. Blüntchli, journaliste et membre du gouvernement à Zurich, lors de l'affaire du communiste Weitling, compromit une quantité de personnes. Ayant entre ses mains des dossiers de Weitling et de ses amis, il fit une brochure, où il rendit public tout ce qu'il devait garder secret, comme magistrat. Il n'y avait aucune lettre adressée à Bakounine ou adressée par lui à Weitling, mais, dans je ne sais quel billet, Weitling parlait de Bakounine, socialiste russe. Cela a suffi à Blüntchli. Après cette dénonciation, il était impossible de rentrer; Bakounine refusa par conséquent d'obtempérer à l'ordre impérial. Alors le tzar le fit juger par son sénat; on le condamna à la perte de tous ses titres et à la déportation perpétuelle *dès qu'il rentrerait* «pour avoir désobéi aux ordres de S. M. et pour avoir tenu une conduite *inconvenante* à un officier russe». Bakounine remercia l'empereur par une lettre qu'il fit insérer dans les journaux de Paris, où il vint se fixer, de lui avoir retiré ses titres de noblesse.

Exilé une seconde fois après le départ de Bakounine, je n'ai trouvé les moyens et la possibilité de quitter la Russie qu'au commencement de l'année 1847, et c'est alors que je l'ai revu à Paris. Il menait une vie retirée, ne voyait que quelques amis russes et polonais; il fréquentait Proudhon et allait parfois chez M^{me} George Sand. Il était fatigué, plus triste qu'en Russie, mais il était bien loin du désespoir: le temps était lourd en 1847.

Expulsé de Paris après son discours à l'anniversaire de la révolution polonaise en 1847, il alla à Bruxelles. Le 24 février lui ouvrit les portes de la France, d'une grande carrière et de la prison éternelle. Bakounine rajeunit et se sentit pour la première fois dans la

possibilité de développer toutes ses forces et toute son activité énergétique.

Il quitta Paris au mois de mars 1848 pour porter ses conseils, sa parole aux Slaves autrichiens. Chemin faisant, il rencontra, dans la Forêt Noire, une commune de paysans en pleine insurrection, allant prendre le château. Bakounine se souvient de son état d'artilleur, leur enseigne les mouvements et les dispositions nécessaires pour prendre le château, leur donne des instructions et remonte dans sa voiture pour continuer sa route.

Lorsque Bakounine vint à Prague, il y trouva le congrès slave déjà réuni. Présenté par un député de la Galicie, il fut invité à prendre part aux travaux de ce premier concile d'une nationalité qui se réveillait enfin, après des siècles de léthargie. On y parlait toutes les langues slaves, il ne manquait qu'une seule: la langue russe. Personne au monde ne pouvait mieux représenter l'idée révolutionnaire de la petite minorité de sa patrie que Bakounine, lui Russe, ami des Polonais, armé de tout ce que la science allemande pouvait donner, et socialiste, comme les hommes les plus avancés de la France. Bakounine, dès son apparition, acquit une influence immense et très populaire. Son extérieur noble et tout à fait slave, son énergie, son caractère ouvert, sa parole claire et profonde, rallièrent autour de lui les hommes effectivement révolutionnaires de la Bohême et les Slaves autrichiens.

Vous connaissez, Monsieur, l'histoire de la Révolution de Prague, C'est l'histoire typique de toutes les révolutions, écloses à la suite du 24 février. Victoires faciles au commencement, les vainqueurs se sentant profondément indignes d'être vainqueurs; une foi aveugle aux concessions hypocrites du pouvoir; discussions oiseuses et formalités, perte de temps; prise d'armes inopportune et défaite complète.

Windichgraetz était enchanté des barricades à Prague, tout comme Marrast et Cavaignac l'ont été le 22 juin 1848 à Paris. Il bombardait la ville pendant six jours. Dès le commencement du combat Bakounine descendit dans la rue, mais à la fin il n'y avait rien à faire. Windichgraetz devait écraser par les canons et les masses. La population montrait des sympathies autrichiennes. Bakounine abandonna la ville, lorsque la défaite était consommée et alla attendre de meilleurs jours à Dessau.

Jamais dans aucun pays on n'a vu un spectacle plus ignoble, plus lâche, que celui que donnaient au peuple allemand leurs gouvernants en 1849. Louis-Napoléon, Pie IX sont des héros de probité, de franchise et de loyauté à côté de ces misérables Habsbourg et Hohenzollern avec leurs collègues de Saxe, Wurtemberg, Hesse, Bade, etc.

Le spectacle de ces trahisons, de ces parjures, de petites cruautés à la fois sanguinaires et mesquines, *qui indignèrent Paskévitch en Hongrie*, rendit furieux les derniers hommes libres en Allemagne, qui n'avaient pas fléchi devant la réaction; on était plus qu'indigné: le cœur se remplissait d'un désir insurmontable de vengeance et de représailles. Les monstruosité commises par les Prussiens dans le duché de Bade, par exemple, étaient telles, que j'ai entendu de braves bourgeois allemands, qui, leur vie entière, n'ont jamais osé penser à contester les droits des rois et des grands, me dire, pâles et tremblants de rage: «Ah! si un jour nous pouvions étrangler de nos mains un officier prussien!» Le parti révolutionnaire, sous cette influence nerveuse et fébrile, avec l'exaltation du désespoir et de l'offense, tenta un suprême effort à Dresde.

Bakounine était là, triste, irrité; il n'en pouvait plus, comme le montrait une lettre qu'il adressa à un de ses amis de Köthen avant la révolution de Dresde. Dès que le mouvement se prononça à Dresde, il apparut sur les barricades; on l'y connaissait et on l'y aimait beaucoup.

Un gouvernement provisoire fut constitué. Il vint lui offrir ses services. Plus énergique que ses amis, sans être investi d'un commandement formel, il devint le chef militaire de la ville assiégée. C'est là qu'il manifesta non seulement un courage, mais aussi une présence d'esprit héroïques, imperturbables.

Lorsqu'il apprit que les soldats du roi n'étaient pas bien décidés à massacrer leurs frères, qu'ils avaient des scrupules, qu'ils ménageaient même les édifices, Bakounine proposa de mettre les chefs-d'œuvre de la galerie de Dresde sur les murs et sur les barricades. Cela aurait effectivement arrêté les assiégeants. «Et s'ils tirent?» répliquèrent les membres de la municipalité. «Tant mieux, laissez leur l'infamie de cette barbarie». La municipalité esthétique ne le voulut pas. C'est ainsi qu'une série de mesures révolutionnaires et terroristes, proposées par Bakounine, fut rejetée.

Quand il n'y eut plus rien à faire, Bakounine proposa d'incendier les maisons des aristocrates et de faire sauter en l'air l'Hôtel de Ville avec tous les membres du gouvernement, y compris lui-même. En disant cela, il tenait en main un pistolet armé.

Vous connaissez le reste, Monsieur. Arrêté quelques jours après la prise de Dresde, Bakounine fut jugé par une cour militaire et condamné à mort avec ses deux braves collègues, Heubner et Reichel. Lorsqu'on lut la sentence qui *ne pouvait pas* être exécutée, parce que la peine de mort, abolie par la diète de Francfort pour les délits politiques, n'avait pas encore été rétablie, on *trompa* les condamnés en

leur proposant de se pourvoir en grâce. Bakounine refusa et dit que la seule chose qu'il craignait, c'était de retomber dans les mains du gouvernement russe, mais, puisqu'on se proposait de le guillotiner, qu'il n'avait rien contre cela, bien qu'il eût aimé mieux être fusillé! L'avocat lui représenta qu'un de ses collègues avait une femme et des enfants, et qu'il était fort probable qu'il consentirait à se pourvoir en grâce, mais qu'il renonçait, depuis qu'il connaissait le refus de Bakounine. «Dites-lui donc,—répliqua aussitôt Bakounine,—que je consens, que je signerai la pétition.» On n'insista par davantage et l'on fit semblant que la commutation de la peine avait été un acte spontané de la clémence royale ¹).

C'est alors que le gouvernement autrichien demanda qu'on lui livrât Bakounine. On l'envoya *les fers aux pieds*. On le fit juger,—juger un homme condamné à mort et puis à la détention perpétuelle, pour des faits antérieurs à sa condamnation!

Lorsqu'on pressa à Dresde Bakounine de dire quelle avait été la cause de ce qu'il prit une part si active à la révolution allemande, il répondit: «Je continuais ici ce que j'ai fait toute ma vie: je servais ici la cause de la révolution slave». Il n'en fallait pas davantage pour commencer l'horrible torture qu'il a subie.

Parmi les belles lois qui régissent l'Autriche, il y en a une qui permet aux juges d'une cour martiale d'appliquer *la bastonnade* dans les cas où tous les juges ont la conviction que le prévenu ne dit pas toute la vérité. Ces ignobles barbares ont appliqué cette loi à Bakounine. Il faut vous dire qu'il ne cachait absolument rien de ce qui le concernait personnellement, mais il ne voulait pas parler d'autrui. Après chaque séance Bakounine subissait la schlague.

Il ne lui manquait encore que la schlague morale. La *Gazette d'Augsbourg*, organe volontaire du cabinet de Vienne, insérait des correspondances de Prague, dans lesquelles on disait que beaucoup de personnes étaient arrêtées par suite des révélations graves, faites par Bakounine. Cela me rappelle l'histoire qu'Andryanè raconte dans ses *Mémoires d'un prisonnier d'état*.

Salvotti, l'inquisiteur impérial de Milan, disait au comte Confalonéri: «Vous vous obstinez à ne rien dire, à jouer l'héroïsme, c'est bien; mais demain je ferai insérer dans les journaux que vous avez dénoncé vos amis, et vous n'aurez aucun moyen de donner un démenti». Ce noble Salvotti est maintenant membre du Conseil d'État à Vienne et s'occupe des affaires de l'Italie.

¹) J'ignorais ces faits lorsque j'écrivais ma brochure sur *les idées révolutionnaires en Russie*. — A. H.

C'est avec répugnance que je toucherai maintenant une réminiscence douloureuse. Il y avait des Allemands, et malheureusement aussi des Polonais, qui répandirent le bruit infâme que Bakounine était un agent du gouvernement russe. Cette calomnie l'a poursuivi jusqu'à la prison, grâce à un folliculaire de la *Gazette Rhénane*. Ce dernier racontait que M^{me} G. Sand avait dit qu'elle tenait pour sûr de M. Ledru-Rollin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, que Bakounine était un employé de l'ambassade russe. Un des amis de Bakounine s'adressa directement à M^{me} Sand, qui donna le démenti le plus complet et écrivit une lettre qu'on envoya immédiatement à la rédaction de journal de Marx. Mais ce n'est que lorsque les os du pauvre martyr craquèrent sous les instruments de torture, qu'on est revenu de cette infâme calomnie.

Je ne sais comment cela se fait, mais dès qu'on voit un Russe révolutionnaire, on le prend pour un agent du tzar; tantôt on ne trouve pas comment concilier l'origine aristocratique avec les convictions d'un démocrate, tantôt on s'étonne de ce que les hommes riches sont des socialistes. Notre habitude de jeter l'argent, notre radicalisme franc choquent le monde bourgeois. J'ai entendu plus d'une fois l'observation suivante: «Comment faisait Bakounine pour avoir de l'argent? Sa famille ne lui envoyait rien, et pourtant il en avait quelquefois: on a au moins le droit de soupçonner que cet argent lui venait du gouvernement russe».

En terminant, je dois vous dire, Monsieur, que tous les détails sur Bakounine *depuis 1848*, je ne les connais que d'après les récits de quelques Allemands et d'après les journaux. La dernière lettre que j'ai vue de lui, était écrite au commencement de 1850 du Hradschin (forteresse de Prague). Depuis son départ pour Olmütz, rien n'a transpiré. Un chambellan du roi de Prusse s'est vanté à une table d'hôte, à Genève qu'il était *allé voir* Bakounine à Olmütz (non par sympathie, mais comme une rareté); il disait qu'il l'a trouvé enchaîné à un mur, dans une petite cellule obscure, qu'il était faible, souffrant et que sa voix était éteinte.

Bakounine à été transféré d'Olmütz dans une prison humide, en Hongrie, et de là, comme on nous écrit, à Schlussembourg. On dit qu'il y a été torturé.

P. S. — Étant à Kœnigstein, Bakounine a publié, en allemand, une petite brochure très énergique sur la Russie sous le titre: *Russische Zustände*.

Переводъ.

МИХАИЛЬ БАКУНИНЪ.

Милостивый Государы!

Вы хотѣли знать нѣкоторыя біографическія подробности относительно Бакунина. Я глубоко тронуть честью, какую Вы оказываете, обращаясь ко мнѣ и тѣмъ доставляя мнѣ случай говорить о героѣ, съ которымъ я былъ очень близокъ.

Быть можетъ, эти поспѣшно написанныя замѣтки побудятъ Васъ создать ему вѣнецъ мученика; онъ достоинъ, м. г., такого вѣнца, сплетеннаго Вашими руками.

Вы выразили также желаніе имѣть его портретъ; со временемъ мнѣ, можетъ быть, удастся достать тотъ, который сдѣланъ въ Германіи въ 1843 году и который я видѣлъ въ Россіи. Онъ довольно похожъ. Пока же, чтобы дать Вамъ нѣкоторое понятіе о чертахъ Бакунина, рекомендую Вамъ старый портретъ Спинозы, который можно найти въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ изданіяхъ его произведеній,—между этими двумя фізіономіями большое сходство.

Михаилу Бакунину теперь 37—38 лѣтъ ¹⁾).

Онъ происходитъ изъ старинной аристократической фамиліи, но по состоянію былъ равно далекъ какъ отъ крупнаго богатства, такъ и отъ стѣснительной бѣдности. Такая среда является въ Россіи наиболѣе просвѣщенной и наиболѣе отзывчивой. Чтобы дать Вамъ, м. г., понятіе о глубокихъ духовныхъ запросахъ, таящихся въ подобныхъ, столь спокойныхъ на первый взглядъ, семьяхъ, мнѣ достаточно будетъ указать на судьбу дядей Бакунина—Муравьевыхъ, на которыхъ Михаилъ очень походилъ своимъ высокимъ ростомъ, небольшою сутуловатостью, свѣтлоголубыми глазами, широкимъ четырехугольнымъ лбомъ и даже довольно большимъ ртомъ ²⁾).

Одно только поколѣніе изъ рода Муравьевыхъ дало трехъ замѣчательныхъ представителей дѣлу декабристовъ (двое изъ нихъ принадлежали къ наиболѣе вліятельнымъ членамъ Общества, вслѣдствіе чего одинъ ³⁾ былъ повѣшенъ Николаемъ, другой ⁴⁾ погибъ

¹⁾ Родился 18 мая 1814 г.

²⁾ Отецъ Бакунина, Александръ Михайловичъ, былъ женатъ на Варварѣ Александровнѣ Муравьевой.

³⁾ Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостоль.

⁴⁾ Никита Михайловичъ Муравьевъ; третій, вѣроятно, Ипполитъ Ивановичъ, покончившій съ собой 3 января 1826 г.

въ Сибири), палача — полякамъ ¹⁾), оберъ-прокурора — святѣйшему синоду ²⁾ и, наконецъ, супругу ³⁾ одному изъ министровъ Его Величества.

Можно себѣ представить, какое единство и гармонія царили въ семействахъ, составленныхъ изъ столь разнородныхъ элементовъ.

Михаилъ Муравьевъ, виленскій военный губернаторъ, любилъ повторять: «Я принадлежу не къ тѣмъ Муравьевымъ, *которыхъ* вѣшаютъ, а къ тѣмъ, *которые* вѣшаютъ».

Бакунинъ провелъ дѣтство въ домѣ родителей въ Твери и близости отъ нея, въ родовомъ имѣннн своего отца ⁴⁾. Старикъ Бакунинъ, слышій за человѣка умнаго и даже за стараго заговорщика время Александръ, не очень-то любилъ сына и отдѣлался отъ него при первой возможности, помѣстивши Михаила въ петербургское артиллерійское училище.

Русскія военныя школы, это—нѣчто - - - -; въ нихъ, прямо на глазахъ императора, воспитываютъ офицеровъ для его арміи, т. е. - - - - - дѣтей и дрессируютъ ихъ къ пассивному повиновенію.

Бакунинъ, со своимъ энергичнымъ умомъ и крѣпкимъ тѣломъ, прошелъ благополучно черезъ это тяжелое испытаніе. Онъ окончилъ ученье, былъ произведенъ въ офицеры и поступилъ на службу въ артиллерію. Желая быть подальше отъ сына, отецъ, при посредствѣ близко знакомыхъ генераловъ, устроилъ такъ, что Михаила перевели изъ Петербурга въ одинъ изъ артиллерійскихъ парковъ, расположенныхъ въ печальной Бѣлоруссіи.

Молодой человѣкъ изнывалъ въ скучной обстановкѣ; онъ грустилъ, сдѣлался меланхоликомъ, такъ что начальство стало серьезно опасаться за его здоровье; только благодаря этому, со стороны начальства не встрѣтилось препятствій, когда, годъ спустя, Михаилъ подалъ въ отставку.

Освободясь отъ службы противъ желанія своего отца, безъ связей, безъ поддержки, безъ денегъ, онъ пріѣхалъ въ Москву. Это было въ 1835 году. Онъ былъ, какъ потерянный, въ этомъ совершенно неизвѣстномъ ему городѣ, искалъ уроковъ по математикѣ—единственная наука, которую онъ немного зналъ—и не находилъ ничего. Къ счастью, спустя нѣкоторое время его представили одной дамѣ, которую очень любила и уважала вся тогдашняя

¹⁾ Михаилъ Николаевичъ.

²⁾ Андрей Николаевичъ, чиновникъ за оберъ-прокурорскимъ столомъ.

³⁾ Екатерина Захаровна, вышла замужъ за графа Е. Ф. Канкринъ.

⁴⁾ С. Премухино, Новоторжскаго у., Тверской губ.

литературная молодежь, г-жѣ Ек. Левашовой (можно свободно назвать эту святую женщину: вотъ уже больше десяти лѣтъ, какъ ея нѣтъ на свѣтѣ). Это было одно изъ тѣхъ чистыхъ, самоотверженныхъ, полныхъ возвышенныхъ симпатій и душевной пылкости существъ, которыя распространяють вокругъ себя любовь и дружбу, согрѣвають и утѣшаютъ всякаго, кто къ нимъ приближается. Въ салонѣ г-жи Левашовой можно было встрѣтить самыхъ выдающихся людей Россіи: Пушкина, Михаила Орлова (не министра полиціи, а его брата, заговорщика), наконецъ, Чаадаева, близкаго друга хозяйки, адресовавшаго къ ней свои знаменитыя письма о Россіи.

Благодаря интуитивной проницательности женщины, одаренной великимъ сердцемъ, г-жа Левашова разгадала силу характера и необычныя способности эксъ-артиллериста. Она ввела его въ кругъ своихъ друзей. Тогда-то онъ встрѣтился со Станкевичемъ и Бѣлинскимъ, и близко сошелся съ ними,

Станкевичъ ¹⁾ натолкнулъ его на изученіе философіи.

Быстрота, съ которой Бакунинъ, мало знавшій тогда нѣмецкій языкъ, усвоилъ идеи Канта и Гегеля и овладѣлъ вполне какъ діалектическимъ методомъ, такъ и умозрительнымъ содержаніемъ ихъ произведеній, была прямо изумительна. Черезъ два года послѣ своего пріѣзда въ Москву онъ опередилъ своихъ друзей до такой степени, что они обыкновенно обращались къ нему, если встрѣчали какія-либо трудности. Бакунинъ имѣлъ чудесный даръ развивать самые отвлеченные тезисы съ такою ясностью, что они становились доступными каждому, при томъ ничего не теряя въ своей идейной глубинѣ. Эту именно роль я считаю принадлежащей славянскому генію по отношенію къ философіи: мы чувствуемъ большую симпатію къ нѣмецкой умозрительности, но еще больше стремимся къ французской ясности.

Бакунинъ могъ говорить цѣлыми часами, спорить съ вечера до утра, не утомляясь, не теряя ни діалектической нити разговора, ни пылкой убѣдительности. И онъ былъ всегда готовъ комментировать, разъяснять, повторять безъ малѣйшаго догматизма. Этотъ человѣкъ родился миссіонеромъ, пропагандистомъ, проповѣдникомъ. Независимость, автономія разума—вотъ что было тогда его лозунгомъ, и во имя освобожденія мысли онъ велъ свою войну съ религіей и со всѣми авторитетами. А такъ какъ горячность пропаганды соединялась у него съ большимъ личнымъ мужествомъ, то

¹⁾ Я уже говорилъ объ этомъ замѣчательномъ молодомъ человѣкѣ, умершемъ въ Италіи, въ моей брошюрѣ «О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи».—А. И. Г.

отсюда можно было предвидѣть, что въ такую эпоху, какъ наша, онъ сдѣлается революціонеромъ ревностнымъ, страстнымъ, героическимъ. Вся жизнь его была пропагандою. Монахъ воинствующей церкви-революціи, онъ проходитъ по свѣту, проповѣдая свое отрицаніе христіанства, приближеніе послѣдняго суда надъ феодальнымъ и буржуазнымъ міромъ, социализмъ, примиреніе русскихъ съ поляками. Онъ напоминаетъ намъ прозелитовъ первыхъ вѣковъ христіанства или, еще больше, тѣхъ неумолимо-дѣятельныхъ людей эпохи Возрожденія наукъ, которые, какъ Карданъ, Бруно, Пьеръ Рамюсъ переходили изъ страны въ страну, распространяя свои идеи, поучая, убѣждая, борясь съ предрасудками, рискуя жизнью ради свободы слова,—этихъ всюду гонимыхъ и преслѣдуемыхъ людей, которые послѣ долгихъ лишеній самоотверженной жизни не знали, гдѣ преклонить голову, если смерть не приходила имъ на помощь, — смерть на кострѣ или въ мрачной тюрьмѣ. У него не было въ жизни другого призванія, другихъ интересовъ—онъ былъ совершенно равнодушенъ къ внѣшнимъ условіямъ своего существованія.

Оставляя родину, Бакунинъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что онъ отказывается отъ крупнаго наслѣдства. Онъ никогда не думалъ и о томъ, гдѣ будетъ завтра обѣдать. Если у него было немного денегъ, онъ ихъ расходовалъ—не считая, безразсудно, или раздавалъ ихъ другимъ. Если денегъ не было, онъ нисколько не унывалъ и смѣялся надъ этимъ со своими друзьями. Онъ умѣлъ сводить свои потребности почти къ нулю, отказывалъ себѣ во всемъ и не только не особенно жаловался, но и дѣйствительно страдалъ меньше, чѣмъ другіе: къ недостатку денегъ онъ относился, какъ къ болѣзни.

Онъ былъ молодъ, красивъ, любилъ находить прозелитовъ между женщинами; многія были въ восторгѣ отъ него, и тѣмъ не менѣе ни одна женщина не играла большой роли въ жизни этого революціонера-аскета: его любовь, его страсть принадлежали иному.

Я познакомился съ Бакунинымъ въ 1839 году. Я возвратился тогда въ Москву изъ первой ссылки и начиналъ работать въ періодическихъ изданіяхъ, редактируемыхъ Бѣлинскимъ, близкимъ другомъ Бакунина. Годъ мы провели вмѣстѣ. Бакунинъ увлекалъ меня все болѣе и болѣе въ изученіе Гегеля; я старался внести больше революціоннаго элемента въ его строгую научность.

Осенью 1840 года Бакунинъ покинулъ Россію и отправился въ Берлинъ заканчивать свое образованіе. Изъ всѣхъ друзей я одинъ провожалъ его до Кронштадта. Едва только пароходъ вышелъ изъ устья Невы, на насъ обрушился одинъ изъ обычныхъ

балтійскихъ шкваловъ, сопровождаемыхъ потоками холоднаго дождя. Капитанъ принужденъ былъ повернуть обратно. Это возвращеніе произвело на насъ обоихъ чрезвычайно тяжелое впечатлѣніе. Бакунинъ грустно смотрѣлъ, какъ снова приближался къ намъ петербургскій берегъ, который онъ думалъ оставить за собой на долгіе годы, съ его набережными, усѣянными зловѣщими фигурами солдатъ, таможенными, полицейскими офицерами и шпіонами, дрожавшими отъ холода подъ своими поношенными зонтиками.

Было ли это предзнаменованіемъ, указаніемъ провидѣнія? Подобное обстоятельство удержало Кромвеля, когда онъ садился на корабль, чтобы плыть въ Америку. Но Кромвель покидалъ «Старую Англію» и въ глубинѣ души былъ въ восторгѣ, что нашелъ предлогъ въ ней остаться; Бакунинъ же покидалъ новый городъ - - -. Ахъ, м. г., нужно видѣть безмѣрный восторгъ, радость, слезы на глазахъ, каждый разъ, когда русскій переѣзжаетъ границы своего отечества и думаетъ, что теперь онъ находится внѣ власти - - - - -

Я показалъ Бакунину на мрачный обликъ Петербурга и процитировалъ тѣ великолѣпные стихи Пушкина, гдѣ онъ, говоря о Петербургѣ, бросаетъ, будто камни, не связывая ихъ межъ собой, отдѣльные слова:

Городъ пышный, городъ бѣдный,
 Духъ неволи, стройный видъ,
 Сводъ небесъ зелено-блѣдный,
 Скука, холодъ и гранить —

Бакунинъ не захотѣлъ спуститься на берегъ, онъ предпочелъ дожидаться часа отъѣзда въ своей каютѣ на пароходѣ.

Я оставилъ его, и мнѣ все еще помнится его высокая, крупная фигура, закутанная въ черный плащъ и поливаемая неумолимымъ дождемъ; помнится, какъ онъ стоялъ на передней палубѣ судна и махалъ мнѣ въ послѣдній разъ своей шляпой, когда я входилъ въ поперечную улицу.

Бакунинъ изумилъ сначала берлинскихъ профессоровъ своимъ воодушевленіемъ, талантомъ и смѣлостью выводовъ, до которыхъ онъ рѣшался доходить, но скоро соскучился и разорвалъ съ квіетизмомъ нѣмецкой науки. Бакунинъ не видѣлъ другого средства, кромѣ борьбы, чтобы уничтожить противорѣчіе между мыслью и дѣломъ; онъ все болѣе и болѣе становился революціонеромъ. Онъ примкнулъ къ числу молодыхъ литераторовъ, которые въ «Annales de Halle» ¹⁾, редактируемыхъ Арнольдомъ Руге, протестовали противъ

¹⁾ «Halle'sche Jahrbücher», назывался позже «Deutsche Jahrbücher».

безплодной, аристократической, безчеловѣчной системы пониманія науки, введенной нѣмецкими профессорами, противъ ихъ бѣгства въ область *абсолютнаго*, противъ ихъ безсердечной невозмутимости, не желающей принимать никакого участія въ трудахъ и тревогахъ современнаго челоуѣчества.

Статьи Бакунина, написанныя съ большой смѣлостью и одушевленіемъ, были подписаны Jules Elysard. Впрочемъ, онъ писалъ очень мало, и работалъ съ большимъ трудомъ, когда приходилось браться за перо.

Въ 1843 году, преслѣдуемый швейцарскими реакціонерами, Бакунинъ былъ выданъ однимъ изъ нихъ, Блюнчли, и тотчасъ же получилъ приказаніе вернуться въ Россію. Блюнчли, журналистъ и членъ цюрихскаго правительства, помимо дѣла коммуниста Вейтлинга ¹⁾, скомпрометировалъ большое число людей. Имѣя въ своихъ рукахъ «дѣла» Вейтлинга и его друзей, онъ составилъ брошюру, гдѣ обнародовалъ все, что, какъ должностное лицо, долженъ былъ сохранять въ тайнѣ. Тамъ не было ни одного письма, адресованнаго Бакунину или отъ него къ Вейтлингу, но въ какой-то записочкѣ Вейтлинга говорилось о русскомъ социалистѣ, Бакунинѣ. Этого было достаточно для Блюнчли.

Возвращаться въ Россію послѣ подобнаго обвиненія было невозможно, и Бакунинъ отказался повиноваться императорскому приказу. Тогда царь повелѣлъ своему сенату судить его; его приговорили къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ вѣчной ссылкѣ *со дня возвращенія* «за неповиновеніе повелѣнію его величества и за поведеніе, *неприличное* для русскаго офицера». За лишеніе дворянскихъ правъ Бакунинъ поблагодарилъ императора письмомъ, напечатаннымъ въ газетахъ Парижа, гдѣ онъ и поселился окончательно.

Послѣ отъѣзда Бакунина я былъ вторично отправленъ въ ссылку и лишь въ началѣ 1847 года нашелъ средства и возможность оставить Россію; тутъ только я снова увидѣлъ Бакунина въ Парижѣ. Онъ велъ очень уединенную жизнь, видѣлся лишь съ нѣсколькими русскими и польскими друзьями, часто бывалъ у Прудона, иногда посѣщалъ Жоржъ Сандъ. Онъ чувствовалъ усталость, былъ печальнѣе, чѣмъ въ Россіи, но очень далекъ отъ отчаянія: въ 1847 г. было спокойно—передъ грозою.

Изгнанный изъ Парижа послѣ своей рѣчи въ 1847 году, въ годовщину польской революціи, онъ отправился въ Брюссель. 24-е февраля открыло передъ нимъ свободный путь во Францію, блестящую

¹⁾ Вильгельмъ, по ремеслу портной; эмигрировалъ впоследствии въ Соединенные Штаты и тамъ основалъ коммунистическую колонію.

арену и двери вѣчной темницы. Бакунинъ помолодѣлъ и въ первый разъ почувствовалъ возможность проявить всѣ свои силы, всю свою дѣятельную энергію.

Въ мартѣ 1848 года онъ покинулъ Парижъ, чтобы принести свои совѣты, свой даръ слова на помощь австрійскимъ славянамъ. По дорогѣ, въ Шварцвальдѣ онъ встрѣтился съ осаждавшими замкъ повстанцами-крестьянами. Бакунинъ вспоминаетъ о своемъ званіи артиллериста, обучаетъ ихъ необходимымъ, для взятія замка, военнымъ дѣйствіямъ, даетъ имъ инструкціи и снова садится въ экипажъ, чтобы продолжать путешествіе.

Когда Бакунинъ прибылъ въ Прагу, онъ засталъ тамъ славянскій конгрессъ уже въ полномъ сборѣ. Представленный однимъ галиційскимъ депутатомъ, онъ получилъ приглашеніе принять участіе въ трудахъ этого перваго совѣщанія племени, которое просыпалось, наконецъ, отъ многовѣкового летаргическаго сна. Тамъ говорили на всѣхъ славянскихъ языкахъ,—недоставало только одного, русскаго. Никто въ мірѣ не могъ быть лучшимъ представителемъ революціонныхъ идей крошечнаго меньшинства своей родины, чѣмъ Бакунинъ,—самъ русскій, другъ Польши, вооруженный всѣмъ, что могла дать нѣмецкая наука, и въ то же время социалистъ, какъ наиболѣе передовые люди Франціи,—и потому съ самаго своего появленія Бакунинъ пріобрѣлъ огромное вліяніе и очень большую популярность. Его благородная и совершенно славянская наружность, энергія, открытый характеръ, глубина и ясность рѣчи соединили вокругъ него всѣхъ истинныхъ революціонеровъ Богеміи и славянскихъ владѣній Австріи.

Вамъ извѣстна исторія революціи въ Прагѣ. Это типичная исторія всѣхъ революцій, явившихся слѣдствіемъ 24-го февраля: въ началѣ быстрая побѣда, причемъ побѣдители чувствуютъ себя глубоко недостойными этого успѣха; слѣпая вѣра въ лицемѣрныя уступки властей, легкомысленные споры о формальностяхъ, потеря времени; неумѣнье въ надлежащій моментъ взяться за оружіе и полное поражение.

Виндишгрець былъ въ восторгѣ отъ баррикадъ въ Прагѣ, со-всѣмъ какъ Маррастъ и Кавеньякъ 22-го іюня 1848 г. въ Парижѣ. Онъ бомбардировалъ городъ въ теченіе шести дней. Съ самаго начала сраженія Бакунинъ былъ непрерывно на улицахъ, но въ концѣ концовъ тамъ нечего было дѣлать. Возстаніе должно было быть подавлено пушками и перевѣсомъ силъ Виндишгреца. Населеніе Праги явно высказывало свои австрійскія симпатіи. Бакунинъ покинулъ городъ, когда пораженіе сдѣлалось фактомъ несомнѣннымъ, и отправился дожидаться лучшихъ дней въ Дессау.

Никогда еще ни въ одной странѣ не было видно зрѣлища болѣе низкаго, болѣе постыднаго, чѣмъ поведеніе германскихъ правителей въ 1849 году. Людовикъ-Наполеонъ, Пій IX кажутся героями честности, искренности и лояльности рядомъ съ этими презрѣнными Габсбургами и Гогенцоллернами, вмѣстѣ съ ихъ коллегами изъ Саксоніи, Вюртемберга, Гессена, Бадена и др. Зрѣлища этихъ предательствъ, клятвопреступленій, жестокостей, одновременно кровавыхъ и мелочныхъ, *которыя въ Веніріи вызвали негодованіе Паскевича*, привели въ ярость послѣднихъ свободныхъ людей Германіи, не склонившихся передъ реакціей; это было больше, чѣмъ негодованіе: сердце наполнялось непреодолимой жаждой отмщенія и возмездія. Поступки пруссаковъ, напимѣръ, въ герцогствѣ Баденскомъ были настолько чудовищны, что я видѣлъ честныхъ нѣмецкихъ буржуа, которые въ теченіе всей своей жизни никогда не осмѣливались даже мысленно оспаривать права королей и сильныхъ міра сего, но и они говорили мнѣ, блѣднѣя и дрожа отъ бѣшенства: «ахъ, если бы когда-нибудь намъ удалось задушить своими руками прусскаго офицера!» Подъ вліяніемъ лихорадочно-нервнаго возбужденія, съ экзальтаціей отчаянія, вызванной ужаснымъ оскорбленіемъ, революціонная партія сдѣлала въ Дрезденѣ послѣднее усиліе.

Бакунинъ былъ тамъ; грустный, раздраженный, онъ не могъ больше выносить всего, что творилось, какъ показываетъ письмо, посланное имъ передъ дрезденской революціей одному изъ его друзей. Какъ только поднялось движеніе въ Дрезденѣ, онъ появился на баррикадахъ,—его тамъ знали и очень любили.

Образовалось временное правительство. Онъ предложилъ ему свои услуги. Болѣе энергичный, чѣмъ его друзья, онъ, не будучи облеченъ формальной властью, сдѣлался военнымъ комендантомъ осажденнаго города. Тамъ-то онъ и обнаружилъ не только мужество, но и присутствіе духа, геройское, непоколебимое.

Узнавъ, что королевскіе солдаты вовсе не приняли твердаго рѣшенія избивать своихъ братьевъ, что у нихъ были сомнѣнія, что они даже щадили зданія, Бакунинъ предложилъ выставить шедевры дрезденской галереи на стѣнахъ и на баррикадахъ. Это, дѣйствительно, могло остановить осаждающихъ. «А если они будутъ стрѣлять?» возразили члены муниципалитета. «Тѣмъ лучше, пусть падетъ на нихъ позоръ этого варварства». Муниципальные эстетики не пожелали этого. Такимъ же образомъ былъ отвергнутъ цѣлый рядъ революціонныхъ и террористическихъ мѣръ, предложенныхъ Бакунинымъ.

Когда ничего нельзя было больше сдѣлать, Бакунинъ предло-

жилъ поджечь дома аристократовъ и взорвать на воздухъ ратушу со всѣми членами правительства, въ числѣ которыхъ былъ и онъ самъ. Онъ говорилъ это, держа въ рукѣ заряженный пистолетъ.

Остальное, должно быть, вы знаете. Арестованный черезъ нѣсколько дней послѣ взятія Дрездена, Бакунинъ былъ судимъ военнымъ судомъ и приговоренъ къ смерти вмѣстѣ съ двумя своими храбрыми сподвижниками, Гейбнеромъ ¹⁾ и Рейхелемъ ²⁾. По прочтеніи приговора—который *не могли* привести въ исполненіе, такъ какъ смертная казнь для политическихъ преступниковъ отмѣненная Франкфуртскимъ парламентомъ, не была еще восстановлена, приговоренныхъ *обманули*, предложивъ имъ подать просьбу о помилованіи. Бакунинъ отказался и сказалъ, что единственная вещь, которой онъ боялся, это—попасть въ руки русскаго правительства, но такъ какъ его предполагаютъ гильотинировать, то онъ не имѣетъ ничего противъ, хотя и предпочелъ бы лучше разстрѣляніе. Адвокатъ поставилъ ему на видъ, что одинъ изъ его товарищей, имѣвшій жену и дѣтей ³⁾, вѣроятно, согласился бы просить помилованія, но отказывается отъ этого, узнавъ о словахъ Бакунина. «Такъ скажите ему», тотчасъ отвѣтилъ Бакунинъ, «что я соглашаюсь, что я подпишу прошеніе». Больше на этомъ не настаивали и сдѣлали видъ, что смягченіе наказанія было самопроизвольнымъ актомъ королевскаго милосердія ⁴⁾.

Тогда-то австрійское правительство потребовало, чтобы ему выдали Бакунина. Его отправили въ Австрію *съ оковами на ногахъ*. Тамъ его предали суду,—судили человѣка, уже приговореннаго къ смерти, и потомъ приговорили къ пожизненному заключенію за поступки, предшествовавшіе осужденію.

Когда въ Дрезденѣ отъ Бакунина добивались отвѣта, по какой причинѣ онъ принялъ столь дѣятельное участіе въ нѣмецкой революціи, онъ сказалъ: «я продолжалъ здѣсь то, что дѣлалъ всю свою жизнь: и здѣсь я служилъ дѣлу славянской революціи». Не потребовалось ничего другого, чтобы начать ужасныя мученія, которымъ его подвергали.

¹⁾ Отто, саксонскій политическій дѣятель; арестованъ въ Хемницѣ съ Бакунинымъ и посаженъ въ Кенигштейнскую крѣпость, изъ которой выпущенъ въ 1859 г.

²⁾ Адольфъ, музыкантъ; впоследствии женился на М. К. Эрнѣ.

³⁾ Рейхель; первая его жена умерла отъ холеры въ 1849 г., оставивъ сына, Морица.

⁴⁾ Эти факты были мнѣ неизвѣстны, когда я писалъ свою брошюру «О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи».—А. И. Г.

Между прекрасными законами, которые управляют Австріей, есть одинъ, разрѣшающій членамъ военного суда примѣнять *палочные удары*, въ случаѣ, если всѣ судьи убѣждены, что обвиняемый не говоритъ всей правды. Эти низкіе варвары примѣнили такой законъ къ Бакунину. Нужно вамъ сказать, что онъ не скрывалъ рѣшительно ничего изъ того, что его касалось, но не желалъ говорить о другихъ. Послѣ каждаго вопроса Бакунина подвергали палочнымъ ударамъ.

Теперь дѣло было только за ударами нравственными. «Аугсбургская Газета», добровольный органъ вѣнскаго кабинета, напечатала корреспонденціи изъ Праги, въ которыхъ говорилось, что вслѣдствіе важныхъ разоблаченій, сдѣланныхъ Бакунинымъ, было арестовано множество лицъ. Это напоминаетъ мнѣ исторію, которую рассказываетъ Андрианэ ¹⁾ въ своихъ «Воспоминаніяхъ государственнаго преступника». Сальвотти, имперскій инквизиторъ въ Миланѣ, говорилъ графу Конфалоньери ²⁾:—«Вы упорствуете въ своемъ намѣреніи ничего не говорить, разыгрывать изъ себя героя — прекрасно; но завтра я велю напечатать въ газетахъ, что вы выдали своихъ друзей, и у васъ не будетъ никакого средства это опровергнуть». Этотъ благородный Сальвотти—теперь членъ государственнаго совѣта въ Вѣнѣ и занимается дѣлами Италіи.

Теперь мнѣ придется съ большимъ отвращеніемъ коснуться одного тяжелаго воспоминанія. Находились нѣмцы и, къ несчастью, также и поляки, распространявшіе постыдный слухъ, будто Бакунинъ состоитъ агентомъ русскаго правительства. Такая клевета преслѣдовала его до темницы, благодаря одному газетному пасквилянту. Этотъ господинъ рассказывалъ, будто г-жа Ж. Сандъ говорила, что знаетъ навѣрное отъ бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, Ледрю-Роллена, о Бакунинѣ, какъ о лицѣ, находившемся на службѣ у русскаго посольства. Одинъ изъ друзей Бакунина ³⁾ обратился прямо къ Ж. Сандъ, которая безусловно это опровергла и написала письмо, посланное немедленно въ редакцію газеты Маркса. Но постыдная клевета была опровергнута лишь тогда, когда кости несчастнаго мученика трещали подъ орудіями пытки.¹

Не знаю, почему такъ выходитъ, но всякій разъ, когда видятъ

¹⁾ Александро, знаменитый итальянскій агитаторъ и карбонарій. Въ 1823 г. приговоренъ былъ къ смертной казни, которую замѣнили заключеніемъ въ австрійской крѣпости Шпильбергъ на 9 лѣтъ.

²⁾ Фредерико, учредитель первой «школы взаимнаго обученія». За участіе въ революціи 1821 г. арестованъ и приговоренъ къ смертной казни, вмѣстѣ съ Андрианэ и вмѣстѣ же съ нимъ былъ заключенъ въ Шпильбергѣ.

³⁾ Адольфъ Рейхель.

русскаго революціонера, его принимаютъ за царскаго шпіона: иногда не находятъ способа согласовать аристократическое происхожденіе съ убѣжденіями демократа, иногда удивляются тому, что богатые люди дѣлаются социалистами. Наша привычка сорить деньгами, нашъ откровенный радикализмъ шокируетъ буржуазный міръ. Я слышалъ нѣсколько разъ слѣдующее замѣчаніе: «какъ ухитрился Бакунинъ имѣть деньги? Семья ему ничего не присылала и, однако, деньги у него бывали; по меньшей мѣрѣ, имѣешь право заподозрить, что онѣ ему доставались отъ русскаго правительства». — «А почему вамъ не приходитъ въ голову, что эти деньги исходятъ, напротивъ, отъ враговъ русскаго правительства?»

Въ заключеніе я долженъ сказать Вамъ, м. г., что подробности жизни Бакунина съ 1848 г. я знаю только по рассказамъ нѣкоторыхъ нѣмцевъ и по газетамъ.

Послѣднее видѣнное мною письмо отъ него было написано въ началѣ 1850 года изъ Градчина (Пражская крѣпость). Послѣ его отъѣзда не было никакихъ извѣстій. Камергеръ прусскаго короля хвалился разъ за табльдотомъ въ Женевѣ, что онъ навѣстилъ Бакунина (не изъ сочувствія, но, какъ диковину); онъ говорилъ, что нашелъ его прикованнымъ къ стѣнѣ, въ маленькой темной камерѣ, слабымъ, страдающимъ, съ упавшимъ голосомъ.

Изъ Ольмюца Бакунинъ былъ перевезенъ въ сырую темницу въ Венгріи, и оттуда, какъ намъ пишутъ, въ Шлиссельбургъ ¹⁾. Говорятъ, что тамъ его пытали.

Р. С. Находясь въ Кенигштейнѣ, Бакунинъ выпустилъ маленькую, очень энергичную брошюру о Россіи подъ заглавіемъ: «Russische Zustände» ²⁾.

◆◆ 1. Когда, вернувшись изъ Праги, Бакунинъ былъ въ Бреславлѣ, 6 іюля 1848 г. въ газетѣ Карла Маркса и Энгельса, издаваемой ими въ Кельнѣ, «Neue Rheinische Zeitung», была помѣщена корреспонденція изъ Парижа, въ которой говорилось, между прочимъ: «Что касается славянской пропаганды, то насъ вчера увѣряли, что Ж. Сандъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи документы, сильно компрометирующіе одного русскаго, отсюда изгнаннаго, Михаила Бакунина, которые изображаютъ его, какъ орудіе или какъ агента Россіи, недавно завербованнаго и которому приписываютъ главную роль въ недавнихъ арестахъ несчастныхъ поляковъ. Ж. Сандъ по-

¹⁾ Бакунинъ находился тогда въ Петропавловской крѣпости; въ Шлиссельбургъ онъ былъ переведенъ въ 1854 г.

²⁾ «Положеніе Россіи».

казывала эти документы нѣкоторымъ изъ своихъ друзей». Бакунинъ немедленно протестовалъ противъ этой гнусности въ письмѣ, напечатанномъ въ «Allgemeine Oder Zeitung», издававшейся въ Бреславлѣ, и перепечатанномъ Марксомъ въ своей газетѣ 16 іюля, — а по просьбѣ А. Рейхеля Ж. Сандъ послала Марксу и Энгельсу письмо отъ 20 іюля: «Факты, изложенные вашимъ корреспондентомъ, безусловно ложны. Я никогда не владѣла ни малѣйшими доказательствами инсинуаций, распространяемыхъ вами противъ М. Бакунина; я никогда не была уполномочена выразить какія бы то ни было сомнѣнія въ лояльности его характера и искренности его убѣжденій. Я обращаюсь къ вашей чести и вашей совѣсти немедленно напечатать это письмо въ вашей газетѣ». Марксъ напечаталъ и это письмо съ такимъ заявленіемъ отъ редакціи: «Такимъ образомъ, мы исполнили обязанность прессы строго наблюдать за поведеніемъ общественныхъ дѣятелей и дали возможность г. Бакунину разсвѣять подозрѣнія, которыя дѣйствительно были распространены въ извѣстныхъ кругахъ Парижа». Въ августѣ Бакунинъ встрѣтился съ Марксомъ въ Берлинѣ, и наружно они примирились (Ж. Гильомъ, «М. А. Бакунинъ», «Былое», 1906, VIII, 233 — 234). Имя анонимнаго корреспондента изъ Парижа было, вѣроятно, извѣстно Герцену, назвавшему его только «полякомъ».

Позже К. Марксъ и самъ разъяснилъ весь этотъ инцидентъ. Наканунѣ опубликованія указанной выше корреспонденціи, редакція «Новой Рейнской Газеты» получила два письма изъ Парижа, — одно изъ нихъ изъ круга польскихъ эмигрантовъ. Въ отвѣтѣ Бакунина, напечатанномъ въ «Neue Oder Zeitung» (я не могъ провѣрить, кто невѣрно называетъ газету — *М. Л.*), сказано, что еще до появленія корреспонденціи въ Бреславлѣ уже ходили подобные слухи, распространяемые съ понятной цѣлью русскимъ посольствомъ, и что онъ можетъ отвѣтить только призывомъ къ Ж. Сандъ. 3 августа 1848 г. Марксъ получилъ отъ Бакунина письмо Ж. Сандъ, напечатанное съ такимъ редакціоннымъ вступленіемъ: «Въ № 36 нашей газеты, мы сообщили слухъ, циркулирующій въ Парижѣ, что Ж. Сандъ владѣетъ документами, которые ставятъ русскаго эмигранта, М. Бакунина, въ связь съ агентствомъ императора Николая. Мы напечатали это потому, что получили одновременно двѣ аналогичныя корреспонденціи. Мы такимъ образомъ исполнили долгъ прессы, обязанной строго слѣдить за общественными дѣятелями, и тѣмъ самымъ мы въ то же время дали возможность М. Бакунину разсвѣять подозрѣніе, которое дѣйствительно высказывалось въ нѣкоторыхъ парижскихъ кружкахъ. Мы перепечатали также изъ «N. O. Z.» объясненія г. Бакунина и письмо его къ Ж. Сандъ. Теперь печатаемъ

буквальный переводъ письма Ж. Сандъ къ издателю «N. R. Z», которое прекрасно объясняетъ все дѣло». Въ № отъ 13 октября 1848 г. «N. R. Z.» обвинила прусскаго министра за изгнаніе Бакунина; въ № отъ 14 февраля 1848 г. было передано содержаніе статьи о памфлетѣ Бакунина «Призывъ къ славянамъ», гдѣ сказано: «Бакунинъ—нашъ другъ и т. д.» Въ своихъ письмахъ, посланныхъ въ «New York Daily Tribune» о революціи и контръ-революціи въ Германіи, «я—говоритъ Марксъ,—былъ первымъ нѣмцемъ, воздавшимъ Бакунину должное за участіе въ нашемъ движеніи, особенно въ дрезденскомъ возстаніи (K. Marx, «Michael Bakunin», «The Morning Advertiser» 1853 г., 1 sept.).

Въ «Democrata Polski» 1853 г. 7 pazdzerniku напечатанъ протестъ 7 нѣмецкихъ эмигрантовъ противъ F. M.: Herman Drumer, Heinrich Martins, Georg-Wilh. Hirschkoepfer, Julius Haimberger, Iochim Engels. (Подробности этого протеста и всего эпизода будутъ изложены дальше).

541. PÉTRACHEVSKY.

Si Barbier en parlant de la *sainte canaille*, entendait la grandiose simplicité, la pureté des mobiles d'action, le courage de la conséquence, l'exemption de toute rouerie, l'absence de toute arrière-pensée de vanité personnelle,—qualités que malheureusement on ne rencontre de nos temps que parmi les hommes du peuple et comme de rares exceptions seulement dans les autres classes de la société,—Pétrachevsky peut, sans la moindre exagération, être compté pour un saint. Le gamin, qui va mourir sur la barricade sans se soucier si après sa mort quelqu'un se souviendra de lui, et qui, vainqueur, oublie de réclamer pour soi un emploi ou une décoration, tel était le type de Pétrachevsky. Il était gamin, non par système ni de propos délibéré: il l'était de sa nature. Il l'était même par ses dehors; sa taille, au-dessous de la moyenne, était carrée, ses bras nerveux, la tête ronde, un peu inclinée de côté, le nez petit, mais régulier; ses yeux d'un gris foncé pétillaient sans cesse; sa démarche et tous ses mouvements étaient saccadés; la rêverie, le *dolce far niente* lui étaient insupportables. Malgré son sincère désir d'avoir une toilette soignée, jamais on ne lui voyait la cravate mise autrement que de travers; mais c'était surtout sa robe de chambre qui faisait la joie des jeunes rieurs qui le fréquentaient: depuis sa sortie du collège jusqu'à son arrestation, il n'était pas parvenu à en avoir une qui fût en bon ordre: l'une des manches était

constamment détachée à l'endroit de l'épaule, de manière qu'en s'habillant, il était obligé de passer d'abord la robe et puis la manche indépendamment. C'est dans ce vêtement bien connu à tous ses amis, qu'il fut surpris le 23 avril (5 mai) 1849 à quatre heures du matin par le général Doubelt, lorsque celui-ci vint l'arrêter.—«Veuillez, lui dit le général, après avoir décliné son titre, vous habiller et vous rendre avec moi à la 3^e section de la chancellerie de S. M.»—«Je suis prêt», lui répondit Pétrachevsky.—«Mais, reprit le général, étonné de voir qu'il ne paraissait pas songer à s'habiller, est-ce donc dans ce costume que vous voulez sortir?»—«Il est nuit à présent, dit Pétrachevsky, et à cette heure je n'ai pas l'habitude de me vêtir autrement».—«Comme vous ne savez pas, répliqua M. Doubelt, à qui vous aurez à parler, je vous conseille de mettre quelque habit plus convenable».—«Soit», répondit le brave gamin, et il se mit à faire sa toilette, pendant que le général alla regarder les livres épars sur les tables et dans les armoires.—«Général! Mon général, lui cria Pétrachevsky, ne regardez pas ces livres».—«Et pourquoi donc?»—«C'est que, voyez-vous, il n'y a chez moi que des ouvrages prohibés, au seul aspect desquels vous pourriez vous trouver mal».—«Pourquoi gardez-vous donc de pareils livres?»—«Affaire de goût», dit Pétrachevsky, en secouant la tête avec un air de bonhomie.

Il jouissait d'une santé robuste, était sobre, ne prenait jamais de vin et ne fumait même que tant qu'il était au collège,—car là c'était défendu. Ses connaissances étaient variées, sa répartie vive. Le besoin d'activité pratique dont il était possédé, ne lui avait laissé ni le temps, ni le calme nécessaires pour se former un système social; il ne s'était même arrêté définitivement à aucune des doctrines socialistes élaborées, bien qu'il professât être un fouriériste; il n'était préoccupé que de rechercher tous les moyens possibles pour renverser le gouvernement actuel de la Russie, mais comme il supposait que la cause principale de l'asservissement du peuple russe consiste dans les notions religieuses, c'était contre la religion que de préférence il dirigeait ses attaques. Quant à ses idées sur la nationalité, nous pouvons citer ses propres paroles, publiées dans un dictionnaire encyclopédique, ouvrage sur lequel nous reviendrons.

«Toute nation, dit Pétrachevsky, considérée au point de vue humanitaire, se rapporte à l'ensemble de l'humanité, comme l'espèce au genre. Les peuples ne s'élèvent au degré du perfectionnement humanitaire qu'à mesure qu'ils se débarrassent de ce qui fait leur exclusivisme. Alors seulement arrive pour une nation le moment de prendre part aux intérêts généraux de l'humanité; le développement de ses forces vitales coïncide et s'harmonise avec la marche du genre humain;

elle peut apporter son tribut au trésor commun des sciences et donner une impulsion nouvelle au progrès universel. Mais il faut pour cela qu'elle se soit préalablement approprié toute la civilisation qui l'a précédée, qu'elle ait pris à cœur les intérêts des nations qui ont commencé plus tôt leur vie historique, et que sa propre expérience lui ait révélé les souffrances endurées par les autres. Dans ce sens, la Russie a devant elle un grand avenir. Plus une nation, au contraire, est arriérée dans son développement moral et politique, moins son industrie lui offre de moyens pour satisfaire à ses besoins, moins elle se trouve en contact amical avec ses voisins,—plus les relations avec l'étranger, l'acceptation de ses idées et de ses formes sociales lui paraissent être des actes illégitimes, plus elle sera jalouse de conserver intacte sa nationalité, c'est-à-dire de se tenir à l'écart du reste de l'humanité. Plus aussi sa nationalité portera l'empreinte de la barbarie et de l'état sauvage, plus elle sera disposée à détruire le bien-être des autres nations pour sa propre gloire, à anéantir les produits qui ont coûté à l'humanité des siècles de labeur, à passer le soc et la charrue sur les monuments des arts et sciences, afin de planter orgueilleusement sur leurs ruines ses choux et ses tentes nomades...»

Dans l'intimité, Pétrachevsky était d'une grande douceur et d'une patience à toute épreuve. Toute contradiction de la part des hommes de bonne foi, toute critique, quelque amère qu'elle fût, ils les supportait, sans jamais garder la moindre rancune. Jamais l'idée de sa supériorité sur ceux qui l'entouraient, non seulement ne perçait dans ses paroles, mais n'était même entrée dans son esprit; il était trop absorbé par ses projets pour s'occuper de sa personne.

Entré à l'âge de treize ans au lycée de Tsarskoïé-Sélo — établissement fondé en 1811 par l'empereur Alexandre, pour servir de pépinière d'hommes d'État, entièrement réformé aujourd'hui par Nicolas, et dont la gloire est de compter Pouchkine au nombre de ses élèves — Pétrachevsky s'y distingua dès les premiers mois de son séjour par ses capacités et son assiduité ainsi que par ses polissonneries. Sous ce rapport, il laissait loin derrière lui la plupart de ses camarades, entichés de morgue aristocratique et de notions enfantines sur les convenances; c'est pourquoi aussi plusieurs d'entre eux, et notamment les Allemands, rompèrent avec lui toute liaison de camaraderie. Pétrachevsky ne comprenait en rien le juste milieu, tellement inhérent au caractère allemand, et lorsqu'il s'agissait de quelque complot ourdi par les élèves pour punir l'insolence d'un surveillant, aussitôt il offrait ses services, même à ses camarades ennemis, se chargeait de l'entière exécution de la vendetta et ne demandait en récompense de ses associés que la discrétion. Mais alors ordinairement il outrepassait les vœux de

ses commettants, qui lui reprochaient ensuite d'avoir assumé sur eux collectivement la honte d'avoir dérogé à l'esprit de corps dominant au lycée.

Son cours d'études achevé en 1839, il ne reçut, à cause de son indiscipline, que le dernier des *tchines* (rangs), accordés aux lycéens.— Lorsqu'on le convoqua, avec tous ses camarades, pour leur distribuer les patentes de leurs grades, Pétrachevsky causa à tous ceux qui assistèrent à cette cérémonie une surprise bien vive, en prononçant un discours (chose si peu usitée en Russie), dans lequel du ton le plus doctoral il remercia les chefs de l'institut de leur sollicitude envers les élèves et engagea ses camarades à vouer désormais à l'oubli leurs querelles de collègue. Stupéfaits d'entendre une allocution aussi sage sortir de la bouche d'un Pétrachevsky, les chefs lui exprimèrent publiquement leurs regrets de n'avoir pas su jusqu'alors taxer selon leur juste valeur les sentiments qui l'animaient. On comprit si peu que ce discours n'était qu'une farce jouée par Pétrachevsky pour confondre les pédagogues, on était si loin de voir l'ironie dans les remerciements qu'il leur avait adressés, que le littérateur Boulgarine, renommé par sa servilité envers le gouvernement, publia le discours dans l'*Abeille du Nord*; la *Gazette (russe) de Saint-Petersbourg*, la reproduisit.

Pétrachevsky entra au ministère des Affaires étrangères, en se réservant le droit, accordé aux élèves du lycée, de fréquenter pendant deux ans les cours de l'Université de Pétersbourg, tout en étant compté au service actif. Et les deux ans révolus, il fit d'une manière brillante son examen de droit à l'Université, ce qui lui valut au service un avancement de deux grades. Au ministère il était employé, comme traducteur, dans les cas où des étrangers résidant à Pétersbourg avaient des démêlés avec la police correctionnelle. Cela le mit en contact personnel avec les officiers de police de la capitale, classe abjecte, dont Pétersbourg ne pouvait de sangfroid supporter l'aspect, mais en revanche cela lui offrit l'occasion de tirer d'embarras maints pauvres gens, tombés dans les griffes de la police.

Son activité révolutionnaire date de l'Université. C'est là qu'il commença à attirer des jeunes gens, auxquels il s'empressait de donner des livres prohibés par la censure et qu'il instruisait de vive voix. Il est digne d'être remarqué que l'ouvrage auquel Pétrachevsky supposait la plus grande force révolutionnaire, était une vieille et mauvaise traduction russe d'un livre publié en français à la fin du dernier siècle ou dans les premières années du XIX^e par un abbé jésuite, nommé, si je ne me trompe, Barruel, sous le titre: *Les Jacobins et les Voltairiens*. Ce livre, écrit avec cette rage furibonde que l'on ne trouve que chez les écrivains du parti prêtre, représente la première révolution fran-

çaise, comme l'oeuvre préméditée d'un complot tramé de longue main par le chef des illuminés Weisshaupt, par Voltaire, Rousseau, Robespierre et quelques autres individualités. L'auteur intéressait Pétrachevsky en tant qu'il traçait d'après son imagination et d'une manière assez ingénieuse les combinaisons d'une vaste conspiration. Aussi Pétrachevsky le recommandait-il à toutes ses connaissances, jugeant d'après lui-même, que pour tous ceux qui l'abordaient, il ne s'agissait plus de savoir si la révolution en Russie était un acte légitime et désirable, mais bien seulement de trouver les moyens pour la mettre en exécution. Grâce à cette manière d'envisager la disposition des esprits à Pétersbourg, il rebuta dès l'abord plus d'un jeune homme, qui voulait bien passer à ses propres yeux pour un esprit fort en faisant du libéralisme, mais qui n'entendait nullement cependant prendre la révolution au sérieux. En même temps le livre fatal du jésuite inculqua à Pétrachevsky lui-même, et sans qu'il s'en fût rendu compte, l'idée que les révolutions peuvent être l'oeuvre de quelques individus isolés, sans que les masses y soient poussées par la force des choses, les bévues du gouvernement et les idées répandues. En conséquence, il n'a jamais pu renoncer complètement à l'idée d'organiser une société secrète pour tenter un coup de main sur le gouvernement. Cependant l'opinion contraire de quelques-uns de ses amis réussit à l'en détourner pour quelque temps, et jusqu'en 1848, Pétrachevsky borna son activité révolutionnaire à faire venir de l'étranger des livres par l'entremise d'un malheureux libraire que le gouvernement a maintenant fait disparaître, on ne sait où, à propager ses idées de vive voix dans des réunions qui se tenaient une fois par semaine dans sa maison, et à publier quelques articles dans un dictionnaire encyclopédique.

L'apparition de ce petit livre en Russie, pays classique de la censure, et sous les auspices du feu grand-duc Michel, frère de l'empereur Nicolas, auquel l'ouvrage est dédié, est un fait surprenant. Ayant appris qu'un M. Kirilloff avait l'intention de publier, dans un but purement commercial, un *Dictionnaire explicatif des mots étrangers introduits dans la langue russe*, Pétrachevsky se présenta chez lui et s'offrit comme collaborateur, en ne demandant, et cela pour ne pas éveiller ses soupçons, qu'un honoraire très modique. L'entrepreneur littéraire, charmé de la proposition avantageuse, laissa à Pétrachevsky le choix des mots à interpréter. Celui-ci saisit avidement l'occasion pour propager ses idées, au moyen d'un livre d'une apparence tout à fait insignifiante; il en élargit le cadre, mêla aux substantifs connus des noms propres, introduisit de son propre chef dans la langue russe des mots étrangers jusqu'à présent inusités; tout cela, afin d'exposer sous des titres divers les principes des doctrines socialistes, d'énumérer les articles fondamen-

taux de la Constitution votée par la première Assemblée Constituante française, de faire une critique virulente de l'état actuel de la Russie, et d'indiquer les titres de certains ouvrages, tels que ceux de Saint-Simon, Fourier, d'Holbach, Cabet, Louis Blanc, etc. L'idée fondamentale du système de Feuerbach, en matière de religion, est énoncée sans détour dans l'article *naturalisme*. Pétrachevsky alla jusqu'à citer, à propos du mot *ode*, des vers de Béranger.

Il ne parut (en 1845) que deux livraisons du dictionnaire (jusqu'au mot: ordre de chevalier), et quelques centaines d'exemplaires étaient à peine vendus, que la police saisit ceux qui étaient restés dans les boutiques des libraires. Le censeur (M. Kryloff) fut traduit devant le tribunal supérieur de la censure; je ne connais pas le sort qui l'a atteint; c'était un homme très peureux et méticuleux; maintes fois, il avait dit à Pétrachevsky que ses articles lui causaient des vertiges de panique, mais celui-ci parvenait à le rassurer en lui démontrant que sa tolérance n'avait en rien transgressé le texte de la loi sur la censure.

Hâtons-nous de dire, qu'en cela, Pétrachevsky était de bonne foi envers le censeur: il croyait lui-même que le gouvernement russe tenait par politique à afficher du respect pour la légalité. Il entrevoyait bien que si le gouvernement exécutait strictement les lois, même telles que lui-même les a édictées, il compromettrait son principe vital, le principe de l'arbitraire qui, par suite de la complicité de tous les employés de l'état, fait du corps administratif ni plus ni moins qu'une compagnie commerciale ayant pour but l'exploitation du pays. Mais Pétrachevsky supposait que si l'on pressait le gouvernement sur la question de la légalité, il n'aurait pas le courage de l'impudence, et ne jetterait pas à bas, du moins officiellement, le masque de la légalité. Il regrettait qu'il n'y eût pas d'hommes en Russie qui voulussent prendre le gouvernement au mot sur son prétendu respect pour la légalité, et il tenta de faire le premier cette expérience. Dans ce but, il conçut l'idée d'ouvrir chez lui une étude d'avocat; il annonça dans les journaux de Pétersbourg; mais comme les personnes qui vinrent lui proposer de plaider leurs causes, n'avaient que des litiges d'intérêt pécuniaire contre des personnes privées, il renonça à s'occuper des affaires particulières d'autrui et n'entama des procès avec la police et devant les tribunaux que dans des cas qui lui étaient personnels. La possession de deux maisons dans la capitale et d'un bien dans le gouvernement de Pétersbourg lui en fournit des motifs nombreux. Comme en Russie on ne peut en appeler d'un employé subalterne qu'à son chef immédiat, et que ce dernier,—comme c'est l'usage, bien que ce soit contraire au texte des lois,—ne donnait pas de suite aux plaintes, sans même motiver son refus, Pétrachevsky parvint, en allant d'instance

judiciaire en instance judiciaire, à saisir le sénat de ses plaintes contre le grand-maître de police et le gouverneur général de Pétersbourg, dont il réclamait la mise en accusation. Malgré le rire ironique avec lequel ses suppliques étaient accueillies, comme des choses inusitées, Pétrachevsky insistait pour qu'elles reçussent leur cours régulier et demandait, ainsi que la loi le permet, à plaider sa cause oralement devant l'assemblée des sénateurs. Le secrétaire lui répliqua que la loi sur laquelle il fondait cette dernière réclamation, était tombée en désuétude, sans toutefois être formellement abrogée, et que d'après les us et coutumes actuelles du sénat, les plaideurs ne pouvaient donner leurs explications que par écrit. Comme néanmoins Pétrachevsky ne voulait pas se désister, en faveur d'une coutume arbitrairement introduite, du droit formulé par loi, ses plaintes ne furent jamais mises à l'ordre du jour.

En sa qualité de propriétaire foncier, il avait voix délibérative aux assemblées de la noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg, qui se réunit tous les trois ans pour élire ses maréchaux, quelques juges et certains fonctionnaires, ainsi que pour répartir certaines contributions locales. Là encore Pétrachevsky se posait en champion de la stricte légalité et faisait inscrire au protocole des séances ses protestations contre les transgressions à la loi qu'il signalait en vain aux membres de l'assemblée. En janvier 1848 il y fit circuler un projet rédigé dans le but apparent de remédier à la dépréciation croissante des biens-fonds possédés par la noblesse. Comme mesure principale, il proposait d'accorder aux marchands la faculté d'acquérir des biens communaux, à la condition de convertir en «paysans obligés»¹⁾ les serfs attachés aux terres communales; il demandait en outre la fondation de

¹⁾ Un oukase daté du 13 avril 1842 que l'on a préconisé comme la *magna charta* de l'émancipation des paysans, autorise les propriétaires à s'accorder avec leurs serfs, pour fixer sous forme de contrats (approuvés et ratifiés par l'empereur) les rapports qui actuellement existent seulement de fait entre maîtres et serfs. Le gouvernement a dit aux propriétaires que les droits et obligations réciproques une fois stipulés par écrit, c'est lui qui se chargerait de contraindre les communes à remplir exactement leurs redevances, «et vos propriétaires,—dit-il aux paysans,—ne pourraient plus, dès lors, augmenter vos redevances à leur gré, aussi ne vous nommeriez-vous plus «attachés à la glèbe (Krépostnyés)», mais: *paysans obligés*». Comme cependant les serfs ont devant leurs yeux le sort, encore beaucoup plus déplorable que le leur, des 20 millions de paysans appartenant aux domaines de l'état, comme ils ne considèrent l'immixtion du gouvernement dans leurs affaires que comme une source nouvelle et intarissable d'exactions et de pressurations, ils ne sont pas empressés de profiter de cette faculté que le gouvernement paternel leur offrait, de légaliser par des contrats ce qu'ils regardent comme une injustice de fait,—et le prince Menchikoff put à bon droit donner à la classe de paysans, qu'on voulait créer, le sobriquet de «paysans obligés».—A. H.

banques hypothécaires fondées sur le principe de la mobilisation des biens-fonds¹⁾, la formation de sociétés d'assurance mutuelle, etc. L'assemblée ne prit pas en considération ce projet fort raisonnable.

Alors éclata la révolution de février. L'impression que la nouvelle produisit à Pétersbourg, fut stupéfiante. Aussitôt cessèrent tous les bruits qui depuis novembre 1847 avaient circulé plus fort que jamais sur les intentions du Tzar de proclamer l'abolition du servage. Dans le monde officiel c'étaient des imprécations sans fin contre les Français en général et particulièrement contre Louis-Philippe, «cette incapacité méconnue», disait-on, et l'on attribuait ce mot à M. Thiers²⁾,—qui avait été placé en France pour servir de bouchon pour contenir l'explosion de la nation révolutionnaire et qui n'a pas su ne pas sauter en l'air». Cependant les imprécations firent place à un abatement morne et silencieux; on ne sut plus que dire, lorsqu'on vit le roi de Prusse arborer le drapeau de l'unité de l'Allemagne, et M. Metternich suivre l'exemple de Louis-Philippe. On était tellement préoccupé que même le grand-duc Michel, ce modèle de pédantisme militaire, négligea de passer en revue des troupes qu'il avait fait venir dans ce but: il était absorbé par la lecture des journaux. Je dis: des journaux, car alors le gouvernement n'avait pas d'autres sources de renseignements; la rapidité des événements avait si fortement troublé les légations impériales qu'elles ne surent dans quel sens rédiger leurs dépêches et n'en expédièrent aucune. La confusion était si grande, que, pour obtenir des renseignements exacts sur l'état des affaires en Europe, le Tzar ne s'adressa plus à Nesselrode, mais envoya sur les lieux le sous-chef de la police secrète, M. Sagtynski, ce même vieillard aux cheveux blancs, aux yeux foncés, continuellement haletant, qui a fait sa ronde en Europe au mois de juin

¹⁾ Aujourd'hui, tout bien immeuble, une fois engagé, comme hypothèque à quelque institution de crédit dépendante de la couronne, ne peut plus, lors même que sa valeur dépasserait de beaucoup l'emprunt qu'il garantit, être admis en hypothèque pour le moindre emprunt suivant. Les inconvénients de ce système avaient déjà suggéré au prince Lubetzki, membre du conseil de l'Empire, l'idée, qu'il communiqua au Tzar, de fonder en Russie une banque nationale qui, à l'instar de celle de la Pologne, eût été basée sur le principe de la mobilisation des biens-fonds. Le comte Cancrine, alors ministre des finances, s'opposa au projet dans les termes suivants: «Sans doute, sire,—dit-il, en s'adressant à l'autocrate,—le commerce et même le trésor de l'État s'en trouveraient bien, seulement V. M. n'aurait, d'ici dix ans, plus de Russie à gouverner, car ce serait devenu un tout autre pays» (Voir l'ouvrage intéressant et consciencieux, publié récemment à Leipzig par un constitutionnel anonyme, sous le titre: *Russland und die Gegenwart* (La Russie et le monde actuel).—A. H.

²⁾ Thiers a plus tard appliqué ce mot à Napoléon III. Il est assez curieux de le voir ici appliqué à Louis-Philippe. (*Note de l'éditeur*).—A. H.

de cette année et après le retour duquel, à Pétersbourg, on vit M. Carlier décoré d'un ordre de chevalerie russe ¹⁾. Dans les cafés d'Islièr et de Dominique le public s'arrachait les journaux, et comme on n'avait pas la patience d'attendre son tour de parcourir les gazettes, on se groupait en cercles et on chargeait quelqu'un de lire les nouvelles à haute voix. Pour qui connaît la raideur des Pétersbourgeois ce simple fait paraîtra incroyable. La jeunesse, et surtout les amis de Pétrachevsky, s'agitèrent en proie à la fièvre. On ne put se contenir dans les limites de la prudence la plus ordinaire. Dans quatre endroits différents, à la barbe du Tzar, furent établies des réunions périodiques. L'espérance que les révolutionnaires russes ne seraient pas repoussés par ceux de l'Allemagne et de la France, était affermie par les nouvelles qui arrivaient sur les rapports amicaux de Bakounine et de Herzen avec des hommes tels que Proudhon. Avant février déjà le *Système des contradictions économiques* de Proudhon, publiquement vendu, grâce à la crasse ignorance de la police, avait été étudié avec une ardeur inconnue dans les pays, où l'absence de la censure ôte aux ouvrages révolutionnaires tout le prestige des fruits défendus. Un général, aide de camp de l'empereur, tombé en disgrâce, se déclarait hautement proudhonien. Plus tard les numéros du *Représentant du peuple*, qu'on se procurait par contrebande, étaient littéralement appris par coeur. Les journées de juin attristèrent, il est vrai, la jeunesse de Pétersbourg, mais tout en maudissant Marrast, Cavaignac et consorts, on ne se laissa pas décourager. Au contraire, les procès de Versailles et de Bourges exaltèrent les têtes jusqu'au fanatisme; on ne parlait pas tant de la joie du triomphe que de la noblesse des martyrs. Chacun enviait le rôle sublime d'un Barbès.

Mais déjà, dès le mois d'août 1848, le ministre de l'Intérieur avait reçu l'éveil sur les menées de Pétrachevsky. Il plaça un de ses espions, comme débitant de tabac, dans la maison de Pétrachevsky, afin de surprendre les confidences de ses domestiques, et un autre, nommé M. Antonelli et officiellement attaché au ministère des Affaires étrangères, fut chargé par le ministre de le tenir au courant des séances de la société. Tout joyeux de sa découverte, M. Pérovsky en fait part à l'empereur, mais pensez-vous qu'il en souffle mot à son collègue de la police secrète, le comte Orloff?—Grand Dieu! ce serait pour lui man-

¹⁾ On est vraiment tenté d'attribuer aux décorations, conférées par le Tzar, une force occulte *sui generis*. Voyez, trois mois étaient à peine écoulés depuis que M. Carlier fut créé chevalier du Tzar, lorsqu'éclate le scandale de la loterie des lingots d'or, et un journal, qui d'ordinaire patronise M. Carlier, l'*Indépendance belge*, va jusqu'à insinuer que cette affaire pourrait bien être pour quelque chose dans la démission donnée par le préfet de police.—A. H.

quer la plus belle occasion de prouver au Tzar que la police secrète n'est composée que de niais, et M. Pérovsky veut se réserver à lui seul l'honneur de sauver la patrie. Aussi le comte Orloff ignore-t-il pendant six mois la grande affaire que l'on sait; M. Pérovsky s'en frotte les mains et rit sous cape. Malheureusement, il ne peut commander à l'empereur de garder le secret, et celui-ci, dans un moment de colère, avant que son oiseleur eût fini de poser tous les filets, dit au comte Orloff que ses limiers n'ont pas le sens de l'odorat, que ce sont des chiens morveux. Piqué au vif de son amour-propre, le comte Orloff prend des renseignements et revient dire au Tzar que le ministre de l'Intérieur, pour se donner plus d'importance, a fait des contes bleus à S. M., que l'affaire n'est nullement aussi grave qu'on la lui a dépeinte, qu'il ne faut pas lui donner de l'éclat, surtout aux yeux de l'étranger, et qu'en prenant certaines mesures patriarcales contre les principaux meneurs, on pourrait étouffer l'affaire sans bruit ni scandale. Alors Pérovsky, craignant que la vérité ne vienne à jaillir du choc des opinions, qu'on ne trouve qu'un complot en herbe, loin d'avoir encore atteint les dimensions qu'il lui avait attribuées, redoutant que par conséquent le titre de comte ne lui soit pas accordé en récompense, conjure le Tzar de différer l'arrestation des coupables. Ainsi qu'il s'en est vanté depuis, lui-même, il a dit à cette occasion au Tzar: «Sire, laissez-moi suivre encore pendant quelque temps les menées de ces conspirateurs, et je promets de rapporter à V. M., non seulement les propos qu'ils tiennent, mais même les rêves qu'ils voient en songe». La patience de l'Empereur ne put cependant tenir plus de huit mois; un passage du journal *la Semaine*, qui, en parlant des affaires de la Hongrie, disait que le Tzar aurait sous peu bien du fil à retordre chez lui-même, fut la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein. Le Tzar resta sourd aux instances de Pérovsky et commanda une razzia pour la nuit de 23 avril (5 mai) 1849. La défiance mutuelle entre les deux chefs des deux polices était telle que, pour arrêter Pétrachevsky, chacun d'eux expédia son adjoint. C'était le général Doubelt de la part du comte Orloff, et N. Liprandi de la part de M. Pérovsky. Ils arrivèrent à la maison de Pétrachevsky ensemble dans une voiture; seulement, comme on comptait trouver cette nuit tous les affiliés réunis chez lui, M. Liprandi jugea à propos d'abandonner à son collègue militaire les risques de monter au logement de Pétrachevsky et resta lui-même blotti dans la voiture. M. Doubelt trouva Pétrachevsky en société d'un seul ami et au moment de se coucher. Nous avons déjà au commencement de cette notice raconté la scène qui s'y passa. Dès que les premiers prévenus, au nombre de quarante-huit, furent amenés le matin à la chancellerie du comte Or-

loff, celui-ci eut la satisfaction de voir, de ses propres yeux, que les rapports de M. Pérovsky n'étaient pas tout à fait exacts, du moins en ce qui concernait l'importance personnelle des conspirateurs. Parmi les accusés, sur lesquels pesaient les plus lourds soupçons, il y avait un enfant de 14 à 15 ans qui, réveillé de trop bonne heure par les gendarmes, acheva paisiblement son somme au salon même de la chancellerie et ne se réveilla en sursaut qu'aux sons de la voix retentissante du comte Orloff, qui, en entrant, apostropha les prévenus par ces mots: «Quel motif vous a poussé à conspirer? eh?.. Vous étiez trop bien nourris, fils de chiens que vous êtes, et c'est pourquoi vous êtes devenus enragés!» ¹⁾ Cette explosion de colère n'était cependant pas feinte de la part du noble comte; elle était sincère, car il voyait devant lui les jeunes gens à propos desquels le ministre de l'Intérieur avait failli lui donner un fameux croc-en-jambe ²⁾.

La commission d'enquête travaillait déjà depuis trois mois, sans ménager les tortures aux détenus; M. Liprandi, installé dans la chancellerie même du comte Orloff, furetait avec un zèle religieux les papiers saisis chez les accusés; tous les jours on en amenait de nouveaux de Moscou, des provinces et même de la Sibérie; néanmoins il était toujours encore difficile de prouver que M. Pérovsky eût découvert un complot qui eût mis l'état à deux doigts de sa perte. Le Tzar, qui ne peut jamais attendre patiemment l'issue des procès qui l'intéressent, qui a l'habitude de s'informer de leur marche et ordonne de recommencer l'instruction, lorsqu'il pense que la première enquête ne conduit pas légalement à des peines assez dures, le Tzar se voit désappointé de la tournure que prend l'affaire Pétrachevsky; il avoue avec tristesse qu'il s'était trop hâté d'ordonner l'arrestation des prévenus; il se repent de ne pas avoir suivi l'avis de M. Pérovsky et «de ne pas avoir laissé le complot mûrir et se ramifier, afin qu'il fût possible d'arracher d'un seul coup toute l'ivraie du sol de la Russie». M. Pérovsky triomphe: du moins, on ne parviendra pas à démontrer qu'il avait exagéré le danger; si bien des traces du complot sont per-

¹⁾ Et si l'on pense que ces paroles ont été proférées par un homme dont le propre frère (Michel Orloff) a été de la conjuration du 14 décembre!—A. H.

²⁾ Le ministre de l'Intérieur, Pérovsky, est très redouté par ses concurrents dans les faveurs du Tzar, car il passe pour un homme qui sait bien arranger ses affaires. Lui et son frère, le général aide-de-camp Pérovsky (qui s'est rendu célèbre par son expédition avortée à Khiva), sont les enfants illégitimes du comte Razoumovsky. Le fils légitime de celui-ci a été déshérité et enfermé dans le couvent (Spasso-Jéfimovsky) du gouvernement de Vladimir sous prétexte d'irrévérence envers la mère des Pérovsky, qui l'ont laissé dans le couvent pendant plus de quinze ans. On dit que le jeune Razoumovsky est devenu fou!—A. H.

dues, la faute n'en est pas à lui. Alors le Tzar, bondissant de colère, ordonne dans les premiers jours d'août d'exécuter une nouvelle battue générale à Saint-Pétersbourg. «Qu'on m'emprisonne», écrit-il d'un camp à la commission d'enquête, «la moitié des habitants de la capitale, mais qu'on parvienne à saisir tous les fils du complot». Et les arrestations nocturnes recommencèrent de plus belle.

La fureur avec laquelle les agents de la police procédaient aux visites domiciliaires, fit supposer que le gouvernement redoutait autre chose qu'une simple propagande pacifique. Dans quelques maisons on alla jusqu'à briser des pianos et soulever les planches pour chercher des papiers et des armes. Chose déplorable à dire, les officiers inférieurs de la gendarmerie qui n'ont reçu aucune éducation, se sont comportés avec beaucoup plus d'humanité que les officiers supérieurs et les aides-de-camp, qui avaient le vernis des gens comme il faut. On cite particulièrement comme un modèle de férocité un M. Inozemtzeff, aide-de-camp du général de gendarmerie Polosoff, jeune homme jouissant d'une considérable fortune et ne servant à la police qu'afin de se pousser dans les tchines. Les accusés avaient-ils effectivement en vue de tenter un coup de main sur l'empereur? Nous ne le savons pas au juste. Nous dirons seulement, que le bruit a couru à Pétersbourg que quelques-uns d'entre eux s'étaient proposés de poignarder le Tsar dans la nuit du 21 avril (3 mai) 1849 à un bal masqué public, donné dans le local de l'Assemblée de la noblesse; qu'une loterie devait y être tirée ce soir-là; qu'ils avaient même préparé des billets pour les jeter dans l'urne de la loterie, sur lesquels ils avaient écrit des appels à l'insurrection. Un plan de Pétersbourg, sur lequel étaient indiqués les endroits propres aux barricades, avait, dit-on, été découvert chez un officier, et l'on prétendait que l'empereur aurait dit à un commandant de Tsarskoïè-Sélo: «Figure-toi, ces monstres ont voulu non seulement m'assassiner—moi, mais encore exterminer toute ma famille». S'il n'est point fait mention de semblables projets dans le compte-rendu officiel, ce n'est pas une preuve qu'ils n'aient pas existé; - - - peut avoir craint de les divulguer, comme -- tâche constamment d'écarter de l'esprit du peuple l'idée d'un attentat - - - - - Ne l'a-t-on pas vu sévèrement réprimander l'impératrice de ce qu'en apprenant qu'il avait échappé à l'attentat de Posen, elle avait fait chanter un *te deum* à Pétersbourg à la cathédrale de Kazan? Les troupes et le peuple réunis pour assister à cette cérémonie religieuse, ne furent pas instruits de la cause pour laquelle la tsarine faisait rendre des actions de grâce à Dieu, et plus tard, afin d'apaiser la curiosité du peuple, on répandit le bruit que le *te deum* avait été chanté à l'occasion d'une grande victoire remportée au Caucase.

Au mois de septembre la commission d'enquête acheva l'instruction de l'affaire Pétrachevsky. Vingt-trois des accusés furent livrés au jugement d'un tribunal militaire exceptionnel; les autres furent relâchés des casemates de la citadelle de Pierre et Paul, où ils avaient été détenus préventivement, et un grand nombre d'entre eux durent aussitôt partir pour les provinces éloignées de l'empire, pour y servir de scribes du gouvernement. (Le rapport officiel désigne cela par les termes suivants. «Toutes les personnes qu'on a reconnues avoir été induites par d'autres dans des projets criminels soit fortuitement, soit à cause de leur frivolité, ont été sur l'ordre suprême exemptées de toute persécution ultérieure par les lois»). Quant aux vingt-trois détenus mis sous jugement, on s'attendait généralement à ce que le tribunal ne leur adjugerait pas de peines plus dures que celles d'être incorporés comme soldats aux troupes du Caucase, ou tout au plus, d'être exilés comme colons en Sibérie. Tel paraît aussi avoir été l'arrêt primitif de la commission judiciaire, présidée par le général Pérovsky (frère du ministre de l'Intérieur). Mais dès que l'empereur l'apprit, il entra en fureur. «Si le tribunal est aussi clément», s'écria-t-il, «il ne me restera, en vérité, en usant du droit de grâce, qu'à amnistier complètement les criminels! Mais ne savent-ils donc pas, les juges, qu'une pareille mansuétude de leur part constitue un empiètement sur le droit de grâce, qui est une prérogative de monarque! Le tribunal doit appliquer la loi dans toute sa vigueur, et ce n'est qu'à moi qu'il appartient de peser les circonstances atténuantes». En conséquence le Tzar ordonna de recommencer la procédure et de juger cette fois, non d'après le code criminel commun, mais selon *la loi martiale*. Le tribunal les condamna tous à être fusillés. Rien ne transpara sur cet arrêt dans le public jusqu'au 23 décembre 1849 (4 janvier 1850).

Ce jour, le brouillard du matin ne s'était pas encore dissipé, que les troupes étaient déjà postées en grand nombre sur le champ Séménovski. Elles formaient un parallélogramme autour d'un échafaudage, consistant en un plancher sur lequel étaient fixés sept poteaux. Autour des troupes, et à un large intervalle, les soldats de police formaient une chaîne pour écarter le peuple qui accourait en masse pour assister au spectacle dont le régalaient gratis - - - - - . Vers les huit heures on vit arriver au grand trot un cortège, qu'ouvrait un détachement de gendarmes, le sabre nu; ils étaient suivis de vingt et une voitures de louage dont chacune renfermait un des condamnés ¹⁾,

¹⁾ Des deux autres accusés par la commission d'enquête, l'un fut acquitté par le tribunal; on verra dans le compte-rendu officiel ce que l'empereur a fait; l'autre était devenu fou pendant le procès.—A. H.

surveillé au dedans par deux soldats et escorté de deux gendarmes trottant près des portières; les vitres des voitures étaient fermées et gelées, de manière qu'on ne pouvait pas voir à travers elles les visages des prisonniers; un second détachement de gendarmes fermait la procession. Les prisonniers ignoraient dans quel but on leur faisait faire cette promenade. Arrivés au champ Séménovski, on les plaça sur l'échafaudage et on leur lut l'arrêt de mort prononcé par le tribunal; puis on leur endossa des linceuls avec des capuchons qui leur tombaient sur le visage, et on les mit trois par trois aux poteaux. Le clairon retentit d'un son grêle, à cause du froid intense qu'il faisait; les tambours roulèrent et l'on vit des tirailleurs sortir des rangs de chaque bataillon, s'avancer devant les prisonniers et viser sur eux. Il se fit un morne silence. Eh bien! pourquoi les soldats attendent-ils si longtemps pour faire feu? Est-ce pour faire endurer plus longtemps aux condamnés les angoisses de la mort? Pétrachevsky, toujours fidèle à son caractère, parvient à soulever son capuchon pour voir ce qui se passait autour de lui. Enfin, on apprend que tout cela n'était qu'une farce, qu'une mise en scène, qu'une parade de plus, arrangée - - - - . Le général Rostovtzeff vient annoncer aux condamnés que le Tzar leur fait grâce de la vie. On est tenté de croire que ce général a été choisi parmi tous pour annoncer cette grâce, par la raison qu'il est bègue. Les tirailleurs rentrent dans leurs rangs, et on lit aux prisonniers le décret par lequel l'empereur, dans sa bonté ineffable, commue la peine de mort pour les uns en travaux forcés aux mines de la Sibérie, pour d'autres en incorporation dans des compagnies de discipline, pour d'autres en obligation de servir, comme soldats, au Caucase et sur la frontière des Kirghises. Pourquoi donc le Tzar n'a-t-il pas traité ces hommes, comme il traite les Polonais? On l'attribue à ce que, peu de semaines auparavant, il avait appris que le gouvernement autrichien avait fait pendre tous les officiers hongrois qui avaient mis bas les armes devant Paskiévitich et en faveur desquels celui-ci avait intercédé à Vienne, tandis que les insurgés qui s'étaient rendus aux généraux autrichiens, avaient été traités avec moins de rigueur; le Tzar a été offensé de ce procédé, qu'il a dit être un acte «inqualifiable», et tandis que M. Tolstoï se mettait à écrire ses *Relations sur les opérations de l'armée russe en Hongrie* ¹⁾, il a voulu lui-même

¹⁾ «L'Indépendance Belge» (des derniers jours d'octobre) se fait écrire de Vienne que M. Tolstoy procède maintenant à une *seconde* édition de cet ouvrage, et que la préface en sera un *peccavi* qui fera honneur aux sentiments de véracité de l'auteur. Il y dira qu'il avait été induit en erreur sur tout ce qu'il a écrit concernant la mauvaise foi des Autrichiens envers l'armée russe. Si l'on pouvait admettre que M. Tolstoy écrit de son propre chef, sa rétraction

faire honte au cabinet de Vienne par sa «clémence» envers les conjurés de Pétrachevsky.

La lecture de l'acte de grâce achevée, on mit à Pétrachevsky le costume des galériens et les fers. Se voyant dans ce vêtement, il dit en souriant: «Pardieu: comme ils savent habiller un homme! Vraiment on paraît dégoûtant à ses propres yeux dans un pareil costume». Le général Gretch, commandant en second, lui cracha alors au visage, en s'écriant: «Quel vaurien que tu dois être, fils de chien!» «Canaille», répliqua Pétrachevsky, dont les mains étaient déjà enchaînées, «j'aurais bien voulu voir la figure que tu ferais à ma place». On le jeta dans un traîneau qui l'emporta directement aux mines de plomb de la Sibérie. Au moment où le traîneau partait, un inconnu, sorti de la foule, se dépouilla de son bonnet fourré et de sa pelisse et les jeta à Pétrachevsky. Le général Gretch est mort peu de temps après.

Les vingt autres condamnés furent reconduits du champ Séméovski à la citadelle de Pétersbourg, où ils avaient été détenus durant tout le temps du procès. Leur départ pour l'exil était fixé au lendemain. Les parents pensèrent qu'il leur serait accordé, comme cela avait eu lieu lors de la condamnation des conjurés du 14—26 décembre 1825, de prendre congé des condamnés, et ils se portèrent en foule à la forteresse. Mais le commandant Nabokoff leur déclara qu'il ne pouvait leur accorder l'entrevue sans avoir préalablement reçu la permission de l'empereur. Et comment l'obtenir? On s'adressa au comte Orloff, cet homme que Nicolas a présenté au roi de Naples, en le nommant «son ami intime». Le comte Orloff se refusa nettement de parler à l'empereur de la prière des infortunés parents. On essaya de faire intercéder l'impératrice auprès du tzar. L'impératrice eut également peur. Alors les parents désespérés refluent de nouveau vers le général Nabokoff. Enfin ce grognard de 1812 qui, sous un extérieur rauque, soldatesque, rébarbatif, cache un cœur non complètement dénaturé et rempli de piété religieuse, prit son courage à deux mains, et, après avoir fait force signes de croix, il risqua d'entrer dans le cabinet du Tzar. Il obtint pour les parents l'insigne faveur de prendre congé de leurs enfants. Mais comme l'un des condamnés, le lieutenant Mombelli, souffrait de la carie des os, à la suite des tortures qu'il avait subies pendant l'enquête, et, comme M. Nabokoff l'avait envoyé dans un hôpital militaire avant de l'expédier aux mines par un froid de 23 degrés Réaumur, le vieux général — nonobstant une décoration donnée pour l'enquête à laquelle il avait présidé — reçut de la part de

pourrait être citée, comme un exemple ou comme un avis à tous les espions, afin qu'ils s'abstiennent d'écrire des rapports à la légère.—A. H.

l'empereur une forte réprimande pour une aussi grande mansuétude envers un criminel d'état.

M. le ministre de l'Intérieur Pérovsky eut la satisfaction de voir 11.000 (onze mille) feuilles remplies par le procès-verbal de l'affaire, en tout—non moins de cinq cents individus arrêtés, vingt-deux d'entre eux punis publiquement et plus du double déportés sans jugement. Aussi obtint-il le titre de comte. Mais son aide, M. Liprandi, ne reçut que mille roubles argent pour toute récompense. Il en tomba gravement malade et, dès qu'il fut relevé de son lit de douleur, il vint au bureau du ministre de l'Intérieur et y proféra la menace de produire sous peu des preuves nouvelles et plus irrécusables de la cécité des agents du comte Orloff. Aussi peut-on espérer que les comtes de la police n'ont pas abandonné, mais seulement remis, la continuation de leur duel à coups de mouchards.

Post-Scriptum.—A peine avions-nous terminé cet article que les journaux viennent confirmer notre prévision. La *Gazette de Cologne* publie la lettre suivante, adressée à ce journal de la frontière de Pologne, à la date du 20 octobre: «Le bruit se répand ici que l'on a découvert à Saint-Pétersbourg une nouvelle conspiration parmi la noblesse, et que plusieurs personnes distinguées et touchant le trône de très près, ont été arrêtées. La conspiration aurait été révélée par des officiers circassiens de la garde. On avait essayé de les gagner, mais ils sont allés déclarer tout à l'empereur. Les détails manquent à ce sujet». (Voy. *La République* du 25 octobre).

Переводъ.

ПЕТРАШЕВСКІЙ.¹

Если Барбье ¹⁾, говоря о *святой черни*, разумѣлъ величавую простоту, чистоту побуждений, смѣлость передъ послѣдствіями, полное отсутствіе коварства и всякой задней мысли о личномъ тщеславіи, — качества, которыя въ наше время встрѣчаются, къ сожалѣнію, только въ простонародьи и, какъ исключенія, въ другихъ классахъ общества, — то Петрашевскаго можно, безъ всякаго преувеличенія, считать святымъ. Парижскій гамень, который идетъ умирать на баррикаду, не заботясь о томъ, вспомнить ли кто-либо

¹⁾ Анри-Огюсть, французскій поэтъ; лучшее его произведеніе—«Ямбы» пользовалось большимъ успѣхомъ у русской публики шестидесятыхъ годовъ.

о немъ послѣ смерти, а въ случаѣ побѣды, забываетъ попросить себѣ должность или орденъ, — таковъ европейскій типъ, къ которому ближе всего можно причислить Петрашевскаго. Онъ былъ «гаменомъ» не по воспитанію и не по убѣжденію, — онъ былъ имъ по призванію, по характеру. Гаменомъ былъ онъ даже по внѣшности: угловатая фигура, ниже средняго роста, руки нервныя, голова круглая, слегка склонявшаяся на бокъ, носъ маленькій, но правильный; его темно-сѣрые глаза сверкали безпрестанно; его походка и всѣ движенія отличались порывистостью; мечтательность, *dolce far niente* были для него невыносимы. Несмотря на совершенно искреннее желаніе хорошо одѣваться, галстукъ у него былъ надѣтъ всегда криво, но предметомъ особенной радости для посѣщавшихъ его насмѣшниковъ служилъ его халатъ: со времени окончанія гимназіи и вплоть до ареста онъ не могъ обзавестись приличнымъ, цѣльнымъ халатомъ; одинъ рукавъ былъ всегда оторванъ отъ плеча, такъ что, одѣваясь, Петрашевскій надѣвалъ сперва халатъ безъ этого рукава, а потомъ не безъ труда совывалъ въ свободный рукавъ свою руку. Въ этомъ именно одѣяніи, хорошо извѣстномъ его друзьямъ, онъ былъ застигнутъ 23 апрѣля (5 мая) 1849 г., въ 4 часа утра генераломъ Дубельтомъ, который пришелъ его арестовать. — «Будьте любезны, — сказалъ генераль, объявивъ свое званіе, — одѣться и ѣхать со мной въ III Отдѣленіе Собств. Е. И. В. канцеляріи». — «Я готовъ», — отвѣтилъ Петрашевскій. — «Однако, — возразилъ генераль, удивленный, что онъ, повидимому, и не думалъ одѣваться, — неужели вы думаете ѣхать въ такомъ костюмѣ?» — «Сейчасъ ночь, — сказала Петрашевскій, — а я въ это время не привыкъ одѣваться иначе». — «Такъ какъ вы не знаете, — возразилъ Дубельтъ, — съ кѣмъ вамъ придется говорить, то я совѣтую вамъ надѣть болѣе приличное платье». — «Ладно», — отвѣтилъ дерзкій шалунъ и началъ одѣваться, а генераль сталъ разсматривать книги, разбросанныя по столу и по полкамъ. — «Генераль, ради бога, не смотрите этихъ книгъ!» — воскликнулъ Петрашевскій. — «Почему же?» — «Потому что у меня, видите ли, есть только запрещенныя сочиненія; при одномъ взглядѣ на нихъ вамъ станетъ дурно». — «Почему же вы бережете такія книги?» — «Это дѣло вкуса», — отвѣтилъ Петрашевскій, добродушно покачивая головой.²

Онъ былъ крѣпкаго здоровья, никогда не пилъ и курилъ только въ лицѣ, потому что тамъ это было запрещено. Познанія его были разнообразны, выраженія — остроумны. Необходимость практической дѣятельности не оставляла ему ни времени, ни спокойствія нужнаго для построения соціальной системы; онъ даже не

остановился определенно ни на одной изъ готовыхъ социалистическихъ доктринъ, хотя считалъ себя фюреристомъ; онъ занятъ былъ исключительно изысканіемъ возможныхъ средствъ для низверженія современнаго управленія въ Россіи, а такъ какъ онъ полагалъ, что главной причиной порабощенія русскаго народа были религіозныя представленія, то направилъ свою атаку главнымъ образомъ противъ религіи. Что касается его идей о національности, то мы можемъ цитировать собственныя его слова, напечатанныя въ энциклопедическомъ словарѣ, о которомъ еще будемъ говорить ¹⁾.

«Всякій народъ или нація, разсматриваемая съ гуманной точки зрѣнія, является въ тѣхъ же отношеніяхъ къ цѣлому человѣчеству, какъ видъ въ отношеніи къ роду, и только постепенно развиваясь, т. е. утрачивая свои индивидуальныя, частныя признаки или прирожденныя свойства, онъ можетъ стать на высоту человѣческаго, космополитическаго развитія, тогда только можетъ настать для него время постиженія общечеловѣческихъ интересовъ, тогда только развитіе его жизненныхъ силъ будетъ совершаться гармонически съ требованіями цѣлаго человѣчества. Тогда только можетъ какой-либо народъ внести свою собственную лепту въ сокровищницу человѣческихъ знаній, дать самодѣятельный толчокъ общечеловѣческому развитію, когда будетъ имъ усвоена, вмѣстится въ немъ совершенно вся предшествовавшая образованность, и будутъ поняты всѣ интересы жившаго до него человѣчества и пережиты имъ всѣ его страданія путемъ собственнаго тяжелаго опыта. Въ этомъ смыслѣ Россію и русскихъ ждетъ высокая и великая будущность... Чѣмъ на низшей степени своего нравственнаго, политическаго или религіознаго развитія находится какой-либо народъ, чѣмъ менѣе способовъ къ всестороннему и разнообразному удовлетворенію его потребностей представляетъ ему развитіе у него промышленности, чѣмъ менѣе находится онъ въ дружественномъ общеніи съ прочими народами, чѣмъ предосудительнѣе и даже чѣмъ незаконнѣе для него кажутся сношенія съ чужестранцами, усвоеніе себѣ ихъ идей и формъ ихъ быта общественнаго,—тѣмъ рѣзче будетъ выказываться его національность (овеществленіе въ немъ общечеловѣческаго духа), тѣмъ рѣзче будетъ онъ отличаться отъ другихъ народовъ, тѣмъ будетъ онъ національнѣе и уединеннѣе среди общенія общечеловѣческаго, тѣмъ болѣе отпечатковъ дикости и варварства будетъ носить въ себѣ его національность; и тѣмъ

¹⁾ Не дѣлая перевода, просто цитирую соотвѣтственныя мѣста изъ указаннаго Герценомъ «Карманнаго словаря», стр. 220—221.

съ бѣльшимъ фанатизмомъ будетъ онъ ея держаться и даже будетъ безсознательно готовъ принести въ жертву благосостояніе другихъ народовъ для торжества своей національности, погубить плоды тысячелѣтнихъ трудовъ челоуѣчества, сравнять съ землей памятники наукъ и искусствъ, и на развалинахъ ихъ гордо и самодовольно раскинуть свою кочевую палатку и разсадить капусту...»

Въ интимной обстановкѣ Петрашевскій былъ весьма мягкій и безмѣрно терпѣливый челоуѣкъ. Всякое возраженіе со стороны порядочныхъ людей, всякая критика, какъ бы горька она ни была, принимались имъ и никогда не возбуждали въ немъ никакой вражды. Никогда мысль о своемъ превосходствѣ надъ окружающими не только не проскальзывала въ его словахъ, но даже не приходила ему въ голову; онъ былъ слишкомъ поглощенъ своими проектами, чтобы заниматься собственной персоной.

Поступивъ 13 лѣтъ въ Царскосельскій лицей (учрежденіе, основанное въ 1811 г. императоромъ Александромъ для воспитанія государственныхъ дѣятелей, совершенно передѣланное нынѣ Николаемъ; оно прославлено пребываніемъ Пушкина въ числѣ его учениковъ), Петрашевскій съ первыхъ же мѣсяцевъ выдѣлился своими способностями и усидчивостью въ такой же степени, какъ и своими шалостями. Въ этомъ отношеніи онъ оставлялъ далеко за собой большинство своихъ товарищей, зараженныхъ аристократической спесью и нелѣпыми понятіями о приличіи; вотъ почему большинство ихъ, и особенно нѣмцы, прервали съ нимъ всякую товарищескую связь. Петрашевскій не могъ понять золотой середины, столь свойственной нѣмецкому характеру, и когда заходила рѣчь о какомъ-нибудь заговорѣ учениковъ для наказанія надзирателя за нахальство, онъ тотчасъ предлагалъ свои услуги даже враждебнымъ ему товарищамъ, бралъ на себя исполненіе мести и просилъ, въ качествѣ вознагражденія, только тайну. Но затѣмъ, обычно, онъ переходилъ границы желаній своихъ сообщниковъ, котѣры послѣ упрекали его въ томъ, что онъ навлекъ на всѣхъ ихъ порицаніе за отступленіе отъ царившаго въ лицей корпоративнаго духа.

Кончивъ въ 1839 г. курсъ наукъ, онъ, за свое непослушаніе, получилъ только самый послѣдній изъ *чиновъ*, присвоенныхъ лицейстамъ ¹⁾. Когда его позвали вмѣстѣ съ товарищами для врученія имъ бумагъ, Петрашевскій поразилъ всѣхъ присутствовавшихъ при этой церемоніи, произнеся рѣчь (вещь, мало употребительная въ Россіи), въ которой въ самомъ серьезномъ тонѣ благодарилъ начальниковъ заведенія за ихъ попеченія о воспитанникахъ

1) XIV класса.

и приглашалъ своихъ товарищей предать отнынѣ забвенію ихъ школьныя ссоры. Изумленное столь мудрой рѣчью, исходящей изъ устъ Петрашевскаго, начальство публично выразило свое сожалѣніе, что до сихъ поръ не сумѣло оцѣнить по справедливости воодушевлявшія его чувства. Настолько не поняли, что рѣчь эта была фарсомъ, который Петрашевскій разыгралъ, чтобы смутить педагоговъ; до такой степени не замѣтили ироніи въ обращенныхъ къ начальству благодарностяхъ, что литераторъ Булгаринъ, прославившійся своимъ раболѣпіемъ передъ правительствомъ, напечаталъ эту рѣчь въ «Сѣверной Пчелѣ», а «Петербургскія Вѣдомости» перепечатали ее.

Петрашевскій поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, сохраняя за собой право, присвоенное воспитанникамъ лица—слушать въ теченіе двухъ лѣтъ лекціи въ петербургскомъ университетѣ, продолжая считаться на дѣйствительной службѣ. По истеченіи двухъ лѣтъ онъ блестяще выдержалъ экзаменъ въ университетѣ, что подвинуло его по службѣ на два класса. Въ министерствѣ онъ служилъ переводчикомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда жившіе въ Петербургѣ иностранцы имѣли какія-либо столкновенія съ полиціей. Это поставило его въ близкія отношенія съ чиновниками столичной полиціи—презрѣнный классъ людей, видъ которыхъ возбуждалъ отвращеніе въ петербуржцахъ,—но зато это же подало ему поводъ вывести изъ затруднительнаго положенія нѣсколько бѣдныхъ людей, попавшихъ въ когти полиціи.

Его революціонная дѣятельность началась еще въ университетѣ. Тамъ онъ началъ общаться съ молодыми людьми, старался давать имъ запрещенныя цензурой книги и училъ ихъ въ бесѣдахъ. Интересно отмѣтить, что сочиненіемъ, которому Петрашевскій приписывалъ наибольшую революціонную силу, былъ старый и плохой русскій переводъ французской книги, изданной въ концѣ прошлаго столѣтія или въ первыхъ годахъ XIX однимъ іезуитскимъ аббатомъ, котораго звали, если не ошибаюсь, Баррюэль, подъ заглавіемъ — «*Якобинцы и вольтерьянцы*» ¹⁾). Эта книга, написанная съ той неистовой яростью, которая свойственна духовнымъ авторамъ, представляетъ французскую революцію результатомъ обдуманнаго заговора, который давно былъ составленъ главой фанатиковъ Вейсгауптомъ, Вольтеромъ, Руссо, Робеспьеромъ и нѣсколькими другими лицами. Авторъ до такой степени увлекъ Петрашев-

¹⁾ Barruel, «Mémoires sur le jacobinisme»—«Вольтерьянцы, или исторія якобинцахъ, открывающая всѣ противохристіанскія злоумышленія и тайнства масонскихъ ложъ, имѣющихъ вліяніе на всѣ европейскія державы».

скаго, что онъ намѣтилъ въ своемъ воображеніи, и довольно остроумно, планъ обширнаго заговора. Поэтому Петрашевскій рекомендовалъ эту книгу всѣмъ своимъ знакомымъ, полагая, что для всѣхъ, кто знакомился съ нею, какъ и для него, не существовало больше вопроса о томъ, законна ли и желательна ли революція въ Россіи, а оставалось только найти средства для ея выполненія. Вслѣдствіе такой манеры относиться къ настроенію петербургскихъ умовъ, онъ сразу оттолкнулъ отъ себя много молодыхъ людей, которые охотно либеральничали, желая считать себя вольнодумцами, но не размышляли серьезно о революціи. Въ то же время эта роковая іезуитская книга внушила самому Петрашевскому, хотя онъ и не замѣчалъ этого, мысль, что революція можетъ быть дѣломъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ, безъ участія толпы, которую толкаютъ на этотъ путь сила событій, промахи правительства и распространеніе идей. Поэтому онъ никогда не могъ совершенно отказаться отъ мысли организовать тайное общество, чтобы нанести ударъ правительству. Нѣсколькимъ его друзьямъ, державшимся противоположнаго взгляда, удалось, все-таки, отвлечь его на нѣкоторое время отъ этой идеи, и до 1848 г. Петрашевскій ограничивалъ свою революціонную дѣятельность привозомъ книгъ изъ-за границы съ помощью одного несчастнаго книгопродавца, котораго правительство стерло теперь съ лица земли, устной пропагандой своихъ идей въ собраніяхъ, которыя еженедѣльно устраивались въ его домѣ, и печатаніемъ статей въ энциклопедическомъ словарѣ.

Появленіе этой маленькой книги въ Россіи, классической странѣ цензуры, и подъ покровительствомъ покойнаго великаго князя Михаила, брата императора Николая, которому посвященъ этотъ трудъ, — фактъ удивительный. Узнавъ, что нѣкій Кириловъ ¹⁾ намѣренъ издавать, съ чисто коммерческими цѣлями, *«Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка»*, Петрашевскій пришелъ къ нему и предложилъ себя въ сотрудники, прося, и то только для того, чтобы не возбудить подозрѣнія, весьма умѣреннаго вознагражденія. Предприниматель, обрадовавшись столь выгодному предложенію, предоставилъ Петрашевскому объясненіе выбранныхъ имъ словъ. Петрашевскій съ жадностью схватился за случай распространить свои идеи при помощи книги, на видъ совершенно незначительной; онъ расширилъ весь ея планъ, прибавивъ къ обычнымъ существительнымъ имена собственныя, ввелъ своей властью въ русскій языкъ такія иностранныя слова, которыхъ до тѣхъ поръ никто не употреблялъ, — все

¹⁾ Николай Сергѣевичъ, артиллерійскій офицеръ.

это для того, чтобы подъ разными заголовками изложить основанія социалистическихъ ученій, перечислить главныя статьи конституціи, предложенной первымъ французскимъ учредительнымъ собраніемъ, сдѣлать ядовитую критику современнаго состоянія Россіи и указать заглавія нѣкоторыхъ сочиненій такихъ писателей, какъ Сень-Симонъ, Фурье, Гольбахъ, Кабэ, Луи Бланъ и др. Основная идея Фейербаха относительно религіи выражена безъ всякихъ околичностей въ статьѣ о *натурализмѣ*. Петрашевскій дошелъ до того, что цитировалъ по поводу слова *ода* стихи Бетанже.

Успѣли выйти (въ 1845 г.) ¹⁾ только два выпуска словаря (до слова — орденъ рыцарскій) и продано было лишь нѣсколько сотъ экземпляровъ, какъ полиція арестовала всѣ остальные, лежавшіе въ книжныхъ лавкахъ. Цензоръ (Крыловъ) былъ представленъ въ верховный цензурный судъ; я не знаю, какая судьба постигла его; это былъ очень боязливый и робкій человекъ; онъ нѣсколько разъ говорилъ Петрашевскому, что его статьи доводятъ его до головокруженія отъ паническаго страха, но Петрашевскій увѣрялъ его, что онъ нигдѣ не переступилъ границъ, указанныхъ въ текстѣ цензурнаго устава. ³

Поспѣшимъ сказать, что Петрашевскій поступалъ совершенно добросовѣстно по отношенію къ цензору: онъ самъ искренно думалъ, что русское правительство хотѣло, помощью политики, укрѣпить уваженіе къ законности. Онъ хорошо понималъ, что если бы правительство строго исполняло законы, хотя бы имъ самимъ изданные, оно компрометировало бы свой жизненный принципъ — принципъ произвола, который, вслѣдствіе соучастія въ немъ всѣхъ государственныхъ чиновниковъ, дѣлаетъ изъ учрежденія административнаго коммерческую компанію, имѣющую цѣлью эксплуатацію страны. Но Петрашевскій полагалъ, что если къ правительству подступить съ вопросомъ о законности, то у него не хватитъ безстыдства сорвать съ себя, по крайней мѣрѣ, офиціально, маску ея. Онъ жалѣлъ, что въ Россіи нѣтъ людей, которые захотѣли бы поймать правительство на его пресловутомъ уваженіи къ законности, и попробовалъ самъ сдѣлать этотъ опытъ. Съ этой цѣлью онъ вздумалъ открыть у себя адвокатскую контору и объявилъ объ этомъ въ петербургскихъ газетахъ; но такъ какъ у лицъ, которыя предлагали ему защиту своихъ дѣлъ, были только денежныя тяжбы съ частными лицами, то онъ отказался отъ частныхъ дѣлъ и брался за процессы съ полиціей и въ судѣ только

¹⁾ II выпускъ вышелъ въ апрѣлѣ 1846 г.

въ тѣхъ случаяхъ, когда они лично его касались. Обладаніе двумя домами въ столицѣ и имѣніемъ въ Петербургской губерніи доставляло ему много такихъ случаевъ. Такъ какъ въ Россіи можно жаловаться на чиновника только его непосредственному начальству, и такъ какъ начальство это, по сложившемуся обычаю, хотя и противному тексту закона, не давало ходу такимъ жалобамъ, не объясняя даже причинъ отказа, то Петрашевскій, переходя отъ одной юридической инстанціи къ другой, вошелъ, наконецъ, въ сенатъ съ жалобами на начальника полиціи и на петербургскаго генералъ-губернатора и потребовалъ привлеченія ихъ къ отвѣтственности. Несмотря на ироническій смѣхъ, съ которымъ принимались эти жалобы, какъ совершенно «неподходящія», необычныя, Петрашевскій настаивалъ на томъ, чтобы онѣ получили движеніе, и просилъ разрѣшенія, согласно закону, устно защищать свое дѣло передъ собраніемъ сенаторовъ. Секретарь указалъ ему, что законъ, на которомъ онъ основывалъ это свое второе требованіе, не будучи формально отмѣненъ, давно, однако, вышелъ изъ употребленія, и что, по теперешнимъ обычаямъ и привычкамъ сената, истцы даютъ свои объясненія лишь письменно. Петрашевскій не захотѣлъ уступить ради самовольно введеннаго обычая право, установленное въ законѣ, и его жалобы никогда не достигали своего назначенія ¹⁾.

Въ качествѣ землевладѣльца, онъ имѣлъ совѣщательный голосъ въ собраніяхъ петербургскаго дворянства, которое созывается разъ въ три года для выборовъ предводителей, судей и другихъ должностныхъ лицъ, а также для распредѣленія мѣстныхъ налоговъ. Здѣсь Петрашевскій выступалъ поборникомъ строгой законности и заставлялъ вписывать въ протоколы засѣданій свои протесты противъ нарушеній закона, на которыя онъ напрасно указывалъ членамъ собранія. Въ январѣ 1848 г. онъ распространилъ между ними проектъ, составленный, повидимому, съ цѣлью остановить все возростающее паденіе цѣнъ на дворянскія имѣнія. Въ качествѣ главной мѣры онъ предлагалъ разрѣшить купцамъ пріобрѣтать населенныя имѣнія, съ условіемъ обращать крѣпостныхъ, прикрѣпленныхъ къ общиннымъ землямъ, во «временно-обязанныхъ крестьянъ» ²⁾;

¹⁾ Это неточно; г. Семевскій опубликовалъ одно такое дѣло, разсмотрѣнное сенатомъ.

²⁾ Указъ отъ 2 апрѣля 1842 г., который официальные писатели восхваляли, какъ великую *хартію* освобожденія русскихъ крестьянъ, даетъ право помѣщикамъ входить въ соглашенія со своими крѣпостными и составлять договоры (одобренные и утвержденные государемъ), устанавливающіе тѣ отношенія, которыя существуютъ теперь только на дѣлѣ между хозяевами и крѣпостными. Правительство заявило помѣщикамъ, что разъ права и взаимныя обя-

онъ требоваль, кромѣ того, образованія ипотечныхъ банковъ, основанныхъ на принципѣ подвижности имѣній¹⁾, взаимныхъ страховыхъ обществъ и т. д. Собраніе не приняло этого весьма разумнаго проекта.

Вспыхиваетъ февральская революція. Извѣстіе объ этомъ произвело въ Петербургѣ потрясающее впечатлѣніе. Прекратились сейчасъ же всѣ слухи, которые особенно сильно распространялись съ ноября 1847 г., о намѣреніи царя провозгласить освобожденіе крестьянъ. Въ мірѣ официальномъ дѣлались безконечные упреки Франціи вообще и Луи-Филиппу въ особенности — «этой не признанной бездарности», какъ говорили о немъ и приписывали это выраженіе Тьеру²⁾, «которая должна была служить пробкой, удерживающей взрывъ революціоннаго народа, и не сумѣла не полетѣть вверхъ». Но скоро упреки смѣнились мрачнымъ, безмолвнымъ уныніемъ; не знали, что сказать, когда прусскій король водрузилъ знамя единства въ Германіи, а Меттернихъ послѣдовалъ при-

знанности выражены на бумагѣ, то оно уже беретъ на себя заботу о точномъ исполненіи общинами ихъ обязательствъ, «а ваши помѣщики, — говорило оно крестьянамъ, — не смогутъ отнынѣ увеличивать, по своему желанію, ваши обязательства, и вы не будете больше называться крѣпостными, но крестьянами *обязанными*». Но такъ какъ передъ глазами крѣпостныхъ всегда стояла судьба 20 милл. государственныхъ крестьянъ, еще болѣе печальная, чѣмъ ихъ собственная, и такъ какъ они считали вмѣшательство правительства въ ихъ дѣла новымъ и неисчерпаемымъ источникомъ беззаконій и насилій, то и не спѣшили воспользоваться правомъ, которое предлагало имъ отеческое правительство — узаконить договорами то, что они считали несправедливымъ, и князь Меншиковъ могъ съ полнымъ правомъ дать тому классу крестьянъ, который хотѣли создать, прозвище «крестьянъ обязанныхъ». — А. И. Г.

¹⁾ Въ настоящее время всякая недвижимость, заложенная въ качествѣ ипотeki въ какомъ-нибудь зависящемъ отъ правительства кредитномъ учрежденіи, не можетъ стать ипотечной при малѣйшемъ слѣдующемъ долгѣ, если даже ея цѣнность многимъ превосходитъ гарантируемый ею долгъ. Неудобства этой системы уже внушили князю Любецкому, члену Государственнаго Совѣта, мысль, которую онъ сообщилъ царю, — образовать въ Россіи національный банкъ, который былъ бы, по примѣру Польскаго банка, основанъ на принципѣ подвижности помѣстій. Графъ Канкринъ, тогдашній министръ финансовъ, противился этому проекту: «Несомнѣнно, государь», сказалъ онъ самодержцу, «что торговля и даже казна будутъ процвѣтать, но черезъ десять лѣтъ В. В. не придется управлять Россіей, потому что она станетъ совсѣмъ другой страной» (См. интересную и добросовѣстную книгу, изданную недавно въ Лейпцигѣ анонимнымъ конституціоналистомъ, подъ заглавіемъ — «*Russland und die Gegenwart*»). — А. И. Г.

²⁾ Позже Тьеръ далъ тотъ же эпитетъ Наполеону III; поэтому особенно любопытно, что такое же выраженіе извѣстно было и въ Россіи въ примѣненіи къ Луи-Филиппу. — А. И. Г.

мѣру Луи-Филиппа. Всѣ были такъ заняты, что даже великій князь Михаилъ, этотъ образецъ военнаго педантизма, отказался выйти на смотръ къ войскамъ, которыя онъ велѣлъ привести для этого: онъ былъ погруженъ въ чтеніе газетъ. Я говорю «газетъ», потому что иныхъ освѣдомительныхъ источниковъ у правительства не было; быстрота событій такъ смутила императорскія посольства, что они не знали, какъ составлять свои телеграммы, и не посылали ихъ совсѣмъ. Смущеніе было такъ велико, что для того, чтобы получить точныя разъясненія европейскихъ дѣлъ, царь не сталъ больше обращаться къ Нессельроде, а послалъ на мѣсто событій помощника начальника тайной полиціи, Сартынскаго, того самаго старика съ сѣдыми волосами, который совершилъ кругосвѣтное путешествіе по Европѣ въ іюнѣ этого года и по возвращеніи котораго въ Петербургъ Карлье ¹⁾ оказался кавалеромъ русскаго ордена ²⁾. Въ кофейняхъ Излера и Доминика публика вырывала другъ у друга газеты; собирались въ группы и кто-нибудь громко читалъ извѣстія, потому что не хватало терпѣнія ждать своей очереди. Тому, кто знаетъ угрюмую чопорность петербуржцевъ, этотъ простой фактъ можетъ показаться невѣроятнымъ. Молодежь, и особенно друзья Петрашевскаго, бросились въ лихорадочную дѣятельность. Нельзя было оставаться въ границахъ обычнаго благоразумія. Почти на глазахъ у царя, въ четырехъ мѣстахъ, были установлены періодическія собранія. Надежды на то, что русскіе революціонеры не окажутся отвергнутыми революціонерами нѣмецкими и французскими, укрѣплялись извѣстіями о дружественныхъ отношеніяхъ Бакунина и Герцена съ такими людьми, какъ Прудонъ. Еще до февраля «Система экономическихъ противорѣчій» Прудона продавалась открыто, благодаря грубому невѣжеству полиціи, и ее изучали съ жадностью, невѣдомою въ странахъ, гдѣ отсутствіе цензуры отнимаетъ у революціонныхъ сочиненій всю сладость запретнаго плода. Одинъ генералъ-адъютантъ, впавшій въ немилость, объявилъ себя во всеуслышаніе послѣдователемъ Прудона. Потомъ номера «Représentant du Peuple», который доставали контрабандой, выучивались буквально наизусть. Юньскія газеты, правда, огорчили петербургскую молодежь, но все же, проклиная Марраста, Кавеньяка и ихъ товарищей, она не

¹⁾ Префектъ парижской полиціи.

²⁾ Награда, которая даетъ царь, можно, дѣйствительно, приписать своего рода тайную силу: едва прошло три мѣсяца, какъ Карлье былъ сдѣланъ придворнымъ, и происходитъ скандалъ въ лотереѣ золотыхъ слитковъ, при чемъ газета, обыкновенно защищавшая Карлье, «Indépendance Belge», дѣлаетъ даже намекъ на то, что дѣло это можетъ стоять въ связи съ отставкой, которую подалъ префектъ полиціи.—А. И. I.

падала духомъ. Наоборотъ, Версальскій и Буржскій судебные процессы довели умы до фанатизма; говорили не столько о радости триумфа, сколько о благородствѣ мучениковъ. Каждый завидовалъ высокою роли Барбеса.

Но уже въ августѣ 1848 г. министръ внутреннихъ дѣлъ получилъ увѣдомленіе о поведеніи Петрашевскаго ¹⁾. Онъ поселилъ одного шпіона, въ качествѣ торговца табакомъ, въ домѣ Петрашевскаго, чтобы войти въ довѣріе его прислуги, а другого, по фамиліи Антонелли ²⁾, официально причисленнаго къ министерству иностранныхъ дѣлъ, обязали сообщать министерству о засѣданіяхъ общества. Счастливый своимъ открытіемъ, Перовскій докладываетъ о немъ государю, но, можетъ быть, вы думаете, что онъ шепнулъ объ этомъ и своему коллегѣ по тайной полиціи, графу Орлову? Боже сохрани! онъ потерялъ бы тогда отличный случай доказать царю, что тайная полиція состоитъ изъ ничтожествъ. Перовскій хочетъ оставить себѣ одному честь спасенія отечества ³⁾. Поэтому гр. Орловъ въ теченіе шести мѣсяцевъ не знаетъ объ этомъ большомъ дѣлѣ; Перовскій потираетъ себѣ руки и ухмыляется. Къ сожалѣнію, онъ не можетъ велѣть государю хранить тайну: въ минуту гнѣва государь, прежде чѣмъ его птицеловъ успѣлъ протянуть всѣ силки, сказалъ графу Орлову, что у его ищеекъ нѣтъ нюха, что это — сопливыя собаки. Оскорбленный въ своемъ самолюбіи, графъ Орловъ собираетъ свѣдѣнія и докладываетъ царю, что министръ внутреннихъ дѣлъ, чтобы возвысить себя, наговорилъ его величеству всякаго вздора, что дѣло это совсѣмъ не такъ значительно, какъ его описываютъ, что не надо разукрашивать его, особенно въ глазахъ иностранцевъ, и, принявъ нѣкоторыя патріархальныя мѣры противъ главныхъ вождей, можно прекратить дѣло безъ шума и скандала. Тогда Перовскій, боясь, какъ бы столкновеніе мнѣній не выяснило правду, какъ бы не нашли только зародышъ заговора, далеко не достигшаго приписываемыхъ ему размѣровъ, и опасаясь, что вслѣдствіе этого ему не будетъ данъ въ вознагражденіе графскій титулъ ⁴⁾, упрашиваетъ царя отсрочить арестъ виновныхъ. При этомъ онъ сказалъ царю (онъ самъ хвастался потомъ): «Государь, позвольте мнѣ еще нѣкоторое время слѣдить

¹⁾ «Слѣжка» начата была въ февралѣ 1848 г., а 10 марта на Липранди и агентовъ III Отдѣленія, по соглашенію гр. Перовскаго съ гр. Орловымъ, были возложены основательныя разысканія.

²⁾ Петръ Дмитріевичъ, сынъ академика живописи.

³⁾ Гр. Орлову все это было извѣстно. Перовскій хотѣлъ вести дѣло безъ III Отдѣленія, чтобы доказать его бесполезность. III Отдѣленіе въ началѣ не придавало важности свѣдѣніямъ Перовскаго.

⁴⁾ Получилъ его уже 3 апрѣля 1849 г.

за поведеніемъ этихъ заговорщиковъ, и я обещаю доложить вашему величеству не только объ ихъ разговорахъ, но и о мечтахъ, грезящихся имъ во снѣ». Но у государя хватило терпѣнія только на 8 мѣсяцевъ; статья въ «La Semaine», которая, обсуждая венгерскія дѣла, говорила, что скоро у царя будетъ много своихъ хлопотъ, была каплей, переполнившей чашу. Царь не внималъ убѣжденіямъ Перовскаго и назначилъ набѣгъ въ ночь на 23 апрѣля (5 мая) 1849 г. ¹⁾ Взаимное недоверіе между начальниками двухъ полицій было такъ сильно, что каждый послалъ своего помощника. Со стороны графа Орлова былъ генералъ Дубельтъ, а со стороны Перовскаго — Липранди ²⁾. Они вмѣстѣ, въ одной каретѣ, прѣехали къ дому Петрашевскаго, но такъ какъ въ эту ночь надѣялись захватить собраніе всѣхъ участниковъ, то Липранди рѣшилъ представить своему военному коллегѣ рискъ подняться въ квартиру Петрашевскаго, а самъ спрятался въ каретѣ. Дубельтъ нашелъ Петрашевскаго въ обществѣ одного друга, передъ отходомъ ко сну. Въ началѣ этой замѣтки мы уже рассказали, что произошло между ними. Какъ только первые подсудимые, въ числѣ 48, были приведены утромъ въ канцелярію графа Орлова, онъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться собственными глазами въ томъ, что доклады Перовскаго были не вполнѣ точны, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ личной значительности заговорщиковъ. Среди обвиняемыхъ, на которыхъ падали самыя тяжелыя подозрѣнія, былъ мальчикъ 14 — 15 лѣтъ ³⁾; жандармы разбудили его рано утромъ, и онъ мирно доканчивалъ свой сонъ въ залѣ канцеляріи, пока его не разбудилъ внезапно громкій голосъ графа Орлова: «Что заставило васъ устроить заговоръ, а?.. Васъ слишкомъ хорошо кормили, сукины сыны, вы съ жиру бѣситесь!» ⁴⁾ Этотъ взрывъ гнѣва не былъ притворствомъ знатнаго графа; онъ былъ искрененъ, потому что видѣлъ передъ собой молодыхъ людей, при помощи которыхъ министръ внутреннихъ дѣлъ чуть было не подставилъ ему знатную подножку ⁵⁾.

¹⁾ 18 апрѣля Антонелли донесъ, что собранія у Петрашевскаго скоро прекратятся, и совѣтовалъ немедленно приступить къ арестамъ. 21 апрѣля гр. Орловъ доложилъ обо всемъ государю и получилъ приказаніе воспользоваться ночью съ 22 на 23 апрѣля.

²⁾ Иванъ Петровичъ, извѣстный сыщикъ по политическимъ дѣламъ, тогда видный чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ вн. дѣлъ.

³⁾ Борисъ Исааковичъ Утинъ, извѣстный ученый юристъ.

⁴⁾ Подумать только, что слова эти были произнесены человѣкомъ, родной братъ котораго (Михаилъ Орловъ) участвовалъ въ заговорѣ 14 декабря! — А. И. Г.

⁵⁾ Министръ внутр. дѣлъ Перовскій внушаетъ большой страхъ своимъ соперникамъ въ соисканіи царскихъ милостей, потому что его считаютъ че-

Слѣдственная комиссія работала уже три мѣсяца, не жалѣя пытокъ для заключенныхъ; Липранди, назначенный въ канцелярію самого графа Орлова, копался, съ почти религіознымъ рвеніемъ, въ бумагахъ, взятыхъ у подсудимыхъ; каждый день привозили новыхъ арестованныхъ изъ Москвы, изъ провинціи и даже изъ Сибири; и, все-таки, трудно было доказать, что Перовскій открылъ заговоръ, поставившій, было, государство на край гибели. Царь, который никогда не имѣетъ терпѣнія дожидаться конца интересующихъ его процессовъ, слѣдитъ, обыкновенно, за ихъ ходомъ и приказываетъ возобновить слѣдствіе, если думаетъ, что первое разслѣдованіе не поведетъ, по закону, къ тяжелымъ наказаніямъ, почувствовалъ себя смущеннымъ при видѣ оборота, принимаемаго дѣломъ Петрашевскаго; онъ съ грустью признается, что слишкомъ поспѣшилъ съ арестомъ подсудимыхъ, и раскаивается, что не послѣдовалъ совѣту Перовскаго «дать заговору созрѣть и расшириться, чтобы можно было однимъ ударомъ вырвать всѣ плевелы изъ русской земли». Перовскій торжествуетъ: не удастся доказать, что онъ преувеличилъ опасность, а если слѣды заговора потеряны, то въ этомъ виноватъ не онъ. Тогда разгнѣванный царь въ первыхъ числахъ августа приказываетъ устроить новую облаву въ Петербургѣ. «Пусть посадятъ,—пишетъ онъ изъ одного лѣтняго лагеря въ слѣдственную комиссію,—половину жителей столицы, но пусть отыщутъ всѣ нити заговора». И ночные аресты возобновились съ новымъ неистовствомъ.

Ярость, съ которой полицейскіе агенты приступили къ домашнимъ обыскамъ, заставляла думать, что правительство боится не просто мирной пропаганды, а чего-то другого. Въ нѣкоторыхъ домахъ стали ломать рояли и поднимать половицы, чтобы найти бумаги и оружіе. Грустно признаться въ этомъ, но жандармскіе нижніе чины, не получившіе никакого воспитанія, обращались гораздо человѣчнѣе, чѣмъ высшіе чины и адъютанты, на которыхъ былъ внѣшній лоскъ свѣтскихъ людей. Въ качествѣ образца жестокости называютъ особенно нѣкоего Иноземцева, адъютанта при генералѣ Полозовѣ ¹⁾), молодого человѣка, имѣющаго порядочный капиталъ и

ловѣкомъ, который ловко умѣетъ устраивать свои дѣла. Онъ и его братъ, генераль-адъютантъ Перовскій (прославившійся своей неудачной экспедиціей въ Хиву),—незаконныя дѣти графа Разумовскаго. Его законный сынъ былъ лишенъ наслѣдства и заключенъ въ Спасо-Ефимьевскій монастырь во Владимірской губ., подъ предлогомъ неуваженія къ матери Перовскихъ; его держали въ монастырѣ больше 15 лѣтъ. Говорятъ, что онъ сошелъ съ ума.—*А. И. Г.*

¹⁾ Данииль Петровичъ, начальникъ I-го (петербургскаго) жандармскаго округа.

служащаго въ полиціи только ради чиновъ. Дѣйствительно ли обвиняемые имѣли въ виду сдѣлать покушеніе на жизнь государя? Хорошо мы этого не знаемъ. Скажемъ только, что въ Петербургѣ ходили слухи, будто нѣкоторые изъ нихъ рѣшили заколоть царя кинжалами въ ночь на 21 апрѣля (3 мая) 1849 г. въ публичномъ маскарадѣ, который устраивался въ залѣ дворянскаго собранія, и будто въ этотъ вечеръ должна была быть лотерея, для чего они приготовили уже и билеты, на которыхъ написаны были призывы къ возстанію, — ихъ они думали бросить въ колесо. Планъ Петербурга, гдѣ указаны были мѣста для баррикадъ, былъ, говорятъ, найденъ у одного офицера; передавали, что государь сказалъ коменданту Царскаго-Села: «Представь себѣ, эти чудовища хотѣли не только убить меня, но и уничтожить всю мою семью». Если о подобныхъ проектахъ не упоминается въ официальномъ отчетѣ, то это не доказываетъ, что ихъ не было; — — —, быть можетъ, боялся распространять слухъ о нихъ, такъ какъ — — — постоянно старается отдалять отъ народной мысли идею покушенія — — — — — . Какой строгій выговоръ сдѣлалъ онъ императрицѣ за то, что, узнавъ о не удавшемся покушеніи Позена, она приказала отслужить благодарственный молебенъ въ петербургскомъ Казанскомъ соборѣ: войскамъ и народу, присутствовавшему на этой религиозной церемоніи, не сообщили ничего о причинѣ, по которой царица велѣла отслужить молебенъ, а послѣ, чтобы успокоить народное любопытство, распространили слухъ, что онъ былъ по случаю большой побѣды, одержанной на Кавказѣ.

Въ сентябрѣ комиссія окончила слѣдствіе по дѣлу Петрашевскаго. 23 человекъ были преданы чрезвычайному военному суду; остальные были выпущены изъ казематовъ Петропавловской крѣпости, гдѣ провели предварительное заключеніе, и большая часть была сослана въ «мѣста не столь отдаленныя», съ обязательствомъ поступить на казенную службу «регистраторами» или писцами. (Официальный докладъ выражаетъ это такъ: «Всѣ лица, признанныя вовлеченными въ преступныя намѣренія другими либо случайно, либо по ихъ легкомыслію, были, по высочайшему повелѣнію, освобождены отъ всякаго дальнѣйшаго законнаго преслѣдованія»). Что касается 23-хъ, преданныхъ суду, то всѣ думали, что ихъ приговорятъ, самое большее, къ отдачѣ въ солдаты на Кавказъ или, въ крайнемъ случаѣ, къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе. Таково было, повидимому, и намѣреніе судной комиссіи подъ предсѣдательствомъ генерала Перовскаго (брата министра внутреннихъ дѣлъ). Но государь, узнавъ объ этомъ, пришелъ въ ярость: «Если судъ будетъ столь милостивъ, то мнѣ останется, дѣй-

ствительно, пользуясь правом помилованія, совершенно простить преступниковъ! Но развѣ судьи не знаютъ, что подобное добродушіе съ ихъ стороны представляетъ собой захватъ права помилованія, которое является прерогативой монарха? Судъ долженъ примѣнять законъ во всей строгости, а это ужъ мое дѣло обратить вниманіе на смягчающія обстоятельства!» Поэтому царь приказалъ возобновить процедуру суда и судить на этотъ разъ не по общему уголовному своду, а по *военнымъ законамъ*. Судъ приговорилъ всѣхъ къ разстрѣлу. Это рѣшеніе проникло въ публику лишь 23 декабря 1849 г. (4 января 1850) ¹⁾.

Въ этотъ день ²⁾, когда утренній туманъ еще не успѣлъ разсѣяться, войска большими колоннами выстроились на Семеновскомъ плацу. Они образовали параллелограммъ вокругъ эшафота, состоявшаго изъ подмостковъ, къ которымъ придѣлано было семь висѣлицъ. Вокругъ войскъ, на широкомъ разстояніи, городовые образовали цѣпь, чтобы удерживать народъ, который стекался массами, желая видѣть даровое зрѣлище, преподносимое ему - - - - - . Около восьми часовъ показался ѣхавшій быстрой рысью кортежъ, который открывался отрядомъ жандармовъ съ обнаженными шашками; за ними слѣдовала двадцать одна карета, по одному осужденному въ каждой ³⁾, подъ стражей двухъ солдатъ внутри и двухъ жандармовъ верхами, околы дверцы; окна каретъ былъ закрыты и замерзши, такъ что черезъ нихъ нельзя было видѣть лица заключенныхъ; процессія замыкалась вторымъ отрядомъ жандармовъ. Заключенные не знали, съ какой цѣлью заставляли ихъ дѣлать эту прогулку. Привезя на Семеновскій плацъ, ихъ поставили на эшафотъ и прочитали смертный приговоръ, вынесенный судомъ; затѣмъ на нихъ надѣли саваны съ капюшонами, падавшими на лицо, и поставили по трое къ висѣлицамъ. Хрипло прозвучалъ рожокъ— былъ сильный морозъ; прокатилась барабанная дробь; изъ рядовъ каждаго батальона вышли солдаты съ ружьями, приблизились къ осужденнымъ и стали цѣлиться. Воцарилось гробовое молчаніе... Но отчего солдаты такъ долго не стрѣляютъ? Можетъ быть, для

¹⁾ 16 ноября военный судъ кончилъ дѣло и приговорилъ: 15 чел. къ смертной казни, 5—къ каторжн. работѣ, 1—къ поселенію, 1—оставилъ въ подозрѣніи; одинъ сошелъ съ ума. Генераль-аудиторіатъ былъ строже: 21 человекъ былъ приговоренъ къ разстрѣлянню. 19 декабря Николай I утвердилъ второй приговоръ.

²⁾ 22 декабря 1849 г.

³⁾ Изъ двухъ остальныхъ, обвиненныхъ слѣдственной комиссіей, одинъ былъ оправданъ судомъ,—въ оффиціальномъ отчетѣ мы увидимъ, что сдѣлалъ государь; другой сошелъ съ ума во время процесса.—А. И. Г.

того, чтобы продлить у осужденных предсмертную тоску? Петрашевскій, всегда вѣрный себѣ, приподнялъ капюшонъ, чтобы посмотреть, что происходило вокругъ.

Наконецъ, становится извѣстно, что все это было простымъ фарсомъ, декорацией, лишнимъ парадомъ, устроеннымъ - - - - - . Генераль Ростовцевъ объявляетъ приговореннымъ, что царь даруетъ имъ жизнь. Напрашивалась мысль, что изъ всѣхъ генераловъ былъ выбранъ именно этотъ для объявленія милости потому, что онъ былъ заикою. Солдаты возвращаются въ строй, а преступникамъ читается указъ, которымъ государь, по своей неизрѣченной добротѣ, замѣняетъ смертную казнь для однихъ каторжными работами въ сибирскихъ рудникахъ, для другихъ зачисленіемъ въ дисциплинарныя роты, для третьихъ отдачею въ солдаты на Кавказъ и киргизскія границы.

Почему же царь не обошелся съ этими людьми такъ же, какъ съ поляками? Это объясняютъ тѣмъ, что нѣсколько недѣль назадъ онъ узналъ, что австрійское правительство велѣло повѣсить всѣхъ венгерскихъ офицеровъ, которые сдались Паскевичу, хотя Паскевичъ ходатайствовалъ за нихъ въ Вѣнѣ, а съ мятежниками, которые сдались австрійскимъ генераламъ, поступило менѣе строго; царь былъ оскорбленъ этимъ, считая такой способъ дѣйствій «неслыханнымъ», и, въ то время, какъ г. Толстой началъ писать свои *Донесенія о дѣйствіяхъ русской арміи въ Венгріи* ¹⁾, онъ самъ захотѣлъ пристыдить вѣнскій кабинетъ своимъ «милосердіемъ» по отношенію къ заговорщикамъ.

Когда чтеніе акта о помилованіи было кончено, на Петрашевскаго надѣли костюмъ каторжника и кандалы. Осматривая себя въ этомъ одѣяніи, онъ сказалъ, улыбаясь: «Ей-Богу, какъ они умѣютъ одѣвать людей! Въ такомъ костюмѣ дѣлаешься противень самъ себѣ!» Генераль Гречъ, помощникъ командира, плюнулъ ему въ лицо и воскликнулъ: «Экій ты негодяй, сукинъ сынъ!» — «Сволочь, — отвѣтилъ Петрашевскій, у котораго руки были уже закованы, — хотѣлъ бы я видѣть тебя на моемъ мѣстѣ». Его бросили въ сани и повезли прямо въ Сибирь, въ свинцовыя рудники. Когда

¹⁾ Въ «*Indépendance Belge*» (последнія числа октября) сообщаютъ изъ Вѣны, что г. Толстой приступаетъ теперь ко *второму* изданію этого сочиненія, и что предисловіе будетъ *раскаяніемъ*, которое дѣлаетъ честь правдивости автора. Онъ скажетъ тамъ, что все, написанное имъ о недовѣрїи австрійцевъ къ русской арміи, было заблужденіемъ. Если бы можно было допустить, что г. Толстой пишетъ самъ отъ себя, то его отпирательство могло бы служить примѣромъ для шпионовъ, чтобы они осторожнѣе писали свои доносы. — А. И. Г.

сани тронулись, какой-то неизвѣстный, выйдя изъ толпы, снялъ съ себя мѣховую шапку и шубу и бросилъ ихъ Петрашевскому. Генералъ Гречъ умеръ вскорѣ послѣ этого.

Остальные двадцать были отведены съ Семеновскаго плаца въ Петропавловскую крѣпость, гдѣ они сидѣли во время процесса. Ихъ отъѣздъ былъ назначенъ на слѣдующій день. Родственники думали, что имъ будетъ позволено, какъ это дѣлалось со времени приговора заговорщикамъ 14 декабря 1825 г., проститься съ осужденными, и столпились около крѣпости. Но комендантъ Набоковъ объявилъ имъ, что не можетъ разрѣшить свиданій, не получивъ предварительно разрѣшенія отъ государя. А какъ добиться его? Обратились къ графу Орлову, челоувѣку, котораго Николай представлялъ неаполитанскому королю, какъ «своего близкаго друга». Графъ Орловъ совершенно отказался передать государю просьбу несчастныхъ родственниковъ. Попробовали просить императрицу ходатайствовать за нихъ передъ царемъ,—она тоже побоялась. Тогда, въ отчаяніи, родственники бросились опять къ генералу Набокову. Наконецъ, этотъ ворчунъ 1812 года, который за свирѣпой солдатской и отталкивающей внѣшностью скрывалъ не вполне извращенное и полное благочестія сердце, рѣшилъ осмѣлиться и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, рискнулъ войти въ кабинетъ царя. Онъ получилъ милостивое разрѣшеніе дать родителямъ проститься съ дѣтьми. Но такъ какъ одинъ изъ осужденныхъ, лейтенантъ Момбелли, послѣ мученій, которыя онъ претерпѣлъ во время слѣдствія, страдалъ отъ костоѣды, а Набоковъ отправилъ его въ военный госпиталь прежде, чѣмъ сослать его при морозѣ въ 23° R. въ рудники, то, несмотря на орденъ, полученный имъ за слѣдствіе, въ которомъ онъ предсѣдательствовалъ, государь сдѣлалъ ему строгій выговоръ за такую мягкость по отношенію къ государственному преступнику.

Министръ внутр. дѣлъ Перовскій имѣлъ удовольствіе видѣть 11.000 листовъ, заполненныхъ протоколомъ дѣла, и не менѣе 500 арестованныхъ, изъ которыхъ 22 были наказаны публично, а вдвое большее число сослано безъ суда. За это онъ получилъ титулъ графа. Но помощнику его, Липранди, досталась въ награду только тысяча рублей. Онъ тяжело заболѣлъ; поднявшись же съ одра болѣзни, пришелъ въ канцелярію министерства внутр. дѣлъ и грозилъ скоро представить новыя и еще болѣе непровержимыя доказательства слѣпоты полицейскихъ агентовъ графа Орлова. Можно поэтому надѣяться, что полицейскіе графы не прекратили, а только пріостановили свой поединокъ на шпионахъ.

* * *

Р. С. Едва мы кончили эту статью, какъ газеты подтвердили наше предположеніе. «Кѣльнская Газета» напечатала слѣдующее письмо, посланное ей съ границъ Польши, отъ 20-го октября: «Здѣсь ходятъ слухи, что въ Петербургѣ открыли новый заговоръ среди дворянъ и что арестовано много вліятельныхъ лицъ, имѣющихъ близкое отношеніе ко двору. Заговоръ открытъ будто бы гвардейскими офицерами-черкесами. Ихъ пробовали подкупить, но они пошли и объявили обо всемъ государю. Подробности еще неизвѣстны». (См. «La République» отъ 25 окт.).

◆◆ 1. Герценъ нигдѣ не указываетъ на свое знакомство съ Михаиломъ Васильевичемъ Буташевичемъ-Петрашевскимъ, и это одно даетъ уже право утверждать, что они не видѣлись: было много случаевъ, чтобы при наличности знакомства Герценъ указалъ на него хоть разъ, какъ сдѣлалъ это въ отношеніи многихъ другихъ, гораздо менѣ выдающихся людей. Поэтому, предположеніе В. И. Семевского о возможности ихъ встрѣчи въ Спб. въ 1846 г., какъ ничѣмъ не доказанное, я считаю не имѣющимъ достаточного основанія («Голосъ Минувшаго», 1913, I, 27; III, 64). Не зналъ Петрашевскаго и Огаревъ (Н. Огарева, «Воспоминанія», 66 — 67, 69—70).

2. По словамъ современника, Петрашевскій «ходилъ по улицамъ въ какомъ-то широкомъ плащѣ и въ шляпѣ съ самыми широкими полями, въ настоящемъ сомбреро, скандализируя тѣмъ своихъ сослуживцевъ-дипломатовъ... Однажды какой-то франтоватый французъ привезъ изъ Парижа модную новинку, которую надѣялся пустить въ ходъ въ Петербургѣ—мужскія шляпы, у которыхъ верхъ тульи состоялъ не изъ круга, какъ у теперешнихъ цилиндровъ, а изъ квадратнаго четвероугольника, какъ у уланскихъ шапокъ,—и первымъ, явившимся въ такой смѣшной обновкѣ на Невскомъ, въ часы наибольшаго тамъ оживленія, былъ, конечно, не кто иной, какъ Петрашевскій» («Рус. Старина», 1900, IX, 450).

3. Крыловъ хотѣлъ сдѣлать на Петрашевскаго доносъ, но послѣдній удержалъ его отъ этого, представивъ ему однѣ и тѣ же статьи, цензурованные имъ въ разное время, въ которыхъ онъ дѣлалъ различныя поправки, противорѣчившія другъ другу. Однако, Крыловъ доносъ, все-таки, написалъ и представилъ его по начальству (См. «Голосъ Минувшаго», 1913, II, 127).

542. Письмо къ Ж. Мишле.

15 novembre 1851.

Nice.

Monsieur. De grâce, disposez de la petite notice sur Bakounine comme vous le désirez; son but était de vous faciliter votre travail sur lui; elle ne vous a pas déplu, et c'est tout ce que je désirais. Maintenant, si ce souvenir d'un ami et d'un martyr peut encore servir pour soulager un malheureux, j'en serai heureux.

En faisant imprimer, on pourrait dire que la notice est insuffisante; je n'ai ici aucun moyen de me renseigner. (Après la prise de Prague, il ne demeurerait pas à Ketten, comme je l'ai dit, mais à Dessau!)

Les journaux allemands commencent à parler de sa mort «à la suite d'une *hydropisie*». Serait-ce vrai? Pauvre Bakounine! Je vous envoie, Monsieur, un petit croquis que *ma femme a fait* de mémoire; la ressemblance est assez grande.

Quant aux autres articles, je voudrais bien voir quelques passages dans un journal, et, si faire se peut, l'article entier dans *la Liberté de penser*.

Mon compatriote qui a écrit les deux articles, est un travailleur vigoureux, et il ne fait que commencer; cela serait pour lui un encouragement qu'il mérite sous tous les rapports. Son nom est encore un secret.

A propos de nom, je prierai de signer ma lettre sur Bakounine par mon pseudonyme *Iskander*; tout ce que j'ai imprimé en russe, a été signé de la même manière.

Je pense, Monsieur, avoir reçu toutes vos lettres. Une lettre du 3 novembre m'est parvenue un jour plus tard, mais le temps était horrible. Quant au Piémont, les lettres ne sont pas décachetées ici. La Chambre a refusé ce droit au ministère. Mais les lettres qui me viennent de Paris, portent très souvent des traces suspectes, tandis que les lettres venant de la Suisse ou de l'Angleterre sont toujours bien cachetées.

Je vous salue de tout mon cœur.

A. Herzen.

La nouvelle concernant le nom de la Pologne m'est suspecte, car l'année passée, avant le nouvel an, on disait la même chose. Au reste, il n'y a aucune cruauté, ni aucune absurdité complètement impossible pour - - - - - ministres.

Un mot concernant ma langue française pour laquelle vous êtes si indulgent.

J'ai, en effet, quelque succès, comme styliste, dans la littérature russe. J'ai essayé, en 49, pour la première fois, d'écrire des articles allemands et français, mais j'ai bientôt vu qu'il me manque une connaissance approfondie et sûre des langues; j'apprenais par l'audace, et je ne pouvais me résigner à étudier lorsque le cœur, la pensée débordaient; mais il m'est impossible de ne pas faire corriger le côté matériel de la langue. Je combats, comme un preux chevalier, pour mon style avec mes amis les correcteurs, mais je cède humblement pour le subjonctif.

M. Biernaçki pourrait bien dire si le croquis de *Bakounine* lui paraît aussi ressemblant.

Je vous ai envoyé, le 7 ou le 8 sous bande, encore trois exemplaires de ma brochure. Les avez-vous reçus? C'est toujours pour contrôler la poste que je le demande.

Переводъ.

15 ноября 1851.¹

Милостивый Государь, прошу васъ располагать моею небольшою замѣткой о Бакунинѣ по вашему усмотрѣнію. Ея цѣлью было облегчить вашу работу о немъ; вы нашли ее недурной,—это все, чего я желалъ. Если теперь это воспоминаніе о другѣ и мученикѣ можетъ еще послужить средствомъ помощи несчастному, я буду искренно радъ.

Однако, отдавая замѣтку въ печать, слѣдовало бы оговорить, что она недостаточна: я здѣсь совершенно лишень возможности навести точныя справки (такъ, послѣ взятія Праги онъ жилъ не въ Кеттенѣ, какъ сказано у меня, а въ Дессау!)

Въ нѣмецкихъ газетахъ появились извѣстія, что онъ умеръ «отъ водянки». Неужели это вѣрно? Бѣдный Бакунинъ! Посылаю вамъ небольшою эскизъ ¹⁾, набросанный *моей женою* по памяти; онъ довольно похожъ.

Что касается остальныхъ статей, то я былъ бы радъ, если бы отрывки изъ нихъ появились въ какой-нибудь газетѣ и, по возможности, цѣликомъ—въ «Liberté de penser».

Авторъ этихъ двухъ статей, мой соотечественникъ, — дѣятельный и еще только начинающій работникъ; это будетъ для него

¹⁾ Портретъ Бакунина.

поощреніемъ, котораго онъ во всѣхъ отношеніяхъ заслуживаетъ, Его имя пока—тайна.

Кстати объ имени; мое письмо о Бакунинѣ я просилъ бы подписать моимъ псевдонимомъ *Искандеръ*; такъ подписано все, что я напечаталъ по-русски.

Ваши письма я получилъ, думается, всѣ. Письмо отъ 3 ноября запоздало на день, но тогда была очень дурная погода. Что касается Пиемонта, то здѣсь письма не вскрываются: палата отказала министерству въ правѣ на это. Но письма, которыя я получаю изъ Парижа, очень часто носятъ подозрительные слѣды, тогда какъ письма изъ Швейцаріи и Англій всегда запечатаны исправно.

Привѣтствую васъ отъ всего сердца.

А. Герценъ.

Извѣстіе относительно имени Польши кажется мнѣ сомнительнымъ, такъ какъ и въ прошломъ году передъ новымъ годомъ говорили то же самое. Впрочемъ, нѣтъ жестокости и нелѣпости, которыя были бы совершенно невозможны для - - - - - министровъ.

Два слова о моемъ французскомъ языкѣ, къ которому вы такъ снисходительны.

Въ русской литературѣ я, дѣйствительно, пользуюсь нѣкоторымъ успѣхомъ, какъ стилистъ. Въ 49 году я впервые попробовалъ написать нѣсколько статей по-нѣмецки и по-французски, но тотчасъ убѣдился, что мнѣ не хватаетъ глубокаго и точнаго знанія этихъ языковъ. Я бралъ смѣлостью и не могъ заставить себя взвѣшивать слова, когда чувство и мысль били черезъ край; но я непремѣнно долженъ поручать кому-нибудь исправлять лексическую сторону языка. Я борюсь за мой слогъ съ моими друзьями-корректорами, какъ храбрый рыцарь, но смиренно уступаю, гдѣ дѣло касается сослагательнаго наклоненія ¹⁾.

Вы можете узнать отъ Бернацкаго, находитъ ли и онъ набросокъ *Бакунина* достаточно схожимъ.

¹⁾ Правильное употребленіе его—Ахиллесова пята не только для иностранцевъ, но и для многихъ французовъ. Впрочемъ, у Герцена часто бываютъ ошибки и въ употребленіи различныхъ французскихъ глагольных формъ, особенно для прошедшаго времени, хотя бы и въ изъяснительномъ наклоненіи, т. е. невѣрно передаются русскіе глагольные виды. Этотъ недостатокъ очень замѣтенъ при обратной передачѣ герценовскаго текста съ французскаго на русскій.

7-го или 8-го я послалъ вамъ подъ бандеролью еще три экземпляра моей брошюры ¹⁾). Получили ли вы ихъ? Спрашиваю объ этомъ, опять-таки, чтобы провѣрить почту.

◆◆ 1. 11 ноября Мишле писалъ, что, повидимому, почта не очень торопится... прочитывать ихъ письма, которыя, благодаря этому, очень опаздываютъ; сообщалъ, что извлеченіе изъ Гакстаугузена, полученное черезъ Герцена, немного длинно для газеты, и онъ находитъ удобнымъ дать оттуда одно или два мѣста—объ освобожденіи крестьянъ и финансахъ Россіи; можетъ быть, журналъ «Liberté de penser» помѣститъ и все. Здѣсь опять рѣчь идетъ о статьѣ А. А. Чумикова. Въ заключеніе ученый спрашивалъ, правда ли, что русское правительство хочетъ переименовать Польшу въ «Новую Россію».

543. Письмо къ женѣ.

10 h. du matin.
Fréjus.

A Cannes on ne sait absolument rien, Le capitaine est malade. J'irai à Hyères à l'instant même. Cela ne va pas si vite, il faut 10 heures pour arriver. On dit que les passagers sont tous à Hyères.

Adieu. Je te recommande encore une fois la patience: je ne perdrai pas mon temps.

J'embrasse les enfants.

Alex.

Переводъ.

10 ч. утра (17—18 ноября 1851).
Фрежюсъ.

Въ Каннѣ не знаютъ ровно ничего. Капитанъ боленъ. Я поѣду въ Гіеръ сейчасъ же. Это не такъ скоро дѣлается,—нужно 10 часовъ на дорогу. Говорятъ, что всѣ пассажиры въ Гіерѣ.

До свиданія. Еще разъ рекомендую тебѣ терпѣніе: я не потеряю времени.

Обнимаю дѣтей.

Алекс.¹

◆◆ 1. Луиза Ивановна, племянница ея Луиза Суццеръ, Коля, Шпильманъ и горничная Аделаида были въ Парижѣ у М. К. Рейхель

¹⁾ «Du développement» etc.

до середины ноября, а затѣмъ, съвѣ 15 ноября въ Марсели на пароходъ, шедшій въ Ниццу, отправились къ Герценамъ. Въ ночь на 16 ноября, въ воскресенье пароходъ потерпѣлъ аварію, и первые трое изъ названныхъ лицъ утонули. Въ Ниццѣ не знали подробностей, но вѣсть объ аваріи получили вечеромъ 16-го; сейчасъ же, предчувствуя недоброе, Герценъ поѣхалъ на мѣсто, стараясь все время ободрять жену.

21 ноября въ «La Presse» была помѣщена слѣдующая корреспонденція:

«Сегодня утромъ мы получили подробности несчастья, случившагося въ воскресенье утромъ около Гіерскихъ острововъ, при поворотѣ отъ Лангустьерскаго мыса, и вызвавшаго страшное волненіе во всѣхъ сосѣднихъ портахъ. Пароходъ «La Ville-de-Grasse», дѣлающій постоянные рейсы между городами: Сеттъ, Марсель, Каннъ и Ницца, вышелъ, подъ начальствомъ капитана Газанъ, въ субботу, 15 ноября, вечеромъ изъ Марселя въ Каннъ. Онъ былъ переполненъ пассажирами и грузомъ. Море волновалось, но благоприятная погода и лунный свѣтъ предвѣщали благополучный путь. Прибывъ около 3 часовъ утра къ Гіерскимъ берегамъ, «La Ville-de-Grasse» вошелъ въ проливъ, раздѣляющій два острова, въ который входятъ всѣ суда, чтобы избѣжать открытаго моря. Въ то же время въ тотъ же проливъ съ противоположной стороны входилъ пароходъ «La Ville-de-Marseille», шедшій изъ Генуи. Оба парохода шли другъ другу на встрѣчу и, вслѣдствіе ихъ неправильныхъ маневровъ, «La Ville-de-Marseille» на полномъ ходу врѣзался въ бортъ «La Ville-de-Grasse», который оказался, буквально, разрѣзаннымъ пополамъ. Меньше, чѣмъ черезъ 10 минутъ, пароходъ этотъ, обшитый желѣзомъ, опустился на дно. Весь экипажъ находился на палубѣ, а пассажиры мирно спали въ каютахъ, кромѣ двухъ или трехъ, бывшихъ съ экипажемъ. Немногіе изъ нихъ успѣли подняться на палубу и избѣжать ужасной гибели. Капитанъ Комбъ, командовавшій «La Ville-de-Marseille», хотя его судно получило при столкновеніи значительныя поврежденія, занялся прежде всего спасеніемъ пассажировъ «La Ville-de-Grasse». Онъ велѣлъ немедленно спустить лодки, и ему удалось спасти часть утопающихъ. Къ несчастью, въ беспорядкѣ, неизбѣжномъ при подобныхъ обстоятельствахъ, погибла самая большая, главная лодка, которая съ такой силой была брошена въ море, что затонула въ ту самую минуту, когда ея помощь была столь нужна. Въ то же время капитанъ принималъ на бортъ тѣхъ моряковъ и пассажировъ, которые первыми бросились въ лодку.

«Трудно представить себѣ сцены ужаса, происходившія на обо-

ихъ судахъ, и особенно на томъ, которое такъ трагически погибло. Со всѣхъ сторонъ раздавались отчаянные крики видѣвшихъ, что гибнетъ послѣдняя надежда. Рассказываютъ о двухъ барышняхъ-англичанкахъ, которыя выказали необыкновенное хладнокровіе и храбрость, бросившись черезъ люки въ бурное море и продержавшись тамъ вплавь такъ долго, что ихъ удалось спасти. Одинъ путешественникъ рассказываетъ о своемъ спасеніи, которое похоже на чудо. Бросившись, самъ не помня какъ, въ море, онъ схватился за какой-то большой предметъ, плывшій около него; это былъ дорожный мѣшокъ. Первое время мѣшокъ довольно хорошо держалъ его на водѣ, но постепенно она стала проникать въ него; пассажиръ началъ тонуть, но въ эту самую минуту на помощь приплыла лодка. Одинъ молодой английскій путешественникъ, обнаружившій въ эти ужасныя минуты большое хладнокровіе, рассказывалъ душу раздирающія сцены отчаянія, которыя происходили на утопавшемъ суднѣ. Пассажиръ этотъ спалъ полуодѣтымъ, когда произошло столкновеніе; онъ проснулся отъ ужаснаго сотрясенія. Забравъ одежду и нѣкоторыя цѣнныя вещи, онъ успѣшилъ подняться на палубу, гдѣ царили хаосъ и отчаяніе. Какъ и всѣ остальные, онъ, прежде всего, сталъ думать о средствахъ спасенія. Въ ту минуту, какъ онъ подошелъ къ лодкѣ, моряки, садившіеся въ нее, почувствовали, что судно начинаетъ опускаться и, предвидя, что перемѣщеніе воды вызоветъ водоворотъ, въ которомъ они погибнутъ, торопились ѣхать. Едва они отчалили на разстояніе 30 метровъ, какъ «La Ville-de-Grasse» совершенно исчезъ подъ водой. Несчастные, плывшіе въ лодкѣ, чуть не погибли, приставая уже къ «La Ville-de-Marseille». Всѣ сразу хотѣли войти на судно, лодка опрокинулась бы; тогда англичанинъ, о которомъ мы говоримъ, предвидя опасность, сумѣлъ зацѣпить веревку, при помощи которой могъ удержать этотъ челнокъ.

«Всѣ свидѣтели и участники этой драмы, по словамъ. «Sémaphore de Marseille», отмѣчаютъ усердіе, рѣшительность и распорядительность, проявленныя капитаномъ «La Ville-de-Marseille» Комбомъ при спасеніи пассажировъ. Въ эти опасныя минуты его не покинули присутствіе духа и смѣлость. Онъ сумѣлъ воспротивиться приказаніямъ, которыя внушали ему другіе подъ вліяніемъ страха. Нѣкоторое время онъ былъ окруженъ на мостикѣ моряками и пассажирами, просившими разбить судно о ближайшія скалы. Капитанъ Комбъ сумѣлъ противостоятъ этому, и черезъ два часа бросилъ якорь въ Герскомъ рейдѣ, гдѣ поврежденія были нѣсколько поправлены, и судно прибыло въ Марсель съ пассажирами, которыхъ ему удалось подобрать. Рѣшительность этого храбраго моряка за-

служиваетъ тѣмъ большей похвалы, что судно его такъ сильно пропускало воду, что весь экипажъ и даже пассажиры должны были бѣжать къ насосамъ; поэтому ему пришлось употребить много времени, чтобы прибыть въ Гьеръ. По счастливой случайности, пароходъ «Nantes-et-Bordeaux» подходилъ къ «La Ville-de-Grasse» и пришелъ къ мѣсту несчастья еще во-время, принявъ дѣятельное участіе въ спасеніи погибающихъ. Благодаря ему, могли спастись капитанъ, часть экипажа и нѣсколько пассажировъ. Онъ отплылъ въ Каннъ, гдѣ и высадилъ пострадавшихъ. Извѣстно, что погибло много, но число жертвъ еще нельзя установить точно. Пока не будутъ собраны всѣ спасенные на «Ville-de-Marseille» и «Nantes-et-Bordeaux», до тѣхъ поръ невозможно знать число жертвъ».

23 ноября въ той же газетѣ напечатанъ рапортъ капитана Бенуа, командовавшаго пароходомъ «Nantes-et-Bordeaux», комиссару Канна:

«Выйдя вчера, въ 9 час. веч. изъ Марселя вмѣстѣ съ «La Ville-de-Grasse», я былъ въ половинѣ пятаго утра съ западной стороны маленькаго прохода въ Гьерскихъ островахъ, когда «La Ville-de-Grasse» и «La Ville-de-Marseille» столкнулись. Ударъ былъ такъ силенъ, что «La Ville-de-Grasse» пошелъ ко дну. Черезъ нѣсколько минутъ послѣ того, какъ я замѣтилъ ужасное столкновеніе, я сталъ маневрировать, чтобы прибыть на мѣсто несчастья; на крики многихъ людей, державшихся на водѣ, я велѣлъ остановить машину, спустить двѣ лодки въ море и посадилъ въ нихъ экипажъ, чтобы спасти какъ можно большее число моряковъ и пассажировъ.

«Увѣрившись, что спасти больше некого, я отправился въ поиски за «La Ville-de-Marseille», но не нашелъ его. Я думаю, что онъ постарался войти въ сосѣдній портъ.

«Видя свою бесполезность, я поднялъ лодки и, продолжая путь въ Ниццу, зашелъ въ Каннъ, чтобы посадить потерпѣвшихъ, не жалѣя хлопотъ, которыхъ они требовали въ своемъ положеніи.

«Вотъ списокъ спасенныхъ мною: Газанъ, капитанъ; Дутины, механикъ; Газанъ, боцманъ; Монье, матросъ; Аллье, юнга; Лапласъ, слуга; Дармюсъ, Альберъ, Аррижъ, Дэмуленъ, Ипп. Бонаръ, Мейфредъ и Филиберти, пассажиры; г-жи Луиза Суццеръ и Аделаида Меассалеръ, пассажирки».

М. К. Рейхель, — очевидно, со словъ спасшихся дѣвушекъ, — добавляетъ къ этому нѣкоторыя подробности. Луиза Ивановна, уже утопая, успѣла лишь крикнуть: «спасайте только ребенка!». Шпильманъ хотѣлъ бросить Колю въ шлюпку, но не попалъ; самъ онъ, вѣроятно, и не пробовалъ спастись, — онъ сильно былъ привязанъ къ Колѣ, и неудача спасти его, вѣрно, привела его въ отчаяніе.

«Странно, было ли это предчувствіе — но вечеромъ Коля нарисовалъ на пароходѣ головы и сказалъ: «все мертвыя головы». А въ Ниццѣ ждали, иллюминировали домъ и садъ, и вдругъ эта вѣсть! Вытащили только сакъ-вояжъ, гдѣ нашлись краски Коли и его перчатка. Вотъ все, что осталось отъ дорогихъ существъ» («Отрывки изъ воспоминаній», 72).

Въ бумагахъ Герцена, хранящихся въ архивѣ его семьи, уцѣлѣлъ листъ, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ сводку всѣхъ цифръ, могущихъ совершенно безспорно уяснить намъ его матеріальное положеніе послѣ смерти матери. Писался листъ въ декабрѣ 1851 г., на основаніи данныхъ отчета Ротшильда на 1 декабря, и приводится здѣсь безъ измѣненій.

Къ 1 декабря 1851 г. капиталы на имя Луизы Ивановны, переведенные Ротшильдъ:

	во франкахъ		
	нарицат.	курсъ	доходъ
1849			
8 февраля Нью-Йорскія 7,000 дол. 6 ⁰ / ₀	40,950	37,450	2,255
12 » Inter., 6 ⁰ / ₀	79,550	50,000	2,500
6 апрѣля домъ на Rue Amsterdam, 14 —135,000	—	135,000	7,000
3 мая New-York 13,000 дол.	78,380	69,550	4,170
23 июня » 15,000 дол.	91,425	80,000	4,815
1850			
Madrid 3 ⁰ / ₀	9,295	9,295	950
7 marse Бельгійскія 2 ¹ / ₂ ⁰ / ₀	37,245	37,245	2,000
10 июня Virginia 17,000 дол. 6 ⁰ / ₀	97,145	90,950	5,450
<i>На имя Луизы Ивановны переведено Ротшильдомъ:</i>			
Нью-Йоркъ 10,000 дол.	60,360	53,500	3,210
20 августа Сардинск. рента 5 ⁰ / ₀ (че- резъ Авигодора)	54,500	54,500	3,150
26 » » (черезъ Ротш.)	102,250	102,250	6,000
26 » Американскія	94,295	80,000	4,815
26 » Ohio 20,000 дол.	123,975	107,000	6,420
9 сентября Голландскія	73,000	73,000	3,000
9 » Мадридскія 3 ⁰ / ₀	14,000	14,000	1,500
Banque Cantonale de Fribourg	25,000	25,000	750
Итого	1,116,380	1.049,340	61,485

Всего изъ Россіи переведено мною черезъ	
Ротшильда	616,600
Капиталь маменьки	523,000
Остается за Д. П. Голохвастовымъ	29,000
	<hr/>
	1.168,600

Употреблено Ротшильдомъ на покупку фон-	
довъ и дома	1.116,380
Данные Прудону	25,000
На вексель Гервегу	10,000
За маменькой было	18,000
Натурализація и мелкіе долги	3,500
	<hr/>
	1.172,880

Куплено бумагъ и домъ на	1.049,340
что составляетъ ренту въ	61,485
а считая съ употребленнаго капитала по 5% ₀	55,850
за вычетомъ изъ ренты расходовъ	5,000
	<hr/>

Въ Огаревской долѣ 40,000 сер.	140,000 фр.
» » и ренты 6% ₀	9,000
	<hr/>

Годовой бюджетъ Герцена—60,000 фр., потомъ немного уменьшился, благодаря потерямъ на курсѣ бумагъ, но, по словамъ Н. А. Огаревой, и, какъ увидимъ позже изъ другого документа, до смерти Герцена онъ не понижался меньше 50,000 фр.

Хотя, по словамъ Ключарева (см. гл. XXXIX «Былого и думъ») Огаревъ уплатилъ свой долгъ, но нѣтъ также основанія сомнѣваться въ правильности этого указанія, существующаго и въ нѣкоторыхъ письмахъ; поэтому приходится заключить, что Огареву была выдана вторая ссуда.

Изъ другого документа, писаннаго также самимъ Герценомъ, видно, что, по завѣщанію матери, онъ выдалъ:

М. К. Рейхель	10,000 фр.
М. Суццеръ	10,000 »
ея брату, Готлибу Гаагъ	10,000 »
Луизѣ Суццеръ	4,000 »
П. А. Захарьину	5,000 »
М. Ѡ. Коршъ	3,000 »
Вѣрѣ Артамоновнѣ	1,500 »
Бѣднымъ	1,500 »
	<hr/>
	45,000 фр.

544. Письмо къ А. и М. К. Рейхелямъ.

23 ноября (1851), вечеръ.
Ницца.

Cher Reichel, des choses atroces ont frappé ma famille, atroces... j'en écris à Marie, mais donnez cette lettre avec ménagement. Oh, que j'ai vieilli dans cette semaine 1).

Искренній, ближайшій другъ, Марія Каспаровна, мнѣ принадлежитъ великій и тяжелый долгъ сказать вамъ, что я воротился въ Ниццу одинъ... Несмотря на всѣ стараніи, я не нашель нигдѣ слѣда нашихъ. Одинъ сакъ Шпильмана достали изъ воды...

Что у насъ и какъ провели эту недѣлю, страшно вздумать. Десять разъ я бралъ перо писать къ вамъ и не могъ, рѣшительно не могъ. Что это: сонъ, безуміе?!... дайте мнѣ васъ прижать къ моей груди, плакать съ вами; останьтесь вы—наша сестра, во имя этого ангела. Буду писать все подробно, не теперь только. Я даже боюсь вашего отвѣта. Наташа очень плоха, она исхудала, состарѣлась въ эту проклятую недѣлю. Она надѣется. Консуль и всѣ отыскивають по берегу... Я не знаю, что можетъ быть, но не вѣрю.

Бѣдная Луиза Ивановна... Какая смерть!

Фу, какъ все гадко, отвратительно. Я смотрю теперь на другихъ дѣтей, какъ будто въ послѣдній разъ.

Дайте же руку; помните, что у васъ есть Саша, берегите себя; я, отецъ Коли, успокаиваю васъ.

Прижмитесь тѣснѣе къ намъ, наша жизнь не должна итти врозь.

Я пишу одинъ, Нат. лежитъ; она хотѣла писать, но не могла.

Послѣ напишу. Еще разъ, во имя Коли и вашего малютки, будьте сильны.

Луиза и Аделаида цѣлы.

Помните, я говорилъ, что въ жизни ничего нѣтъ прочнаго, завѣтнаго?.. Вотъ она и сломилась. Уголь гдѣ-нибудь—и доживать. Ничего, ничего послѣ такого глупо-чудовищнаго удара, ничего не надобно.

1) Дорогой Рейхель, ужасы поразили мою семью, ужасы... Я объ этомъ пишу Маріи, но передайте письмо съ осторожностью. О, какъ я состарѣлся въ эту недѣлю.

545. Письмо къ Ж. Мишле.

30 novembre 1851.

Nice.

Monsieur, un de mes amis vous a informé du malheur affreux qui a frappé ma famille. Il m'était impossible de vous écrire moi-même, et vous remercier pour votre lettre du 15 novembre.

Maintenant je reviens à la vie avec un fond de douleur sans bornes et d'une colère impuissante. Ce qui blesse le plus dans ces sinistres, c'est qu'il n'y a pas même de lutte possible; on n'a pas la consolation de haïr son ennemi, de maudire, d'injurier son bourreau. Le monde physique, c'est un chaos à demi-organisé, désordre consolidé, un tâtonnement aveugle, ivre, stupide et inintelligent.

J'ai perdu ma mère, mon fils, âgé de 8 ans, et un ami. C'était l'instituteur de mon fils, jeune homme de 25 ans. Nageur parfait, il pouvait se sauver; il tenait déjà une corde, lorsque ma mère, entraînée par l'eau, cria: «Sauvez l'enfant!» Le jeune homme, voyant que personne ne peut lui donner l'enfant, lâche la corde et se précipite vers le petit; il le prend sur ses bras, et le steamer disparaît sous l'eau. Le nom de ce jeune homme sublime est Jean Spillmann.

Ah! Monsieur, si vous connaissez un statuaire, j'élèverais un monument à cet ami dévoué près du phare d'Hyères. Quel groupe! Une mère qui, au moment de la mort, ne pense qu'à son petit-fils et implore de le sauver; le jeune homme qui meurt pour le sauver, et l'enfant beau, comme un ange. Je donnerais volontiers de 15 à 20,000 francs pour ce monument-là. Il m'est impossible d'offrir plus. C'est une scène de la vie intime de ces réfugiés, victimes des ennemis de la famille et de la moralité...

Je serai très reconnaissant à M. Noël s'il désire signer les articles; en général, faites ce que vous trouverez bon et gardez-moi votre amitié.

Je vous serre la main avec beaucoup de sympathie.

A. Herzen.

*Переводъ.*30 ноября 1851 г.¹
Ницца.

М. Г., одинъ изъ моихъ друзей ¹⁾ извѣстилъ васъ о страшномъ несчастіи, постигшемъ мою семью. Мнѣ было невозможно самому написать вамъ и поблагодарить васъ за ваше письмо отъ 15 ноября.

Теперь я возвращаюсь къ жизни съ сердцемъ, полнымъ безграничной боли и безсильнаго гнѣва. Самое обидное въ этихъ роковыхъ несчастіяхъ—то, что даже нельзя бороться; не имѣешь даже утѣшенія ненавидѣть своего врага, проклинать и осыпать бранью своего мучителя. Физическій міръ—это полу-организованный хаосъ, упроченный беспорядокъ, слѣпое, пьяное, тупое и неразумное движеніе ошупью.

Я потерялъ мать, восьмилѣтняго сына и друга. Это былъ воспитатель моего сына, молодой человѣкъ 25 лѣтъ. Прекрасно умѣя плавать, онъ могъ спастись и уже схватилъ веревку, когда моя мать, увлекаемая теченіемъ, крикнула: «Спасайте ребенка!». Видя, что никто не можетъ передать ему дитя, молодой человѣкъ отпустилъ веревку, бросился къ ребенку и взялъ его на руки, и въ эту минуту пароходъ исчезъ подъ водою. Имя этого доблестнаго юноши—Иоганнъ Шпильманъ.

Если у васъ есть знакомый скульпторъ, я воздвигъ бы этому преданному другу памятникъ у Герскаго маяка. Какая группа! Мать, въ минуту смерти, думающая только о внукѣ и умоляющая спасти его, юноша, погибающій, чтобы спасти его, и ребенокъ, прекрасный, какъ ангелъ. Я далъ бы 15—20 тысячъ франковъ за такой памятникъ, больше не могу. Это—сцена изъ интимной жизни изгнанниковъ, жертвъ враговъ семьи и нравственности.²

Я буду очень благодаренъ г. Ноэлю, если онъ подпишетъ статьи своимъ именемъ; вообще, поступайте съ ними по вашему усмотрѣнію и сохраните мнѣ вашу дружбу.

Съ искренней симпатіей жму вашу руку.

А. Герценъ.

◆◆ 1. 17 ноября Мишле извѣщалъ, что получилъ интересную рукопись (о Петрашевскомъ — *М. Л.*) и три экз. брошюры («Du développement» etc. — *М. Л.*), которые и отдалъ съ рекомендаціей редакціямъ «Le National», «L'Avènement du Peuple» и «La République».

¹⁾ Эрнстъ Гаугъ.

Онъ надѣялся, что вторая изъ нихъ напечатаетъ цѣликомъ послѣднія десять страницъ, а самъ будетъ благодарить Герцена въ эпилогѣ новаго изданія «Русскихъ мучениковъ», сдѣлавъ, однако, оговорки о нѣкоторыхъ своихъ сомнѣнiяхъ. Ему очень хотѣлось бы послѣдствительно помѣстить все, что получено отъ Герцена, въ «National», но для этого необходима подпись. «Дайте свое имя или разрѣшенiе подписать ихъ моему протезе; онъ исправилъ бы нѣкоторыя мелкiя небрежности языка, прибавилъ бы нѣсколько свѣдѣнiй, которыми мы здѣсь располагаемъ, и лично добивался бы напечатанiя». Когда Франкъ получитъ изъ Ниццы новую партiю «Du développement» etc., то Мишле раздастъ ее еще въ «Le Siècle», «La Semaine», «La Liberté de penser» и «La Nouvelle Revue» Теофиля Готье.

20 ноября Мишле очень тепло благодаритъ за портретъ Бакунина, сдѣланный Н. А.—ной; извѣщаетъ, что въ посланномъ имъ номерѣ «Avènement» помѣщены «прекрасныя слова» Герцена о Бакунинѣ и совѣтуетъ письмо помѣстить въ «National», потому что, хотя «Avènement» очень распространено, но продается только въ Парижѣ, а «National»—по всей Францiи. «Для этого нельзя ли намъ предположить, что, прочитавъ въ этой газетѣ маленькiй сочувственный некрологъ Бакунина, вы пожалѣли, что газета не даетъ никакихъ подробностей, и считаете своимъ долгомъ представить ихъ редактору. Это ускорило бы дѣло». Если бы при этомъ письмо было бы дополнено Ноэлемъ подъ наблюдениемъ Мишле и слегка поправлено, то это дало бы Ноэлю возможность кое-что заработать.

Вмѣсто Герцена отвѣтъ былъ написанъ 21 ноября Эрнстомъ Гаугомъ, начавшимъ съ описанiя несчастiя, постигшаго Герцена 16 ноября. Гаугъ просилъ Мишле, если ему случится говорить объ этомъ съ Бернацкимъ, предупредить послѣдняго, чтобы онъ ничего не сообщалъ М. К. Рейхель, которую Герценъ оберегалъ отъ потрясенiя, въ виду ея болѣзни. Дальнѣйшее указываетъ, хотя и не совсѣмъ ясно, что въ письмѣ отъ 17 ноября Мишле просилъ подпись подъ статью не самого Герцена. Вотъ что писалъ объ этомъ Гаугъ: «Въ вашемъ письмѣ отъ 17-го вы пишете, что присланная вамъ статья не можетъ быть напечатана, такъ какъ подъ нею нѣтъ подписи, и упоминаете о достойномъ молодомъ человѣкѣ, о которомъ вы, повидимому, писали Герцену въ одномъ изъ предшествовавшихъ писемъ. Такъ какъ нашъ другъ не получилъ никакого письма, гдѣ бы упоминалось о какомъ-нибудь молодомъ человѣкѣ; то онъ заключаетъ отсюда (какъ, впрочемъ, вы уже указывали ему), что одно ваше письмо къ нему пропало. Прошу васъ смотрѣть на статьи, которыя онъ прислалъ вамъ, какъ на

предназначенные для васъ матеріалы, и слѣдовательно, поступать съ ними по вашему усмотрѣнію,—передѣлать, исправить и подписать, какъ найдете нужнымъ. Авторъ послѣдней статьи, принужденный сохранять строжайшее инкогнито (А. А. Чумиковъ — *М. Л.*), прислалъ свою рукопись Герцену съ просьбою располагать ею совершенно свободно. Документы, помѣщенные въ приложеніи, переведены подъ наблюденіемъ Герцена; письмо Бѣлинскаго было даже лично прочитано его авторомъ нашему другу. Поэтому онъ отвѣчаетъ за достовѣрность этихъ документовъ» (подлинники писемъ Мишле въ архивѣ семьи Герценовъ; переводъ письма Гауга заимствую изъ VII кн. «Былого» 1907 г.)

2. Памятникъ въ Герѣ поставленъ не былъ.

546. Письмо къ П.-Ж. Прудону.

26 décembre 1851.

Nice.

Je vous remercie beaucoup pour votre excellente lettre du 27 novembre, elle m'a fait un grand bien. Votre sympathie m'est chère, elle m'a rendu mes souffrances moins accablantes, plus humaines.

Vous me dites: «Hâtez vous de pleurer vos malheurs domestiques, car bientôt, si un effort suprême de raison pacificatrice ne vous rend le calme, vous verrez des choses qui vous rendront le coeur de pierre pour toutes vos misères».

Ces paroles prophétiques se sont terriblement accomplies. Et la raison pacificatrice n'a pas fait de grands efforts. Je n'ai plus de larmes. Il me semble parfois que la catastrophe terrible qui m'a enlevé ma mère, mon enfant et un de mes amis, est déjà très éloignée. Un monde entier a eu le temps de faire naufrage depuis ce sinistre. Triste sort de passer immédiatement de l'enterrement de ses proches à l'enterrement général—sans donner un peu de repos au coeur brisé!

La perte de ce monde a été prévue, mais le malheur frappe toujours comme quelque chose d'inattendu. Les déductions dialectiques ne consolent pas. Il y a plus de deux ans que vous avez dit: «Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes, c'est la mort!» Elle frappait alors; maintenant elle a ouvert les portes. Le règne de la révolution bourgeoise est passé, le règne du libéralisme frondeur, du républicanisme rhétorique, des mots, des abstractions, est terminé. La bourgeoisie a vendu la liberté, l'honneur, tout pour garder son argent et ses monopoles: ch

bien, il est juste que pour cette simonie elle soit punie par un esclavage sans bornes. On craignait l'excès de liberté—on aura l'excès de despotisme, on craignait la barbarie d'en bas—on aura la barbarie d'en haut, on ne voulait rien céder au peuple—eh bien, le peuple reste tranquille lorsqu'on fusille les républicains au nom de l'ordre. Y eut-il jamais au monde une idée plus maigre, plus pauvre que l'idée de l'ordre? L'ordre et l'avarice au lieu du trône et de l'église! Mais le principe de la monarchie catholique était mille fois plus poétique, plus social. La manie de l'ordre et de l'accaparisme c'est la peste qui emporte ce monde; il termine d'une manière ignoble, mais enfin cela le tuera aussi, comme le communisme l'aurait fait, et ses destinées s'accompliront. Mais il faut laisser aux morts enterrer les morts.

Comme nous serions heureux de vous savoir hors de Paris et hors de la France. Paris, c'est Jérusalem après Jésus; gloire à son passé—mais c'est un passé.

Il ne reste maintenant qu'un seul échantillon de la civilisation, un seul pays conservateur, c'est l'Angleterre. L'individu ne peut être libre que là. Hors de l'Angleterre il n'y a que la Russie—la Russie *jeune* de Pétersbourg et la *vieille* Russie en France. Entre les deux, comme un chiffon entre deux diamants, l'Allemagne, lymphatique, transcendente et passive. Nous pouvons entrevoir le fil rouge du progrès à travers la barbarie qui a englouti le continent, mais il est impossible de traîner, sans y être forcés, une existence humaine au milieu de ce luxe de bassesse, au milieu de cette débauche d'arbitraire.

Votre œuvre a été immense. Vous avez tout fait pour montrer à la France le danger qui s'approchait. Vous avez indiqué les moyens de salut, les transitions. Le monde entier, depuis Moscou jusqu'à New-York, vous admirait. Eh bien, franchement, la France vous a-t-elle compris? Lorsque vous parliez de paix—elle comprenait guerre, lorsque vous parliez en pacificateur—on prenait vos paroles pour un cri de haine.

Maintenant—troppo tardi: la catastrophe est arrivée, les cosaques de Vincennes, les prêtres de l'ordre ont le dessus—détournons-nous du spectacle affligeant d'un monde en démence et sachons nous émanciper, nous sauver si nous n'avons pu sauver le monde.

Je vous serre la main avec beaucoup de sympathie. Comptez sur moi, je serai bien heureux de vous prouver par des actes toute l'amitié et tout le dévouement que je vous porte.

*Переводъ.*26 декабря 1851 г.
Ницца.

Благодарю васъ искренно за ваше прекрасное письмо отъ 27 ноября; оно было для меня благотворно. Ваше сочувствіе мнѣ дорого; оно сдѣлало мои страданія менѣ тягостными, болѣе чловѣчными.¹

Вы говорите: «Торопитесь оплакать ваши домашнія горести, потому что, если вамъ не вернетъ спокойствія крайнее напряженіе умиротворяющаго разума, вы скоро увидите такія вещи, которыя сдѣлаютъ ваше сердце нечувствительнымъ для всѣхъ вашихъ бѣдъ».

Эти пророческія слова оправдались страшнымъ образомъ, и умиротворяющему разуму не пришлось дѣлать крайнихъ усилій. У меня больше нѣтъ слезъ. Мнѣ кажется иногда, что ужасная катастрофа, лишившая меня матери, ребенка и друга, случилась уже очень давно. Со времени этого кораблекрушенія успѣлъ потерпѣть крушеніе цѣлый міръ. Горькая участь — перейти непосредственно отъ погребенія своихъ близкихъ на общія похороны, не давъ ни часу отдыха разбитому сердцу!¹)

Крушеніе этого міра предвидѣли всѣ, но горе всегда поражаетъ, какъ что-то неожиданное. Діалектическіе выводы не утѣшаютъ. Больше двухъ лѣтъ назадъ вы сказали: «Не Катилина у вашихъ воротъ, а смерть!». Тогда она постучалась, теперь она отперла ворота. Царство буржуазной революціи прошло, царство фрондирующаго либерализма, риторическаго республиканизма, словъ и абстракцій кончилось. Буржуазія продала свободу, честь,—словомъ, все, чтобы сохранить свои деньги и монополіи,—что-жъ, развѣ не справедливо, чтобы за эту симонію она была наказана безграничнымъ рабствомъ? Она боялась чрезмѣрной свободы — и добилась чрезмѣрнаго деспотизма; боялась варварства снизу — и достигла варварства сверху; не хотѣла ничего уступить народу — и вотъ народъ спокойно смотритъ, какъ разстрѣливаютъ республиканцевъ во имя порядка. Существовала ли когда-нибудь на свѣтѣ болѣе тощая, болѣе жалкая идея, нежели идея порядка? Порядокъ и скупость взаимнъ престола и церкви! Принципъ католической монархіи былъ въ тысячу разъ болѣе поэтиченъ и соціаленъ. Манія порядка и барышничества — вотъ чума, губящая этотъ міръ; онъ умираетъ безобразно, но въ общемъ это убиваетъ его не хуже, нежели его

¹) 2 декабря 1851 г. Людовикъ-Наполеонъ совершилъ государственный переворотъ во Франціи.

убилъ бы коммунизмъ,—и въ результатѣ его судьбы исполнятся. Но надо предоставить мертвымъ хоронить мертвецовъ.

Какъ намъ было бы отрадно знать, что вы внѣ Парижа и Франціи! Парижъ — это Іерусалимъ послѣ Іисуса; слава его прошлому, но это—прошлое.

Теперь остается одинъ только культурный уголокъ, одна консервативная страна—Англія. Только тамъ личность можетъ быть свободна. Внѣ Англіи существуетъ только Россія: *юная* Россія—петербургская, и *старая* Россія—во Франціи. Между ними, какъ тряпка межъ двухъ алмазовъ, Германія, лимфатическая, трансцендентальная и пассивная. Мы можемъ различать сквозь варварство, поглотившее континентъ, красную нить прогресса, но безъ принужденія невозможно вести человѣческую жизнь среди необузданной низости, среди оргіи произвола.

Вы сдѣлали безмѣрно много. Вы употребили всѣ усилія, чтобы показать Франціи приближавшуюся опасность. Вы указали средства спасенія и возможные переходные компромиссы. Вамъ удивлялся весь міръ отъ Москвы до Нью-Йорка. Но, говоря откровенно, поняла ли васъ Франція? Когда вы говорили о мирѣ, она слышала призывъ къ войнѣ; когда вы проповѣдывали примиреніе, она принимала ваши слова за крикъ ненависти.

Теперь *troppo tardi* ¹⁾: катастрофа разразилась, венсенскіе казаки и попы порядка одержали верхъ. Отвернемся отъ печальнаго зрѣлища охваченнаго безуміемъ міра и постараемся освободить, спасти самихъ себя, если мы не сумѣли спасти міръ.

Жму вашу руку съ искренней, глубокой симпатіей. Разсчитывайте на меня. Я былъ бы радъ доказать вамъ на дѣлѣ мою дружбу и преданность.

А. Г.

◆◆ 1. Привожу письмо Прудона въ переводѣ самого Герцена, напечатанномъ въ V кн. «Полярной Звѣзды» и, въ общемъ, точно передающимъ французскій текстъ подлинника, хранящагося въ семьѣ Герцена.

«St. Pélagie, 27 ноября 1851.

«Вѣсть о несчастіи, васъ поразившемъ, дошла до насъ; она глубоко огорчила насъ. Всѣ наши друзья поручили мнѣ отъ ихъ имени передать вамъ слово ихъ искренняго участія, живой симпатіи, неизмѣнной любви къ вамъ.

¹⁾ Слишкомъ поздно.

«Итакъ, видно, еще мало, что мы страдаемъ внутри нашего разумѣнія, въ качествѣ мыслящихъ людей, страдаемъ въ нашей совѣсти человѣка, гражданина... надо еще, чтобъ несчастіе за несчастіемъ гналось за нами по пятамъ и преслѣдовало бы насъ въ нашей любви сына, отца... Бѣдствія, такъ же, какъ съ другой стороны счастливые случаи, идутъ, цѣпляясь другъ за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится замѣтна, начинаешь разглядывать, что тотъ же самый гнетъ, который ведетъ насъ въ тюрьму, въ ссылку, съ другой стороны морить голодомъ, болѣзнями.

«Двадцать лѣтъ тому назадъ мой братъ, молодой солдатъ, лишилъ себя жизни; капитанъ-воръ, которому онъ не хотѣлъ помогать, довелъ его мелкими преслѣдованіями до самоубійства. Отецъ и мать мои умерли преждевременно, одряхлѣвшіе, изнуренные жизнью, исполненной горечи, побитые сборщиками податей, судейскими прижимками, всѣмъ, что называется властью.

«Въ чемъ разница между крестьяниномъ, у котораго сынъ взятъ въ солдаты, хозяйство разорено налогами и пр., который ломится подъ тяжестью безвыходнаго положенія, и вами, обреченнымъ на скитаніе изъ страны въ страну, на всѣ случайности переездовъ и у котораго часть семьи гибнетъ въ волнахъ?

«Я родился въ семьѣ земледѣльцевъ и очень знаю, сколько членовъ семьи нашей съ отцовской и съ материнской стороны были разорены, доведены до отчаянія, убиты всѣми этими старыми и новыми рабствами въ продолженіе вѣка. И будьте увѣрены, что эти наболѣвшія, глухія воспоминанія очень вошли въ счетъ, когда я предпринялъ мою борьбу. Несчастіе, поразившее васъ, разбередило мои раны больнѣе, чѣмъ когда-нибудь, и какъ ни печально и ни суетно такое утѣшеніе, но и этотъ новый зубъ (grief) не забудется въ репертуарѣ выстрадавшихъ мною вещей.

«Станемте тѣснѣе, чтобъ лучше переносить наши невзгоды и бороться противъ нашихъ враговъ; чтобъ увеличить, усилить нами, нашими словами возмущающееся поколѣніе, для котораго мы ничего не можемъ сдѣлать любовью и семейной жизнью.

«Я самъ—отецъ и скоро буду имъ во второй разъ. Жена моя кормила ребенка своимъ молокомъ, растила его на моихъ глазахъ. Я знаю, что такое то непрерывное чувство отцовской любви, которое ежеминутно растетъ какимъ-то непрерывнымъ, повторяющимся изліяніемъ сердца. Я черезъ два года чувствую, какъ неразрывно-тверды стали цѣпи, которыя приковываютъ насъ къ этимъ маленькимъ существамъ, которыя, словно, сжимаютъ въ себѣ начало и конецъ нашей жизни, ея причину, ея цѣль. Изъ этого вы поймете, какъ отозвалось во мнѣ ваше несчастіе.

«Не успѣлъ я оплакать нашего Бакунина ¹⁾, вдругъ вѣсть о гибели этого парохода. Ничего не подозрѣвая, я на-дняхъ писалъ къ Ш. Э. ²⁾ и писалъ объ васъ, шутя, съ моей вѣчной ироніей. Сегодня скорбь удручаетъ меня; о, сколько слезъ, крови, въ которыхъ я имѣю право спросить отчета у гнетущей силы!.. такъ много, что я отчаиваюсь при жизни свести счеты, и только повторяю съ псалмопѣвцемъ: *Beatus qui retribuit tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis!* ³⁾

«Да, Герценъ, Бакунинъ, я васъ люблю, вы тутъ, въ этой груди, которую многіе считаютъ каменной. У русскихъ, у казаковъ (простите выраженіе) (!?)—я нашель больше души, рѣшимости, энергіи. А мы—выродившіеся крикуны (*tapageurs*), унижающіеся передъ силой сегодня и завтра безжалостные гонители, если завладѣемъ мѣстомъ.

«А между тѣмъ все распадается, осѣдаетъ, все дрожить и готовится къ борьбѣ, волны поднялись высоко, того и смотри—затопятъ послѣднія убѣжища реакціи. По деревнямъ, на поляхъ являются страшныя мести, невидимый врагъ поджигаетъ житницы, валить деревья въ лѣсу, уничтожаетъ дичь, грозитъ и исполняетъ иной разъ угрозы, подъ штыками солдатъ и саблями конницы.

«О, друзья мои! торопитесь оплакать ваши частныя горести; идетъ время, и если его не устранить послѣднее условіе примиряющаго разума, если оно не сведетъ покоя на землю, оно придетъ, и вы увидите вещи, отъ которыхъ сердце ваше окаменѣетъ, и вы сдѣлаетесь нечувствительными къ собственнымъ бѣдствіямъ своимъ! Жму вашу руку.

П.-Ж. Прудонъ.

«*P. S.* Въ ту минуту, какъ я хотѣлъ запечатать мое письмо, пришелъ меня навѣстить Мишле. Онъ зналъ ужъ о вашемъ несчастіи, и мы вмѣстѣ погоревали еще. Говорили мы много съ нимъ о Россіи, о Польшѣ, объ іезуитахъ, объ революціи и объ вашей брошюрѣ ⁴⁾. Всѣ люди съ сердцемъ понимаютъ другъ друга отъ одного конца Европы до другого, но бѣгите *особенныхъ кружковъ (conciliabules)* и *ложныхъ пророковъ...*»

¹⁾ Ложный слухъ о его смерти долго держался.

²⁾ Charles-Edmond Хоецкій.

³⁾ Блаженъ, кто вознаградитъ тебя за твою награду, которую ты далъ намъ!

⁴⁾ «Русскій народъ и социализмъ».

Ж. Мишле, говоря, что видитъ искру подъ гробовой плитой, придавившей Россію, останавливается на книгѣ Герцена. «Эта искра не въ той ли чудесной брошюрѣ, которая только-что появилась? Авторъ, русскій по рожденію, но отчасти и съ благороднѣйшей рейнскою кровью въ жилахъ, пишетъ на нашемъ языкѣ съ поразительной силой, которая разоблачаетъ его анонимъ и обнаруживаетъ всюду пламеннаго патріота. Я десять разъ перечитывалъ ее съ изумленіемъ. Мнѣ чудилось—древніе герои Сѣвера безпощаднымъ мечомъ начертали здѣсь приговоръ этому жалкому міру... Увы! Это приговоръ не одной Россіи, но и Франціи и Европѣ. «Мы бѣжимъ изъ Россіи»,—говоритъ онъ,—«но Россія—всюду, Европа—тюрьма». Но пока въ Европѣ есть такіе люди, еще нельзя отчаяваться».

Приводя эту оцѣнку, г. Гершензонъ невѣрно указалъ, что она была напечатана въ «*Avènement du Peuple*»: она была въ «*L'Evènement*» отъ 17 сентября 1851 г.; вторая его ошибка,—что Мишле не зналъ еще тогда Герцена (стр. 82—83 «Былого» 1907, IV).



Библиографическій комментарий.

(Сокращенія: Наталія Александровна Захарына, потомъ Герценъ—Н. А—на. «Собраніе сочиненій А. И. Герценъ», СПб., 1906 г.=Спб. изд.; «Сочиненія А. И. Герцена», Женева, 1857—1879 гг.=Жен. изд.; Румянцовскій музей въ Москвѣ=Рум. муз.; архивъ семьи Герцена=АСГ.; «Колоколъ»=«Кол.»; «Полярная Звѣзда»=«П. З.»).

292. Напечатано: первое изданіе на нѣмецкомъ языкѣ: «Brieft aus Italien und Frankreich (1848—1849), von einem Russen, Verfasser des «Vom andern Ufer», Hamburg, 1850, Hoffmann und Campe.

Второе изданіе по-русски: «Письма изъ Франціи и Италіи (1847—1852)» Искандера, Лондонъ, 1855 (фактически 1854).

Третье—тоже, изд. Трюбнера, Лондонъ, 1858 г.

Четвертое, французское — «Lettres de France et d'Italie (1847—1852)» Iscander (A. Herzen). Traduit du russe par M-me N. H. (Н. А. Огаревой—М. Л.). Edition des enfants de l'auteur, Genève, 1871.

Потомъ вошло въ IV т. Женев. изд., и, неисправно и со многими купюрами въ V т. Спб. изд.

Въ первое нѣмецкое изданіе вошли только V—XI письма. Во второмъ и третьемъ изданіяхъ къ нимъ присоединены: предисловія, четыре «Письма изъ «Avenue Marigny», XII—XIV письма и письмо къ Ш. Риберолю отъ 7 февраля 1854 г.; во французскомъ даны: два предисловія (9 ноября 1854 г. и 5 февраля 1858 г.), V—XIV письма и письмо Ш. Риберолю.

Текстъ данъ по хронологически первому русскому изданію съ указаніемъ вариантовъ въ изданіяхъ 1850 (нѣмецкомъ) и 1858 годовъ.

Въ архивѣ А. Н. Пыпина, переданномъ его дѣтьми въ Пушкинскій домъ, сохранились подлинники нѣкоторыхъ изъ этихъ «Писемъ», полученные, повидимому, отъ Тургенева или Анненкова. Въ pendant къ «Письмамъ изъ Avenue Marigny» Герценъ написалъ еще двѣ серіи: «Письма съ Via del Corso» и «Опять въ Парижѣ». Изъ первой серіи сохранились: первое письмо (по общему счету пятое), датированное декабремъ 1847 г., Римъ, второе—4 марта 1848 г. и прибавленіе къ третьему—10 мая 1848 г., Парижъ; третье письмо отсутствуетъ, нѣтъ и слѣдующихъ, если они были. Изъ второй серіи

сохранились: первое письмо—1 июня 1848 г., второе—20 июня 1848 г., Парижъ, третье—28 августа 1848 г., 2-е продолженіе третьяго письма—18 сентября 1848 г., Парижъ и начало четвертаго—10 октября 1848 г., Парижъ; все остальное отсутствуетъ. Большая ихъ часть написана рукой М. К. Рейхель и только меньшая—самимъ авторомъ, внимательно просмотрѣвшимъ переписку своего друга и исправившимъ все, что того требовало, иногда съ нѣкоторой поспѣшностью, благодаря которой получились нѣкоторыя грамматическія несогласованности. Посылая въ апрѣлѣ 1848 г. первое письмо изъ серіи «Письма съ Via del Corso», Герценъ написалъ на немъ: «Въ редакцію Современника. Прошу особо напечатать экземпляровъ 50 или 100». Ясно, что онъ ждалъ увидѣть это и слѣдующія письма въ журналѣ, фактической руководителю котораго, Бѣлинскій, умеръ 28 мая ст. ст. Потомъ, какъ будетъ видно изъ текста, онъ понялъ, что не при нашей цензурѣ имъ появиться въ печати, и сталъ писать просто для прочтенія друзей. На первомъ письмѣ изъ серіи «Опять въ Парижѣ» Герценъ написалъ: «У меня нѣтъ списка этого письма, посему прошу послѣ прочтенія вручить М. Ѡ.; мнѣ не хотѣлось бы, чтобы эта тетрадь затерялась. Слѣдующія письма или одно привезетъ Поль».

М. Ѡ.—М. Ѡ. Коршъ, Поль—П. В. Анненковъ. Всѣ посланныя письма сохранились у М. Ѡ. и, надо думать, не всѣ были ею возвращены Герцену: письмо, которое не осталось у него въ копіи, писанное его рукой, находится въ Пушкинскомъ домѣ. Въ концѣ начала третьяго письма изъ Парижа написано: «Продолженіе въ слѣдующую оказію. NB. На храненіе въ архивъ (имя зачеркнуто). *Ad lectorem.* Можете снабдиться сильными тетрадями Поля, у него объ апрѣлѣ и мартѣ много. Мое любимое время съ 15-го мая».

Со слѣдующей оказіей обѣщано и продолженіе четвертаго письма изъ Парижа.

При всемъ желаніи дать текстъ и этихъ «Писемъ» по первоначальному, для насъ гораздо болѣе интересному тексту, это невозможно, какъ видно изъ только-что сдѣланныхъ указаній на ихъ значительную неполноту. Поневолѣ приходится дать текстъ подлинника въ комментаріяхъ; тѣмъ болѣе, что многія «письма», включенныя впослѣдствіи въ печатное изданіе, вовсе не сохранились въ рукописи.

Въ печати «письма» приняли значительно измѣненный видъ, и часто содержаніе одного входитъ въ другое и т. п.

А. Н. Веселовскій замѣчаетъ, что «матеріалъ, использованный съ такой поразительной силой въ «Письмахъ», ставшихъ главой изъ современной исторіи, и на первый взглядъ, какъ будто художественно не отдѣланныхъ, былъ такъ богатъ, что во всю остальную жизнь Герцена онъ не разъ подвергался и беллетристической переработкѣ; воспоминанія о видѣнномъ и пережитомъ въ 1848—49 гг. слетались до конца по первому призыву... «Но не одному изъ этихъ опытовъ повѣствованія о злополучномъ годѣ не сравниться съ тою, возникашею по свѣжимъ слѣдамъ народныхъ событій и личныхъ испытаній, повѣстью, которая складывается изъ пачки знаменательныхъ «писемъ» съ вибрирующими въ нихъ, какъ прежде, настроеніями,

душевыми переходами, борьбой мысли и глубокой печалью развязки» («Вѣстн. Европы», 1908, IV, 537—538).

Совершенно самостоятельно оцѣнилъ «Письма» проф. И. И. Ивановъ. По его мнѣнію, Герценъ, «волнуемый катастрофической страстью, прежде всего не понимая дѣйствительнаго смысла іюньскихъ дней, вообще февральской революціи, а чтò видѣлъ лично, то превратилъ въ жестокою мелодраму... Такъ растосковаться и расплакаться, какъ Герценъ, можно было отнюдь не отъ побѣды «мѣщанъ», а отъ совершенно противоположной причины,—той самой, которая погрузила въ грусть Грановскаго и подсказала Ренану *Калибана*. Герценъ же въ разгромѣ іюньскихъ баррикадъ усмотрѣлъ даже гибель социализма на Западѣ... Это писалось какъ разъ въ то время, когда социалистическое движеніе вступало на путь организациі—не для мятежныхъ выступленій на баррикадахъ, а для преобразования современнаго общества. Но Герценъ, въ страстной погонѣ за вспышkopускателями всѣхъ націй, просмотрѣлъ величайшее движеніе современной ему Европы» (стр. 288—289)...

Въ изданіи 1850 года.

- Стр. 1—8 сн. Послѣ «Франція»: «можетъ быть».
- » — 8 сн. Не было: «какъ я сказалъ морской воды».
- » — 4 сн. Вмѣсто «больничныхъ сидѣлокъ»: «хирурговъ».
- » 2—16 св. Послѣ «на»: «первой».
- » — 24 св. } Не было: «О дорогѣ рассказывать
- » — 4 сн. } не замѣтивъ пути».
- » 3—7 св. Не было: «тамъ пушекъ три-четыре».
- » — 13 св. Послѣ «крѣпостцами»: «батареями и большой крѣпостью».
- » — 14 св. Не было «нѣтъ точки бомбы».
- » — 15 сн. Не было «стариковъ».
- » — 9 сн. Послѣ «штыки»: «—Ну? спросилъ я».
- » 4—16 св. Послѣ «укрѣпленій»: «дѣлавшій въ 1831 г. неудачную попытку къ возстанію»,
- » — 11 сн. Не было «Ліонъ не трусы».
- » — 8 сн. Послѣ «взять»: «республиканскими солдатами».
- » 5—8 св. } Не было «онъ самъ нѣсколькими каз-»
- » — 16 св. } нями».
- » — 17 св. Послѣ «чернь»: «рабочіе».
- » — 13 сн. Вмѣсто «комитетъ общественнаго спасенія»: «Робеспьера и комитетъ».
- » — 9 сн. Вмѣсто «комитетъ общественнаго спасенія»: «Робеспьеръ».
- » — 7 сн. Не было «кровь струилась трупы».
- » 6—8 сн. Не было «а вдали Himmel weht».
- » 8—15 св. Вмѣсто «Генуя генуэзецъ»: «она и вѣрна, если даже эта точка зрѣнія ошибочна».
- » — 15 сн. Не было «свѣрхъ того странахъ».

- Стр. 8—12 сн. Не было «Какая же работниками».
- » »— 6 сн. Не было «теперь онъ другихъ».
- » »— 3 сн. Не было «Или вы свободна».
- » 9— 3 св. Не было «и подъ рабство».
- » »—20 св. Не было «Карлъ-Альбертъ не могъ».
- » »—22 св. Послѣ «радости»: «народъ ликовалъ съ утра до вечера».
- » »—25 св. Послѣ «del trisorgimento!»: «Разъ съѣхавши съ мели, правительству будетъ трудно остановить народное движеніе. Это были тревожные дни, полные надеждъ и радости...»
- » »—27 св. Не было «и сколько-нибудь обстановки».
- » 10— 1 св. } Не было «кому изъ васъ называютъ Ита-
- » »—10 св. } лій»
- » »—17 св. Послѣ «Фюльширона»: «пѣра Франціи».
- » »— 9 сн. Послѣ «гражданской свободы»: «Мы скоро увидимъ, добьется ли этого Италия».
- » »— 2 св. Послѣ «менѣе оскорбляетъ»: «Эти люди, готовые защищать свои дома, семьи и права, придаютъ нѣкоторый смыслъ вооруженію».
- » 11— 3 св. } Не было «люди, одѣтые облагоражи-
- » »— 8 св. } вають часового».
- » »—18 св. Вмѣсто «нашимъ другомъ часовыхъ»: «русскимъ или прусскимъ княземъ, если бы у нихъ въ столицѣ были бы такіе часовые».
- » »—22 св. } Не было «Изъ Ливорно мы съ нѣсколькими
- » 12— 8 сн. } днами».
- » 13— 5 св. Послѣ «въ Петербургѣ»: «и въ Берлинѣ».
- » »—24 св. Не было «который Колизея».
- » »— 9 сн. Не было «Когда я великаго дѣятеля».
- » »— 5 сн. Послѣ «Romani»: «и Колизей наши».
- » »— 5 сн. Не было «міра чисто римляне».
- » 14—17 св. Не было «при цезарѣ Юліи II».
- » »—19 св. } Не было «ей равно исключеніемъ Ита-
- » »—21 св. } лій».
- » 15— 9 св. } Не было «Римъ еще съ Карла V».
- » »—12 св. }
- » »—14 св. Послѣ «всѣхъ властей»: «Карлъ V былъ первымъ европейскимъ царемъ».
- » »—17 св. Послѣ «стоитъ теперь»: «Широкая жизнь того времени текла не на берегахъ Тибра, а въ Лондонѣ, въ Парижѣ».
- » »—20 св. } Не было: «Широкая жизнь большими площа-
- » »—24 св. } дями».
- » 16—11 св. Послѣ «яснѣе и яснѣе»: «Увидѣвъ ее, забываешь дурную дорогу и болотную траву».
- » »—15 св. Передъ «Истры»: «Шпре и»
- » »—16 сн. Не было «на пропадающую цѣлыя мили».
- » »—14 сн. Послѣ «на крестьянку»: «Вдали тянутся безконечныя линіи

акведуковъ. Эта пустыня нераздѣльна съ развалинами Рима. Сап-рагне расцвѣла вмѣстѣ съ языческимъ Римомъ и завяла вмѣстѣ съ нимъ»...

Стр. 16—13 сн. Вмѣсто «тутъ она ближнихъ развалинъ»: «Кто не былъ въ Италиі, тотъ вообще не знаетъ, что такое краска, ему краски южныхъ ландшафтовъ кажутся слишкомъ неестественными и яркими. Послѣ Кампаньи идутъ развалины. Кто не понялъ римской исторіи, тотъ пусть ѣдетъ сюда и побродитъ нѣсколько дней и нѣсколько лунныхъ ночей въ Колизеѣ и въ Термахъ».

» — 8 сн. Не было «съ однимъ молодымъ итальянцемъ».

» — 7 сн. Послѣ «точно на высокой горѣ»: «Какая величина комнатъ! Да, этотъ народъ умѣлъ творить великое; грабя весь міръ, онъ не хотѣлъ закапывать эти сокровища въ землю. Нѣтъ, онъ употреблялъ ихъ на постройку величественной арены для своего размаха, онъ выбралъ достойное для себя мѣсто. И не знаешь, чему удивляться больше — колоссальной величинѣ или законченной красотѣ и простотѣ формъ. Да, думалъ я, сидя тамъ, римляне прожили въ полномъ смыслѣ слова!.. Теперь»

» 17— 1 св.) Вмѣсто «Безъ рабовъ въ обоихъ случаяхъ»;

» 20— 1 сн.) «Но ни слова больше о древности и ни слова о третьей великой сторонѣ римской жизни — о сокровищахъ искусства. Объ этомъ я не буду вамъ ничего рассказывать. Это такіе предметы, о которыхъ нельзя сказать въ нѣсколькихъ словахъ, а кто хочетъ читать о статуяхъ и картинахъ, тотъ найдетъ достаточное количество источниковъ. Я хочу сказать только одно. Когда васъ начнутъ мучить сомнѣніе въ жизни, когда вы все больше и больше начнете приходить къ убѣжденію, что люди ни къ чему не способны, когда самая жизнь станетъ вамъ отвратительной и позорной, тогда я совѣтую вамъ поѣхать сюда, все забыть и посвятить свое время Ватикану. Покой снизойдетъ въ вашу душу, и вы опять повѣрите въ жизнь; такъ было со всѣми поколѣніями, которыя уже въ теченіе многихъ столѣтій собираются со всѣхъ сторонъ міра къ Ватикану и Капитолію, чтобы прояснить душу созерцаніемъ красоты, такъ будетъ и со слѣдующими поколѣніями до тѣхъ поръ, пока время будетъ щадить эти великіе залоговъ человѣческой мощи. Обратимся теперь къ сегодняшнему Риму и къ его risorgimento! Но объ этомъ въ слѣдующемъ письмѣ».

» 21—19 св. Послѣ «ауто-да-фе»: «Ничто человѣческое недоступно этимъ старикамъ».

» — 10 сн. Послѣ «Квиринала»; «четыре здоровыхъ парня».

» — 6 сн.)

» — 5 сн.) Примѣчанія не было.

» 22— 5 св. Не было «Аг-ми!» командовали».

- Стр. 22—11 сн. Передъ «толпа»: «Въ 11 часовъ».
- » 23— 6 св. Не было «котораго заговора».
- » » — 7 св. Вмѣсто «и перепугался»: «всетаки Савелли».
- » » —12 св. Передъ «народъ»: «Еще только разъ удалось намъ услышать такіе восторженные крики».
- » » —10 сн. } Не было «Правильная con voi».
- » » — 6 сн. }
- » 24— 1 св. Вмѣсто «двадцать»: «тридцать».
- » » — 3 св. Не было взятаго въ скобки.
- » » — 8 св. Не было «Abasso Савелли),»
- » » — 9 св. Не было «abasso i oscurantisti»
- » » —11 св. } Не было «Кто то прокричалъ генуэзцу»...
- » » —20 св. }
- » » —23 св. Не было «Народъ его привѣтствіемъ».
- » » —24 св. Послѣ «къ его окошку»: «На знамени стоялъ вѣжливый упрекъ: «S. P. Giustizia al popolo chi è con voi!»
- » » —10 сн. Не было «Балконы платками».
- » 25—11 св. Не было «Viva gesuiti».
- » » —17 св. } Не было «Драгунъ молчали».
- » » —21 св. }
- » » —18 сн. Вмѣсто «а полицейскихъ все не было»: «черезъ полчаса все было спокойно».
- » » — 5 сн. Вмѣсто «новое Савелли»: «съ нетерпѣніемъ, что будетъ на другой день. Ничего не произошло, даже».
- » 26—17 св. Послѣ «Зондербунда»: «Всѣ уже забыли объ этомъ».
- » » —15 сн. Вмѣсто «умахъ Чичероваккіо»: «классахъ общества».
- » » —11 сн. Послѣ «Павіи»: «гдѣ кровь безоружныхъ гражданъ текла уже по улицамъ, то изъ».
- » » —10 сн. } Вмѣсто «Сициліи противъ кого?»: «который,
- » » — 7 сн. } несмотря на долгую привычку къ рабству, не хотѣлъ больше терпѣть грубое насиліе Бурбоновъ. Надѣялись на Карла-Альберта, потомъ перестали. Франціи боялись почти такъ же, какъ Австріи. Все это тревожило и держало въ напряженіи. На улицахъ собирались, особенно около «Café delle belle arti» и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ обычно встрѣчаются радикалы. Характеръ этихъ собраній становился съ каждымъ днемъ все серьезнѣе».
- » 27— 7 св. Послѣ «онъ еще больше проснулся»: «1 февраля пришло извѣстіе о томъ, что, наконецъ, и Неаполь возсталъ».
- » » —12 св. } Вмѣсто «Вѣсть освѣтились»: «Народъ былъ
- » » —14 св. } внѣ себя отъ восторга и готовился къ пышному празднеству».
- » » —17 св. Вмѣсто «3 февраля»: «въ такой-то день».
- » » —20 св. Послѣ «обѣ стороны»: «Эти приглашенія рвали».
- » » —16 сн. Не было «Папа снова неаполитанскому королю».

- Стр. 27— 7 сн. Вмѣсто «Завтра свободный»: «На дняхъ я поѣду въ Неаполь».
- » 28—12 св. Послѣ «Судьба полустрова»: «его развитіе, его хорошія и дурныя стороны».
- » » —15 св. } Вмѣсто «Мы легко путемъ»: «Хорошо зна-
» » —18 св. } комое намъ развитіе Франціи, Англіи и Германіи совпадаетъ только въ общихъ чертахъ, а историческія частности совершаются за Пириньями и Альпами совсѣмъ иначе. Иные элементы, инныя событія, иные результаты!»
- » » —20 св. Послѣ «въ Италіи»: «Одно это придало итальянской готикѣ совсѣмъ другой характеръ».
- » 29— 3 св. Послѣ «фактъ насилія»: «Народности, бывшія случайно подъ властью Флоренціи, Генуи или Венеціи, были всегда готовы освободиться и доказать свою автономію. Это объясняетъ вамъ, почему эти города, какъ ни хорошо было ихъ собственное состояніе, обращались сурово и часто по-варварски съ подвластными имъ областями. Итальянцы не любятъ единства, не любятъ сильнаго государства, могучей власти».
- » » — 7 сн. Не было «Города разоренія».
- » 30— 1 св. } Не было «Въ сѣверной второмъ и тре-
» » — 7 св. } тьемъ».
- » » —10 св. } Не было «Италія крѣпилась Швейцаріи».
- » » —13 св. }
- » » — 2 сн. } Вмѣсто «на арену и костерь»: «бросились
» 31— 1 св. } въ новую борьбу за свободу мысли».
- » » —21 св. }
- » » —23 св. } Не было «и въ двѣсти народъ».
- » 32— 7 сн. Не было «и которыя Исландіи».
- » 33—18 сн. Вмѣсто «и Маццини теперь»: «во главѣ ихъ былъ Маццини. Долго считали его фантастомъ, но теперь событія оправдали его».
- » 34— 1 св. Не было «наконецъ, стонъ мы говорили».
- » » —10 св. Послѣ «Меттернихъ»: «и русскій императоръ».
- » 35—17 св. }
- » » —22 св. } Не было «и съ хитростью чивики».
- » 36—17 св. Послѣ «tardi»: «santo Padre!»
-
- » 37—20 св. } Не было «которымъ ловкость которыя пля-
» » —25 св. } шутъ».
- » 39— 2 св. Вмѣсто «больше необходимы, нежели Квириналъ»: «такъ же необходимы, какъ Тибръ, Рафаэль и Буонаротти».
- » » —16 св. Вмѣсто «гору С.-Эльмъ»: «Везувій».
- » » —23 св. Вмѣсто «въ окнахъ огоньки»: «на набережныхъ появились красивые экипажи, рыбацкія лодки, лацаронни, вид-

нѣлась гора, застроенная домами, на которой стоитъ камалдуинскій монастырь»...

- Стр. 39—24 св. Не было: «Просто и природой».
- » » — 4 сн. Послѣ «Бурбонамъ»: «Бонапарту и англичанамъ».
- » 40— 6 св. Не было «Сицилія столица».
- » » —11 св. Не было «оттого Палермо правительство».
- » » —18 сн. Вмѣсто «Народъ толпился освобожденія»: «Король едва успѣлъ послать туда нѣсколько человѣкъ».
- » » — 6 сн. Послѣ «въ»: «театръ»
- » » — 5 сн. } Не было «дирекція оркестра».
- » » — 3 сн. }
- » 41—19 св. Послѣ «С. улыбнулся»: «Народъ кричалъ впервые: «Viva il re constitutionale!» Начинало темнѣть».
- » » —21 св. Послѣ «цѣлый городъ»: «и не забудьте, что городъ этотъ— Неаполь».
- » » —22 св. Не было «имѣвшая совершенно народонаселеніе».
- » » —14 сн. Не было «дома Санта Лучіи»;
- » 42— 7 св. } Вмѣсто «Toledo съ утра тутъ писанье»:
- » » —11 св. } «Вы не можете себѣ представить жизнь, которая теперь вдругъ развернулась въ Неаполѣ. Каждый день похожъ на праздникъ, Toledo кишитъ народомъ, всѣ кафе переполнены, во всѣхъ клубахъ политическіе обѣды, балы, прогулки. Маленькіе лацаронни пристають на улицахъ съ газетами, карриатурами и стишками,— и все это печатается безъ цензуры. Къ тому же начало карнавала... И вы думаете, что я могу писать при такихъ условіяхъ? Ошибаетесь».
- » » —11 св. Послѣ «что я»: «два дня назадъ».
- » » —17 св. Не было «нижня развита».
- » » —19 св. Вмѣсто «бакенбарды неблагородное»: «я замѣтилъ, что онъ ни на кого не смотритъ прямо! Въ общемъ онъ отвратителенъ».
- » » —21 св. } Не было «Когда онъ *Письмо восьмое*».
- » 49—22 св. }

- » » —10 сн. } Вмѣсто «Сегодня заходилъ и дерутся»: «На»
- » » — 8 сн. } прасно давали пушечные сигналы, пара огней, показавшаяся на балконѣ, исчезла передъ криками народа. Говорятъ о возстаніи въ Парижѣ, но ничего опредѣленнаго неизвѣстно».
- » » — 6 сн. Послѣ Торъ-ди-Ноне»: «Публика была возбуждена, много говорили о парижскихъ извѣстіяхъ».
- » » — 5 сн. Послѣ «махалъ»: «трехцвѣтнымъ»
- » 50— 6 св. Передъ «Во снѣ этомъ»: «Сегодня объ этомъ уже всюду знаютъ».
- » » —11 св. Вмѣсто «20 апрѣля»: «IV. Римъ, 'конецъ апрѣля 1848 г.».

Стр. 50—12 св. Передъ «Удивительное время»: «Со времени моего послѣдняго письма прошло много времени и еще больше событій. Скучной мы не можемъ теперь назвать исторію».

» 51—14 св. Вмѣсто «цѣли»: «цѣны».

» »—14 св. }

» »—20 св. } Не было «Даль бы онъ несущихся событій».

» »—12 сн. Послѣ «молчалъ»: «какъ мертвый».

» 52—17 св. Вмѣсто «Вѣсть эта, пришедшая въ Римъ»: «Это существительное вмѣстѣ съ своимъ прилагательнымъ произвело огромное впечатлѣніе; вѣсть эта пришла».

» »—18 св. Не было «произвела 24 февраля».

» »—15 сн. Вмѣсто «Корсо народомъ»: «Это былъ, дѣйствительно, революціонный день. Густыя толпы народа стояли у Капитолія».

» »—6 сн. Послѣ «знамя»: «впервые безъ траурнаго флера».

» »—14 св. }

» »—23 св. } Не было «Въ этомъ родѣ до свиданія!».

» »—13 сн. Вмѣсто «Гавацци словами»: «Толпа, не слушая дальше, неистово заплодировала. Она думала, что Чичероваккіо хочетъ записаться. Онъ смутился и сталъ дѣлать рукой знакъ отрицанія. Гавацци выступилъ впередъ: «Римляне, выкликнулъ онъ»,

» 54—6 сн. Послѣ «Viva Ciccogavacchio!»: «Прелестный юноша, красный и смущенный, стоялъ вмѣстѣ съ отцомъ на трибунѣ».

» »—4 сн. Не было: «Это одна времени».

» 55—8 св. }

» »—17 св. } Не было: «Многія матери на почтовыхъ».

» »—8 сн. }

» »—6 сн. } Не было: «На всѣхъ площадяхъ Piazza Colona».

» »—3 сн. }

» 56—9 св. } Не было: «Странное явленіе не осмѣянною».

» »—14 св. } Вмѣсто: «Есть въ жизни оскорбилъ римлянъ»:

» »—19 св. } «Онъ заранѣе деморализировалъ собственныя войска».

» »—9 сн. Не было: «per la Austriachi».

» »—5 сн. } Вмѣсто «каждая иностранная изъ Рима»:

» 57—2 св. } «приходятъ иностранныя газеты, и всѣ бросаются въ кафе и въ читальняхъ на эти листки Больше мнѣ нечего разсказать».

» »—2 сн. Примѣчанія не было.

» »—14 сн. Послѣ «собора къ ратушѣ»: «я видѣлъ нетерпѣніе кровожадной гвардіи, которая не могла дождаться рѣзни».

» »—8 сн. }

» »—6 сн. } Не было: «Барбесъ въ тюрьму».

» »—4 сн. Вмѣсто «горячаго XII округа»: «знакомаго французскаго демократа».

- Стр. 58— 3 св. Не было: «тѣмъ».
- » » — 4 св. Не было: «которое возмутительно».
 - » » — 10 св. Вмѣсто «приятель»: «демократъ».
 - » » — 11 св. Послѣ «Консьержери»: «гдѣ онъ сидитъ до сихъ поръ».
 - » » — 15 св. } Не было: «одинъ Ледрю-Ролленъ этими
 - » » — 17 св. } людьми?»
 - » » — 18 св. Послѣ «Заслонила лица»: «ихъ забыли».
 - » » — 18 св. Вмѣсто «Вдругъ слабостью»: «Но теперь они показали свои плоды. Да падетъ позоръ на головы этихъ малодушныхъ людей, которые такъ скоро отступаютъ, которые уже возвращены властью; пусть будетъ стыдно этимъ будничнымъ, равнодушнымъ людямъ, которые обманули народное довѣріе!»
 - » » — 1 сн. Примѣчаніе другое: «Въ это время былъ выпущенъ, но съ этого лѣта опять сидитъ въ тюрьмѣ. Примѣчаніе автора въ декабрѣ 1849».
 - » 59—12 сн. } Примѣчанія не было.
 - » » — 4 сн. }
 - » 60—19 св. Послѣ «подачи голосовъ»: «15-ое мая хотѣло лишить его именно этой почвы, поэтому я и придаю такое большое значеніе этой недоношенной революціи. Но объ этомъ послѣ».
 - » » — 5 сн. } «Вмѣсто» остроумная «Сѣверная Пчела»: «одна цивили-
 - » 61— 1 св. } зованная сѣверная газета».
 - » 62— 5 св. Послѣ «комиссіи»: «Въ томъ числѣ и Ледрю-Ролленъ».
 - » » — 12 св. Послѣ «либераловъ»: «съ каждымъ днемъ оно все ниже пало вѣ общественномъ мнѣніи».
 - » » — 20 св. Не было: «и Парижа».
 - » » — 6 сн. Послѣ «въ объятія»: «Испуганный Ледрю-Ролленъ дѣйствовалъ заодно съ Маррастомъ».
 - » » — 4 сн. Послѣ «Бланки»: «Посаженныхъ въ Mont St-Michel».
 - » » — 4 сн. Послѣ «Алибо»: «который былъ гильотинированъ».
 - » 64— 2 св. Вмѣсто «Она имѣла время битвы»: «И, всетаки, она перенесла всѣ эти удары съ типичнымъ для французскихъ политическихъ партій упрямствомъ. Конечно, надежды ея были не велики».
 - » » — 8 сн. Послѣ «можно держать»: «Это даетъ исчерпывающую характеристику чловѣка».
 - » 65— 9 сн. Не было: «въ Техасъ».
 - » 66—11 св. Вмѣсто «Ламартина и Тьера»: «Паскаля или Руссо».
 - » » — 20 сн. Послѣ «возраженія»: «противъ Прудона и другихъ».
 - » » — 16 сн. Послѣ «ажіотажъ»: «Министры и актрисы, литераторы и депутаты, журналисты и даже старые аристократы,—всѣ занимались ажіотажемъ».
 - » 67— 3 сн. } Вмѣсто «онъ самъ а Гизо»: «и жителей пред-
 - » 68— 1 св. } мѣстій St Antoine и Марсеау, когда они шли въ яacobинскій клубъ, гдѣ молодая Egalité стояла дежурной у входа. Поэтому король сомнѣвался сильнѣе, чѣмъ Гизо, который».

- Стр. 68—16 св. } Вмѣсто «Вы помните газетъ и брошюръ»: «Послѣ
 » » —20 св. } моего отъѣзда дѣла пошли еще хуже. Восемь газетъ, одна
 за другой, были прекращены.
 » » — 6 сн. Вмѣсто «и изъ учтивости Франціей»: «а Гизо помогъ
 изъ учтивости къ Пальмерстону. Однодневное собраніе въ Швей-
 царіи отвѣтило рѣшительно на вмѣшательство французскаго посла.
 » 69—16 св. Не было: «отречься даже отъ 1789 года».
 » » —20 сн. Послѣ «глубже пастъ невозможно»:

«Чтобы дать вамъ нѣкоторую характеристику администраціи при Людовикѣ-Филиппѣ, я сообщу одинъ фактъ, происшедшій осенью 1847 года—не очень значительный, но характерный. Нѣкій сапожникъ заплатилъ своему работнику на 2 франка меньше, чѣмъ ему приходилось; возникъ споръ между мастеромъ и сосѣдними работниками. Споръ этотъ кончился тѣмъ, что работники побили стекла въ магазинѣ сапожника. Полиція сдѣлала изъ этого бунтъ, возстаніе; она разставила пикеты по улицѣ St-Honoré, окружила домъ муниципалами и вечеромъ послала по улицамъ вооруженные патрули. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы масса незанятыхъ людей хлынула на мѣсто происшествія. На другой день толпа еще увеличилась, замѣтивъ, что полиція все еще стоитъ тамъ. Это—старый приемъ французской полиціи—вызывать неподготовленные возстанія. Этотъ приемъ употреблялся уже директоріей и первымъ консуломъ, а затѣмъ обѣими рестаураціями и теперь—республикой. Полиція начала, по своему излюбленному обычаю, разгонять собравшуюся толпу, а муниципалы и переодѣтые агенты распредѣлили между собой удары палками и ремнями. Случайно проходившихъ людей увѣчили, женщинъ топтали ногами. Дѣло не могло, конечно, обойтись безъ отвѣта съ другой стороны. Полиція, выступившая противъ возстанія, выхватила 300 человекъ и посадила ихъ въ тюрьму. Ихъ представили за разбитыя стекла не суду, а въ полицейское присутствіе—и, все-таки, никто среди нихъ не былъ найденъ виновнымъ. Совершенно ясно, что бившіе стекла не остались тамъ, а тѣ, которые собрались послѣ прихода полиціи, не могли въ ея присутствіи ничего разбить. Рѣшено было, никого не обвиняя, выслать 50 рабочихъ изъ Франціи, потому что они, будучи иностранцами, злоупотребили французскимъ гостепріимствомъ, принявъ участіе въ уличномъ скандалѣ. Многіе изъ замѣшанныхъ въ это дѣло и освобожденные открыто жаловались на полученные удары и грубое обращеніе полиціи. Президентъ отвѣтилъ, что его очень огорчаетъ причиненное имъ оскорбленіе, что онъ вовсе не стремится оправдывать необдуманное поведеніе полиціи, но что въ такихъ случаяхъ обычно происходитъ безпорядокъ и недоразумѣнія, и потому желательно, чтобы господа пострадавшіе извлекли отсюда урокъ для будущаго и поставили себѣ за правило—нигдѣ не останавливаться на улицѣ тамъ, гдѣ бунтуетъ толпа. Неужели не радуется ваше сердце, отважнѣйшій генералъ-полицмейстеръ Петербурга и энергичнѣйшій генералъ-полицмейстеръ Москвы? Partout comme chez vous! (Дальше шла фраза со стр. 68—17 св.: «Вы помните газетъ и брошюръ».

- » » —15 сн. Послѣ «сломить министерство»: «но, все-таки, собранія проходили съ бѣльшимъ возбужденіемъ, чѣмъ прежде»:

- Стр. 69— 8 сн. Въмѣсто «политикѣ Гизо»: «иностранный политикѣ министерства».
- » » — 4 сн. Послѣ «блѣденъ»: «Онъ самъ замѣтилъ это и извинялся катарромъ».
- » 70— 3 св. Послѣ «штукой, но»: «его жребій былъ похожъ на жребій умирающаго льва въ баснѣ».
- » » — 9 св. Послѣ «Эбера»: «И Гизо зналъ это».
- » » —12 св. Послѣ «условіяхъ»: «Послѣ отвѣта на королевскую рѣчь возникъ неизбежный вопросъ о правѣ собраній и банкетовъ. Само собой разумѣется, что въ Сѣверной Америкѣ или Англии вопросъ этотъ не могъ бы и возникнуть, потому что во всякой странѣ со свободными учрежденіями онъ долженъ быть разрѣшенъ заранѣе. У французовъ ничего не рѣшается заранѣе, и все зависитъ отъ даннаго момента. Во Франціи съ необыкновенной легкостью переходятъ отъ ультра-демократіи къ абсолютизму; нѣтъ ничего твердо установленнаго—сегодня гибнетъ то, за что вчера боролись. Съ одной стороны, это хорошо, ибо доказываетъ, что Франція не можетъ ничѣмъ удовлетвориться, а движеніе есть, всетаки, главное условіе развитія».
- » » —14 св. Въмѣсто «Законъ вотированъ»: «Министры, опираясь на свое большинство, осмѣлились предложить законъ противъ банкетовъ. Оппозиція была недовольна и протестовала довольно энергично; большинство отвѣчало ей урной. Законъ былъ принятъ».
- » » —18 св. Послѣ «оставила банкетъ»: «Оппозиція, въ свою очередь, тоже не была въ достаточно воинственномъ направленіи. Трусливые робкія души, какъ Одилонъ Барро, при натискѣ думали уже объ отступленіи, интриганы, которые всегда любятъ приходить немного позже, чтобы выиграть во всякомъ случаѣ, какъ Тьеръ, были готовы не итти на банкетъ двѣнадцати округовъ. Остальные подняли перчатку, которую министерство бросило оппозиціи. Вы знаете, что произошло 22-го и 23-го. Солдаты были печальны, національная гвардія—ненадежна. Испуганный поведеніемъ войскъ, король уступилъ и перемѣнилъ министерство».
- » 71—15 св. Послѣ «Людовика-Филиппа»: «и отказалъ ему отъ мѣста, какъ будто онъ былъ наборщикъ въ «Прессѣ», а самъ поднесъ ему уже напечатанное объявленіе объ его уходѣ».
- » » —13 сн. } Въмѣсто «для взаимнаго Луи Блана»: «которая,
- » » — 9 сн. } съ своей стороны, прибавила Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера».
- » » — 8 сн. Не было: «которому отказалъ въ «Прессѣ».
- » » — 6 сн. Послѣ «рѣшеткѣ»: «герцогиня Орлеанская уже отправилась въ камеру».
- » 72— 6 св. Послѣ «все правительство»: «Министры скрылись—не для того, чтобы раздѣлить участь своего несчастнаго господина, а чтобы избѣжать галеръ».
- » » —13 сн. Въмѣсто «какъ по несчастью dementi»: «Созз,

не менѣе тронутый, рѣшилъ баллотировать это, какъ вдругъ толпа вооруженныхъ ворвалась въ камеру и дала Дюпону полнѣйшее de-menti. Созе велѣлъ прочитать передъ толпою параграфа регламента, при чемъ всѣмъ не-депутатамъ былъ запрещенъ входъ. Въ присутствіи этихъ гостей споръ принялъ другое направленіе».

- Стр. 73—18 св. Послѣ «энергической»: «истинно-революціонной».
- » 74— 1 св. } Вмѣсто «оно догадалось новаго правитель-
- » 75—17 св. } ства!»: «даже Ламартинъ не хотѣлъ сейчасъ же объявлять республику и говорилъ о воззваніи къ народу, и, все-таки, правительство это приняло».
- » »—20 св. } Не было: «прежде появленія своимъ
- » »— 8 св. } чередомъ».
- » 76—18 св. Послѣ «признать республику!»: «Республику легко отвоевали, потому что достигли ея только на словахъ. Быть можетъ, слово приведетъ къ дѣлу, а можетъ быть—и нѣтъ. Но лучше надѣяться. Этимъ я кончу свое письмо».
-
- » »—15 св. Послѣ «письмомъ и этимъ»: «Между этимъ письмомъ и прошлымъ протекли рѣки крови».
- » 77— 3 св. Вмѣсто «Алжирскіе генералы были»: «Кавеньякъ? Ламорисьеръ? Они были только».
- » 78— 4 св. Вмѣсто «шесть»: «восемь».
- » 79—16 св. } Вмѣсто «за ложное въ нее»: «за все, что
- » »—18 св. } было предпринято противъ освобождающей Европы. Не знаю, побѣдитъ ли социализмъ, но побѣжденный въ юньскіе дни доведетъ борьбу до конца. Быть можетъ, Франція и вся Европа погибнуть въ этой борьбѣ, быть можетъ, вся эта часть свѣта упадетъ въ варварство, чтобы освѣжить свои испорченные цивилизаціею соки».
- » »—18 св. } Не было: «социализмъ западной Европы».
- » »—21 св. }
- » »—25 св. Послѣ «48 года»: «Эта книга—національный якорь, на который бросили остатки февральскихъ героев».
- » 80—17 св. Послѣ «помилюютъ ихъ»: «Но вернемся къ событіямъ».
- » 82—11 св. } Вмѣсто «Но временное вырабаты-
- » »—15 св. } вается теперь»: «Это вѣрно, но республика была фактомъ, и это тоже вѣрно. Что же должно въ подобномъ случаѣ дѣлать искреннее правительство? Развѣ оно не должно было попытаться развить республиканскія направленія, воспитывать въ народѣ республиканскія воззрѣнія, хотя бы и съ помощью произвольной революціонной диктатуры? Случай къ этому представлялся, правительство могло опереться на все, что въ Парижѣ было демократическаго».
- » »—20 св. } Вмѣсто «Я увѣренъ въ разрушеніи»:
- » »—29 св. } «Къ несчастью, былъ только одинъ человѣкъ во времен-

номъ правительствѣ, имѣвшій революціонный нервъ—Ледрю-Ролленъ. Въ немъ одномъ видѣли тревожный духъ, который все потрясаетъ, любить итти противъ традиціи и находить радость въ разрушеніи. Но и Ледрю-Ролленъ не охватывалъ во всемъ объемѣ «революціонную идею нашего времени».

- 83— 5 св. Вмѣсто «Въ Ламартинѣ Онъ»: «Этотъ національный періодъ развилъ рефлексивную поэзію Ламартина и романическую школу акробатовъ Виктора Гюго. Ламартинъ никогда».
 » — 9 св. Не было: «(какъ вся философія Кузена)».
- 84—10 св. }
 » — 6 св. } Не было: «Что за результатъ положенію?»
- 85— 7 св. } Вмѣсто «прочтите эти устланныя трупами»:
 » —19 св. } «Возмущеніе противъ Ледрю-Роллена было такъ велико, что Ламартинъ отрекся отъ него».
- 86—11 св. Вмѣсто «гдѣ угодно неимущихъ, его»: «даже въ самой дикой части Россіи никто не сталъ бы извлекать пользы путемъ такого оскорбительнаго исключенія. Въ такихъ случаяхъ».
 » —15 св. Не было: «подозрительно Клубы».
 » —17 св. Не было: «войскъ и волю».
 » —14 св. } Вмѣсто «вновь взошедшіе въ легіонахъ»:
 » — 3 св. } «вмѣсто того, чтобы распускать старое аристократическое меньшинство. Они даже сохранили свой мундиръ. Вновь вступившіе были въ блузахъ, которыя скоро уступили мѣсто мундиру. Къ чему вообще мундиръ? Онъ противопоставляетъ одного гражданина другому. Правительство въ этомъ отношеніи не пошло дальше отмѣны мѣховыхъ шапокъ».
- 87— 9 св. Послѣ «всеобщая республика»: «Рѣчи Луи Блана при повторительномъ чтеніи производятъ грустное впечатлѣніе. Въ нихъ видишь теоретическую, книжную цивилизацію. Въ нихъ нѣтъ ничего реального, ничего практическаго, все принадлежитъ литературѣ. Иногда ему удастся увлечь, но никогда не удастся помочь. Проповѣдникъ социализма походилъ на тѣхъ проповѣдниковъ христіанства, которые жили въ полномъ незнаніи людей, говорили о страстяхъ только по наслышкѣ и были убѣждены, что близится осуществленіе царства божія. Во всякомъ дѣлѣ удвоенная цивилизованность мѣшаетъ выполненію: то является какой-нибудь грубый фактъ, который гнетъ и ломаетъ всю теорію, то непримѣнимая къ дѣлу мысль, которая въ безсиліи слѣдуетъ за міромъ, основаннымъ на старыхъ привычкахъ. Оба случая ведутъ къ уродству, лишенному способности къ жизни».
- 88—10 св. }
 » —13 св. } Не было: «Люди эти иезуитизма».
 » —15 св. Передъ «Ледрю-Ролленъ»: «Удивительно, что».
 » —17 св. Послѣ «внутреннихъ дѣлъ»: «тайную полицію и наслѣдника Видока».
 » —17 св. Послѣ «Карлье»: «Или это, можетъ быть, случилось только

вслѣдствіе соперничества съ Маррастомъ, у котораго была своя тайная полиція, какъ рассказываетъ Коссидьеръ, начальникъ третьей тайной полиціи?»

- Стр. 88—17 св. } Не было: «Шпіоны на улицѣ».
- » »—27 св. }
- » »—29 св. Не было: «Въ министерствѣ то же самое».
- » »—30 св. Послѣ «Ламартинъ»: «съ своей стороны»:
- » »—10 сн. }
- » 89—16 сн. } Не было: «Вы помните европейское движеніе».
- » 90—15 св. Послѣ «погубятъ революцію: «Такъ же поступилъ и Собріе»
- » »— 1 сн. вмѣсто «ста»: «200»
- » 91— 7 св. вмѣсто «не могли іюньскіе дни»: «могутъ сдѣлать все и не сдѣлали ничего».
- » »— 9 св. } Не было: «Демократія 17 марта спасти ре-
- » »—16 св. } волюцію».
- » »—16 св. вмѣсто «Народъ пошелъ онъ усилилъ»: «Наоборотъ, эта демонстрація усилила».
- » »—18 сн. Послѣ «почестью»: «Случай скоро представился».
- » »—10 сн. }
- » »— 5 сн. } Не было: «Люди временное правительство».
- » »— 3 сн. Послѣ «бить сборъ»: «всѣ знаютъ это, но не всѣ знаютъ, что онъ вызвалъ демонстраціи, что онъ и Луи Бланъ втайнѣ покровительствовали ей. Я не хочу осуждать здѣсь, потому что я не знаю многихъ фактовъ, но мнѣ хотѣлось бы очень знать, какъ, напр., Ледрю-Ролленъ или Коссидьеръ приведутъ въ ясность касающіяся ихъ частности 16 апрѣля, 15 мая и 23 іюня. Если они это сдѣлали, я считаю самымъ лучшимъ не оправдывать ихъ и не надѣлать вѣнками».
- » »— 3 сн. Послѣ «Маррастъ»: «который остался вѣренъ своей роли»
- » 92— 3 св. } Не было: «Подъ словомъ больше ничего».
- » »— 5 св. }
- » »—10 сн. Послѣ «свое дѣло»: «Шангарнье могъ быть доволенъ».
- » »— 6 сн. }
- » 93—10 св. } Не было: «24 февраля ничего не сдѣлали».
- » »—15 св. Передъ «Послѣ этихъ»: «Это событіе взволновало клубы и народъ, они протестовали. Ламартинъ старался успокоить ихъ, но».
- » »—19 св. Не было: «Французамъ удастся».
- » »—17 сн. }
- » »—12 сн. } Не было: «Въ Лиможѣ тишина».
- » 94—22 сн. } вмѣсто «Къ безпорядкамъ столько пониманія»:
- » »—12 сн. } «Во Франціи объ этомъ не имѣютъ никакого понятія. Къ этимъ безпорядкамъ и затрудненіямъ надо привыкать въ свободныхъ государствахъ, потому что съ ними ничего не подѣлаешь, а если разглядѣть ихъ, они, всетаки, не такъ страшны, какъ кажутся».
- » 95— 2 св. Къ словамъ «и другіе покорялись» примѣчаніе: «Ледрю-Ролленъ въ своемъ приказѣ генералу Куртэ передъ смотромъ націо-

нальной гвардіи сказалъ: «Прошу васъ, генералъ, позаботиться о томъ, чтобы офицеры генеральнаго штаба не разъѣзжали галопомъ по улицамъ Парижа, какъ будто врагъ стоитъ уже у воротъ города».

Стр. 95— 6 св. Послѣ «осадное положеніе»: «Въ этомъ есть какая-то смѣсь революціоннаго и деспотическаго».

» » — 8 св. Послѣ «насчетъ лицъ»: «Какъ только французъ получаетъ власть, онъ дѣлается притѣснителемъ». За этимъ идетъ фраза, стоящая выше: «Дайте французу передъ властью».

» 96— 9 св. } Не было: «никто не замѣтилъ не упомянуто».

» » — 13 св. }

» » — 6 св. Не было «Луи Блана и».

» 97— 3 св. Послѣ «торопится отстать»: «Двойная политика, какъ рационализмъ въ религіи и какъ эклектизмъ въ наукѣ, стала невозможна».

» 98— 2 св. Послѣ «иные»: «недовольные нами, скрывая отчаяніе въ сердцахъ».

» » — 3 св. Вмѣсто «въ ожиданіи по своему»: «что они такимъ образомъ поступаютъ на нѣсколько лѣтъ въ военную службу».

» 103—18 св. } Вмѣсто «Съ мѣсяцъ тому а не оригиналомъ»:

» 105—13 св. }

«Это большая воля, это довѣріе къ человѣку,—довѣріе, къ которому онъ стремится, которое является республиканскимъ принципомъ, возбуждаютъ страхъ; свободнаго человѣка боятся, считая его натуру нехорошей въ томъ смыслѣ, какой приданъ этому слову. Но при этомъ забываютъ, что человѣкъ прежде всего—животное общественное, что въ немъ есть инстинктъ соціальной жизни и что оппозиція противъ условій, необходимыхъ для человѣческаго существованія, будетъ всегда рѣдкимъ исключеніемъ. Вмѣсто того, чтобы имѣть довѣріе къ человѣку, мы спимъ спокойно, потому что знаемъ, что за насъ бодрствуетъ сильное правительство со своими штыками, и вѣримъ, что власть охранитъ насъ отъ человѣка; мы знаемъ, что правительство имѣетъ право овладѣть каждымъ изъ насъ, заковать насъ въ цѣпи и разстрѣлять,—но развѣ это не болѣе печальное основаніе, чтобы совѣмъ не спать? Надо имѣть нѣкоторое довѣріе къ человѣку, какъ и къ природѣ, стремленіе къ общественности такъ же свойственно ему, какъ и эгоизмъ. Не ограничивайте его эгоизма,—и онъ будетъ любить, не требуетъ отъ него добродѣтелей, самоотверженія, оставьте его свободнымъ и спокойнымъ, не пугайте его ежеминутно общественными требованіями,—и онъ отдастъ обществу все, что у него есть».

Послѣ этой общей характеристики республики и монархіи я спрашиваю васъ, какъ честныхъ людей, которые согласны со мной въ республиканскомъ принципѣ,—гдѣ найдетъ политическая республика средства для осуществленія, если она не перейдетъ въ соціальную?

Все, что можетъ дать политическая республика, она дала Сѣверо-Американскимъ Штатамъ, которые представляютъ собой дѣйствительную республику, а не горькую иронию, какъ французская республика, гдѣ не существуетъ личной свободы, гдѣ полиція облечена большей властью, чѣмъ

въ Турціи, гдѣ, наконецъ, бросаютъ людей въ тюрьмы цѣлыми кучами, чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ выбросить ихъ за дверь съ пожеланіемъ: «До свиданія!» Въ Соединенныхъ Штатахъ мы находимъ осуществленіе тѣхъ политическихъ теорій, которыя развились въ Европѣ въ теченіе XVIII столѣтія. Личность свободна настолько, насколько она можетъ быть свободна въ политической искренней республикѣ. Правительство зависитъ отъ общественнаго мнѣнія. Тамъ почти не знаютъ, что за бичъ — бюрократія, тамъ нѣтъ тайной полиціи, тамъ ненавидятъ мундиръ и солдатскія игры, тамъ много земли и денегъ — и, всетаки, г. Брейсбекъ, уважаемый гражданинъ Соединенныхъ Штатовъ, сказалъ недавно публично въ Парижѣ: «Республика, основанная, какъ наша, на извѣстныхъ базахъ политическаго общества Европы, не можетъ ничего сдѣлать для рабочихъ классовъ; она не можетъ, не выходя за предѣлы своего основанія, дать людямъ то равенство, къ которому мы стремимся». Я совершенно раздѣляю точку зрѣнія г. Брейсбека. Политическая республика—это лишь переходящая форма, введеніе, приготовленіе. Какъ только ее принимаютъ за конечную цѣль, она или возвращается къ монархіи, какъ во Франціи, и дѣлается неподвижной, или становится бесплодной, какъ въ Швейцаріи. Республика 1793 г. была республикой боевой, и конвентъ прекрасно понималъ ея назначеніе, когда велѣлъ снять покрывало со статуи свободы и человѣческихъ правъ. Но когда этой борьбѣ, этой революціи хотѣли дать основу и законность, она подпала игу консулата, королевской власти. Дѣйствительный прогрессъ послѣ 1793 г. былъ на сторонѣ Бабефа, этого нелѣпаго К. Гракха новаго міра, а полная реакція—на сторонѣ Наполеона, этого буржуазнаго Карла Великаго, который утвердилъ самый позорный изъ всѣхъ когда-либо существовавшихъ социальныхъ порядковъ.

Общественное развитіе невозможно внѣ республиканской формы, такъ что достиженіе ея есть, во всякомъ случаѣ, большой шагъ впередъ. Но странно останавливаться на этомъ, такъ же странно, какъ упрямо держаться за протестантизмъ, освободившись отъ католицизма, или стоять за денежное господство, отвергнувъ феодальное крѣпостничество. Не думайте, что я буду здѣсь дѣлать неблагодарные упреки реформаторамъ и революціонерамъ прошлыхъ временъ — ничего подобнаго; я дѣлаю здѣсь одинъ упрекъ только современнымъ лже-революціонерамъ. Въ 1789 г. уже одно слово «республика» было неизмѣримымъ прогрессомъ, республика была благой вѣстью, которую принесла людямъ революція; республика поднималась на ясномъ, свѣтломъ горизонтѣ, она явилась, какъ нѣкогда явилось христіанамъ царство Божіе: какъ исполненіе всѣхъ человѣческихъ желаній; она была религіей, революціонной идеей своего времени. Ни царство Божіе, о которомъ мечтали апостолы, ни республика, о которой мечтали якобинцы, не могли осуществиться, и фанатическая вѣра въ это осуществленіе была ихъ силой, ихъ мощью. Событія только тогда велики, когда они совпадаютъ съ высочайшими стремленіями своего времени; тогда люди бросаются со всей силой и энергіей къ исполненію дѣла, дѣятельность изнуряетъ ихъ, воодушевляетъ, они забываютъ обо всемъ, что лежитъ внѣ увлекшей ихъ сферы. Если мы въ двадцатый разъ станемъ читать о событіяхъ первой ре-

волюції, у насъ опять забьется сердце, и снова мы почувствуемъ волненіе, мы чувствуемъ на себѣ вліяніе этого мрачнаго, мужественнаго и дѣятельнаго величія».

Стр. 105—18 св. } Вмѣсто «Вспомните рядомъ бур-
> 108—20 св. } жуазіи не погибло»:

«И въ то же время мы уже начинаемъ забывать слабыхъ и близорукыхъ дѣятелей, которые осмѣливались выступить 24-го февраля на первый планъ—лвы временнаго правительства и учредительнаго собранія. Эти люди прошли мимо медленно, они испугались послѣдствій, ихъ беспокоило какое-то предчувствіе, они видѣли, что на небѣ поднялось что-то другое, но не поняли его и хотѣли остановить, хотѣли вставить тормазъ въ колесо исторіи. Люди эти, столь маловѣрные, вовсе не были революціонерами нашего времени, они погубили революцію: Луи Бланъ, какъ диллетантъ соціализма, и Ламартинъ, какъ диллетантъ политики.

«Всѣ въ мірѣ считаютъ Луи Блана ультра-соціалистомъ, а вы утверждаете, что онъ—только диллетантъ? Соціалисты ни въ чемъ не соглашаются другъ съ другомъ; это происходитъ отъ того, что соціализмъ никогда еще не выставилъ точно и ясно своихъ принциповъ, у него нѣтъ никакихъ прочно установленныхъ догмъ; онъ составленъ изъ дюжины неопредѣленныхъ, взаимно-противорѣчивыхъ доктринъ». Но знаете ли вы, какія ученія хорошо формулируются и создаются въ тиши кабинетовъ? Это—максимы, ученія, которыя никогда не осуществляются, какъ республика Платона, Атлантида и Мора, христіанское царство Божіе. Но я ошибаюсь, царство Божіе было уже гораздо менѣе опредѣленнымъ, и развитіе христіанства служитъ намъ прекраснымъ примѣромъ того, какимъ образомъ осуществляются соціальныя превращенія. Можетъ быть, организація церкви и католическаго міра была приуготовлена евангеліемъ? Нѣтъ, евангеліе было только высокой абстракціей и отрицаніемъ существующаго, можетъ быть, еще болѣе высокаго порядка. Только послѣ 400-лѣтней борьбы христіане сговорились на Никейскомъ соборѣ. Великія революціи никогда не совершаются по заранѣ начертанной программѣ. Это—лишь сознаніе того, что не нравится. Борьба есть дѣйствительное возрожденіе общества; путемъ борьбы и сравненія общія и абстрактныя идеи, неясныя стремленія превращаются въ направленія, законы и обычаи. Зародышевый періодъ всего живого долговъ и сложень, зародышъ проходитъ рядъ безформенныхъ и странныхъ состояній, его развитіе—не отвлеченная наука, но дѣйствительность, развитіе зерна и постоянное примиреніе противоположностей. Когда соціализмъ былъ еще бѣденъ содержаніемъ, былъ общѣе и ближе къ своимъ колыбели, онъ формулировалъ себя съ гораздо большей легкостью и являлся въ религиозной формѣ, какъ это бываетъ со всякой великой идеей; тогда у него были свои вѣрующіе, фанатики, свои внѣшніе признаки: таковъ былъ сень-симонизмъ. Затѣмъ соціализмъ явился въ видѣ рacionalesтической доктрины; это былъ его періодъ метафизики и отвлеченной науки: онъ аргіогі строилъ общество, онъ создавалъ соціальную алгебру, дѣлалъ психологическія вычисленія, придумывалъ для всего рамки, все формулировалъ и не оставлялъ ничего для открытія будущимъ людямъ, которымъ онъ отводилъ

мѣсто въ фаланстерѣ. Скоро пришло время, когда социализмъ спустился въ массы и сдѣлался страстью, мщеніемъ, дикимъ протестомъ, Немезидой. Какъ только рабочіе, которыхъ давила вопіющая несправедливость существующаго строя, услышали издалека слова сочувствія, едва увидѣли они зарю дня. общающаго имъ свободу, они перевели социальныя ученія на другой, болѣе грубый языкъ, они превратили ихъ въ коммунизмъ, въ ученіе о насильственномъ лишеніи собственности — ученіе, которое ставитъ на мѣсто личности общество, граничитъ съ деспотизмомъ, освобождая отъ голода. Теперь никто не говоритъ ни о сенъ-симонизмѣ, ни о фурьеризмѣ, ни о коммунизмѣ. Всѣ эти и многія другія ученія и системы склонились передъ сильнымъ голосомъ отрицательной критики, которая ничего не опредѣляла и не систематизировала заранѣе, но призывала къ уничтоженію всего того, чтó мѣшаетъ общественному возрожденію, и вскрывала нелѣпость и ложность всего того, чтó считалось правильнымъ среди друзей порядка. Я не хочу отречься отъ солидарности, которая по необходимости связываетъ насъ съ нашимъ прошлымъ, нѣтъ, почему же человѣкъ долженъ препирать свои юношескія мечты? Прошедшія формы были слишкомъ дѣтскими, въ нихъ была только одна сторона правды, но отъ этого ученія вовсе не были ложными. Одна и та же великая мысль, которая содержитъ въ зародышѣ цѣлый міръ, проходитъ черезъ всѣ социальныя доктрины, не исключая и самаго крайняго коммунизма. Мы должны благодарить эти ученія за то, что видимъ теперь невозможность спасти міръ при помощи старой политической машины; отъ нихъ идетъ великій призывъ къ восстановленію плоти, къ прекращенію эксплуатаціи людей, въ нихъ впервые признаны людскія страсти и сдѣлана попытка использовать ихъ, а не подавлять. Однако, подъ этой солидарностью, которую я признаю, вовсе не разумѣется, что я отвѣчаю за каждую мысль, каждую фразу, за всѣ подробности и всю организацію каждаго ученія.

Теперь одни хотятъ видѣть въ социализмѣ только нелѣпныя подробности, высказанныя первыми социалистами въ пору увлеченія и ослѣпленія красотою идеи. Болѣе пророки, чѣмъ организаторы, они остались вѣрны своимъ неопредѣленнымъ стремленіямъ и запутались въ ихъ примѣненіи и послѣдствіяхъ. Этого никто не отрицаетъ. Но они твердили, что историческое развитіе есть продолжающаяся метаморфоза, въ которой каждая новая форма содержитъ больше правды, чѣмъ предыдущая; насъ обвиняютъ въ преувеличеніяхъ Анфантэны, во всѣхъ чрезмѣрностяхъ — Фурье и во всѣхъ ошибкахъ — икарійцевъ. Другіе, наоборотъ, съ удивленіемъ и съ ироніей спрашиваютъ, чтó есть новаго въ социализмѣ за исключеніемъ самаго слова; они находятъ, что социализмъ есть только развитіе и продолженіе политической экономіи, и потому обвиняютъ его въ неблагодарности и плагиатѣ. Развѣ идеаломъ Сэя не было, какъ онъ самъ говоритъ, «das Nicht-Regieren»? Да. Во всякомъ случаѣ, социализмъ есть осуществленіе идеала національной экономіи. Политическая экономія есть вопросъ, а социализмъ — его разрѣшеніе. Политическая экономія есть наблюденіе, описаніе, статистика, исторія производства, движенія и циркуляціи богатствъ. Социализмъ есть философія, организація и наука. Политическая экономія даетъ мате-

ріалы и документи, она изслѣдуетъ, а социализмъ произноситъ приговоръ. Политическая экономія констатируетъ самый фактъ богатства и бѣдности, социализмъ разрушаетъ его не какъ историческій фактъ, но какъ необходимость, онъ уничтожаетъ всѣ границы и преграды, которыя задерживаютъ циркуляцію, дѣлаетъ собственность текучей, однимъ словомъ, уничтожаетъ богатство и бѣдность. Даже изъ этого антагонизма видно, что социализмъ внутренне связанъ съ національной экономіей. Это — анализъ и синтезъ одной и той же мысли. Здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго. Споконъ вѣка, съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ умственное движеніе, каждая доктрина, религія, система, каждое ученіе имѣетъ свои корни въ прошломъ, которое, какъ бы ни отрицалось это, служитъ ему опорой, основаніемъ; оно остается дочерью, хотя бы отрекалось отъ своей матери. Такимъ образомъ, иудейство превратилось въ христіанство, такимъ же образомъ христіанство продолжало жить въ этикѣ Руссо, которая служила основаніемъ для деистической и филантропической морали того вѣка; такимъ же образомъ Гегель есть уже въ Спинозѣ и Кантѣ, а Фейербахъ—въ Гегелѣ. Каждая новая, преобразующая идея беспокоитъ умы прежде, чѣмъ можетъ быть формулирована въ ученіи, и насильно входитъ въ сознаніе. У одного она является, какъ практическое открытіе, у другого — какъ сомнѣніе, у третьяго — какъ чувство. Вдругъ эта новая идея находитъ себѣ слово, и продолжавшіяся до сихъ поръ сумерки исчезаютъ передъ солнцемъ; эссеи и терапевты были забыты при появленіи Христа, ибо Христосъ былъ дѣйствительнымъ *logos profetizans*. Изъ творческой точки, въ которой организовывается новая религія, является евангеліе; изъ отрывочныхъ идей церкви, изъ неопредѣленныхъ и торопливыхъ броженій — такъ сказать, актъ оплодотворенія. Въ добрый часъ! Развѣ кто-нибудь считалъ Христа плагиаторомъ эссеевъ или даже нео-платониковъ?

Соціальныя идеи выступаютъ, если хотите, одновременно не только съ политической экономіей, но и со всеобщей исторіей. Всякій протестъ противъ несправедливаго распредѣленія средствъ производства, противъ эксплуатаціи, противъ злоупотребленія собственностью есть социализмъ. Евангеліе и апостолы—будемъ говорить здѣсь только о новомъ мірѣ—проповѣдуютъ коммунизмъ. Кампанелла, Тома Мюнцеръ, анабаптисты, отчасти монахи, квакеры, моравскіе братья, большая часть русскихъ схизматиковъ — социалисты. Но социализмъ, какъ ученіе, какъ политика и революція, является впервые въ юньскіе дни 1830 г. Исторія можетъ интересоваться прежними стремленіями, она можетъ перелистывать скандинавскія хроники, чтобы доказать, что норманны уже въ XII столѣтіи знали Америку, но для насъ, для дѣйствительной жизни Колумбъ, всетаки, первый открылъ Америку. Эти раннія усилія свидѣтельствуютъ только о богатствѣ и полнотѣ человѣческой природы, которая мечтаетъ и думаетъ о такихъ вещахъ, которыя могутъ осуществиться только черезъ нѣсколько столѣтій.

Однако, не преждевремененъ ли социализмъ теперь, какъ и во времена Кампанеллы,—своевременъ ли онъ? Я оставилъ это замѣчаніе на десертъ. Всѣ исключительно политическіе люди, не выступающіе открыто противъ социализма, находятъ, что для него еще не пришло время. Они говорятъ, что

соціалізмъ, не нося въ себѣ самомъ силъ для своего осуществленія, погубилъ политическую революцію и не далъ ей достаточно времени для основанія республики, для завершенія демократическихъ направленій. Люди, дѣлающіе подобныя возраженія, показываютъ себя посредственными историками и плохими психологами, потому что они полагаютъ, что исторія руководствуется той кухонной экономіей, которая не начинается новой ватрушки, пока не съѣдена нарѣзанная. Но исторія, какъ и природа, бросается по разнымъ направленіямъ и границей признаетъ только невозможность. Но это еще не все. Людямъ политики нечего кончать, нечего направлять, ибо они пришли къ той границѣ, переступивъ черезъ которую они на всѣхъ парусахъ вступаютъ въ соціалізмъ. Если же они удержатся, то, наоборотъ, обречены вращаться въ кругу такихъ идей, которыя были новы, конечно, во время генеральныхъ штатовъ, но теперь извѣстны каждому четырнадцатилѣтнему мальчику. Разсмотрите французскую конституцію 48 г. и покажите мнѣ хоть одну новую мысль, оригинальное развитіе, дѣйствительный прогрессъ; или возьмите засѣданія учредительнаго собранія. За его стѣнами неотступные вопросы, разрушительное отчаяніе, страшныя разрѣшенія, а внутри—вѣчное, однообразное пережевываніе пошлыхъ и пустыхъ конституціонныхъ теорій о равновѣсіи силъ, о власти президента, о бесплодныхъ узаконеніяхъ, которыя основываются на нелѣпомъ кодексѣ Наполеона. Вы, можете быть, приведете мнѣ имена Прудона, Пьера Леру, Консидерана. . . . Но, вѣдь, они чужестранцы, которые забрели въ это беотійское собраніе, и ихъ слова будутъ всегда покрываться криками негодованія со стороны законниковъ. «Да, но «Гора!» «Однако, чего же хотѣла «Гора» г. Ледрю-Роллена? Свободы! Но что такое свобода? И какъ можетъ человѣкъ быть свободнымъ въ такомъ обществѣ, какъ французское, какія гарантіи личной свободы противъ государства и его власти даютъ монтаньяры, какъ хотятъ они соединить нетерпимость всѣхъ французскихъ учреждений съ личной свободой, не разрушая первой? Они ничего не могутъ отвѣтить; ихъ заставляетъ дѣйствовать неопредѣленное чувство, весьма благородная симпатія къ свободѣ; они прекрасно понимаютъ, что эта республика отвратительна, но не знаютъ никакихъ цѣлебныхъ средствъ. Они говорятъ, что ихъ республика еще не осуществлена. Это, вообще, вѣрно, но причина этого въ томъ, что она и не можетъ осуществиться. Пусть они хотятъ истинной свободы, пусть они первые провозгласили *salus populi suprema lex*, пусть они дѣйствительно хотятъ равенства, но они, всетаки, не рѣшаются дотронуться до эксплоатаціи страдающаго бѣднаго большинства богатымъ и давящимъ меньшинствомъ. Нѣтъ, мы не должны обманывать себя. Время либеральныхъ политиковъ миновало, имъ нечего дѣлать и не о чемъ говорить. Послѣ 24 февраля соціалізмъ имѣлъ полное право воздвигнуть свое знамя. Я вовсе не хочу говорить здѣсь о странной дерзости, которая хочетъ предписать человѣку то же, что говорилъ Гамлетъ своему сердцу: «Сердце, погоди, не бейся, я вижу, что скажетъ Гораціо». Какъ будто мысль—не такой же фактъ, какъ всѣ остальные—фактъ реальный, совершенно самостоятельный, у котораго есть свое историческое оправданіе и своя хронологія. Вы, можете быть, думаете, что парижскій народъ дрался на улицахъ изъ-за банкета двѣнадцатаго

округа или, можетъ быть, для того, чтобы завоевать себѣ достойную презрѣнія республику вмѣсто достойной презрѣнія монархіи? Народъ шель прямо къ соціальной республикѣ; но, увидѣвъ себя опять обманутымъ, онъ попробоваль 15-го мая закрыть собраніе, а когда это не удалось, онъ далъ свое іюньское сраженіе. Народъ поняль, наконецъ, свое неоспоримое право прогнать къ чорту своихъ клятвopеступныхъ депутатовъ и заключилъ этимъ признаніемъ эпоху представительной фикціи, о которой Наполеонъ послѣ мира въ Кампо-Форміо возвѣстилъ міру. Народъ не хотѣль ничего знать объ этой ублюдочной республикѣ: слѣдствіемъ ея лицемѣрія были уже депортаціи, верховныя судныя учрежденія, осадное положеніе, Кавеньякъ, Бонапартъ и всѣ страданія, которыя доказывали нелѣпое и смѣшное управленіе.—Народъ былъ побѣжденъ!—Но кто же торжествоваль? Можетъ быть, республика? Нѣтъ, она пятится съ каждымъ днемъ назадъ, ея даже не жалѣють, сохраненіе такой республики совершенно неинтересно для народа. Народъ, напрасно искавшій своихъ представителей на баррикадахъ 24 іюня, усталъ и съ чувствомъ отвращенія удалился отъ мѣста политическихъ дѣйствій, и «Гора» напрасно звала его нѣсколько дней тому назадъ,—на этотъ разъ онъ не спустился на улицы дѣлать политику.

Теперь, когда социализмъ побѣжденъ и республика фактически погибла, пропадетъ скоро и самое названіе ея. Чтѣ же извлекли изъ своей побѣды политическіе республиканцы, когда они были господами положенія и имѣли въ рукахъ все, чтѣ необходимо для сильнаго управленія,—отъ трехъ-четырехъ полицій до висѣлицы? Они только отдавали приказанія смѣлымъ кинжалщикамъ по ремеслу, которые убивали, въ честь своего знамени, сестеръ и родителей; на ихъ сторонѣ было огромное большинство представителей буржуазіи и судей, которые выносили приговоры, и со всѣмъ тѣмъ они пришли—*risum teneatis!*—къ Луи Наполеону. Чтѣ же сдѣлалъ этотъ славный и дѣльный человекъ со своими 6.000.000 голосовъ, со всѣми слабоумными временъ императорства, со всѣми восторженными рабами его дяди, которые не могли утѣшиться, что въ теченіе 35 лѣтъ не слышали солдатской ругатни? Положеніе Франціи ухудшается съ каждымъ днемъ, трудное положеніе замѣняется еще болѣе труднымъ. Машина не работаетъ, довѣріе не возвращается, работа не идетъ, торговля не оживляется, бѣдность растетъ, а вдали видна угрожающая туча всеобщаго разоренія. Управленіе Бонапарта зиждется на легитимистской палатѣ, и эти двѣ силы держатся другъ за друга, какъ пьяные, которые не падаютъ потому, что толкають одинъ другого. Все вниманіе правительства обращено на одно—удержаться, утвердить свое положеніе не для дѣла, а для того, чтобы остаться на своемъ мѣстѣ. Внѣшняя политика подчинена этой благородной цѣли, а внутренняя находится въ такомъ разстройствѣ, что отъ префектовъ требуютъ только министерской пропаганды, уничтоженія всего республиканскаго и полицейскаго шпіонства. Въ судахъ присуждаютъ только сообразно съ политическими воззрѣніями подсудимыхъ, каково бы ни было обвиненіе; въ соображеніе принимаются не показанія, а доставленные г. Карлье полицейскіе акты, и моральный судъ выноситъ свой приговоръ сообразно желаніямъ прокуратуры.

Генералы открыто бунтуютъ, что доказали Бюжо и Шангарнье. прибавьте ко всему этому страхъ, который распространяетъ полиція, и отсутствіе личной безопасности,—и вы получите французскую республику. Здѣсь—граница общественнаго безпорядка, полное разложеніе политическаго тѣла. У правительства и у биржи одна надежда: пушки и штыки, кровь и кровь. У народа тоже только одна надежда: возстаніе и баррикады, кровь и кровь. Этотъ хаосъ, эта неспособность что-либо организовать есть лучшее доказательство того, что старый порядокъ вещей продолжать невозможно. Не думайте, что во Франціи не хватаетъ способныхъ государственныхъ дѣятелей. Когда въ нихъ была нужда, они были въ достаточномъ, количествѣ. Тогда нашли Ришелье, Камбона, Карно, Мирабо, Дантона, Робеспьера, Бонапарта. Но теперь дѣло не въ этомъ. Что дѣлали бы теперь въ Парижѣ Chatam или Пиль? Лучшее, что они могли бы сдѣлать—какъ можно скорѣе выйти въ отставку. Ни короли, ни министры, ни палаты не могутъ ничего сдѣлать; на этихъ высотахъ соціального тѣла нѣтъ больше воодушевленія—ихъ призваніе стало ниже, оно свелось на мелко-полицейскую дѣятельность и заботу о сохраненіи остатковъ своей силы.

Мы по привычкѣ возмущаемся, когда видимъ всѣ эти безчисленныя низости утверждающей власти и несправедливыя узаконенія. Какая, въ сущности, разница, голосуютъ законъ или нѣтъ? Если эти законы иногда касаются насъ, то не потому, что это—законы, а потому, что мы слабы. У насъ еще слишкомъ много довѣрія къ правительствамъ и національнымъ собраніямъ. Ихъ бесплодное слабоуміе и постыдная тупость должны вырвать съ корнемъ наши предразсудки, которые еще держатся, благодаря религіозному воспитанію: мы должны ожидать сверху всевозможныя хорошія вещи.

Но этотъ хаосъ, это соціальное разложеніе не ограничивается одной Франціей. Все въ Европѣ падаетъ съ лихорадочной стремительностью, все гибнетъ и приближается къ грозному обрыву; все горитъ и разрушается: религія, мораль, наука, искусство, политика, преданіе, старое и новое. Одного года было довольно для Франціи, чтобы разрушить мечту о политической республикѣ, и для Германіи—чтобы износить всѣ другія формы правленія. Теоріи, которыя недавно еще были смѣлы, выцвѣли; изгнанники и бѣглецы возвращаются, большею частью, консерваторами въ отечество, не измѣнивъ своихъ воззрѣній; многія имена, прославившіяся своимъ радикализмомъ, стоятъ на сторонѣ порядка, т.-е. полиціи. Въ то же время революція дѣлается реакціонной, а реакція—революціонной. Правительства не могутъ образовать министерство, народъ—выбирать представителей, чтобы тотъ или другой черезъ нѣсколько дней не былъ побѣжденъ неожиданной путаницей, новыми обстоятельствами, требованіями общественнаго мнѣнія. Правительство держится только насиліемъ, опираясь на страхъ подданныхъ и глупость солдатъ. Легальность невозможна, а безъ легальности нѣтъ ничего постоянного. Общественная сила не господствуетъ—она борется и, видя передъ собой пропасть, крѣпко держитъ узду, которую должна была бы, въ собственныхъ своихъ интересахъ, отпустить Старый врагъ власти, буржуазія стала на ея сторону и принесла ей въ залогъ всю ненависть народа, который она преслѣдовала на фабрикахъ, у плуга, въ судѣ и въ ре-

меслѣ.—народа, въ душѣ котораго пылають коммунистическія идеи. Торговая и адвокатская буржуазія слишкомъ скупа, чтобы потерять хоть одно изъ своихъ правъ и монополій, и потому она вступила въ союзъ съ монархіей, чтобы вмѣстѣ съ ней итти къ разрушенію и разбудить въ одинъ прекрасный день тигра, который еще спитъ. Да, народъ, это—тигръ, и таковъ законъ возмездія. Повторяю, это—Немезида, это—наказаніе, которое является, какъ логическое слѣдствіе, это—искупленіе. И какое! Подумайте о слѣпотѣ власти, о безсердечіи буржуазіи и представьте себѣ все, что скопляется въ дикой и сдавленной груди человѣка изъ народа!

Выдержитъ ли изношенный европейскій организмъ такой кризисъ, найдетъ ли онъ силъ для возрожденія? Кто можетъ знать это? Европа очень стара, у нея не хватаетъ силъ, чтобы подняться на высоту собственной мысли, у нея нѣтъ достаточно силы воли, чтобы исполнить свое собственное желаніе. Впрочемъ, Европа имѣетъ право, послѣ столь долгаго пути, безъ стыда выйти изъ великаго потока исторіи. Она когда-то смѣло сражалась, и если она падаетъ теперь, то ея грудь и спина покрыты ранами. Ея прошлое богато, она много пережила, а что касается будущаго, то ея наслѣдниками могутъ быть или Америка, съ одной стороны, или, съ другой—славянскій міръ».

Въ изданіи 1858 года.

- Стр. 2—15 сн. Вмѣсто «дорога»: «шоссе».
 » 4—16 сн. Вмѣсто «ліонская буржуазія»: «ліонскіе мѣщане».
 » 8—11 сн. Исключено: «индустрія не цвѣтетъ, что».
 » 15— 8 сн. Вмѣсто «*per la cheta*»: «подаваніемъ».
 » 18—11 сн. Вмѣсто «Кановы»: «Греза».
 » 20—16 св. } Исключено: «Мнѣ одинъ и суда
 » »—19 св. } нѣтъ».

- » 37—17 сн. Исключено: «Какъ легко крестьянъ Теньера».
 » 41—12 св. } Не было: «Возлѣ меня С. улыб-
 » »—19 св. } нулся» и примѣчанія.

- » 54— 3 сн. Къ словамъ «того времени» примѣчаніе:
 «Послѣ взятія Рима, Чичероваккіо и его сынъ отправились въ Ломбардію; Гарибальди дѣлалъ тамъ послѣднія усилія съ своими легіонерами противостоятъ лавинѣ бѣлыхъ мундировъ, отступая, какъ раненый левъ. Середь этихъ битвъ безслѣдно исчезаетъ Чичероваккіо и его юноша; въ 1856 открылось только, что герой *rorolano* и мученикъ сынъ были разстрѣляны безъ всякаго суда австрійскими офицерами!—А. И. Г.».

- » 58— 1 сн. Примѣчаніе другое: «Гдѣ я его видѣлъ въ 1851 году»;
 » 59—17 сн. Послѣ «Куртэ»: «или Коссидьеръ».

- Стр. 65— 3 св. Исключено: «брошюра прогресса».
- » » — 4 св. Послѣ «не боялась»: «партіи умѣреннаго прогресса».
- » 73— 4 св. } Исключено: «не для нихъ. Ламартинъ».
- » » — 6 св. }
- » 74—20 сн. Вмѣсто «какъ Тьеръ полицейскіе»: «судей, полицейскихъ».
- » 75— 2 св. Исключено: «знаетъ ли значитъ и».
-
- » 90— 9 св. Къ словамъ «въ 1840 году» примѣчаніе:
 «Таковъ былъ общій слухъ тогда; впоследствии я самъ спрашивалъ у Барбеса, какъ это было, и узналъ, что участіе Ламартина вовсе не было такъ важно. Его спасла родная сестра его, писавшая къ Людовику-Филиппу—*А.И.Г.*».
-
- » 99—10 сн. Исключено: «т. е. объ формахъ».
- » 105—21 св. Исключено: «нѣтъ, мило».
- » » —10 сн. Исключено: «и оттого его».
- » 122—17 сн. Послѣ «ссылаемыхъ»: «безъ суда».
- » 123—18 сн. Вмѣсто «такой рѣчи»: «ней».
- » 124—16 сн. Исключено: «коррозивный адъ разрушенія».
- » 130—17 св. Исключено: «война разрушенія».
- » 131— 5 св. Исключено: «свое *имущими*».
- » » — 7 св. Вмѣсто «красное привидѣніе»: «красный призракъ».
- » » — 5 сн. Исключено: «которымъ и униженія».
-

Письма съ Via del Corso.

Письмо первое ¹⁾.

Къ осени сдѣлалось невыносимо грустно въ Парижѣ; я не могъ сладить съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое меня окружало; я чувство-

¹⁾ Я долго думалъ, послать эти письма или нѣтъ. Первое писано въ декабрѣ 1847, второе — февралѣ 48. Это значитъ, по ходу событій, лѣтъ двадцать тому назадъ. Потомъ я рѣшилъ именно по этой причинѣ послать ихъ. Они получили историческій интересъ, въ нихъ сохранились воспоминанія времени, которое вдругъ отодвинулось отъ насъ, такъ отодвинулось, что его едва видно; мы начинаемъ забывать черты старой Франціи и отроческой Италіи съ тѣхъ поръ, какъ одна отдала Богу душу, а другая возмужала.

И—рѣ.

Римъ, 2 апрѣля 1848.

валъ, что въ мою душу забирается то самоотверженіе, тотъ холодъ и то «все равно», которое вносится утратами, разрывомъ съ дѣйствительностью, презрѣніемъ къ настоящему; я старился и только иногда по негодванію чувствовалъ еще молодость силъ.

Смерть въ литературѣ, смерть въ театрѣ, смерть въ политикѣ, смерть на трибунѣ, ходячій мертвецъ Гизо, съ одной стороны, и дѣтскій лепетъ сѣдой оппозиціи — съ другой... Тамъ, гдѣ-то внизу раздавались какіе-то крики титановъ, что-то сильное и страшное, какъ будто изъ могучей и здоровой груди, но снаружи—остынувшій кратеръ, превратившійся въ грязь и слякоть. Франція выздоровѣетъ,—я сказалъ это въ прошломъ письмѣ,—безъ радикальныхъ средствъ небеснаго огня и морской воды; но мнѣ не хотѣлось быть сидѣлкой у ея изголовья, пока она ломается въ припадкѣ безумія, сдерживаемая грязными и циническими руками цырюльниковъ и фельдшеровъ... «Въ Италію, въ Италію!» Прочь каменные стѣны, прочь жалкая природа, мнѣ хотѣлось отдохнуть, хотѣлось моря, моря, теплаго воздуха, пышной зелени и людей не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца. Я рѣшился ѣхать. А, признаюсь вамъ, когда пришлось расставаться съ Парижемъ, мнѣ сдѣлалось страшно, мнѣ сдѣлалось больно, вся моя задорная храбрость покинуть Парижъ исчезла, когда пришлось сѣсть въ коляску; я даже ожидалъ, не случится ли что-нибудь, не сломается ли ось; какъ на смѣхъ—ничего, мы покатались. «Ну, а какъ въ Италіи будетъ еще хуже? померанцевыхъ деревьевъ и синяго неба мало для жизни»,—думалъ я, переѣзжая мостъ, сдѣланный изъ камня, наломаннаго народомъ при разрушеніи Бастиліи, и прощаясь съ удивительной панорамой обоихъ береговъ Сены. Огромные почернѣлые отъ времени дома и блестящіе новые дворцы, печальныя, готическія стѣны. Консьержи, величавый фасадъ собора, а по другую сторону Тюльери съ Лувромъ провожали меня... но какъ-то печально. Дождикъ падалъ, небо обложилось, даль была покрыта легкимъ туманомъ, почтальонъ щелкалъ бичемъ, коляска катилась, панорама мѣнялась, становилась бокомъ, уходила за дома, выходила изъ-за домовъ все смутнѣе, смутнѣе... Прощай, Парижъ, прощай... и я въ глубокой задумчивости и въ очень капризномъ и сонномъ расположеніи высунулъ на станціи голову. «Какъ эта станція называется?» — «Шарантонъ!» отвѣчалъ почтальонъ, стоя въ лужѣ и съ досадой откладывая лошадей. Дождь лился ручьями. Смеркалось совершенно. Я вспомнилъ свою свѣтлую квартиру, Рашель, Карлотту Гризи, бульвары... и мнѣ показалось естественнымъ и справедливымъ, что меня привезли въ Шарантонъ за то, что я выѣхалъ изъ Avenue Marigny. Парижъ, господа, что тамъ ни толкуй, единственное мѣсто въ гибнущемъ Западѣ, гдѣ широко и удобно гибнуть!

Ѣздить во Франціи на почтовыхъ лошадахъ скучно: точно машина—ни разговоровъ, ни спора, ни станціонныхъ смотрителей, ни ихъ самоваровъ, ни книгъ, ни подорожныхъ. Почталоны ѣздятъ скоро; закладываютъ въ одинъ мигъ; дорога, какъ скатерть; лошади вездѣ есть; вся поэзія исчезла. И не сломайся у меня коляска въ Шалонѣ, я доѣхалъ бы до Ліона, не замѣтивъ пути. Ліонъ зато во всякомъ случаѣ сдѣлалъ бы на меня сильное впечатлѣніе: я не могъ нарадоваться въ немъ успѣхамъ инженернаго и

фортификаціоннаго искусства во Франціи. Представьте себѣ этотъ огромный, этотъ сжатый, биткомъ набитый городъ, въ которомъ постоянно болѣе трехсотъ тысячъ жителей, можно уничтожить въ полчаса, благодаря укрѣпленіямъ, поставленнымъ послѣ 1832 года. Ліонъ прислоненъ къ двумъ горамъ и разрѣзанъ двумя рѣками; на всѣхъ высотахъ, скромно и не очень выставляясь, притаились небольшія укрѣпленія: тамъ пушекъ пять-шесть, тутъ три-четыре; эти фортификаціонные образчики растутъ, умножаются и тянутся къ огромной крѣпости по другую сторону Соны въ старомъ римскомъ городѣ, которая угловатымъ вѣнкомъ своихъ полигоновъ окружаетъ гору и *городское кладбище*,—*мертвые сберегутся*, т. е. тѣ, которые успѣютъ переѣхать до перваго „пли“. Между отдѣльными крѣпостцами есть художественный ensemble, такъ что, въ случаѣ перестрѣлки, весь Ліонъ покроется ядрами и картечью во всѣхъ направленіяхъ, не будетъ въ городѣ точки, на которую бы не могло упасть ядро, остальное додѣлаютъ бомбы. Середь города тоже разбросаны пушки; идешь какимъ-нибудь закоулкомъ и натолкнешься вдругъ на два, на три жерла, обращенныя на два, на три переулка и осѣненные трехцвѣтнымъ знаменемъ съ иронической надписью: «Liberté et ordre publique!». Главная часть укрѣпленій обращена противъ фабричной части города, расположенной по горѣ съ другой стороны Соны. У меня закружилось въ головѣ, когда я съ крѣпостной стѣны посмотрѣлъ въ трубочку на эти шести-семиэтажные дома, прислоненные къ утесамъ. на эти улицы, кишашія отъ многолюдія, и вообразилъ себѣ два залпа,—одинъ сверху съ утесовъ и другой изъ крѣпости... Мнѣ представилась груда каменьева, теплыхъ отъ человѣческой крови и переложенныхъ дѣтми, женщинами, стариками... Я не могъ удержаться, чтобы не сказать этого офицеру, который стоялъ возлѣ меня... Офицеръ вспыхнулъ въ лицѣ, отвернулся отъ меня и сказалъ голосомъ мрачнымъ и тронутымъ: «Это невозможно». — «Для чего же въ такомъ случаѣ страшныя траты на постройку; были вы здѣсь въ 32-мъ году?»—«Нѣтъ, я былъ въ Алжирѣ; я и теперь—поспѣшилъ онъ прибавить,— временно прикомандированъ здѣсь, я служу въ алжирской арміи». Со мною былъ valet de place. «Вотъ ужасъ-то былъ,—вступилъ онъ въ рѣчь,—пятнадцать лѣтъ прошло, а теперь вспомню, такъ страшно дѣлается. Видите эту террасу? Сюда загнали солдаты и національная гвардія работниковъ; сойти имъ было некуда, назадъ двинуться невозможно — штыки, а дороги, сами видите, какія узкія; пользуясь этимъ, открыли пушечный огонь изъ-за Соны, да тутъ ихъ и покончили картечью».

Я взглянулъ на древнюю римскую стѣну; она сдѣлалась рябая. Страшное событіе, великая жертва въ нашъ вѣкъ со стороны образованнаго министерства; министры большею частью были филантропы, либералы, политическіе экононы, историки, газетчики... Чего, чай, стоило ихъ нѣжному сердцу, ихъ сентиментальности дать такіе приказы... А дѣлать было нечего, надобно было успокоить буржуазію, надобно было дать залогъ, снять всякое сомнѣніе, скрѣпить связь между новымъ порядкомъ и ею. Ліонское усмиреніе и бойня въ Cloître St-Méry громко высказывали, какъ разрѣшается министерствомъ вопросъ о платѣ за работу, о голодѣ и о прочихъ безпорядкахъ, словомъ, это былъ комментарий, очень говорящій, къ знаменитому «désormais

une vérité», это были сентябрьскіе дни второй реставраціи, они отрѣзывали, съ одной стороны, всѣ надежды и сжигали, съ другой, всѣ корабли... «Послѣ двухдневной стрѣльбы, — продолжалъ мой рассказчикъ, — стало потише: тутъ вошла армія торжественнымъ маршемъ, съ барабаннымъ боемъ, съ зажженными фитилями, герцогъ Орлеанскій и Сульть пріѣхали». — «Что же, дали праздникъ?» спросилъ я. — «Нѣтъ, что-то не помню», отвѣчалъ онъ съ величайшимъ добродушіемъ. Я обернулся къ офицеру, но онъ успѣлъ уйти...

У городовъ, какъ у людей, бываетъ иногда трагическая судьба. Ліонъ, который теперь живетъ подъ Дамокловымъ мечемъ укрѣпленій, усѣянный тысячами труповъ въ 32 году, былъ театромъ страшнаго наказанія въ 1793 г. Ліонъ никогда не былъ городомъ аристократическимъ, дворянство его не было блестяще, но въ немъ всегда было обширное богатое купечество и очень сильное духовенство. Все это вмѣстѣ придало его жителямъ, съ одной стороны, характеръ жесткій, корыстный, завистливый, съ другой — угрюмый, нетерпящій, сосредоточенный, скрытно страстный, если хотите — іезуитскій; буржуазія въ Ліонѣ, какъ и вездѣ, была рада перемѣнамъ 89 года всякое пріобрѣтеніе правъ средняго состоянія было дѣйствительно пріобрѣтеніемъ для ліонскихъ фабрикантовъ и торговцевъ; но прежде, нежели гдѣ-нибудь обличилась въ Ліонѣ иная борьба и иное зло, именно — борьба работниковъ съ хозяевами, съ фабрикантами. Пріобрѣтая новыя права себѣ, они хотѣли оставить бѣдные классы и работниковъ въ состояніи прежняго илотства. А потому ліонская буржуазія, апплодировавшая первымъ мѣрамъ народнаго собранія, подняла знамя междоусобной войны противъ конвента. Она это сдѣлала въ самую критическую эпоху для Франціи. Непрiятель былъ въ двухъ шагахъ, съ трехъ сторонъ; Ліонъ, близкій къ Эльзасу, къ Швейцаріи, къ Пьемонту, въ надеждѣ на непріятельскую помощь, защищался храбро противъ республиканскихъ полчищъ, но и тѣ были, конечно, не трусы: городъ былъ ими взятъ. Местъ конвента была страшна, она мѣрилась степенью опасности, въ которой была Франція. Онъ громко возвѣстилъ свой громовой приговоръ: «Срыть съ лица земли крамольный городъ, упразднить его». Послали Кутона, члена комитета обществ. спасенія. Хромой, нервный Кутонъ не былъ ни тѣмъ германскимъ императоромъ, который срылъ до основанія Миланъ и посыпалъ землю солью, ни инженеромъ доктринеровскихъ временъ; онъ не хотѣлъ выполнить буквально свирѣпый приговоръ и придумалъ средство, совершенно обратное доктринерскимъ — не скрыть половину свирѣпостей и грозныхъ мѣръ, а удвоить, накричать объ нихъ такъ, чтобы поразить воображеніе погребальной торжественностью казни... Онъ самъ съ молоткомъ въ рукѣ во главѣ всей черни отправился разрушать богатѣйшія зданія... онъ самъ давалъ первый ударъ молотомъ домамъ, назначеннымъ на сломку; по большей части, этотъ первый ударъ былъ и послѣднимъ. Начался судъ, т. е. казни. Захвативши главныхъ зачинщиковъ, остававшихся въ городѣ, Кутонъ далъ знать подъ рукой замѣшаннымъ въ дѣло жителямъ, чтобы они удалились; нѣсколько тысячъ человекъ были спасены такимъ образомъ; Кутонъ ошибся въ расчетѣ. Главный врагъ возставшихъ ліонцевъ не былъ ни конвентъ, ни его солдаты,

а лионская чернь, которую они морили съ голоду, унижали, тѣснили въ продолженіе цѣлыхъ поколѣній, эта чернь, которой безумный и фанатическій представитель былъ казненъ самымъ страшнымъ образомъ врагами черни, имѣла, сверхъ выстраданной ненависти и злобы, ту неумолимую свирѣпость, которую развиваетъ нужда, невѣжество и долго переносимая несправедливость; у нея были свои частные счеты, имъ хотѣлось мести непреклонной, кровавой, личной; они вѣрили въ нее, ждали ея, наслаждались ею впередъ и обманулись; съ бѣшеной злобой обратились клубисты къ Кутону; трагическая обстановка не скрыла въ ихъ глазахъ мысль конвентскаго посланника. Дѣлать было нечего, надо было усугубить казни. Кутонъ не могъ вынести и просилъ комитетъ общественнаго спасенія отозвать его; чернь требовала болѣе энергическихъ исполнителей, то есть болѣе свирѣпыхъ. На этотъ разъ конвентъ угодилъ имъ: онъ послалъ Карье и Фуше; Карье, которымъ гнушался комитетъ общественнаго спасенія, и Фуше, которымъ не гнушались ни Наполеонъ, ни реставрація. Все, что не успѣло спастись при Кутонѣ, пало подъ ударами гильотины, Рона уносила ихъ обезглавленные трупы, кровь струилась по площади передъ Hôtel-de-ville, толпа осужденныхъ (до 300 человѣкъ, говорятъ иные) была разстрѣляна en masse... Карье и Фуше смотрѣли изъ окна на казнь... Что-то они думали? Кто ихъ знаетъ! Чернь была удовлетворена, месть ея удалась... но она не предвидѣла, что кровь даромъ не проходитъ, что и на улицѣ буржуазіи будетъ праздникъ, что черезъ сорокъ лѣтъ буржуазія отмститъ черни—и какъ!

Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости: юнѣешь, хочется пѣть, плясать, плакать,—такъ все ярко, свѣтло, весело, роскошно. Провансомъ—начинается благодатная полоса; тутъ встрѣчаются лѣса маслинъ, пышная зелень, цвѣты, небо синѣетъ, въ теплые дни чувствуется сирокко. Недалеко отъ Авиньона надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь забрались мы на Эстрель; побоялись ночью спускаться и дождались разсвѣта. Когда мы поѣхали, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ-за утренняго тумана, лучъ солнца освѣтилъ вдаль ослѣпительныя снѣжныя вершины; яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной растительностью; прибавьте къ этому упоительный воздухъ, необычайно прозрачный и звонкій; наши слова, пѣніе птицъ необыкновенно раздавались. Мы стали спускаться; съ каждымъ шагомъ виды мѣнялись: то новая цѣпь горъ откроется, то небольшое озеро внизу, то ѣдешь берегомъ пропасти, то роскошной лужайкой; то у подошвы огромныхъ скалистыхъ пластовъ, точно будто накладенныхъ какими-нибудь титанами, вмѣсто которыхъ теперь прыгаютъ козы. И вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги, какъ кайма около горъ, блеснуло Средиземное море. Мы всѣ молча взглянули другъ на друга... Сколько пустоты, скуки, скорби и, главное, пошлости выкупаютъ такое утро, такой переѣздъ! Тосканецъ-поваръ указалъ мнѣ рукой на этотъ видъ и въ три ручья заплакалъ. «Это наше море, это наши прекрасныя итальянскіе берега!» сказалъ онъ, закрывши лицо рукой. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, не любить такую

родину. Въ этой природѣ есть что-то упоительное, захватывающее грудь,— вотъ и я не могъ не описать вамъ нашего пути, а знаю, что тутъ ничего нѣтъ ни особеннаго, ни новаго. Что дѣлать — вѣздъ въ Италію дѣлается для человѣка какимъ-то счастливымъ событіемъ, свѣтлой чертой въ воспоминаніи...

Отъ Эстреля до Ниццы не дорога, а аллея въ роскошномъ паркѣ: прелестные загородные дома, плетни, украшенные плющемъ, миртами, цѣлыя заборы, обсѣянные розовыми кустами, наши оранжерейные цвѣты на воздухѣ, померанцевыя и лимонныя деревья, тяжелыя отъ плодовъ съ своимъ густымъ благоуханіемъ, и вдали съ одной стороны—Альпы, съ другой—море.

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht...

Удивительно хорошо. Одно оскорбляетъ глазъ и щемитъ славянскую душу: высокія каменные ограды, отдѣляющія сады, даже иногда огороды и поля; мрачныя, лишеныя изящества, они приставляютъ какое-то увѣковѣчиваніе исключительнаго владѣнія, дерзкій апофеозъ права собственности; для пролетарія дорога пыльная, жесткая и оскорбительная стѣна, напоминающая ему непрерывно, что онъ нищій, что для него нѣтъ даже вида вдаль. Нельзя себѣ представить, какой угрюмый характеръ придаютъ полямъ и землѣ эти стѣны; деревья, какъ узники, посматриваютъ черезъ нихъ... Русскаго села въ Европѣ нѣтъ. Деревенская коммуна въ Европѣ—полицейская мѣра, другого смысла въ ней нѣтъ. Что общаго между этими разбросанными домами, у которыхъ все свое, которые связаны только общей межей? Что общаго между голодными работниками, которымъ коммуна предоставляетъ le droit de glaner, и богатымъ домохозяиномъ? Да здравствуетъ русское село! Будущность его велика. Ницца — городъ французскій больше, нежели итальянскій, — объ немъ говорить много нечего. Не будь въ Ниццѣ нѣсколькихъ гористыхъ и темныхъ переулковъ, по которымъ ѣздитъ нельзя отъ узкости, а ходить невозможно отъ грязи, не будь горы, къ которой она прислонилась старой частью своей, и залива, который, въ свою очередь, прислонился къ новой части, она была бы похожа на большой губернской городъ у насъ. Одна достопримѣчательность и есть въ Ниццѣ — рѣка безъ воды, но съ набережной, съ мостомъ, какъ слѣдуетъ, даже сохраненъ видъ, будто она впадаетъ въ Средиземное море. Ницца живетъ и процвѣтаетъ туристами; почему предпочитаютъ Ниццу другимъ городамъ той же полосы и такъ же огражденнымъ горами, я не знаю. Для того, чтобы жить въ Ниццѣ, надобно изсушить свое тѣло излишнимъ воздержаніемъ или излишней невоздержанностью, какъ всѣ англичане, павшіе на ноги, и всѣ англичанки съ попорченнымъ спиннымъ мозгомъ, которые составляютъ главное населеніе Ниццы. Или, наконецъ, въ ней можно жить раг дѣpit на смѣхъ всей Европѣ, какъ девяностолѣтній Сержанъ, умершій здѣсь три мѣсяца тому назадъ. Сержанъ будировалъ Францію, недовольный *умѣренностью* конвента. Закознѣлый старикъ умеръ, сильно озлобивши іезуитовъ. Они хотѣли воспользоваться апоплексіей и предсмертной слабостью его, чтобы заставить торжественно отречься отъ прежней жизни своей. Для нихъ такое обращеніе было бы очень казисто. Но Сержанъ такъ же мало испугался паралича и іезуитовъ, какъ нѣкогда гильотины и палачей; онъ приподнялся съ усиленіемъ

и слабымъ голосомъ объявилъ стоявшимъ возлѣ его постели передъ самой кончиной, что если-бъ ему пришлось снова повторить свою жизнь, то онъ снова игралъ бы ту же роль въ событіяхъ, что совѣсть его покойна, что онъ, можетъ, ошибался, но въ преступленіи себя ни въ какомъ не обвиняетъ и проч., а Сержанъ участвовалъ въ сентябрьскихъ дняхъ! Какъ тутъ поймешь?..

Зато Генуя—совершенно итальянскій городъ. Мы приплыли въ Геную прелестнѣйшимъ ноябрьскимъ днемъ на разсвѣтѣ. Что это за удивительная красота, какъ пышно разсыпался этотъ городъ по горѣ до самаго моря. Зданія, улицы Генуи имѣютъ совершенно оригинальный характеръ, огромные дворцы, мраморъ, дома вышиною съ наши колокольни и узенькіе переулки безъ конца, покрытые народомъ, который тутъ работаетъ, ѣсть, поетъ пѣсни, безпрестанно кричитъ и размахиваетъ руками.

И что за добрый, что за славный народъ итальянцы, — со всякимъ днемъ убѣждаюсь я въ этомъ болѣе и болѣе. Сколько привѣтливости, гуманности, сколько веселаго юмора и беззаботнаго простодушія; даже его мелкія плутни, о которыхъ столько накричали туристы, скорѣе смѣшны и веселы, нежели отвратительны, и всегда вертятся около пяти-шести байокко; онъ, обманывая васъ, дѣлаетъ такую улыбку и такіе глаза, онъ такъ доволенъ и такъ готовъ сознаться, что жлетъ, что у васъ недостаетъ духу сердиться. Замятьте при томъ, что онъ никогда не унижается, никогда не похожъ на раба ¹⁾.

Геную я засталъ торжествующую, нарядную. Карлъ-Альбертъ былъ тутъ, и городъ пировалъ съ нимъ реформу и примиреніе. Генуя съ самаго присоединенія къ Сардиніи жила въ какомъ-то мрачномъ отчужденіи отъ Пьемонта, она смирялась, покорялась, но съ нахмуреннымъ челомъ; ея аристократы держали себя вдали отъ Турина, пьемонтскіе чиновники были иностранцы для лигуровъ. Реформа уничтожила почти все, дѣлившее двухъ сосѣдей. Кстати, вѣсть о реформѣ я еще узналъ въ Ниццѣ. Расскажу вамъ какъ это было. Мнѣ эти воспоминанія святы, съ ними связано у меня нравственное выздоровленіе, за которое я бесконечно благодаренъ Италіи.

Я бѣжалъ изъ Франціи, отыскивая покоя, солнца, изящныхъ произведеній и сколько-нибудь человѣческой обстановки, да и всего этого я ждалъ

¹⁾ Это писано прежде, нежели я познакомился съ неаполитанскою чернью и съ лацарони; о нихъ я не могу сказать того же, — они дѣйствительно, какъ сами себя называютъ, *miserabile gente*. Зато они и составляютъ исключеніе. Честный бѣднякъ въ Италіи можетъ просуществовать сутки на десять копѣекъ мѣдью и при томъ, сверхъ хлѣба, купить броколи и выпеть вина. Говорятъ, итальянцы лѣнтивы; быть можетъ, къ этому ведетъ и климатъ, и легкость, съ которой здѣсь достается кусокъ хлѣба, и чрезвычайная умѣренность итальянца въ питьѣ и ѣдѣ. Да сверхъ того я, право, не знаю, зачѣмъ быть ретивымъ, — французовъ и англичанъ никто не обвиняетъ въ лѣни, работники гдѣ-нибудь въ Ліонѣ или Манчестерѣ работаютъ страшно много, а еще хлѣба насущнаго не заработали! Въ Италіи съ голоду не умираютъ, а работа такъ дорога, что хозяева *дорожатъ* работниками.

не въ Пьемонтѣ. И что же? Лишь только я поставилъ ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая. Я обязанъ Италиі воскресеніемъ лучшихъ упованій, обновленной вѣрой въ свои силы и силы другихъ; я здѣсь увидѣлъ одушевленные лица, слезы, я здѣсь увидѣлъ, что и самъ не разучился сильно чувствовать. Безконечная благодарность судьбѣ за то, что я попалъ въ Италию въ такую великую минуту ея жизни, въ это спокойное, благородное *risorgimento*, полное силы, сознанія и того изящества, которое присуще всему итальянскому: дворцу, хижинѣ, нарядной женщинѣ и нищему въ лохмотьяхъ.

Кому изъ васъ не случилось проѣзжать по селу въ свѣтлый праздникъ, — все нарядно, радостно; мужичекъ выпилъ стаканчикъ и разсѣялъ думу объ оброкѣ; баба надѣла новый сарафанъ и не думаетъ о барщинѣ; парни гуляютъ, забывъ о рекрутствѣ; «они воскресли тоже», говоритъ Фаустъ, «изъ душныхъ мастерскихъ, изъ низенькихъ домовъ». Представьте же себѣ не село, а цѣлую страну въ праздничномъ нарядѣ, да еще въ такое воскресенье, которое не имѣетъ понедѣльника, страну, которая не обманула себя на день, а вступила въ новую эру, и въ дополненіе представьте, что эту страну называютъ «Италию»! Фаустъ, видя праздничныхъ поселянъ, сказалъ: *Hier bin ich Mensch—hier darf ich seyn!* Что сказать мнѣ?..

А давно ли было то время, въ которое Гейне писалъ, что въ путевыхъ запискахъ объ Италиі можно говорить обо всемъ, кромѣ Италиі? Всѣ находили, что онъ правъ, всѣмъ казалось пошлымъ о предметѣ, о которомъ все высказано съ гениемъ Гете и съ негодованіемъ леди Морганъ, съ поэтическимъ гнѣвомъ Байрона, съ мѣщанской тупостью Валери, написавшаго гидъ *ad usum* французской буржуазіи. Казалось, что нѣтъ предмета, болѣе исчерпаннаго, какъ Италиа, потому что въ ней ничего не совершалось, и шутнику оставалось повторять о величинѣ Колизея, о дѣйствіи луннаго свѣта на развалинахъ, о куполѣ Св. Петра, о Ватиканѣ, о жирондолѣ и папскихъ благословеніяхъ... Италиа лѣтъ двѣсти, даже слишкомъ, ничего не дѣлала, какъ будто нарочно давая полное время описывать себя со всѣхъ сторонъ; она изящно позировала,—великая куртизанка между народами:

O tu, cui fù la sorte
 Dono infelice di bellezza . . .

 Oh, fossi tu men bella o almen piu forte,
 Onde assai piu te paventasse, o assai
 Ti amasse men¹⁾

и сбылось, только ее не разлюбили. Недаромъ Соломонъ въ притчахъ сказалъ: на все свое время; есть время камни собирать, есть время камни

¹⁾ О, ты, на чью долю выпалъ
 Несчастный даръ красоты!
 О, если бы ты была менѣ прекрасна,
 Или, по крайней мѣрѣ, сильнѣе,
 Вслѣдствіе чего я больше боялся бы тебя, или
 Меньше любилъ бы тебя.

метать... Было время тяжелого сна для Италии, она устала отъ двухъ великихъ прошедшихъ, она устала отъ междоусобій, отъ несчастій и, захваченная въ брани и ненависти, она просыпается, одушевленная одной любовью и одной мыслью, она спаялась горемъ и слезами, она научилась въ это скорбное время признавать брата въ каждомъ отвѣчающемъ «*si*»¹⁾ на вопросъ и забыла семейныя ссоры и старыя притязанія.

Глухой говоръ о реформѣ, тяжелое ожиданіе ея, подземный ропотъ, *дѣятельная тишина*, если можно такъ выразиться, предшествовали обнародованію перемѣнъ; полицейскіе ходили, придавая своему лицу особую проникательность; озлобленные іезуиты и испуганные аббаты шныряли по улицамъ и поучали направо и налево; военные придавали себѣ еще болѣе кровожадный видъ²⁾. Группы являлись вдругъ, какъ изъ-подъ земли, на площадяхъ, на углахъ; въ кофейняхъ и на бульварахъ говорили о политикѣ, несмотря на то, что еще не было разрѣшенія говорить о чемъ-нибудь, кромѣ погоды. Въ Туринѣ были замѣтны большія хлопоты; то одного министра отставятъ, то другого переведутъ куда-нибудь, то третій самъ выйдетъ; «*Gazetta Piemontesa*» свирѣпствовала противъ реформъ, жужжала съ безсильной злобой пчелы противъ всѣхъ нововведеній и дурнымъ слогомъ говорила, что Сардинія находится наверху блаженства; что если въ ней похуже, нежели въ царствѣ небесномъ, то это только потому, что еще не совсѣмъ развились премудрыя учрежденія, созданныя Кориніанскимъ домомъ; что реформа погубитъ прелестную гармонию Пьемонта, Лигуріи, Савойи и Сардиніи... Карлъ-Альбертъ иначе понималъ вопросъ; онъ чрезвычайно казисто и своевременно исполнилъ то, чего отложить не могъ. Онъ очень хорошо понималъ, съ одной стороны, зрѣлость своего народа, съ другой—перевѣсъ, который ему дастъ реформа въ глазахъ всей сѣверной Италии. Реформа была самая скромная, она стремилась поправить вещи, вопіющая несправедливость которыхъ бросалась въ глаза, мѣняла устарѣвшія учрежденія, обезсиленные самимъ временемъ. Словомъ, возлѣ Пія IX, возлѣ Леопольда Тосканскаго нельзя было не сдѣлать уступки развитію, потребностямъ времени. Важнѣйшая сторона реформы состояла въ довольно широкихъ коммунальныхъ правахъ. Коммуна—глубочайшій корень гражданственности; всякая политическая перемѣна только въ ту мѣру истинна, въ которую она входитъ въ жизнь коммуны; доселѣ коммуны управлялись коронными приставами, теперь онѣ сами будутъ избирать начальника, будутъ имѣть свой совѣтъ. Далѣе, судопроизводство получило правильную однообразную форму инквизиціонный процессъ замѣняется гласнымъ, одинъ судъ и одинакій судъ для всѣхъ, судопроизводство всякими исключительными комиссіями отмѣнено, власть полиціи сокращена, власть цензуры уменьшена, разрѣшено

1) la dove il *si* suona (тамъ, гдѣ звучитъ *si*, то есть, *da*).
Dante.

2) Кстати къ военнымъ. Что это за войско въ Пьемонтѣ? Я нигдѣ не видалъ такихъ солдатъ, какъ напр. въ сардинской гвардіи, стоявшей въ Генуѣ. Что за народъ, какая мужественная осанка и притомъ совершенно свободная, ничего нѣтъ похожего на прусскихъ деревянныхъ солдатовъ.

издавать политическіе журналы, даже употреблено слово «*свобода книгопечатанія*», болѣе, впрочемъ, какъ ораторское украшеніе¹⁾; вы помните, что и Фигаро имѣлъ право все говорить, за исключеніемъ того, о чемъ хочется. И такъ, въ то время, какъ дикія завыванія «Пьемонтской Газеты» печатались, Карль-Альбертъ страшно наказалъ офиціальныи листъ, подписывая положеніе о реформѣ. И на другой день является «Пьемонтская Газета», въ ней манифестъ о реформѣ... Марія-Антуанетта посѣдѣла за ночь, газета перемѣнила свой цвѣтъ въ полчаса,—жить не можетъ безъ реформъ, и только въ горячности своего поклоненія новымъ мѣрамъ она представила такъ ужасно безпорядокъ и вредъ всего, защищаемаго ею съ такимъ ожесточеніемъ, что я растерялся въ догадкахъ. «Вѣрно, перемѣнили редакцію?»—спрашиваю я въ Cabinet de lecture. «Нѣтъ, редакторы тѣ же». Стало быть, редакторы включительно до королевскаго приказа о реформѣ были помѣшанные и вдругъ прозрѣли въ этотъ день... Эдакіе случаи «бывали въ исторіи со многими извѣстными людьми и большими листами».

Новость разнеслась съ быстротой электрическаго телеграфа. Все населеніе Ниццы высыпалось на Корсо, шляпы полетѣли вверхъ, трехцвѣтные фуяры, привязанные къ тростямъ, замѣнили знамена, загремѣла музыка, и раздалось громкое, непрерывное «*Evivo Carlo-Alberto... Eviva l'Italia, eviva Pio popo*»... Бюстъ Пія явился въ окнахъ рядомъ съ бюстомъ короля... Вечеромъ городокъ покрылся плошками, шкаликами, толпы народа гуляли съ пѣснями, криками и факелами; съ балконовъ дамы махали платками, мужчины выходили съ кокардами; работа остановилась, городъ ожилъ; энтузіазмъ не зналъ предѣла, онъ доходилъ до ребячества—и только, было, улегся немного, какъ вдругъ *lega doganela* — опять знамена, факелы, опять гимнъ Пію IX, гимнъ Карлу-Альберту.

Кстати, къ празднествамъ Ниццы расскажу вамъ, какъ я въ первый разъ *не слышалъ* гимнъ Пію. Читаю я однажды въ Парижѣ объявленіе, читаю тамъ, гдѣ обыкновенно приклеиваютъ афиши,—на тѣхъ выдолбленныхъ памятникахъ, назначенныхъ съ одной стороны для величайшей гласности, а съ другой — для глубочайшаго *aparte*, что въ *Château des Fleurs* будетъ пропѣтъ въ первый разъ гимнъ *Pio popo*. Бѣгу въ этотъ ультрамѣщанскій и пошлый садъ, беру билетъ, сажусь... Играютъ польки, поютъ «Чувствительную Перетту», плохой актеръ *del'Opera Comique* дурачится... играютъ, наконецъ, отрывокъ изъ «Сороки» Россини и пускаютъ ракету, трещитъ плохой фейерверкъ, мѣщанки показываютъ видъ страха, ихъ кавалеры храбро улыбаются... Все это мило, но гдѣ же гимнъ? Фейерверкъ обыкновенно значитъ «подите вонъ». Я въ отчаяніи подхожу къ капельмейстеру съ афишей въ рукѣ. «У насъ все было готово, отвѣчаетъ капельмейстеръ, префектъ запретилъ. *Que voulez-vous faire, nous vous avons donné*

¹⁾ Не надобно забывать, что здѣсь идетъ рѣчь о реформѣ, данной въ ноябрѣ 1847. Съ тѣхъ поръ король далъ конституцію въ февралѣ 48. До ноября въ Сардиніи были запрещены тосканскіе и римскіе журналы, кромѣ офиціальныхъ, даже «*Journal des Debats*» не былъ дозволенъ! Теперь это кажется сказкой.

pour le *Pie-Neuf* un morceau de la *Pie voleuse*». Не думайте, впрочемъ, что я одинъ замѣтилъ, что гимна не было. Вы знаете, какъ парижская публика требовательна... Но вы, можетъ, не знаете, какъ ее выдрессировали Дюшатель и Делессеръ. Мѣщане пошептались и пошли по домамъ. Муниципалы, т. е. королевская гвардія Карла X въ другихъ мундирахъ, какимъ-то холодно упорнымъ взглядомъ проводили посѣтителей до улицы... Мнѣ было досадно... Я вышелъ изъ воротъ глупаго сада; два ряда безчисленныхъ фонарей горѣли въ обѣ стороны Елисейскихъ полей; съ одной стороны, на Place de la Révolution грозился черный печальный обелискъ, поставленный на мѣстѣ страшной гильотиной; я обернулся назадъ, тамъ исчезалъ Arc de Triomphe, на которомъ чудный рѣзецъ такъ славно вырѣзалъ Марсельезу... А между площадью и триумфальными воротами запретили пѣть гимнъ Пію девятому.

Мишле, начиная курсъ второго семестра 1847, сказалъ: «гг., прошедшій годъ для насъ — нравственное Ватерлоо: глубже упасть нельзя, мы дотронулись до дна срама и позора». Мишле не думалъ въ это время, что у фокусниковъ есть ящики съ нѣсколькими днами. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ произнесъ эти слова, открылось еще дно пониже. Послѣднее ли оно—увидимъ! Но воротимся къ Италіи.

Въ Ливорно я увидѣлъ первую итальянскую народную стражу, чивика, *il popolo armato*. Люди, одѣтые въ блузахъ и курткахъ, во фракахъ и пальто, съ перевязью черезъ плечо, съ ружьемъ и съ кокардой на шляпѣ или фуражкѣ занимали всѣ посты. Въ этомъ зрѣлищѣ есть нѣчто чрезвычайно совершеннѣе. Національная гвардія въ мундирѣ — не армія, но и не граждане,—чивика въ блузѣ и сюртукѣ остается мирнымъ гражданиномъ, оберегающимъ иногда общественный порядокъ, никогда не враждебный народу... А, впрочемъ, мнѣ даже сдѣлалось больно, когда я вздумалъ о страданіяхъ грибоѣдовскаго Сергѣя Сергѣевича, такъ любившаго форменныя отлички, въ мундирахъ выпушки, погончики, петлички.

Въ Ливорно случилось дня за два до моего приѣзда забавное происшествіе. Полиція, — хотя тосканская полиція всегда была скромнѣе, нежели во всей Италіи, — обиженная реформами, а болѣе всего учрежденіемъ чивики, которая обрѣзала ихъ кругъ дѣятельности, бросилась въ рѣшительную оппозицію. Между прочимъ, имъ хотѣлось замарать, компрометировать чивика; для этого полиція стала подкупать разныхъ мерзавцевъ, чтобы они ночью старались завязывать драки и шумъ съ патрулями чивики. Въ одну ночь игра зашла нѣсколько дальше программы: одинъ изъ плутовъ ударилъ капрала ножомъ да такъ ловко или такъ неловко, что тотъ упалъ и умеръ; убійцу схватили и свели въ тюрьму... Разнесся слухъ, что его хотѣли поскорѣ казнить, чтобы скрыть семейные толки о подкупѣ... Народъ привелъ священника къ тюрьмѣ, велѣлъ колодника подвести къ окну и заставилъ его каяться; испуганный, что ли, или тронутый, но дѣло въ томъ, что преступникъ рассказалъ все, чивика отправилась арестовать сообщниковъ, и когда они поймали двухъ, трехъ, остальные, т. е. вся полиція, бросилась въ вагоны и ускакала въ Эмполи. Городъ остался совершенно

безъ начальства и притомъ въ удивительномъ порядкѣ, чивика исполняла всѣ полицейскія обязанности. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что муниципальная жизнь, привычка распорядиться городскими дѣлами, унаслѣдованная и отъ древняго міра и отъ среднихъ вѣковъ, поразительны въ Италіи. Это такой великій, такой полный будущаго элементъ, который не умѣли и не могли подавить ни папы, ни тедески. Гнетъ, лежавшій на Италіи, почти никогда не касался до коммунальныхъ и чисто городскихъ правъ: онъ подавлялъ политическую жизнь, общегосударственное развитіе ея, подавлялъ общія мысли и новую цивилизацію, но до сильно сложенныхъ и замкнутыхъ индивидуальностей городскихъ онъ не касался, особенно въ Тосканѣ и папскихъ владѣніяхъ. Напротивъ, власть старалась ихъ поддерживать въ исключительности и отчужденіи отъ всего за стѣнами города; наконецъ, она ихъ поддерживала потому, что легче было вести дѣла, имѣя коммунальную жизнь за себя. Города, пользуясь этимъ, не отвыкали управляться сами собою.

Въ Тосканѣ сильное политическое движеніе; жители этой полосы Италіи образованнѣе прочихъ итальянцевъ. Вы знаете, что еще до французской революціи Тоскана уже имѣла довольно свободныя учрежденія и даже конституцію, которой не умѣла пользоваться. До австрійской династіи Тоскана менѣе своихъ сосѣдей пострадала отъ вѣковыхъ бѣдствій Италіи, это какой-то береженный садъ ея. Теперь всѣ отъ мала до велика занимаются политикой, вездѣ платки съ патриотическими надписями, каррикатуры, стихи. Лодочникъ, который меня везъ изъ Ливорно на пароходъ, толковалъ о необходимости присоединенія Миссы и Каррары къ Тосканѣ, потомъ сталъ рассказывать продѣлки іезуитовъ, сильно выражаясь насчетъ почтенныхъ братій, а когда я, вспомнивъ свое православіе, не счелъ нужнымъ особенно ихъ защищать, тогда онъ со мной совершенно подружился и вдругъ схватилъ меня за руку и съ довольнымъ лицомъ указалъ мнѣ на бортъ лодки; тамъ было грубо и косо вырѣзано «Viva Gioberti e l'indipendenza». Во Флоренціи мы не были, оставили ее для обратнаго пути.

Тридцатаго ноября пріѣхали мы въ Римъ.

Генуя, Ливорно, Пиза остались въ моей памяти свѣтлыми точками, воспоминанія объ нихъ всякій разъ дѣлають мнѣ большое добро. Такого вполне радостнаго чувства, какъ въ этихъ городахъ, я не часто испытывалъ. И, не странное ли дѣло, при переборѣ отрадныхъ воспоминаній сейчасъ представляется—что вы думаете?—Кенигсбергъ! Есть города такъ, какъ люди, съ которыми встрѣчаешься особенно тепло, подъ особенно счастливымъ созвѣздіемъ. Кенигсбергъ былъ первый городъ, въ которомъ я отдохнулъ и свободно перевелъ дыханіе послѣ тяжелаго и долгаго пути; въ немъ я встрѣтился съ Европой—и вотъ теперь невольно вспомнилъ его.

Не могу сказать, чтобы Римъ съ перваго раза сдѣлалъ особенно пріятное впечатлѣніе. Въ Римъ надобно вжиться, его надобно изучить; чтобы раскрыть его хорошія стороны. Въ наружности его есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачныя улицы, его огромные дворцы и некрасивые дома печальны; въ немъ все почернѣло, все будто послѣ покойника, все пахнетъ затхлымъ, такъ, какъ въ Берлинѣ или Петербургѣ

все лоснится, все ново, все пахнет известью, сырымъ, необжитымъ. Но всего болѣе поражаетъ въ старчествѣ Рима отсутствіе величія, ширины,—понятія, которыя мы привыкли сопрягать со словомъ Римъ и которыя, дѣйствительно, остались въ нѣкоторыхъ памятникахъ да уцѣлѣли въ народномъ характерѣ. Новый Римъ мескиненъ и грязенъ, лишень торговли и съ нею — всѣхъ удобствъ. Въ Италіи нигдѣ нѣтъ комфорта, но нѣтъ и пошлости, итальянскіе города грязны, но поразительно хороши въ своей небрежности; они неудобны, но величавы, нигдѣ не тѣсно, нигдѣ нѣтъ vulgar. Итальянскія лохмотья—драпри. Римъ дѣлаетъ исключеніе. Пожалуйста, не осуждайте меня снова за неуваженіе, а дайте объясниться, о какомъ Римѣ я говорю. Я говорю о Римѣ, который *есть*, а не о двухъ прошедшихъ Римахъ и еще менѣе о томъ, который нарождается, я говорю о Римѣ настоящемъ, какъ онъ вышелъ изъ рукъ послѣдняго представителя смерти и оцѣпенѣнія—въ полтора года переродиться ему было невозможно.

«Вѣчный» городъ нѣсколько разъ мѣнялъ свою броню; слѣды разныхъ одеждъ его остались, по нимъ можно судить, какова была его жизнь. Римъ—величайшее кладбище въ мірѣ; здѣсь, какъ въ анатомическомъ театрѣ, можно изучать смерть во всѣхъ ея фазахъ, здѣсь можно научиться понимать былую жизнь по кости, по одной колоннѣ.

И первое, чтѣ поражаетъ человѣка, не свихнувшего свой умъ приготовленной теоріей, это—слѣды жизни узкой, дикой, отталкивающей, исключительной, сварливой, которыми смѣняется широкая, изящная жизнь древняго Рима. Въ ней ни малѣйшаго понятія объ искусствѣ, ни малѣйшаго чувства изящнаго; застроенныя въ стѣны колонны, порталы стоятъ вѣчными свидѣтелями безвкусіа печальнаго міра, замѣнившего міръ Пантеона и Колизея. Древній Римъ палъ, какъ могучій гладіаторъ, — его колоссальный остовъ внушаетъ благоговѣніе и страхъ; онъ и теперь гордо и торжественно борется противъ разрушенія, время не могло сокрушить его кости; его остатки, ушедшіе въ землю, разваливающіеся, покрытые плющемъ и мохомъ, величественнѣе и благороднѣе всѣхъ храмовъ Браманте и Бернини. Каковъ былъ великій духъ, умѣвшій такъ отпечатлѣть себя этими каменными ребрами, духъ, до того поправшій смерть, что полустертый слѣдъ его подавляетъ собой два, три Рима, выстроенные возлѣ и строившіеся вѣка. Когда я первый разъ вышелъ на Капитолійскую гору и, вовсе не зная Рима, вдругъ неожиданно очутился на Форумѣ, у меня сперлось дыханіе, я остановился, смущенный и взволнованный. Вотъ онъ—остовъ великаго дѣятеля. Я узналъ его черты, въ гигантскомъ скелетѣ сохранившія царственное выраженіе; Forum Romanum—великія свѣтскія мощи міра чисто свѣтскаго. Достаточно одного образчика, достаточно съ избыткомъ, напримѣръ, однѣхъ термъ Каракаллы, чтобы понять вѣчный Римъ тутъ, въ этихъ развалинахъ,—и чтобъ по этимъ развалинамъ рассказать, кто были римляне.

Рядомъ съ костями полубога, играя возлѣ нихъ, около нихъ, а частію и на нихъ, замерла другая жизнь, жизнь средневѣковаго Рима, печальная, суровая мумія. Весь этотъ византизмъ и готизмъ былъ не по натурѣ итальянцамъ, всего менѣе — римлянамъ. Они не настолько южны, чтобъ предаваться страстному аскетизму, и не настолько сѣверны, чтобъ предаваться

мечтательному мистицизму. Климатъ Италіи слишкомъ свѣтелъ, ея деревья слишкомъ хороши, небо слишкомъ сине, женщины слишкомъ стройны и черноглазы для всей этой истомы плотоумерщвленія. Итальянца тянетъ изъ-подъ готической стрѣлки къ спокойному куполу Пантеона, онъ не стремится вмѣстѣ съ теряющимися колокольнями и сводами «туда, туда». Вѣдь, и Миньона звала своимъ «dahin, dahin» только въ Италію. Жизнь средне-вѣковая была для Рима долгая болѣзнь искупленія старыхъ грѣховъ, онъ изнемогъ отъ избытка жизни и страсти и вѣка проводилъ въ кровавыхъ дракахъ и смутахъ, спокойно продолжавшихся подъ апостольскимъ благословеніемъ папъ. Когда онъ собрался съ силами, онъ опять, было, сдѣлался свѣтскимъ при доблестныхъ цезаряхъ Юліи II и Львѣ X. Языческая закваска никогда не проходила въ Италіи,—къ ней равно не прививались ни учрежденія *благочинства и тишины*, о которыхъ такъ старались Гибелины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь міръ, за исключеніемъ Италіи.

Возстановленный Римъ дебютировалъ громадно,—закладкой Св. Петра, но прежде, нежели папа Павелъ V и Карлъ Мадерни достроили и испортили храмъ, заложенный Браманте, по Италіи и по Риму прошло дыханіе смерти и оцѣпенѣнія. Карлу V и Мартину Лютеру принадлежитъ эта печальная слава. Одинъ положительно, другой отрицательно нанесли такіе удары, послѣ которыхъ Италія долго не могла поправиться—цѣлыхъ триста лѣтъ!

Реформація потрясла и измѣнила Римъ во всѣхъ отношеніяхъ; финансы, политика, религія, нравы,—все перемѣнилось. Реформація, долею освободившая мысль въ Германіи и на сѣверѣ Европы, остановила естественное развитіе мысли итальянской; она испугала совѣсть ересью, она поразила умы возможностью паденія католицизма, она ожесточила духовенство, построила его въ боевой порядокъ, она раздула инквизицію и вызвала тонкій ядъ іезуитизма. Александръ Борджіа,—этотъ Тиверій въ тиарѣ,—*борется* съ Савонаролой; послѣ Лютера борьба невозможна; пытка, казнь, цѣпи—отвѣтъ на всякое разномысліе. Доминиканцы трепещутъ за бытіе церкви и іерархіи, да и міряне спохватились, что они слишкомъ упали въ міръ практической, суетной, — все приняло аскетическія формы, забытыя фразы очутились въ устахъ каждаго, начали поститься, исполнять внѣшніе обряды, и свѣтлая сторона итальянской жизни только и звучала, что въ Аріостѣ.

Между тѣмъ, борьба Франціи и Испаніи на итальянской землѣ политически добила Италію. Она мученически вынесла тысячелѣтнее междоусобіе, *свою* войну; но толпы иностранцевъ не могла вынести. Поля были потоптаны, стада угнаны. Города лишены укрѣпленій, ограблены, достовѣрность, обезпеченность не существовали. Римъ оцѣпенѣлъ, его еще нѣсколько щадили изъ уваженія, изъ благочестія, изъ необходимости имѣть Римъ. Отсюда начинается для него новая эра. Мы ее можемъ считать съ Карла V. Карлъ V былъ одинъ изъ главнѣйшихъ преобразователей политическаго устройства европейскихъ государствъ, онъ убилъ войной прошлую жизнь Италіи почти столько же, сколько убилъ ее въ Испаніи мертвящимъ, бездушнымъ сосредоточеніемъ всѣхъ властей. Карлъ V — первый царь европейскій. Съ него началось нѣмое управленіе, притѣсненіе всего самобытнаго, мѣстнаго, инди-

видуального; пошлость и повиновеніе замѣнили средневѣковую федеральную честь. Въ эту-то сѣрую и глухую эпоху сложился тотъ Римъ, который стоитъ теперь печально, неудобно, неизячно, тотъ Римъ, отъ котораго глаза ваши ищутъ отвернуться, чтобы отдохнуть въ грустной Кампаньи или потеряться въ созерцаніи великихъ развалинъ. Жизнь XVII вѣка не знала зодческаго величія древнихъ, пренебрегала мрачнымъ готизмомъ и не предвидѣла изящества новыхъ городовъ съ ихъ площадями, широкими улицами, съ ихъ удобнымъ изяществомъ. XVII вѣкъ уцѣпился за свое рококо, за свой *renaissance*, кривыя линіи, лѣпилъ домъ къ дому, церковь къ дому, портилъ площади, все предоставлялъ случайности и капризу. Широкая жизнь тѣхъ вѣковъ текла не въ Римѣ, — Парижъ, Лондонъ, даже Неаполь, Миланъ, Флоренція перестроились съ тѣхъ поръ или, лучше сказать — непрерывно строятся; въ нихъ такъ много силъ, свѣжести, юности; дѣятельный духъ, живущій въ нихъ, требуетъ перемѣны, расширенія, роскошной обстановки; на Римѣ, слабомъ и оставленномъ, лежалъ вампиръ, который высасывалъ всю кровь. Гдѣ ему было перестраиваться? его дворцы чернѣли, его виллы зарастали, его граждане приучались къ лишениямъ — онъ остался Римомъ XVII вѣка, ожидая новой жизни, и дождался ея.

Пій IX былъ на этотъ разъ Симеономъ Богопримцемъ «нынѣ отпускаеши раба твоего». Но для наружности Рима онъ не могъ ничего сдѣлать. Римъ страшно бѣденъ. Его доходы были искусственны, реформація отрѣзала ему Англію и большую часть Германіи, просвѣщеніе — почти все остальное; у него все уменьшилось, кромѣ расходовъ; нищенствующая братія все также живетъ подаеніемъ, оставшіяся послѣ Наполеона достоянія монастырей и духовныхъ корпорацій все такъ же служатъ для поддержки скудельнаго тѣла отказавшихся отъ міра сего. Римъ обнищалъ, и настоящей итальянецъ сидитъ въ лохмотьяхъ, а похожъ на царя, и не думаетъ о томъ, какъ горю помочь. Городъ этотъ, какъ всѣ вѣнчанныя главы, не привыкъ заботиться о матеріальныхъ нуждахъ. Римъ въ IX вѣкѣ увѣренъ, что торговля всего міра стремится на его рынки; онъ увѣренъ, что онъ до сихъ поръ — нравственный центръ католической Европы, которая ничего лучше не проситъ, какъ прислать ему все, что нужно: отъ восковыхъ свѣчей и ладана до драгоценныхъ утварей.

Но чѣмъ болѣе вы живете въ Римѣ, тѣмъ болѣе исчезаетъ его мелкая, пошлая сторона, и тѣмъ болѣе все ваше вниманіе сосредоточивается на иныхъ интересахъ и на иныхъ предметахъ — величія и изящества безконечнаго: грязныя сѣни, отсутствіе всѣхъ удобствъ, узкія улицы, нелѣпые дома, пустыя лавки становятся все мельче и мельче, и изъ-за нихъ мало-помалу вырѣзываются другія стороны римской жизни, какъ пирамиды или горы изъ-за тумана; увидѣвши ихъ, глаза отъ нихъ не отрываются, забыта каменная дорога, болотистая трава, жаръ, холодъ и пыль. Такова на первомъ планѣ *Camagna di Roma*. Сначала она поражаетъ пустыннымъ видомъ, отсутствіемъ обдѣланныхъ полей, отсутствіемъ лѣсовъ; все бѣдно, угрюмо, будто вовсе не въ средоточіи Италіи, — «да такіе пустыри, молъ, и на берегахъ Истры, даже Шпре найдутся»... Но мало-помалу человѣкъ начинаетъ знакомиться съ этой вѣчной пустыней, съ этой дикой рамой Рима.

Ея безмолвіе, ея опаловая даль, синія горы на горизонтѣ располагають душу къ торжественной грусти... Тамъ гдѣ-нибудь медленно двигается осель съ бубенчиками; черноволосый пастухъ, съ фартукомъ изъ бараньей кожи, сидитъ печально подгорюнившись и смотритъ вдаль; и женщина, которая несетъ какіе-нибудь овощи, въ яркомъ нарядѣ и съ бѣлымъ сложеннымъ платкомъ на головѣ, сохранившая изящнѣйшія формы древнихъ статуй, остановилась отдохнуть и тоже смотритъ вдаль, и ея прекрасные глаза выражаютъ тоску, можетъ, непонятную для нея самой... И будто одна и та же дума тяжелая и мрачная налегла на безконечное поле и на горы, и на падающіе акведуки, и на обломки колоннъ, и на пастуха, и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, Сатурна имѣетъ одну торжественную минуту — захожденіе солнца; тутъ она соперничаетъ съ моремъ. Какое наслажденіе стоятъ гдѣ-нибудь на горѣ, въ Фраскати, на Monte Mario и слѣдить цѣлые часы за заходящимъ солнцемъ, за наступающей ночью... Кто не былъ въ Италіи, тотъ не знаетъ, что такое цвѣтъ, освѣщеніе, тому, должно быть, кажутся натянутыми, слишкомъ яркими южные пейзажи. Печальная Кампанья неразрывно связана съ развалинами древняго Рима; они дополняютъ другъ друга. Что это, въ самомъ дѣлѣ, за невѣроятное величіе въ этихъ камняхъ. Не даромъ на поклоненіе этимъ развалинамъ является каждое поколѣніе со всѣхъ концовъ образованнаго міра. Кто, читая исторію, не понялъ Рима, пусть придетъ сюда въ термы Каракаллы, въ Колизей.

Я разъ ночью, часовъ въ двѣнадцать сидѣлъ на оставшемся сводѣ Термъ; кругомъ, какъ привидѣнія—столбы, части стѣнъ, полуразрушенныя арки, которыя обозначаютъ залы величины и вышины необъятной. Летучія мыши шныряютъ между ними, совы перекликаются, и соловей поетъ внизу кустовъ, солдатъ, служившій при Мюратѣ въ великой арміи, сидитъ со своимъ фонаремъ, вдали слышенъ лай одинокой собаки на Тибрѣ, какъ его слышалъ Байронъ...

«Безъ рабовъ римлянамъ было бы невозможно строить такія колоссальныя зданія; они—равно свидѣтели ихъ силы и ихъ варварства».

Мнѣ это замѣчаніе ужасно не по сердцу.

Да въ томъ-то и величіе ихъ, что и руками невольниковъ они воздвигали великое, что, грабя міръ, они не зарывали кладъ въ землю, а расчищали арену, мѣсто достойное для себя. Рабы были не у однихъ римлянъ: есть страны, имѣющія рабовъ въ девятнадцатомъ столѣтіи, да что-то объ ихъ постройкахъ мало слышно. Признаюсь, что касается до меня, я склоняюсь передъ остовомъ этого колосса: каждая арка, каждая колонна мнѣ говоритъ о силѣ, о шири, объ этомъ стремленіи къ царственному раздолью, приличному такому народу; о величавомъ вкусѣ ихъ и говоритъ нечего—Пантеонъ и теперь своею внутренностью дѣйствуетъ благотворнѣе и спокойнѣе Петра, несмотря на то, что и онъ, какъ и всѣ памятники, испорченъ благочестивымъ безвкусіемъ позднѣйшихъ пристрооекъ.

Вторая великая сторона Рима, до которой я, дѣйствительно, не смѣю коснуться, это—обиліе художественныхъ произведеній, того великаго оконченнаго изящества, передъ которымъ человѣкъ останавливается съ благоговѣніемъ, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный

тѣмъ, что видѣлъ... такъ, какъ это было со всѣми *людьми*, приходившими на поклоненіе изящному въ Ватиканъ, Капитолій въ прошлыхъ вѣкахъ, такъ, какъ это будетъ со всѣми *людьми* будущихъ вѣковъ, которые придутъ въ Римъ. Когда мучительное сомнѣніе въ жизнь посѣщаетъ вашу душу, когда вы перестаете вѣрить въ людей, когда вамъ становится противно или совѣстно жить—подите въ Ватиканъ и вы исцѣлитесь, вы успокоитесь и снова повѣрите въ жизнь и въ мощь человѣка. Кто, живши здѣсь, не развилъ въ себѣ любви къ пластическимъ искусствамъ и не образовалъ сколько-нибудь своего вкуса, у того навѣрное есть физическій недостатокъ или въ зрительномъ нервѣ, или въ мозгу, и я ему совѣтую отъ всей души начать серьезное лѣченіе.

Галлерей вообще бываютъ утомительны, я ихъ не умѣю смотрѣть, у меня нѣтъ настолько прозорливости къ изящному, ни помѣстительности въ мозгу, чтобы раза въ два осмотрѣть сотъ пять картинъ, я обыкновенно часа черезъ полтора дурѣю и перестаю понимать. Добро бы еще картины ставились хоть въ историческомъ порядкѣ или по школамъ, — такого размѣщенія я нигдѣ не знаю, кромѣ въ Берлинскомъ музеѣ, зато тамъ нѣтъ художественныхъ произведеній, а только историческій порядокъ. Каждая статуя имѣетъ свое назначеніе, требуетъ свою обстановку и вовсе не нуждается въ фронтѣ другихъ статуй; всякая картина дѣйствуетъ сильнѣе, когда она на своемъ мѣстѣ, когда она одна. Посмотрите, какъ фрески Микель Анджело дома въ Сикстинской капеллѣ; его Моисей — въ церкви; я любилъ бы картины на стѣнахъ всякой залы, но не любилъ бы, чтобы эти стѣны были построены для картинъ... Впрочемъ... кто же не знаетъ пользу галлерей, — не объ этомъ рѣчь. Вы лучше представьте себѣ, если-бъ кому-нибудь стали читать поэму за поэмой, отрывокъ за отрывкомъ изъ Гомера и Аріоста, изъ Вольтера и Шекспира, изъ Гете и Пушкина, — какое смутное, темное впечатлѣніе осталось бы въ головѣ. Мнѣ кажется, самая лучшая метода — ходить къ двумъ-тремъ картинамъ, къ двумъ-тремъ статуямъ, а съ прочими встрѣчаться, какъ съ незнакомыми на улицѣ, — можетъ, они и хорошіе люди, можетъ, дойдетъ чередъ и до нихъ, но ненадобно натягивать знакомствъ. Такъ дѣлалъ я или, по крайней мѣрѣ, такъ собирался дѣлать.

Чѣмъ больше мы видимъ одно и то же великое произведеніе, тѣмъ меньше мы удивляемся ему; удивленіе мѣшаетъ наслаждаться. До тѣхъ поръ, пока картина, статуя поражаетъ, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, вы не возвысились до нея, не сладили съ нею, она васъ подавляетъ, а быть подавленнымъ вовсе не эстетическое чувство. Если вы будете добросовѣстны и откровенны, то сознаетесь, что пока вы еще поработаны великимъ произведеніемъ, произведенія болѣе легкія доставляютъ больше наслажденія, только потому, что они соизмѣримѣе, отдаются безъ труда, въ какомъ бы расположеніи вы ни были. Что труднаго понять, оцѣнить головки Карло Дольчи, Маратта. Онѣ такъ милы, такъ изящны, что поневолѣ весело смотрѣть. Но великіе мастера часто сначала притѣсняють; даже бываютъ порывы взбунтоваться противъ нихъ, но когда вы поймете великое произведеніе, тогда только вы оцѣните разницу того наслажденія,

которое вы приобрѣли отъ картины Карло Дольчи и отъ картины Буонаротти. Я потому упомянулъ именно Буонаротти, что я очень долго не могъ понять его «Страшный судъ»; меня ужасно разсѣивали частныя группы, точно собраніе разныхъ этюдовъ, меня это огорчало; разъ, выходя изъ капеллы, я остановился въ дверяхъ, чтобы еще посмотрѣть на картину. Первое, что меня остановило на этотъ разъ, было изображеніе Богородицы. Христосъ является торжествующимъ, мощнымъ, непреклоннымъ; синій свѣтъ какой-то остановившейся молніи освѣщаетъ его; давно умершее поднялось, онъ судить, онъ караетъ, но въ это время существо кроткое, нѣжное, испуганное окружающимъ, робко прижимается къ нему: она глядитъ на него, и во всемъ существѣ ея видна совсѣмъ иная мысль, она не хочетъ ни суда, ни казни грѣшнику, а несправедливости всепрощенія.

Никто не понялъ такъ глубоко христіанскій смыслъ Дѣвы. Вотъ она, всескорбящая заступница, вотъ она, готовая остановить поднятую руку сына, и притомъ, робкая, испуганная женщина... Съ этого дня я пересталъ разсматривать разныя группы и пересталъ удивляться великому знанію міологіи Микель Анджео.

А знаете ли вы Марію Магдалину Тинторенто въ Капитоліи? Худую, носящую слѣды всѣхъ порывовъ, всѣхъ бурь, которыми она дошла до новой страсти—до страсти раскаянія?

А знаете ли вы Мадонну Ванъ-Дейка въ галлерей Корсини? Мадонну блѣдную, неоправившуюся послѣ родовъ, Мадонну съ томными глазами, въ которыхъ столько любви, столько слезъ и столько физической слабости?..

Но я дѣлаю истинное усиліе, чтобы остановиться... Перейдемте къ третьей сторонѣ римской жизни, она же самая захватывающая вниманіе, самая новѣя сторона.

Я говорю объ его современномъ состояніи, объ его risorgimento. Трудно себѣ представить перемѣну, которая совершилась въ Римѣ въ одинъ годъ, особенно трудно потому, что мы вообще судимъ объ Италиі по готовымъ понятіямъ и совершенно внѣшнимъ фактамъ. Объ этомъ въ слѣдующемъ письмѣ. Теперь позвольте ненадолю оставить Римъ въ покоѣ; ему, *въчуждому городу*, ничего не значить подождать, а мнѣ хочется побесѣдовать съ вами о моихъ прошлыхъ письмахъ. Слышалъ я, что вы таки побранили меня за нихъ: кто вступился за французскихъ буржуа, кто— за нѣмецкую кухню, всѣ—за неуважительный тонъ, за легость и поверхностность, за фамиллярность съ важными предметами, за недостатокъ достодолжной скромности въ обращеніи со старшими братьями, за недомолвки, наконецъ, которыя тоже поставили мнѣ на счетъ. Вы ими недовольны, потому что придали имъ значеніе, котораго они не имѣли. Нѣсколько набросанныхъ впечатлѣній, нѣсколько замѣтокъ, шутки и дѣло, мысли, помѣченныя на скорую руку, середь иныхъ занятій, при недосугѣ, при новости явленій, при оглушительномъ громѣ событій, подъ вліяніемъ досады, которую назвать и опредѣлить было труднѣе, нежели кажется,—вотъ смыслъ бранимыхъ писемъ. Письма эти—вовсе не отчетъ о путешествіи, не результатъ, выведенный изъ посильнаго изученія Европы, не послѣднее слово, не весь собранный плодъ; ничего подобнаго у меня не было въ помышленіи, когда я набросалъ ихъ; мнѣ просто

хотѣлось передать первое столкновение съ Европой; въ нихъ вылились мѣстами рядомъ съ шуткой и вздоромъ негодованіе, горечь, которой поневолѣ переполнялась душа, иронія, къ которой мы столько же привыкли, какъ рабъ Ксанфа—Эзопъ—къ аллегоріи. У меня не было задней мысли, не было заготовленной теоріи ничему не удивляться или всему удивляться, а было желаніе уловить мелькающія, летучія впечатлѣнія откровенно, добросовѣстно,—вотъ и все. На бѣду, редакція помѣстила ихъ въ «большой уголь» журнала; они скромно проскользнули бы въ *Смѣси*, какъ небольшой арабескъ, идущій къ сѣнямъ, къ галлерей, но несносный въ гостиной ¹⁾. Еще слово о неуважительномъ тонѣ,—это мой грѣхъ, сознаюсь и каюсь. Но знаете ли, что всего хуже? Не только въ моихъ письмахъ, но и въ моемъ сердцѣ недостаетъ этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склоняться, «*принижаться*», для которой необходимо поклоненіе чему-нибудь—золотому теленку или серебряному барану, русскимъ древностямъ или парижскимъ новостямъ. Изъ всѣхъ преступленій я всего дальше отъ идолопоклонства и противъ второй заповѣди никогда не согрѣшу; кумиры мнѣ противны. Мнѣ кажется, что человѣкъ тогда только свободно смотритъ на предметъ, когда онъ не гнетъ его въ силу своей теоріи и не гнется передъ нимъ. Мы изъ рукъ вонъ скромны и чрезвычайио любимъ церемоніи и торжественность, мы любимъ придавать нѣкоторымъ дѣйствіямъ нашимъ (и въ томъ числѣ—писанію) какой-то серьезный, величавый характеръ, который для меня очень смѣшонъ,—вѣдь, и жрецы благоговѣнно и серьезно рѣзали въ старые годы барановъ и быковъ въ пользу Олимпа, воображая, что куда какое важное дѣло дѣлаютъ. Уваженіе къ предмету, не произвольное, а текущее изъ принятой теоріи, принимаемое за обязанность, ограничиваетъ человѣка, лишаетъ его свободного размаха. Предметъ, говоря о которомъ человѣкъ не можетъ улыбнуться ²⁾, не впадая въ кощунство, не боясь угрызений совѣсти,—

1) Особенно въ такой гостиной, гдѣ охотникъ рассказываетъ свои встрѣчи и гдѣ грустная, изнуренная тѣнь Антона Горемыки грустно качаетъ головой. Кстати, мнѣ «Антонъ Горемыка» попался средь шума, вихря, блеска и сатурналій неаполитанскаго карнавала и тамошней конституціи. Я, совершенно не приготовившись, взялся за эту повѣсть, и она меня задавила; за это *memento patriæ*, за это угрызеніе совѣсти я бесконечно благодаренъ автору. Что, какъ объ ней говорятъ славянофилы?.. «Неуваженіе къ народу, неуваженіе къ оброку»... Да полно, есть ли на свѣтѣ славянофилы? Для нихъ нездоровъ современный воздухъ, онъ не *принижаетъ* личность, не вѣрится въ пользу главы общины, сосущую, какъ накинутаго горшокъ, кровь изъ приниженнаго брата, не переноситъ личность внѣ самого себя (секретъ, подогрѣтый славянами изъ Гегелевой философіи исторіи, межъ нами будь сказано). Вообще, онъ не любитъ ни ирокезскія письма къ друзьямъ, ни готтентотскія статьи покойнаго «Маяка» и параличнаго «Москвитянина».

2) Разумѣется, смѣхъ смѣху рознь; есть смѣхъ, который только возбуждается въ душѣ цинической, грубой, развращенной. Человѣкъ, который бы не отъ негодованія, не отъ того, что *слезъ мало*, а по веселому нраву захохоталъ бы надъ «Антономъ», когда его повезли изъ деревни, былъ бы

фетишь, и человекъ не свободенъ, онъ подавленъ предметомъ, онъ боится его смѣшать съ *простою* жизнью, такъ, какъ дикая живопись и египетское ваяніе даютъ неестественныя позы и неестественный колоритъ, чтобы отдѣлиться отъ презрѣннаго міра тѣлесной красоты мягкихъ, граціозныхъ движеній.

Мнѣ въ Италиі ни надъ чѣмъ не хочется смѣяться,—въ Италиі всего менѣе смѣшного, пошлаго, мѣщанскаго; я, помнится, нигдѣ, не смѣялся и надъ Франціей, стоящей за цензормъ... а въ плѣсени, покрывающей общество во Франціи, все вызывало смѣхъ, все досадовало, все дразнило меня больше, нежели въ Германіи, потому что въ Германіи всѣ эти *petites misères* какъ-то не такъ возмутительны,—я досадно смѣялся, писавши мои письма изъ Avenue Marigny; я готовъ плакать, писавши письма съ Via del Corso,—въ обоихъ случаяхъ я не лгу, въ этомъ могу васъ увѣрить. До слѣдующаго письма.

1847. Декабрь
Римъ.

Письмо второе.

Какъ это случилось, что страна, потерявшая три вѣка тому назадъ свое политическое существованіе, униженная всѣми возможными униженіями, завоеванная, раздѣленная иноплемениками, полтора вѣка разоряемая, и, наконецъ, почти совсѣмъ сошедшая съ арены народовъ, какъ дѣятельная мощь, вліяющая сила,—страна, воспитанная іезуитами, отставшая, обойденная, облѣнившаяся,—вдругъ является съ энергіей и силой, съ притязаніями на политическую независимость и гражданскія права, съ притязаніемъ на полное участіе въ европейской жизни и во всѣхъ плодахъ нашей цивилизаціи?... Судьбы полуострова, его развитіе, его худое и хорошее чрезвычайно самобытны и отъ этого на первый взглядъ не совсѣмъ понятны; можетъ, одинъ народъ европейскій и есть, котораго быть народный еще непонятнѣе, это—испанцы. Мы обыкновенно привыкаемъ, по діалектической лѣни, къ однажды принятымъ нормамъ, къ исторической алгебрѣ; алгебра эта составлена по развитію Сѣверо-Западной Европы, но развитіе Франціи, Англии и Германіи во многомъ не совпадаетъ съ развитіемъ исторіи за Пиринеями, за Альпами. Иные элементы, иныя событія, иные результаты. Гдѣ въ Италиі періодъ чисто-готическій и феодальный, гдѣ переходъ къ государственной централизаціи, гдѣ монархическій періодъ, наконецъ, гдѣ періодъ индустріи, средняго сословія? Въ XII столѣтіи въ Италиі уже подавленъ нѣмецкій элементъ или принимаетъ національный колоритъ. Въ XVI-мъ Италія накрыта внѣшнимъ гнетомъ, захвачена, такъ сказать, какъ была, иноплемениными войнами и оставлена при своемъ мѣстномъ, локаль-

такъ же отвратителенъ, такъ же гадокъ, какъ какой-нибудь Ноздревъ или Хлестаковъ, который ввернулъ бы подлую шутку, глядя на великія событія въ Италиі.

номъ муниципальномъ правѣ. Мертвая, какъ государство, она жила въ коммунахъ, вся жизнь бросилась къ этимъ центрамъ и сохранилась. Гнетъ, тяготѣвшій надъ Италией до ломбардо-венеціанскаго королевства, не былъ ни равномѣренъ, ни всеобщъ, не былъ принятой, проведенной системой, Когда, собственно, выносили его римскіе аристократы, флорентинцы и вообще Тоскана? Есть части Италіи, которыя со временъ греческихъ императоровъ и до нынѣшняго дня едва по наслышкѣ знали о правительствѣ, платили подать, давали солдатъ и внутри управлялись своими обычаями и законами; такова Калабрія, Базиликата, Абруца, цѣлыя части Сициліи.

Территоріальныя раздѣленія Италіи дѣлались на тысячу манеръ, но всегда насильственно; народы часто ихъ переносили, никогда не были ими довольны, никогда не принимали ихъ за нѣчто истинное, прочное, всегда—за грубый фактъ насилія. Даже прежде правительства національныя, вѣрно выражавшія потребности *своего* города—Флоренціи, Генуи, Венеціи, за городскими стѣнами являлись, какъ иго, которое покоренные были всегда готовы свергнуть; онѣ сами внѣ метрополіи принимали свою власть не болѣе, какъ за военную оккупацию, и были всегда *sur le qui vive*. Такого отношенія части къ цѣлому, такой нелюбви къ централизациі вы нигдѣ не найдете. Всѣ усилія Гогенштауфеновъ и ихъ наслѣдниковъ развить въ Италіи монархическое начало остались тщетными, и собственно теорія гибелинская, о которой писали трактаты ученые легисты и которую они старались представить послѣднимъ словомъ римскаго права, никогда не прививалась къ народу. Народъ былъ всегда гвельфомъ и только по ссорѣ съ папой или съ сосѣдними городами бросался къ стопамъ императорскимъ, предоставляя себѣ право при первой возможности возстать и отдѣлиться. Методическое, холодное, безнадежное управленіе, вводимое германскими императорами, было невыносимо для итальянцевъ. Древній Римъ могъ переносить цезарей со всѣмъ ихъ тиранствомъ, потому что ихъ управленіе болѣе походило на незаконную диктатуру, на какое-то личное, случайное исключеніе; ихъ владычество было сочетаніемъ деспотизма съ анархіей; однообразный гнетъ германизма противнѣе для итальянца. Совсѣмъ напротивъ, власть папская была совершенно національна, по самому тому, что она была неопредѣленна. Римъ, Романья едва слушались папъ,—они дома были цари тайкомъ, *furtivement*; чѣмъ дальше отъ центра, тѣмъ власть папская становилась сильнѣе и, наконецъ, достигала страшной мощи внѣ Италіи. Папы дѣйствовали совсѣмъ обратно императорамъ; они опирались на локальное разнообразіе, они поддерживали муниципальную жизнь. Григорій VII съ проницательностью генія понялъ элементъ, который спасетъ Италію отъ императоровъ, и муниципальная жизнь, ободренная и двинутая имъ, поглотивъ элементы германскіе и феодальныя, плохо дающіе корни въ почвѣ, въ которой былъ схороненъ языческій Римъ. Италія жила всѣми точками, жила городами, жила республиками, испытывала тиранніи и диктатуры, но никогда не чувствовала потребности въ единовластіи, въ централизациі. Италія развилась въ своихъ непрерывныхъ междоусобіяхъ, города становились роскошнѣе послѣ пожара, сильнѣе послѣ разоренія. Острота одного итальянскаго историка, что «война—миръ для Генуи», относится ко всему полу-

острову; она была самое образованное и самое торговое государство въ XIV столѣтїи, и между тѣмъ десять лѣтъ не проходили безъ того, чтобы Италия не покрывалась кровью и пепломъ. Необыкновенно живучая страна, она ускользала, какъ ящерица въ травѣ, и черезъ годъ, черезъ два являлась опять полная жизни и отваги. Въ Европѣ давнымъ-давно централизація задавила феодальное устройство, и сильныя государства образовались, опираясь на постоянныя арміи и служебное дворянство; въ Италиі продолжалась прежняя жизнь нѣсколькихъ городовъ на первомъ планѣ и множества другихъ, не столь важныхъ въ политическомъ отношеніи, но свободныхъ, независимыхъ. Такъ дожила она до страшной години, когда Карль V и Францискъ II выбрали поля ея для кровавой войны,—для войны, продолжавшейся болѣе столѣтїа. Эта война сокрушила страну. Италия крѣпилась, крѣпилась... наконецъ, силъ ея не стало противостоять войскамъ, которыя непрерывно усиливались свѣжими толпами изъ Франціи, Германіи, Испаніи и вольнонаемными шайками изъ Швейцаріи. Можетъ быть, еслибъ идея народнаго единства, идея государства была развита въ Италиі, она отстояла бы себя, но этой идеи не было.

Врагъ имѣлъ всегда дѣло съ частью. Города сражались, какъ львы, крестьяне составляли вооруженныя *банды*, нападавшія на непріятеля неожиданно, между горъ, въ тѣснинахъ, въ домахъ, но вся отвага ихъ пошла на вѣтеръ, ихъ подавили числомъ. Типъ итальянской войны, та же отдѣльность, то же обособленіе, городское возстаніе, партизанская война, война разными вооруженными ватагами. Государство, требующее поглощенія городовъ, армія, требующая поглощенія личностей,—для итальянцевъ ненавистны; нѣтъ народа, менѣе способнаго къ дисциплинѣ, къ полицейскому устройству, къ канцелярскому и казарменному порядку. Съ другой стороны, отсутствіе единства, средоточія столько же спасло Италию, сколько погубило ее на время. Жизнь Италиі не была связана ни съ Римомъ, ни съ Венеціей, ни съ Флоренціей. Задавленная въ большихъ городахъ, она вдругъ являлась въ Феррарѣ, въ Болоньѣ; вытѣсняемая изъ Неаполя, она переходитъ въ Палермо, въ Мессину; въ Генуѣ она сохранилась до революціи. Италия—гидра лернская; задуть такую жизнь невозможно.

Побѣжденная Италия, уступая мало-по-малу и шагъ за шагомъ политическую жизнь, не долго выносила въ груди избытокъ силъ, богатство способностей своей широкой натуры; она явилась во главѣ художественнаго и умственнаго движенія, она воскресила греческую философію, она создала живопись и, вѣрная своей федеральной натурѣ, рисуетъ на три типа, рисуетъ такъ, что вы узнаете города по школамъ; артистическій періодъ итальянской жизни, совпадающій съ отроческой отвагой новой мысли, едва прорвавшей схоластику, былъ упоительнымъ временемъ для всего человѣчества, особенно для Италиі, которая такъ умѣетъ наслаждаться. Но тутъ ждалъ другой врагъ бѣдную Италию. Правда, ей позволили рисовать, ваять и строить, но запретили думать, но Галилея свели въ тюрьму за астрономію, но Ваніни и Джордано Бруно казнили за метафизику. Время доблестныхъ *гуманныхъ* папъ прошло; реформація внесла ужасъ въ Ватиканъ, начальники инквизиціи шли занимать папскій престолъ; вопреки вѣку, вопреки

странѣ, эти люди снова возвращались къ суровому монашеству. Преслѣдующій и злой характеръ католицизму привился съ реформаціей; доминиканцы подняли съ воплемъ негодованія знамя крестоваго похода противъ мысли; іезуиты образовали янычаръ, преторіанцевъ около церкви и св. отца.

Силы страны, наконецъ, такъ же сочтены, какъ силы лица. Италия, обиженная, оскорбленная во всемъ человѣческомъ, связанная по рукамъ и ногамъ, дѣйствительно, походила на литографированную женщину, которую здѣсь продають на всѣхъ перекресткахъ ¹⁾; голова у ней склонилась на грудь, скованныя руки опустились; изнуренная, доведенная до отчаянія преслѣдованіемъ, она отдалась старческимъ объятіямъ, ревнивымъ, ядовитымъ, не изъ любви, а отъ усталости, отъ истощенія, отъ слабости. Съ тѣхъ поръ прошли двѣсти томныхъ лѣтъ для Италии, и въ двѣсти лѣтъ всѣ эти вампиры не могли высосать ея крови,—удивительный народъ!

Гете, который такъ глубоко понималъ природу Италии и ея искусство, бросилъ въ нее нѣсколько стиховъ злого укора, стиховъ, въ которыхъ нигдѣ нѣтъ ни упованія, ни утѣшенія. Тяжелый сонъ Италии, ея паденіе, ея грязную сторону, ея мелкую сторону онъ схватилъ мѣтко, но пробужденія не предвидѣлъ. «Такъ это-то Италия?» говоритъ онъ въ заключеніе:—«Нѣтъ: это *ужъ* не Италия».

Pilgrime sind wir Alle, die wir Italien suchen,
Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und froh.

Гете, который, по превосходному выраженію Боратынскаго, умѣлъ слушать, какъ трава растетъ, и понимать шумъ волнъ, былъ тугъ на ухо, когда дѣло шло о подслушиваніи народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся офиціальнымъ языкомъ. Онъ не могъ не видать жизни въ итальянцѣ и острой закваски, бродящей въ проявленіяхъ странныхъ, неустроенныхъ: для этого достаточно было взглянуть на лицо перваго встрѣчнаго, посмотрѣть на его мимику... Онъ и видѣлъ все это, но знаете ли, какъ оцѣнилъ?... Словами:

Leben und *Weben* ist hier, aber nicht *Ordnung* und *Zucht*.

Я думаю съ своей стороны, что если-бъ въ половинѣ XVIII столѣтія въ Италии были *Ordnung* и *Zucht*, то навѣрное не было бы *risorgimento* въ половинѣ XIX столѣтія. Если-бъ можно было привести итальянцевъ въ *порядокъ*, то они давно превратились бы въ народъ лацарони и монаховъ, воровъ и туняйцевъ, а при помощи іезуитовъ, тедесковъ и дипломатическихъ вліяній впали бы въ варварство, уничтожились бы, какъ народъ. Неуловимая безпорядочность итальянцевъ спасла ихъ.

Не странное ли дѣло, а оно такъ, несмотря на всѣ бѣдствія, на чужеземный гнетъ, на нравственную неволю, итальянецъ никогда не былъ до того задавленъ, какъ французъ до революціи, какъ нѣмецъ въ XVIII столѣтіи. Этого общаго *приниженія* личности никогда не было въ Италии,

¹⁾ Пій IX будить изнуренную скованную женщину, съ подписью: «Il *risorgimento*».

итальянецъ потому былъ свободнѣе, что не всю жизнь связывалъ съ государствомъ; для него государство всегда было формой, условіемъ, никогда цѣлью; оттого паденіе государства не могло раздавить внутренней твердыни. Итальянскій крестьянинъ такъ же мало похожъ на задавленную чернь, какъ русскій мужикъ на собственность. Нигдѣ не видалъ я, кромѣ въ средней Италіи и въ Великороссіи, чтобъ бѣдность и тяжелая работа такъ безнаказанно прошли по лицу людей, не исказивъ ничего въ благородныхъ и мужественныхъ чертахъ. У такихъ народовъ есть затаенная мысль или, лучше сказать, такой принципъ самобытности, принципъ непонятный имъ самимъ до поры до времени, который даетъ имъ хранительную силу и страдательный отпоръ, отъ котораго, какъ отъ скалы, отскакиваетъ все, посягающее на разрушеніе ихъ самобытности.

Вотъ вамъ примѣръ. Въ концѣ XVIII столѣтія франц. республика устроила нѣсколько республикъ въ Италіи. Французы поступали такъ, какъ поступаютъ абстрактные пропагандисты въ восемнадцать лѣтъ, т. е., не принимая въ расчетъ ничего индивидуальнаго, гнули личности народовъ въ форму, выдуманную въ Парижѣ и которую они сначала добросовѣстно считали равно годными для Отаити и для Исландіи. При всѣхъ недостаткахъ новыхъ республикъ, они были несравненно лучше смѣненныхъ правительствъ, они покончили нелѣпныя феодальныя права, секуляризовали много имѣній, признали неприкосновенность лица и юридическую одинокую правомѣрность, дали свободу мысли, свободу петиціи, о которой итальянцы и не мечтали,—какъ, казалось бы, не увлечься народу. Итальянцы смотрѣли хладнокровно и даже враждебно на новое правительство, оно было имъ не по душѣ, оно оскорбляло въ тысячѣ случаевъ мѣстныя привилегіи, обычаи, индивидуальности; они не вѣрили въ республики, заводимыя генераломъ Бонапартомъ при помощи кровавой памяти генерала Массена. Время доказало потомъ, кто былъ правъ: народъ ли, принявшій освобожденіе за новую фазу неволи, или среднее состояніе, бросившееся въ объятія Наполеону для того, чтобы тотъ могъ ихъ дарить брату Иосифу, зятю Іоакиму, пасынку Евгенію, сыну Наполеону, сестрѣ Полинѣ и прочимъ сродникамъ изъ Аячіо. Состояніе Италіи послѣ наполеоновскаго періода еще болѣе ухудшилось, оно даже стало мѣстами хуже, нежели было въ началѣ XVIII-го. Реакція была страшная, безпощадная, мелкая, грубая, сухая, мстительная и, что всего хуже, *ненаціональная*. Пьемонтъ и Неаполь хотѣли въ двадцатыхъ годахъ попробовать у себя заальпійскую монархію. Австрія учреждала Ломбардію на австрійскій манеръ. Противъ нихъ возстала такая же національная оппозиція, оппозиція, бравшая свои вдохновенія съ французской трибуны, которая тогда была въ самомъ блестящемъ періодѣ своемъ, оппозиція либерализма общеевропейскаго, времени Лафайета. На первый случай побѣда осталась на сторонѣ правительства,—казалось, Италія перешла въ прошедшее; она одной ногой стояла въ гробу. Меттернихъ съ улыбкой повторялъ, что «Италія—географическій терминъ». Литература была невозможна, классики, составляющіе славу Италіи въ Европѣ, были запрещены въ Римѣ, итальянскіе историки были запрещены почти вездѣ, кромѣ Флоренціи, или продавались въ *очищенныхъ* изданіяхъ; все энергическое бѣжало, экспатрирова-

лось или шло въ Сантъ Анджело, С. Эльмъ, въ Шпильбергъ; въ матеріализмѣ жизни, въ грубыхъ наслажденіяхъ, въ суетной потерѣ времени гибло молодое поколѣніе; въ Миланѣ, въ Венеціи были взяты всѣ мѣры, чтобъ поддерживать это направленіе; молодой человѣкъ, не игрокъ, не развратный, не офицеръ, считался подозрительнымъ. Разумѣется, всѣхъ развратить было нельзя,—кто не знаетъ огненные попытки, безумныя до величія, самоотверженныя до безумія и кончавшіяся страшными казнями и новыми реакціями. Эпоха эта, вполне развившаяся съ 1821 года, достигла своей полной высоты избраніемъ Григорія XVI папой. Григорій XVI и его министр Ламбрускини были вторыми представителями официальной Италіи своего времени. Людовикъ-Филиппъ и Меттернихъ съ любовью подали ему руку на дружбу и службу. Людовикъ-Филиппъ писалъ ему доносы, онъ писалъ доносы Меттерниху. Тюрьмы въ Римѣ и папскихъ владѣніяхъ къ концу его *святительства* были до того полны, что во всѣхъ публичныхъ зданіяхъ начали помѣщать арестантовъ і politici. Наконецъ, Романья подала голосъ; наконецъ, стонъ Болоньи былъ услышанъ, — этотъ голосъ, этотъ стонъ шелъ совсѣмъ изъ другого начала, это не была иноземная демагогія, а негодованіе *народа*, которому, наконецъ, нельзя было дышать. Григорій XVI понималъ опасность и рѣшился, во что бы то ни стало задуть народъ и реакцію. Чтобы не распространяться болѣе объ этомъ человѣкѣ, я скажу одно, но это одно, если вы взвѣсите, важнѣе цѣлаго тома in folio. Австрійскій кабинетъ, долго молчавши, не могъ, наконецъ, вынести и закричалъ: «basta, santo Padre». Меттернихъ писалъ ноту въ защиту Романьи и Болоньи, и доказывалъ кроткимъ кардиналамъ, что есть же мѣра, наконецъ, и злоупотребленіямъ, что римское правительство этимъ путемъ доведетъ до ожесточеннаго возстанія своихъ подданныхъ и что тогда вредный духъ можетъ пробраться въ Ломбардію! Объ этомъ-то человѣкѣ на дняхъ во французской камерѣ пэровъ С.-Олеръ сказалъ: «Григорій XVI былъ святой человѣкъ!»

Наконецъ, «святой человѣкъ» умеръ отъ старости и отъ марсалы. Конклавъ выбралъ кардинала Мастаи-Феретти, — и «гонимая, но ненизлагаемая Италія» воскресла. Въ избраніи Феретти, кроткаго, благороднаго римлянина, господствовало, съ одной стороны, желаніе дать вздохнуть странѣ, отпустить натянутые нервы; съ другой — въ его избраніи было что-то славянское, а именно — выдвинуть ту личность, которая ничѣмъ не выдается, «не выскочка, міру не указчикъ». Конклавъ считалъ на его слабость и описывалъ, именно потому, что былъ правъ. Кардиналы, какъ слѣдуетъ по ихъ званію, не взяли въ расчетъ духа времени, эпохи; зная мягкость, удобовпечатлимость его характера, они и не подумали, какъ сильно должно было дѣйствовать на него положеніе Романьи, Италіи, они не подумали, что выбирали человѣка, способнаго къ увлеченію и неспособнаго къ подкупу, къ измѣнѣ. Кроткій Пій, дѣйствительно, былъ одушевленъ чистымъ желаніемъ добра Риму и Италіи, когда сѣлъ на престолъ; первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой его жизни; благодать и добро струились изъ квиринала; удивленный, пораженный народъ не зналъ, вѣрить или не вѣрить такому странному явленію, такой неожиданной перемѣнѣ. За-

мѣтимъ только, нисколько не уменьшая подвига Пія IX, что продолжать управленіе Григорія XVI было невозможно; глухое волненіе овладѣло всѣми городами; въ Римѣ у подножія квиринала, возлѣ дверей крѣпости, на публичныхъ мѣстахъ, въ тавернахъ и кафе раздавался ропотъ, несмотря на толпу шпионовъ. Слѣдовало или задушить мѣрами кровавыми и страшными этотъ говоръ или прислушаться, нѣтъ ли въ немъ истины. Хвала Пію IX, что онъ избралъ послѣднее, впрочемъ, Калигулой надобно родиться, не всякій способенъ, кто захочетъ, быть извергомъ. Когда Пій IX предложилъ святой коллегіи объявить всепрощеніе, кардиналы съ негодованіемъ подали голоса противъ. «*Contagio, Santo Padre!*» кричалъ ему народъ съ тѣмъ удивительнымъ тактомъ, который отличаетъ римлянъ, и Пій IX объявилъ, что по власти, данной ему свыше «вязать и разрѣшать», онъ объявляетъ амнистію.

Крикъ истиннаго восторга раздался не токмо въ Церковной области, но всей Италіи; все, уповавшее лучшей будущности, окружило Пія IX и повторило тысячу и тысячу разъ народный крикъ: «*Contagio S. Padre!*» они сдѣлали изъ добраго благонамѣреннаго Пія Великаго понтифика, освободителя Италіи, знамя, величайшаго человѣка въ Европѣ.

Кардинальскій коллегіумъ содрогнулся отъ досады и негодованія и сдѣлалъ вторую ошибку. Вмѣсто того, чтобы прямо и открыто дѣйствовать на религіозность, на предразсудки Пія, на его шаткій характеръ, они выдумали заговоръ подъ начальствомъ Ламбускини; заговоръ имѣлъ связи и сношенія съ иностранными дворами и почти со всѣми итальянскими. Цѣль заговора состояла въ томъ, чтобы произвести волненіе въ Римѣ и захватить Пія IX. Австрійскія войска заняли бы крамольный Римъ, и тогда бунтовщики заставили бы папу отречься отъ всѣхъ сдѣланныхъ перемѣнъ, даже въ случаѣ его упорства — отъ самаго папства; еслибъ дѣло приняло дурной оборотъ, заговорщики рѣшались убить папу и бросить гнусное обвиненіе убійства на радикальную партію въ Римѣ. Чичероваккіо открылъ заговоръ, — страшная мысль объ опасности, которой подвергался Римъ и Пій IX, исполнила ужасомъ весь городъ, онъ съ фанатизмомъ, съ бѣшенствомъ изъявлялъ свою любовь понтифу; тронутый Пій IX еще болѣе сблизился со своимъ народомъ; чивика, организовавшаяся въ нѣсколько дней, сдѣлалась хранителемъ и оберегателемъ св. отца и всего города. Но кто же этотъ Чичероваккіо, этотъ *tribunus plebis* въ 1847 году, *il gran popolano*? Чичероваккіо — еще болѣе чисто итальянское явленіе, нежели Пій IX. Чичероваккіо — простой, честный римскій плебей, себѣ на умѣ, знаемый всѣми въ Римѣ и знающій всѣхъ, идолъ факиновъ, трибунъ въ питейныхъ домахъ и народныхъ сходкахъ; народъ давно подружился съ нимъ; онъ помнитъ, какъ во время наводненія Тибромъ силачъ Чичероваккіо спасалъ людей и какъ нѣсколько разъ отдавалъ все, что у него было, въ помощь товарищу; къ нему ходили совѣтоваться, на его авторитетъ опирались. Значеніе его, основанное на фантастической любви къ Риму и народу, на чистотѣ намѣреній, до которыхъ не достигаетъ никакое подозрѣніе, на плебейскомъ происхожденіи, странно возросло послѣ открытія заговора. Чичероваккіо — самый упорный защитникъ правъ, самый неумолимый представитель народныхъ нуждъ; это — человѣкъ, который ежеминутно готовъ отдать все достояніе

свое, своихъ дѣтей, свою голову, чтобы спасти Италію, своихъ согражданъ. Мудрено ли было Чичероваккіо, который знаетъ, какъ свои пять пальцевъ, весь подноготный Римъ, который знакомъ съ попами и факинами, съ князьями и ворами, узнать заговоръ Ламбускини,—онъ открылъ его. Имена участниковъ явились въ афишахъ на стѣнахъ Рима; часть заговорщиковъ перехватили и тайкомъ дозволили нѣкоторымъ бѣжать. Чич. переловилъ ихъ и снова отвелъ въ тюрьму, гдѣ они и теперь сидятъ, потому что папа не можетъ рѣшиться ни выпустить сидящихъ, ни посадить Ламбускини. Со дня открытія заговора полиція, замѣшанная въ немъ, исчезаетъ, правительство ослабѣваетъ, и порядокъ увеличивается. Чивика смотритъ за всѣмъ. Чичер. дѣлается блюстителемъ порядка, властью. Губернаторъ приказываетъ выслать изъ Рима Драгонетти, изгнаннаго неаполитанца; Чичер. изъявляетъ желаніе, чтобы Драгонетти остался, и губернаторъ беретъ приказъ назадъ. Лордъ Минто по пріѣздѣ своемъ въ Римъ дѣлаетъ визитъ Чичер., даритъ книги его дѣтямъ, ставитъ статуэтку его у себя въ залѣ. А Чичер., несмотря на портреты, на камеи, на бюсты, на власть, все тотъ же добродушнѣйшій плебей, который по дорогѣ отъ лорда Минто къ Пію IX заходитъ выпить бутылку веллетри къ веттуринамъ и поиграть съ нимъ въ (слово не разобрано) ¹⁾. Порядокъ и тишина въ Римѣ со времени этого кризиса не нарушались,—блестящій результатъ муниципальной жизни итальянской, о которой мы столько разъ упоминали; это — self government своего рода. Когда Пій IX спохватился и захотѣлъ нѣсколько притянуть ослабленныя вожжи, онъ увидѣлъ, что это поздно!

Неудачные опыты реакціи относятся къ тому времени, въ которое я пріѣхалъ въ Римъ. Consulta di stato, нѣчто въ родѣ аристократическаго совѣщательнаго представительства, была собрана, она не удовлетворила никого. Папа хмурился, Римъ былъ очень невеселъ, его угрюмому характеру придавала еще болѣе мрачности ненастная дождливая зима. Италія не можетъ быть безъ солнца, дурная погода для нея — общественное несчастье. Черезъ нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда римляне праздновали побѣду надъ Зондербундомъ. Папа велѣлъ всѣмъ участникамъ три дня поститься, предоставляя, впрочемъ, исполненіе этой полезной мѣры на собственную совѣсть тѣхъ, которые были на демонстраціи. Римъ расхохотался. Изъ Ломбардіи и изъ королевства обѣихъ Сицилій получались страшныя вѣсти, римляне, изъявляя всѣми средствами свою симпатію къ притѣсненнымъ, ждали, что скажетъ св. отецъ. Пій IX молчалъ! Такъ окончился 1847 годъ.

Я видѣлъ Пія IX нѣсколько разъ; мнѣ очень хотѣлось прочесть на

¹⁾ Послѣ моего отъѣзда изъ Рима Чич., дѣйствовавшій на первомъ планѣ при возстаніи 30 апрѣля и 1 мая, какъ полицмейстеръ, какъ представитель «порядка въ безпорядкѣ», по выраженію Косентьета, отправился къ Луцову, австрійскому послу, и добродушнѣйшимъ образомъ посовѣтовалъ ему оставить Римъ. Луцовъ не хотѣлъ ѣхать, Чич. далъ ему 24 часа срока — Луцовъ на другой день выѣхалъ. Неаполитанскій король прислалъ ему медаль — *benamiriti*, онъ отдалъ ее назадъ послу, благодаря за вниманіе, но находя невозможнымъ носить ее.

лицѣ этого человѣка, поставленнаго во главу итальянскаго движенія, что-нибудь,—я ничего не прочелъ, кромѣ доброты и слабости. Всѣ портреты его, всѣ бюстики похожи; къ нимъ надобно добавить бѣлый, нѣжный цвѣтъ лица, *католическую* полноту, особую клерикальную мясистость и небольшіе, исполненные добродушія глаза. Впрочемъ, костюмъ и ритуальъ чрезвычайно мѣшаютъ видѣть человѣка.

Въ первый разъ я Пія IX видѣлъ въ квиринальской церкви, потомъ во всемъ блескѣ понтификата въ Santa Maria Maggiore. Въ квириналѣ папу окружали всѣ кардиналы, находившіеся налицо въ Римѣ,—что это за страшныя, жесткія и подозрительныя лица и что за вѣющія могилой лысины; въ ихъ отжившихъ чертахъ видѣлась безчувственность безсемейныхъ стариковъ и жестокосердіе дипломатовъ-іерофантовъ. Да, это люди инквизиціи и реакціи... Всѣ кардиналы подходили къ папѣ и кланялись ему съ колѣнопреклоненіемъ; онъ cadaго накрывалъ руками; въ числѣ кардиналовъ находилися Ламбускини,—это было пикантно. Въ S. Maria Maggiore св. отца несли nelle sedia gestatoria, подъ пестрыми опахалами; по обѣимъ сторонамъ стояла красная guardia nobile и пестрые въ одеждѣ среднихъ вѣковъ Swizzeri. «Ginocchio» командовали офицеры, и солдаты становились по темпамъ на колѣни; въ церкви была жара страшная, папу закачало, какъ на лодкѣ, и онъ, блѣдный отъ приближавшейся морской болѣзни, съ закрытыми глазами благословлялъ направо и налево. Я никакъ не могу привыкнуть къ военной обстановкѣ предметовъ по преимуществу мирныхъ,— эти ружья, мечи, штыки, сабли, копья, кивера и шлемы середь церкви обидны, страшны; когда понесли колыбель съ изображеніемъ св. младенца, начальникъ закричалъ: «Ag-mil!», и ружья брякнули на караулъ передъ св. колыбелью. Отчего католицизмъ, умѣвшій создать такіе храмы, умѣвшій украсить ихъ такими фресками и такими картинами и статуями, отчего онъ не умѣлъ уладить торжественнѣе, серьезнѣе и поэтичнѣе свой ритуальъ? Все натянуто, лишено граціи отъ неестественнаго пѣнія кастратовъ, раздирающаго уши, до костюма, наружности и походки всѣхъ этихъ монсиньоровъ, откормленныхъ аббатовъ, святыхъ канониковъ, сухихъ и желтыхъ іезуитовъ, раздирающихъ глаза. Ритуальъ восточной церкви несравненно величественнѣе и изящнѣе, онъ несравненно послѣдовательнѣе христіанскому міросозерцанію.

Черезъ мѣсяцъ.

Событія съ каждымъ днемъ густѣютъ, становятся энергичнѣе и важнѣе; полный, усиленный пульсъ временами постукиваетъ, лихорадочно-субъективные взгляды и ощущенія теряются въ величинѣ совершающагося. Я больше мѣсяца не бралъ пера въ руки, даже ни разу не вспомнилъ, что умѣю писать; расскажу вамъ нѣсколько отрывковъ изъ видѣннаго мною и, чтобы ничего не потерять изъ итальянской хроники нынѣшняго года, начну за нѣсколько часовъ до его начала.

Проливной дождь лилъ весь вечеръ 31 декабря 1847 г., нѣсколько ударовъ грома и непрерывныя молніи, кромѣ всего остальнаго, напоминали, что это не русскій новый годъ; между тѣмъ Piazza del Popolo покрывалась народомъ, и зажженные torci, невесело потрескивая и дымясь, зажигались

тамъ и сямъ. Чичероваккіо велъ римскій народъ поздравить св. отца съ новымъ годомъ, прокричатъ ему «evviva» такъ, какъ ему одному кричатъ, и въ то же время напомнить ему, что римляне ждуть въ этомъ году исполненіе тѣхъ важныхъ упованій своихъ, на которыя онъ дозволилъ надѣяться, но которыя слабо исполнены консультой и всѣмъ прочимъ. Савелли, губернаторъ римскій, открытый врагъ всякаго прогресса, отправился къ Пію IX и увѣрилъ его, что мятежная и опасная толпа народа собирается ночью посѣтить его на monte Cavallo съ разными нелѣпыми требованіями. Папа испугался. Созвали чивику, поставили подъ ружья полки гренадеръ. Между тѣмъ въ одиннадцать вечеромъ, по дождю и грязи, спокойно и стройно двинулся народъ съ криками «Viva Pïa popo!» и съ полнымъ энтузіазмомъ къ нему, съ энтузіазмомъ, который ему было суждено видѣть и слышать только еще одинъ разъ, какъ мы увидимъ. Народъ пришелъ къ квириналу и звалъ папу на балконъ поздравить съ новымъ годомъ. Папа не вышелъ, и выслалъ сказать, чтобы народъ разошелся. Отношенія любви и довѣрія, образовавшіяся между народомъ и папой, избаловали народъ; они нѣскольکو разъ вмѣстѣ плакали, вмѣстѣ радовались. Народъ, измокнувшій, стоя въ грязи, не ждалъ такого пріема, онъ еще сильнѣе сталъ требовать появленія папы на балконъ; тогда св. отецъ выслалъ имъ сказать, что если они не разойдутся, то онъ велитъ войску ихъ разогнать. Съ тѣмъ вмѣстѣ губернаторъ пояснилъ, что оно готово и что чивика подъ ружьемъ. Еслибъ Григорій XVI далъ залпъ или велѣлъ бы пустить ядро вдоль по Корсо во время moscoletì, это не удивило бы, не оскорбило бы такъ глубоко, какъ отвѣтъ Пія.

Оглушенные, изумленные отвѣтомъ, они тотчасъ перемѣнили фізіономію, — факелы погасли; ни одного крика, ни одного воззванія, мрачно, безмолвно всѣ пошли по домамъ. На другой день нигдѣ ни толпы, ни веселья: праздника нѣтъ, городъ оскорбленъ. Сенаторъ Корсини, представитель популярной аристократіи, удаленный отъ управленія при Григоріи XVI и во главѣ сената теперь, отправился къ папѣ сказать ему, что его поступокъ обидѣлъ городъ, что народъ, промокшій на дождѣ и который съ любовью и довѣріемъ приходилъ къ квириналу, не заслужилъ ни отказа въ благословеніи, ни опасной и ненужной угрозы войсками. Пій IX былъ тронутъ, онъ расплакался, сказалъ Корсини, что его ввели въ заблужденіе, и объявилъ, что для вознагражденія римлянъ онъ самъ поѣдетъ благословлять на новый годъ гражданъ и для этого подѣдетъ къ каждой изъ главныхъ кордегардій чивики. Это было назначено на другой день, 2 января. Народная движенія въ Римѣ носятъ въ себѣ какой-то характеръ величаваго порядка, мрачной поэзіи, какъ ихъ развалины, какъ ихъ Campagna di Roma, который передать невозможно. Въ ихъ лицахъ сохранились античныя черты, черты благородства и гордости; католицизмъ вмѣстѣ съ бѣдствіемъ, съ неволей придалъ имъ видъ угрюмый, печальный, который поражаетъ въ сочетаніяхъ съ мужественной красотой. Эти люди терпѣли вѣка бѣдствій и, наконецъ, спокойно и благородно сказали: «довольно».

Часовъ въ двѣнадцать утра Корсо покрылся народомъ. Правильная колонна со знаменами впереди шла къ Piazza Colona; Чичероваккіо шель

впереди со знаменемъ, на которомъ былъ написанъ слѣдующій упрекъ, кроткій и полный любви, но тѣмъ не менѣе выразительный «Santo Padre Giustizia al popolo chi e Con voi!» Процессія остановилась на перекресткѣ Corso съ via Gondotti. Папѣ нельзя было миновать которой-нибудь изъ пересѣкающихся улицъ; всего народа было, по крайней мѣрѣ, тысячь тридцать; ни хохоту, ни крику, ни воциферацій, никто не толкался, не давилъ, ни одного муниципала не было. Явилась чивика безъ ружей и стала въ ряды народа. Тишина и порядокъ были удивительны; только по временамъ поднимался крикъ, который распространялся далѣе и далѣе, разпростаясь, какъ кругъ въ водѣ отъ брошеннаго камня. Крики эти были опредѣлительнѣе, нежели прежде: «Abasso i gesuiti, abasso il pallazzo madama!» (тутъ живетъ Савелли), «Viva la stampa libera, mortè al Dario di Roma, viva i martiri Italiani, i fratelli Bandiera!» и, какъ припѣвъ ко всему: «viva Pio nono, ma solo, solissimo!». Кто-то прокричалъ «viva i Piemontesi», народъ подхватилъ; при этомъ вдругъ продирается сквозь густую толпу сѣденькій старичокъ и начинаетъ благодарить римлянъ отъ имени Генуи; словъ его я не слышалъ, но мимику его видѣлъ: лицо у него разгорѣлось, онъ плакалъ и въ концѣ рѣчи бросилъ шапку вверхъ, а самъ бросился обнимать солдата національной гвардіи, потомъ другого, третьяго при громкихъ «eviva». Вдругъ часа въ два раздалось: «ѣдетъ, ѣдетъ». Папа ѣхалъ шагомъ, сопровождаемый четырьмя драгунами и каретой, въ которой сидѣлъ кто-то изъ министровъ. Онъ былъ тронутъ, взволнованъ, блѣденъ. Народъ его встрѣтилъ страшнымъ рукоплесканіемъ.

Чичероваккіо поднялъ знамя къ его окошку, и вся масса народа пошла провожать Пія IX. На первую минуту миръ былъ заключенъ. Конечно, не вина народа, если съ тѣхъ поръ онъ еще дальше сталъ съ папой, хотя и любить его изъ благодарности.

Пій IX, какъ всѣ слабые люди, ужасно упоренъ и сдѣлаетъ то, что требуютъ, да послѣ, т.-е. раздраживши прежде отказомъ. Такъ онъ испортилъ дѣйствіе 2 января, но день этотъ для него былъ торжествененъ, грозно торжествененъ... Пію могло прійти въ голову, что по морю весело кататься, а чувствуешь, что утонуть можно. Всѣ балконы усыпались дамами, всѣ окна раскрылись, отовсюду махали платками, и карета папы двигалась шагъ за шагомъ, всадники были смяты и не могли иначе ѣхать, какъ касаясь кареты. Народъ облѣпилъ ее, держась за постромки, за колѣса; люди въ курткахъ и безъ куртокъ, люди во фракахъ и пальто; кучера и лакеи не думали ни сердиться, ни останавливать, потому что это было бы смѣшно. Чичер. усталый, наконецъ, влѣзъ на вторую карету и сѣлъ со знаменемъ; жалкая фигура какого-то кардинала выглядывала испуганная изъ-подъ его ногъ. Часовъ до шести продолжалось это шествіе, текла эта живая рѣка съ via Condotti до monte Cavallo; съ переулковъ, съ площадей раздавались привѣтствія и крики, повторяемые нѣсколькими тысячами человѣкъ возлѣ ушей папы: «Abassio i Gesuiti, viva Pio nono solo, solo... abasso i moderantisti, abasso le maschere, abasso il palazzo Madama, Viva Ganganelli!» (папа Климентъ XIV, изгнавшій иезуитовъ изъ Рима). Когда процессія пришла къ квириналу, уже смерклось; обширная площадь monte Cavallo была полна народомъ, ожидав-

шимъ папу и его благословенія. Но онъ изнемогъ; блѣдный, болѣзненный, онъ опустилъ благословляющую руку, склонился головой на подушку. Драгунъ, ѣхавшій у кареты, сказалъ лакею, лакей—Чичероваккіо; Чичероваккіо далъ знакъ рукой, и мало-по-малу водворилась тишина, прерываемая время отъ времени крикомъ встрѣчавшихся, но тотчасъ крики были подавляемы. Эта тишина придавала еще болѣе торжественности. Молча проводили папу до воротъ, никто не требовалъ, чтобы онъ вышелъ на балконъ, — съ нимъ, дѣйствительно, сдѣлалась дурнота и его подъ руки повели лѣстницу. «A casa, a casa», закричали передніе ряды, и толпы разошлись прокричавъ «Evviva l'indipendenza, viva l'Italia, viva Pio nono, Evviva Cicerovacchio!»

Папа былъ сильно потрясенъ, плакалъ, занемогъ, но ничего не сдѣлалъ. Онъ не умѣлъ воспользоваться этимъ днемъ. Всѣ ждали, что на другой день Савелли будетъ уволенъ, всѣ ждали новое министерство. Папа оставилъ Савелли, ни одной льготы, — народъ обидѣлся второй разъ и доселѣ не помирился.

Мрачная тишина и состояніе тяжелое, какъ бываетъ передъ грозой, наступили въ Римѣ. Сомнѣніе въ св. отцѣ, недоувѣріе къ нему работали во всѣхъ умахъ, — въ аристократическомъ Circolo Romano такъ же, какъ въ Circolo Popolare, основанномъ Чичероваккіо. Пій IX далъ не только созрѣть этой мысли, но дразнилъ умы еще болѣе пустыми и бесполезными мѣрами, которыя онъ позволялъ брать Савелли; онъ внесли много горечи въ размовку. Римляне привыкли всякое утро читать «Pallade», приклеенную къ стѣнамъ по Корсо. «Pallade» — журналъ оппозиціонный, популярный и буффъ, доставлялъ имъ великое удовольствіе. Папа запретилъ приклеивать его по улицѣ. Его носили вездѣ по улицамъ и продавали по три баіюкка листъ—и продажу запретили. Тогда редакція объявила афишами на всѣхъ углахъ объ этомъ запрещеніи и увѣдомляла читателей, что она перенесла свой сбытъ съ улицы въ кофейныя и табачныя лавки и, чтобъ не носить, выставила на перекресткахъ столы, на которыхъ лежатъ листы «Pallade» для чтенія. Савелли побоялся запретить, — и «Pallade» надъ нимъ нахохоталась досыта. Полумѣра не принесла ни малѣйшей пользы, и весь вредъ, производимый ненужными раздраженіями, палъ на органы правительства. Сборища на улицахъ, въ *caffe della bella arti* приняли характеръ болѣе ожесточенный, а тутъ вдругъ страшныя, кровавыя новости изъ Ломбардіи о рѣзнѣ въ Миланѣ, въ Павіи, о террорѣ въ Неаполѣ.... Минута устали *abattement* нашла на Римъ.... Глаза всѣхъ обратились на Пія IX, на человѣка эпохи, — Пій IX притихъ, какъ будто его нѣтъ, хотя, впрочемъ, и разрѣшилъ торжественную панихиду по убиеннымъ ломбардцамъ вопреки протесту австрійскаго посла.

Другіе съ ожиданіемъ смотрѣли, что сдѣлаетъ Карль-Альбертъ, его называли «мечемъ Италіи», но опасались его, не вѣрили въ него; въ довершеніе Франція, ретроградная и враждебная Франція Людовика-Филиппа и Гизо страдала столько же, сколько сѣверныя государства. Франц. посоль въ Туринѣ требовалъ объясненія насчетъ вооруженія, насчетъ пѣсенъ!!! Какъ на смѣхъ, для большаго раздраженія погода въ январѣ была ужасная. Дождь лилъ цѣлый мѣсяцъ съ какимъ-то страннымъ постоянствомъ. Такъ проходилъ январь: тревожно внутри и тихо снаружи, какъ вдругъ газеты

принесли вѣсть о возстаніи Сициліи 12-го января. Новость эта, какъ толчокъ землетрясенія, двинула Римъ. Съ этого дня фізіономія Рима перемѣнилась онъ вступилъ въ новую фазу «пробужденія». Начальныя уступки короля неаполитанскаго, которыя за мѣсяць были бы приняты рукоплесканіемъ всей Италіи, были приняты теперь съ негодованіемъ,—онъ выражали страхъ, безсиліе уловки, желаніе выиграть время. Сицилія была въ полномъ возстаніи, во главѣ котораго сталъ Ruggiero Settimo; Калабрія вооружалась, Аbruцца была готова вступить въ Неаполь. Неаполь молчалъ, осыпая сарказмами Рима и Тосканы. Наконецъ, 28 января двинулся и онъ; король велѣлъ усмирить народъ, волновавшійся по Толедо, но войско не хотѣло стрѣлять, да врядъ хотѣлъ ли того и генераль Стателли, новый начальникъ военной силы. Дѣлать было нечего,—король обѣщаль конституцію, амнистію, удалил ненавистнаго del Carreto, перваго министра, награбившаго себѣ страшное состояніе. Korhe, его духовникъ, бѣжалъ и увезъ съ собой капиталъ въ нѣсколько сотъ тысячъ дукатовъ. Король въ прокламаціи 29 января требовалъ десять дней для приведенія въ исполненіе всего обѣщаннаго. Вѣсть эта дошла до Рима на другой день. Вечеромъ толпы народа проходили съ факелами по Корсо, по Ринетти, по Бабуинѣ, съ криками: «viva la costituzione di Napoli, viva Sicilia, viva Ruggiero Settimo, coraggio Lombardi» и заставляли грозными криками «lumi, lumi» зажигать свѣчи на всѣхъ окнахъ. Сенатъ и шатающееся министерство поняли, что тутъ распастся съ народомъ значитъ погубить себя, и потому il Senato Romano объявилъ al popolo romano, что онъ приглашаетъ отпраздновать торжественно общей иллюминаціей вечеромъ 3 февраля «возстановленіе *мира* въ королевствѣ обѣихъ Сицилій». Снова ошибка, снова слабость въ обѣ стороны, а слѣдственно, неудача въ обѣ стороны. Вечеромъ Корсо горѣлъ огнями, несмѣтное количество народа собиралось на Piazza del Popolo, чивика выстроилась также, на всѣхъ были трехцвѣтная кокарды,—первый разъ римляне замѣнили папскіе цвѣта итальянскими. Толпа строилась правильными колоннами, знамена, музыка и нѣсколько сотъ факеловъ впереди съ криками: «viva la costituzione di Napoli, viva Sicilia», отправились по Корсо, распѣвая сицилійскій гимнъ. Дошедши до Piazza Colonna, вмѣсто того, чтобъ итти къ квириналу, прошли на Piazza Venezia, съ грознымъ молчаніемъ, похороннымъ шагомъ прошли мимо австрійскаго посла, со свистомъ и шиканьемъ опустивши факелы—мимо іезуитовъ, и пошли на Капитолій. Тамъ на пьедесталѣ статуи Марка Аврелія ожидалъ процессію какой-то народный ораторъ съ рѣчью и толпой музыкантовъ, которые примкнули и пошли на форумъ. Оттуда разошлись. Папа былъ исключенъ изъ празднества, не его кокарда была на груди у каждаго, не его привѣтствовали. Крикъ «viva Pio nona e la costituzione» могъ дойти до него, и дѣйствительно, дошелъ. Правительство было сконфужено, лишено всякой моральной силы. Тактъ римлянъ еще разъ удивителенъ: ни одного крика неаполитанскому королю, ни одного даже Неаполю. Папа готовился сдѣлать уступки.

Февраля 5 мы уѣхали въ Неаполь. Печальная, величественная Кампанья съ своими безконечными водопроводами, съ развалинами «стараго города», съ голубыми горами, пропадающими на горизонтѣ, смѣняется еще болѣе

мрачными Понтинскими болотами; тутъ и стада становятся рѣже, тутъ все торопится пройти, боясь *malagia*; сырая почва испаряетъ лихорадки, изнурительныя и трудно излѣчиваемыя... Небольшіе города, почернѣлые и степенныя на видъ, Веллетри, Альбано удивляютъ своимъ населеніемъ; это—цвѣтъ романскаго племени; каждая женщина—типъ древней красоты; каждый мужчина можетъ служить моделью для художника, изображающаго римскія сцены; и у женщинъ, и у мужчинъ эта красота подернута какимъ-то легкимъ флеромъ грусти, задумчивости... Вы, вѣрно, знаете по гравюрамъ картины Робера, представляющія итальянскихъ жнецовъ и крестьянъ; онъ удивительно вѣрно поймалъ печальную сторону ихъ красоты. Этой дикой поляной, этими степями и болотами середь такого *аристократическаю* племени доѣзжаетъ путникъ до Террачины. Небольшой городъ угрюмъ; Средиземное море безпокойно бьется за старинными воротами; огромная и совершенно одинокая скала стоитъ у выѣзда. Скала эта, на которой жилъ какой-то грозный кондотьеръ, о которомъ народъ повторяетъ легенды, превосходно заключаетъ папскія владѣнія, это — точка, поставленная послѣ римскихъ развалинъ, послѣ Кампаньи и болотъ.

За террачинской скалой начинается природа, веселая, смѣющаяся, со вѣсмъ иная; населеніе менѣе красивое, но гораздо удободвижимѣе; благородный типъ мужчинъ исчезаетъ, одичалыя черты лацарони, подобострастныя движенія неаполитанской черни начинаютъ показываться; серьезный и задумчивый видъ крестьянина, нищаго, пастуха Кампаньи замѣняется насмѣшливымъ выраженіемъ и движеніями пульчинеллы, на мѣсто величавой, правильной, гордой красоты римлянки встрѣчаются агасайтныя взоры, милая вертлявость, живость и дерзкій видъ.

Всю эту разницу двухъ странъ, двухъ природъ, двухъ населеній вы видите на самомъ рубежѣ, переѣзжая отъ Террачины до Фонди. Эта рѣзкость предѣловъ, эта характерность, эта самобытная индивидуальность всего: страны, горъ, долинъ, городовъ, растений, населенія, каждаго человѣка, наконецъ,—одна изъ главныхъ принадлежностей Италіи. Неопредѣленные цвѣта, неопредѣленные характеры, туманныя мечты, сливающіеся предѣлы, пропадающіе очерки, это—все принадлежность сѣвера. Въ Италіи все опредѣленно, ярко; каждый клочекъ земли, каждый городокъ имѣетъ свою фізіономію, каждый часъ—свое освѣщеніе; тѣнь, какъ ножомъ, отрѣзана отъ свѣта; нашла туча—темно до того, что становится тоскливо; свѣтитъ солнце—такъ обливаетъ золотомъ всѣ предметы, и на душѣ становится весело. Федеральность лежитъ въ самой землѣ итальянской; рѣзкость характеровъ, о которыхъ мы говоримъ, бросается въ глаза при проѣздѣ черезъ весь полуостровъ. Какая огромная разница въ характерѣ Пьемонта и Генуи, Пьемонта и Ломбардіи; Тоскана нисколько не похожа ни на сѣверную Италію, ни на южную; переѣздъ изъ Ливорно въ Чивитавеккію не меньше рѣзокъ, какъ переѣздъ изъ Террачины въ Фонди. Ливорно, кипящее народомъ, шумливое, оппозиціонное, республиканское, богатое, дѣятельное и торговое столько же выражаетъ пышную Тоскану, самую богатую и самую образованную часть Италіи, какъ пустая и безлюдная крѣпость съ высокими, старинными стѣ-

нами, въ которыя плещетъ море, выражаетъ не торговый, угрюмый, монашескій Римъ.

Но самая рѣзкая противоположность, антитезисъ Италіи составляетъ Римъ и Неаполь; они столько же не похожи другъ на друга, какъ серьезная матрона на рѣзвую куртизанку. Римъ напоминаетъ о бренности вещей, о смерти, Неаполь—объ упоительной прелести настоящаго, о жизни. Римъ, какъ вдова, вѣрная прошедшему, не отрывается отъ кладбища, не забываетъ утраченнаго; его развалины ему столько же необходимы, какъ Тибръ, какъ Квириналь, какъ Ватиканъ, какъ Рафаэль и Буанаротти. Неаполь, стоящій одной ногой на Геркуланумѣ, пляшетъ на гробовой доскѣ, онъ живетъ въ настоящемъ, въ немъ все свѣтло, все зоветъ наслаждаться, а Геркуланумъ и Помпея у подножія дымящейся горы служатъ выразительнымъ напоминаемъ пользоваться жизнью, а мертвыхъ оставить спать; это—его наслѣдіе древняго міра, это—вдохновеніе Анакреона и Горація, перешедшее въ нравы.

Поживши въ Римѣ, невозможно его не уважать, но отъ Рима устаешь,—устаешь такъ, какъ устаешь отъ людей, съ которыми непрерывно надобно говорить о важныхъ предметахъ; Римъ дѣйствуетъ на нервы, поддерживаетъ какое-то натянутое состояніе восторженности,—можетъ, оттого-то у него въ быломъ и было столько героевъ и столько фанатиковъ. Неаполь нельзя не любить, и еслибъ вы только пріѣхали на день, то всю жизнь стали бы поминать со вздохомъ объ этомъ днѣ; онъ совсѣмъ иначе дѣйствуетъ на нервы, онъ ихъ опускаетъ, человѣкъ дѣлается эпикурейцемъ, но эпикурейцемъ артистическимъ.

Мы пріѣхали въ Неаполь на другой день вечеромъ, солнце садилось, пурпуровымъ свѣтомъ освѣщало оно море и городъ, Везувій и гору, застроенную домами, на которой стоитъ Камалдулинскій монастырь. По мѣрѣ того, какъ садилось солнце, дымъ краснѣлъ отъ зарева, и рѣка каленой и растопленной лавы медленно стекала по Везувію. Въ городѣ начали показываться огоньки. Пѣсни, шарманки раздавались; маріонетки и пульчинеллы пѣли и сыпали скороговорками на неаполитанскомъ нарѣчій; на балконахъ стояли дамы между цвѣтами (въ февралѣ мѣсяцѣ)... Вдали за вечерней мглой исчезали Портичи, Кастелламара... Staviator—лучшаго ты не увидишь. «Увидь Неаполь—и потомъ умри»,—какая нелѣпость. *Увидь Неаполь—и возненавидь смерть!* Всѣ возгласы, всѣ фразы (къ которымъ я прибавилъ свою сейчасъ) о Неаполѣ оправданы имъ, превзойдены. Что за удивительный край! И что за жалкая судьба его! Неаполь даже не имѣетъ тѣхъ блестящихъ и яркихъ воспоминаній, которыми себя утѣшали другіе города Италіи во времена невзгоды. Онъ имѣлъ эпохи роскоши, эпохи образованія, онъ давалъ моду и тонъ, но эпохи славы, гражданской силы онъ не имѣлъ. Одинъ врагъ за другимъ являлся его разить; Неаполь служилъ приманкой всѣмъ дикимъ завоевателямъ: сарацинамъ и Гогенштауфенамъ, норманнамъ и испанцамъ, Анжуйцамъ и Бурбонамъ. Его не оставляли въ покоѣ, его мучили, его терзали, въ немъ оставались на житье, потому что въ немъ жить хорошо; вотъ откуда образовались чернь и лацарони, недостатокъ гражданскаго характера и политическая распущенность.

Соперница Неаполя, Палермо, и вся Сицилія закалена на другомъ огнѣ,

она перенесла многое, но иначе; къ этому ведетъ, впрочемъ, и положеніе,—островитяне всегда имѣютъ болѣе сосредоточенный и замкнутый характеръ. Неаполь, если вы хотите, не принадлежитъ ни къ какой странѣ, это—городъ и больше ничего; развѣ прибавимъ къ нему его *bauliene*, его окрестности, маленькіе города около него да небольшую полоску по морю вверхъ,—онъ ничего не имѣетъ общаго съ другими частями, его не любятъ. Что за дѣло Аbruцамъ и Калабріи до Неаполя; до Палермо дѣло всей Сициліи; оттого Палермо геройски подставило въ январѣ мѣсяцѣ свою грудь ядрамъ и приобрѣло Неаполю представительное правительство.

Неаполь, далеко отставшій отъ Рима, отъ Флоренціи, даже отъ Турина въ дѣлѣ общаго гражданскаго развитія Италіи, былъ разбуженъ бомбардировкою Палермо, испугался и спросонья обѣжалъ Римъ и Флоренцію.

Не надобно думать, чтобъ въ Неаполѣ не доставало образованія, сильной потребности выйти изъ положенія, дѣйствительно, ужаснаго, въ которомъ онъ находился съ 1820 и которое становилось вдвое невыносимѣе при сравненіи съ Италіей Пія IX; стонъ Неаполя, задавленнаго инквизиціонной полиціей, отсутствіемъ всякихъ правъ, преслѣдованіями, грозными наказаніями, уничтоженіемъ всякой свободы мысли, слова, печати, давно долеталъ до Рима; неаполитанцы были несчастны; это чувствовали всѣ они, но возстать, но рѣшиться принести большія жертвы для того, чтобъ снять большую тягость съ плечъ своихъ, на это у нихъ не доставало характера: Калабрія еще въ прошедшемъ году была въ полномъ возстаніи, братья Ромео вели партизанскую войну—она была подавлена... казни слѣдовали за казнями, какъ вдругъ возсталъ Сицилія 12 января. Палермитяне приготовились къ этому подвигу, обдумавши приготовились. Во главу возстанія сталъ старикъ семидесяти лѣтъ Руджеро Сеттимо,—онъ ему придалъ всю упорность, всю настойчивость своихъ лѣтъ, все страстное хладнокровіе старика. Сицилія, нѣкогда отстоявшая Фердинанда I, была присоединена къ Неаполю на очень положительныхъ условіяхъ: Англія гарантировала ей конституцію 1812 года и отдѣльное управленіе. Конституція 1812 года принадлежитъ ко всему семейству конституцій, происшедшихъ изъ англійской, характеръ ихъ извѣстенъ: двѣ камеры, электоральный цензъ, личная свобода каждаго, книгопечатаніе безъ цензуры и т. п. Неаполитанское правительство не оставило ни одной юты, но нарушило ее самымъ оскорбительнымъ образомъ. Никакія протестаціи, никакія просьбы не помогали, на нихъ отвѣчали тюрьмой пулей, *пыткой*. Нынѣшній король, съ молодыхъ лѣтъ попавшійся въ руки іезуитовъ и потомъ подчинившійся во всемъ Дель-Каррето, не токмо не облегчилъ тягость управленія отца, но съ первыхъ дней своего царствованія показалъ такое отсутствіе снисходительности, такое презрѣніе къ просьбамъ народа, что не доставало только *gisorgimento*, чтобъ возмутить Сицилію да и часть материка. Такъ и случилось. Сицилія возсталъ и за нею вслѣдъ Калабрія и Аbruца. Войско было отражено сициліанцами, калабрійскіе волонтеры подступали, десятки подземныхъ типографій печатали кландестинные журналы, прокламаціи, воззванія,—Alba и Patria проповѣдовали изъ Флоренціи. Крѣпости наполнились арестантами, но число инсургентовъ не уменьшалось, ихъ разстрѣливали на скорую руку; правительство чув-

ствовало, что земля теряется у него подъ ногами, что черезъ нѣсколько дней, можетъ, будетъ поздно убивать и мстить... Король хотѣлъ, было, по при- мѣру отца, сдѣлать видъ уступокъ, ни къ чему не обязывающихъ, общалъ маленькую амнистію и разныя крошечныя льготы; никто не былъ имъ до- воленъ. Неаполь возсталъ. Войско медлило начать бойню на Толедо, не- охотно заряжало ружья... Оно было мрачно, деморализовано. Король могъ вполне надѣяться на однихъ швейцарцевъ,—на эти бездушныя машины, на этихъ убійцъ и защитниковъ по найму. Новые министры, между тѣмъ, пред- ставили королю положеніе дѣлъ, грозящую потерю всей Сициліи, опасность Калабрии и Абруцы. Января 31 вышла знаменитая прокламація. Реакціонное движеніе лацарони не удалось; іезуиты и del Carreto не могли произвести ничего серьезнаго. Король выслалъ del Carreto для того, чтобъ спасти его отъ раздраженнаго народа. Въ день моего приѣзда я отправился въ San Carlo, гдѣ былъ назначенъ гимнъ Фердинанда II, составленный въ благо- дарность за обѣщаніе 31 января. Огромная зала S. Carlo напоминаетъ мо- сковскій театръ, но она больше, несравненно пышнѣе и красивѣе. Всѣ мѣста были заняты. Давали гуннскую оперу Верди «Атилла»; между первымъ и вторымъ актами поднимается занавѣсъ, и хоръ пѣвцовъ съ трехцвѣтнымъ знаменемъ грянулъ гимнъ. Половина партера сидитъ въ шляпахъ. Оканчи- вается первый куплетъ—тишина, оканчивается второй—тишина, оканчивается послѣдній—тишина, тѣмъ болѣе рѣзкая, что нѣсколькой ладоней въ ложахъ и креслахъ хлопали съ неудержимымъ усердіемъ по тому же горячему чувству долга, по которому въ Александринскомъ театрѣ хлопаютъ иному крѣпкому словцу Кукольника и патріотической выходкѣ *нѣмецкаго* Ляпунова. Ти- шина эта меня удивила. У меня въ памяти были такъ живы «il vessillo, Pio popo». Въ Римѣ весь партеръ поетъ припѣвъ, въ ложахъ машутъ платками, дамы стоятъ, партеръ на ногахъ, «Evviva» сопровождаетъ каждый куплетъ. За день до моего отъѣзда изъ Рима въ Торъ дю Нона давали балетъ «Гвельфы и Гибелины»; появленіе Фридриха Барбароссы и австрійскихъ сол- датъ возбуждали свистъ, крикъ, вой негодованія, публика потребовала Ves- sillo и какъ только началось

Senoti, o Roma,

все вскочило на стулья, дамы выбросили шали, шарфы, сдѣлали изъ ложи въ ложу гирлянды, нѣсколько трехцвѣтныхъ платковъ привязали на палки; мужчины дали другъ другу платки, чивика подняла на голыхъ шпагахъ кивера... и громчайшее «Coraggio Lombardia! Coraggio fratelli!» раздалось сквозь слезы и энтузіазмъ...

Здѣсь гимнъ прошелъ въ молчаніи. «Вотъ оно чтò», подумалъ я и не могъ скрыть моего удивленія передъ сосѣдомъ (я иногда здѣсь обращаю рѣчь даже къ незнакомымъ сосѣдямъ въ театрѣ; прежде же этого не дѣ- лалъ, какъ имѣлъ честь сообщить вамъ въ статейкѣ «По поводу одной драмы»). «Подождемте 9 февраля», отвѣчалъ мнѣ молодой человѣкъ, и на лицѣ его было какое-то презрительное недоумѣніе и злая иронія. Слѣдующіе дни меня еще болѣе убѣдили, что недоумѣніе волновало всѣхъ. На Толедо, на дворцовой площади стояли группы людей, горячо разсуждавшихъ; кафе

были такъ полны, что часть посѣтителей дожидалась за дверьми; патрули вновь образованной народной стражи ходили печально; у нихъ лица были такъ же спокойны, какъ у всѣхъ, и всѣмъ было не по себѣ. Передъ дворцомъ двойной караулъ, ружья, поставленные пирамидами, блестятъ на солнцѣ; кучки офицеровъ въ разныхъ мундирахъ похаживали по тротуару; во дворцѣ большая тишина; мало свѣчей по вечерамъ, мало экипажей выѣзжаютъ и въѣзжаютъ. Группы на улицахъ разбиваются и снова сходятся, переходятъ съ мѣста на мѣсто, но не исчезаютъ; какъ будто все говорить «подождемъ 9 февраля». Между тѣмъ, министры, чтобы дать торжественный залогъ доказательства на дѣлѣ, что прокламація не шутка, сдѣлали распоряженіе объ освобожденіи всѣхъ политическихъ арестантовъ изъ С. Эльма, Castel del'Ovo и пр.

Городъ пошелъ ихъ встрѣтить; они въ дверяхъ тюрьмы встрѣтили руки друзей, ихъ окружили, ихъ повели торжественнымъ шествіемъ по Толедо; изъ домовъ выходили люди привѣтствовать воскресшихъ къ жизни страдальцевъ; другіе пробирались сквозь толпу, чтобы пожать руку, сказать слово; встрѣчные снимали шляпы... Давно ли все бѣжало отъ нихъ, давно ли боялись произнести эти имена, какъ будто въ самомъ звукѣ есть уже соприсносновенность къ дѣлу... Въ Caffè dell'Europa былъ накрытъ пышный столъ; за этотъ столъ вели освобожденныхъ арестантовъ ихъ друзья и поклонники. Неаполь толпился у оконъ кафе; бывало, la roture ходила смотрѣть издали, въ щелочку, какъ пируютъ ея господа, теперь тысячи людей старались увидѣть странное, новое зрѣлище, увидѣть эти блѣдныя истомленные лица, преждевременно состарившіяся, источенныя горемъ, перенесеннымъ бѣдствіемъ; между вазами фруктовъ и цвѣтовъ, между полными бокалами и хрусталемъ, возлѣ сотни свѣчей, отъ которыхъ потуплялись еще ихъ глаза, отвыкнувшіе въ темныхъ и сырыхъ казематахъ отъ яркаго освѣщенія... и имъ давно отвыкнувшимъ отъ надежды, давно сдружившимся съ мыслью о палачѣ, о галерахъ—и имъ пришлось на улицѣ Толедо публично выпить бокалъ за независимость Итали. Ромео, котораго голова была оцѣнена, Ромео спокойно обѣдалъ въ Caffè dell'Europa! Какъ это они не сошли съ ума, не умерли отъ такого переворота?! Когда окончился обѣдъ, новая толпа провожатыхъ съ флагами ожидала ихъ у выхода изъ кафе, — у этихъ каторжныхъ образовалась почетная стража, гвардія,—она ихъ повела въ San Carlo; дирекція вышла на встрѣчу и просила занять безденежно первыя мѣста въ стаяхъ оркестра...

Но недовѣріе не уменьшилось, — ждуть 9 февраля... Оно проходитъ. Группы еще многочисленнѣе, лица полны судорожнаго движенія. Правительство молчитъ, проходитъ 10-е и вмѣсто исполненія всего ожидаемаго,—афиша, что министры и король занимаются неумоимо исполненіемъ обѣщаннаго. Глаза всѣхъ сдѣлались подозрительнѣе, взгляды — злѣе, лбы наморщились; ожидали ретрограднаго движенія лацарони и иезуитовъ.

Одиннадцатаго февраля я пошелъ пройтись передъ обѣдомъ,—мы жили на Санта-Лучія. Какъ только я вышелъ, мнѣ представилась площадь передъ дворцомъ, покрытая народомъ. Все бѣжало туда; меня чуть не сшибли съ ногъ; я очутился въ густой колоннѣ прежде, нежели успѣлъ порядкомъ

разглядѣть что-нибудь. Крикъ раздавался страшный, и, несмотря на дождь, шапки летѣли сотнями вверхъ. «На firmato!» кричали въ народѣ... Si, si,—сказаль мнѣ мой сосѣдъ, пожилой человѣкъ,—ha firmato...eccolo»,—прибавиль онъ, схвативши меня за плечо. Народъ закричалъ: «evviva il re costituzionale, evviva la costituziona». Мой сосѣдъ снялъ свою шляпу и, обращаясь ко мнѣ, сказаль сквозь слезы: «per il nome di Dio—è per la prima volta—per la prima volta!» Король безъ шляпы и въ длинномъ зеленомъ сюртукѣ раскланивался съ народомъ низко, низко,—мнѣ показалось, что онъ былъ тронуть въ эту минуту, а вѣрно, что я былъ сильно взволнованъ. Толпа бросилась отъ дворца на Толедо,—что тутъ было въ этотъ вечеръ, невозможно описать; безумный восторгъ и сатурналія, оргія, въ которой участвуетъ цѣлый городъ, опьянѣвшій отъ политическаго воскресенья,—тутъ не кучка арестантовъ праздновала свое освобожденіе, а цѣлое народонаселеніе. Лица съ восторгомъ въ глазахъ, красныя и разстроенныя бросались другъ другу въ объятія молча, со слезами; незнакомые останавливали другъ друга и поздравляли, вся улица покрылась фонарями и шкаликами. на всѣхъ окнахъ явились свѣчи, дамы ѣхали стоя въ коляскахъ съ факелами и махали платками, мальчишки дурачились середь улицы. «Viva l'indipendenza, viva la libertà»—раздавалось съ конца на конецъ по безконечной улицѣ. Римской величавости въ этомъ опьяненіи, въ этомъ восторгѣ нечего было и искать, gravité совсѣмъ не въ характерѣ неаполитанцевъ; у нихъ живость и комизмъ прививаются ко всему, они до такой степени шуты, что свой гимнъ Masaniello приладили на голось извѣстной «кошки»:

Pecche quamo me vive
P'engriffe com'un gatto,

которую пультинелы поютъ по улицѣ съ самыми каррикатурными и смѣшными движеніями. Но восторгъ, одушевленіе вечера, о которомъ я говорю, глубоко потрясалъ душу. На другой день торжество было приведено въ порядокъ, Толедо было богато иллюминировано, безконечныя вереницы экипажей съ факелами тянулись по бокамъ, въ серединѣ улицы шли разныя группы со своими знаменами, но вчерашняго увлеченія не было. Король явился въ театръ S. Carlo, театръ былъ освѣщенъ а gioglio, дамы въ бальныхъ платьяхъ, военные въ полномъ мундирѣ или во фракахъ и бѣлыхъ жилетахъ; зала, кипѣвшая народомъ, была необыкновенно пышна. Королю апплодировали, гимну апплодировали, но чего-то недоставало. Послѣ театра праздникъ продолжался до глубокой ночи на Толедо, Санта Лучіи и Кіаіѣ. Народъ съ хохотомъ и крикомъ несъ висѣлицу, на которой была повѣшена восковая фигура Дель Каррето; другіе несли его голову на пикѣ. Вчера враги еще были забыты, на другой день ненависть, накопившаяся годами, пробралась уже середь ликованій и потребовала участія. Висѣлицу снесли подъ окна жены эксъ-министра, имѣвшей героизмъ или глупость остаться въ Неаполѣ. А ея добродѣтельный супругъ, Улиссъ или вѣчный жидъ нашихъ дней, имѣлъ случай убѣдиться, какою обширной извѣстностью пользуется его имя въ Италіи. Его путешествіе принадлежитъ къ числу самыхъ

поучительныхъ легендъ новаго времени. Del Carreto посадили на пароходъ и отправили въ Ливорно, спасая его отъ народа. Не знаю, какъ въ Ливорно узнали, что на борту парохода Del Carreto. Народъ высыпалъ на берегъ, запрещая высаживать эксъ-министра; капитанъ просилъ дозволенія взять угля и воды, ему отказали. Самъ префектъ совѣтовалъ имъ отчаливать по добру и по здорову. Онъ отправился въ Геную, но генуэзцы послали на лодкѣ депутацію къ капитану съ совѣтомъ не останавливаться въ ихъ портѣ, а ѣхать далѣе и сказать ему, что они рѣшились скорѣе умереть въ схваткѣ съ экипажемъ, нежели позволить Del Carreto запятнать своимъ присутствіемъ. Капитанъ снова попросилъ угля. Генуэзцы отвѣчали выразительнымъ совѣтомъ продолжать немедленно путь; «on a eu cette barbarie» — прибавляетъ мягкосердечный «Journal des Débats» къ разсказу объ этомъ. Del Carreto отправился на парусахъ въ Гаэту; тутъ онъ сдѣлалъ еще опытъ устроить контръ-революцію, она не удалась, ее открыли, нашли бездну оружія и мундиры національной гвардіи для сбирровъ. Тогда огорченный Del Carreto уѣхалъ въ Марсель, гдѣ хотя и былъ дурно принятъ народомъ (за чтó «Монитеръ» сильно пожурилъ марсельцевъ), но зато взниканъ лаской и вниманіемъ товарищами по службѣ—Гизо и Дюшателемъ.

Жизнь, которая распространилась въ Неаполѣ послѣ конституціи, нельзя себѣ представить. Толедо кишитъ народомъ съ утра до ночи, кафе набиты биткомъ, блестящіе экипажи несутся вереницей по Chiaï къ Ville Reale, всѣ шумятъ и веселятся, клубы даютъ обѣды и праздники, никто не боится сбирровъ, ихъ будто нѣтъ, полиція притихла. А прогос, вотъ вамъ трагикомическій анекдотъ, случившійся со мной.

У меня пропалъ портфель съ чрезвычайно важными документами. Я объявилъ, что тому, кто найдетъ бумаги, я даю двадцать пять дукатовъ. Прошло болѣе недѣли, я и не ожидалъ болѣе моего портфеля, какъ вдругъ лацарони въ панталонахъ, безъ рубашки и завернутый въ какой-то толстой холстинной тряпкѣ вмѣсто шинели, принесъ портфель съ бумагами, но въ числѣ ихъ недоставало двухъ векселей. Повидимому, лацарони не былъ воръ, вѣроятно, портфель ему подсунули — было бы безмѣрно глупо изъ-за двадцати пяти дукатовъ подвергаться страшной опасности, укравши нѣсколько тысячъ франковъ! Но черезъ него можно было добраться до векселей. Лацарони стоялъ на томъ, что онъ бумажникъ нашелъ на улицѣ. Я отправился къ графу Тофано, новому префекту. Префектъ хотѣлъ послать захватить моего пріятеля, завернутаго въ отрывокъ паруса; я ему замѣтилъ, что это будетъ дурная благодарность съ моей стороны за возвращеніе бумагъ, если я отдамъ по одному подозрѣнію на полицейское истязаніе бѣдняка, который ихъ принесъ. «Какъ вы ошибаетесь» — сказалъ мнѣ, улыбаясь, графъ Тофано, — «вы думаете, что еще народъ боится полиціи; теперь пришелъ нашъ чередъ, теперь полиція боится народа». Я, все-таки, не счелъ нужнымъ тотчасъ принять предложеніе префекта и отправился самъ съ принесшимъ портфель въ какой-то грязный притонъ лацарони за Dogane vi Sale. Мой пріятель обѣщалъ мнѣ показать стараго матроса, которому онъ *отдавалъ побережъ* портфель, найденный имъ въ кучѣ сора. Въ сѣняхъ лежали чловѣкъ пять почти совсѣмъ голыхъ, на мокромъ каменномъ полу, запахъ

чесноку былъ невыносимъ; какой-то мальчикъ сталъ передо мной и началъ меня разсматривать, какъ какую-нибудь вещь. Лацарони, консерваторъ и аристократъ, отпихнулъ его отъ меня и грубо сказалъ: «è un padrone», но тутъ же стоялъ, прислонясь къ стѣнѣ, лацарони радикаль и демократъ, не совсѣмъ трезвый и чрезвычайно замазанный; онъ заругалъ аристократа и прибавилъ: «Santa Maria... è un padrone... ma noi noi Siamo padroni... oggi tutti seno fratelli sono uguoli.—Viva la Fratellanza!»—прибавилъ я, и успокоившійся демократъ попросилъ у меня сигару. Явился матросъ-старикъ. Сквозь стекла очковъ глаза его горѣли, какъ у юноши; умъ, плутовство, хитрость и цѣлая жизнь, проведенная въ опасной партизанской войнѣ противъ собственности и общества, виднѣлись въ его чертахъ. Онъ былъ одѣтъ гораздо чище прочихъ; сначала началъ со мной говорить по-неаполитански; я не умѣю понимать ни одного слова на этомъ нарѣчьи,—онъ сталъ продолжать чистымъ итальянскимъ языкомъ, прибавляя даже франц. слова для поясненія. Переговоры наши шли не легко. Я объяснялъ ему, что мои векселя для того, у кого они теперь, не принесутъ пользы, что я предупредилъ банкировъ и пр. Онъ доказывалъ мнѣ то самое, что я самъ говорилъ ему, находилъ справедливымъ отдать векселя и жалѣлъ объ одномъ, о томъ, что ихъ нѣтъ. Я сказалъ, наконецъ, о предложеніи префекта и о моемъ отказѣ, давая чувствовать, что дѣло можетъ пойти иначе. «Мудрено ли обидѣть насъ, бѣдныхъ людей»,—отвѣчалъ старикъ, и лицо его противъ воли явно выражало презлую насмѣшку; оно такъ и говорило: «ну, поди-ка съ твоимъ префектомъ, поищи,—много найдешь?» Я его сталъ увѣрять честнымъ словомъ, что я не хотѣлъ бы дать этому дѣлу оборотъ полицейскій, что, напротивъ, если онъ мнѣ поможетъ, я готовъ ему подарить что-нибудь. Матросъ посмотрѣлъ на меня пристально; глаза его, несокрушимые временемъ, казалось, хотѣли проникнуть въ глубь души; и вдругъ онъ сталъ говорить довольно порядочно по-французски. «Я, право, для васъ бы сдѣлалъ, если бы вы требовали невозможнаго; я вѣрю вамъ, что векселя были, да ихъ нѣтъ, откуда ихъ взять? что мнѣ вашъ подарокъ. Я за рюмку хорошаго коньяку отдалъ бы вамъ, а вы, можетъ, и десять дукатовъ дали бы?—Охотно.—Вотъ досада-то,—сказалъ онъ, обращаясь къ товарищамъ.—Кому нужны именныя векселя, *развѣ въ Ливорно, а не то въ Марсель размѣняетъ*, да и то трудно, а господинъ этотъ далъ бы десять дукатовъ, сверхъ обѣщанныхъ... Вѣдь, сверхъ обѣщанныхъ?—Разумѣется.—Поищите-ка, братцы!—Гдѣ теперь искать, черезъ недѣлю»,—отвѣчали грубо валяющіеся на полу собесѣдники.

Я уѣхалъ. Замѣтите, я былъ въ коляскѣ — и только на одну минуту завернувши въ префектуру, приѣхалъ домой. Первое лицо, которое я встрѣтилъ у воротъ отеля, былъ старикъ-матросъ; на ступенькѣ лежали два лацарони: мой пріятель и довольно плечистый товарищъ.

— Мы послѣ васъ все перерыли у себя,—сказалъ мнѣ старикъ,—и вотъ нашли какія-то бумажки; кажется, съ вашей фамиліей, мы читать-то не совсѣмъ умѣемъ.—Я взглянулъ—это были мои векселя. — Мнѣ остается вамъ отдать деньги, сказалъ я. — Деньги слѣдуютъ не мнѣ, а вотъ этому мальчику, онъ нашелъ ваши бумажки, а мнѣ развѣ такъ, на макароны.—Пойдемте со мной,—сказалъ я ему.—Вынесите лучше сюда въ сѣни,—отвѣчалъ ста-

рикъ.—Я улыбнулся, и старикъ улыбнулся.—Пожалуй.—Надо было видѣть глаза старика и видъ лацарони, которому я платилъ деньги. Онъ дрожалъ, глядя на серебро, а врядъ осталась ли у него треть ихъ, не даромъ матрость считалъ глазами. Старикъ я далъ дукатъ. Онъ представилъ видъ величайшей радости.

Прибавлю только къ этой характеристической исторіи, что мнѣ протежировалъ грозный Michele Valpuso, неаполитанскій Чичероваккіо ¹⁾).

Теперь возвратимся къ Неаполю. Итакъ, жизнь кипитъ, несется, крутится въ этой изящной рамѣ, Толедо запружено журналами, карриатурами.— это такъ ново для неаполитанцевъ. Мальчишки лацарони бѣгають съ пѣснями и новостями и пристають съ ними такъ, какъ прежде приставали съ violetками. Неаполь сдѣлался еще красивѣе, еще упоительнѣе, оставивъ натянутое состояніе, въ которомъ я его засталъ. Одно меня удивило и не позволило совершенно отдаться этой жизни—страшный эгоизмъ въ нравахъ. Это—не Римъ, плачущій о каждой итальянской скорби, сочувствующій каждой части полуострова. Неаполь не помянулъ въ своемъ ликованіи Ломбардію, не помянулъ даже полуразрушенное Палермо; онъ и не подумалъ, что Сициліи обязанъ всѣми перемѣнами, еще хуже—онъ дулся на то, что сицилійцы, сидя на трупахъ дѣтей и отцовъ, на развалинахъ своихъ домовъ, не бросились тотчасъ же на неаполитанскія предложенія, не надѣли розовыхъ вѣнковъ на головы, по которымъ еще текла кровь отъ ранъ, нанесенныхъ неаполитанскими тесаками. Неаполь не понялъ великаго острова!

Февраля 24-го видѣлъ я, какъ въ S. Francesco di Poole король присягалъ новому уложенію. Онъ формулу присяги прочелъ громко. Теперь еще слышутся слова: «Jo Ferdinando secondo re delle due Siciliè, guiro...», но лицо его было мрачно, — я тутъ лучше, нежели прежде, разглядѣлъ его; онъ болѣе, нежели полонъ, бакенбарды кругомъ лица, небольшіе усы и страшный взглядъ; есть какое-то дальнее сходство съ Людовикомъ-Филиппомъ и еще болѣе съ римскими бюстами цезарскихъ временъ, съ бюстами Гальбы, Виталія. Послѣ короля присягали генералы; Стателли, сициліанецъ, отказался и съ нимъ еще три генерала, — они не хотѣли присягать до полученія вѣстей изъ Сициліи; ихъ исключили изъ службы. Передъ церковью стояла національная гвардія и войска. Самъ король привелъ ихъ къ присягѣ при громѣ пушекъ съ крѣпостей, на которыхъ развѣвались знамена съ трехцвѣтными лентами.

А тутъ и пошла вѣсть за вѣстью: новое уложеніе въ Даніи, Тосканѣ, Пьемонтѣ, въ Римѣ перемѣна министерства, папа снова уступалъ.

Напировавшись въ Неаполѣ, мы возвратились въ Римъ. Карнавалъ шелъ вяло, тихо, всѣ были заняты другимъ, вниманіе всѣхъ обращено на иное, печальный вѣсти изъ Ломбардіи мѣшали маскамп. Клубы объявили, что въ этотъ карнавалъ не будутъ mocoletti. Правительство объявило, что mocoletti будутъ. Дали обычный сигналъ выстрѣлами изъ пушекъ—ни одной свѣчи не зажглось.

¹⁾ Michele Valpuso убитъ въ несчастный день 15 мая.

Симъ заключаю я мое письмо.

Римъ, 3 марта.

Р. С. Говорятъ о важномъ возстаніи въ Парижѣ; дѣло началось съ реформистскаго обѣда. Въ газетахъ нѣтъ ничего.

Ночью я былъ на маскарадѣ въ Торъ ди Нонѣ; толпа была огромная. Часу во второмъ въ одной изъ ложъ явился человѣкъ съ какой-то бумажкой въ рукахъ и громко закричалъ: «Viva la Francia liberata, morte al caduto governo, viva la republica Franceza», и масса наряженныхъ, пестрая, разноцвѣтная вдругъ остановилась, столпилась и прокричала: «Viva, viva la republica francesca».

Да что это во снѣ или наяву?

4 марта 1848.

Прибавленіе къ третьему письму.

Прошло еще два мѣсяца—и какіе два мѣсяца! Для полноты писемъ съ Via del Corso я прибавлю разсказъ доли тѣхъ событій въ Римѣ, которыхъ я былъ свидѣтелемъ; это будетъ заключеніемъ моей итальянской поѣздки. Вѣсть о провозглашеніи французской республики сильно потрясла Римъ и всю Италію. Пій IX спѣшилъ издать свое уложеніе,—*troppo tardi*. Оно было принято холодно, оно не удовлетворило ни радикаловъ, ни іезуитовъ; партія грегорианцевъ кричала противъ новыхъ постановленій не менѣе партіи Маццини и Жоберти. Одна золотая посредственность, люди прѣсные, ни теплые, ни холодные, соотвѣтствующіе французскимъ буржуа-либераламъ, любящимъ умѣренный прогрессъ и притомъ любящіе въ немъ умѣренность больше прогресса, были довольны.

Пій IX учреждалъ двѣ камеры, изъ нихъ одна была въ рукахъ кардиналовъ, а другая представляла ей свои предложенія; если она соглашалась съ низшей камерой, то отсылала ея предложенія на утвержденіе папы, который не прежде утверждалъ, какъ предлагая ихъ на обсуживаніе святого коллегіума, и въ послѣднемъ случаѣ принималъ или отвергалъ со всею волею своего непогрѣшительнаго суда. Избирательный цензъ утверждался очень высокой, особенно взявши въ расчетъ бѣдность края и распредѣленіе собственности. Инквизиція не уничтожалась. Доминикальные суды, мѣшающіеся во всѣ семейныя и брачныя дѣла, не отмѣнялись, и тайна алькова снова оставалась отданной на разборъ людей, по званію не должествующихъ имѣть никакого понятія о дѣлахъ брачныхъ. Дозволялось печатать *все свѣтское* безъ цензуры, но рѣшеніе вопроса. чтѣ свѣтское и духовное, представлялось духовной цензурѣ; не надобно забывать, что такое раздѣленіе очень нелегко тамъ, гдѣ министры—кардиналы, гдѣ папа—царь, гдѣ финансовыя мѣры—чуть не догматы и полицейскія распоряженія—почти эпитимія. Словомъ, папское уложеніе было бѣднѣ сардинскаго и тосканскаго; оно было ниже того порядка, который фактически существовалъ въ Римѣ;

лучшая сторона его состояла въ томъ, что она доказала міру возможность конституціоннаго папы.

Папа былъ со своей стороны недоволенъ пріемомъ уложенія; онъ видѣлъ, что теряетъ свою народность, а для человѣка, испытывающаго любовь народную, трудно отстать отъ ея изъясненія, она ему нужна, какъ актеру рукоплесканія. Объявленіе войны за Ломбардію могло все исправить. Вѣсти, приходившія оттуда, были мрачнѣе и мрачнѣе; Пій IX скорбѣлъ, какъ всѣ итальянцы о несчастномъ краѣ, но... поступить смѣло, сказать рѣзко слово войны—это было невозможно женскому характеру Пія. А между тѣмъ, вся Италия требовала громче и громче права пособить братьямъ. Папа и монархи ждали, ждали una dance violence и чуть-чуть было не дождались изгнанія. Послѣ революціи 24 февраля и объявленія папской конституціи, партія въ Римѣ приняла новый видъ. Я говорилъ въ прежнихъ письмахъ, что большая демонстрація 2 января была высшей и послѣдней точкой народности Пія IX; въ самой демонстраціи этой замѣшался уже рѣзко обозначенный характеръ горечи, которой прежде не было; правда, онъ былъ побѣжденъ любовью къ Пію, но что-то печальное, заботливое осталось на душѣ, энтузіазмъ къ нему простывалъ; онъ это могъ видѣть въ демонстраціяхъ по поводу неаполитанскихъ дѣлъ, въ которыхъ его обошли, въ трехцвѣтной кокардѣ, вытѣснившей папскую. Римляне сердились, негодовали и скрывали свое неудовольствіе, потому что Пій былъ для нихъ знамя. Правительство дѣлало ошибку за ошибкой, необходимость дать конституцію послѣ сицилійскаго возстанія бросалась въ глаза, папа медлилъ, журналы всякій день вгоняли римлянъ въ краску, указывая на Неаполь, Тоскану, Пьемонтъ... Папа ждалъ и дождался 24 февраля,—революція во Франціи внезапно раздула такія политическія требованія, о которыхъ наканунѣ не смѣли мечтать; всѣ конституціи въ мірѣ поблѣднѣли передъ огненнымъ словомъ республики... Папа издалъ конституцію, «побужденный, какъ самъ сказалъ въ прокламаціи, быстрою несущихся событіемъ».

Конституція его, въ сущности не удовлетворившая никого, разорвала на двѣ стороны либеральную партію въ Римѣ. Доля либеральной аристократіи, слабое, но существующее, однако, сословіе буржуазіи и ей принадлежащая часть чивики, чирколо романо и всѣ любители порядка, въ какую бы цѣну онъ ни былъ, и тишины, какою бы жертвою она ни достигалась, испугались вліянія франц. революціи, испугались радикализма, который сталъ высказываться прямо и открыто въ новомъ римскомъ журналѣ «L'Eros»; они подали другъ другу руку и прижались, какъ стадо овецъ, къ квириналу, умоля «мечъ Италиі», Карла-Альберта начать войну, безъ которой они не предполагали возможности удержать въ покоѣ Римъ. Лестъ, расточаемая пьемонтскому королю, надежда сдѣлаться ломбардскимъ королемъ, которой они льстили его, возбуждала крикъ негодованія и злобы радикаловъ, далеко не такъ незлопамятныхъ и очень хорошо помнившихъ жизнь Карла-Альберта, котораго въ Италиі, если менѣе презираютъ, нежели неаполитанскаго короля, то столько же ненавидятъ. Люди послѣдовательные, люди не шутя хотѣвшіе свободныхъ учрежденій, люди съ мыслью стали въ рѣзкую оппо-

зицію не только съ правительствомъ, но съ модерантизмомъ чирколо романо, открыто порицали конституцію и проповѣдовали народную войну.

Размолвка съ папой доселѣ была внутри душъ; его щадили, его выносили на своихъ плечахъ, старались снова толкнуть на дорогу, съ которой онъ сбился; теперь радикальная партія предоставляла его своей судьбѣ и модерантистамъ, она поняла, что съ нимъ не сладить и что легче дѣлать свое дѣло безъ него; что, наконецъ, когда онъ опять будетъ нуженъ, то его можно силою толкать въ спину такъ, чтобъ стоящимъ издали казалось, что онъ впереди, что онъ предводительствуетъ. Словомъ, радикальная партія вымѣрила свою силу и его слабость. Римъ воспитался менѣе, нежели въ полтора года. Когда папа замѣтилъ, что волна, его подхватившая, не покорется ему, когда онъ увидѣлъ, что языкъ, которымъ съ нимъ говорили римляне, измѣнился, онъ растерялся, у него закружилось въ головѣ, онъ хотѣлъ остановиться,—по счастью, не могъ Остановиться политическому дѣятелю и остаться на своемъ мѣстѣ *pensez*, тутъ выбора нѣтъ: или отойти совѣмъ отъ несущихся событій, или безславно удариться о землю и быть, смотря по окружающимъ обстоятельствамъ, раздавленнымъ или влекомымъ противъ воли.

Послѣднее случилось съ Пиемъ. Была минута, впрочемъ, въ которую іезуитское вліяніе взяло верхъ, они ловко и хитро избрали время, но есть событія, есть эпохи, въ которыя всякая хитрость, всякая дипломатія падетъ передъ энергіей убѣжденій, передъ силою современной мысли. Іезуитизмъ воспользовался раздвоеніемъ либеральной партіи, оставляя въ покоѣ вялое и прѣсное *juste milieu*, удовлетворившееся конституціей; они представили тревожному и беспокоившемуся Пію радикальную партію, какъ анархистовъ, какъ людей, стремящихся къ явному возстанію, какъ его враговъ; они указали ему ихъ силу, ихъ языкъ, наконецъ, умоляли его спасти церковь и ихъ самихъ отъ угрозъ этихъ якобинцевъ. Пій IX, утраченный ими, издалъ еще наканунѣ конституціи два приказа нелѣпости и неосторожности невѣроятной. Въ одномъ онъ защищалъ іезуитовъ, въ другомъ поручалъ національной гвардіи спокойствіе города, ввѣрялъ имъ сохраненіе лицъ и собственности,—можно было думать, что Римъ въ полномъ возстаніи, что толпы разбойниковъ его грабятъ; ничего подобнаго не было, іезуиты увѣрили папу, что радикалы хотятъ ограбить ихъ коллегіумъ. Радикальная партія, отталкиваемая правительствомъ, оклеветанная передъ нимъ (надобно, впрочемъ, отдать полнѣйшую справедливость Пію въ томъ, что онъ даже не попытался прибѣгнуть къ дикимъ средствамъ насилія и преслѣдованія), сверхъ официальной борьбы подвергалась иной опасности: іезуиты, неудовлетворенные папой, изъ котораго не могли выжать какого-нибудь нантскаго эдикта, обратились съ проповѣдью къ трастевринцамъ и монтежіанамъ; эти дикіе и энергическіе обитатели дальнихъ частей Рима, недавно отвыкнущіе отъ кровавыхъ сценъ и отъ потомственной ненависти къ центральному Риму, въ политическомъ отношеніи далеко отстали отъ своихъ согражданъ; имъ іезуиты начали проповѣдовать святое избіеніе нѣсколькихъ злодѣевъ, желающихъ ниспроверженія св. отца, церкви и собирающихся перебить и ограбить монаховъ. Не надобно думать, чтобъ трастевринцы и монтежіане

имѣли что-нибудь общее съ неаполитанскимъ лацарони, которые около того же времени явились на защиту іезуитовъ, такъ, какъ они явились на защиту Del Carreto. Лацарони—одичавшая и павшая отъ бѣдности чернь. Въ Римѣ ничего нѣтъ павшаго; тѣхъ можно поднять деньгами, римлянъ—однимъ фанатизмомъ. Проповѣди принесли свой плодъ: энергическіе трастеверинцы морщили лобъ и начали поговаривать, что лучше дадутъ убить себя, нежели своихъ духовниковъ и наставниковъ, грозили либеральному *Cafè delle belli arti*, редакціи «Эпохи»; возстаніе ихъ могло быть, при помощи іезуитовъ и партіи Ламбускини, ужасно, превратиться въ страшную вареоломеевскую ночь. Два баталіона чивики состоятъ изъ монтежанъ и трастеверинцевъ; прибавьте къ нимъ 16.000 холоповъ, живущихъ у кардиналовъ и монсиньоровъ, самой развратной и лѣнливой челяди, которая копошится, какъ черви, въ мертвомъ тѣлѣ духовнаго вельможества. Для нихъ всякая перемѣна—голодная смерть или работа, ненавидимая ими. Мудрено ли, что они готовы итти на ножи и съ ножамъ; прибавьте потомъ всѣхъ монаховъ, поповъ, абатовъ, чиновниковъ, которые душою противъ движенія и которые, если бы не пошли рѣзаться на улицу, то подстрекнули бы рѣзню и, навѣрное, не сдѣлали бы ничего въ защиту ненавистныхъ революціонеровъ.

Чичероваккіо, нѣсколько обойденный, но всегда честный, благородный, не утратившій ни своего вліянія на народъ, ни своего такта, инстинкта, старался противодѣйствовать «іисусовой компаніи» и обличать ея продѣлки. Радикалы запасались пулями, многіе не выходили на улицу безъ пистолета или кинжала. Но прежде, нежели благочестивая братія приготовила вареоломеевскую ночь и Пій IX совсѣмъ перешелъ въ реакцію, раздался призывъ на другой бой, на иную войну, и враждебно распадавшійся Римъ на партіи снова сплотился воедино, увлеченный одною мыслью и однимъ крикомъ: «въ Ломбардію, въ Ломбардію, спасать итальянскую національность!»

Вѣсть о вѣнской революціи сначала какъ-то смутно пронеслась по городу, никто не повѣрилъ. «Въ Вѣнѣ революція»,—эти два слова, вмѣстѣ поставленные, производили смѣхъ; но въ посрамленіе тѣмъ, которые не вѣрятъ въ народы и отчаиваются въ цѣлыхъ странахъ, революція, хотя и не оправдавшая доселѣ половины надеждъ и ожиданій, но революція, огромная по смыслу и послѣдствіямъ, совершилась въ самомъ дѣлѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ вспыхнулъ Миланъ.

22 марта пришла вѣрная вѣсть объ этомъ въ Римъ; утромъ я замѣтилъ необыкновенное движеніе на Корсо. Выхожу на улицу—вездѣ группЫ громкій разговоръ; подхожу къ одной изъ нихъ и спрашиваю у человѣка, держащаго въ рукѣ письмо, въ чемъ дѣло. «Народъ восторжествовалъ въ Вѣнѣ, Меттернихъ бѣжалъ, императоръ задержанъ во дворцѣ»,—отвѣчалъ онъ мнѣ и прибавилъ: «да вы, кажется, нѣмецъ? Oh bravo, bravissimo Tedeschi, oggi fratelli nostri!» Я замѣтилъ ему, что я не нѣмецъ, а русскій, но это не помѣшало двумъ-тремъ прокричать нѣмцамъ *eviva*... Вотъ какъ амнистируютъ народъ, вотъ какъ у нихъ коротка память на зло. Часамъ къ одиннадцати густыя массы народа покрыли Корсо отъ Piazza del Popolo до Piazza Venezia. Я зашелъ узнать подробности къ Торлони; у него въ банкѣ царилъ смутный беспорядокъ; Спада растерянный и сконфуженный разсра-

шиваль меня въ отвѣтъ на мои вопросы; главный секретарь нашего посольства, качая головой, говорилъ съ княземъ-банкиромъ,—нѣтъ бездушнѣе людей въ мірѣ, какъ занимающіеся финансовыми оборотами; они не могутъ дать мѣста ни одному безкорыстному чувству, они должны сдерживать каждую радость и каждую печаль, ибо не знаютъ еще, какъ она будетъ въ переводѣ на скуди, на франки, на hausse и baisse. Когда я вышелъ отъ Торлони, дома были уже всѣ украшены коврами, трехцвѣтныя знамена развѣвались изъ сотни оконъ, ломбардское знамя, являвшееся доселѣ въ черномъ крепѣ, красовалось передъ толпой съ золотыми кистями. Одушевленіе и восторгъ толпы были невыразимы.

Народъ требовалъ, чтобъ ударили въ колокола,—раздался праздничный звонъ, народъ требовалъ, чтобъ крѣпость S.-Angelo привѣтствовала паденіе австрійскаго правительства и возстаніе Ломбардіи, и пушечный громъ раздался.

Народъ плавалъ въ блаженствѣ, и вдругъ у всѣхъ явилась одна мысль: итти къ Palazzo Venezzi къ австрійскому посланническому дому. На немъ, по итальянскому обычаю, висятъ два огромные императорскіе герба. Снять ихъ, растерзать эту ucello grifagno, какъ видимый знакъ абсолютизма, тотчасъ пришло въ голову и овладѣло всѣми. Народъ бросился за лѣстницами и инструментами. Болѣе двадцати тысячъ человѣкъ окружили домъ. Снять тяжелые гербы было не легко и во все продолженіе работы не было даже разбито ни одного стекла, никто не попытался взойти въ комнаты посла, да еслибъ и попытался, то это было бы невозможно: ломбардцы сдѣлали изъ себя карауль австрійскому послу! Плечистый работникъ съ длинной бородой залѣзъ за гербъ и исчезъ тамъ; по временамъ раздавались удары топора; толпа задыхалась; трое молодыхъ людей помогли работнику; того и смотри, что кто-нибудь сорвется; всѣ ожидали въ какомъ-то нервномъ безпокойствѣ; и вотъ послѣ долгихъ усилій огромный щитъ, гремя цѣпями, которыми былъ прикрѣпленъ, рухнулъ на землю, и работникъ, прокричавши во все горло: «viva l'alta Italia», принялся привязывать ломбардское знамя. Народъ бросился съ остервенѣніемъ на гербъ; все наболѣвшее на душѣ его отъ австрійцевъ выразилось въ злобѣ, съ которой топтали, ломали ненавистный гербъ притѣсненія и темнаго statu quo.

Мраморную надпись ссѣкли молотами и написали вмѣсто нея: «Palazza della dicta italiana». Гербъ привязали къ ослу, и отправились триумфальнымъ шествіемъ по Корсо; свистъ и крикъ встрѣчали бѣдную двуглавую птицу; мальчишки бѣжали за ней, бросая грязью, подстегивая плетью, изъ оконъ стрѣляя... Такъ шествіе дошло до Piazza del popolo; тамъ сожгли его на большомъ кострѣ, и музыка чивики протрубила ему вѣчную память.

Папа медлилъ и тутъ, и тутъ игралъ свою уклончивую роль. Допустивши колокольный звонъ и пушечную стрѣльбу, не сдѣлавъ даже вида противодѣйствія оскорбленію герба австрійскаго, онъ обсылался теперь съ Луцовымъ, объяснялся, говорилъ, что если австрійскій императоръ со всѣмъ войскомъ своимъ не могъ удержать въ Вѣнѣ порядокъ, то какъ же ему было воспрепятствовать. А «Ероса» печатала: «la guerra è dichiarata all'Austria, non dal governo, ma del popolo Romano». На другое утро ждали почты изъ Милана, она не пришла.

Это повергло въ сильное безпокойство. Часовъ въ 11 прїѣхаль какой-то дилижансъ изъ Болоньи; его остановили, разспросили, а потомъ нѣсколько тысячъ человекъ проводили до почты, чтобы узнать, нѣтъ ли чего новаго; заспанныя лица путешественниковъ смотрѣли съ какимъ-то недоумѣніемъ на все, что дѣлалось. Вдругъ разнеслась вѣсть, что въ Миланѣ дѣла идутъ не такъ-то хорошо, что австрійцы одолѣвають; дикое «all'armi, all'armi!» пробѣжало по Корсо,—ломбарды и римская молодежь звали народъ въ вольное ополченіе, оружіе хотѣли просить, а если папа откажетъ, взять силой въ арсеналѣ. Всѣ были недовольны полумѣрами, отъ возстанія былъ одинъ шагъ... По счастью, часа въ два явился на Piazza del popolo въ извозничей коляскѣ министръ полиціи Галетти (человѣкъ радикальный, приговоренный нѣкогда Григоріемъ XVI на вѣчныя галеры); онъ объявилъ, что папа оружіе даетъ и позволяетъ формировать вольныя отряды. «Въ Колизеѣ римляне,—сказалъ толстый священникъ, выходя изъ толпы,—въ Колизеѣ лежитъ книга, куда записываются; тамъ ждуть ломбарды братій испкупителей; за мною въ Колизей! я иду съ вами на поле битвы». «Въ Колизей!», закричали тысячи голосовъ, и народъ мѣрными и важными шагами, гордо забрасывая край грязной шинели на плечо, отправился въ Колизей. Я не видалъ въ жизни моей зрѣлища болѣе торжественнаго, болѣе величественнаго. Форумъ и Колизей были освѣщены заходящимъ солнцемъ, яркими потоками входили лучи его въ арки Колизея, несмѣтная толпа покрывала середину; на аркахъ, на стѣнахъ, въ ложахъ толпились люди. Въ одной изъ ложъ стоялъ pater Gavazzi, усталый, обтирая потъ, но готовый уже снова говорить—и вотъ онъ подаетъ знакъ рукою, тишина водворяется. Гавацци энергическій патеръ, нѣкогда гонимый фанатикъ патріотизма, и я слышалъ слово отъ слова рѣчь или, лучше сказать, — нѣсколько рѣчей, сказанныхъ имъ въ Колизеѣ. Надобенъ большой навыкъ, чтобы говорить съ народомъ; тутъ не идетъ ни академическая рѣчь, ни проповѣдь, ни адвокатская риторика. Сильныя выраженія, яркіе цвѣта, энергія, простота, авторитетъ и, главное—глубокое знаніе своей аудиторіи со всѣми ея особенностями, ея симпатіями и мѣстными предпочитаніями, съ ея слабостями и добродѣтелями. Гавацци не сказалъ ничего новаго, но сильно потрясъ своихъ слушателей.

«Есть время, говорилъ онъ, въ которое Богъ мира становится Богомъ войны; возлѣ креста на груди моей трехцвѣтная кокарда—Христосъ и Италия! жить для нихъ, для нихъ умереть—вотъ наше призваніе. Передъ этимъ распятіемъ клянусь итти впередъ, я буду во всѣхъ опасностяхъ съ вами, раненый найдетъ меня для помощи, умирающій для послѣдняго утѣшенія; даже тотъ, кто оробѣетъ, найдетъ мой взглядъ ободряющій, клянитесь же и вы, но въ храбрости вашей никто и не сомнѣвается; клянитесь въ повиновеніи, клянитесь въ сохраненіи порядка». И такъ далѣе въ этомъ родѣ. Въ заключеніе онъ вдругъ обратился къ молодежи:

«Юноши Рима, вамъ я чуть, было, не забылъ сказать радостную вѣсть: мы. выпросили у вашихъ начальниковъ, чтобы васъ поставить въ первые ряды. Вы первые падете за свободу Италіи: падая, вы будете думать, что защищаете собою отцовъ семействъ, вы первые будете побѣдителями,

первые взойдете на стѣны,—мы тамъ увидимся, до свиданія! Довольны ли вы этимъ?»—«Довольны!» кричала молодежь сквозь слезы восторга и прибавляя: «Viva Gavazzi!» Гавацци благословилъ знамена. Папа прислалъ сказать, что онъ надѣется, что тѣ, которые не пойдутъ сами, будутъ участвовать приношеніями, и что навѣрное духовныя корпораціи окажутъ первыя примѣры содѣйствія великому дѣлу освобожденія Италіи. Все это, разумѣется, было суфлировано папѣ министрами—онъ впослѣдствіи отъ всего отперся, но на ту минуту это объявленіе произвело свое дѣйствіе.

Вслѣдъ за Гавацци взошелъ на эстраду Чичероваккіо. Народъ думалъ, что онъ идетъ въ ополченіе, и громко привѣтствовалъ его; онъ, было, и дѣйствительно хотѣлъ итти, но его уговорили остаться, чтобъ смотрѣть за темными происками; il popolo смѣшался отъ недоразумѣнія, Гавацци объяснилъ народу, зачѣмъ онъ остается, Чичероваккіо прибавилъ: «я не могу итти, Romani, но вотъ моя кровь, мой сынъ, я его отдаю отечеству»—и онъ обнялъ мальчика лѣтъ шестнадцати и показалъ его на помостѣ. Народъ плакалъ и кричалъ: «viva Cicerovakhio!» Между тѣмъ подъ одной изъ нижнихъ арокъ сидѣли нѣсколько человѣкъ за столомъ, покрытымъ сукномъ и записывали волонтеровъ; молодые римляне толпились у стола, ожидая своей очереди; увлеченіе было страшное.

«Многія матери не дочтутся дѣтей своихъ сегодня», сказалъ одинъ старый трастевринецъ, поправляя свою шляпу, на которой была нашита засаленная трехцвѣтная кокарда,—«а дѣлать нечего, итти надобно, не даъ же братьевъ подъ ноги *варварамъ*... Такого рекрутскаго приема, вы, вѣрно, никогда не видали. Когда насталъ вечеръ, весенній, не холодный и не теплый, зрѣлище еще разъ измѣнилось. Зажгли факелы около записывавшихся, народъ остался въ полутемнотѣ, знамена едва виднѣлись, испуганныя птицы, не привычныя къ такимъ посѣщеніямъ, кружились надъ головой,—все, окруженное гигантскою рамой Колизея. На другой день сформировали набранную молодежь, на большихъ площадяхъ поставили столы и окружили чивикой для сбора приношеній; я подошелъ къ такому столу на Piazza Colona—груда скуди и мѣди лежала на блюдѣ и кругомъ разныя вещи, золотыя кольца, табакерки, браслеты; при мнѣ какой-то факино положилъ два баіокка.

На третій утромъ на разсвѣтѣ выступалъ первый отрядъ волонтеровъ; весь городъ ихъ провожалъ. Рѣзкій утренній вѣтеръ дулъ, небо было покрыто тучами, многіе плакали, другіе пѣли il Vesillo, у нѣкоторыхъ въ рукахъ еще были зажженные факелы, съ которыми они гуляли ночью.

На Piazza del popolo ихъ построили; непривычнымъ къ дисциплинѣ, имъ было дико; многіе даже приуныли. Ударилъ барабанъ... Патеръ Гавацци съ веселымъ и радостнымъ лицомъ пошелъ впередъ. «Прощай, Римъ!—говорилъ онъ—прощай, святой городъ, я присягаю, что нога моя не взойдетъ въ священныя стѣны твои до тѣхъ поръ, пока Ломбардія не будетъ свободна. Съ Богомъ, evviva Pio popolo!» Колонна двинулась, женщины рыдали, мужчины жали руку солдатамъ. Гррр... тррр... и они скрылись на дорогѣ, а жители печально разошлись; у всѣхъ на сердцѣ было тяжело. Сколько-то воротится изъ этихъ свѣжихъ юныхъ людей,—война—свирѣпое, отвратительное безобразіе, обобщенный разбой, оправданное убійство, апоѳеозъ на-

силія и грабежа и между тѣмъ люди еще такъ дики и невоспитаны, что она необходима... Часть національной гвардіи и драгуны отправились вслѣдъ за волонтерами.

Папа объявилъ, что онъ дозволяетъ имъ итти, но не приказываетъ и что объявить войну считаетъ несомвѣстнымъ со своимъ званіемъ. Странное явленіе въ исторіи—этотъ Пій IX: два-три благородныхъ порыва, два-три человѣческія дѣйствія, такъ рельефно выразившіяся послѣ глухой и мелко-жестокой тиранніи Григорія XVI, поставили его во главу великаго итальянскаго движенія; послѣ Наполеона не было ни одной вѣнчанной главы, которую бы народъ дѣйствительно любилъ до такого обоготворенія, но слабыя плечи его ломятся подъ тяжестью великаго призванія, съ начала 48 года Пій IX остановился; онъ собственно не хочетъ ни вспять итти, ни впередъ, онъ стоитъ на рубежѣ двухъ сильныхъ потоковъ, и то одинъ его уносить съ собою шага на два, то другой влечетъ назадъ. Онъ до того слабъ, что непрерывно даетъ себѣ *dementi*; онъ приобрѣлъ даже силу этой женственной впечатлимостью, на него бѣются упереться іезуиты и радикалы, короли и народы¹⁾, и все это дѣлается безъ хитрости, онъ безпрестанно плачетъ, онъ добросовѣстенъ. Великая судьба его преслѣдуетъ, навязываетъ ему свои дары, а онъ упорно отказывается и вредитъ самому себѣ. Наконецъ, это надоѣло; мало-по-малу сильнѣйшая рука, поддерживавшая его, отнимается. Пусть бы онъ отошелъ съ миромъ отъ всего свѣтскаго изъ благодарности за свѣтлыя минуты начальнаго *risorgimento*, пусть бы память его осталась въ сердцахъ итальянцевъ незапятнанною, не осмѣянною... или ужъ лучше бы умеръ.

Когда волонтеры были совсѣмъ готовы итти, они пошли просить папу благословить ихъ знамя; онъ отказался. Есть въ жизни торжественныя минуты, требующія такой полноты и такого сочетанія всѣхъ элементовъ,—минуты, въ которыя такъ натянуты всѣ нервы, всѣ чувства, что малѣйшая неудача, малѣйшій несозвучный тонъ, который въ обыкновенное время прошелъ бы едва замѣченнымъ, страшно дѣйствуетъ. Народъ вообще подлечитъ дѣтскимъ *dépits*, даже женскимъ капризамъ. Отказъ папы ошеломилъ волонтеровъ. Папа впередъ деморализировалъ войско, которому внутри души

¹⁾ Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ ночью чивика перехватила шайку вооруженныхъ людей, болѣе 50 числомъ; у нихъ нашли золотыя деньги,—подкупъ былъ явенъ; открыли, что это—последній братскій поцѣлуй, посланный ангельскимъ чиномъ іезуитскимъ либеральной партіи. Министръ Галетти настаивалъ, чтобъ папа выслалъ ихъ изъ Рима. Пій IX согласился, Галетти объявилъ объ этомъ печатными афишами. Ротганъ поѣхалъ къ папѣ, папа отперся отъ своего приказа также печатно въ газетѣ. Тогда явился Галетти и требовалъ отставки, но папа защищался тѣмъ, что онъ *не приказывалъ, но совѣтовалъ* выѣхать іезуитамъ и повторилъ свой совѣтъ. Тутъ весь Пій! іезуиты, дѣйствительно, оставили свой коллегіумъ, народъ снялъ надпись и написалъ: «*Est locander*». Впрочемъ, они остались въ Римѣ, отростили усы, надѣли пальто и разсѣялись по городу для того, чтобъ при первомъ реакціонномъ движеніи отмстить врагамъ и снова овладѣть вліяніемъ.

желалъ побѣды. Дѣло кончилось тѣмъ, что благословіе украли: ополченные поймали папу, когда онъ входилъ въ церковь св. Петра, онъ по дорогѣ благословляетъ всѣхъ; нѣсколько человѣкъ со знаменами стали передъ нимъ,—онъ ихъ благословилъ; они прокричали народу и волонтерамъ, что св. отецъ благословилъ знамена. Я былъ свидѣтелемъ всей этой сцены и отъ души желалъ этому благонамѣренному евноху Италіи честной кончины и добраго отвѣта на страшномъ судилищѣ исторіи.

Послѣ выхода волонтеровъ, въ числѣ которыхъ ушла доля римской чивики, Римъ опустѣлъ, сдѣлался угрюмъ. Эти дни мнѣ особенно памяты. Итальянская весна прибавила къ судорожному раздраженію отъ событій, о занятіяхъ нельзя было и думать; я не только разучился читать, но разучился читать что-нибудь, кромѣ газетъ. Война недѣли на полторы отрѣзала сообщенія съ Миланомъ, новостей не было; какъ сильно волновало душу и трепетное ожиданіе вѣстей и боязнь за ушедшихъ воиновъ. Чудное время въ противоположность обыкновенной апатіи ежедневнаго безразличія! Бывало съ утра тянетъ на Корсо, къ почтѣ, узнать, спросить... а тутъ мальчишки внизу кричатъ: «*La disfatta di Radetzky... un baiocco, ... la fugitta del arciduca Raniero... un baiocco e mezzo! la republica proclamata in Venezia...* и пр., и торопишься купить листокъ, читаешь его, вѣришь и не вѣришь... Каждый день, каждая газета приносила новости великія, невѣроятныя. Могло ли остаться надолго такое время,—все энергическое, не прошлое считается минутами, днями... Исторія скупа да и люди слабы—имъ равно не вынести ни избытокъ счастья, ни избытокъ горя.

. . . . Возвращаясь теперь назадъ, ко времени моего приѣзда въ Италію, становится страшно. Сколько событій съ реформы Карла-Альберта и епитиміи, наложенной за Зондербундъ... Да ужъ прочно ли все это? Дикая, злобная война завязалась. Не безъ тучъ, временами вѣетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупа, запахъ прошедшаго... Но чтó прочувствовано, остается въ душѣ, чтó совершенно, того не сдуешь реакціей.

Парижъ, 10 мая 1848.

Опять въ Парижѣ.

Письмо первое.

1 іюня 1848.

Итакъ, любезные друзья, снова настаетъ время исторіи, воспоминаній, рассказовъ о быломъ, гаданій о будущемъ... Настоящее снова враждебно, покрыто тучами, въ душѣ опять злоба и негодованіе..

Будемте вспоминать, будемте рассказывать, учиться по свѣжимъ ранамъ, по новымъ горькимъ опытамъ.

Эти письма назначены исключительно для васъ, друзья, у меня, наконецъ, въ головѣ нѣтъ ни одной мысли, которая могла бы пройти сквозь цензуру; сверхъ того, нѣтъ и прежняго желанія высказывать свою мысль какъ можно темнѣе, лишь бы ее напечатали. Письма мои будутъ вамъ полезны. Истинныя вѣсти о добрѣ и злѣ, совершающемся здѣсь, до васъ дойдутъ не скоро, онѣ дойдутъ до васъ, сдѣлавшись хроникой, исторіей. Тѣ журналы, которые энергически и бойко высказываютъ дѣло, для васъ невозможны; тѣ, которые вамъ возможны, не передадутъ дѣла. Сверхъ того, часть знаемыхъ вами событій сдѣлается живѣе и ближе для васъ, пересказанная мною.

Не правда ли?

Революція 24 февраля вовсе не была исполненіемъ приготовленнаго плана; она была гениальнымъ вдохновеніемъ парижскаго народа; она, какъ Паллада, вышла разомъ вооруженная и грозная изъ народнаго негодованія; это—ударъ грома, давшій внезапно осуществленіе и тѣло давно скопившимся и долго стѣсненнымъ стремленіямъ. Національная гвардія допустила республику, потому что она не поняла движенія; камера допустила временное правительство изъ трусости, изъ желанія обуздать народъ; буржуазія ее приняла, какъ огражденіе собственности. Одинъ народъ, т.-е. блузникъ, работникъ, хотѣлъ добросовѣстно республики и зналъ, что дѣлалъ. Послѣдующіе дни были днями всеобщаго удивленія; всѣ казались довольны, всѣ были обмануты, всѣ обманывали другъ друга, всѣ скрывали странныя недоразумѣнія, которыя должны были привести къ демонстраціямъ 17 марта и 16 апрѣля, къ грозному протесту 15 мая и къ тупой реакціи, въ которой мы теперь. «Башмаковъ не успѣли еще износить», въ которыхъ ходили на баррикады 24 февраля, а уже реакція уноситъ всѣ слѣды революціи и кто знаетъ, гдѣ она остановится. Она родилась вмѣстѣ съ провозглашеніемъ республики, она прокрадывалась тихо, воровски, и вдругъ подняла свою голову дерзко и нагло. Ей поклонились отовсюду ея друзья, все отсталое, монархическое перевело духъ, съ радостью повторяя: «такъ это-то республика?!» Съ паденія республики въ глазахъ Европы начинается отчаянное противодѣйствіе правительствъ народамъ. Слово «республика» устало и страшило всѣхъ тираніи, жалкое управленіе ободрило всѣхъ тирановъ. Будемъ безпощадны и, отдавая все то обстоятельствомъ и общимъ причинамъ, что имъ принадлежитъ, скажемъ громко: позоръ на голову людей, пошедшихъ вспять, обманувшихъ обѣщаніями народъ и фразами всю Европу, позоръ имъ, людямъ вялымъ, будничнымъ... Кто заставлялъ ихъ взяться за судьбы міра, гдѣ ихъ призваніе, гдѣ помазаніе? Если они и уйдутъ отъ желѣзнаго топора, то не уйти имъ отъ топора исторіи.

Заодно вѣчная благодарность итальянскому risorgimento и 24 февраля за четыре мѣсяца свѣтлой, торжественной жизни. Кто не увлекся, кто не былъ обманутъ 24-мъ февраля? Съ своей стороны, я признаюсь, только послѣ 15 мая понялъ *какую* республику готовятъ французскому народу,—онъ еще не вѣритъ своимъ глазамъ. Повѣритъ!

Въ исторіи, какъ въ жизни художника, есть вдохновенныя мгновенія; къ нимъ народы стремятся долгое время и долгое время потомъ эти мгновенія провожаютъ своимъ свѣтомъ. Такія свѣтлыя полосы исторіи искупаютъ десятки прошедшихъ и будущихъ лѣтъ, принадлежащихъ хронологіи, календарю. Счастливъ тотъ, кто участвовалъ въ праздничномъ пиру чело-вѣческаго воскресенія, счастливъ и тотъ, кто, не будучи призванъ на со-дѣйствіе, былъ зрителемъ, у кого билось сердце и лились слезы отъ того, что онъ видѣлъ дѣйствительность не ниже самыхъ смѣлыхъ идеаловъ, на-родъ въ уровень событіямъ. Мы видѣли! Святое время,—оно прошло! Ни Франція, ни какой другой народъ не могутъ еще удержаться на той высотѣ, на которую они поднимаются въ минуты энергическаго гнѣва и гражданскаго вдохновенія. Они, какъ поэты, устаютъ отъ одушевленія, отъ полноты жизни, и сѣрая ежедневность смѣняетъ гениальный порывъ и творческую мощь. Франція совершила провозглашеніемъ республики еще великій шагъ для себя, для Европы, для міра... и снова запнулась, какъ бы боясь собственнаго величія, и снова нашлись нечистыя руки и предательскія объятія, которыя задушили ребенка въ колыбели. Опытъ не учитъ Францію. Она довѣрчива, какъ всѣ мужественныя и благородныя природы.

Французскій народъ не готовъ для республики, о которой мечтаетъ социалистъ, демократъ и работникъ. Его надобно воспитать для того, чтобы онъ понялъ свои собственные права. Но кто его воспитаетъ? По несчастью, мысль французская такъ же мало готова и развита, какъ народъ. Подъ словомъ «французская мысль» я разумѣю сознаніе большинства всѣхъ образо-ванныхъ людей, всѣхъ достигнувшихъ высшаго предѣла цивилизаціи своей страны, и именно они никакъ не стоятъ на той высотѣ, на той простотѣ, на той волѣ, которую требуетъ демократія. Это касается до всѣхъ—до Ла-мартина и до Ледрю-Роллена, до Барбеса и до Коссидьера; есть исключенія, но общество отрывается отъ нихъ; это—Прудонъ, котораго называютъ безумнымъ, это—Пьеръ Леру, котораго не хотятъ слушать.... это—работники, паріи современнаго міра. Французская мысль—мысль монархическая, и рес-публика, которую Франція можетъ учредить, будетъ республика монархи-ческая, а можетъ быть, деспотическая; тутъ есть, повидимому, *contradictio in adjecto*, но реально противорѣчія въ этомъ нѣтъ. Несравненно нелѣпѣе и невозможнѣе республиканская монархія, нежели монархическая республика. Въ послѣднемъ случаѣ монархъ остался, но онъ не лицо, а лица, но онъ не случайность, а результатъ выбора; однажды признанный монархомъ, парла-ментъ можетъ сдѣлаться самымъ чудовищнымъ притѣснителемъ, самымъ безжалостнымъ, ибо отвѣтственность распадается. Весь вопросъ сосредото-чивается въ томъ, что въ демократіи вовсе не должно быть монарха, а вотъ этого-то и не вдолбишь въ ограниченное разумніе французовъ, они вамъ, навѣрно, возразятъ: «стало-быть, не надобно правительства»,—до та-кой степени монархизмъ у нихъ неразрывенъ со словомъ «правительство».

Національное собраніе, это—Людовикъ XIV, оно прямо и наглѣе Лю-довика XIV говоритъ: «*L'état c'est moi*», ему не возражаютъ. Чтò разумѣтъ французъ подъ словомъ «самодержавіе народное»? Только право бросить шаръ въ урну; бросивши его, онъ отрывается отъ своего самодержавія, онъ

дѣлается рабомъ шаровъ. Собраніе вовсе не думаетъ, что оно делегатъ, повѣренный въ дѣлахъ, представитель народа, а не въ самомъ дѣлѣ народъ,—нѣтъ, оно считаетъ тотчасъ себя свободнымъ, себя самодержавнымъ, народъ низшимъ, управляемымъ. Это-то и есть монархическій принципъ и отъ него долго не отдѣляется Франція, потому что онъ очень послѣдовательно развитъ изъ ихъ цивилизаціи. Такъ французъ смотритъ на власть, на семейныя права, на законъ; у него все это святыни, кумиры, цари... Французъ живъ и насмѣшливъ по характеру, онъ смѣется надо всѣмъ, но его шалость скользитъ по поверхности, въ сущности онъ упорный консерваторъ; его перемѣны похожи на его моды: покрой платья другой, человекъ тотъ же. Онъ революціонеръ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; отважный и быстрый во всемъ, онъ тотчасъ строитъ баррикады, для него это протестъ, месть и полная награда; послѣ баррикадъ онъ тотчасъ спохватывается и бросается ставить подпорки къ стѣнѣ, которую самъ стремился сломить. Французы вообще боятся свободы, той свободы, за которую они каждыя пятнадцать лѣтъ льютъ потоки крови,—имъ нужна не свобода въ бытѣ, а религія свободы, имъ нужна свобода на площади въ фригійской шапкѣ, имъ нужны не права, а *declaration de droits de l'homme*; они снесутъ деспотизмъ во имя этой фригійской шапки и этихъ напечатанныхъ правъ. Это самый практической и самый отвлеченный народъ въ мірѣ, а всего болѣе самый религіозный. Весь характеръ революціи 89 года религіозный. Революція была религіозной фазой, какъ католицизмъ, какъ протестантизмъ: запирая церкви и изгоняя священниковъ, она была тѣмъ не менѣе развитіемъ, послѣдствіемъ, исполненіемъ христіанства,—смотрите только на духъ, а не на букву. Нѣмецкій умъ, часто оставаясь при буквѣ, измѣнялъ духъ; Фейербахъ—больше ничего, какъ Гегель, у котораго духъ приведенъ въ уровень съ буквой. Энциклопедисты не таковы. Не вѣрьте ихъ хвастливымъ рѣчамъ, ихъ шутовскому кощунству, они сами не подозревали, что половина корней ихъ почерпала соки изъ религіозной почвы; имъ казалось, если религіозный догматъ перевести съ церковно-латинскаго на французскій разговорный языкъ, если слово *charité* замѣнить словомъ филантропія, слово самоотверженіе—патріотизмомъ, то и дѣло христіанства покѣчено. Они часто были похожи на того непокорнаго сына евангельской притчи, который, грубо отказавшись итти работать въ виноградникъ отца, все-таки пошелъ. Франція XVIII вѣка имѣла свои символическія книги, напр., Руссо, своихъ святыхъ, какъ Вашингтонъ и Франклинъ, свое изуверство и свой иезуитизмъ, наконецъ, внѣшнія формы, обряды во время террора имѣли грозную обязательную силу. Такъ, какъ въ теоріи французскіе философы принимали за догматы простыя истины науки, чуть не молились закону тяготѣнія, такъ въ практическихъ сферахъ потомъ они придавали религіозный характеръ полицейскимъ распоряженіямъ, и законъ свободы былъ для нихъ закономъ тяжелымъ и мрачнымъ. Я тороплюсь сказать вамъ: не ищите въ этихъ словахъ порицанія великой эпохи, я хочу только указать эту постоянную черту французскаго характера. Она является въ страшномъ величіи въ 93 году и въ страшной низости въ 48, это хорошій знакъ, французы становятся совершеннѣе. Въ первую революцію *религія республики* была на мѣстѣ, нынче *религія собственности*

является какимъ-то уродствомъ, опираясь на догматъ «suffrage universel». Характеръ первой революціи романтической, юношескій, героическій. Романтизмъ значить несовершеннolѣтіе, героизмъ—отрочество, но они прекрасны въ своей горячей вѣрѣ въ будущее, въ народъ, въ первый радостный день освобожденія отъ прошлыхъ учреждений, на краю гибели. Вѣра спасла Францію, но не свобода, забудемъ кровь, пролитую тогда, и она спасла только Францію, а не республику, примирила съ нею. Гдѣ есть фанатизмъ, тамъ ждите самоотверженныхъ и страстныхъ людей, изъ которыхъ одни, отирая слезы, обрекутъ себя на страшную долю палачей, а другіе съ веселымъ челомъ, съ пѣснью на устахъ, съ вѣрой въ сердца пойдутъ на плаху. Тогда увлеченіе было такъ велико, что насильемъ хотѣли освободить. Тогда думали, что достаточно объявить людямъ, что они свободны, чтобъ ихъ сдѣлать свободными. Въ этомъ довѣріи къ человѣческому разумнію, въ этой вѣрѣ въ удобоисполнимость идеала лежитъ именно юношескій элементъ того переворота. Горячая вѣра и горячая любовь не ждутъ, не рассчитываютъ, онѣ бываютъ нетерпѣливы, беспощадны отъ самонадѣянности. Нынѣшнее *salus populi* не имѣетъ ни одного луча того времени, его фанатизмъ хслодень.

Казалось, что царствованіе Людовика-Филиппа было всего способнѣе потрясти монархическое воззрѣніе во Франціи. Франція ненавидѣла реставрацію, правленіе Людовика-Филиппа она подъ конецъ презирала. Карлъ X возбуждалъ злобу, Людовикомъ-Филиппомъ и его послѣдними министрами гнушались. «*C'est une révolution de mépris qui les emporta*»,—сказалъ Ламартинъ на маконскомъ праздникѣ въ 47 году. Но потрясая собственно династическій интересъ, прогнавши короля, французы попытались на время устроиться въ духѣ противоположномъ монархіи, но какъ только собраніе начало свои дѣйствія, оно стало царствовать, оно стало возвращаться ко всѣмъ законамъ монархіи, а главное—стало смотрѣть на всѣ вопросы съ точки зрѣнія монархической, осталось одно названіе республики. Я согласенъ, что и это много, это не простая перемѣна одного слова другимъ, это великій шагъ впередъ, огромное устраненіе прошедшаго. Слово республика сдѣлаетъ ту отрицательную пользу, что старая монархія будетъ невозможна. Особенно важно слово это для Европы. Я видѣлъ, что такое было въ Римѣ и во всей Италіи при полученіи вѣсти о провозглашеніи республики. Но для истинно развитой части Франціи этого мало, она это чувствуетъ, бьется, исходитъ кровью—безъ успѣха; статьи Прудона, Торе, Ж.-Сандъ показываютъ очень ясно чего они ждали отъ 24 февраля и чего дождались.

Слишкомъ легкій успѣхъ, неожиданность 24-го февраля должны были броситься въ глаза каждому, развѣ такимъ шуточнымъ боемъ достигаются пересозданія государства. Все осталось попрежнему, кромѣ трона, который сожгли; сначала этого не замѣчали изъ-за толпы, изъ-за шума, страсти были еще такъ возбуждены, сердце такъ билось, великія слова 92 года воскресли и звучали тогдашней силой и славой, но когда все улеглось, успокоилось, увидѣли фактъ, который нельзя было не видѣть и прежде, что республиканская партія слаба, почти не существуетъ. Небольшая кучка республиканцевъ, уцѣлѣвшихъ отъ всѣхъ ударовъ, наносимыхъ лукавымъ правительствомъ Людовика-Филиппа, боролась еще кое-какъ до 1839 года, за-

писывая, впрочемъ, свою печальную хронику, однѣ потери, одни гоненія, гоненія открытыя и тайныя клеветы прокуроровъ и обвинительные вердикты подтасованныхъ присяжныхъ. Сентябрьскіе законы довершили побѣду. Самъ Годефрау Кавеньякъ говорилъ передъ смертью съ глубокой печалью: «это правительство износитъ насъ всѣхъ, мы состарѣмся въ безплодной и неравной борьбѣ». Наконецъ и эта глухая борьба почти исчезаетъ задавленная правительствомъ и буржуазіей. До 1840 г. у правительства былъ еще стыдъ или если не стыдъ, то осторожность; оно боялось прибѣгать ко всѣмъ средствамъ, оно не было совершенно увѣрено въ полномъ сочувствіи большинства; послѣ 40 года оно убѣдилось, что маска не нужна. Камеры депутатовъ, наполненной чиновниками, не боялись; достаточная буржуазія, увлеченная въ ажіотажъ, соединилась тѣснѣе и тѣснѣе съ треномъ, ея благосостояніе зависѣло отъ сохраненія существующаго порядка; начала, на которыя Людовикъ-Филиппъ опиралъ свою власть, были тѣ начала, на которыхъ опирались финансовыя сдѣлки, торговыя предпріятія, монополіи; люди коммерціи и капитала давали правительству свои голоса, правительство ограждало ихъ своими штыками. Незамѣтная партія республиканцевъ тонула въ этой *entente cordiale*. А когда ей случалось всплывать, ее били сплеча клеветой и всѣми адвокатскими продѣлками. Къ тому же люди прогресса, люди, которые не могли по благородству природы оставаться равнодушными зрителями жалкаго положенія Франціи, были раздѣлены между собой на три партіи, рѣдко соединявшіяся. Одни хотѣли реформы, другіе — республики, третьи стремились къ социальнымъ переворотамъ. Изъ этихъ партій чистые республиканцы не были въ большинствѣ.

По мѣрѣ того, какъ правительство шло далѣе и далѣе въ путяхъ насилія, разврата, по мѣрѣ того, какъ оно находило средства превращать хартію въ пустую форму и замѣнять личнымъ правленіемъ представительное, росла мысль о реформѣ; страна, настолько развитая, какъ Франція, съ своей старой цивилизаціей, съ воспоминаніемъ 1830 года не могла не понять опасности личнаго правленія; самое покорное большинство подавало голосъ за правительство, часто жертвовало убѣжденіями, единственно для сохраненія «общественнаго порядка». Въ камерѣ и внѣ ея образовалась партія, желавшая сохранить представительное правленіе 1830 года во всей чистотѣ, усиливая сторону камеры расширеніемъ электоральнаго ценза, вводомъ «способностей»: ожидали отъ предполагаемыхъ переменъ появленія новыхъ силъ, новыхъ интересовъ,—въ этомъ духѣ появилась извѣстная брошюра Дювержье де-Горона, въ этомъ духѣ дѣйствовала часть оппозиціи и лучшая, образованнѣйшая часть буржуазіи. У этой партіи, какъ у всего половинчатаго, были связаны руки, она столько же боялась республиканцевъ и социалистовъ, сколько хотѣла обуздать Людовика-Филиппа и его министровъ. Сила ея возросла страшно въ 1847 году. Гизо слишкомъ понадѣялся на солидарность буржуазіи съ правительствомъ, онъ слишкомъ понадѣялся на Тьеровскіе законы; дѣйствія министерства съ начала 1847 г. становятся непонятны. Умѣнье свое понимать, наблюдать Гизо доказалъ на каждой страницѣ своихъ сочиненій,—какъ же онъ такъ долго, въ такихъ разныхъ случаяхъ призываемый къ общественнымъ дѣламъ, такъ грубо ошибся въ ха-

рактёръ французовъ, особенно Парижа? Власть пьянитъ, семь лѣтъ постоянныхъ удачъ свели его съ ума, онъ забылся до того, что пересталъ скрывать свою внутреннюю реакціонную мысль,—языкъ его становился дерзкомъ, оскорбителенъ; судя по тому, что онъ дѣлалъ и говорилъ, надобно думать, что онъ безмѣрно презиралъ Францію. Къ тому же онъ уронилъ ея вліяніе въ европейской политикѣ. Ни оскорбленія себѣ, ни униженія Франціи французъ не прощаетъ. Недостатокъ учтивости больше сдѣлалъ вреда Гизо, нежели преступное управленіе его; неудачи внѣшней политики сердили французовъ больше, нежели рядъ безобразныхъ мѣръ противъ книгопечатанія, противъ театровъ и пр. Неудовольствіе росло, а съ нимъ и партія реформистовъ; Гизо встрѣчалъ ея нападки ироніей, подкупамъ, растлѣніемъ всякаго чувства чести и долга въ общественныхъ дѣлахъ, но 47 годъ долженъ былъ сдѣлаться позорнымъ столбомъ развращающаго министерства. Первый ударъ Гизо и Дюшателю, ударъ ловкій, злой нанесъ Эмиль Жирарденъ. Подкупленное большинство въ виду неопровержимыхъ документовъ публично оправдало министровъ. Это было хвачено черезъ край. Нравственное чувство самыхъ простыхъ людей и самыхъ далекихъ отъ политики было оскорблено. Буржуазія начала хмуриться... черезъ нѣсколько дней послѣ исторіи Жирардена начинается судъ надъ Тестомъ, товарищемъ Гизо и Дюшателемъ. Дѣло Теста въ моихъ глазахъ не столько важно по взяткамъ, сколько по обвиненію страшной безсовѣстности, которая указывала на глубочайшій развратъ людей, находившихся въ правительствѣ.

Министръ Тестъ является передъ палатой перовъ сильный негодованіемъ, онъ оскорбленъ, онъ снимаетъ съ себя Легіонъ д'Онеръ, слагаетъ званіе пэровъ для того, чтобъ ихъ снова получить послѣ торжественнаго оправданія... и въ то же самое время какой-то старикъ бухгалтеръ сквозь слезы, трепещущимъ голосомъ читаетъ въ шнуровой книгѣ несомнѣнное доказательство, что Тестъ—воръ. И что же потомъ? Королевскій прокуроръ Делагль, недавно купленный министерствомъ изъ рядовъ оппозиціи, позоритъ дерзкими словами заслуженнаго старика генерала Кюбьера за то, что онъ смѣлъ сказать: «правительство въ рукахъ грязныхъ и развратныхъ безъ денегъ ничего не сдѣлаетъ». И камера пэровъ, основываясь на глупомъ законѣ, снимаетъ всѣ званія заслуженнаго старика, всѣ знаки отличія и высылаетъ вонъ опозореннымъ бродягой.

Вся Франція слѣдила шагъ за шагомъ процессъ Теста. Онъ еще не кончился, какъ оппозиціонные журналы сдѣлали пять или шесть доносовъ; не токмо Сультъ и министры, но члены королевской фамиліи были замѣшаны въ грязныя денежныя сдѣлки. Министерство упорно не дозволяло производить слѣдствія, министръ юстиціи Эберъ, въ моихъ глазахъ, былъ еще гнуснѣе самого Дюшателя; Дюшатель—какой-то развратный Фигаро, слуга гоуѣ и больше ничего, но Эберъ, это—инквизиторъ безъ вѣры, у него наружность змѣи, существо худое, желтое, гадкое; Эберъ не хотѣлъ допустить слѣдствія, говоря, что правительство *не въпритѣ* обвиненіямъ. Такъ шутить нельзя съ народомъ, который имѣлъ сто лѣтъ тому назадъ Монтескье. Внѣ парламентскаго міра правительственные лица тоже отличались—одинъ скандальный анекдотъ замѣнилъ другой. Полицейскій комиссаръ, взойдя для обыска

въ Maison de Tolérance, гдѣ обыгрывали молодыхъ людей, захватилъ тамъ старика, предававшагося безобразнѣйшему разврату, и несмотря на всѣ его усилія, отправилъ его въ префектуру... Это былъ министръ юстиціи Мартенъ дю-Норъ. Въ Тюльери поймали на вечерѣ у короля плута, который передегивалъ карты,—этотъ плутъ былъ адъютантъ герцога Намурскаго, полковникъ Гюденъ. Мартенъ дю-Норъ умеръ, Гюденъ исчезъ, никто не судилъ ни того, ни другого.

Наконецъ страшное убійство герцогини Праленъ, подробности преступленія и, наконецъ, смерть преступника, котораго правительство отравило для того, чтобъ не вести на эшафотъ герцога, — окончательно возбудило всѣ умы, негодованіе, ропотъ становился сильнѣе, въ воздухѣ было что-то тяжелое. Толпа народа, стоявшая у рѣшетки Венсенскаго дворца, въ которомъ Монпансье давалъ балъ, встрѣчала кареты министровъ криками: «à bas les voleurs!..»... Людовикъ-Филиппъ отвѣчалъ на этотъ крикъ, повторившійся во всѣхъ департаментахъ, назначеніемъ Гизо въ президенты совѣта министровъ. Больше пренебреженія къ общественному мнѣнію показать было невозможно. Канфанъ издалъ брошюру, которая объясняла смыслъ предсѣдательства Гизо, брошюра эта, отрекавшаяся даже 1789 года, была до того написана въ духѣ правительства, что правительство отреклось отъ нея. Канфанъ говорилъ о необходимости цензуры, о недостаточности суда присяжныхъ, о монархическихъ преданіяхъ, разорванныхъ революціей,—объ этихъ преданіяхъ говорилъ нѣсколько разъ и Гизо.

Партія реформистовъ быстро росла отъ всѣхъ этихъ событій, депутаты оппозиціи, возвращаясь въ свои департаменты, проповѣдовали реформу, указывая всю гниль, всю гадость правительства. Люди, извѣстные своимъ независимымъ образомъ мыслей—Ламартинъ, Кремье, Одилонъ Барро, ѣздили изъ города въ городъ, вездѣ принимаемые реформистскими банкетами, вездѣ произнося рѣчи, возбуждая уснувшую политическую дѣятельность. Правительство оставалось глухо и нѣмо къ требованію реформистовъ, оно сражалось мелкими средствами, напр., нападая за то, что тостъ короля не былъ предложенъ на банкетѣ, что въ такой-то рѣчи было такое-то выраженіе; подобнаго рода замѣчанія, выходявшія изъ министерства, дразнили вдвое болѣе. Банкеты приближались къ Парижу. Министерство становилось en garde. Оно рѣшилось употребить всѣ силы и всѣ средства, чтобы въ Парижѣ не было банкета. Какъ мелко всегда люди власти понимаютъ оппозицію,—какъ будто важность дѣла состояла въ томъ, что будутъ обѣдать или нѣтъ нѣсколько депутатовъ, что скажетъ рѣчь Одилонъ Барро или нѣтъ. Между тѣмъ отказъ долженъ былъ оскорбить и, какъ вы знаете, онъ былъ поводомъ 24-го февраля.

Республиканская партія не могла при Людовикъ-Филиппѣ открыто дѣйствовать, она работала въ тайныхъ обществахъ, société du droit de l'homme, des montagnards, въ ней были энергическіе люди, но не въ большомъ количествѣ и очень разныхъ направленій; изъ ея рядовъ вышли Барбесъ, Г. Кавеньякъ, Алибо, къ ней принадлежалъ умѣренный Арманъ Карель; «National» и «La Reforme» представляли до нѣкоторой степени публичные органы умѣренныхъ республиканцевъ. «National» продолжался въ духѣ

Кареля Маррастомъ, который даже принялъ имя Армана, до того былъ подъ вліяніемъ благородной тѣни предшественника. Взглядъ Марраста, умный и бойкій, былъ очень ограниченъ, его журналъ проповѣдовалъ буржуазную республику, онъ за *suffrage universele* не видалъ ничего, для него социальныя вопросы не существовали; находя въ себѣ самомъ всѣ симпатіи мѣщанъ, Маррастъ льстилъ арміи народной гордости, бранилъ социалистовъ, говорилъ о сильной полиціи, о мощномъ правительствѣ; куда эти теоріи привели Марраста и его друзей, мы увидимъ послѣ. У «Насіоналя» были большія связи, большія сношенія съ департаментами, онъ заправлялъ ихъ журналами, былъ ихъ органомъ въ Парижѣ, ему доставлялись всѣ министерскіе секреты, онъ зналъ депеши часъ послѣ ихъ полученія; Маррастъ былъ отличный памфлетчикъ, его отчеты объ особенно важныхъ засѣданіяхъ камеры депутатовъ напоминали иногда самого Курье. «Реформа» была радикальнѣе «Насіоналя», но бѣднѣе средствами и способностями. Вліяніе ея было ограниченнѣе «Насіоналя», но она, впрочемъ, сильно дѣйствовала въ кругу студентовъ, бѣдной молодежи и работниковъ республиканцевъ. «Реформа» плохо понимала социальныя вопросы, но звала социалистовъ на общій трудъ, доказывая невозможность социальнаго переворота безъ политическаго. «Насіональ» имѣлъ тысячъ пятнадцать подписчиковъ, «Реформа»—не болѣе шести тысячъ ¹⁾. Въ публичномъ преподаваніи республиканское направленіе поддерживалось лекціями Мишле. Вся эта партія находилась подъ непрерывнымъ Дамокловымъ мечемъ Дюшателя и Эберта; выстрѣлить ли кто въ короля—ихъ обвиняли въ *complicité morale* и гнали какъ Дюпоты. Попадется ли какой-нибудь воръ, который случайно зашелъ къ республиканцу—полиція замѣшиваетъ республиканца и его сажаютъ въ тюрьму, какъ сдѣлали въ 1837 году съ Флотомъ. Реформистскіе обѣды развязали, вмѣстѣ съ общимъ ропотомъ, руки республиканцамъ; на нѣкоторыхъ банкетахъ гости явились повязанные красными платками, и только прямо не пили за здоровье республики. Изъ этого никакъ не слѣдуетъ заключить, что у партіи республиканцевъ была прямая надежда, они готовы были пристать къ каждой партіи, противодѣйствующей правительству, но не считали сбыточнымъ скорое провозглашеніе республики. Я скажу смѣло и съ полнымъ убѣжденіемъ, что 23 февраля никто не предвидѣлъ, чѣмъ окончится 24-е, ни Людовикъ-Филиппъ со своими министрами, ни реформисты съ своимъ протестомъ, ни «Насіональ» съ своей осторожной оппозиціей; республика была сюрпризомъ для всѣхъ, республику 24 февраля создали и провозгласили парижскіе работники и нѣсколько клубистовъ; это было вдохновеніе; люди, построившіе первыя баррикады на улицѣ С.-Оноре, люди, сражавшіеся у воротъ С.-Дени, національная гвардія, становившаяся въ ряды народа, не шли такъ далеко. Хотѣли реформы, сдѣлали революцію; хотѣли прогнать Гизо, прогнали Людовика-Филиппа; хотѣли отстоять право банкета XII округа, провозгласили французскую республику; утромъ радовались министерству Одилона Барро, вечеромъ Одилонъ Барро больше отсталъ, нежели Гизо.

¹⁾ А «La Presse» Жиардена, журналъ безъ всякаго направленія, проданный и продажный,—до 60.000!

Мало этого, 24 февраля, когда народъ вездѣ побѣждалъ, когда національная гвардія тоже побѣждала, не зная, кому, Маррасть посылалъ Мартина изъ Страсбурга въ «Реформу» сговориться о какомъ-то правительствѣ, въ которомъ членомъ будетъ Одилонъ Барро, и поддерживалъ регентство. «Реформа», увлеченная Ледрю-Ролленомъ, была уже вполне за республику и печатала первую прокламацію, которая должна была такъ удивить камеру, буржуазію и національную гвардію. Этого сюрприза не забыли они до сихъ поръ.

Третья оппозиціонная партія, существовавшая до революціи, была партія социалистовъ и коммунистовъ,— французскій социализмъ явился вслѣдъ за 93 годомъ, какъ упрекъ республикѣ политико-демократической С.-Жюста и Робеспьера, какъ пророчество будущаго переворота, его казнили консерваторы въ лицѣ Гракха Бабефа. Но онъ вскорѣ, во время имперіи, возродился не въ революціонной, а индустриально-религіозной формѣ; потомокъ герцоговъ Сень-Симоновъ сдѣлался проповѣдникомъ новаго социализма. Пятнадцать лѣтъ реставраціи Франція провела въ парламентскихъ преніяхъ, въ либерализмѣ, въ конституціонныхъ теоріяхъ,— о социализмѣ никто не думалъ, совсѣмъ напротивъ, всѣ твердили Сэя и Мальтуса; это было золотое время представительнаго правительства, тогда блистали такіе ораторы, какъ Манюэль и Б. Констанъ; буржуазія, отборная и богатая (ибо цензъ былъ выше) соперничала съ возвратившимся дворянствомъ и, сидя на мѣшкахъ золота, смѣялась надъ почернѣвшей позолотой ихъ гербовъ. Революція 1830 вдвинула другія начала, повидимому, казалось, ничего не перемѣнилось, кромѣ собственныхъ именъ и грамматическихъ поправокъ въ текстѣ хартіи. Таково свойство сильныхъ народныхъ потрясеній, совсѣмъ назадъ воротиться нельзя; послѣ 1830 года французскія камеры утратили интересъ, слишкомъ много посредственности взошло въ нихъ. Цензъ 1830 не ввелъ ничего народнаго, а позволилъ всплыть бѣдной или по крайней мѣрѣ не богатой буржуазіи, сословію плохо образованному и весьма неблагородному. Соціальные вопросы стояли такъ близко, такъ неминуемо, что нельзя было ихъ миновать, народъ очень хорошо понималъ, что его положеніе не улучшилось; нашлись люди, которые стали ему пояснять, отчего. Ученіе С. Симона и Фурье распространялось и, что, можетъ, важнѣе ихъ школь, это то, что вопросы, поднятые ими, что ихъ сомнѣнія въ прочности существующаго, что ихъ критика перешла въ умы враждебные имъ, заняли всѣхъ. Возстаніе въ Ліонѣ 1832 носитъ въ себѣ совершенно новый характеръ; кровь льется не изъ религіознаго разномыслія, не изъ политическаго устройства,—изъ вопроса работы и возмездія. Съ тѣхъ поръ вопросъ этотъ ни на минуту не сходилъ съ арены, вольно было отворачиваться отъ него, не зная его (ignorigen, какъ говорятъ нѣмцы); онъ былъ тутъ, какъ угроза, какъ угрызеніе совѣсти. Работники, вообще пролетаріи, несравненно болѣе сочувствовали социальнымъ и коммунистическимъ теоріямъ, нежели либерализму «Националя». Журналы социалистовъ имѣли мало вліянія; буржуазная и буржуазно-либеральная журналистика не удостоивала вниманія и разбора даже такія сочиненія, какъ Прудоново «*Contradictions de l'économie politique*»—самое серьезное и глубокое сочиненіе послѣдняго десятилѣтія во Франціи. Ни одно отдѣльное ученіе не объяснило всего вопроса социальнаго, ни одно само

по себѣ не было сильно, отъ уступчивыхъ теорій Консидерана до злѣйшаго коммунизма, отъ логики Прудона до мечтанія Кабе, но взятая вмѣстѣ и дополненная тѣми стремленіями, которыя еще не успѣли выразиться ученіемъ, системой, они представляли великій элементъ въ развитіи народномъ, тѣмъ болѣе важный, что вся сознательная и разсуждающая часть работниковъ были социалистами. Изъ пепла, брошеннаго умирающимъ Бабефомъ, родился французскій работникъ. Будущность Франціи—его, наслѣдникъ Бурбоновъ и мѣщанъ не Генрихъ V, не Ламартинъ, а блузникъ, столяръ, плотникъ, каменодѣлецъ, потому что это единственное сословіе во Франціи, которое доработалось до нѣкоторой ширины политическихъ идей, которое вышло вонъ изъ существующаго замкнутаго круга понятій; потому что его товарищъ по несчастью, бѣдный земледѣлецъ представляетъ, въ противоположность дѣятельному протесту работниковъ, страдательное, тупое храненіе *statu quo*. Парижскій работникъ принялъ въ наружности что-то серьезное, *austère*. Это люди, до которыхъ коснулось вѣяніе будущаго, это люди, почувствовавшіе призваніе и оставившіе для него все; это назареи въ Римѣ; социализмъ у нихъ перешелъ въ религію, работа сдѣлалась священнодѣйствіемъ. Что за мощный народъ, который, несмотря на то, что просвѣщеніе не для него, что воспитаніе не для него, несмотря на то, что сгнетенъ работой и думой о кускѣ хлѣба, силою выстраданной мысли до того обошелъ буржуазію, что она не въ состояніи его понимать, что она со страхомъ и ненавистью предчувствуетъ неясное, но грозное пророчество своей гибели—въ этомъ юномъ бойцѣ съ заскоружеными отъ работы руками. При Людовикѣ-Филиппѣ теоретическій социализмъ презирали, но гдѣ правительство встрѣчало практическое поползновеніе осуществить социальныя ученія, тамъ оно разило безпощадно, увѣренное, что буржуазія ему будетъ рукоплескать; гоненіе работника составляло новую брешь между королемъ-мѣщаниномъ и богатой частью народа. По временамъ доходилъ до ушей публики какой-то стонъ, выходящій изъ мощной, но задавленной груди, слышался страшный протестъ—не въ журналахъ, не въ камерѣ, а на лавкахъ подсудимыхъ, въ ассизахъ; его хроника въ «*Gazette des Tribunaux*». Судьи-мѣщане, присяжные-мѣщане наказывали тюрьмой за стонъ и гильотиной за голодъ и отчаяніе. Толпы бѣдняковъ безъ хлѣба, взбѣшенныя торговцемъ ржи, который выстрѣлилъ въ нихъ и убилъ одного изъ нихъ, они бросились въ первую минуту на убійцу и убили его самого. Четыре человѣка были гильотинированы по этому дѣлу въ Бизансѣ. Это было во время голода 47 года. Правительство изъ страха кормило тогда бѣдняковъ въ Парижѣ, въ провинціяхъ оно ихъ оставляло въ самомъ безпомощномъ положеніи, но и въ Парижѣ достаточно было самага легкаго подозрѣнія въ коммунизмѣ, чтобъ обрушить на работника страшныя гоненія, полиція выдумывала гнуснѣйшія обвиненія; королевскіе прокуроры находили мужество поддерживать обвиненія, которыхъ ложь они видѣли явно; присяжные соглашались съ ними для того, чтобъ проучить «анархистовъ». Гизо имѣлъ дерзость задавленному работой и нуждой работнику сказать съ трибуны законодательнаго собранія: «работа, непрерывная работа для васъ необходима, это единственная узда, на которой васъ можно держать». Вотъ эти-то гонимые люди сохранили на-

столько свѣжести силъ, настолько глубокаго чувства человѣческаго достоинства, что взялись за ружье 23 февраля—и явились во всемъ величїи французскаго народа; лишь только блузники стали во весь ростъ, все исчезло передъ ними, какъ звѣзды передъ солнцемъ, и Людовикъ-Филиппъ, и наслѣдственный престолъ, и Одилонъ Барро, и камеры, и регентство. Онъ, великій народъ баррикадъ, надѣлъ на себя корону, онъ занялъ Тюльери, а тронъ отправилъ сжечь на то мѣсто, гдѣ стояла Бастилія; онъ провозгласилъ республику и водрузилъ красное знамя демократїи—и все это менѣе, нежели въ двое сутокъ, и безъ всякихъ приготовленій. Остальное сдѣлалъ не онъ, онъ останоуился на первомъ успѣхѣ, онъ далъ спокойно снять съ своей головы корону, онъ спохватился послѣ, но уже было поздно.

Теперь мы знаемъ отчасти элементы, которые должны были взойти въ революцію 24 февраля. Исторія февральской революціи довольно соотвѣтственно этимъ элементамъ представляетъ три фазы: ее начала парламентская оппозиція, которая далѣе реформы итти не хотѣла; ее совершилъ парижскій народъ провозглашеніемъ республики; ее окончили журналисты, воспользовавшіеся общимъ разгромомъ и своими либеральными именами, чтобъ сѣсть на тронъ. Оппозиція и національная гвардія съ ужасомъ увидѣли, что они завоевали больше, нежели хотѣли. Журналисты стали между народомъ и мѣщанами, обоимъ присягнули, обоимъ протянули руки и основали свою власть на попыткѣ нелѣпаго примиренія. Чтѣ они сдѣлали, мы увидимъ.

Письмо второе.

Вы помните, въ какое положеніе Гизо поставилъ Францію къ концу 1847 года. Все вліяніе на Европу было утрачено изъ-за мелкихъ династическихъ интересовъ; всѣ симпатїи народа были пожертвованы для того, чтобъ простили испанскіе браки. Франція не могла держаться даже на той высотѣ, на которой была за десять лѣтъ,—она дѣлалась второстепеннымъ государствомъ. Правительства перестали ее бояться, народы начинали ненавидѣть. Узкая, эгоистическая и буржуазная политика, ставившая миръ выше всего и невозможную теорію *de la non intervention* ключемъ свода, не мѣшали Гизо запятнать Францію явнымъ вмѣшательствомъ въ дѣла Португалїи и тайнымъ—въ дѣла Швейцарїи. Въ обоихъ случаяхъ Франція играла ту самую роль, которую реставрація, столько проклинаемая, принимала на себя въ 1822 г. относительно Испанїи,— роль военной экзекуціи, полицейскаго усмиренія. Португалія была задавлена изъ учтивости къ королевѣ Викторїи Пальмерстонъ и изъ учтивости къ Пальмерстону—Франціей. Оксенбейнъ отвѣчалъ дерзкой нотой на вмѣшательство французскаго посланника и велѣлъ выставить на площади въ Люцернѣ пушки французской артиллерїи, потихоньку присланныя Зондербунду.

Для довершенія благородной политики недоставало одного—союза съ Австріей противъ Италїи. Дѣйствительно, всѣ симпатїи кабинета были въ пользу *statu quo*. Гизо непрерывно унималъ Пія IX, даже Карла-Альберта,

мѣры котораго находилъ слишкомъ либеральными. Французскій посланникъ въ Туринѣ протестовалъ противъ дозволенія печатать въ Генуѣ пѣсни, въ которыхъ говорятъ объ австрійцахъ *оскорбительно*. Союзъ съ Россіей было одно изъ пламенныхъ желаній Гизо; въ послѣднее время высылали изъ Парижа людей по требованію русскаго посланника и тѣснили польскихъ выходцевъ, думая сдѣлать этимъ что-нибудь любезное нашему правительству.

При всемъ этомъ нельзя не замѣтить характеръ мѣщанина во дворянствѣ, который принимало правительство, вышедшее изъ баррикадъ, и министръ изъ профессоровъ. Аристократическія симпатіи англійскаго министерства дѣлаются съ какою-то простотою естественнаго влеченія, не выставляются. Поспѣшность, съ которой Гизо протягивалъ руку всему аристократическому, стараніе прикрыть революціонное происхожденіе трона 1830, отречься даже отъ 1789 года и выдать себя за великаго тори и консерватора было очень смѣшно и очень печально. Французскому министерству, какъ всѣмъ *parvenus*, при всѣхъ стараніяхъ не удалось стать на одну ногу съ аристократически-монархическою Европой. Россія имѣла повѣреннаго въ дѣлахъ, которому въ концѣ 1847 г. дали названіе посланника... Зато съ какой радостью, съ какой благодарностью Гизо протянулъ руку Меттерниху, когда тотъ ему позволилъ... Мишле былъ правъ, говоря, что глубже пасть невозможно. Что дѣлалось внутри Франціи, я отчасти вамъ рассказалъ въ прошломъ письмѣ; прибавлю нѣсколько личныхъ впечатлѣній для того, чтобъ еще индивидуальнѣе характеризовать время, предшествовавшее февральской революціи.

Я пріѣхалъ въ Парижъ въ мартѣ 1847 г. и прожилъ до конца октября.

Не могу вамъ выразить тяжелаго, болѣзненнаго чувства, которое овладѣло мною, когда я нѣсколько присмотрѣлся къ міру, окружавшему меня. Мы привыкли со словомъ «Парижъ» сопрягать воспоминаніе великихъ событий, великихъ людей 1789 и 1793 гг.,—воспоминанія колоссальной борьбы за право, за мысль,—борьбы, продолжавшейся послѣ революціи то на полѣ битвы, то въ парламентскихъ преніяхъ. Имя этого города тѣсно соединено со всѣми святыми стремленіями, со всѣми лучшими упованіями современнаго челоѣка; я въ него вѣхалъ съ трепетомъ сердца, съ робостью, какъ нѣкогда вѣзжали въ Іерусалимъ, въ Римъ. И что же я нашель?—Парижъ, описанный въ ямбахъ Барбье; меня оскорбляло все видѣнное. Я былъ удивленъ, огорченъ; я былъ испуганъ, потому что за тѣмъ ничего не оставалось, какъ сѣсть въ Гаврѣ на корабль и плыть въ Нью-Йоркъ, въ Техасъ. Невидимый Парижъ тайныхъ обществъ, работниковъ; этихъ мучениковъ и страдальцевъ, задвинутыхъ пышными декораціями искусственнаго богатства, не существовалъ для иностранца, по крайней мѣрѣ, на первый взглядъ. Видимый Парижъ представлялъ край нравственнаго растлѣнія, душевной усталы, пустоты, мелкости, апатіи. Въ обществѣ, сколько мнѣ случалось видѣть, царило совершенное безучастіе ко всему, выходящему изъ маленькаго круга пошлыхъ вопросовъ.

У французовъ средняго состоянія, кромѣ исключеній, есть какое-то образованное невѣжество, какой-то видъ образованія при совершенномъ отсутствіи его; ихъ понятія, ихъ умъ такъ неприхотливы и такъ скоро удовлетворяемы, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенцій Воль-

тера или Шатобриана, все равно, пожалуй, того и другого вмѣстѣ, чтобы довольствоваться ими и покойно учредить на нихъ нравственный бытъ свой лѣтъ на сорокъ жизни; къ этому у него прибавляются практическія нраву-ченія, преданія и кодексъ.

У насъ теперь передъ глазами совершается бой Прудона со всей буржуазной журналистикой; бой этотъ взошелъ даже въ національное собраніе. Что же, вы думаете, понялъ кто-нибудь, что Прудонъ говоритъ? Нѣтъ, они поймали рѣзкое выраженіе его «la propreté est un vol», на этомъ и сидятъ. Прудонъ проситъ ихъ, стыдитъ, уговариваетъ развернуть книгу, по крайней мѣрѣ, его журналъ; ему отвѣчаютъ «вы разрушаете семейство», Спросите ихъ, гдѣ онъ разрушаетъ семейство, что они разумѣютъ подъ собственностью,—они вамъ отвѣтятъ фразой, пошлой, битой, у нихъ нѣтъ потребности итти далѣе, да нѣтъ и силъ; ограниченность ихъ пониманія такъ же поразительна, какъ невѣжество,—никакой смѣлости мысли, никакой инициативы. Ихъ философія остановилась на Вольтерѣ и Руссо,—на Вольтерѣ котораго геній отрицать безумно, но котораго при жизни считалъ Дидро и Гольбахъ отставшимъ,—на Руссо, котораго имя свято и дорого всякому образованному человѣку, но понятія котораго, конечно, тѣсны для современнаго міра. Возьмите курсъ Мишле или исторію Луи Блана,—я беру высшихъ, лучшихъ представителей,—взгляните на начала, на внутреннюю строящую мысль и вымѣряйте, на много ли они ушли отъ Руссо, самъ Пьеръ Леру, сама Ж. Сандъ. Для нихъ достаточны общія мѣста изъ хрестоматіи и казистыя фразы. Но большинство и до этого не достигаетъ. Холодный, скудный развратъ; денежные обороты и хвастовство поглощаютъ ихъ мысли и досуги.

Стяжаніе, нажива, ажіотажъ,—вотъ на что былъ обращенъ дѣятельный духъ французовъ; пѣвцы и аббаты, литераторы и львы, министры и лоретки,—все играло на биржѣ, приобрѣтало, перепродавало акціи, купоны. Изданіе журнала, выборъ депутата, голосъ въ камерѣ,—все это было торговымъ оборотомъ, нѣсколько прикрытымъ условными фразами. Сила банковъ во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ была чрезвычайная; миѣнистерство боялось больше всѣхъ золь распаденія съ капиталистами.

Среднее сословіе во Франціи въ отношеніи къ алчности, къ страсти обогащенія оставляетъ за собой всѣ европейскіе народы. Скупость ихъ мелкая, обдуманная, постоянная, не ослабѣваетъ ни на минуту; отъ этого такъ гадокъ буржуазный развратъ, развратъ, сведенный на minimum цѣнности.

Англичанинъ расчетливъ, онъ купецъ, для него приобрѣтеніе выгодъ—рѣшеніе задачи, онъ въ него вноситъ всю святость своего пракческаго ума, это — его дѣло, его занятіе, но, закрывая бухгалтерскую книгу, онъ дѣлается потребителемъ, онъ любитъ комфортъ, онъ любитъ удовольствія.

Мотовство не сообразно съ жизнью дѣловаго человѣка; оно разстроило бы довѣріе къ торговому дому, хорошее состояніе дѣлъ — point d'honneur купца, но въ своихъ границахъ англичанинъ позволяетъ себѣ пожить, у него нѣтъ безусловнаго поклоненія золоту. Совсѣмъ не таковъ французскій буржуа: онъ всегда жметя, онъ ни въ какомъ случаѣ не забудетъ финансовой стороны вопроса, онъ скряга съ самыхъ молодыхъ лѣтъ. Оттого онъ

такъ сухъ душою, онъ впередъ подкупленъ собственнымъ состояніемъ, скупость у него стягиваетъ всякій порывъ, непрерывная мысль о денежныхъ счетахъ обезсиливаетъ всѣ силы души. Какъ много должно отнести на счетъ скупости, что французы терпѣли гнусное управленіе Люд.-Фил., и развѣ не скупость заставила буржуазію признать республику? У англичанина есть свои нравственныя привычки, свои, такъ сказать, религіозныя капризы, которые онъ всегда поставитъ выше денегъ,—безуміе стяжанія и собственности играетъ приму во всемъ, что дѣлаетъ французскій буржуа; его поддерживаютъ отъ совершеннаго паденія только честолюбіе и любовь къ наружному блеску ¹⁾. Отчего французы такъ симпатизируютъ съ итальянскимъ вопросомъ, такъ желаютъ эмансипаціи Италіи и съ пѣной у рта говорятъ о работникахъ... Отчего они такъ отважно готовы жертвовать кровью, жизнью и такъ упорно борются противъ прогрессивнаго запада, который могъ бы спасти на первый случай республику отъ кризиса и бѣдныя классы отъ голода! Рядомъ съ жадностью къ деньгамъ должны были развиваться всѣ низкія страсти, укрощающія корыстолюбіе, желаніе эксплуатаціи всякаго человѣка, всякаго предпріятія, подозрительность, неоткровенность; пожалуйста, не вѣрьте, что французы сообщительны, — у нихъ это только форма, только болтовня, далѣе фразы онъ не идетъ, ему васъ не нужно, если у васъ нѣтъ общаго съ нимъ дѣла. Нѣтъ города, гдѣ бы было легче надѣлать тьму шапочныхъ знакомствъ, какъ въ Парижѣ, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ въ самомъ дѣлѣ сблизиться тамъ съ нѣсколькими людьми. Какая разница съ нѣмцами, съ итальянцами, даже съ англичанами, когда разъ познакомишься съ ними. Многимъ можетъ показаться преувеличенною моя характеристика буржуазіи,—я не могу по совѣсти уменьшить ни слова. Она не была такова въ XVIII ст., я знаю; она тогда еще шла впередъ, не отрывалась отъ народа, пробивалась; съ ея стороны были новыя идеи и революція; она не была такова во время реставраціи, хотя съ нѣкоторымъ вниманіемъ можно вездѣ отыскать родственные недостатки.

Царствованіе Людовика-Филиппа развернуло все стыдившееся свѣта, семнадцать лѣтъ разврата воспитали современную буржуазію, и она, наконецъ, выродилась, какъ Меровини, ей спасенія нѣтъ, она идетъ въ гробъ, она посвящена богамъ. Революція 24 февраля хотѣла ее вынести съ собою,—мы видимъ результатъ, вотъ вамъ *Assemblée nationale* — ни объема мысли, ни *élan*, ни благородства, она на безконечную пропасть ниже революціи, современности... И подите сдвиньте ихъ съ ихъ жалкихъ, давно обойденныхъ

¹⁾ Въ 1847 одинъ владѣлецъ большой дачи засталъ мальчика, который собиралъ въ его лѣсу валежникъ; онъ подозвалъ его къ себѣ, велѣлъ стать на колѣни и потомъ выстрѣлилъ въ него дробью. Израненнаго мальчика онъ оставилъ въ лѣсу и пошелъ домой. Другой выстрѣлилъ въ мальчика, который кралъ какіе-то плоды въ его саду («*Gazette des Tribunaux*»). Мнѣ противно коснуться до того, что дѣлали французы въ колоніяхъ съ черными до революціи 24 февр.; факты, повторенные и засвидѣтельствованные въ камерѣ депутатовъ въ 1847 году, напоминаютъ Салтычиху и начало военныхъ поселеній.

теорій. Roué изъ roués, Тьеръ или Маррасть, что, вы думаете, поняли они важность соціальныхъ вопросовъ? Они и не подозрѣваютъ, они умны и ловки въ своемъ извѣстномъ кругѣ идеи, за границей его они пошлы. Взгляните на ихъ литературу, возьмите ихъ журналы, ступайте въ ихъ ученыя общества, взгляните на ихъ искусства, на эти истомленные, исковерканныя сладострастіемъ статуи, на выраженіе лицъ, которое домогается схватить живописецъ,—подите на ихъ гулянье, гдѣ пошлость, мескинность спорить съ нелѣпностью и безвкусіемъ, наконецъ, идите въ театръ — и мѣра смерти этого сословія выйдетъ передъ вами на сценѣ. Вторую половину сорокъ седьмого года давали ежедневно «Le chevalier de maison rouge» Дюма; я уродливѣе и глупѣе пьесы не видѣлъ; прибавьте еще, что она писана въ самомъ раболѣпномъ духѣ,—театръ былъ всякій разъ полонъ.

На закраинѣ между работникомъ, пролетаріемъ и буржуазіей находится бѣдное мѣщанство. Оно грубо и рѣзко представляетъ внутри себя антагонизмъ народа и буржуазіи. Часть его считаетъ себя народомъ и ненавидитъ больше работника богатую буржуазію; тутъ начинается нравственное население Франціи, это сословіе республиканское, благородное, здѣсь люди имѣютъ вѣрованія, здѣсь живы преданія великой революціи, тутъ я встрѣчалъ древнихъ матронъ и матерей, которые радовались, что ихъ дѣти идутъ на баррикады, тутъ я встрѣчалъ гордую и величавую бѣдность, у нихъ не утратился даже живой, веселый, чисто французскій умъ. Возлѣ нихъ съ одной стороны такая же бѣдная буржуазія, но отдѣлившаяся отъ народа, это — мелкіе лавочники, мастеровые-хозяева, сидѣльцы, эписъе, консьержи богатыхъ домовъ, лакеи, главные наемщики—тутъ во всей грубости являются всѣ недостатки мѣщанства, ненависть къ народу, скупость, надменность и пр. Съ другой стороны—работникъ, о которомъ мы говорили въ прошломъ письмѣ. Работники и демократическая буржуазія наполняютъ парижскія предмѣстья, эти казармы революціи, о которыхъ говаривалъ, покачивая головой, Людовикъ-Филиппъ: «Paris et les aimables faubourg». Безъ работниковъ, безъ aimables faubouriens я не вижу, откуда Франція могла бы ждать спасенія.

Были люди, защищавшіе буржуазію въ 1847 году; въ 48-мъ, кромѣ буржуа, никто ее не защищаетъ. Она себя показала. Предупреждая возраженіе, которое я уже слыхалъ, прибавлю, что, безъ сомнѣнія, нѣтъ забора, который бы отдѣлялъ демократическую буржуазію отъ враждебной народу; тутъ нѣтъ ни касть, ни грамотъ, но есть фактъ, непреложный, дошедшій теперь до открытой войны, до того, что два враждебные стана стоятъ каждый подъ своими знаменами. Найдутся люди, которые, независимо отъ своего положенія, по убѣжденію перейдутъ изъ стана въ станъ, и еще болѣе найдутся такіе, которые, переходя изъ званія работника въ званіе хозяина, дѣлаются яростными буржуа. Противъ всеобщности нами высказаннаго факта это ничего не значитъ, это—перемѣна лицъ, а не принципа. Открытая борьба народа съ буржуазіей передъ глазами, это — начало страшной соціальной войны. Миновать ее невозможно.

Пользуясь всѣмъ сказаннымъ, пользуясь ненавистью буржуазіи къ народу, правительство при Людовикѣ-Филиппѣ дошло до полицейскихъ мѣръ,

которыя сдѣлали бы честь въ Петербургѣ или Неаполѣ. Власть до того опьянила Гизо, Дюшателя и самого стараго короля, что они забыли раздражительность французскаго характера и его обидчивость. Осенью 1847 начался глухой ропотъ, воровство министровъ оскорбляло буржуазію, злодѣйство герцога Праленя оскорбляло народъ; реформистскіе банкеты и справедливыя упреки, которыми осыпали Францію либеральныя журналы всей Европы, проповѣди реформистовъ расшевелили нѣсколько политическую дѣятельность. Когда во французскомъ народѣ начинаютъ бродить сильныя неудовольствія, мятежныя мысли, онъ ихъ не можетъ долго оставлять на днѣ души, онъ стремится тотчасъ облегчить сердце дѣйствіемъ. Начались частныя волненія. Для того, чтобъ показать вамъ, что такое французская полиція, расскажу ничтожную змету въ улицѣ С. Оноре, которая была при мнѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1847 года и послѣ которой я уѣхалъ на зиму въ Римъ.

Какой-то сапожникъ не доплатилъ своему работнику двухъ франковъ. Изъ этого вышла ссора, а такъ какъ суда и расправы у прюдомовъ работникамъ искать было невозможно, ибо ихъ всегда обвиняли и жертвовали хозяевамъ, то товарищи работника, видя тщетность склонить хозяина, выбили ему окна въ магазинѣ. Полиція обрадовалась случаю, — ей хотѣлось раздуть бездѣльный мятежъ для того, чтобы замѣшать въ него радикальную партію и прихлопнуть ее. Муниципалы оцѣпили домъ, явились патрули, народъ хлынулъ со всѣхъ сторонъ. Вызывать на неприготовленныя возмущенія и замѣшивать въ нихъ людей, которые кажутся правительству вредными, это—старая французская полицейская уловка, ее равно съ успѣхомъ употребляли всѣ безнравственныя правительства—директорія и первый консулъ, Людовикъ-Филиппъ и ассамблея 48 года. Толпы стояли, разошлись; на другой вечеръ опять собрались, и полиція собралась; видя, однако, что изъ этого ничего не будетъ, муниципалы начали разгонять толпу; безъ сомачи, предписанной закономъ, не давая времени уйти, они били прикладами и давили массой. Кто осмѣливался возражать, того тащили въ тюрьму; въ толпѣ оказались люди, одѣтые въ блузу, которые по выбору били особенными ремнями, съ узломъ на концѣ, того или другого; это были переодѣтые шпіоны... Разумѣется, негодованіе и крикъ росли; полиція свела челоуѣкъ 300 въ тюрьму. Начался судъ въ коррекціональной полиціи (безъ адвоката). Виноватыхъ, разумѣется, не было никого, — тѣ, которые выбили окна, не остались дожидаться полиціи; тѣ, которые пришли послѣ полиціи, не могли бить оконъ. Судъ нашелъ, что слѣдуетъ всѣхъ выпустить, «кромѣ 50 работниковъ» иностранцевъ, которыхъ выслать за границу, какъ нарушившихъ обязанности благодарности за французское гостепріимство! Вѣрите вы этому? Чувствительная Аделаида прислала имъ на дорогу деньги, кажется, по 50 франковъ на челоуѣка.

Многіе изъ захваченныхъ начали горько жаловаться на побои, которымъ они подверглись, на дикіе поступки муниципаловъ съ людьми, случайно шедшими по улицѣ, и пр. Президентъ имъ отвѣчалъ, что ему душевно жаль, что съ ними это случилось, что онъ не одобряетъ неосторожныхъ дѣйствій полиціи, но что надобно принять въ соображеніе, что въ такихъ трудныхъ

случаяхъ бываетъ не безъ конфузій, и что всего лучше изъ этихъ печальныхъ событій взять для себя поученіе: не останавливаться на улицѣ, когда есть толпа, особенно буйная... Гдѣ это, Господи: въ Парижѣ или въ передней храбраго генерала Кокоскина? Кто не вѣритъ, можетъ справиться въ «*Gazette des Tribunaux*» (это было въ сентябрѣ 1847).

Вслѣдъ за эметой и пралиновскимъ дѣломъ Эберъ отдалъ подъ судъ шесть журналовъ: *La Reforme*, *La Democratie Pacifique*, *La Gazette de France*, *Le Charivari*, *Le Courier Français* и, наконецъ, *Le National*, котораго министерство долго не рѣшалось захватить. Половина журналовъ были осуждены,—тутъ и пошло запрещеніе лекцій Мишле, строжайшая цензура театровъ, запрещеніе пѣть гимнъ Пію IX. Корнъ былъ исключенъ изъ судебного званія за то, что онъ не хотѣлъ, чтобъ на реформистскомъ банкетѣ былъ предложенъ тостъ короля; работниковъ-типографовъ, собиравшихся всякій годъ въ одинъ и тотъ же день на братскій пиръ, разогнали муниципалы; полякамъ запретили праздновать именины кн. Чарторижскаго. Правительство обезумѣло, закусило удила.

Собралась камера 47—48 года. Большинство оказалось еще плотнѣе за министерство, нежели въ прежней. Подкупъ, интриги были еще очевиднѣе. Гизо вмѣсто отвѣта указывалъ рукою на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство.

Однако, оппозиціонное меньшинство, пойманное ариѳметически, знало, что въ народѣ ропотъ растетъ, что самоѣ буржуазія негодуетъ, что банкеты реформистскіе имѣли столько же вліянія въ департаментахъ, какъ банкеты *du Château rouge*. Оппозиція знала, что реформу хотятъ всѣ, что министерство ненавидимо, что дипломатическія отношенія Франціи, ея жалкая роль возмущали общественное мнѣніе. Пренія объ отвѣтѣ на королевскую рѣчь, несмотря на большинство, вышли изъ пошлой колеи апатическихъ фразъ и косвенныхъ намековъ. Ламартинъ покрылъ позоромъ внѣшнюю политику, онъ назвалъ ее австрійской въ Италіи, русской въ Польшѣ, іезуитской въ Римѣ, вездѣ ретроградной, нигдѣ французской. Самое появленіе Ламартина на трибунѣ было событіемъ. Послѣднее засѣданіе онъ держалъ себя въ тонѣ, ему былъ противенъ неблагородный бой депутатовъ, онъ этого не скрывалъ. Успѣхъ его книги и рѣчи на реформистскихъ обѣдахъ выставили его на первый планъ оппозиціи, авторитетъ его былъ великъ, знали, что онъ не домогается министерства, денегъ, пэрства, въ него вѣрили, его считали чистымъ человѣкомъ, можетъ, потому, что онъ ничего не дѣлалъ. Рѣчь его потрясла министерство, но не менѣе потрясла его и другая рѣчь, хотя, совсѣмъ наоборотъ, оратора никто не уважалъ. Я говорю о рѣчи Тьера въ пользу Италіи. Тьеръ произнесъ нѣчто въ родѣ смертнаго приговора предательской и неблагородной политикѣ Гизо. Дерзкій Гизо сломился подъ тяжестью этихъ рѣчей. Онъ, забывая большинство, сдѣлалъ опытъ побѣдить своимъ талантомъ; ему это удавалось,—его отвѣтъ былъ бѣденъ, даже смѣшонъ.

Проницательный дипломатъ увѣрялъ, что Италія еще не созрѣла для представительнаго правленія, что она не думаетъ объ немъ, что этотъ вопросъ явится *sur le tapis* лѣтъ черезъ тридцать. Когда Гизо говорилъ это,

народъ вынудилъ конституцію въ Неаполѣ, король сардинскій и тосканскій герцогъ объявили свои уложенія.

Гизо, униженный, какъ дипломатъ и политикъ, долженъ былъ потерять въ это засѣданіе послѣдній вѣнокъ, который такъ былъ къ лицу на его квакерскомъ челѣ,—вѣнокъ безкорыстія. Многие, любя Гизо, считали его человѣкомъ увлекшимся системой—французскимъ Страффордъ, чело- вѣкомъ неукоснительной честности, его не смѣшивали съ какимъ-нибудь Дюшателемъ или Эберомъ. Одилонъ Барро заклеилъ Гизо: онъ семь лѣтъ терпѣлъ перепродажу мѣсть, бралъ участіе въ распоряженіяхъ, условіяхъ... это было доказано. Вопросъ первой важности, послѣ адреса, вопросъ, котораго обойти было невозможно, самый живой и на которомъ должна была рѣшиться судьба министерства, былъ вопросъ о правѣ банкетовъ. Подобный вопросъ не могъ бы явиться въ какомъ-нибудь англійскомъ парламентѣ, ибо онъ впередъ разрѣшенъ во всякой странѣ, имѣющей свободныя учрежденія. Въ Парижѣ Гизо это было не такъ. Въ XII округѣ готовился реформатскій объѣдъ. Дюшатель, ссылаясь на законы, вовсе не идущіе къ этому случаю, грозился запретить. Это было прямо посягательство на личную свободу, но правительству доселѣ все сходило съ рукъ; большинство камеры было и теперь его; журналисты, связанные огромнымъ залогомъ и сильными денежными пенями, не могли высказывать всей мысли; министерство рискнуло и предложило законъ противъ права собираться на банкеты съ политической тѣнью. «Если-бъ и у насъ,—сказалъ Кобденъ въ парламентѣ,—было министерство столько глупое и столько преступное, что осмѣлилось бы предложить законъ противъ мирнаго собранія гражданъ, и мы бы схватили оружіе».

Ледрю Ролленъ смѣло, рѣзко и энергически напалъ на законъ; это былъ какой-то новый языкъ въ ополшѣвшей камерѣ. Ламартинъ напомнилъ, что присяга въ залѣ *jeu de raute* имѣла началомъ насильственно запертыя двери собранія. Большинство иронически расхохоталось и проводило оратора ропотомъ и негодованіемъ. Ламартинъ остановился и повторилъ свои слова. Ропотъ удвоился, большинство отвѣтило ему урной: законъ былъ принятъ. Однако, торжество было мрачно. Трусливое и подкупленное большинство начинало подозрѣвать, что это даромъ съ рукъ не сойдетъ; оно было готово оставить министерство на томъ условіи, чтобъ оппозиція оставила банкетъ. Оппозиція объявила, что она пойдеть; министерство отвѣчало, что оно пошлетъ полицію засвидѣтельствовать неповиновеніе закону; ему хотѣлось отдать оппозицію подъ судъ, можетъ быть, подъ судъ камеры пэровъ, служившей Людовику-Филиппу органомъ его мести, судомъ безжалостнымъ и несправедливымъ. Министерство согласилось, наконецъ, на дозволеніе банкета съ условіемъ, чтобъ были одни приглашенные, но потомъ вдругъ префектъ полиціи приклеилъ прокламацію, въ которой напоминался законъ о сборищахъ на улицѣ и положительно воспрещалось итти на праздникъ. Предлогомъ этой незаконной мѣры ставили афишу реформистовъ, которую министры называли возмутительнымъ воззваніемъ. Одилонъ Барро требовалъ, чтобъ правительство приняло на свою отвѣтственность послѣдствія незаконныхъ мѣръ. Дюшатель отвѣчалъ дерзко, отбрасывая отвѣтственность на

оппозицію, перчатка была брошена и поднята. Когда оппозиція увидѣла, что дѣло принимаетъ очень серьезный характеръ, она распалась. Люди робкіе, слабые, половинчатые, думающіе всегда объ отступленіи, когда надобно нападать, какъ Одилонъ Барро; люди нечистые, интриганы, которые любятъ прійти послѣ, которые любятъ выиграть въ обоихъ случаяхъ, какъ Тьеръ, рѣшились уступить власти и не ходить на банкетъ; къ нимъ пристало большинство оппозиціи. Осьмнадцать депутатовъ остались вѣрными намѣренію итти на банкетъ. Пока они разсуждали и думали, Дюшатель велѣлъ за ночь полиціи вынести всѣ приготовленія къ празднику и запереть домъ. Оппозиція была поражена этой новой дерзостью. Вѣсть объ этомъ разнеслась по всему городу. На улицахъ начали показываться мрачныя группы, собиравшіяся около прокламаціи Делессера; многіе громко бранили мѣры правительства. Министерство знало, что исторія банкета не пройдетъ безъ шума, и изготовилось, съ своей стороны, къ отпору; оно такой хотѣло дать урокъ безпокойнымъ людямъ, послѣ котораго можно было бы еще открытѣе уничтожить всѣ приобрѣтенія революціи 89 года. Военный министръ призвалъ тридцать семь баталіоновъ пѣхоты, двадцать эскадроновъ кавалеріи, пять батарей; всѣ эти войска вмѣстѣ съ муниципалами были готовы. Герцогъ Монпансье держалъ въ готовѣ пушки, въ штабѣ генерала Тибурса Себастіани приготовлялъ планъ войны по улицамъ. Какой же былъ шансъ въ пользу горсти депутатовъ, не совсѣмъ согласныхъ между собой, нѣсколькихъ журналистовъ, вовсе несогласныхъ, и тайныхъ обществъ, которыя скрывали свои дѣйствія? Могли ли они надѣяться на нѣсколько возбужденное общественное мнѣніе, противъ котораго уже готовились пушки? Одинъ!—Еще не было извѣстно, какъ приметъ все это парижскій работникъ, народъ предмѣстій. Вечеромъ 21 февраля на углахъ улицъ явились большія толпы блузниковъ; онѣ ходили молча взадъ и впередъ, онѣ останавливались на перекресткахъ, какъ будто приходили *чуять*, въ самомъ дѣлѣ завязывается что-нибудь или нѣтъ, т.-е. воротиться ли на работу или сбѣгать за ружьемъ. Къ ночи, впрочемъ, все разошлось и, кромѣ мѣрныхъ шаговъ патрулей, ничего не было слышно. Всѣ ожидали въ какой-то безпокойной тоскѣ, на душѣ было тяжело, страшно. Атмосфера, полная электричествомъ, давила.

Подробности 22, 23 и 24 февраля вы найдете въ разныхъ брошюрахъ. Я ихъ напому слегка, чтобъ возобновить въ памяти вашей главныя событія. Утромъ 22 толпы снова показались; видъ ихъ былъ еще рѣшительнѣе. У Пантеона собирались люди XII округа, самаго либеральнаго во всемъ Парижѣ; студенты, молодые люди стали въ ихъ ряды, и они, взявшись за руки и распѣвая марсельезу, которую почти забыли парижане, пошли къ Маделенѣ. Тутъ ихъ ждали другія толпы! Горячія рѣчи и угрозы слышались въ средѣ этихъ людей; нѣтъ никакого сомнѣнія, что тайныя общества распоряжались движеніемъ. Отъ Маделены колонна пошла къ камерѣ съ крикомъ «Vive la réformе!»; на мосту ее встрѣтилъ отрядъ солдатъ... Казалось, тутъ должна была пролиться первая кровь, но не надобно думать, что линія охотно стрѣляетъ въ народъ; она стрѣляетъ, натравленная національной гвардіей, обманутая, стрѣляетъ въ отвѣтъ на выстрѣлы—колонна, явившаяся

передъ ними, была безоружна. Молодой человекъ выступилъ впередъ, объяснилъ солдатамъ, что они идутъ къ камерѣ заявить свой протестъ, что остановить ихъ невозможно и что, если они хотятъ стрѣлять или колоть братьевъ, то пусть начнутъ съ него. Съ этими словами онъ пошелъ впередъ... Солдаты посмотрѣли другъ на друга и пропустили; на другой сторонѣ моста встрѣтилъ толпу отрядъ драгунъ; онъ скакалъ съ поднятыми палашиами отъ камеры, чтобы отбросить колонну. «Vive les dragons!» прокричалъ народъ, и драгуны положили палаши въ ножны и шагомъ, едва двигаясь, заставили отступить толпу. Видя невозможность дойти до камеры, толпа разбилась на нѣсколько частей и пошла по разнымъ улицамъ. Слабый отпоръ войскъ долженъ былъ ужаснуть правительство, еслибъ оно было способно видѣть истину, тѣмъ болѣе, что оно само не надѣялось на національную гвардію,—22 еще не били сбора. Одни муниципалы свирѣпствовали, ругались, толкались, водили подъ арестъ; но не токмо муниципалы, но и проливной дождь, на который, какъ вы помните, такъ надѣялся Pettiori, не могъ разогнать густыя толпы, собиравшіяся въ разныхъ мѣстахъ. На улицѣ С. Оноре, противъ самага дома, въ которомъ жилъ Робеспьеръ, начали, было, строить первую баррикаду, но вскорѣ ее оставили, пошли къ центральнымъ частямъ города, на бульварахъ взяли оружіе въ двухъ магазинахъ, потомъ главная часть народа подвинулась въ свои кварталы, въ узкіе переулки близъ улицы С. Мартенъ, гдѣ такъ ловко драться, гдѣ такъ часто дрались и дѣлали баррикады.

Въ камерѣ пэровъ 22 февраля задорный Буасси просилъ дозволенія спросить министровъ о положеніи Парижа и почему національная гвардія не въ сборѣ. Камера отказала, не находя, повидимому, достаточно важными обстоятельства, о которыхъ говорилъ Буасси. Старый Пакье думалъ, что это будетъ послѣднее засѣданіе пэровъ и что черезъ нѣсколько дней въ самомъ этомъ зданіи, въ этой залѣ, на этихъ мѣстахъ сядутъ работники подъ предсѣдательствомъ работника Альбера. Въ камерѣ депутатовъ было еще покойнѣе, депутаты продолжали заниматься будущимъ устройствомъ бордоскаго банка и разошлись для того, чтобъ на другой день заняться очень современнымъ и важнымъ вопросомъ—учрежденіемъ du chapitre royal de S. Denis. Одилонъ Барро подалъ президенту обвинительный актъ, сдѣланный оппозиціей противъ министровъ. Гизо полюбопытствовалъ прочесть и, презрительно улыбувшись, отдалъ бумагу. Дюшатель прошелъ по залѣ и вышелъ на террасу посмотрѣть, всѣ ли распоряженія были исполнены. Площадь была пуста и окаймлена солдатами, возлѣ камеры были пушки. Онъ воротился довольный и самонадѣянный,—все шло хорошо. Тѣмъ и окончилось 22 число. «Мониторъ» отъ 23 объявилъ Парижу, что толпа злонамѣренныхъ людей, увлекшихъ съ собою множество мальчишекъ и въ рядахъ которой было нѣсколько человекъ *подозрительной* наружности ¹⁾, сдѣлала преступную попытку возмутить общественное спокойствіе въ Парижѣ, но

¹⁾ Вспомните «людей безобразной наружности во фракахъ». Какъ всѣ правительства похожи другъ на друга.

что дѣятельными мѣрами полиціи толпы были разсѣяны, и совершенная тишина восстановлена.

Дѣйствительно, ночь съ 22 на 23 прошла довольно тихо, особенно на бульварахъ и аристократическихъ улицахъ, но *классическія* части города: Faubourg S. Antoine, Faubourg S. Marceau кипѣли. Толпа людей ходила въ Батиньолахъ изъ дома въ домъ, обирая ружья нац. гвардіи. Многіе жители сами приносили ружья, патроны; историческія улицы—Трансконень, du Cloître St. Мегу не спали, тамъ шла работа, приготовленія. Работники явнымъ образомъ стали со стороны возстанія. Утромъ 23 ударилъ сборъ нац. гвардіи. Правительство нехотя сзывало этотъ разъ вѣрную защитницу свою; оно чувствовало, что зашло слишкомъ далеко, что на большинство камеръ и на преданность богатой буржуазіи можно надѣяться, но не въ бою. Вопросъ о роли, которую будетъ играть національная гвардія, становился такъ же важенъ, какъ съ вечера вопросъ: примутъ ли работники дѣятельное участіе. Составъ національной гвардіи былъ, какъ вы знаете, чисто буржуазный; это были вооруженные собственники, вооруженные мѣщане, это было войско хартіи, часто готовое поддержать первую противъ власти и всегда готовое давить народъ. Несмотря на это, національная гвардія тоже дѣлилась на два стана; бѣднѣйшая часть буржуазіи, считавшая себя за народъ, имѣла радикальное направленіе, къ ней присовокуплялась національная гвардія либеральныхъ частей города (напр., XII округа). Когда ударили сборъ, они первые собрались, собрались съ крикомъ «vive la réformе, à bas Guisot». Къ нимъ пристала часть консервативной буржуазіи, которой, наконецъ, сдѣлалось противно управленіе министровъ; другая часть консервативной буржуазіи, и самой богатой, вовсе не явилась; она, разумѣется, не хотѣла успѣха возмущенію, но еще менѣе хотѣла стать подъ пули изъ-за Гизо. Чтобъ увлечь окончательно сомнѣвающихся, множество клубистовъ надѣли мундиры національной гвардіи и разсыпались въ рядахъ; они предлагали товарищамъ не допускать кровопролитія, уговорить войско не стрѣлять, вытребовать реформу,—они увлекали за собой отрядъ, съ которымъ они прошли возлѣ войскъ, привѣтствуя солдатъ, протягивая имъ руки и съ крикомъ «à bas Guisot!» Войско пропустило ихъ, оно было смущено, ему не хотѣлось драться. Все это дѣлалось передъ глазами маршала Бюжо. Между тѣмъ нѣсколько баррикадъ явилось тамъ, сямъ; на одной развѣвалось огромное красное знамя. Парижскій народъ отчаянно храбръ и отъ природы стратегъ; онъ мастерски располагаетъ свои баррикады... дѣлаетъ ложныя, заманиваетъ непріятеля, мучитъ его, утомляетъ, здѣсь беретъ гауптвахту, тамъ зажигаетъ домъ, смѣется изъ-за своей баррикады и всякій разъ оставляетъ ее прежде, нежели войско взойдетъ. Военныя дѣйствія не были велики, нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ слышались въ разныхъ сторонахъ, даже нѣсколько пушечныхъ.

Правительство было поражено *измѣнной* національной гвардіи, хладнокровнымъ *безучастіемъ* войска, *ожесточеніемъ* злоумышленниковъ. Король потребовалъ отставку министровъ. Вѣсть объ этомъ разослала по всему Парижу. Перестрѣлка почти тотчасъ прекратилась; это было часовъ въ пять вечера. Возстаніе въ пользу реформы достигло своей цѣли, оно оканчивалось, потухало, на бульварахъ начали освѣщать дома.

Но небольшая кучка закаленныхъ республиканцевъ, ждавшихъ восемьлѣтъ возстанія, работавшихъ въ тайныхъ обществахъ, не за тѣмъ взялась за ружья, чтобъ доставить портфель Моле и маленькую реформу Франціи. Они съ ужасомъ видѣли, что движеніе, начавшееся такъ громадно, движеніе, въ которое, сверхъ народа, была вовлечена національная гвардія, оканчивается ничтожной уступкой; они очень вѣрно оцѣнили, что благопріятнѣе случая не дождешься: войско дралось нехотя, испуганное правительство было презираемо, слабо, реформа его укрѣпила бы. И работникъ парижскій не за тѣмъ сошелъ на улицу и покинулъ свою работу, чтобъ итти назадъ тѣмъ же паріемъ, какимъ пришелъ. Если ни тѣ, ни другіе не вышли сначала съ крикомъ «Vive la république», на это было много причинъ. Кто зналъ оборотъ, который приметъ движеніе? темная надежда республики созрѣла за баррикадами; — каждые четверть часа приносили ей силы. Притомъ же республиканцы были въ страшномъ меньшинствѣ. Они испугали бы крикомъ своимъ, испугали бы даже отвѣтственностью за такой крикъ. Кто пошелъ бы съ ними? Національная гвардія пошла бы противъ нихъ. Будущее пока не осуществится, всегда бываетъ достояніемъ энергическаго меньшинства. Они не смѣли утромъ говорить о республикѣ, но теперь слабость правительства была такъ очевидна, волненіе въ народѣ такъ велико, что они начали надѣяться и, разумѣется, съ отчаяніемъ видѣли начало успокоенія. Съ наступленіемъ вечера по бульварамъ и разнымъ улицамъ проходили ликующія толпы національной гвардіи, перемѣшанной съ народомъ; они весело кричали «vive la république» и были принимаемы съ восторгомъ. Часовъ около десяти показалась новая густая колонна съ краснымъ знаменемъ; рѣзкое пѣніе марсельезы и крики «au palais», «chez les ministres» обратили на нее общее вниманіе. Около колонны шли люди съ зажженными факелами. Эту колонну вели самые энергическіе республиканцы, тутъ были клубисты и монтаньяры. Когда колонна поровнялась съ hôtel des Capucines, гдѣ жилъ Гизо, она увидѣла, что домъ окруженъ солдатами и бульваръ перерѣзанъ. Надобно вспомнить, что по всей дорогѣ къ толпѣ приставали прохожіе, женщины, мальчишки, такъ что когда она остановилась передъ солдатами, въ ней могло быть, какъ говорятъ, больше тридцати тысячъ человѣкъ. Останавливать тридцать тысячъ человѣкъ вообще глупо, всего глупѣе было ихъ останавливать въ то время, какъ повидимому праздновалось примиреніе. Само собой разумѣется, что толпа шла впередъ, она просто не могла остановиться отъ натиска сзади. Между солдатами и передовыми завязался крупный разговоръ. Тутъ случилось одно изъ роковыхъ происшествій, которыя рѣшаютъ въ одинъ мигъ то, что готовится годами, десятками лѣтъ: въ жару спора одинъ изъ начальниковъ колонны выстрѣлилъ изъ пистолета въ солдатъ; говорятъ, что это именно Лагранжъ, извѣстный баррикадистъ въ Ліонѣ, одинъ изъ радикальныхъ представителей теперь. Колонна солдатъ немного попятилась, покрылась дымомъ, огненная полоса блеснула въ ширину бульвара, раздался залпъ, и пятьдесятъ два человѣка упали на мостовую убитые и тяжело ранены; вопль и крикъ ужаса раздался въ толпѣ, она отпрянула... между солдатами и ею сдѣлалось пустое... передъ фронтомъ лежали несчастныя жертвы, борясь въ предсмертныхъ мукахъ. Солдаты опу-

стили ружья... Блѣдные; они стояли, стиснувъ зубы, слезы лились у нихъ по щекамъ, они поняли, что совершили преступленіе. Офицеръ, приказавшій сдѣлать залпъ, взошелъ съ видомъ безумнаго въ café, сталъ оправдываться; нѣсколько человѣкъ національной гвардіи спасли его отъ вѣрной смерти... Но толпа не за тѣмъ отпрянула, чтобъ уйти; крикъ мести замѣнилъ всѣ остальные. Оскорбленный до глубины души и великій въ глубинѣ души парижскій народъ возсталъ негодующій и грозный. «Теперь кончено», сказала толпа, и въ самомъ дѣлѣ царствованіе Людовика-Филиппа было кончено. Гизо былъ отмщенъ да и народъ отмстилъ за себя. Часовъ въ одиннадцать Парижъ увидѣлъ страшное зрѣлище: по бульварамъ везли дроги, полная едва остывшихъ труповъ, кровь еще сочилась изъ ранъ. Время отъ времени блѣдный, растрепанный человѣкъ, стоявшій на дрогахъ, поднималъ трупъ молодой женщины, показывалъ глубокую рану и кричалъ: «Местъ!» Ему отвѣчалъ народъ, толпившійся отовсюду, крикомъ: «аих агмес!». Кортежъ проходилъ по мѣстамъ, занятымъ войскомъ, и войско, поставленное для того, чтобъ не пропускать, молча и безъ команды раздвигалось и составляло почетныя шпалеры. Негодованіе, гнѣвъ овладѣли всѣми, все вооружалось, все сошло на улицу, дѣти, женщины, старики; такого рода порывы свойственны одной Франціи; они искупаютъ бездну грѣховъ и недостатковъ; одни богатые буржуа и пропріетеры домовъ торопились затворять ворота, двери, ставни. Печальный и торжественный набатъ, грозный и грустный токсенъ раздавался издали мѣрно, страшно, напоминая 93 годъ... Всю ночь строили баррикады. На многихъ баррикадахъ явились поутру красныя знамена, на нѣкоторыхъ кричали «vive la république». Многие, увидя это знамя и услышавъ этотъ крикъ, оставили ихъ. Національная гвардія ужаснулась, она тутъ только поняла, чему она помогала; но движеніе было слишкомъ сильно, остановить его не могла никакая сила... Редакція «Насіоналя» не вѣрила еще въ возможность республики... Народъ опередилъ политиковъ и литераторовъ. Вся честь, вся слава принадлежатъ ему и его друзьямъ. Прежде, нежели мы съ нимъ встрѣтимся въ тронной залѣ, вспомнимъ, что дѣлалось во дворцѣ.

Моле отказался. Поздно вечеромъ 23 февраля король послалъ за Тьеромъ. Тьеръ засталъ еще въ кабинетѣ Гизо — они раскланялись молча, какъ Минихъ съ Бирономъ на Волгѣ. Одилонъ Барро взошелъ въ составъ министерства. Тьеръ написалъ прокламацію, которую тотчасъ отправили въ типографію. Тьеръ былъ увѣренъ, что городъ успокоится, узнавъ какіе великіе люди во главѣ правительства. Король отправился въ той же увѣренности спать. Великіе хитрые, проницательные дипломаты и дѣльцы! Какъ жалки всѣ эти Галейраны, Меттернихи, когда народъ дѣйствительно выходитъ на сцену, какъ они блѣднѣютъ и исчезаютъ со всей премудростью своей передъ его мощной простотой; нахохотался надъ вами 48 годъ! Гизо побоялся отправиться домой, его уложили гдѣ-то во дворцѣ, на другое утро ранехонько онъ вышелъ изъ Тюльери и исчезъ; первая вѣсть о бѣгомъ министрѣ была изъ Лондона. Просыпаясь, король услышалъ перестрѣлку. Тюльери былъ окруженъ въ разныхъ разстояніяхъ, но со всѣхъ сторонъ баррикадами,—вотъ что сдѣлалъ народъ отъ полночи до разсвѣта. Встрешенный Людовикъ-Филиппъ ждалъ съ нетерпѣніемъ дѣйствій магической

прокламаціи Тьера; ему донесли, что ее рвутъ со стѣнъ. Въ комнатахъ короля суетились генералы, придворные, этикетъ былъ забытъ, одни шептались, другіе громко спорили. Королева, блѣдная отъ досады, совѣтовала королю показаться солдатамъ и національной гвардіи; король надѣлъ мундиръ, сѣлъ верхомъ, проѣхалъ по Карузельской площади и очень скоро возвратился уничтоженный и растерявшійся. Национальная гвардія, стоявшая для его защиты, встрѣтила его крикомъ «vive la réformе». Явился Тьеръ съ кислымъ лицомъ; онъ былъ на улицахъ, видѣлъ, что онъ обойденъ, просилъ назначить президентомъ Барро, не догадываясь, что и Барро давно обойденъ. Король согласился. Барро самъ отправился узнать дѣйствіе этой новости; онъ надѣлъ синіе очки, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ къ баррикадамъ; подѣзжая, онъ кричалъ «vive Barrot», «vive le roi»; одни не обратили на него вниманія, другіе совѣтовали ѣхать своей дорогой, пока цѣль. На обратномъ пути его ждала, впрочемъ, комическая овація. Толпа какихъ-то женщинъ и пьяныхъ бабо узнала его, окружила и понесла въ камеру,—суетный старикъ величественно принялъ это торжество.

Между тѣмъ революція подвинулась на ружейный выстрѣлъ къ дворцу. Часть войска, стоявшаго на Карузельской площади, когда къ ней подошелъ народъ, грозя саблями и стрѣляя, подняла ружья прикладомъ вверхъ и безъ всякой команды двинулась назадъ съ крикомъ «въ казармы». Народъ проводилъ ихъ съ рукоплесканіемъ. Почти въ то же время завязался отчаянный и бесполезный бой около Château d'eau, у воротъ Пале-Рояля. Внутри Château было поставлено то самое войско, которое вчера дало залпъ у Hôtel des Capucines; ихъ увѣрили, что имъ спасенія нѣтъ; бѣдные обманутые хотѣли кровью смыть кровь — они дрались, какъ львы, они почти всѣ легли подъ развалившимся сводомъ, но не сдались... Интересно бы знать, кому въ голову пришла поэтическая мысль поставить именно этотъ отрядъ въ Шато д'О.

У короля не было еще никакого плана, онъ ни на что еще не рѣшался, какъ вдругъ отворилась дверь и взошелъ... взошелъ въ кабинетъ къ королю кто вы думаете? Эмиль де Жирарденъ. Онъ принесъ ему пріятную вѣсть, что если онъ не возьметъ рѣшительныхъ мѣръ, то черезъ часъ во Франціи не будетъ ни короля, ни королевства!

— Да что же дѣлать? спросилъ *король французовъ у редактора «Прессы»*.

— Отказаться отъ престола, государь.

— Abdiquer, — повторилъ старикъ король, и перо, которое онъ держалъ, выпало у него изъ рукъ.

Оно и не было нужно. Смѣтливый Эмиль Жирарденъ принесъ прокламацію, которую онъ *уже велѣлъ набирать*. Король былъ въ состояніи совершенной простраціи, да и было отчего, — его съ трона выгонялъ не всѣмъ-то чистый журналистъ, извѣстный гоуѣ и интриганъ, онъ отказывалъ королю отъ мѣста, какъ будто онъ былъ корректоромъ или протомъ въ его типографіи. Прокламацію *уже печатали*... Король пробормоталъ свое согласіе... Истинно шекспировская сцена!

Но и новость объ отреченіи не сдѣлала большого дѣйствія. На однихъ

баррикадахъ Жирардену не повѣрили, потребовали письменнаго доказательства, на другихъ его прогнали: баррикады—не дворецъ. туда не такъ легко входятъ люди *tanés*. Надобно было воротиться, надобно было снова мучить *не у дѣла стоящаю короля*. Людовикъ-Филиппъ написалъ свое отреченіе и отдалъ его генералу Ламорисьеру. Ламорисьеръ поскакалъ къ Шато д'О, гдѣ шла отчаянная битва,—онъ не уѣхалъ дальше первой баррикады. Молодой человѣкъ съ ружьемъ спросилъ его, куда онъ ѣдетъ и зачѣмъ, Ламорисьеръ объяснилъ и показалъ ему бумагу.—«Генераль, возразилъ молодой человѣкъ, воротитесь, отреченье короля *не нужно*». Ламорисьеръ хотѣлъ насильно проѣхать черезъ баррикаду, по немъ выстрѣлили, онъ былъ легко раненъ, лошадь убита.

Подписавши отреченье, король сталъ готовиться въ путь. Карета его не могла подъѣхать; на Карузельской площади убили пикера и двухъ лошадей—приходилось удалиться тайкомъ, — еще одна династія *бѣжала* изъ этихъ комнатъ. Жаль, что послѣ ихъ отѣзда не срыли съ лица земли Тюльери; пока есть Тюльери, все кажется, рано или поздно будетъ и король. Король пошелъ, но вдругъ воротился, вынулъ ключи, началъ искать въ какомъ-то ящикѣ своего бюро какихъ-то бумагъ, ничего не находилъ, досадовалъ и былъ очень жалокъ. Онъ вышелъ изъ дворца подземнымъ ходомъ, который выходитъ на *place de la Concorde*, къ Сенѣ. Двѣ буржуазныя каретки увезли короля-буржуа и его семью. Нѣсколько кирасиръ и нѣсколько уланъ національной гвардіи проводили его въ Сенъ-Клу,—въ Сенъ-Клу Людовикъ-Филиппъ хотѣлъ имъ что-то сказать, но рѣчь не клеилась, онъ повторялъ: «мнѣ было нечего дѣлать, я долженъ былъ, неправда ли? (Это я слышалъ отъ офицера національной гвардіи, его провожавшаго). Жена Немурскаго и ея дѣти уѣхали съ королемъ. Герцогиня Орлеанская съ дѣтьми и герцогъ Немурскій остались. Герцогиню Монпансье, кажется, забыли, ее нашель генераль Тъери, бѣгущую по *place de la Concorde*, растерянную и въ слезахъ.

Жалче, прозаичнѣе, безучастнѣе не падала ни одна монархія—у прежнихъ монархій были приверженцы, около нихъ было преданное дворянство, преданные воины. Людовикъ-Филиппъ былъ королемъ буржуазіи, у буржуазіи нѣтъ преданностей, она слишкомъ положительна. Гизо и Дюшатель поѣхали не для того, чтобъ раздѣлить ссылку короля, какъ Лась-Казъ и Бертранъ, а потому что они боялись галеръ. Гизо черезъ три мѣсяца послѣ 24 февраля пустилъ въ лондонской аристократіи рукопись, въ которой свалилъ всю вину на Людовика-Филиппа.

Лишь только Людовикъ-Филиппъ и его министры удалились, Франція ихъ забыла. И Людовикъ-Филиппъ такъ мало понималъ, такъ плохо зналъ характеръ народа, которымъ правилъ 17 лѣтъ, что счелъ нужнымъ для полнаго позора обрить свои сѣдые бакенбарды и надѣть пальто англійскаго моряка, чтобъ скрыться отъ погони, которой за нимъ не было. *Misère!* Докторъ медицины Рошъ послѣ отѣзда короля подошелъ къ Карузельской рѣшеткѣ и потребовалъ, чтобъ его впустили. Рѣшетка отворилась, Рошъ отправился къ герцогу Немурскому и предложилъ ему во избѣжаніе страшнаго кровопролитія, которое, всетаки, окончится взятіемъ дворца, отдать приказъ, чтобъ войска отступали. Герцогъ повиновался.

Народъ занялъ дворець. Молодой работникъ въ блузѣ обтеръ сапоги объ подушку трона и водрузилъ на немъ красное знамя при крикахъ «vive la République!» Это было торжественное, единственное искреннее и откровенное провозглашеніе республики. Началась оргія, побѣдители торжествовали побѣду — они расположились пировать въ этомъ домѣ, такъ дорого стоившемъ народу; лучшія вина были принесены изъ подваловъ, поварамъ велѣно готовить, и повара-аристократы съ тою же покорностью новому владыкѣ принялись за вертелы. Бюсты Людовика-Филиппа, его портреты, портреты Бюжо были разстрѣлены, тронъ вырубили. Молодой полякъ М. изъ Познани, бывший студентъ берлинскаго университета, который съ начала возстанія не оставлялъ улицы и начальствовалъ баррикадой, попросилъ теперь награду — везти тронъ Людовика-Филиппа на place de la Bastille и тамъ его сжечь; французы уступили храброму славянину эту честь ¹⁾, и онъ верхомъ на лошади, вѣроятно, взятой въ королевскихъ конюшняхъ, поѣхалъ съ толпой народа предать огню этотъ возрождающійся фениксъ между мебелью. Народъ ободралъ бархатъ съ трона и сдѣлалъ изъ него фригійскую шапку для статуи Спартака. Пока часть побѣдителей пировала во дворцѣ, Château d'Eau былъ взятъ и горѣлъ, народъ овладѣлъ Пале-Роялемъ и плясалъ уже на площади карманьолу возлѣ труповъ, освѣщаемый пожарами и выкатывая бочки вина изъ палерояльскихъ подваловъ. Мебель, драгоценныя вещи, бронза летѣли изъ оконъ. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; какъ народу было не ненавидѣть всю эту роскошь, какъ не обрадоваться возможности отмстить на излишнихъ вещахъ всѣ свои лишеныя. Подлую и буржуазную похвалу, что народъ *не кралъ*, я не повторю, потому что по себѣ чувствую, что я не былъ бы доволенъ, если бы меня кто-нибудь похвалилъ за то, что я не укралъ ничего. И когда же люди, подвергающіеся пулямъ изъ-за своихъ убѣжденій, крадутъ? Какихъ-то бѣдняковъ, взявшихъ себѣ вещицы изъ дворца, разстрѣляли, — я съ отвращеніемъ вспоминаю объ этомъ бездушномъ педантизмѣ. Вы тутъ видите вліяніе буржуазіи, которая хочетъ поставить выше всего *религію собственности*.

Итакъ, двѣ республиканскія оргіи шли буйно и весело; недоставало одного на этомъ праздникѣ — дамъ. Онѣ не долго заставили ждать. Между прочими тюрьмами работники отворили и С.-Лазарь, гдѣ содержались бѣдныя жертвы Венеры, искупая на хлѣбѣ и водѣ излишнее поклоненіе ей. Выпущенныя изъ тюрьмы, онѣ по какому-то инстинкту бросились прямо въ Тюльери. Пропустивши дамъ, работники заперли рѣшетку, вездѣ разставили караулъ, будто король пошелъ почивать, — но король не почивалъ... le roi s'amusait... Канканъ и карманьола пошли подъ рояли герцогини орлеанской; работники угощали своихъ дамъ на серебрѣ, вино лилось, дамы сняли съ себя лишнія части одежды — дворець былъ демократизованъ.

Однако, и я поступаю, какъ народъ, — увлекаюсь первой радостью и первымъ опьяненіемъ республики. Партіи, интриги не увлекались, онѣ не устали отъ битвы, потому что за нихъ дрались другіе, — онѣ не пировали, онѣ дѣлали свое дѣло, старались овладѣть поскорѣе властью, онѣ старались

1) Фактъ, который умолчали всѣ журналы.

о себѣ. До сихъ поръ мнѣ не было большого труда передавать главныя событія 24 февраля: то, что дѣлалось въ камерахъ, мы знаемъ,—на это есть «Мониторъ»; то, что дѣлалось на улицѣ, мы знаемъ изъ «Реформы», изъ «Националя», изъ брошюръ Пельтана, Лавирона, С. Амана и десятка другихъ; мнѣ оставалось прибавить нѣсколько чертъ, слышанныхъ мною отъ очевидцевъ, и убавить грубую лесть, съ которой журналы того времени говорили о Ламартинѣ съ компаніей. Этими событіями хвастались, они происходили открыто, всенародно. Остальное скрыто, спрятано, извѣстны одни официальные послѣдствія; едва-едва теперь приподнимается кое-гдѣ край завѣсы. Истина съ 25 февраля была въ услугахъ власти, ни по «Реформѣ», ни по «Националю» судить нельзя, онѣ слишкомъ замѣшаны во все. Широкая и постепенная оппозиція превосходныхъ журналовъ Прудона и Торе началась съ половины апрѣля. Изрѣдка только какая-нибудь семейная ссора выводила на свѣтъ отдѣльныя подробности подземной работы партій. Время исторіи революціи 24 февраля не настало; мы слишкомъ близко стоимъ къ событіямъ и людямъ, мы слишкомъ въ ней. Но если нельзя писать объективную исторію, то, съ другой стороны, историческіе очерки могутъ выйти живѣе, страстнѣе,—въ этомъ своя вѣрность, такіе очерки пригодятся историку, хоть для колорита, хоть для того, чтобъ знать, какъ событія отражались на свидѣтеляхъ. Сверхъ изустныхъ разсказовъ, у насъ есть богатый источникъ воочію совершающейся исторіи, безпощадно выводящей послѣдствія, безпощадно обличающей сущность изъ-за фіоритурѣ фразъ, знаменъ, праздниковъ...

Утромъ 24 февраля немудрено было понять, что правительство пало.

Редакція «Реформы»—rue J. J. Roussau — и редакція «Националя»—rue Lepelletier—были мѣстомъ свиданія и сборища людей, участвовавшихъ въ движеніи; тутъ они совѣщались, обдумывали; это были два министерства революціи; по мѣрѣ того, какъ народъ побѣждалъ, они росли въ предприимчивости. Не надобно думать, чтобъ главныя лица, которыя были на баррикадахъ подъ пулями, которыя предводительствовали народомъ, подвергались всѣмъ опасностямъ открытаго возстанія, принадлежали къ этимъ двумъ бюро; говорятъ, что Ледрю Ролленъ и Флоконъ были на баррикадахъ, что Коссидьеръ дрался на улицѣ, что крошечный Луи Бланъ не отставалъ, но хроника молчитъ объ ихъ особенномъ вліяніи на баррикадахъ; одинъ Альберъ могъ находиться въ центрѣ революціонныхъ дѣйствій съ Лагранжемъ, настоящими монтаньярами и членами общества du droit de l'homme. Именно оттого, что онъ мало участвовалъ на площади, у нихъ было больше досуга обдумать и приготовить планъ, какъ завладѣть движеніемъ. Они, отойдя въ сторону, предложили себѣ вопросъ, на который не токмо никто не отвѣчалъ, но который никто еще не дѣлалъ: «Что же теперь?» «Реформа» хотѣла провозглашенія республики, «Националь» довольствовался регентствомъ и suffrage universele; потомъ и «Националь» согласился на республику, обойденный обстоятельствами.

Несмотря на всю важность слова «республика», это было еще только начало отвѣта, зная, заглавіе. Главное рѣшеніе вопроса зависѣло отъ дальнѣйшаго опредѣленія, *какую республику* хотѣли учредить. «Националь»

былъ, какъ и всегда, за буржуазную республику, за республику *монархическую*, если хотите; онъ хотѣлъ *suffrage universel* и съ тѣмъ вмѣстѣ хотѣлъ ему поработить Францію; онъ мечталъ о сильномъ правительствѣ, опертомъ на штыки, готовые безъ различія разить внѣшняго врага и работника-соціалиста, словомъ, онъ хотѣлъ республику невозможную; самолюбивый Маррастъ уже мечталъ, какъ онъ будетъ первымъ консуломъ этой уродливой республики, какъ онъ заживетъ въ Тюльери. «Реформа» стояла дальше въ демократіи, нежели «Насіональ»; центромъ ея вдохновеній былъ Ледрю Ролленъ. Не думаю, чтобъ онъ особенно новые мысли и виды, но онъ былъ человѣкъ преданный, страстный, ораторъ и откровенный республиканецъ. Луи Бланъ представлялъ въ этомъ кругу социализмъ, котораго онъ, въ сущности, никогда не понималъ; его пустая книга «*De l'organisation du travail*» и нѣсколько блестящихъ фразъ составили ему репутацию. Серьезный социализмъ, имѣвшій представителемъ мощную голову Прудона, стоялъ въ сторонѣ и ждалъ случая, гдѣ можно будетъ поднять рѣчь, начать дѣйствіе. «Насіональ» чувствовалъ, что ему на время надобно сдѣлать пермирье съ «Реформой». Мартинъ de Strasbourg былъ отправленъ для переговоровъ; онъ принесъ свой листъ временнаго правительства, въ которомъ было имя Одилона Барро. «Реформа» возстала, Одилон Барро вычеркнули. Согласились въ главныхъ лицахъ: Дюпонъ de l'Еуге, Ламартинъ, Араго, Маррастъ, Гарнье-Пажесь, Ледрю Ролленъ, Флоконъ и Луи Бланъ, котораго не очень любили, но котораго миновать было нельзя по его популярности у работниковъ. Не замыкая, впрочемъ, листа, отправили печатать афиши. «Насіональ» прибавилъ на своихъ афишахъ еще какія-то имена; говорятъ, Ламартинъ, къ которому послали печатную афишу, своей рукой приписалъ имя Кремье. Въ типографіи «Реформы» напечатали прокламацію о провозглашеніи республики и о созваніи нац. собранія,—прокламаціи разнесли по баррикадамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ національная гвардія изодрала ихъ—ей все еще не вѣрилось, что она зашла такъ далеко.

Теперь изъ-за кулисъ выйдемте на сцену, но ужъ не на площадь, а въ камеру. Прибавимъ одно насчетъ этого самовольнаго распоряженія судьбами цѣлаго народа, что, вѣроятно, эти люди сами не думали, какую страшную отвѣтственность они брали на себя. Я готовъ вѣрить, что половина ихъ была добросовѣстна, увлечена, но съ этой минуты они должны были знать, что неудача великихъ дней 23 и 24 падетъ на нихъ, а могли ли они добросовѣстно сказать, что они своими кандидатами не вносили съ самаго начала въ правительство сѣмена раздора, оппозиціи, раздвоенія; развѣ могло быть единство между Ледрю Ролленомъ и Маррастомъ, между Гарнье-Пажесомъ и Луи Бланомъ, между надутымъ доктринеромъ Араго и скромнымъ работникомъ Альберомъ?

Камера сидѣла, повѣся носъ; составленная изъ людей неблагородныхъ и подкупленныхъ, она боялась очень справедливой народной мести. Но народъ и не думалъ о мести; сначала кричали: «*à mort Guizot*», и то въ первые минуты; мелкими плутами камеры не занялись. Столько ли это было благоразумно, какъ благородно и великодушно, это трудно рѣшить. Вдругъ взмошелъ Тьеръ, смущенный, безъ шляпы. «Что, вы министръ?»—

спрашивали его со всѣхъ сторонъ. Тьеръ качаетъ головою и сказавши: «la marée monte—monte,—monte...» исчезаетъ. Министерскія лавки пусты; всѣ спрашиваютъ, гдѣ же предсѣдатель совѣта Одилонъ Барро? Барро въ это время забавлялся послѣ оваціи, о которой я сказалъ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, самъ по телеграфу передавалъ всей Франціи радостную вѣсть о своемъ назначеніи.

Камера, всѣми забытая *Didona abbandonata*, предавалась совершенному отчаянію, какъ вдругъ принесли три стула, вслѣдъ за ними явилась герцогиня Орлеанская съ обоими дѣтьми и съ герцогомъ Немурскимъ. Камера встрѣтила ихъ рукоплесканіемъ; ей возвѣщаютъ, что этотъ ребенокъ—король, что его мать—правительница. Камера кланяется и снова рукоплещетъ. Тронутый Дюпенъ предлагаетъ записать въ журналъ эти рукоплесканія и á rgoros рассказываетъ камерѣ, что они не первые, что правительница и король были съ восторгомъ приняты на улицѣ. Казалось, все шло, какъ нельзя лучше. Вѣчный президентъ камеры Созе ¹⁾ началъ своимъ безстрастнымъ голосомъ сенатскаго оберъ-секретаря: «Господа, мнѣ кажется, что камера симъ единодушнымъ...» и вдругъ несчастный Созе остановился, поблѣднѣлъ, какъ полотно...» Небольшая толпа вооруженныхъ людей и нѣсколько человекъ національной гвардіи взошли въ залу и въ трибуны. Ламартинъ предлагаетъ закрыть засѣданіе *изъ уваженія* къ національной репрезентации и къ присутствію *августѣйшей герцогини*. Герцогиня встала. Ничтожный Созе не умѣлъ или не смѣлъ ей предложить провожатыхъ; онъ обернулся къ народу и просилъ его выйти, основываясь на такихъ-то и такихъ-то параграфахъ узаконеній! Разумѣется, никто не пошелъ вонъ, толпа сѣла, ей хотѣлось посмотрѣть, чтó дѣлаютъ эти люди тутъ въ это время.

Мари предлагаетъ учредить временное правительство; основываясь на необходимости взять сильныя мѣры, онъ находитъ, что нѣтъ средства вѣрнѣе остановить растущее зло и обуздать безначаліе... Эту рѣчь, диктованную страхомъ, вмѣнили Мари въ достоинство. Не странно ли, что 24 февраля, когда кровь еще текла по улицамъ, благоразумные люди уже принимали мѣры противъ будущихъ побѣдителей и хотѣли составить правительство *не для нихъ, а противъ нихъ*. И кто же этого хотѣлъ? тѣ самые люди, которые воспользовались побѣдой народа для того, чтобы сѣсть на порожній престолъ,—какъ же имъ было не погубить революцію? Кремье поддержалъ предложеніе Мари. Тутъ явился Одилонъ Барро,—онъ слушать не хотѣлъ о временномъ правительствѣ и своей пухлой риторикой

¹⁾ Созе былъ одно изъ самыхъ комическихъ лицъ послѣдняго времени; пристрастный, безталанливый, онъ нарочно поддерживался министрами, какъ покорное орудіе. Созе былъ всегдашней жертвой «Шаривари», который его уморительно преслѣдовалъ, между прочимъ, замѣтивъ, что онъ дурно и нечисто одѣвается; «Шаривари» увѣрялъ, что однажды Пакье замѣтилъ что-то странное, когда Созе ему пожалъ руку—и что же? у Созе между пальцами было такъ много грязи, что начала расти спаржа и довольно большая.

старался подѣйствовать на камеру съ сентиментальной стороны. «Юльская корона, говоритъ онъ, покоится на головѣ ребенка и женщины»; это очень нравится центрамъ, они рукоплещуть. Герцогиня, снова сѣвшая, встаетъ, кланяется, и дитя кланяется. Герцогиня хочетъ говорить и Одилонъ Барро хочетъ говорить, остановить его невозможно—онъ совѣтуетъ сохранить тронъ. Ему кто-то кричитъ громкимъ голосомъ: «тронъ сломанъ и выброшенъ изъ оконъ Тюльери». Легитимистъ Ларошжакленъ иронически замѣчаетъ камерѣ, что разсуждать о регентствѣ—вовсе не ея дѣло, что вообще депутаты «теперь ничего не значатъ, совершенно ничего». Эта выходка взбѣсила центры,—они думали, что тронъ можетъ упасть, а они все же останутся. Созе сдѣлалъ замѣчаніе оратору,—это былъ его послѣдній *appel à l'ordre!*

Нѣсколько приверженцевъ орлеанскаго дома взошли со знаменами въ залу; они хотѣли или поддержать герцогиню, или спасти ее; появленіе ихъ ничего не сдѣлало; въ то же время взбѣжалъ на трибуну Ледрю Ролленъ; онъ съ своей стороны предлагалъ временное правленіе, но не назначенное камерой, а народомъ *par acclamation* и немедленное созваніе ковьента; его рѣчь была уже, дѣйствительно, сама революція на каедрѣ камеры депутатовъ. Послѣ Ледрю Ролл. явился Ламартинъ; онъ говорилъ въ томъ же смыслѣ, посыпая цвѣты своего краснорѣчія на герцогиню и робко оговариваясь, что онъ предлагаетъ временное правительство, какъ необходимое зло, что онъ этимъ ничего *не рѣшаетъ въ будущемъ...* Въ то самое время, какъ онъ расточалъ жемчужины своихъ словъ, передъ дверями камеры происходила тоже довольно краснорѣчивая сцена. Большая толпа вооруженнаго народа шла по набережной, передъ нею рядъ импровизированныхъ барабанщиковъ. Среди толпы ѣхала на лошади красивая, высокая женщина съ краснымъ знаменемъ, провозглашавшая направо и налево республику. Подошедши къ камерѣ, толпа остановилась; баталіонъ національной гвардіи стоялъ на *place de la Bourgogne*; барабаны умолкли. «Что они тамъ дѣлаютъ?» спросила женщина у національной гвардіи.—«Разсуждаютъ о регентствѣ».—«О регентствѣ? Кто теперь говорить о регентствѣ?»—замѣтила она съ негодованіемъ и потомъ, обращаясь къ своимъ сопутникамъ, сказала имъ: «Что вы остановились? Развѣ мы за тѣмъ пришли сюда, чтобъ слышать провозглашеніе регентства? Барабанщики, походите въ камеру! и *vive la République!*». «*Vive la République!*» подхватила толпа, баталіонъ не хотѣлъ вступить въ бой, и толпа взошла въ камеру, а женщина осталась верхомъ передъ дверями. На этотъ разъ это былъ въ самомъ дѣлѣ народъ баррикадъ; онъ наводнилъ трибуны и залу середъ рѣчи Ламартина. Взошедшіе люди могли сильно подѣйствовать на слабые нервы депутатовъ, всѣ были вооружены, запачканы пороховомъ, многіе въ крови, у нѣкоторыхъ въ видѣ трофеевъ были привязаны къ ружьямъ кивера убитыхъ муниципаловъ, энергія и возбужденныя битвой страсти одушевляли ихъ лица. Двое взошедши прицѣлились: одинъ въ президента, другой въ Немурскаго герцога, на всякій случай. Созе присѣлъ и спрятался за президентскимъ мѣстомъ,—его съ тѣхъ поръ никто не видалъ. Депутаты центра, испуганные, искали случая куда-нибудь спастись; они разсѣялись мало-по-малу и пропали безъ вѣсти; народъ кричалъ *vive*

la République» и стучалъ оружіемъ. Кто-то выстрѣлилъ въ портретъ Людовика-Филиппа. Герцогиню спасаютъ съ дѣтьми въ президентскій садъ, герцога немурскаго запираютъ въ какой-то канцеляріи, откуда онъ утромъ спасся, переодѣвшись въ солдата національной гвардіи. Все это, разумѣется, было излишне, ни по чему думать нельзя, чтобъ народъ ихъ перебилъ, — еслибъ онъ хотѣлъ, возможность была полная: герцогиня проходила по длинной Salle des pas perdus, наполненной вооруженнымъ народомъ; герцогъ шартрскій запутался въ платье матери и упалъ; мать, увлекаемая провожатыми, не могла остановиться; его подняли и снесли. Люди съ трибуны кричали Ламартину, чтобъ онъ провозгласилъ республику. Ламартинь медлилъ. «Messieurs, началъ онъ, «dites citoyens», кричали ему, прицѣливаясь изъ ружья... Его слова терялись въ шумѣ. Старикъ Дюпонъ de l'Еure подали записку именъ членовъ временнаго правительства, назначенныхъ «Националемъ» и «Реформой»; его свели на президентское мѣсто и заставили читать; народъ подтверждалъ рукоплесканіемъ. Такимъ страннымъ избраніемъ назначили: Дюпонъ de l'Еure, Ламартина, Ледрю Ролл., Араго, Гарнье-Пажеса, Кремье, Мари. Народъ требуетъ вести правительство въ Hôtel de ville; толпа ихъ подхватываетъ, давить, толкаетъ, ведетъ... ведетъ ихъ физически такъ, какъ и нравственно; толпа была выше ихъ и, по несчастью, ни они этого не поняли, ни она сама; почтенные члены временнаго правительства не смѣли, за исключеніемъ Ледрю Ролл., еще произнести слово «республика».

Почему имъ въ руки попала судьба народа, освободившагося за минуту до того? Знали ли эти люди что-нибудь о внутреннихъ [желаніяхъ, о нуждахъ этого народа, была ли у нихъ мысль новая, плодovitая? поняли, что ли, они современное зло общественнаго устройства, продумали ли они средства?...

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Они заняли мѣсто потому, что нашлись люди довольно дерзкіе, чтобъ выбирать не на баррикадахъ, а въ бюро журнала, чтобъ провозглашать ихъ имена не на мѣстѣ битвы, а въ побитой камерѣ, о которой такъ справедливо сказалъ Ларошжакленъ, что *она теперь ровно ничего*. Народу не дали опомниться, временное правительство явилось передъ нимъ совсѣмъ не кандидатами, а готовымъ правительствомъ; напечатанныя афиши, провозглашеніе именъ съ трибуны, имена Ледрю-Ролленъ и Ламартина, идущія впередъ,—все это было ловко расчитано. Какъ могло безъ этой обстановки взойти въ голову людямъ баррикадъ подавать голосъ за такія темныя посредственности, какъ Мари, Гарнье-Пажесъ? Извѣстность Кремье, какъ адвоката, и Араго, какъ ученаго, тоже не давала имъ никакихъ правъ. Ламартинь и Ледрю Ролленъ съ первой минуты представили два полюса революціи. Ледрю Ролленъ хотѣлъ водворить республику во что бы то ни стало, Ламартинь—обуздать революцію. Ледрю Ролленъ шелъ въ правительство для того, чтобъ толкать впередъ, Ламартинь—для того, чтобъ подставить ногу, чтобъ затормозить колеса. Чтò могло изъ этого выйти? Ламартинь былъ большое несчастье для революціи 24 февраля; онъ хотѣлъ какъ можно скорѣе *порядка*, покоя, выйти изъ революціи; зачѣмъ онъ तो-ропился? гдѣ, съ которой стороны была такая страшная опасность, я не

знаю. Въ этомъ проглянуло оскорбительное недовѣріе къ народу и буржуазное направленіе. Парижъ нѣсколько дней былъ во власти народа; раскройте всѣ журналы, какого бы цвѣта ни было, и найдите что-нибудь чудовищное, грабежъ, убійство, экспроприацію,—народъ себя вель удивительно. Толпа зажигателей и разбойниковъ, ломавшихъ мосты по желѣзнымъ дорогамъ около Парижа, составляетъ исключеніе, она явилась гораздо позже и кто же подавилъ ее, какъ ни тотъ же народъ.

За спасибо этому великому народу люди, нашедшіе себя достойными управлять имъ, расточая ему лесть, убаюкивая его, какъ льва, втайнѣ ковали ему оковы, замѣняя королевскій штемпель словомъ «республика» съ ея девизомъ, который съ нѣкотораго времени я принимаю за дерзкую иронию.

Hôtel de ville былъ уже занятъ народомъ, когда кортежъ, провожавшій членовъ временнаго правительства, выбранныхъ въ камерѣ, пришелъ къ воротамъ. Плотная толпа тѣснилась на площади; съ огромнымъ усиліемъ, задыхаясь и работая изъ всѣхъ силъ, взошли они на лѣстницу. Всѣ залы были заняты, ораторы стояли на столахъ, крики, возгласы, шумъ... Должно думать, что народъ, занявшій Hôtel de ville, имѣлъ свои имена и своихъ кандидатовъ, болѣе законно выбранныхъ, нежели кандидаты изъ Palais Bourbon. Другая часть сражавшихся и члены общества des droits de l'homme образовали, сверхъ того, управляющую коммуну въ префектурѣ полиціи подъ вліяніемъ Собріе. Сильное одушевленіе оживляло гражданъ, собравшихся въ Hôtel de ville, они твердо рѣшились устоять на томъ, чтобъ республика была провозглашена, чтобъ революція 24 февраля не выродилась въ такой же обманъ, какъ революція 1830. Пока они собирались и толковали о назначеніи правительства, до нихъ дошла вѣсть, что правительство выбрано; никто не спрашиваетъ, *къмѣ, когда*, спрашиваютъ имена, какъ будто въ самомъ дѣлѣ кто-нибудь имѣлъ право распоряжаться. Имена Ламартина и Ледрю Роллена вселяютъ довѣріе. Правительство, составленное изъ депутатовъ и буржуазіи, начинало подавлять зародышъ демократическаго избранія. Изъ этого ясно, что демократическая партія была настолько не зрѣла, побѣда для нея была такой неожиданностью, что она не умѣла порядкомъ сговориться; у ней не было ничего готоваго; съ другой стороны, народъ до такой степени привыкъ быть управляемъ другими, что онъ самъ искалъ правителей въ рядахъ парламентской и журнальной оппозиціи, не сообразивъ, что крайняя буржуазная оппозиція противъ Людовика-Филиппа становилась ретроградной и консервативной въ отношеніи къ работникамъ и пролетаріямъ. Народъ очень долго ждалъ новое правительство; наконецъ, члены его начали показываться въ залѣ Hôtel de ville. Первый явился Ледрю Ролленъ. Случай ли это или намѣренное дѣйствіе, но я увѣренъ, что появленію Ледрю Ролленъ обязаны остальные члены, что народъ ихъ принялъ. Ему кричали со всѣхъ сторонъ, знаетъ ли онъ, что его избраніе ничего не значитъ, хочетъ ли онъ провозгласить республику. Ледрю Ролленъ отвѣчалъ, что онъ не признаетъ никакого избранія, кромѣ избранія народомъ, что онъ съ восторгомъ провозгласитъ республику, что онъ всегда былъ республиканцемъ. Народъ покрывъ его слова рукоплесканіемъ, и онъ былъ при-

знанъ за члена временнаго правительства. Вслѣдъ затѣмъ явился Ламартинъ,—онъ началъ рѣчью длинной, цвѣтистой, разсказаль о томъ, что былъ въ камерѣ. Его выслушали, потомъ предложили ему тѣ же вопросы. Ламартинъ смѣшался, отвѣчалъ, что онъ не думаетъ, что теперь и тутъ можно обсудить такой важный вопросъ, какъ форма правленія, что слѣдуетъ обратиться ко всей націи... Онъ путался; люди, наполнившіе залу, встрѣтили его слова негодованіемъ и крикомъ «vive la République». Адвокатъ Лавиронъ отвѣчалъ смѣло и дерзко на рѣчь Ламартина.

«Какое воззваніе къ народу? развѣ мы для того подвергали грудь нашу пулямъ? Если возвратится король, мы воротимся на баррикады». Эта рѣчь удвоила крики народа, и Ламартинъ рѣшился, оговариваясь и извиняясь, провозгласить республику. Его признали членомъ временнаго правительства, потомъ Луи Блана и Флокона; Кремье не являлся къ народу, чтобы подтвердить свое избраніе, остальные тоже какъ-то проскользнули. Чтобы потѣшить работниковъ, временное правительство предложило Альбера, работника, оставшагося на баррикадахъ и извѣстнаго своимъ чистымъ, преданнымъ патриотизмомъ.

Прежде появленія временнаго правительства, въ Hôtel de ville занялъ мѣсто мэра Гарнье-Пажесъ. Онъ, не зная еще, будетъ ли регентство или республика, раздавалъ уже мѣста и назначенія приверженцамъ Марраста. Разсчетъ былъ опять вѣренъ: не дать мѣсто тому или другому не трудно, но взять назадъ мѣсто, уже данное, вовсе не такъ легко. «Реформа», съ своей стороны, отправила Этьенна Араго завоевывать себѣ почту. Коссидьеръ пришелъ пѣшкомъ съ своимъ ружьемъ на плечѣ въ префектуру, взошелъ въ кабинетъ, изъ котораго утромъ бѣжалъ Делессеръ, поставилъ свое ружье въ уголъ и объявилъ, что онъ назначается именемъ французскаго народа префектомъ полиціи. Секретарь ему поклонился, — и дѣло пошло своимъ чередомъ.

Несмотря на признаніе временнаго правительства, на него многіе смотрѣли съ подозрительностью и неудовольствіемъ, требовали, какъ можно скорѣе, офиціальнаго провозглашенія республики. Наконецъ, явился Ламартинъ съ прокламаціей въ рукѣ, съ той знаменитой прокламаціей «Un gouvernement retrograde et oligarchique vient d'être renversé», которая такъ потрясла насъ и въ которой было сказано, что временное правительство желаетъ республику. Но едва Ламартинъ успѣлъ успокоить однихъ, явились новыя толпы, которыхъ надобно было тоже успокоить; толпы эти наполнили, наконецъ, и ту залу, гдѣ собралось временное правленіе. Оно перешло въ другой этажъ и заперлось въ небольшомъ кабинетѣ. Въ этой маленькой комнатѣ они написали первые декреты республики и первыя прокламаціи, — чуть ли не лучшее изъ всего, что они сдѣлали. Какой-то блузникъ принесъ имъ ведро воды, солдатскій хлѣбъ и разбитую сахарницу вмѣсто стакана... Они занимались всю ночь; кто изнемогалъ отъ усталости, тотъ ложился отдохнуть на полъ. Начало было недурно и чисто демократическое, особенно, если вспомнить, какъ народъ въ это время пировалъ въ Тюльери и валялся на бархатныхъ диванахъ Людовика-Филиппа.

Пока «временное правительство» *«двигало мѣръ»*, какъ выразился

Ламартинъ, который принялъ на себя монополію фразъ для всѣхъ событій революціи, вѣсть о провозглашеніи республики разнеслась по всему Парижу и его окрестностямъ. Городъ представлялъ къ ночи удивительное зрѣлище — необыкновенная жизнь и необыкновенная смерть: экипажи спрятались, да и проѣзду еще не было, баррикады еще стояли, лавки были вездѣ заперты; буржуазія, испуганная словомъ «республика» и неизвѣстностью, спряталась, заперлась; они прислушивались къ каждому крику, къ каждой пѣснѣ, ожидая грабежа, кое-гдѣ стояли блузники съ ружьями, составляя нѣчто въ родѣ городской стражи... И вдругъ являлась веселая ватага народа, раздавалась марсельеза, народъ предавался дѣтской радости послѣ долгой и тяжелой неволи, онъ чувствовалъ себя господиномъ и тратилъ драгоценныя минуты, не замѣчая, какъ его безграничная власть утекала въ другія руки... Сцены ликующаго народа и его шалостей повторялись вездѣ въ разныхъ формахъ. Тамъ несли пушечный лафетъ, на которомъ сидѣла вереница молодыхъ женщинъ со знаменемъ... Тамъ скакали лошади безъ сѣдокъ,—народъ отворилъ двери королевскихъ конюшенъ и выпустилъ лошадей на волю. Вездѣ водружали красное знамя, на Карузельской площади жгли мебель Людовика-Филиппа. Такъ прошла первая ночь. На разсвѣтѣ испуганные буржуа высовывали голову изъ оконъ и, не слыша ни выстрѣловъ, ни шума, благословляли небо: собственность осталась неприкосновенной. На другой день, 25 числа, баррикады еще были охраняемы, даже къ нѣкоторымъ подвезли пушки; сильнѣйшіе бойцы были печальны и недовольны, толковали объ измѣнѣ. Коссидьеръ и Собріе въ первой прокламаціи просили народъ не покидать оружія. Толпа рѣшительныхъ людей съ ружьями и пиками окружала Hôtel de ville, часть ихъ вошла въ залы, Ламартинъ снова показался; на него смотрѣли мрачно. Онъ сталъ говорить... Его выслушали и потребовали замѣны трехцвѣтнаго знамени краснымъ. Ламартинъ не соглашался; онъ говорилъ, что никогда не приметъ краснаго знамени, что трехцвѣтное знамя—знамя прошлыхъ побѣдъ, что оно обошло кругъ свѣта, *а красное обошло только кругъ Марсова поля...* Разъяренный народъ принялъ съ воплемъ негодованія его слова; молодой человѣкъ прицѣлился въ него изъ пистолета, нѣсколько человѣкъ ринулись съ обнаженными саблями. Онъ побѣдилъ хладнокровіемъ и личною храбростью. Сама толпа не была единодушна; часть ея, подбитая буржуазіей, рукоплескала Ламартину и кричала: «да здравствуетъ трехцвѣтное знамя!» Вечеромъ 24 февраля явились на нѣсколько баррикадъ люди съ корзинками съѣстныхъ припасовъ и винъ. Они, угощая работниковъ и братаясь съ ними, уговаривали ихъ положить оружіе, оставить баррикады и, главное—отбросить *красное знамя*. Многіе, напившись, согласились. Кто эти хлѣбосольные друзья? Но настоящіе республиканцы не поддались такъ скоро, они еще два дня отстаивали свое знамя, отъ Hôtel de ville они разошлись недовольные и угрожающіе. Чтобъ выиграть время и отдѣлаться отъ этой требовательной и упрямой части народа, временное правительство внушило имъ, что венсенская крѣпость еще не взята, что ее необходимо взять, и храбрые люди эти, не отдохавшіе, обманутые, пошли подъ предводительствомъ Флокона брать крѣпость, которая могла удержаться противъ союз-

ныхъ войскъ! *По счастью*, гарнизонъ не очень упорствовалъ и сдалъ крѣпость!

Исторія трехцвѣтнаго знамени чрезвычайно важна. Ламартинъ, подвергая жизнь свою опасности, отстоялъ его, стало быть, онъ придавалъ этому знамени огромное значеніе. Знамя народа, знамя, водруженное подъ пулями, знамя демократій, республики грядущей было отринуто. Знамя прошедшей республики, перешедшей въ имперію, знамя Наполеона, знамя обидное для всей Европы, знамя, обгащенное кровью всѣхъ народовъ, знамя семнадцать лѣтъ осѣнявшее Людовика-Филиппа, изъ-подъ котораго стрѣляли муниципалы, знамя буржуазіи было принято хоругвью новой республики. Новая республика объявляла себя буржуазной, чисто политической, она не разрывалась съ прошедшимъ, а въ такомъ случаѣ она должна была встрѣтиться съ республикой будущей, соціальной, демократической, *красной* и встрѣтиться злѣе, нежели монархія, потому что между монархіей и социализмомъ именно стояла республика политическая, которая воцарялась съ ниспроверженіемъ Людовика-Филиппа.

Какъ только буржуазія узнала о трехцвѣтномъ знамени, лавки открылись, у нея отлегло на сердцѣ. За уступку она, съ своей стороны, дѣлала уступку: она покорилась республикѣ, она рѣшила ее принять за ея умѣренность. Лавки открылись, движеніе въ городѣ возстанавливалось. Съ замѣны краснаго знамени начинается реакція, робкая и прячущаяся сначала, она поднимаетъ голову 17 апрѣля, она бросаетъ маску съ открытія національнаго собранія и становится наглою, нападающей, дерзкой послѣ 15 мая. Гдѣ она остановится?

Республика досталась легко, оттого что она была на словахъ. Кромѣ Ледрю Роллена я не вижу ничего революціоннаго, ничего республиканскаго во временномъ правленіи. Луи Блана и Альбера оттерли, пользы одинъ не сдѣлалъ, другой не могъ сдѣлать. Луи Бланъ — дилетантъ социализма, онъ принялъ добрую волю за знаніе и общія мѣста за новую политическую экономію. Чтò сказать объ остальныхъ? Араго похоронилъ свою славу во временномъ правительствѣ; этотъ либераль, доктринеръ во вкусѣ *Гизо двадцатыхъ годовъ*, онъ оказался однимъ изъ самыхъ злыхъ реакціонеровъ, изъ самыхъ ограниченныхъ представителей буржуазіи. Онъ нашелъ себѣ товарищей и помощниковъ въ бездушномъ и безталанномъ адвокатѣ Мари, въ Гарнье-Пажесѣ, который имѣлъ только одно достоинство, общее, впрочемъ, съ Кавеньякомъ, т.-е. то, что онъ братъ своего брата. Гарнье-Пажесъ, какъ министръ финансовъ, сдѣлалъ самую грубую, самую пошлую ошибку, не одинъ легитимистъ не могъ бы придумать средства болѣе вѣрнаго, чтобъ заставить ненавидѣть республику, какъ налогъ надбавочныхъ сорока пяти сантимовъ. Душою этой части временнаго правительства былъ не Араго, а Маррастъ. Маррастъ и умнѣе и ловчѣе другихъ. Человѣкъ буржуазной республики, *grand seigneur* изъ редакторовъ газеты, интриганъ и гоуѣ въ высшей степени, Маррастъ внесъ съ собою во временное правленіе республики закулисную политику и духъ правленія Людовика-Филиппа, тщательно переложенные на новые нравы. Маррастъ умѣетъ прятаться, умѣетъ дѣйствовать изъ-за угла, наружно онъ не такъ оскорбителенъ, какъ какой-ни-

будь Мари, хотя онъ въ десять разъ вреднѣе. Это человѣкъ *des petites procédés, des coups de théâtre*, это человѣкъ, наконецъ, который не остановится ни на чемъ, лишь бы было полезно его надменному самолюбію. Остаются Кремье и Флоконъ. Флоконъ—честный республиканецъ, человѣкъ недалней и ужь никакъ негодный въ средоточіе правленія. Кремье—умный адвокатъ, его рѣчи въ первые дни республики прекрасны, онъ предложилъ отмѣну смертной казни за политическія преступленія, уничтоженіе тюремнаго заключенія за долги, уничтоженіе присяги. Вообще Кремье былъ дѣльный министръ, хотя и на его душѣ лежитъ страшный грѣхъ: онъ не понялъ необходимость распустить всѣхъ главныхъ судей, чтобъ замѣнить ихъ людьми республиканскихъ мнѣній. Въ отношеніи къ мнѣніямъ Кремье — буржуа, но буржуа образованный.

И вотъ эта-то кучка людей должна была водворить республику, имѣя главой Ламартина, этого Манилова французской революціи... Чему удивляться, что все монархическое осталось, кромѣ названья, точно будто король отлучился на время; временное правительство сначала пошало, а потомъ и спохватилось. Какое же, впрочемъ, другое правленіе могла дать буржуазія?

Но зачѣмъ народъ допустилъ это правленіе? Можетъ быть, это самый печальный, самый трагическій изъ всѣхъ вопросовъ, возникающихъ по поводу революціи 24 февраля. Народъ не имѣлъ довѣрія къ себѣ, народъ не былъ готовъ, онъ ждалъ правленіе сверху, онъ искалъ людей между депутатами и журналистами, между литературными знаменитостями, вмѣсто того, чтобъ искать его въ своей здоровой и мощной средѣ. Еслибъ республика не была провозглашена, я считалъ бы ее невозможной во Франціи, но тутъ разсужденіе должно покориться факту. Республика *fait accompli*, по крайней мѣрѣ на словахъ... Можетъ, *слово* приведетъ *дѣло*, будемте надѣяться!

Парижъ, 20 іюня 1848.

Письмо третье.

28 августа 1848.

Больше двухъ мѣсяцевъ прошло послѣ того, какъ я писалъ мое второе письмо изъ Парижа. Я не могу продолжать начатаго разсказа такъ, какъ я его началъ, — рѣки крови протекли между тѣмъ письмомъ и этимъ. Вещи, которыя я никогда не считалъ возможными въ Парижѣ, даже въ минуты ожесточенной досады и самага чернаго пессимизма, сдѣлались ежедневны, не удивительны. Глубоко оскорбленный во всѣхъ человѣческихъ симпатіяхъ, я остался сложа руки *досматривать преступленіе état de siège*, депортаціи безъ суда, національнаго собранія, котораго каждый вотъ — злодѣяніе. Вѣроятно, чѣмъ-нибудь да окончится это тяжелое состояніе, кто-нибудь явится воспользоваться учрежденнымъ *порядкомъ*: Генрихъ V или Маррасть, или Тьеръ или этотъ несчастный солдатъ, который добродушно пошелъ изъ воиновъ въ палачи и добросовѣстно казнить людей, журналы, законы, учрежденія...

Усталый народъ приметъ съ рукоплесканіемъ кого бы то ни было! ему хочется немножко покоя, чтобы залѣчить раны, чтобы оплакать жертвы и заработать кусокъ хлѣба для семьи. Изъ моей груди онъ не услышитъ упрека. Бѣдный, героическій народъ! Въ какія руки попали судьбы твои...

Если-бъ вы видѣли, какой онъ сталъ грустный, печальный послѣ іюньскихъ дней. Иногда страшно становится ходить по улицамъ: тамъ, гдѣ кипѣла жизнь, гдѣ громкая марсельеза раздавалась съ утра до ночи, гдѣ вѣяло старымъ воздухомъ девяностыхъ годовъ, тамъ тишина,—разносчикъ газетъ не смѣетъ кричать, блѣдный блузникъ сидитъ передъ дверью пригорюнившись, женщина въ слезахъ возлѣ него, они разговариваютъ въ полслуха и осматриваются. Къ ночи все исчезаетъ, улица пуста, и мрачный патруль подозрительно и мѣрно обходитъ свой кварталъ съ заряженными ружьями и съ дерзкимъ вызывающимъ видомъ... Гонимые работники отходятъ отъ неравнаго боя, уступаютъ. Блуза почти исчезла на большихъ улицахъ, національная гвардія пыталась ее не пускать въ Тюльерійскій садъ, какъ было при Людовикѣ-Филиппѣ. Пораженный народъ терпитъ, потому что никто не знаетъ мѣры, до которой идетъ беззаконіе, доселѣ оно ни передъ чѣмъ не останавливалось,—но въ душѣ его собирается мрачная горечь и такое желаніе куда бы то ни было выйти изъ этого положенія, что онъ проситъ въ Алжиръ, а знаете ли вы, что нѣтъ народа, который имѣлъ больше отвращенія отъ переселенія, какъ французы.

Никогда терроръ 93 года не доходилъ до того, до чего дошелъ терроръ теперъ. Не говоря уже о томъ, что характеръ, обстановка, причины, — все разное, но я держусь за матеріальный фактъ насилія и мѣру его. Много головъ пало на гильотинѣ, много невинныхъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія,—мы знаемъ ихъ поименно. А кого разстрѣливали цѣлую ночь на Карузельской площади да на Марсовомъ полѣ? Германъ, Фукье-Тенвиль намъ извѣстны. А этихъ кто судилъ, сколько ихъ было осуждено, въ чемъ состояла необходимость? Это происходило не на мѣстѣ битвы, — тамъ на многое, скрѣпя сердце, надобно смотрѣть сквозь пальцы. Зачѣмъ эта тайна? Зачѣмъ украли у народа право оплакивать своихъ мучениковъ? Развѣ комитетъ общественнаго спасенія скрывалъ свои мѣры? Самая рѣзня въ сентябрьскіе дни дѣлалась бѣлымъ днемъ открыто, и недавно умершій Сержанъ увѣряетъ, что списки разсматривались довольно вѣдательно; извѣстное происшествіе съ герцогиней Ламбаль подтверждаетъ это. Ну, а въ этихъ глухихъ казняхъ кто разсматривалъ да и кто составлялъ списки? Войска захватили въ плѣнъ тысячь шесть, стало быть, шесть тысячь семействъ должны ждать депортацію, чтобы узнать, разстрѣляны или нѣтъ ихъ братъ, сынъ, отецъ... или ходить изъ крѣпости въ крѣпость искать, узнавать. Нѣтъ, почтенные мѣщане, полно говорить о *красной* республикѣ; когда она лила кровь, она вѣрила въ невозможность поступать иначе, она обрекала себя на это, а вы только мстили...

Терроръ 93 года былъ величествененъ въ своей мрачной безпощадности: вся Европа ломилась во Францію наказать революцію; отечество, въ самомъ дѣлѣ, было въ опасности. Конвентъ завѣсилъ на время статую свободы и поставилъ гильотину стражей. Европа съ ужасомъ смотрѣла на этотъ

вулканъ и отступала передъ дикой, всемогущей энергіей; терроръ хотѣлъ спасти Францію и вмѣсто этого побѣдилъ Европу. Когда миновало его время, тѣ, которые обрекали себя на страшную долю судей, положили, въ свою очередь, голову на плаху: ихъ надобно было казнить, это своего рода *lex talionis*, невинныя головы ихъ пали, и остановленный топоръ заржавѣлъ.

Теперь намъ всякую недѣлю префектъ полиціи говоритъ, что Франція цвѣтетъ, что торговля снова идетъ впередъ, что довѣренность возродилась... Кого же спасаютъ эти эписты съ своими алжирцами? Со стороны Европы бояться нечего: послѣ юньскихъ дней цари наперерывъ торопятся признать новое правительство; лавочки собранія спасаютъ монархическій принципъ, собственность, основанную на монополіи, аристократію капитала, *порядокъ*.

Какой страшный урокъ;—этотъ трехмѣсячный *état de siège*. Вотъ вамъ Франція, такъ любящая свободу, эта страна пропаганды, революціи; она всего лишена, въ самомъ сердцѣ своей жизни—въ Парижѣ; она лишена права собираться въ клубахъ,—коварный законъ, позволяя ихъ, ихъ убилъ; она лишена свободы книгопечатанія, журналы запрещаютъ безъ суда, ея дѣтей отправляютъ сотнями въ депортацію, не допрашивая; другихъ томятъ сотнями въ тюрьмахъ—и все это, какъ говорятъ, *pour le salut public*... Если это правда, то чортъ ли, въ самомъ дѣлѣ, въ странѣ, которую надобно спасти такими средствами.

Она все выносить, потому что тутъ замѣшанъ карманъ, тутъ замѣшанъ изнуренный работникъ, котораго надобно задушить въ пользу буржуа,— вотъ откуда ожесточеніе, вотъ откуда шли выстрѣлы, вотъ отчего шея мѣщанъ склонилась подъ казарменное ярмо осаднаго положенія, вотъ отчего они потеряли послѣдній стыдъ и, не боясь исторіи, хотятъ вотировать конституцію въ *état de siège*, хотятъ выбирать представителей подъ пушками, возлѣ которыхъ держатъ зажженные фитили. Само собою разумѣется, что теперешнее положеніе не останется,—оно слишкомъ грубо, такое судорожное отклоненіе отъ нормальнаго состоянія не можетъ продолжаться. Но опытъ этотъ, его возможность, память о немъ останутся и гдѣ обезпеченіе, что въ будущемъ при первомъ столкновеніи тѣхъ же началъ не возобновятся ужасы настоящаго, удесятеренные, потому что это—только начало войны собственности и привилегіи противъ социализма. Можетъ, Франція, можетъ, Европа погибнуть въ этой борьбѣ,—соціальный элементъ что-то слишкомъ широкъ для обветшалыхъ формъ, отъ которыхъ Европа не хочетъ отступиться...

Вопросъ, невольно тѣснящійся въ голову всякій разъ, какъ думаешь обо всемъ, что дѣлается здѣсь: какъ это случилось такъ быстро? какъ черезъ четыре мѣсяца послѣ революціи 24 февраля ничего не осталось отъ нея, кромѣ имя республики и холодной ариѳметической *suffrage universel*? Вопросъ этотъ естественно отводитъ насъ къ самой революціи, къ первымъ днямъ республики, на которыхъ мы остановились. Революція 24 февраля сдѣлалась слишкомъ нечаянно. Республика была какимъ-то сюрпризомъ для всѣхъ: для тѣхъ, которые пламенно желали ея, и для тѣхъ, которые еще пламеннѣе ее отталкивали. «N'est-ce pas un rêve?» спросилъ тронутый Кремье, послѣ прекрасной рѣчи, сказанной имъ адвокатамъ въ первые дни

республики. Да, гражданинъ министръ, да, это былъ сонъ,—въ томъ-то все и дѣло; сонъ великій, память о которомъ проводитъ насъ до гроба, но все же сонъ. Теперь мы проснулись и ужъ вы не спросите, сонъ это или нѣтъ,—мы сладко спали, но проснулись, какъ послѣ опіума: грудь и голова разбиты, болятъ, глубокое отвращеніе къ жизни и къ людямъ наполняетъ душу. Знаете ли, на что похожи эти три мѣсяца республики? Точно будто король на время уѣхалъ и бразды правленія безъ него ослабились; но вотъ передъ его возвращеніемъ являются снова тѣ же люди, которые были при немъ, и начинаютъ процессъ возмущенію, своеволю февральскихъ дней, точно такъ, какъ начинали всѣ остальные политическіе процессы. Люди, замѣшанные въ дѣло, перепугались,—они забыли, что короля нѣтъ, они, впрочемъ, не понимали никогда ясно его отсутствіе, они благоговѣнно оставили запертыми его дворцы, его сады, его отдѣльные парки—для чего, для кого? Такъ, по тому чувству, по которому слуга, отпущенный на волю, все-таки, считаетъ бывшаго господина барининомъ.

Вы помните библейское преданіе о томъ, что въ обѣтованную страну не могъ никто взойти, испытавшій египетское рабство, даже для Моисея не было исключенія—для новаго вина нужны мѣхи новые. Всѣ люди, вышедшіе на первый планъ послѣ 24 февраля, были *попорчены* семнадцатю предшествовавшими годами, они образовались въ политику оппозиціи, въ парламентскіе происки, въ expedients и не могли быть ни просты, ни откровенны. Я собственно не хочу обвинять лица за то, что они были ниже обстоятельствъ: они были подъ фатумомъ, они вышли изъ негодной среды, они воспитывались на гнилой почвѣ. Хвала имъ за то, что они сколько-нибудь отрѣшились отъ нея; люди, кромѣ исключительныхъ гениевъ, служатъ органами, проводниками тѣхъ началъ, которая уже есть.

Общая причина—демоническое начало европейской цивилизаціи, одна, это ея исключительность, ея аристократизмъ. Европейская жизнь такъ сложилась; что она все сдѣлала для меньшинства, и оно, блестящимъ образомъ развитое, перешагнуло ея собственную жизнь въ то самое время, какъ большинство не токмо не двигалось впередъ, но скорѣе дичало въ безвыходной борьбѣ съ нуждой. Развитая часть народа, не имѣя истинныхъ корней въ народѣ, отрѣшалась отъ него болѣе и болѣе и устремляла всѣ силы на отвлеченныя теоріи построенія народной жизни, не совпадавшей, собственно, съ дѣйствительной жизнью. Революціонеры XVIII столѣтія изучали народъ въ римской и греческой исторіи, въ сочиненіяхъ Руссо. Революціонеры 48 года воспитались на двухъ искусственныхъ и нездоровыхъ почвахъ—на парламентскихъ преніяхъ и на литературѣ рестевраціи. Въ этомъ—общая причина зла. Но въ историческомъ разборѣ нельзя останавливаться на однѣхъ общихъ причинахъ; это поведетъ къ старому нѣмецкому фатализму; въ исторіи сущность дѣла всегда необходима, но *образъ* развитія, modus проявленія зависитъ отъ множества второстепенныхъ причинъ и, между прочимъ, на первомъ планѣ отъ личностей. Отклонить ихъ отвѣтственность, покрыть ихъ широкой амнистіей исторической необходимости, это значитъ лишить исторію самой человѣческой, самой живой, драматической стороны.

Имѣя душевно жаль пдходить съ холоднымъ разборомъ, съ критикой

къ этому времени, которое дало намъ столько восторговъ, которое увлекло насъ всѣхъ и которое такъ лучезарно и свѣтло является въ сравненіи съ безобразнымъ настоящимъ, съ этой незаконной диктатурой, начавшейся по горло въ крови и продолжающейся по горло въ позорѣ. Но именно эта-то кровь, этотъ-то позоръ и вызываетъ беспощадную критику. Я перечиталъ *второе письмо*, я не хотѣлъ въ немъ ничего переменить, поправилъ только нѣсколько ошибокъ и прибавилъ нѣсколько фактовъ. Но я чувствую, что теперь неловко, странно продолжать въ томъ же духѣ. Сколько золота оказалось мишуурою съ тѣхъ поръ; мы не можемъ теперь отказаться отъ знанія, отъ обнаружившихся послѣдствій, отъ раскрывшихся характеровъ; намъ нельзя отречься отъ настоящаго, сквозь которое это недавно прошедшее представляется инымъ; временное правительство, разсматриваемое сквозь штыки *état de siège*, не находитъ отпущенія въ душѣ нашей. Реакція началась не съ 23 іюня, а съ 25 февраля, она вызвала 15 мая, каждый день съ начала апрѣля уносилъ что-нибудь республиканское, каждый день возвращалъ что-нибудь монархическое. Мы сердились, досадовали, но все же была надежда, смягчавшая укоръ, была довольно ровная борьба и, ежели подчасъ мы предавались отчаянію, упованье побѣды просвѣчивало иногда и сквозь него. Теперь ночь, ничего не просвѣчиваетъ. Откуда эта ночь, кто ее привелъ, кто не удержалъ? Всякое снисхожденіе будетъ слабостью въ обсуживаніи времени, предшествовавшего іюньскимъ днямъ.

Ко всему прочему присовокупились страшные обвинители для временнаго правительства и лицъ, окружавшихъ его, это—три тома слѣдственной комиссіи. Въ этомъ болотѣ грязи и гадости потонули децемвиры, одно имя спаслось, всплыло — имя Ледрю Роллена ¹⁾. Посмотрите на этихъ гордыхъ республиканцевъ, такъ смѣло вышедшихъ изъ рядовъ гражданъ, чтобъ сдѣлаться правителями, посмотрите, какъ они жалко торопятся дѣлать доносы въ свою очистку или во вредъ врагу. Частные разговоры, дружескія изліянія, *жесты*... ничего не забыто. О, иронія, иронія!. Ретроградная камера, знавшая, что ее презираютъ, хотѣла отмстить республиканцамъ и съ злой насмѣшкой назначила председателемъ слѣдственной комиссіи Одилона Барро, и этотъ тупорожденный либераль времени реставраціи, обойденный, выброшенный революціей 24 февраля, важно развалясь въ президентскихъ креслахъ, позвалъ къ отвѣту Ламартина, и Ламартинъ, какъ ученикъ, пойманный дядькой, началъ фразой изъ хрестоматіи и отвѣчалъ пунктъ въ пунктъ, признался, какъ у нихъ во временномъ правительствѣ не было ладу и проч. Я не говорю о другихъ членахъ, — тѣ, кромѣ Ледрю Роллена, явились съ доносами, со сплетнями. И никто не смѣлъ сказать, что они не принимаютъ такого слѣдователя, что это — открытый врагъ республики, и никто не пожалѣлъ великой революціи 24 февраля. Въмѣсто того, чтобы ужаснуться посягательству судить ее, они ее притащили передъ инквизиціей Одилона Барро, они позволили грязному рту Бошара прочесть ей обвинительный вердиктъ. Господа, это ужасно, это не имѣетъ названія!

Такіе люди хотѣли стоять во главѣ республики, и въ нихъ не наш-

¹⁾ Допросовъ Альбера не было напечатано.

лось настолько благородства, чтобъ не наушничать, чтобъ не губить доносимами обвиняемыхъ, и въ нихъ не нашлось твердости, чтобъ высказать за то, что ихъ осмѣлились спрашивать, истину,—истину, можетъ быть, опасную; въ нихъ не нашлось ни въ комъ состраданія сказать слово въ пользу десяти тысячъ жертвъ и половины ихъ вины отбросить на собраніе. Куда! точно въ дѣлѣ Роганова ожерелья: всѣ знали, что обвиняемая—королева, и никто не смѣлъ назвать ее, такъ и теперь, никто не смѣлъ заикнуться о причинахъ 15 мая и 23 іюня; многіе желали разогнать собраніе, желали побѣды инсургентамъ, но они были побѣждены, и никто не остановился за тѣмъ, чтобъ бросить въ тюрьму этихъ несчастныхъ свое ругательское слово. Да, какъ же въ этихъ людяхъ не нашлось хоть чувства собственного достоинства, уваженія къ себѣ, чтобъ не отвѣчать на дерзкіе вопросы, на вопросы, предлагаемые врагомъ революціи? Слабые, они защищаются повиновеніемъ закону. Да кто же облекъ народное собраніе такимъ самодержавіемъ, кто далъ ему право безъ суда осуждать, назначать инквизиціи и дѣлать слѣдствія надъ революціей? А если это законъ, такъ надобно его нарушить. Они молчали на все; испуганные, они допустили, они не протестовали, — ступайте же, трусы, оправдывайтесь передъ Одилономъ Барро, можетъ, онъ и собраніе васъ помилуютъ.

Я останавливаюсь, — разскажъ объ іюньскихъ дняхъ впереди, и рапортъ слѣдственной комиссіи заслуживаетъ не нѣсколькихъ строкъ. Я хотѣлъ этимъ вступленіемъ показать одно — невозможность отклонить настоящее, вспоминая о февральской революціи. Это былъ бы подлогъ. Перейдемъ теперь къ тому времени, на которомъ мы остановились, — дѣлать нечего.

Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria

Итакъ, республика была провозглашена робко, нехотя, со стороны временнаго правительства; оно уступило народу, вооруженному и готовому на бой. Самый актъ провозглашенія былъ страненъ и носилъ въ себѣ что-то, напоминающее ту дипломатію, которая должна была исчезнуть въ республикѣ и которая теперь царитъ во всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ дѣлахъ. «Временное правительство,—сказано въ первой прокламаціи,—*желаетъ* республику, если народъ французскій ее утвердитъ». Какая осторожность и неувѣренность! Говорить ли кто-нибудь этимъ языкомъ черезъ часъ послѣ битвы, послѣ побѣды? Въ Hôtel de ville прежде появленія временнаго правительства была составлена народомъ слѣдующая прокламація: «Мы, воины баррикады, объявляемъ всей Франціи, что мы нашей кровью завоевали ей республику, которую торжественно провозглашаемъ теперь въ Hôtel de ville»... ¹⁾ Когда Ламартинъ явился и сперва на словахъ сказалъ объ утвержденіи всѣмъ народомъ республики, ему изъ толпы кричали, что это—вздоръ, что Парижъ — передовая фланга Франціи и что, если они подставили свою

¹⁾ Брошюра Лавирона.

грудь пулямъ, то это вовсе не для того, чтобъ весь плодъ побѣды отдать на обсуживаніе грубаго населенія, на которое будутъ дѣйствовать интриганы. Тѣмъ не менѣе первая прокламація была такова. Могла ли она успокоить умы? Черезъ день является новая прокламація; въ ней объявляется, что временное правительство *«есть республиканское»*; вслѣдъ за нею— третья прокламація, и тамъ въ первый разъ отъ правительства сказано «*королевская власть уничтожается, республика провозглашена*» — о народномъ согласіи ни слова.

Франція не была готова для республики, по крайней мѣрѣ, для республики демократической, но временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Парижъ, могло, дѣйствительно, стать во главу движенія и вести народъ, воспитывая его учрежденіями, а не подвергая кровавымъ потрясеніямъ, которыми вырабатывается сильная, хотя и незрѣлая сущность французскаго народа. Для этого надобно было имѣть вѣру и энергію комитета общественнаго спасенія и, замѣтите, только вѣру его и его преданность, обстоятельства были таковы, что временному правительству вовсе не нужно было обречь себя на строгую карающую долю, которая окружила кровавымъ нимбомъ диктатуру 93 года. По несчастію, во временномъ правительствѣ былъ одинъ революціонеръ—Ледрю Ролленъ. Я увѣренъ въ добросовѣстномъ желаніи добра почти всѣхъ членовъ, особенно въ первые дни, въ которые надобно было быть уродомъ или извергомъ, чтобъ не раздѣлить общаго увлеченія; болѣе,—я увѣренъ, что, кромѣ Ледрю Роллена, Луи Бланъ, Альберъ и Флоконъ были въ глубинѣ души истинные республиканцы, но у нихъ недоставало этого нерва революціоннаго, который навелъ Ледрю Роллена на посылку комиссаровъ, на бюллетени, на циркуляры; въ немъ былъ этотъ безпокойной духъ, подрывающій старое, ломающій безъ оглядки, дерзкій въ отношеніи къ прошедшему, словомъ, тотъ духъ, который заслужилъ ему ненависть всей буржуазіи. Луи Бланъ радикальнѣе Ледрю Роллена, но онъ, удалившись въ Люксембургъ, сдѣлался проповѣдникомъ социализма, сильно дѣйствовалъ на работниковъ, но серьезнаго политическаго дѣйствія не имѣлъ. вмѣсто помощи Ледрю Ролленъ встрѣтилъ противодѣйствіе въ товарищахъ; можетъ, онъ и сладилъ бы съ ними, но въ ихъ главѣ стоялъ авторитетъ,—я говорю о Ламартинѣ. Характеръ Ламартина по преимуществу женскій, примиряющій, бѣгущей крайностей; онъ, между прочимъ, потому стремился примирить, соединить противоположныя направленія, что онъ ни съ чѣмъ не справился внутри себя; въ его умѣ, въ его рѣчахъ отсутствіе всего рѣзкаго, опредѣленнаго, онъ былъ рефлектеръ въ поэзии и сдѣлался рефлекторомъ въ политикѣ; тамъ и тутъ благородный и чувствительный, онъ нравился, какъ личность, и былъ совершенно негоденъ, какъ дѣятель. Ламартинъ развился подъ страшными вліяніями и остался вѣренъ эпохѣ своего цвѣтенія. Тогда усталая Франція измѣнила собственному генію своему, ясному въ отвлеченіяхъ, опредѣленному во всемъ, французская мысль и французская фраза приняли что-то туманное, не вполне высказываемое, стремящееся «все обнять, ничего не отвергая»; таинственная пустота Шатобріана и спутанный эклектизмъ Кузена могутъ служить представителями того времени, которое разрѣшилось въ гаерскую поэзію Гюго и

его школы. Въ Ламартинѣ есть именно нѣчто шатобриановское и нѣчто эклектическое; онъ не догадывался, что это колебаніе между крайностей, эта высшая, обнимающая справедливость безъ внутренняго начала, безъ установившейся мысли представляютъ или высшее бездушіе (какъ вся философія Кузена) или эгоистическій эпикуреизмъ, распущенность и *juste milieu*; Ламартинъ, какъ поэтъ, находилъ въ душѣ звуки и бѣлымъ лиліямъ и служителямъ алтаря, и Наполеону и... и ничему не предавался въ самомъ дѣлѣ; Ламартинъ-диктаторъ полюбилъ республику, народъ; онъ на этой высотѣ хотѣлъ наслаждаться общимъ миромъ, находилъ сочувствіе съ голоднымъ работникомъ, улыбался роскоши богатаго; имѣлъ слезу для герцогини Орлеанской, рыцарское великодушіе къ политическимъ врагамъ; онъ съ однимъ не могъ сочувствовать—съ революціей; онъ думалъ, что ее не нужно послѣ провозглашенія республики! И такой-то человѣкъ стоялъ во главѣ возникающей демократіи, осредотворяя, такъ сказать, мягкостью своей души два бурные потока, уступая обоимъ и обезсиливая тотъ и другой.

Провозглашеніе республики застало врасплохъ департаменты и армію. Если мы исключимъ малое число городовъ, какъ Ліонъ, никто не думалъ о республикѣ въ департаментахъ, еще менѣе—въ арміи. Однако, провозглашеніе новаго правительства не встрѣтило нигдѣ явнаго препятствія, поздравительные адреса писались отовсюду. Вотъ новое доказательство, что Франція въ Парижѣ. Департаменты не привыкли жить своимъ умомъ, армія не разсуждала; Парижъ, опередившій, въ самомъ дѣлѣ, всю страну, пользовался, сверхъ нравственнаго вліянія, централизаціей, устроенной Людовикомъ XI, Ришелье, Людовикомъ XIV, Конвентомъ, Имперіей. Главныя власти въ департаментахъ, агенты министерствъ, префекты, супрефекты, прокуроры и пр. въ полной зависимости отъ Парижа,—такъ и теперь осталось. Провинціальный элементъ обличился и поднялъ голову въ народномъ собраніи; даже мѣщане изъ дальнихъ департаментовъ явились съ затаенной завистью, съ зубомъ противъ Парижа; отсюда часть ихъ ожесточенія противъ клубовъ, противъ журналовъ, противъ всякой человѣческой мысли; они ее считаютъ парижской. Но если провинціи только потому приняли республику, что не имѣли силы ее отвергнуть, совѣмъ не то было въ самомъ Парижѣ. Онъ воскресъ, онъ сдѣлался великъ, колоссаленъ; буржуа притихли, народъ ликовалъ и довѣрялъ правительству, которое объявляло, что «революція, сдѣланная народомъ, должна быть сдѣлана для него», мощной рукой своей поддерживалъ его и въ то же время хранилъ общественный порядокъ. Коссидьеръ въ два-три дня устроилъ полицію, потому что народъ ему помогалъ; воины баррикадъ пошли въ монтаньяры, въ республиканскую гвардію, въ *gardiens de Paris*; слово «полиція» на время утратило ругательное значеніе свое. Первые декреты временнаго правительства оправдывали довѣріе народа, каждый изъ нихъ былъ новымъ освобожденіемъ и новымъ ударомъ въ ветхое общественное зданіе. Вы ихъ знаете. Въ самой редакціи ¹⁾

¹⁾ Именно декретъ о смертной казни, объ уничтоженіи тюремнаго заключенія за долги, объ учрежденіи Люксембургской полиціи, объ уменьшеніи часовъ работы,—объ всемъ, что такъ рьяно уничтожаемо теперь.

декретовъ еще чувствуется революція, мощная морская волна еще не пришла въ покой и напоминала невольными движеніями недавно прошедшую бурю. Это былъ медовый мѣсяць временнаго правительства.. Ихъ стало недѣли на три, они были еще людьми. Когда 25 февр. они подписали декретъ объ уничтоженіи смертной казни, они бросались другъ другу въ объятія, обливаясь слезами... И за это имъ спасибо!

(2-ое продолженіе 3-го письма).

Бланки—человѣкъ совершенно противоположный Барбесу. Сосредоточенный, нервный, угрюмый, изуродованный тѣлесно страшнѣмъ тюремнымъ заключеніемъ, полный невѣроятной энергіи и желчевой злобы, онъ имѣлъ большое вліяніе, опертое на проницательность, на глубокомысленный взглядъ и на необыкновенный даръ слова—рѣзкій, страстный, проникающій въ душу слушателей. Его больше любили, нежели Барбеса, но не меньше слушались.

Онъ не имѣлъ ни его теплой экспансивности, ни его настежь отворенную душу, но мысль его была и глубже и упорнѣе, никто не сомнѣвался въ его талантѣ. Онъ могъ быть вреднѣе и опаснѣе Барбеса, но онъ могъ также принести величайшую пользу правительству, и онъ явился къ Ламартину, предлагая содѣйствіе и совѣты. Недѣли черезъ двѣ оба отошли, качая головой, оба увидѣли, что съ этими людьми ничего не сдѣлаешь, что они погубятъ революцію. Точно такъ поступилъ Собріе, молодой, богатый человѣкъ, душою предаанный республикѣ и демократіи. Собріе, дѣйствовавшій 24 февраля и завладѣвшій сначала вмѣстѣ съ Коссидьеромъ префектурой полиціи, попробовалъ остаться въ сношеніяхъ съ правительствомъ, не могъ и съ негодованіемъ оставилъ его. Онъ теперь вмѣстѣ съ Бланки и Барбесомъ въ Венсенѣ. Главы социализма и не сближались съ децемвирами; Прудонъ, Кабе, Распайль, Пьеръ Леру стояли поодаль. Всѣ эти люди неутомимой дѣятельности, безпредѣльной преданности бросились на иную дорогу, на дѣятельность въ клубахъ, на созданіе журналовъ. Сначала ни клубы, ни журналы не разрывались вполнѣ съ правительствомъ. Въ рѣчахъ и статьяхъ правительство щадили, хотѣли его напутствовать, мечтали, что это возможно. Правительство, съ своей стороны, отвѣчало дружески на увѣщанія клубовъ, не сердилось, не щетинилось за совѣты, за выраженія, какъ вполсѣдствіи. Долго это не могло оставаться, надобно было имѣть невѣроятную довѣрчивость или близорукость, чтобъ не замѣтить, какъ правительство съ каждымъ днемъ отклонялось далѣе и далѣе отъ всего провозглашеннаго въ первые дни послѣ революціи. Недоставало внутренняго здрава, чтобъ показать всѣмъ сомнѣвавшимся, сколько почвы приобрѣтено уже было реакціей. Этотъ раздоръ не замедлил явиться; поводомъ къ нему были циркуляры Ледрю Роллена и его бюллетени, испугавшіе буржуазію, а съ нею вмѣстѣ и консервативное большинство временнаго правительства. Прочтите эти циркуляры, эти бюллетени и подивитесь, о чемъ такъ шумѣли мѣщане. Ничего не могло быть естественнѣе, какъ посылка комиссаровъ въ департаменты. Пославши ихъ, еще есте-

ственнѣе было дать имъ наставленія; духъ этихъ наставленій *долженъ былъ* быть революціонный; онъ умѣренъ, тихъ, но сообразенъ обстоятельствамъ; на нихъ наклепали богъ знаетъ что; я нигдѣ въ нихъ не вижу ни террора, ни призыва къ возстанію, а вижу желаніе растолковать департаментамъ смыслъ переворота и логическое стремленіе способствовать, чтобъ монархическій принципъ замѣнили республиканскимъ, чтобъ выборы пали на людей демократическаго образа мыслей. Ледрю Ролленъ былъ правъ, говоря, что правительство относительно выборовъ не должно играть роль писца, помѣчающаго голоса, но стараться пояснить, что оно надѣется отъ представителей; послѣдствія показали, что значать хаотическіе, бессмысленные или ретроградные выборы, послѣдствія совершенно оправдали Ледрю Роллена. Добросовѣстно, честно невозможно порицать дѣйствій министра внутр. дѣлъ; буржуазія порицала ихъ, потому что вовсе не хотѣла республики или хотѣла одного имени. Циркуляры Ледрю Роллена удивили среднее сословіе и испугали, они видѣли, что министерство вн. дѣлъ принимаетъ республику *au sѣrieux*. Съ своей стороны, бюллетени бѣсили не менѣе циркуляровъ. Бюллетени представляли живой разговоръ правительства съ народомъ, ими оно сообщало новости, опровергало ложные слухи, дѣлало пропаганду, поучало; нѣкоторые изъ нихъ были писаны великимъ перомъ Ж. Сандъ; въ нихъ вѣетъ демократическій духъ, они обращались къ работникамъ. Негодованіе буржуазіи начало высказываться сильнѣе и сильнѣе и нашло поддержку,—гдѣ же? Въ самомъ правительствѣ. Извѣстная демонстрація по поводу отмѣны мѣховыхъ шапокъ была направлена противъ Ледрю Роллена. Ламартинъ публично говорилъ, что правительство не хочетъ имѣть никакого вліянія на выборы, оставляя такимъ образомъ всю отвѣтственность Ледрю Роллену; буржуазія въ ретроградныхъ журналахъ превозносила Ламартина, лукаво сравнивая подкупы и грубое вмѣшательство власти въ дѣло выборовъ при Людовикѣ-Филиппѣ съ распоряженіями Ледрю Роллена, какъ будто право учить, объяснять, имѣть вліяніе убѣжденіемъ, открытой рѣчью похоже на подкупы и взятки. Видя такую слабость правительства и предчувствуя, какъ ретроградная сторона воспользуется уступками, клубы рѣшились, съ своей стороны, сдѣлать демонстрацію на другой день мѣховыхъ шапокъ. Двѣсти тысячъ человѣкъ вооруженнаго народа правильными колоннами со знаменами клубовъ сдѣлали 17 марта грозную и спокойную прогулку по Парижу. Несмотря на величайшій порядокъ, на великую тишину, едва прерываемую выразительнымъ пѣніемъ марсельезы, буржуазія до того была испугана количествомъ людей и ихъ видомъ, что опять исчезла на цѣлый мѣсяць и, продолжая свою темную работу, не выставялась съ своими реакціонными требованіями. Въ этотъ мѣсяць можно было надѣлать чудеса, демократическая партія не умѣла имъ воспользоваться, правительство не хотѣло. Двѣсти тысячъ человѣкъ, вооруженныхъ и готовыхъ на бой, приходили ободрить правительство, поддержать его, если оно только пойдетъ путемъ революціи, если оно только хочетъ республики. Народъ и клубы, словомъ, Парижъ, подавалъ свой голосъ въ этотъ день за циркуляры Ледрю Роллена, за республику; правительство получало новую санкцію, становилось вдвое сильнѣе, второй разъ

облекалось диктатурой, но оно смотрѣло уже въ другую сторону, хотя и отвѣчало словами замѣчательными: «Proclamé sous le feu du combat, le gouvernement a eu hier ses pouvoirs confirmés par les deux c. milles citoyens, qui ont apporté par leur acclamations à notre autorité transitoire la force morale et la majesté du souvenir».—Говоря это, Ламартинъ и Марастъ копали яму этому народу,—одинъ изъ робости, по неловкости, другой изъ видовъ грязныхъ, мелкихъ, личныхъ, имъ помогали пять товарищей, взятыхъ изъ «Националя». Но обвиняя правительство, мы не можемъ оправдать нисколько клубы и ихъ вожатыхъ. Чего они смотрѣли, имѣя такую силу въ рукахъ? Парижскій народъ обѣщаль пожертвовать *республикѣ три мѣсяца голода*, онъ обѣщаль дожидаться, но зато хотѣлъ демократической *республики*. Какъ же они не видали сначала, что правительство пятится и возвращается къ буржуазной монархіи? Когда они спохватились, было поздно. Мирная, но энергическая демонстрація 16 апрѣля была иначе принята правительствомъ, нежели демонстрація 17 марта. Работники, желая снова показать реакціонерамъ, что они не утратили энергіи, собрались на Champs de Mars, они были безъ оружія. Вдругъ раздался сборъ по всему Парижу, національная гвардія бѣжала отовсюду, вооруженная съ ногъ до головы, банлье входила во всѣ заставы. Въ меріяхъ раздавали боевые патроны. Болѣе ста тысячъ штыковъ окружили Hôtel de ville и Люксембургъ, всѣ спрашивали, гдѣ возстаніе, гдѣ врагъ. Удивленные и обиженные работники, которыхъ мѣсяцъ тому назадъ временное правительство благодарило и передъ которыми преклонялось, желали знать, откуда высланъ приказъ бить сборъ, и узнали, что первая мысль вышла изъ Hôtel de ville, т. е. отъ Мараста.

Марастъ, спрятанный въ ратушѣ и не выступавшій особенно впередъ, былъ душою реакціи и интригъ; окруженный своей тайной полиціей, онъ стращаль робкихъ децемвировъ и упрочиваль свои связи. Национальная гвардія шла съ крикомъ «Vive la république, à bas les communistes, à la mort les communistes». Этотъ отвратительный крикъ былъ суфлированъ Марастомъ черезъ меровъ. Подъ словомъ «коммунисты» разумѣли теперь всѣхъ демократовъ, всѣхъ социалистовъ, всѣхъ бывшихъ на демонстраціи Champ de Mars. Весьма вѣроятно, что соприкосновеніе такихъ двухъ массъ народа и съ такимъ враждебнымъ направленіемъ не прошло бы даромъ; были люди, которые хотѣли кровавой стычки такъ, какъ они ея хотѣли 15 мая, такъ, какъ они ее подготовили къ юньскимъ днямъ. По счастью, національной гвардіей командоваль благородный старикъ, нѣкогда легитимистъ, потомъ откровенный республиканецъ-генераль Курте. Работники требовали у правительства объясненія; правительство путалось, благодарило національную гвардію за ея готовность, благодарило работниковъ за то зло, которое они не сдѣлали и котораго никто не хотѣлъ. Марастъ увѣряль, что вся цѣль правительства «окончить эксплуатацію человѣка человѣкомъ». Но народъ расходился мрачно, недовѣріе и злоба распространялись, двѣ республики помѣрились. «Oh! que l'avenir est menaçant, писалъ Пьеръ Леру, puisqu'il y a des aujourd'hui deux républiques en presence! (lettre à Cabet).

Черезъ два дня раздался новый сборъ: онъ собираль на смотръ національную гвардію. Когда она выстроилась, передъ ея рядами явился гене-

раль Шангарнье. Онъ объявилъ, что нѣсколько линейныхъ полковъ готовы вступить въ Парижъ, и спрашивалъ, такъ сказать, хочеть ли національная гвардія, съ своей стороны, такого помощника въ дѣлѣ порядка. «Vive la ligne! vive la ligne!» кричала національная гвардія, и нѣсколько баталіоновъ съ ранцами и въ походной формѣ взошли въ Парижъ, — первые солдаты послѣ революціи. Съ ихъ вступленіемъ революція была убита. Солдаты могутъ дѣлать возмущенія преторіанскія, янычарскія, лейбъ-гвардейскія, но съ народной революціей ихъ присутствіе несовмѣстимо.

Вводъ войскъ въ Парижъ былъ знакомъ открытой распри между народомъ и правительствомъ. Правительство, вызванное par acclamation послѣ баррикадъ, опиралось на штыки. Напрасно Эмиль Жиранденъ повторялъ: «*L'armée n'a pas été vaincue le 24 fevrier comme l'armée, elle a été condamnée comme institution*». Этого не понимали даже честные республиканцы. Подобныя вещи далеко выше понятій французовъ. Тѣмъ не менѣе, смѣлость правительства ввести войска въ Парижъ удивила. Клубъ Бланки явился требовать отчета въ этой мѣрѣ. Ламартинъ съ своимъ краснорѣчивымъ лукавствомъ отвѣчалъ, что войска взошло тысячи четыре для того, чтобъ примирить гражданъ-солдатъ съ ихъ братьями. «Мы не думаемъ, говорилъ онъ, не думаемъ и не будемъ думать о томъ, чтобы противодѣйствовать войсками народу. Республика внутри не требуетъ другихъ защитниковъ, какъ вооруженный народъ»... «И чѣмъ можетъ сдѣлать эта горсть людей, когда и 160.000 человекъ подъ начальствомъ Бюжо ничего не сдѣлали?» и пр... Это было великое преступленіе временнаго правительства, и Ледрю Ролленъ согласился на эту мѣру и той же рукой, которой подписывалъ свои бюллетени и циркуляры, подписалъ убійство республики. Власть развращаетъ!

Глухая борьба росла. Правительство удалялось далѣе и далѣе отъ парижанъ. Народъ, собранный въ клубы, жался къ этимъ центрамъ, чувствуя, что онъ обманутъ. Правительство не смѣло еще прямо противодѣйствовать клубамъ и сборищамъ, но уже явно готовило себѣ безславное паденіе; оно начинало заслуживать презрѣніе съ обѣихъ сторонъ. «Если такъ, то зачѣмъ вы прогнали Людовика-Филиппа? говорили орлеанисты и демократы. Вы дѣлаете то же, что монархическіе министры, только глупѣе, не развязнѣе. Гизо и Тьеръ ловчѣ васъ, зовите ихъ назадъ». Съ ироніей глядя на этихъ оторопѣлыхъ поэтовъ и министровъ, буржуазія работала въ департаментахъ, выборы шли быстро, отъ каждаго листа кандидатовъ дрожь пробѣгала по кожѣ у демократовъ. Выборы явнымъ образомъ гнулись на сторону реакціи и монархіи. Реакція была уже до того сильна и смѣла, что не позволяла комиссарамъ исполнять своихъ порученій; ихъ оскорбляли, ихъ отлучали отъ общества, какъ чумныхъ; одинъ былъ посаженъ въ тюрьму, другой выгнанъ изъ города. Духовенство подало руку буржуазіи, чтобы противодѣйствовать республиканскимъ выборамъ. Работники, потерявши всякую надежду видѣть избранными своихъ кандидатовъ, взбунтовались въ Лиможѣ, Руанѣ и Эльбефѣ. Въ Лиможѣ работники одержали верхъ, и дѣло обошлось безъ убійствъ; въ Руанѣ побѣдила буржуазія. Кровь полилась рѣкой, — первая кровь послѣ 25 февраля.

Разумѣтся, съ точки зрѣнія обыкновеннаго гражданскаго порядка, съ точки зрѣнія полицейскаго благочинія народъ былъ неправъ, возражая насиліемъ противъ выборовъ, но, во-первыхъ, ненадобно забывать безпкойное состояніе умовъ послѣ революціи, и, во-вторыхъ,—что справедливость, болѣе широкая, нежели юридическая, была со стороны народа. Народъ чувствовалъ себя обманутымъ,—тамъ ему мѣшали подавать голоса, тутъ выходили кандидаты, которыхъ онъ не выбиралъ, несмотря на то, что ариѳметически большинство, казалось, съ его стороны; работниковъ притѣсняли, оттирали всѣми подъяческими формами; глубокое сознаніе, что они остаются безъ представительства, что они обмануты, заставило ихъ въ Лиможѣ ворваться въ избирательную залу, силою отнять урны, сжечь бюллетени. Народъ вообще, когда подымается, идетъ помимо судейскихъ формъ, онъ носитъ въ себѣ живую справедливость данной минуты; народъ, особенно французскій, не станетъ убивать медленнымъ ядомъ, какъ оппозиція, не станетъ справляться со статьями кодекса, а или, закусивъ губу, смолчить, или протестуетъ баррикадами, какъ 24 февраля, или врывается въ камеру, чтобъ заявить свое презрѣніе къ представительству, законно выбранному *по формѣ*, но не имѣющему довѣрія, не заслуживающему его, какъ 15 мая. Въ такія минуты народъ, дѣйствительно, сознаетъ себя самодержавнымъ и поступаетъ въ силу этого сознанія.

Какова была руанская буржуазія, мы знаемъ. Она въ первый разъ выбрала *Сенара*, во второй — *Тьера*. Руанъ — одинъ изъ главныхъ фабричныхъ городовъ; ненависть между работниками и буржуазіей вкоренилась тамъ не менѣе, какъ въ Лионѣ. Электоральная борьба при такой взаимной ненависти двухъ сословій вскорѣ перешла въ уличный беспорядокъ, въ грозныя демонстраціи. Къ подобнаго рода *беспорядкамъ* надобно въ республикахъ привыкать,—дѣлать нечего. Въ монархіяхъ, казармахъ и тюрьмахъ въ этомъ отношеніи несравненно спокойнѣе, — тамъ всякій шумъ, всякое нарушеніе дисциплины считается измѣной, оскорбленіемъ величества и наказывается свирѣпо и безпощадно. Въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ, напротивъ, выборы почти никогда не обходятся безъ шума, правительство обыкновенно исчезаетъ въ это время и въ этомъ его высокая честность и пониманіе своего положенія. Отъ французскаго правительства ничего и ждать нельзя подобнаго,—оно въ Парижѣ толковало черезъ 2 мѣсяца послѣ 24 февраля объ *cris sèdieux*, объ атрупентахъ безъ оружія, никогда не подумавши, отчего же не кричать все, чтò хочется, отчего же не собираться вмѣстѣ свободнымъ людямъ. Руанская ратуша распорядилась рѣзче; она позвала войско, она позвала всю національную гвардію, она поставила пушки и ... покрыла кровью руанскія улицы. Работники были невооружены, ни одинъ солдатъ, ни одинъ членъ національной гвардіи не былъ убитъ. Когда эти страшныя вѣсти дошли до временнаго правительства, оно велѣло произвести слѣдствіе и послало отъ себя прокуроромъ Франъ-Каре, того самаго Франъ-Каре, который заслужилъ себѣ при Людовикѣ-Филиппѣ позорную славу инквизитора и безжалостнаго гонителя республиканцевъ на ряду съ Эбертомъ, Деланглемъ, Плугульмомъ и др. Чтò это было? Иронія,

дерзость, глупость или измѣна? Выбирайте. Я готовъ думать, что тутъ было всего понемногу.

Между тѣмъ, въ Парижъ наѣзжали со всѣхъ сторонъ представители. Народъ и республиканцы съ негодованіемъ и краснѣя до ушей смотрѣли на этихъ толстыхъ, старыхъ мѣщанъ, на эти ограниченныя лица, на эти глупые глаза пропріетеровъ, на эти жирные носы и узкіе лбы провинціаловъ-стяжателей, шедшихъ теперь передъ лицомъ міра устраивать судьбы Франціи, создавать республику, вмѣя критериумомъ аршинъ лавочника и разновѣсъ эпистоле... И вы отдали будущность вашей прекрасной Франціи имъ! Вы ихъ допустили... вы имъ позволили Несите же горькій плодъ!

Странная судьба Франціи быть великой въ болѣзни и пошлой въ здоровьи, быть великой въ день переворота и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладаетъ этой силой стряхивать время отъ времени съ себя грязь, но ея невыдержка поразительна. Народъ этотъ внезапно возстаетъ, неотразимый и грозный, вступаетъ въ отчаянный бой съ общественнымъ зломъ; противостоять ему въ эти минуты невозможно,—ихъ надобно переждать; по мѣрѣ того, какъ онъ одолѣваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что проливалъ кровь. Пока республика и Франція висѣли на волоскѣ, пока Европа, Вандея, духовенство, федералисты, претенденты, эмигранты шли войной со всѣхъ сторонъ, снизу, сверху, извнѣ и изнутри, Парижъ и конвентъ отстояли Францію и республику. Побитый непріятель не успѣлъ еще добѣжать до своихъ домовъ, а ужъ Франція слабѣла не по днямъ, а по часамъ. Десять лѣтъ дравшись за свободу, она обидѣлась, что у нея нѣтъ сильнаго правительства, что ее никто не тѣснитъ. Уродливая, бездушная конституція сухого аббата, искривленная солдатомъ, была принята съ восторгомъ; конституція VIII года — организованный деспотизмъ; она въ подметки не годилась конституціи III года, оклеветанной въ нашихъ глазахъ Сіэсомъ и Наполеономъ. А между тѣмъ вся Франція рукоплескала ей и консулу-солдату; она даже не замѣтила, что въ новомъ уложеніи не было *упомянуто* о свободѣ книгопечатанія, что правительственная гласность была убита, что избирательная система была уничтожена. Свобода мысли, словъ, права,—все это у французовъ благородный капризъ, а не истинная потребность, какъ у швейцарца, англичанина (въ той формѣ, какъ они понимаютъ свои права). Французъ любитъ ими и отдаетъ безъ сожалѣнія. Черезъ пятнадцать лѣтъ онъ снова построитъ баррикады, усѣетъ трупами улицы, удивитъ міръ геройствомъ и упуститъ изъ рукъ завоеванное. Этотъ отроческій, легкомысленный характеръ, эта политическая *gaminié* французовъ, полная отваги и благородства, долго нравилась Европѣ, нравилась ей, особенно, пока она сама не смѣла открыть рта и исподтишка перемигивалась съ Парижемъ; теперь народы повыросли, и повтореніе одного и того же дѣлается скучнымъ и надоѣдаетъ, наконецъ. Народы послѣ революціи 1830 года уже показали свое негодованіе, они отпрянули съ досадою отъ Франціи послѣ 24-го февраля, которое такъ много обѣщало и такъ ничего не сдѣлало. Франція можетъ теперь рѣзаться, сколько ей угодно, европейскіе народы не станутъ ей подражать и завидовать. Это—

старая басня волка и мальчика. Человѣчество не позволитъ непрерывно надувать себя и совсѣмъ отвернется отъ страны, которая, какъ русскіе крестьяне до Годунова, имѣютъ одинъ день свободы въ году и триста шестьдесятъ четыре дня рабства!

Парижъ, 18 сентября 1848.

Письмо четвертое.

Парижъ, 10 октября 1848.

Какое счастье, друзья мои, что я не зналъ почти всего того, о чемъ писалъ къ вамъ въ прошломъ письмѣ, и не предполагалъ возможнымъ сотую долю того, что случилось, когда въ одинъ превосходный апрѣльскій день маленькая лодочка, быстро шныряя между кораблей, несла меня по синей поверхности залива изъ Чивитавеккии на почтовый пароходъ *французской республики*. Я тогда находился подъ вліяніемъ 24 февраля, я забылъ Парижъ 1847 года и вѣрилъ въ Парижъ de l'an 56; у меня сердце билось такъ, что я не могъ дышать, когда я ступилъ на палубу парохода и увидѣлъ вездѣ завѣтный вензель «R. de F.»... Простите мнѣ это ребяческое увлеченіе, оно въ другой разъ не случится... Мы проучены. Ни насъ, ни народы въ другой разъ не надуютъ.

Пароходъ ѣхалъ изъ Смирны, касаясь Константинополя, Мальты, Неаполя, вездѣ забирая пассажировъ. Не мудрено, что изъ Чивиты мы поѣхали нагруженные, какъ Ноевъ ковчегъ. Сверхъ обыкновеннаго балласта итальянскихъ пароходовъ, толпы англичанъ всѣхъ возрастовъ и обоихъ половъ, съ нами ѣхало множество французовъ; они возвращались съ біеніемъ сердца домой, революція была безъ нихъ; всѣ ѣхали волнующие страхомъ, надеждой; всѣ догадывались, предполагали... Въ числѣ путешественниковъ былъ одинъ почтенный старикъ съ военнымъ и аристократическимъ видомъ, съ сѣдыми усами и съ привѣтливой наружностью, которая сильно располагала въ его пользу. На другой день утромъ, рано, сидя на палубѣ, покрытой страдавшими морской болѣзнью, мы разговорились со старикомъ. Узнавши, что я русскій, онъ сообщилъ мнѣ, что дѣлалъ всю кампанію 12 года офицеромъ старой гвардіи, рассказалъ послѣднія новости о битвѣ подъ Малымъ-Ярославцемъ, ясно доказывалъ мнѣ пользу какихъ-то мѣръ Нея, пожурилъ Ростопчина за пожаръ Москвы и вдругъ перешелъ къ революціи 24 февраля... Тутъ мнѣ пришлось первый разъ играть роль вовсе новую для меня: защищая республику, я становился за существующій порядокъ, дѣлался консерваторомъ, а почтенный воинъ былъ недовольнымъ фрондеромъ, но не высказывалъ этого прямо, а дѣлалъ намеки, улыбался... дѣлалъ все то, что намъ съ вами, carissimi, приходилось такъ часто дѣлать. Меня это ужасно тѣшило. Ненавидя въ сущности революцію, старикъ одушевлялся, говоря о возвращающемся вліяніи Франціи на Европу. «Посмотрите, два мѣсяца послѣ революціи—и мы возвращаемся къ вліянію временъ императора». Это его мирило съ республикой. Мило и полшутя споря другъ

съ другомъ, мы доѣхали до Марселя, и тамъ только я узналъ, что это былъ герцогъ Роганъ, онъ имѣлъ, какъ видите, *par droit de naissance* права не очень любить демократическіе перевороты... Вспоминая разговоры мои съ старымъ герцогомъ, мнѣ невольно приходитъ въ голову необъятная разница аристократовъ, вышедшихъ изъ старой цивилизаціи и тѣхъ, которыхъ выростили на скорую руку въ случайныхъ парникахъ тѣхъ странъ, для которыхъ старая цивилизація новость. Послѣдніе не любятъ вступать въ дальніе разговоры, возраженіе принимаютъ за дерзость, боятся уронить свое достоинство и не позволяютъ молодымъ людямъ *забываться*, т. е. имѣть мнѣніе и высказывать его.

При вѣздѣ въ Марсель никто не спрашивалъ пассовъ, ихъ отдали намъ при отправкѣ изъ Ливорно; это — бездѣлица, но отъ этой бездѣлицы вѣяло республикой. Огромныя трехцвѣтныя знамена были выставлены вездѣ изъ оконъ съ надписями «Liberté, Fraternité, Egalité»: вновь посаженныя деревья свободы, украшенныя вѣнками, лентами, девизами, красовались. Народъ будто выросъ и сталъ громче, шумливѣе; правда, много лавокъ было заперто, но толпы блузниковъ запѣвали марсельезу на улицахъ. Не успѣлъ я переимѣнить свое дорожное пальто, какъ услышалъ военную музыку, игравшую «Chant du départ» подъ самыми окнами. Національная гвардія шла торжественной процессіей и несла большой мраморный бюстъ свободы, точно такъ сдѣланный, какъ вы знаете по изображенію на мѣдныхъ су первой революціи.

Я отправился за процессіей; она шла въ Hôtel de ville. Подходя къ ратушѣ, я увидѣлъ нѣсколько человекъ матросовъ, бѣжавшихъ отъ набережной; они бѣжали въ какомъ-то неестественномъ одушевленіи, утирая слезы и махая шапками. Другая кучка матросовъ, не столько загорѣлыхъ, стояла на углу. Вскорѣ и тѣ и другіе бросились другъ друга обнимать. Меня эта сцена до того заняла, что я остановился. Одинъ изъ прибѣжавшихъ матросовъ обернулся ко мнѣ и, не дожидаясь вопроса, сказалъ мнѣ: «Citoyen», — тутъ въ первый разъ я услышалъ въ разговорѣ это республиканское слово; до юньскихъ дней въ Парижѣ многіе говорили и писали «citoyen», теперь это считается не сообразнымъ съ хорошимъ тономъ, — «Citoyen», представьте, что мы третій мѣсяць плывемъ изъ Южной Америки, никакихъ вѣстей не имѣли о Франціи, сегодня утромъ узнали отъ лодочниковъ, что было въ Парижѣ — *nous avons la république, — sacre nom de Dieu!* — и загорѣлый матросъ плакалъ и кричалъ, повторяя: «vive la république». «Vive la république!» подхватили его товарищи, и они, грянувъ марсельезу и обнявшись, отправились хватить *goutte*.

Рядомъ съ этой сценой мнѣ было суждено видѣть совершенно противоположную; дѣтскій восторгъ матросовъ и то, что я расскажу вамъ, это — два полюса французской жизни.

У ратуши сдѣлали небольшой кругъ, на который должны были выйти Эмиль Оливье (комиссаръ правительства)¹⁾, меръ и не знаю кто. Народъ

¹⁾ Эмиль Оливье, очень умный и дѣльный человекъ, впрочемъ, разсердилъ чѣмъ-то работниковъ въ Марсели; они явились къ нему съ проте-

подступалъ все ближе и ближе; рядъ блузниковъ съ ружьями останавливалъ толпу; толпа все шла впередъ... Тогда нѣсколько разсерженныхъ блузниковъ опустили ружья и начали прикладами давить носки тѣмъ, которые стояли впереди; они это дѣлали съ удовольствіемъ и отчетливостью петербургскаго городского, который лѣтъ двадцать кряду ежедневно по обязанности бьетъ кого-нибудь. Народъ, ругаясь, пятился... Могу васъ увѣрить, что въ Римѣ, Тосканѣ, въ Генуѣ... не теперь, а даже до итальянскаго возстанія, сбиррамъ не пришло бы въ голову давить ноги ружьями, а еслибъ пришло, то навѣрное штыки ихъ ружей были бы у нихъ же въ животѣ; итальянецъ всего чаще не имѣетъ вовсе никакихъ политическихъ убѣжденій, онъ боится поповъ, спокойно живетъ подъ чужеземнымъ игомъ, но не дозволить лично оскорблять себя, но не вынесетъ полицейской дерзости; если его ударятъ, онъ пырнетъ ножомъ. Дѣло въ томъ, что у французовъ страсть къ полиціи; каждый французъ въ душѣ полицейскій комиссаръ; дайте ему только какую-нибудь кокарду, поясъ, галунъ — и онъ простого человѣка, т. е. человѣка безъ галуна, презираетъ. Впослѣдствіи я много разъ съ горькой улыбкой смотрѣлъ на распорядителей демократическихъ банкетовъ: какъ они помыкаютъ гостями, кричатъ, распоряжаются и все по пустому. Въ римскихъ демонстраціяхъ видали мы сборище народа тысячь въ двадцать, тридцать и тѣ, которые ихъ вели, меньше хлопотали и управлялись, нежели комиссаръ банкета, на которомъ двѣ тысячи человѣкъ. Гости, съ своей стороны, точно такъ же распоряжаются съ прислужниками, и все это при крикахъ «vive la république démocratique et sociale!» Французъ любитъ видѣть вездѣ присутствіе власти, онъ любитъ фронтъ и дисциплину; все независимое, индивидуальное бѣситъ его, онъ, дѣйствительно, равенство понимаетъ нивелировкой, онъ покоряется самымъ произвольнымъ полицейскимъ распоряженіямъ для того только, чтобы и другіе имъ покорялись. Сверхъ того, французы придають всѣмъ мелочамъ полицейскимъ ¹⁾ какую-то священную важность; état de siège въ сущности имъ нравится, эта форма гражданственности, революціонная и деспотическая, самая близкая къ ихъ

стаціей, и ихъ ораторъ сказалъ ему въ заключеніе: «мы имѣемъ три средства протестовать: первое мы употребили сегодня, откровенно объяснились съ вами; второе — напечатать нашъ протестъ въ журналахъ и это мы сдѣлаемъ завтра; третье — собрать народъ на площадь — и это мы сдѣлаемъ послѣ завтра, если вамъ, гражданинъ-комиссаръ, не угодно будетъ перемѣнить ваше рѣшеніе». До третьяго средства дѣло не доходило. Эту забавную сцену мнѣ рассказывалъ одинъ изъ южныхъ репрезентентовъ, аббатъ Сибуръ, съ которымъ я ѣхалъ до Авиньона.

¹⁾ Ледрю Ролленъ, отдавая разъ приказаніе генералу Курте о сборѣ національной гвардіи на смотръ, прибавляетъ: «употребите ваше содѣйствіе, генераль, чтобъ ординарцы и офицеры штаба не скакали непрерывно во весь опоръ взадъ и впередъ по улицамъ, придавая такимъ образомъ Парижу видъ города, осажденнаго непріятельскимъ войскомъ». Клемансъ Тома, преемникъ Курте, при всемъ своемъ республиканизмѣ велъ себя обыкновенно на улицѣ точно Цынскій или Миллеръ.

внутреннему понятію; я смѣло скажу: они любятъ терроръ, они любятъ диктатуру; Франція похожа на женщину, которая думаетъ, что мужъ ее не любитъ, если не колотитъ. Мы много разъ еще воротимся къ этой несчастной (и совершенно общей) чертѣ народнаго характера. Ее не мѣшаетъ иногда вспоминать, говоря объ ужасахъ 93 года, для того, чтобы народную вину не ставить на счетъ лицъ.

На другой день мы отправились въ Ліонъ. Улицы кипѣли блузами. Работники отправлялись на земляную работу со своими знаменами и съ барабаннымъ боемъ. На ихъ знаменахъ были написаны девизы въ родѣ: «vivre en travaillant ou mourir en combattant». Плебейская національная гвардія въ блузахъ держала всѣ караулы и ходала патрулемъ. Ліонскій работникъ, угрюмый и настойчивый, принялъ видъ больше энергической и республиканскій, нежели марсельцы. Ліонъ—по всему второй городъ Франціи. Шестнадцать лѣтъ ліонскій работникъ жилъ подъ пушками городскихъ укрѣпленій, это докончило его воспитаніе. Я имѣлъ удовольствіе видѣть сломанными эти отвратительные форты, о которыхъ я, помнится, вамъ писалъ изъ Италіи. Груды каменьевъ лежали еще въ безпорядкѣ, свидѣтельствуя, что весьма недавно народъ казнилъ это преступное и безобразное изобрѣтеніе тьеровскихъ временъ. На мѣстѣ фортовъ были посажены деревья свободы. Въ Ліонѣ я прочелъ страшную вѣсть о руанскомъ кровопролитіи. Пятаго мая мы были уже въ Парижѣ.

Парижъ много измѣнился съ октября мѣсяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатыхъ экипажей и больше народнаго движенія на улицахъ; въ воздухѣ носилось что-то рѣзкое и возбужденное, со всѣхъ сторонъ вѣяло девяностыми годами. Толпы работниковъ стояли около своихъ ораторовъ подъ тѣнью каштановъ Тюльерійскаго сада... Деревья свободы на всѣхъ перекресткахъ... часовые въ блузахъ... Коссидьеровскіе монтаньяры съ большими красными отворотами и съ лихимъ, военно-республиканскимъ видомъ, расхаживали по улицамъ; стѣны были обвѣшаны политическими афишами, на бульварахъ и большихъ улицахъ толпы мальчиковъ и дѣвочекъ продавали съ крикомъ и съ разными шалостями журналы и брошюры. Знаменитый крикъ: «Demandez la grande colère du Père Duchêne pour un sou, il est bigrement en colère le Père Duchêne» — раздавался между сотнею новыхъ возгласовъ. «La vraie République, la vraie république, journal du citoyen Thoré la séance d'aujourd'hui avec le discours du citoyen Ledru-Rollin, fameux discours... pour un sou! cinq centimes!»

Мелкая торговля, отталкиваемая въ дальніе кварталы и переулки чопорной полиціей Дюшателя, разсыпалась по бульварамъ и Елисейскимъ полямъ, прибавляя цыганскую пестроту и жизнь. При всемъ этомъ не было слышно ни о какихъ безпорядкахъ и середь ночи можно было ходить по всему Парижу съ величайшей безопасностью.

Собраніе открылось наканунѣ моего приѣзда. Это не было торжественное, полное надеждъ открытіе собранія 89 года. Народъ и клубы его встрѣтили съ недоумѣніемъ, правительствомъ презирало его въ душѣ; всѣ шансы и различія политическихъ партій, не соглашаясь ни съ чѣмъ, были согласны, что это собраніе ниже обстоятельствъ. Отъ недоумѣнія къ представителямъ

заставили ихъ, по предложенію генерала Курте, выйти къ народу и провозгласить республику; большинство сдѣлало это à contre соеиг. Республиканскіе журналы приняли свистомъ жалкое собраніе; Коссидьеръ хотѣлъ его выбросить за окошко; очень жаль, что не исполнилъ своего желанія. Горестная судьба собранія, которое было ненавидимо прежде, нежели успѣло сказать слово. Первые засѣданія, ожидаемая съ страшнымъ нетерпѣніемъ, поразили всѣхъ необычайной безцвѣтностью. Характеръ собранія обозначился при этомъ первомъ пріемѣ; оно бросилось въ подробности, занялось вопросами, положимъ, дѣльными, но второстепенными; попавши на эту дорогу, можно было мѣсяцы цѣлые работать до поту лица и не добраться ни до одного изъ важныхъ вопросовъ, которые даютъ рѣзкій тонъ и обозначаютъ цѣлый переворотъ. Время представительныхъ собраній миновало такъ, какъ время конституцій; попавши въ собранія, даже хорошіе люди становятся пустыми болтунами, лишаются энергии, увлекаются большинствомъ или духомъ котерій. Если парижское собраніе грубо и цинически подтверждало наши слова, то развѣ многимъ лучше франкфуртское, берлинское, вѣнское?—они вездѣ испортили лучшіе порывы народа, отклонили его отъ прямыхъ путей, замѣнили дѣйствіе рѣчами, революцію—дебатами. Національное собраніе, слѣдуя благородной поговоркѣ «Charité bien ordonnée», вотировало тотчасъ страшную власть своему президенту, въ силу которой ему дозволяли призывать національную гвардію не токмо парижскую, но и изъ департаментовъ на защиту собранія. Изъ этого видно, что собраніе боялось; съ первыхъ дней обозначилась одна изъ существенныхъ сторонъ его характера—трусость, отъ которой всегда съ одной стороны бездушный терроръ, съ другой—рабство, уступчивость. Явился Ламартинъ на трибунѣ съ длиннымъ отчетомъ, написаннымъ его извѣстнымъ напыщеннымъ слогомъ; онъ смирялся передъ собраніемъ, льстилъ ему, называлъ его повелителемъ и самодержцемъ. Собраніе было довольно и предложило вотировать, что временное правительство a bien merité de la patrie; оно терпѣть не могло временное правительство, но ему казалось, что это — учтивость за учтивость, оно хотѣло на починѣ объявить свое спасибо правительству за его смиренный видъ. Казалось, это пройдетъ безъ спора, но вышло не такъ. Эта учтивость дала поводъ къ первому замѣчательному пренію. На трибуну взошелъ Барбесъ. Его появленіе сдѣлало сильное вліяніе, всѣ ждали, зачѣмъ этотъ человѣкъ потребовалъ рѣчи. Такіе люди даромъ не говорятъ. Барбесъ, котораго «Сѣверная Пчела» учтиво называетъ «каторжникъ» и «злодѣй», пользовался страшной привилегіей людей, которыхъ чистота выше всякаго подозрѣнія; его убѣжденія были ненавистны собранію, его личность, его прошедшее, его извѣстность внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уваженіе. Барбесъ требовалъ, чтобъ прежде, нежели покроютъ благодарностью всѣ дѣйствія правительства, надобно потребовать отъ него отчета во многомъ. «Я протестую, говорилъ онъ, противъ ряда дѣйствій, которыя его лишили народности. Я напомнимъ *убійство* въ Руанѣ... При словѣ *убійство* бѣшенный крикъ «à l'ordre» перебилъ оратора, онъ выждалъ и продолжалъ... «Я говорю объ убійствахъ, сдѣланныхъ національной гвардіей въ Руанѣ! (шумъ). Я напомнимъ колонны поляковъ, нѣмцевъ, бельговъ, отданныя

на истребленіе. Когда эти вопросы уяснятся, будемъ благодарить правительство, но не прежде. До тѣхъ поръ я протестую противъ этой благодарности *во имя народа!*» Собраніе на зло Барбесу вотировало тотчасъ благодарность децемвирамъ. Барбесъ боролся съ десяткомъ своихъ друзей противъ всего собранія. Грустно и задумчиво качая головой, сѣлъ онъ на свое мѣсто и замолчалъ до 15 мая. Замѣчательно, что ему отвѣчалъ одинъ ораторъ, защищая рѣзню, и этотъ ораторъ, рекомендовавшійся Парижу такою рѣчью, былъ Сенаръ, представитель руанскій и участникъ въ кровавомъ дѣлѣ. Кто думалъ тогда, что этому Фуше, этому Карье достанется печальная слава устроить съ Кавеньякомъ и не такую рѣзню.

Отблагодаривши временное правительство, собраніе назначило исполнительную комиссію изъ пяти членовъ (Араго, Гарнье Пажесъ, Мари, Ламартинъ, Ледрю Ролленъ); комиссія составила министерство изъ журнальныхъ поденщиковъ «Насіоналя» и изъ знаменитаго стенографа Флокона. Марастъ остался въ меріи и оттуда передергивалъ людей и подсовывалъ своихъ корректоровъ и батырщиковъ. Самое жалкое и самое преступное назначеніе было, безъ сомнѣнія, назначеніе Бастида министромъ иностранныхъ дѣлъ,—человѣка тупого, лѣнливаго, безъ малѣйшаго образованія. Луи Бланъ и Альберъ были отстранены отъ правительства, слово «соціализмъ» дѣлалось уже позорнымъ клеймомъ въ глазахъ мѣщанъ-представителей. Говорили объ устройствѣ особаго министерства *работъ*, но собраніе и слушать не хотѣло. Всѣ демократическіе клубы вотировали поздравленія Луи Блану и Альберу. Члены исполнительной комиссіи, напротивъ, потеряли послѣднюю популярность выборомъ министровъ,—на нихъ смотрѣли, какъ на ренегатовъ.

Четвертаго мая открылось собраніе, десятаго оно было ненавидимо всѣмъ Парижемъ, исключая партіи «Насіоналя». Каждый день ронялъ его въ общественномъ мнѣніи. Такъ, напримѣръ, упорное отвращеніе Беранже отъ званія представителя, его письма по этому предмету, исполненная вольтеровской остроты, и необходимость собранія принять, наконецъ, его отставку—деморализировало собраніе всею славою побитаго народнаго поэта. Послѣ десятаго мая всѣ ожидали чего-то, всѣмъ казалось невозможнымъ, чтобъ эта торговая баня, чтобъ толкучій рынокъ продолжалъ стоять во главѣ Франціи и Парижа. Журналы были полны укора, въ кафе, на улицахъ всѣ говорили съ жаромъ противъ собранія, на площадяхъ и улицахъ собирались всякій день группы, въ клубахъ дѣлались, какъ говорятъ, *зажитательныя* предложенія произносились судорожныя рѣчи. Такъ подошло, наконецъ, *пятнадцатое мая*.

492 bis. Напечатано нигдѣ не было: свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Публ. Библиотекѣ.

493. Напечатано по-французски G. Mayer'омъ въ I т. «Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung» 1911 г., стр. 478—480; подлинникъ не найденъ.

494. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ. Точноѣ датировать трудно.

495. Напечатано по-русски въ IV кн. «П. З.» 1858 г., но съ довольно-многочисленными мелкими пропусками и не вполне точно; данъ полный переводъ; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

496. Напечатано въ IV кн. «П. З.» 1858 г. и мною въ X кн. «Міра Божьяго» 1906 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ архивѣ III Отд. Соб. Е. И. В. канцеляріи, 1 экс. 1834 г. дѣло № 129.

497. Напечатано мною въ X кн. «Міра Божьяго» 1906 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ архивѣ III Отд. С. Е. И. В. канцеляріи 1 экс., 1834 г., дѣло № 129.

498. Напечатано нигдѣ не было, свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ. Дата устанавливается по указанію Рейхель, что въ ноябрѣ 1850 г. она уѣхала изъ Ниццы.

499. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

500. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся у Otto Carmin; надпись сдѣлана на экземплярѣ «Vom andern Ufer» 1850 г.

501. Напечатано неполно и неисправно въ XI кн. «Рус. Мысли» 1902 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. музеѣ.

501 bis. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, полученнымъ отъ Кружка имени А. И. Герцена.

502. Напечатано по-русски неполно въ статьѣ г. Гершензона, «Былое»-1907 г. IV, стр. 75; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

503. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

504. Напечатано въ VII кн. «Голоса Минувшаго» 1913 г., стр. 197—198. Свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Письмо писано наполовину Энгельсономъ, которому принадлежать начало и середина. Въ началѣ сообщается о томъ, что въ кабинетѣ подъ наблюдениемъ жандарма сидитъ арестантъ-французъ. Въ серединѣ Энгельсонъ писалъ между прочимъ: «Александръ Ивановичъ печется обо мнѣ, словно о птенцѣ, кормитъ *râte froid*, спрашиваетъ, отчего я мало ѣмъ, и т. п. Онъ здоровъ, повидимому».

505. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

506. То же.

507. То же.

508. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ. Дата устанавливается, благодаря указанію на день суда.

Сынъ Гюго, Шарль, написалъ статью въ «L'Événement» по поводу смертной казни браконьера Моншармонъ. 11 іюня его судили за статью. Вотъ что сказалъ отецъ, закончивъ дѣловую часть рѣчи: «Господа. я кончилъ! Сынъ мой, тебѣ оказана сегодня большая честь. Ты былъ судимъ, достойный сражаться, можетъ быть, страдать за святое дѣло справедливости. Начиная съ сегодняшняго дня, ты входишь въ истинную жизнь мужей нашего вре-

мени, т.-е. въ борьбу за справедливость и истину. Гордись, ты—простой солдатъ человѣческой и демократической идеи, сидишь на скамьѣ, гдѣ сидѣлъ Беранже, гдѣ сидѣлъ Ламменэ. «Будь непоколебимъ въ своихъ убѣжденіяхъ, и, — пусть это будетъ послѣднее мое слово,—если ты будешь нуждаться въ мысли, чтобы поддержать свою вѣру въ прогрессъ, свою надежду на будущее, свою религію для человѣчества, свою ненависть противъ эшафота, свой ужасъ къ неизгладимымъ казнямъ, — вспомни, что ты сидѣлъ на скамьѣ, гдѣ сидѣлъ Лезюркъ». (V. Hugo, «Avant l'exil», Paris, 1875, p. 410).

509. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

510. То же.

511. То же.

512. То же.

513. Напечатано сначала по-нѣмецки въ I—III и V кн. «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», 1851 г. съ примѣчаніемъ редакціи: «Эта и слѣдующія статьи на ту же тему должны были появиться къ 25-лѣтнему юбилею царствованія Николая I; случайныя обстоятельства задержали ихъ появленіе».

Затѣмъ вышло французское изданіе подъ псевдонимомъ «A. Iscanfer», Paris, 1851 г., въ которое включены «введеніе» (напечатанное позже и по-французски въ № 1 «La Cloche» 1862 г.), глава «Россія и Европа», «послѣсловіе» и приложеніе о сельской общинѣ въ Россіи.

Второе отдѣльное изданіе было также французское, Лондонъ, 1853 г., съ именемъ А. Герцена, изданное центральнымъ комитетомъ польскаго демократическаго общества (revue par l'auteur, publiée par la Centralisation de la Société Démocratique Polonaise).

Третье изданіе выпущено по-нѣмецки подъ заглавіемъ, смягченнымъ для нѣмецкой цензуры: «Russlands sociale Zustände, съ подписью «Alexander Herzen», Hamburg, 1854.

Четвертое изданіе сдѣлано по-французски Трюбнеромъ въ Лондонѣ 1858 г.

Единственное русское изданіе, выпущенное при жизни Герцена, было сдѣлано нелегально: оно было налитографировано въ московской студенческой литографіи, озаглавлено «Историческое развитіе революціонныхъ идей въ Россіи», датировано 1861 г., Москва и «посвящено студентамъ московскаго университета».

Затѣмъ сочиненіе вышло по-русски въ изд. Саблина, М. 1907, Т—ва Сытина, М. 1907, и Ф. Θ. Павленкова, Спб. 1907.

Въ Жен. и Спб. изданія не вошло.

Я считаю нужнымъ привести, какъ основной, французскій текстъ, потому что нѣмецкій, при худшемъ знаніи Герценомъ этого языка, не можетъ разсматриваться, какъ вполне выразившій его мысли; не говоря уже о томъ, что французскій значительно полнѣе. Въ 1851 г. онъ былъ записанъ подъ диктовку автора И. Г. Головинымъ, которому Герценъ предложилъ эту работу, чтобы не ссужать его деньгами. Что же касается самаго изданія, то

предпочтительнѣе остановиться на 1853 г., какъ наиболѣе отдѣланнымъ, а издание 1851 г. привести въ вариантахъ.

Однимъ изъ первыхъ объ этомъ сочиненіи высказалась «Bibliothèque Universelle de Genève» (t. 17, juin, 1851, 311—312).

«Подвергается ли Россія вліянію революціонныхъ, социалистическихъ идей, какъ и другія страны западной Европы, и удерживается ли русское правительство у кормила власти лишь благодаря непрерывнымъ репрессивнымъ мѣрамъ? Вотъ вопросы, на которые было бы очень интересно дать точный отвѣтъ. Для этого необходимъ безпристрастный наблюдатель, который оставилъ бы въ сторонѣ идеи, не имѣющія прямого отношенія къ предмету, не вносилъ бы элементъ политической пристрастности, а удовольствовался бы освѣщеніемъ вопросовъ съ точки зрѣнія условій дѣйствительности, настоящихъ и предшествовавшихъ, и съ точки зрѣнія нуждъ и интересовъ русской націи въ цѣломъ. Необходимо какъ разъ то, чего намъ недостаетъ.

«Большая часть путешественниковъ недолго оставалась въ этой странѣ и, не выходя за предѣлы аристократическихъ салоновъ, не могла ничего сказать намъ о жизни народа. Можно указать на единственный въ этомъ смыслѣ трудъ—барона de Haxthausen'a «Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie». Въ немъ видно детальное знакомство автора съ общиной, крестьянскими обычаями, съ духовнымъ и матеріальнымъ благосостояніемъ страны.

«Но свѣдѣнія Гакстгаузена и его выводы находятся въ прямомъ противорѣчій съ выводами другихъ путешественниковъ, какъ напр., de Custine а также съ выводами группы русскихъ писателей, къ которымъ принадлежитъ и г. Искандеръ.

«Эти писатели обращаютъ на себя вниманіе крайней, непримиримой оппозиціей, вынуждающей ихъ, благодаря нападкамъ на правительственную власть и во избѣжаніе за это суровыхъ наказаній, покидать родину и искать убѣжища у чужихъ. Будучи такимъ образомъ въ сферѣ недосягаемости закона, они уже не сохраняютъ никакой мѣры и выходятъ за предѣлы дозволеннаго даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ господствуетъ полная свобода печати. И это злоупотребленіе, не говорящее въ ихъ пользу, внушаетъ къ нимъ мало довѣрія.

«Книги ихъ состоятъ главнымъ образомъ изъ страстныхъ декларативныхъ заявленій, не опирающихся на оправдательные документы.

«Тутъ и ѣдкій тонъ, и расчитанное преувеличеніе журнальной полемики, и тщетно приходится искать положительныхъ замѣчаній объ административной организаціи, а также о гражданскихъ, военныхъ и религіозныхъ институтахъ, которые характеризуютъ Россійскую имперію. Это—только ѣдкая критика съ отпечаткомъ экзальтированнаго революціоннаго духа.

«Г. Искандеръ въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отличается отъ своихъ предшественниковъ. Онъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ нѣкоторые, болѣе серьезные мотивы для своего недовольства русскимъ правительствомъ, но въ виду того, что онъ не знакомитъ съ ними своихъ читателей, — ихъ невозможно и оцѣнить, а его чрезвычайный радикализмъ придаетъ сомнитель-

ность его утверждениямъ. Довольно многочисленны факты, которые онъ приводитъ, имѣли бы совсѣмъ другое значеніе, если бы онъ описывалъ ихъ съ хладнокровіемъ историка, опираясь на официальные документы или на авторитетные источники.

«Но онъ ограничивается перечисленіемъ литераторовъ и публицистовъ, осужденныхъ русскимъ правительственнымъ судомъ, не знакомя насъ съ обвинительными актами по ихъ дѣламъ, указывая лишь, что одни виновны были въ томъ, что исповѣдывали доктрину Фурье, другіе — въ томъ, что принимали участіе въ какомъ-либо тайномъ сообществѣ. На его взглядъ, всѣ они—святые мученики прогресса и истинной цивилизації. По его мнѣнію, Россія находится наканунѣ соціальнаго переворота и намъ не кажется необыкновеннымъ, что она возникнетъ со всей силой, благодаря подобной литературѣ.

«Въ странѣ, гдѣ еще существуетъ крѣпостное право, нѣтъ ничего болѣе опаснаго для соціальнаго порядка, какъ эти призывы къ возмущенію, исходящіе отъ людей, стоящихъ на высшихъ ступеняхъ соціальнаго положенія и пользующихся, благодаря этому, болѣе широкой сферой вліянія.

«Что же касается прогресса, то истинно его желающіе сдѣлали бы гораздо лучше, если бы удвоили свои усилія въ направленіи тѣхъ шаговъ, которые предпринялъ самъ царь для освобожденія крестьянъ.

Русская цивилизація имѣетъ недавнюю исторію и движется впередъ такъ, что если бы двигалась и медленнѣе, — не было бы плохо; было бы абсурднымъ желать усилить преждевременное развитіе прививкой революціонныхъ идей.

«Въ концѣ концовъ г. Искандеръ и самъ признаетъ это, такъ какъ кончаетъ призывомъ всѣхъ русскихъ, раздѣляющихъ его убѣжденія, къ эмиграціи, и, не надѣясь встрѣтить эхо на свой призывъ у большинства своихъ соотечественниковъ, онъ проповѣдуетъ его среди поляковъ, этихъ Донъ-Кихотовъ политическаго космополитизма. Мы не настолько свѣдуши, чтобы оцѣнить какимъ-либо образомъ цѣнность упрековъ, которые Искандеръ посылаетъ русскому правительству, но во всякомъ случаѣ можемъ только порицать его выводы, которые идутъ въ разрѣзъ съ чувствомъ патріотизма».

Французскій публицистъ Теофиль Торэ прислалъ Герцену въ концѣ 1852 г. очень большое письмо, которое привожу въ переводѣ:

«Любезный Герценъ, я только-что съ величайшимъ интересомъ прочиталъ вашу книгу, проливающую яркій свѣтъ на Восточную Европу, которая, несомнѣнно, будетъ играть главную роль въ революціи 19-го столѣтія Франція и западная часть Европы, кажущаяся центромъ или, по крайней мѣрѣ, боевой ареной революціи, живутъ въ неизъяснимой и роковой апатіи и невѣжествѣ межъ двухъ элементовъ, которыхъ онѣ не понимаютъ и которые, между тѣмъ, представляютъ собою оба конца революціонной цѣпи,— между Россіей и Америкой.

«Древняя міровая традиція учитъ насъ, что человѣчество подвигается на земномъ шарѣ съ Востока на Западъ; это очевидный фактъ, обладающій всей достовѣрностью историческаго закона: Индія, Персія, Египетъ, Этрурія,

Греція, Римъ — тутъ вся исторія древности. Человѣчество воспламеняется о свѣточъ Востока и безпрестанно оборачивается, чтобъ передать свѣтъ Западу. Оно, можетъ быть, уже не разъ обошло земной шаръ. Болѣе пятнадцати лѣтъ назадъ я смутно выразилъ въ «Encyclopédie Nouvelle» эту идею, которая подтверждается и уясняется всѣми современными событіями. Итакъ, чтó же стануть дѣлать по ту сторону океана всѣ эти миллионы европейскихъ эмигрантовъ? Чтó дѣлала здѣсь Россія въ началѣ этого вѣка и какая роль предназначена ей въ предстоящей великой разрухѣ? Бѣдные революціонеры, видящіе только узкій кругъ Франціи и смежныхъ съ нею странъ, только небольшую, теперь распавшуюся кучку народностей, которая составляла раньше католическій міръ, мечутся болѣзненно и слѣпо, такъ какъ не охватываютъ взоромъ всю совокупность революціи. Такъ называемая «европейская демократія», хотя и кажется обширной, все еще погружена въ обособленность и эгоизмъ. Предразсудки ревниваго національнаго чувства и высокобѣрной цивилизаціи все еще мѣшаютъ имъ подняться на высоту дѣйствительно всемірной, *общечеловѣческой* мысли, — потому что теперь рѣчь идетъ именно о человѣчествѣ. Теперь преобразуется весь старый укладъ жизни религіозный, политическій, экономическій, какъ въ эпоху римскаго упадка; всѣ народы захвачены этимъ процессомъ перерожденія, и каждый имѣетъ сказать какое-нибудь слово, чтобы разрѣшить загадку и побѣдить сфинкса.

«Въ этомъ отношеніи ваша книга драгоценна и совершенно нова. Въ ней равно отразились историкъ и философъ, политикъ и истинный революціонеръ. Было бы въ высокой степени полезно, если бы всѣ, у кого есть идеи, такимъ же образомъ слагали ихъ на алтарь всеобщей революціи. Апостолы и борцы, разсѣянные по всѣмъ путямъ гоненіями стараго міра, могли бы достигнуть истины и побѣды, если бы соединили свои умы и свое мужество. Но мы сидимъ, забившись, каждый въ своей крохотной кельѣ, вмѣсто того, чтобы сложить въ одинъ великій священный костеръ всѣ наши доблестные факелы. Почему мы не передаемъ другъ другу тѣ знанія, которыя мы приобрѣли ученіемъ и размышленіемъ? Вѣдь, каждый изъ насъ стоитъ на другой точкѣ зрѣнія, каждому его національность, воспитаніе и жизненный опытъ дали иныя способности, другое призваніе. Революціонеры могли бы теперь образовать одинъ большой соборъ, гдѣ были бы представлены всѣ стдѣльные ноты человѣческой жизни и гдѣ, безъ сомнѣнія, онѣ обрѣли бы свою гармонию.

«Даже печатный станокъ могъ бы его замѣнять лишь въ извѣстной мѣрѣ, и то, если бы существовала хоть одна страна, въ которой всѣ мыслители могли бы писать. Но теперь трудно не только печатать книги, трудно даже доставать то, чтó уже было напечатано. Тысяча роковыхъ обстоятельствъ заглушаетъ мысль и тормозитъ печать. Посудите сами: я, вашъ знакомый, прочелъ вашу книгу лишь спустя два года послѣ ея выхода въ свѣтъ!

«Какимъ же способомъ можно сблизить идеи и освѣтить ихъ одну другою? Какъ организовать взаимное обученіе великой политической богемы, блуждающей въ изгнаніи и призванной современемъ обучить народы? Какъ

жаль, что мы не пользуемся, по крайней мѣрѣ, нашими встрѣчами внѣ нашихъ отчизнъ, чтобы приготовить ту общую отчизну, которую мы ищемъ, — свободу и истину! Среди современныхъ неудачъ революціи и социализма больше всего огорчаетъ меня мысль, что всѣ эти побѣжденные нынѣшняго дня не укрѣпляются, чтобы побѣдить въ близкомъ будущемъ. Отдѣльныя личности и народы рискуютъ впасть въ тѣ же ошибки, которыя только-что поглотили безслѣдно столько жертвъ, столько страданій и героизма. Еслибъ социализмъ былъ понятъ въ своей всеобщности, онъ спасъ бы будущую революцію. Но, къ несчастью, большинство революціонеровъ не заботится о томъ, чтобы что-нибудь понять.

«О нихъ можно сказать, какъ и о Бурбонахъ, что они ничему не научились и ничего не забыли, — несмотря на весь рядъ испытаній, столь быстро смѣнявшихся и столь поучительныхъ, послѣднихъ лѣтъ.

«Ваша книга меня сильно поразила. Въ то время, какъ Франція и западная часть Европы составляютъ свои крохотные революціонные проекты, въ то время, какъ наиболѣе смѣлые мыслители революціи включаютъ въ движеніе будущаго три или четыре народа, — какъ напримѣръ, Францію, Италію, Германію, — и считаютъ, что это уже очень много съ ихъ стороны, а на Россію смотрятъ лишь, какъ на врага, — вы вдругъ заявляете: «Осторожнѣй! Насъ здѣсь *пятьдесятъ милліоновъ*, тоже людей. Въ вашихъ глазахъ мы не больше, какъ угроза. Но вы ошибаетесь; революція, которой вы считаете себя представителями, гораздо шире; ея охвачено все человѣчество! И мы, кого вы называете *варварами*, мы такъ же близки къ истинѣ, какъ вы, образованные! Но мы можемъ быть ближе къ социализму, чѣмъ вы. У насъ нѣтъ, какъ у васъ, массы учреждений, которыя стѣсняли бы насъ, и, наоборотъ, у насъ много старыхъ учреждений, наивныхъ и зачаточныхъ, которыя легче могутъ быть обращены на службу новому, нежели вся мишура вашей цивилизаціи. Вы воображаете себя великими философами, и не знаете даже того, что вотъ уже тридцать лѣтъ наша страна служитъ ареною борьбы для всѣхъ вашихъ идей и кладбищемъ для борцовъ и героевъ, которые страдали и умерли за эту же истину». Вотъ что вы открываете западнымъ революціонерамъ, которые и не подозревали, что ихъ дѣло имѣетъ такіе размѣры. Потому-то и было бы полезно, чтобы такую книгу, какъ ваша, прочитали всѣ безпокойные умы, ищущіе смысла и средствъ революціи, всѣ впавшіе въ уныніе, которые въ виду частичнаго и временнаго пораженія не догадываются, что революція неотвратима и что она оживетъ всюду, каковы бы ни были промахи и ошибки людей, неумѣлость и трусость партій.

«Теперь позвольте мнѣ также сказать вамъ, что ваша книга недостаточно ясна для людей, не посвященныхъ заранѣе въ столь мало извѣстную исторію Россіи. Вы удивительно схватили глубокія черты, характеризующія вашъ народъ и его традиціи, предрасполагающія его къ новизнѣ; но для воспитанія читателя были бы нужны болѣе методическое изложеніе и болѣе выпуклый анализъ. При небольшомъ усилии эта книга могла бы стать моральной исторіей и живымъ портретомъ Россіи, а въ настоящемъ своемъ видѣ она заставляетъ обо многомъ лишь догадываться, потому что авторъ считаетъ своего

читателя уже освѣдомленнымъ; но, тѣмъ не менѣе, она внушаетъ желаніе узнать все. Пишите же другія книги: у васъ есть много о чемъ намъ разсказать. Сожалѣю, что у меня нѣтъ газеты или журнала, которые были бы мнѣ открыты: я непременно напечаталъ бы изложеніе вашихъ «Революціонныхъ идей въ Россіи».

«Вы видите, чтеніе вашей книги заставило меня разговориться. На дняхъ я къ вамъ зайду въ ваше убѣжище, Примрозъ, чтобы продолжать мою бесѣду.

Пока жму вамъ руку. Примите чувства моей преданности.

Т. Т.»

(Переводъ М. О. Гершензона, заимствую изъ V кн. «Былого» 1907, съ поправками и дополненіями по подлиннику, хранящемуся въ семьѣ Герцена).

Упомянувъ объ извѣстной статьѣ Чаадаева, который, по мнѣнію Мишле, уложилъ Россію въ могилу, французскій историкъ не желаетъ подписаться подъ такимъ приговоромъ, видитъ въ этой могилѣ искру и продолжаетъ такимъ образомъ:

«Искра! Не въ той ли она чудной брошюрѣ, которая только что появилась? Авторъ ея,—русскій по рожденію, но также съ благороднѣйшею ¹⁾ рейнскою кровью въ жилахъ,—пишетъ на нашемъ языкѣ съ замѣчательною, героическою силою, которая раскрываетъ его псевдонимъ и всюду показываетъ великаго патріота. Я читалъ брошюру и перечитывалъ ее десять разъ — прямо столбенѣя отъ изумленія и восхищенія. Мнѣ чудились въ ней древніе герои-великаны Сѣвера, начертавшіе своимъ безпощаднымъ мечомъ осужденіе нашего жалкаго міра... Увы! это приговоръ не только для Россіи, но и для Франціи, и для Европы. Мы бѣжимъ изъ Россіи,—говорить онъ,—но все и всюду есть Россія; Европа — тюремный карцеръ». Однако, пока въ Европѣ есть еще такіе люди, ни въ чемъ еще не нужно отчаиваться» (J. Michelet, «Pologne et Russie—Légende de Kosciusko», 1852, стр. 130).

Томасъ Карлейль писалъ Герцену 13 апрѣля 1853 г.:

«Дорогой сэръ, я прочиталъ вашу краснорѣчивую рѣчь о русскихъ революціонныхъ дѣлахъ. Она обнаруживаетъ могучій духъ и высокій талантъ въ разнообразныхъ отношеніяхъ; въ особенности въ ней чувствуется тонъ трагической серьезности,—въ этомъ не ошибется читатель и не отнесется легко къ автору, что бы онъ ни думалъ о вашей программѣ и вашихъ пророчествахъ относительно Россіи и міра.

«Что касается до меня, я долженъ признаться, что никогда не имѣлъ и теперь не питаю (еслибы то и было возможно) ни малѣйшей надежды на «всеобщее голосованіе» или на какое бы то ни было его видоизмѣненіе: если признать, что при смертельныхъ болѣзняхъ политическаго тѣла могутъ быть полезны нѣкоторые тяжелые кризисы, то я съ гораздо большею охотой отдалъ бы предпочтеніе самому царизму или даже турецкому режиму, нежели чистѣйшей *анархіи*, къ которой приводятъ парламентское

¹⁾ Здѣсь слово «благороднѣйшій» — не синонимъ аристократически-дворянскаго.

красноръбіе, свобода печати и счетъ голосовъ. «Ахъ, мой милый Зульцеръ, онъ не знаетъ этой проклятой расы!» — сказалъ, однажды Фридрихъ прусскій. И эти слова выражаютъ печальную истину. Въ вашей обширной странѣ, на которую я всегда смотрѣлъ, какъ на огромное и темное «мѣсто Провидѣнія», мысли которой до сихъ поръ не извѣстны, очевидно, падаетъ въ настоящее время одинъ талантъ, въ которомъ она имѣла преимущество, дававшее ей большую силу надъ другими націями, талантъ (необходимый для всѣхъ націй и для всѣхъ людей, и непреклонно требуемый отъ нихъ подъ угрозой уголовныхъ наказаній), — *талантъ повиновенія*, — который какъ разъ теперь вышелъ изъ почета въ другихъ частяхъ Европы! И я никогда не сомнѣвался или не могу сомнѣваться, что лишь недостатокъ его заставить, рано или поздно, заложить послѣдній фартингъ и приведетъ къ огромнымъ банкротствамъ. Таково мое печальное убѣжденіе въ это революціонное время.

«Несмотря на всѣ эти разногласія, мнѣ доставитъ истинное удовольствіе, если вы какъ нибудь, когда будете въ городѣ, навѣстите меня; я не лишаю себя также надежды самому забрести, въ одну изъ моихъ экскурсій, въ Чѣмпи и имѣть случай лишній разъ побесѣдовать съ уважаемымъ и умнымъ человѣкомъ, что всегда составляетъ для меня удовольствіе.

«Съ благожелательными чувствами и добрыми пожеланіями остаюсь Вашъ, совершенно искренно,

Т. Карлейль».

Въ VII томѣ (1 сентября 1854 г.) «Revue des Deux Mondes» Н. Delaueau такъ отнесся къ этому сочиненію: «Въ этой работѣ авторъ пытается доказать, что Россія на вулканѣ, но мы можемъ сомнѣваться въ его правѣ дѣлать такое утвержденіе по двумъ причинамъ: во-первыхъ, онъ не живетъ въ этой странѣ, во-вторыхъ, въ Россіи, какъ и во всѣхъ деспотическихъ государствахъ, совершенно невозможно знать общественное мнѣніе. Что въ настоящее время въ Россіи есть революціонное броженіе, это несомнѣнно; Герценъ не сумѣлъ удержаться отъ нѣкоторыхъ преувеличеній, распространенныхъ имъ либо съ злымъ умысломъ, либо по легкомысленности. Неужели правда, напримѣръ, что число русскихъ помѣщиковъ, ежегодно убиваемыхъ своими рабами, составляетъ въ среднемъ, какъ онъ указываетъ, отъ 60 до 70? Мы имѣли случай провѣрить эту цифру нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Россіи и можемъ увѣрить читателей, что среднее число было всего 16 въ годъ. Такимъ образомъ г. Герценъ болѣе чѣмъ утроилъ это число. Этимъ мы, конечно, не говоримъ, что вся книга не имѣетъ никакого значенія. Какъ во всѣхъ другихъ произведеніяхъ Герцена, здѣсь есть глубокія мысли и, главнымъ образомъ, удачныя остроты. Прибавимъ, что характеръ славянской народности и роль, которую Россія сыграла въ прошломъ, опредѣлены съ замѣчательной справедливостью. Но всѣ, безъ сомнѣнія, будутъ согласны, что г. Герценъ менѣе достоинъ похвалы, когда онъ откладываетъ въ сторону перо историка, чтобы взяться за пророчества, а это онъ дѣлаетъ нѣсколько разъ».

Получивъ нѣмецкое изданіе 1854 года, Арнольдъ Руге писалъ Герцену:

«Дорогой другъ, большое спасибо за вашу брошюру и ваше дружеское письмо. Вы просите меня написать по поводу предисловія. Я колеблюсь, такъ какъ оно содержитъ опять два вашихъ большихъ недостатка наряду съ вашими крупными достоинствами, и я не могу говорить о вашихъ заслугахъ, не упоминая въ то же время объ этихъ вашихъ застарѣлыхъ и ставшихъ неотдѣлимыми отъ васъ недостаткахъ. Я говорю о вашихъ русскихъ и коммунистическихъ причудахъ. Я говорю «причудахъ» потому, что философъ, который пишетъ противъ Германіи по-русски національно и по-русски высокомерно, можетъ дѣлать это лишь изъ «причуды», а философъ, который утончилъ, если не сказать, извратилъ діалектику до софистики, не можетъ сдѣлать догму изъ коммунизма *безъ эгоизма*, изъ само-потери въ безцвѣтной и безсердечной коммунѣ.

«Если бы представить себѣ, что вы при помощи вашей пропаганды завоюете весь міръ для Россіи и крестьянской коммуны, то вы были бы опаснѣйшимъ врагомъ человѣческаго рода. Развѣ простая случайность, что Россія съ ея крестьянскими общинами и царями стала тѣмъ, что есть,—очагомъ чумной заразы и пугаломъ?

«Вы знаете, какъ сильно и постоянно интересовали меня ваши разъясненія о Россіи. Этотъ интересъ не уменьшился отъ великолѣпной идеи вашего братскаго союза съ поляками. Но тотъ фактъ, что даже самые свободные изъ русскихъ, какъ вы и Бакунинъ, остаются еще русскими націоналистами, еще гордятся этимъ чудовищнымъ отечествомъ, еще насмѣшливо относятся къ намъ, вашимъ тиранамъ, что вы заигрываете съ варварствомъ и коммунизмомъ, что вы думаете, что этотъ пошлый безличный сбродъ можно приравнять къ гордымъ, свободнымъ личностямъ, разрушающимъ старый міръ, къ старымъ германцамъ,—это, дѣйствительно, горестное откровеніе.

«Вы бросаете намъ перчатку въ лицо. Я боюсь ее поднять, опасаясь собственнаго гнѣва. Я презираю національную гордость, даже когда она обоснована; а по истинѣ, рабы нѣмцевъ не имѣютъ основанія называть ихъ рабами. Они сначала должны доказать, что знаютъ, что этотъ титанъ—рабъ, и относиться къ нему, какъ къ таковому. Убить одного тирана ради другого не будетъ цѣлесообразно. Когда удивляются успѣхамъ официальной Россіи; то удивляются, по вашему собственному мнѣнію, успѣхамъ нѣмцевъ, которые ушли такъ далеко въ организациі абсолютнаго рабства.

«Когда дѣло идетъ о русскихъ, вы находите великое будущее въ неподвижной литургіи русскаго коммунизма, безплодіе котораго такъ же старо, какъ онъ самъ. Вы находите въ плутоватой хитрости и остроуміи рабовъ признакъ юности и забываете, что уже у Аристофана и Плавта рабы играютъ ту же роль. А когда вы говорите о старо-германскомъ ганзейскомъ застоѣ, то этимъ самымъ вы считаете поконченнымъ съ Германіей.

«Нѣмцы сыграли свою роль. Да? А кто господствуетъ отъ Камчатки до Остенде? И если русскіе нѣмцы и нѣмецкіе нѣмцы вступаютъ въ связь и соподчиняются, если позоръ нашего времени на этомъ протяженіи является

нѣмецкимъ нахальствомъ и нѣмецкой низостью, то какъ могутъ бѣдные русскіе дойти до того, чтобы это ставилось имъ въ заслугу, чтобы это оцѣнивалось, какъ ихъ успѣхъ? На высокомѣріе русскихъ, какъ и мадьяръ, нѣмцамъ не зачѣмъ отвѣчать, кромѣ указанія на ихъ собственные спинныя нервы.

«Высокомѣріе нѣмцевъ, русскихъ и мадьяръ—одна лишь грубость.

«Но тотъ, кто на сѣверъ и на востокъ отъ нашей границы достигъ умственныхъ успѣховъ и приобрѣлъ часть свободнаго человѣка, тотъ питался нѣмецкимъ духомъ и нѣмецкой свободой.

«Русскіе, мадьяры и поляки, игнорирующіе насъ и желающіе вычеркнуть отнынѣ изъ исторіи, ошибаются. Они никогда не станутъ свободными людьми раньше, чѣмъ не сдѣлаемся ими мы.

«Роль старыхъ германскихъ варваровъ точно такъ же немыслима для теперешнихъ претендентовъ на варварство, славянъ. У нихъ нѣтъ ни свободы, ни гордости, ни силы, ни сознанія германскихъ варваровъ. вмѣсто того у нихъ царятъ рабство, розги, неспособность къ сопротивленію и безсознательность. Развѣ могутъ они, эта армія контръ-революціи, съ такими средствами разрушить германскій міръ, включая Англию и Америку? Думаете ли вы, что Николай завоюетъ Вашингтонъ или что славяне внезапно поплывутъ по всѣмъ морямъ и населятъ всѣ берега,—они, которые до сихъ поръ едва лишь видѣли океанъ, дороги по которому проложили нѣмцы и которыми они владѣютъ.

«Германцы сами разрушили нѣмецкое государство; духовную свободу они поставили на мѣсто средневѣковой тиранніи; они развиваются теперь по всему земному шару, завоевываютъ, населяютъ, колонизируютъ его. Демократической силы нѣмецкаго элемента ни славизмъ, ни панславизмъ, ни руссофильство не могутъ противопоставить ничего равноцѣннаго.

«Германцы породили и провели революцію. Демократія, которую они основали, не доказываетъ еще ничего. Но реализація демократіи доказываетъ все. И кто же можетъ ее реализовать, какъ ни тотъ, кто всегда инстинктивно стремился къ ней и ясно сознаетъ ея принципы?

«Безъ нѣмцевъ нѣмецкая тираннія нашего времени не будетъ разрушена ни въ Петербургѣ, ни въ Вѣнѣ, ни въ Берлинѣ. И я боюсь, что когда она будетъ разрушена, славяне не будутъ друзьями свободы. Они воспитаны въ системѣ, послѣдствія которой разрушаютъ ихъ разумъ и развращаютъ ихъ сердце. Масса этихъ полныхъ надеждъ юношей явится рабской, ханжеской, насильнической. Какъ же она внезапно станетъ свободно мыслить и учиться свободно дѣйствовать?

«Но достаточно *національных* противопоставленій. Они безконечны, потому что ограниченны. Намъ надо довѣрять всемірной мысли, которая столь часто проносилась очистительной бурей по волнамъ и потрясала всѣ сердца, даже самыя неподготовленныя.

«Но революція не можетъ быть соціальной, не будучи денационализирована, и истинный коммунизмъ является общежитіемъ не рабовъ, а свободныхъ индивидуумовъ». (A. Ruge, «Briefwechsel und Tagebuchblätter» etc. II, 147—148).

По мнѣнію М. О. Гершензона, «эта умная книжка значительно устарѣла, но не въ томъ смыслѣ, чтобы высказанныя въ ней мысли были опровергнуты или во многомъ исправлены позднѣйшими изслѣдованіями. Есть и это, но лишь въ малой степени; книжка же Герцена устарѣла потому, что множество историческихъ обобщеній и наблюденій, высказанныхъ имъ здѣсь впервые, сдѣлались съ тѣхъ поръ общимъ достояніемъ и утратили блескъ новизны. Работа Герцена была, дѣйствительно, первою попыткою прослѣдить развитіе революціонныхъ идей и освободительнаго движенія въ русскомъ обществѣ... Такъ книжка Герцена постарѣла, не устарѣвъ» («Научное Слово» 1905, X, 94—95).

Проф. Ив. Ив. Ивановъ и это сочиненіе Герцена цѣнить не выше другихъ, о которыхъ высказалъ свое мнѣніе. Вотъ что онъ *буквально* говоритъ: «Все тѣ же идеи — у Россіи нѣтъ исторіи, есть «позоръ, ее осквернившій,»—раздѣлъ Польши, ея единственное счастье—«соціалистическій элементъ». Дальше обзоръ исторіи, недостойной быть исторіей: «съ ужасомъ отскакиваешь» отъ московскаго періода, съ отвращеніемъ — отъ петербургскаго, являются, наконецъ, первые революціонеры — декабристы и первый въ Европѣ соціалистъ — Пестель, правительство побѣждаетъ и сурово караетъ, а «народъ безмолвствуетъ,» — и онъ виноватъ: «есть ненависть въ нашей любви, — говоритъ Герценъ, — мы возмущены, мы упрекаемъ народъ такъ же, какъ и правительство, въ томъ состояніи, въ которомъ мы находимся». А себя? Врядъ-ли: иначе Бакунинъ даже по пріятельству и мимоходомъ не заслужилъ бы имени «глубокаго мыслителя,» а Герценъ не сочинилъ бы русской исторіи, гдѣ иностранцы не могли найти ничего русскаго и ничего историческаго, не могли разсчитывать и въ будущемъ на «русскую исторію»: народъ, допустившій въ теченіе тысячи лѣтъ дѣлать свою исторію людямъ ему чуждымъ и даже враждебнымъ, — врядъ ли способенъ взять, наконецъ, дѣло въ свои руки. Что-нибудь одно,—или досегодняшняя исторія, какой бы жалкой и презрѣнной ни казалась европейцамъ съ Кузнецкаго Моста и съ Невскаго проспекта, — удовлетворяла народъ и онъ даже неразъ спасалъ ее, когда ей грозила опасность прерваться,—или вообще русскій народъ одна лишь «географія», по выраженію Герцена, и никогда не быть ему «исторіей». Во всякомъ случаѣ послѣ «исторіи» Герцена иностранцы могли впасть въ полное недоумѣніе или окончательно махнуть рукой на «москвитовъ», какъ на низшую расу—въ родѣ неисторическихъ самоѣдовъ и эскимосовъ» (стр. 236—237).

Въ изданіи 1851 года.

Стр. 316—17 св. Послѣ «католичество»: «Христіанское населеніе полуострова, полуварварское, но энергичное и полное жизни, было бы оболванено католицизмомъ, какъ чехи въ Богеміи и кроаты въ Банатѣ».

» 319—20 св. Послѣ «духовенства»: «Духовенство не прибѣгало, для распространенія этихъ идей, къ пропагандѣ: русская церковь никогда

ничего не проповѣдовала, она ограничивалась предписаніями религиозныхъ обрядовъ и оставляла свое стадо блуждать, не занимаясь его совѣстью. Менѣе чѣмъ когда-либо идея проповѣдованія могла прийти на умъ духовенству XV-ю столѣтія. Народъ былъ еще кое чѣмъ и даже многимъ въ Новгородѣ или въ Украинѣ, но онъ былъ ничѣмъ въ центральной Россіи: Москва сдѣлалась резиденціею духовной іерархіи. Народъ былъ свергнутъ съ престола царемъ, какъ раньше имъ были свергнуты удѣльные князья,—вольности исчезали одна за другою; духовенство только и думало, что о своемъ вліяніи на царя».

- » 320— 3 сн. Послѣ «происхожденія»: «выбранивъ передъ тѣмъ русскій характеръ».
- » 339— 9 сн. Послѣ «русскій крестьянинъ»: «какъ сказалъ самъ императоръ Николай Кюстину».
- » 343—15 сн. Послѣ «разгуль»: «Зубовыхъ и»
- » 347— 7 сн. Послѣ «за дѣло». «Говорятъ, что»
- » 348— 6 сн. Не было: «въ началѣ XVIII вѣка».
- » 352— 2 св. Къ слову «усвоены» примѣчаніе: «Н. Тургеневъ, напримѣръ, все еще не можетъ опомниться отъ удивленія въ одномъ сочиненіи, напечатанномъ имъ двадцать лѣтъ спустя».
- » 358—21 сн. Не было: «читаннымъ имъ въ Collège de France», а вмѣсто того было отсюда примѣчаніе: «Мицкевичъ читалъ исторію славянской литературы въ Парижѣ, въ Collège de France».
- » 361—18 сн. Послѣ «----» «идеаль Фридриха II и его отца».
- « 362—21 сн. Послѣ «(становыхъ приставовъ)»: «которую учредили въ 1835 году».
- » 364—13 св. Послѣ «14 декабря» шла первая фраза примѣчанія, которое относилось къ слову «обозрѣнія» и начиналось вмѣсто нея другою: «Факты, которые я буду приводить, — воспоминанія; я изъ исторіи перехожу въ автобіографію. Мнѣ нужно пройти съ читателемъ возлѣ дорогихъ мнѣ могилъ, и онъ долженъ мнѣ простить, когда, открывая эти гробы, чувства переселятъ во мнѣ идеи».
- » 367— 2 сн. Не было: «это уже дѣлается».
- » 372— 6 сн. Послѣ «Веневитиновъ»: «Онъ вышелъ изъ простого народа, полный надеждъ».
- » 374— 7 сн. Послѣ «мысли»: «которыя съ каждымъ днемъ дѣлаются все болѣе распространенными».
- » 375— 4 св. } Не было: «когда Лермонтовъ.....
- » » 7 св. } свое слово».
- » 377 14 св. } Вмѣсто «Кто безъ «Записки охотника?»: «Наши опыты
- » » 16 св. } провинціальныхъ разсказовъ невѣрны или же неизбѣжно походятъ на производящія тяжелое впечатлѣніе «Записки охотника» И. Тургенева и на «Антоня Горемыку».
- » 377— 7 сн. Послѣ «Ревизоръ»: «О, иронія, святая иронія, — говорилъ Прудонъ,—позволь мнѣ тебя боготворить!»

- » 382—21 св. Вмѣсто «могли сколько угодно твердить»: «справедливо говорили, съ своей стороны, что они не хотѣли возвращенія къ невозможному прошедшему; они думали».
- » 387— 9 св. Послѣ «сознанія»: «Въ такихъ случаяхъ надо поступать, какъ Брутъ у Шиллера, который, встрѣтивъ на томъ свѣтѣ Цезаря, спросилъ его, по какой дорогѣ онъ идетъ, для того спросилъ, чтобы итти по дорогѣ обратной, не думая о томъ, куда она ведетъ. Славяне до сихъ поръ такъ не поступали».
- » 387—17 сн. Послѣ «народа исчезнуть»: «Можно сомнѣваться, чтобы народъ сохранилъ свою національность, а цивилизованные классы свое просвѣщеніе безъ дѣятельнаго принципа индивидуальности».
- » 393— 2 сн. Послѣ «до сихъ поръ щадила»: «Мы не сомнѣваемся, что они при первомъ случаѣ покажутъ себя, и этотъ случай представляется совершенно естественно въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ».
- » 394— 4 сн. Послѣ «вышло?»: «Гоголь занялъ роль посредственнаго автора, подозрительнаго человѣка».
- » 396— 4 св. Послѣ «приближенные царя»: «Но у нихъ было много горячихъ противниковъ,—все»
- » 399— 1 св. Послѣ «Достоевскій»: «извѣстный беллетристъ».
- » 403—12 сн. Конецъ главы:

Прежде чѣмъ закончить, необходимо вскрыть нарождающійся революціонный элементъ, который растетъ и будущность котораго несомнѣнна.

Издавна многіе русскіе поселялись за границей. Дворянская грамота обезпечивала это право за всѣмъ этимъ классомъ народа, и никакой государь, до Николая, не помышлялъ его оспаривать. Они эмигрировали по причинамъ политическимъ или по личнымъ непріятностямъ.

Адмиралъ Чичаговъ, командовавшій при Березинѣ, и генералъ графъ Остерманъ-Толстой, побѣдитель подъ Кульмомъ, оставили отечество. Но Тургеневъ ¹⁾, одинъ изъ заговорщиковъ 14 декабря, остался во Франціи, чтобы спастись отъ наказанія, къ которому онъ былъ приговоренъ. Другіе уступая религіознымъ вліяніямъ, приняли іезуитство.

Но то были только отдѣльные факты, которые не могли образовать ядра эмиграціи за неимѣніемъ общей идеи и общей цѣли дѣятельности.

Вотъ уже десять лѣтъ, какъ русскіе поселяются во Франціи, не только для того, чтобы быть за границей или для отдыха, но для того, чтобы громко протестовать противъ *петербургскаго* деспотизма, чтобы работать надъ дѣломъ общаго освобожденія. Не дѣлаясь вовсе иностранцами, они становились свободными органами молодой Россіи, ея толмачами.

И это вовсе не случайный фактъ.

Эмиграція есть первый признакъ приготавливающейся революціи.

Она удивляетъ въ Россіи, тамъ къ ней не привыкли. Однако же, во всѣхъ странахъ, въ началѣ реформъ, когда мысль бывала слаба, а сила матеріальная безгранична, люди съ сильнымъ убѣжденіемъ, съ настоящею вѣрой, съ истинною преданностью бѣжали въ чужія земли, чтобы оттуда

¹⁾ Николай Ивановичъ.

заставить слушать свой голосъ. Удаленіе, добровольная ссылка придавала ихъ словамъ силу и высшій авторитетъ; они доказывали, что ихъ убѣжденія были серьезны.

Мы убѣждены, что пришло время, когда Россія должна проявить свою мысль. Возможно ли это въ самой странѣ? Гдѣ то мѣсто въ Россіи, гдѣ свободный человѣкъ могъ бы дѣйствовать, не дѣлая прискорбныхъ уступокъ? Деспотизмъ возрастаетъ, мысль не можетъ болѣе двигаться, связанная двойной цензурой. Надо молчать или притворяться; надо говорить намеками, полусловами,—говорить на ухо, когда труба едва была бы достаточно, чтобы разбудить уснувшихъ.

Пора намъ оправдаться отъ упрека въ пассивномъ страданіи. Русскіе много претерпѣли, потому что они были молоды и ничего не было зрѣло ни у нихъ, ни за границей. Это время проходитъ. Можно заставлять людей молчать только до тѣхъ поръ, пока потребность говорить не сильна и идея слаба. Нѣтъ возможности сдвинуть мужественную мысль, сильную волю. Если онѣ не разбиваютъ препятствіе, онѣ избѣгаютъ преслѣдованія. Придушите съ одной стороны, онѣ появятся съ другой.

Въ настоящее время, слѣдовательно, эмиграція есть самый значительный актъ оппозиціи, какой только русской можетъ совершить. Правительство такъ именно и поняло. Оно едва разсчитывало, чтобы можно было имѣть смѣлость остаться, когда вызываютъ, имѣть храбрость отказаться отъ своего отечества и своихъ имѣній. Отказъ Ивана Головина возвратиться на родину такъ удивилъ императора, что тотъ отвѣтилъ изданіемъ невѣроятнаго указа о паспортахъ. А Бакунинъ поступилъ такъ въ Швейцаріи. Оба оставили въ Россіи обезпеченное положеніе и блестящую карьеру. Разъяренное правительство приговорило ихъ, при помощи своего правительствующаго сената, къ каторжнымъ работамъ, — наказаніе чудовищное, нелѣпое, неслыханное, потому что оно примѣнено къ лицамъ, не явившимся въ судъ, *за то именно, что они не явились!*

Царизму выпало на долю сдѣлать такое прекрасное изобрѣтеніе, поражать такимъ образомъ людей за то, что они предпочитаютъ жить подъ такимъ-то градусомъ долготы и широты, а не подъ другимъ.

Эмигранты не остались бездѣтельными. Бакунинъ, глубокой мыслитель, горячій пропагандистъ, былъ однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ социалистовъ, гораздо ранѣ революціи 24 февраля. Артиллерійскій офицеръ, онъ оставилъ пушку, чтобы изучать философію, а нѣсколько лѣтъ спустя онъ покинулъ отвлеченную философію для философіи конкретной, для социализма. Бакунину не могло нравиться то философское спокойствіе души, въ которомъ прятались берлинскіе профессора. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ, которые протестовали въ Германіи (въ газетѣ Руге) противъ этого бѣгства въ абстрактныя сферы, противъ этого нечеловѣческаго и безсердечнаго воздержанія, которое совершенно не хочетъ участвовать въ трудахъ и тягостяхъ современнаго человѣка, ограничивая себя, въ апатическомъ подчиненіи, роковой необходимостью, выдуманной самими профессорами. Бакунинъ не видѣлъ иного средства разрѣшить антиномію между мыслью и фактомъ, какъ борьбу; онъ сталъ революціонеромъ.

Въ 1843 году Бакунинъ, преслѣдуемый швейцарскими реакціонерами и указанный ими русскому правительству, получилъ приглашеніе возвратиться въ Россію. Онъ отказался повиноваться и переѣхалъ въ Парижъ.

Въ 1847 году, въ рѣчи, произнесенной по случаю годовщины польской революціи, онъ протянулъ дружескую руку полякамъ. За это его выслали изъ Франціи.

Послѣ февральской революціи старый міръ зашатался, Германія, славяне заволновались. Бакунинъ отправился въ Прагу и представилъ республиканскую идею на славянскомъ конгрессѣ. Его вліяніе въ Прагѣ на народъ, по указаніямъ самихъ чеховъ, можетъ быть сравнено только съ вліяніемъ Геккера на нѣмцевъ.

Нѣмецкая революція, задушенная въ Австріи, Баденѣ, Пруссіи, сдѣлала послѣднее усиліе въ Саксоніи. Дрезденъ осмѣлился поднять голову, когда Вѣна и Берлинъ, подавленные солдатами, впади въ печальное и угрюмое отчаяніе. Бакунинъ былъ во главѣ этого движенія, онъ предсѣдательствовалъ на собраніяхъ и распоряжался защитой города. Послѣ взятія Дрездена онъ попалъ въ руки враговъ. Его судилъ верховный саксонскій судъ и приговорилъ къ смертной казни. Благочестивѣйшій король саксонскій, страшась крови, замѣнилъ это наказаніе вѣчнымъ тюремнымъ заключеніемъ. Но Австрія захотѣла также принять участіе въ экзекуціи мученика за славянское дѣло. Саксонія выдала Бакунина; его переправили съ кандалами на ногахъ въ Градчину, крѣпость въ Прагѣ, гдѣ и начали слѣдствіе.

Недостойная манія правительствъ искать поживы около палачей другихъ странъ и приканчивать жертвы.

Изъ Градчины Бакунина отправили въ Ольмюць. Говорятъ, что его выдадутъ Россіи...

Пусть же онъ отправляется въ сибирскіе снѣга пожать руки славнымъ старикамъ, сосланнымъ въ 1826 году, пусть онъ отправляется, сопутствуемый нашими пожеланіями, на это огромное кладбище, гдѣ покоится столько мучениковъ за наше дѣло.

Бакунинъ, потерпѣвъ пораженіе вмѣстѣ съ нѣмецкой революціей и отправляясь въ Сибирь за Германію, можетъ быть, наканунѣ войны съ Россію, будетъ служить залогомъ и доказательствомъ той симпатіи, которая существуетъ между народами Запада и революціоннымъ меньшинствомъ Россіи.

Литературные труды Ивана Головина были равнымъ образомъ оцѣнены во Франціи, Германіи и Англии. Со времени напечатанія «*La Russie sous Nicolas I*» въ 1845 году и до «*Mémoires d'un prêtre russe*» въ 1849 году, авторъ не прекращалъ войны съ петербургскимъ деспотизмомъ. Онъ разоблачаетъ то, что русское правительство старается тщательно скрывать, онъ рассказываетъ въ Европѣ то, о чемъ молчатъ въ Россіи. Нужно знать, какъ русское правительство боится общественнаго мнѣнія Европы, передъ которымъ оно дрожитъ, какъ выскочка передъ мнѣніемъ аристократическаго салона, чтобы понять все значеніе писаній Головина.

Изгнанный изъ Парижа, послѣ 13 іюля 1849 года, онъ продолжалъ свою дѣятельность въ Швейцаріи, Англии и Италіи, предавая публичному

осмѣянію петербургскую камарилью, взбѣсившуюся отъ негодованія, камарилью, привыкшую къ поклонамъ и припаданіямъ къ стопамъ. Онъ указываетъ на узкую политику, на развращенную администрацію Россіи, на остальныхъ и посредственныхъ людей, которые двигаютъ этотъ громадный рычагъ, начинающійся у Зимняго дворца и кончающійся у Камчатки; онъ съ жалостью показываетъ ретроградному правительству французской республики его идеалъ сильной власти, стыдя его, что оно собирается стать на буксирѣ московскаго самодержавія.

Это былъ онъ, русскій эмигрантъ, который предсѣдательствовалъ въ Парижѣ въ клубѣ *Братство народовъ*¹⁾, и призванный, какъ свидѣтель въ буржскій верховный судъ, нашель благородныя слова для защиты Польши.

Нашъ другъ Николай Сазоновъ, изгнанный изъ Франціи въ 1849 году, былъ однимъ изъ самыхъ рьяныхъ защитниковъ демократіи въ «*Tribune des Peuples*» и въ «*Réforme*».

...Русская эмиграція — только зародышъ, но зародышъ часто заключаетъ въ себѣ большое будущее. Русская эмиграція будетъ расти, такъ какъ ея своевременность очевидна, такъ какъ она представляетъ не ненависть или отчаяніе, но любовь къ русскому народу и вѣру въ его будущее.

514. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

515. То же.

516. То же.

517. То же.

518. То же.

519. То же.

520. То же.

521. То же.

522. То же.

523. То же.

524. То же.

525. То же.

526. То же.

527. Напечатано въ VII кн. «Голоса Минувшаго» 1913 г., стр. 197; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Повидимому, это — дополненіе къ одному изъ неизвѣстныхъ писемъ. Дата опредѣляется, благодаря указанію на поѣздку во Фрейбургъ.

528. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

¹⁾ Это сообщеніе о президентствѣ Головина въ клубѣ «*Fraternité des peuples*» не подтверждается по справкѣ, сдѣланной въ компетентныхъ источникахъ г. Рязановымъ («Совр. Міръ» 1912, VIII, 168). Возможно, что Головинъ предсѣдательствовалъ всего лишь нѣсколько разъ, замѣняя отсутствовавшаго президента Rebstock'a.

529. Напечатано въ VII кн. «Голоса Минувшаго» 1913 г., стр. 196—197; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

530. Напечатано въ VII кн. «Голоса Минувшаго» 1913 г., стр. 197; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Написано на отдѣльномъ листкѣ, но, повидимому, составляетъ продолженіе одного изъ неизвѣстныхъ писемъ, которое Герценъ могъ написать не раньше 28 іюня,—дня свиданія въ Женевѣ съ Сазоновымъ, и не позже 5—6 іюля, когда письма не были бы уже получены выѣхавшею въ Туринъ Н. А.—ною.

531. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

532. То же.

533. То же.

534. Напечатано въ V кн. «Рус. Обзорѣнія» 1898 г., стр. 267, въ качествѣ «письма Герцена къ неизвѣстному ему лицу». Подлинникъ не найденъ, текстъ данъ по журналу съ поправками явныхъ ошибокъ; напр., дата указана іюнь, между тѣмъ въ іюнѣ въ это время Герценъ не былъ въ Ниццѣ, а въ іюлѣ былъ. Имя адресата устанавливается по двумъ соображеніямъ. Письма напечатаны А. Чумиковымъ; Александръ Александровичъ Чумиковъ, педагогъ и писатель, служилъ въ это время штатнымъ преподавателемъ Николаевского сиротскаго института въ Спб., былъ обезпеченъ небольшимъ состояніемъ, обладалъ хорошимъ образованіемъ, полученнымъ въ Спб. университетѣ и въ Парижѣ въ 1842—44 гг. По справкѣ въ архивѣ вѣдомства, Чумиковъ былъ въ заграничномъ отпуску съ іюня по сентябрь 1851 года. Съ другой стороны, это и слѣдующее письма, въ числѣ другихъ, были въ распоряженіи А. М.—скаго, автора статьи «Герценъ и его корреспонденты» въ въ «Рус. Вѣстникѣ» 1889 г., который называетъ адресата «состоявшимъ на казенной службѣ педагогомъ». Умеръ Чумиковъ въ 1902 г., и разумѣется, въ 1898 г. имѣлъ основаніе не называть себя адресатомъ, боясь привлечь къ себѣ вниманіе большее, чѣмъ пользовался каждый обыватель. Эти соображенія даютъ, мнѣ кажется, достаточное основаніе къ сдѣланному выше заключенію, особенно, если еще принять во вниманіе общественные взгляды Чумикова, немного позже издававшего педагогическій журналъ съ участіемъ начинавшаго Н. А. Добролюбова.

535. Напечатано въ V кн. «Рус. Обзорѣнія» 1898 г., стр. 268—271, тоже въ качествѣ письма къ адресату, неизвѣстному Герцену (см. № 534). Подлинникъ не найденъ, текстъ данъ по журналу съ исправленіемъ явныхъ ошибокъ,—напр., вмѣсто «Колоколь» Колачекъ.

536. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Приписка сдѣлана къ письму Н. А.—ны и дочери Наталіи.

537. Напечатано въ № 63 «L'Avènement du Peuple» 1851 г. (19 ноября) съ полнымъ именемъ Герцена, но въ очень сокращенномъ видѣ; нѣкоторыя купюры были даже означены строчками точекъ; сокращенія были сдѣланы съ разрѣшенія автора; ниже они точно указаны. Заглавіе статьи было иное: «Le peuple russe». Редакція сдѣлала слѣдующее примѣчаніе: «Чтеніе «Демократическихъ легендъ» г. Мишле, напечатанныхъ въ «L'Evénement», побудило на отвѣтъ одного изъ наиболѣе замѣчательныхъ писателей-патріотовъ.

Россіи; трогательное краснорѣчіе его заставитъ биться всѣ сердца. Спѣшимъ напечатать отрывки изъ этого отвѣта для друзей свободы всѣхъ странъ».

Затѣмъ въ началѣ 1852 г. это сочиненіе было выпущено по-французски полностью, въ Ниццѣ, подъ заглавіемъ «Le peuple russe et socialisme. Lettre à M. J. Michelet, professeur au Collège de France».

Третій разъ было повторено по-французски же (изданіе 2-е) въ Jersey 1855 г. З. Свентославскимъ, и одновременно по-англійски въ «The English Republic» 1855 г., томъ IV, подъ заглавіемъ: «The Russian people and socialism. A letter to M. Michelet», и вскорѣ же (1855) выпущено въ Лондонѣ англійской брошюрой (3-е изданіе).

Пятый разъ (изданіе 4-е) напечатано по-русски въ Лондонѣ, 1858 г. съ предисловіемъ издателя Трюбнера, изъ котораго видно, что русскій переводъ былъ пересмотрѣнъ авторомъ. Тамъ же указано, что первое изданіе было извѣстно только въ Пиемонтѣ и Швейцаріи, въ Марсели же французская полиція захватила почти все изданіе «и, по странной разсѣянности, забыла отослать его назадъ, несмотря на требованія».

Наконецъ, появилось въ V т. Жен. изданія и неисправно и съ массою купюръ въ V т. Спб. изд. Полностью вышло, какъ приложение № 1 къ «Основѣ» (редакторъ-издатель В. Яковенко), Спб. 1906 г.

Текстъ данъ по изд. 1858 г.; подлинникъ не найденъ.

Анонимный рецензентъ въ англійской газетѣ отнесся очень сочувственно къ самому Герцену, но категорически не согласенъ съ его высокимъ мнѣніемъ о русскомъ народѣ, разъ онъ могъ терпѣть все, что терпѣлъ. «Если на жестокость правительства и отсутствіе правосудія русскій крестьянинъ отвѣчаетъ лишь хитростью, этой «ироніей грубой силы», то это показываетъ, что онъ не только доволенъ своею судьбой, но и что въ душѣ его очень слабы представленія о совѣсти и правѣ» («The Leader», 1860, № 512). Въ № 152 той же газеты за 1853 г. о брошюрѣ сказано лишь нѣсколько сочувственныхъ словъ.

25 ноября 1851 г. Прудонъ писалъ Хоецкому: «я читалъ отвѣтъ Герцена Мишле. Это очень хорошо, это—лучшее, болѣе искреннее, болѣе категорически выраженное, чѣмъ все до сихъ поръ имъ написанное. Мы, французы, любимъ вещи только точно опредѣленные и обозначенныя. Намъ нужно, чтобы надъ *i* были поставлены всѣ точки; нашъ способъ разсужденія, въ противоположность нѣмецкому, состоитъ въ обращеніи не съ категоріями, а съ фактами. Почти узнаешь славянскій народъ, чувствуешь его, угадываешь послѣ прочтенія этихъ нѣсколькихъ страницъ» («Correspondance de P.-J. Proudhon», IV, 130).

Въ газетѣ „L'Avènement du Peuple“ не было:

Стр. 433 и до 11 св. 434 стр.

» 434—19 св «Великій вопросъ въ успѣхѣхъ».

» » — 9 св. } «Не мѣшало бы взоры невольно обра-

» 436—18 св. } щаются къ востоку».

- » 437—17 сн. } «Вамъ принадлежитъ великая свою на-
 » 441—11 св. } циональность, свои нравы, свой языкъ».
 » » —14 сн. } «Здѣсь логика необходима уважаетъ
 » 444—17 сн. } идею, но не личности».
 » 446— 1 св. } «Вопросы о размежеваніи полосъ до «Къ
 » 448—10 сн. } сожалѣнію, нѣтъ ничего».
 » 449 — 4 св. }
 » 450—10 св. } « ---- » до «Мы русскіе».
 » 450—15 св. }
 » 457— 8 св. } «Но если такъ, не имѣеть ли» до «Россія никогда».
 » » — 7 сн. }
 » 459— 8 св. } «Написавши предыдущее» до «Къ несчастью».
 » 459—20 св. }
 » » — 7 сн. } «Тяжко, ужасно ярмо» до «Для мысли».

538. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ. Приписка къ письму Н. А—ны.

539. Напечатано по-французски G. Monod въ «La Revue» 1907 г., X, по-русски—г. Гершензономъ въ VII кн. «Былого» 1907 г., переводомъ котораго съ нѣсколькими поправками я и пользуюсь.

540. Напечатано: по-русски въ VII кн. «Былого» 1907 г., по-французски въ № 15 «La Revue Bleue» 1908 г. Въ распоряженіи редакціи «Былого» былъ болѣе полный текстъ, чѣмъ опубликованный по-французски потомъ зятемъ Герцена, Габріелемъ Моно; послѣдній опустилъ первые три абзаца и на стр. 478 слова: «Онъ напоминаетъ намъ въ мрачной тюрьмѣ». Напечатанное въ «Быломъ» имѣеть видъ письма къ Мишле, французскій текстъ—статьи. Мною дается русскій текстъ по «Былому», гдѣ, однако, пришлось исправить нѣсколько ошибокъ и неловкостей перевода; французскій текстъ—по названному журналу. Когда томъ былъ уже отпечатанъ, мнѣ удалось найти и французское начало письма-статьи, которое свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ. Мишле такъ и не воспользовался этой статьей Герцена, и она до послѣдняго времени пролежала въ его бумагахъ, но послѣ смерти G. Monod женой его не была найдена.

11 ноября Мишле писалъ Герцену: «Только что съ радостью получилъ вашу прекрасную замѣтку, полную душевной теплоты и благородства, какъ все, что вы пишете. Скажу откровенно, я считаю васъ однимъ изъ самыхъ выдающихся писателей на нашемъ языкѣ; кто же осмѣлится васъ исправлять? Я извлеку большую пользу изъ этого прекраснаго письма для тѣхъ немногихъ словъ, которыя я говорю о Бакунинѣ въ концѣ моихъ «Русскихъ мучениковъ», первый экземпляръ которыхъ вы скоро получите. Но необходимо, чтобы она, кромѣ того, была напечатана *цѣликомъ* въ газетахъ съ прибавкою нѣсколькихъ словъ въ началѣ и въ концѣ. Мнѣ очень хочется, *если вы позволите*, сдѣлать изъ нея такое употребленіе, которое, я увѣренъ, пришлось бы по душѣ бѣдному Бакунину, если бы онъ былъ живъ: именно, использовать ваше письмо для прокормленія семьи, умирающей съ голоду. Я поручу дополнить его одному бѣднягѣ, Эженю Ноэлъ, заслуживающему, впрочемъ, всякаго уваженія, которому приходится содер-

жать жену, дѣтей, отца и мать. Онъ помѣститъ его или въ «Evénement» или въ «National». Въ газетахъ уже было кое что о Бакунинѣ, но я думаю, онѣ не откажутся помѣститъ такую подробную, вразумительную и красно-рѣчивую замѣтку, какъ ваша. Отвѣчайте мнѣ объ этомъ какъ можно скорѣе. Я ничего не предприиму до полученія вашего согласія» (подлинникъ въ семьѣ Герцена; пользуюсь переводомъ г. Гершензона въ IV кн. «Былого» 1907 г. съ весьма незначительными измѣненіями).

541. Напечатано только по-французски въ №№ 13 и 14 «La Revue Bleue» 1908 г. Подлинникъ также не найденъ послѣ смерти G. Monod.

542. Напечатано по-французски G. Monod въ X кн. «La Revue» 1907 г., по-русски—г. Гершензономъ въ VII кн. «Былого» 1907 г.; пользуюсь его переводомъ.

543. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

544. То же.

545. Напечатано по-французски G. Monod въ X кн. «Revue» 1907 г., по-русски—г. Гершензономъ въ VII кн. «Былого» 1907 г.; заимствую его переводъ съ нѣсколькими измѣненіями.

546. Напечатано по-русски г. Гершензономъ въ IV кн. «Былого» 1907 г., стр. 76—77; Мною данъ его переводъ съ нѣкоторыми поправками. Свѣрено съ подлинникомъ хранящимся въ АСГ.

Опечатки и дополненія.

<i>Стран.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Должно быть.</i>
22	10 сн.	Анжелло	Анжело
25	11 св.	XVI	XIV
41	2 сн.	Томазо	Томазіо
57	1 сн.	Боке	Бокэ
86	17 сн.	(;
—	16 сн.).	.
88	10 св.	?(?
—	12 св.).	.
98	15 сн.	становятся	становится
156	14 св.	Каченовскихъ	Каченовскихъ ¹⁾
—	14 св.	Дальмановъ	Дальмановъ ²⁾
—	14 св.	и Венедеевъ.	и Венедеевъ ³⁾

¹⁾ Михаилъ Трофимовичъ, профессоръ, издатель «Вѣстника Европы»; сдѣлавшій въ наукѣ нѣсколько выводовъ, потомъ ею отвергнутыхъ.

²⁾ Фридрихъ-Кристофъ, нѣмецкій историкъ, членъ національнаго франкфуртскаго собранія 1848 г., лидеръ партіи, желавшей основать германскую имперію съ наслѣдственнымъ престоломъ Гогенцолерновъ.

³⁾ Якобъ Венедей (Venedey), нѣмец. писатель; эмигри-

ровалъ изъ Пруссіи въ 1832 г.; вернулся въ Германію послѣ 1848 г. и подавлялъ баденское возстаніе; избранный въ націон. собраніе, принадлежалъ къ лѣвымъ. Въ Парижѣ учредилъ союзъ осужденныхъ эмигрантовъ («alliance des proscrites»), который потомъ превратился въ союзъ справедливыхъ («alliance des justes»): завидовалъ вліянію Г. Гервега; написалъ сочиненіе «Съ этого берега» противъ Герцена, котораго ненавидѣлъ, какъ богатаго эмигранта, и называлъ его «достойнымъ преемникомъ князя Пюклеръ-Мускау». Чтобы понять это, надо знать, что Германъ - Людвигъ Пюклеръ-Мускау (1785—1871), нѣмец. писатель и садоводъ, былъ названъ тогдашней критикой образцомъ писателя блестящаго стиля, но безъ серьезнаго содержанія. Это сочиненіе Венедеева не было издано.

181	1 св.	къ Жозефу	къ Пьеру-Жозефу
184	3 сн.	отеля.	отеля въ Парижѣ.
196		Надъ заглавіемъ	№ 513.
308	16 св.	«Krakehler»	«Krakeleg»
399	1 сн.	Монбелли	Момбелли
410	2 сн.	(А. И. Герценъ. «	(«А. И. Герценъ.
417	22 св.	Ниццѣ	Ниццѣ
418	12 св.	Барманъ	Барменъ
424	20 св.	29—30	29
427	6 св.	Пупоньку	Пупоньку ¹⁾
			¹⁾ А. Х. Энгельсонъ.
484	7 сн.	Александро	Алесандро
526	9 сн.	Дэмулень	Демулень

№ 492bis. Письмо къ неизвѣстному.

28 mars 1850.
Paris.

Hochgeehrter Herr!

Ich habe Ihr Schreiben mit der Einlage v. 200 Th. bekommen. Zwar sind die Druckkosten in Zürich nicht gedeckt dadurch (sie gehen bis auf 910 fr. d. Frn.)—aber die Sache ist abgemacht. Schade nur, dass H. Kapp 800 Ex versprach, anstatt 750, ich werde mich erkundigen, ob man noch 50 Ex. habe. Uebrigens glaube ich, dass man die 2 Edition sehr leicht ausfüllen wird.

Mein Epilogue ist längst geendigt—ich kann es Ihnen schicken; ich möchte in der zweiten Auflage einige Druckfehler vermeiden. Ich werde Sie auch bitten, auf dem Titel meinen russischen Pseudonym zu drucken. «V. a. Uf. Von Iscander».

Ich habe hier ein Artikel gedruckt, das ziemlich «bruit» gemacht hat; ich werde ein Paar Exemp. Ihnen mit dem Epilogue schicken, wenn Sis wünschen.

Ich bin wirklich herzlich dankbar für die Aufnahme meiner 2 Brochuren in Deutschland. Schade, dass ich der deutschen Sprache nicht mächtig bin und brauche immer einen freundschaftlichen Dienst bei der Uebersetzung.

Danken Sie, mein geehrter Herr, dem H. Professor Stahr—sein Buch werde ich noch heute anfangen. Nur der H. Profess. ist ganz in Irrtum, indem er glaubt «Dass der Russe—keiner ist». Geb. in Moskau, habe ich in der Mosk. Universität meine Studien gemacht, im Jahre 1835 wurde ich in das Ural-Gebirg verschickt, und nach 7 jah. Exil verliess ich Russland in den ersten Tagen von 1847; von der Zeit an bleib ich immer in Paris und Jalien ¹⁾). Mein Exil hinderte mich die deutsche Sprache gründlich zu studieren—und ich bitte skandalisiren sich nicht über meine Barbarismen und Slavismen—oder schreib'ich meine Briefe französisch.

Nach einem Monat gehen wir wieder nach Italien (ich glaube, nach Nizza)—übrigens adressieren sie Ihre Briefe immer an das Haus *de Rotschild frères à Paris*.

Ich empfehle mich Ihnen mit der grössten Hochachtung.

A. Herzen.

¹⁾ Als Supplement hat die Russische Regierung im vorigen Jahre alle Güter, die ich hatte, sequestriert.—A. H.

P. S. Vor einigen Monaten habe ich gelesen, dass eine Übersetzung von meinem russischen Roman (von H. Wolfsohn) bei Cotta erschien—unter dem Titel «Wer hat Schuld?» von Iscander—ich kann bis jetzt d. Buch nicht bekommen; sollte dieser Roman gedruckt sein, so würden Sie mich sehr verbinden, wenn sie mir ein Exemp. schickten.

Переводъ.

28 марта 1850.

Парижъ.

Милостивый Государь,

Письмо Ваше со вложеніемъ 200 таллеровъ я получилъ. Правда, расходовъ по цюрихскому изданію они не покрываютъ (последніе достигаютъ 910 французскихъ франковъ), но—дѣло сдѣлано. Жаль только, что Каппъ посулилъ 800 экземпляровъ, а не 750; справлюсь, нѣтъ ли еще 50. Въ концѣ концовъ, я полагаю, что со 2-мъ изданіемъ будетъ очень легко справиться.

Мой «Эпилогъ» давнымъ давно уже оконченъ, я могу выслать его Вамъ. Я хотѣлъ бы избѣжать во второмъ изданіи нѣкоторыхъ опечатокъ и попрошу Васъ на заглавномъ листѣ напечатать мой русскій псевдонимъ—«Съ т. Б. Искандера».

Здѣсь я напечаталъ статью, которая надѣлала много «bruit» ¹⁾; если желаете, я вышлю Вамъ вмѣстѣ съ эпилогомъ два-три экземпляра.

Приемъ моихъ двухъ брошюръ въ Германіи заставилъ меня испытать неподдѣльное чувство сердечной благодарности. Жаль, что я недостаточно владѣю нѣмецкимъ языкомъ и при переводѣ постоянно нуждаюсь въ услугахъ друзей.

Поблагодарите отъ моего имени профессора Штара,—еще сегодня примусь за его книгу. Только профессоръ находится въ заблужденіи, полагая, что здѣсь «и не пахнетъ русскимъ». Уроженецъ Москвы, я учился въ московскомъ университетѣ, въ 1835 былъ сосланъ на Уралъ и послѣ семилѣтней ссылки, въ началѣ 1847 покинулъ Россію; съ тѣхъ поръ я всегда живу въ Парижѣ или въ Италіи ²⁾. Ссылка помѣшала мнѣ основательно изучить нѣмецкій языкъ, и моя просьба: не приходите въ ужасъ отъ моихъ варваризмовъ и руссизмовъ, не то, Вы заставите меня переписываться по-французски.

¹⁾ Шумъ.

²⁾ Въ заключеніе, русское правительство въ прошломъ году конфисковало всѣ мои имѣнія. А. И. Г.

Черезъ мѣсяцъ мы снова уѣзжаемъ въ Италію (вѣроятно, въ Ниццу); впрочемъ адресуйте письма по прежнему, въ Парижъ, братьямъ Ротшильдъ.

Примите увѣренія въ моемъ глубочайшемъ уваженіи.

А. Герценъ.

Р. S. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ я прочелъ, что у Котта появился въ переводѣ Вольфсона мой романъ подъ заглавіемъ «Кто виноватъ?» Искандера. До сихъ поръ не могу достать этой книги; если переводъ, дѣйствительно, напечатанъ, Вы очень обяжете меня, приславъ мнѣ экземпляръ.

№ 501bis. Письмо къ Каппу.

Le 18 Mars 1851.

Nice.

Cher Monsieur Kapp! Je ne sais pas si Vous avez reçu de Zürich 50 exemp. «V. andern Ufer» que je Vous ai fait envoyer, il y 4 mois. Vous me le direz dans une petite lettre, et voilà une nouvelle proposition: je publie un ouvrage sur la Russie sous le titre «Du développement des idées révolutionnaires en Russie»—je voudrais bien envoyer chez M. Mangelsdorf au moins 25 exemp. en commission—le prix sera entre 3 et 3¹/₂ francs. Ecrivez moi comment je dois Vous les expedier. Que fait Jakoby, je voudrais lui envoyer aussi à Königsberg.

Il y a deux semaines que j'ai reçu une lettre de New-York, Votre mère se porte bien, et ses affaires ne vont pas mal.

Adieu. Je Vous salue de tout mon coeur

A. Herzen.

Adresse: Nice Maritime (Piemont), Maison Sue, au bord de la mer.

Переводъ.

Дорогой г. Каппъ, я не знаю, получили ли вы изъ Цюриха 50 экз. «Съ того берега», которые я распорядился вамъ выслать вотъ уже 4 мѣсяца; вы сообщите мнѣ объ этомъ записочкой. А вотъ новое предложеніе: я публикую работу о Россіи подъ названіемъ «О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи»; я хотѣлъ бы выслать г. Мангельсдорфу, по крайней мѣрѣ, 25 экз. на комиссію; цѣна будетъ франка 3—3¹/₂. Напишите мнѣ, какъ я долженъ

вамъ ихъ выслать. Что подѣлываетъ Якоби? Я хотѣлъ бы также послать ему въ Кенигсбергъ.

Двѣ недѣли назадъ я получилъ письмо изъ Нью-Йорка; вашъ братъ ¹⁾ чувствуетъ себя хорошо, и его дѣла не плохи.

Прощайте. Привѣтствую васъ отъ всей души.

А. Герценъ.

Къ № 540.

Monsieur,

Vous avez désiré connaître quelques détails biographiques sur Bakounine. Je suis profondément sensible à l'honneur que Vous me faites en Vous adressant à moi et en me donnant l'occasion de parler de cet homme heroïque avec lequel j'ai été très lié.

Puissent ces notes, écrites à la hâte, vous servir à lui faire une couronne de martyr; il est digne, Monsieur, d'en avoir une tressée par Vos mains.

Vous avez aussi exprimé le désir d'avoir son portrait; avec le temps je parviendrai peut-être à faire venir celui qui a été fait en Allemagne en 1843 et que j'ai vu en Russie. Il est assez ressemblant. En attendant, pour Vous donner une idée des traits de Bakounine, je Vous recommande les vieux portraits de Spinoza, qu'on trouve dans quelques éditions allemandes de ses écrits; il y a beaucoup de ressemblance entre ces deux têtes.

¹⁾ Фридрихъ Каппъ.

Исключенія, сдѣланныя при печатаніи до революціи.

(Напечатано съ одной стороны, чтобы желающіе могли вырѣзать и вклеить на соотвѣтствующія страницы).

11	11 св.	<i>убивать по назначенію начальства,</i>
22	19 св.	оперныя
94	19 сн.	<i>монархіяхъ,</i>
—	17 сн.	<i>величества,</i>
100	10 св.	монархіи,
—	11 св.	монархіи
—	11 св.	республикѣ
—	12 св.	монархіи
—	14 св.	республики
—	16 св.	Монархія
—	19—20 св.	Я на лбу каждого квартальнаго вижу слѣдъ елея, которымъ помазанъ его монархъ. Монархіи
—	22 св.	царю
—		Царская
—	18 сн.	лицо
—		<i>подданное</i>
—	16 сн.	республики.
—	14 сн.	Республикѣ
—	10 сн.	республикѣ,
101	1—2 св.	оно замѣняетъ здравый смыслъ и волю подданныхъ, считаемыхъ за недорослей и дураковъ.

- 18—19 св. Въ монархіи, какъ въ религіи, не можетъ
быть рѣчи о нравственности;
- 19 сн. республики
- 8 сн. дерзкаго
- 7 сн. республика
- 102 3 св. республикѣ
- 8 св. монархъ,
- 9 св. республика.
- 10 св. Республика
- 14 св. и ложная.
- 15 св. самодержавія,
- 16 св. лицемѣрная.
- 17 св. республикѣ
- 18 сн. республикѣ
- 4—3 сн. къ этому насъ приучила монархія.
- 2 сн. опираясь на штыки, мо-
- 103 1—2 св. жетъ насъ бросить въ тюрьму, разстрѣ-
лятъ, сослать — такая власть, которая
должна бы была насъ лишить сна и
покоя.
- 12—14 св. Монархія заинтересована въ отрицаніи
здраваго смысла у людей,—признаніе со-
вершеннолѣтія въ народѣ равняется
отреченію отъ престола.
- 13 сн. республика
- 11 сн. монархія
- 9 сн. республикѣ,
монархіей;
- 8 сн. монархіей
- 7—3 сн. Республика просто приличнѣе, нежели мо-
нархія; власть въ ней, оставаясь тиран-
нической, лишается таинственнаго пома-
занія, лишается опьяняющаго характера
высшей власти, царскаго величія, кото-
рыя притупляютъ человѣческую доблесть,
притупляютъ умъ.
- 2 сн. монархіей, какъ унижительное для рес-
публики
- 112 15 св. Іисусъ Христосъ

- 16 св. однокорытникомъ!
- 114 16 св. царской
- 144 5 св. въ Россіи,
- 145 1 св. раскольниковъ-крестьянъ
- 2 св. петербургскій
- 205 7 св. monarchique
- 18 св. impérial du tzar
- 207 9 св. dégoûtante
- 10 св. ce bouche
- 216 23 св. chassé
- 11 св. un tzar
- 11 св. bridé
- 219 7 св. mais ils ne la sauvèrent que
- 9—10 св. en dehors de toute légalité, sans consulter
le peuple;
- 12 св. Ce fut une élection dictée par la lassitude.
- 13—14 св. du régime pseudo-byzantin;
- 220 11—12 св. de l'absolutisme et de l'arbitraire
- 14 св. des tzars
- 222 9—10 св. de Dieu au palais d'hiver
- 17 св. triste
- 17 св. chrétien,
- 5 св. le fils
- 3—2 св. la défunte tzarine avait tant d'amants!
- 2 св. la légitimité.
- 223 4—5 св. impératrice une cabaretière, femme d'un sol-
dat suédois, devenue depuis la courtisane
- 8—9 св. l'aventurière livonienne qui parlait à peine
le russe,
- 11 св. ou son mépris
- 224 6 св. de ce ridicule,
- 9 св. un demi-fou.
- 11 св. orthodoxe
- 2 св. du tzarisme
- 227 8—7 св. Le trône impérial ressemblait au lit de Cléo-
pâtre,
- 228 17—18 св. en dévergondage crapuleux et en débauche
brutale.
- 19 св. des nuits en orgie

- 21 CB. des boissons fortes au point que,
 — 22 CB. se grisait
 — 24 CB. où elle n'avait pas de moment lucide.
 — 25 CB. vivait maritalement avec
 — 27 CB. couchait
 — 27 CB. avec son amant
 — 4 CH. femme incapable et cruelle
 231 2—6 CB. L'impératrice Élisabeth fit venir de Hol-
 stein son successeur et le maria à une prin-
 cesse d'Anhalt-Zerbst. On trouva le bon et
 simple Pierre III trop allemand. Sa femme,
 encore moins russe que lui, le détrôna, le
 mit en prison et l'y fit empoisonner. Le Comte
 Orloff, s'ennuyant d'attendre l'effet du poison,
 l'étrangla.
 — 21 CH. une stupide
 — 20 CH. à ces amants
 — 19 CH. elle dépouilla
 — 11 CH. de la démence.
 232 18—19 CB. L'orthodoxie grecque
 — 17 CH. de la religion.
 — 10 CH. religieuse
 241 23 CB. des tzars
 243 21 CB. le despotisme
 — 24 CB. pour le mal
 244 6 CB. absurde
 245 7 CH. avec raison
 246 16—15 CH. la justesse et la portée
 247 18 CB. de leur gibet
 — 15—10 CH. le peuple n'a jamais été dupe du nationa-
 lisme de Nicolas; le grand mot qui exprime
 son règne, c'est le despotisme disant: «pé-
 risse la Russie, pourvu que le pouvoir
 reste illimité et intact». Avec cette devise
 sauvage plus de malentendu, et ce fut
 encore le 14 décembre qui força le gou-
 vernement à quitter l'hypocrisie et à arbo-
 rer le despotisme.
 — 9 CH. règne

- 251 23 CB. grands ducs et empereur,
 252 9 CB. la comédie
 — 5 CH. par le sceptre impérial
 253 8 CH. de despotisme
 — 6—5 CH. sans pitié, sans hauteur d'âme médiocre
 254 3 CB. du maître,
 — 17 CB. par Nicolas
 — 21 CB. ce premier corps de garde de l'empire.
 — 23 CB. et illicite
 — 9 CH. à Nicolas
 — 3—2 CH. d'absolutisme
 255 13 CB. la démence
 256 14 CH. l'empereur
 257 3 CB. despotique
 — 17 CB. par Nicolas
 — 2 CH. le despotisme,
 260 11 CH. L'absolutisme
 — 7—6 CH. de Nicolas
 — 1 CH. de l'empereur Nicolas.
 261 4—5 CB. que dans l'esprit d'un gouvernement insensé
 — 22 CH. impardonnable
 262 14 CB. de l'absolutisme
 — 18 CH. détestent
 263 17 CB. du trône impérial
 264 17 CH. et le souverain un commissaire de police
 couronné?
 — 1 CH. impériaie.
 266 18 CH. ce grand jour
 272 18 CH. à l'orthodoxie
 — 14 CH. L'orthodoxie
 — 5—4 CH. l'orthodoxie
 273 10 CB. par l'empereur Nicolas et son
 — 15 CB. de l'état et d'église,
 — 17 CB. au nom de Dieu
 — 18 CB. monde
 — 19 CB. de l'église orientale?
 — 15 CH. et abject
 — 15 CH. à béni
 — 13 CH. aux tzars le despotisme bysantin, elle a

- 4 CH. -orthodoxe,
 274 20 CB. de la vierge
 278 10 CB. holsteinoises
 — 11 CB. il a étouffé
 — 11 CH. du despotisme
 279 23—22 CH. de sa prison
 — 18—17 CH. On obéit, parce qu'on craint, mais on ne
 croit pas.
 280 10 CH. le tzarisme
 — 10 CH. l'impérialisme
 281 19 CH. le despotisme
 282 4 CB. de l'église
 — 4—5 CB. du tzarisme
 — 2 CH. du St.-Esprit
 — 1 CH. l'église
 283 6 CH. la tête du prince.
 285 19 CH. orthodoxe,
 — 18 CH. du prince
 — 17 CH. de l'autocrate,
 — 16—15 CH. du côté de l'empereur?
 — 14 CH. au palais d'hiver,
 286 20 CB. par l'entourage du tzar.
 288 7—8 CB. La possibilité d'une révolution en Russie se
 réduit à une question de force matérielle.
 289 22 CB. l'autocratie
 — 25 CB. le tzarisme succombe,
 290 6 CB. inégale
 — 15 CH. du tzar
 291 1 CB. n'est pas russe,
 — 2 CB. despotique
 — 2 CB. Il est plus allemand que russe,
 — 5 CB. de l'esclavage
 — 6 CB. de l'absolutisme,
 — 6 CB. l'empereur de Russie
 — 7 CB. avec l'empereur d'Autriche
 — 8 CB. son
 — 11 CB. révolutionnaire
 — 12 CB. révolutionnaire
 — 16 CH. le pouvoir impérial

- 12 сн. L'autocratie
- 11—10 сн. avec un soulèvement de paysans, avec une
révolte colossale dans le genre de celle
de Pougatcheff.
- 4 сн. l'empereur redevient *tzar*,
- 3—2 сн. La maison Holstein-Gotorp est trop allemande.
- 292 6—7 св. un empereur de Russie
- 9 св. de la Russie impériale
- 11 св. cette Russie soldatesque
- 16 св. de ses souverains.
- 17 сн. par la Russie impériale.
- 3 сн. de Nicolas
- 293 17 св. au nom du *tzar* et de l'autocratie,
- 299 6 сн. царя
- 306 13 сн. монархическое
- 307 7 св. Императорская
- 309 5 св. живодера
- 310 5 сн. самодержавіе
- 319 1 св. порабощенная
- 8 св. изгнанный
- 19 св. царь
- 19 св. взнuzданный
- 322 6 св. но они его спасли только
- 9—10 св. вѣтъ всякой законности; не обратившись
къ народу
- 12—13 св. Это было избраніе, продиктованное общей
усталостью.
- 14—15 св. псевдовизантійскаго строя
- 323 18—19 св. самодержавія и произвола
- 325 15 сн. Зимнемъ дворцѣ
- 326 1 св. жалкой
- 1 св. христіанскаго
- 14 св. не сынъ
- 17 св. у покойной царицы было столько любов-
никовъ,
- 18 св. законнорожденности.
- 23—24 св. императрицею кабатчицу, жену шведскаго
солдата, сдѣлавшуюся в послѣдствіи лю-
бовницей

- 15—14 сн. лифляндская искательница приключеній,
которая еле говорила по-русски.
- 11 сн. или презрѣніе
- 327 12 сн. нелѣпой
- 8 сн. полоумной
- 328 19 св. православное
- 14 сн. царизма
- 330 2 св. императорскимъ
- 331 22—23 св. этихъ Романовыхъ брауншвейгъ - вольфс-
бюттельскихъ и голштинъ-готторпскихъ
- 24 св. по ступенямъ трона
- 10—9 сн. Императорскій престолъ походилъ на ложе
Клеопатры
- 6 сн. возводили его на престолъ
- 332 17 св. въ грязное безпутство и грубый развратъ
- 18 св. ночи въ оргіяхъ
- 20—21 св. крѣпкимъ напиткамъ настолько
- 20—21 св. напивалась
- 23—24 св. голова ея не просвѣтлялась
- 18 сн. жила по-супружески съ
- 16—15 сн. со своимъ любовникомъ
- 14 сн. скандальной
- 12 сн. короной
- 333 1 св. неспособная и жестокая
- 335 13—18 св. Императрица Елизавета выписала изъ Гол-
штиніи своего преемника и женила его на
принцессѣ Ангальтъ-Цербтской. Нашли,
что добрый и простой Петръ III слиш-
комъ нѣмецъ. Его жена еще менѣе рус-
ская, чѣмъ онъ, свергла его съ престола,
посадила его въ тюрьму и приказала
его тамъ отравить. Графъ Орловъ, на-
скучивъ ожидать дѣйствія яда, заду-
шилъ его.
- 7 сн. глупой
- 6 сн. временщикамъ и любовникамъ
- 5 сн. обобрала
- 336 5 св. безуміе
- 15 св. изо всѣхъ государей Романовскаго дома

- 9—8 сн. Греческое православіе
 337 1 св. отъ религіи.
 — 8 св. Религіозная
 339 16 сн. или царемъ;
 341 19 св. царя
 344 12 сн. императорскія
 345 18 сн. неограниченной монархіи,
 — 7 сн. царскія
 — 6 сн. самодержавіе
 346 5 сн. царей;
 348 6 - 7 св. царской
 — 10—9 сн. императорскаго строя.
 349 1 св. деспотизмомъ
 — 4 св. зла
 — 14—13 сн. нелѣпаго
 — 10 сн. до безумія
 351 21 св. справедливо
 352 17 св. основательность и важность
 — 25 св. откровеніемъ
 353 3 св. избавиться отъ деспотизма,
 — 9 св. своихъ висѣлицъ
 — 16—17 св. императорскомъ штандартѣ
 — 18 св. деспотизма
 — 19—26 св. Религія, патріотизмъ были только сред-
 ствами для укрѣпленія самодержавія, и
 народъ никогда не былъ проведенъ на-
 ціонализмомъ Николая; пароль, выра-
 жающій его царствованіе, это — деспо-
 тизмъ, гласящій: «пусть погибнетъ Рос-
 сія, лишь бы власть осталась неограни-
 ченною и въ цѣлости». Съ такимъ ди-
 кимъ девизомъ нѣтъ болѣе недоразумѣ-
 ній, и то же 14 декабря заставило пра-
 вительство бросить лицемѣріе и поднять
 знамя деспотизма.
 357 7—6 сн. великими князьями и императоромъ
 358 17 сн. комедію
 359 17—18 св. императорскимъ скипетромъ;
 360 12 св. деспотизма.

- 15 св. недоступною
 — 15—16 св. посредственный
 — 16 сн. господина
 — 3—2 сн. введенный Николаемъ.
 361 3 св. въ этой первой гауптвахтѣ имперіи.
 — 5 св. nepозволительное
 — 17 св. Николаю
 — 20 св. Николая.
 — 23—24 св. самодержавіа
 — 25 св. деспотизма
 — 4 сн. безумная
 362 13—10 сн. Немногіе лишь знаютъ, что дѣлается за
 тѣмъ саваномъ, которымъ правительство
 накрываетъ трупы, кровавые пятна, раз-
 стрѣлы, говоря заносчиво и лицемѣрно,
 что за тѣмъ саваномъ нѣтъ ни крови,
 ни труповъ.
 363 17—18 св. императоръ
 — 20 св. посѣщеніями во время пребыванія своего
 въ Москвѣ,
 — 7 сн. деспотическомъ
 367 8 сн. самодержавіе
 — 7 сн. Николая.
 — 5 сн. своихъ владѣній,
 — 1 сн. императоръ Николай.
 368 8 св. нелѣпое
 — 9 св. въ умѣ лишь безразсуднаго правительства.
 — 15 сн. непростительной
 369 13 сн. самодержавіа
 370 1 св. правительства
 — 2 св. правительство
 — 18 св. монархизмъ
 — 4 сн. императорскаго трона
 372 9 св. имперіи,
 — 10—11 св. верховный владыка—коронованный около-
 точный надзиратель?
 — 18 сн. фарсъ дурнаго тона
 — 14 сн. императорской
 373 1 сн. государь

- 374 15 св. великимъ
380 9 сн. греческому православію
381 6 св. Не греческое ли православіе?
— 6 св. оно
— 18 св. подъ благословеніемъ
— 20 св. величества
— 20—21 св. императоромъ Николаемъ
— 15 сн. церкви
— 13 сн. попъ
— 13 сн. Бога
— 11 сн. восточной церкви?
— 9 сн. вѣру
— 7 сн. Церковь
— 4 сн. Восточная церковь
382 1 св. Она
— 1 св. гнуснаго
— 2 св. благословила
— 3—4 св. царей византійскому деспотизму;
— 13 св. православно-
— 21 св. церкви
— 2 сн. богородицы
388 16 св. тюрьмы
— 21—22 св. народъ повинуется, потому что боится,
но не вѣруетъ.
389 15—14 сн. царизмъ
— 14 сн. имперіализмъ.
390 21 св. деспотизма
391 5 св. церкви,
— 6 св. царизма.
392 9 св. святого духа
395 2—3 св. православнаго
— 4 св. самодержца
— 6—7 св. императора?
— 8 св. Зимнемъ дворцѣ,
397 6 сн. Возможность революціи
399 10 св. самодержавіе
— 14 св. царизмъ падетъ,
— 12 сн. неравной
400 22 св. царя

- 10 сн. не русское
- 9 сн. деспотическое
- 6—5 сн. всемірнаго рабства,
- 5 сн. самодержавія;
- 5 сн. російскій императоръ
- 4 сн. съ императоромъ австрійскимъ
- 3 сн. его
- 1 сн. революціонной
- 401 1 св. революціонной
- 24 сн. императорская
- 23 сн. въ Россіи
- 19 сн. самодержавіе
- 19—18 сн. крестьянскимъ возстаніемъ, съ громад-
нымъ бунтомъ въ родѣ пугачевского.
- 12 сн. императоръ
- 12 сн. *царемъ*
- 11—10 сн. Гольштинъ-Готорпскій домъ—домъ слиш-
комъ нѣмецкій,
- 3—2 сн. русскаго императора
- 402 1 св. императорской
- 3 св. солдатская
- 8 св. ея государей.
- 17—18 св. императорской
- 21 св. революціонной
- 10 сн. Николая
- 403 11 св. царя и самодержавія,
- 433 8—7 сн. византійско-нѣмецкое
- 435 2 св. вѣру
- 6 сн. благодатномъ
- 5—4 сн. отщепенецъ отъ единой спасающей церкви,
- 438 1 св. злодѣйствамъ
- 18 сн. воли царской.
- 2 сн. Николаемъ
- 440 16 сн. какъ новому идолу.
- 2 сн. порабощенной, византійской
- 441 19—20 св. тупой и мертвящій деспотизмъ
- 23—24 св. имперію, гдѣ скипетръ превратился въ
заколачивающую на смерть палку?
- 444 16 сн. и попа, и царя.

447	2 св.	императорской
—	7 св.	самодержавіе
448	2 св.	правительства.
—	5 св.	самодержавія.
—	16 св.	царизма
—	16 св.	царизмъ.
—	17 св.	Онъ
—	19 св.	самодержавіе для самодержавія
—	19 сн.	Императоръ
—	18 сн.	онъ
—	17 сн.	онъ
—	16 сн.	великой княжной.
—	15 сн.	его
—	15 сн.	Онъ
—	14 сн.	онъ
—	13 сн.	Онъ
—	13 сн.	монархическаго
—	12 сн.	онъ
—	11 сн.	Бурбонъ или Плантагенетъ
—	11 сн.	его
—	6 сн.	петербургскаго царя,
—	3 сн.	Зимній дворецъ,
449	4 св.	Николай, окруженный
—	6 св.	Онъ
—	6 св.	его
—	7 св.	онъ
—	7 св.	него
—	8—9 св.	къ нему
—	9 св.	Царь
—	9 св.	Онъ
—	10 св.	императорской
—	12 св.	онъ
—	13 св.	онъ
—	13—14 св.	своихъ подданныхъ.
—	15 св.	ему
—	15 св.	онъ
—	16 св.	онъ
—	17 св.	ему
—	17 св.	онъ

—	19 св.	Императоръ
450	18 св.	Императоръ
452	7 сн.	императора
453	4 св.	со штыками.
—	7 св.	вина.
455	4 сн.	публичномъ домѣ
457	2—3 св.	Николаевскій сводъ разсчитанъ противъ подданныхъ и въ пользу самодержавія.
—	17 св.	революціонное
—	18 св.	Самъ царь
—	20—21 св.	Онъ дѣлаетъ свое дѣло.
459	17 сн.	русскимъ самовластіемъ
460	6 св.	императорскимъ
—	19 св.	дивныя
—	20—21 св.	пасти дракона
—	26 св.	вѣроломство
461	9 сн.	убитый
—	9—8 сн.	еще не покрытая кровью мужа,
—	8 сн.	заколотъ
—	7 сн.	исполнившаго это приказаніе
462	4 св.	Слава имени его и мщеніе!.. Но гдѣ же мститель?..
467	14 св.	atrocés
—	16 св.	«brise l'ame»
469	15 сн.	des tzars
—	12 сн.	de son tzar!
476	15 св.	ужасное
—	17 св.	«ломаютъ душу»
479	13 св.	царей
—	16 св.	своего царя!
498	10 сн.	le Tzar
—	10 сн.	il
—	9—8 сн.	contre sa personne.
499	7 сн.	son tzar paternel.
500	18—19 св.	par Sa Majesté.
515	15 св.	царь
—	16 св.	онъ
—	18 св.	на его жизнь.

516	17 св.	царемъ-батюшкою
517	5—6 св.	Его Величествомъ.
520	1 сн.	Nicolas et ses
522	17 св.	Николая и его

Издание помѣщается въ книжномъ складѣ М. М. Стасюлевича.

Петроградъ, Вас. остр., 5 лин., собств. д. 28.